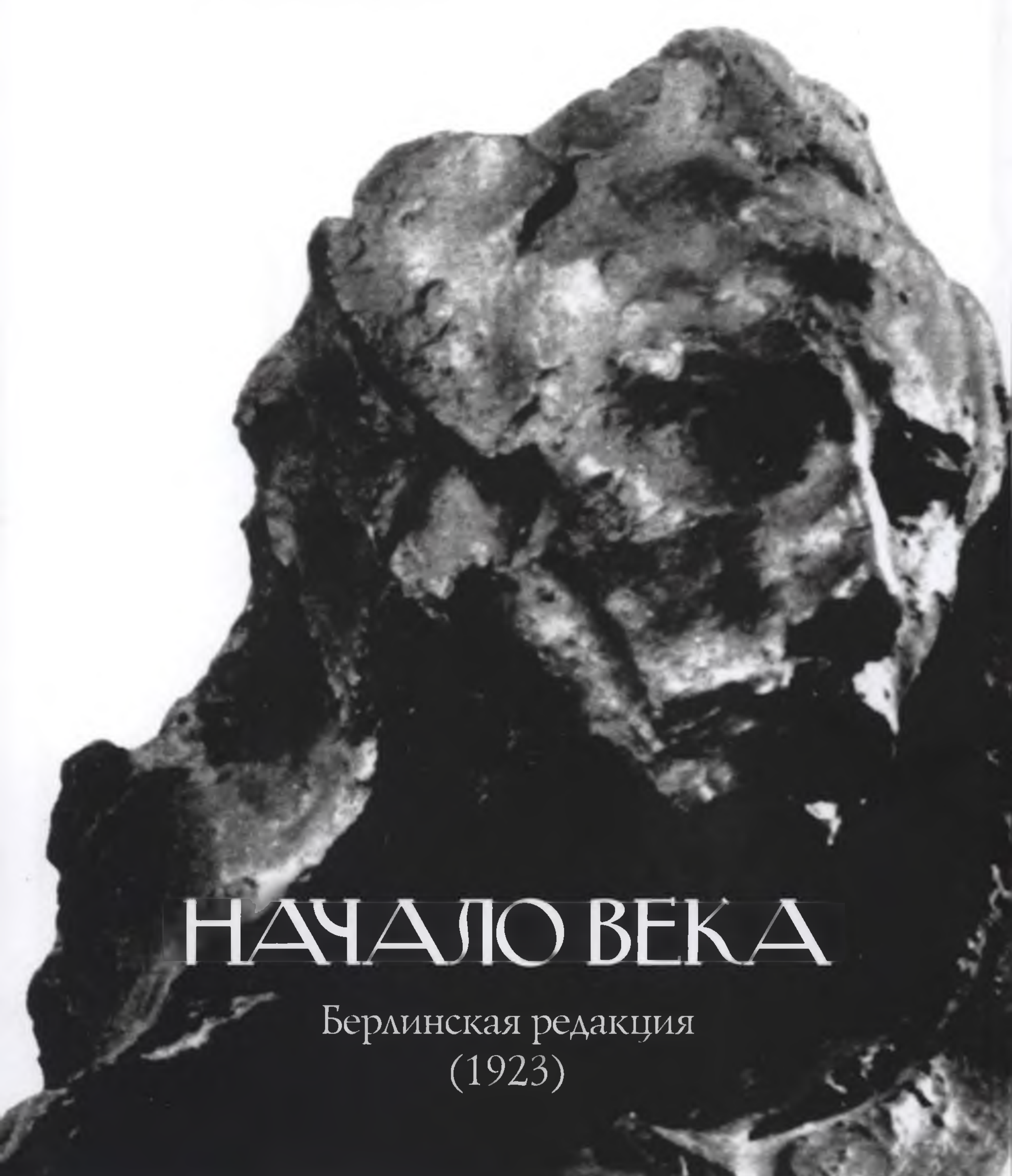
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ



НАЧАЛО ВЕКА

Берлинская редакция
(1923)

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

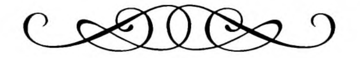
НАЧАЛО ВЕКА

Андрей Белый. Первая половина 1920-х гг.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Андрей Белый



НАЧАЛО ВЕКА

Берлинская редакция (1923)

Издание подготовил
А. В. Лавров

Санкт-Петербург
«Наука»
2014

УДК 821.161.1-82-94
ББК 84(4)
Б43

Серия основана академиком С. И. Вавиловым

Ответственный редактор

Н. А. БОГОМОЛОВ

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012—2018 годы)»*

ISBN 978-5-02-038347-0

⟨Том II⟩

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ[1]

ИТОГИ ШАХМАТОВА

Я подробно распространяюсь о интимных переживаниях и мелочах в быте всех отношений друг к другу нас, — распространяюсь сознательно: в мелочах этих, в странностях наших просвечивали контуры грандиозных и остроконкретных проблем: и проблемы еще перед нами стоят: не решенными. Символизм в изживании подлинных символистов не был никогда только кодексом вяленьких правил «*естества*», каким стал он после в сознанье примкнувших из моды и в «*благоглупостях*» журналистического истолкования со стороны откровенных врагов и порой благосклонно настроенных обозревателей толстых, не толстых и тонких журналов; под ливнями разных прогнозов в течение нескольких лет погребли символизм эти ливни — пролитие пепла, которым старательно заливали духовные ценности; да, символисты хотели пожара. В суждениях «*проницательных*» критиков символизма он был — романтизмом, рожденным реакцией; было-де нечего делать: и — вот-де: засели за думы о том, есть ли Бог; записали «*закрой свои... ноги*»,[2] «*пустили в небеса ананасом*»;[3] пришла революция, — кончился символизм; Блок пописывать стал о проблеме «*народности*»; Белый — гражданственно завопил под Некрасова,[4] а В. Иванов уселся за ценные филологические работы; так критики оформляли необходимость свою: символизм заключить в кругозоры тогдашнего времени, как «что-то» все-таки; но включение символизма в почтенный журнал было только обстругиванием многоветвистого и зеленого дерева: приготовленьем бревна, иль одной из подпор изжитого и ветхого лозунга; так: увидав символистов впервые, рассерженно борзописцы вскричали: «Ату —

их». Но символический волк отгрызался от своры; переменили тогда свою тактику: и принялись приручать символических диких «волков», вырывать зубы им: изуродование литературною критикою задания символизма и было знакомство с ним публики; так: изловивши «*медведя*», его обучивши забавнейшим штукам, с удовлетворением заводили «*ручного медведя*» по обозрениям литературы; увы: вожаки, представлявшие публике «*мишку*», его изъяснявшие, были насколько ж безграмотнее символистов; я знаю философов, «очень *философов*», только разбавивших жидкой водою все то, что впервые проблемою выдвинуто символистами; да: Маллармэ, непонятный в своем гегелианстве, был более конкретный философ, чем гегельянцы-модерн, оседающие в рутины; и — да: современные философские батюшки «*опреподобились*» кафедрой философии — только путем отсечения от себя центровых, неприподнятых ими заданий Владимира Соловьева; увы, «*преподобная*» внешность выстраивалась на руинах конкретного любомудрия; убежденность же достигалася не умением воплощать лик единства во множество разнообразных конкретных ответов; оно достигалось гвождением с кафедры по голове ошарашенной публики (годами) колом дубового лозунга, грубо отесанного многоветвистого дерева.

Символизм возникал «древом» новой системы; давно его ветви обструганы; дерево это разъято на ветви (оборван живой круг мыслительной жизни с корою «*дилетантства*»); и — мертвыми кольями *наших* идей подпираются многие ветхие хижины мысли, опреподобленных агитаторов ликвидации взрыва сознания. В 905 году «*символизм*» как-то сразу исчез: здесь он назвал себя «*реализмом*», там стал он «*мистическим анархизмом*»,[5] а там — «*модернизмом*»; в 1910 году «*символисты*» опять обнаружились, перекликнулись, «*объявились*»,[6] как объявились они среди «*скифов*» в годах революции,[7] как они явятся завтра: опять перекликнутся над могилой могильщиков, их хоронивших.

Не цель этой книги дать место теории символизма; такой еще, может быть, нет; есть фаланга людей, переживающих всей жизнью искание мудрости в кровных сердечных толчках, осязающих новую почву культуры сознания и озабоченных, чтобы контур гигантского храма, отстраиваемого сложением камней культур, не стискивался контурами лесов метафизики, или пристроечками, мешающими фундаментальной работе; умение воздержаться от «*мнения*» там, где то мнение есть болезнь «*недержанья*», уменье воздержаться от «*вывода*» там, где он «*ввод*» к жизни мысли, — в том более любомудрия.

Камень упорнейше возводимого здания сперва был оплеван; потом был использован для расклейки плакатов дешевого вывода; и наконец,

превращен в обессмысленный вовсе фундамент к шесту водружаемой метафизики; видели мы эти бревна и видели мы перекладины между ними; «*леса*» без постройки вставали, стесняя работу слагателей камней культуры; леса и шесты воздвигались; и — падали; и фундамент постройки, не конченной, — снова вытарчивал.

Символизм и есть «*выторчень*» фундамента рухнувших деревянных построек над ним: легковесных «*шестовых*» построек; уже во второй половине истекшего века они глухо рухнули; это крушенье отметил В. С. Соловьев в своем первом труде «*Кризис западной философии*».[8] Рухнуло понятие «*Синтеза*»; и нас пленявшие понятия «*синтетической философии*» рухнули тоже: и Спенсер, и Кант с представлениями эволюции и прогресса; остались вытарчивать: «*непознаваемое*» (остаток от Спенсера) и «*бессознательное*» (остаток от Гартмана) как предметы познания и как предметы сознания; *познание непознания*, сознавание *бессознания*, иль — смещение границ между «*здесь*» и меж «*там*» — вот фундамент постройки, который остался вытарчивать лозунгом пересечения двух линий, казавшихся параллельными (феноменов, нуменов); символ, иль знак сочетанья раздельных миров, породил символизм: ощущение реальности мира духовного в мире физическом. Ощущение предполагало возможности к построению философии «*целого*», а не частей мира знания; «*Целое*» не могло быть единством (и рассудочным синтезом), формой, ни чувственным синтезом «*вещи*»; и — да: символизм отвергал мир вещей и понятий для образа, провозгласивши его допонятийным и дочувственным целым и объявивши войну половинчатым лозунгам: позитивизму, построенному на системе понятия множества чувственных данных, и на понятии синтеза, или рассудочного единства тех данных; он — факт осязанья конкретного контура из-под познания торчащего мира сознания, как культура культур, еще вовсе недавно заклеенного плакатами «*мещанского смысла*» и закрытого кверху торчащими неживыми шестами абстрактных понятий; провал всех шестов в конце прошлого века — восстание символизма; провал в XVIII веке шестов догматизма — обнаружение критицизма; символизм с критицизмом связуем: он — следующий этаж возводимого здания; для символиста системы понятий не строятся, как леса над фундаментом, а вырастают из грунта сознания, точно грибы из земли; не конструировать, а выращивать надо сознание — естественным удобрением почвы. И символист представляется мне обладающим организмом, которого ноги стоят вполне крепко: одна — на фундаменте, порождающем все градации философии, другая же на фундаменте первичного опыта, взятого вдвое шире, чем прежде, а именно: взятого становленьем сознанья

из бездны, его подстилающей: *хаоса бессознания* (как части *сознания — собственно*); символ есть целое двух половинок фундамента *ног*; и оно пока — «Х»; оно — требует вскрытия.

Да, символист в себе носит раздвоенность (две ноги), как раздвоенность целого; одна часть — философия, вырастающая не системой понятий, а становленьем понятий различных систем; в каждой данной системе понятий себя символист ощущает, как в фартуке, в котором сегодня он варит запросы сознания; завтра он будет в другом уже фартуке; а стряпня — остается. Другою же частью себяощущения символиста есть ощущение в ставшем, где ставшее — данные формы искусства, культуры; и здесь он хранитель. А третье, а целое его мира — восстание мира как мифа души: и он здесь — мифотворец; и здесь символизм есть теория творчества, объясняющая мир, восставший, как видимость опытов мира сознанья, воздвигшего свои мифы; двоение сознания в формах искусства и в формах науки — ветвленье ствола изначального мифа; поэтому: символизм поднимает проблему — описывания материала сознания и изучения сложения этого материала в мир мифов; культуры — этапы растущего древа сознания; теории их могут быть лишь итогами опыта изживания творчества; и — психологии изживанья; тут теории — временные, вспомогательные гипотезы праксиса; отлагание в форме искусства здесь есть отражение коренного процесса: творение жизни в себе; символист — перед тайной восстания биографии как глубокого мифа, где образ сознанья, или имя творящего, есть образ мира и мысли, иль целое всех комбинаций; и нет: символист не замкнется в искусство; и он для обычных художников — слишком философ; замкнуть в философию тоже не может себя; для него философии — только эмблемы творенья единого мифа от «Я»; но все мифы, вносимые им в смысловую систему понятий, увидятся «*только философу*» — бредом художника; да, он — ни «*только художник*», ни «*только философ*»; меж двух этих станов он бродит, являя собой для других раздвоенье, неверность; внутри себя целен он, зная зависимость термина, или отдельности мысли, от мысли как целого; он знает зависимость мысли от «*образа*» мысли; он мыслит центрально при помощи образа (это — не знак примитивности); наоборот: для него примитивен философ, замкнувший свой миф в поварскую кастрюлю сегодняшней мысли; «*предметы*» варенья он знает в сырье (не говядину, чувственность, а живого быка, или образ предмета он знает); он — полон сознания. Для несимволистов-художников он есть туманный романтик; «*конструкция*» из материала искусств для него лишь — эмблема сознания: мифа; он слишком философ для мира искусств; и он слишком художник для мира

понятий; но целен он здесь, как и там, ибо знает, что мир философии — в кризисе; форма в искусстве трещит, рассыпаясь в атомы форм; и он волит действительного упразднения мира обломков культуры, чтоб поле очистилось творчества.

Он есть себя осознавший строитель; в нем — сталкиваются вопросы морали и мысли с вопросом общественным; преображается общество с измененьем сознаний отдельных людей (одного, двух, трех, более); новые группы, коммуны, интимно слагаются ритмом: не — правом, законом, запретом; градация расширения единичного в миф группы людей — переход от эстетики только, иль этики, только к мистерии, где критерии красоты и добра возрождаются в целое этико-эстетических, *теургически-сизигических* отношений (по термину Соловьева).[9]

Искусства возникли из форм синкретических; право и догма морали в веках — отложенье обряда (содействия кооперации); синтез искусств — в восставании образа новых людских отношений, — не в синтезе форм.

Эти истины были осознаны русскими символистами; ни В. Иванов, ни я, ни А. А.,[10] — не могли ограничиться формой в искусстве; Иванов взывает к мистерии и к коллективному творчеству; Блок в своем первом письме, разбирающем мой реферат, предъявляет упрек: утверждая роль музыки основной.[11] Я беру ее формой искусства; и — только: а что же «*не только*». Познание света Ея в коллективе людей, руки связывающих для этого: «*отлетанье в лазурь*»,[12] как в «*стезю*» *олазуривающую*:

Не поймаешь синего ока,
Пока сам не станешь, как стезя.[13]

И слова к «*аргонавтам*» А. А.:[14]

Молча свяжем вместе руки —
Отлетим в лазурь, —

— лозунг надежды на общее дело: созданья ячейки интимной для опыта прохождения к рубежам новой жизни; в письме ко мне пишет он: нет, Петербург не питает надеждой; на что? На нащупывание контура искомой мистерии. «*Вся надежда на вас*»...[15] Почему на меня? Потому, что в «*Симфонии*» высказал упования на общее дело. Тогда он боялся, что я отойду от проблемы мистерии. Я — то же самое: я написал:

«*Чтобы выйти из заколдованного круга противоречий, мы должны перестать говорить о чем бы то ни было, будь то искусство,*

*познание или сама наша жизнь. Мы должны забыть настоящее: мы должны все снова пересоздать; для этого мы должны создать самих себя... Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая быть человеком; он должен стать своей собственной художественной формой. Тут и лежит путь будущего искусства...»** *Т. е.*

Не поймаешь синего ока,
Пока сам не станешь, как стезя.

У меня было нечто, подобное теории праксиса: путь одинокого совершенствования на вершинах являет слияние личного «я» с «Я» космическим: образом теофании. Светом Дамаска[17] увенчан тот путь; «Я» всеобщее пересекает в себе все раздельные «я»; встреча с «Я» мировым — встреча с «*Ты*»; «*Ты — еси*» — возникает; путь первый в те годы я назвал путем «*по чину один*»; это путь одинокого, нераздельного знания; путь чина два: встреча с «*Ты*»; и — совместное прохожденье этапов пути чина первого; *эти этапы — окрашены* сопережитием с *любимой* — душою предметов духовного опыта; здесь — путь раскрытия символов всякой любви; любовь двух — только *символ*; здесь я опираюсь на слово Владимира Соловьева, что «*женщину человек видит не так, как она является внешнему наблюдению, а прозревает в ее идею... Она утверждается как... существо, способное к обожанию*».[18] И с другой стороны: женщина обóживает мужчину; путь двух есть «*обóжение*»: в личных *я* отражения тайны вселенной: вскрывается здесь любовь Логоса к Душе мира; путь двух есть мистерия, где мужчина становится в чин службы Логоса; женщина — в чин души мировой; в переплетении двух лейт-мотивов в один — достигается целое; эгоистическая любовь, расширяясь, становится мировою любовью: «*Организация любви религиозна*». Вершина «*обóжения*» расширяет любовь двух субъектов друг к другу в любовь к человечеству; и появляется *новый*, доселе еще не раскрытый звук тайны любви: появление третьего «*Я*» в чин пути; что есть третье? Объективация любви двух в устремленье к божественному (логосическому) в каждом; любовь — *в человечестве.*

Здесь проблема любви переходит в проблему чуть снящейся, социальной мистерии, или в коммуну из любящих; это есть церковь Иоаннова, эзотерическая, не открытая, не совпадающая с церквами истории,

* «Символизм», стр. 453.[16]

противоположная государству; в ней же в третий раз, сызнова, преломляются вехи пути: *по чину один, по чину два* (любящих) в путь чина *трех*; «*три*» — понятие символическое; «*три*» — не два, не один; «*три*» — четыре, пять, шесть, миллионы; введение нового члена «*пути*» в «*сизигическую*» коммуну, построенную на ритме пути, предполагает готовность вводимого члена к уразумению ритмов слагаемого коллектива, предполагает точнейшее знание со стороны организаторов этой «*сизигии*» места для каждого; здесь впервые ведь отчеканивается проблема невиданных отношений, предполагается уменье вибрировать на ритм целого, который есть Логос в хаосе; здесь — Второе Сошествие:

Глаза — в глаза... Бирюзовеет...
Меж глаз — меж нас — Я воскрешен:
И вестью первою провеет:
Не — ты, не — я... Но — мы: но — Он...[19]

Оправдание каждого «*я*» — только в «*ты*», в пути двух: трех и многих; в продолженьи пути — в путь мистерий сизигии, нового общества; так проблемою новой общественности заканчивается праксис пути символиста; и так прозвучал лозунг Блока:

Молча свяжем вместе руки, —
Отлетим в лазурь.

В атмосфере искания символистов вставал этот зов к новой общине; и возникал символ слова, «*корабль*» (символ общины); он появляется в строчках у А. А.; перекликаяся с темой московского «*Арго*» (кружка «аргонавтов»), где «*золотое руно*» — чаша, Грааль.[20]

К философии отвлеченной поборники символизма всегда относились презрительно; и презирали «*эстетов*»; в прогнозе их было сознание, трезвость; и не могли ограничиться лишь подбиранием слов; был я чужд «*скорпионовским*» лозунгам;[21] и не мог я замкнуться в дебаты о школах в поэзии, ограничить себя изучением стилей; я был для эстетов — чужак, забегающий к ним из миров философии; признавая меня, постоянно подчеркивали несвершенность моих достижений (до них ли мне было); и — знал: мог бы я при желаньи себя ограничить одной философией, дать отвлеченный кирпич, воздвигаемый трезвейшими терминами на тему «*Теория символизма*», «*Основы конкретного синтеза*»; спецы понятий казались порой мне слабее меня; но пускаться в серьезную философскую кухню при знании несерьезности положения философии в мире — не мог; удручаемый полным невежеством в сфере познания

скольких писателей, я забегал отдыхать от безмыслия к спецам-философам; но оставаться средь них я не мог; в этой зыбкости интересов я чувствовал цельность мою в *символизме*; да, — я был *символистом* до мозга костей; это значило для художников: был я *абстрактен*; и — значило для философов: стоит ли спорить с художником?

Был художник-философ и теоретико-практик (реало-идеалист, индивидуало-коллективист): т. е. — был *символист*; все, причастные символизму, испытывали тягостное ощущение: невозможности уместиться в мирах философии, теологии, науки, искусства; происходило же то от касания к *целому*: к фундаменту новой культуры, которого здание надо построить в годах (иль — в столетьях); художник, социолог, ученый спешили наклеить «*плакат*» скороспелого лозунга, символы заменяя лишь синтезами понятий (мето́д); неумение влиться в догмат и создавало в сознании спецов о нас представление как о путаниках, непоседах, бегунах, очень-очень опасных культуре.

И Эллис, ученый экономист,[22] мог бы дать уважаемые работы; а он, бросив Маркса, мечтал о «*Руне*»,[23] искалечил Бодлера сквернейшими переводами;[24] все же: в нем что-то блистало; он — был символистом.

Петровский — прекраснейший химик,[25] которому поручал очень часто профессор Зелинский работы свои, тонкий ум, проницательный скептик, — зачем он бежал в Академию,[26] изучал там историю церкви, готовясь к монашеству? Он, возбудивши надежды церковников, ректора, бросил свои интересы, не додержавши экзаменов: «*целое*», жившее в нем, не могло осадиться: ни в химии, ни в философии, ни в теологии; «*нудилось*» — целое: путь к «*сизигической*» тайне; и шел по годам — бесприютнейшим странником.

То же С. М. Соловьев: пятнадцатилетний теолог, двадцатилетний поэт и филолог, оставленный при Университете экстерн, вызывающий упования; после — священник: сперва — православный, потом — католический; далее — вновь православный;[27] откуда — метание? «*Целое*» он ощутил; все плакаты, надстройки, «*шесты*» философии — претили ему: символист.

Иль — Флоренский: действительный математик, философ и столп «*православия*»[28] — по моему убеждению: ни математик, ни мистик, ни столп православия даже; и — не философ, а непокорнейшее создание, которого не затащишь в отдельные сферы «*камеры*»; «*целое*» он ощущает в себе: символист!

То же самое — я: сочинял кое-что я для музыки; стиль ненаписанной музыки бродит в ритмизме и в мелодизме, калеча, быть может,

стиль бедных «*словесных*» творений моих; и я мог быть гистологом: литература меня отвлекла от исследований в области микробиологии;[29] от литературы я отвлекался порой философией: от философии — антропософией;[30] если б замкнуть кругозор и заняться работою о структуре стиха, я бы дал очень ценные вклады в науку; да, я — ни поэт, ни прозаик, ни мистик, ни школьный философ, ни кто: символист!

Негативное символизма: *ни то он, ни се*: но *ни то и ни се* — только формулы, определяющие символизм негативно: а «да» символизма — факт огромного *выторчня* из руин метафизики и из плакатов «*культуры*» как целого; *выторчень* — факт; не замажешь: ни краской тенденции; нет, — не заклеишь плакатами лозунгов; и ни философу, ни поэту, ни мистику, ни теологу не понять его; о, сколь для многих досадны порой символисты, несущие гордо невнятицу мирозренья — *с упорностью*: выскочили! Их — травили, признали, похоронили.

Но снова они о себе заявляют: «Нет, нет, — не философ, а — жив; не художник, а — жив: *символист!*»

Так оплотнил бы я самосознание «*аргонавтов*» в далекие годы, когда мы боролись с эстетами, богословами, логиками, социологами и учеными; собираясь в интимные кучки и уповая, что все-таки «*Арго*» везет к «*Золотому Руну*».

Как в словах оплотнить, что тянуло к А. А. и к Л. Д.?[31]

Все теории о пути, о которых я думал (по чину *один, два* и *три*), опиралися на попытку конкретизировать «*путь*».

Говорил о «*событии странном*» в основе пути символиста, о молнии Духа; мое представление о «*пути*» началося от действия текстов Упанишад,[32] повторяемого в годах, состояниями приподнятья над жизнью, сперва впечатления от музыки — приподнимали; и — *зори*; потом это действие вызывала молитва; и наконец — несравнимые «*игры — не-игры*» в полях, где устраивал я некий чин, иль мистерию; так я писал, вспоминая обряды:

Вовек в степи пребуду я — аминь.
Мои с зарей — с зарею поцелуи.
Вовек туда — в темнеющую синь
Пространств взлетают аллилуйи...

. . . .

Заря горит: ручьи моих псалмов
Сластят уста молитвою нехитрой.
На голове сафиром васильков
Вся прозябающая митра...[33]

Или: —

— ...Верный, старый поп,
Я здесь служу свои обедни.[34]

«*Здесь*» — то плато над усадьбой, которое я называл крышей света, Памиром.

Так в ряде годин от гимназии, в годы студенчества, эти обряды мне дали ряд очень конкретных узнаний, которые я пытался осмыслить при помощи книг; одно время я силился вникнуть в писания Сирианина;[35] так отлагался мой опыт «*по чину один*»; и, казалося, — мир мне мешает отдаться ему; и манило — монашество.

Произошла встреча с женщиной, через которую открывалась *Она*;[36] и открылось: есть путь для *двоих* (*чин второй*); что же выразить в сущности озарявшего знания? Мог бы сказать: путь мужчины и женщины — подчиняется норме: мужчина в любимой провидит *Софию*; общение — антропо-софично; тут женщина в нем прозирает мир Логоса; женщина, — Ева, иль жизнь; зоо-логосичны узнанья ее: *зоо-логичны* в особом значеньи; она отображает в себе его знанье о ней, как о Ней; наполняет теологическим знанием, становяся действительным теологическим существом. Он, приемля ее *теологию*, претворяет каноны *теософически*; путь сочетается *софиологическим* знанием; появляется — христософия меж ними: «*она*» — познает свою женскую сущность Софией, как церковью, — через него; он же знает свое проявление в космосе, через нее, как «*Не я, а Христос во мне*».

Отзвуки «*первого чина*» естественно нас единили; «*событие*» — перевернуло сознанье Петровского — в два иль три дня в 1901 году; «*событье*» свершилося в жизни С. М. Соловьева; сближения наши — отбор людей опыта этого в группу.

Отзвуки «*чина второго*» свершались в моменты *обо́жения* любимой; для Соловьева и для меня это было весной 901 года; и оба могли бы сказать о себе:

«*Она*» на нас сходила снами
Из миротворной глубины.[37]

Осознанье Ее совершалося в прозирание женского образа до идеи его; вот явленья «Ее» нам с С. М. Соловьевым:

Взирает в очи Сони Н-ой,
Огромный заклокочив клочень;

Мне блещут очи — очень-очень —
Надежды Львовны Зариной.[38]

Разумеется, вполне понимаем, что ни «Надежда», ни «Соня» не смешиваемы с Софиею; факт откровения Ея через женщину в нас — показатель, что прав Соловьев:

Знайте же, Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.[39] —

Так что «*Соня*», «*Надежда*» — среда проявлений.

Она... Мы в ней души не чаем...
Но кто она? Сидим за чаем;
Под хохот громкий пурговой
Вопрос решаем роковой.[40]

То вопрос всей «*лапановской*» философии:[41] как сочетать путь *по чину один* (путь небесный) с другим (с *чином два*):

Пред ним — сновидение рая;
Всевластный пред ней — серафим;
Сгорает их жизнь молодая:
Да кто ж это знает, да кто ж это выскажет им?

Фет.[42]

Наконец: как оформить слияние «*пар*» обожаемых в общину, где и жизнь подчиняется вовсе не виданным отношениям (путь *чина три*); это — чин *сизигических* отношений, который задание: Софию пресуществить в мир Любви, а любовь осознать стержнем жизни «*Коммуны*»; по Соловьеву то значило: воплотить Теократию; а по-моему — значило: прозарить жизнь в мистерию; так что слова «*теократия*», «*теургия*», «*мистерия*» и «*сизигия*» были средствами: ими дотрагивались до *тайны*, которую суждено нам разгадывать; теоретик Лапан, Соловьевым шутливо измышленный, был только знаком, «memento»: «*Проблема — поставлена*».

Мы сознавали опасность «*обóжения*» эмпирической женщины; и на подмене такой мною строятся «*трюки*» «*Симфонии*».[43]

Пусть же читатель поймет: встреча с Блоком для нас — встреча с тем, в ком сильнее всего отразилася *тайна*, снедавшая нас; а признание Блока («*Она*» открывается в личностях) — значило: путь *чина два*

оконкретился: кем? Любовь Дмитриевной, которую было б смешно полагать для А. А. воплощеньем Софии (нам Шмидт неприятна была: полагала себя воплощением Софии).[44] А отношение Блока к невесте — приковывало внимание принципиальной проблемою: как воплотить чин *пути* меж двоими («*Пред ним — сновидение рая; всевластный пред ней серафим*»).

Потрясение Сережи во время венчания Блоков[45] — в том, что он увидел сознание Блоками единственности их задания; эта свадьба есть шаг дерзновенный к созданию мистерии (превращенье Виденья Премудрости в пафос Любви); потрясенье С. М. Соловьева — что значило? Любовь Дмитриевна есть, воистину, та, для которой проблема сознания Блока ясна; разделяет она путь А. А. совершенно сознательно; путь — к Теократии, строимой *сизигическим* светом (не смейтесь же: от великого до смешного — всего один шаг. И все первые опыты воплощенья великого вызывают воистину гомерический хохот; стих русский, заложенный Тредьяковским, — юмора; он — эмбрион пушкинской формы).

Не мог потрястись потрясением Сережи; не видел в глаза ни А. А., ни Л. Д.[46] Но проблема мистерий — стояла; а впечатленье 901 года, когда приобщен был к познанью Ее,[47] осложнились узнаниями 903 года: меня полюбили; и сквозь меня увидали Его; атмосферой мистерии был я овеян; мечтал я — чин службы; цветы, стол, вино, крест; посередине же — чаша, Грааль; вот — вставший мне образ: кто рядом сидит, за столом? Ну конечно же, та, кто увидела сквозь меня тайну Логоса; я — ей учитель; кругом — аргонавты.

Так явственно представлялась мистерия; я — рукоположенный судьбой гиерофант;[48] а «она» — гиерофантида, моя ученица; путь был тогда формулирован в цветовых аллегориях; вот он:[49]

1) Жизнь — *серое*: воплощение черта (иль *черного*) в *белое* (в жизнь); проницанье иллюзии сдергивает покрывало над бездной; и *черное*, ночь, — предстает, как «*стоим мы над бездной*»...

2) Но бездна — не бездна; слой пыли, от нас заслоняющий *свет*; проницанье тьмы пыли естественно разрывает завесу; и первое проницание светом окрашивает тьму пыли желто-коричневым *просветом*; желто-*коричневое — химеры;* и очищение начинается с ощущения *ужасов* химер;

3) Сквозь *тьму пыли* прорезываемая: свет — теперь красен, как луч на закате; и *красное*, огонь страсти, встает: эта *красная страсть* — преодоление бесов любовью;

4) То *красное* (страстное) овлажняется *кровью* страдания; страсть очищается *кровью* и жертвою; это — Голгофа;

5) и красное — розовеет; и розы любви зацветают из страсти, очищенной крестным страданием; *розовое* — остатки пыли на свете; вот —

6) *белый* луч света, очищенность, или — любовь, или — воздух, сквозящий божественной бездной; сквозит:

7) *Лазурь*: цвет лазури есть цвет двуединства; то — божеское в человеческом; здесь — откровение Логоса, Сына; и — тайна любви, иль «*двух*», претворяемых в христианство; здесь община христиан.

Чрез мистерию метаморфозы цветов (от чернеющей бездны, из ужасов желто-коричневого, через страсть и страдание, к розам любви, к белизне и к *Лазури* Христова Сошествия в плоть, — я хотел бы вести полюбившую душу: тут был — *Мистагогом*). —

— Проблема «Лапана»

предстала и мне.

Да, в бытность в Москве Блоки были друзья; Любовь Дмитриевна полагала: идеология *белолазурной* мистерии опрокидывается — ⟨в⟩ житейский роман; пожалела меня она; да: — правота подтвердилася; все мечты о «*мистерии*» быстро разбились — о первый роман; это было трагедией; «*Золото в Лазури*» — сгорело во мне: стало — «*Пеплом*».[50]

Я в пепельном состоянии ехал к А. А.,[51] а вернулся в Москву озаренным: так что же случилось?

Увидел: Л. Д. возносила свой смысл символический; виделась «*роль*» в ней; и, нет, не актрисы, — гиерофантиды мистерии (только для тех, кто ее понимают); Петровский — «*увидел*»; я — тоже: С. М. Соловьев видел прежде; и — стало быть: поднимались потенции к новой мистерии; или: общественность «*сизигических*» отношений вставала; понятно: потрясенье перед загаданной всеми (С. М. Соловьевым, Петровским и мною) мистерией; нам даны были годы мистерию низвоплотить; дан был импульс моральный (С. М. Соловьеву, Петровскому, мне) в вынесеньи доверия Любовь Дмитриевне в роли *гиерофантиды* и импульсатории ритмов, меж нами встававших; «*роман*» мой решил я прикончить.[52]

Теперь возвращался в деревню я крепкий решением: осознавать этот путь (путь к «*мистерии*»); и очищать свою жизнь; при прощании с Любовь Дмитриевной я поставил вопрос ей: советует ли она поступить мне — решительно; и получил я ответ (но не помню: словами, иль — жестом):

— «Да, да».

Этим был вдохновлен я: 1) покончить с «романом» (пародией на «*Мистерию*»);[53] 2) гносеологически обосновать неизбежность «*мисте-*

рии»; 3) подготовиться к написанию введения в философию «*лапанизма*» и 4) приналечь мне на Риккерта, Когена, Риля, Канта, чтобы сражаться с отточенным, их же оружием с ними. Так с «*громкими*» планами отбыл в деревню я.

ПЕТЕРБУРГ. ПОСЛЕ ШАХМАТОВА

По приезде из Шахматова, распростившись с С. М. Соловьевым, поехал в имение «*Серебряный Колодезь*»;[54] хотелось остаться с собою самим; и А. А. писал редко; и я писал редко ему; мне запомнилось прочно одно лишь письмо;* в нем звучала глубокая грусть;[55] а — расстались мы ясно; под дымкой предчувствия были написаны тихие строчки, в которых почуялось мне опасение за какое-то будущее, угрожающее; в это время видел я сон: А. А. явился передо мной, занесенный туманом; Л. Д. вижу явственно: бледную, в черном обтянутом платье, которое появилось чрез два только года на ней.

Пребывание в Шахматове отразилось во мне напряжением, закипающей внутренней жизнью, желанием сказать еще раз зорям — «да»; мне запомнилась ширь уже сжатых полей; и — пологие склоны оврагов; в то время усиленно занимался я Гефдингом, чтением «*Метафизики*» Вундта и «*Психологии*» Джемса;[56] я также внимательно перечитывал «*Критику*» Канта,[57] перерабатывая свое прежнее отношение к Канту, готовил эскиз для введения в книгу, которая вырастала в сознании; эскиз напечатан был в «*Новом Пути*» (тут же, вскоре) — «О целесообразности»;[58] принципы целесообразности я объясняю из образов переживанья, которое — цельно; все символическое есть *цельное*; цель — абстракция целого; цель есть то самое, что во мне подымает переживание ценности; от целевого абстрактного взгляда на жизнь мы должны перейти в область праксиса; философия практического идеализма вставала во мне; мне казалось, что я подошел к пониманию мифологемы, построенной в Шахматове; «Lapan» — был мной понят.

В переживаньях сознанья — дана достоверность; сознание — растяжимо; предел достоверности — тоже; само восприятие — лишь зависимая переменная переживания; видимость — переменная восприятий, а чувственность — переменная видимость. Эта вера в творение цен-

* Моя переписка с А. А. сохранилась.

ностей жизни вдохнулась мне Шахматовым (точно мы сотворили там Новую Жизнь); окончательный символ дается в прообразах, в ценностях; наш треугольник и «око» меж ним для меня стал прообразом чаемой, окончательной жизни, приподымающей Человечество, или Ее. «*В этом смысле Она*», — писал я, — «*есть Честнейшая Херувим*». Человечество брал я по Конту, оригинально толкуемому Соловьевым (Владимиром): «*Выводы... философии заставляют рассматривать человечество как живое единство*»... *И* — «*Соловьев отождествляет... тот культ* (человечества)... *с культом Мадонны*».[59] Тут мне представлялось так ясно: Петровский, и я, и С. М. — культ открыли: возжением ладана перед Мадонной — в Москве; но возжение ладана было лишь символом ладана душ, вознесенного в ласковость «*шахматовских*» закатов; да, в «*шахматовской*» заре мне почуялась эра; и да, Теократия, — знал я, придет, будет; мы Ее — начинаем; эскиз заключал парадоксом:

nous voulons être positivistes,
nous devons poser l'Etre.[60]

Эта формула — прежде дана: философией католицизма Росмини; с Росмини я не был знаком;[61] я указывал: «*Образуется... рыцарский орден, не только верящий в утренность своей звезды, но и познающий Ее*».* Предполагалось, что орден — сложился: три рыцаря ордена — я, А. А. Блок и С. М. Соловьев. Разве не были глупы мы? Мне, прочитавшему Канта, натуралисту, — не стыдно ли было кидаться в волну беспросветной романтики? Нет: не осуждаю себя:

Бросай туда, в мое былое,
В мои потопные года, —
Мое рыдающее горе,
Свое сверкающее: «*да*»!
Невыразимая Осанна,
Неотразимая Звезда:
Ты — откровеньем Иоанна
Приоткрывалась: *навсегда*.[63]

Сделал выписки из очень вялой статьи, потому что она в моих замыслах открывала дорогу другим, не написанным мною; хотел агитировать я: проводить философию Духа, иль — «*Третий Завет*»; то писал

---

* См. «О целесообразности» («Арабески»).[62]

не А. Белый: «Lapan» написал все; шуточные гротески о «*блоковцах*» я задумал нешуточно обосновать; и — наткнулся на трудности справиться с логикой, бросившей меня прямо к Канту; от Канта же к Рилю; от Риля же — к Риккерту; так уткнулся я в Риккерта, выгрызая старательно за страницей страницу из «Gegenstand der Erkenntniss»,[64] исписывая вереницы листов (все — потеряны), пролагающих путь — от Риккерта к... к... «Lapan'y».

Меж тем осеннело, златело, шуршало сухим листопадом; стояла закаты разъявшая осень; как часто в то время я забираюсь в поля; и — часами присев на снопах, — дорабатываюсь до собственного посвящения в жизнь: дорабатываюсь до эмблематики смыслов (написанная «*Эмблематика Смысла*» — осколок системы, возникшей в те месяцы),[65] до философской поэмы моей, восхваляющей наши сидения в Шахматове и воспевающей в Философии — тайны Софии.

Уже веяло златолистием; сжатые нивы пылели; метались по ветру метелки полыни да колко-малиновые помпоны татарников. С матерью в эти дни мы задумывали поездку в Саров; близ Сарова, в обители Серафимо-Дивеевской проживала монашкой сестра Алексея Сергеевича Петровского уже несколько лет; она приобщила его почитанию Серафима; зачитывались мы записками Серафимо-Дивеевского монастыря;[66] и живые традиции Серафима влагалися в душу; прообразом чаемой жизни звучал мне Саров, этот явленный многим паломникам Китеж; мне помнится, что в сентябре из Серебряного Колодца (имения нашего) едем мы с матерью к соснам Сарова, к источнику Серафима.[67]

Саров оставляет в душе моей ноту какого-то гложущего разочарованья: грубость монахов, открыто построивших благополучие жизни на слухах о чудесах, шесть гостиниц, наполненных людом, все это осталось каким-то базаром; но сосны Сарова и прядающий животворный источник осталися в памяти. Наоборот: проведенные миги в Дивееве, впечатление от монашек и впечатление от разговора с сестрою Петровского, милой Еленой Сергеевной, посвятившей себя по окончанию гимназии Фишер[68] суровому, монастырскому подвигу, великолепные окрестности и канавка, прорытая самим Серафимом вокруг монастырской обители, не имеющей стен, — до сих пор в моей памяти ясны, светлы. Переживания Шахматова, воскурение ладана пред статуэткой Мадонны связались в сознаньи моем с днем дивеевской жизни; Дивеево, по преданью, находится под особенным покровительством Богородицы.

Помню: осенью вышли впервые стихи А. А. Блока в книгоиздательстве «*Гриф*»; вероятно, читателю бросилась бы в глаза немотивированная отметка на книге: «*Разрешено Цензурою. Нижний Новгород*».[69]

Книга же вышла в Москве. Нижегородская цензура ее разрешила к печати; боялись мы все, что московские цензора кое-что могут вычеркнуть в книге, или, что хуже всего: могут книгу отдать для просмотра духовной цензуре; чтобы спасти целость книги, ее послали мы Э. Метнеру, почитателю поэзии Блока. Э. Метнер капризною волей судьбы занимал место цензора в Нижнем, которое вскоре он бросил, охваченный революционной волной;[70] так желанием сохранить текст нетронутым объясняется эта отметка на книге.

СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

Когда говоришь о поэте, то говоришь о центровом его образе, о мифе сердца его и о мифах, с ним связанных, требующих огромного комментария; если бы мы могли разложить эти мифы на мысли, то каждый «*миф*» Блока потребовал тома бы.

Говорить мне о внутренно-ясном и сложно-неясном вовне — не могу; и заранее обещаю, что многое в моих темах касания Блока покажется образным, т. е. рассудку неясным: ведь ясная мысль не совпадает, конечно же, с ясностью рассудочной мысли; порой ясно мыслить — наверное быть обреченным к неясному выражению, т. е. отчетливо знать, что вот здесь, например, должна кончиться ясность; и — выступает из-под нее темный смысл (для рассудка) — все ж ясный, когда мы положим его в наше сердце, и он в нашем сердце заяснится процветающим образом; выжидать, чтобы образ созрел, не кромсать его в сердце рассудочными определениями, — это значит: быть ясным.

Блок — наш национальный поэт; его участь — всем нравиться без объяснения, чем он нам нравится; объяснения — периферичны; и пониманье *умом* не покрывает глубины сердечного взятия; Пушкин понравится 12-летнему гимназистику: и ему, уже ставшему сорокалетним; сорокалетний, быть может, впервые сознает природу поэзии Пушкина; но — так ли сознает, как гимназистик? Многие не пережили *вторичного* соприкосновенья с поэтами; и — остаются при «*гимназическом*» понимании поэзии их; все оценки, диктуемые таким пониманием, — плоски; не убраны здесь предрассудки сознания; не попадает поэт в наше сердце.

Поэту нам надо подставить, как чашу, сознание наше; и ждать, иногда очень долго, чтобы струя его жизни действительно пролилась в нас;

поэт должен в нас пережить себя; мы должны наблюдать «*его*» жизнь в нашем сердце; на основании лишь такого конкретного наблюдения из нас прорастают суждения о музе его.

Понять Гёте — понять связи «*Фауста*» со световою теорией;[71] понять Блока — понять связь стихов о «*Прекрасной Даме*» с «*Двенадцатью*»; вне этого понимания — Блок партийно раскромсан и разве что отражается в однобокой политике, которую он сам называет «*маркизовой лужей*».[72] Не отдать Блока «*луже*» — пройти в его мире, где один за другим из ствола поэтической жизни, как ветви, росли его мифы; и тут упираемся мы в первообраз его: тут «*Прекрасная Дама*» встает.

Все, написанное о Ней — полно пошлости, плоскости; видеть в Ней стиль и романтику средних веков, после смытую *реальными*, гражданскими темами, — непонимание Блока; увидеть в «Ней» сказку, приятную нам, — непонимание тоже. «Прекрасная Дама» непроницаема без *вольфильства*, без *вольного* философствования; в Ней — огромная, философская тема; и Блок в этой теме конкретный философ, то есть не тот, кто штудирует серии теоретических книг, — а тот, именно, кто своим переживаньем во плоти загадывает философскую тему.

Понять философскую, или верней, антропософскую тему его без узнания импульсов, одушевлявших сознания лучших русских 1900—1901-х годов, — невозможно; национальные поэты суть органы дыхания коллективов (больших или малых, не все ли равно); мы отметили его связь с Соловьевым; она — не случайна.

Начало девятисотых годов и конец девяностых — огромное, переломное время: все кризисы, которые переживаем мы ныне, — начало свершения перелома, уже наступившего в 1901 году; очень многие русские души так встретили этот год; Блок явился вождем их. В периоде времени написанья стихов: «Ante Lucem» устремления художников и мыслителей пересекались *в темном, в досветном*; господствовал — пессимизм; небытие — разливалось; тогда Александр Александрович из себя выговаривал время, до-светное время: «Пусть светит месяц — *ночь темна*», «*Ночь распростерлась надо мною*», «*Назавтра новый день угрюмый еще безрадостней взойдет*», «*Мне снилась смерть*», «*Земля мертва, земля уныла*», «*Я стар душой. Какой-то жребий черный — мой долгий путь*», «*И сам покой тосклив, и нас к земле гнетет бессильный труд, безвестная утрата*», «*Стала душа, пораженная комом холодной земли*»; никакой еще Ее (с большой буквы) на горизонте сознанья А. А. не подымается вовсе; все женственное, что

мы встречаем в строках, сосредоточено вокруг тем Офелии, земной девушки. Так, 23 декабря 1898 года он пишет:

Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета
Без счастья, без любви...[73]

А 8 февраля 1899 года опять пишет песню Офелии; 28 мая 1900 года опять поминает Офелию он:

Мои грехи в твоих святых молитвах,
Офелия, о нимфа, помяни.[74]

Мы уже знаем, что образ Офелии связан для Блока с его ранней юностью, когда он, гимназист, играл Гамлета; роль Офелии исполняла Л. Д., будущая невеста А. А.

Лишь 29 июля 1900 года, сейчас же после кончины Владимира Соловьева, подъемлется первая тема Софии у Блока. Офелия исчезает в строках:

То *Вечно-Юная* прошла
В неозаренные туманы.[75]

В следующем по времени стихотворении, помеченном 22 сентябрем 1900 года, — опять *Вечно-Юная* («*Она*» с большой буквы):

И в одиноком поклоненьи
Познал я истинность Твою.[76]

25 ноября в том же году опять обращение к Ней:

Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.
В Тебе — спасенье.[77]

Офелии — нет.

А в 1901 году раскрывается во всей силе Ее озаренье для Блока. «*Ее*» — не называет вначале никак он; «*Она*» — не имеет ни образа, ни подобия. «*Она*» есть «*Она*».

«*Ты — лучезарное виденье*», «*То — Вечно-Юная*», «*И Ты вдали*», «*Я ждал Тебя*». Сначала «*Она*» для него без-эпитетна и без-образна. Первое более внятное определение *Вечно-Юной*: Она — Дева, Закатная и Таинственная.

Явись ко мне без гнева,
*Закатная, Таинственная Дева.**

Тогда же в поэте туманно откладывается Ее внутренний облик, живущий в душе: и он — *неизменен*.

Все в облике *одном* предчувствую Тебя.[79]

Каков этот облик в начале явления своего пред поэтом? Какие цвета сопровождают его? *Лучезарность, золото и лазурь* Ей сопутствуют: «Ты — *лучезарное* видение», «И *лучезарность* близко», «Жду волны — волны попутной к *лучезарной* глубине», «Ты над могилой — *лучезарный* храм» и т. д.

А солнечное *золото* и *лазурь* — вот они: «И Ясная, *Ты солнцем* потекла», «*Солнце разлейте*», «Этих снов *золотых*», «Нити бегут *золотистые*», «Ты *лазурью* золотою просиявшая навек», «В этой бездонной *лазури*». «Это — бог *лазурный*... шлет... дары», «кто-то шепчет и смеется сквозь *лазоревый* туман», «Ты *лазурью* сильна», «Твоей *лазурью* процвести», «Вдруг расцвела, в *лазури* торжествуя», «И... Ты плывешь в объятия *лазурных* сновидений», «Тобой *синеют*, без границы моря, поля и горы, и леса»... Эта «*лазурь*» во второй половине 1901 года уже ослабляется: в голубое: «Прошла *голубыми* путями» (16 июля), «Над Твоей *голубою* дорогой» (16 июля), «*Голубая* царица земли» (16 декабря), «*Голубая* даль светла» (29 декабря), «Смотрит, смотрит свет *голубой*» (29 декабря).

Золото и лазурь — иконописные краски Софии; иконное изображенье Софии сопровождают те краски; и у Владимира Соловьева «*Она*» — пронизана *лазурью золотистой*; или — в ней лазурь: «*О, как в тебе лазури... много*»...[80] У Владимира Соловьева Она опускается с неба на землю, перенося свое *золото* и *лазурь* к нам, сюда:

Знайте же, Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.[81]

В этом предвозвещеньи схождения на землю Ее А. А. вместе с Владимиром Соловьевым — духовный максималист.

Является стремление соединить вершину мысли с вершинною точкою личности; воплотить философию нового времени в жизнь; то стремле-

---

* Стихотворение, написанное 27 апреля 1901 года.[78]

ние — своеобразный *максимализм*, отделяющий, например, Эмпедоклову философию о стихиях от самого Эмпедокла, соединяющегося со стихией огня в мифе о том как он бросился в Этну.[82] Стремление вот к такому максимализму рождает нам тему поэзии Блока.

Фауст — абстрактный максималист до первой сцены из «*Фауста*»: до тоски по конкретному, заставляющей его взять чашу с ядом; решенье убить себя, — высекает в душе его жизнь; и жизнь отвечает: «Christ ist erstanden!»[83] И Фауст выходит в весну; там встречает он Гретхен; не понимая видения, поступает с Видением, как... Дон Жуан: Мефистофель, Рассудок, — мешает понять: Гретхен есть Беатриче, его проводница к голосу Жизни; она только зеркало, — в котором отображается Та; к Ней ангелы Фауста возносят по смерти; и там в синеве созерцает он тайну Ее, чрез Нее узнает, кем была ему Гретхен; Гретхен встречает на небе:

Der früh Geliebte,
Nicht mehr Getrübte,
Er kommt zurück.[84]

На земле Фауст Гретхен не понял: и не сумел в ней увидеть соединение Вечного с временным; разрезал в ней Вечное линией времени: убил Гретхен; убийство — самоубийство вместе со всеми следствиями — содержание двух частей «*Фауста*» и описание пути к конкретному максимализму; из «*кукольного своего состояния*» (Faust in Puppenzustand) вылетает он яркою бабочкой духа, Марианнусом:

Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan.[85]

Искание пересечения Вечного с временным, точка слияния Вечного с временным, стремление охватить время вечным — конкретные поиски молодых символистов начала столетия: *символ* их символов — акт воплощенья Виденья, ведущего к созерцанию тайны Той, которая есть Mater Gloriosa.[86]

Таков образ Музы у Блока; кончается «*Фауст*» им; им открывается Блок.

Он — поэт-символист, теоретико-практик, понявший конкретно *зарю* Соловьева, зарю наступления новой эпохи; он понял: *заря* есть сечение небом земных *испарений*; и — стало быть: понял — конкретное «*да*» той зари в переплавлении слоев жизни до разложенья телесности

на «*мозги и составы*» (прекрасное выраженье Апостола Павла),[87] до облеченья себя новым телом культуры иль ризы Ее, уподобляемой *эфирному току*, пресуществляющему отношения человеческие в «Das Unbeschreibliche».

Фаусту это лишь стало возможным по смерти; о нем возглашают небесные хоры:

Vom edlen Geisterchor umgeben,
Wird sich der Neue kaum gewahr,
Er ahnet kaum das frische Leben,
So gleicht er schon der heil'gen Schaar.
Sieh, wie er jedem Erdenbande
Der alten Hülle sich entrafft
Und aus ätherischen Gewande
Hervortritt erste Jugendkraft.

(Faust)[88]

В Видении Блока загадано Блоку: произвести на земле — катастрофический акт: совершить несовершимое.

Будут страшны, будут несказанны
Неземные маски лиц...
Буду я взывать к Тебе: Осанна!
Сумасшедший, распростертый ниц.
И тогда, поднявшись выше тлена,
Ты откроешь Лучезарный Лик.
И, свободный от земного плена,
Я пролью всю жизнь в последний крик.[89]

«*Надвигается революция Духа*» — так гласят: философия и поэзия Владимира Соловьева, никому не известный еще, замечательный «*Третий Завет*» А. Н. Шмидт и еще не поднявшийся на поверхности жизни *антропософический* западный импульс, подводящий по-своему к встрече с Софией.

А. А. Блок в первой книге стихов заостритель огромного импульса, подходящий к нему несравненно решительней Владимира Соловьева.

Уже для А. А. выявление Ее облика есть не мистический акт, а культурное делание, предстоящее, может быть, завтра же — каждому. Как философски оформить проблему и как обложить ее Кантом, Владимиром Соловьевым, — задача конкретных философов. И при помощи

философии можно растолковать: тема яркой поэзии Блока, — не сказка, не стиль; она — тема, имеющая огромное философское основание.

Блок тогда уже знал, что со старым покончено; рухнули старые формы; и времена изменились; органы восприятия — перерождаются в нас. Все грядущие *светы и тьмы* для поэзии Блока загаданы в том же образе: «*Ты*».

Не знаешь Ты, какие цели
Таишь в глубинах Роз Твоих,
Какие ангелы слетели,
Кто у преддверия затих...
В Тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма —
Разгадка всякого познанья
И бред великого ума.[90]

Понять А. А. Блока — понять: все есть для него объяснение звука *зари*, совершенно реальной; конкретностью окрашено для него наше время; и выход поэзии Блока из философии Соловьева есть выход в конкретности *факта* зари; в *воплощения* Вечного в жизнь: это поняли символисты; аллегористы и декаденты, — не поняли: все искания и воплощения возникали проблемою связи Владимира Соловьева и Федорова с философией русской общественной мысли (с Лавровым и с Герценом).

Следующая стадия: — соединение философии Федорова (воскресение индивидуального) с углубленной проблемой народничества, воскресения народного Коллектива, как хора, оркестра, которой кончается «Фауст»:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche
Hier ist's getan.
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.[91]

Только Gleichnis'ы новой проблемы становятся Ereignis'ами[92] мирового процесса, мистерией, солнечным градом и Новым Иерусалимом, Покровом Господним; и этот Покров — *Вечной Жены*, Той, Которою

кончается творчество старого Гёте, Которою начинается творчество юноши Блока: конец здесь — начало; конец гуманизма; начало антропософии, примиряющей Запад с Востоком, являющей в конце варварской, капиталистически-буржуазной культуры не древнего эллина, а ветхого деньми Скифа в провиденциальном аспекте: так «*Скифы*» загаданы уже нам в первых годах поэтической жизни А. А.; *лики* их — в складках ризы у Той, с Которой гласится:

Höchste Herrscherin der Welt,
Lasse mich im blauen
Ausgespannten Himmelszelt
Dein Geheimnis schauen...
(Goethe).[93]

Мы преклонились у завета
Молчаньем храма смущены.
В лучах божественного света
С улыбкой ласковой Жены.

Единодушны и безмолвны,
В одних лучах, в одних стенах,
Постигли солнечные волны
Вверху — на темных куполах.

И с этой ветхой позолоты
Из этой страшной глубины
На праздник мой спустился Кто-то
С улыбкой ласковой Жены.[94]

Блок эпохи «*Крушения Гуманизма*» и «*Скифов*» есть Блок, нам рассказывающий отдельные из эпизодов огромного мирового переворота, начавшегося от реакции соединения *неба с пучиною вод*: там на небе улыбка *Жены*, а из бездны навстречу выходят прообразы Скифов, протянутых к свету из-под обломков обвала гуманистического ренессанса; и скифская линия русской поэзии, голосами Есенина, Клюева и Орешина, в более поздних годах перекликается с линией, исходящей от Блока и Соловьева.

Есть у Гёте в теории красок великолепный отрывок, трактующий о моральном восприятии краски, где цвет превращается в символ морального мира; и палитра у поэта, и цвет его зорь, освещенье ландшаф-

тов его дает нам бесконечное множество черточек, выясняющих его воззрения на мир: так: поэт сам себя истолковывает в выборе цвета.

В 1899 году А. А. говорит:

Земля мертва, земля уныла...
Вдали — *рассвет*.*; 95

Через год он пишет:

На небе *зарево*...

Но все еще: —

...глухая ночь мертва,
Толпится вкруг меня лесных дерев громада,
Но явственно доносится молва
Далекого, неведомого града.[96]

Звук грядущего града к нему приближается.

А через месяц уже умирает В. С. Соловьев, раньше всех увидавший, что —

Всходит омытое
Солнце любви...
(Июнь
1900 года).[97]

Потому что, — «*Вечная женственность ныне идет!*». В месяц же смерти Владимира Соловьева Блок пишет:

То вечно Юная прошла
В неозаренные туманы.
(1900 года).[98]

Перед этим еще не был вовсе разгадан А. А. Ее образ; тот образ вставал перед ним в символическом образе Гамаюна, в стихотворении, посвященном картине В. М. Васнецова:

Она вещает и поет
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,

---

* Курсив везде мой.

Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...[99]

Так пред явлением своим в лике *Света* Она появляется в образе, мстящем: вещает грядущим «страшными летами», которые после уже воспевает поэт; все вещает она: будут — «*Скифы*» и «*Куликово Поле*» и «*Калка*»[100] и — что еще? У Владимира Соловьева *Она* появляется Девой-Обидою, плещущей крыльями; старые символы Руси далекой соединяются с новыми символами Руси грядущей, «*Слово о полку Игореве*» с «*Куликовым Полем*» будущего, возглас «*О, Русская земля, за шеломенем еси*»[101] с возгласами стихотворений Вл. Соловьева, с картинами Виктора Васнецова. Туманная атмосфера ушедшего века раскрылася в блесках огней.

Ищу спасенья.
Мои *огни горят* на высях гор.
Всю область ночи озарили.
Но ярче всех — во мне духовный взор
И Ты вдали... но Ты ли?
Ищу спасенья.

Стихотворение оканчивается словами:

Там сходишь Ты с далеких светлых гор.
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.
В тебе — спасенье!..[102]

В стихотворении намечены все особенности эпохи, в которую начинаем уже мы конкретно вступать: и напряжение чаяний, и великий соблазн от подмены (« — Но — Ты ли?»).

Предчувствую Тебя, Года проходят мимо —
Все в образе одном, предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — *тоскуя и любя*,

Весь горизонт в огне и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты?
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду и горестно и низко,
Не одолев смертельныя мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность близко,
Но страшно мне: изменишь облик Ты.[103]

В стихотворениях летних 1901 года у Блока характеристика Ее веяний совпадает во всем с характеристикой Владимира Соловьева: в *лазури* и в *золоте* оба Ее созерцают; но она выявляется в чисто *блоковском* переплетении тем; индивидуальней, интимнее звучат темы у Блока; и — далее, с осени того года рисуется нисхождение Ее в хаос стихийного мира, в «*пучину морскую*»; здесь сферы Ее пересекаются уже с сферой Майи («*Астарты*» по Блоку); и возникают соблазны, неведомые поэзии Соловьева: по-новому восстанавливается связь с Фетом и с Лермонтовым; и — появляются: врубелевские тона.

Лучезарность не сразу является в строчках Блока; она разгорается из «*огней*» («Мои *огни* горят на высях гор...», «Весь *горизонт в огне*»).

Слетает — в вихре и *огне*
Крылатый ангел от страниц Корана.
(3 июня 1900 года).[104]

Потом — «*огней*» нет: есть *лазурь* и есть *золото*.

Но «*огни*» подымаются сызнова: «Стану, верный велениям Рока, постигать *огневую* игру», «*Я* умчусь *огневыми* кругами» (18 августа), «*Пылаю я*» (2 ноября), «Как сердца *горят* над бездной», «За ладьей — *огневые* струи — беспокойные песни мои» (20 декабря), «Первый день твоей весны будет *пламенное* лето» (103).[105]

Эта вспышка огней сопровождается ослаблением *лазури* до *голубого*, от приближения Ее к сферам, где Лик начинает *двоиться* Ее, заслоняемый Ликом Астарты:

Но и ночью в час ответа
Ты уйдешь в речной камыш.
(14 июня 1901 года).[106]

Или: «*Ты — другая, немая, безликая, притаилась, колдуешь в тиши*» (23 ноября 1901 года), «*Злая дева, за тобою вышлю северную ночь*». Это уже не «*Она*», Кто — «*лазурью золотистой*, просиявшая навек».

От тяжелого бремени лет
Я спасался одной *ворожбой.*
И опять *ворожу* над тобой,
Но не ясен и смутен ответ.[107]

Тут «*она*» — с буквы маленькой.

Я все *гадаю* над собою,
Но, истомленный *ворожбой*,
Смотрю в глаза твои порою,
И вижу *пламень* роковой.[108]

И вдруг — перепутываются отношения: то, что он обращается к «*ней*» (с маленькой буквы), к Астарте, он вдруг обращается к Той, Ясной, которую помещает он в *терем* (?), Которую в терему он пытается страстно настигнуть:

И когда среди мрака снопами
Искры станут кружиться в *дыму*,
Я умчусь с *огневыми* кругами
И настигну Тебя в терему.[109]

Дым огней превращается в *тени*, которые начинают все более выступать и противиться пресуществлению Ею хаоса водного; и *лазурь* — померкает, а *золото* — то подменяется светом, а то осаждается *позолотою* на *церковных* стенах.

До осени 1901 года Она объективно сияет А. А., как Владимиру Соловьеву, а свет Ее, проницая душевность, в душевности топится, растворяется; и подымаются страстные, я бы сказал, что хлыстовские ноты *радения*, *нетерпения*, *ожидания Ее* сошествия в личную биографию; Лик Ее оплотневает; и — появляется ряд новых образов, сопровождающих главную тему поэзии Блока.

Появляется *Церковь* и *Храм*, не духовный, сияющий храм, а храм каменный. Слово «*церковь*» сперва очень редко встречаем у Блока.

Но с глубокою верою в Бога
Мне и *темная церковь* светла.[110]

Здесь А. А. нуждается в церкви еще, как в существенном знаке.

Уже в конце года в другом лейтмотиве «она» (с буквы маленькой): с атрибутами чар, как *волшебница*, выплывает в стихиях метели; тог-

да раздается звук колокола, *церковного*, которого не было прежде у Блока:

Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять волшебницей всплыла,
И в вечном свете, в вечном звоне
Церквей смешались купола.
(27 ноября).[111]

Как не похож лейтмотив этой мчавшейся в стонущем вихре «*волшебницы*» с лейтмотивом Ее: «Ты — цветешь одиноко. Ты *лазурью* сильна».[112]

Точно знанье о Ней, отлетающее, А. А. силится закрепить в тяжелейшие ризы *иконы*.

В 1902 году звучит *колокол*, прежде неслышный, для всех оглашая пришествие: «Высок и внятен *колокольный зов*», «Церковный свод давал *размерным звоном* всем путникам напутственный ответ», «Тайна жизни теплится, *благовестны звоны*», «Несутся звуки *колоколен*», «Слышу *колокол*» и т. д. В 1901 году встречи с Нею происходили в полях, а не в храме; теперь эти встречи — в «*церковной ограде*»; Она, замыкая себя в круг материи, опускается в низшие сферы; предметами культа обложены *плотно* все мысли и чувства о Ней; всюду — *церковь и храм*, храм — вещественный: «Озарены *церковные* ступени», «Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, *одетый страшной святостью веков*», «У строгих *образов*», «*Церковный свод* давал... напутственный ответ», «*В лампадном свете образа*», «Мы преклонились у завета, *молчаньем храма смущены*», «Вверху — на *темных куполах*», «Я укрыт до времени в *приделе*», «Мы живем в *старинной келье*», «Кто-то... шепчется у *святой иконы*», «Я знаю: мы в *храме вдвоем*», «*На мирные ступени всходите все*», «Люблю *высокие соборы* душой смиренной посещать», «*Брожу в стенах монастыря*», «И вечно бледный *воск свечей*, и убеленные карнизы», «Ночь долга, как ряд *заутрен и обеден*», «Внимай словам *церковной службы*», «*Огонь кадильный* берегу», «И за *церковную ограду*» и т. д. Всюду: церкви, ступени церковные, ризы, лампадки, кадила, заутрени, свечи, карнизы; везде — ограниченность: кельи, приделы, ограды. В приделы, в ограды и в кельи проходит Она; и колеблятся *тени* и *мраки* вокруг.

Лейтмотиву колоколов и церковных оград соответствуют лейтмотивы *теней* и *полусумрака*: прогнанный Ею в прозрениях 901 года, тот сумрак опять настигает. И можно сказать: мглою, тенью и сумраком —

переполнены строки Блока: так *золото* и *лазурь* предыдущего года пресуществляются в этом году в *свет* и в *тьму*. Отступление в *тень* есть последствие дерзости — Ее настигнуть, ворваться насильственно в *терем* к Ней:

Я умчусь с огневыми кругами
И настигну тебя в терему.

Это написано 18 августа 1901 года, а 24 августа слышится уже последствие «дерзости»: «Видно, дни золотые прошли»; и далее:

От себя ли скрывать
Роковую потерю?[113]

Через три дня написано:

Или великое свершилось,
И ты хранишь завет времен
И, озаренная, укрылась
От дуновения племен?[114]

И — нота раздвоенности:

И ты безоблачно светла,
Но лишь в бессмертьи — не в юдоли.[115]

Как будто бы дерзостная, катастрофическая попытка преобразить мир юдоли отражена духом тьмы; вырывается:

Смотри — *я отступаю в тени.*

То тени церквей, стен приделов и келий. И — тень поднимается над 902 годом: —

— «Бегут *неверные дневные тени*», «Здесь, в этой *мгле у строгих образов*», «Ложится *мгла*», «Сгущался *мрак церковного порога*», «В тени *не виделось ни зги*», «Из *сумрака*... шаги», «Над *сумрачным амвоном*», «*И лестница темна*», «*И сумерки вокруг*», «Там, *в полусумраке собора*», «Там, *в сводах сумрак неизвестный*», «Солнцу нет *возврата из надвигающейся тьмы*», «Там *сумерки невнятно* трепетали», «На *темном пороге* тайком святые шепчу имена», «Когда *окутанные тенью* мои погаснут небеса», «Люблю... входить на *сумрачные* своды» (собора), «*Теряясь в мгле*», «Свет в окошке ша-

тался, *в полусумрак — один*» и т. д. «Меняются, *темнеют*, глохнут стены», «*Я*... всходил... на *темные* ступени», «*И помрачились* высоты», «*Я* соблюдаю *полутьму*» и т. д. Главным образом эти сумрак и тень наполняют *соборы* и *церкви*.

Вхожу я в *темные храмы*,
Совершаю бедный обряд...[116]

Или:

А хмурое небо низко
Покрыло и самый храм.[117]

Появление *сумрака* — появление сумрака в храме, который трепещет сиянием «*красных лампад*», распространяется розовый отблеск и смешивается с погасающей *золотой лучезарностью* 901 года в ту особую, *розово-золотую*, густую и пряную обрядовую атмосферу, в которой таится нетерпеливое ожидание встречи с ней, материализованной в образ, входящий во храм. *Розовое, озаренное* заменяет *лазурь золотистую*, лучезарную. Розово-золотое есть смесь света с тьмой; вместе с тем: это розово-золотое — нетерпеливость ее ожидания. Характернейшим стихотворением этого времени я считаю стихи, по недоразумению посвященные С. М. Соловьеву:

Бегут дневные *розовые тени.*
Высок и внятен *колокольный зов,*
Озарены церковные ступени.
Их камень жив — *и ждет твоих шагов...*
Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь,
Одетый страшной святостью веков,
И, может быть, цветок весны уронишь
Здесь, в этой *мгле у строгих образов.*
Растут невнятно *розовые тени,*
Высок и внятен *колокольный зов.*
Ложится мгла на старые ступени...
Я *озарен* — я жду Твоих шагов.[118]

В приводимом стихотворении проходят главнейшие темы 902 года; *мгла*, зов колокольный и *розовость ожидания* — сейчас, непосредственно (не было нетерпения этого в предыдущем году).

Озарен: «*Я озарен*», «И путник шел, закатом *озарен*», «И дале шел закатом *озарен*», «А в лицо мне глядит, *озаренный*, только образ,

лишь сон о Ней», «*Озарены* церковные ступени», «Брезжит бледная *заря*», «А в лицо мне глядит *озаренный*» и т. д.

«*Я озарен — я жду твоих шагов*»: здесь надежда на невозможную встречу звучит нетерпением, зудом, тьмой страстности, только извне озаряемой, не прозаренной; *прозор*, прожигающий душу, становится озарением — озарением внешнего покрывала пучины страстей; оттого поднимаются ноты хлыстовства.

Нетерпением окрашен весь 1902 год: «*Я жду* твоих шагов», «*Я* укрыт до времени в приделе, но *растут великие крыла, час придет — исчезнет мысль о теле, станет высь прозрачна и светла*», «*Ждать ли пламенных безумий молодой души?*», «*Встретить брачными дарами вестников конца?*», «*Мы помчимся к бездорожью в несказанный свет*», «*К нам прольется в двери келий светлая лазурь*», «*Жду вселенского света*», «*В ризах целомудрия, о, святая, где ты?*», «*Жду я*», «*О, взойди же предо мною не в одном воображеньи*», «*Я знаю: мы в храме вдвоем*», «*Гадай и жди*», «*Она сама к тебе сойдет*», «*Я, отрок, зажигаю свечи, огонь кадильный берегу*», «*Все ждали какой-то вести*», «*К ночи ждали странных вестей*», «*Давно мне не было вестей*», «*Я вышел в ночь... несуществующих принять*», «*Яснее, ближе сон конца*», «*Там жду я Прекрасной Дамы в сияньи красных лампад*», «*Будет день, и распахнутся двери*», «*Буду я взывать к Тебе: Осанна! Сумасшедший, распростертый ниц*», «*Разгораются тайные знаки*», «*Я знаю: Ты здесь. Ты — близко*»... и т. д.

Не следует забывать, что безумные ожидания Ее близости звучат страстными криками в темном храме, слегка озаряемом трепетом красных лампад, — в миг, когда хмурое небо «*покрыло и самый храм*», ожидание это сопровождается стуками, медиумизмом и спиритизмом. («*О, как понять, откуда стук*», «Узнать, понять далекий *шорох*, близкий ропот, *несуществующих принять*, поверить в *мнимый* конский топот», «*Все диким страхом смятено*», «*И на дороге ужас веет*», «*Войдет подобие лица*», «*Но были шорохи и стуки*»... и т. д.); представьте себе обуянного исступленным экстазом, твердящего в темном храме средь «*красных лампад*» заклинанье: «Приди, о, приди!», и вам станет понятным страх ждущего, который

> ...Спрятал голову в колени
> И не покажет мне лица.[119]

Или:

> Прильнув к церковной ступени,
> Боюсь оглянуться назад.[120]

В таком состояньи понятны слова:

Ты свята, но я Тебе не верю,
И давно все знаю наперед:
Будет день, и распахнутся двери,
Вереница белая пройдет.
Будут страшны, будут несказанны
Неземные маски лиц...
Буду я взывать к Тебе: Осанна!
Сумасшедший, распростертый ниц.[121]

И вот — *накатило*: и происходит все то, что предвиделось в стихотворении:

Гадай и жди. Среди полночи
В твоем окошке, милый друг,
Зажгутся дерзостные очи,
Послышится условный стук.
И мимо, задувая свечи,
Как некий Дух, закрыв лицо,
С надеждой невозможной встречи
Пройдет на милое крыльцо.[122]

Кто же приходит? Она? Та, которую называл А. А. Девой, Зарей, Купиной, Вечно-Юной, лазурию Сильной?

Закатная таинственная Дева...[123]

Нет, не Дева уже, а... Жена. Характерно: «*Она*» изменяется в 1902 году у А. А. («Но страшно мне: изменишь облик Ты...»).

И с этой ветхой позолоты,
Из этой страшной глубины
На праздник мой спустился Кто-то,
С улыбкой ласковой *Жены*.[124]

Эту Жену, иль «жену» (с буквы маленькой), ждет как любовницу он:

Истомленный жду я
Ласковую, милую.[125]

Он ждет, что —

> Забрезжит *брачная заря.*[126]

«Жена» ему шепчет:

> Милый, милый, тебя обниму.[127]

Или:

> Там жду я *Прекрасной Дамы*
> В сияньи красных лампад.[128]

Куда же девалась лазурию сильная *Дева*? Прекрасная Дама, Жена, — вместо Девы пришла.

> Я соблюдаю полутьму
> В Ее... алькове.[129]

Как? У владычицы Вселенной — альков? Нет, — просто какая-то «*дама*»; поэтому я не верю эпитету в «*нетронутом*» алькове... И «*дама*» является: и за «*дамой*» следит он:

> И я, невидимый для всех,
> Следил мужчины профиль грубый,
> Ее србристо-черный мех
> И что-то шепчущие губы.[130]

Понятно, что после таких ужасающих перемещений сознанья воскликнешь:

> Ты свята, но я Тебе не верю.

И наткнешься, блуждая средь темных подъездов, на «*дом*»:

> Там в сумерках белел дверной навес
> Под вывеской «*Цветы*», прикреплен болтом.
> Там гул шагов терялся и исчез
> На лестнице — при свете лампы желтом.[131]

Разве не чувствуете, что происходит трагедия, переживаемая хлыстовским сознанием: прозрение подменяется озарением (*лучезарное* — розовым), озарение — исступлением, исступленье — падением отколо-

той половинки души, или бегством с *горы* инспирации к пресловутому дому «*Цветы*». Начинается с «*Девы*» («Я озарен, я жду Твоих шагов»); подменяется далее лик Зари ликом Дамы:

И от вершин зубчатых леса
Забрезжит брачная заря.

Следующее по времени стихотворение:

Говорили короткие речи.
К ночи ждали странных вестей.
. . . .
Все ждали какой-то вести.
Из отрывков слов я узнал
Сумасшедший бред о невесте,
О том, что кто-то бежал.[132]

Кто бежал? Откуда? Куда? Но отвечает следующее по времени стихотворение:

Сбежал с горы и замер в чаще.
Кругом мелькают фонари...
Как бьется сердце — злей и чаще...
Меня проищут до зари.
. . . .
Мое болото их затянет,
Сомкнется мутное кольцо,
И, опрокинувшись, заглянет
Мой белый призрак им в лицо.[133]

Вместо «*брачной*» зари остается:

Холодная черта зари,
Как память близкого недуга,
И вечный знак, что мы внутри
Неразмыкаемого круга.[134]

Преждевременное озарение светом Духа непросветленной глуби пучин подсознания вызывает огромные бури; встают — двойники (наши низшие страсти), которых не ведаем, отдаваясь голой мистике без духовной науки; когда напрягается свет, — напрягаются снизу темнейшие силы: душа — разрывается.

Лейтмотив двойника подымается в темах поэзии Блока тогда, когда он в нетерпении, упреждая все сроки, пытается настигать в терему свою Музу; двойник — страж порога духовного мира: «Уже *двоилась*, шевелясь, безумная, больная дума» (1902), «*Жду удара, или божественного дара*» (1902) (преждевременное порывание к «*дару*» приносит «*удар*»), «И, опрокинувшись, заглянет мой *белый призрак* им в лицо», «*Навстречу мне из темноты явился человек*», «*И в этот час в пустые тени войдет подобие лица, и будет в зеркале без тени изображенье Пришлеца*», «И вот, слышнее звон копыт, и белый конь ко мне несется... И стало ясно, *кто молчит и на пустом седле смеется*»... (Конечно же, — мчится, навстречу *двойник* вместо света Духовного Мира: не проработано подсознание); этот двойник то становится профилем грубым мужчины («*следил мужчины профиль грубый*»), а то он — Иуда («*возник Иуда в холодной маске, на коне*»); «*когда-то двойник*», возникая впервые в *падении* 902 года, протянут сквозь весь первый том: «*Я знаю все. Но мы — вдвоем. Теперь не может быть и речи, что не одни мы здесь идем, что Кто-то задувает свечи*», «*Мой страшный, мой близкий — черный монах*»; этот черный монах притаился в глубинах сознания рыцаря Светлой Музы: то он увлекает его в сумрак красных лампад, выговаривая из него свои страшные тайны:

Боюсь души моей *двуликой*
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.
В своей молитве суеверной
Ищу защиту у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста.[135]

Вытолкнутый из глубины подсознанья вовне, он становится «*черненьким человечком*», которого поминает А. А. в конце первого тома стихов:

По городу бегал черный человек.
Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу.[136]

Это сам рыцарь Дамы:

Я бежал переулками мимо,
И меня проглотили дома.[137]

И себя самого видит он в замечательном стихотворении первого тома:

Среди гостей ходил я в черном фраке.
Я руки жал. Я, улыбаясь, знал:
Пробьют часы. Мне будут делать знаки,
Поймут, что я кого-то увидал.
Ты подойдешь. Сожмешь мне больно руку,
Ты скажешь: «Брось. Ты возбуждаешь смех».
Но я пойму — по голосу, по звуку,
Что ты меня боишься больше всех...
Я закричу, беспомощный и бледный,
Вокруг себя бесцельно оглянусь.
Потом — очнусь у двери с ручкой медной,
Увижу всех... и слабо улыбнусь.[138]

Он видит того, кто жил в нем, но кто, убежав из него, стал гасить все «*фонарики, карабкаясь на лестницу*». Но раздвоение — необходимо; оно оттого, что душа посвященного в свете Ее (дева) — уже родила искру духа: «*младенца*».

Звезда-предвестница взошла,
Над бездной плакал голос новый —
Младенца дева родила.[139]

Младенец, рожденный от девы, есть рыцарь, живущий в приделе Иоанна:

Я их хранил в приделе Иоанна,
Недвижный страж — хранил огонь лампад.
И вот — Она, и к Ней — моя Осанна —
Венец трудов — превыше всех наград.[140]

Это — часть высших, светлых способностей, продолжающих в горних светах Ее созерцать и *в лазури*, и *в золоте* солнца в то время, когда в низших сферах сознания совершается страшная схватка с собою самим. «Постигли *солнечные волны*», «В лучах *божественного света* улыбка вспомнилась», «*Остерегающий струился свет*» (1902), «*Высь прозрачна и светла*» (1902), «Смотри, как *солнечные* ласки в *лазури* нежат строгий крест» (1902), «*В несказанный свет*» (1902), «Верю в *солнце завета*» (1902), «*Непостижного света задрожали струи*», «Ярким *солнцем* залитая шла Ты» (1902), «Крылатых слышу голоса»

(1902), «Я возвращусь к Тебе» (1902), «Не понять *Золотого Глагола* изнуренной железом мечте» (1902), «Восстав от тягостного сна, перед Тобою, Златокудрой, склоняю долу знамена», «Душа блаженна, Ты близка», «Навеки преданный Святыне во всем послушаюсь Тебя», «Подходя к *золотому* порогу, затихал пред Твоими дверьми», «Светлый меч нам вскроет двери *ослепительного дня*».

Или:

Что мгновенные бессилья?
Время — легкий дым...
Мы опять расплещем крылья,
Снова отлетим.
И опять, в безумной смене
Рассекая твердь,
Встретим новый вихрь видений,
Встретим жизнь и смерть.[141]

Изумительные переживанья и образы первого тома стихов проплетаются острою, яркою, изостренною мыслью. Напрасно считают А. А. — певчей птицей; он — певчая птица, но — мудрая птица; и — даже: в нем песня от мудрости; мудрость, софийность в А. А. не ограничивается сверх-сознанием; она простирается в сферу рассудочную, подавая порою нам поводы мыслить, что много трагедий А. А. в сфере внутренних опытов произошли от излишнего интеллектуализма его, не позволяющего мысли небесной, Софии, вструиться в мысль мозга (в мысль Канта). Сухое внимание интеллектуалиста сопровождает порой интуицию Блока, раскалывая ее; и — он говорит:

Сухим вниманьем я живу.[142]

Или:

Мой монастырь, где я томлюсь безбожно, —
Под зноем разума расплавленный гранит.[143]

Этою мыслью он числит: «И — *числю*, *числю* без тебя».

Я не достигну примиренья,
Ты не поймешь проклятых числ.[144]

Или:

И, многовластный, числю...[145]

Это счисление утомляет А. А.

Где новый скит? Где монастырь мой новый?
Не в небесах, где гробовая тьма,
А на земле, — и пошлый, и здоровый,
Где все найду, когда *сойду с ума.*[146]

Но с ума А. А. все ж не сходит, ибо в нем самосознание живо; оно обнаруживает ему грань меж рассудком и разумом, меж умом и Софией, меж мирознанием и Богопознаньем:

Передо мною — грань Богопознанья,
Неизбежный сумрак, черный дым.[147]

И, прибавлю от себя, — страх беспредельности, осознанный — им, как основа холодного кантианского мышления в пределах; недаром в стихотворении, посвященном Эммануилу Канту, он пишет:

Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки...
Такие ручки у меня.[148]

Эти ширмы — граница образования кантианских понятий. Свет дневного рассудка («*И числю, числю*») — здесь гаснет. Но он углубляется самосознанием в сумрак:

Углубись еще бесстрастней
В сумрак духа своего.[149]

И тогда этот сумрак свободно *синеет* премудростью за рассудочной мыслью, глубинностью мысли Софии:

Ты сильна, царица, глубинностью,
В твоей книге раззолочены страницы.[150]

И он проходит в сферы «*царицы, ищущей смысла*», у которой «*синие загадки*»; здесь постигает тайны кипучие живомыслия:

Никому не открою ныне
Того, что рождается в мысли.
Пусть думают — я в пустыне
Блуждаю, томлюсь и числю.[151]

Но — «*ширмы*» Канта отставлены; страх пред живой, кипучею мыслию преодолен; и он знает Гётево «Stirb und werde»:[152]

Здесь печально скажут: Угас.
Но там прозвучит: Воскресни.

И уже тут начинается мудрость:

Иду за Тобой —
Мне путь *неизвестный ведом.*[153]

Это путь к Мудрости, к синим ночам живомыслия, где

Протекали над книгой Глубинной
Синие ночи царицы.[154]

Здесь *синие* волны свободной, безмерной духовной конкретности, или софийные мысли:

Киваю *синему* раздолью,
. . . .
. . . . пустыней
Несусь в пылающем бреду,
И в складки ризы *темносиней*
Укрыл любимую звезду.[155]

Темносиние ризы — Ее; а — звезды есть звезды нераскрывшейся, издали слышимой инспирации:

Отворилось облако высоко,
И упала голубиная книга.
А... из *лазурного ока*
Прилетела воркующая птица.[156]

Воркующая птица есть мудрость, не знающая кантианских пределов, или — мысль собственно. И доверием к мудрости, к мысли под коростой внешнего исчисления дышит ряд строк.

Лишь единая мудрость достойна
Перейти в неизбежную ночь.[157]

Остальному в себе сказать надо решительно: «Stirb».

«Stirb und werde».

Что «werde»?

Отрекись от любимых творений,
От людей и общений в миру,
Отрекись от мирских вожделений,
Думай день и молись ввечеру,

Чтоб —

...дух на *грани* пробужденья
Воспрянул, вскрикнул и обрел
Давно мелькнувшее виденье.[158]

Вспыхивают огни мысли.

Мои огни горят на высях гор,
Всю область ночи озарили,
Но ярче всех — во мне духовный взор
И Ты вдали...[159]

Мысль освещает неосвещенную область ночи, а вера, соединенная с знаньем, — ведет.

Медленно, тяжко и *верно*
Мерю ночные пути:
Полному веры безмерной
К утру возможно дойти,[160]

Потому что —

Нет меры нашему познанью...[161]

Потому что —

Погибла прежняя ложь
И близится вихрь видений.[162]

Но это для того, кто умеет сочетать в мудрости жизнь и Любовь:

Как с жизнью страстной я, мудрый царь,
Сочетаю Тебя, Любовь?[163]

Сочетают несочетаемое — терны страданий.

> Терны венчают смиренных и мудрых
> Белым огнем Купины.[164]

Здесь Мудрость и «*антропос*» (человек) — *антропософически* слиты:

> Она и ты — один закон,
> Одно веленье Высшей Воли.[165]

О том гласят письмена:

> Я вас открыл, святые письмена.
> Я вас храню.[166]
> . . . .
> Со мной всю жизнь — один Завет:
> Завет служенья Непостижной.[167]
> . . . .
> Навеки преданный Святыне,
> Во всем послушаюсь Тебя.[168]

Это знанье истоков пути, превращающее *синеву в леса ангельских крылий* (опять выражение Блока), его наделяет особою, тайною силою знания.

> Ты нездешней, видно, силой
> Наделен и окрылен.[169]

Или:

> Я — меч, заостренный с обеих сторон.
> Я правлю, Архангел, Ее Судьбой.
> В щите моем камень зеленый зажжен.
> Зажжен не мной — Господней Рукой.[170]

В высотах сознанья А. А. обитала высокая мудрость, не проплавленная в мелочи жизни и их не сумевшая переплавить: в вопросе переплавления жизни А. А. упреждает все сроки; и оттого-то — трагедия всей крестной жизни поэта.

Печать тайной мудрости заставляет поэта высказывать: «*Я, изнуренный и премудрый*», «*Я знаю все*», «*Сосчитал, что никому не дано*»...

С детских лет он «искал таинственных соцветий, и, *прозревающий едва*, еще шумел, как в играх дети». «В тихом воздухе — тающее, *знающее*»...

Это «*знающее*» он таит про себя:

Я скрыл лицо, и проходили годы.
Я пребывал в Служеньи много лет.[171]

Или: «Молчаливые мне понятны, и люблю обращенных в слух; за словами — сквозь гул невнятный просыпается светлый Дух». Или: «Но во мне — *потаенное знанье*». Или: «*Никому не открою ныне того, что свершается в мысли*», потому что «*одна... отражается в каждом слоге*». Или: «И в складки ризы темносиней *укрыл* Любимую Звезду». Стих для поэта — завеса, Ее укрывающая, иль порог, не позволяющий заглянуть за черту.

Поставлю на страже звенящий стих.[172]

Так что слова поэта есть «Меч, заостренный с обеих сторон»; не поэт, а — пророк он: «*Мне в сердце вонзили красноватый уголь пророка*».[173]

И пророчественными строками порою он дышит; так, разве строки, написанные до войны и пожаров общественных, — не пророчество?

Мой конец предназначенный близок,
И война и пожар — впереди.[174]

Или: разве строки 98 года — не явный прозор:

Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых.[175]

Но эти прозрения, тайная мудрость, ему доставались наградою за неимоверную боль повседневного умирания; и криком боли сопровождает прозрения он:

«Веселий не надо мне»... «Солнцу нет возврата»...

После Видения, уму непостижного, — чувство пустыни, страдания, умирания: «избрал иную дорогу я, — иду — и песни не те»...

Какие же песни теперь? «*Было сладко знать о потере, но смешно о ней говорить*», «*Ужасен холод вечеров*», «*Смотри туда — в хаос*

безмирный, куда склоняется твой день», «*Помрачились высоты*»; отлетело Виденье, захлопнулись двери: «*Пускай другой отыщет двери, какие мне не суждены*», «*Не понять Золотого Глагола*», «*Догорающий факел закинь*», «*Я искал голубую дорогу и кричал, оглушенный людьми*», «*Все забылось — забылось давно*», «*Я один. Я прощу. Я молчу*», «*Сердце несчастно*», «*И пробуждение мое безжеланно*», «*Мне больше не надо от Вас ничего: я никогда не мечтал о чуде*», «*Днем никому не жаль меня — мне ночью жаль мое молчанье*», «*Молчаливому от муки шею крепко обойму*»; все пути к восхождению обрывались для Блока порою:

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене —
Незримый Кто-то, черный Кто-то
Людей считает в тишине.[176]

Слово *Черный* теперь подымается, как излюбленное в 1903—1904 годах, в конце первого тома: «Бегал *черный* человек», «*черный* человечек плачет», «у вас было *черное*... платье», «*черный* кто-то», «ходил я в *черном* фраке», «под копытом *чернела* вода», «в *черной* воде отраженье неслось», «*черная* ночь... увлекла» и т. д.

Все *чернеет* оттого, что

Ревную к Божеству, Кому песни слагаю,
Но песни слагаю — я не знаю кому.[177]

В конце первого тома везде грусть о Прошлом Видении. Сперва поэт смотрит на будущее; но будущее в конце первого тома уже за плечами; и — поднимается нота *прошлого* (с 182-й лишь страницы);[178] до — нет этой ноты: «Мы пропели и *прошли*», «Ушел по той же тропинке, куда *уходило вчерашнее*», «*А я забыла вчерашнее*», «*Все забылось, забылось давно*», «*Дела свершились*», «И дни *забылись*»; и поднимаются прошлые сны: «Мне снилось, что я не один», «У забытых могил пробивалась трава. Мы *забыли вчера*... И *забыли слова*... И настала кругом тишина», «*Забудьте про него*» (про чудо), «То, что *свершилось*, — свершилось в вышине», «Этой повестью долгих, блаженных исканий полна моя душная песенная грудь», «Из этих песен я *сделал* созданье», «Я знаю, не вспомнишь Ты, Светлая, зла, которое билось во мне, когда *подходила* Ты, стройно-бела, как лебедь, к моей глубине», «Я давно не встречаю румянца», «Ты *отошла*, не дав отве-

та, а я уснул, к волнам сойдя», «*Непробудная... Спи до срока*»; Видение умерло. В нем умерла Она.

Вот он — ряд гробовых ступеней.
И меж них — никого. Мы вдвоем.
Спи ты, нежная спутница дней,
Залитых небывалым лучом.
Ты покоишься в белом гробу.
Ты с улыбкой зовешь: не буди.
Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди.[179]

Первый том — потрясенье: стремительный выход из лона искусства; и — встреча с Видением Лучезарной подруги; и — далее: неумение воплотить эту встречу, обрыв всех путей; и — вторичное присягновение искусству как сфере, высвобождающей из страдания; какой красотою и болью рисует природу он после катастрофы, произошедшей с ним:

Свобода смотрит в синеву.
Окно открыто. Воздух резок.
За желто-красную листву
Уходит месяца отрезок.
Он скоро будет — светлый серп,
Сверкающий на жатве ночи.
Его закат, его ущерб
В последний раз ласкает очи.
Как и тогда, звенит окно,
Но голос мой, как воздух свежий,
Пропел давно, замолк давно
Под тростником у прибережий.
Как бледен месяц в синеве,
Как золотится тонкий волос...
Как там качается в листве
Забытый, блеклый, мертвый колос...[180]

Стихотворения, подобные приведенному, останутся вечными образцами для настоящих, прошедших, грядущих поэтов; но «*вечное*» здесь высекается — болью, молчанием, внутренним знанием. Это молчание, знание — лейтмотив, подымающийся в 1903—1904 годах, после Видения 901 года и срыва 902-го: «*Настала тишина, и голос важный, голос благосклонный запел вверху, как тонкая струна*»...[181] Этот голос

есть внутренний голос, уподобляемый сократову демону;[182] он и диктует А. А. его кованные, бессмертные строки: «*Молчаливые мне понятны*», «Ты сильна, Царица, *глубинностью*», «Люблю обращенных в слух», «Во мне — *потаенное знание*», «Никому не открою ныне», «Я тайну блюду», «Все, что в сердце твоем туманится, станет *ясно в моей тишине*», «Я не скрываю, что плачу, когда поклоняюсь, *но, перейдя за черту человеческой речи, я молчу*», «Кто-то Сильный и Знающий... *замкнул Вам уста*», «Мы мало говорили, но *молчанья были глубоки*», «Мы поняли, что *годы молчанья были ясны*», «*Тишина озаренных*», «*Тишины снегового намека, успокоенных дум не буди*», «Кто бунтует — в том сердце щедро, но *безмерно прав молчаливый*»... и т. д.

И молчание знания, добытого через смерть, высекает в поэзии Блока черты того внутреннего реализма, который видит глубинное во внешнем; реалистическая струя к концу тома стремительно крепнет; появляются: «*Желтые полоски вечерних фонарей*», «*На Вас было черное закрытое платье*»; и растет наблюдательность: «Ей было пятнадцать лет. Но по стуку сердца — невестой быть мне не могла», «Белые священники с улыбкой хоронили маленькую девочку в *платье голубом*», «Темная, бледно-зеленая детская комната. Нянюшка бродит сонная»; появляется фабрика, появляется география мест («Мы шли на Лидо»...), появляются стихотворения из газет: «Приходил человек с *оловянной бляхой на теплой шапке*», «Лошадь *влекли под уздцы на чугунный мост*», «*везли балаган*»; вчерчиваются бытовые подробности: «Сладко... в мягком, стеганом халате перебраться на кровать». Появляется выписка образа, удивительная по отчетливости: «*Зайчик розовый заплящет по цветочкам на стене*», «В золотистых перьях тучек танец нежных вечерниц»; образы получают от этого выпуклость:

Всадник в битвенном наряде,
В золотой парче,
Светлых кудрей вьются пряди,
Искры на мече.
Белый конь, как цвет вишневый.
Блещут стремена...
На кафтан его парчовый
Пролилась весна...[183]

Но Блок крепнет в своей поэтической мощи ценою страданья, ценой безглагольного тайного подвига антропософских исканий своих, не слагаемых в слово.

Стихотворения о «*Прекрасной Даме*» — эпоха в поэзии русской; ни Брюсов, ни Бальмонт, ни Вячеслав Иванов не дали своей суммой книг того мощного напряжения поэзии, которое нас встречает в одном первом томе А. А. 1904 год есть действительно праздник в поэзии русской.

И прав был, конечно, сектант, мне сказавший: «У нас есть один лишь поэт, но поэт — гениальный: поэт этот — Блок».

Впечатление от вышедшей книги стихов лишь суммировало пережития трех последних годин; стихи Блока, вошедшие в книгу, переживали мы прежде; еще до печатания: все стихи А. А. этого времени попадали в Москву, где они распространялись в литературных кружках модернистов. Но, помнится: «*Грифы*» (писатели, сгруппированные вокруг книгоиздательства «Гриф») относились к поэзии Блока теплей, горячей, чем «*скорпионовцы*»; в книгоиздательстве «*Скорпион*» доминировал Брюсов; и влияние начинающих оттеснялось влиянием Брюсова, считавшего самого себя естественным и единственным поэтическим королем; К. Д. Бальмонт, наиболее популярный поэт модернистов, в книгоиздательстве «*Скорпион*» признавался, ну, так сказать, «*Мэтром*» почетным, а не действительным; В. Иванов, в Москве импонировавший эрудицией, красноречием и годами (он был старше всех), был в кругу «*Скорпиона*» в то время естественным заместителем «*Мэтра*» Брюсова; Брюсов, Бальмонт, В. Иванов и были поэтами «Скорпиона» *par excellence* в те года; Блок был — «младший»; и — недостаточно «*скорпионовский*», чуждый по духу. Поэтому во всех оценках поэзии Блока в кругу «*Скорпиона*» проскальзывал непередаваемый оттенок холодного вынужденного признания:

— «Хороший поэт, очень-очень хороший поэт, но...»

И чувствовалось, что «но» продолжается в фразу:

— «Но... Брюсов, во-первых... Бальмонт и Иванов... Хороший поэт, но... нас, скорпионовцев, не удивишь им: мы — сами с усами...»

Так центр почитателей Блока в Москве сформировывался естественно где-то меж «*Грифами*» и «*Аргонавтами*»...

Широкая публика вовсе не знала поэта; газеты — ругнулись на книгу.[184]

В МОСКОВСКИХ КРУЖКАХ

Этой осенью (904 года) я вновь поступил, механически как-то, на филологический факультет; и оказался теперь однокурсником с моим другом С. М. Соловьевым; среди товарищей, филологов первого курса, я помню поэта В. Ф. Ходасевича, литератора и поэта Б. А. Садовского, любителя-знатока утончений классической филологии В. О. Нилендера, философа-когенианца Гордона, Б. А. Грифцова...

Университет в моей жизни в то время не занимал много времени; помнится мне, как естественный факультет постановкою лабораторных занятий невольно притягивал; став филологом, в университете почти не бывал я; интересовали меня главным образом лекции кн. С. Н. Трубецкого (по греческой философии) да его семинарий (Платон); у С. Н. Трубецкого был редкий, прекраснейший дар перемещаться в эпоху; глядеть на философию не сквозь призму XX века, а сквозь призму эпохи его; он умел, отрешившись от норм современности, вдруг низринуться в бездну времен, чтобы вынырнуть в Гераклите, в Зеноне и в Пармениде; в его изложении образы мудрецов поднимались пред нами с отчетливой яркостью; на семинариях по Платону С. Н. Трубецкой, предоставляя свободу высказываний студентам, умел создавать атмосферу серьезной, непринужденной работы; и несколько менее удовлетворяли меня семинарии у Л. М. Лопатина, на которых читали мы с комментарием «*Монадологию*» Лейбница;[185] здесь выступали обычно А. К. Топорков, Б. А. Фохт и талантливый Бердников; больше во мне пробуждал интерес сгруппированный вокруг Б. А. Фохта кружок кантианцев и когенианцев, гонимый официальными жрецами науки, предавшимися метафизическому мышлению и соплетавшими корни миросозерцаний своих с философией Владимира Соловьева (и Л. М. Лопатин, и С. Н. Трубецкой были сверстниками, друзьями, во многом учениками Владимира Соловьева); «*Задачи положительной философии*» Л. М. Лопатина перекликалися с «*Кризисом отвлеченных начал*» Соловьева, а в «*Ученье о Логосе*» и в статьях «*О конкретном идеализме*» С. Н. Трубецкого[186] для нас поднимались проблемы, уже возбужденные Соловьевым. В то время во мне пробуждалися чистые теоретико-познавательные запросы; и философия Владимира Соловьева казалася мне отвлеченно-метафизической и не основанной на подлинном гносеологическом анализе; в Соловьеве меня привлекал дух прозрения, мистики, интуиции; к неокантианству меня влек рассудок; и я с увлечением продолжал изучение кантианской литературы; руководитель студентов, при-

верженных Канту, Б. А. Фохт, дал очень мне много своими прекрасными указаниями, советами и разъяснением некоторых для меня спорных пунктов кантианской литературы. Весьма характерно; осталося у меня впечатленье, что Фохт персонально меня не любил: в том, как вскидывал он на меня свой большой умный лик, исступленный и бледный, с какою ехидною вкрадчивостью мне ставил порою вопросы, — во всем том мне чуялась: определенная, с трудом сдерживаемая неприязнь; но когда он увидел, что мне интересны проблемы критической философии, как-то он весь изменился; в двух-трех его фразах, как будто случайно мне брошенных, я находил всегда то, что мне нужно; я изредка заходил к Б. А. Фохту; он изредка появлялся у нас, у Владимировых; и — опять-таки: в брошенных мне фразах чувствовал я: педагогику убежденного кантианца.

Однажды мы встретились вечером с ним у К. П. Христофоровой; выпивая вино и потряхивая каштановыми кудрями, высказывал очень смелые мысли о дионисийстве; невольно спросил я его:

— «Но скажите, Борис Александрович, как же вы можете утверждать это, будучи кантианцем?»

На то лукаво прищурился Фохт на меня; и, показывая рукой на вино, преехидно заметил:

— «Бываем мы днем кантианцами; вечером — дионисианцы мы...»

К Фохту как-то всегда влекся я; и тем не менее сознавал, что меня очень крепко не любит он.

Я помню: студенты-философы организовали кружок, посвященный Владимиру Соловьеву; среди участников я отмечу: Свенцицкого, будущего священника П. А. Флоренского (бывшего в это время студентом духовной академии),* Эрна,** С. М. Соловьева, Сыроечковского, Шерра, Галанина, Бердникова, А. И. Хренникова и др.

Сыроечковский, которого знал в детстве я, все молчал, улыбаясь значительно (после он, кажется, приближался к толстовству); Галанин и Шерр мне всегда смутно помнились; Бердников, весь несуразный, какой-то мохнатый, бестактный, — действительно обладал удивительной диалектикой; он приходил к Соловьеву (С. М.); и ему не понравился; он говорил очень гладко; и очень логично; но чувствовалось, что он главного в мысли философов не видит; интересовало его исключительно внешне обоснование мысли; умело развинчивал, свинчивал он силлогизмы; и — только; совсем не то Хренников; чувствовалась в нем глубин-

---

* Ныне профессор, священник.[187]

** Впоследствии доцент философии, автор работ: о Сковороде и Росмини.[188]

ная мысль, и внимание к *главному* «мысли философов»; но обосновать мысль — не умел он; и — поражая беспомощным косноязычием даже; был замкнут он; мне про него говорили, что будто бы он находился под сильным влиянием Селивачевой, как кажется (оккультистки); потом очень скоро исчез он со всех горизонтов; и — про него только слышалось:

— «А, попался, бедняжка, в тенеты каких-то сомнительных опытов».

Образовалася секция истории религии при филологическом студенческом обществе;[189] и мы там собиралися под председательством С. А. Котляревского (ныне профессора); эти собрания секции привлекали много публики: привлекли к ним студентов, курсистов и академиков Лавры; здесь действовали: Флоренский, Свенцицкий и Эрн; помню: я здесь читал свой доклад «*О целесообразности*», П. А. Флоренский доклады «*О философии Кантора*» и «*О чуде*», Грифцов «*О новейшей поэзии*», Свенцицкий «*О мистике Меттерлинка*».

Собрания происходили в аудитории Университета; сперва было мало народу; мне помнятся заседания эти; молчит Котляревский, весьма снисходительно нас оглядывая; П. Флоренский — склонив длинный нос (после мы его называли порой «*нос в кудрях*»), методически обосновывает при помощи математики чудо, поглядывая пронзительными глазами из-под пенсне; а Свенцицкий, крутя густой ус, возбужденно, сосредоточенно очень посапывает, будто весь наливаясь какою-то силой; и — обдавая нас жаром (все что-то казалось, что он прибегает к гипнозу по отношению к нам); дальше несколько бледных курсистов; всегда — сестры Шерр; да еще кучка мрачных студентов; потом — повалило сюда очень много народу; была атмосфера здесь тяжеловатая.

Главная деятельность кружка «*аргонавтов*» перенеслася на «*среды*» вошедшего с нами в контакт П. И. Астрова, с которым меня познакомил неистовый Эллис, выдумавший парадоксальнейшие сочетания людей; результатом сближения астровского кружка с аргонавтами неожиданно возник сборник «*Свободная Совесть*».[190] Ядро астровцев-аргонавтов составили: П. И. Астров, А. М. Астрова, старый художник Астафьев, Шкляревский (учитель гимназии), Эллис, М. Эртель, П. Батюшков, М. И. Сизов, Соловьев, Христофорова, Шперлинг, В. П. Поливанов, Рачинский и некоторые другие; здесь часто бывали Н. И., В. И. и А. И. Астровы (братья П. И.), Эрн, Свенцицкий, Флоренский и некоторые деятели московского судебного мира, выслушивавшие горячие речи Эллиса, пропагандировавшего символизм, культ Бодлера и Данте. Вопросы общественности перекрещивались здесь с эстетикой.

Не могу не охарактеризовать хотя несколькими штрихами иных из участников «*Сред*»; ведь они появляются почти все здесь и там на пространстве «*воспоминаний*» моих.

Передо мною встает из прошедшего судья Павел Иванович Астров (тогда еще следователь): высокий, костлявый, худой, с прохудевшим, как будто измученным ликом, с впивающимися в вас по-«следовательски» глазами блистающего, серо-зеленого цвета, с заостренною небольшою бородкою, поражал он порывистыми движениями, очень нервными; было ему сорок лет; напоминал он порою испанца проскальзывающей в нем суровостью, почти аскетизмом; подсаживаясь к собеседнику, силился он быть не резким и улыбаясь с натугою, соглашаясь заранее с вами, одновременно пронзая глазами; да: в ласковость эту сперва было трудно поверить; сперва опасались его; побеждал он потом; он хватался за лоб, о колено изламывал руки (казалось, что пальцы хрустят); обхвативши руками колени, он весь замирал, в вас вперяясь и выпивая вниманием вас; приглядевшися ближе к нему, можно было понять: этот деланный жест происходил от усилия не улететь от вас мыслями; Бог весть что думал порой; его видывали на улице в одиночестве что-то бормочущим и размахивающим руками — между пролеток, — посередине Кузнецкого моста. Он, верно, молился или продумывал что-нибудь. Был вместе с тем он, где нужно, вполне деловит, наблюдателен; вечно кого-нибудь он выручал, был чистейший, прекраснейший он человек, преисполненный ясного бескорыстия. Доброта его, неумело проявленная, могла выглядеть вкрадчивостью для того лишь, кто мало знавал П. И. Астрова; вместе с тем: мягкость его затаила суровую, беспощадную жестокость себя осознавшей идеи. Словами он плохо владел; выступая в кружке, часто схватывал он своими руками колени, ломал свои пальцы, хватался за голову, невероятным мучительным напряжением выжимая слова; спотыкался на слове, молчал; и потом, вдруг откинувшись и потряся закинутой головою с полузакрытыми вздрагивающими глазами, стремительно произносил он слова — как попало, стучал кулаком; вдруг себя обрывал; переконфузившись и прижимая к груди свои руки, просил извинение. В Астрове не было середины; он весь был в углах: то — суровый и непреклонный; то — мягкий, улыбчивый и готовый на все согласиться и от всего отстраниться. Во весь рост поднимался пред вами тогда он; когда надо было кого-нибудь выручить, иль пристроить кого-нибудь из нуждающихся, кому-нибудь крупно помочь — незаметно. Казалось бы, что могло аргонавтов сближать с ним? Пописывал небольшие статейки о детских приютах,[191] любил очень скучные книжки Петрова, был часто не чуток к искусству; а мы, вот, — влеклись

к нему; он — влекся к нам, символистам. Соединял вероятно нас — *пафос*: к чему бы то ни было — благородному и высокому.

Скоро уже перешел с ним на *ты*; отойдя от него, сохранил непреклонное уважение к чистой душе его; Эллис (Л. Л. Кобылинский), придирчивый к тем, перед кем не склонялся, упоминая об Астрове, вспыхивал:

— «Павел Иванович, — рыцарь».

К нему одному, как мне кажется, не изменил никогда отношение Эллис; был прав: скольким был он обязан П. И.

Безмолвным участником «*Сред*» был художник Астафьев, Иван Александрович, очень крепкий и добрый старик, преупорно молчавший; зачем появился среди поклонников Ницше, Бодлера, Уайльда староколеннейший этот добряк, я не знаю; не проронил он ни слова, на все отзываясь кряхтением: «Эээ»... Вот, бывало, начнет проповедовать Эллис ужасную для Астафьева дикость; наморщивши лоб и покачивая головой, громко крякнет Астафьев: «Эээ... Эээ...» Я начну претуманно вещать; и опять-таки раздается откуда-то на всю комнату «Эээ...», но с оттенком отменного благодушия, означающего: «Мудрено говоришь, брат». Начнет М. А. Эртель, бывало, варить свою сладкословесную патоку, под все мнения сразу подписываясь не только руками — ногами, Астафьеву это понравится; и — просиявши, с разглаженным добрым челом пропоет на всю комнату «Эээ». Старика аргонавты щадили: он двадцать ведь лет перерисовывал тот же лик Христа — собственной композиции; и наконец — воплотил его;[192] и про Лик говорили, что это-де не искусство, а таинство; и почтенные дамы свершали паломничества на квартиру к нему: проливать перед *Ликом* потоками слезы. Фотографии с *Лика* украсили комнату не одной теософки; вы спросите: «Что же собой представлял *Лик Христа*?» Тут придется запнуться и произнесть по-астафьевски — «*Гм*», или «Эээ»: что-то в *Лике* действительно было; недаром старик двадцать лет просидел над ним; с точки зрения графики — *Лик* был посредственным, слабым, наивным произведением искусства; и все-таки: действовал. Оставалось какое-то неопределенное: «*Гм*... Эээ... Эээ...» Лишь раз возмутилися мы на упорного старика; П. И. Астров по собственному почину ему предложил разработать проект для обложки аргонавтических сборников «*Свободная Совесть*»; Астафьев принес потрясающий образчик безвкусия; в нем заглавие сборника «*Свободная Совесть*» изображало собой безобразнейший крест (горизонтально — «*Свободная*», перпендикулярно же — «*Совесть*», слова перекрещивались на «*О*»). Мы все пришли в ужас; и наседали на Астрова: не дать хода обложке; а он не хотел

оскорбить старика; нам не верил вполне он (обложка ему говорила). С трудом умолили его. Очень скоро потом на собрании *аргонавтов* во время какого-то выступления *символиста*, боровшегося с обложкою, раздалось очень грозное и откровенно презлое: «Гм — Эээ». Вероятно, старик раздражился: обложку не приняли.

Третьим членом Кружка был Шкляревский (учитель гимназии),[193] очень громко сопящий, приземистый с войлочно-жесткою бородой — столь огромных размеров, что можно бы было подумать: он есть человек допотопный; но поражал он кротчайшими, чистыми, я бы сказал, пресвятыми глазами своими; и поражал восхитительным, говорящим молчаньем; Шкляревский казался нам необходимейшим слушателем; он впивался в вас слухом; аккомпанировал, нет, не мысли: эмоции, подстилающей мысль реферата; лицо отражало его все оттенки произносимого мнения и все вибрации голоса; мы привыкли к нему; и оратор невольно всегда поворачивался к Шкляревскому: или гремел на него; и Шкляревский изображал на лице настоящий испуг, иль его призывал на вершины: Шкляревский же — следовал; раз попытался и он нам прочесть свой доклад, о Хомякове (так, кажется); тут случилося откровенное: «Гм»; мы сидели, страдая, потупившись; из всего реферата запомнил три слова лишь; если бы дать импрессию реферата, то получилось бы разве что: «Хомяков — был... Был, был, Хомяков, Хомяков... Хомяков был; он — был... То есть, так сказать: был — Хомяков... Славянофил... фил... был: Хомяков. То есть: был Хомяков — славянофил...» К счастью, муки Шкляревского были кратки; через пятнадцать минут реферат был окончен; узнали одно: «Хомяков... был... славянофил...» И учтиво погымкали мы по этому поводу: и повалили в столовую — ужинать. Отчитав реферат, превратился Шкляревский опять в гениального отразителя мыслей, здесь сказанных, — мимикой глаз; созерцая глаза его, мне хотелося часто воскликнуть: «Блаженны же чистые сердцем: тии Бога узрят».[194] Да, вот, позабыл: раз, явившись на «*Среды*», наткнулся на нового я посетителя, — на моложавого, почти юного, бритого человека, совсем неизвестного мне; лишь глаза показались знакомыми; я спросил: «Кто?» Ответили: «Не узнали? Да это Шкляревский: обрился он».

Являлся сюда регулярно Михал Александрович Эртель, историк, рассказывавший о себе, что оставлен при Университете Герье он; пречуткий, воспринимающий вас с полуслова, начитанный, разносторонний; его появления всюду сопровождалися шепотами о нем: будто бы он, овладевши санскритом, прочел библиотеки книг по буддизму и браманизму; одно было странно, что Поржезинский не слышал о нем ничего; по-

тирающий влажные руки, косящий, картавящий и в очках, с очень жалкой растительностью подбородка и головы, с явно вдавленной грудью, худой, очень нервно осклабленной доброй улыбкой, с плохими зубами, он первый подписывался под любым утверждением с парадоксальным, с банальным, с научным и не научным — своими ногами, своими руками (казалося мне почему-то, что он многоногий: одной парой ног он бредет к посвященью, другою спешит к профессуре, а третьей перегоняет смелейшие утверждения символистов, провозглашая теургию, магию, астрологию, мистику); был чрезвычайно покладист, действительно тонок, действительно чуток; умен — несомненно; талантлив — бесспорно; но... но... Вошел в общество наше через меня он; знавал его, будучи мальчиком, еще студентом; потом не видались года; появился же в нашей квартире опять лишь с 1901 года, — поразив удивительной сметливостью по отношению ко всему, что любил я; выскажешь что-либо парадоксальное; он же, вприпрыжку опережая меня, вдруг пускается в смелые выводы из моего утверждения: он ходил к декадентам; и хаживал к профессору Тимирязеву; соглашался и здесь; соглашался и там; и был «*свой*» у Танеевых; о себе говорил он: «Я, Боренька, — человек науки». И скашивал зеленоватые глазки; передавалося шепотом, что он пишет огромное сочинение, касающееся системы наук исторических; передавалося: труд тот огромен; когда он появится в свет, имя Эртеля — возгремит; все мы многое множество раз с совершенным почтеньем поглядывали на письменный стол молодого ученого, где хранилася драгоценная рукопись, долженствующая перевернуть всю науку.[195] Впоследствии Эртель от нас отдалился; и мы услышали: он — возгремел в теософском кругу; там прочитывал курсы по «*тайному знанию*»; там создалася молва, что М. А. — «*посвященный*», доселе таивший свое *тайноведенье*; об историческом сочинении говорить перестали (оно, вероятно, досель еще не окончено?) — удивительно: Эртель исчез как-то сразу и с теософского горизонта; и теософы помалкивали о нем. Где он ныне — не ведаю; кто-то мне говорил, что, женившись, презрел он и славу историка, и венец посвященного; просто-де учительствует: под Москвою он. Был он столь ласков, столь ласков, что многие не выносили такой доброты; и казалось: в присутствии Эртеля самая мебель от сладости становилась липкою: сядешь на кресло — прилипнешь; а теософские дамы любили все сладкое.

П. Н. Батюшков — внучек поэта:[196] невиннейшее благороднейшее и добрейшее существо; очень тонкий и очень неглупый, производил он порою комичное впечатленье своей непосредственностью, открытостью до... чрезмерности; при ближайшем знакомстве переходило естественно

впечатление это в живейшее удивление, в уважение и любовь; очень маленький, черненький, с длинным носом, с прилизанными гладкими, жидкими черными волосами и с несколько выпученными глазами, напоминал он священную птицу, иль — вещего индуса; он проповедовал всем теософию и прочитывал порой свои сжатые, четкие, очень осмысленные доклады, которые я доселе ценю; я жалею, что в нем не созрел очень крупный теософический деятель и писатель, себя разменявший на мелочи; и окончивший — службой в одном из московских музеев.[197] Вот личность, перед которой склонюсь я: жизненный путь был суров для него; он — подвижник какой-то.

М. И. Сизов — вдохновенный, глубокий, туманнейший в выражениях юноша от неумения высказать полноту охвативших его вдохновений, прозрений и мыслей, производил на меня очень сильное впечатление в те года; в нем боролись: философ, мудрец, мистик, лирик; напоминал мне меня он таким, каким выглядел я за три года до этого. Почему-то особенно я любил его: и ожидал от него очень многого. Отношенья мои к М. И. Сизову — не изменились в годах.[198] Он один из действительных, близких, переживших все чаянья русского символизма, бурнейшие.

А. С. Петровский, о нем говорил я не раз;[199] и о нем не могу не сказать я двух слов еще; маленький ростом, всегда моложавый, как мальчик, всегда улыбающийся, не то робко, не то саркастически, и поглядывающий внимательно из-под пенсне небольшими, но умными карими своими глазами — не выдавал он огромных моральных в нем бивших исканий; и больше — молчал: только изредка взрезывал метким словечком невольную фальшь; его многие очень считали язвительным, саркастическим, «*угашающим свет*»; но средь ряда годин (уже 22 года с ним связан я)[200] мне стоит он охваченный пламенем яркой любви и морального пафоса; жизнь его — самопожертвование; и работа: для близких, для страждущих, для культуры; необходимость присутствия А. С. Петровского во всех лучших кружках возникала естественно, хотя он не был автором замечательных сочинений; и не был оратором; он бы мог быть и тем, и другим; необычайная скромность, преувеличенная самокритика отрезала его всегда от поверхностных выявлений; он сам себя с удивительным упрямством усаживал в тень; между тем: всеми чувствовалась — необходимость Петровского; он оказывался приглашенным всюду: присутствовал в соловьевском кружке (и М. С. и О. М. Соловьевы ценили его чрезвычайно, считаясь с его мнением); был всегда коренным аргонавтом, участвовал в организации фракции истории религии при Университете; Свенцицкий и Эрн долго звали его в «*Христиан-*

ское братство борьбы»[201] (он, провидевши фальшь, отклонился от братства); он был учредителем Московского Религиозно-Философского Общества,[202] и без него был немыслим «*Дом Песни*» д'Альгеймов,[203] куда П. И. д'Альгейм всегда призывал его, с ним считался, советовался; и впоследствии А. С. Петровский был действенным начинателем «*Мусагета*», заведуя отделением «*Орфей*»;[204] еще позднее все бремя издательства «*Духовное Знание*»[205] лежало на нем; всюду, всюду, где лишь возникали культурные начинания и вставал вопрос, кого б пригласить на организационное собрание, говорили: «Конечно же Алексея Сергеевича». И Алексей Сергеевич, маленький, моложавый, как мальчик, лукаво поглядывая из-под пенсне, появлялся, садился, молчал, чутко вглядываясь и вслушиваясь; если казалось ему, — что начинание дуто, он исчезал так же тихо, как появлялся; а если он видел действительность обсуждаемых планов, он незаметно, само собой начинал помогать, как умел (а умел он всегда помогать: здесь — советом, там — дружескою поддержкою, там — ссылкою на литературу). Самые разнообразные люди считались с ним: Эллис, Рачинский, М. С. Соловьев, Эрн, Свенцицкий, А. Блок, Вячеслав Иванов, Бердяев, Морозова, Гершензон, братья Метнеры, М. А. Оленина-д'Альгейм, П. И. Астров, еще кто? Не говорю о себе: я считаю, что многое, очень многое из того, что составило устремление моей жизни, возникло, конечно же, не во мне, а в кругу, очень маленьком, подлинных культур-трэгеров — символистов, среди которых Петровский — незабываемая фигура, оформившая устремления многих деятелей тогдашней Москвы.

Разумеется, он оказался естественным посетителем «*Сред*»: не читал рефератов, но тем не менее на атмосферу собраний влиял.

Собиравшиеся у Астрова разделялися: на молчаливо присутствующих, составлявших как бы деятельный фон атмосферы кружка, на референтов и оппонентов; здесь выступали с докладами: В. П. Поливанов, я, Эллис, Рачинский, С. М. Соловьев, М. И. Сизов, П. И. Астров, П. Н. Батюшков, М. А. Эртель; и — многие другие, порой случайные посетители.

Собрания начиналися часов в 8; и длились до часу; происходили ж они на Каретной Садовой, в небольшом деревянном домике, принадлежащем Цветковой, матери жены Астрова (здесь Астровы жили); бывало, звонишься: и П. И. Астров, усиленно улыбаясь, порывисто как-то влетая в переднюю, ласково пожимает нам руки; глядишь, небольшая зала полна: вот неистовый Эллис, прижав к стенке брата П. И., Н. И. Астрова, проповедует культ Бодлера, в то время как Эртель и Батюшков, схвативши друг друга за руки, таинственно соглашаются

с чем-то (одно время всюду держалися парой они); у стенки сидят: А. М. Астрова, Т. А. Рачинская, М. В. Шперлинг, Цветкова; Петровский протирает пенсне в уголке; из соседней же комнаты «*гымкает*», «*экает*» очень довольный Астафьев; Шкляревский уже приготовился слушать.

Потом начинается заседание. Астров, подняв кверху голову и закрывши глаза, произносит очередное вводительное очень корявое (но чрезвычайно благородное) слово; затем кто-нибудь (чаще Эллис) сверкает фонтанами непередаваемых, гениальных порою импровизаций, на темы: «*Бодлер*», «*Роденбах*» или «*Данте*» (когда Эллис пишет, то все это — тускло; когда говорит — яркий блеск); после же ряд многословнейших прений, в которых: блеснет эрудицией Г. А. Рачинский, проплатфор⟨мир⟩ую я («*символизмом*», конечно); скептически усумнится во всем Поливанов; талантливо преувеличит доклад М. А. Эртель; все то происходит под «*эканье*» И. А. Астафьева. После пройдутся в соседнюю комнату — ужинать: задушевнейшие разговоры здесь именно поднимаются; разговором же чаще всего овладевает Рачинский, попыхивая дымком папиросы и всех побивая свирепейшим градом цитат.

«*Среды*» Астрова длились несколько лет; здесь являлись впоследствии разнообразные люди: проф. И. Озеров (с нами беседовавший на тему «*Общественность и искусство*»), проф. Громогласов (из Академии),[206] прив.-доц. Покровский, Бердяев и В. И. Иванов; П. Д. Боборыкин однажды прочел здесь доклад. Многообразные темы докладов сменяли друг друга; в сезон 904—905 годов мне запомнились рефераты: мои («*О пессимизме*», «*Психология и теория знания*», «*Апокалипсис в русской поэзии*», «*О научном догматизме*»), Эллиса (2 доклада «*О Данте*»), М. Эртеля («*О Юлиане*»), Сизова («*Лунный танец философии*»), Шкляревского («*О Хомякове*»), П. Астрова («*О свящ. Петрове*»); В. П. Поливанов читал свою повесть, поэму «*Саул*», Соловьев — им написанную поэму «*Дева Назарета*»[207] и т. д.

Впоследствии «*астровская*» общественность вылилась в кадетизм; и мы с ним разошлись («*аргонавты*» держались гораздо левее); но дружеское отношение с П. И. Астровым сохранили надолго мы. П. И. Астров в те годы старался естественно сочетать устремление к эстетизму с моральным, сверкающим пафосом; этот-то пафос нас влек к нему.

Продолжался кружок «*Скорпиона*»; и собирались у Брюсова в очень строгой, и простенькой очень, квартирке, ютившейся в белом домике, на Цветном бульваре; стиль этих собраний — иной: деловитый,

сухой и натянутый; не было здесь задушевных бесед, ни искрящихся мнений; чего-то конфузились все; проходили налево в весьма небольшой весь обставленный книгами кабинет; В. Я. Брюсов, застегнутый на все пуговицы сюртука, деловито и чопорно вырисовывая в воздухе геометрическую фигуру, протягивал руку:

— «Пожалуйте, очень рад».

И, бросаясь руками к пустующему сиденью, склонял свою голову: этим жестом всегда приглашал он садиться; сам сядет у письменного стола; перед ним занемотствуют два-три поэтика (юных); им что-нибудь Брюсов гласит назидательное:

— «У Пушкина, например, — он гортанит; и — „*цап*": рука выхватит с полочки томик Пушкина (он глазами на полку не взглянет), — У Пушкина, например», — и уже В. Я. Брюсов читает и комментирует Пушкина.

— «У Баратынского же» (рука бросила томик Пушкина, он — влетает на старое место: выхватывается Баратынский). — «У Баратынского мы читаем другое...»

— «У Алексея Толстого» (и Баратынский бросается, рука Брюсова загибается за спину, из-за спины без ошибки вытаскивается том Толстого)...

Поэтики, я, жена Брюсова, Жанна Матвеевна, — внимаем: да, так почтительно, деловито и строго; как будто бы то не журфикс, а — урок, семинарий поэзии; все мы ходили учиться сюда; слушать Брюсова: он — школил нас. Позвонится, бывало, Курсинский, иль Гофман, иль Бахман, Волошин, когда он в Москве; человек соберется 7—8; проходим в столовую; передаются за чаем текущие литературные новинки, сплетни; и слышатся колкости: по адресу врагов «*Скорпиона*»; и Брюсов — доволен; он — дергает губами, сверкая зубами; глаза ж остаются серьезными; после за чаем читают стихи: по старшинству; В. Я. Брюсов — сперва; после — я; коль придет К. Бальмонт, старшинство — за Бальмонтом; здесь сухо и скучно, и строго: но поучительно, деловито, полезно бывать здесь (обязан я многому брюсовским вечерам); все ж, бывало, — раненько уходишь: хорошенького понемногу.

Бывал у Бальмонта по вторникам (с 3 до 5); тут за чаем всегда: Соколов, кто-нибудь из Сабашниковых, Андреева, часто Минцлова (здесь познакомился с Буниным я); постоянно здесь сиживал очень культурного вида военный, внимательно вслушиваясь в литературные фейерверки Бальмонта: В. Ф. Джунковский (впоследствии — губернатор);[208] на «*вторниках*» не было ни веселья, ни поучительности; цен-

тром всего был Бальмонт; здесь старалися говорить утонченно, витиевато, изысканно приготовляя произносимую фразу; и потому-то здесь не было простоты.

Продолжалися и мои воскресения;[209] читателю станет понятно: общенье с людьми отнимало все время.

Особенно напрягались отношенья с Брюсовым; в разговорах, во встречах с ним напряжение вырастало; с особенной остротою вычерчивалась наша прямая противоположность во всем; прежде Брюсов старался ко мне подойти (мы обменивались часто письмами); но в подходе ко мне ощущал постоянно я некоторую предвзятость и обостренное любопытство, меня заставлявшее как-то сжиматься; теперь точно скинул он маску; весь стиль наших встреч — откровенное, исступленное нападение Брюсова на устои моего морального мира; и я отвечал не предвзято на это — перчаткою, брошенной Брюсову; между нами господствовал как бы вызов друг друга на умственную дуэль;[210] все-то чувствовалось, что между нами в глубинах туманного подсознания нашего назревает конфликт; и порою мне было не по себе в «*Скорпионе*»; да, если бы не С. А. Поляков,* с неизменною мягкостью выраставший меж нами, смягчавший углы между нами, наверное я б очень громкою ссорою с Брюсовым отошел от «*Весов*».[211] Но С. А. гарантировал мне свободу всех действий: и я — оставался в «*Весах*».[212]

В это время В. Брюсов проделывал опыты в области гипнотизма и магии; интересовался историей оккультизма; выкрикивал, вытянув шею, на «*средах*» своих:

— «Не читали вы разве об опытах Барадюка?[213] И — даже: можно фотографировать мысль».

Был упорнейшим экспериментатором в области спиритизма; вовлек в спиритизм он Петровскую. В нем наблюдал: смесь иронии, скепсиса с откровеннейшим суеверьем, в которое просовывался цинизм; он говаривал:

— «Неизвестные силы можно утилизировать».

И мечтал о возможности ⟨sui generis⟩ психических телефонов; естественно привлекался он к виду явлений, характеризуемых *черномагическим знаком*; и в шутку прозвали его *черным магом* когда-то.

С весны 1904 года я стал ощущать совершенно невзрачную атмосферу вкруг Брюсова; в мире сознания Брюсова виделись щели, откуда тянул неприятный сквозняк *того мира*, запачканного отбросами дрянных бесенят, обитавших у *черного входа* иных измерений; из щели сле-

---

* Редактор-издатель «Весов».

тали не бесики мира астрального, — когти их, шерсть (или — *псина*); в ту щель совершали из Брюсова подозрительные астральные негодяйчики свои — как бы сказать: ну — естественные отправления (прямо на голову вам). В. Я. Брюсов не знал, что он делается канализационной трубою (оттуда — сюда) — нечистот *того* мира; так я оплотнил бы словами свое впечатленье от жестов В. Брюсова; его сознанье, засохши, давно порастрескалось; часть его явно отпала от жизни рассудочной, и — протекала в кошмарах; рассказ у него есть: рассказ о субъекте, который из снов, своих собственных, пролезал — в сны знакомых; и в подсознании их совершал сатанинские гадости, вплоть до садических пыток;[214] в одной половинке сознания своего, в половинке дневной, Брюсов силился натянуть на себя сюртук трезвости; а в другой половинке (ночной) он был — дикий, которого следовало б держать на запоре; но внешне был Брюсов корректен.

Во мне создалось впечатленье от Брюсова: медиум. Чем трезвее, рассудочней, четче в своих проявлениях был он, тем пьянее, безумней, сумбурней он был — под рассудком; обходим мы грязную лужу инстинктом; так я инстинктивно старался закрыться от Брюсова; он то — заметил; истолковал жест мой страхом пред ним; он избрал меня целью своих подозрительных опытов; чувствовал: Брюсов — внушает: мне окунуться в мир мрака; вниманье его к моим мыслям о нем отзывалося: Брюсов гипнотизер; я ощущал органически; нападала сонливость; и — лезли какие-то гадости; чувствовал: внутренний мир — осквернен злою волей. Феномен — не правда ли, интересен?

Однажды, в Университете на лекции чьей-то,[215] почувствовал я мне знакомый припадок сонливости, сопровождаемый атрофиею воли; в оцепенении подымались в сознании образы *шабаша*; кто-то меня поливал сонным мороком: встал — и пассивно побрел в Александровский сад, увлекаемый точно туда; был октябрь; облетали последние листья; шуршали у ног; боковою дорожкою сада я плелся, как сонный; вдруг вижу: на лавочке, передо мною, и не видя меня, — сидит Брюсов; лицо — протянулось; отвисла кровавая очень губа; широкополая шляпа — отъехала; вылупились, остеклели глаза; ушел в думу — в упорную; кисти рук, зажимая крючкастую палку, дрожали; он был — вне себя, напоминая шамана, клянущего ему подвластного духа: и — екнуло: гипнотизируемый дух — я; в выраженьи лица В. Я. Брюсова было отчетливо выраженье, которое отзывалось во мне поливаньем меня осквернявшей сонливостью; екнуло: — Брюсов гипнотизирует.

Внешне владел я собой; подойдя быстро к лавочке, тихо сказал я:

— «Валерий Яковлевич».

Как вздрогнет. Как — вскочит. В смятении нахлобучивши шапку на лоб, точно вор, он как — воскликнет:

— «Борис Николаевич, — странно: как раз я здесь, сидя на лавочке, думал о вас».

Я чуть-чуть не ответил:

— «Валерий Яковлевич, я — знаю, что вызвали из Университета меня; над душою проделываете эксперименты, предвиденные криминальною психологией», — но ответил:

— «Вот как».

Поговорили о пустяках; распростились; свинцовые тучи неслись; под ногами шуршали багряные листья; пыль взметывалась и ела глаза мои.

Был потрясен: понял связь меж припадком сонливости и невольными встречами с Брюсовым: у Бальмонтов, у Соколовых. Во время тех встреч с непонятным упорством тянулся ко мне В. Я. Брюсов; невольно и я привлекался к нему; возникали острейшие разговоры, напоминавшие поединок двух рыцарей (*черного* с *белым*); и Брюсов доказывал: будущее — за тьмою, за Гадом, за злом; и подмигивал: «Что там: не верите в свет; свет в вас — поза; вы — темный: гасите светильник. Хотите — на черные мессы?» Я внутренне отвечал: «Светит свет: тьма его не объяла».[216] В беседах все Брюсов подмигивал: «Белый дурак: доканаю тебя». И теперь возвращаясь домой, я отчетливо связывал нападающую сонливость с упорными нападеньями Брюсова; понял, что забегания Брюсова с пустяками ко мне на квартиру — предлог для внушения.

С той поры вместо гадкой сонливости передо мной возникала Химера: уродливый образ Брюсова, рыскающего полоумно по бессознанью; вытягивалась безмерно его шерстяная рука, чтоб, схватив, сбросить в пропасти бреда; для отражения образа воздвигал моей волею противообраз: себя самого в виде рыцаря, отсекающего мечом сатанинскую руку; душевно боролся, чтоб сбросить кошмар: брюсоподобное чудище: чудище — нападало; борьба — продолжалась недели; и знал, что борюся с гипнозом, источник которого — воля Брюсова: погубить, разложить и морально унизить.

Но — почему меня именно выбрал экспериментом своих оккультических фокусов он? Повод — был... и вот он прибегал к... гипнотизму (так это тогда отдавалось во мне; может быть, все — не так; ведь описываю я, о конечно, не внешнее: факты сознания моего того времени).

Внешне же разговоры с В. Брюсовым волновали меня; в них была — острота, изощренность, эквилибристика логикою, моралью и эстетическими парадоксами; никогда я не видывал Брюсова более ост-

роумным; не будь странного факта, питающего разговоры те, — я б относился к ним, как к духовным подаркам; но вот: после миленького подарка, когда я ложился в постель, отдаваяся сну, — вставал безобразный кошмар; появлялася нечисть; вы помните гоголевского молодчика, раздаривавшего мониста и побрякушки в шинке, чтобы ночью тащиться к хозяевам побрякушек во образе страшного Басаврюка.[217] Я Брюсова стал наблюдать: под личиною внешне составленных фраз можно было расслушивать отчетливые угрозы, которых смысл: я — тебя погублю.

Ощущения нападения подымалися ночью; и — странно: в то время в квартире возникли типические спиритические явления; я узнал совершенно случайно о них от прислуги, от матери и от тетки, у нас проживавшей:[218] у нас в коридоре отчетливо раздавалися шепоты и шаги; раз прислуга на кухне услышала выстрел — за дверью; открыли: но — пусто; у тетки погасла наполненная керосином горящая лампа — внезапно, как будто ее погасили: при ней; в это время произошло у нас перемещение комнат; я перебрался в ту комнату, где жила моя мать, а она — в мою комнату (Брюсов в ней часто бывал): и — вот: в первую ночь своего новоселья мать слышит сквозь сон — шепот: в уши:

— «Борис Николаевич, — а, Борис Николаевич».

Вскрикивает, спросонья бросая:

— «А? Что? *Кто?*»

И отчетливо — слышит:

— «Я, Брюсов».

За утренним чаем рассказывает этот случай с ней мне; о моих странных мыслях о Брюсове ничего она ровно не знала; и я — промолчал, намотавши на ус:

— «*Так*».

В те именно дни на моем воскресенье сошлись Б. А. Фохт, П. И. Астров, С. М. Соловьев, В. Я. Брюсов, С. А. Соколов; было душно; я чувствовал: точно в горле моем нет ни капельки воздуха; Брюсов, жонглируя парадоксами, будто подмигивает:

— «Да вот: таки тебя сброшу в пропасть». Он же, встав и поблескивая глазами, ткнув руку за борт сюртука, разорвавши свой рот, угрожающе заклокотал на всю комнату стихотвореньем, в котором описывался волк, подкравшийся к овцам:

Спите, мирные овечки, —
Тра-ла́ла́-ла́ла́-ла́ла́...[219]

Это «*тралала*» к каждой строчке звучало так жутко; в тот вечер, играя с гасильником, он погасил наш настенник, как бы невзначай;

очень скоро затем получил от него я стихи, посвященные мне, под заглавием «*Бальдеру — Локки*»;* в стихах заключалась угроза:

Я слепцу стрелу вручу:
Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу.

Стихи он стрелою свернул: и оканчивались они строчками:

Но последний царь вселенной
Сумрак, сумрак — за меня.[221]

Тут я пришел в ярость: сомнительно упражняться в смешках или, хуже того, в подозрительных гипнотических опытах, экспериментируя над моей сензитивностью, — нет: довольно! На этот раз не ограничусь пассивным отпором, но нанесу сам удар. И, собравши от сердца моральную силу, скопив электричеством силу, провел ее в голову, вооружившись, как шлемом; и вспыхнули копьями молний ответные строчки, перетекли в руку, вытекли из руки молневидным разительным острием: пропитали бумагу; я знал: ответ — действенен; стихотворенье — забыл; но запомнились строки:

Моя броня — горит пожаром;
Копье мне — молнья; солнце — щит:
Не приближайся: в гневе яром
Тебя гроза испепелит.[222]

Пока писал — чувствовал: через меня пробегает нездешняя сила; и — знал: на клочке посылаю заслуженный неотвратный удар (прямо в грудь), отучающий Брюсова от черной магии — раз навсегда; грохотала во мне: сила света. Как схваченный Божьим вихрем, я карою несся на Брюсова по душевным пространствам; я скоро узнал от лица, у которого Брюсов бывал и с которым любил откровенничать он, — о последствиях; получивши стихи, в ту же ночь Брюсов видит: мы — боремся; происходит дуэль на рапирах-де; я-де ему протыкаю рапирою грудь; с очень сильною болью в груди он проснулся; и сон удручил его. Передаю то, что слышал; лицо, рассказавшее это, наверное, прочитает написанное: может поправить меня, если я ошибаюсь.[223] Мы с Брюсовым, разумеется, никогда не касалися этих феноменов моего морального

* Потом посвящение снял он.[220]

мира: реальной, астральной борьбы, завершившейся в моем мире ударом копья в его грудь, отчего он слетел с круч морального мира в глубокую яму. Я знал до рассказа о сне: Брюсов-маг — мной разбит;[224] и — стремительно сброшен к лемурам дешевого скепсиса: остается ему ковылять, подпираяся костылями позитивизма на протяженьи теперешней жизни его; с того вечера: пропал Брюсов, стращавший в астрале; и не было нападений, угасли в квартире «*феномены*»; воля Брюсова была сломана: сброшен гипноз.

В это время им были написаны строчки:

Опять душа моя расколота
Ударом молнии: и я, —
Вдруг ослепленный вихрем золота,
Упал в провалы бытия.[225]

В то же время писался и «*Огненный Ангел*»; там — сцена дуэли меж графом Генрихом и героем романа; иные контуры сцены напоминают мной пережитое.[226]

Ощущение Брюсова, как разбойника, нападающего на астральных дорогах, и бывшее все меж нами (включая рассказ о сне Брюсова) — интереснейший матерьял для исследования в психической сфере; я после не думал о бывшем.

Я встретился с Брюсовым вскоре у К. Д. Бальмонта;[227] он хмуро едва подал руку, имел очень жалкий растерянный вид (о стихах, мною посланных, он — ни звука); ретировался: казался вполне посрамленным; прекратились надолго с ним встречи; ко мне — не заглядывал; оборвались интересные разговоры; впоследствии говорили лишь о «*весовских*» делах, о корректурах, рецензиях, литературной политике; с той поры в нем и наметилась та особая затаенность по отношенью ко мне, которую переживал я мучительно: точно он внутренне не глядел мне в глаза.

В эту битву свою посвятил я С. М. Соловьева, Петровского, П. А. Флоренского;[228] двое последних дружили и проживали в одной общей комнате, в Сергиевском Посаде на положеньи академистов, готовящихся к духовному званью; Флоренский был сведущ в проблемах психизма, начитан в литературе (святоотеческой, светской); ко мне приезжали из Лавры они; был у нас обстоятельный разговор; всё рассказывали Антонию, как мужу «*опыта*».[229]

В это время с Флоренским я часто встречаюсь; мы много беседуем с ним о проблемах теории символизма; ему излагаю я контуры «*Эмбле-*

матики Смысла»;[230] а он посвящает меня в свои домыслы о нарастании смысла.

Борьба с В. Я. Брюсовым мне давалась не легко: предо мною порой раскрывался «*маг*» Брюсов, не брезгающий гипнотизмом и рыщущий по сомнительным оккультическим книжкам, как рысь по лесам, за отысканием приемов весьма подозрительного эксперимента; открылся мне «*лик*» его, *напоминающий лик душителей*, изображенных им в драме «*Земля*».[231] Мне был чужд, неприятен и, более того, отвратителен «*Брюсов*», сидящий в Валерии Брюсове, делающий порою большого поэта отъявленным бесноватым Гадарры.[232]

Я был совершенно измучен. Меня вызывали давно Мережковские в Петроград; звали Блоки; я помню: в одном очень длинном посланьи к А. А. жалуюсь на меня угнетавшие обстоятельства жизни;[233] в ответ получаю: приветливую телеграмму от Блоков (А. А. и Л. Д.); в ней — тревога; и — зов: «*Ждем*».[234]

Я — еду.

ЯНВАРЬ

Помню: выехал я из Москвы вместе с матерью: мать отправлялась к подруге своей; в атмосфере тревожащих слухов мы тронулись в путь; из отрывочных, нервных газетных известий нельзя было точно понять, что творилось: лавиной росла забастовка; впервые теперь появились не всем нам понятные вести о роли Гапона.

Кто он?

Мы приехали в день — знаменательный ныне: то было девятое января, ничего не сказавшее в поезде нам; мы разъехались с матерью в разные стороны: к Е. И. Че—вой[235] — она; по направлению к Гренадерским казармам, на Петербургскую сторону — я, к пригласившему офицеру, любезно отдавшему мне помещенье;[236] в той самой казарме жил Блок; мой знакомый служил под начальством у отчима Блока, Кублицкого-Пиоттуха, батальонного командира.

Меня поразил взбаламученный вид Петербурга; еще в парикмахерской бривший меня парикмахер решительно мне заявил:

— «Так нельзя больше жить!»

— «Вот сегодня рабочие отправляются к Государю, который их примет!»

Спросил:

— «Примет ли?»

— «Как же иначе: примет! Пора прекратить эксплуатацию: а пойдут они мирно, с иконами. Все мы пойдем! Как не примет? Всех примет!»

И тоже гудело вокруг на перроне вокзала:

— «С иконами!»

— «Примет!..»

— «Не примет!..»

— «Умрем, а не будем так жить!..»

То же самое глухо, взволнованно чмокал губами извозчик, ко мне повернувши сизеющий нос:

— «Как же, барин!»

— «Рабочие, стало быть, правы».

На улицах оживленно сроились немногие, напряженные черные кучки размахивающих руками людей; в нервных жестах стояло:

— «Пойдут!»

— «Не пойдут».

— «Уже пошли...»

— «Примет!»

Перебегающие мальчишки перебегали не так, как всегда, — с дерзким присвистом; в темно-малиновый контур студеного солнца струились, синея, дымки; и дымки — столбенели, висели; они поднимались от кухонь солдатских, походных, поскрипывающих здесь и там; пехотинцы топтались у дома; а где-то, с забора, где кучка стояла, — несло:

— «Да!»

— «Пошли уж: с иконами!»

— «Неужели же будут стрелять: по иконам!»

— «Не будут...»

А у Литейного моста решительно топотала ногами на месте готовая рота походных солдат, в башлыках, с покрасневшими, хмурыми лицами; два офицерика переговаривались и окидывали проходящих растерянными улыбками, точно хотящими доказать:

— «Это — так себе...»

— «Ничего...»

— «Просто тут мы стоим...»

— «Постоим, и — уйдем».

Переехавши мост, я поехал по набережной: вот — казармы, у набережной; и от набережной широко заширели просторы промерзшей воды; бросишь взгляд — станет сыро.

Заехав на чистый, просторный казарменный двор, отыскал без труда я квартиру знакомого офицера; звоню: открывает денщик, заявляет, что *«их благородия»* — нет; они нынче с отрядом — у газового, у завода: по случаю забастовки; и — всего прочего; мне — приготовлена комната.

Прихожу умываться; денщик — за мной следом:

— «Казармы-то...»

— «Пусты...»

— «Полк выведен...»

— «Защищают мосты...»

Я подумал, что мой офицер точно так же стоит перед хмурою ротой топочущих в снег, башлыками закрытых солдат; и закуривает с таким видом, как будто он хочет сказать:

— «Ничего, ничего...»

— «Постоим, и — уйдем...»

Я подумал: неловко же пользоваться гостеприимством хозяина, вышедшего на рабочих (рабочим сочувствовал я). Кто *тогда* не сочувствовал им? Размышлять было некогда; отказаться от комнаты без объяснения с хозяином — как-то неловко; да и притом:

— «Постоят, и — уйдут...»

— «Ничего...»

— «Не стрелять же они собираются?»

Как мы наивны все были в то утро!

Оправившись, поспешил я к А. А.; в этом корпусе обитали, как кажется, все офицерские семьи; все двери квартир выходили в огромнейший каменный коридор, пересекающий корпус; квартира Кублицкого выходила туда же; на двери, обитой, как помнится, войлоком (серым), блистала доска: «*Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух*». И тут я — позвонился; открыл мне денщик (мы потом с ним дружили, обменивались чаями и понимающими улыбками: «Дома-с, пожалуйте!»); я очутился в просторной, чистейшей передней с высокими потолками пред желтыми вешалками.

— «Пожалуйте».

— «Завтракают».

Дверь — распахнулась: и просветлел кусок комнаты с окнами, открывающими широкий и сирый простор; перерезая кусок белой комнаты, там показалась знакомая голова, с волосами рыжеющими, сквозящими заоконным простором; то был А. А. Блок — в фантастической, очень шедшей, уютной рубашке из черной, свисающей шерсти, без талии, не перетянутой поясом и открывающей крепкую лебединую шею, которую не закрывал мягкий, белый, широкий воротничок; А. А. был

в нем без галстуха (à la Байрон). Конечно же: Любови Дмитриевне принадлежала идея рубашки, потом появившейся на Аусленддере, на Вячеславе Иванове, перенявших фасон тот; лицо закрывали глубокие тени передней; и все же: оно — показалось мне бледным, а сам А. А. мне показался, конечно же, перерисованным со старинных портретов.

Первый вопрос, им мне брошенный:

— «Что?»

— «Ну?»

И я — понял, в чем дело:

— «Да говорят, что пошли...»

Торопливо, взволнованно встретились мы, обменявшись быстро приветствиями; золотая головка Л. Д. в зеленовато-розовом широчайшем капоте стояла в дверях:

— «Вот и Боря».

— «Борис Николаевич», — повернулась Л. Д., отвечая кому-то, с салфеткой в руке...

— «А мы — завтракаем».

— «Ну что?»

И меня повели через белую комнату, с окнами, за которыми сиротливо ширели пространства оледенелой воды; у подоконников поднимались, как помнится, листья растения, поливаемого Александрой Андреевной; узнал ту же все чистоту бледно-желтых паркетов, сопровождавшую Александру Андреевну повсюду; мне бросилась мебель, зеленая, старых фасонов, не подавлявшая, но расставленная приветливо, с пониманием; вкус был во всем; здесь стояла рояль; и — стояли блестящие, невысокие шкапчики (кажется, красного дерева), показуя переплетенные томики из-под ясного, чисто протертого стекольного глянца; тут дверь — открывала столовую, комнату меньших размеров, оклеенную оранжевыми, согревавшими мягко обоями, со столом посреди, на котором накрыт был, как помнится, завтрак; приподнялась мне навстречу, всегда трепыхавшаяся, точно серая птичка, мать Блока в своей красной тальмочке (нет, в самом деле, не фантазирую я — эту красную тальмочку помню, действительно помню!); а Марья Андреевна подкидывала, подмаргивала за нею:

— «Ну, что?»

— «Да — пошли...»

— «Говорят, что стреляли».

— «Ах, ужас что!»

И Александра Андревна рукой отмахнулась, качнувшися талией (жест ее); носик, острясь, розовел на меня; разговора и не было, а —

возгласы, предположения, беспокойства; все центры сознанья сместились туда, в один центр: на Дворцовую площадь; чрез каждые десять минут приходили из кухни известия, что — стреляют, стреляли; и — кучи убитых. А Александра Андреевна хваталась за сердце (больное):

— «Поймите же, Боря, что он — ненавидит все это...»

— «А должен стоять там...»

— «Присяга...»

Я Франца Феликсовича в это время не знал: он, всегда такой тихий и добрый, всегда благородный, являлся со службы, вступая в пространство оранжево-розовой комнаты с видом, который мог значить одно:

— «Я же знаю, что тут вы беседуете о материях деликатных: нет-нет, не помешаю, — пожалуйста, не обращайте внимания».

И тщедушной фигуркою, в невоенно сидящем военном мундире, склонив над тарелкою нос, как у дятла, пощипывал узенькую бородку, и ясно поглядывал черными кроткими глазками (чуть — себе на уме!): ну, кого мог убить он? Волнение Александры Андревны за мужа я понял позднее лишь.[237]

Но А. А. в этот день волновался другим: значит, был факт расстрела. Я никогда не видел его в таком виде; он быстро вставал; и — расхаживал, выделяясь рубашкой из черной, свисающей шерсти и каменной, гордо закинутой головою на фоне обой; и контраст силуэта (темнейшего) с фоном (оранжевым) напоминал мне цветные контрасты портретов Гольбейна (лазурное, светлое — в темно-зеленом); покуривая, на ходу, он протягивал синий дымок папиросы, и подходил то и дело к окошку, впиваясь глазами в простор сиротливого льда, точно — он — развивал неукротимость какую-то; а за чаем узнали: расстрелы, действительно, были.

С собой из Москвы привез целые ворохи разнообразнейших впечатлений о том, что меня волновало, с чем ехал я к Блокам; но — говорить ни о чем не могли мы; события заслонили слова.

Мы — простились; и я поспешил к Мережковским.

СУМБУР

Меня встретила З. Н. Гиппиус возгласом:

— «Здравствуйте!»

— «Ну и выбирали день для приезда!»

И протянула свою надушенную ручку с подушек кушетки, где, раскуривая душеные папироски, лежащие перед нею на столике в лакированной красной коробочке рядом с мячиком пульверизатора, — она проводила безвыходно дни свои с трех часов (к трем вставала она) до — трех ночи; она была в белом своем балахоне, собравшись с ногами комочком на мягкой кушетке, откуда, змеино вытягивая осиную талию, оглядывала присутствующих в лорнет; поражали великолепные золотокрасные волосы, которые распускать так любила она перед всеми, которые падали ей до колен, закрывая ей плечи, бока и худейшую талию, — и поражала лазурно-зеленоватыми искрами великолепнейших глаз, столь огромных порою, что вместо лица, щек и носа виднелись лишь глаза, драгоценные камни, до ужаса контрастируя с красными, очень большими губами, какими-то орхидейными; и на шее ее неизменно висел черный крест, вывисая из четок; пикантное сочетание креста и лорнетки, гностических символов и небрежного притиранья к ладони притертою пробкою капельки туберозы-лубэн (ею душилась она), — сочетание это ей шло; создавался стиль пряности, неуловимейшей оранжерейной изысканной атмосферы среди этих красно-кирпичных, горячих и душащих стен, кресел, ковриков, озаряемых вспышками раскаленных угляшек камина, трепещущих на щеках ее; и — на лицах присутствующих; и Д. С. Мережковский, то показывающийся меж собравшихся, то исчезающий в свой кабинет, — не нарушал впечатления «*атмосферы*»; ее он подчеркивал: маленький, щупленький, как былиночка (сквознячок пробежит — унесет его), поражал он особою матовостью белого, зеленоватого иконописного лика, провалами щек, отененных огромнейшим носом и скулами, от которых сейчас же, стремительно вырывалась растительность; строгие, выпуклые, водянистые очи, прилизанные волосики лобика рисовали в нем постника, а темно-красные, чувственно вспухшие губы, посасывающие дорогую сигару, коричневый пиджачок, темно-синий, прекрасно повязанный галстух и ручки белейшие, протонченные (как у девочки), создавали опять-таки впечатление оранжереи, теплицы; оранжерейный, утонченный, маленький попик, воздвигший моленку средь лорнеток, духов туберозы, гаванских сигар, — вот облик Д. С. того времени.

— «А, Борис Николаевич», — подал он мне свою хилую ручку, которую (мне — показалось) легко оторвать.

Разговор перешел на события; и Д. С. постарался меня замешать в разговор; разумеется, — разговор шел о бывшем расстреле рабочих, но он — перекидывался; линия разговора ломалась: от начавшейся «*революции*» к оранжерейному очередному вопросу литературного быта

изысканного небольшого кружка, сгруппированного вокруг Мережковских, где собрался в этот день небольшой круг людей; это, кажется, был день воскресный; по воскресеньям (с 5 до 7) собирались здесь к «*чаю*»; меня поразило, что не было в этом обществе непосредственного, стихийного отношения к фактам, какое я встретил у Блоков, где не могло быть, конечно же, разговора, подхода, а был лишь захват, переживание, чувство; у Мережковских, конечно же, говорили о только что бывшем, но говорили с «*подходом*» к событиям; и «*подход*» доминировал; высказывалось «*мнение*»; и — протягивались два пальца к бисквитику; передавалася хрупкая чашечка хрупкими пальчиками З. Н.; и — к чашечке прикасалися «*осторожно*», умело; и точно же так — осторожно, умело высказывалось мнение «*литератора*» о событиях; я не помню всех бывших гостей; может быть, был Нувель; если был, то, конечно же, — это он прикасался с такой осторожностью к чашечке; говорилось, что Дягилева, ехавшего где-то в цилиндре, рабочие высадили из кареты; был Минский, приехавший, кажется, с Васильевского острова; был Смирнов, бледнолицый новопутеец — философ в прекрасно сидящем студенческом сюртуке,[238] самоуверенный Красников-Штамм и, как кажется, Лундберг (а, может быть, через неделю мы встретились) — Лундберг, страдающий в эти дни расширением сосудов и ставящий З. Н. Гиппиус возраженье-вопрос:

— «Как быть с хаосом?»

З. Н. Гиппиус изумрудила комнату взором, летала лорнетка ее, Д. С., на минутку присевший, отсутствующий и не слушающий ушами (а — порами, как выражалась З. Н. о нем), вдруг раздвигал свои губы, показывал белые зубы и, ударяя рукою себя по коленке, совсем неожиданно для такого росточка и грудки «*вырыкивал*» оглушительно-громкий период; и, выпучив глаза, умолкал.

В первый день пребывания нашего с ним в Петербурге мне бросилось явно в глаза, что он вовсе не слышит того, что ему говорят.

Так, войдя неожиданно в комнату и застав меня спорящим со Смирновым на философскую тему, он нас перервал и сказал назидательно, представляя меня окружающим:

— «Дело в том, что Борис Николаевич — мистик, религиозно переживающий мысль, а Смирнов — чистый логик; друг друга они никогда не поймут; тут различие — непереступаемо: бездна!»

Он сказал это так невпопад, что З. Н. ему крикнула:

— «Дмитрий, — да не туда же ты!»

Но Д. С., поморгавши в пространство огромными, выпученными глазами, — уже повернулся: ушел в кабинет.

Дело в том, что я, именно, в данном споре с новопутейцем Смирновым на мешанину метафизической мистики отвечал очень трезвыми кантианскими возражениями; в данном случае, — логиком я был; Смирнов же был мистиком. Но Мережковский, a priori все порешивший, — напутал; он — путал всегда, он — не слышал, не слушал: физиологически впитывал атмосферу происходящего, лишь извне полируя ее схематизмом своим; да, он слушал не ухом, — а — «*порами тела*».

Остался обедать у Мережковских; мы после обеда отправились к Философову (жил он у матери);[239] от Философова все мы попали на заседание представителей интеллигенции, в «*Вольно-Экономическое Общество*», в кучи народа, в растерянную толкотню вокруг стола, за которым какие-то люди не то заседали, не то обсуждали случившееся; здесь молчание перебивалося возгласами, разговорами, переходящими в споры; и оглашались различные сообщения; утверждалось: движенье — не поповское, революционное; призывалось:

— «Вооружимся!»

Недоумение перед размахом событий написано было на лицах. З. Н., любопытно взобравшись на стул, перегнулась над головами в своем перетянутом черном платье, шуршащем атласами; и, улыбаясь, лорнировала собрание; я рядом с нею взобрался на стул; мы обменивались восклицаниями; чопорно к нам подошел гувернерствующий Философов и тоном, усвоенным им в обращении с Мережковскими, вывозимыми им в большой свет «*настоящей общественности*», — заявил: неприлично, ввиду национального траура, нам улыбаться; здесь — место почтенное; здесь — собираются не какие-нибудь декаденты, не снобы; боялся наверное он «*кондачков*», происходящих повсюду, где сталкивались «*декаденты*» с «*общественниками*»; к моему изумлению, З. Н. — сконфузилась; и — смолчала, а я... я — обиделся не на шутку (потом объяснились с Д. В. Философовым мы); в то время какой-то субъект, после только что принятой резолюции — вооружаться, провозгласил на весь зал:

— «Прошу химиков выйти со мною в отдельную комнату!»

И я подумал:

— «Да как же так можно — открыто, при сыщиках».

Оглядываюсь — З. Н. Гиппиус нет, Мережковского нет (делегировали его закрывать в знак протеста Мариинский театр),[240] а — стоит Арабажин, мой родственник:[241]

— «Ты как попал сюда?»

Стал уговаривать он, чтобы я у него ночевал.

Говорили:

— «Смотрите, вот — Горький».

С ним был взбудораженный, бритый и бледный субъект, на которого не обратил я внимания; хрипло кричал он откуда-то сверху (как будто бы с хор), призывая к оружию. Мне рассказали потом: это — был сам Гапон, переодетый и привезенный сюда Алексеем Максимовичем.[242] Потерялся в шумихе я вовсе; исчез Арабажин.

И вот — я на темных, морозных проспектах; кругом — ни души; полицейские скрылись; выныривали подозрительно озирающие друг друга фигурочки; изредка открывалось в морозы трескучее пламя кровавых костров, у которых серели озябшие и балдеющие солдаты, похлопывающие себя рукавицами и потопатывающие ногами на месте; виднелися козлы из сложенных ружей; в ночных переулках хрустела тяжелая поступь патрулей.

Едва я добрался до белого бока Казармы; ворота — захлопнуты, а у ворот — часовые: не пропускают меня, хотя я объясняю, что некуда больше деваться, что только сегодня сюда я приехал.

— «Пройдет господин офицер: он — рассудит».

И я затоптался на месте, не зная, что делать; вдруг вижу — взволнованный толстячок-офицер, с подбородком двойным, рыжеусый, вразвалку бежит с револьвером в руках; и за ним два солдата; ему объясняю свое положение я; он обмерил меня недоверчивым взглядом; и — выпалил (мне показалось, испуганно):

— «Казармы пусты!..»

— «На Казармы, по слухам, рабочие двинулись».

— «Предупреждаю: вы подвергнетесь неприятностям, связанным с долгой осадою...»

Но я предпочел неприятности «*долгой осады*» топтанию перед дверью Казарм; и — меня пропустили; впоследствии мне сообщили, что кроме семейств офицерских, шести инвалидов, патруля, Короткого, подполковника (толстенького офицера, со мной говорившего), не было здесь никого. Долго я не ложился в пустой офицерской квартире; события дня волновали меня.

На другое уж утро рассказываю я Блоку о виденном накануне, о Мережковском, о «*Вольно-Экономическом Обществе*», о разговоре перед воротами; и А. А. — улыбается:

— «Это с тобой повстречался Короткий, такой офицер есть; он — трус; вчера вечером он обегал офицерш, поднимая переполохи и угрожая осадою...»

Этот самый Короткий впоследствии появился в Москве в роли, кажется, полицмейстера; и — оставил сквернейшую память.

Советовался с А. А., как мне быть? Надо мне переехать: воспользоваться гостеприимством знакомого офицера, настроенного реакционно, естественно, я не хочу; и А. А. согласился со мною; и мы разговаривали об офицере, который (бедняга!) страдал одной маленькой слабостью (кажется — даже наследственной): он — «*привирал*».

— «Знаешь ли, — тихо отрубливал Блок, по обычаю не смеясь, а потаптываясь на месте ногами, — он всем нам рассказывал об имении, собственном, где у него вырастают в теплице весь год ананасы... А вот что-то не верят... Не очень-то...»

Я был должен сказать, что имения никакого и не было; или, вернее: имение было — не офицера; он в нем лишь гостил; это было «под Клином» (в имении В. И. Танеева); вырос я там.[243] Когда я это все рассказал, то А. А. с той же самой серьезною юмористической деловитостью высказал:

— «Понимаю я, почему он стал с Любою нас избегать... Он узнал, что мы дружны с тобой. Он — стыдится нас: думает, что история с ананасами обнаружилась...»

В тот день познакомился с милым я Францем Феликсовичем, который тихонько выслушивал все разговоры, явившися к завтраку, от какого-то пункта, где должен стоять был с отрядом, — который выслушивал молча историю с ананасами и мои впечатления о настроении улиц, поглядывал грустными взглядами; разговор все вертелся вокруг происшествий; и раздавались слова, очень прямо клеймящие подлых расстрельщиков: тут Франц Феликсович опускал длинный нос, точно дятел, в тарелку; мне было неловко; старался быть сдержанней я; но А. А., как нарочно, с приходом тишайшего Франца Феликсовича говорил все решительней; мне казалося: тоном старался его — подковырнуть, уязвить, отпуская крепчайшие выражения по адресу офицерства, солдатчины, солдафонства, не обращая внимания на Ф. Ф., будто не было вовсе его, — будто мы не сидели в Казармах; как-никак, Франц Феликсович, защищавший какой-то там мост, мог быть вынужденным остановить грубой силою толпы (к великому облегчению Александры Андреевны, этого не произошло); но я думаю, что Ф. Ф. не отдал бы приказа стрелять, предпочтя, вероятно, арест; с каким видом вернулся бы он в этот дом, так решительно, революционно настроенный; да и сам он с презрением относился к «*солдатчине*»; тем не менее: факт стоянья Ф. Ф. у какого-то моста с отрядом все время нервил А. А.; крепко, несдержанно он выражался, бросая салфетку; и — чувствовалась беспощадность к Ф. Ф.

Я заметил в А. А. этот тон беспощадности по отношению к отчиму и в других проявлениях; мне показалось: его недолюбливал он; и — без всякого основанья, как кажется; раз он сказал:

— «Франц Феликсович, Боря, — не любит меня».

— «Таки очень...» — прибавил с улыбкой он.

Но этого — я не видел, не чувствовал даже; наоборот: постоянно я видел уступчивость, предупредительность, мягкость, хотя Александра Андреевна поговаривала, что Ф. Ф. очень вспыльчив.

— «Он может кричать — очень страшно!»

Но был он отходчив.*

Я думаю, что отчужденность меж отчимом и его неприемлющим пасынком — отчужденность кругов, воспитанья, привычек; А. А. был профессорского, литературного круга; а Ф. Ф. — был военный, «*служака*»; и он, понимая свое положение в доме, — во всем уступал и не вмешивался ни во что.

ПЕТЕРБУРГ

Мои первые петербургские дни отделяют меня от А. А.: революция заслонила собою все прочее; сыпались быстро удары репрессий; меня волновали аресты знакомых; революционное настроение крепло, и кроме того: в эти грозные дни перебрался совсем неожиданно я к Мережковским, уговаривавшим меня поселиться у них.

Мережковскому грозили арестом; он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги жене.

Теснейшее, непрекращающееся общенье мое с Мережковскими в эти дни перешло в настоящую, очень конкретную дружбу; и пафосу дружбы отдался, воспринимая живей круг идей Мережковского; помнятся: тихие, долгие разговоры с З. Н. Мережковской у золотого от углей камина в кирпично-пунцовой гостиной; и помнится: надушенная папироска З. Н.; ею меня в разговоре она угощала; в витиеватых, мудреннейших, утонченных дебатах все, помнится, утончали проблемы о «*троичности*», о «*церкви*», о «*плоти*»; и даже: друг другу записывали в записные мы книжечки ходы мыслей своих. Разговоры затягивались — до четырех часов ночи; и даже позднее; и раздавался стук в стену Д. С. Мережковского, которому не давали мы спать:

— «Зина, ужас что!»

---

* Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух командовал впоследствии на войне дивизией; он скончался, кажется, в 1918 году.[244]

— «Да отпусти же ты Борю!»

— «Четыре часа!»

— «Вы мне спать не даете».

Порою в передней мы слышали топотанье и шарканье туфель: приоткрывалася в гостиную дверь; и протягивалось лицо полуодетого маленького Д. С. с раздраженно-испуганным личиком, с выпученными глазами:

— «Когда вы там кончите?»

Мы отвечали:

— «Сейчас!»

Разговор продолжался: до нового стука.

В квартире Д. С. проживали тогда сестры Гиппиус — Т. Н. и Н. Н.: «*Тата*» с «*Натой*», художницы; я подружился особенно с «*Татой*», которая уводила меня к себе в комнату и усаживала на серый диван; у нее был альбом и в него зарисовывала она все фантазии, образы, сны, сопровождая эскизы порой комментарием; этот дневник, мысли-образы, я полюбил; и часами мы с ней философствовали над эскизами; помню один из них: на луной озаренном лугу, в простыне, кто-то белый, худой и костлявый таинственно расскакался по травам; тогда говорили, что это наверно «*Антон*» (так в кругу Мережковских тогда называли А. В. Карташева, естественного соучастника малой религиозной коммуны, которая подобралась в это время и в центре которой теперь очутился).[245]

И помнятся неизменные появления Д. В. Философова к вечернему чаю, изящного, выбритого, с безукоризненно четким пробором прилизанных, светлорусых волос, в синем галстухе, с округленным, надменным, всегда чисто выбритым подбородком и с малыми усиками, — Философова, переступающего с папиросой по мягким коврам очень маленькими шагами, не соответствующими высокому, очень высокому росту; Д. В. озадачивал чередованием своих настроений; то он появлялся капризно-надменный, одетый в корректные формы обидно-сухого внимания; устремлял стекловидные взоры холодных, красивых и голубых своих глаз с раздражающим видом придиры-экзаменатора:

— «Но позвольте...»

— «Но почему вы так думаете...»

И — мысль рассыпалась; и — становился трезво.

А то он похаживал с милою «*журкотней*»; он журил Мережковского, Гиппиус, или меня, обдавая нас мягким уютом своих, таких ласковых взоров (его доброта, бескорыстие, честность меня много раз умиляли);

казался тогда доброй тетушкой, старою девою, экономкой идейного инвентаря Мережковских; принимая идеологию Мережковского, будучи верен ей и защищая «*идеи*» в печати, в общественности, был он цензором этих идей в малом круге; брюзжал, забраковывал то, что могло оторвать Мережковского от общения с порядочным обществом; как гувернер, взявши за руку мальчика, водит его на прогулки, так именно Д. В. *важивал* Мережковского в свет; и Д. С., точно маленький, боязливо порою поглядывал на сердито-надменного «*Диму*». Бывало, он выскажет что-нибудь и — покосится на «*Диму*», а «*Дима*», поджав свои губы, готов приступить к вивисекции:

— «Это — не дело...»

— «А это, вот — дело!»

Я их наблюдал: простовато порою держащий себя Мережковский, бывало, захлопает в воздухе глазами и ухнет не к месту какую-нибудь из своих углублений о *зверстве*, иль — *ангельстве*, бегает, маленький, и насвистывает пухлыми губами своими, косяся на «*Диму*» испуганно; «*Дима*» — молчит; и Д. С., споткнувшись идеей, робеет и умолкает. И «*Дима*», невозмутимо спокойный, высокий и статный, поглядывая на Д. С. сверху вниз, очень холодно начинает брюзжать:

— «Но позволь...»

— «Тут, во-первых, смешение...»

— «А во-вторых, не понимаю я...»

Ухнувший громкий «*прозор*» обдирается от всех чувств; и — обнажается косточка: очень неважная, тусклая схемочка.

Да, Д. С. доставалося в этих беседах «à quatre», «à trois»:* от З. Н., от Д. В.; убегал в кабинет: починить свои схемы; и после двоякой, троякой починки Д. В. принимал сочиненное вновь Мережковским; и ставился штемпель: «*новое религиозное откровение*». И тогда Философов, приняв позу верного возвестителя истины, начинал вывозить эту истину в фельетонах, в статьях: был «*Личардою*» истины.[246]

Я помню заходы Д. В., порой поздние; и воркотню на них «*Дарьюшки*», няни З. Н., обитающей в доме и протестующей против поздних гостей.

С каждым членом «*коммуны*» старался войти я в контакт; мне вменялось общение в необходимость З. Н.

— «Подойдите поближе вы к „*Тате*"...»

— «Поговорите с Антоном Владимировичем».

— «Будет „*Дима*": куда вы уходите?»

---

* Вчетвером, втроем (*фр.*).

И я — старался: общался — с Д. В., с «bête noire»* коллектива — с «*Антоном*».

Он был — «*bête noire*»; все движенья его были дико стремительны; тонкий, костлявый, такой изможденный, с заостренным носом, с чернеющими кругами над бегающими зеленоватыми взглядами, с зеленоватым, совсем нездоровым лицом, с очень резкими и порывистыми размахами рук, он носился по комнате, как Хома Брут; и казалось, будто на тонких плечах восседает невидимо оседлавшая Ведьма,[247] которую принимается скороговоркою отчитывать он, потрясая нервически головой с полуприщуренными от напряженья глазами; и — вдруг остановится в столбняке, приискивая надлежащее выражение; и — изможденно присядет на кресло, роняя лицо в изможденную руку (другая висит на коленях); казалось, что он — иль влетал к нам, или, обратно, выскакивал из квартиры, чтобы, стремительно пролетев по ступенькам, — нестись на свой «*луг*». (Мы с Т. Н. говорили шутя, что фигура эскиза Т. Н., заскакавшая в травах под бледной луной, есть А. В.).

Как я помню его, упадающим в кресло с полузакрытыми взорами, со стиснутыми руками, прижатыми к тощей груди, с головой, в знак согласия быстро кивающей; вдруг, как сорвется, и — примется бегать по комнате с «*да-да-да-да-да-да*» иль с «*позвольте, — нет-нет*»; он носился вприпрыжку; его угловатые жесты (во всех смыслах; внешнем, душевном) всегда нарушали гармонию в «*религиозном сознании*» Мережковских; ему доставалося едко от возмущенной З. Н., открывающей пикировку, взрывавшую Карташева; и поднималася: непрерывная тяжба между А. В. и З. Н.; тут Д. С. и Д. В. выступали всегда примирителями; успокаивали «*Антона*»...

Так споры «*Антона*» с едчайшею «*Зиной*» подготовляли всегда очередную трагедию этой жизни «*коммуны*»; А. В. сколько раз, разгласившись, стремительно вылетал из квартиры, громчайше прихлопнувши дверь за собой; и потом, через несколько дней приводился обратно он «*Татою*» — на суд и расправу, на увещание и на дебаты проблемы «*Антон*», после которых сидел — примиренный, притихший, с полузакрытыми глазами худого, зеленоватого и изможденного лика.

А. В. мне казался всегда замечательным человеком, кипучим, талантливым (до гениальности), брызжущим вечно идеями, из которых не закрепил ни одну он; импровизации Карташева в кирпично-пунцовой гостиной полны были блеска; и Мережковскому был он нужен, динамизируя его мысли и устраивая подвохи благополучию схем: вот, казалось,

* Пугало, страшилище (*фр.*).

все — ясно; и ясно, что историческое христианство — в параличе; а «*Антон*» — тут как тут: неожиданно вынырнет, закивает, поманит соблазном от «*древнего*» благочестия; и как он прекрасно певал сладким тенором великолепные церковные песни (я помню на лодке его, около Суйды,[248] гребущим и распевающим с полузакрытыми глазами, — в закат); в то время в нем было естественное сочетание революционно-настроенного интеллигента со старинною, благолепной традицией; Златоуст переплетался в нем с Писаревым; да, А. В. Карташев импонировал мне в эти дни; и меня все тянуло к нему; но мы как-то дичились друг друга; и разговоры — не выходили; я помню, что раз он сказал мне про «*Ризу*», титана (которого изобразил в «*Симфонии*»),[249] какие-то не вполне мне понятные фразы; но мне стало ясно: воспринимает меня он по линии «*мифа*», а не по линии жизни: казался ему декадентом; не очень он верил мне в «*тщении*» быть правоверным у Мережковских.

Да, каждый по-своему был для меня интересен, по-своему каждый входил в «*коллектив*» незаменяемой и нужной фигурой, окрашивающей по-своему «*целое*»; а извне подходил в то время к сложившейся группе то Волжский, то Н. А. Бердяев, то В. А. Тернавцев, которых я видывал чаще других перед жарким камином в гостиной за разговором с З. Н. (впрочем, Волжский недолго дружил с Мережковскими); и З. Н. их тянула в своеобразную атмосферу мистического радения мыслей своих, в атмосферу, которую чувствовал каждый и о которой однажды со свойственной ему яркостью бросил слово В. Розанов.

— «Вот уедете скоро в Париж, и опустеет „*мистическое логово*" ваше... И будут его охранять „*Тата*" с „*Натой*", да наезжать в опустелое „*логово*" Белый»...

Действительно: что-то от логова было в квартире, в которой вынашивались в эти годы острейшие религиозно-философские мысли; оранжерея, парник, или «*логово мысли*», — такою казалась мне квартира в угрюмом и серо-чернеющем доме Мурузи, встающем доселе пятью этажами своими с угла Пантелеймоновской и Литейного;[250] здесь влияние Мережковского распространялось не книжками, а атмосферою стен, здесь оклеенных красно-кирпичными полосами обой, там — кирпично-коричневыми, пропитанными сигарой Д. С., надушенными сигаретками Гиппиус и запахом туберозы «Loubin». Я, попав в эту квартиру, беспомощно забарахтался в «*атмосфере*»; общение с Блоком на первых порах пребывания здесь отступило естественно; кроме того: это время окрашено рядом знакомств: с В. В. Розановым, С. Н. Булгаковым, А. С. Волжским, Н. А. Бердяевым, Ф. К. Сологубом, А. В. Карташевым, В. А. Тернавцевым, П. П. Перцовым, С. А. Аскольдовым,

Г. И. Чулковым, Андриевским и многими другими писателями и общественными деятелями; каждое из знакомств брало силы; тогда собирались: у Минских, у Сологуба (по воскресеньям), у Розанова (по воскресеньям же), у Мережковских, в редакции формируемых «*Вопросов Жизни*»[251] и в «*Мире Искусства*».

Однажды, когда мы сидели с З. Н. и, предаваясь перед камином высокой «*проблеме*», в гостиную из передней дробно-быстро, скорее просеменил, чем вошел, невысокого роста блондин, скорей плотный, с едва начинавшейся проседью желтой бородки торчком; он был в черном, как кажется, сюртуке, обрамлявшем меня поразивший белейший жилет; на лоснящемся полноватом краснеющем (бледно-морковного цвета) дряблевшем лице глянцевели большие очки с золотою оправой; а голову все-то клонил он набок; скороговоркою приговаривал что-то, сюсюкая, он; и З. Н. нас представила; это был — Розанов.

Уже лет десять с вниманием я уходил в мир идеи его; он казался едва ли не самым талантливым, гениальным почти; но и самым враждебным казался он мне; потому-то с огромным вниманием стал я рассматривать Розанова; он же, севши на низкую табуретку пред Гиппиус, тихо выбрызгивал вместе с летевшей слюною короткие тряские фразочки, быстро выскакивающие изо рта у него беспорядочной, высюсюкивающей припрыжкою; в вытрясаемых фразочках, в той характерной манере вытрясывать их мне почуялась безразличная доброта и огромное невнимание к присутствующим; казалось, что Розанов разговор свой завел не в гостиной — в передней еще, не в передней — на улице: разговор сам с собою о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге; и вот разговор «*сам с собой*» продолжал он на людях — о людях, к которым он шел, на которых вытрясывал он свои мысли, возникшие где-то вдали; разговор — без начала, без окончания, разговор ни с того ни с сего, перескакивающий чрез предметы, попархивающий, бесцеремонный по отношению к собеседнику; было густейшее физиологическое варение предметов мыслительности В. В., — с перескоками прямо на нас: на меня, на З. Н., которую называл просто «Зиночкой» он, подсюсюкивая и хватаясь дрожащими пальцами рук, очень нервных, — за пуговицу жилета, за пепельницу, за лилейные ручки З. Н.; руки — дергались, а коленки — приплясывали; карие глазки, хитрейше поплясывающие под очковыми глянцами, мне казалось, мечтали о чем-то; они не видали того, что все видят: казались слепыми кусочками, плотяными и карими; в облике Розанова улыбалась настойчиво самодовольная мещанская тривиальность; «*мещанство*» кидалось нарочно, со смаком, с причмоками чувственных губ; эти губы слагались в улыбку не то слад-

коватую, приторно-пряную, а не то рисовали насмешливую издевку над всем, что ни есть; да «*в открытом мещанстве — хитер, в своих хитростях — нараспашку*» — хотелось сказать, созерцая варившего мысли В. В.; мне припомнился жест его рук, когда вынул из бокового жилета гребеночку и при нас же пустился причесывать гладкие, точно прилизанные волоса; я подумал, что если бы существовали естественные отправления, подобные отправлениям «*просфирни*», то Розанов был бы «*просфирником*» какого-то огромного храма; да, он где-то *пек* (в святом месте), а может быть, производил беззастенчиво физиологические отправления своей беззастенчивой мысли; начинал их на улице, у себя в кабинете; и отправления эти продолжил теперь он при мне и З. Н. Мысли как-то совсем неожиданно кипели и прядали пузырями со дна подсознания; безо всякого повода выскочили две-три фразы из моего «*Письма студента-естественника*», напечатанного в первом № «*Нового Пути*»;[252] он забулькал слюною и словом в меня, похвалил за письмо, с тем не слушающим ответов небрежеством перекинулся после к З. Н., стал подшучивать, что она, дескать, — ведьма; З. Н. — отшутилась; она называла В. В. просто «*Васей*»; а «*Вася*» уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем (об отношении Варвары Федоровны, жены, — к З. Н.); дергалась нервно коленка; и — маслилось лоском лицо; губы сделали ижицу, карие глазки «*не видели*»; и — моргали куда-то: из-под стекол очков побежали они в потолок.

В. В., круто ко мне повернувшись, дотрагиваясь рукою до пуговиц моего пиджака, вдруг спросил об отце; и узнав, что отец мой не жив уже, — выпрямился; и с серьезным лицом молчаливо и богомольно перекрестился; потом, посмотрев на меня, скороговоркою забормотал:

— «Не забывайте могилки... Не забывайте могилки... Молитесь могилкам...»

И все возвращался к «*могилке*»; так с этой «*могилкой*» ушел; уже кутаясь в шубу, надвинувши крепко свою круглую шапочку и попадая ногою в объемистый ботик, он — вновь повернулся ко мне; и принялся побрызгивать:

— «Помните же: поклонитесь могилке...»

Когда он ушел, то З. Н. подняла на меня веселеющий, торжествующий взгляд, точно только что показала редчайшего зверя она.

— «Ну, что скажете?..»

— «Да...» — я сумел лишь ответить.

И после молчания вдруг я воскликнул:

— «А знаете, „*это*" ведь страшно...»

— «Ужасно!» — значительно посмотрела она на меня.

— «Тут какое-то от „*приведите мне Вия*"...»[253]

— «Тут — плоть: вот уж „*плоть*"...»

— «И не „*плоть*" даже, — нет», — фантазировал я, — «*плоть*» без «*ть*»; в звуке «*ть*» — окрыление; не «*плоть*» только — «*пло*»: или даже два «п» (для плотяности): *п-пло*!

В духе наших тогдашних дурачеств прозвали мы Розанова: «Просто *ппло*!» В звуке «*ппло*» переживалася бездна физиологически кипящей материи: и в последующих беседах с В. В. (в той особенно, которая происходила в Москве, на Тверской и в кофейне Филиппова) мне казалось, что Розанов не высказывает свои мысли, а кипятится, побрызгивает физиологическими отправлениями процесса мыслительности; побрызгает, и — ослабнет: до — следующего отправления; оттого-то так действуют отправления эти: мысль Розанова; все свершают абстрактно ходы, а он — лишь побрызгивает: отправлениями.

В тот период по воскресеньям был то у Розанова, то у Ф. Сологуба; у Розанова собрания протекали нелепо, нестройно, но шумно и весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалось стесненности в тесненькой в общем столовой, оклеенной белыми и простыми обоями; здесь стоял большой стол (от стены до стены), шумный спорами; Розанов где-то у края стола, взявши под руку то того, то другого, поплескивал фразами в уши и рот строил ижицей; он поблескивал золотыми очками; статная фигура Бердяева выделялась своей ассирийскою головою; совсем уж некстати напротив виднелся из «Нового Времени» Юрий Беляев, или священник Григорий Петров, самодушно играющий крупным крестом на груди и надменно выпячивающий сочные, красные губы; а сбоку — как будто осунувшийся, маленький Мережковский бледнел истощенным лицом, обрастающим с щек бородою, недоуменно выпучивал очи и отвечал невпопад; у бокового столика, помнится, группа художников «*Мира Искусства*» — там Бакст, и там Сомов; В. В., хозяина, вовсе не слышно: мелькнет его белый жилет; и плеснет, проходя между стульями, фразочкой; более выделяется грузная, розовощекая и строгая какая-то — Варвара Федоровна, супруга писателя: розовощекая, строгая — вот мое впечатление; впрочем, может быть, и не строгая вовсе, а — строгая к нам, к Мережковским; она уже знает, что я задружил с З. Н. Гиппиус, В. Ф. вечно внушающей не неприязнь, а какой-то мистический ужас; и на меня переносит она «*строгим*» видом своим — недоверие к... Мережковским; здесь я, конечно же, — «*друг*» Мережковских, и это я чувствую постоянно в вопросах В. В., обращенных ко мне, в строгом профиле краснощекой жены его; В. В. Розанов

мне однажды поставил какой-то вопрос — очень-очень мудреный, гностический; я, на него отвечая, принялся чертить что-то пальцем по скатерти, машинально; а Розанов, слов не расслышавши, подхватывши только жест моих слов, мною ногтем начертанных, принялся сложнить и вычерчивать мой рисунок на скатерти ногтем своим: «Понимаете!» Вдруг он устал, запыхался, размяк, опустил низко голову и, сняв очки, принялся протирать их, впадая в изнеможение: *физиологическое отправление* совершилось; и — ничего он не смог мне прибавить; молчал, отвернувшися, протирая очки; посулил как-то раз подарить свою книгу «*О понимании*»;[254] он сказал: «Приходите за нею; я надпишу вам». Закрученный вихрями петербургского хоровода дней — я, признаться, забыл: не зашел, он же — ждал: приготовил мне книгу; и после — обиделся.

Книга «*О понимании*» так-таки и осталася непрочтенной; я в продаже впоследствии все не мог получить ее.

Совершенно иными встречали гостей очень строгие «*воскресенья*» у Федора Кузмича Сологуба. Он — жил на Васильевском острове, в здании школы, которой инспектором он состоял;[255] проходя к Сологубу, легко можно было попасть вместо комнат квартиры его в освещенную классную комнату; вся квартира Ф. К. поражала своим неуютом, какою-то пустотой, переходами, потолками, углами, лампадками; помнилось тусклое, зеленоватое освещение — от цвета ли абажуров, от цвета ли стен; в нем вставала фигура Ф. К., зеленоватая, строгая; и — сестры его, как две капли воды похожей на Федора Кузмича; тоже бледная, строгая, тихая, с гладко зачесанными волосами; совсем как Ф. К. — но в юбке, без бороды;* на «*сологубовских*» воскресеньях господствовал строгий дориз;[257] сам хозяин подчеркнуто занимал приходящих своими, особенными, сологубовскими разговорами, напоминающими порою ответственный, строгий экзамен; здесь много читалось стихов; и приходили поэты, по преимуществу здесь встречался с Семеновым, с В. В. Гиппиусом, ветераном и зачинателем декадентства; ходили сюда мы с почтением, не без боязни; и получали порой нагоняй от Ф. К.; а порой и награду; Ф. К. был приветлив к поэтам, но скуп; философия, религиозные пререкания не допускалися тоном холодной и строгой квартиры; З. Н. говорила бывало:

— «К Ф. К. — вы пойдите!»

— «Ф. К. — человек настоящий!»

---

* Впоследствии она скончалась.[256]

Д. С. и З. Н. почитали талант Сологуба; и в своих отзывах высказывали maximum объективности, что было редко для них; а Ф. К. выражался порой очень остро о деятельности Мережковских; мне кажется, — более признавал он поэзию Блока; о Блоке тогда еще он выражался решительно:

— «Блок — поэт: настоящий поэт!»

Раз сказал:

— «Блок умен, когда пишет стихи: не умен, когда пробует писать прозой».

Мне помнится, что о книге моей, только вышедшей, — книге «*Возврат*»[258] — выражался Ф. К.:

— «Вот — хорошая книга».

И вообще к молодежи тогдашнего времени относился Ф. К. снисходительно, с пониманием. Мережковские — не понимали, а Розанову уже не было дела до нас; он, встречаяся с нами, совсем неожиданно начинал говорить комплименты, которым не верил я вовсе; ведь знаешь, бывало: сегодня, поймавши и под руку взявши, — похваливает; гляди — выругает в «*Новом Времени*» завтра.

Раз выругал он Блока, — на чем свет стоит;[259] а на другой день встречается с ним; А. А. ласково первый подходит к В. В., как ни в чем не бывало; такая незлобивость поразила В. В.; он рассказывал после:

— «Ведь вот, обругал я его, а он... сам подошел, как ни в чем не бывало».

З. Н. Мережковская вмешивалась в отношенья мои; запрещала бывать мне у Минских; при всяком поползновении отправиться к Минским, — З. Н. надувалась:

— «Идите, коли хотите, но — помните!»

«*Помните*» это звучало угрозой, нешуточной; З. Н. именно в это время имела какие-то контры с Л. Вилькиной, поэтессой, супругой Н. М. Минского; так я и не был у Минских в тогдашний приезд: они скоро уехали за границу.

А. А. БЛОК И Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Религиозная общественность вскоре же утомила меня.

То, к чему в Мережковских я влекся, в том именно не до конца соприкасалися мы с А. А. Блоком; ему была вовсе чужда историческая

проблема религии, особенно историческое христианство; история, как мне кажется, слишком мало его волновала; пришел он позднее к проблеме истории (уже в последнем периоде жизни); апокалиптическое настроение преобладало в нем явственно; апокалиптическое настроение было формой всегда ему свойственного максимализма; апокалиптик он был в своем кровном переживании жизни, в «нутре»; наоборот: Мережковский, рыкающий громко: «Гряди», — Мережковский «*апокалиптизировал*» схемами; история перевешивала в нем все прочее; самое отвержение исторического христианства Д. С. погружало его в сеть вопросов, нерасплетаемых с церковной историей; «*историзм*» полонял Мережковского; и — отталкивал Блока, который к проблемам истории христианства, к великому возмущению Мережковского, относился *так как-то* (верней, что никак); был далек того гнозиса, который приводит к сознанию Лика Христова; тот Лик был для Блока еще заслонен ликом Музы: Софии.

Вся же линия Мережковского — выявление лика Христа. Идея Софии была Мережковским не схвачена, церковь была необходима для него, как трамплин, от которого («*церковь в параличе*») он построил прыжок в «*сверхисторическое*» христианство; Церковь — не знала Софии. А для А. А. просто не было никакой уж проблемы *церковной истории*, — не было и проблемы сопутствующей: евангельской критики; тут он был соловьевец; для Соловьева проблемы евангельской критики не существовало ведь тоже; на религиозно-философские диспуты А. А., впрочем, хаживал — созерцать без волнения схватку двух бурных течений (неохристианского с церковным); тут в нем сказывалось отвлеченное, интеллектуальное любопытство; к Мережковскому он ни в чем не примкнул; даже более: из чувства протеста, не вынося слишком четко построенных схем Мережковского, он готов был при случае стать на сторону откровенных церковников: *правая и левая*, голосуя, естественно против центра, поддерживают порою друг друга; а для А. А. Мережковский был именно центром — «*середкой на половинку*»; «*общественность*» Мережковских казалась ему слишком «скучной» и «вымученной»; в религиозных воззрениях он был резче, катастрофичнее Мережковского, исходя из естественного, непосредственного ощущения переживаний своих: признавал *непосредственный опыт*; абстрактные умозрения, проблемы религии и церковной истории оставляли холодным его; если «*опыт*» присутствует — значит: присутствует все; нет его — к чему диспуты, словоблудие, рефераты; А. А. волил точного опыта; и в «*зорях*» имел этот опыт; и видел его в сочинениях Соловьева; не самая по себе теология покойного Владимира Соловьева интересовала его;

Мережковского он считал отвлеченным схоластом; Владимира Соловьева же «*знающим*» ритм эпохи; то мнение о покойном философе не изменил до кончины своей, о чем явствует его заметка о Соловьеве, написанная уж в 1920 году:* «Владимиру Соловьеву, — он пишет, — *судила судьба в течение всей его жизни быть духовным носителем и предвозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире... каждый из нас чувствует, что конца этих событий еще не видно, что предвидеть его невозможно...*»[260] В. С. Соловьев был для Блока окном, из которого на нас дунули ветры грядущего. Место в истории Соловьева не ясно определилось; история нашего времени родилась из пророческих предощущений Владимира Соловьева; он умер за несколько месяцев до рождения нового века, «*который сразу обнаружил свое лицо, новое и непохожее на лицо предыдущего века*».[261] Далее А. А. Блок явно делает драгоценнейшее признанье, которое подтверждает слова мои о конкретно воспринятых им зорях будущего (то страшных, то ласковых): «*Я позволю себе... в качестве свидетеля, не вовсе лишенного слуха и зрения... указать на то, что уже январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года, что самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий*».[262]

Действительно: стихотворенья А. А., завершающие год последний отшедшего века, полны удрученности, тяжести пессимизма:

Стала душа угнетенная
Комом холодной земли.[263]

Или:

Стала душа пораженная
Комом холодной земли.

Или:

Ты только замыслом гнетущим
Еще измучаешь меня.[264]

Вот строчки стихотворенья, написанного 31 декабря 900 года, — написанные за несколько лишь часов до наступления нового века:

---

* «Владимир Соловьев и наши дни».

И ты, мой юный, мой печальный,
Уходишь прочь.
Привет тебе, привет прощальный
Шлю в эту ночь.
А я все тот же гость случайный
Земли чужой.[265]

Это — светораздел: до — «Ante lucem»; после — «*Стихи о Прекрасной Даме*», открываемые первыми, уже иначе звучащими строчками:

И тихими я шел шагами,
Провидя вечность в глубине...[266]

Стихотворение помечено январем 1901 года. Второе стихотворение цикла 1901 года бодреет:

Ветер принес издалека
Песни весенней намек.
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.
В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.[267]

Далее:

Благословен прошедший день.[268]

И — наконец:

Закатная, Таинственная Дева,
И завтра и вчера огнем соедини.[269]

Так, слова А. А. Блока: «*Январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года*» — полны реализма; их надо принять текстуально; они — выражения опыта, пережитого Блоком; А. А. был свидетелем эпохи, всегда наделенный тончайшим прозором и слухом.

Д. С. Мережковский для Блока в противовес Соловьеву всегда был свидетель эпохи, лишенный и слуха, и зрения, не ощутивший предчувствия 901 года никак, ощутивший эпоху в столь общих, неопределенных тонах, что из них не могло ничто вытечь, как подлинный опыт «*прозо-*

ра», к которому тянется Мережковский столь явно, столь часто, но из которого ничего не выходит.

Вскричит:

— «Или мы, иль — никто!»

И окажется:

— «Только не мы...»

Ничего не увидели «*мы*» в огневых испытаниях жизни России! По отношению к веяниям 901 года (о них я писал в моей первой «*Симфонии*», что *это были ни с чем не сравнимые дни, что весна над Москвою стояла особенная*),[270] — по отношению к этим веяниям строили мы отношения к людям; приявшие «*зори*» ни с чем не сравнимой весны были — «*наши*», а не приявшие — не были «*нашими*» («*нашими*» для меня оказались в Москве А. Петровский, С. М. Соловьев, Э. К. Метнер и Н. К. Метнер, М. С. Соловьев и другие); а для А. А. Мережковский не понял особенности заревых откровений; так, «*новое сознание*» Мережковского оказалося «старым», не перешедшим границы уже отживавшей эпохи.

А. А. относился серьезно ко всякому опыту и ко всякой сериозной системе идей; с каким чутким вниманьем выслушивал он мои длинные разъяснения по поводу философии Риккерта или Вундта, бывало; но он относился с насмешкой к размешиванию религиозного опыта головными досужими схемами; полуфилософия — претила сознанью его; и претил — полуопыт; домашнею, половинчатой философией, напоминающей упражнения Кифы Мокиевича,[271] часто казались ему громоздкие построения Мережковского, коренящиеся не на принципе мысли, а на сомнительном каламбуре; он сам каламбурил порою, но — шуточно («Arl-e-kin» и «Erl-König»);[272] сплошным полуопытом выглядела для него субъективная мистика Гиппиус; к устремлениям нового *религиозного сознания* относился он точно так же, как если бы был он Гельмгольцем и пред собою увидел образчики гегелианского метафизицирования по поводу *закона сохраненья энергии*; он был сам таким Гельмгольцем, — пусть в одной точке души: в точке зорь, ему вспыхнувших, в точном узнании, что «*январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года*»; спросите в те дни Мережковского, правда ли, что заря изменилась, он смерил бы вопрошателя недоуменными взорами; мог он «*свидетельствовать*» лишь от схемы, а не от факта; и оттого-то пред революцией еще бредит он шапкою Навуходоносора и заговаривает о Белом Царе, чтобы тотчас же вслед за вспышками революции очутиться в... «*Полярной Звезде*» Петра Струве;[273] в 12-м году он кричит в разговоре со мною, что революция (да!) есть

IV Ипостась Божества; в 1918 году — проклинает меня лишь за то, что я вовсе не струсил, как он, пред лицом *Ипостаси*.

У А. А. сквозь все творчество явственно проступают немногие факты им внутренне узнанного; в веренице годин к этим фактам меняет подходы; но факты — стоят перед ним: они — те же; так: в 1898, еще будучи гимназистом, он пишет, что птица тревожная Гамаюн нам —

Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых.[274]

Через десять лет в «*Куликовом Поле*» он возвращается к фактам все тем же; и в 1918 в «*Скифах*» (десятилетием позднее) опять-таки по-иному приподымает он тему — все ту же; в 1901 году он гласит:

«Весь горизонт в огне... И — близко появленье».[275]

А через двадцать лет, в годы потухнувших зорь, вспоминая увиденный подлинно *огневой горизонт* подтекущего века, он подтверждает узнания юности фразой: «*позволю... себе... в качестве свидетеля... указать на то, что... самое начало столетия было исполнено... знамений и предчувствий...*» Слова эти сказаны Блоком, не взявшим вполне себе в душу Ее откровений («В поля отошла без возврата, да святится Имя Твое!»). Мережковский сказал бы: «*В поля отошла без возврата: на что Твое Имя*»; — глубочайший субъективист, совершенно беспочвенный человек, прикрывающий для объективности вялыми схемами эгоизм себялюбия, — вот таков Мережковский. Недавно еще Н. М. Минский высказывал мысль: Беатриче для Данте — предлог возвеличения Дантом Данте; так Данте, выдумывающим Беатриче, Софию, Христа — для себя и для присных (для Гиппиус, Философова и сбежавшего Карташева — сбежишь!) был всю жизнь Мережковский; мне нечего говорить: новоявленный Данте Н. Минского есть не Данте, а «*Дантик*», «*Дантёнок*».

А. А. не был «*Дантиком*» Минского вопреки Мережковскому, нечто опытно им ощутимое, но не узнанное до конца (тут понять, тут узнать — значит: явственно разрешить мировую загадку) — да, опытно ощутимое знанье А. А. не хотел нарядить в манифесты из слов — *объективных*, идейных, давал в субъективном свой опыт: давал в преломлении; в субъективизме у Блока столь много правдивости, честности, и столь много фальши у Мережковского, дующегося до объективного манифеста, чтоб лопнуть с натуги; так: лопнул «*Толстой*» Мережковского; лопнула вся *IV Ипостась* (что лопнет ныне — «*крест*»,

иль красная Пентаграмма?); лопнул навет З. Н. Гиппиус: «*Блок — большевик*»; А. А. Блок имел много идейных разочарований; но в «*дураках*» никогда не ходил; слишком много достоинства, такта в нем жило до самой кончины.

И все же я должен сказать: перевоплощаяся в точку зрения Мережковского, можно было увидеть: по-своему, прав был и он, когда в лирике Блока ему часто чуялся хаос, которого так он боялся, дисциплинируя взвои хаоса в своих собственных недрах логикой, не Логосом — плохо усвоенной логикой, отчего его космос приобретал вид музея-паноптикума; в прикровении хаоса плохонькой логикой у Мережковского сказывалась боязнь пред стихией радений.

Я помню, с каким торжеством Мережковский однажды (то было позднее уже) — развернул предо мною какую-то книгу и с наслаждением прочел четверостишие напечатанного стихотворения А. А., где рифмуются странно «*границ*» и «*цариц-у*».[276] Вращая своими глазами, их выпучив, склабясь, как демон (душевное выражение Мережковского, когда он подбирает цитаты иль данные, подтверждающие положенье его), — он, осклабясь, ревнул с громким хохотом:

— «Видите, видите — я говорил: посмотрите „*границ*" и потом „*цариц-*", — Д. С. сделал огромную паузу и протянул, — „ууу *цариц-ууу*", неспроста: у рифмы есть хвостик: ууу-„ууу"; в этом „*ууу*" ведь все дело; „*ууу*" — блоковский хаос, радение, отвратительное хлыстовство. „А, Зина, — и он тут блеснул волоокими взорами, — каково: цариц-*ууу*!"»

Еще долго расхаживал он перед нами в малюсеньких туфельках, колыхая помпонами (в туфлях с «*помпонами*», помню, разгуливал он одно время); — весь маленький, перепуганный и в восторге от собственного испуга, — попугивал нас он звериными звуками: «*ууу*» — рифмой с хвостиком Блока.

В ту пору разламывался сознанием между А. А. и Д. С.; меня к Блоку влекло непосредственно узнанное, увиденное; но «*опыт*» нам следовало воплотить — провести его в мысли и чувства; и — вызвать «*быт нового опыта*»; в «*новой общественности*» Мережковского, именно, и выдвигалась проблема: пресуществить религиозно пережитым свою жизнь; ввести внутренне пережитое в мельчайшие частности жизни — вплоть до газетного фельетона; я еще не видел: у Мережковских попытка введения религии в жизнь ограничивается проведением религиозной идеи... в очередной фельетон, ограничивается созданием нового фельетона; я еще не видел — фельетониста в Д. С.: видел — подлинного реформатора (он в это время не вовсе упал до газеты); и пото-

му-то стремление Мережковских меня прихватить с собою в газеты и сделать меня журналистом, им открывающим двери в общественность, — это стремление я нес, как товарищескую обязанность, как шаг к наступающему религиозному действу; но «*долг*» ощущался, как иго; А. А. меня видел насквозь; видел — боль неизбытную, — ту же, какую он видел в Москве, когда я тщетно тщился гармонизировать нестроицу «*аргонавтов*». И то же спокойное сострадательное отношение старшего брата, к впадающему в заблуждение младшему, поднималося в нем.

С А. А. Блоком меня тесным образом связывал ряд вопросов в то время: София, вневременное молчание, Вечность, проблема мистерии, память о бывшей заре, неизреченность и нежелание распылять в суматохе «*последнее*» (к распыленью «*последнего*» в фельетон, наоборот, призывали меня Мережковские), доверие к поэзии Вл. Соловьева, которому Мережковский все время противился, бо́льшая личная дружба, доверие к нашему коллективу, слагающемуся из А. А., Л. Д., С. М. Соловьева, меня; так я жил в двух коммунах; одна — мы, иль — «*Блоки*»; другая: то — мы, «*Мережковские*»; к Мережковским привязывался все более; но ощущал принуждение в их коллективе: я должен делиться был опытом без остатка; я должен был собственный опыт всегда растворять в общем опыте; Д. С. говаривал мне:

— «Да вы — наш; а мы — ваши; наш опыт — ваш опыт; ваш опыт — наш опыт».

Это душевное принуждение (коммунизм), ставшее новою формою «*Communion*» (иль причастием), вызывало все более противленье, сомненье; я чувствовал, что чего-то последнего, *главного*, своего, не могу растворить без остатка я в опыте Мережковских — не оттого, что — утаиваю, а оттого, что — не видят; и я как бы им говорю:

— «Посмотрите: вот подлинный бриллиант моей внутренней жизни; несу его — вам!»

А они как бы мне отвечали:

— «Но тут — ничего: в вас досадные пережитки субъективизма и декадентства».

И я понимаю, что Мережковские — слепы в той именно точке, которую я считаю лежащею в центре сознания; точка — конкретное «*Я*»; тут-то Блок меня видит; тут он понимает меня; для этого, происходящего в моем «*Я*», происшествия нежной рукой старается отстранить все случайное он; Мережковские именно это случайное ставят в центре зрения мне; я мучительно начинаю теперь приходить к осознанию: «*новая общественность*» Мережковских не есть та общественность, которая

органически вырастает с законами роста «*Я*» (от свободного «*Я*» и к свободному «*Я*»); нет, общественность Мережковских есть подлинно групповое начало, могущее привести к новой стадности разве среди ряда нам данных (как то: к государственному идиотизму, к партийности, к внешней церковности); их «*групповая душа*» несомненно же спаивает примитивно Д. В. Философова, Мережковского, Гиппиус; в действии этой души, коллективной, коммуной, осуществляется «*атмосфера*», витающая в квартире у них, — «*атмосфера*», которую остроумнейшим образом охарактеризовал раз Бердяев, сказавший:

— «Вы — понимаете: вы беспомощны в „*атмосфере*" у них; вы приходите к Мережковским сказать: „*Я не с вами...*" А Мережковские вам отвечают: „*Так почему же вы, если не с нами, не уличаете братски нас...*" И начинаешь их братски опровергать; вдруг уже ощущаешь, что ты уличаешь — *внутри атмосферы*; ты стал — антитезою; ты — внутри синтеза; тут Мережковский пристроит мгновенно свой синтез; попался: внутри *атмосферы* уже...»

В таких ярких и верных словах Н. Бердяев характеризовал мне однажды то групповое начало сознанья, которое обволакивало собеседников З. Н. Гиппиус, рассуждающих у камина; — с неодолимою силою; и вовлекало их всех в *атмосферу*; поэтому и назвал В. В. Розанов эту квартиру, пропахнувшую сигарами и духами, «*мистическим логовом*»; он оглядывал стены, как кошка, и — говорил, улыбаясь:

— «Нет, что-то такое тут есть».

Это «*что-то такое*» — я чувствовал; и еще более чувствовал Блок; но он думал то именно, что Д. С. Мережковский так реторически возглашал «уу-ууу» (об окончании блоковской рифмы); а именно: думал он, что «*атмосфера*» — иррациональный протянутый хвост рационально сказуемых мыслей, или медиумическое начало, насильственно угасающее, «*самосознания*» Мережковских; от этого вокруг них бессознательно развивалися волны раденья, хлыстовства; то есть — все то, что в верхнем сознанье Д. С. Мережковский боялся; и — в чем уличал он других.

Об «*атмосфере*» квартиры, о доме Мурузи, — не раз говорили с А. А. в это время мы.

А Мережковские, в свою очередь, уличали меня А. А. Блоком; они наблюдали неудержимое, ежедневное убегание от них к А. А. Блоку; они бы мне «*запретили*» охотно сбегание к Блокам, как «*запретили*» знакомство с Л. Вилькиной; чувствовали, что со мной ничего не поделаешь: вынуждены признать, что А. А. и «Я» — братья; и все-таки: З. Н. все-то хотела ввести в надлежащую приличную норму мое непри-

личное исчезновение к Блокам. И наконец Мережковский нашел себе формулу моего тяготения к Блокам; «*декадентская мистика*» соединяет-де нас; убегания к Блокам есть бегство «*волчонка*» в глухие леса, в завывание, в «*ууу*», после уроков естественного муштрования, долженствующего превратить декадентского, хвост поджавшего, волка в овчарку религиозной общественности; тщетно добрые пастыри Мережковские волчонка дисциплинировали; они нуждались в «*овчарке*», такою «*овчаркою*» воспитать меня очень хотелось; в сознании их, вероятно, разыгрывалась картина: вот добрые пастыри из «*декадентского леса*» приносят волчонка; но «*сколько волчонка ни наставляй, — смотрит в лес*»; сколько бедного дикого декадента ни наставлять в твердых правилах религиозной общественности, — все он потянется к братьям-волчатам: с собаками — не наиграется; на убеганья к А. А. они грустно поглядывали, как бегство «*волчонка*» к «*волчонку*» (резвиться в лесу после строгой муштровки); так: мне разрешалось общение с Блоками; но на него Мережковские, пастыри, трезвый составили взгляд: это только — «*волчиные игры*». Что может быть общего у А. Белого, трезво могущего поговорить и о Риккерте, трезво умеющего приподнять, если нужно, «*пудовую*» религиозную тему, — что может быть общего у А. Белого с косноязычнейшим мистиком Блоком (впоследствии изменили нелепейший взгляд на А. А.);[277] рекомендовалось мне убедительно «*обсуждать что-нибудь*» с Философовым, с Карташевым, а с Блоком я мог разве что поволчиться: «*ууу-ууу*». В такой глупой *пустой* легкомысленнейшей оценке моих отношений с А. Блоком, с С. М. Соловьевым и с Александрой Андреевной напечатлялася удивительная поверхностность и нечуткость к другим, которая искони отличала Д. С. Мережковского; говоря постоянно «*мы-мы*» (вместо «*Я*»), Д. С. в сущности относился к искомому «*мы*», как к разбухшему «*Я*» (всякое другое «*Я*» неумолимо съедалось «*Я*» Мережковского, перерабатываясь в его схемы).

Неоднократно говаривал мне Д. С. Мережковский:

— «Послушайте, эти ваши сиденья у Блоков, — болезнь: тут — безумие».

А З. Н. прибавляла:

— «Да, да: метерлинковское косноязычие. „Что-то", „где-то", и „кто-то" вместо открытого Лика и Имени...»

Словом, «*ууу*» пресловутой осмеянной рифмы: цариц-ууу. *Прекрасная Дама* поэзии Блока, Царица, представилась Мережковским со шлейфом из «*ууу*»: цариц-ууу. По представлению их мы, невнятные мистики, рыцари Дамы, едва ли не собирались для упражнения в ношении этого шлейфа из «*ууу*». Сочинивши пародию из нашего преклоне-

ния перед идеями Владимира Соловьева, З. Н. принималась меня той пародией тыкать:

— «Уж вы постыдились бы!»

— «Постыдились бы... Взрослый ведь вы человек; ведь вы деятель, а — Прекрасная Дама...»

— «Ужас!»

— «Хлыстовщина...»

Я же молчал: возражать, спорить, строить опроверженья — перед З. Н., кто имеет о ней представление, — тот меня близко поймет; опровержение — отход мой решительный от Мережковских с 1909 года (отход навсегда); ушел молча: без споров (ведь спор со слепым есть тщетное тщение — выжимание сока сухой перецветшей гранаты: «пока тщетно тщится мать сок гранаты выжимать»).* Так, бывало, я пробираюся молча по коридору из своей комнатушки, стараяся проскользнуть мимо двери, открытой в гостиную, где часа в половине четвертого только что вставшая З. Н. Гиппиус перед зеркалом расчесывает гребенкою пышные волны золотокрасных пушистых волос, упадающих на спину, за спину (ниже колен); и — прикрывающих плечи; я — пойман.

— «Куда?» — и из красных волос застреляли глаза-изумруды.

— «Я — к Блокам!» — стараюсь сказать независимо я: не выходит.

— «Опять?»

Я — накидываю поскорей на себя свою шубу; и — улепетываю; в спину летит мне:

— «Безумие!»

Щелк (то — задвижка у двери); я — скатываюсь по лестнице, мимо швейцара; свободен!

И — к Блокам!

А возвращаюсь лишь вечером.

Многочасовое сиденье у Блоков интриговало всегда любопытствующую З. Н.; она спрашивала:

— «Нет, не понимаю, зачем вы так долго сидите у Блоков. Ведь Блок — молчаливый такой. И — жена его. Что же вы делаете?..»

Виновато моргаю:

— «Молчите, сидите?»

— «Молчим и сидим...»

— «И в чувствах, с несказанными чувствами: „*где-то*", „*кто-то*", „*что-то*" и завиваетесь в пустоту: ну, конечно!»

---

* Кузьма Прутков.[278]

Мои отношения к Блокам З. Н. окрестила названием: «*завивание в пустоту*». То название — стало техническим термином. Вот ведь — будет Бердяев: и будут внушительно подниматься «*проблемы*». Где «*Боря*»? — у Блоков: и вместо общего дела опять завивается в пустоте. Бывало, когда возвращаюсь от Блоков и попадаю в гостиную Мережковских на важный, как мир, разговор, от которого, конечно, зависит свершенье истории (протестовать или нет в либеральных газетах «*трем честным интеллигентам*» против «*гнуснейшего*» послания иерархов);[279] сидит пренадменно настроенный «*Дима*» (Д. В. Философов); неукротимый «*Антон*» (Карташев), вздернув плечи, метается по углам, приводя двадцать пятое возражение против веского резюме чьей-то мысли; — застигнув врасплох: Мережковский, лукаво взглянув на меня («*наигрался теперь в пустоту: ну, пора и за дело*»), пытается с мягкой любовностью и меня ввести в тему надменного рассуждения Философова и летания Карташева по комнате:

— «А мы вот, пока вы „*завивались*“, — без вас обсуждали...»

И я начинаю теперь поднимать на плечах пудовую общественно-религиозную тему: за Философова против А. В. Карташева; или — обратно: за Карташева — против Д. В.

Если я терпеливо проглатывал все подшучиванья над моими невольными слабостями (убеганием к «*Блокам*» и, может быть, декадентством, бросанием в небеса «*ананасом*»)[280] — происходила такая уступчивость лишь потому, что Д. С. и З. Н. мне высказывали действительно «maximum» дружбы, терпенья, внимания; «*главного*» моего — не понимали они; и «*оно*» их кололо; «*уколы*» — несли; и меж нами естественно вырабатывался тот «modus vivendi», в котором неоскорбительными казались мне шутки. Чего не позволишь чужим, то позволишь «*своим*»; Мережковские были воистину мне *своими родными*. Я с грустью вспоминаю те года; и хочется все-таки *через все* им сказать:

— «Вам — спасибо, спасибо: за все!»

В КАЗАРМАХ

Между Казармами и массивнейшим домом Мурузи я чувствовал в раздвоеньи себя; я был вовсе разорван во время тревожного петербургского пребывания; у Мережковских проплющивали общественностью; самого Мережковского этой общественностью методично проплющивал

Струве; и создавалася атмосфера «*кадетской религиозной общественности*» до возникновенья самой партии;[281] из тяжелой, из пряной общественной атмосферы я вырывался стремительно — к Блокам, «*домой*»; в тишину безглагольного, комфортабельного покуриванья, отдохновительнейших улыбок, вещающих «*ни о чем*», потому что:

— «Ах, знаю!..»

— «Все знаю...»

— «Не объясняй...»

Развалясь в мягком кресле, откинувшись головой в тень спинки и закрывая глаза, хорошо было думать, и хорошо сознавать, что твое настроение здесь блюдется: ничто не спугнет его; что с дивана не бросится зычно рыкающий глас привскочившего, перепуганного идеей Д. С.; не поднимется суетливая беготня черных туфель с «*помпонами*»:

— «Или мы, иль — никто...»

(«Мы» — конечно же, не помпоны: Д. С. Мережковский, Д. В. Философов, А. В. Карташев и З. Н.).

— «Что ж?»

— «Вы с нами, или вы — с ними?»

А. А. не оглушал никого: не рыкал, не взывал, не глаголил:

— «Вы с нами, или же с „*ними*"!»

Закинувши голову в мягкое кресло и созерцая большими глазами пространство над ним, размыкал свои губы; струя голубая дымков наполняла пространство причудливым облачком; и — в душе отдавалось:

— «Знаю, все знаю...»

— «Ты с нами...»

— «Не нужно речей...»

В фантастической, очень идущей рубашке из черной свисающей шерсти, без талии, не перетянутой поясом и открывающей крепкую лебединую шею, — мне кажется Байроном он, перерисованным со старых портретов.

Всепонимающим взглядом посмотрит, привстанет, ко мне подойдет, взяв за локоть:

— «Пойдем...»

— «Я тебе покажу переулки...»

И мы — одеваемся; мы выходим на улицу; А. А. водит меня по каким-то кривым переулкам, показывает, что он видит; направо — забор; впереди — полоса огневая заката: и

Край неба распорот,
Переулки горят.[282]

Переулки, которыми водил меня Блок, я позднее узнал; я их встретил в «*Нечаянной радости*»; и даль переулочную, и — крендель булочной;[283] то переулки, избороздившие Петербургскую Сторону; помню: закатный свершается час; небо — красное над забором, который от этого кажется четким и черным; а впереди — край Невы; А. А., стройный, высокий и розовый от зари, в нестуденческой шубе, в прекраснейшей меховой своей шапке, чуть щурясь, рассматривает подробности быта: согнувшихся этих людей (они тащат кули), двух ворон; и я вижу: не ускользает ничто от внимательных взоров его; он окидывал очень-очень внимательным взором: двух галок, рабочих с кулями, закат и меня; да, — вот слово, которое характеризует его: *очень-очень внимательный взгляд*, но не пристальный; в пристальном взоре внимания нет; не морален взор, пристально устремленный; З. Н., — та, бывало, приставит лорнетку к глазам; и — осматривает: не внимательным, *пристальным*, колючим взором, впиваясь не в целое — в черточку; Мережковский глядит невнимательно перед собою, не пристально; а то — ширит стеклянные очи, то — начинает поглядывать. Александр Александрович все оглядывал *очень-очень внимательным взором*; он, да, — видел целое, а не черточки целого, как З. Н. В этом взоре — участие, не любопытство, а со-участие с тем, к чему он обращался; бывало, все-все он заметит; не раз вспоминал удивление доброго В. Ф. Марконета, которого Блок победил своим милым, внимательным взором, обласкивающим окружающее. Мы, бывало, не раз останавливались в переулке, разглядывая происходящее; и А. А. говорил:

— «Знаешь, здесь — как-то так...»

— «Очень грустно...»

— «Совсем захудалая жизнь...»

— «Мережковские этого вот не знают».

А *это* — стояло кругом: и охватывала жизнь бедноты.

. . . .

— «Что вы делали с Блоком?»

— «Гуляли...»

— «Ну, что ж?»

— «Да что ж более?»

— «Как — и молчали?..»

— «Смотрели — на переулки, заборы; на то, как „*край неба распорот*"...»

— «Удивительная аполитичность у вас: да, мы, вот, — обсуждаем, а вы вот — гуляете...»

. . . .

Кажется, раз на прогулке подробнейшим образом передал А. А. странную эпопею моих отношений с В. Брюсовым; вслушивался внимательно, чуть не хмуряся от усилия разобраться: понять; и запомнился его розовый и морозом пощипанный нос, наклоненная голова; он глядел себе под ноги, тщательно спрятав в карманы озябшие руки; морозило; яхонтовый яркий круг быстро падал над серым забором; и — стал уходить за забор; и — пропал за забором; вишневые клочья, сияя, висели на зелени неба. Нева была розова снегом; и бегали боком по снегу вороны; и гнулся прохожий, обмотанный шарфом; и гнулся А. А., молча слушая; вдруг, не глядя на меня, он уставился в черно-вишневые клочья, остановился, меня перебил:

— «Да... Мне кажется то, что рассказывал ты, очень-очень похожим... А только...»

— «Что только?»

И поколачивая руку о руку, похлопывая ногами о снег, он прибавил:

— «Что все-таки тут тебе много могло и привидеться; *оно* может быть — от другого... Я думаю, надо искать объяснения в поведении Брюсова в очень конкретных причинах, земных...»

Я взглянул на него, ничего не ответил; и стало мне грустно: почувствовалось, что — не то, что — не верит; в правдивости передачи моих впечатлений не сомневается он; сомневается, может быть, в истолковании мною фактов сознания: так-таки я и не мог передать А. А. подлинного странного сочетания действительно происшедшего.

Брюсов немного был маг для меня, т. е. тот, кто сомнительными приемами все-таки — действует; для А. А. же он был только помесью позера с мечтателем.

А поэта «*Валерия Брюсова*» Блок начинал в это время любить больше прежнего:

— «Знаешь ли, Боря, ведь в Брюсове есть что-то детское, что-то от „*мальчика*", нежное...»

— «Ну...»

— «Да, и глаза его, ты вглядись-ка в них: грустные; за колючками Брюсова, как за кустом, присел — „*тихий мальчик*", загубленный жизнью...»

А. А., нагибаясь вперед, оборачиваяся ко мне на ходу, мне пытался все выразить, что разумеет он в Брюсове под «*тихим мальчиком*»:

— «В нем же есть что-то, разве ты сам не заметил — сентиментальное...»

Я посмотрел на А. А., улыбавшегося растерянно от усилия мне разъяснить что-то в Брюсове; и сказал себе: «Сам-то ты, в сущно-

сти, — милый ребенок». И — да: в Блоке было в то время что-то подлинно детское, детски-беспомощное; помню письмо его мне, отвечающее на посылку «*Возврата*» ему; в том письме А. А. высказал мне, что «*Возврат*» — настоящая елочная игрушка, которую послал к рождеству; была фраза в письме:

«Мальчик мальчику к елке игрушку послал».[284]

На прогулках, бывало, расспрашивал он:

— «А что Эртель?»

— «Что Батюшков?»

— «Что Рачинский?»

Похрустывали снегом; а снег, отгоревший кровавою искрой, синился тенями; трактирчик желтел, точно медом, зажженным окном; багровый раскол угасал из-за облака; щурясь чуть-чуть, останавливались; и вперялись глазами: в багровый раскол...

Помню: А. А. приведет от прогулки (замерзнем мы оба); подталкивая под локоть, усадит в спокойное, мягкое кресло, неторопливо усядется рядом в такое же кресло, неторопливо возьмет преогромную, круглую деревянную папиросницу, передо мной возникающего гада — на столе у него; и — протянет ее; раз он ею совсем машинально взмахнул на меня, мне рассказывая о чем-то, и я тут невольно откинулся; он — рассмеялся:

— «Ты — что?»

— «А ты что?»

— «Почему ты смеешься?»

— «А почему ты откинулся?»

— «Так... Мне казалось...»

— «А мне показалось, что тебе кажется, будто бы я собираюсь тебе предложить эти все папиросы зараз, чтобы вставить в твой рот папиросницу». (Папиросница же была преогромных размеров). А. А. любил «*дикости*». Мы замолчали. Молчание — длилось: в молчании вспоминалося странное, дикое:

— «Почему эти глупые мелочи, жесты, врываясь в нить мысли, порой создают карикатурные ассоциации; знаешь что: одного очень-очень известного литератора впопыхах неуместной услуги однажды я вдруг схватил за нос — нечаянно, неожиданно вовсе: перепугался, что оскорбил ненамеренно нос литератора; все старался себе самому показать, что — бывшее действие есть иллюзия, и что схватывание за почтеннейший нос не имело здесь места».

— «А вероятно чем более ты это думал, тем более думалось: *а схватил-таки*», — улыбнулся А. А. И опять отдавалось мне:

— «И не надо рассказывать!»

— «Знаю: все знаю...»

В перекидных разговорах, в молчании этом, сменяющем их, в безответственных ходах мыслей, в медитативности нашего сиденья, — отдохновение приходило мне.

Было что-то в А. А. столь пленительное и уютное, что часами хотелось сидеть с ним: в лукавой улыбке, в усталых глазах (я впервые заметил усталость в глазах у него — в Петербурге), в немом разговоре, перерываемом затяжкою папиросы, — мне чудилось приглашение к отдыху.

— «Что? Бедный друг — измотался, измучился...»[285]

— «Верно, украдкой удрал».

— «Не объясняй мне: все — знаю...»

— «Вернешься и — будет тебе нагоняй: и Д. В. Философов прочтет тебе снова нотацию — за отлучку, за то, что опять *„завиваешься"* в пустоте!»

— «Нынче вечером верно в присутствии *„Таты"*, *„Наты"*, *„Антона"* поставят вопрос *„они"*: что делать с *„Борей"*?»

И я — улыбаясь в ответ на улыбку, приоткрывавшую мне, что он — «*знает, все знает*»: до разговора о нем; так незлобивые смешки меж затяжек сопровождали медлительно тему нашей беседы «*о Мережковских*»; и я должен отметить: в ней было столь много любви-понимания к Мережковскому, как к хорошему человеку, которого он понимал и любил «*несмотря ни на что*», — несмотря на идеи; невольно я был откровеннее с ним, чем хотел бы быть, часто давая З. Н. повод к ставимым мне обвинениям:

— «Да, да, да!»

— «Вы, наверное, — *предаете* нас Блоку».

Но я не пугался; я — знал: Мережковские так любили все громкое: «*Или — мы, иль — никто*», «*или с нами, иль — против*», «*иль жертвуете себя нам, иль — вы предаете нас*». «*Предавать*» не хотел, но и жертвовать своей жизнью для ходкого фельетона Д. С. — не хотел; выходило, что — я «*предавал*». Мережковские не хотели понять, что с А. А. нас связали уже: переписка, московские дни и ярчайшие переживания Шахматова; самый «*стиль*» отношения моего к А. А. Блоку слагался в таком направлении, что и не было перегородок меж нами; невольно, поэтому, я делился с ним искренним впечатлением своим о Д. С. и З. Н., начинавших влиять на конкретные частности моего идейного быта; он молча выслушивал, обнимая внимательным, всепонимающим взглядом, тем более что «*людей*» в Мережковских он и любил,

и ценил; в них претила ему реторичность, ходульность, невольная поза, соединенная с ригоризмом, абстрактностью, категорической косностью.

Более всего А. А. понимал З. Н. Гиппиус: понимал — в утонченнейших ее чувствах и мыслях. З. Н. — замечательный человек, величайшее марево в жизни ее — подчинение идеям Д. С.; Д. С. часто казался вампиром, паразитирующим на идеях З. Н. Вероятно: огромные томы его никогда не возникли бы, если бы не З. Н.: самопожертвенно отдавала себя им она; проводила дни, ночи в беседах, которые приготовляли для Д. С. благодарную пашню; на ней мог он сеять: разбрасывать горсти идей в разрыхленные души; З. Н. разрыхляла целины; он — сеял, выпучивая очень-очень большие глаза, очень-очень холодные, стекловидные, напоминающие мир минералов, разгуливал, очень какой-то *такой* (что ли зябкий и щупленький): в туфлях с помпонами. Я пригляделся к Д. С.: «*атмосфера*», которую чуяли все, — была в сущности «*мережковское*», рабочее поле: *собратья по Духу* стремительно превращались в сем поле в рабочих, закабаленных «*взаимностью*»; а интереса к самостоятельному труду членов общины не было, потому что творческой плодотворной работы ведь не было тоже. Д. В. Философов газетными фельетонами силился, встав у двери общественной жизни, ту дверь растворить Мережковскому, долженствующему: войти, победить большой свет; а З. Н. — сколько-сколько работ было ею загублено — для облегчения Мережковскому быть учителем жизни; она отдувалась за все; деловые сношенья, беседы с людьми и активнейшую пропаганду «*сознанья Мережковского*» ведь брала на себя она, чтоб Д. С. мог в роскошных уютах просторного кабинета систематически выжимать из себя по отмеренной порции текста романа, который в то время писал он;[286] А. В. Карташев не писал ничего оттого, что его — «*теребили*»; он был в «*попыхах*»; «*попыхи*» — очередная возникшая ссора с З. Н. иль с Д. С.; и потом: очередное возникшее примирение с ними при помощи «*Таты*» и «*Наты*» (не раз я присутствовал в качестве молчаливого зрителя примирений и ссор, призываемый очень торжественно быть свидетелем увещеваний «*Антона*», который — «*брыкался*»; и, наконец — «*убежал*»); вспоминаю: как только меня обнимала густейшая «*мережковская*» сфера, работа моя пропадала; на очереди стояли — «*Симфония*», «*Пепел*» иль «*Символизм*»; к рукописи, бывало, — не мог прикоснуться: сегодня был должен писать по заказу З. Н. гимн для пьесы ее, иль стихи «*Красных маков*»,* а завтра

---

* Этот гимн к пьесе Мережковских был написан мною по просьбе З. Н. в Париже.[287]

уже поручалось: статьей нападать, призывался присутствовать при объяснении «*забунтовавшего*» А. В.; помню, что к личным трудам Мережковские относились с отчаянным равнодушием; восхищались моею посредственной статьей о Бердяеве;[288] а «*Символизма*» и «*Петербурга*», я бьюсь об заклад, — не прочли; был им нужен лишь бойкий стрекочущий перьями фельетонист, помогающий Философову открывать двери «*Дмитрию*». Я, писатель, художник, для них безразличен был: нужен был лишний работник рабочего поля (вынашиватель совместной идеи), с которого Мережковский снимает плоды в своих грузных томах; да, тома Мережковского — принадлежат не ему: принадлежат они и З. Н., и Д. В., и другим обиходным «*работникам*», вспахивающим идеи Д. С.; им торжественно он говорит: «Да, мы — ваши, вы — наши»; «*работники*» подают материал, а Д. С., преобильно снабженный сырьем, из сырья по шаблонам своим выпекает какие угодно хлеба, приизюмит, присахарит: тесто же остается непропеченным и вязким (уже написал: о Толстом, о Достоевском, о Гоголе, Тютчеве, Лермонтове, Леониде Андрееве — может теперь закатить три объемистых тома об... Александре Дюма, Маяковском, или... безвременно опочившей Гуро:[289] дело вовсе не в имени — в «*выпечке*»; «*выпечет*», коль захочет, и из Гуро).

Я помню, с Д. С. мы встречалися по утрам, часов в 10, за утренним чаем; З. Н. не вставала (вставала не ранее двух); Т. Н. Гиппиус была в Академии;[290] за столом мы встречались одни; кто не знал Д. С., мог бы подумать:

— «Чего он надулся?»

— «За что он так сердится?»

Чопорно, сухо, с оттенком брезгливости мне подавал свою ручку Д. С., но я знал, что оттенок брезгливости вовсе ко мне не относится; просто был полон он мыслей: перед работою; от половины одиннадцатого и до двенадцати аккуратно отписывал он свою малую порцию романа «*Петр и Алексей*»; и потом, что-то тихо посвистывая, надевал меховую он шапку и быстрыми, перебегающими шагами пересекал коридор, направляясь в переднюю: шел он гулять в Летний сад, оставляя на письменном столе в кабинете открытую рукопись с непросохнувшим чернилом; мне случалось невольно прочитывать окончание последней написанной фразы.

В два — завтракали (чаще всего без З. Н.).

И потом расходились.

. . . .

Мое путешествие из дома Мурузи к Казармам происходило в 2—3 часа (каждый день); просиживал часто у Блоков часов до 6, до 7; очень часто обедал у них.

Запомнилась мне их квартира, естественно разделенная на половину А. А. и Л. Д. и на прочие комнаты; половина А. А. состояла из кабинета и спальни.

Бывало, звонюсь: открывает денщик; коль А. А. и Л. Д. дома нет, — я вхожу в двери прямо, в гостиную; знаю, что встречу я здесь Александру Андреевну, с которой все более я дружу; тема наших общений самостоятельная, разговоры, напоминающие бывалые, бесконечные мои разговоры с О. М. Соловьевой; у Александры Андреевны *тот же* пытливый, скептический взгляд, наблюдающий подоснову душевных движений; она как бы мне говорит своим видом:

— «Ну, да, — хорошо: утверждаете свет... Покажите мне вашу *тайную лабораторию* света».

За «*скепсисом*» у Александры Андреевны — огромная вера, надежда на... *Главное*; но доверие, настороженность — всегда; она первая явственно угадала, что стиль утверждений моих предполагает «*катастрофу*», «*взрыв*»; и не раз говорила:

— «Вы в сущности не оставляете камня на камне: вы все разрушаете; ваше „*да*" — но мне кажется, будто нет его вовсе...»

Тут я отвечал ей, что «*дух*» — не душа, что он — дышит, где хочет; его не покажешь руками, не схватишь душою; и разговоры о том, погибать ли душевности в Духе, — всегда повторялись меж нами; Александра Андреевна меня поняла лучше прочих в непримиримейшем устремленье к бунтарству, к протесту; казалося, Ал. Андр. влечет ко мне, но — боится меня; она явно тревожилась за судьбу «коллектива», учуяв его распадение в будущем; и боялась *стремительности* моих жестов, боялась *фанатичности* С. М. Соловьева, которого я перед ней защищал.

Очень много рассказывала она про А. А., про его невеселое детство; рассказывала про отца А. А.; он казался ей темным (он был в это время профессором Варшавского университета); рассказывала о приездах «*отца*» в Петербург, о свиданьях с ним Блока, о том, как всегда тяжелили А. А. эти встречи с отцом, увлекавшим А. А. за собой по ночным ресторанам (отец А. А. силился поколебить веру в мистику своего просветленного сына); и явствовало: очень много раздвоенных чувств отложилось в душе у А. А. от общений с отцом. Александра Андреевна порой останавливалась на людях, которыми интересовался А. А.; много слышал я в этих беседах о некоем Панченко, — музыканте, который всегда импонировал Блоку; А. А. порой влекся к нему; этот Панченко,

по словам Александры Андреевны, был умницей, замечательным человеком, но темным насквозь. От А. А. я не раз в это время сам слышал:

— «А знаешь ли, — Панченко думает...»

— «Панченко так говорит...»

Когда же пытался я больше расспрашивать, то лицо у А. А. становилось сериозным; и он озабоченно, с уважением в голосе, смешанным с удивлением, говорил:

— «А знаешь, он — темный...»

Более ничего я не мог из А. А. тут извлечь.

И потом повторялось мне:

— «Панченко — думает...»

— «Панченко!»

Панченко, Панченко, что за Панченко? Так думал я с любопытством.

Я раз его встретил у Блоков; то был уж седой человек, худощавый, не очень высокого роста с французской, седою бородкою, с прямым носом и с бледным лицом; его быстрые, острые взгляды перебегали; окидывал ими он зорко; и — останавливались с недружелюбием, со скрытой усмешкой на мне; он старался быть светским; сидел за столом и показывал нам пассианс; тогда не понравились откровенно друг другу; уже Александра Андреевна рассказала мне: Панченко не любил всех друзей А. А. Блока; особенно не любил он Л. Д.

Этот Панченко мне показался фальшивым; сквозь напускной легкомысленный скепсис французского остроумия он пытался пустить пыль в глаза, озадачить особенным пониманием жизни.

Я раз только встретился с ним, он меня оттолкнул.[291]

. . . .

При посещении Блоков я чаще всего заставал их. А. А. в эти годы был, собственно говоря, домосед; он меня проводил из передней налево в свой маленький кабинет — в очень строгую, длинную, однооконную комнату; из той комнаты белая дверь уводила в просторную спальню, откуда показывалась Л. Д. в своем розово-зеленоватом причудливом платье, напоминающем (как и все, что носила дома она) театральное одеяние. Здесь посиживали часто мы часами втроем; иногда разговором была недовольна Л. Д.: быстро вставала, без слов уходила к себе, нас наказывая отсутствием.

Кабинетик А. А. занимали: объемистый письменный стол, полированный, красного дерева; и такого же дерева шкаф, очень мягкий диван (от стола вдоль стены), очень-очень удобное кресло, в котором А. А. неизменно посиживал, под руками имея свою деревянную папиросницу;

ею раз напугал он меня; у окна цепенели два кресла и столик; здесь сиживала Л. Д., иль верней собиралась в комочек, залезши с ногами на кресло, склонив свою голову в руки, обхватывающие деревянную спинку (любимая поза ее). Я сидел на диване, облокотяся о стол. Так встают предо мною сидения вместе.

Запомнилась статная молодая фигура А. А., уходящая в тени кресла с руками, небрежно положенными на ручки, с откинутою курчавою головою; запомнился взор его, будто растерянно-любопытный; улыбчиво-грустно сидел он, внимательно вглядываясь... во что? Он был в той же черной, уютной рубашке, свисающей складками, не перетянутой поясом, открывающей крепкую, лебединую шею, которую не закрывал широчайший воротничок à la Байрон; казался опять и опять новым Байроном, перерисованным со старых портретов. Его закрывали глубокие тени; а из теней выступали глаза да лицо, побледневшее; не было в нем озаренности; поубавился с прошлого года загар розоватый; круги под глазами казалися глубже; едва уловимые складочки около глаз проступали.

И говорили мы с ним очень часто о самых незначащих, обыденных, житейских предметах: рассказывал о впечатлениях университетских, о семинарии по Платону у князя С. Н. Трубецкого; А. А. заговаривал о профессоре Шляпкине.[292]

Замечал у А. А. я всегда интерес просто к людям; участливо очень расспрашивал он о всех тех, с кем ему приходилось встречаться в Москве; и — всех помнил; с чуть видной улыбкою юморизировал, припоминая детали московских своих впечатлений; но в юморе сказывались снисходительность, мягкая нежность к людской косолапости; жестокую ноту подслушивал я лишь по адресу книгоиздательства «*Гриф*»; и — раздражение по адресу бабушки Соловьева — А. Г. Коваленской; когда говорил: «*тетя Саша*» он, — голос его становился сухим, носовым; «*тетю Соню*»,[293] сестру ее, — очень любил.

Разговор очень часто был наш — поминанием знакомых; и мысленным с ними общением.

Казалось порой: разговора-то не было: было журчание струй: разговаривал я; и — пускал ручей слов, разрезавший ландшафты душевного испарения, образовавшего облака, где взвивались причудливо птицы фантазии. В импровизациях я разливался в присутствии Блоков; взвивалися *радуги* мыслей моих; вспоминал: радуга есть преломление света; молчанье Л. Д., вспышки глаз ее, тонкое понимание Блоком любого оттенка мне было тем светом, который во *влаге* душевного устремленья — рождал мои *радуги слов*; становился я бившим фонтаном, у края бассейна которого — Блоки сидели; и слушали лепеты струй

«— — —»: хорошо было мне перед ними *журчать*; так и кот: запевает свое «*руры-руры*» естественно, если за ухом ему пощекочут; мне ж было приятно: меня щекотали — ретуши, блистательные, А. А., им бросаемые на канву моих слов; так — мне помнится: раз я описывал сцену, которая произошла с Э. К. Метнером, встретившимся с одним теософом: заговорили они о Паскале: Э. Метнер при этом имел в виду Блэза Паскаля, а теософ — никому не известного «*теософика*» из Парижа;[294] и — главное: оба они соглашались. Узнавши, что речь шла о разных «*Паскалях*», характеристики ж произведений обоих Паскалей совпадали, Э. Метнер воскликнул:

— «Как?»

Слушавший мой пересказ происшествия Блок, тут отряхивая свой пепел и перекладывая ногу на ногу, сказал с совершенной серьезностью — несколько в нос:

— «И не как: просто вышел тут — *ак*».

Расхохотался я: звукосочетанием «*ак*», вероятно, А. А. мне подчеркивал что-то смешное, конфузное.

— «*Ак*, говоришь ты?»

— «Да — *ак*».

Скажу: «*ака*» придумал когда-то я сам; А. А. только воспользовался мной придуманным словом; им выцветил невероятно удачно канву разговора; так он ретушировал часто одним только словом «*журчанье*» мое.

Мне З. Н. очень часто говаривала:

— «О чем же вы там все молчите? Я знаю уж... „*Где-то, да что-то, да кто-то*"... Ах, — это старо: просто это радение, декадентщина».

Искренне я возмущался в то время обычною характеристикой Блока тогдашними литераторами; из нее подымался какой-то «*балдеющий*» мистик, оторванный от живой социальности и погруженный в туман беспросветной невнятицы.

Подлинно: Блок бежал «*болтовни*» и кружковской общественности, которая должна была скоро лопнуть в годах русской жизни; но он, поэт *страшной године России*, кипел, волновался в те дни; это видел я часто; а его обвиняли в апатии; и да: он из этого кабинетика мог сбежать бы... на баррикаду, а не в редакцию «*Вопросов Жизни*», куда собирались писатели, где трещал мимеограф Чулкова;[295] Чулков здесь часами вытрескивал совершенно бесцельные резолюции и протесты ненужных общественных групп, уносимых водоворотами жизни, но полагающих, что они-то и сотворяют ее; в эти дни вся Россия кипела; у Мережков-

ских же обсуждалось: какие условия соединения с группою писателей-идеалистов приемлемы; идеалисты теснили *новопутейцев*; новопутейцы отстаивали себя;[296] и невольно казалося, что от союза Булгакова, Н. А. Бердяева, С. А. Аскольдова с Д. В. Философовым и Мережковским переродится стихия тогда разливавшейся революции.

Первый А. А. описал, до знакомства с «*идеалистами*» — идеалистов мне в мастерских, чисто блоковских тонких оттенках огромного юмора, совершенно беззлобного, но заставляющего смеяться: потаптываясь передо мною, склонив чуть-чуть голову набок, заглядывал он глазами в глаза — с напускною растерянностью:

— «Знаешь, Боря: теперь всюду ходят идеалисты: приходят все вместе, как стадо: большие и грузные; и — топочут калошами, чтобы условиться с Мережковскими о «Новом Пути»... И покашиваются на декадентов, боятся немного: они — добродушные, розовощекие, грузные; все — пугаются; декаденты же — бледные, испитые, худые и злые... Вот ты сам увидишь».

И мне представилося: топочущим стадом слонов набегали идеалисты на заросль тончайших мимоз, выгоняя оттуда тушканчиков-декадентов. И — начинал хохотать.

А. А. чувствовал карикатурность иных злободневнейших устремлений; он волил, воистину, *бóльшего*, пренебрежительно относясь к «*пустяковой*» журнальной шумихе; и оттого-то его называли аполитичным, антиобщественным мистиком; иные общественники надменно покашивались на него, как покашивались на него много лет уж спустя «*антиобщественные*» элементы за яркость «*общественных*» устремлений, за манифест от лица русской нации — «*Скифов*», написанных в брестские дни[297] — в дни, когда Мережковские, давясь злобой на русский народ, провалились в квартире на Сергиевской с «*IV Ипостасью*»; «*Ипостась Божества*», о которой кричал Мережковский, — пришла: Блок встал с кресла — сказать свою громкую думу всей жизни:

Идите все — идите на Урал:
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской, дикою ордою...[298]

Тут он стал вдруг внятен: народу, который «*общественникам*», очень многим, казался невнятицей; тот народ, о котором писали-писали-писали, стучали-стучали словами, — стал всем невнятицей; «*внятица*» заскрежетала зубами на русский народ, на Россию, на Блока.

А. А. очень редко в то время показывался в говорильнях, а если показывался, то — тускнел; перепуганный, побледневший, с недоуменными взорами; полураскрывши свой рот, он сидел и молчал, переживая, наверное, свои строчки:

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место.[299]

Он держался как бы у стенки; таким помню его я в редакции «Вопросов Жизни». На громком собрании с «*резолюцией*», вытрескиваемой «*ремингтонной машинкою*», он имел такой вид, точно он собирается убежать; и маститые идеалисты оглядывали его с таким видом, как будто они говорили:

— «Ну где вам, куда вам... Довольствуйтесь тем, что пускаем мы вас на страницы журнала, как... полемический „*трюк*", чтобы вами показывать кукиши „*Миру Божьему*",[300] где вас не печатают... Понимать наши споры — куда вам: вы — мистик!»

А. А., отвечая на взоры, с растерянностью как-то оглядывал сборище:

— «Не для меня... Здесь — общественники-философы, а я — мистик...»

Мне помнится: быстро он скрылся.

В то время имел он домашний, семейственный вид; он просиживал дома с Л. Д.; иногда отправлялся — «*по делу*», в редакцию; никогда не засиживался; уходил на прогулки — по островам; и простаивал часто у взморья, встречая закаты; он возвращался — повеселевший и бодрый, играя вскипающей строчкой стихов; от статей того времени не осталось следа; не расскажешь теперь, что такое вытрескивали ремингтоны редакции; а певучие строчки Блока, настоянные на приморском закате, осталися России; молчанье его *огласилось навеки*; а «*горлодер*» скольких важных вопросов повергся в глубокое, гробовое молчание.

Сам А. А. написал через несколько лет о «*горлодерах*» тогдашнего времени: «*Пока мы рассуждали... о бесконечном прогрессе — оказалось, что высверлены аккуратные трещины между человеком и природой, между отдельными людьми, и наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля*». И далее: «*Когда я заговорил о разрыве между Россией и интеллигенцией, более всего поразил меня удивительный оптимизм большинства возражений: до того удивительный, что приходит в голову, не скрывается ли за ним самый отчаянный пессимизм? Говорил я о смерти, мне отвечали, что болезнь излечима... Я говорил о расколе: мне отвечали, что... нечему*

раскалываться... Страшно слышать: „Болезнь излечима, болезни нет, мы сами — все можем". Когда ступишь ногой на муравейник, муравьи начинают немедленно восстановлять разрушенное. Они — в своей вечной работе... как во сне... В таком же сне — бабочка, танцующая у пламени свечи... Цвет интеллигенции... пребывает... в вечном... сне, или в муравьиной куче. Это — бесконечное и упорное строительство с пеной у рта, с падениями. Один сорвался — лезет другой, другой сорвался — лезет третий. И муравейник растет... И вдруг нога лесного зверя... ступает в середину... Отклоняется в обсерватории стрелка сейсмографа. Еще неизвестно, где произошло событие, какое событие. Через день телеграф приносит известие, что уже не существует Калабрия и Мессина — 23 города, сотни деревень и сотни тысяч людей...»[301]

Я сознательно привожу эту длинную выписку; она — в духе тех мыслей, которыми А. А. Блок мне описывал отношение свое к окружающим литературно-общественным спорам, — к кипящему муравейнику, неспособному предотвратить свою гибель от *лапы прохожего зверя*, иль той мировой катастрофы, которую прозирал он всегда с мировою зарею, о чем гласят строчки стихотворения «*Гамаюн*». А «*мировые вопросы*» Д. С. Мережковского ему казались в те дни только *бабочкой, затанцевавшей у пламени свечки*; он пламя уж видел; он видел, что «*бабочка*» скоро погибнет; его ж приглашали выслушивать «*трепеты бабочкиной пыльцы крыльев*» — религиозно-философские рефератики, иль «*рык*» Мережковского — в туфлях с помпонами; «*туфли с помпонами*» — эгоизм, выпирающий из общественных схем: «*Или мы* (т. е. „*Зина*" и „*Дима*" и я: а в конце концов — я, ибо „*Зина*" и „*Дима*" — работники, собирающие мне материалы), иль — ты, иль — никто...» Да, «*помпоны*» — хронический субъективизм объективнейших положений Д. С., над которыми со снисходительным добродушием часто пошучивал А. А. Блок у себя в кабинете; порой он взрывался: тогда он писал об осклабленной *каменной маске*, — о выражении лица Мережковского, нашедшего парадокс: «А знаешь ли, Зина..?»; А. А. повторял очень часто все то, что потом было сказано им в его ярких статьях «*Россия и интеллигенция*»: «*Есть священная формула, так или иначе повторяемая всеми писателями*: „*Отрекись от себя для себя, но не для России*" (*Гоголь*). „*Чтобы быть самим собой, надо отречься от себя*" (*Ибсен*). „*Личное самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма*". *Эту формулу повторяет решительно каждый человек... Эта формула была бы банальной, если бы не была священной... Только тогда, ко-*

*гда эта формула проникнет в плоть и кровь каждого из нас, наступит настоящий „кризис индивидуализма"».**

В преодолении «*индивидуализма*» со стороны всех тогдашних «*путей*» А. А. чувствовал фальшь; этой фальшью являлась ему откровенная смесь субъективнейших переживаний З. Гиппиус с бедной схоластикой Д. С., размешанной устремленьями «*вопросо-жизненников*», далеких от жизни и от вопросов, связанных с катастрофой сознания, о которой А. А. говорит: «*Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как на фоне зарева*».** Религиозно-философские собеседования Мережковских на огненном фоне действительной катастрофы казались А. А. неудачною карикатурою: «*Теперь они опять возобновили свою болтовню, но все эти обозленные и образованные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе, их супруги, свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы и лоснящиеся от самодовольства попы знают, что за дверьми стоят нищие духом... А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — „реакция", а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий... — ничего в России бы не убавилось и не прибавилось...*»***

Все эти мысли в Блоке мне были хорошо известны еще тогда — в 1905 году; и было известно, что на снисходительное поглядывание «*сверху вниз*» на него в редакции «*Вопросов Жизни*» он и тогда внутренне отвечал строками своей более поздней статьи: «*Что же, просвещайтесь, интеллигенты; не думайте только, что „простой человек" придет говорить с вами о Боге. Мы поглядим на вас и на ваши „сериозные искания"; поглядим да и выплеснем... на вас немножко винной, лирической пены: вытирайте лысины, как знаете...*»[305]

Общественность Блока в то время свершалась не в заседаниях, а — в прогулках по Петербургской стороне; иногда он захватывал на прогулки меня; мы блуждали по грязненьким переулкам, наполненным к вечеру людом, бредущим от фабрик домой (где-то близко уже от Казарм начинался рабочий район); здесь мелькали измученные проститутки-работницы; здесь из грязных лачуг двухэтажных домов раздавалися пьяные крики; здесь в ночных кабачках насмотрелся А. А. на суровую

---

* «Россия и интеллигенция». Стр. 61.[302]
** Idem. Стр. 55.[303]
*** Idem. Стр. 26.[304]

правду тогдашней общественной жизни; о ней же он, мистик-поэт, судил резче, правдивей, реальней ходульных общественников, брезгающих такими местами, предпочитающих «прения» с сытыми попиками.

Приговор всей общественности Мережковским сочетался в А. А. с очень тонким вниканием в психологию их, как людей, очень маленьких, очень запутанных; в их интимном, в неповторимом — любил их; в том смысле он даже с какою-то трогательностью относился к «*помпонам*» на туфлях Д. С. Мережковского; мы очень часто определяли людей в это время; мне помнится, что А. А. соглашался, смеясь, что будто бы Мережковский — какой-то «*коричневый*», и что пахнет корицею от него (в умопостигаемом смысле); действительно: этот цвет сопровождал Мережковского всюду; ходил он в коричневом пиджаке вдоль стены с коричневатого цвета обоями, посасывая коричневую сигару; обложки его толстых книжек — и те: были часто каких-то кофейно-коричневых и коричнево-желтоватых оттенков (он сам выбирал эти краски, наверное); может быть (не ручаюсь), раскуривал он у себя в кабинете курительными бумажками, распространяющими запах корицы; казалось мне: этот запах есть запах «*идейно-общественной*» атмосферы квартиры его; вероятней всего это — запах душистых сигар, перемешанный с духами З. Н. (тубероза Lubain).

А. А. нежно любил в Мережковских — интимных субъективистов, неповторяемых, оранжерейных цветов, заболевших «*общественностью*» и потерявших от этого свою ценность; так редкие пальмы, заболевающие в теплицах, роняют прекрасные листья; и видишь лишь волосатые корни да выпирающий безлистный торчок; «*религиозно-философское общество*», движимое Д. С., для А. А. было только «*торчком*» Мережковского.

— «Ну, а какой же, по-твоему, „*Дима*"?»

— «Какой?»

— «Он по-моему: темнолазурный...»

В импровизациях веселели мы; импровизировал я; и А. А. меня поправлял; иногда — присоединялась и Александра Андреевна, которая находила естественным, что я днями просиживаю у Блоков; однажды, взяв за руку и помаргивая карими своими глазами, она мне сказала:

— «Да как же вам быть-то без нас...»

— «Ведь естественно...»

— «Вот вы и с нами...»

Мне помнится, что отсутствие С. М. Соловьева, доселе участвовавшего в наших сидениях, не нарушало гармонию целого; наоборот: без С. М. стало тише, спокойнее, непритязательней вместе; и если мое пре-

бывание в Шахматове извлекало звуки розово-золотых ясных зорь, то сидение в петербургской квартире у Блоков оставило образ: высокого зимнего голубоватого неба в барашках.

— «О чем вы тут пишете?» — вероятно, воскликнут иные: пишу я о новой, о истинно новой общественности, слагавшейся из бережного переплетения душ; где даны a, b, c, там дано: ab, bc, ba, cb, abc, acb, cab, и т. д. Даны — бесконечные веера модификаций общения; я пишу о том «*личном*», которое чувствует себя в целом; «*общественность*» без творчества в личных общениях каждого с каждым, «*общественность без общения*» — сон!

Да, общественность, расцвеченная всеми видами общений друг с другом, — уже не общественность, а «*мистерия*»:

Глаза — в глаза: бирюзовеет...
Меж глаз — меж нас — «Я» воскрешен.
И вестью первою провеет:
Не «я», не «ты», но — «мы», но — «Он»...[306]

К этому-то и стремились Мережковские; но «Он» — не вставал, потому что общественностью без общения отрезали они себя от Него: и оттого-то общественность их изошла фельетонами.

Помнится: в революционные дни Айседора Дункан исполняла 7-ю Симфонию неумирающего Бетховена, и Л. Д. заставила пойти — на концерт;[307] эвритмический звук из-за жестов Дункан предо мною впервые проснулся; помню меня поразившее исполнение XX прелюдии;* юная, новая, зареволюционная Россия вставала; в те дни увлекались Дункан (более всех увлекалась Л. Д.); А. А. был всех сдержанней, но и он отдавался соединению музыки с жестом; ворчал В. В. Розанов, которого мы встретили в зале: он, взяв меня под руку, недовольно поплескивал словом:

— «Нет, нет, ни одного движенья, как следует!»

Тут махнул он рукою.

А. А. чувствовал силу прозора В. В.; порою он с ужасом вглядывался в мир В. В., столь враждебный ему; В. В. Розанов мучил его; он однажды в письме, обращенном ко мне, фантазировал, будто В. В., «*потрясая своей рыжеватой бородкою*», подбирается ближе и ближе; и — настигает уже.[308] «*Настигающий*» Розанов стоял пред А. А. в эпоху, когда мучил Кант; то двойное подстереганье сознания А. А.

---

* Шопена.

и Розановым и Кантом происходит в эпоху, когда «*Она*», «*Цельная*» начинает уже отходить, подменяясь образами «*Астарты*», действующими чрез *абстракции* (Кант) и чрез чувственность (Розанов); цельность — надломлена; появляются две *половинки*; пол-цельности — логика Канта; и полцельности — «*пол*» (тема Розанова). Переживанья такие смущали А. А. уже в 1903 году. Но и в 1905 году он становился настороженным, когда возникал пред ним Розанов.

Разговоры о Розанове поднимались у Блоков не раз; Александра Андреевна порывисто относилась к В. В. Розанову: с надсадой; сплетением ненависти и любви отзывались слова ее, обращенные к Розанову; Любовь Дмитриевна, к моему изумленью, — любила его.

А А. А. не участвовал в спорах о Розанове; изредка — ретушировал мимоходом бросаемыми словечками:

— «А Василий Васильевич — с бороденкою...»

— «Он, знаешь ли, — шепелявит...»

— «Он с *ужасиком...*»

Оттого-то так трудно запомнить мне подлинный текст его слов, что они в наших *трио*, в *квартетах* словесных бывали, скорей, примечаньями к тексту: летучей ретушью, которую невозможно запомнить без текста, заметками на полях, изменяющими разительно текст: так штрихи, нанесенные на транспаранте без ясно просвечивающего предмета ретуши, — невнятны.

Внимательно он вслушивался в разговоры о Канте, высказываясь очень редко на темы критической философии, не попадая в просаки, как Д. Мережковский, которого философствование — сплошные «*просаки*»; в те дни философствовал я; и Л. Д. мне внимала; она в это время была ведь курсисткою филологичкой[309] и посещала внимательно лекции по философии; так, однажды она мне поставила строгий вопрос: каковы должны были бы быть гносеологические основы «*Lapan*», ежели бы этот философ культуры действительно появился; и из вопроса естественно вырос ряд лекций моих, импровизированных на квартире у Блоков; А. А. неизменно присутствовал тут и прислушивался ко мне.

Не могу не сказать хоть двух слов о характере «*курса*»; ведь предстояло под флагом «*Lapan*» доказать, что «*намеки*», которыми перекидывались мы все в Шахматове (я, Петровский, С. М. Соловьев), — обоснованы логикою, философией ценности, понимаемой как теория символизма; и — Риккертом даже; в моих вскрытиях Символа символ весьма отличался от всех символических определений, был действенным воплощением *духа* в проблеме общественности; и — опирался в проблему мистерии я; ее нужно-де явно создать; стало быть — нужны «*ро-*

ли»; а роли-то — розданы: первая роль — Любовь Дмитриевна. В моих лекциях я преследовал сразу две цели: цель первая — обосновать при посредстве теории знания символ как целое; вскрыть это целое в метафизике пониманья его как Недвижной Софии; вторая же цель — показать: откровенье Софии — в носительницах Ее духа, в предызбранных, так сказать, «*софианках*»; и — убедить всех присутствующих: проблема мистерии — проблема Ее превращенья в Любовь. Соловьевство вскрывало Ее как Софию; недаром В. С. Соловьева отчетливо вдохновляла С. П. Хитрово;[310] дело «*блоковцев*» — низвести Ее в жизнь, как Любовь.

Любовь Дмитриевна превнимательно слушала первую часть моих лекций (гносеологическую); а во второй — сбился я: появлялися у Александры Андреевны и у Л. Д. усмешки, лукавые; и — улыбочки; я — завяз окончательно в месиве мыслей; и «*курс*» — быстро прервался.

Так жил я в те дни в Петербурге — двойною и сложною жизнью: у Блоков, у Мережковских: ко мне на Литейный частенько захаживал Л. Семенов; и мы отправлялись гулять в Летний сад. В то время Семенов переживал крутейшую эволюцию от монархизма к революционному максимализму:[311] он вместе с рабочими шел на Дворцовую площадь, чтобы увидеть, как царь примет их; вместо этого: вместе с толпой лежал он, упавшим на камни; вокруг же свистели летящие пули; идею самодержавия подстрелила в нем свистнувшая самодержавная пуля; он рассказывал мне, что он где-то увидел великого князя Владимира Александровича и инстинктивно схватился за револьвер, чтобы выхватить его из кармана; но вовремя спохватился; но жест был так резок, так явен, что тревога, испуг передернул великокняжеское лицо.

Мы — спорили.

В это время совсем неожиданно к Мережковским явились Свенцицкий и Эрн; оба только что приехали из Москвы с проектами обращенья к Синоду от группы церковников, желающих заклеймить синодальное оправданье расстрелов: Д. С. Мережковский, А. В. Карташев и Д. В. Философов впервые тогда познакомились с молодыми людьми (я их знал еще прежде); Волжский восторженно заявлял: появились-де «*религиозные радикалы*». Собралися мы в Пале-Рояле (на Пушкинской) у П. Перцова:[312] обсудить предложение «*неистовых москвичей*»; кроме себя, Мережковских и Перцова помню на том собрании Философова, Розанова и Тернавцева; Розанов и Тернавцев тогда отнеслись невнимательно к предложенью Свенцицкого. Помню: Тернавцев сказал:

— «Ну, что ж, может быть, вы и пророки: идите, прочтите-ка иерархам то, что написали».

Д. В. Философов воскликнул:

— «Как вы, Валентин Александрович, зная наверное, что грозит этим юношам, посылаете их в пасть ко льву?»

Но Тернавцев ответил — полушутливо:

— «Что ж? Если считают себя они вправе судить представителей церкви, они и должны быть готовы на все: Даниил ведь был ввержен в ров львиный, а — уцелел...»[313]

В. В. Розанов в это время помалкивал, резко блистая дрожащими золотыми очками, подплясывая коленкой на стуле; осведомился он небрежно лишь о происхожденьи Свенцицкого; а относительно реформационного пыла он выплеснул по адресу синодального строя:

— «Была вот навозная куча... осталась навозная куча: так нечего ее и раскапывать...»

И тем не менее: бросилось мне в глаза удивительное перемигиванье его и Тернавцева (Тернавцев же был убежденный церковник); они оба поехали от П. Перцова, обнимаясь, — на извозчике; и понял я, что соединяет их не религия, — быт и эстетика культа.

В эти дни же мы шли (я, Свенцицкий и Эрн) от Д. С. Мережковского; у Литейного моста Свенцицкий остановился; и — стал развивать мне впервые возникающую в нем идею о «*христианском братстве борьбы*»; это братство возникло в Москве. Я шел к Блоку. Свенцицкий пошел машинально со мною, охваченный мыслями о новом братстве; так он попал к Блокам; и всем нам мешал; он сидел, теребя свою бороду; и обдумывал путь к осуществлению братства; А. А. и тогда не понравился он.

Наступал день отъезда в Москву; З. Н. Гиппиус, отпуская меня, подарила мне крест (черный с четками); и — велела носить его в знак послушанья: — «На вас будут сыпаться и смешки, и упреки, а вы — выносите: то — знак нашей близости».

Крест я надел на тужурку (студенческую); и решил претерпеть за него издевательства; трогательно мы простились; повез на вокзал свои вещи, решив напоследок поехать проститься в Казармы (на пять лишь минут); вместо ж этого — засиделся:

— «Оставайся», — сказал мне А. А.

— «В самом деле, останьтесь», — присоединилася и Любовь Дмитриевна. Я — остался: а Мережковские думали, что — уехал.

Так день просидел я у Блоков; и — не решился вернуться я вечером в дом на Литейном, заночевавши в гостинице, перед вокзалом. На следующее утро — опять был у Блоков (З. Н. очень скоро узнала об этом поступке моем: и *поступок* воспринят был, явное дело, коварным

обманом; ведь вот: распростился, уехал; и — к Блокам: влетело за это — в письме).[314]

А. А. и Л. Д. провожали меня на вокзал;[315] когда тронулся поезд, увидел в окне их веселые, ласково мне закивавшие лица.

Меж тем: в этот час был убит генерал-губернатор Москвы В. К. Сергей Александрович.[316] Первое известие, узнанное мною в Москве — на вокзале, — газетное описание взрыва в Кремле. И опять, как тогда при известии об убийстве фон Плеве в часы возвращения из Шахматова (в 1904 году),[317] мое сердце вдруг вздрогнуло; и почему-то я мысли свои обратил к А. А. Блоку.[318]

Берлин. Февраль 1922 года.

ГЛАВА ПЯТАЯ
1905 год

МОСКВА В 1905 ГОДУ

По приезде в Москву я был весь переполнен ярчайшими петербургскими впечатленьями; и отчетливей стало все то, чем меня зарядили душевно: с одной стороны — Мережковские; Блоки — с другой стороны; с удивлением некоторые смотрели на крест, мне подаренный Гиппиус; я носил его, сдерживая обещанье свое, хотя знал, что в Москве пошли сплетни; меня упрекали за позу — за крест; но я — сдерживал обещание; передали, что Брюсов — крестом озадачен; и говорит с возмущеньем: «Борис Николаевич нас пугает крестом своим». М. И. Сизов больше прочих откликнулся на мои петербургские впечатления; и на любовь к танцам Дёнкан; переживали мы с ним увлечение Дёнкан, которая выступала в Москве:[1] и Владимировы, и мама, и я, и С. М. Соловьев, и Сизовы восторженно относилися к исполнению Дёнкан Шопена, Бетховена; говорила 20-я прелюдия Шопена особенно; под звуки ее (мама часто играла) я, запершись на ключ, начинал выступать à la Дёнкан; Сизов преталантливо представлял ее танцы: и — выходило. Запомнилось, что весна 1905 года провеяла отзвуком «*зорь*»; романтизм охватил нас надеждою на революцию.

В те дни произошел инцидент между мною и Брюсовым (не в астрале на этот раз).

Помню: однажды еще относительно рано (я только что встал) — раздается звонок; отворяется дверь: Брюсов; входит в застегнутом наглухо сюртуке, весь какой-то двухмерный и нарисованный будто углем на двери; в глазах — неприятная чопорность; а в носу неприязненность; сухость — в губах; оскорбительно подал два пальца, вычерчивая ка-

кую-то угловатую линию кистью руки; очень бросилось бледное, неживое, нечистое вовсе (с прыщами) лицо, оттененное черной, как уголь, бородкой, с припухше-кровавыми, как у вампира, губами; уткнулся глазами в мой крест, наклонив вперед голову; молча стоял перед ним, сжимая в руке корректуру, — как бык перед красным: клоками волос своих, точно рогами, он собирался ткнуть в грудь; так казалось; заговорил же о корректурах: мне надо исправить-де что-то; я понял, что корректуры — предлог; цель — другая; он медлил с уходом, привязываясь к словам, ища повод к размолвке; и вот — зацепился; и — заругал Мережковских, косяся на крест; ⟨я —⟩ защищал их; он — крепче их выругал; и посмотрел на меня, выжидая, какое произведут впечатление на меня его резкости; я — оборвал его; он, отступая шага на два и наклонив набок голову с дерзким носом, с потупленными глазами — как разорвет красный рот, точно черную пасть, как взгадарит (совсем из Гадарры):[2]

— «А Дмитрий Сергеевич Мережковский, он, знаете...» — далее воспоследовало нечто вполне невозможное по адресу Мережковского;[3] с выпученными глазами смотрел я на Брюсова; и не успел реагировать; он, согнув руку, мне бросил два пальца и неприятнейше ретировался.

Тут только очнулся; и бросился в свой кабинет, чтоб ответить письмом;[4] и в ответ на письмо получаю записку с официальнейшим «*Милостивый Государь*»; «*Милостивый Государь*» уведомлялся, что, после печатных его заявлений о Брюсове, Брюсов не может перенести такой отзыв о нем; и письмо обрывалося вызовом на дуэль, с указанием, куда следует обратиться и кто секунданты.[5]

К дуэлям в те дни относился серьезно я; я полагал, что пока у нас силы нет вынести оскорбление по-христиански, вся апелляция к христианству есть фальшь; и дуэль, мною в глубинах отвергнутая, есть печальная форма для разрешения конфликтов; но я относился к дуэли сериозно в том случае, если нет больше средств разрешить столкновение людей, пересекших друг другу пути. Между тем: очевидно, что Брюсов искусственно строит дуэль, что причины к дуэли меж нами и нет; Мережковский — предлог, чтоб взорвать; вся дуэль — провокация Брюсова; для провокации этой он имел причины; а у меня причин не было принимать этот вызов. И Брюсову написал я письмо; и просил В. Я. Брюсова взвесить: коль будет он твердо настаивать на дуэли, то буду я вынужден согласиться, но именно — вынужден.[6]

Да, Мережковский был поводом; Брюсов знал, чем меня прохватить, чем взорвать; а причины дуэли — те самые, которые заставляли его в октябре—ноябре предыдущего года производить надо мною экс-

перименты; он был мной разбит; и, не смея просунуться более в душу мою, переметнулся в план внешний, чтоб здесь взять реванш.

Обратился к друзьям я: к Л. Л. Кобылинскому и к С. М. Соловьеву, прося их при случае быть секундантами; дали согласие; отношенье ж к дуэли обоих — не совпадало. С. М. Соловьев переживал увлечение Брюсовым; он считал его «*гением*»; видел в дуэли с В. Я. нечто очень красивое он; и склонялся к тому, чтобы вызов я принял; Л. Л. Кобылинский же (Эллис) поклялся: коль Брюсов убьет меня, вызовет Брюсова — он; все хотел воспрепятствовать поединку, и кажется: через него о дуэли узнали — друзья; Соловьев мне рассказывал, что, зайдя в эти дни в «*Скорпион*», он застал П. Н. Батюшкова, объясняющегося с В. Я. Брюсовым на тему дуэли; и Батюшков громко выкрикивал:

— «Да, Борис Николаевич, — человек „*белый*"; да, — „*белый*": нельзя».

Очень скоро потом к Соловьеву явился В. Я. Брюсов — весьма размягченный; и у него написал примирительное письмо; инцидент был исчерпан.[7]

В. Я. находился все время в каком-то повышенном «*истерическом*» состоянии; и от дуэли переходил к его обступающим образам смерти, самоубийства; в стихотвореньях «*Венка*» отразились душевные состояния Брюсова, как, например, в «Ахиллесе у алтаря»; все хотелось ему, *просияв, умереть*;[8] он кидался из крайности в крайности; и — ко мне относился неровно; через две-три недели по вызове на дуэль мы с ним встретились около типографии Воронова (близ Манежа);[9] из шубы его торчал толстый сверток закатанных гранок; склонив набок голову, он даже с нежностью заворковал что-то мне; разговор перешел на одно из написанных стихотворений о смерти; вдруг Брюсов воскликнул:

— «Да, да: хорошо умереть в ранней молодости, Борис Николаевич. Не правда ли? Умерли бы вы теперь, пока молоды, а то — напишете вы уйму книг; и — испишетесь к старости. Отчего бы не умереть вам теперь?»

Помню, я — возразил:

— «Да не хочу я, В. Я., умирать; еще годика через два, когда будет мне 26 лет, — ну, тогда мы посмотрим».

В. Я. же ответил с улыбкою:

— «Ну, — поживите еще — так: два годика. До 26 лет? Так? Не правда ли?»

Падали на нас снежиночки: чаще, быстрее, крупнее — снежинки, снега, хлопья, снежище; и — повалила хлопчатая масса: на меховой воротник набок склонившего голову Брюсова; он из-под хлопьев блеснул

на меня удивленными черными, ставшими очень большими глазами, из-под чернейших и длинных ресниц; улыбнулся под скулами рот; и блеснули слепительно зубы; и тут вспомнил Блока: как он говорил, что у Брюсова есть в выражении глаз что-то нежное, что-то от «*тихого мальчика*».

— «Ну, поживите еще — эдак, годика два».

Нахлобучивши шапку, склонив низко голову и ощупав пучок корректур, он пустился бежать вдоль манежа, по направлению к «Метрополю»,[10] постукивая тяжелыми, твердыми ботиками по ледышкам. Хлопчатая масса валила: хлопчатая масса его заваливала. Ворона сидела — вон там: на карнизе; ворона хрипела — с карниза; и — полетела: с карниза.

Я думал: да, вот В. Я. Брюсов отмерил мне только два года пожить; 26⟨-ти⟩ лет надо, стало быть, помирать.

Характерно, что 26⟨-ти⟩ лет я едва не отправился к предкам;[11] мне Брюсов, даря два лишь года, как будто заранее отнимал все возможности жить.

В это время Москва волновалась; митинговали везде; по преимуществу в богатых домах; буржуазия была революционно настроена; часто такие собрания протекали в особняке на Смоленском бульваре, у М. К. Морозовой. С ней познакомился я на вечере — в пользу бундистов;[12] произошел на собрании крупный скандал: социал-демократы сцепились с бундистами; градоначальник Козлов запретил все собрания в доме Морозовой; с того вечера часто я стал заходить к М. К.; все-таки здесь собиралися: неофициально; читал Кизеветтер; я помню, что Фортунатов читал М. К. Морозовой и Е. К. Востряковой (сестре ее) лекции по конституционному праву; и на одной я присутствовал; в это время в морозовском доме впервые сорганизовалась группа общественных деятелей с Милюковым: слагалась кадетская партия — здесь; Милюков бывал часто у М. К...[13] Но скоро она отошла от кадетов; смущала ее неотчетливость лидеров. Иногда у М. К. вечерами играла покойная Скрябина (Вера Ивановна), очень талантливая пьянистка, — произведения Скрябина; помню средь слушателей: Вострякову, Сударскую-Фохт, Б. А. Фохта (философа), А. В. Кубицкого, Багриновских, Хвостова, Лопатина, Трубецкого. Было уютно на этих собраньях; М. К. — оказалась большим человеком; она повлияла на многих из деятелей того времени: на А. Н. Скрябина, на Э. К. Метнера, Г. А. Рачинского, кн. Е. Н. Трубецкого и на группу, впоследствии собранную вокруг книгоиздательства «*Путь*».[14] В ней — встречало редчайшее сочетание непосредственности с совсем исключительным пониманием

Ницше и музыкальной культуры; она имела способность объединить музыкантов, философов, символистов, профессоров, общественников, религиозных философов; нас, символистов, влекло к ней ее понимание зорь 901—902 годов; она зори видела: воспринимала конкретно; профессора, музыканты, общественники находили в ней *нечто* свое; мы, московские символисты (позднее «*мусагетцы*»), в ней видели «*нашу*»; она понимала поэзию Вл. Соловьева и Блока большою душою своею; весна того года окрашена мне возникающей дружбою с Морозовой, у которой я часто бывал и с которой часами беседовал; да, она понимала стихийно тончайшие ритмы интимнейших человеческих отношений; но с присущей ей светскостью, под которой таилась застенчивость, она не всегда открывалась вовне; очень многие относились небрежно к ней; и видели в ней «*меценатку*», а удивительного человека — просматривали.

Я ей обязан не раз в жизни был бесконечно.

Весною приехали Мережковские: у М. К. Морозовой с Е. А. Бальмонт мы устроили лекцию Мережковского в пользу каких-то организаций[15] (часть средств шла на деятельность возникшего «*христианского братства борьбы*»);[16] говорили: Свенцицкий, Рачинский, С. А. Соколов и еще кто-то, я; отвечал Мережковский. Рачинский, торжественно закрывая собрание, грянул:

— «Святися, святися, Иерусалиме».

М. К. после много смеялася.

Я, только что написавший статью «*Апокалипсис в русской поэзии*»,[17] мне навеянную общением с Блоками и с С. М. Соловьевым, загнул что-то круто мистическое на собрании у Морозовой; этого не мог вынести бывший на вечере князь С. Н. Трубецкой, юмористически сказавший кому-то:

— «Не понял ни слова я в вое Бореньки Бугаева...»

Мое левое соловьевство, настоянное на символизме, воспринималось патронами московской идеологии «воем»; у «воющего» — оказались друзья; и в салоне Морозовой Метнер, Рачинский, хозяйка салона отстаивали устремления Блока и Белого перед Лопатиным, профессорами Хвостовым и Трубецким. Покойный С. Н. Трубецкой оставался до смерти непримиримым; а с другими (с Лопатиным, с В. М. Хвостовым) встречалися дружески мы; мне впоследствии кн. Е. Н. Трубецкой признавался: он долго не понимал как поэта меня; и наконец-таки — понял.

Лишь несколько дней Мережковские пробыли здесь; остановились в «Славянском базаре»;[18] летал, угорелый, естественно превратившися

в их адъютанта, являяся зачастую посредником между ними и москвичами: присутствовал при разговоре с Морозовой; Мережковскому очень хотелося, чтобы М. К. субсидировала какое-то литературное предприятие их; он смотрел на нее, как и все: меценатка, богачка. Человека — не видел; меня же шокировало подобное отношение к чуткой душе; Морозова, ну конечно же, видела все корыстные покушенья на средства ее, переживая естественную ущемленность. В те дни совершалось паломничество аргонавтов — в «Славянский базар»: к Мережковским; с визитами приходили к ним: Эртель, Рачинский, Петровский; и — кто еще? Были с Флоренским мы — вечером; он оставил-таки впечатление утонченным умом; Эртель как-то особенно не понравился Мережковскому; был рассеян с Рачинским, обидев его; вообще было больно мне видеть, что Мережковские оказывали невнимание к людям: они их не видели; видели тех, кто был нужен; соединение утилитаризма с рассеянностью — я впервые заметил в Москве в них.

Повез их к Антонию, о котором рассказывал много: Д. С. преподнес ему экземпляры окончившегося «*Пути*» своего;[19] но «*владыка*» не очень-то обратил свои взоры на Мережковского.

Наоборот: к З. Н. Гиппиус он отнесся с огромным вниманием; и не знал, как ее усадить; угощал ее чаем редчайшим, китайским (по 25 рублей фунт), на прощание ей подаривши пакетик; и долго потом вспоминал он З. Н.:

— «Передайте поклон от меня Зинаиде Николаевне: помню, не забываю». О Мережковском же он откровенно умалкивал; вскоре очень потом, посетив нас (уже в мае), спросил он меня, как-то странно в упор заблиставши глазами:

— «Скажите-ка: очень вы с Мережковскими близки?»

Не ожидая ответа, сейчас же переменил разговор: развевая атласную бороду и играя сверкающей панагией, перебирая ее утонченными пальцами, размахнулся другою рукой; и — ударил ей по столу:

— «Главное для меня, чтоб бесстрашие было... люблю я бесстрашных...»

В то время он вел бесконечную тяжбу с какой-то помещицей за клочок земли, — около Волги, принадлежащий, по уверенью его, к монастырской земле; он на этом клочке все хотел учредить нечто вроде убежища для утомленных интеллигентов. Возможный церковный собор интересовал его; и Петровскому он говорил:

— «Только бы мне пробраться туда: ужо — им покажу!»

Ненавидел монашество он (хотя сам был монахом); Петровского и Флоренского, в это время мечтавших о постриге, всеми силами он от-

говаривал; взял слово с них: до окончания Академии они выкинут мысли о постриге.

Вскоре же, когда мама была у Антония, с ней он завел разговор о Д. С.

— «Да, знаете, — все хорошо, все прекрасно: нежнейшие и тончайшие устремления... Только — рано: еще не созрело... Все так отвлеченно: сорвется... Всему свое время...»

Здесь он разумел, как мне кажется, тайное устремление Мережковского — к «*делу*»; под «*делом*» же Мережковские разумели — чин новый и новую службу; об этом стремлении, думается, и выразился Антоний:

— «Прекрасно, но — рано: еще не созрело».

На Мережковских же он произвел впечатление; помню: Д. С. говорил:

— «Настоящий: прекрасный».

Другое впечатление от приезда Д. С. — вечер, данный В. Брюсовым Мережковскому (впрочем, может быть, состоялся тот вечер не в этот приезд); был Бальмонт, полемически относившийся к Мережковским.[20]

Меж ним и Д. С. произошел лаконический спор о «*поэте*»; Бальмонт, вздернув рыженькую бородку, надменно воскликнул:

— «Как ветер, песнь его свободна».

А Мережковский ответно осклабился:

— «Зато, как ветер, и бесплодна».

И — отвернулись они друг от друга: двумя фразами два миросозерцания друг о друга ударились, отскочив друг от друга.

Мы каждую среду встречались у Астрова; на собраниях оказывалось все больше народу; образовалось в те дни *христианское братство борьбы*, под руководством Свенцицкого.

И возникали знакомства и встречи с артистами, с молодыми художниками, с молодыми поэтами и с писателями. Вырастает передо мною фигура писателя Б. К. Зайцева и супруги его В. А. Зайцевой; Зайцевы мне сразу же показались родными и близкими в «*главном*»; литературно же Б. К. Зайцев держался иной ориентации, примыкая к «*андреевцам*» и общаясь со «*Знанием*»,[21] столь нам чужим в это время; Борис Константинович тем не менее не казался далеким, и что-то меня привлекало к нему очень сильно; и тихий, и ровный, с византийскими иконописными чертами лица, строго мягкими, перекликался во мне с чем-то вечно знакомым; я с Зайцевым встретился у С. А. Соколова; с тех пор мои встречи с Б. К. протекали под знаком какого-то взаимного расположения друг к другу.[22]

В то время кружок литераторов-реалистов группировался вокруг знаменитых андреевских «*Сред*», происходивших попеременно то у Л. Н. Андреева, где-то близ Пресни, то у С. С. Голоушева (где-то в Хамовниках);[23] Б. К. Зайцев был деятельным участником «*Сред*»; вероятно, меня познакомил с С. С. Голоушевым он; Голоушев мне тоже понравился; в нем был такт и умение отнестись объективно к нам, «*яростным символистам*»; позвал он на «*Среды*» меня. И на «*Среды*» я хаживал — спорить с писателями, нам далекими по стилю и вкусам; те споры затеивал Голоушев — о символизме, который отстаивал я, на который обрушивался или тот или этот писатель из «*Знания*»; споры носили вполне дружелюбный характер: прекрасная товарищеская атмосфера андреевско-голоушевских Сред не допускала газетного тона.

Обыкновенно С. С. Голоушев, потряхивая уж седеющей гривой волос, с молодцеватой улыбкой, бросался вопросом в меня, точно мячиком; этот вопрос был шутливо-задорный, слегка задевающий символизм, чтобы вызвать во мне пафос спора; я — «*мячик*» подхватывал; и начиналась идейная переброска меж мной и С. С.; иногда вставлял слово в идейные пререкания А. К. Грузинский иль Е. Н. Чириков.

Мне писатели «*Знания*» очень нравились персонально при всей нашей разности устремления; в них вовсе не было «*скорпионовской*» едкости; не было злобной «*колючести*»; «*декаденты*» ходили ежами; кололись — направо, налево; и — лезли стремительно в бой; а писатели «*Знания*» снисходительно-добродушно отшучивались от наскоков (они-то — царили: и тон «*победителей*», может быть, создал впечатление благодушия этого); странно: сторонники «*безыдейного*» творчества, мы всюду выглядели принципиальней, партийней, идейно организованней наших тогдашних «*идейных*» противников; но «*мы*» казалися более злыми за то.

Среди участников «*Сред*» мне запомнились: доктор Добров, С. С. Голоушев, Тимковский, художник Россинский, Иван Белоусов, Грузинский, Первухин, Кожевников, Е. Н. Чириков, Н. Д. Телешов, братья Бунины, Б. К. Зайцев, В. В. Вересаев.

Мне кажется, этой весною я здесь познакомился с Леонидом Николаевичем Андреевым;[24] он все более, более поднимался в душе, произведения его очень сильно влияли на внутренний мир мой. Фигура Андреева раз поразила меня; здесь позволю себе я коснуться той памятной встречи.

Воспоминания мои об Андрееве двойственны: он, с одной стороны, занимал в душе важное место (недавно еще потрясался огромным рас-

сказом его «Заклинающий Зверя»;[25] и мне открывался космический смысл, неосознанный вовсе, — в Л. Н.).

С другой стороны — моя память о Леониде Андрееве как-то скудна; мы — так мало встречались; нечастые встречи порою совсем занавешены памятью; точно густейший туман поднимается там, где должны бы отчетливо выплывать бытовые подробности встреч; через этот туман выступают отдельные, яркие, острые два-три момента, где жест Л. Н., жест бессловесный, заумный, ко мне обращенный, прорезывает тот темный туман очень ясною вспышкою света, подобного магнию; на мгновенья выхватываясь из тьмы, этот свет обнаруживает очень странные позы людей, производящих движения, но во вспышке, мгновенной, являющихся неподвижными, с раскаряченными ногами: стоит человек с неестественно приподнятою ногою над лужей, которую через мгновение перешагнет; но движение — пропадает во мраке (ведь вспышка мгновенна); и кажется, что стояние человека над лужей с приподнятою ногою продлится — тысячелетия.

Из мрака беспамятства мне выхватывается Леонид Николаевич, на мгновение вспыхнувший.

Так: я помню его передо мною стоящим посередине пустой, освещенной, квадратной, предметами не наполненной комнаты — квартиры на Пресне; тут только что, очевидно, сидели; расставлены стулья в причудливых сдвигах: их двойки и тройки, полуобращенные друг к другу сиденьями, обрисовывают расположение только что сидевших гостей; все прошли; там, в дверях, уводящих в соседнюю комнату, движутся; и — кажутся нелепыми силуэты; и — гуды людских голосов глухо ухают; может быть, — там закусывают; и, вероятно, там — Телешов, А. Е. Грузинский, покойный С. С. Голоушев, художник Первухин, Иван Белоусов, Тимковский и Чириков; и — прочие посетители *Сред*; я не помню, кто там. В пустой комнате передо мною Борис Константинович Зайцев, расспрашивающий о чем-то меня и мне кажущийся низкорослым лишь оттого, что на плечи к нему навалилась большая-большая и грузная фигура Л. Н., полуобнявшая Б. К. и поставившая на пустой стул — ногу; Л. Н. вглядывается в меня своим острым, пронзительным взором совсем изумительных черных глаз, оттеняющих белость спокойно-застывшего лика с упавшею черною прядью всклокоченных как-то волос, перерезавшей лоб.

Вся картина воспоминаний, как вспышка.

Что говорил Б. К. Зайцеву я, — не припомню; что было за сим — не припомню; о чем говорили с Л. Н.? Но я помню, что вышел меж нами ненужный совсем разговор, производивший во мне впечатление,

будто оба мы напрягали усилие говорить лишь о том, что нам не было важно: меж тем: черный взор Л. Н., остро и любопытно впиренный в меня, из-за белого лика гласил:

— «Да, да, — не увертывайся, братец мой».

— «Дело вовсе не в том, о чем речь; дело в том, что за речью...»

— «А ну-ка, а ну-ка ты, покажи-ка мне, что такое там происходит в тебе».

— «Как ты смотришь, когда ты один?»

Так сказал неморгающий взор, разрезающий разговор о предметах искусства, который меж нами возник; очень бледные щеки и нос, очень бледный, бородка, клоки неподвижных волос — мне казались совсем не имеющими отношения к происходящему между нами общению. Тут я почувствовал: Л. Н. мне стал близок и мил; между тем: в эти годы мы были в противоположнейших лагерях; с усилием, смешанным с родом досады на то, что Л. Н. нас «*не видит*», старался быть сдержанным я; старался быть внешним с прославленным всеми писателем, перед которым газетные фельетонисты, травившие нас, забегали вперед — петушком. Наконец: я не знал почти лично Л. Н.; все то было забором меж нами; но через «*забор*» вдруг проник в мою душу внимательный взгляд, любопытный, меня ободряющий, точно сказавший:

— «Литературные партии и мнения друг о друге — какой это вздор: одинаково мы одиноки в последнем, в ночном».

Все это длилось мгновение (вспышка магния в мраке); и взгляд из-за слов мне запомнился; взгляд чуть-чуть грустный, сочувственный «*через все*».

Я не помню, когда познакомились мы с Леонидом Андреевым; и — как познакомились; что было сказано между нами, — опять не припомню;[26] массивную и казавшуюся неподвижной фигуру писателя я знавал до знакомства: я помню Л. Н., возвышавшегося головою над публикою в фойе Художественного Театра; казался застывшим в беседе; мне помнится он прислоненным к стене; и вокруг — кучки барышень, кучки студентов, окидывающие писателя влюбленными взорами; помнил рубашку из черного бархата; и — высокие черные глянцевитые сапоги; и — серебряный пояс, затягивающий полнеющий стан. В этот вечер на Пресне в такой же рубашке стоял передо мною, опоясанный тем же серебряным поясом; но он был уже близок мне; чем, — я не знаю.

Он был очень ласковым, гостеприимным хозяином; все движения полного тела напоминали мне ритмом страннейшую гиератику фраз его; и казалось, что все, что он делает, делает перед собою самим; зорко ви-

дит себя среди нас, отделенный пространствами: от себя; и смотрит: *оттуда — сюда*; переживания — *там*, а узнания — здесь; знания не накладывались на *переживания*; знания были — обыкновенными; переживания — огромными; глядя *знанием* на себя, — видел он пустоту (вместо образов того мира); ощупывая переживанием жизнь, — видел он: бестолковицу, к которой старался себя привязать, чтобы не кануть в действительность, относительно которой сознанием не знал ничего: расщеп; и — огромное одиночество; сидишь рядом: такой, как и все; и — нет, нет; не такой; сидишь рядом, а — не коснешься; как путник, прильнувший к окну, где пируют друзья, — он — внушает себе, будто он здесь: *со всеми*; отсюда-то: некоторая театральность его; то — усилие координировать ритм душевных движений — *отсюда сюда*, протянуться к стакану; другому — естественно это; а для Андреева жест — результат очень многих усилий: поволить *отсюда* (с созвездия Пса, может быть), то б усилие воли вошло в *аппарат*, представляющий временно-пространственную оболочку «Андреева», сидящего с Буниным — вы представьте — на Пресне.

Пространственная оболочка старается быть, как и все: жест усилия кажется позою. В живости — *слишком жив*, в тишине — слишком медленен; вдруг — острый взор, вспышка магния, преодолевающая пространства: отсюда; и — упраздняющая представительство «*Леонида Андреева*», отчего оболочка в любую минуту способна произвести позу доктора Керженцева: быстро встать на карачки.[27]

Я все это понял в тот вечер; казалось: он понял, что — понял; неинтересны казались слова; я поглядывал на него из — «оттуда»; он — чувствовал, что поглядываю; я два раза поймал быстрый взор, обращенный ко мне, и — ловящий меня (добродушный, чуть-чуть иронический); и я понял, откуда пускал на «карачки» он Керженцева; а он понял, что, собственно, диктовало мне фразу: «*Все... кончено для человека, севшего на пол*».* Эта странная, бессловесная перекличка с Андреевым возвращала мне образ А. А., предо мною в полях развивающего идею о том, что все «*к худу*», что «*зори, призывы, надежды*» — пустая иллюзия и что синее небо — не синее вовсе, а — «*черное небо*».

В эту пору писал об Андрееве я: «*Хаос всегда за спиной у героев рассказов... Андреева... скрылись люди... остались их тени... распластанные по всем направлениям... И безумны были их изломы... Наша*

* А. Белый. «Симфония».[28]

*жизнь — безумие. Сама наука — только найденный ритм безумия. Спокойная маска на воспаленном лице».**

В воспоминаниях Блока о Л. Н. Андрееве встает предо мною тот же самый Л. Н.; перекликаемся тут мы с А. А.: «*Воспоминания мои совершенно лишены фактического содержания, но связаны с Л. Андреевым мы были, и при редких встречах заявляли друг другу об этой связи с досадным косноязычием и неловкостью*»... И далее: «*Леонид Андреев... знал, что существует такой Александр Блок, с которым где-то, как-то и для чего-то надо встречаться*». В этих словах дана формула к моему ощущению Л. Н. Андреева. Далее он пишет: «*Ближе были ему некоторые символисты, в частности Андрей Белый и я, о чем он мне говорил не раз*».**

Нота, в которой мы трое сближались, была нотой «*Масок*» и нотою «*Жизни Человека*».[31] «*И несмотря на близость*, — прибавляет Блок, — *ничего не вышло*».[32]

Странный образ Андреева, в одной ноте мне родственный, близкий *до ужаса* (и далекий в столь многом другом) вырастает в ту весну, выплетаяся в душу.

Общения, встречи с людьми в эту весну меня разрывают на части; моя впечатлительность в это время не знает границ; переживания встреч и общений бросают мне в душу ярчайшие пятна: Блок, Брюсов, который, по-видимому, желал примириться со мной в плане внешнем и появлялся на горизонте с весны, вовлекая в полемику с ним (написал возражение он на статью «*Апокалипсис в русской поэзии*»),[33] Мережковские, Морозова, «*аргонавты*», Андреев, возникновенье московского религиозно-философского общества, — все это яркие пятна в сознанье; они утомляли меня:

Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным.

Далее — миг, и —

...Нет волшебной сказки,
И душа опять полна возможным.[34]

Разувереньем («*нет сказки*») звучало в душе мне возникшее «*христианское братство борьбы*» под руководством Свенцицкого; приезжав-

* Арабески, стр. 485.[29]
** «Книга о Леониде Андрееве», стр. 95, 96, 97.[30]

шие в то время в Москву А. С. Волжский с Булгаковым совершенно подпали под обаянье Свенцицкого;[35] помню: зашедший ко мне А. С. Волжский, шагая растерянно и сутуло по комнате, встряхивал пышной копною волос и посматривал на меня детски-добрыми глазами:

— «Что ж, — может быть, и *они* низведут огонь с неба?»

«Они» — В. Ф. Эрн и Свенцицкий. Сформировывалось и Московское Религиозно-Философское Общество;[36] устав еще не был написан; но уже происходили собранья в Зачатьевском переулке; на этих собраниях бывало порой до двухсот человек; тут сидели священники, социалисты-революционеры, сектанты, эстеты, марксисты, студенты, доценты и ницшеанцы; я помню, как в жаркий день, когда всюду в садах раскрывалися белые гроздья сирени, я ехал в Зачатьевский переулок; и — думал: четыре лишь года назад, в это время как раз я писал о собраниях «*мистиков*» в первой, в «*Московской Симфонии*»; там описывалось, как сеть мистиков покрывала Москву и как мистики собирались в Зачатьевском переулке;[37] но не было «*сети*» еще в эти дни; а теперь — «*сеть*» возникла; в Зачатьевском переулке действительно «*собирались*»; и помнится: я подивился «*Симфонии*»; и казалось: я сам теперь, едущий в первый Зачатьевский переулок, поехал по собственным строкам, как бы мне оформившим линию устремлений моих.

Сети мистиков покрывали Москву; на углах попадались порой прокламации с черным крестом; то студенты из «*христианского братства борьбы*» по ночам их наклеивали на углах переулков; первоначально мы все приглашалися в братство; но скоро, естественно, от него отстранились: Петровский, Флоренский и я; раздражало меня соединение радикализма с ортодоксальностью; соединяяся с Мережковскими, я не мог быть церковником в историческом смысле; с другой стороны: мне казалось, что линия соединения духовных путей с революцией не такая простая, прямая; соединеньем абстрактности с фанатизмом меня отпугнул В. Свенцицкий. Сизов считал долгом примкнуть; раз я был в помещении «*Братства*», где отпечатывались прокламации;[38] там Сизов, Сырочковские, Эрн с перемазанными типографскою краской руками работали под руководством Свенцицкого. В это время Свенцицкий считал специалистом себя, но — особого рода: он ставил вопросы священникам, посещавшим собрания; бедный священник, не чуя ловушки, стараяся быть радикальным, ему отвечал, а Свенцицкий ответ превращал вновь в вопрос, на который священнику было трудно ответить; на третьем, четвертом вопросе священник срывался; Свенцицкий же восклицал патетически:

— «Вот отец (имя рек) отрекается от Иисуса Христа».

Иезуитский вопрос, на котором священник срывался, вращался вокруг самодержавия и православия; В. П. Свенцицкий умел прижимать простоватых священников к стенке и вырывать у них вынужденные ответы, после которых он заявлял укоризненно:

— «Вы отреклись от Христа».

Помню, это проделал с Востоковым он; приемы Свенцицкого отвращали меня от него; мне казалось, что «*братство борьбы*» есть духовная тирания Свенцицкого над людьми; возмущенный такими повадками кандидата в «*великомученики*», я однажды пришел к нему и к В. Ф. Эрну, чтобы высказать:

— «Вы — Симон волхв».[39]

А Свенцицкий в ответ — разрыдался; и новым «*приемом*» обезоружил меня; я не раз наблюдал его: он действовал на души, но лишь «*нахрапом*»: и то вырывал отречение от Христа, то — рыдал; он был болен тяжелою формою «*истерии*»; и я это видел, и Блок это видел; не видели: Эрн, Шерр, Булгаков, Рачинский и многие религиозные почитательницы Свенцицкого.

И С. М. Соловьев отстранился от братства:

— «Нет, — дальше от них; ну-ка, Боря, — поедем-ка в Дедово».

Так и увез.[40]

Цветенело и щелкало соловьями стволистое, кустяное, зеленое Дедово; мы проживали в том домике, где покойный М. С. Соловьев, так уютно покуривая, обдумывал переводы Платона;[41] ходили по тем мы дорожкам, где он в высочайших своих сапогах, в парусиновой куртке, подтянутой поясом, рылся лопатой в грядах, насаждая цветы (был отъявленный он цветолюб).

А обедать ходили к А. Г. Коваленской — из флигеля: в ее дом, утопавший в хмелю. А. Г., маленькая старушка, трясяся наколкою своей из окна, перерезанного высокими бело-розовыми соцветьями любок, приветливо, тихо носатилась и подымала субтильнейшие, умнейшие разговоры с улыбкою над тарелкою (с рисом, с мясом), закармливала земляникой и угощала тончайшими замечаньями о поэзии В. А. Жуковского; всё то сидим на террасе, бывало: а разбегай-ветрогон надувает листы; я смотрю: расшатные кусты уронили *киваем* листы прямо в воздух; бывало, на листике слизнет улитка-рогастик, а Александра Григорьевна в кресле рассказывает про Наташу Бакунину, свою подругу, старушку; «*Наташе*» же лет под семьдесят; после идем уже к пруду — на иву; взбираемся и свисаемся мы с ивы — над прудом; и разговариваем, как проедемся к Блокам, в июле; труперхлое дерево свесилось тихо над прудом, в пруду полоскаясь ветвями; и стрекоза-трясохвостка забирюзела

у берега над трелистою травкою; тирирюкалка-пташка к ненастью зарюмила. Много и часто дождило; мокрели шиповничьи заросли; часто сидели мы дома и вспоминали покойников: Ольгу Михайловну, Михаила Сергеича;[42] в стенке же — «тик-тик»; сверликалку-тикалку слушал внимательно; это такое какое-то насекомое, проживающее в дереве стен.

Вспоминаю я мелочи этого месяца; знал ли я: месяц — последний. За ним начиналася вереница из дней, отложившая мне вереницу из лет: неспокойных, мучительных; сиживали, бывало, под окнами; и С. М. Соловьев — восклицал:

— «Посмотри-ка, есть в лете какое-то оссиановское настроение; да и в поэме твоей отражение это: и пахнет от строчек, тобою написанных, — Оссианом, туманом, дождем!»

И топольным запахом воздух бросался под вечер; широколапые клены отчетливо трогались взлепетом; смотришь в окошко: коровой прошло многорогое стадо: скотина и с ней подскотина (и овцы, и свиньи); и корочка месяца, чуть налазуря свою белизну, чуть смеялась изгибно чуть видимой звездочке. По́д вечер шли в Надовражино к милым поповнам, к Любимовым, к Александре Степановне, к Катерине Степановне, к Евдокии Степановне: просидеть вечерок и поднять разговоры о Брюсове, Блоке... И нравился Катерине Степановне — Блок; Александре Степановне — Брюсов; и Александра Степановна, человек демонический, все твердила:

— «Великолепнейший человек этот Брюсов».

Юмористически инсценировалась наша «*секта*» «*блокистов*», доставалось за это от Александры Степановны:

— «Вот, вот, погодите...»

— «Вас черти за это...»

Стояли туманные, тихие дни, лили дождики; и готовились зацветать «*колокольчики*» Владимира Соловьева (из Пустыньки);[43] мне говаривал часто С. М.:

— «Что за лето».

— «Совсем — Оссиан».

Заговаривали о Фингале, читали Жуковского;[44] квокали куры; зеленой мухрою мухрачили ветви в окне; расшатные кусты расставались жердями по ветру; и что-то волною (и — что-то родное) вливалось в притихшие души; и — чуялось: перед чем-то стоим мы.

Бывало: лежишь уж в постели; и свечку потушишь; стук в дверь:

— «К тебе можно?»

Сережа — со свечкою; свечку поставит на стол; и — усядется рядом: молчит, опустив голову, точно вслушиваясь в поступь времени;

вслушавшись, начинает высказывать свои чаянья, опасения, упования: краткими фразами, передавая лишь то, что подскажет ему его внутренний голос; я — вслушиваюсь: одновременно в себя и в него; и такими же отрывистыми набросками мыслей ему отвечаю; послушали б посторонние, — вероятно сказали б: «Невнятица!» Мы понимали друг друга: у нас был особый язык, на котором вскрывались такие тончайшие переживанья сознанья, что обыденное слово поднять не могло бы их; а переброску словами мы называли «*провещиванием*».

— «Ну-ка, Боря, — провещивайся...»

И начинаю — «*провещиваться*»; отвечает Сережа; мы так говорим до рассвета, бывало. Смеяся, Сережа «*язык*» окрестил словом странным: «*каковский*» язык.

— «По-*каковски* вы говорите?» — спросили бы нас. Оттого-то язык наш, особый — «*каковский*»; происходил он также от мифического Сережиного острова; был такой остров — «*Каков*» (остров душ, говорящих друг с другом вполне непосредственно без тяжелых покровов иллюзии). Самые тонкие вещи высказывали иносказательно, в символах, непонятных рассудочной логике, но понятных глубинам души. Да: в *Какове* текло все по-своему; там — остров мифов; о нет, не всегда мы умели расслышать *Каков* в городской суете.

Помню, осенью раз мне С. М. Соловьев говорит:

— «Знаешь, надо бы разузнать, что — в *Какове*: поедем-ка в Дедово».

Был уж конец октября; мы, запасшись провизией, двинулись вдруг из Москвы — в малый дедовский домик.

И там просидели всю ночь в разговорах, «*каковских*».

«*Каков*» для меня очень ярко возник в это именно лето; Сережа меня приучил говорить по-*каковски*; впоследствии, разлучаясь с С. М. Соловьевым, я тосковал о «*Каковии*»; только в *Какове* вполне можно выразить то, что ты подлинно ощущаешь; и только С. М. Соловьев — говорит на *каковском* наречии.

Боже мой, как я в Берлине тоскую по брате-*каковце*!

. . . .

Бывало, Сережа сидит у постели: вещает; а свечка уже оплыла; а за окнами — розовоперстая *Эос*;[45] и — утренница; щелкнули соловьи: пора спать.

В это время в С. М. Соловьеве проснулися филологические интересы; и целыми днями он разбирал *коньюнктуры*;[46] а я сочинял «*Дитя-Солнце*», поэму свою (мной утерянную впоследствии).[47] Здесь же писал я «*Химеры*» (в «*Весы*»).[48]

Фигурировала необъятных размеров крылатка покойного Владимира Соловьева, которой владетелем оказался С. М.; вечерами (то я, то С. М.) надевали «*крылатку*» (и в ней утопали), чтобы шествовать по дождям, по росистым лугам и по зубринам буерачника; проходил в вихрокрылые кустики, собирая цветы, перепачкавшись пальцами в липкой гвоздике, прислушиваясь, как какой-то певун-дроботун раскричался из трав, спотыкаяся о моховатый и пнистый корчажник; похрустывал погнилью, прелыми листьями, втягивал запах грибов; и стоял мокросизый туман над далеким болотом.

Хожденье в крылатке Владимира Соловьева казалось: хождением в соловьевских заветах; «*крылатка*» куда-то исчезла потом; может быть, пожар домика, где мы жили, ее уничтожил.

И более в Дедове нет колокольчиков Пустыньки.

Обитатели Дедова: Александра Григорьевна Коваленская, проживавшая в большом доме, седая прислуга ее, ее сын, инженер и механик, доцент В. М. Коваленский, большой юморист и чудак, что-то вечно копавшийся в ⟨о⟩городе; потом уезжавший в Москву, жена его, Вера Владимировна, старшая дочь, Мария Викторовна, черноволосая барышня, переводившая скандинавских писателей, Лиза и Саша, еще вовсе дети, их гувернантка; семейство В. М. Коваленского жило во флигеле, недалеко от большого дома; к июлю приехал Н. М. Коваленский — из Вильны; он был старший сын А. Г., уже седой, председатель Судебной палаты, поглаживал баконы, уже седые, и поднимая на солнце перепеченное лицо, он вздыхал: «Люблю солнышко». Ходил в серой паре, в белейшем жилете, играя лорнеткой, свисавшей с жилета.

СТРАДА

Июль стал душить нас, замучила засуха; ветер обвеивал пригарью; не было пышности; там, между листьев, — открылось: прозорное место; и стлалися рудобурые травы на глиняной, рудобурой земле; редкосевная рожь шелестела; отчетливо тукала дятлова долботня; перегонное облако нависало без влаги. В. М. Коваленский под вечер там, в зелени, с поливайкой садовой струил на левкои перловую влагу; и становилось душисто; и запахи мне полоумели голову.

Стали с Сережей мы поговаривать:

— «А не пора ли нам в Шахматово?»

И решили — пора.

Мы выехали в грозовой, угрожающий тучами день;[49] нагоняла тяжелая туча; гнала нас раскатами грома; меж Крюковым и Подсолнечной[50] отгремела гроза; прошел ливень: С. М. Соловьев возбужденно посмеивался:

«Да — вот, — да: „*старый бог*" разгремелся заветом Синая».

А на Подсолнечной станции кончился дождь; сторговавшись с убогою таратайкой, поехали: прямо в сырятину; в плесень, в мокрель неизсошную; издали — озеро поглядело из вислой мокрели листов: рассмеялося холодом белого олова; древотрясы-ветра нас мочили дождем упадающих капель — под ветками; и каурая морда тащившей лошадки, мотаяся, раздвигала полуосинники, полужердинники; много водицы везде выступало от трав, обливанных, водица тенела тут впрочернь — и грязь налипала на скользких колесах, стреляла шлепками; подпрыгивали на ухабах мы; чмокали грязью копыта каурой кобылы.

И сдвинувши шапку свою на затылок, С. М. Соловьев, морща нос, озирал эти местности:

— «Да, под грозою проехали: ну, а теперь — разрешилось».

Но — парило; и — нападала апатия; думалось:

— «Поскорей бы доехать».

О Блоках не думалось вовсе.

Приехали к Блокам, покрытые грязью; и — небо очистилось.

Память рисует мне много подробностей первого пребывания в Шахматове; а от второго свиданья втроем — очень мало осталось конкретных воспоминаний; какая-то драма без слов заслоняет подробности жизни тяжелой недели.

Не знаю, — в чем суть: но лишь помнится, что Александра Андреевна засуетилась, расставивши руки направо-налево ладонями; и пропуская свою непокрытую голову между них, улыбалася карими глазками, розовым носиком — в платье мышавой материи, серо-мышéвьего цвета (а может быть — нет); и за ней суетилася Мария Андреевна, вырисовывающаяся почему-то мне в рябеньком платьице (белокоричневом, иль — белочерном); и Саша стоял, улыбался сухими губами, исчерченный карим загаром; как будто иссох его лик; и — подсох его голос, чуть-чуть носовой, чуть туманный, надтреснутый.

— «Боря, Сережа...»

— «Приехали».

— «Вот...»

Точно голосом этим щепили лучину большим колуном; и казалось вполне безотчетно, что мутными голубыми глазами просил он при

встрече прощенье за... трудность быть ему хозяином, тихо потаптываясь и наклонив набок голову.

Да, да, да: я заметил растерянность; был же А. А. в просто белой рубашке, не шитой пурпурными лебедями, как в прошлом году; был какой-то всклокоченный, развороше́нный, растрепанный.

— «Вот и приехали...»

— «Вот».

Я запомнил и первую встречу с Л. Д.

Переступала медлительно, с перевальцем, округло сутулясь большими плечами и подбирая рукой у колена капот широчайший, широким подолом, как трен, протянувшийся, щуря продолговатые киргиз-кайсацкие глазки (сафировые), очерненные длинными очень ресницами, составляющими контраст с белорозовым, круглым лицом и с растянутыми в улыбке губами; она протянула нам руку, сказала грудным своим голосом, стиснутым, точно нарочно, у горла:

— «Приехали...»

— «Вот хорошо...»

Был наклонный к закату уже освеженный грозою такой непрозрачный и белый, как горный хрусталь — этот день, упадающий в тень: умеркатель; стал ясным мерцателем к вечеру; про́яснем он поглядел (прямолетная птица летела по про́ясню...); пели из далей, быть может, про Ваньку разлучника.[51]

— «Да, — громыхал бесконечно довольный Сережа. — Приехали мы: старый Бог громыхал нам Синаем; как сели в вагоны, раскрылися хляби небесные...»

Кто-то сказал:

— «Ужас что тут за ливень был...»

Сели обедать; и может быть, Софья Андреевна,[52] пришедшая в полубатистовой кофточке, нам помешала развязными быть и по-прежнему, по-прошлогоднему здесь разбить кущи: не клеилось, явно не клеилось что-то; сидели немного опешенные мы с С. М. Соловьевым, старавшимся грохнуть и бацнуть бывалым весельем: не выходило; оглядывал стол: Александра Андреевна перебегала перед собой очень быстрыми глазками (точно мышата разбегались); Саша, казалось мне, — тужится словом; наклон головы (чуть-чуть набок) и нос выражали полупроявляемую готовность к согласию; эта «*добрость*» однако мне вдруг показалась расставленной ширмой (у самого носа); за ширмами ширились дали души его, где слова «*добрый*» и «*злой*» не имели значения; вот положил он с салфеткою руку к себе на колени; загарился в вечер; и отщеплял очень коротко, не разжимая зубов, свои фразы; натянуто улыбаясь

мутными, голубыми глазами, как будто просил он прощенье за трудность: быть вместе.

Л. Д., вся закутавшись мягким пушистым платком, подпирая рукой свою щеку, с расширенными зрачками, — она будто взглядом прицеливалася с упорною сосредоточенностью, сдвинув брови и морща свой маленький лоб, — к нашим мыслям и мнениям, привезенным ей в Шахматово; и от этого напряжения делалась вдруг некрасивой она; но на эту упорность вниманья, как в мягкий платок, она куталась в летние лени уюта; в медлительной лени движений, размеренно взвешенных, будто таился разбойный размах; ту *разбойность* заметил в ней в этот приезд я впервые; в ней чуялось скрыто-могучее что-то, что залегало в ней — дикою кошкою: перед огромным прыжком.

В Александре же Александровиче я почувствовал в этот вечер незрячее что-то; и — нищее, медленным голосом распевающее псалмы по дорогам.[53] И — главное: «*нищета*» А. А., дикий размах затаенный Л. Д., и суетливости Александры Андреевны, растерянная морготня рябо сидящей здесь в рябеньком платье и изучающей общую атмосферу М. А. — все невольно слагалось в нескладицу общего тона, мне отдававшуюся так, как будто бы мы, разлетевшися в Шахматово с широчайшими планами, с постановленьями «*каковского*» съезда, — на что-то наткнулись, ударились лбами, попавши в немного смешное, мальчишеское положение; чувствовалась преграда из мнений, которой здесь не было прежде.

Взглянул на «*Сережу*»: и — сразу же понял, что он поперхнулся, ударившись мыслью о Блоках — о Блоков; и мысль проглотив, переваривал в грузном молчании; рявкнув песню из «Пиковой Дамы»:

Однажды в Версале, ⟨«au jeu de la Reine»
«Vénus moscovite»⟩ проигралась дотла...[54]

Улыбнулись — натянуто. Вечером мы выходили в пелесое поле; трава пошла вслёзь; ноги чмокали сыростью; около сырого шоссе разорались бродяги.

А вечером мы, возвратясь в отведенные комнаты, переговаривались с напускным равнодушием (я и Сережа), что вот, мол, приехали в Шахматово; и у Блоков мы (будто не ехали вовсе с какой-то особой надеждой сюда). Мы сразу же ощутили, что что-то случилось: мы встретились недоуменно; недоговоренность какая-то уж стояла; и тщетно С. М. Соловьев принимался за старое, за прошлогоднее, приподымая беседы на темы о «*что-то*», «*чего*» не касались (намеки на «*что*»

принималися в прошлом году благосклонно); А. А., весь исчерченный карим загаром, ответствовал голосом, очень подсохшим: и носом, уставленным в грудь себе, все-то отмалчивался, или щепил прекороткие фразы, не разжимая зубов; лишь порой на слова о связующем нас он глазами просил молчаливо прощенье; за трудность быть вместе.

Л. Д. — как она выразительно мне говорила фигурой своей; мне запомнилась: в воздухе бирюзистом, сквозистом и в ветерке; в ветерке лепестилась, как розовой розою, — розовым платьем; бывало: вот ждешь ее к чаю — из саду; меж зелени — зарозовело: она; и ведь вот огорченье, бывало: недорозела капотом из зелени, недосияла из зелени солнечной прядью волос, — прошла мимо, дорожкою боковой — к себе: в домик.

Все меньше и меньше звучал ее голос грудной, точно стиснутый сухостью где-то под горлом; со странной натяжкою мы ощущали себя по отношению друг к другу; А. А. был другой; и Л. Д. изменилася. Было ли то только действие дней — грозовых, испаряющих влагу; мы все задыхалися атмосферою гроз; ежедневно гремело; и бегали по небу тучи; но про себя понимали: атмосферическое давление — рамка иного, душевного; всех нас давило: давило присутствие вместе.

Я часто бродил в эти дни по дорогам — один (чего не было прежде): к селу Тараканову, за Тараканово, — далее; в совершеннейшей сухости, за спину заложив свои руки, и взревывал мысленно песни — в кустах костяники, или на сохлой дороге, с раскатанными в пылевой порошок полукомьями бывшей грязи; земля от засухи поджоскла, и пригарью пахли поля; перевихрялися дали пылищей; под Таракановым падалище воняло; и падалишная ворона картавила громко над ним.

Постараюся, как ни трудно мне это, характеризовать настроение каждого — субъективно, конечно.

Начну я с себя: по приезде с С. М. к А. А. Блоку заметил я вскоре же нечто, меня огорчившее; именно: я заметил, с недоуменьем, — мне очень трудно «*втроем*», «*вчетвером*»; прежде — трудностей не было; прежде С. М. был цементом, связующим и А. А., и меня; так было в Москве; и — так было в Шахматове; теперь — изменилось все это; я стал замечать: «*тройки*», которая возникала естественно, — нет; то был порознь с А. А., то — был порознь с С. М.; вместе было нам неуютно, натянуто — не выходили сидения вместе; весь стиль моего отношения к Блокам (к А. А. и к Л. Д., к Александре Андреевне) переменился разительно; был как бы принят в семью (младшим братом), где я отдыхал от вопросов, просиживая в Казармах; теологические вопросы меж нами, без всякого уговора, совсем отступили куда-то; произошло

это, думал я, оттого, что А. А., как и я, отошел от скорейшего разрешения *«соловьевских»* вопросов; проблемами Теократии не занимались; и отдавались только душевности, без *«духовных вопросов»*; я не был встающим на цыпочки, каким видел меня А. А. некогда, вопрошая:

— «Кто он? И не пьет и не ест».[55]

Я стал «есть» и стал «пить»: стал вполне человеком, — не человеком от Теократии, занимающим «пост» в образованном нами *«вселенском соборе»*; да и не было для меня в Петербурге *«собора»*, а было простое, житейское; и стихи мои этого времени — *«Пепел»*; бродягу полей полюбил во мне Блок; а житейски любил во мне *«Борю»*; мне кажется, Александра Андреевна права была, мне сказав в Петербурге:

— «Как вам быть без нас?»

Этим, верно, хотела сказать она, что я врос в их семью; не могла бы сказать то же самое о С. М. Соловьеве; в семью он не врос; не нуждался — быть *«принятым»*; в Блоках он видел участников некой творимой легенды, навязывая бессознательно им отвлеченные думы свои; это все тяготило А. А., далеко отошедшего от заветов «Lapan'a» (стихотворенья *«Нечаянной Радости»*[56] существовали уже); я — был ближе: смешения личного пафоса с религиозно-общественным во мне не было вовсе; С. М. же особенно смешивал *«нас»* и *«далекие цели»* свои, не желая понять строк А. А.:

Ты в поля отошла *без возврата...*[57]

А. А. подходил, брал под локоть, вел в сад; мял в руке он раздирчивый лист, забирал его в рот и отплевывал; жесты руки и наклон головы (чуть-чуть набок) и нос, в грудь наставленный, когда он улыбался мне мутными, голубыми глазами, как будто прося извиненья за то, что он нищ и незряч, что так трудно с Сережею, что назревает меж нами тяжелое недоуменье, в котором он может меня еще вынести, но он не вынесет верно Сережи, — все будто прося извиненья за это, растреснутым голосом, он выражал мне готовность к согласию; и поскорее обратно меня приводил, чтобы не быть нам вдвоем.

А. А. был, как мне кажется, в *безвозвратности*, а С. М. каждым жестом своим возвращал, поворачивал на былое, не замечая, что *все изменилось*. А. А. с нетерпеньем (я был терпеливей) отталкивался от *«теократии»*, навязываемой Сережей; я видел протесты А. А. против тем разговоров Сережи; и видел: Сережа тех жестов не хочет понять.

Между тем: я связался тесней и теснее с Сережей; сроднились мы с ним; ведь недаром я жил это лето с ним вместе; пред ним виноватым

себя я почувствовал, что не сумел посвятить его в стиль отношений моих с А. А. в бытность мою в Петербурге; увидевши жесты протеста А. А. против стиля С. М., защищал я С. М. Выражалась защита моя в нарочитом согласии с тоном, который С. М. устанавливал:

— «Нечего дрыхнуть: зовемся мы к долгу...»

— «Пора сформулировать символы веры. И — к делу...»

Сухою догматикой, перечислением тезисов мистики нашей с настойчивостью над А. А. размахался; и я говорил тому тону как бы свое «да».

И А. А., поглядев на меня, голубыми глазами, в которых отчетливо выражалось сомненье в моей патетичности, точно пытался без слов перебросить мне свою мысль:

— «Боря, — не веришь ты сам во все это; тут — фальшь у тебя: это ты для Сережи стараешься».

И отходил от меня, выражая чуть видным кивком и чуть видной усмешкой меня раздражающее полуподмигиванье: «знаю, знаю, о чем ты: религиозное опеpенье твое; *лапанизм*, — мимикри»; и погружался в свое недогласие, или же, кутаясь, в явном безгласии, *ка́рился*: *карим* казался. И — да: исчезал наш жаргон («*блоко-беловский-соловьевский*»); и появились жаргоны: то — «*беловско-соловьевский*», то — «*блоко-беловский*»; было мучительно; было: фальшиво: сидеть меж двух стульев; общенье втроем распадалось; образовались — «*пары*».

С. М. Соловьев переживал, вероятно, ту встречу иначе; за год изменился и он; в нем филолог окреп; и вырастало в сознаньи его все значенье поэзии Брюсова и стремление к чеканке переживаний; поэзия Блока казалась ему «*романтическою невнятицею*»; А. А. ставил он ниже, чем Брюсова; и себя пережил он поэтом; А. А. отрицал в нем поэта:

— «Поэзия не для Сережи...»

И это же повторяла за ним Александра Андреевна.

Вместо прежних интимных бесед поднимались литературные разговоры; А. А. нам читал цикл стихов из «*Нечаянной Радости*»; а в С. М. поднимался протест; и А. А. и особенно Александру Андреевну протест обижал; обижало отчетливое отрицанье «невнятицы»; противополагались чеканные образы Брюсова; С. М. мне стал жаловаться на авгурский, несколько, тон поэтических замечаний А. А., и — поднимал свой протест против темного смысла иных замечаний:

— «Чревовещанье, невнятица».

И С. М. принимался отчетливо выгораживать Брюсова, не принимавшегося в этом доме за мэтра; его огорчало и то, что стихи, им написанные, отвергаются «*Блоками*» за филологию и за «*ученость*».

Мы, кажется, в это лето на иве порой сочиняли пародии на А. А.

Мне не нужно Анны Ивановны
И других, неизбежных тещ.
Я люблю в вечера туманные
Тебя, мой зеленый хвощ.

Против этой «*невнятицы*» выдвигал вместе с Брюсовым Соловьев филологические задания ученейшей строчки поэзии Вячеслава Иванова, написавшего триметром драму «*Тантал*».[58]

Демонстративно Сережа выкрикивал Блоку:

Такой поэт нам нужен.
Он — для других пример:
Он лучше многих дюжин
Изысканных гетер.

Эти строчки влагались Сережей в уста В. Я. Брюсова в одной шутке-пародии, живописующей бал в одном доме, где Фохт (кантианец-философ), всклокочивший волосы, приглашает на танцы какую-то арсеньевскую гимназистку:[59]

Пущусь с тобою в танцы я,
Затем, что ты и я —
Единая субстанция
Под формой бытия.

Великолепно Сережа выкрикивал эту пародию нам, потрясая рукою, двуперстием брошенной в воздух; смеялись; но делалось всем отчего-то конфузно; Л. Д. будто съеживалась; и, вставая сутуло с дивана, от нас уходила, рукой подобрав у колен свое платье, сходила с террасы, подол протянувши на травы, оглядывалась белорозовым круглым лицом; с сосредоточенной строгостью морща свой маленький лоб, уходила медлительно, долго еще розовея сквозь зелень, сияя из зелени солнечной прядью волос. Александра Андреевна — подмигивала:

— «Вот Люба-то — строгая...»

Делалось — трудно, натянуто.

В С. М. того времени происходил перелом: филологические изыскания уводили от темы Владимира Соловьева; особенно он налегал на историю «*теократии*», требуя от А. А. строгой верности «*религиозным заветам*»; когда выдыхаются импульсы религиозного творчества, то

выдвигается «*долг*»; так: С. М., налегая на «*долг*», на «*обязанность*» поднимать «*соловьевство*», — испытывал сам оскудение соловьевских порывов; и Александра Андреевна отметила оскудение Владимира Соловьева в С. М., попадая в давно наболевшую рану, которую юный филолог в себе не заметил еще; относился с большим нетерпением он, даже с гневом, к «*подглядыванию*», — тем более, что Александра Андреевна несправедливо судила об оскудении этом; противоречие меж филологом и проповедником религиозных заветов — она объясняла победой в С. М. «*достоевщины*» (что не было верно); так: требования от А. А. неотступных хождений пред зорями и относила она (как страдала она непростительным химеризмом порою) к сухим, «*карамазовским*» рассуждениям на «*соловьевские*» темы; пред ней вставала химера в С. М.: ей привиделся Карамазов, Иван.

Ей привиделось также, что с кровью О. М. Соловьевой С. М. в себя впитывал кровь *Коваленских*; меж ними и родом *Бекетовых* существовала глухая борьба;[60] ведь А. Г. Коваленская поэтому же не принимала поэзии Блока; поэтому же Александре Андреевне в С. М. вдруг привиделся «*Коваленский*». И это — внушала А. А. она: и А. А. говорил:

— «Нет, Сережа — не *Соловьев*...»

— «Он скорей — „*Коваленский*"...»

В терминологии Блоков «*не Соловьев — Коваленский*» — укор: я боролся с напраслиной; эти протесты переходили в нападки на Александру Андреевну, порой очень резкие; но она мне прощала; и все же я чувствовал, что трехлетний союз наш трещит по всем швам.

— «Александра Андреевна, — оставьте вы эти подмигиванья да подглядывания...»

— «Не говорите мне, Боря...», — помаргивала Александра Андреевна и упадающим слабеньким голосом подливала лишь масло в огонь. — «Вы вовсе другой — не Сережа...»

— «Во всяком случае, — я совершенно согласен с Сережей во всем: разве Вы, Александра Андреевна, не видите: во всех жестах Сережи — определенность и четкость себя осознавшего долга».

— «Оставьте», — отмахивалась руками в кусты Александра Андреевна (расхаживали мы, бывало, пред домом, на малой дорожке): — «Я вижу в нем лишь исступленность и сухость, как у Ивана Федоровича Карамазова: то, что вы называете *долгом*, — лишь себялюбие, эгоизм, нежелание слышать и видеть других...»

А. А. Блок, угловато потаптываясь на месте, поглядывал на меня с таким видом, как будто просил извиненье за мысли свои; и слегка трещал в нос:

— «Мама — слишком; но, все-таки, знаешь ли, Боря, тут есть доля правды: Сережа — не так как-то».

И начинал он моргать с таким видом, что с мнения этого он ни за что не сойдет.

Мне же было мучительно: чувствовать недоверие Блока к С. М.

И С. М. это чувствовал: чувствовал, что его побуждения призывать А. А. к долгу, к ответственности — воспринимаются как — «*химера*»; от этого мучился он; помню: днями просиживал он у себя наверху, согнув спину над греческим «*текстом*»; упорной научной работой хотел заглушить в себе боль; после чаю он быстро вставал; и, поскрипывая сапогами, спускался с террасы, такой загорелый и крепкий, с опущенными черными усиками с темнопепельной шапкой волос, перед нами являя страннейшее сочетанье Владимира Соловьева и деревенского парня; перед обедом, бывало, поднимаешься кверху: и видишь: согнулась спина над развернутым греческим текстом, а губы рассеянно выборматывают «*коньюнктуру*»...

— «Сережа, как можешь в такую жарищу работать ты?»

— «Ах, — да в работе спасение: не могу не развертывать эти бездны дионисической бормотни (разумел Александру Андреевну он): разберешь эдак две коньюнктуры, и точно облился холодной водою: и трезво, и ясно...»

И потирая рукой себе руку, согнется над текстом; и продолжает сидеть, бормотать себе в нос; и сидение это опять вызывало «*подглядывания*» Александры Андреевны; «*научность*» вменялась в вину:

— «Это всё проявления — черствости, методичности: всё „Коваленский"».

С. М. же со своей стороны говорил:

— «Посмотри — Саша просто лентяй!..»

— «Ничего он не делает...»

— «Я не могу, право, больше участвовать в атмосфере невнятицы, чревовещательных разговоров...»

— «У „*Блоков*" — безделье...»

Я видел: он прав и неправ; видел тоже, что прав и неправ А. А. Видел, а — высказать мысли моей им обоим не мог.

Л. Д., «*строгая наша сестра*», или «*око*» меж нами, — переживала какую-то думу; заметил я в ней того времени — обостренное психологическое любопытство: какая-то в ней просыпалась пытливость; она изучала нас всех: в наших сходствах и наших различиях; даже: она провоцировала, чтобы в каждом из нас выявилось раздельное между нами.

Бывало: стараемся мы ее вызвать на спор, приглашая вступить в разговор, но она отмолчится — престрого; сощуря продолговатые,

киргиз-кайсацкие очи, блестящие ясным сафиром и очерненные длинными очень ресницами, составляющими контраст с белорозовым круглым лицом, обрамленным слегка подвитыми, блестящими прядями, — сухо отрежет контральто густым:

— «Я — не знаю...»

— «Нет».

— «Да».

Все, бывало, она наблюдала нас, точно отрезанная от отношений с другими людьми; наблюдала она разногласие меж Александрой Андреевной и обрезающим Александру Андреевну Сережей; бывало, она выразительно вспыхнет глазами и, подпирая рукой свою руку, расширенными зрачками прицеливается то в одну, то в другого; с упорною сосредоточенностью, брови сдвинув и сморщивши маленький лоб, будто дикая кошка, залегшая в чащи, подкарауливает свою мысль, как добычу, таяся от всех; встанет с медленной ленью движений, как будто изученных ей перед зеркалом, тихо сойдет, оскорбяся на всех, с деревянных ступенек террасы, задумается над подсолнечным колосом солнечным волосом, залепестится, как розовой розою, розовым платьем; и — скроется в зелени, не объяснивши себя.

. . . .

Нами чуялось, что А. А. вошел в полосу мрака; и намечалась какая-то скрытая рознь между ним и Л. Д. Уже не было молодой прежней «*пары*»; присоединилися семейные трудности; у Л. Д. все отчетливей нарастало какое-то отчуждение от Александры Андреевны; семейные трения углубляли в А. А. разуверенье в себе. В это время не мог он писать; Александра Андреевна раз на прогулке сказала:

— «А знаете, почему Саша — мрачный; он ходит один по лесам; он сидит там часами на кочках... Порой ему кажется, что разучился писать он стихи, это так его мучает».

Помню: он раз нам прочел свою серию новых стихов, перед этим написанных, или отдельных, как «побывала старушка у Троицы»,[61] как «колдун укачал молодую весну»,[62] прочитал про «лягушечью лапу».[63]

Меня озадачил болотный, ненастный пейзаж этих новых стихов; озадачило четверостишие:

И сидим мы, дурачки,
Немочь, нежить вод:
Зеленеют колпачки —
Задом наперед...[64]

И подумалось: четверостишие соответствует стихотворению «Аргонавты»;[65] «мы» там — те же всё; в 1903 году обращается к «*нам*» со словами надежды он:

Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.[66]

В 1905 году — устанавливал он — не связали мы рук: не отлетели в лазурь; корабли не пришли; нас не взяли; и мы — одурачены, на сырых и болотистых кочках; мы — «*немочь*», игрушки стихий; и слова Александры Андреевны («*Саша ходит один по лесам, он сидит там часами на кочках*») связалися с образом загорелого, расклокоченного А. А., растерявшегося глазами на нас; мне представился образ сидящего на зеленой, сыреющей кочке — почти что на корточках — и бросающего желтокарий свой лик и незряче, и нище под солнце; представилось мне: положив свои руки на серокоричневых, помнится, платанных кем-то коленях, перебирая их пальцами, точно бандуру слепца, — он отщепливает очень коротко, сухо и зло свои строчки:

Болото — глубокая впадина...[67]

Образ корявого колдуна восходил незаметно во мне:

В лапах косматых и страшных
Колдун укачал весну.[68]

Очень часто сидения за чайным столом напоминали А. А., вероятно, сидения одураченных «*мистиков*». Подозревая А. А. в этих мыслях о нас, я сердился; стихи возмущали меня; возмущение я не высказывал вслух.

Что в А. А. затаилось давно, что он высказал раз на лугу, отчего проступило мне в небе лазурном вдруг *черное* небо, — свершилось. Собрания наши за чайным столом в это лето происходили под черной небесною бездной; цвет душ — почернел; не пытался А. А. заговаривать зубы. С. М. Соловьев относил *черный цвет* атмосферы душевной к падению Блока, а я — я раздваивался.

А. А. раз повел в сад меня; разрывая какую-то траву, он стал поговаривать:

— «А Сережа — заметь: он совсем не о том».

— «То есть, — как?»

— «Не о том: посмотри — у него как-то так: косолапо выходит *все это*».

Едва уловил, что такое А. А. разумеет, и выходило: переменился ритм времени, а «*Сережа*» не видел, что время не то, что и мы изменилися; продолжает про то, чего нет.

Да, иронией для А. А. прозвучали беседы на темы «*Lapan*»; два-три раза С. М. намеренно покусился на эти беседы; и раз произошло нечто странное: вздрогнувши, побледнела Л. Д.; и — ушла: так обиделась на беседы, звучащие явной насмешкою.

По вечерам же являлся ко мне распоясанный и всклокоченный дико Сережа с нахмуренным темным лицом, с разъерошенными усами, с отстегнутым воротом белой рубашки, со свечкой в руке:

— «К тебе можно?»

Он свечку поставит, усядется рядом, молчит и рукой барабанит по столику; после краткими фразами начинает высказывать свои мысли о Блоке: разочаровался решительно в нем он; я — вслушиваюсь: и в себя, и в него; отвечаю ему претуманно, намеками. И *каковский* язык возникает меж нами: под утро.

— «Послушай: он больше не хочет „*пути*"...»

— «Да: престранно...»

— «Был, вот, он — нашим: и — что-то случилось: осталася кучка золы; человека-то — нет...»

— «Но послушай, Сережа, — что ж делать теперь?»

— «На него — нет надежды: и надо нам, как умеем, „*святыни*" спасать...»

Подразумевалось меж нами, что со святынями связана, ну, конечно, — Л. Д. Выходило: святыни спасать — спасать «*Любу*» (С. М. Любовь Дмитриевну называл просто «*Любой*»); она сочеталася с зорями нашей весны; и была нам Весною.

В лапах косматых и страшных
Колдун укачал весну...

Да, не весело.

Раз С. М. Соловьева просили отчетливо: не касаться «*Lapan*»; так «*Lapan*» был решительно изгнан; и для С. М. это значило: изгнаны темы, связавшие нас: и С. М. — разобиделся; сказать мало: он встретил «*запрет*» как предательство Шахматовым соловьевских заветов, как явное доказательство, что душа провалилась у Блока, что стал «*колдуном*» «*Страшной Мести*», что «*Люба*», плененная им, напоми-

нает безумную Катерину,[69] которую надо вернуть на путь света; и с этого времени вместо дружеских тихих совместных сидений окреп тон глухой, напряженной борьбы: и меж нами в молчании исполнялось труднейшее трио, которое каждый старался по мере возможности расшифровать, не открывая другим тайну шифра:

С. М. (обращаясь к А. А.): «Ты сбежал с той высокой горы,[70] на которой когда-то „*Она*" открывалась Тебе; подменил горний подвиг „*семейственной*" жизнью, забывши, что „Люба" — не только жена (что не может она быть «*женою*» лишь); да: ты — женился на символе зорь; вместо подвига тащишься ты на болотную кочку, заводишь сношенья со всякою нечистью; ты, охранитель святыни, ты — предал святыню».

А. А. (обращаясь к С. М.): «Но Она — „*отошла без возврата*"; а Ты, — Ты готов, перепутавши планы, смешать Любу с Нею; не понимаю, чего вы хотите: ворваться в семейную жизнь мою? Вместо семейного очага учредить фантастический заговор, где мистерия человеческих отношений запутывается в мозговую игру у одних, у других в бессознательную, элементарную только влюбленность?.. Ну, что тебе нужно? Ты видишь, хочу я покоя: куда меня тащишь?»

С. М. (обращаясь к А. А.): «Этим только пред нами себя обнаружил ты не понимающим заветы Владимира Соловьева. Твой скепсис — от неумения осознать философию конкретного Духа, от неуменья понять: символизм нас приводит к проблеме духовного воплощения; материя — богоматерия, богоматерь. Ты — слаб в теологии, слаб в философии; путанник ты».

А. А.: «Что же, — ты думаешь, что Прекрасная Дама катается на пароходе?»[71]

Я: «Ах, никто из нас это не думал; но не ты ли когда-то нас сам провоцировал именно к этого рода гротескам, когда утверждал, что *Она* индивидуально способна раскрыться во всем, что ни есть; ведь „*Lapan*" же есть в сущности миф о конкретнейшем идеализме, которого философское обоснование ты неверно воспринял».

А. А.: «Конкретизация была невозможна: и личное, слишком личное, вы внесли в наши зори; ты это сознал; а „*Сережа*" — ни капли: в его исступлении, в фанатизме его все идеи о *Ней* уплотнились».

Я: «Осознаем же наши ошибки».

А. А.: «Легко то сказать. Непоправимое — совершилось: и чаяния — не для нас; мы — во мраке, в надрыве; мы — „немочь"».

Такой разговор совершался меж нашими душами непрерывно в те дни, заостряясь в дилемму:

С. М.: «Я заставлю тебя насильно быть слугой коллектива».

А. А.: «Уходи-ка от нас с твоим явным насилием».

С. М.: «Блок себя изгоняет из храма Иоаннова; он — ренегат, падший рыцарь».

Словами такими мы вслух не обменивались; только издали из молчания фехтовались друг с другом; а ночью, когда расходилися спать, появлялся ко мне расклокоченный хмурый Сережа с отстегнутым воротом белой рубахи; со свечкой в руке:

— «К тебе можно?»

И свечку поставив, молчал он и пальцами по столу выбивал барабанную дробь:

— «Да».

— «Вот как».

— «Ну — деньки: дышать нечем».

— «Невыносимо».

Вставал: уходил.

«*Идеи*», которыми жили, казались Брунгильдой, похищенной темным Драконом;[72] хотелось Дракона убить.

Наблюдал за С. М. Соловьевым, и за него потрясался боязнью; ведь здесь обрывалася цепь заревых его лет; понимая «*каковский*» жаргон, понимал я С. М., смею думать, и глубже, и тоньше, чем Блоки; я знал: ослепительной яркостью восприятия, вспыхивающей порою прозором, опламенял он меня. Но когда начинал он рассудком своим оформлять эти «*вспышки*», то получались лишь схемы, не покрывающие неподвижными линиями молнии мифотворчества, бороздившие душу его; не справлялся с формальною, трезвою мыслью с переживаемым миром; и знаю наверное я: в отношении к Блокам вложил он видения будущих, очень далеких судеб человеческих отношений; да, миф о «*Lapan*» есть — пародия, шутка, которою целомудренно сигнализировал он удивительным мифам своим; ухватившись за схемы, — увы, — резал он по живому; подчеркивать это со стороны Александры Андреевны — не чутко; при всем уважении к ней (протекло восемнадцать лет), должен я заявить, что ответить на «*миф*» о священном значении прообраза Любовь Дмитриевны, или света ячейки грядущей, конкретнейшей жизни, сошедшей духовности, «*мифом*» о якобы карамазовских черточках, унаследованных Сережею от Коваленских, — ответить так вовсе не чутко. Естественным оправданием может служить только то обстоятельство, что неведомы были чистейшие, светлые импульсы ей, руководившие в эти годы С. М. Соловьевым: он создал из «*блоковцев*» великолепнейшую мистерию чувств; натолкнувшись на скепсис их, больно ушибся:

почти что разбился; не «*ссора*», конечно, была тут, а ощущение — нанесенного *оскорбления*: поругание священных заветов, сплетаемых с философией Владимира Соловьева; последователи Соловьева от них открестились (Булгаков, С. Н. и Е. Н. Трубецкие, Бердяев), чего-то острейшего в Соловьеве не поняли, что и доселе стоит, что вздыхает доселе, чем благовестит «*колокольчик*» из Пустыньки. О чем вздыхаем? Ответ:

Приходи, и — узнаешь о чем.[73]

До сих пор не раскрылось, о чем эти —

Белые думы
У заветных тропинок души.[74]

Обоготворение человеческих отношений и созерцание в человеке не человека, а — «*ангела*», вот волновались мы чем; и С. М. Соловьев слышал всплеск «*ангелических крылий*» в душе Любовь Дмитриевны; восторженность в восприятии «*всплеска*» истолковывали превратно; тут было действительно нечто, что грубо гасило зорю.

Хорошо помню я, что С. М. Соловьев был один, когда ехал сюда он из Дедова; вовсе вернулся другой. Перемена происходила в нем — здесь, над развернутым словарем, может быть: молчаливая драма сознания. «*Белые колокольчики*» — тут облетали (пожар соловьевского домика сжег «*колокольчики*», да, перестали цвести «*колокольчики*» в Дедове).

Я — так боялся, болел за С. М. Соловьева в те дни.

Он же вел себя четко и трезво: подтянуто; внутренне весь раскаляяся, внешне — небрежно и гордо шутил; я один знал действительно, что означали те шутки.

Теперь о Л. Д.: дело прошлое; я не вполне одобряю ее; привлекла она нас к себе до несчастной поездки своей голубиною простотою, открытостью «*доброй сестры*», позволяющей душу раскрыть; а теперь, удаляясь от нас (почему — неизвестно), она, отстраняясь от наших порывов, прехолодно нас наблюдала со сдержанностью хирурга, производящего опыты над вивисекцией душевного мира; не открываяся нам, заставляла нас думать, что — «*тайно*» она нам сочувствует: и отдаленность ее — оттого-де, что кто-то ее отдаляет. Допустим: с С. М. — ошибались, прочитывая символически символики не имевшие жесты души ее; все-таки: мы понимали, что с Александрой Андреевной ей трудно; с другой стороны: она видела отчужденье от Блока; и допуска-

ла — порывистый наш поворот: прямо к ней; понимала: она — нам, как некая новая Орлеанская Дева;[75] и черпаем мы, ее рыцари, силы к служению свету — в ее одобрении; все то казалося нам: замыкаяся внешне, она ожидала от нас издалека: геройского шага к ней, или геройского действия вообще: с доброжелательством. И явно казалось порою: меж нею и мною — какие-то новые, удивительные отношения — вспыхнули издали; то же С. М. Соловьев уже после рассказывал мне: по отношению к себе.

Оба думали (вот — сумасшедшие), что она — наше знамя «*пути*»; надо в «*путь*»; мы — готовы; Л. Д. — то же самое; Блок же ее приковал, неожиданно *севши* на кочку болотную, — перемигиваться с «*болотными попиками*».[76]

Ну — и была атмосфера! — Невмоготу. Даже сын очень чопорной Софьи Андреевны,[77] глухонемой, с недоумением ширил глаза, будто спрашивая: «Что такое? Какая здесь драма?»

И помнится мне: в это время однажды Л. Д. показала рукой на картину, повешенную на стене, изображавшую привязанную Брунгильду; у ног же ее извивался Дракон.

И сказала она очень сдержанно мощным контральто, вперившися на мгновенье в меня удлиненными, как миндаль, и сияющими глазами, лучащими свет:

— «Освободите Брунгильду».

— «Что?»

— «Кто ей поможет?»

И отвернувшися, взглядом прицелилась, сосредоточенно сдвинувши брови, в какую-то точку (то — было в «*их*» домике: в пестренькой комнатке); очень запомнилось это сидение в кресле Л. Д. с выжидательными глазами, с рукой, обращенной к картине, изображающей привязанную Брунгильду; потом она тихо склонилась своей золотою головкой в молчание, полное смысла (так мне казалось); была в ней могучая сила в тот миг; и в движеньи руки, обращенной к картине, таился огромный, какой-то космический взмах златолатой разбойницы неба, Валькирии.

Скоро мы вышли на воздух; стояла над сочным, колеблемым колосом солнечным волосом; и — пошла перевальцем; и канула быстро она белорозовым круглым лицом, утопающим в зелени.

Понял, что нас призывает она на последний, решительный бой:

— «Что такое Дракон?»

Он есть демон уныния, косности, разочарованной лени; он — дух буржуазности, жизни без подвига; и — выходило: А. А., унывающий

и угрюмо сидящий часами на кочках, — причина победы Дракона; подробнейшим образом то разъяснял мне С. М.; с Александрой Андреевной, с А. А. как с какими-то «*одержимыми*» вел себя он; и *насильно* отчитывал их.

А они упирались; в задоре С. М. все усматривая химеру: *абстрактную страстность мыслителя Карамазова, переступающего через жизни людей.*

И — пугались.

И возникали какие-то нападения друг на друга, угрозы друг другу и заговоры, и засады — в подразумеваемом, в темном глухом, в молчаливом; словами таили мы, разговаривали литературными темами и хвалили мы «*Тантал*» Иванова, вышедший только что; литературными темами — фехтовались; С. М. — нападал на невнятицу. Цель А. А. заключалась в другом: отстраниться от влияния С. М., заключивши со мною союз (ибо я не насиловал поэтическую свободу А. А.); мне казалось предательством отказаться от друга в том именно, что составляет основу его устремлений.

Мучительны были обеды, сиденья всех вместе.

Раз кто-то воскликнул с надрывом:

— «Давайте же мы откровенно играть в нападенья, — в разбойников».

С. М. запел:

Не бродил с кистенем
Я в дремучем лесу.[78]

Водворились: «*надрывности*» каторжных песен, усмешечка Гоголя и «*ужимочка*» Достоевского.

Раз за обедом С. М. неуместно долбнул Любовь Дмитриевну:

— «Знаете, Люба, — в вас что-то от Грушеньки Достоевского».[79]

Л. Д. с вызовом усмехнулась, а Александра Андреевна — нахмурилась.

Я в неизбывной тоске пошел в поле; и у села Тараканова, около пруда, где прошлое лето с Петровским мы собирали кувшинки, присел; мне запомнилось это сиденье у пруда, над теплой водой, над вопросом о том, кто «*Дракон*» и к какому геройству судьба призывает; и переплескивались над колосиками мельчайшие точки искромсанных мошек; и — ртутился прямо из зелени пруд, приливая и немо рябея у ног: дальше — плавился ясно подсолнечным пылом, как будто там лопались светом немейшие бомбы; несясь к берегам — поджигать берега; и я ду-

мал, что надо поджечь — что поджечь? Эту косность, в которую замыкалась жизнь Блоков? А светлые взрывы, не дотянувшись до берега, лопались белою светом звездою — у самого берега: вот она — снимется воздухом с вод; и — погаснет.

Я думал, что шафер Л. Д., Развадовский, — пошел за «*Звездою*»:[80] всем, всем пора в путь — «за *Звездою*». Тут я голову повернул от расплавов и пылов; казалися ряби на водах — чернилом, не зеленью; после бутылочной стала вода, отражая оливковый сумрак туда окунувшейся чащи; и желтым пятном бархатела трава того берега; издали, там, я увидел С. М. Соловьева; он шел, засутулясь и опустив руку с книгой; он думал, как я, о *геройстве*, наверное.

Раз я не выдержал: вдруг за столом я при всех вместе сорвал вовсе уже неожиданно с себя крест, бросив в траву; А. А. усмехнулся недоброй улыбкой.

Сережа, увидевши в этом жесте, наверное, одержание, очень поспешно встал с места, загромыхал по террасе огромными сапожищами и, нагнувшись в злаки, рукою ощупывал травы, ища мною брошенный крест.

Любовь Дмитриевна, ярко вспыхнув зрачком, прелениво сощурила миндалевидные киргиз-кайсацкие глазки и отвернулася в сторону белорозовым круглым лицом, изморщинивши лобик; потом она встала: сутулясь большими плечами и подбирая рукой свое платье, пошла с перевальцем — медлительно, не удостаивая никакого внимания нас: Александру Андреевну, меня и А. А.

Тут Сережа, нащупавши крест, мне принес его: с этого дня снял я крест Мережковских с себя; и — запрятал; пылился он где-то; и скоро — куда-то исчез.

А. А. в это время уже был — не розовый; да, желтоватые пятна лица чередовались с тенями; он выглядел встрепанным; с недоуменным испугом, растерянно ширя глаза, с полуоткрытым и жалобным ртом, искривленным улыбкой, сидел между нами, как будто он был посторонний, чужой, не «*хозяин*» (держал себя гостем); «*хозяйствовала*» Александра Андреевна.

Былые сидения после чая закончились; после чая С. М. уходил заниматься; Л. Д. — уходила; А. А. — уходил, без нее; я — бродил в напряженной тревоге — бесцельно по малым дорожкам тенистого сада, порой опускаясь в овраг; мне запомнились лишь отдельные разговоры с С. М., с Александрой Андреевной, с А. А. (а Л. Д. избегала бесед). С Александрой Андреевною говорили мы все о «*Сереже*» и «*Саше*»; я чувствовал: цель всех расспросов ее — доказать, что «*Сережа*»

не прав в обвинении «*Саши*», что обвинитель опять-таки — «*Коваленский*», что «*Саша*» — все тот же. С. М. защищал, как умел, я. А. А. говорил про «*Сашу*»: разочарован он в зорях; разочарован он в нас; и действительно: А. А. доказывал: всем будет *трудно друг с другом*; по-разному подходили к зоре; непонимание еще прежде таилось меж нами; теперь оно вскрылось: быть худу.

Открылось:

...мертвец
Впереди рассекает ущелье.[81]

А. А. был мне знаменем; он был магнитом, по линии притяженья к магниту мне строилось многое в идеологической жизни; была его жизнь явным символом мне; созерцал эту жизнь — эпохальною жизнью; неспроста же: Блок, *безыдейный поэт*, пребывал вечно в центре слагавшейся умственной жизни; притягивал идеологов он; сперва — «*нас*»; притягивал после — Чулкова, Иванова: «*Факелы*», «*Оры*», «*Руно*», «*Мусагет*»; после — «*Скифы*», «*Вольфилу*»;[82] так факт его жизни воспринимался, как знамя, столь многими.

Фразою, жестом динамизировал он мой внутренний мир; и порою могло показаться: обменивались незначащей фразою мы; но та фраза звучала, как шифр к безглагольному; и за нею стояли года пережитого вместе; под фразой «*Блока*» угадывал я иногда — ненаписанный том. Я читал его в сердце своем; и желая понять его жест, как бы мысленно закрывал я рукою глаза, чтобы внешнее впечатленье от облика «*Блока*» не заслонило бы молнии сердечного ведения, высекаемого молнией «*случайного*» слова; говорили всегда не о том, что — в словах, а о том, что — под словом; прочитывая шифры друг друга, мы достигали невероятного пониманья; когда не умели прочесть, между нами вставала ужасная путаница, угрожающая катастрофой.

Непониманье друг друга в таящемся за словами — несчастное Шахматово 1905 года; оно было явственным расхождением трех жизней, пришедших к решению — «*взяться за руки*», образовать жизнь совместную, новую: отойти ото всех, все начать из себя; такой вывод — сам строился; и — оказалось: мы — разные; мы не призваны к «*новому*»; для А. А. стало ясно: — не призваны мы ни к чему; «*коллектив*» — «*Балаганчик*»; участник несчастного коллектива, — Пьерро: видно, мистики — договорились до «*чепухи*» («*коса смерти*», срезающая культуру — «*коса только девушки*»); — «*истекает он клюквенным соком*».[83] Я «*клюквенный сок*» не прощал ему годы: «*скептическую иронию*» над собою самим. И какие же были мы злые!

Я помню всех нас за столом: вот С. М. — загоревший, весь черный какой-то, подняв свои брови и стиснувши губы за темными и густыми усами, старается ухнуть крепчайшую дикость, чтоб испугать не на шутку сереющую Александру Андревну, с которой он борется; в том, как он держит салфетку, пытаясь расправить сутулые плечи, — сосредоточенность, вызов; и Александра Андревна бледнеет, бросает салфетку и с нервной улыбкой откидывает парадокс от себя, потрясая язвительно стриженной головою своею; и карие глазки ее так и бегают: по салфеткам, по краю стола и по грудям сидящих; в глаза не глядит, точно кошка, готовая защитить жизнь детеныша:

— «Я полагаю, Сережа, — тишайше, едва ли не шепотом отвечает она, — что все это — не *то* и не *так*; это — *„брюсовщина"*».

— «Отчего же, — грохочет Сережа, — я полагаю, что Брюсов наш первый поэт; ведь и Пушкин не испугался ни бездны, ни ужасов...»

— «Вот уж, выдумал — Пушкин; у Пушкина вовсе не так...»

Любовь Дмитриевна, в широчайшем капоте, в платке на широких плечах, наклоненная неприязненно в суп, вдруг откидывается:

— «Все стали *„Бальмонтами"*: все — испанцы; хватаются зверски за шпаги».

А я отвечаю:

— «Давайте же, — будем разбойниками!»

Окаменело, насмешливо в нос произносит А. А.:

— «Что ж, — давайте!»

В «*давайте*» же слышится вызов, какое-то «*ха*», — не без дерзости (а, каково?). Будто видом своим говорит он:

— «Молчу я, молчу, *да и*...»

Что «*да и*» — скрыто; и окаменелые, зеленовато-желтые щеки (не розовые), прорезанная морщина на лбу, не предвещающая улыбки; а между тем — усмехается он, будто дразнится:

— «Вот ведь вам всем: захочу — все напорчу, разрушу, нарушу: не трогайте лучше меня».

Я — раздвоенный, даже растроенный (меж А. А., Л. Д. и С. М.), вынужденно защищаю упорные выпады С. М. Соловьева; но упираюсь в сурового, непреклонного Блока, с которым таинственно соприкасаюсь еще. Не понимает никто ничего. И «*подкивывает*» лишь невнятице с края стола заморгавшая Марья Андреевна; «*Фероль*», глухонемой молодой человек,[84] чуя что-то, чего он не может понять, озирается; эти сиденья за мертвым столом в электричеством блещущем вечере напоминали мне сцены из Меттерлинка.

Душно бывало и солнце какое-то, вовсе парное. Я вижу: все ждут не дождутся, когда подадут нам последнее блюдо; и вот пообедали — врозь: вечереет, бывало, пойдешь за ограду; росеет; и теплой перловицей яснятся капли на кустике; в дали дымится парное болотце; из рощицы ухнуло душною сухостью в сырость полей; уж за солнцем по небу несутся алмазные крылья невидимых птичек; то звезды проносятся; скоро они понесутся тут стаями...

Между мной и А. А. водворяется систематическое молчание, заключающееся в том, что мы стараемся не оставаться вдвоем; то же самое, по другим причинам, с Л. Д.; мне все кажется, что нам с нею необходимо иметь разговор; разговора же боюсь: не подступишься к ней; даже — вижу: С. М. Соловьев от меня замыкается что-то. *Литературные разговоры* подчеркнуто вялы.

С. М. Соловьев напевает:

Однажды в Версале ⟨«au jeu de la Reine»
«Vénus moscovite»⟩ проигралась дотла:
В числе приглашенных был граф Сен-Жермэн.[85]

Или вдруг восклицает:

— «О, карты, о, карты, о карты!..»

Это — карты судьбы.

— «Господа, не сыграть ли нам в карты?»

. . . .

Свершалася драма души: погибала — огромная «*синяя птица*»;[86] Прекрасная Дама — перерождалася в Коломбину, а рыцари — в «*мистиков*»; розоватая атмосфера — оказывалась: тончайшею бумагой, которую кто-то проткнул; за бумагою открывалось — ничто.[87]

Это все показал «*Балаганчик*», написанный через полгода. Да, вот — нашел слово я: что меня возмущало? То именно, что горенья недавнего Блока, которые образовали союз с ним, теперь отражалися в нем «*Балаганчиком*». «*Балаганчика*» — не было, правда, еще, но «*Балаганчик*» мы чуяли (он — писался в душе):

— «Не „*Балаганчик*" — нет, нет: если есть „*Балаганчик*", то — „*Балаганчик*" в тебе лишь».

Особенно помнится жуткий, грозою насыщенный вечер, в котором заложена мина, взорвавшая навсегда дружбу «*Блоков*» с С. М. В этот вечер я должен был «*Блокам*» читать мою рукопись «*Дитя-Солнце*» (поэму). С. М., уже слышавший эту поэму, сидел наверху, у себя; мы его увидали: без шапки, без верхней одежды сосредоточенно прошагал на террасу: послышалось гременье сапог; он — нырнул в темный сад.

Видел я, что в окошке луна поднялась: умалялася в высях она вековечным, грустнеющим кругом: над лугом (настойная ночь настоялась на дну). Я читал и читал; мне внимали — в молчании; виделось от дивана, из тени пятно сероватое белой рубашки А. А., да серел кончик носа; виднелася искорка от папиросы, которой он делал порою зигзаг (зигзаг огненный).

Мы долго беседовали; уже черная ночь прилипала; уж подали чай...

— «Где Сережа?»

— «Наверное сочиняет стихи» (он стихи сочинял на прогулках).

Мы сели за стол. Говорили только о прочитанном мною; А. А. делал очень утонченные указания; и разговор перешел, как не раз уж, на «*Тантал*» Иванова.

— «Очень хорошая драма», — сказал А. А. (в нос).

— «Великолепная», — с некоторой аффектацией подтвердила Л. Д.

— «Только трудно понять».

— «Да, Вячеслав Иванов — нужнейший поэт».

— «Вот Сережа, — он, все-таки, лучше пишет пародии, чем всериоз», — сказал Блок.

Я — стал спорить.

— «Он — брюсит».

Поговорили еще; чай был отпит: одиннадцать. Где же «*Сережа*». Мы вышли втроем на террасу; и звали в пространство стволов:

— «А-а-у!»

— «А!»

— «Сереее-жа!»

И отвечало нам эхо:

— «Ууу...»

— «А».

Наступало молчание; виделись только огни в тихом доме; из сумрака ручкою прилапилось кресло в круг света; стояли все кучкою перед террасой:

— «Конечно же, он сочиняет стихи».

— «Безобразие, — волновалася Александра Андреевна, — не вспомнить о нас...»

— «Ну чего беспокоитесь: скоро вернется».

Но стало нам жутко:

— «Где он?»

Мы рассыпались по саду; снова кричали; луна умалялася над лугом — грустнейшим кругом; кричала болотная птица; затарарыкало где-то вдали; и — умолкло; прощелкала колотушка.

Не знаю, что думать; запомнился мне почему-то А. А.; он казался высоким, неповоротливым; был он без шапки, всклокоченный с длинным шестом, почему-то подхваченным; он наклонил свою голову прямо к шесту и глядел на луну, раскрыв рот; показался растерянным.

— «А-а-а-уу!»

И молчание.

Кто-то сказал:

— «А в окрестных лесах-то ведь много болотных оконец: туда попадешь, — да и канешь...»

— «Что ж, были несчастные случаи?»

— «Были».

. . . .

— «Серее-жаа!»

. . . .

Часы где-то пробили: час!

Помню, грустною кучкою жались друг к другу: Л. Д. перекуталась в темный платок; я кричал что есть мочи. А. А. в рыжеватеньком, стареньком пальтеце (из него он давно уже вырос), с короткими рукавами, руками сжимая огромнейший кол расклокоченный, с перепуганными глазами, без шапки — молчал.

Ударило: половина второго; ударили: два.

Уж вернулись объездчики, посланные кричать по окрестностям (если попал он в болото, которое медленно втягивает, то он мог бы откликнуться); да, естественное объяснение: «*погиб!*»

Поднялись мы наверх; и — засели понуренно в комнате у С. М.; занимался рассвет; мне запомнился зеленолицый какой-то А. А. в своем рыженьком пальтеце, почему-то сидящий у стенки: на корточках.

Вдруг на столе у С. М. мы увидели крест; одна страшная мысль, точно молния, промелькнула.

— «Нет!»

— «Думаешь — нет?» — переспросил тут А. А.

— «Никогда!»

— «Ты уверен?»

— «Уверен!»

В росеющем утре сидели у дома на лавочке; и — продолжали молчать; да, сомнения не было; вероятно, С. М. невзначай оказался в «*болотном окне*»; перебирали воспоминания о дорогом, нас покинувшем; мы любили его в этот миг *бесконечной любовью*; и слезы — навертывались. Делать нечего: надо еще подождать: час, другой; и потом разо-

слать по окрестностям; надо уведомить в волости; надо сходить на окрестную ярмарку; и — расспросить пришлый люд:

— «Не видали ль, — студента, без шапки, сутулого, в черной тужурке, в больших сапогах...»

Но — какое там! Нет, вероятно, Сережа погиб; это думали и Александра Андреевна, и я.

Утром в разные стороны посланы были гонцы; А. А. подали лошадь; он бойко вскочил; и — помчался, я помню, куда-то галопом; а я побежал на окрестную ярмарку; было свежайшее синее утро; ни — облачка; молнией озарила надежда меня: я — найду его след.

Я толкался на ярмарке; останавливал — баб, мужиков, писарей и торговцев:

— «Послушайте!»

— «Не видали ль — студента, без шапки, сутулого, в черной тужурке, в больших сапогах?»

— «Нет, кажись, не встречался...»

Прошел все ряды: ничего не узнал.

Вдруг меня окликают:

— «Послушайте, — женщина там вот из Боблова: барина видела...»

Вытолкалась из толпы низкорослая, старая женщина с видом прислуги:

— «Вы это про барина, — про студента, который из Шахматова — без фуражки, в тужурке?..»

— «Да, да...»

— «А они ночевали у наших господ...»

— «Вы откуда?»

— «Из Боблова, от Менделеевых: как же, — барин пришел ночью к нам; чуть было не искусали собаки его...»

— «Он — у вас?»

— «Как же, как же...»

Не слышал я ног под собой. Прибежал, — и кричу еще издали:

— «Сережа — нашелся!..»

И — рассказал всю историю; все расцвели; лишь нахмурилась Александра Андревна:

— «Какой эгоист: нас заставил промучиться! Нет, — не прощу его... Мог бы прислать верхового...»

А. А. усмехнулся — загадочно, чуть-чуть насмешливо (мне не понравилась эта усмешка); Л. Д. улыбнулась — лукаво. А к вечеру лес огласился веселыми бубенцами; и подъехала тройка; из тройки к нам выскочил бойкий, веселый Сережа, — без шапки.

Но — тут произошло невероятное что-то. Я Александру Андреевну никогда не видал в такой злости; произошла невероятная сцена; стояли мы, помнится, вчетвером на лугу: Александра Андреевна, задыхаясь, едва ли не шепотом спрашивала С. М.:

— «Что ж, — по-твоему, „*так*" поступил ты?»

С. М. вдруг, нахмурясь, ответил:

— «Да, я поступил так, как должен был».

— «А ты подумал, что я, с моим сердцем, могла умереть?»

— «Долг — первое...»

— «Какой же тут долг: убежать, никому ничего не сказав...»

— «Это — личный мой долг...»

— «Так для личного долга ты можешь переступить через жизнь человека?»

— «Могу!»

Александра Андреевна перекривилась от гнева; и перед нею и ставшим кремневым С. М. произошел разговор очень четкий; я — слов не припомню; но помню, что этого разговора С. М. не простил Александре Андреевне, как не простила ему и она твердого заявления, что для *личного долга он может переступить через жизнь человека.*

С. М. впоследствии объяснял, что спустился с террасы он в сад машинально, прошел тихо в лес; и увидел — зарю; и *звезду над зарею*; вдруг понял он, что для спасения «*зорь*», нам светивших года, должен он совершить некий жест символический, что от этого жеста зависит вся будущность наша; ведь ощутил же потребность у Ибсена Боркман — взять палку и выйти бороться с его обступившею жизнью;[88] С. М. вдруг почувствовал: если сейчас не пойдет напрямик он чрез лес, чрез болота (все прямо, все прямо) — к заре, за звездою, то что-то, огромное, в будущем рухнет; и он — зашагал, не вернулся за шапкой: все — шел, шел и шел, пока ночь не застигла в лесу; так он вышел из леса, прошел через поле; и канул — в леса; возвратиться же вспять он не мог; тут он вспомнил, что выбрался к Боблову. В Боблове — встретил приют; и успокоенный в том, что спас будущность нашу, не думал о нас; акт любви его к нам в этом диком, безумном почти, ухождении за блистающей, нашей *звездой*, в Александре Андреевне естественно преломился химерою; поняла в этом жесте одно лишь она:

— «Ах, какой эгоист!..»

М. А. Бекетова этот поступок С. М. описывает следующим образом:

«*Оказалось, что он нечаянно попал в Боблово, идя, как он выразился, по „мистической необходимости" и переходя от одной церкви к другой, пока не очутился у ограды бобловского парка. Тут залаяла*

собака, и он увидел девушку в розовом платье с охотничьей собакой. То была сестра Любы, Марья Дмитриевна, и с нею сеттер, Спот. Она узнала Сережу, так как видела его на свадьбе. Он объяснил, что заблудился, она повела его в дом, где он был прекрасно принят. Его оставили ночевать. С восторгом рассказывал о своей встрече с „Дианой-Охотницей", как он назвал Марью Дмитриевну, Сережа невозмутимо отнесся к нашему беспокойству. На все наши рассказы о том, как мы его искали, он ответил, что поступить иначе не мог „по мистическим причинам", даже в том случае, если бы мы все умерли. Сестра, которой не легко досталось это мистическое путешествие, рассердилась, наговорила Сереже резкостей. Он принял ее гнев спокойно и величаво, но за него обиделся Борис Николаевич, который поссорился с Александрой и даже... уехал. Надо прибавить, что все свое путешествие Сергей Михайлович изобразил тогда как хождение Владимира Соловьева в пустыню».[89]

Я был искренне возмущен: Александра Андреевна, А. А., — как не поняли героической лирики С. М. Соловьева? Как могли опрокинуть ее, исказить? Мне казалось, что лучший мой друг оклеветан; почувствовал я, что мы все — сумасшедшие здесь; неразбериха меж нами и пребывание дальнейшее в Шахматове просто акт безобразия.[90]

Я признался С. М.:

— «Больше нет, не могу: я — устал; уезжаю...»

С. М. мне ответил:

— «Тебя понимаю прекрасно!»

— «А ты? Уезжай-ка со мною...»

С. М. посмотрел на меня исподлобья; и — сухо отрезал:

— «Ну нет: я — останусь...»

Я понял, что в том «*ну останусь*» С. М. затаил неугасимую оскорбленность, которую быстрым отъездом он не хотел Блокам выдать.

Я вышел в темнеющий сад; и увидел А. А., я сказал ему:

— «Саша, я не могу; я — поеду...»

— «Нельзя ли с утра лошадей мне?»

А. А. посмотрел на меня очень веско и грустно:

— «Ну что ж?»

— «Поезжай...»

— «Понимаю тебя...»

В этом тихом и знающем «*понимаю тебя*» было сказано:

— «Прошлое — без возврата. Не знаю, как в будущем встретимся; знаю, не встретимся больше по-прежнему».

Я — понимал: меж С. М. и А. А. образовалася роковая преграда, которую воспринимал я «*душевною драмой*»; я понял еще, что С. М. остается, чтоб точки на «і» были твердо поставлены:

— «Знай, что отныне — враги мы!»

Впоследствии мне С. М. рассказал, что, когда я уехал, два дня еще оставался он с Блоками; ничего не сказали друг другу они; с остервенением (неестественным) просражались за картами; и С. М. распевал все:

— «Три карты, три карты, три карты...»

В А. А. преломились нелепые, сумасшедшие дни пребывания нашего в Шахматове и трехдневным сражением в карты с С. М. Соловьевым строками стихотворенья, написанного в эти дни; или вскоре же после:

Палатка. Разбросаны карты.
Гадалка, смуглее июльского дня,
Бормочет, монетой звеня,
Слова слаще звуков Моцарта.*

Кругом — возрастающий крик,
Свистки и нечистые речи,
И ярмарки гулу — далече
В полях отвечает двойник.[91]

В словах «*и ярмарки гулу — далече в полях отвечает двойник*» мне бросается, может быть, бессознательная ассоциация с только что бывшим; на «*ярмарке*», бывшей в соседнем селе, отыскались следы пропадавшего С. М. Соловьева; при чем-то «*двойник*» тут (чей — А. А. или — С. М. Соловьева?). Стихотворение живописует судьбу: «Потеха! Рокочет труба, кривляются белые рожи, и видит на флаге прохожий огромную надпись: „*Судьба...*"» В стихотворенье, написанном вскоре, я помню, наткнулся на строчки, казавшиеся мне обидными; стихотворение живописует флюгарку; встречаются строки там: «Флаг бесполезный опущен. *Только флюгарка на крыше сладко поет о грядущем*»... Далее: «*Бедный петух очарован, в синюю глубь опрокинут...*» И еще далее: «*Пой, петушок оловянный!..*»[92] В этих строках, мне кажется, изображен пафос мой — от отчаянья: пафос, старающийся непоправимую бездну меж нами, — перекричать верой в «*зори*», которых не видел уж я; я обиделся на те строки, к себе отнеся их.

---

* Из баллады Томского «Однажды в Версали», которую всегда распевал С. М. Соловьев: «Слова слаще звуков Моцарта: О карты, о карты, о карты!»

Так, здесь, в эти дни, был заложен фундамент для будущей бешенно-дикой «*весовской*» полемики: без С. М., без меня и без Эллиса эта полемика не могла бы так долго продлиться; демонстративно приподняли Брюсова мы, отвечая на явный «*поклеп*» (так казалось впоследствии нам) «*Балаганчика*»; демонстративно А. А. подчеркнул свою близость с Чулковым; вмешался Иванов; образовался раскол между «*Орами*», «*Факелами*» и «*Весами*», — раскол, долго длившийся; первою трещиной в этом расколе считаю я страдные дни, проведенные в Шахматове. Вечером я поднялся к себе, зажег свечку; и — вижу: летучая мышь бьется в стены; гоню — все не выгоню; долго боролся с летучею мышью, с кусочком от тьмы, обступающей нас; тьма уже ворвалася в круг света, который был — розовым абажуром, бумажным; его разорвали: и ночь ворвалась:

— «Плохой знак!»

С тем и лег.

Утром подали мне лошадей. Мы спешили проститься; я что-то сказал на прощание; Блок, опустив низко голову, слушал; Л. Д. незаметно платочком смахнула слезинку.[93]

Первое известие, прочитанное — бегство «Потемкина» (броненосца) в Румынию.[94] Казалось: непоправимое — совершилось; не знаю, зачем я проехал в Москву; я не знаю, зачем очутился в имении Поляковых, где жил мой приятель, художник Владимиров; после доехал до станции «*Снегири*» (Павелецкой дороги);[95] оттуда вернулся лишь в «*Дедово*».

— «Боря, что с вами?», — спросила А. Г. Коваленская.

— «Да ничего...»

— «Расскажите, как Блоки...»

Но я отмолчался; А. Г., затрясясь над столом бледным носом и зажевавши губами, вонзила в меня свои острые глазки; она поняла, что тяжелое что-то случилось; и — смолкла; и — не расспрашивала.

На другой уже день, на закате (закат был — багровый) вернулся С. М., проиграв два дня в карты: его не узнал: показался он мне опаленным, худым.[96]

Очень странно: — мы в *Дедове* прожили с месяц еще, но молчали о Блоках; переменился весь темп разговоров; о «*зорях*» — не вспоминали; Жуковского — не читали; но — упивались мы Гоголем: «*Страшною местью*» и «*Вием*»; то именно, чего Блок не любил, чего прежде боялись; казалось: весь дедовский воздух напитан был Гоголем.

Зори под август вставали — ласкавшие зори; раз был леопардовый свет на закате; пошел на него; и — запутался в травах; хотелось мне руки ему простирать: звать зарю.

Слышу — голос; повертываюсь: из кустов среди трав — поднимается сутуловато С. М.; и кричит очень строго:

— «Ты — что?»

— «Ничего».

И С. М., посмотрев на зарю, повернул от зари меня; и — отрезал:

— «Пойдем: все — безумие».

Понял: С. М., замолчавший со мною, — за мною следил очень чутко: *все* видел, *все* знал.

Так «*заря*» для С. М. стала символом одержания: «*панночкой*» «*Вия*»; обозначался в нем и во мне — перелом: от «*романтики*», от Владимира Соловьева, — к надрывности Гоголя, к Грушеньке,[97] к темам народничества, к революции, к песням, хватавшим за сердце, которые распевали «*поповны*» в селе Надовражине:

Догорай, моя лучина:
Догорю с тобою я...[98]

Поднимали сырые туманы села Надовражина карикатуры на ложную сладость душевных радений: «*Серебряный Голубь*»;[99] и не *Она* снилась в зорях; чрез год мне С. М. Соловьев, созерцая закат (золотой, в пятнах туч), прошептал:

— «А закат — леопард: „*это*" выражу рядом рассказов; а книгу рассказов я так назову: „*Золотой Леопард*"...»[100]

И заглавие «*Золотой Леопард*» — заговорило во мне, развивая мне образы; образы крепли позднее «*Серебряным Голубем*».

Вот получаю письмо я от М. К. Морозовой, проживавшей под Тверью (за двадцать пять верст от города), в именьи Поповка: у самого берега Волги; еще мы весною условились, что я летом приеду к ней;[101] это письмо пришло кстати: с С. М. Соловьевым мы в Дедове развели прегустую, пренапряженнейшую атмосферу, которую необходимо было переменить.

Двинулся в августе я к М. К.;[102] проезжая мимо Подсолнечной (станция, на которой слезали, когда отправлялись к А. А.), я отчетливо ощутил, как места, столь мне близкие только что, в окна вагона глядят на меня, как враги. У Морозовой прожил я десять дней, еще более подружившися с гостеприимной хозяйкой, с которою говорили мы много и с жаром на темы о жизни, о людях, о сокровеннейших отношеньях людских; и о *зорях*; в М. К. было много зари; вспоминаю я дни, проведенные здесь, с благодарностью. «*Блоки*», меня столь измучившие, отходили куда-то; присоединилася к сообществу нашему и Е. К. Востря-

кова (сестра М. К.); было шумно и весело: дети М. К. и Е. К. придавали веселье.

Утрами мы не встречались: работали; мы встречались к обеду; потом расходились до чаю; и после чаю гуляли, или сидели, беседуя над обрывистым берегом Волги (до ужина); и — после ужина: часов до 11. Прощаясь с М. К., я был вовсе другой человек; к ней приехал какой-то сожженный; уехал же — бодрый и радостный.[103]

Дедово встретило осенью; пахло дымками; пруды напрудили свинцом из мокрели; сухи́ничи-листья ошамкали ноги в калошах; уже голотрясы ветров обнаруживали гололистие веток; да, да: на меня происшествие с Блоками произвело впечатленье какого-то медиумического сеанса, во время которого бес за носы нас водил; я об этом докладывал обстоятельно Соловьеву, прогуливаясь по засохшим лесам; красноглавая баба берестяное лукошко, бывало, несет из жердинника, раздвигая навстречу и ветви, и паветви, и прямостебельный куст, и кусты костяники; полуосинники, полужердинники и полу-листники — тянутся: ходим в лесах.

По отношению к Блокам С. М. Соловьев пресвирепо настроен; ему развиваю я домыслы; он же — отмалчивается, копошит палкой листья; из листьев разгриба валуй, весь улепленный павшим листом, — выясняется: «*трах*» его палкой Сережа. И вот начинает прекрепкие он выраженья отмачивать: ой, — доставалось же Блокам!..

Проходим, бывало, мы рубкой; торчит на расщепе ствола дроворубный топор; везде — рощины: лесосечное место! Берестяной шалаш — где-нибудь; мокроводица протенеет тут; быстро шагает из леса к селу Надовражину, перекидываясь словами о Блоках; и черная стая грачей замрачнит горизонт — бесконечным семейством; живеют те дальние тучи; и облако, темный моргач[104] (отморгал он зарницею), в мо́ргах себя объясняет лиловою глыбой, повисшей над лесом; пагубоносная туча!

— «Да, да, — присвирепо басит непреклонный Сережа, — переменился мой родственничек, Александр Александрович».[105]

И закладывая зажатую кулаком свою руку за спину, выревывает свирепые песни в вечерние зори.

И да: изменился: уж написана была «*Невидимка*»; и зрела «*Ночная Фиалка*»;[106] от розовых зорь в голубеющем небе мы шли в те лилово-зеленые тоны осенних закатов, горящих средь серых туманов — над ржавым болотом, — которые вырвали крик:

О, исторгни ржавую душу...
Со святыми меня упокой.[107]

Скоро А. А. написал:

...ибо что же приятней,
Чем утрата лучших друзей.[108]

В письмах Блока ко мне проступала отчетливо нота: что ж делать, что — было, — того не вернешь.

В скором времени он прислал ряд стихов (я не помню кому — мне ли, С. М.?);[109] но я помню: С. М. в письме к «*Блокам*» разнес все стихи; и А. А. «*неприятно*» ответил; ответил на этот ответ очень дерзко.[110] И получил от Л. Д. две-три строчки, уведомляющие меня, что затеянная между нею и мной переписка оборвана.[111] В свою очередь я ответил: отныне я прерываю сношения с ней и с А. А., так что мы — незнакомы.[112]

ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

То было в Москве уже.

Все кипело, как в кратере. Революция захватила; «*Аргонавты*» сносились с социал-демократами через Эллиса; Эллис забыл, что он стал символистом; притаскивал он нелегальных; и заставлял: читать Маркса. В Университете шел митинг; и предлагались платформы для выражения отношенья студентов к событиям; две платформы — гласили: одна — превратить Университет в революционную трибуну: для агитации; закрыть его; а другая гласила: оставить занятия, для часов, освобожденных от митингов.

Помню: на астровских средах явились растерянно к нам и общественники; видел я Челнокова там; определенно позиция Астровых нам казалася правой; я, Эллис, Петровский — склонялись к меньшевикам; Соловьев — был эс-ером; Сизов и Н. П. Киселев — анархистами.

Мне в это время особенно вычерчен строгий, корректный Н. П. Киселев, появляющийся среди нас; очень тонкий знаток романтической литературы, интересующийся поэзией трубадуров, историей оккультизма, упорно работающий над разнообразнейшими вопросами, но не доведший (по-моему, из добросовестности) ни одной работы до благополучного окончания, будущий музеевед, знаток книги, — он весь средневековая изысканная миниатюра; присутствие среди нас Киселева естественно

придавало уют разговору, хотя он молчал, только изредка реагируя на фонтаны словесные Эллиса или фейерверки Рачинского четкой поправкою историко-литературного свойства; он тратил все деньги на ценные книги; и собирал инкунабулы; когда я приходил в его дом, он, прикладывая палец ко лбу, наклонялся ко мне, треща басом:

— «Погодите-ка, — я вам покажу...»

Исчезал и являлся с редчайшим изданием какой-нибудь, у букинистов разысканной, книги, преподнося ее так, что мне казалося святотатством до книги дотронуться:

— «Видите: физика Кирхера:[113] приведена здесь машина мысли Раймонда Луллия...»

Он был крайне худ, высок ростом и бледен — до мертвенности; появлялся, как слабая тень, и сидел с укоризненным видом; носил небольшие усы, был в пенсне; тонкий нос и тончайшая линия профиля штриховали весь облик его интересностью; признаюся: когда одна барышня громко сказала раз «а Николай Петрович — красив-то как», я удивился; да, да: категория красоты (будь «*красавец*» он) не вязалася с Киселевым; он представлялся в те годы не человеком, а сочетанием линий, изображающим эскиз для «ех ⟨libris⟩»; потом лишь я понял, какой он не то, что живой, — прямо бурный; но «*бурю*» свою он таил под сухою, ледяной и корректной личиной все замечающего, помалкивающего педанта; возился с каталогами всевозможных издательств, с проспектами обществ и книжных фирм; как поэты мечтают о написаньи поэмы, — так точно Н. П.: он мечтал дать когда-нибудь миру каталог каталогов; но пока еще этого произведения жизни своей он не дал; раз он что-то писал: «*По вопросу о каталоге каталогов*».

Формализм уживался в нем с очень глубокими религиозно-мистическими устремлениями; появись он на свет веком ранее, он бы был, вероятно, одним из активнейших деятелей кружка Новикова,[114] работал бы с Шварцем и с Лабзиным; превосходно он знал все касающееся истории и культуры масонства,[115] захаживал в «*Ребус*», дружил с Чистяковым;[116] в тенденции к мистике, в неслиянии с теософами и с обычного рода церковниками перекликался он с М. Сизовым. Смеялись с С. М. Соловьевым впоследствии мы: нам судьба посылала людей всегда парами; из неизвестности вырисовываются вдруг люди, с которыми годы мы шествуем вместе; С. М. мне говаривал:

— «Нет, заметь: перед нами всегда появляется пара; ты — тянешься к одному из этой пары, а я непременно — к другому; заметь; 1904 год принес двух: Киселева с Сизовым; ты более перекликнулся с Михаил Ивановичем; с Николаем Петровичем — я. 1907 год при-

нес — Юрия Ананьевича Сидорова и Анатолия Корнелиевича Виноградова; с Сидоровым перекликнулся — ты;[117] с Виноградовым — я: опять-таки по закону полярности нашей; ты более любишь арбуз, дыню — я; ты — поэзию Блока, а я — Вячеслава Иванова; ты написал свое «*Золото в Лазури*»; если бы я написал книгу в этом стиле *твоем*, то ее озаглавил я, ну конечно же, «*Серебро в рубине*». На этом-то основании к тебе ходит — Сизов; я — дружу с Киселевым».

Н. П. Киселева, по-моему, открыл Эллис; и невозможно представить столь более разных людей: неугомонный, словоохотливый, перевирающий цитаты, неряшливый Эллис; спокойный, скупой на слова, пунктуальный, запоминающий не только цитаты стихов, но и варьянты Н. П. Киселев. Киселева немного боялись мы все; он внушал уважение; и обращались мы с ним осторожно (не церемонились с Эллисом); Эллис же невозможнейше обращался с Н. П. Киселевым: к нему приставал, кличку выдумал ему: и дразнился:

— «Уин, Уин».

Николай же Петрович покорно сносил это все, добродушно покрякивая:

— «Лев: оставь».

Они очень любили друг друга. Чем более Эллис дразнил Киселева и обращался запанибрата с ним, тем почтительней делался тон его, когда он говорил о Н. П. мне ⟨— — —⟩:

— «Понимаешь ли: удивительный человек — удивительнейший!»

И Н. П. платил тем же; когда я рассорился с Эллисом, говоря, что неряшеству и душевной распущенности есть предел же, — явился Н. П. Киселев; опустивши нос свой, прикасаяся пальцем ко лбу и поглядывая очень строго из-за пенсне на меня, он сказал своим веским скрежещущим голосом:

— «Не забывайте, Борис Николаевич, о *белой сущности* Льва...»

Воспоминания о Н. П. Киселеве перекликаются для меня с воспоминанием о Сизове; роднило их общее устремление к мистицизму и оккультизму; да, оба ладили с «*Ребусом*»; но один был естественник, увлекался вопросами физиологии; другой был типичный филолог (Н. П. Киселев); один влекся к буддизму и к *иоге*, подкидывал мне то Щербатского, то Сутту-Нипату;[118] другой предлагал ознакомиться — с европейскими оккультистами, приносил мне показывать «⟨Amphitheatrum sapientiae⟩» туманного Кунрата,[119] ознакомлял меня с Гельмонтом, разговаривал о Вилланове, которого чтил. Киселев был начитан в вопросе о розенкрейцерстве, но почему-то казалось: Сизов, не так много читавший, — конкретнее волит к путям медитаций и праксиса;

иога, казалось мне, будет подлинною стихией его; почему-то связались заходы Сизова с покупкою мятных пряников; их я не ел никогда; но, бывало, придет к нам Сизов, — вспоминаю я мятные пряники; и — посылаю за пряниками, чтобы уютно почайничать, поговорить о последних вопросах сознания, о философии Индии; необыкновенную серьезность М. И. соединял с очень милыми, веселыми шутками.

В эту осень же закрепляется мое сближенье с Владимиром Оттоновичем Нилендером; мы познакомились с ним в предыдущем году; он сперва заходил ко мне изредка, главным образом со стихами; стихи его показались мне слабы; сперва я боялся его: из него дуло хаосом; в нем кипели потенции мыслей, — не мысли; все связи меж ассоциациями отсутствовали: никакой оформленности. Но потом, приглядевшись, я понял, что в этой бесформенности Нилендера была редкая, ценная правда; и — *метод*; тут сказывалось желание освободиться от всех предпосылок сознания и независимо посмотреть на мир внутренний, копошащийся хаосом; все по сравненью с Нилендером в шорах ходили; С. М. Соловьев — в шорах «*догматов*», частью же в шорах классической филологии (Вилламовица-Меллендорфа и прочих); Сизов вытанцовывал мысли от «*печки*» (а «*печкой*» служила ему психология Дарма-Кирти какого-нибудь); Киселев — каталогизировал, номенклатурил; Эллис — вещал («Correspondances» Ш. Бодлера,[120] и — никаких!). У Нилендера не было ничего: ни каталогов, ни религии, ни догматики; но проблема стояла: как догмат строить; и разрешалась проблема та: строить следует из непосредственно данных сознания, из «*становления*» в хаосе всех предметов сознания; в индивидуальном сознании интересовало его все первично невнятное; все другие — доказывали: он — лишь указывал, лишь описывал, характеризовал, лишь выкладывал данные опыта свежим сырьем, так сказать; говорил же невнятными, утомительными, почти пифийскими обрывками фразы: чревовещал; от него убегали сколь многие. Понял: он — орфик,[121] как бы перепрыгнувший через столетия в наш век; лишь стремление переживать непосредственно данные впечатления сознанья влекло его в архаический период культуры: в миры Гераклита, в орфизм, в мифологию; в дофилософском кипении пелазгических мифов[122] нащупывал он нечто ценное и почти современное; скоро я понял его; все другие искатели мирозрений, уподобляясь рыбакам, — удят с берега; и вытаскивают мелких рыбок (мыслишки); Нилендер же, как водолаз, погружается в темные глуби пучины морской, там вступая в бои с восьминогами (с очень крупными мыслями, прозирающими начало культур, их подъятие из низин подсознания); и — не умеет отчетливо в них разобраться он; он все влекся к проблеме мистерии, углуб-

лялся в детальное изучение орфических гимнов;[123] но зная, что Лобеки и Вилламовицы в этой области не водолазы, а только удящие с берега и потому-то вытягивающие вовсе мелкую рыбу (побочных идеек), отверг он теории компиляции и зарылся в огромные словари, углубился в первейшее описание мало читаемых текстов, чтобы в пучинах ловить настоящие мысли о древности: и при посредстве их действенно расшифровать злободневную современность; в разговорах с Нилендером почерпал очень многое я; он сумел мне поставить проблему античных мистерий как то, что живет в нас доселе; и под влиянием разговоров с Нилендером стал почитывать кое-какую литературу, касающуюся мистерии; и думаю: давал ему то, что ему не давали ученые устремленья его: философию символизма как эмблематику смыслов и подлинную мифологию нашего времени: в установке вопроса об отношении мифа к понятию «я и миф», и понятие в философии символизма рассматривал как два вида истин, очерчивающих предмет знания с разных сторон.

Очень скоро потом и С. М. Соловьев оценил В. Нилендера, ставшего непременным сочленом кружка аргонавтов.

А аргонавты по-прежнему собирались у Астрова; только еще намечалось распаденье ядра; братья Астровы делались политически вовсе чуждыми нам; и отдалялись от нас *теософы*; я к Батюшкову относился с вниманием; все же узость его кругозора, искусственно замкнутого терминологией безантистов,[124] меня раздражала; и — многих из нас (В. Владимирова, Поливанова, Эллиса, Соловьева, Петровского); задружил прочно с Эртелем он; Эртель, дико поблескивая осатанелыми глазами, принимался рассказывать теософическим «*теткам*» о том, что творилося до создания мира, как будто присутствовал он при начале стряпни мировой; сотворял он «*миры*» с той же легкостью, с какой повар готовит бульон:

— «Понимаете ли, даагая моя, волны Божьей любви пегекатывались в миггиагдах лет: все — кипело».

А мне представлялась кастрюля: и — булькающие пузыри; над ней Эртель, в очках, в поварском колпаке, варил мир: снимал накипи супа он ложкою: царства растений, животных. И делалось вовсе конфузно, как будто бы — сваливались штаны:

— «Ты откуда же это знаешь?»

— «Я чегавек науки...»

Когда подходил я с критическими возражениями к «*стряпне*» мира в кастрюле любви, то затыкал он мне рот частой ссылкою на «*трансфинитные числа*» и на законы таких областей математики, в сфере коих, быть может, вращались два-три специалиста в Европе. На

«*трансфинитные числа*» не мог возражать (слово *абра-кадабра* — имеет глубокое кабаллистическое значенье); и думал, признаться:

— «Когда ж это Эртель, историк, да кроме того проглотивший, как говорят, библиотеки манускриптов санскритских, — когда ж это мог основательно так ознакомиться он с трансфинитными числами? Эдак, ведь, я могу выдумать не трансфинитные, а транс-трансфинитные числа: поди-ка, проверь меня...»

Все хотелось свести «*стряпуна*» мирового с Флоренским, действительным математиком, чтобы заставить их поговорить о законах логических, управляющих числами этими, — не удалось; все же Эртеля как-то чуждались мы; а теософские дамы, как мухи на сладкое, собирались на Эртеля: он занимался «*супнею*» своею для них (виноват: следовало сказать бы — липнею своею: все липло от сладости)...

Стал я встречаться все чаще с Петровским; потягивало из Посада[125] его; в эту пору наметились в нем расхождения с православием; и — стремительный наклон к Ницше; я видел в нем бунт; бывший скептик, потом — православный, теперь становился он независимым революционером (духовным); мучительно переживал пребывание в Академии он; отдалился идейно от П. А. Флоренского; и удивил даже ректора Академии (заискивавшего в академиках-универсантах) тем, что чуть ли не устроил он сходку.

Переживал с ним особенно я экзальтацию революционного времени; в маленьком, розовеньком Петровском, которого О. М. Соловьева провидела чуть ли не новым святителем *церкви*, теперь бушевали сильнейшие бури; он влекся на митинги; он готов был охотно устраивать баррикады, протестовал против скромненькой фронды кадетской.

Захваченный волной митингов, переживая «*весну*» в октябре и прислушиваясь к эксклам ациям Святополка-Мирского,[126] к академическим совещаниям, я отвлекался от мыслей о Блоках; ходил я к Морозовой, и подымалися разговоры о том же: о новой России. О, нет, — социал-демократом я не был; и все же: в марксистском подходе к проблеме хозяйства и права усматривал метод я, относительно правильный; мне всегда импонировал Кант; стал теперь импонировать Маркс; я впервые прочел в это время «*Историю Социал-демократии*» Меринга,[127] стал почитывать «*Капитал*»[128] и просиживал ночи над книгой «*Хозяйство и право*».[129] Да: в Штаммлере, в Каутском и в Марксе встречался я с линией экономической мысли, которая импонировала очень сильно; мой метод таков был: не обходить боком Канта — пройти через Канта, сквозь Канта, — за Канта; и элементами Кантова критицизма разбить догматизмы дешевенького «*кантианства*»; для этого я припустился

в далекое плаванье, чтобы осиливать Риккерта, Риля, Когена; такую же точно позицию занял теперь относительно социал-демократии я, бронированный Марксом; хотел я: взять метод марксизма и методом этим пробить догматический корост партийной программы; как справиться с Кантом, — я знал; обосновывая философию символизма, я шел через Канта — за Канта; и критицизм философский в то время был только этапом; поэтому: восставал я сознательно на догматическое обснованье социализма при помощи Гегеля (метод Плеханова); я примыкал — к другой линии: к кантианизирующим марксистам; и Штаммлер был ценной находкою: загнать «*догмат*» марксизма в ограду теории знания, там превратить его в метод, связав с философией символизма (все методы — только эмблемы, символизации мира сознания, или — духовного мира). Меня оскорбляли дешевые нападенья на «*Критики*» Канта, с которым я был не согласен; теперь оскорбляли меня легковесные нападения на социал-демократов; да, корень таких нападений — невежество (так думал я); я не делался принципиальным защитником социал-демократии; и все-таки делался я защитником, но — тактическим, чаще всего полемическим (в спорах с кадетами); и у Морозовой я принимался порою высказываться как убежденнейший социалист; впрочем, должен сказать, что Морозова возражала всегда с большим тактом и мягкостью мне; да и кроме того: она — слушала очень внимательно; и — считалася с доводом; многие — только ругались, плевались, инсинуировали.

Я освоился скоро с марксистским фасоном подхода к явленьям экономической жизни; помог очень Эллис: при всей экзальтации и при всем отхождении от основ экономики (прежней науки его) — все же отчетливо сказывался в нем былой специалист; как у Фохта учился я правильному ретушу идей кантианских, так ныне учился у Эллиса я: подходить верно к Марксу. С. М. Соловьев со мной спорил, склоняясь к эсэрству; наоборот: А. С. Петровский меня понимал.

Собирались частенько у С. М. Соловьева; и здесь поднимались споры; захаживали: революционно настроенные студенты; бывали испуганные и озлобленные консерваторы; выскакивали со своим мнением и крикуны, как Л. О.:[130] мы прозвали его — «*муть с песком*»; поговорит он, бывало, и — оставит досаднейшее физиологическое ощущение: точно он все извилины мозга посыплет песочком и пылью.

В те дни вдруг скончался С. Н. Трубецкой, бывший ректором Московского Университета, которого я и С. М. Соловьев знали лично;[131] я — мало; С. М. же бывал у него на дому; так: он был незадолго до смерти; и очень остался доволен покойным.

Конечно же: мы провожали останки его до Донского монастыря;[132] мне запомнились проводы; первая демонстрация в них сказалась. Все пели «*Вы жертвою пали*»;[133] от Моховой пошли — тысячи; по дороге присоединились десятки тысяч; откуда-то появились в обилии красного цвета знамена; из переулков — вливались рабочие; шло 50 с лишним тысяч. Я видел всех наших знакомых: все шли. День был — солнечный. Похороны произвели очень сильное впечатление.

В эти дни неожиданно среди нас появился Семенов (писатель, Л. Д.);[134] он был бурно настроен, ругал Петербург; все в Москве ему нравилось; признавался, что бросил писать он стихи; и — отошел от Д. С. Мережковского; признавался еще, что мечтает он написать настоящий тенденционный рассказ; поразил он меня; я всегда видел крайности в нем; как он прежде держался отъявленным консерватором и эстетом, так ныне он, ставши левым, ругал стихи Блока, ругал устремления символизма;[135] я думал: «Но именно ранние символисты — действительно революционеры в искусстве; вся ж линия нынешнего эстетического устремления *революционера* Семенова — реакционна до крайности».

Л. Д. Семенов захаживал часто ко мне; и — просиживал долго; охотно общался он с Эллисом, с А. С. Петровским, с Сизовым и с Астровым; был и на астровских «*Средах*»; ему среди нас очень нравилось; на похоронах Трубецкого он бурно расталкивал толпы, устраивал цепь; были вместе мы.

Оставаясь порою с собой, отдавался щемящей тоске. Очень странно: о Блоке я менее думал; мне не казалося, что с ним разругался я; нес ощущение, что разрыв мой — с Л. Д.: между тем: где-то в сердце (совсем вопреки расхожденью) росла тяга к ней. Но писать ничего я не мог; все-то силился эту тоску заглушить — чувством злобы: к ней именно. Не выходило: бросался в общественность.

Но расклеили прокламацию Трепова.[136] Она так задела меня; я стремительно бросился к Астрову — требовал: бойкот офицерам; но — встретил: решительное несочувствие; это меня отдалило от астровского кружка; я, Петровский и, кажется, М. И. Сизов очутились в Университете, чтоб с кафедры провозгласить офицерам бойкот.

Но — до бойкота ли. Провозглашалась Россия республикой; и — оказывалось: быть на площади нам, перед Думой. С А. С. Петровским решили: пойдем.

И я был перед Думою; вместо толп я увидел лишь жалкую кучку: десятка два-три: то — студенты, курсистки; конями плясал эскадрон добродушных сумцов;[137] я прождал: надоело; прошел по Тверской я — к кофейне Филиппова; там посидел минут десять; и — стал возвра-

щаться на площадь; но — выстрелы, крики; от площади вижу — бегут, заворачивают в переулок; заваливали ворота; то было начало университетской осады; казаки отрезали революционеров-студентов от внешнего мира; мне дали особое поручение: собирать провиант; и мне помнится: я летал по знакомым; и собирал; где мог, деньгами; и возвращался к Университету. Из переулка выглядывали казаки; в университетских воротах оставили узкую щель для прохода; входил: Боже мой, — что за вид.

На дворе, среди слякоти, ярко пылали костры; у костров раскаляли железные прутья разобранной университетской решетки; увидел Петровского, раскалявшего на костре тяжелейшую трость; а на крыше Университета стояли студенты с сосудами кислоты: обливать; в лаборатории фабриковалися бомбы.

Я выскользнул через щель и отправился к Астрову, чтобы встретиться с Эллисом: мы должны были ехать в какой-то салон к фабриканту Дукату;[138] всеобщая забастовка уже разразилась; и — пробирались во тьме, через рельсы; нас окликали: мы крикнули:

— «Это — свои».

Почему так решили? И — почему нам поверили? Я — не знаю.

Так очутился у фабриканта Дуката; в салоне пустом; не состоялася лекция; и никто не приехал; поехали к Университету, обратно.

У Университета я замешался в какие-то кучки, не зная, зачем они здесь; из разговоров людей понял я: это всё черносотенцы; в переулках же, смежных с Университетом, — набились казаки; я долго бродил темной ночью, внимательно вглядываясь в происходящее; несколько раз проходя мимо дворников, провалившихся вовсе в бараньи тулупы свои, слышал злую чернейшую ругань, иль видел я — угрожающие движения; демонстративно тогда прятал руки в карман: отступали бараньи тулупы, поняв, что в кармане моем — револьвер; револьвер этот — старый бульдог — придавал много храбрости; вооруженным считал я себя. В эти дни ранним утром ко мне раздается звонок; меня спрашивают; и — выхожу я в переднюю; там стоит строгий, подтянутый очень Н. П. Киселев, просидевший последние дни над какой-то работою, будто и не было забастовки; мы все волновались, метались, кипели; Н. П. Киселев хладнокровно сидел в своей комнате; он обложился старинными книгами; и разрешал отвлеченнейшую очередную проблему; увидев его у себя (и столь рано), я был удивлен:

— «Николай Петрович? Пожалуйте...»

Он же неспешно разделся и слабою, бледною тенью прошествовал; сел с укоризненным видом; и — пальцем задумчиво трогая левый висок, с укоризненным видом сказал:

— «Я, Борис Николаевич, все решал, что нам делать; и наконец я — додумался...»

— «Вы, извините, — о чем?..»

— «Я имею в виду забастовку; и — прочее...»

— «Ну?»

Почесывая мизинцем висок, опустив нос над креслом, Н. П. отчеканил укоризненным басом:

— «А не устроить ли нам минный парк?»

Тут я выпучил с удивлением глаза на Н. П. Просидев у себя эти бурные дни, вдруг очнувшись и с удивлением констатировав всеобщую забастовку, Н. П. порешил, что и нам пора действовать; если же действовать — действовать круто.

— «Послушайте, Николай Петрович, — Господь с вами: что вы... Чтоб мы или вы, с вашей полной неопытностью и беспомощностью, принялись за такое занятие?»

Я стал доказывать Киселеву нелепость, абстрактность идеи его; он молчал с чуть сконфуженным видом; и наконец — согласился: идея его пренелепа.

Он встал и, с корректнейшим видом простившись, прошествовал к книгам своим; вновь засел за какой-то вопрос, разбирающий тонкости, может быть, ритмики трубадуров.

В тот день я рассказывал Эллису о появлении Киселева; и мы хохотали до слез над картиною: Киселев — начиняющий бомбы; или — Петровский, решительно размахнувшийся жердью железной на старый режим:

— «Слушай, Лева, — сказал я, — ведь мы — сумасшедшие».

Эллис, смеясь, закивал мне в ответ:

— «Сумасшедшие...»

Помню, как в день манифеста 17 октября[139] мы с Сизовым толкались средь толп и плеснувших под солнцем знамен; волна люда несла по Тверской, по Охотному ряду; прошли мы на Красную площадь; у памятника Минина и Пожарского, утвердивши огромное красное знамя, какой-то мужчина в косматейшей шапке с наушниками, с рыжекрасною бородою простер над толпой свою руку: и ветер донес одну фразу из речи его.

— «Мы зовем вас к свободе и к счастью...» Косые лучи уходящего солнца багрили лицо его, бороду, знамя, багрили кремлевские, красные стены; и золотые тяжелые головы старых соборов отчетливо розовели блисталищем света. Сизов мне сказал:

— «Посмотри-ка, какое невиданное, великолепное зрелище...»

. . . .

Похороны Баумана отуманили мозг:[140] леса красных знамен продвигались — леса за лесами; стоял я в Охотном ряду и глядел, как выпенивались знамена с Мясницкой в то время, как мимо текли уже толпы милльонами красненьких лоскутков, алым с золотом знаменем, низко склоненным над алым средь толп проплывающим гробом; просоединялся к процессии я; было жуткое что-то и роковое; пройдя две-три улицы и нырнувши под цепь, я вдруг повернул к Соловьеву; и у него застал возбужденных студентов, перебирающих происшествия дня.

— «Что с тобою: ты бледен, как полотно».

Я рассказывал о потрясающем виде процессии и о красных лесах промелькнувших знамен:

— «Не хорошо — *алый гроб*».

— «Точно маска какая-то...»

— «Красная смерть...»

— «Или — красная свитка?»[141]

— «Нет, похороны Трубецкого — одно; в похоронах же Баумана что-то страшное: чуется кровь».

Выходя от Соловьева, узнал о расстреле участников похорон, возвращавшихся с кладбища, — около манежа: казаками.[142]

Дни свободы запачкались кровью; и радостное возбужденье сменилось тоскою, недоуменьем и злобою.

Поднимался чудовищный террор; организовались черносотенцы;[143] выпущенные из тюрем преступники нападали на улицах; и избивали — студентов: три дня пролежал я в прострации, носом уткнувшись в диван; забегал ко мне очень взволнованный В. П. Свенцицкий, которого якобы кто-то ударил по шапке; так он мне рассказывал; в эти чреватые дни среди нас завертелся какой-то Пигит, приглашая составить из «*аргонавтов*» десяток; себя предлагал в офицеры; вооружал револьверами; пахло и местью, и кровью; я — отговаривал аргонавтов от поступления в боевую дружину: они — не бойцы. Ощутил раздвоение: ненависть к старому строю — душила; и — вместе с тем: в крайних действиях революционеров мне чувствовалась не спокойная сила, а — одержание, осатанелость, истерика, срыв; я предчувствовал: все оборвется во тьму.

В этом странном раздвоенном состояньи сознания вспоминаю о Блоках. Всей силой души к ним рванулся; в кровавые дни мне хотелось быть в мире с ближайшими, с братьями; Блока же я ощутил милым братом; Л. Д. вопреки нашей ссоре — сестрою; и чувствовал жгучий я стыд за письмо свое к ним, разрывающее отношения.[144] Знал я, что надо скорее, скорей ликвидировать ссору; и — рвался писать: посылать

телеграммы; и не было почты: почтово-телеграфная забастовка — отрезывала от сношения с Блоками; мыслил побег в Петербург.

От С. М. Соловьева намеренье это я скрыл; он же, чувствуя, что во мне что-то странное, — все поглядывал вопросительно:

— «Что?»

— «Ничего... А что?»

— «Ничего...»

В те дни я присутствовал на концерте д'Альгейма; мы в гостинице (кажется, в «*Дрездене*») сошлись у артистки;[145] здесь я познакомился с Асей Тургеневой и с Наташей Тургеневой; помню, — они мне понравились; с Асей — соединил меня жизненный путь; это было позднее уже.

В этот вечер читали стихи мы: С. М. Соловьев сперва; я — вслед за ним; Ася слушала с нескрываемою усмешкой, как я распеваю стихи; Петр Иванович теоретизировал по этому поводу; Марья же Алексеевна не произносила ни слова.[146] Был А. С. Петровский; мы с ним возвращались по темным, метелью всклокоченным улицам; и говорили о том, как нас тянет к д'Альгеймам; мы все (я, Петровский, С. М. Соловьев, А. М. Поццо) немного в те дни увлекались Тургеневыми; я подумал: «Куда мне тащиться: не до Петербурга теперь». Мы решили на днях опять встретиться у д'Альгеймов с Тургеневыми. А на другой уже день, как помешанный, бросился я за билетом; и удивил свою мать неожиданным решением ехать:

— «Куда ты? В такие тревожные дни?»

— «Мама, — должен, пойми, должен я».

Собравшися наскоро, в тот же вечер я выехал.[147]

НОЧНАЯ ФИАЛКА

Остановился на Невском я, в меблированных комнатах;[148] и написал я письмо А. А. Блоку;[149] писал: расхождение меж нами, — невнятица; ее следует прояснить не письмом, а свиданием; если расходимся, пусть решение разойтись будет нами естественно установлено, если же то, что случилось, — случайность, тогда ликвидируем ссору; назначил свиданье А. А. и Л. Д. в ресторане Палкина; не находил себе места; был слякотный, желтый денек; и порывистый ветер обсвистывал; долго сидел у окошка; потом забродил я по Невскому; припоминалась: чудесная встреча письмами, первыми письмами нашими; и — вот думал я: из-за

мелочи, из-за какого-то там расхождения А. А. с Соловьевым в приятии иль неприятии таких-то стихов — распадалась чудесная дружба; — и подлинно: я — скандалист; нет, — недаром писали в газетах стишки про меня:

. . . . Андрей Белый,
Весь в скандалах поседелый...[150]

Огненным мороком переливалися вывески; очень внимательно вглядывался в толпу; поражало — спокойствие; у Москвы был всклокоченный, взбудораженный вид: революционная атмосфера — охватывала; здесь же было — спокойно и чинно; текли пешеходы; средь тока карет и пролеток молодцеватого вида квартальный распоряжался движением. Палкин с угла там Литейного[151] рассиялся огнями; к огням я направился, сообразивши: пора.

Переполненный зал: зеркала, аксельбанты, околыши, перья страусов, декольте, ведерца с замораживаемыми бутылками. На эстраде, сияющей светом, рыдали, струнили медлительно страстные мандолины, которые прижимали к груди усачи в ярко-алых, атласных камзолах: неаполитанцы (не раз слышал их). Неприличного вида красавец, поставивший вверх перефабренный ус, весь в кровавом, ломаясь, гнусаво запел, строил глазки; паршивого вида старик-генерал от ближайшего столика с официантом ему, улыбаяся, посылал на эстраду шампанское; охватило все это сияющим бредом; с трудом нашел столик; и — заказал себе чай; Блоков — не было; вглядывался перед собою, ища их, нетерпеливо поглядывал на часы: половина восьмого, три четверти, восемь... Взрыдав, мандолины оборвались; и — опять прожурчали.

Вдруг — вижу: обрисовалась фигура студента, подтянуто-статная — издали с тонкой талией перетянутого сюртука, с очень-очень сжимающим подбородок воротником, и с курчавою шапкой волос; слегка вьющейся; равномерно обветренный, розовый тон (без румянца) лица, я узнал: Александр Александрович! Медленно шел, останавливаясь перед дамою в черном платье, затягивающем ее талию, и чудеснейшим образом контрастирующем с золотою головкою: Любовь Дмитриевна! Она шла, наклоняясь вперед, и скользящим, и гибким движением, проходя между столиками: с побледневшим, слегка похудевшим лицом, голубыми своими глазами остановившись в пространство, не озираясь и не ища никого.

Прилив радости охватил: и рванулась душа моя к ним; но я ждал: вот-вот-вот — со мной встретятся взорами; приподняв свою голову, ос-

тановившись средь зала, переминая рассеянно пальцами шапку, А. А. озирался, с полуоткрытым, растерянным ртом (в рот влетела ворона), и бегал глазами по столикам; вот посмотрел в мою сторону; вот — не заметил меня; приподнялся на цыпочки, собираясь отвернуться; привстал из-за столика я, помахавши рукою; заметил; и — улыбнулся (не мне, а себе — чуть-чуть-чуть); улыбнулся вторично, сияющий близко (теперь уже мне), взял под локоть Л. Д., опустившую золотую головку, кивком головы указал на меня: я расслышал (они подходили):

— «А вот, Люба, Боря...»

Л. Д., отыскавши глазами, кивнула улыбкой и выпрямилась; твердыми шагами пошла ко мне — первая; и улыбка (любил я улыбки ее) была — милая, вся простая такая. Подумалось:

— «Вот отчего это в Шахматове у нее той улыбки не видел; была там она — напряженная, трудная, очень далекая...»

Эти улыбки А. А. и Л. Д. мне напомнили наши часы в марконетовском доме,[152] когда я выкладывал душу мою, а они, точно брат и сестра, улыбались доверчиво; чувствовал: это время — вернулось: уже — объяснились; слова — ни к чему.

— «А я думал, что мы придем рано: а вот ты уж здесь...»

А. А. подал руку с открытою радостью:

— «Вот... хорошо, что все — так: что приехал».

Сказал это в нос...

Любовь Дмитриевна протянула мне руку с открыто сияющей детскою радостью; и пожимала мою; и в пожатии этом я чувствовал: тихость доверия.

Я, законфузившись, очищал Л. Д. место (диван уступил) и принялся заказывать что-то.

— «Прочел?»

— «Да, прочел, Боря: так...»

— «Разумеется: хорошо, что вы нам написали», — присоединилася Любовь Дмитриевна.

— «Знаете, я не мог долго вынести ссоры: вот видите, я — приехал...»

Л. Д. и А. А. не ответили мне ничего; но глазами сказали, что — все миновало; все — кончилось так; все прекрасно.

И объяснения — не было: тихо сидели, по-прежнему пили сначала — вино; потом — чай; мандолины, взрыдав, зажурчали; и наглого вида красавец, усы закрутив, гнусил новую песню; старик-генерал наслаждался с сигарой в зубах. Я рассказал происшествия этих последних недель.

А. А. Блок говорил:

— «Знаешь, мы получили письмо твое злое, — так странно: ты с кем посылал его?»

— «Да с оказией: ехали в Петербург от Христофоровых; я письмо отдал с просьбою — переслать вам...»

— «Принес его пьяный какой-то картузник: мы ничего не могли в нем понять... Было так неприятно...»[153]

Сконфузился я; и — опустил низко голову.

— «Да — ничего: все уж кончилось...»

Мы взглянули сконфуженно друг на друга, как дети, которые нашалили, которым от взрослых «*досталось*»; ну, пошалили, — довольно. В А. А. пробудился шалун, юморист; он над столиком выпрямился и, опустив нос над чашкою, исподлобия поглядывал близкими очень глазами то на Л. Д., то на столики, то на меня с таким видом, как будто бы он говорил:

— «Поиграли в разбойники...»

— «Будет...»

— «Довольно...»

— «Мы не разбойники...»

— «Дети...»

Передавал я А. А., как бесились мы в дни октября; передавал впечатленье свое от процессий и митингов: А. А. говорил:

— «Знаешь, Боря... Я — тоже... Я даже в процессии красное знамя носил...»[154]

Заговорили о разности отношения к событиям петербуржцев сравнительно с москвичами:

— «У нас в Петербурге одно, а у вас... все другое...»

Ту тему он часто затрагивал, осторожно стараяся дать понять, что я все-таки только москвич: это — значило, что немного бестактный; но говорилось все это с огромною добротою, с хорошестью...

— «А что Сережа?»

— «Да, что он?» — заинтересовалася Любовь Дмитриевна.

Я, как мог, выгораживал друга: он то-то и то-то; я видел, что Блоки по отношению к Сереже затаивали досаду, которой ко мне у них не было... Любовь Дмитриевна, опустив над столом низко голову, принялась оживленно доказывать мне, что Сережа — меняется, что его поведение в Шахматове есть безвкусица, фальшь.

Еще долго сидели у Палкина; коли память не ошибается, подходили ко мне П. П. Перцов и В. А. Тернавцев (а может быть, было в другой это раз); П. П. Перцов сказал:

— «Все вы стали такие революционеры, что уж, пожалуй, водиться со мной не станете».

Я кричал ему в ухо, что он — ошибается (туго он слышал).

Тернавцев сказал:

— «Нет, я Белого очень люблю...»

Часу в первом мы вышли от Палкина; и на углу постояли, прощаясь; шныряли кругом проститутки; А. А. мне сказал:

— «Это, знаешь, такое бедовое место...»

Л. Д., на прощанье пожав мне руку, проникающим в душу грудным своим голосом тихо сказала:

— «Ну, — как рада я, что *все* это — кончилось».

Я на другой день явился с визитом к Д. С. Мережковскому. З. Н. Гиппиус, сидя на той же кушетке с ногами, как в прошлом году, приложивши лорнетку к огромному, удивленному синему глазу, — как вскинется:

— «Боря?»

— «Да, как вам не стыдно!»

— «Приехали: остановились в каких-то там комнатах. Не у нас?»

— «Сию минуту извольте отправиться за вещами: вас ждет ваша комната».

Пробовал возразить, — и не вышло: революционным порядком стремительно был водворен к Мережковским.

И был я у Блоков; и — охватило все то же, что в прошлом году: Александра Андреевна, родная и близкая, протянула мне руки:

— «Вот, Боря: как рада я...»

А. А. в той же рубашке из черной свисающей шерсти, просунувшись из боковой двери, только сказал:

— «А... вот... Боря...»

Как будто и вовсе не прошумело над нами июльское Шахматово; Любовь Дмитриевна, за ним выглянув, и приветно, и просто сказала:

— «Борис Николаевич».

И этою встречею предрешались: набеги мои — каждый день, часовые сидения вместе, обряд чаепития, встреча за завтраком с Францем Феликсовичем, появления (ежедневно) Марьи Андреевны; восковая бумага, изображавшая рыцаря и Прекрасную Даму, со стекол окна продолжала бросать фантастически отблески на Л. Д., облеченную в платье не наших фасонов; опять разливался в присутствии Блоков я радугой мысли, фонтаном, перед которым сидели А. А. и Л. Д., напоминающие мне отчетливо образы Росетти, Бёрн-Джонса.

И — да: атмосфера расчистилась; в долгих общеньях с А. А. и с Л. Д. было что-то от атмосферы, от нас независимой, необъяснимой реальными фактами биографии; вдруг становилось всем радостно и светло, — так светло, что хотелось, сорвавшися с места, запеть, завертеться, захлопать в ладоши; а то начинало темнеть, — без причины; темнело, темнело, — темнели и мы под тяжелыми, душными тучами; тучами неожиданно обложило нас Шахматово в 905 году; наоборот: туч почти не видали мы в ноябре—декабре в Петербурге. Я помню, что раз, возвратившись от Блоков, у Мережковских от беспричинной меня охватившей вдруг радости я устроил сплошной кавардак, взявши за руки Т. Н. Гиппиус и вертясь с ней по комнатам; бросив ее, завертелся один я, как «derviche tournant»,[155] в кабинете Д. С. Мережковского; тут с разлету я опрокинул блистающий, прибранный столик, сломав ему ножку; как раз позвонили: и — неожиданно появившись в дверях, Мережковский застал меня, совершающим преступление (ломку столика); и — ясное дело: поступок такой объяснился «*радением*», — не веселою молодостью и не желанием подурачиться: теоретические обоснования тотчас же были подстроены для объяснения шалости; оказалося: это — следствие сиденья у Блоков: то следствие «*завиваемой пустоты*» (так я стал «*завивателем*»).

И, выпучивая глаза на меня, не без испуга, Д. С. обращался ко мне с увещательным словом:

— «Да бросьте же, Боря, — безумие!»

Помню, — обиделся: «*Белому*» заповедано веселиться и быть безвопросным?

Впоследствии, углубляясь в особенность мира поэта, я понял, что кроме явных естественных объяснений изменности настроений меж нами необъяснимое что-то осталось: в А. А. было что-то, что — действовало; настроением он меня заражал; он носил атмосферу: то — *ту*, а то — *эту*; то — розово-золотую, а то — фиолетово-серую; сам он любил выражать настроенья цветами; с капризностью он подбирал цвета букв для отдельных томов сочинений своих;[156] он подробнейше мне объяснял, что заглавная буква к стихам о *Прекрасной Даме* должна быть карминного цвета, таких-то оттенков; а том второй может только окраситься ярко-зеленой заглавною буквою; третий том есть — том *синий*, такого-то только оттенка; и *синий* оттенок тот — страшный; в *цветах* изживал он стихию переживаний своих, опознавал он стихии цветами; все более, более отдавался стихиям; они начинали овладевать; и А. А. становился под действием их переменнее, нетерпеливее: после

грустного факта: она — «*отошла без возврата*»; во внешнем же он оставался по-прежнему: и корректным, и вежливым, поражая отчетливым построением эпиграмматических фраз, произнося свое «*чтобы*» без повышения голоса, точно придушенного, деревянного и глотающего окончания, отдающие в «Н», в «М» и в «И»; в разговоре не двигался он, не образуя одеждою складок; сидел очень прямо, почти не касаяся кресла; лишь изредка наклонялась его голова; и — протягивалась рука с портсигаром; когда перед ним собеседник вставал, то — А. А. вставал тоже; выслушивал стоя, открывши глаза — голубые свои фонари — в разговор; та же выправка, статность и выраженье «*хорошего тона*» лежали на нем. Но под формой держать себя чувствовалось изменение: чувствовались — неуверенность, боль и порою капризность (как в Шахматове в 905 году); «*атмосфера небесности*» от случайного жеста могла занавеситься серо-лиловым туманом, восставшим от «*Блока*»; в застенчивое движенье большой головы, растерявшейся голубыми глазами, — отчетливо значилось: глаза — помутнели; курчавая шапка густых, очень мягких волос не казалась курчавой, как прежде; рыжевший отлив — пропадал; и казался: не пепельно-рыжеватым, а — пепельным; появились морщинки у глаз, уходящих в мешки под глазами; прорезалась явственней поперечная складка на лбу; и отчетливей, чувственней губы пылали; и сила стихийности, — не таясь, разливалась мощней — переменною атмосферою; не *розово-золотою*, а *серо-лилово-зеленою*; где — была лучезарность? Перегорали остатки духовных загаров; и — побледнело лицо; и движенье одно подчеркнулось, усилилось: сидеть молча с зажженною папиросой; и — вдруг: не без вызова, не без удали нарисовать лицом линию вверх, выпуская из губ над собою струю дымовую; в одном этом жесте мне виделась: удаль таимых капризов.

Не раз я впоследствии анализировал восприятия впечатлений от Блока; они рисовали отчетливо разделенные образы; вот Блок — уютный, домашний, меня заставляющий выговариваться, проницающий *всепониманием*; вот — *Блок* другой: кто мог быть неприятней, капризнее? Бессловесная глубина в нем могла обернуться рисовкой невнятицы, даже «*идиотизма*» какого-то; говорили впоследствии мы с Соловьевым о злом выраженьи лица у А. А.: идиотически-злом, не могущем ответить на ясные доводы логики; да, такой «*Блок*» представлялся Ставрогиным; красота его самая нам казалась — «*ставрогинской*», и наивность — рисовкой. С. М. раз цитировал строчки:

Нежный! У ласковой речки,
Ты — голубой пастушок.

Белые бродят овечки,
Круто загнут посошок, —[157]

— Он воскликнул:

— «Идиотизм, а не детскость... А все — умиляются; говорят „*как наивно*", не понимая, что эта наивность — нахальство уверенного самодура, давно осознавшего: всякую чепуху его примут, как глубину, а первичные ассоциации мысли, как символы!»

Критикуя поклонников Блока, С. М. обращался к себе самому: ведь он именно относился к А. А., как к «*глашатаю*»; а когда А. А. Блок не хотел быть «*глашатаем*», то С. М. упрекал «*мирового глашатая*» в подстановке под мудрость идиотизма.

Каким Блок казался непереносным, обидным, намеренно унижающим, — в дни разрыва с ним! И — сострадательным, ласковым в дни сближений; меж тем: и внимание, и удивительная небрежность — не выражались никак: предупредительный, малословный, неторопливый; ты встанешь, — он встает; садишься, — опустится, молча подаст портсигар...

Но я — понимал С. М. Соловьева; я сам испытал не однажды необъяснимую оскорбительность для себя одного появления предо мною А. А.; так, в эпоху, когда не видались мы, на петербургских проспектах, среди толкотни пешеходов увидел я шедшего мне навстречу А. А.; он, зажав в руке трость, пробежал в бледно-белом своем панама́, быстро-быстро, — прямой, деревянный, как палка, с бескровным лицом и с надменным изгибом своих *оскорбительных губ*; он не видел меня; этот жест пробегания с тросточкой на петербургском проспекте тогда показался — венцом униженья; в душе отдалось:

— «Как он смел не заметить?»

А белая панама, щеголеватая тросточка — были ударом по сердцу:

— «Что, как — панама? Как он смеет?»

— «Скажите пожалуйста!»

— «Это — что?»

— «Что за дерзость!»

В период сближения — не было меры в желании умалиться — пред ним, сделать все для него, уступить ему место; а этого он и не требовал; он — удивлялся: и резкому гневу, и резкой восторженности:

— «Ты — смешной!»

Разговор в ресторане у Палкина — в нем заложены новые вехи общения нашего; эти общения (общение А. А. и Л. Д. со мной и с С. М.) напоминали сношенье иностранных держав; перекрещивалось три на-

правления в них: будущего петербургского символизма, сгруппированного вокруг «*Ор*», с направлением московского символизма, которого выразителем я был, с теологическим устремлением Соловьева. У Палкина мы решили: распадался «*вселенский собор*»; и С. М. не войдет в наше «*Мы*»; предоставляя свободу общений с С. М., и А. А., и Л. Д. подчеркнули: они не приемлют его. Распадение «*тройственного*» союза приканчивает эпоху моих «*теургических*» устремлений; в союзе «*вдвоем*» (А. А., я) был исход совершенно естественному художническому устремлению; никакие философы будущего («*Лапаны*», «*Пампаны*») уже не учили нас жизни; то творчество жизни, которое мы утверждали, сводилось к импровизации, к новой «*Commedia dell'arte*»;[158] безудержный артистизм подстилал нашу дружбу; сказали друг другу:

— «Так будем играть; и во что бы ни выразилась игра, — ее примем».

Я чувствовал: с разговора у Палкина, был естественно принят в «*игру*»; победило — доверие; в сущности, вместо «*мистерии преображения мира*» мечтали теперь о «*мистерии преображения мига*»; С. М. Соловьев для А. А. оказался тяжел.

То — последствия узнавания, что *Она* — «*отошла без возврата*»; и — стало быть: оставалось брать жизнь без Нее; как период «*Прекрасной Дамы*» расцвел мне статьями: «*Луг Зеленый*», «*О целесообразности*», «*Священные Цвета*», «*Апокалипсис русской поэзии*»; так: этот период сказался статьями: «*Песнь Жизни*», «*Искусство*»; и как идеологом чаяний был наш «*мифотворец*», философ «*Lapan*», так теперь: я при помощи видоизменения Риккерта и сочетанья его с ницшеанством пытался создать философию жизненных ценностей; и развивал Блокам мысли статей: «*Фридрих Ницше*» и «*Феникс*».[159]

Как бы говорил себе: «Ее — нет! Не придет! Что же, будем — героями, Зигфридами! Будем же высекать жизнетворчество»; настроение такое складывалось в А. А. Оно выразилось впоследствии в строках:

О, весна без конца и без края,
Без конца и без края весна;
Узнаю тебя жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита.[160]

Все «*заветы*» Владимира Соловьева тем были нарушены; в нарушении заветов, быть может, супруга поэта сыграла немалую роль; мы считали «*хранительницей заветов*» ее; устремления к духу музыки, к импровизации, к превращению «*неизреченного*» в театральный мимиче-

ский жест и в «*Commedia dell'arte*» в Л. Д. перегибали «*мистерию*» к сцене; желание стать артисткою сказывалось все более; так она повлекла за собой и А. А., и меня: к артистизму, к импровизации; в А. А. просыпался любовь к сцене; еще гимназистом А. А. играл Гамлета, а Л. Д. — изображала Офелию.

Лозунг, который в то время меж нами подчеркнут («*Так будем играть*»), может быть, — бессознательное тяготение к сцене Л. Д. и, быть может, естественное созревание в А. А. — «*Балаганчика*».

Между нами в приезд этот возникали порою переживания сверкающей ясности; рушились между нашими душами все преграды; как будто бы вдруг начинался прибой ниспадающих крыльев огромного света; казалось: из синего неба — западали ясности; падали, падали; и — засыпали душистые святостью белые лепестки нежной силы любви; затихал, засыпаемый внутренне прозаряющим светом; и Блоки — тишали; А. А., затихая, из кресла отряхивал пепел немного растерянно; брови подняв, он внимал тишине; а Л. Д., освещаяся отсветом яблочных лепестков, начинала сафирить глазами; потом поднималися разговоры о том, что мне нужно было бы оставить Москву, переехать сюда в Петербург.

Постепенно привык к этой мысли, вообразил, что могу здесь заняться преподавательской деятельностью; передавал соображения эти А. А. Не удивлялся он этой пришедшей фантазии; и — соглашался:

— «Что ж, Боря, попробуй».

Д. В. Философов направил меня к Н. О. Лосскому, к Э. Л. Радлову — с письмами; Радлов же дал мне письмо к попечителю округа, у которого был я, который корректнейше обещал, что при первой вакансии преподавательской — здесь, в Петербурге, меня он уведомит. Эта фантазия — тоже продукт экзальтации, передававшейся порой и А. А. Раз, зайдя к нему утром, заставши его одного, я ему подивился: — взял за руку и повел в кабинетик, подвел к широчайшему креслу, сказал:

— «Боря, очень вот странно: вчера, когда ты уж ушел, очень скоро потом слышал звон я: как будто бы в двери звонили; я думал, — не ты ли?.. Потом — помолился».

— «Что ж, это — хороший был звон?»

— «Очень, очень хороший... Так странно».

Я понял из жеста, с которым ко мне обращался А. А., что с тем звоном соединяет какие-то он заревые, в нем сызнова прорастающие надежды на новые отношения: меж нами; звук явной «*мистерии*» — в нем подымался; тот звук я знавал: сколько раз, севши в саночки,

ускользая от Блоков к Литейному мосту, или — обратно, я замирал беспричинно от душу сжимающих образов: горнего счастья, восторга, любви: хлопья снежные вьюги певали мне мысленным действием, превращались в потоки белейших миндальных цветов; я под полостью стискивал руки; и — восклицалось душою:

— «О, Боже мой, — что это? Что это? О! Неужели же отблески Духа спускаются к нам».

В Л. Д. виделось что-то совсем белосветлое (скоро не стало в ней этого света); и чудилось в ней что-то общее с «*милой царевной*» стихотворенья:

Рассыпала Царевна зерна,
И плескались белые перья.
Голуби ворковали покорно
В терему — под узорчатой дверью.[161]

Голубиною чистотою ворковала невнятная глубина голубей — инспирации; пусть молчала: в молчании слышался — плеск белых перьев; и плеск белых лётов метели в окне, взвой ветров из трубы, — как я помню все это: по крышам железным бежал передрогом, бежал перегромом — огромный раскат. Любовь Дмитриевна, тихо кутая в мягкий платок свое личико, лишь поблескивала сафирами глаз, и из «*ока*» спускалася белая птица;[162] тогда ясно слышался почти свободной душою плеск крылий, хотелось воскликнуть:

Расцветает красное пламя,
Неожиданно сны сбылись.
Ты идешь. Над храмом, над нами —
Беззакатная глубь и высь.[163]

Да, смешно мне признаться; но — чувствовалось порою: меж нами троими, над нами троими теперь — «*беззакатная глубь*», «*беззакатная высь*».

О, я знал, до чего я смешон и нелеп в моей странной, нечаянной радости; выглядел глупым мальчонком; но помню: А. А. с такой тихой любовью, с такой снисходительностью удивлялся моим косолапым, не поддающимся объяснению жестам; и жестом на жест отвечал:

— «Ничего...»

— «Ничего, Боря...»

— «Все — хорошо...»

— «Все светло пока что...»

Александра Андреевна тоже — добрела, мягчела; она, не сдержавшися раз, развела свои руки и, опустив низко голову, стала качать на меня головой:

— «Ах, какой вы смешной».

И в усы прелукаво порою улыбку припрятывал за обедом помалкивающий Франц Феликсович. Мне же — чуялось: исполнялись слова, мною написанные: «*Не иссякает потребность общения у познавших глубину несказанного. Наоборот, эта потребность возрастает, потому что мучительно одиночество... Хочется вместе встречать глубину. Слово не в силах выразить несказанного: остается музыка. Но музыка — призыв к действу. Несказанное словом может быть сказано действием... Вихревой круговорот отдельных переживаний, пронизанных друг другом и слитых музыкой в пурпурное... пламя... — не должен ли такой круговорот создать и обряды кругового действа...*»*

Конечно, обряды для Мережковских казались — радением; и — конечно же: восприятье мое Любовь Дмитриевны того времени им казалось хлыстовством; так-таки восприняли однажды они мое верчение по кабинету Д. С.; между тем: сам я ранее лирикой фраз выражал лик того, кто духовно сияет «*вином новой радости*»: «*Его лицо должно быть бело, как снег. Глаза его — два пролета в небо... Как разливающийся мед, — его золотые волосы... То здесь, то там мы в состоянии подсмотреть на лицах окружающих ту или иную черту святости... Блеснет и погаснет, и не знают грустные дети, печать какого имени у них на челе*».**

Что же делать — казалось: печать *того* Лика сверкает меж нами троими; хотелось воскликнуть словами статьи:

«*Зная отблески Вечного, мы верим, что истина не покинет нас, что она с нами. С нами любовь. Любя, победим. Лучезарность с нами... С нами покой. И счастье с нами*».***

Да, я знал, что — смешон; но А. А. же ведь ласково очень поглядывал; и — говорил мне без слов:

— «Ничего, ничего... Хорошо... Все светло...»

Александра Андреевна же, улыбаясь, порой разводила руками:

— «Какой смешной Боря...»

И прелукаво покручивал ус Франц Феликсович.

---

* А. Белый: «Арабески», стр. 132—133.[164]

** Там же, стр. 128—129.[165]

*** Там же, стр. 129.[166]

В то время Л. Д. увлекалася Вагнером; часто А. А. и Л. Д. посещали в те дни представленья «*Кольца*», восхищаясь Зигфридом — Ершовым; мы слушали вместе «*Валькирию*»;[167] звуки «*Валькирии*» пересекались со звуками, извлекаемыми меж нами; да, кто-то из нас был Вотаном; и кто-то наверное — Зигфридом; явно: в Л. Д. проявлялись отчетливо жесты Валькирии; героическая атмосфера подогревалась разгаром революционной горячки; понятно теперь тяготенье наше к риторике музыкальной стихии: к стихии геройства; понятно, что звуки «Валькирии» нас привлекали; Валькирия, связанная драконом, или гностическая голубка, связуемая явлением мира, *кольцом злого змея*, — перекликалася с содержанием мифологемы души моей; если бы мифологему ту вскрыть, оплотнела бы так она: —

— содержанье гностических тайн — в глубине сознанья: разыгрывается индивидуальным сознанием каждого та глубина; коллективное сознаванье повтора мифических действ есть мистерия; каждая эпоха по-своему драматизирует мифы веков.

Какой миф мог средь нас разыграться в то время.

А вот какой: —

— в нисхожденье Софии по-новому наша эпоха вскрывает предмирную биографию жизни Софии; София нисходит извечно; «*там*» это — паденье: падение — к нам; здесь падение это есть действенное озарение нас Ее тайнами.

А томленье Софии, иль «*Ахамот*»,[168] — дочь Ее; дочь — Душа мира; отображением милой Софии в земной оболочке для Блока считали мы встречу с Л. Д., иль с *Царевной Царицы*; в мистерии человеческих отношений А. А. (рыцарь, гностик, Зигфрид) должен был пробудить в Любовь Дмитриевне *эрос* к жизни духовной, где Мать пребывает Ее; должен был убить Фафнера:[169] высвободить ее душу из мира явлений, иль — сна; здесь гностический миф соплетался, во-первых, с «*Кольцом Нибелунга*»; «*Кольцо*» ж соплеталося с биографией нашей, в которой мы, Зигфриды — в самосознании; содержанье ж мистерий есть образное выявление в жесте пути жизни «Я». Устремленье к «*мистерии*», к новому мифу, меж нами, связавшими руки в «*Лазури пути*», — пробуждение самосознания к духу. Мистерия эта — не сцена: мистерия человеческих отношений она, вызывающая упорную ковку «*меча*», иль сознания; темы «*меча*», темы Зигфрида, Фафнера, заклинанья огней — темы нашей, конкретнейшей биографии, тема встречи меня и А. А., тема встречи А. А. и Л. Д.

Неумение выковывать «*меч*», иль познать свое «я», есть источник катастрофы «*зорь*», иль заветов: к творению современного мифа, а не

«*творенье*» при помощи отвлеченных статей: нет — творение мифа конкретностями биографической жизни. Что уж скоро потом записались статьи о творимой легенде, о мифе; писавшие не подозревали, конечно, что миф — *был действительно*: только он был «*эзотерикой*», праксисом подлинных символистов, *молчавших о мифе в миг мифа*. Теперь по прошествии восемнадцати лет я могу говорить о том мифе, который становится тихой «*легендою*» прошлого; делали миф мы конкретно — не мыслями: всем ритмическим строем взволнованных душ: но ошибка всех нас — недостаточность в опознанье себя; и — смещение драматизма творимого мифа с «*проблемой театра*»; понятно: не вняв глубине, но желая в себе воплотить звук мистерии, многие скоро свернули на путь создавания разного рода интимных театров; понятно влеченье к театру А. А.; и уход на подмостки Л. Д.[170]

Да, — понятно стремление к Вагнеру.

Кроме того: живой *миф* личной жизни, созвучный с мифологемой «*Кольца*», параллезировался с мифом тогдашней России. Брунгильда — душа целой нации (спящей); Фафнер — правительство; интеллигенция, поднимавшая меч (интеллект) за народ (за Брунгильду), — герой, или — Зигфрид; и героическая атмосфера подогревалася ритмами революционной горячки; и звук героизма в сознанье моем высекал взрыв восторга.

Героем казался мне Савинков, о котором я знал, что он тайно живет в Петрограде (о Савинкове я слышал от А. М. Ремизова и от З. Н. Гиппиус).[171]

— «Понимаете, Боря, — „*он*" был у А. М.», — говорила о Савинкове мне З. Н. Мережковская; я фамилию «*Савинков*» вовсе не знал; но я знал, что есть «*он*», кто разыскивается в Петербурге, кто стал во главе терроризма, кто подготовил убийство Великого Князя.[172]

И «*он*» возбуждал во мне рой очень сложных, запутанных переживаний; но восхищался я смелостью этого таинственного незнакомца.

«*Он*» — Савинков.

У Мережковских мы обсуждали события времени, действия Витте; в это время решительно действовал «*Совет рабочих депутатов*». Арест его произвел потрясающее впечатление;[173] ждали — взрыва; но «*Петербург*» — промолчал; волновалась Москва; здесь же все притихало. На улицах слышались ретроградные речи.

— «Бей их: бей зачинщиков...»

У Мережковских с пылающим пафосом обсуждалось все это; бывали — всё те же: Бердяев, Тернавцев; и — пр.; да, текла та же жизнь; рассуждения религиозной общественности, заседания с «*Димой*»,[174]

с А. В. Карташевым; в то время С. П. Ремизова-Довгелло сошлась с Мережковскими.

И все также бывали у Розанова, у Сологуба, как в прошлом году; Сологуб был отчетливо революционно настроен; переписывались стихотворенья-памфлеты его; и один мне запомнился:

Стоят три фонаря для вешанья трех лиц:
Середний — для царя, а с краю — для цариц...[175]

Никогда не забуду я первую встречу свою с А. М. Ремизовым;[176] он меня — напугал; возвращаюсь от Блоков; вхожу я в гостиную Мережковских, — и вижу: с дивана привстал очень маленький сутуловатый такой господин; и сверля из-под стекол очков проницательным взглядом, с усмешкой вымолвил он:

— «Я — знаю вас».

И сделав из пальцев руки то, что детям показывают («*Козу*»), он, согнувшися, стал наступать на меня, приговаривая:

— «Вот — коза, коза»...

А З. Н. рассмеялась:

— «Ну — вот познакомьтесь: это вот — „Боря", а это вот — Алексей Михайлович».

Подивился я стати, с какою повел себя А. М. Ремизов; все то не знал, где он шутит, а где — издевается; не понимал еще я: добрый он или злой; помню я, что А. М. приставал все ко мне:

— «Вы меня ведь не любите...»

Я, как мог, — возражал.

Да, сперва очень-очень дичился А. М.; в его шуточках чудилось страшное что-то; но скоро я понял, что он очень крупный, что он очень добрый, прекрасный. И все-таки: дикие шуточки Ремизова заставляли меня точно вздрагивать.

Скоро встретилися у Розанова.[177] А. М. был в первой части беседы (сидели мы все за столом) такой странно напуганный; с преогромными, ясно блистающими очками, с огромнейшим лбом, перерезанным поперечно морщинами и с вихрами взъерошенных вставших волос на меня он поглядывал, мне все подмигивал: не то просто попугивал, не то — сам пугался чего-то; мне сделалось тяжко и жутко; потом я сказал З. Н.:

— «Нет, не пойду к Алексей Михайловичу: очень жутко мне с ним».

— «Что вы, Боря, вы просто не знаете Алексея Михайловича».

На собрании этом потом расшалился он и приставал к В. Иванову (только что перебравшемуся в Петербург):[178]

— «У Вячеслава Ивановича — нос в табаке».

В. Иванов — отшучивался; мне казалося: все-таки было ему неприятно, что нос в табаке у него; Алексей же Михайлович не унимался: Иванов — туда, он — за ним; он — «сюда»: и А. М. за ним следом; согнувшися, изображая собой настоящего «буку», собрав свои губы колечком и пальцем указывая присутствующим на сутулую спину Иванова, все приговаривал:

— «У Вячеслава Ивановича-то — нос в табаке...»

Он, совсем неожиданно подскочивши к качалке, в которой задумчиво развалился массивный Бердяев, перепрокинул качалку; Бердяев же, описавши сальтомортале, стремительно очутился под ней.

Этот вечер оставил во мне настоящее впечатленье кошмара; через С. П. Ремизову, бывавшую очень часто у Гиппиус, сблизился как-то невольно с А. М. Мое первое впечатление от посещенья А. М. порассеяло «*миф*», мною созданный: будто бы А. М. меня поддевает; сидел у себя он в платке: такой зябкий и маленький, — среди тряпочек, куколок, книг, курьих лап; он казался монгольским шаманом; и выговаривал с очень тонкой усмешкой премудрые острые и глубокие домыслы; стало легко и уютно; шутил он претонко, перемежая усмешки с прозреньями; ясно блистали глаза его мягкостью, хоть... не без хитрости; все набивал папиросы (в платке); и мне кажется, много рассказывал интересного о лапландских кудесниках, ноидах (нет, это было, должно быть, — позднее). Его полюбил крепко я с того дня: и люблю его крепко доселе.

В то время Бакст только что кончил портрет З. Н. Гиппиус; и приходил к Мережковским, чтобы меня рисовать; но во время сеанса присутствовала и З. Н.; мы вели разговоры; а Бакст вглядывался в меня и, как разбойник, накидывался на ту иль иную черту мою; почему сеансы давались с трудом; все казалось, что Бакст мне ломает лицо; к окончанию сеансов во мне развивалась невралгия лица; создалось впечатление: Бакст — переломал мои челюсти; и на портрете отчетливо отразилося жалкое, страдающее выражение; в газетах писали об этом портрете, что стоит, мол, на него посмотреть, чтобы понять, какой выродок я; мне портрет не понравился; Бакст очень скоро нарисовал по-иному меня (для редакции «*Золотого Руна*», заказавшего портреты писателей);[179] тогда были Сомовым зарисованы — В. Иванов и Блок.[180]

Моя невралгия скривила лицо мне; являлся я к Блокам: и — схватывался рукою за щеку.

А. А. усмехался:

— «Что, Бакст проломал тебе челюсти?»

— «Видишь?»

— «Да, это я понимаю...»

— «Сидел все Нувель: Бакст его приводил разговаривать».

Тут Александр Александрович принялся очень круто поругивать атмосферу редакции «Мира Искусства».

— «Бывало, придешь, а там ходят, разгуливают правоведы с огромными золотыми воротниками, — при шпагах...»[181]

А. А. не любил атмосферы снобизма.

Делил свое время по-прежнему я между домом Мурузи и Блоками; но сидения вместе носили характер импровизации; медиумизм атмосферы подчеркивался; было уютно; и — весело перешучивались, «*по-детски*» играли; бывало, А. А. молчаливо поглядывает из-за тихости — «*вторым взглядом*» каким-то; из-за себя — усмиренного, тихого, несомненного очень — поглядывает он не тихо, сомнительно; будто какое-то «ххх», или «хххa» появляется в выражении носа; как будто *ирония* пряталась в нем, и как будто все, что меж нами, — игра, и что трудно всерьез оставаться; игра-то — смешная.

Но выраженье иронии, если и было, перекривляло *чуть-чуть* (*чуть-чуть-чуть*) этот добрый и тихий какой-то доверчивый лик А. А., *добро* помаргивающий из уютного кресла. Однажды А. А. мне лукаво сказал, что они твердо знают, кто я.

— «Кто же я?»

Тут Л. Д. рассмеялась, решив, что не скажет; А. А. же, посмеиваясь себе в нос, опустивши глаза, очень тихо сказал:

— «Не обижайся — такая игра уж у нас: ведь мы с Любою часто играем в зверей...»

— «Так какой же я зверь».

— «По-хорошему, — не обижайся: ты — беленький заяц; у нас он любимый зверек...»

Иногда стиля сказочных глупостей — не было; А. А. хмурился; от него шли туманы; мне — делалось душно; и представлялся мне образ сидящего в кресле каким-то глухим, раскаряченным, напоминающим образ слепца, восседающего не на кресле, а на сырой, зеленеющей кочке болотной, перебирающего не складки рубашки своей, а надтреснутую глухую бандуру, выщепливающего нелюбимые строчки мои:

Болото — глубокая впадина.[182]

Делалось грустно.

Однажды особенно был он доверчив со мною; сидел в столовой — за чаем; повел в свою спальню, сказав, что ему нужно что-то поведать, отдельно, — без «*Любы*»; меня усадив на диван, он пытался мне выразить, что теперь он пришел к удивительному, очень важному внутреннему узнанью; узнанье связалось с восприятием сильно пахнущего фиалкою *темно-лилового* цвета:

— «Ты знаешь, он — пахнет так душно: лиловый такой и ночной...»

И, подсаживаясь на диван ко мне, он рукою касался руки; и наклон головы (чуть-чуть набок), и нос, в грудь поставленный, помнились мне; улыбался мне мутными голубыми глазами, как будто прося извиненье за то, что он мне доверяет, как тайну — растреснутым голосом, носовым и туманно сливающим окончания слов (-«*анный*» и -«*анные*»).

С этим цветом он связывал новую эру узнаний своих; в ту эпоху сложил я теорию восприятия цвета;* А. А. понимал, что в теории выражал я свои восприятия мистической жизни; определить человека, событие *в цвете*, а *цвет* — в свете этой теории означало: произвести опыт в духе; мистический опыт сложил: в отношенья друг к другу цветов; и А. А., наклоняя лицо надо мною с волненьем все пытался сказать, как он много узнал от вживания в едко-пахучий фиалковый, темно-лиловый оттенок; *оттенок* его как-то странно увел от прошедшего; и открылся ему такой темный, лиловый и новый, огромнейший мир. Что такое *фиолетовый* цвет? И — А. А. посмотрел на меня испытующе.

Я же смутился.

Ведь в опыте о цветах у меня доминировали три цвета: цвет света, иль — *белый*; цвет бездны засветной, сквозящий сквозь свет, — цвет *лазурный*; и — *пурпурный*, в свете не данный, соединяющий линию спектра: в круг спектра. Соединение трех цветов (белизна, лазурь, пурпур), по мнению моему, рисовало мистический треугольник цветов, — Лик Христа; проповедовал: восприятье Христово — трехцветное; восприятье лазурью и пурпуром, белизною и пурпуром, белизной и лазурью суть искусы, секты; а *темно-лиловый* — смешенье цветов (т. е. — пурпур, введенный в лазурь, или в белый, сквозящий зацветным); и выходило: в оттенке, пленившем А. А., — величайший соблазн, удаляющий от Лика Христа; пока А. А. тихо, взволнованно пересказывал мне восприятие этого темно-лилового цвета, я чувствовал нехорошо

---

* Смотри статью: «Священные цвета».[183]

себя: точно поставили в комнату полную углей жаровню; угар я почувствовал; то угар Люцифера; «*пасть ночи*»,[184] которая мне распахнулась однажды от разговора с А. А. на лугу, я увидел вторично; увидел А. А., уходящим в глубокую ночь; знал: ответить ему не могу, потому что А. А. — не поверит, обидится; я ответил:

— «Да, в этом лиловом оттенке — предел утонченности, но нет — Лика...»

— «Что ж... ничего: хорошо».

И отсаживаясь от меня, поднимал свою голову, выпуская задорно струю синеватого дыма, синел в протабаченной комнате; и поглядывал из-за тихости — *тем, вторым взглядом*: не тихим, сомнительным; будто какое-то «ххх», или «хха» появлялось в выражении носа его; и как будто *ирония* пряталась: «Что — ничего: все — игра; ничего нет серьезного».

Но дымок папиросы рассеивался: и А. А. сидел рядом, помаргивал с «*добростью*» он.

Становилося душно; А. А. воспринимал прежде черное, как страшное, смертное, чего он боялся; теперь в эту «*смертную ночь*» эстетически он опустил три священные краски (лазурь, пурпур, белость), смешав их со тьмою; и это смешенье — темно-лиловый оттенок, фиалковый, люциферический запах; так откровенностью со мною А. А. — был раздавлен; а он — он не видел моих тайных мыслей: испуга за Блока, ведомого в «*темнолиловую*» ночь из слепительной розово-золотой атмосферы; тут он прочитал мне «*Ночную Фиалку*» свою в неотделанном виде; он выразил в ней переживанье «*лилового*» цвета и новых узнаний, соединенных с «*лиловым*»:

...небо, устав прикрывать
Поступки и мысли сограждан моих,
Упало в болото.

Да, именно, упадение «*неба*» в болото, покрывшее все, — знаменовал этот темный, фиалковый цвет.

Город покинув,
Я медленно шел по уклону
Мало застроенной улицы.[185]

Воспринимал я уход А. А. в сети «*болот*»; все начало «*Нечаянной Радости*» протекает в *болотах*: «*Вот — сидим с тобой на мху по-*

среди болот...», «*Зачумленный сон воды — ржавчина волны*», «*Окрестности мхами завалены*», «*Попик болотный виднеется*», «*Не бойся пучины тряской*», «*Полюби эту вечность болот*», «*Мне болотная схима — желанный покой*», «*В этих впадинах тихая дремлет вода*», «*Знаю, ведаю... старину озаренных болот*», «*Болото — глубокая впадина огромного ока земли*», «*Пробегает зеленая искра, чтобы погаснуть в болоте*», «*Это шутит над вами болото. Это манит вас темная сила*» и т. д.

Опустилась дорога,
И не стало видно строений,
На болоте, от кочки до кочки
Над стоячей и ржавой водой
Перекинуты мостики были,
И тропинка вилась...

(Ночная Фиалка).

Куда же вилась?

И тропинка вилась
Сквозь лилово-зеленые сумерки...

Эти лилово-зеленые сумерки — всасыванье в болото упавшего неба; падение *неба* в болото для Блока казалось мне ужасом. Как не воспринял он «*ужас*»?

И недаром все было спокойно
И торжественной встречей полно.

Встречей — с кем, или — с чем?

Ведь никто не слыхал никогда
От родителей смертных,
От наставников школьных...
Что такой же бродяга, как я...
Может видеть лилово-зеленый цветок,
Что зовется Ночною Фиалкой
. . . .
И запомнилось мне,
Что в избе этой низкой
Веял сладкий дурман,

Оттого, что болотная дрема
За плечами моими текла,
Оттого, что пронизан был воздух
Зацветаньем Фиалки Ночной.

И далее:

И сижу на болоте.
Над болотом цветет,
Не старея, не зная измены,
Мой лиловый цветок,
Что зову я — Ночною Фиалкой.[186]

В этих выдержках — экспозиция *лилового цвета*, который для Блока в то время эмблема узнаний, окрасивших розово-золотую зарю в новый цвет:

Фиолетовый запад гнетет...[187]

И от этого:

Далеко — глубоко —
Лиловые скаты оврага.[188]

Что же таится, как образ, в *лиловом, фиалковом* цвете? Становится образом он «*некрасивой девушки*», которая «*пряжу пряла*».

И еще я, наверное, знаю,
Что когда-то уж видел ее,
И была она, может быть, краше
И, пожалуй, стройней и моложе...[189]

Она есть та самая, о которой когда-то сказал он:

Царевне так томно и сладко —
Царевна — Невеста, что лампадка.
. . . .
Поклонись, царица, Царевне,
Царевне золотокудрой.[190]

Царевна теперь — постарела и подурнела:

Некрасивая девушка
С неприметным лицом...
И еще я, наверное, знаю,
Что когда-то уж видел ее.[191]

Еще бы не видеть!

Приходила Ты в дальние залы,
Величава, тиха и строга.
Я носил за Тобой покрывало
И смотрел на Твои жемчуга.[192]

«*Некрасивая девушка*» оказалась теперь не в дворце, а в избе; там собрались заснувшие короли, засыпающие над кружками; там старик со старухой; а «*Некрасивая девушка*» оказывается — королевной.

Королевна забытой страны,
Что зовется Ночною Фиалкой.[193]

Забытая сторона — страна зорь; обитатели — аргонавты: их звал он когда-то:

И полны заветной дрожью
Долгожданных лет,
Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.[194]

Теперь они спят — вечным сном:

Кто, к щиту прислонясь,
Увязил долговязую шпору
Под скамьей;
Кто свой шлем уронил, — и у шлема
Пробивается бледная травка,
Обреченная жить без весны...

Под журчанием веретена или Вечного Возвращенья — заснули:

И проходят, быть может, мгновенья,
А быть может, — столетья...
. . . .

Вот сосед мой склонился на кружку,
Тихо брякнули руки,
И приникла к скамье голова.
Вот рассыпался меч, дребезжа.
Щит упал. Из-под шлема
Побежала веселая мышка...

Разложение прежней страны возникает отчетливо; что случилось, какое отчаянное, невероятное горе стряслось? Но А. А. называет то горе страною *лилово-зеленых* дурманов — Нечаянной Радостью:

Так заветная прялка прядет
Сон живой и мгновенный,
Что нечаянно Радость придет
И пребудет она совершенной.
А Ночная Фиалка цветет.[195]

Ночная Фиалка, иль восприятие *лилового* цвета — вызревающий лейтмотив того времени для А. А.; и из этого лейтмотива рождается Ночь, им написанная:

В длинном, черном одеяньи,
В сонме черных колесниц,
В бледно-фосфорном сияньи —
Ночь плывет путем цариц.
. . . .
Кто Ты, зельями ночными
Опоившая меня?
Кто Ты, Женственное Имя
В нимбе красного огня?[196]

Люцифер!

Очень долго сидели с А. А. на диване в ту ночь; он — читал мне набросанную «*Ночную Фиалку*», взволнованно посвящая в свои восприятия *лилового* цвета; а мне было душно; срывалось с души:

Кто Ты, зельями ночными
Опоившая меня?

Но спасать А. А. было мне трудно, почти невозможно: я помнил, что опыт спасенья А. А. со стороны С. М. Соловьева окончился стро-

ками той же поэмы, в которых, конечно же, отразилось все Шахматово, — разрыв человеческих отношений:

...Он исчез за углом,
Нахлобучив картуз,
И оставил меня одного
(Чем я был несказанно доволен,
Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей).[197]

Долго мы просидели вдвоем; наклонил низко голову; и наклон головы, нос поставленный, выражали растерянное, недоуменное «*ххх*», или «*хххa*»: смесь *иронии*, утверждающей, «*что ж, — все игра*», с беспредметным испугом слепца, раскаряченного и восседающего не на кресле, а на кочке, пребирающего не складки рубашки, а треснутую бандуру.

И — вот он сказал:

— «Ну, пойдем теперь к маме и к Любе».

И тихо вернулись мы к чаю; молчал: впечатление узнанного давило; Л. Д. с Александрой Андреевной посматривали на нас; они знали: нельзя нас расспрашивать о разговоре вдвоем; было грустно и душно; и я поскорее ушел. А. А. так-таки ничего не заметил; тяжелое впечатление вызвал мне он знакомством с *лиловой тайной*.

В то время я часто встречал у А. А. молодого студентика; он мне нравился; мы поспорили раз за столом о естественных принципах формы в эстетике; брат Л. Д., молодой Менделеев, присутствовал, помню, при этом; к студентику, кажется, Блок относился с особой доверчивостью; он поглядывал на студентика с тихой лаской, ободряя его и глазами, и жестами; а студентик, прескромный, из скромности все хорохорился, напоминая цыпленка, клюющего руку, поставившую его на ладонь и теперь зацепляющую цыпленка за клювик дразнящим, мелькающим пальцем; мне думалось:

— «Тихий и скромный цыпленок; а, вот, — хорохорится: тихий и скромный цыпленок — задорный цыпленок».

Не знал, что «*цыпленок*» уж пишет стихи; и не знал, что он чувствует себя не цыпленком — орленком; то был Городецкий; через несколько месяцев он прогремел; А. А. первый о нем написал, в нем отметил талант очень крупный;[198] я слышал все чаще от Блока об Е. П. Иванове, замечательном человеке, по мнению Блока; и Александра Андреевна присоединилася к сыну; не помню, встречал ли у Блоков его в это вре-

мя; встречался наверное у Мережковских; там звали Иванова «*рыжаком*»; Е. П. скоро стал другом А. А. Про него много раз А. А. строго говаривал:

— «Знаешь что, — он совсем удивительный: сильный и с опытом...»

— «Нет, он не то, что другие».

— «Совсем настоящий».

Мне помнится, что А. А. очень часто впоследствии в трудных минутах своих обращался к Е. П. за советом. В эпоху, когда мы почти расходились, А. А. обращался ко мне:

— «Ты спроси-ка Евгения Павловича: он — тебе скажет».

Или:

— «А вот — погоди: — вот придет Иванов, Евгений Павлович, — рассудит, как надо».

Не раз замечал я тенденцию у А. А. в очень трудных, запутанных отношениях между нами подставить Е. П., как третейского между нами судью; и за это a priori на Е. П. надувался я (несправедливо, конечно). Впоследствии я Е. П. оценил, как действительно одного из немногих, кто подлинно был символистом, не написав ничего, вместе с тем, — неприметно участвуя всюду, в глубинных истоках, рождающих внутреннее устремление жизни. На похоронах у А. А. подошел я к Е. П., пожал ему руку; он плакал; махнул он рукою:

— «Ушел... Мы — осталися тут; а для чего — догнивать?»

Дружба Блока с Е. П. обнимает года.[199]

Видывал, кажется, я у Блоков Владимира Алексеевича Пяста (во всяком же случае, — видывал у Мережковского его); очень скоро потом мы встречались у Блоков не раз; В. А. Пяст — тоже был А. А. близок, как близок был, кажется, брат Владимира Гиппиуса, написавшего поэму в 16 песнях.[200]

В то время как раз начинается более тесное соприкосновение А. А. с Вячеславом Ивановым, — через меня (я в эпоху союза А. А. с В. Ивановым и Чулковым, направленным против московских «*Весов*», очень часто досадовал, что впервые их свел, ведь вот свел — на шею себе).[201]

В. Иванов тогда только въехал, ознакомляяся с петербуржцами; появлялася всюду золоторунная его голова[202] с очень малыми, едкими, зеленоватыми глазками, с белольняной бородкой и красным безбровым лоснящимся лбом; очень вежливо обволакивал он собеседника удивительным пониманием всякого, необыкновенной начитанностью, которую он умел мягко стлать собеседнику под ноги; часто казалось, что он за-

плетает идейную паутину, соединяя несоединимых людей и очаровывая их всех; я бывал у Иванова; он тогда поселился почти над Таврическим старым дворцом (Государственной Думой впоследствии); и квартира его располагалася в выступе дома, высоко под крышею; этот выступ прозвали впоследствии «*башнею*»;[203] обстановка квартиры (старинные итальянские кресла и книги, ковры) располагали к фантастике; сам В. Иванов с супругою, покойной Зиновьевой-Аннибал, представляли собою редчайшее соединение ума, добродушия, экстравагантности; ощущалось, что скоро квартира Иванова явится умственным центром, оспаривая дом Мурузи и розановские воскресения.

Я точно не помню, когда начались те собрания, которые положили начало «*Ивановским Средам*», оставившим след в литературе новейшего времени: в ноябре—декабре 1905 года, или же в феврале 1906-го. Но мне кажется — в ноябре—декабре, я — присутствовал на первом собрании.[204]

Мережковские, помню я, не особенно-то охотно смотрели на то, что я часто бывал у Иванова; З. Н. удивлялася, что мы перешли с ним на «*ты*»; раз в присутствии Вячеслава Иванова, церемонно явившегося к Мережковским и певшего в нос витиеватые фразы, с дрожащим пенсне на носу (он рассеянно споткнулся, задевши ногою о мягкий ковер), — раз в присутствии В. Иванова З. Н. Гиппиус так-таки брякнула мне:

— «Удивляюсь я, почему, Боря, вы говорите вдруг „*ты*" Вячеславу Ивановичу; он — почтеннейший человек и притом — старше вас».

Это ею было сказано для того, чтоб кольнуть В. Иванова — возрастом: Феоретик, рассеянный немецкий профессор, а — крутится с декадентскою молодежью! В. И., покрасневши, как рак, фистулой на меня, закричал:

— «Я не знаю... Быть может, ты против того, чтобы мы обращались друг к другу на „*ты*"!»

Я, конечно, сконфуженный совершенной бестактностью Гиппиус, бросился уверять В. Иванова в том, что мне было бы больно опять перейти с ним на «*вы*». В этой выходке З. Н. сказывалась удивительная любовь: перессорить, где можно, людей; и — поставить в неловкое положение их; к В. Иванову в то время Д. С. и З. Н. относились с откровеннейшим недоверием; не оценили они в нем крупнейшего утонченнейшего человека; и все им казалось, что он лишь проделывает карьеру идей (от абстрактности ихней казалось им это). В. И. только к нам в то время порой обращал раздраженные выкрики; помню, он мне говорил в то время:

— «Да неужели не видишь ты, что все это — ужаснейшая абстракция... Мережковский засел — в скорлупе: ничего он не видит...»

В. И. в наших частых беседах на башне таки посеял в мою душу сомнения в «*религиозных путях*» Мережковского; словом, я чувствовал: «*башня*» с Таврической воздвигалася твердою цитаделью, с которой намеревались обстреливать дом на Литейном.

Чем чаще бывал у Иванова я, тем я более примирялся с той кажущеюся, назойливой вкрадчивостью, с которою подходил он к любому писателю, журналисту, поэту, пленяя и полоняя его; вспоминалося мне, как явился в Москве он ко мне благой вестью: под перезвонами колоколов, в день весенний, пасхальный; в разрыве тогдашнего времени между традициями возрожденья и нами один он в себе сочетал всю неудержность наших исканий с проникновеннейшим уважением к старине.

Оказался терпимейшим, широчайшим, умнейшим (хотя очень слабым, подверженным легкомысленным увлечениям); да, только он мог быть очень действительным импульсатором нашей культуры; и он принимал чуть не с улицы — всех; никого не отпустит, бывало, без ласки, совета, вниманья; Бальмонт мне казался тогда корифеем, Блок — вещим сновидцем, завоевателем — Брюсов; Иванов казался интимнейшим исповедником мне: исповедовал он у себя в кабинете; и причащал всех дарами культуры; организаторский талант несомненно сказался в нем.

Думалось: дарования модернистов слагались в сектантских кружках; в кружке Брюсова — явно сектанили; у Мережковских вставал Аввакум, поднимая двуперстие; даже у нас, аргонавтов, был привкус сектантства.

Уединенно слагалась незабываемая фигура Иванова; не обмен живых мнений и не влияние личностей обусловило круг интересов его: прикосновением к старине, кропотливой работой в германских музеях себя превращал ученик величавого Моммсена, автор работы, написанной на изящной латыни,[205] из кропотливейшего исследователя в дерзновенного символиста; оригинальные взгляды Иванова крепли под сенью музеев; от изучения истории древности к филологии, к археологии, и отсюда к живейшему восприятию религиозного быта Эллады, к критической перепроверке прозрения Ницше на сущность трагедии, утверждающей правоту вагнерианства, — вот умственная парабола, им описанная; связал жизнь он стариннейших пелазгических культов с происхождением всякой религии; шаг — и работы Иванова ставят его в центре наших духовных исканий: и он проповедует; необходимое восставание *мифа* — в нас именно; провозглашает теорию он мифотворчества; и утверждает

мистерийный звук в биографии внутренней каждого символиста; меня поражало: то именно, что осталось навеки закрыто Д. С. Мережковскому в нас, то Иванов встречал с восхищением:

— «Это — прозрения нового мифа. То — звук Дионисова действа».

Провозглашая огромнейший кризис сознания, был он терпим: принимая путь веры, исследовал он этот путь; не глумился над чистым искусством (Д. С. Мережковский — глумился); его многострунная деятельность быстро стянула к нему: профессоров, религиозных философов, деятелей искусства, сектантов, поэтов; и дом его быстро стал центром; подготовлялися знаменитые «*Среды*» Иванова.

В. Иванову и Зиновьевой-Аннибал я рассказывал много и долго о Блоке, которого знали они очень мало, которых А. А. в то время дичился (ему представлялся Иванов отчаянным «*Феоретиком*», а дионисические тенденции его казались соблазном); в противоположность Д. С. — В. Иванов меня поражал удивительным пониманием моего отношения к Блоку и к музе его, ко всему, нас связавшему, и к «*атмосфере*» меж нами; то именно, что осмеивали во мне Мережковские — несказанность, невыразимость, молчание, — то Иванов подхватывал, запевая своим тонким голосом, точно смычком громкой скрипки, петушьим смычком; он похаживал предо мною, потряхивал белольняным руном завивающихся волос, оглашая пространство причудливой комнаты, треугольной какой-то:

— «В том — суть дионисического переживания: то, что вас связывает у Блоков, — мистерия»...

— «Надо теплить мистерии»...

— «Мы стоим пред зачатием нового Элевзиса!»[206]

И далее переходил он к теориям о новом театре, который уже очень скоро возникнет (и не на сцене, а в жизни интимной, возвышенной драматичностью).

Так В. Иванов высказывал величайшую чуткость к А. А. и ко мне.

Я частенько в то время передавал А. А. Блоку свое впечатление от Иванова; я утверждал изумительную проникновенность его; А. А. верил с трудом мне: препятствовала репутация В. Иванова, — репутация не поэта, а — «*Феоретика*»; и препятствовал вид: вид профессорский; но Л. Д. откликалась на мысли о новом театре мистерий, как раз соответствовавшие настроенью ее — создать пробу импровизации и найти внешний жест к безглагольному жесту; она увлекла А. А. в направлении этом.

Так в ней созревало в то время стремление к «*сцене*». А. А. — влекся к сцене; а я — я не видел, что это влечение к «*сцене*» — под-

мена: действительной ковки меча осознания нами загаданной жизненной драмы-мистерии, — только картонным мечом: аллегорической, только подмостковой жестикуляцией; неумелое введение Духа в конкретную жизнь заставляет сектантов «*радеть*»; неумелое же прикосновенье к мистерии самосознания коллектива ведет к декламации и к реторике; но в раденьи — мистерии нет; и мистерии нет в декламации.

Срыв зари, срыв живого конкретного действия в «*позу*», в аллегорическую невоплощенность «*пути*», знаменует как часто «*зуд*» к сцене.

А. А. и Л. Д. подготовил для встречи с Ивановым; встреча связалась с конкретною мыслию: создать коллектив (полустудию, полуобщину);[207] лишь немногие избранные должны были быть, по фантазии нашей, допущенными к коллективу; не помню, кому принадлежала идея; быть может, Л. Д.; А. А. — отозвался; Иванов, которому передал я затею, развил ее; а из всего вытекало: А. А. и В. И. должны были встретиться.

Знал ли я, что я встречей с Ивановым сам подготовил условия будущего раздора меж нами. Разрыв с Соловьевым, сближение с Ивановым Блока знаменовало (потом осознал это я) — отступленье от «*зорь*»; да, поступок С. М. Соловьева, уход за «*звездою*» в леса (с риском кануть в болотном окне) есть жест жизни мистерии — собственно; это — движенье души, выражающееся в обряде творимом, как в ясном вполне непосредственном вздохе; а отношение к Л. Д. Блок, как к конкретному символу солнечной ясности, — действенное воссоздание частности элевзинской мистерии; это все Блоков панически отпугало и отшатнуло от нас. Теоретические ж рассужденья Иванова о реформе театра, в которую предполагалось влить жесты запевшей души, присыпая их гримами, пылью кулис, — рассуждения не отшатнули: влекли.

Привлечением этим к театру «*зари*» — убивалась заря, подменяясь малярною кистью, которою мазались коленкоровые горизонты, изображавшие «*зори*». Естественно: вместо «*невесты*» живой вырезалась — «*невеста картонная*».[208]

Я повез В. Иванова к Блокам; и сидя в санях, созерцая фигуру В. И., чрезвычайно сутулую и закутанную в огромную шубу, с дрожащим «*пенсне*» на носу, я подумал: А. А. и Л. Д. испугаются — «*профессорствования*»; и разговор — оборвется; но — он не сорвался: золоторунная голова Вячеслава Иванова, помню, уютнейше появилась в передней у Блоков; стряхнувши снега, В. Иванов снимал косолапо

большущую шубу, в которой он выглядел просто попом еретической секты какой-нибудь; Блоки с приветным почтением встретили гостя; встречают так «*батюшку*».

В светлой оранжевой чистой столовой впиваясь взглядом своим то в того, то в другого, и потирая преласково руки, Иванов принялся хитрейше подкрадываться словами к интимнейшей теме театра, который, из слов выяснилось — «*театр — не театр*»; и не то, чтобы трапеза, а, ну скажем... И — далее; он чудодейственно мягкую так заплетал паутину идей.

Установлено было, что хорошо бы нам изредка собираться в интимном кружке, подбирая лишь тех, кто способен без слов уловить ритмы веющих отношений душевных.

— «А что будем делать мы?»

Выяснилось: то, что встанет из ритма, оно — продиктует. И выяснилось еще: в неоформляемом будущем действии, напоминающем «— — —», необходим очень строгий подбор всех участников, чтобы доверие, полное, друг ко другу не нарушалось нигде.

Тут Л. Д. осторожно спросила, не будет ли нарушением атмосферы интимности вид обыденной одежды. Иванов ее подхватил и завел деликатные речи о том, что пурпурный оттенок весьма характерен для всякого Дионисова действа, что *бакхии*[209] подойдут к свету пурпура. Но — не решили: остаться ль в обычных одеждах, иль — нет.

Разумеется, В. Иванов пленил очень Блоков; Л. Д. подчинялась душевно словам о пурпурных цветах для одежд и о зелененьких «*бакхах*»; решили: стараться осуществить «*коллектив*»; В. Иванов упомянул о Чулкове, как о чуткой душе, нас способной понять; и — включили Чулкова.

Потом от Л. Д. слышал жаркое восхваление по адресу Вячеслава Иванова; в ней он, вероятно, задел очень внутренние ноты. Во мне посещение это оставило двойственный след; все, что было словесно меж нами, к тому я придраться не мог; все ж во мне оставалося: *какое-то эдакое такое: свое.*

Так складывалась группировка людей, из которой возникли впоследствии «*Факелы*», «*Оры*»; Чулков заговаривал о мистическом анархизме, которого выразителями первоначально считал он А. А., Вячеслава и меня; он — во мне обманулся позднее: через год я открыл из «*Весов*» канонаду; пока — раздавалось лишь слово «*мистический анархизм*»; слово — нравилось.[210]

Первое собрание (не «*коллектива*», а будущих «*сред*») состоялось, как кажется, в то время (быть может, — позднее) на башне, куда я за-

вел неожиданно для себя староколенного человека, П. В. Безобразова, страдавшего боязнью пространства и просившего меня подниматься по лестнице вместе.

Попал он случайно, как помнится, завозя из Швейцарии поклоны какие-то от кого-то.

Но, конечно, В. И., запев в нос, потирая почтительно руки, потрясывая пенсне, принялся очаровывать благодушного Павла Владимировича, не понимавшего ничего в «*декадентах*» и покрякивавшего на стороне где-нибудь:

— «Кхэ, кхэ, кхэ; ничего не пойму».

Ну, конечно, Иванов пустился пленять Безобразова:

— «Чрезвычайно польщен посещением... Вы здесь старший средь нас. Господа, предлагаю я Павла Владимировича председателем нашей беседы...»

— «Кхэ, — кхэ — кхэ: но ведь я — сторона тут».

И все же, польщенный, он согласился быть председателем беседы — импровизации на тему «*любовь*», — заложил первый камень фундамента «*сред*»;[211] если память не изменяет, на этом собраньи присутствовали: Мережковский с женою, Бердяев с женою, В. Розанов, П. Безобразов, Иванов с женою, А. А.; кто еще — не помню (Г. И. Чулков, может быть); помню я, что о любви говорили: Иванов, Бердяев, я, Л. Ю. Бердяева; говорил ли Д. С. Мережковский — не помню; молчал В. В. Розанов; этот последний ко мне подошел после речи моей (кажется, я говорил о трех фазах любви: любви к Богу, к Ней, к людям; и называл эти фазы — любовью по чину *один, два, три*); подошел В. В. Розанов и спросил:

— «А скажите, — наверное не переживали того, о чем только что говорили».

Спросил его:

— «Почему вы так думаете?»

Он — настаивал:

— «Если бы вы пережили хоть часть из того, что сказали, вы были бы — гений...»

И приговаривал он, поплевывая словами:

— «Не переживали, конечно...»

— «Признайтесь?»

А. А. сидел в далеком углу, прислонив свою голову к стене, откинувшись, очень внимательно слушая, с полуулыбкой; когда обратились к нему, чтоб и он нам сказал что-нибудь, он ответил, что говорить не умеет, но что охотно он прочитает свое стихотворение: и прочел он

«*Влюбленность*»; он был в этот вечер в ударе; уверенно, громко, с высоко закинутой головою бросал в нас строками:

> Влюбленность! Ты строже Судьбы,
> Повелительней древних законов отцов!
> Слаще звука военной трубы!..[212]

. . . .

Я — собирался в Москву; даже, кажется, куплен билет был; и — кажется, даже простился я с Блоками; словом — уехал; как вдруг — железнодорожная забастовка; восстанье в Москве.[213] Каждое мое передвижение от Блоков — сопровождалось сюрпризом: убийство фон Плеве, убийство великого князя, восстание на броненосце «*Потемкин*», восстание в Москве.

Мы прислушивались лихорадочно к слухам; и общее впечатление было — провал; мне казалося: на восстание Петербург не откликнулся; сразу же принялись осуждать образ действия восставших; везде говорилось, что — срыв, что восстание знаменует собою: явнейший провал; удивлялись, как может держаться ничтожная кучка восставших; Москва же — держалась; отправили Мина;[214] мне тон Петербурга по отношению к событиям, протекавшим в Москве, показался почти неприличным. И вот пришли вести, что Пресня горит.

Тут приехал Владимиров из Москвы; и зашел к Мережковским; пошли мы с ним к Палкину; красные неаполитанцы струнили.

— «Послушайте, — вдруг воскликнул Владимиров, — я почти не могу это видеть: смотрите-ка: *красные* неаполитанцы... у нас там — кровь, зарево. Красное... Тут — неаполитанцы... Какое-то издевательство, право».

Принялся подробно рассказывать о событиях дней; я узнал, что Арбат (наша улица) — вся в баррикадах была; их расстреливали из орудий; у самого нашего дома расстреливали баррикаду; а мама и тетя должны были наскоро перебраться в танеевский дом,[215] потому что наш дом был сперва под обстрелом.

Узнал я впервые о том, что росли, как грибы, баррикады; московское население сочувствовало дружинникам; сочувствовала и часть гарнизона.

Я понял размеры восстанья. Но большинство из тех лиц, с кем встречался, всем видом своим утверждали:

— «Провал».

— «Провокация...»

— «Надо было бы их удержать».

— «Ну — теперь пролетело все прахом».

Опять подивился я перемене общественного настроения здесь, происшедшего за год; тогда — все кипело; теперь — все угрюмо застыло в какой-то мещанской боязни; и — с явной брезгливостью.

Все пытался уехать, одни говорили, что можно проехать; другие, что — нет; говорили об обысках всех пассажиров; и о расстрелах; я вынужден был передать свой бульдог А. А. Блоку. И Ф. Ф. Кублицкий, его разряжая, пришел к убеждению: если бы из него я попробовал выстрелить, он — разорвался бы; дуло его было сором залеплено.

С первыми поездами уехал;[216] простились мы бодро; А. А. мне сказал:

— «Переезжай-ка совсем к нам сюда...»

И Л. Д. подтвердила:

— «Скорее приезжайте; нам будет всем весело».

НА ПЕРЕВАЛЕ

Вернувшись в Москву, я застал настроенье разгрома; на многих улицах не было телеграфных столбов, в дни восстания поваленных для баррикад; их сжигали повсюду, и оттого снег повсюду на улицах темный был, смешиваяся с золою и с пеплом; повсюду на улицах попадались шинели угрюмо стоявших солдат и мохнатые шапки ободранных, нагло глядящих казаков; с восьми запрещалось ходить; начинались повальные обыски; грубо с ругательством отбирались на улице деньги, часы; люди схватывались и откупалися от расстрела деньгами; озлобленность и измученность — вот впечатление от Москвы.

Злость и бешенство переполняли весь воздух и осаждались истерикой; точно волки, оглядывали друг друга на улицах; беспредметный прилив жгучей злобы в себе ощутил. Эллис был в совершенной истерике; он ходил с раззеленым лицом и с зеленою лысиной; было вписано в воздухе, что все кончено, кончено.

Собирались друг к другу: бывали у Эллиса, Астрова, у меня, у С. М. Соловьева; и почему-то в то именно время припоминается мне посещение аргонавтами танеевских вторников.[217] Сам Танеев жил в маленьком особнячке, на углу Гагаринского переулка; он принимал с 3 и до 7—8 вечера. Мы ходили сюда (Эллис, Батюшков, Эртель, я, Со-

ловьев); и не знаю, что нас привлекало в Танееве; может быть, доброта его, детский смех и любовь к молодежи; в нем было соединение простоты и культурности; он несравненно был шире сколь многих; нет, не был он замкнутым музыкантом, интересуяся многими сферами истории культуры, искусства.

Вот, бывало, — звонишься к нему: отворяет дверь толстая его нянюшка, Варвара Павловна, изучившая вкусы Танеева и известная всем музыкантам; и слышишь из смежной малюсенькой комнаты громкий звук голоса добродушнейшего Сергея Ивановича: не то смех, не то плач; появлялась в дверях его полная и рассеянная фигура с большой бородою, с краснеющим носом — в пенсне с широчайшею черною лентою.

— «А, вот, пожалуйста... А, скажите пожалуйста, что это там написал Мережковский... А? Я ничего не пойму... Ха-ха-ха-а...»

И уже раздавался плаксивый, уничтожительный, подмывающий смех; и ты тотчас введен в разговор: ты уж споришь:

— «Да, нет позвольте, Сергей Иванович, — нет, погодите...»

Танеев же — плачет; и — начинает на все истекать он остротами; всем достается; но как-то не очень обидно; легко с ним; бывало, войдешь ты в азарт; опровергаешь шутливо высказываемое положение данными логики, иль материалом истории, смотришь, — Танеев внимает: сидит пред тобою, весь выпрямившись, выпятив свой довольно почтенный живот, упираясь руками в колени, склонив набок голову; и морщина внимательного напряжения перерезывает большой его лоб; он — прислушивается; он — считается с доводом.

Знали: под флагом насмешки и шутки (всегда необидных) он ставил порой пресурьезно вопросы нам; и — начинал неожиданно соглашаться; ведь вот: называл чудаками, а — слушал, притягивал нас; к нему хаживал Эллис читать переводы из новых поэтов; когда же Танеев хотел написать что-то в стиле программном, ища все сюжета, — остановился одно время на тексте «*Саула*» С. М. Соловьева;[218] интересуясь проблемами ритмики и углубляясь в структуру стиха, я тащил мои выводы С. И. Танееву, очень внимательно углублявшемуся в работы мои и дававшему ряд очень ценных советов.

В то время работал он над вопросами контрапункта;[219] и у него собиралися теоретики музыки; здесь я встречался с Яворским и с Л. Сабанеевым; из стариков бывал — Маслов.

Мы, бывало, сидим за уютным столом, а дородная, перекатывающаяся Варвара Павловна дирижирует вторником (с Варварой Павловной, кажется, был в очень дружеских отношениях Никиш); писал из Германии ей.

Обыкновенно сюда собиралися в пятом часу; и все ждали, что вечер закончится исполнением Баха; часов эдак в шесть переходили в малюсенький кабинетик; Танеев присаживался к роялю; игра начиналась: играл превосходно он.

Здесь он показывал мне партитуру боготворимого им Чайковского с разнообразнейшими заметками автора на полях (то была партитура известнейшей симфонии патетической).[220]

Но Москва мне мелькнула, как сон; я готовился к переезду. Ходил очень часто к Владимировым; В. В. собирался надолго уехать учиться в Художественную Академию, в Мюнхен; Владимирова я любил; был он близок воспоминанием о гимназических наших беседах, мечтаниях; университетские годы прошли мы с ним вместе; и после уже в его доме был вечный привал аргонавтов; сюда притекали: днем, утром и вечером; располагалися, как у себя; мать художника откликалась так чутко и молодо на все искания наши; с ней было так легко и свободно; покуривая, уютно выслушивала она, подстрекала к задору; в ней было так много революционного пафоса и живого негодования.

В этой квартире тогда проживал интереснейший человек, Н. М. Малафеев, самобытный, живой, очень много видавший, соединявший традиции народнической литературы с исканиями символистов; он был пламенный почитатель Успенского; и вместе с тем: понимал Метерлинка и Ибсена. Но к Достоевскому было в нем отношение опасения и подчас подозрения. Он во мне извлекал всегда ноты народничества; и сочувствовал перемене тональности стихотворений моих в направлении к темам «*Пепла*», подтрунивал над теософскими крайностями П. Н. Батюшкова; и — гремел против Эртеля. Помнится, — с ним в разговорах окрепла во мне откровенная нота брезгливости к психологической дрызготне, к «*достоевщине*»; я вспомнил определение Ольги Михайловны Соловьевой иных сторон творчества Достоевского: «Это — крест, весь обсиженный роем клопов». Малафеев поддерживал очень во мне настроение оппозиции по отношению к «*достоевщине*». Он явился действительным инспиратором моей статьи «*Достоевский и Ибсен*», тогда появившейся;[221] в ней я писал: «*Нужна решимость, чтобы, вооружившись долгом, медленным восхождением подойти вплотную к... видению. Легче пьяной ватагою повалить из кабачка на спасение человечества. А герои Достоевского часто так именно и поступали, вместо дома Божия попадая в дом... публичный*».*

* Арабески: стр. 95.[222]

Малафеев со мной соглашался; и одобрял точку зрения статьи. Но забыл я одно: на Литейном проспекте стоит дом Мурузи; и Дмитрий Сергеевич Мережковский живет в доме сем; он почувствовал кровное оскорбление; более: я предавал все их дело; и скоро ко мне на Арбат докатился меня уличающий рык Мережковского: всё за эту статью и за заметку «*Отцы и дети русского символизма*»,[223] в которой писал я: «*Мережковский ударил в набат, но когда бросились к нему, вдруг закрылся религиозно-общественными схемами. Религиозные методы наших учителей, преломленные в душах наших, я бы сказал, утончились. Многое мы видим сложнее, нежели наши учителя... Голосом наших учителей не рассеять тучи сомнений, нас опоясавших*».[224]

В этой заметке конкретно сказалося разочарование в пути, на который так звал Мережковский, к которому я так приблизился и который оставил меня в очень многом неутоленным. Д. С. написал мне прегрозно (обычно З. Н. распиналася письмами), Д. С. объявлял, что я предал их дело; в лице Достоевского я оскорбил «*нашу линию*»; в лице «*линии*» — оскорбил я грядущую Церковь Христову[225] (Д. С. в это время держал курс «*сознания*» — на Достоевского, а через несколько лет — стал держать на «*Толстого*»), встал в «*Мережковскую*» позу; «*Антихрист — Христос*», или «*с нами*», иль — «*против*»; «*не с нами*» — «*предательство*». Так, пошлепывая по паркету «*помпонными*» туфлями, он стремился всегда исторгать вопль раскаянья из груди очередного «*отпавшего*» брата (о, сколькие тут отпадали!); я знал: по приезде — «*достанется*» мне; и заранее был готов я склонить голову для получения «*нагоняя*» (любил я Д. С.); вся заметка моя выражала то именно, что отложилось во мне под влиянием разговоров у Блоков, у Вячеслава Иванова.

Должен сказать, что А. А. никогда не склонялся к Д. С.: был — уклончив, невнятен, «*невнятицу*» подставляя, как щит, от соблазов гностической атмосферы З. Н. «с папироской»; была тут решимость, или — «*глубинная мысль*», превращенная в твердое знание, — не принимать Мережковского; сказывалось упорство; всегда так: к чему он придет — придет твердо.

— «Ну, что вы?», — поблескивает на Блока глазами, бывало, Д. С.; в том «*что вы*» — непереносное превосходство, бахвальство какое-то «*мировыми идеями*» (а в конце концов побирушество малыми крохами стола от В. Розанова, Шеллинга, Гегеля, Ницше).

А. А., это чувствуя и снисходя к Мережковскому (разгуливающему по миру с стенками дома Мурузи и расставляющему в Париже, в Бер-

лине, в Константинополе стенки), конфузяся (за слепоту Мережковского), переминается ногами, бывало, перед ним; и отвечает какими-то надтреснутыми оттенками (не то носовыми, не то роговыми) вдруг ставшего неестественно твердым громчавшего голоса, готового вот-вот сорваться; оттенок такой в произношении слов появлялся в минуты, когда он задет был:

— «Да как-то... так себе, Дмитрий Сергеевич».

Чувствуется: разговора не может тут выйти; Д. С., такой маленький, с волосатой растительностью от щек, вдруг осклабясь и стоя с осклабленным ртом (точно хочет смеяться... вот-вот: и — не может), обводит нас выпученными глазами своими; и — торжествует, что может продемонстрировать всем присутствующим забавного «*зверя*»; но «*зверь*» это видит; и знает, что будет оглашено — с «*рыком*», и что потом огласится для ряда людей, что впоследствии войдет в том собрания сочинений Д. С.; и он — удаляется (порой на месяцы).

Мережковские недовольны:

— «Блок вот — пропал, не приходит, сидит бирюком с своим „*где-то*"... „*что-то*"... Разводит свою декаденщину».

В очень тактичном по отношению к Мережковским отходе (другой мог бы срезать Д. С.) А. А. сказалось упорство: не уступать Мережковским: а им уступали (хоть временно) все: я, Бердяев, А. В. Карташев, Эрн, Свенцицкий и Волжский; и — прочие.

Но натыкалися в Блоке на камень.

А. А. в моей жизни сыграл роль руки, отводящей решительно от Мережковского — не убеждением иль противлением моей близости, а пониманием (удивительным) склада души Д. С.; не критикуя его, А. А. Блок побеждал.

Годы, годы вопил Мережковский из кабинета, с Литейной, что нужно учиться писать ему так, чтобы все понимали, что учится, учится он; сколько нудных усилий затрачено было для популярности неудобоприемлемых и вздыбленных нарочито бескровнейших схем; сколько слышал я слов назидательных, обращенных к нам, бедненьким, косноязычным поэтам: «берите пример с меня — я учусь быть понятным» (А. А. никогда не писал для «*понятности*», не задумывался над проблемой понятности); а сравните теперь статьи Блока с томами Д. С.... Кто внятнее? Все — поняли Блока... А Мережковский со всеми усилиями обобществиться, — он выкинут обществом: в трудную минуту России, когда отовсюду из масс поднимались запросы, когда надо было (всем, всем) помогать, отбояриваться от механической мертвечины марксизма, где был Мережковский? Бежал за границу:[226] от большевиков

ли? Не от рабочих ли, не от крестьян ли, красноармейцев, матросов, протягивающих руки за хлебом духовным? Когда Котляревский, Иванов, Бальмонт, Кони, я и другие поэты из «*необщественников*» являлись (на митинги, в студии), чтобы поддерживать «*дух*» (только «*духом*» и жили тогда), — где же был Мережковский? Выглядывал он трусливо из кабинета на Сергиевской,[227] все боясь «*замарать*» свои чистые руки и запятнаться пред Бурцевым;[228] вот рабочие говорят: «Разъясните нам — правда ли, что сознание обусловлено мозгом?» И во «*Дворце Искусств*», в «*Академии Духовной Культуры*»,[229] в «*Вольфиле*», в аудитории Политехнического Музея в Москве, в Петербурге являются люди; и — говорят: «*Нет и нет*».

Появляются среди студий: расстрелянный Гумилев, старик Кони, читающие о русской литературе; нет, больше того: перед делом духовной культуры, которая хлеб насущный России теперешней, забываются политические разногласия (ах, не до них, когда всюду разносится вопль: «Хлеба, хлеба духовного»).

А Мережковский, выпучивая испуганные глаза на Париж (там, оттуда с подзорной трубой поднимается Бурцев), на увещания «*дайте же для рабочих хоть что-нибудь*» (а рабочие просят: «*Не про политику нам, а про... Гоголя бы*»), Мережковский испуганно прячется:

— «Знаете, я не умею: меня не поймут».

Так сбежав от чудеснейшей аудитории с расширенным сердцем (— «Теперь аплодирует Бурцев в Париже...»), идет за дровами в... *Петросовет*, уберегая «*полиелеи*» из слов от духовных запросов кипящей России для умащения главы... провозглашенного Мессией Пилсудского, развеивающего знамя вражды с «*москалями*»;[230] а Гиппиус, накопившая в трудные месяцы не закаленность духовную, а «*ехиднину злость*», начинает оплевывать русских писателей за чертою советской России, попав за черту; да, могу сказать: вот так общественность!

И невольно теперь соглашаешься с Блоком, который в те годы еще в Мережковском отчетливо разглядел это все; «*белоручка*» и «*зябкий*»; и — все этим сказано: щупленький, маленький, лучше всего рассуждающий в туфлях с «*помпонами*»; менее удачно на диспутах (перепутывая все мысли противников — глух): рассуждающий много, когда не мешало бы помолчать; и молчащий *тихонько*, когда произнесенное слово (хотя бы одно) — религиозное, нужное действие.

— «*Белоручка и зябкий*», — так раз мне А. А. определил Мережковского (кажется — на прогулке): все сказано. Я стал присматриваться: да, белоручка, — придет кто-нибудь:

— «Зина, ты уж поговори, — мне же надо засесть за „*Петра*"».

И З. Н. — «*отдувается*»; посетитель «*обделан*»; тогда появляется Д. С. — с «*рыком*» и с «*гласом*».

— «Мы — ваши; вы — наши».

Все это провидел в нем Блок.

В этих мыслях о Мережковских я жил; я готовился к переезду; казалось мне — мы с А. А., с Вячеславом Ивановым можем подготовлять — наше действие; *мистерию человеческих отношений* под скромной личиной: интимного, театрального действия. Любовь Дмитриевна мне писала в то время: «Скорей приезжайте: за ваше отсутствие написал Саша драму; она называется „*Балаганчик*": хороший он...»[231]

. . . .

Здесь своевременно сделать мне паузу; первая часть моей книги закончена: в ней обнимается первый период в истории самосознания символизма, который бы назвал периодом зорь я. Преувеличенные ожидания, максимализм и стремление воплотить максимальные лозунги характеризуют период тот; и — параллельно: в нем Блок перед нами встает в очень многом ином, чем потом; в поэтической биографии А. А. Блока эпоха та озаглавлена: *от* зари к «*Балаганчику*», от мистерии — только к театру, от веры к... иронии; сам «*Балаганчик*» — глубокое порожденье иронии, подготовляемое рядом стихийных причин.

Через два уже года, в эпоху, когда А. А. Блок уже чувствует веяние того страшного мира, в который России вступить суждено, пишет он об иронии, как о чем-то *глубоко* знакомом ему: «*Самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой врачам. Эта болезнь... может быть названа „иронией"... все равно для них... Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба... И все мы, современные поэты, у очага страшной заразы... Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейне: „Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо..."*»* Сущность иронии была постигнута им; чем призывнее голос его звучал в годы зари о возможной мистерии, преображении мира, чем более в нем есть позывы основываться на выводах теософии Соловьева, тем более бьет он отбой с тех позиций, — поэтом; смех Владимира Соловьева, беззлобный и детский, теперь ему кажется лишь ироническим смехом: «*Много ли мы знаем и видим примеров созидающего... смеха, о котором говорил Владимир Соловьев, увы — ...сам зараженный болезнью безумного смеха...*»**

---

* Собрание сочинений Александра Блока. Том седьмой, стр. 107—112.[232]

** Ibidem: стр. 108.[233]

Причина ироний — некий толчок, очень больно отбрасывающий А. А. от былых устремлений к *заре*; шли к заре; на заре увидели мистерию человеческих отношений; пустились ее воплощать; получился — гротеск. Тот гротеск от невольного преткновения; *преткновение* — грань меж мирами (духовным и этими); не найдены двери к работе сознания: трезвой, упорной, медлительной; необходимость ее была всеми опущена; и оттого: неизбежная намечалась подмена тончайшего ритма духовного — импровизацией непластичной души, иль «— — —»; и от нее (чрез мечты об интимном театре) — естественное преткновение о кулисы, кулисную пыль, где все вещи невидимые суть картонные изобретения, где и Невеста — картон; и отсюда возник «*Балаганчик*».

Уже смутно чувствовал я, что «*зарею*» одной — не прожить, что мистерия человеческих отношений не так-то проста; нужный ритм не дается одним эстетическим тактом; он — следствие упражнений; проблема мистерии очень меня занимала; и даже я стал одно время захаживать в библиотеку Румянцевского Музея и рыться в литературе, затрагивающей вопрос о мистерии; многое стало мне внятно; но многое не понимал я, советуясь с В. Нилендером, близко стоящим к литературным источникам и умеющим мне порой освещать материалами текстов, им тщательно собранных, систематизированных и положенных в основу работы, которой конец убегал в тьму годин; постоянно я чувствовал, что к вопросам Нилендера не возникло еще соответственной литературы, что Лобеки, Вилламовицы и очень многие другие не понимают античных мистерий; вопрос о мистерии мне выдвигается — нет, не случайно; отчетливо я сознаю, что он связан, во-первых, с интимнейшими переживаниями «*зорь*», нами в прошлом увиденных; и во-вторых: с социальным вопросом; то самое, что развивал я в теории о путях, как «*чин третий*» пути, есть вопрос о строении внутреннем малой коммуны, иль клеточки ткани какого-то нового общества; понимал я, что здесь пересекаемы ритмы интимнейшей внутренней жизни, не облагаемые словами, с проблемою отношений людских; отношения могут естественно развиваться при соблюдении ритма лишь; соединение людей в коллектив невозможно никак регулировать нормою; здесь протекает отбор: из мозаики личностей сотворяется творческий образ; здесь — тот, там — другой; это — целое всех отношений, иль правило общины: в той — одно, в той — другое; его нарушенье — вопрос не греха, не вины, а глубокого нарушения ритма; в коммуне abcde личность «a» расширяема в комбинациях (ab, bac, abc, dca и т. д. и т. д.); жизнь ее связана с целым всех групп, в ней возможных, в архитектонике, в их перекрестности; нарушение ритма, «a» пред «b», бьет и «a» (ибо в «ba» есть «a»); новый

строй представлялся градацией организованных группок, интимно подобранных, складывающих образ целого; образ зависел от внутренней жизни всех групп; реконструкция права, морали, эстетики, быта должна идти снизу: с развития ритма жизни в интимных коммунах, которые по отношенью друг к другу — живые монады; и к изучению этого ритма я волил; он есть ритм мистерии отношений, естественно развиваемой в группе; от творчества жизни средь близких зависит все будущее; а в развитии творчества — молния революции, наполняющей «*царство свободы*» (словесно такое пустое) реальнейшим содержанием; революция политическая и социальная — только начало пути; это выразил скоро в абзаце статьи я «*Феникс*», мной написанной около этого времени:

«*Перед нами развертывается серия учений, подчиняющих жизнь общества государственным законам, а также ряд попыток освободиться от государства. Эволюция государственных воззрений... ведет нас к циклу учений, объединенных наименованием социализма... Социализм — последнее звено в развитии идеи государственной... Только с ним и приходится серьезно считаться... Вот почему, независимо от своего отношения к государственным воззрениям на общество, мы призываем всех под знамя социализма в борьбе государственных учений друг с другом. Но, сочувствуя социализму, мы в то же время оставляем за собой право нанести ему смертельный удар в день, когда он восторжествует*».*

Социальная революция есть сметение океаном стихий упадающих континентов; духовная революция — приподнятие новой земли; приподнятие — в ковке интимнейших отношений, выращиваемых в атмосфере мистерий отдельных коммун.

Там, где двое сближаются, — нет настоящего общества (есть только пара, семья); отношение между «a» и меж «b» нарисует лишь линию соединений; но линия не есть плоскость развития общества; только когда среди «a» и средь «b» появляется «c», то протянутость a, b, с друг ко другу, насыщенность связей, рисует фигуру; и то — треугольник; вступленье «*четвертого*» члена (d) изменяет фигуру, иль целое, в крест и круг, иль в квадрат, перекрещенный диагональю; среди четырех изобразимых графически пунктов является *пятый*; то — пункт перекрещенности, объективируемый внелично, как *символ* совместного творчества (точка объединения); и она — рудимент сотворяемого образа ритма («*закона*» коммуны); то «Я» жизни целого, новое существо, су-

---

* Арабески, стр. 150.[234]

щество атмосферы, встающее вдруг среди всех («*Там Я посреди всех*»); при вступлении пятого члена коммуны имеем графическое начертание образа целого в виде рисуемой пентаграммы, где средь пяти, протянувших друг к другу общение личностей, возникают пересечения (пять новых пунктов), рисующие фигуру (не точку) творимого целого (образ «*закона*»: действительность общества); мыслимо теперь провести линии отношения от a, b, c, d, e к новым пунктам, рисующие отношение, индивидуальное, к творимой действительности.

Можно представить себе в свою очередь пересечение внутри пунктов пересечений отношений; т. е. возможно безмерное разрастанье общественного организма, вполне зависимое от его слагающих элементов, или — жизнь организма коммуны, как «Я», совершенно отличное от «я» личных; и тем не менее с ними сплетенное; лишь в этом «Я» обретает себя целиком «Я» отдельных слагаемых; здесь вырастают из ритма чудесные образы яркой моральной фантазии вместо *законов* и *прав*; обязательность, государственное принуждение начинается там, где пять пунктов фигуры рассыпаны в точки; там — хаос; там лишь начинается неизбежное столкновение точек; там нужен закон.

Так духовная революция мыслилась мне как проблема естественной организации личностей, как сложение разнородных коммунных фигур, как зажжение фейерверков социального творчества внутри каждой.

И естественно мыслилось: я, Любовь Дмитриевна, Александр Александрович — группа; к нам тянется В. Иванов; в вопросе о новом театре под словом «*Театр*» разумеем фигуру сложения нас в организм, т. е. подлинную расстановку по месту цветов наших душ, чтобы вместе сложить гармонический спектр, меж которых слиянье цветов может вызвать ярчайшую вспышку чудесного *белого света — духовного света*; сошествие голубя над Граалем — в том именно.

Так проблема общественности (или путь *чина три*) мне мечтался сложением пересечением отношений: А. А. к Любовь Дмитриевне, к Вячеславу, ко мне; a, b, c, d дают бесконечные комбинации: ab, ac, ad, ba, ca, da, abc, bac, cba, abcd, bacd, bcad и т. д. Творческий веер душевных вибраций развертываем из вибраций слагаемых; и четыре вибрации в бесконечности дают вспышку целого или — духовного света.

«Commedia dell'arte» (о ней говорилось) — façon de parler:* она — высечение искры из *целого;* «*роль*» же каждого в ней, апеллирующая

* Манера высказываться (*фр.*).

к импровизации, — осознание каждого в ритме; на языке же общественном это есть то, что людьми именуется «организацией».

С этими мыслями я собирался с глубоким волнением в Питер — туда Блоки звали.[235]

Берлин. Март—апрель 1922.

〈Воспоминания о Блоке〉

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Ты в поля отошла без возврата»

БАЛАГАНЧИК

В феврале я — опять в Петербурге; за день до отъезда в Москве, у меня — аргонавты; меня провожают: как будто совсем уезжаю; тут — Эллис, Петровский, Сизовы, два брата, Владимиров, отъезжающий в Мюнхен, С. М. Соловьев, Поливанов, Н. М. Малафеев, М. Эртель, П. Батюшков, кто-то еще. Очень грустно: действительно, — точно простились; не помню, чтоб так собирались, — потом; мы — расстались; и — оказались в различных течениях; не было молодого задора, как прежде; у всех обнаружились — драмы; переживали и разделение «*Астровского*» кружка; С. М. Соловьев, Поливанов испытывали охлаждение к Астрову; да, мы прощались.

Приехавши в Питер, остановился на Караванной я, в меблированных комнатах, игнорируя Мережковских, которые не могли мне простить нападательный тон мой в «*Весах*». Петербургские устремления были связаны с Блоками; в первый же день по приезде увидел в окне магазина я куст пышной, бледнеющей, великолепной гортензии — голубой; послал ее Блокам; боялся: за эту посылку — «*влетит*»; не влетело; Л. Д. лишь сказала:

— «Такой не видала!»

Александра Андреевна посмеивалась:

— «Ну конечно должны были вы этот куст нам прислать».

— «Все как следует...»

— «И понятно: сердиться — за что?»...

Было холодно как-то в гостиной с зелеными креслами; куталась в красную тальмочку Александра Андреевна; сердце у ней расшалилось; она говорила:

— «Вы знаете, как припадок, так делается — не то: это — знаете?»

— «Знаю».

— «Так знайте же: это — от сердца...»

Впоследствии, в схватках невроза, я — понял, что чувствовала Александра Андреевна:

— «Все то, да — не то...»

Мне запомнились эти слова, потому что они выражали какую-то смутную мысль; эти белые стены, в которых сидели недавно с уютом — не те; и холодные: в комнатах — холодно; А. А. — тот же; и — нет: не декабрьский; и тоже поступок с гортензией; что нехорошего, — полюбилась гортензия; я и послал; вышло — как-то не так; Александра Андреевна, хваля мне гортензию, точно старается: оправдать; мне не раз говорила Л. Д., что во мне — вкусовые дефекты; и частое перечисление драгоценных камней в моих строчках не нравилось:

— «Саша не сделает таких промахов».

Раз же сказала она:

— «Посоветовала бы вам галстух носить другого оттенка; оттенок, который вы носите, как-то безвкусен...»

И вот я почувствовал, что посылка гортензии всех покоробила; но — пощадили; самолюбие — заговорило: замкнулся («не так меня встретили: не на *это* я бросил Москву...»).

— «Нет, не то!»

Я позволил себе аритмию вторую: прочел им статью мою о «*Трилогии*» Мережковского для «*Золотого Руна*», пожелавшего угодить Мережковскому, поручившего мне ее, как приверженцу;[1] эту статью написал архаически-риторическим стилем, где Гоголь и Карамзин проплелися стилем епископа Иллариона;[2] и вышла — безвкусица; я — ощутил ее в чтении; А. А. забавлялся:

— «Ну, думаю, Дмитрий Сергеевич стилистических упражнений — не поймет; и воспримет статью, как пародию... Сам ты их знаешь, такие они...»

Стало холодно; стал я высказывать мысли, сплетая с цветами; привел им градацию тусклостей, и Л. Д. поднялась; и — ушла; я не понял — зачем; — но обиделась явно; потом уже выйдя, сказала:

— «Ну что, — перестали ругаться?»

Действительно, в тусклой градации — отразилось во мне что-то, схожее с недовольством, я сам — не приметил; Л. Д. поняла: я ругался цветами. Прощался и увидел: ярчайшие апельсиновые оттенки зари.

Блоки скоро меня посетили; и снова — «*не то*»; и — неловкость; коснели в безвкусице номера — около столика; подали чай. А. А., де-

лая вид, что ему хорошо, — улыбался любезней; я сделался — словоохотливей, а Л. Д. — не любезней, чем надо; а косные стены стояли, нас гнали; и нам говорили:

— «Не то!»

Неудачился вечер; А. А. выпускал папиросный дымок и свой юмор: да, да, ждет меня распекание: «*Зина*» и «*Дима*» в присутствии «*Таты*» и «*Наты*» меня-таки да, — за статью.

— «Ты-ка, спрячься пока: не ходи! попадешься, — влетит», — говорил он, вставая, похаживал в стены, садился опять; и искорка юмора блекла; и взгляд становился далеким; и делалось вяло: и *серо-лиловая*, *серо-зеленая* атмосфера какая-то разливалась вокруг; принимался их потчевать сладкими пирожками, А. А. — улыбался:

— «Нет, лучше оставь: не умеешь...»

Так было в тот вечер; я ехал, переселялся, может быть, навсегда; и Л. Д., и А. А. вызывали меня; а приехав — увидел: *необходимости приезжать-то и не было*; тут в Петербурге — *их* жизнь; я — с Москвой; выходило: я здесь состою адъютантом каким-то; и Блоки, так звавшие, сами не знали, на что я теперь, осознав, что — не нужен, — испытывали недовольство собою (и — мною); как будто судьба моя попала им в руки; так тяжесть, которую вызывались нести, потому — что доверился зову; звать значило — к ним; а им было тяжко самим, углубились меж ними различия; было труднее им вместе; вплетение лишней судьбы — осложняло; чего-то во мне испугались; А. А. был под гнетом передавшимся: и — в заботах: экзамены (государственные) предстояли ему;[3] не до меня тут; а я появился; и — требовал точно чего-то.

Но суть не в экзаменах, а в желаньи А. А. отмахнуться от всех, с А. А. бывали периоды, переходящие просто в угрюмость; она развивалась в позднейших годах; для меня же отметилась только в этом периоде; периоды он убегал от людей; мне позднее случалося спрашивать:

— «Что Блок?»

— «Блок — мрачен: невидим...»

И иногда прибавляли:

— «Он — пьет».

. . . .

А. А. чувствовал: слом путей приближался: темно, безотрадность; *лиловый* оттенок, манивший его в *ноябре* — повел в ночь; стал — чернеть, обволакивая; щеголяние в пышностях цветовых он рассматривал маскарадом; доселе в быту он держался и милым, и светским, очаровательным через силу; раз я увидел его перепуганным, встрепанным:

в Шахматове. А теперь его кризис облек в постоянное выражение скорби и строгости, воспринимаемое глухотою какою-то; часто сидел он в глубоких тенях, из которых торчал удлинившийся нос, и виделся мне изогнувшийся рот; желтовато-несвежий оттенок худевшего лика, мешки под глазами, круги, — это все говорило без слов:

— «Не понимаю!»

— «Не то...»

Натолкнешься на этот невнемлющий взор: и — толкаешься в душу:

— «Пойми!»

Уж и злил меня видом, упорством, глухонемой безотзывностью; прежде отзывный, теперь — как стена; знал: Блок — умница; вид — идиотский — каприз и протест: против слов; если б был перед ним Мережковский, Бердяев, Булгаков, — я понял бы; а ведь тут — я; и заметивши, что Блок — глухарь, не внимающий внутренне, очень бесился: не мог допустить, чтоб А. А. относился ко мне, как к другим. Возмущался я строчками:

И сидим мы, дурачки,
Немочь, нежить вод:
Зеленеют колпачки
Задом наперед.[4]

Это что же? Глумление? Видя Блока капризником, не понимающим внятности, — думал:

— «Разыгрывает роль дурачка...»

Вспоминался С. М. Соловьев, восклицавший:

— «У Блока — есть строки, которые принимаются за особо глубокие: это — невнятица...»

Возмущался С. М. одной строчкой «*И развеяли... флаг*».[5] Он доказывал: «флаг — не при чем; никакого здесь флага не надо; а все — принимают. А. А. водит за нос...» И я раздраженно себе говорил:

— «Ну, меня водить за нос — не будешь!»

Такой вот аспект в лице Блока отчетливо выступил в памятный вечер; было втроем — неуютно; Л. Д. — побледнела в том черном, обтянутом платье, в котором я видел ее во сне (год назад). И вот, — точно я вошел в сон; или — сон этот вышел; внимала как будто бы звукам судьбы, охватившей так скоро; А. А. не поддерживал наш разговор (вывозил его — я). Заговорили о Рябушинском, редакторе «*Золотого Руна*», и о пиршестве в «*Метрополе*»,[6] смешных инцидентах; Л. Д. отмечала:

— «Москва...»

Что на ее языке означало:

— «Провинция...»

Мне доставалось:

— «Москвич!..»

Это значило:

— «Галстух не тот...»

И глубокая разность «*московской*» натуры от «*такта*», в который рядилась Л. Д., поднималась меж нами; А. А. поправлял положение; но — знал; он с Л. Д.

Говорил: — «у вас так это, а у нас, в Петербурге, — не так».

Он очень с юмором представлял «*москвича*» Рябушинского с розой в петлице. Рассказывал мне: Мережковский, откликнувшись на приглашенье «*Руна*», сбыл плохую поэму; и — охладел к Рябушинскому; и кряхтела редакция, взявши плохую поэму;[7] Л. Д. тут зевнула:

— «Пора: очень хочется спать!»

Решено было встретиться — вскоре: А. А. прочитает написанный им «*Балаганчик*».[8] И Блоки ушли; еще долго шагал, ударяяся в стены, а стены сказали:

— «Не то!»

И хотелось — в Москву: было б лучше! Но я — не уехал.

. . . .

Вот — чтение «*Балаганчика*»,[9] или удар тяжелейшего молота: в сердце; пришел еще рано, — в приподнятом настроении: ведь написана гениальная вещь; ведь писала Л. Д.: «*Балаганчик — хороший*»; «*хороший*» связался с мыслью, что *драма* — «*мистерия*»: для постановки в Интимном Театре, которого волили Блоки, Иванов и я; тут мне виделись *важные действия вместе*; то — утверждение любви коллектива, которого жизнь по Владимиру Соловьеву — *сизигия*.[10]

Собралися в зеленой гостиной; пришел Городецкий и Пяст, и еще юноша, стянутый в свой сюртучок — преторжественно, точно на праздник;[11] и Е. П. Иванов, столь чтимый у Блоков, которого Мережковские называли «*рыжак*», косолапо рыжел он, гудел между креслами; кто-то еще; Л. Д. с взвинченной аффектацией стремительно принимала гостей (наблюдал, удивляясь ее экспансивности, новой в ней), каменный и угловатый А. А. деловито потаптывался, раскрывая гостям портсигар; был сюртук в этот вечер поношен на нем.

Все расселись на мягкие кресла; А. А. монотонно читал себе в нос:

Истекаю я клюквенным соком.[12]

Нелепые мистики, ожидающие Пришествия, девушка, косу (волосяную) которой считают за смертную косу, которая стала «*картонной невестой*», Пьеро, Арлекин, разрывающий небо, — все бросилось издевательством, вызовом: поднял перчатку! Назвать «*Балаганчик*» хорошим — не мог; и его написал — А. А. Блок?

О, конечно, он — изгнанный из придела Иоаннова:[13] так я подумал; и нечто, подобное смерти, переживал; я не понял страдания, продиктовавшего строки; но — понял я: даже радостная импровизация, о которой шла речь, — погибнет; и вместо души у А. А. разглядел я «*дыру*»; то — не Блок: он в моем представлении умер; пусть видели — *великолепнейшее произведение искусства*; произведение исполнено силы, — я видел; но думал: какою ценой покупалась она?

Здесь ресторан, как храмы, светел
И храм, как ресторан, открыт.[14]

Молодежь — восхищалась; немеющий Пяст ничего не сказал; и спросили:

— «Ну что?»

Я ответил:

— «Да, знаете, — замечательно...»

И весь вечер старался держаться, как если бы все было — «*то*».

. . . .

Мы с А. А. никогда не беседовали о «*Балаганчике*»; раз он повел меня сам: посмотреть на него. Посмотрели мы молча.[15]

. . . .

Зачем не уехал в Москву? Продолжал посещение Блоков; ходил — не к А. А., — а к Л. Д.; потеряв в А. А. брата, привязанность к «*коллективу*» я перенес на нее; а граница меж мной и А. А., переходящая во взаимное недоверие, просто оформилась тем обстоятельством, что А. А. предстояли экзамены: я же — не буду «*мешать*»; говорили об этом не раз мы с Л. Д., с Александрой Андреевной.

Просиживали с Л. Д. вечерами; и из рассказов ее выяснялся размер перелома в душе у А. А. и — подробности личной жизни, мне чуждые: другой Блок! Но Л. Д. говорила, что нужно беречь его; что в нем — много больного и детского; но и другие — суть дети (что детское было — доказывает пристрастие Блока к картинкам; он, взрослый, вырезывал их, чтобы наклеить в тетрадь); говорила Л. Д.: ей порой с А. А. трудно; она — утомляется в роли: быть нянькой.

А. А. не присутствовал при разговорах о нем, а сидел в смежной комнате: с книгой; потом выходил и с натянуто-недоуменной улыбкою, сквозь которую проступала отчетливо хмурость, искал он предлог нас покинуть: рассеяться после занятий.

Казалось, что А. А. недоволен беседами, подозревая вмешательство в личную жизнь; но — молчал; и неискренность эта меня раздражала; ведь сам — отдалился: и создал меж нами — молчание; стало несносно сидеть нам — втроем, вчетвером; и когда собиралися вместе, то чувствовал: А. А. думает, что я думаю, что он думает; каждый так думал; и легкость былого общения переменилась в непереносную тяжесть; лишь изредка силился я по-прежнему пооткровенничать, чтоб вместе *понять*, *разобрать*, но он видом показывал:

— «Фальшь...»

— «Нет, не выйдет...»

— «Давай уж молчать...»

— «Говори себе с мамой и с Любой...»

И стало казаться, что нет «*коллектива*», а — ряд замыкаемых отношений, в которых не все безмятежно; разлад — углублялся: меж каждым и каждым; и — новые отношения строились: ясно лишь было, что о былом, о совместном, не может быть речи.

. . . .

Да, эти недели окрашены: совершенным отсутствием на моем горизонте А. А.: он сидел — в смежной комнате; и — выходил, проходя; начинаются частые исчезновения Блока из дому; окреп в нем шатун.

Что я пережил очень бурно и лично по отношению к А. А., выступает позднее в рецензии на второй том стихов. Считаю: оценка моя замечательной книге — несправедлива; перепечатываю ее, как необходимый, увы, документ отношений моих к его миру поэзии.

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»*

Блок — один из виднейших современных русских поэтов. Поклонники могут его восхвалять. Враги — бранить. Верно — одно: с ним необходимо считаться. Рядом с именами Мережковского, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус и Сологуба в поэзии мы неизменно присоединяем

---

* Рецензия, напечатанная в журнале «*Перевал*» в 1907 году.[16]

имя Александра Блока. Первый сборник стихов поэта появился только в 1905 году. Тем не менее есть уже школа Блока...

Даже поверхностное рассмотрение поэзии А. Блока убеждает нас в несомненном влиянии на него Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева, Гиппиус и Сологуба. Из иностранных поэтов больше всего влиял на него Мэтерлинк. Если бы мы не боялись историко-литературных определений, мы могли бы назвать его русским Мэтерлинком, без аристократизма, свойственного этому поэту, но с большею близостью к истокам души народной. Впрочем, мы не стоим за это сравнение.

Каково идейное содержание высокочтимого поэта? Но тут приходится остановиться, потому что второй сборник стихов А. Блока выдвигает совершенно новые для поэта мотивы. «*Стихи о Прекрасной Даме*» окрашены определенным и весьма значительным содержанием. В неуловимых и нежных строчках поэт воспевает приближение «*вечно женственного начала*» жизни. Здесь он является продолжателем целого ряда имен. В ароматный венец его поэзии вплетены раздумья Платона, Плотина, Шеллинга, Вл. Соловьева и гимны Данте, Лермонтова, Фета. Древние гностики вместе с греческой философией всесторонне разработали учение о мировой душе и «*вечно-женственном*» начале Божества. Шеллинг в сочинении «*Weltseele*»[17] пытался дать учению о мировой душе естественно-научную подкладку. Гёте, Данте, Петрарка сумели из любимого образа создать символ вечно-женственного, соединяя универсализм гностических догматов с индивидуальными переживаниями. Фет и Лермонтов бессознательно касались того же. Вл. Соловьев, соединяя размышления гностиков с гимнами поэтов, сказал новое слово о близком сошествии к нам лика Вечной жены. Тут началась поэзия Блока. Тема его — глубокая. Цель его — значительная.

Вдруг он все оборвал...

В драме «*Балаганчик*» горькие издевательства над своим прошлым. Последнее время злоупотребляли плохо понятой гностикой — это правда. Но правда и то, что издевательством не опровергнешь ни Платона, ни Плотина, ни Гёте, ни Данте. Ожидания могут быть неуместны. Но проблема остается проблемой. Она не терпит издевательств.

И вот, во втором сборнике мы узнаем, что «*Прекрасная Дама*» не путешествует на пароходах. Вместо «*сиянья красных лампад*»[18] мы видим болотных чертенят, у которых «*колпачки задом наперед*». Вместо храма — болото, покрытое кочками, среди которого торчит избушка, где старик и старуха и «*кто-то*» для «*чего-то*» столетие тянут пиво. Нам становится страшно за автора. Да ведь это не «*Нечаянная Радость*», а «*Отчаянное горе*». В прекрасных стихах расточает автор

ласки чертенятам и дракончикам. Опасные ласки! Ведь любой дракончик может вытянуться в настоящего дракона (туманы, как известно, растут). Рыцарь Жены всегда — в борьбе с Драконом. А вот превратился Дракон в дракончика, и поэт его пожалел: пожалел и пригрел. Помнил ли он, что с нечистью шутки плохи?

Но, сбросив с себя идейный балласт, поэзия А. Блока расцвела махровым, пышным цветком! Темы настроений утончились, стих стал виртуознее, гибче, роскошней. Прежде нам приходилось спорить с одним известным поэтом, утверждавшим, что «*Стихи о Прекрасной Даме*» не выражают истинного лика поэта. Поэт оказался прав.* «*Нечаянная Радость*» глубже выражает сущность А. Блока. В этом отношении Блок настолько же выиграл, как поэт, насколько он упал в наших глазах, как предвестник будущего, потому что мы предпочитаем оставаться при загадках, загаданных мудрецам (пусть нерешенных, но требующих от нас жизни для решения), нежели при издевательствах (хотя бы и поэтических, прекрасных) над этими загадками.

Второй сборник стихов А. Блока интереснее, пышнее первого. Как удивительно соединен тончайший демонизм здесь с простой грустью бедной природы русской, всегда той же, всегда рыдающей ливнями, всегда сквозь слезы пугающей нас оскалом оврагов — соединен в бирюзовой нежности просвета болотного, в вечном покое зеленых мхов. И нам страшно этого покоя; зачем эта нежность, когда она — «*прелесть*» болотная:

И ушла в синеватую даль,
Где дымилась весенняя таль,
Где кружилась над лесом печаль.

Но ушла — к колдуну; и — колдун:

Закричал и запрыгал на пне:
— Ты, красавица, верно — ко мне![19]

И нам становится больно, когда вечерняя заря обвивает не только «*весеннюю проталинку*», но и того, кто на ней. А на ней —

Попик болотный виднеется.
Ветхая ряска над кочкой

---

* Поэт этот В. Я. Брюсов.

Чернеется
Чуть заметною точкой.[20]

Искони здесь леший морочит странников, ищущих «*нового града*»; искони, мужичка оседлав, погоняет Горе-Горькое хворостиной. Скольких погубило оно: закричал Гоголь, заплутал тут Достоевский, тут на камне рыдал Некрасов, Толстой провалился в немоту, как в окошко болотное, и сошел с ума Глеб Успенский; много витязей здесь прикончило быть, — «*здесь русский дух, здесь Русью пахнет*».[21] Здесь Блок становится народным поэтом.

Здесь рыскает леший, а Блок увидел «*своего полевого Христа*».[22] Не надо нам полевых Христов. Христос Бог да сохранит нас от таких пришествий!

Где же Та, Которую призывал поэт еще так недавно? Там, где он не кощунствует, у него вырывается:

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой.[23]

Прекрасно поет он о наших убогих полях, так прекрасно, что мы, завороженные «*прелестью*», начинаем верить, что все тут благополучно. Ведь здесь все «*вечно прекрасно — но сердце несчастно*». Откуда этот стон у сказителя полей?

Так — и чудесным очарованы —
Не избежим своей судьбы.
И в цепи новые закованы,
Бредем, печальные рабы.[24]

Цепи «*Прекрасной Дамы*» — гирлянды роз — поэт с себя сбросил. Откуда же эти «Новые цепи»? Не цепи ли болотных чертенят? Страшно, страшно: идти больше некуда в отчаянии, когда и в «*Нечаянной Радости*» из огорода капустного приходит тот же оборотень «*Единый, Светлый — немного грустный*»,[25] когда такую картину рисует поэт своей нечаянной радости:

И сидим мы, дурачки,
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.[26]

Уж подлинно не зачаешь такой радости! Уж подлинно: нечаянная она!

«*Новой радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли*». (Вместо предисловия).[27]

Перед лицом народов сложные задачи; они требуют определенного образа решений, определенного, ясного, как Божий день, слова. И радоваться только тому, что из-за узкого мыса плывут корабли, еще рано: большие корабли часто приносят большую заразу.

«*Нечаянная Радость*» определенно пронизана все тем же воплем нищего:

Кто взманил меня на путь знакомый?
. . . .
Нищий, распевающий псалмы?[28]

Нищий ли это странник, или горе-гореваньице? Во всяком случае не псалмы распевает нищий, а панихиду:

Со святыми меня упокой.

Сквозь бесовскую прелесть, сквозь ласки, расточаемые чертенятами, подчас сквозь подделку под детское или просто идиотское, обнажается вдруг надрыв души, глубокой и чистой, как бы спрашивающий судьбу с удивленной покорностью: «Зачем, за что?» И увидав этот образ, мы уже только преклоняемся перед крупным талантом, не только восхищаемся совершенством и новизною стихотворной техники, — мы начинаем горячо любить обнаженную душу поэта. Мы с тревогой ожидаем от нее не только совершенной словесности, но и совершенных путей жизни.

ТРЕТИЙ — МЕСЯЦ НАВЕРХУ — ИСКРИВИЛ СВОЙ РОТ

Я все более понимаю Л. Д.; очень странно: до этого времени лично почти не общались мы; Л. Д., точно играя на сцене, присутствием «*освещала*» нас, дирижируя тонусом разговоров, — улыбкою, взглядами; воспринимали внелично ее, как бы фоном, как *место* свершения важных душевных событий; она стала — «*символом*»; это С. М. Соловьев, деспотически правивший прежде «*ладьей*» общения, создал почву, та-

кой «status quo» устранял Л. Д., превратив ее в символ, в жену мирового поэта, в инспиратрису его: в знак зори; о живом человеке не знали; создали Л. Д. для себя; и она — приспособилась к нам.

После резкого отчужденья С. М. Л. Д. вдвинулась в наше общенье с А. А.; не была уже фоном, Любовью *Деметровной*, дочерью «*хаоса*» (Менделеева); из персонажа «Лапановской» философии стала «*сестрою*»; взяла ноту — в трио; но брала ее только «*меж нами*»; с А. А. удалялись en deux,* а с Л. Д. я никогда не имел разговоров (как с Гиппиус, с «*Татою*», с Александрой Андреевной), выхожденье С. М. из «*коммуны*» есть шаг на пути к моей встрече с Л. Д., продиктованной всем; в декабре А. А. мне посвятил стихотворенье, с надписью «*Боре*»[29] (впоследствии, в годы разрыва, он снял посвящение):

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело.
Сонноокая прошла.
Проплыла она — и стала,
Незаметная, близка.
И опять нам, как бывало,
Ноша тяжкая близка...

Стихотворение — память о наших прогулках:

Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна...
Скоро Финского залива
Нам откроется страна.
Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,
И какие гаснут зори
За грядою камыша.

А наконец — Любовь Дмитриевна: стиль быта втроем:

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре
И тихонько перескажем

* Вдвоем (*фр.*).

Все, что видели, сестре...
Кончим. Тихо встанет с кресел,
Молчалива и строга.
Скажет каждому: — Будь весел.
За окном лежат снега.[30]

Расходяся с А. А., конкретно столкнулся с Л. Д.: человека увидел; и — понял: переживала острейший толчок, ее бросивший от «*зори*», интересов к науке и к Канту (она занималась сперва математикой, после же логикой), — ее бросивший к скептицизму, к тоске по конкретности; не без надрыва вступала на путь артистизма; переход ей дался не легко; и — страдала; и говорила, что «*зори*» вскружили ей голову; в «*инспиратрису*» всех — верила, вошла в роль; «*зори*» гасли; а «*роль*» — оставалась: инспиратриса, «*дочь светлая хаоса*», стала артисткой; говорила, что мы ее — портили «*ролью*». Теперь в ней сказался протест и желание выявить без остатка себя, как себя; и — критически нас разбирала; и многое в нападеньях Л. Д. было горькою правдой: она — человек, а не кукла, не символ; стал слушать ее, разбирать отношения наши друг к другу и нападать: на всю линию поведения А. А.; но Л. Д. защищала его; в защите же предо мною возникал новый Блок; это — тоже удар для меня; Л. Д. видела в нем раздвоенье всегда; но она утверждала: А. А. — лучше нас; он, по-своему — прав.

Я — оспаривал.

В спорах о жизни мы сблизились, как искатели правды, ее потерявшие в безглагольности прошлых «*радений*»;[31] прислушивались к искусству, ходили гулять в Эрмитаж; переживая у Кранаха краску, а тень у Рембрандта, и восхищаясь танагрскими статуэтками, перед которыми подолгу простаивали; и возвращалися набережной, — в казармы, к обеду; тогда выходил молчаливый А. А.; я умел подмечать несогласие меж Л. Д. и А. А., присоединяяся к Л. Д., отдаваясь растущему отчуждению к Блоку; Л. Д. — подала бессознательный повод для критики «*Блока-поэта*», признавшись, как ей тяжело.

Мы бывали на выставках; С. П. Ремизова показала на выставке раз под строжайшею тайною Савинкова, разыскиваемого полицией, но живущего в Петербурге; он смело явился в публичное место (бывал и у Ремизовых: я имел поручение передать в «*Золотое Руно*» стихотворение Савинкова, забракованное Соколовым, которому имя автора я, конечно, не мог открыть).[32]

Встретился я с Мережковскими: произошло объяснение; приводили к присяге меня: укоряли, стыдили, — простили; и мы — обнялись;[33]

водворился по-прежнему в доме Мурузи; и было — по-прежнему: перед камином с З. Н.: разбирательства религиозно-общественных отношений с Д. С. и Д. В. Философовым, дружба и с «*Татой*», и с «*Натой*»; и появления Карташева. К З. Н. подошла в это время С. П. Ремизова-Довгелло; Алексей же Михайлович часто являлся: подмигивал, добродушничал, говорил мудро-дикие вещи, — скрывался.

С З. Н. Мережковской нашли точку новую встречи в решительном гневе на безответственность новых кружков; и — на «среды» Иванова, заставившего меня опасаться всепонимания, переходящего в «*всеобъятие*», «*все-покрытие*» утонченнейшими диалектическими софизмами; в них меня останавливала «*двусмысленность*» и знак равенства, ставимый меж «*все-гранностью*» и «*безгранностью*». З. Н. жаловалась на ужаснейший хаос идей, поднимаемый «*средами*»; приводило в негодованье ее очень глупое «*действо*», совершенное где-то, когда-то: литераторы, восхотевши «*мистерии*» и «*орхестры*», составили хоровод; и — кололи какого-то литературного адвоката булавкою; выжав кровь, распивали с вином, называя то глупое действие «*Дионисовым Действом*»;[34] называли тогда имена литераторов, даже философов; и — разумеется: В. Иванов дал формулу для оправдания «*пошлости*»; был возмущен; не ходил я на «*среды*»; З. Н. выговаривала почтенному идеалисту:

— «Не стыдно вам было присутствовать? Когда модная литераторша басом запела гимн к радости, заведя хоровод, — не ушли вы?»

Философ сконфуженно тупился: он не участвовал — только присутствовал...

— «Правда ли, — издевалась З. Н., — что В. В. расшалился, воспользовался потемками и схватил миловидную поэтессу за кончик ботинки?»

Я думал: вот здесь совершаются «*действа*», а там «*Балаганчики*»... В. Иванов казался абстрактным профессором, силящимся стать «*козловодом*» беспутицы.

Дружил я с Т. Н. (или — с «*Татой*»), бывавшей у Блоков, и — понимавшей меня; и З. Н., и Т. Н. я рассказывал о стене между мной и А. А.; З. Н. очень близко входила во все; говорила:

— «А?.. Видите: ваши „*радения*", и безгласность у Блоков — к чему привела? Говорила я: „*где-то*", „*что-то*" — к добру не ведет».

Начинал ей внимать: отчужденье от Блока перерождалось в желание: агрессивно напасть.

И З. Н., и Т. Н. наблюдали растущую дружбу с Л. Д., и — расспрашивали, принимая все близкое мне; в З. Н. Гиппиус жила жилка

«*матерого*» агитатора; ей хотелось привлечь Л. Д. к кругу идей их; «*Блок*» — виделся безнадежно далеким; Л. Д. возбуждала надежды; обратно: Л. Д., оказавшая резкую оппозицию идеологии Гиппиус, стала меня о ней спрашивать; заручившись согласьем З. Н., предложил я Л. Д. — отправиться к Мережковским; Л. Д. согласилась; и назвала З. Н. — «Зиной»; А. А. — показалось мне — был недоволен; но он, подавив в себе чувство, спокойно нас выслушал; выраженье, которое в нем не любил, промелькнуло-таки; не понравилось в нем противленье. Поставил я цель: расширять круг общений Л. Д., жившей замкнуто, только для «*Саши*», а здесь, в этом быте — сомнительные бесенята: и быт мне казался болезненным миром болота, «*Фиалки ночной*», отравлявшей А. А.

Это все произвел «*Балаганчик*»; в мире душевном есть «*Блок*»; после — нет!

. . . .

Уж яснели слезливые просини первых весенних деньков; просияли капельные слезы; и Петербург — улыбнулся; мягчайшею, ранней весною; под пенье капелей Д. С. Мережковский, малюсенький, в шапке бобровой (я помню на Невском его) мне показывал вешние нити серебряных облачков):

— «Уж весна».

Собирался с женою в Париж он, продавши «*Трилогию*» Пирожкову[35] (я слышал в те дни от него: «Пирожков, Пирожков... Я пойду к Пирожкову...» И вот с «*Пирожковым*» устроилось); был Д. С. весел: насвистывал в комнатах; и выбегал на Литейный, на Невский — глядеть на весну; дома часто впадал он в игривость: и пришедшего Е. П. Иванова встретил он рыком:

— «А... вот и „*рыжак*"!»

И, подталкивая на диван, он дразнился:

— «Рыжак-рыжаком...»

Мы с З. Н. выходили на Невский (она вдруг взлюбила прогулки): лорнировала проходящих, и — покупала букетики синих весенних фиалок.

А дни — бриллиантились, в слезы пустились; расставились лужицы, и мостовая из белой вдруг стала коричнево-бурой.

В такой-то денек я заехал за Блоками (будто они не умели приехать); считал своим долгом! и собственно: вовсе не «*их*», а — Л. Д. (А. А. часто бывал у З. Н.); из одной атмосферы в другую — в сопровождении недоумевающего А. А., который от нас запахнулся в «*экзамены*».

Надоело выслушивать: «Саша... экзамены... Сашин экзамен...» С пренебрежением думал:

— «Вот невидаль: „*Сашин*" экзамен... Устраивают мировое событие из экзамена... Все мы держали; и не ходили с „*экзаменом*", точно с торбой».

Обращенье к экзаменам «*Саши*» во мне вызывало:

— «Ах, обращаются, как с тюком».

И я, каюсь, я звал про себя его:

— «Тюк...»

Я думал:

— «А этот бы „*тюк*" да встряхнуть!»

Я не видел, — пассивность А. А. происходила от вовсе иного: терял веру в жизнь; а рассеянность, хмурость, далекость — впоследствии оказалися: анестезией страдания; стал удаляться к «*калекам*» и к «*острякам*» «Незнакомки». И да: истекала душа его — кровью; когда бы нашелся в те дни кто-нибудь, кто сумел бы внушить ему бодрость, последующие года не протекли бы так; разочарования двадцатых годов не унесли бы его! Я был близок к нему; и — не понял его; и все делал, чтоб боль его сделать острее; и присыпал к его ранам лишь соль; о, естественно:

> Что же на свете приятней,
> Чем утрата лучших друзей?[36]

С ограниченной тупостью я тащил к Мережковским его, — на буксире: среди золотистых капелей; в двух саночках, стукающихся о выступавшие камни, тащилися медленно у Литейного моста; я — спереди; сзади — Блоки; Л. Д. — возбужденная, а А. А. — лишь скучающий, что могли Мережковские рассказать его жизни? Я помню, что я обернулся на эту столь разную пару; Л. Д. помахала мне муфточкой; А. А. сидел грустный: отчетливый, розовый профиль его (розовеющий в солнышке), нос и лицо, напоминающее мне теперь не зарю, а лицо озаренного, скорбно-ущербного месяца; и большая, бобровая, очень пушистая шапка тенила глаза; я махнул им рукой; А. А. криво совсем обернулся. Ухаб: и — подпрыгнули; нос убежал в воротник, точно месяц ущербный под облаком.

Слово «*ущерб*» определяет мое впечатление от него в эти дни; что-то лунное в нем подчеркнулось; казался черствее и суше: поджатей, ущербней; не элегантен он был; и не розовым — желтоватым казался; он маску носил на лице острой боли, которая сопровождала стихи, им

написанные в периоде писем о Канте и страхе: «За желто-красную листву уходит месяца отрезок... Как бледен месяц в синеве... Как там качается в листве забытый, блеклый, мертвый колос...»[37]

Таким блеклым, забытым и мертвым — сопровождал он Л. Д.

. . . .

Замечателен месяц в «*Нечаянной Радости*»; он — отрезок; он — серп, искривленный, ущербный:

Вот — сидим с тобой на мху
Посреди болот.
Третий — *месяц наверху* —
Искривил *свой рот*.[38]

Или:

Ты оденешь меня в серебро,
И, когда я умру,
Выйдет месяц — небесный Пьеро,
Встанет красный паяц на юру.[39]

Или:

Круторогий месяц щурится вверху.[40]

Или:

Кто там встанет с *мертвым глазом*
И серебряным мечом.[41]

Или:

Месяц по небу катился — зловещий фонарь.[42]

Или:

Лазурью *бледный месяц плыл*
Изогнутым перстом.

Всюду — щурый, изогнутый, перекривленный и мертвый гримасник: таков этот месяц; а то же, что под ним, то есть — чувственность:

Лазурью бледный месяц плыл
Изогнутым перстом.
У всех, к кому я приходил,
Был алый рот крестом.
У женщин взор был тускл и туп
И страшен был их взор:
Я знал, что судороги губ
Открыли их позор...
. . . .
Меня сжимал, как змей, диван,
Пытливый гость, — я знал,
Что комнат бархатный туман
Мне душу отравлял.[43]

Этот лейтмотив месяца стихотворений А. А. — все срывающий скепсис, подозревающая человека улыбка, граничащая с издевкою, и впечатление от него самого того времени — впечатление от ущербного месяца: деланная улыбка, зеленоватый оттенок мутнеющих глаз, мной подсматриваемый сквозь налет равнодушия («Ну — избил бы, ну, раскричался бы лучше!»).

Таким я подметил А. А., подъезжающим в саночках к дому Мурузи; заранее он отравил мне всю радость знакомства Л. Д. с Мережковскими: не было еще знакомства, а он — «*искривил*» свой рот.

И к стыду своему я в себе уловил прилив бешенства к этому «*рту*».

Появились втроем мы в гостиной;[44] З. Н. в белом платье (скорее, в подряснике) там пышнела уже рыже-розовыми кокетливыми волосами, затянутыми ярко-алою ленточкой, несколько официально оглядывала через взлетевший лорнет; вот упал он от глаз; улыбаясь, пошла к нам: Л. Д. даже как-то рванулась навстречу; взяв за руки, сели рядом, озаренные красною вспышкой камина; его растапливал, перекаляя в нем щипчики; занял обычное место свое у огня, забавляясь развитием красного газа. А. А. — сел вдали: сел в тени; не желая вступать в разговор, он отсиживал; я молчал, чутко вслушиваясь; слышались ленивые фразы З. Н.:

— «А... скажите...»

— «А... как же...»

— «А... Боря рассказывал...»

Разговор принял дружественное течение; я удивлялся: естественна встреча; и думалось, глядя на Блока:

— «Чего ты такой?»

Он — тенел, выступая лицом, восковым, точно мумия; и я подумал, поглядывая на З. Н.:

Петуха ночного пенье.
Холод утра. Это — мы.[45]

Если бы знал я те строки, которые скоро напишет А. А., я бы их процитировал — в применении к нему:

Ночь глуха.
Ночь не может понимать —
Петуха.[46]

Непроизвольным движением (от нервности, или досады) я выхватил из камина щипцы, повернувшися в полуоборот, и взмахнул ими в сумерках; увидавши сияющий белый зигзаг раскаленного, пахнущего угаром металла, Л. Д. вдруг схватила за руку З. Н.:

— «Посмотрите...»

— «Что делает...»

— «Остановите...»

Чего испугалась? Засунул щипцы в раскаленные уголья; и — отошел; явился Д. С. очень-очень любезный и милый (как будто бы светский): как будто пришел «*Пирожков*». Д. С. часто, впадая в рассеянность и натыкаясь на дам, приходящих к З. Н., — удивлялся: откидывался, стеклоокий, холодный и — спрашивал:

— «Вы? Зачем?»

И выходило:

— «Как жаль!»

В этот день был Д. С. прелюбезен.

Но все обращались к Л. Д., — не к А. А.; было ясно, что «Блок» не причем: никому он не нужен; и «*нашим*» не будет («Мы — ваши, вы — наши!»)... Он сам это знал, покоряясь печальнейшей участи: ущербляться у стенки, досиживать, чтобы потом удалиться; и отсидев, удалился.

З. Н. говорила потом о Л. Д.:

— «Удивительно женственная натура она...»

И Д. С. все похаживал:

— «Да, что-то есть в ней...»

И, кажется, выражал свою мысль: Л. Д. *действие* нужно; она — в *созерцании* (а под *действием* разумел он, конечно же, — *новое ре-*

лигиозное действие), долженствующее открыться в кругу «*сознающих*», иль «*Зины*», «*Антона*» и «*Димы*»: но «*Зина*», «*Антон*» или «*Дима*» «*писали*» в газетах и «*прели*» в собраниях; Л. Д. надо бы было скорее «взопреть»: в заседаниях Религиозно-Философского О-ва... Поговорили с часок о Л. Д.; и «*взопрели*» на темы сериозные; об А. А. и не вспомнили.

Ты оденешь меня в серебро,
И, когда я умру,
Встанет месяц — небесный Пьеро —
Встанет красный паяц на юру.

. . . .

На другой уж день пред разложенными сундуками, запихивая в сундуки переплетенные книжечки со стихами, флаконы духов, связки рукописей и изящные ленточки, З. Н. снова говорила о «*Блоках*»; просила писать ей.

. . . .

Уже проводили Д. С. и З. Н. на Варшавский вокзал;[47] Д. С. ехал в теплейшей, енотовой шубе, хотя разливала потоки весна (он боялся — простуды, заразы, пылинок: потом — революции); только в вагоне одел он пальто; с Мережковскими выехал и Д. В. Философов. Я же, «*Тата*» и «*Ната*», и, кажется, Карташев — провожали.

И — опустело: мы зажили в «*Таты-Натиных*» комнатах; стало в гостиной уныло; и нянюшка, Дарья Павловна, надев на нос очки, обходила квартиру; ходил Карташев; Ната насвистывала духовные песни, работая над резною скульптурою; да: хаживал тоже художник;[48] и он — заикался.

Раз даже обедали вместе (А. В. Карташев, «*Тата-Ната*», я, Ремизовы) — в кабинете у Палкина; пили вино; и А. В., приподнявшись, стакан протянув, вдруг запел своим тенором, в пении закрывая глаза, точно птица: «*Вы жертвою пали в борьбе...*»[49] А. М. Ремизов предложил поводить хоровод; мы, смеясь, поводили; потом, — заходили сниматься: снялись; дней через десять уехал я: где эти снимки — не знаю.

СЛИШКОМ ПОЗДНО!

Да, решительный разговор! Но о чем? «*Балаганчик*» — не в нем только дело, а в том, что в словах между нами ни разу и не было сказано, что носилось вокруг «атмосферой» без слова, в ритмическом обереганье друг друга во имя единого Главного; перед какою-то темой ходили мы оба — ценнейшей, которую мы должны были некогда осуществить на земле; так, команда фрегата, осуществляя различные функции, в конечном итоге все функции способствуют плаванью; гордый фрегат пересекает опаснейший океан; и — приближается к Новому Свету; матросы команды во время пути могут ладить друг с другом; и могут поспорить они; это — частное дело; их общее дело какие-то производить очень разные действия (так: один измеряет глубины, другой — смотрит в трубку, а третий просмаливает канаты; четвертый — стоит у руля); в результате же разнообразных и видимо вовсе не связанных служб совершается общее дело: корабль продвигается.

Да, возникшая непроизвольно «*коммуна*» — А. А., я, Л. Д. и С. М. Соловьев. Мы с С. М. добровольно избрали А. А. капитаном; Л. Д. оказалась, по нашему мнению (уже потом), очень-очень талантливой капитаншей; С. М. ее прочил в начальницы; произошло вдруг смещенье команды; и в результате: С. М. нас покинул; теперь уже я обнаружил подмену пути, в результате которого произошло столкновение; обнаружена течь, от которой — корабль погибает; а «*капитан*» называет событие это — «*Нечаянной Радостью*»; я все стараюсь пред ним обнаружить ошибку; а он — запирается, предоставляя нас участи; я — произволом захватываю от отчаянья власть над командным составом; и — силюсь спустить прямо в воду спасательные баркасы; теперь предлагаю настойчиво сесть пассажирам (Л. Д.), пока можно спастись. Меня спрашивают: «А капитан?» Я бросаюсь к каюте, в которой сидит легкомысленный капитан, начинаю ломиться в нее; дверь — заставлена, как нарочно, какими-то совершенно ненужными тяжестями и «тюками» («тюки» — государственные экзамены «Саши»).

Вот как символически изобразил бы я суть создавшегося положенья между нами троими.

Не важны совсем и те личные отношенья, какие теперь обнаружились; меж капитаном и мною могли быть нежнейшие дружбы, могли быть сквернейшие свары; нежнейшие дружбы и скверные свары для общего корабельного дела — ничто, когда надо стоять у руля, когда надо натягивать парус; ведь общее дело — спасенье нашего корабля —

в миг опасности вызвало бы лишь сознание долга в участниках плавания; мне казалось, что в личных тревожных нападках моих на А. А., непонятно молчащего в миг, когда наш погибает корабль, на который вступили мы все, осуществляю единственную возможную линию поведения так: в нападеньях на Блока я видел свой долг; лишь годами позднее я понял: в молчании Блока была своя тактика, более мудрая, нежели беспокойное подаванье сигналов к спасению; гибель душевного мира А. А. я воспринял, как течь корабля; он — в погибели мира души не забывал о духовном; в духовном пути продолжал свое странствие «*Арго*»; сильную качку воспринял ударом о камни; мой зов «*на баркасы*», — был бунтом матроса; и капитан отвечал мне:

— «Молчи».

Я молчать не хотел; кричал:

— «Гибель!»

А гибели — не было; зов на баркасы был — гибелью; с ним и боролся А. А.; не расслышал духовной команды; А. А. не сумел сделать внятной команду; А. А. был Колумб, верно правивший плаваньем, но неверно осведомленный о способностях к слуху; оба — неправы; опять-таки, — правы; вина — не во мне и не в нем; и опять-таки, — может, во мне; он меня не винил: за мой бунт; я его обвинял.

Вины не было там, где искал я; вина в том, что трудные переживанья мистерии человеческих отношений свалились совсем неожиданно; не воплотимые без духовной работы и без среды *сизигической социальности*, о которой мечтал Соловьев, — отношения опрокинулись: в безобразие долгих, гнетущих, кошмарами дышащих дней, даже месяцев; где же мудрые, вещие руководители знаний? Они — опоздали: они не пришли, допустивши надрыв в этой пламенной жизни.

По книжечкам циклов, прочитанных Штейнером, просто указывать, *где напутал в пути к посвящению Блок...* И легко говорить: «*Фридрих Ницше погиб оттого, что ключами науки еще не владел...*» Где были «*ключи*»? Допустили страдание Ницше и лучшего русского, нужного русским.

Блок — душа столь огромная, что, овладей она тайнами знания, она озарила бы светом Россию: но констатировали, что в начале столетия вопрошала душа русской жизни, не получая ответов.

Позднее — я рассказывал Блоку: антропософия мне открыла то именно, что для нас в эти годы стояло закрытым; но было уж поздно; стоял опаленным А. А., потому что он ранее прочих стоял пред Вратами; пусть тысячи, запасающиеся антропософскими циклами, безнаказанно знают пути, изучая внимательно пятьдесят с лишком циклов!

Вы скажете: антропософия! Да, — слишком поздно!..
Я Блока простить не могу!

. . . .

Он тянулся к гармонии человеческих отношений; об упражнениях, медитациях, шести правилах не говорили ему; помню я, что дрянную книжечку Людбитера он перелистывал;[50] и — разглядывал *ауры*; но не к восточным же теософам? И сквозь Людбитера в годы те он подслушивал что-то. И юношей он понимал: человеческий коллектив — индивидуум: орган Софии; искал он связаться, искал «*эзотериков*»: «*Свяжем вместе руки, отлетим в лазурь*»... Знал, — для этого отлетания надо конкретно самим стать лазурью: «*Не поймешь синего ока, пока сам не станешь, как стезя*»;[51] как же стать «*синим оком*»?

Где ж были вы, когда Блок подходил к вашим темам? И — почему не ответили?

Он был близко от места Иоаннова Здания.[52] Здания — не было.

Фаусту открывается — после пути Он — отошел: навсегда!

Das Unbeschreibliche
Hier ist getan...[53]

Это — увидел в начале пути А. А. Блок: «Chorus Mysticus»! Мы — собрались: постарались создать этот хор; появилися «*мистики*» «*Балаганчика*». Где было Белое Братство, когда, еще дети совсем, нарядились мы в «*белые колокольчики*» Соловьева.

Не виноваты, что тайна — коснулася, а пришло объяснение лишь тогда, когда стали пеплом.

Что думать? Что были мы жертвами тех, кто вершат судьбы, сроки, иль жертвами... собственной неосторожности? Мы отдались световому лучу, мы схватились за луч, точно дети; а луч был огнем; он нас — сжег; назидательное объяснение опоздало — лет на десять!..

«*Блок*» теперь спит; я калекой тащусь по спасительным, *поздно* пришедшим путям.

Отвечайте же, мудрые!

. . . .

В те недели я ждал: подготовляется слом трех мистерий не осиливших жизней; нужна нам была эвритмия духовная, нет, не теперь (теперь — поздно!): тогда! Если б мы в эти годы умели ходить амфибрахием, ямбом, — А. А. бы был жив; не лежал бы в парижской больнице и я, изливаясь унылыми строчками:

Нет, спрячусь под душные плиты...
Могила, родная мать,
Ты одна венком разбитым
Не устанешь над сыном вздыхать.[54]

. . . .

Лейтмотив «корабля» иль пути появляется явственно в произведеньях А. А. того времени. «*Арго*»-таки нас везет; совершаем отплытие мы, как умеем, без изучения «Wie erlangt man»; и даже «Dreigliederung» где-то предвидено.[55]

Да, на корабль мы пытаемся сесть.

Лейтмотив «*Кораблей*» подымается в лейтмотивах «*Нечаянной Радости*». В стихотворениях прежней эпохи их нет еще; что же такое корабль? Это — целое; это — плерома из душ, это — храм; сюда входим, доверившись детски друг другу; и — отплываем; и указание на отплытие это есть первое упоминание о «*корабле*»:

Там зажегся последний фонарь,
Озаряя таинственный мол.
Там корабль *возвышался, как царь,*
И вчера в океан отошел.

И уже тотчас с момента отплытия корабля, — из туманного моря навстречу встает образ смерти:

Издали мне привиделась Смерть,
Воздвигавшая тягостный звук.[56]

Эта смерть — катастрофа, постигшая «*Арго*». Она мне предвиделась: изобразил ее я в фантастическом измышлении «Аргонавты».*

Что тягостный звук?
Переплески далеких морей.
Голоса корабельных сирен.[58]

Сирены же есть наваждение:

Дочка, *то сирена поет.*
Берегись, пойдем-ка домой...[59]

* См. «Золото в лазури».[57]

То, что строит корабль отплываний, есть «зори»; «корабли» у А. А. очень часто на фоне зари, иль весны; корабли сами — зори:*

«В час закатный, в час хрустальный показались корабли... *Пели гимн багровым зорям...*» (64); или «Но с кораблей, испытавших ненастье, *весть о рассвете достигла земли*»... (66); «*Стоит полукруг зари.* Скоро солнце совсем уйдет. Смотри, папа, смотри, какой к нам корабль плывет»... (81); «*Полоской алой покатилась...* слеза... А корабль уплывал к весне»... (90). «Тихо повернулась *красная корма*, побежали мимо пестрые дома» (173). Корабли сулят — радость: «*И я пою, все так же стройно мечту родного корабля*» (88), «*И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели*» (89), «*А корабль уплывал к весне*» (90), «*Здесь тишина цветет и движет тяжелым кораблем души*» (124). Маяки освещают кораблям путь: «*О, светоносные стебли морей, маяки!.. И лучи обещают спасение там, где гибнут матросы*» (62). Скоро все те корабли только — призраки, тени: «Мы печально провожали *голубые корабли*» (56). «Смотри, уж туман ползет: *корабль стал совсем голубой*» (81). Корабли — погасают, становятся снами: «*И на розовой гаснет корме уплывающий кормщик*» (83), «*Только на закате в зорях наклоненных мчались отраженья, тени кораблей. Но не все читали заревые знаки, да и зори гасли, и — лицом к луне — бледная планета, разрывая мраки, знала о грядущем безнадежном дне*» (58). Корабли тают: «*Безначальный обман океана*» (63). Корабли терпят крушение в тумане и в вое сирен: «*Вы слышите — где-то за ночью, за бурей — взыванье сирен*» (61). «Гудел океан, и лохмотьями пены швырялись моря на стволы маяков. *Протяжной мольбой завывали сирены: там буря настигла суда рыбаков*» (61).

РЕШИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

С корабля наших странствий хотел я спасать на волнами качаемой лодочке; и в рецензии с раздражением откликался на фразу невнятного предисловия к «*Нечаянной Радости*»: «*Новой радостью загорятся сердца моряков, когда за узким мысом появятся большие корабли*».[60]

* Все указания страниц — указания страниц второго тома издательства «Слово».

Не без злости я спрашивал: «*Радоваться только тому, что из-за узкого мыса плывут корабли, еще рано*»; и — разумел строки Блока:

Смотри, папа, смотри,
Какой там корабль плывет!
. . . .
Дочка, то сирена поет,
Берегись, пойдем-ка домой.[61]

Появлением «корабля» начинается гибель героя в одном из рассказов Мопассана: Прекрасная Дама на пароходе не ездит.[62] Корабль привозил... Незнакомку... Вы помните: в драме А. А. «*Незнакомка*» корабль фигурирует лишь малярной раскраскою стен кабачка, а движенье его — головокружение пьяного чувства. С таких «*кораблей*» предлагал перебраться в простую, житейскую лодочку.

Разговор должен был резко выдвинуть это.

А. А. же с упорством бежал, выходя к нам с Л. Д. иль ко мне с Александрой Андреевной, вперял свои детские, очень большие глаза; и — просил:

— «Боря, нет!»

— «Лучше нам помолчать: подождем!»

«Снисходил»: сам же рвался к решительному разговору меж нами; и «*снисхожденье*» — откладывалось, как мучение: раздражением.

— «„Тюк", — думал я, — вот так „тюк"!»

— «Нет, не сдвинешь...»

И превосходство порой прорывалось; казалось: щажу, но ценой осложнений сознанья во мне.

Разговор велся линией жеста, поступков; словами — молчали, иль говорили: простое, пустое; помалкивала Александра Андреевна, насторожилась, почувствовавши отточенность отношений.

Все-таки, — был разговор: и я считаю его обусловливающим поведение этого года:

Заранее предупредил я А. А.:

— «Ах, не надо бы...»

Заявил: говорить-таки надо; от этого разговора зависит — все; понял в словах — ультиматум; и, оторвавшись от чтения, посмотрел на меня очень-очень открыто; и, натягивая улыбку на боль, сказал:

— «Что же, я — рад!»

И я тут заявил о радикальном решении (содержанье его опущу), отражающемся больно на нем;[63] не забуду: лицо его словно открылось:

открытое, протянулось ко мне голубыми глазами, открытыми тоже; на бледном лице (был он бледен в те дни) губы дрогнули: губы по-детски открылись:

— «Я — рад...»

— «Вот...»

— «Что ж...»

О, горькая радость!

И был он прекрасен всем матовым ликом и пепельно-рыжеватыми волосами, и жестом изогнутой, гордо откинутой шеи, открытой и выражающей мужество; встал над столом, а рубашка свисающей шерстью легла вокруг талии мягкими складками; великолепнейшим сочетанием свето-тени: на фоне окна, открывавшего сирый простор ледяного пространства воды с очень малыми зданьями издали; перелетали вороны; и черно-синие, черно-серые тучи, смешавшися с дымами, праздно повисли; и — чувствовалось: поступь судьбы.

Утро скажет: взгляни: утомленный работой,
Ты найдешь в бурунах
Обессиленный труп,
Не спасенный твоею заботой,
Избежавший твоих светоносных лучей,
Преступивший последний порог...
Неви́дим для очей,
Через полог ночей
На челе начертал примиряющий Рок:
«*Ничей*»...*; 64

Я впоследствии вспоминал эту сцену: стоящего над развернутой книгою по сравнительной филологии (может быть, и над книгой Судьбы), отражающего улыбкою наносимый удар: и большое чело поразило; не оттого ли, что здесь «*начертал примиряющий Рок*».

— «Ничей!»

— «Я — рад!»

. . . .

В воспоминании — вспомнилось (воспоминание вспомнилось) первое появление Блоков ко мне на Арбат; и — какое-то замешательство между нами троими, как вести судьбы о грядущем несчастии; там, в очень маленькой, тесной арбатской передней в предчувствии предно-

* Курсив мой.

силось стояние нас через два с лишним года у письменного стола над тяжелою книгою по сравнительной филологии (может быть — книгой судьбы), у окна, показующего ледяные пространства воды с очень малыми зданьями издали; там грязнели от дыма клокастые черно-синие, черно-серые тучи, повисшие праздно, перерезаемые полетом ворон:

Eine Krähe ist *mit uns*
Aus der Stadt gezogen.[65]

. . . .

Тут и наметилась необходимость дальнейшего объяснения, происшедшего в начале слезливого марта, когда сквозняками приневского ветра срываются шляпы и через голову остервенело закидываются плащи и подолы, когда мостовая в тумане скрежещет лопатами, шлюпает грустно в ногах шоколадная слякоть чистейшего снега, сваренного в гадкую гниль, распространяющую инфлуэнцы и насморки.

В этот вечер тревожная Александра Андреевна особенно тихо, передавая мне чай, торопила:

— «Да пейте же, пейте скорее: вам надо...»

— «Уже поздно».

А. А. сидел молча; Л. Д. была чопорна; Александра Андреевна, показывая глазами на «*Сашу*» и «*Любу*», как бы говорила:

— «Вы — бережнее!»

Я заметил внимательный глаз, чернокарий, над носом, склоненным к бородке, закручиваемой худою, сухою рукой; Франц Феликсович, мягко входящий и исчезающий так же, тут понял, что сердце стучало; я к нему повернулся, но — нет: чернокарий глаз бегал кротчайше над скатертью, и — потиралися руками; в эпоху натянутых отношений с А. А. Франц Феликсович делался мне очень близким — чем? Может быть тем, что А. А. ему чужд (сам А. А. мне признался). И стыдно: в моих расхожденьях с А. А. опирался как бы на Ф. Ф., предлагая сочувствие. Ошибаюсь?

Наверное!

Встали, прошли в кабинетик А. А., затворив плотно дверь; электричество (красненький абажур); вот и стол с деревянною папиросницей, шкаф с корешком тома Байрона, столь любимого, темно-желтая с красным ткань, леопардовая какая-то, на Л. Д., шелестящая тихо, когда, точно кошка, Л. Д. припадала на жесты, чтобы вовремя выпрыгнуть из застылости и очутиться меж нами; схватяся руками за золотистую, подвитую головку, сверкающими глазами перебегать с А. А. на меня

(и обратно), то — сталкивая, то — разводя нас, как секундант на единственном поединке идеологий, столкнувшихся жизнями, уподобляяся дуэлянту, на дерзостных выпадах (на *секундах и примах без кварт и секстим*),[66] нападал на А. А., побивая своей прямотой предполагаемое «*двуличие*», чтобы сразу распутать неразрешимую петлю меж нами.

Выступая открыто, старался А. А. дать понять я, что лучше по-рыцарски биться, чем тайно подсиживать; будущее показало: «*двуличье*» А. А. было следствием верности *духу* при недоверии к той душевности, которую считал «*духом*» я; и не видя душевности, я стремился к разрыву; диктовал ультиматумы *позой*; А. А. ждал лишь мудрого разрешения временем тяжбы; он правду мою созерцал, как туман, из которого выхода нет; есть — один: растворить в атмосфере: *высоким давлением*; я — боролся с туманом, бросаяся; и — попадая в туман; в этих жестах, бросающих к выходкам, — была правда моя: верней, поза, которою я рисовался.

И на тему «*двуличия*» распространялся я с пафосом; и А. А. — темный, встрепанный, беззащитно блуждая глазами, сидел «*раскарякой*» (без светскости), — у стены, на диване, выщипывая волосики из сидения; и опускал низко голову; и уставлялся в меня исподлобья «*непонимающим*» взглядом.

— «Тюк!..»

Тут вмешалась Л. Д.:

— «Саша, да неужели же!»

И — безмолвие, ни уступающее, ни обвиняющее: глухое.

Ночь глуха.
Ночь не может понимать —
Петуха.[67]

Но он был победителем, отвечая на примы контр-примами; и — отлетала рапира моя:

— «Нападай!» — всеми жестами я говорил; опустил он рапиру: сидел и выщипывал из дивана. Тут поединку противопоставил другой: испытанье терпением, непоказуемым мужеством, полным отсутствием позы; а я, маркиз Поза,[68] стоял перед ним; что мог он отвечать? Что решенья мои — фальшь и фальшь; сам исхода — не видел.

Молчал.

Но молчание истолковывал я по-иному; мне виделся образ противника, выронившего рапиру и открывающего грудь в расчете на то, что

рапира опустится; и — опустилась: от чувства жалости: точно сел на ковер, совершеннейшим раскарякой, сказав:

— «Кончено, для человека, севшего на пол».*

И я — «*пощадил*», оборвав разговор и стремительно убежав, не простившись.

Мне стыдно: так мудрость ушибла меня; и бежал по промозглым проспектам с тоскою, которую выразил я в «*Петербурге*» (описывая пробеги Николеньки Аблеухова, вдоль октябрьских каналов) — по направлению к Шпалерной, где снял себе комнату (у Таты—Наты произошла перемена: перемещения); я попал в ресторанчик, на Караванной, в душе отдавалося:

— «Побежден! Побежден!»

. . . .

Идеология в ту эпоху ломалась: и представляла сложнейшую амальгаму из Риккерта, Ницше, Бакунина, Штирнера, Иоанна;[70] она диктовалася: переоценкою ценностей, переживаниями, революцией, оборвавшей свой ход и теперь потухающей, взрывами бомб и налетами максималистов.

Гносеологическое суждение «*истинное есть ценное*» я истолковывал в подчинении отвлеченных понятий об истине ценному творчеству, индивидуальным путям, опрокидывающим и взрывающим старые формы: «*тюки*»; что касается этих «*тюков*», то моя философия диктовала:

— «Взрывать!»

Философия эта врезалась в вопрос, поднимаемый каждым в те дни:

— «Можно ли убивать?»

И Каляев — герой мой; и себя мыслил Зигфридом; Зигфрид — убил злого Фафнера,[71] косность биологического бывания превратив в ценность жизни. А. А. представлялся мне пропускающим нечисти в место, где строили храм. Вставал жгучий вопрос: что с ним делать? Как быть? Бить по Блоку? Но — избегает он боя; и преграждает дорогу, как... «*тюк*».

Отступил без ответа; ответ — ресторанчик на Караванной, в котором по вечерам я угрюмо старался забыть тот же голос, мне шепчущий:

— «Должен: ты — должен?»

— «Что должен?»

Молчало...

. . . .

---

* Слова из моей «*Симфонии*».[69]

Дела призывают в Москву; и я — еду;[72] с намерением — скоро вернуться; там в долгих беседах с С. М. Соловьевым, с Петровским высказываю я горечь недоуменья, надорванности; утешением — мне беседы с М. К. Морозовой, задевающей светлые струны; поддерживаю переписку с Л. Д.;[73] Блок не пишет: молчит.

Заболевает Л. Д. Надвигается время обратного выезда в Питер; письмо от А. А.: не приезжай, потому что Л. Д. ослабела, а я — весь в экзаменах,[74] и подобное — получаю от Александры Андреевны; воспринимаю я письма не просто; в них вижу предлог улизнуть; это все обусловливает мой отъезд из Москвы; уведомляю Л. Д., Александру Андреевну неделикатнейше; Александра Андреевна обижена; а Л. Д. — рекомендует не ехать;[75] я — еду.

Святая неделя!..

Приехал с тяжелым принудом, иду неуверенный, буду ли принят; стесненно встречает Л. Д.;[76] и приводит на «*их*» половину; из этого заключаю, что Александра Андреевна — не принимает меня; застаю переводчика, Ганса Гюнтера и латышского деятеля,[77] восхищенного красотой Петербурга и атрибутами автократии; А. А., сдержанный, все же любезный, показывает: не рассеять молчания, никаких разговоров! Звонок: появляется С. Городецкий...

Подавленный, возвращаюсь на Невский, в Бель-Вю.

Дипломатия восстановилась-таки: Александра Андреевна меня приняла, положив гнев на «*сдержанность*»; выказала удивительное терпение: всей душой примыкая к А. А., зная ярость мою на А. А. — быть такой деликатной! Л. Д. допускала меня к разговорам; ходил к ней; запомнился день; был он душен и мутен: гроза приближалась; молчали; Л. Д. ушла взглядом в страду. А. А. в эти дни я почти не видал; он сидел у себя; и потом — исчезал он.

Однажды, в 12 часов ночи — он: входит в мятом своем сюртуке, странно серый, садится; и — каменеет у стенки; Л. Д.:

— «Саша, — пьяный?»

А. А. — соглашается:

— «Да, Люба: пьяный...»

Вернулся в тот день с островов; в ресторане им было написано стихотворение «*Незнакомка*»,[78] потом получившее очень большую огласку; его — не любил за все то, что связалось с надрывом в А. А., выступающего из теней серо-стертым лицом; и — заявляющего хриплым голосом:

— «Да, Люба: пьяный...»

Стихотворение фигурирует, как автограф: я помню бумажку с набросанными строками; склоняюсь — над почерком: сравниваю начертания

букв с начертаниями первых писем; да, да: изменилась рука; там — крупнее, прямее, нажимистей, четче; здесь — более хвостиков, закруглений; и — буквы сливаются: спешка!

Меняется с почерком вид; исчезает совсем франтоватость: «*студент*» — безо всякой лощености; смята фуражка; и — голос: грубей (хрипотца); взгляд — припухший; где розовая атмосфера, которой он действовал? Глубже морщина на лбу; вырастает отчетливо нос, заостряяся и бросая на впалые щеки какие-то протени; этой весною он ходит остриженный; воспринимаю его: некрасивым и темным, как будто он со свету входит в тень; неуверенно, зыбко и шатко мне с ним; избегаю; и он избегает: молчит; я — поругиваю Чулкова, Иванова; он выговаривает с отчетливым «*чтобы*» пустое.

— «Ходил на экзамен?»

— «Да...»

— «Выдержал?»

— «Выдержал».

Не настаиваю на разборе, на «*тяжбе*»: до «*после экзаменов!*» В соответствии с видом теперь развито в нем пристрастие к зыбко-расплывчатым ритмам и рифмам; господствует зыбкий размер; и сознательно вводятся мило-неверные рифмы: «*границ — цариц-у*», «*купальниц — молчальницы*», «*важный*» и «*влажный*».

Стихотворение «*Незнакомка*» — отверг; напечатано было впоследствии стихотворение «*Клеопатра*»;[79] и стало ясно, что «*Незнакомка*» — явление «*Клеопатры*», лежавшей в музее и вставшей, зашедшей к Вертгейму, одевшейся в модное все, прикатившей в экспрессе в Россию; явившейся к Блоку:

И веют *древними поверьями*
Ее упругие шелка.[80]

Тут — «*поверья*» Египта, проклятого для А. А., наградившего *страшною Музою*, о которой сказал он потом:

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг, —
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.[81]

. . . .

Недоверие к петербургскому символизму откладывалось; и — к его насадителю: Вячеславу Иванову, с «*Башни*», с Таврической, сеявшего туманы смешений и вылетавшего, вероятно, в трубу по ночам в сопровожденьи «*ведьмесс*» — на помеле, над тогда открывавшейся Государственной Думой;[82] квартира — высоко-высоко: под чердаком; Дума виделась под ногами; мы вылезали на крышу — по «*средам*», часов уже в семь («*среды*» длились с двенадцати ночи часов до 8, т. е. собственно были не «*среды*» они — «*четверги*»: до двенадцати ночи сравнительно было там пусто); профессор Аничков, игриво взошедший на крышу, рукою схватясь за трубу, совершенно повис над шестью этажами; при грузной комплекции уважаемого Е. В. это все повергло в действительный ужас; и крыша — меня забавляла, заварка «*мистического анархизма*» — нисколько; течение казалось тлетворным (Чулков писал книгу свою, В. Иванов — сочувствовал;[83] Мейерхольд, про которого Эллис сказал — «*нос на цыпочках*» — собирался, как кажется, что-то такое наделать, раз прибежавши к А. А., заявил он при мне: «*Надо броситься в бездны*». Я думаю, что профессор Аничков, повисший над бездной с таврической крыши, был подлинным анархистом по храбрости; прочие «*бездны*» не видели: видели — декоративную бездну).

Авторитетность Иванова покрывала двусмыслицы; думаю: Вячеславу Иванову после трудов за границей, попавши в богему, хотелось шалить; вот он выдумал — «*анархизм*»; а я связывал многое, водворившееся между мною и Блоками, с литературною атмосферою; революция к героизму взывала; меж тем: атмосфера мистического анархизма во мне вызывала «распутицы» до... Распутина: вместо жизни — промозглый туман, куда прытко в трубу вылетали по «*средам*»; расход между мною и Блоком его влек к Иванову (был я тогда неприятен; Иванов же пел дифирамбы); меня, начинавшего чувствовать это, все более прибивало к лаборатории Брюсова, т. е. к московским «*Весам*»; петербуржцы впоследствии объединилися в «*Орах*»; в «*Весах*» я пустил уже прочные корни; с С. М. Соловьевым уже замышляли поход мы на Питер; недоставало лишь мелочи, чтобы оформить раскол.

Дипломатические сношения с Вячеславом Ивановым все же поддерживал; он был ласков, сантиментален, меня обволакивая туманом идей; у него на «*средах*» было шумно; профессор Аничков, К. Эрберг, Чулков, Габрилович и много других, там бывали и деятели искусства: Бакст, Сомов, Билибин, А. Н. Бенуа, Добужинский. Б. А. Леман читал там стихи; отведя меня в сторону, раз рассказывал о каких-то сомнительных опытах; и — внушил подозренье надолго; читал здесь «*Фе-*

никса», противополагая его тайне «*Сфинкса*»,[84] загадке, преодолеваемой актами созиданья; А. А. в представленьи моем пал под бременем «*Сфинкса*»; а я — волил ясности: *слова и действия*. Формировалося расхождение; более присягал я освободительному движению; и в «*мистическом анархизме*», и в «*средах*» Иванова я видел реакцию.

В день открытия Думы встречал депутатов в толпе и кричал, что есть мочи, «ура»: даже, — бежал за коляскою Родичева;[85] в демонстрации против старого строя сказалася: демонстрация против А. А.

Да, я жил «*идэфиксами*».[86]

И поэтому: с облегчением встретили быстрый отъезд мой А. А. и Л. Д.; вот и завтрак, последний у Блоков. Сыграл на прощанье «*Вы жертвою пали...*» Сыграл, и — уехал: в Москву.[87] А. А. был на экзамене. Я не простился с ним; Л. Д., помню, махала мне в форточку белым платочком.

ГОРЯЧКА

Конец мая.

Традиции прошлого года влекут меня в Дедово: в душное, в мутное, в полное грозами лето, когда по России ходила пожарами все охватывающая стихия крестьянских волнений; распространялись листки «*Донской Речи*»;[88] и двигались полчища вооруженных крестьян, босяков, батраков; и — взлетали усадьбы на воздух; и действовал благоразумный крестьянский союз;[89] встал аграрный вопрос в Государственной Думе; и натыкались на деятелей в черных рубахах (эсеров), и в ярко-красных рубахах (эсдеков); писал ряд рецензий на Бебеля, Каутского, Ван-дер-Вельдэ — в «Весах» под псевдонимами: альфа и бэта, и гамма и дэльта.[90] Дышали томительною атмосферою митингов, происходящих в округе, читали усиленно Гоголя; так полюбили его, что С. М. называл его часто ласкательным: «*Гоголек*». Всюду виделся — Гоголь, С. М. говорил:

— «Помнишь весну прошедшего года, дождливую, тихую: как мы ходили в крылатке — той, дяди Володиной;* всё ожидали, как будут

* Покойного В. С. Соловьева.

цвести колокольчики „*Пустыньки*"? Нынче — не то... Да — не то. Всюду-всюду: усмешечка этакая. И — припахивает нечистою силой».

— «Колдун показался опять!»

А С. М. добавлял:

— «Всюду — *Красная Свитка*...[91] Смотри-ка: природа, и та — усмехается Гоголем...»

Лето — душило.

И я, и С. М. загорели в жару революции; к нам приходили крестьяне: шептали о том, что творится в окрестностях; верили нам; не вели пропаганды; и все же: крестьяне считали — своими, и крюковские извозчики, везя в Дедово, мне сообщали: Н. Н. (земский врач) очень здорово агитирует; уж и ловят, и ловят: не могут поймать; и причмокивая губами, повертывались:

— «Но-но!»

— «А земля будет наша...»

— «А Коваленские...»

Сообщали: вот в этом лесу происходит ночами «*митинга*»; в Каменке проживает под видом приезжего — настоящий жандармский полковник; все ходит с кошелкою он — «*по грибам*»: и — «*митингу*» разыскивает.

— «А почему это вы говорите?»

— «Как, барин: вы, стало быть, наш: за народ...»

— «Почему?»

— «Как, да нешто у нас понимания нет? Коваленские, — энти другие. А вы да Сергей наш Михайлыч, — за эдакими...»

И «*политик*», причмихнувши носом, повертывался:

— «Но-но!»

Подкатывали — прямо к Дедову; появлялася из дали, из настурциев, семидесятипятилетняя Александра Григорьевна Коваленская; перед нею «*политик*» ломал-таки шапку; выпрашивал щедрый «*на чай*» у меня. Узнавал впервые о неприязни к В. М.* и Н. М. Коваленским,** дядьям Соловьева, о том недоверии к Александре Григорьевне, знатоку литературы, имеющей вкус к Метерлинку, Ван-Лербергу, Роденбаху, которого в пику Эллису называл «*Роденбахером*» я;[92] А. Г., бабушка, — либерально-умеренных взглядов: хвалила она Милюкова, стыдилась Гучкова; но — Петрункевичей не хвалила за крайность;[93] Н. М. Коваленский ценил октябристов, хотя называл он кадетом себя; был действи-

* В. М. был в то время приват-доцентом механики в Московском университете.

** Н. М. был председателем Виленской Судебной Палаты.

тельным статским; и — поражал элегантностью: в белом жилете стоял на балконе, играя лорнеткой и поднимая седые короткие бачки под небо, вздыхал мягким рокотом:

— «Солнышко: так я люблю его!»

Приезжал отдыхать он из Вильно: на лето.

В. М. Коваленский, короткий и кряжистый; все пришептывал:

— «Нет, а по-моему прав — Шмаков...»[94]

Говорил не сериозно — для стиля: крестьяне питали к нему все же больше доверия, чем к изысканному «*кадету*»; и — говорили они:

— «Ковалинские — крепостники!»

С демонстративным сочувствием относилась округа к С. М. Соловьеву:

— «Покойный Михаил Сергеевич, — тот за народ был: отстаивает, бывало, — от Ковалинских».

Так, ссоры С. М. Соловьева с Н. М. Коваленским за право народа на землю был «*миф*», всей округою созданный: как же — такой милый барин, да — против? Шалишь: был за нас...

На С. М. изливали крестьяне совсем уже нежность; старушка крестьянка, увидевши С. М., принялась прибарматывать раз:

— «А ходи-ходи — тут: да погуливай... И никто-то не тронет тебя, мой голубчик...»

Предполагалося, стало быть, что — начнут-таки «*трогать*»; в самарской, симбирской, саратовской, — и очень как «*трогали*».

Я, как друг Соловьева, был тоже причислен к народолюбцам — без всяких стараний; С. М.-таки хаживал к девкам и парням, на их хороводах бывал; и вечерами просиживал в избах; я — нет; но считалось: я есмь «*заковыка та самая, от которой все прочее*»; а что я не хожу на «*митинги*», — политика; и уверен я: что если бы я проповедовал консервативные взгляды, — не верили б: тоже «*политика*» — для отвода: я «есмь» заковыка такая, которая... от которой... ну: *эфта митинга*!.. И обдавали симпатией революционные Степки, Егорки. Ведь вот: либеральная критика дружно ругала за чуждость народу; народ, не читавший меня, через Егорок, Ивашек и Степок гласил: я та самая «*заковыка*» и есмь.

Это чувство всегда поднималось во мне при касании с подмосковной деревнею — вплоть до лежания в больничной палате уже в 21 году,[95] где прошло предо мной до шестидесяти человек (лишь крестьян да рабочих); когда покидал я палату, — палата меня провожала огромной сердечностью: жали мне руки:

— «Непременно весною наведывайтесь к нам; — к нам, в Рублево: к водопроводчику!»

. . . .

Проживая бок о бок с семьей Коваленских, встречаяся за столом каждый день, мы по-разному переживали события времени (Думу, разгон ее, Выборгское воззвание,[96] митинги), кроме того: Коваленские — нарывалися (вплоть до *случайно* попавшего камня в окно); переходили от страха к сильнейшему раздражению; мы себя ощущали, как рыба в воде; и естественно: происходили горячие перепалки; А. Г. начинала бледнеть, сжимаясь в дрожащий комочек, в своем черном платьице, в черной косыночке (делалась из году в год она сморщенней, меньше, субтильнее); и откидывалась с ироническою улыбкою в кресло. По вечерам мы ходили в село Надовражино, к сестрам Любимовым (те — за народ!); пели песни щемящие:

Догорай, моя лучина, —
Догорю с тобою я.[97]

А в селе Надовражине умирала в селе колдунья; и революционные парни божились, что видели «*еху лесную*».* Общение с Н. М. Коваленским мне делалось все трудней и трудней; я ему стал казаться «*отъявленным социалистом*»; я — нервничал.

Моя нервность питалась другим обстоятельством: бурною перепискою с Блоками, ведшею прямо к разрыву;[98] забрасывал Блоков я залпами писем, мобилизируя все свои взгляды на ценность и разрушая их тактику поведения тяжеловеснейшею артиллерией: Кантом, Когеном, евангелистом Иоанном, профессором фрейбургским Риккертом, чтобы построить из Риккерта, Канта, Когена — экстравагантнейшее биографическое разрешение поединка идеологий; и доказать им: они — лицемеры; и — контр-революционеры: буржуи, схватившиеся за мещанский уклад (мне впоследствии признавалась Л. Д., что огромный пакет моих писем сожгла она в печке); Л. Д. с темпераментом отпарировала удары мои, обвиняя меня в святотатстве, в абстрактности, в «Mania grandiosa»; из ссылок моих на апостола Павла она заключила, что объявляюсь Христом (так потом передали мне: вообразите же всю мою ярость: из толкования «Gegenstand der Erkenntniss»** вдруг вывести все это; а еще — философка, сдававшая «*Канта*» Введенскому!). Блок писал меньше: и — очень невнятно.

---

* Эхо.

** Сочинение Риккерта.[99]

Я с каждым письмом отрезал себе путь примирения; всё — компромисс; я дал клятву себе: компромиссам не быть: быть — по-новому! И бродя по сухим пропыленным дорогам, певал:

Отречемся от старого мира:
Отряхнем его прах с наших ног![100]

Там, где «*ценностей*» в отношениях нет, — их взрывают. С людьми? Что ж из этого. Ценность — над-человечна: гносеологическому субъекту сознания нет дела до гибели эмпирических оболочек. Пусть — смерть: все равно; упирался я тут в психологию террориста; вопрос, от которого я не мог отвертеться, — убийство; и акт, некий акт, кой должен свершить... стало быть... есть?.. Россия жила этим: экспроприации, покушенья, убийства! И все я — оправдывал; чаще вставало:

— «А — можешь убить?»

Отвечал:

— «Не могу...»

Отвечало:

— «Так стало быть — смерть тебе!»

Мысль о самоубийстве, болезненная фантазия, тут разыгрывалась на протяжении месяцев; я бродил по сухим пропыленным дорогам, мурлыча:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

. . . .

— «Да, колдун показался опять...»

— «Жив Данило...»

— «Как будто жупан красный в зелени...»[101]

— «Это — *Красная Свитка...*»

С. М. поднимал загорелую голову; и с демоническою усмешкой цедил:

— «Да, да, да: припалили деньки „Гогольком"!»

— «Что колдунья, — жива еще?»

— «Все еще!»

. . . .

Не было мне ни покоя, ни отдыха; и я бросался в Москву; и оттуда — обратно; попал невзначай раз к себе я в имение* да и застрял там дней двадцать,[102] отделывая симфонию «*Кубок Метелей*», отрывки ко-

---

* Тульской губернии, Ефремовского уезда.

торой читал я зимою А. А.; произведение это полно экзальтации; Блок уже после сказал: «Это — страшная вещь; и — кощунственная!» Предавался писанию мрачных стихов в роде:

Ждут: голод да холод — ужотко;
Тюрьма да сума — впереди.
Свирепая, крепкая водка,
Огнем разливайся в груди.[103]

Или:

Приходи —
В хату мою:
До зеленых змиев —
Напою...[104]

И писал «Панихиду»:*

Твердь — необъятна!..
На желтом лице моем выпали —
Пятна.
Цветами —
Засыпали.
Свечами —
Заставили.
Устами —
Прославили.[106]

Помнится очень — пивные, московские, где беседовал с почтарями, с извозчиками, с забулдыгами просто на тему, что лучше погибнуть нам всем, чем так жить; те же самые кабачки и пивные явились у Блока: в стихах, в драматическом перле его, в «*Незнакомке*». Один разговор свой потом описал в «*Петербурге*» я.

Мать эти месяцы проводила в Мариенбаде и в Мюнхене; жил я в деревне один; иногда с управляющим мчался верхом я по желтым овсам, проповедуя:

— «Эти овсы есть грабеж у крестьян...»

Управляющий, бородатый кулак, — не перечил. Однажды поехал я к Старогальскому священнику: чай пить; и проповедовал: «Время,

* Поэма.[105]

пространство суть формы наглядного представления». Батюшка тихо молчал, а потом разошлася молва по округе, что барин, мол, — так себе: не в себе, мол.

— «А что?»

— «Как же: батюшке сказывал, будто пространства и нет».

Обитатели тульских пространств возмутились моим нигилизмом (два года я не был потом в этом месте); и — утверждали, что усадили меня на Канадчиковой, на даче.* Все — батюшка!

Да, — приходили украдкой крестьяне (украдкой от управляющего); и — развивал свои взгляды: — «Крепитесь: земля будет ваша: не надо усадьбы палить; организуйтеся лучше в крестьянский союз». Тихо слушали: и — кряхтели; и был на меня настоящий донос Николаю Петровичу, земскому, часто бывавшему прежде у мамы и потому положившему дело «*О подстрекательстве помещика Б. Н. Бугаева к разграблению собственного имущества*» — под сукно (это верно донес управляющий наш); добродушнейший Николай Петрович собрался было меня вызвать и посоветовать мне удалиться из Тульской губернии (временно, разумеется, — пока нервы мои не в порядке!), да я в это время уехал: тянуло к С. М. Говорили потом, что уже навострил свое ухо урядник, да земский его уломал; этим дело и кончилось.

Как я, был С. М. очень мрачен, вынашивая программу слиянья с народом; внушил себе мысль, что он должен жениться на девушке, на крестьянке, служившей кухаркой у М., в Надовражине; предложения ж сделать не мог, неуверенный в чувствах крестьянки, своих, но уверенный в чувствах А. Г. Коваленской при этом известии.

О, грозные, знойные — дни, вечера, когда небо казалось багровым, а мы, обозленные, твердо готовые биться за новую жизнь, разжигали друг друга — свершить акт восстанья; женитьба ли, бомба ли, посрамление ль Блоков, Н. М. Коваленского — будет, что будет! Мобилизировали: я — Ницше и Риккерта; а С. М. — отцов церкви, эс-эрство, идиллии Феокрита, Некрасова; он во мне вызывал в это лето тот образ, который потом воплотился в Дарьяльском, а Надовражино после сказалось селом Целебеевым мне;[108] доказавши себе обязательность некоего революционного акта, — я шел то же самое энергично доказывать Блокам (в котором письме?); а С. М., натянув сапоги, надев красного цвета рубаху и нахлобучив на голову вместо шапки рогатый еловый венок, отправлялся бродить по окрестностям (верст по пятнадцати, по двадцати он отмахивал в день).

* Канадчикова дача — сумасшедший дом.[107]

Помню: вечер. С. М. измеряет окрестности; я — на террасе, в качалке: в руках — томик Гоголя («*Страшная Месть*», или «*Вий*»). Уж В. М. Коваленский из ближнего домика унывает роялем и тащится пальцами по «*Уймитесь, волнения страсти*»,[109] с грехом пополам доплетается до места: «Дуу-уу-ша ии-стаа-ми-лась... в разлуу-уу!» и на «у» непременно споткнется; и — тащится сызнова.

Или: опять-таки — вечер; терраса: семья Коваленских доказывает несостоятельность политических убеждений моих; я — доказываю обратное: необходимо немедленное отчужденье земли; тут А. Г. Коваленская поднимает дрожащими челюстями свой рот, чтобы выразить всю наглядность такой легкомысленной меры: трясется в настурциях; Николай же Михайлович, втягивая оглушительный запах левкоев, играет лорнеткой на беложилетном своем животе; и другою рукою отмахивается малюсеньким веером; очень седые его бакенбарды — презрительно вздеты; и ясные доводы — вовсе не ясны ему:

— «Не понимаю...»

— «Ни слова!»

Мы шумно встаем, гремим стульями (я и С. М.); и — идем в Надовражино: вместе с Любимовыми подивиться непониманью Н. М. И — затягиваем:

«Вы — жертвою пали...»

. . . .

Моя экзальтация крепла; и после письма Любовь Дмитриевны я решаю немедленно выехать в Шахматово (оно рядом почти: одна станция); но — сознаю, что не буду я принят в усадьбе; решаю — остановиться в избе, в деревушке поблизости; но С. М. отговаривает.

А. А., судя по письмам, переживал тяжелейшее лето; в нем сказывалось противление против тем, привлекавших недавно его; в стихотворении, относящемся, по-видимому, к Л. Д. и написанном в августе, он заявляет:

С тобою смотрел я на эту зарю —
С тобой в эту черную бездну гляжу.

И далее:

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?
. . . .

Воскреснем? Погибнем? Умрем?[110]

. . . .

Попадаю случайно в Москву: продолжаю обстреливать Блоков оттуда; и — получаю записку: Л. Д. и А. А. собираются на день в Москву* объясниться; жду; утром однажды звонятся: посыльный: А. А. и Л. Д. сидят в «*Праге*»;** и — просят туда;[112] я — лечу; я — влетаю на лестницу; вижу, что там, из-за столика, поднимаются: ласково на меня посмотревший А. А., и спокойная, пышущая здоровьем и свежестью, очень нарядная и торжественная Л. Д. (ей одной было, видно, всех легче); она ставит решительный ультиматум: угомониться.[113] Я — ехал совсем на другое; я думал, что происходит полнейшая сдача позиций мне Блоками; едва сели, как вскакиваю к удивленью лакеев; и — заявляю:

— «Не знаю, зачем вы приехали... Нам говорить больше не о чем — до Петербурга, до скорого свидания там».

— «Нет, решительно: вы — не приедете...»

— «Я приеду».

— «Нет...»

— «Да...»

— «Нет...»

— «Прощайте!»

И — направляюся к выходу, останавливаемый лакеем с токайским в руке; я — расплачиваюсь; Блоки, тесно прижавшись друг к другу, спускаются с лестницы; я — нагоняю: Л. Д. очень нервно обертывается; и в глазах ее вижу — испуг (как в той сцене с щипцами, — у Мережковских); я думаю, что она, верно, думает, что я думаю — что-то недоброе; и я думаю на думы о думах: да, да, — удивительно сензитивно; но — успокойтесь: *не это* грозит, а — *другое*, о чем вы не знаете. Показалося мне, что Л. Д. показалося, что имею в кармане оружие я.

Все втроем мы выходим; расходимся перед «*Прагою*»; Блоки — по направлению к Поварской, я — к Смоленскому рынку.

Мы — не простились.[114]

Я через два уж часа лечу в Крюково, сваливаюсь к С. М., ни на что не похожий; С. М. со мной возится; тут нелепая мысль посещает меня: уходить себя голодом; пробую втихомолку не есть (ем для виду); и попадаюсь с поличным: С. М. Соловьеву.

Не выгорело!

---

* Между прочим, А. А. приезжал переговорить с редакцией «*Золотого Руна*».[111]

** Ресторан на Арбате.

А через несколько дней происходит огромная ссора с Н. М. Коваленским (политика!): я не могу оставаться с *«реакцией»*; и С. М. — то же самое;[115] мы — попадаем в Москву, очень душную, грозную; я — запираюсь в пустой, нафталином пропахшей квартире; и вот — взрыв столыпинской дачи;[116] воспринимаю тот взрыв, как в бреду:

— «Ага, — видите, видите: все уже рвется».

— «Не испытывайте судьбу!»

Революционное настроение мое — максимально; вытаскивают к Рачинским меня; мы сидим там: С. М., я и Эллис; Рачинский гремит против наглости экспроприаторов, против убийств; а я — возражаю:

— «По-вашему, Лик Христов — на Гучкове...»

Рачинский, выпыхивая дымками, задорно подхватывает, что, скорей, на Гучкове; тогда в совершеннейшем бешенстве вскакиваю; и — заявляю:

— «Когда это так, я — отказываюсь от такого Христа: от Отца и от Духа!»

И — убегаю; в пивной я просиживаю за бутылкою пива с хмелеющим почтарем; мы — решаем: так жить невозможно. И я запираюсь опять на квартире своей; и моя медитация: переживание человеческого убийства, переживание до мельчайших подробностей террористического поступка (да, да, — не предложить ли себя террористам?); переживаю себя — убивающим: себя самого (жест Л. Д., обернувшейся на меня, — там на лестнице, в «Праге» — инстинкт, диктовавший ей страх: ну и аура же была у меня!) Да, я был ненормальным в те дни; я нашел среди старых вещей маскарадную, черную маску: надел на себя, и неделю сидел с утра до ночи в маске: лицо мое дня не могло выносить; мне хотелось одеться в кровавое домино; и — так бегать по улицам; переживания этих дней отразились впоследствии темою *маски и домино* в произведениях моих:

Я — в черной маске: в легкой, красной тоге...[117]

Или:

И полумаску молотком
Приколотили к крышке гроба.[118]

Или:

Только там по гулким залам,
Там, где пусто и темно, —

С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.[119]

Тема *красного домино* в «*Петербурге*» — отсюда: из этих мне маскою занавешенных дней протянулась за мной по годам.

Ко мне хаживали: лишь С. М. Соловьев да всегда пребывающий в состоянии сумасшествия Эллис, который в то время завел очень-очень рискованные знакомства с экспроприаторами-максималистами; и решал, как мы все, тот же страшный вопрос: о назревающем *акте*; и в частности, — спрашивал он меня, — не вступить ли ему в совершенно реальные отношения с экспроприаторами; я его отговаривал; А. С. Петровский, которого мало я видел в то время, переживал тяжелейшую личную драму. Так мы, *аргонавты*, переживавшие зори, теперь превратились в моральном сознаньи почти что в преступников; каждый прошел над вопросом о *долге убийства* по-своему.

Здесь отмечаю, что нота *убийства и взрыва* была лейтмотивом того переходного времени; может быть, лучшие переживали убийство (одни совершенно реально, другие — в себе); большинство — разлагалось: в двусмыслице, в вялости, в крепнувшем сексуализме; и настроение это окрепло в «*Огарках*», в Каменском, и в «*Санине*» Арцыбашева.[120]

Неистовый Эллис, бывало, сидит у меня: не удивляется *маске* нисколько; и экзальтирует; он — взвивает мое настроение; высиживается решение: вызвать А. А. на дуэль; твердо знаю: убить — не убью; стало быть: это — форма самоубийства; от Эллиса прячу намерение это, но посылаю его секундантом к А. А.; он, надев котелок и подергивая своим левым плечом (такой тик у него), отправляется тотчас же — в ливень и в бурю; его с нетерпением жду целый день, он не едет. Звонок: возвращается мама; и — застает меня в маске.

На следующий лишь день появляется Эллис; рассказывает: прокачавшися в бричке по тряской дороге, под дождиком, наткнувшися у Шахматова на отъезжающих в Петербург Александру Андреевну, — встречает А. А. и Л. Д. в мокром садике, на прогулке, отводит А. А., передает вызов мой; тут он имеет длиннейшее с ним объяснение. Эллис, передавая это мне, уверяет: все месяцы эти имею превратное представление об А. А.; он — не видит причин для дуэли; А. А. — то же самое он говорил-де ему:

— «Для чего же, Лев Львович, дуэль? Где же поводы? Поводов — нет... Просто Боря ужасно устал...»

И А. А.-де так ласково спрашивал обо всех мелочах, окружавших меня: ну, — конечно, приехать-де надо мне к ним, в Петербург; кто же может меня задержать? Недоразумение все это!..

Передавая такие слова от А. А., Эллис быстро твердил, перекручивая бородку и дергаясь левым плечом:

— «Александр Александрович, — он: хороший, хороший!..»

— «Вот только: уста-а-алый, уста-а-алый!»

И вот: сквозь «*химеру*» мне выступил образ любимого брата; очнулся я...

Эллис же мне рассказал, что Л. Д. и А. А. целый день обо мне говорили; решили: А. А. будет ждать меня осенью в Питере.

— «Стало быть то-то и то-то — не то?»

— «Ничего подобного», — уверял меня Эллис: рассказывал долго, как тихо бродили они по желтеющим, ярко осенним лесам, как А. А. приютил его на ночь, а ночью пришел к нему в комнату, сел на постель и беседовал. С ним — о себе, обо мне и о жизни; потом, разумеется, Эллис читал переводы Бодлера; и проповедовал пересечения планов («*там*», «*здесь*») в символизме — не может быть только correspondance![121]

— «Correspondance! Понимаете?»

Я представил, как, верно, он схватывал Блока за локоть; и — тряс ему локоть; и приближал свои красные губы к лицу, обдавая слюною А. А.

. . . .

Ну, так — так: решено; еду я в Петербург, а дуэли — не быть; и даю себе слово: дуэли с А. А. — никогда не бывать! Эллис мне передал, что А. А. и Л. Д. покидают квартиру; как странно: переезжаем и мы; покидаю я дом, где родился;[122] А. А. покидает то место, где жил еще отроком: в добрый путь!

. . . .

Нет, какая-то абракадабра!

Приезд в Петербург совпадает с перемещением Блоков;[123] Л. Д. пишет мне, чтобы ждал приглашения;[124] мне показалась записка враждебной, но я — скрепил зубы; и протекло: десять дней!

Каждый день ожидал приглашения: не было! Стал тут наведываться Иванов, Е. П.; было ясно, что это — неспроста; неспроста *молчит* он о Блоках, посматривает на меня; и — как будто с опаской; и — водит гулять; золотым сентябрьским деньком мы сидим на скамеечках Летнего сада, закусываем румяными яблоками.[125]

В этом долгом мучительном ожидании я простаиваю вечерами на набережной под огромным закатом: в сплошной неизвестности.

Очень запомнился завтрак у Е. В. Аничкова; там собрались: Городецкий, Иванов (В. И.), П. Е. Щеголев, А. И. Куприн; не понравился мне В. Иванов; из шуточек Городецкого, крепких словечек А. И. Куприна и веселого грохота Е. В. Аничкова он выплетал пресладчайшие *Полиелеи*; и — *аллилуил*: совсем Златоуст! Златокудрый, безбровый и розовый лбом, с очень-очень лоснящимся носом, оседланным крепким пенсне, со стаканом вина заводил разговор о Христе, улыбаясь двусмысленно крепким словам Куприна, заявлению Городецкого:

— «Я Христа не люблю...»

И на все отвечали «*златые уста*» примиряющими полиелейными дифирамбами; я сказал что-то, помнится, резкое. Он покраснел (точно так, как краснело лицо его, когда вдруг нападала «*крапивка*»: страдал он «*крапивкою*»),[126] покосился, запел на меня неприязненно в нос:

— «Ну, да — ах! Ты с все тою же провинциальной, московской моралью!»

Подумалось:

— «Так: это, стало быть, пресловутая ширина, всеобъятья *мистического анархизма...*»

Позавтракав у Аничкова, мы попали все вместе к А. И. Куприну, проживавшему рядом с редакцией «*Мира Божьего*»;[127] присоединился: Осип Дымов, Ф. Батюшков; от Куприна же отправились на вечер к Ходотову (всей компанией) и очутилися в многолюднейшем обществе; сидели там — Косоротов, Найденов (быть может, Юшкевич); меня поразило, что публицисты из «*Нового Времени*» здесь сидели рядком с неизвестною бородатой фигурой, которую представляли гостям: «Видный деятель революции». И — подымался вопрос: как они могут вместе сидеть? Появился и «*паж*» (бывший «*паж*»),[128] очень модный в те дни тем, что он отказался газетным письмом от дворянства; и — вышел из корпуса. Кажется, — кто-то явился с сенсацией: Трепов скончался.[129]

Я, живший все эти недели в идейно-обостренной жизни, — с недоумением наблюдал подозрительную общественность петербургской литературы, решив обличить этот стиль в «*На перевале*».*

В те дни разговаривал я и с Чулковым, пытавшимся мне объяснить, что такое мистический анархизм; на словах выходило складнее, чем в книге Чулкова, которую только что разносил я в рецензии;[130] мне Чулков говорил:

— «Как вы можете быть против нас, когда сами вы с Блоком — мистические анархисты!..» При разговоре, как кажется, был Волын-

---

* Отдел, который вел я в «*Весах*».

ский, который так выгодно отличался от «Вены»,* тогда возникавшей, своей старомодною строгостью очень хорошего тона; понравился мне он: он звал — показать философскую библиотеку.

Был у Ф. К. Сологуба на вечере;[131] и познакомился с Кузминым, «*Александрийские песни*» которого только что появились в «*Весах*»;[132] он меня поразил своим пеньем стихов, своей лысиной, подведенными веками, мушкой, большой бородою; и — синей поддевкой:

— «Действительно, — думал я, — смесь: нижегородского и французского...» В. Иванов, златой волосами, златыми речами распелся о крупных достоинствах именно вот такого поэта, как М. А. Кузмин. Сологуб был особенно зол; и все нюхал флаконы с духами. Просили читать меня. Я читал «Панихиду».

Мое появление в «*свет*» оцарапало душу мне; это — последнее впечатление от Петербурга; его я увез за границу: оно отложилось в «*разбойных*» моих нападениях из «*Весов*» на «*Шиповник*», на «*Оры*»,[133] на все петербургское. В. Иванова и А. А. я впоследствии обвинил в покрывательстве всякого хулиганства (несправедливо, конечно).

Все дни проводил я один; долго стаивал я на Неве, под огромным закатом с обидой и грустью.

Раз издали видел А. А. я с угла Караванной; он шел — быстро-быстро, наперевес держа тросточку, высоко подняв голову с бледным лицом, очень злым, с пренадменно зажатым каменным ртом, обгоняя прохожих; мелькнул белый-белый кусок «*панамá*», залихватски заломленной; и — прорыжело пальто: в отдалении; вообразил я, что он сделал вид, что не видит меня; то же самое сделал и я.

Вот — опять: осиянный закат; только здесь, в Петербурге, бывают такие закаты: все — четко, все — чисто; земля — как тарелка; блеск — в окнах; зеленая глубина — не вода; ярко-красные косяки, бледно-розовые вуали на небе; и — трубы, и — трубы, и — трубы; и — ветер от моря: в лицо...

Наконец: получаю записку Л. Д.; ее тон — неприятельский.[134] Шел к ним в туманный и слякотный вечер (они поселилися где-то у Каменноостровского, в маленькой очень квартирке, обставленной бедно: под крышей); неизвестность и трудности заработка диктовали А. А. в эту пору унылые строчки:

Хожу, брожу, понурый,
Один в своей норе.

---

* Бывший ресторан, в котором одно время собирались петербургские литераторы.

Придет шарманщик хмурый,
Заплачет на дворе.[135]

Иль:

Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
Гуляет на дворе.[136]

Я уверен: такой точно двор открывался из окон:

Я в четырех стенах — убитый
Земной заботой и нуждой.[137]

Что-то было октябрьское в хмурой квартирке А. А. Впечатление это скользнуло, как сон, потому что меня охватило отчаяние: в пышных, в неискренних выражениях Л. Д. объяснила: они пригласили меня для того лишь, чтоб твердо внушить мне — уехать в Москву; А. А. тихо молчал, опустивши глаза, улыбаясь и не желая подать свое мнение, но, разумеется, внутренне соглашаясь с Л. Д. Не прошло получаса, — катился с четвертого этажа прямо в осень, в туман, не пронизанный рыжеватыми пятнами мути фонарной; и очутился у моста; и машинально согнувшися, перегибаяся чрез перила, едва я не бросился — о, нет, не в воду: на баржи, плоты, вероятно, прибитые к мосту и к берегу (не было видно воды: только — рыжая мгла); эта мысль о баржах — остановила меня; я стоял и твердил совершенно бессмысленно:

— «Живорыбный садок! Живорыбный садок!..»

Прели запахи.

Я возвратился — на Караванную (я проживал в меблированных комнатах, тех же, которые посетили однажды Л. Д. и А. А., в феврале: с того времени поднялось это все: семь мучительных месяцев!).

Помню, что на столе моем видел пакеты: письмо, не отправленное Мережковским, рецензию на рассказы З. Н., только-только написанную;[138] и — буддийскую книгу (как кажется, «*Сутта-Нипата*»).[139] Хотел писать матери я письмо, объясняющее *все это*, дождаться рассвета (тогда можно видеть, где баржи, садки, живорыбные, и — где вода)... Да в таком состоянии и пробыл часов 9: без сна. Эти девять часов медитации мне показали: самоубийство, как и убийство, есть гадость.

А утром — записка от Блоков, другая по тону: преласковая; чтоб немедленно был; уже в десять часов я был там; примирительный разговор состоялся; и даже совсем ничего не сказали: все — страшно устали; все — сразу решили, что следует год не видаться; меня уговаривали — отдохнуть за границей; и я — согласился.[140]

Даем обещание не видеться: год.

В тот же день уезжаю в Москву.

Через две с половиной недели я — в Мюнхене.[141]

ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Я — в Мюнхене: до декабря. Я стараюсь осилить тоску: перерабатываю первую половину четвертой «*Симфонии*»; и пишу иногда очень грустные строчки стихов:

Кровь чернеет, как смоль,
Запекаясь на язве.
Но старинная боль —
Забывается разве?[142]

Я вечером посещаю художественный кабачок «*Simplicissimus*», принятый ласково его хозяйкой, *Kathy Kobus*, небезызвестною среди художников тем, что она выручала когда-то художника Ашби; и — создала ему имя; мне помнятся стены, завешанные рисунками и эскизами (всё подарки должавших художников *Kathy*), веселые красные лампочки, лысый скрипач, бритый, с ликом Бетховена, мне заявляющий:

— «*Sonne in Brust*».*

Помню — розу, которую каждый вечер преподносил *Kathy Kobus* я, как-то узнавшую, что я русский поэт; и — новатор (то — сообщили об этом, наверное, русские); словом: меня «*Simplicissimus*» принял; а это — значило: принят был в штаб я художественной молодежи: здесь были — баварцы, поляки, швейцарцы, приезжие из Берлина; и — русские; каждый день до 12 я сидел в «*Simplicissimus*» (встретился с Грабарем раз);[143] мое общество: милый юноша, польский поэт, секретарь художественного журнала «*Chimera*»,[144] Грабовский (поляк и, как ка-

* Солнце в груди (*нем.*).

жется, драматург), студент Паульсен, родственник философа Паульсена, В. Владимиров (из Москвы, аргонавт), Дидерихсы (брат и сестра); познакомился здесь, в «*Simplicissimus*'е» с Шолом Ашем, таскавшим меня по кафе и познакомившим с Пшибышевским;[145] здесь часто просиживал я в очень милой компании лиц, вызывавших всеобщее уважение (их фамилии долго не знал: при представлении — не расслышал); в компании этой центральное место всегда занимал очень мрачный, казалось, актер, элегантно одетый (шутил с мрачным юмором): больше молчал; говорил я с женою его, миловидной, худенькой, очень вертлявою дамой, которая, ударяя размашистым веером, называла меня «*Der gemütliche Russe*».* Потом я узнал: то — жена Ведекинда, а мрачный актер — Ведекинд. Тут сидел каждый вечер поэт: Лудвиг Шарф; порой, вынуждаемый публикой, говорил очень мрачные вирши; являлся сюда длинноносый, взлохмаченный Мюзам.**

Бывал одно время у С. Пшибышевского, принимавшего ласково в маленькой бедной квартирке; его упросил раз играть: сел — и долго играл мне Шопена: запомнилось исполнение «*Полонеза*» (потом мне сказали, что это — его лучший номер).

В ту пору висели афиши о лекциях Штейнера. Раз повстречал я знакомую, А. Р. Минцлову; и она зазвала к себе в гости, на *Adalbertstrasse*; и — спрашивала, что я думаю о теософии; спать мне хотелось; удерживая зевоту, спросил:

— «Как относится теософия к социальной проблеме?»

И скоро ушел: я не знал, — в этой самой квартире (графини Калькрейт) буду я — с другим чувством, как... ярый приверженец Штейнера.[147]

Оживление мюнхенской жизни не заполняло разрыва: конечно же, — с Блоками; так уж сложилось меж нами в то время; как только распутаем неразбериху из писем — так следующее письмо: начинает ее; расхождение с Блоками в Мюнхене было особенно тяжко: на год отрезаны были мы от объяснения личного.[148]

День начинал с изученья картин старых германцев (в «*Пинакотеке*»):[149] то — Дюрера, то — Грюневальда, то — Кранахов, то — Вольгемута, Шёнгауэра и неизвестного мастера «*Жизни Марии*»; просиживал в кабинете гравюрном; мир старых гравюр — открывался; и Клингер в гравюрах мне нравился; очаровал очень «*Швинд*»; провалился позорнейше Бёклин.

---

* Приятный русский (*нем.*).

** Впоследствии член правительства баварской советской республики.[146]

Однажды на улице показали тяжелого толстяка: Макса Штука.[150]

Из Мюнхена я писал для «*Весов*», нападая все более на петербургских писателей.

Вдруг получаю письмо от Д. С. Мережковского (из Парижа); он — входит в мое состоянье; зовет к ним; и — неожиданно: — уезжаю в Париж.[151]

Здесь встречаю — знакомое общество: Н. М. Минского, К. Д. Бальмонта, А. Н. Бенуа, Философова; и — других, незнакомых доселе, среди которых запомнились: граф Буксгевден, стрелявший, как кажется, после в отца,[152] И. И. Щукин; запомнилась дама, к которой обедать однажды поехали мы и у которой наткнулись на вылощенного, черноусого господина; он мне не понравился; я, за обедом, открыл было рот, чтобы что-то такое сказать о политике, но под столом, слышу, дергает Д. В. Философов: споткнулся; потом, когда вышли, Д. В. мне сказал:

— «Манасевич-Мануйлов, приставленный за наблюдением и подкупающий заграничную прессу...»

Да, да: Мережковские окружили душевным уютом меня; всей душой привязался к З. Н. в эти месяцы; З. В. Ратькова-Рожнова рекомендовала мне тихенький пансион на *rue de Ranelac*, выходящую в сторону Булонского леса.[153]

И тут — начинаются встречи с Жоресом; я делаюсь — «*притчею во языцех*» средь русских: помилуйте — завтракает ежедневно с Жоресом, когда добиваются днями, неделями, месяцами свиданья с Жоресом![154] Произошло это так: раз соседка по табль-д'оту (балтийская немка) спросила:

— «Читаете „*Humanité*"?»[155]

Отвечаю:

— «Газета мне нравится».

— «Как относитесь вы к Жоресу?»

— «С большим уважением».

— «Знаете, он ведь — сосед наш: за завтраком. Эти дни его нет; вообще же заходит сюда пред Палатою, потому что жена переехала в Тарн; он — один: предпочитает сюда заходить, чем есть дома».

Вмешался хозяин:

— «Мосье Жорес — будет завтра».

На следующий день мне соседка показывает, — на окно:

— «Вот — Жорес».

И вижу: в окне пробегает плотнейший мужчина в небрежно надетом пальто, в котелке, как-то косо сидящем, размахивая короткой рукою

с огромнейшим зонтиком; из кармана пальто — пук газет; появляется в комнате и с усилием снимает пальто; потирая руками, с поклоном садится к нам (рядом с соседкой) — уткнуться в газеты, пока не дадут ему есть. Так сидели — два месяца (все же другие сидели за столиками: общий стол пустовал).

Познакомились — в тот же день; ежедневно беседовали; когда было мне нужно узнать что-нибудь от Жореса, я с соседкою начинал разговор (по-французски); Жорес сидел рядом в газетах, которые он с собой приносил, перевязанный белой салфеткой, откидываясь и устремляя голубовато-зеленые глазки в окно: катал катышки хлеба; бывало, начну говорить: то мол, это... И он — не удержится: поднимет свой нос из газет, или, скомкав салфетку, так кряжисто перегнется, уставится, скрипнет стулом:

— «*Et bien, vous — croyez...*»*

И — поставит вопрос, другой, третий; глядишь — и пошел говорить; и мне нужное мнение — ясно... Многое так узнавал от него: например, — полагал он, что русские не обладают практическим смыслом, что эмиграция — не производит хорошего впечатления, что церковный вопрос отделим от проблемы религии; ту проблему Жорес допускает, считается с нею; религиозные убеждения — уважает; церковные организации — это дело другое; он не любил выражения «*социал-демократия*», и всегда поправлял:

— «Socialistes», — говорил он.

Выспрашивал о духовных теченьях России и о писателях (записал в свою книжечку переведенные томики Мережковского; и потом мне сказал, что — прочел); говорили о Метерлинке, которого находил он туманным, предпочитая ему драмы Гауптмана; уважал старых классиков; и считал: социалисты должны быть хранителями литературных шедевров; меня поразила умеренность в его взгляде на допустимую границу преобразований в России. И создалось впечатленье: я был — лев для него.

— «Если б ваше правительство остановилося на кадетской программе, не думаете ли, что в России вся жизнь изменилась бы радикально?»

Я потом его видел — политиком, осторожным (в беседе с Аладьиным, с Мережковским, которого познакомил я с ним); но со мной он был прост, полагая, что я не «*газетчик*», а просто «jeune homme»;** он ко мне относился с симпатией; даже с сердечностью (это сказалось, ко-

---

* «Значит, вы полагаете...» (*фр.*)

** Молодой человек (*фр.*).

гда заболел); было что-то простое в манере: любил нам рассказывать о животных.

На ломаном языке рассыпался в тирадах я; и удивил же хозяин отеля, сказавши, как раз, уходя, Жорес — похвалил меня, тут же прибавив:

— «Он, знаете ли, — прирожденный оратор».

Не понимаю, откуда же мог заключить это он; все меня поправлял:

— «Le partie politique:* „le", — не „la"...»

И запомнилась: крупная голова, эта серая борода, коричневатые, загорелые щеки; никто б не сказал, что он — лидер, политик (ходил в Палату испытывать наслаждение от созерцания поединка: Жорес — Клемансо); он — казался профессором, каким был;** раз, узнав о моих устремлениях к Риккерту, стал осторожно производить мне экзамен; остался доволен характеристикой Ренувье.[156]

Эти встречи могли бы быть целой главой; здесь — не место; скажу лишь: знакомство с Жоресом оставило незабываемый след; был такой он прекрасный, весь — крупный.

Однажды привел он Аладьина: я наблюдал, как Жорес изучает его.

На другой день спросил:

— «Как понравился?»

— «Да, признаться, не очень...»

— «Я вас понимаю», — уткнулся Жорес в свое блюдо; и застучал он ножом, одолевая «lapin».***

. . . .

Мои дни начинались прогулкою по Булонскому лесу; работал — до завтрака; разговоры с Жоресом; работа, прогулка опять; к четырехчасовому чаю — у Мережковских: сидел до семи (с З. Н. Гиппиус чаще); и — возвращался обедать; а вечером — у Мережковских; или — работа, театр.

. . . .

Тут вот нервы сказались: болезнью; и около месяца пролежал (разрезали); я не забуду: сердечного отношения Мережковских: они отходили любовью меня.[157] Выздоравливающий, снова вчитывался в образы «*Нечаянной Радости*»,[158] развернувшиеся в большую картину, — о, бóльшую, чем выражала написанная заметка для «*Перевала*».****

---

* Политическая партия (*фр.*).

** Профессором философии.

*** Кролика (*фр.*).

**** Ее привел выше.

ОБРАЗЦЫ ВТОРОГО ТОМА СТИХОВ

Вовсе новый ландшафт, не предвиденный тихим окраем дорог, проводящих чрез первый, разобранный том. Озаренный в конце осеннеющим небом: «*Окрай неизвестных дорог... Здесь горит осиянный чертог*»[159] — золотой, сентябреющий; «*Светлая в мире пора*» — начинается новый этап — «*Тишина умирающих злаков*»,[160;*] иль — тот же сентябрь; от июня течет первый том; и *октябрь* — центр второго.

Лишь в тоне золота пересекаются томы; но золото — разное; в первом — воздушное; и застывающее металлами (46), тканями (25) — во втором; так «*окрай*» осиянных дорог здесь лишь — занавес; на нем крупные надписи: «*Золотистая осень разлук*», «*Золотая порфира*» (7), «*Осеннее злато*» (24), «*Золоторунная грусть*» (51) и «*Тяжелое золото*» (95); занавес — стилизован: и нарисованы: облако золотое — «*шишак*» (9); солнце — «*шлем воина*»; много металлов; обилие меднобронных доспехов: здесь — шлемы и латы; щиты и мечи; в первом томе щит — «*солнце завета*»; мечи же — лучи; здесь обратно: и солнце — «шлем воина» (46); и — «*закат оловянный*» (161); и месяц, как «*шлем*» (54); снова — «*шлем*» (36), «*шлем*» (119), «*на шлемы*» (216); опять — «*из-под шлема*» (37), «*шлем воина*» (46). Сколькие «*шлемы*?»

И — сколькие «*латы*», «*щиты*» и «*мечи*»: «*щит*» (71), «*к щиту*» (36), «*щит упал*» (37), «*меч*» (37), «*мечи*» (72), «*лат*» (71), «*в... кольчуге*» (71), «*в доспехе*» (118) и «*латы*» (155) и..; и — так далее; сколько доспехов! Где рыцари? Спят: неподвижно; один прислоняся «*к щиту... увязил долговязую шпору*»; и —

«Чуть блестят *золотые венцы*
Скандинавских владык». (33)

Вот недвижные «*латы*» (155), а обладатель их — «*статуя*».

Все — нарисовано: «*злато*» есть занавес, отделяющий том второй от «*межи золотой в бездорожье*», дорога уткнулася здесь в бездорожие, но в ином вовсе смысле; дорога — пространство; а занавес — плоскость; пред ним медногласый оркестр: много меди; само слово «*медь*» повторяется: «*медный*» (46), «*медь*» (55), «*медью*» (48); и это

---

* В скобках страницы второго тома по изданию «Слова».

оркестр: «*медь*» — «*поет*» (48); и опять: «*голос меди*» (216); «*скрестила мечи*» (72) — звук литавров: фанфары; фанфарные выраженья (они пропадают; они — увертюра пред действием): «*Волосы ночи натянуты туго на срубы и пни*» (13); тоже: утро — «*пустило стрелу*» (14); и «*вечерняя прелесть*» аллегорически «*увивает*» вечерние «*руки*» (15), а День (с большой буквы) аллегорически их заламливает (70); появляются трубачи «*черной ночи*» (70); читатель: великолепнейший латоподобный закат, *аллегории* завеси — быстро взлетит: пропадет «*голос меди*»; «*трубач*» — перестанет играть; и *ландшафт* нам предстанет за завесью.

Вот и взлетает: «*где золотистая осень разлук?*» Пролетела, отвеяна? Солнце, «*Шлем воина*» — где? Оно убрано: вот так закат! Он — полоска; такой вовсе не было; здесь: —

— «*полоскою алою*» (90), «*на полоску зари*» (37), «*на закате полоской*» (31), «*полоска зари*» (39), «*полоса*» (19); и опять: «*над полоской*»; и — далее. —

— С этой *полоски* зари — начинается действие; «*медные светы*», аллегорически скрещенные с *мглы мечами*, живые для первого тома, — исчезли с подъятием завеси; ново для Блока (совсем неожиданно!) — нет ни света, ни тени: одна светотень; и проходит одно слово в книге, и — *новое*: «*серый*»;

серы —

— Что не серо? —

— Серы: паруса корабля (45), в *сером* сне маяки (45), прибережные камни (45), «*чело*» (110): в *сером* вечере (92), в *сером* дне (164), в *сером* утре (153) и в городе (162), где — все прохожие *серы* (175), где *серая* пыль (163), пыльно-*серая* мгла (164), даль — *сера* (189), потому что и небо *серо* (189), дождь — ни белый, ни черный, — а *серый* (175); и он прибивает лишь *серую* пыль (163); «*дымно-сизый* старик оперся на костыль» (180); и «на *серые* камни ложилась дремота» (217); и мир — «злая» *про́серень*: «на всем... *серый* постылый налет» (153). Слово серый настолько отсутствует в первом томе, что, помнится, появление слова меня поразило:

День был бледно-серый, серый, как тоска...
Вечер стал матовый, как женская рука.[161]

Оно — всюду: не плоскость — пространство; и сквозь него-то — цвета; «*серость*» только налет на... опять новой краске для Блока; так

много ее: цвет — «*зеленый*»; и «*серое*» — *серо-зеленое*; «*серое*» — в воздухе; «*зелень*» же — твердости; и «*зеленый*», как мир: оно — всюду: —

— конечно же, «*зелены*» травы (21); конечно же, «*зелены*» — весны (109), как и всегда у поэтов; и «*луга*» там и «*рвы*» (124, 71), и «*глаза*» (108); но сравнительно реже — «*зеленые кудри*» (36), «*зеленые* колпачки» (11); не бывает *зеленых* цветов; а у Блока — бывают: «*зеленый* цветок» (32); даже твари — «*зеленые*» (14); выпархивает «*зеленая*» искра (20), и месяц — «*зеленый*» (24), «*зеленые*» волосы (23); «*зелень*» — не зелень растительности: свет «*зеленый*» (14), выкидываемый *серым* миром: «*зеленые*» сумерки (31) и «*зеленая*» мгла (19); эта мгла повторится: «в *зеленой* ласкающей мгле» (38); горят свето-тени «*зеленым огнем*» (101): — да, *зеленый*, но — огненный мир; оттого-то — «*зеленый, как мир*» (74).

Вглядываясь, открываем мы *третий* оттенок, опять-таки *новый*, — «*лиловый*»; где он в первом томе? А здесь: —

— «Свет

лиловый» (101), «*лиловые* скаты оврага» (9), «*лиловые* сумерки» (31); дважды: *лиловый* цветок (38, 31), «*фиолетовый* запад» (44), —

— вот сколько *лиловостей*! —

— *Серо-зелено-лиловое*! —

— Вот что впервые встречаем, когда поднимается занавес, изображающий «*золотистую осень разлук*»; *золотое* становится: *серо-лилово-зеленым*. Не смейтесь: цвета у поэтов — суть души: недаром же Гёте всю жизнь создавал световую теорию; стало быть: *серо-лилово-зеленое* есть выражение мира души.

Он — таков, как ландшафт; это *серо-лилово-зеленое* складывается в болото; «*болото*» — четвертое новое слово: болота, болота! Мир прели и ржавчины! Мшистые кочки и мшистые пни; не сюда ли сбежал он с горы? И — сказал:

«Мое *болото* их затянет».[162]

Затягивает — в «*Нечаянной Радости*»: что за болотное место!

Смотрите же: —

— «Небо упало в *болото*» (29), «и пахло *болотом*» (30), «сижу на *болоте*» (38), «*болотное* зелье» (33), «*болотная* дрема» (33); и вот: «на *болоте*» (31); опять: «на *болоте*» (31), «в *болото*» (29), «*болото*» (20), «*болот*» (19), и «*болот*» (11), «по *болоту*» (31)

и «над *болотом*» (37), «в *пучине*» — болотной конечно (17); едва вылезаешь из «*тряского*» (17) места, которое называется «*пузырями земли*» —

— но куда?

В том и сила «*болота*», что — некуда деться; из «*серого*» города мы убежали; ведь небо там, по выражению Блока, —

— устав прикрывать поступки сограждан моих, упало в болото —

— коль небо над городом падает, сдернувшись, в эти «*болота*», — не в город же? Правда, есть земли, но — посмотрите, какие: —

— пустынные (9), мерзлые (53), жесткие (9) кладбища (85); «*скудной глины*»... пласты; опять-таки, — *комья* (98); и не поднять их плугами — (53); так не туда же? —

— Но море есть: ну-ка, попробуйте к морю?

«*Там буря застигла суда моряков*»;[163] и потоптавшись, — приходишь к *болоту*; и снова: «с *болотами*» (116), «над *болотом*» (128), «*болотный*» (128), «*болотный*» (128). И — шествуешь далее; флора болотная: пни, кочки, мох: «*пни*» (13), «*над кочкою*» (31), «*кочки и пни*» (18) и «*от кочки до кочки*» (30); «*мху*» (11), «*мохом*» (13), «*мхов*» (118), «*замшенный*» (123); замшенное — все; и «*окрестности мохом завалены*» (13); преет, ржавеет: метанные запахи! «*Гниль*» (163), «*плесень*» (134), пруд *зацветает* (73); и — «*ржавчина*», «*ржавую*», «в... *ржавом*» (11, 7, 34); страшно то, — что: это — аура душевного мира; еще хорошо, если плесень — на дереве, если ржавчина — травы; но — нет же: «*в тайник души проникла плесень*» (134); «исторгни» — он молится — «*ржавую душу*» (7).

Так *серо-лилово-зеленое*, складывая *болото*, бросает угар испаряемых газов, который ему представляется запахами «*лиловой*» фиалки; и он, одурманенный запахом газа, вещает «*в зеленой ласкающей мгле*» (в отравляющей мгле):

Слышу волн круговое движенье
И больших кораблей приближенье,
Будто вести о новой земле.[164]

В результате же он признается, что «*плесень*» проникла уже в тайники его жизни;[165] и, стало быть, прав был и я, когда Блок, уведя меня, взяв меня за руку, начал рассказывать миф о «*лиловом цветке*», за которым пошел он... в *болото*; как газом угарным, пахнуло тогда на меня! Мне бы, — звать его, с места сорвать; не подступишь, когда он уселся на кочке; и — стал проповедовать: «*Мне болотная схима — желанный покой*» (19); и читать с кочки проповедь: «Полюби эту вечность *болот*» (19). Если б стал его звать, про меня написал бы:

Когда он исчез за углом,
Нахлобучив картуз,
И оставил меня одного
(Чем я был несказанно доволен)... (30)

Прогнал бы, отправясь в избу:

Так сижу я в избе,
Рядом — кружка пивная
И печальный владелец ее.
Понемногу лицо его никнет,
Скоро тихо коснется колен,
Да и руки, не в силах согнуться,
Только брякнут костями,
Упадут и повиснут.

Кто, кто это?

Этот нищий, как я — в старину,
Был, как я, благородного рода,
Стройным юношей...

А теперь?

Вот обрывки одежды его...[166]

Но позвольте, к чему тут «*как я, — в старину*», «*был, как я*»; ближе к делу, без всякого «*как*», потому что тот нищий есть «*я*», о котором (себе) говорит он:

«*Нищий*, распевающий псалмы».[167]

А обрывки одежд его, — *аура* прошедшего:

Жалкие крылья мои —
Крылья вороньего пугала (10).

Это — двойник, издавна убегавший с горы — на *болота*, себя самого подозвавший туда, усадивший на кочки себя, с собой слившийся, так что действия двух половинок сознанья — одно теперь; и наблюдающий засыпанья другого становится — спящим, другим:

Цепенею, и сплю (37)

И во сне *исповедую* теософию *ржавого* места:

Болото — глубокая впадина... (20)

Впадина — небезопасная (есть такие: пифийская щель, например): газы болота (метаны) — вонючи; они-то и есть «*пузыри*»; Банко с Макбетом, здесь проходя в старину, увидали хохочущих ведьм;[168] но не сели на кочки: прошли, обратясь друг ко другу:

Земля, как и вода, содержит газы,
И это были пузыри земли.[169]

«*Пузыри*» — пар болотный; отсюда туман покрывает страницы «*Нечаянной Радости*»; слово «*туман*» так же часто, как «*серый*», «*зеленый*», «*болотный*»: туманы, туманы,

— туманы сознанья: —

— *дым* «с пруда» (14), «*туманов*» (13),

«*туман*» (14); иль: «*с туманом*» (17), «*туманные* полосы» (23), «расточала *туман*» (45), «*синим паром*» (84), в «*туманах*» (84), «*туманной*» (95), «*туманов*» (118), «в *тумане*» (126), «я в *туманах* бродил» (129), «сквозь *туман*» (116), «извечно *туманны*» (82), «*туман*» (81) и — «*туман*» (161). И — так далее: сколько угодно тумана; и — вопрошает с тоскливостью: «Кто рассеет *болотный туман*» (128), потому что он чувствует: это — «*зловещий... угар*» (43). Здесь Макбету и Банко являлися — *ведьмы*; и Блок здесь увидел старуху: *как мир стара, как лунь седа. Никогда не умрет, никогда, никогда* (73); и за ней — свита нечистей, элементарных стихий, или — нитей судьбы, передаваемой в руки тому, кто вперяется в образы *Лиха*; да, «*Лихо*» есть участь; старуха же — Парка: она представляет созна-

нию образы подсознания, чтоб человек мог прочесть свои *темные* корни, которые отрезают от зорь; тут — порог меж иными мирами и нашим; до этого места ведут, как дитятю; а с этого места — бросают; сознанию предлагается: прочитать знак судьбы. И Макбет здесь прочел: нет опасности; не пойдет, в самом деле, —

Бирнамский лес
на Донзинан.[170]

Но пошел-таки «*лес*»; да, «*леса*» — сходят с места стремительно: в миги судьбы; и леса — подсознание; в «*зорях*» — вершины встают Древа Жизни; в болотах видны обнаженные корни, сосущие влагу из недр: корни — карлики, чертенята; Блок видит их: —

— «*Нежить* вод» (11), «*чертики*» (14), «*попик болотный* виднеется» (15), «*старикашка...* запрыгал на пне» (17), «собрались *чертенята и карлики*» (14), «*кувыркаются, поднимают копытцами пыль*» (21), «*страшный черт ухватил карапузика*» (77); «*слышен зеленый двойник*» (77), (или бледно-зеленый): восставшее подсознание «*розово-золотого*» поэта; невидим, неслышим он в нас до явленья Старухи; и после он — слышен: «В полях отвечает *зеленый двойник*» и «гуляет в полях *Невидимка*» (183), «в полях хохотал *Невидимка*»; звук колокола: «Страшный *колокол* будет вам петь» (129), — «над болотом — *проклятый звонарь*» (128). Этот темный звонарь с нами связан: груз прошлого чувствовал тяжестью Блок («это — внутренний „*тюк*" его»); он в работе над ним, будет час, — и запросится к свету:

Скоро... чертик запросится
Ко святым местам (14).

А пока он — «*звонарь*»:

Я узнал тебя, черный звонарь (128).

«*Звонаря*» ощущали с С. М. Соловьевым и мы в роковое, тяжелое, революционное лето, когда все друг в друге не видели рыцарей, видели — призраков; мне С. М. все твердил полюбившееся двустишие:

Берегись, берегись, — над Бургосским путем:
Сидит один *черный монах*...[171]

Тот монах, над путем восседающий, — рок; когда чувство присутствия рока в С. М. подымалося, он — приходил: и, вперяясь в меня, говорил одно слово:

— «Бургосский!»

Он — «*черный, болотный звонарь*».[172] Но А. А. не всегда понимал степень грозности появленья «бургосского» (связанность нечисти — *с ним*), потому что «бургосский монах», про которого говорил он и прежде («*мой страшный, мой близкий — черный монах*»),[173] превращается в «*черного попика*»; и А. А. вместе с ним повторяет: «*душа моя рада — всякому гаду*»; о, — легкомысленное отношение к собственным «*недрам*»! Оно — и после скажется при появлении Командора и Темного Сэра;[174] «бургосский» приходит позднее: с расплатой за «*игры с ним*»!

Катастрофа, увы, — не до дна потрясает поэта; и оттого-то она — не до дна и минует его; и становится — затяжной катастрофою, выражаяся — в лейтмотивах «*Возмездия*», над которым скончался поэт.[175]

Банко с Макбетом после явления «*ведьм*» порешили:

Вода, как и земля, содержит газы.
И это были — пузыри земли.

К сожалению — нет; образ «*ведьм*» вызывает тот пласт подсознанья, который отныне сопутствует: это «*стихии*» в нас; Макбет отдался им: ведь не пойдет же, в самом деле, —

Бирнамский лес
На Донзинан.

Он — пошел.

Блок считает, что образы попиков лишь «*поседелых туманов развалины*», или, быть может, переработка от восприятия альбомчиков Т. Н. Гиппиус, рисовавшей в огромном количестве «попиков» (знаю я: те альбомы А. А. с удовольствием долго рассматривал, очень любя их; и после уже появились в стихах его все персонажи набросков Т. Н.);[176] не увидел до дна всё «*неспроста*» в сложении дымки туманной так именно, как слагалась она в его мире души; это «*плесень*» — не только болотная:

В тайник души проникла плесень (134).

И все потому, что Она «*отошла без возврата*». «*Закатилась Ты с мертвым Твоим женихом*» (19); наступила «*зеленая мгла*». «Будь

ночлегом, зеленая мгла» (19); и «*болотная дрема*... текла» (33). Банко с Макбетом — скоро выходят из места туманов; А. А. — сел на кочке: «*зловещий угар*» здесь поверг в очарованный сон, где пути достижения подменились лишь грезой о прошлом: «Мы прожили долгие жизни» (67), «в старину был, как я, благородного рода» (35); сердце «*прошлому радо*» (72); достоинство прошлого (рыцарство) — здесь, в этом томе, музей: лат, мечей и щитов; не наденешь их сызнова: «*Миновали сотни и сотни лет*» (73), «*плакал... о том, что никто не придет назад*» (89); «*нить какая-то развязана, сочетавшая года*» (93). Но отсутствие прошлого есть испытание: прошлого не было; прошлое — только стремленье к духовному миру; вход — в нас: через встречу с «*бургосским*», победу над ним; но А. А. — отступает в картину воспоминанья того, чего не было; это — лохмотья былого, иль «*крылья вороньего пугала*» (10); рыцарский шлем есть колпак, а шишак — бубенец (11); и «*я нищий бродяга*» (33); я — «*забинтован тряпицей*» (мотив «*Балаганчика*»), «*душу разбил пополам*» (44),

Или я, как месяц двурогий,
Только жалкий сон серебрю,
Что приснился в долгой дороге
Всем, бессильным встретить зорю? (47).[177]

И потому-то:

Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и смешно (134).[178]

Здесь — разбросан туман; проступает везде обыденность, которой ведь не было в «*золотистой лазури*»; туман — не рассеялся; наоборот: он — сплотнился; «бургосский», неузнанный стал вороватым хозяином, сдавшим квартиру с такими сквернейшими стеклами, что, как посмотришь, увидишь лишь: «*Стены фабрик, стекла окон, грязно-рыжее пальто*» (162), иль «*ко всему приученный... диск*» (198), «*вереницы зловонных телег*» (192), или — «*складка рубашки*» и «*серый постылый налет*» (153), «*углами... мебель... окурки, бумажки*» (153), «*опрокинутые кадки*» (160); природа — такая же: «*Над равниной мокрой торчали кочерыжки капусты*» (30), «*на пригорке ле-*

жит огород капустный» (94); словом, «*лес*» прозаической неподвижности: он — не пойдет: —

— Бирнамский лес
На Донзинан.

Он — пошел: в «*Страшном мире*».

Не знаю болезненнее, иллюзорнее прозаического реализма, здесь, там выступающего из тумана «*Нечаянной Радости*»; да, «*прозаический реализм*» — сам туман: ноты пьянства: «*сижу я в избе. Рядом — кружка пивная*» (35); «гадалка... швырнет... свой *запой*» (48); «буду слушать голос Руси *пьяной, отдыхать под крышей кабака*» (85); «и *пьяницы*, с глазами кроликов, „In vino veritas!" кричат» (199), «ты право, *пьяное* чудовище! Я знаю: *истина в вине*» (200); «взволнованный *вином*» (201); «и на щеке моей блеснула, скатилась *пьяная слеза*» (205); «авось ты не припомнишь мне, что я увидел *дно стакана*», «*топя отчаянье в вине*» (206); «*у пьяного поэта* — слезы, у *пьяной* проститутки — смех» и т. д.

Надо всем поднимается веянье омертвения; смерть, — тема тем: —

— мертвенеет пейзаж:

«*Мертвый* месяц беспомощно-нем... Знаю — сморщенный лик его стар» (43); «Мне привиделась *Смерть*» (45); «*похоронные звуки... часов*» (46); «*смерть* летит» (69); месяц встал «*мертвым глазом*» (70); и «*смерть пришла*» (73); «старость *мертвая*» (83); даже земля: обнажает лишь «*кладбища*» (85); злак тоже — «*мертвый*» (94); глаз — «*мертвый*» (100); и — мертвый опять (138); «*даже рифмы нет короче глухой, крылатой рифмы: смерть*» (139). Эта мертвенность — в нем: «Ты оденешь меня в серебро и когда *я умру...*» (43); «*мой саван плотен*» (41); «кто *у гроба* в час закатный?» (52); «слаще боль и *ярче смерть*» (69); «дай мне спокойно *умереть*» (74); «я буду *мертвый*» (140); «*мертвец* — впереди» (44) и т. д.

Смертью кончаются темы «*Нечаянной Радости*» до «*Снежной Маски*». Заглавие книги казалося мне — кощунством в те годы. Сам А. А. в нашей схватке казался мне мертвым. И был я не прав в легкомысленно внешней оценке «*Нечаянной Радости*»; смысл ее — в целом; она — антитеза; она объясняется в синтезе третьего тома: в России.

«СНЕЖНАЯ МАСКА»

О, как удивителен переход от «*Нечаянной Радости*» к «*Маске*», где в самой пучине погибели — новая радость.

В «*Нечаянной Радости*» новы и краски природы, — и краски души по сравнению с первым томом; и то же по отношенью к «*Нечаянной Радости*» — в «*Снежной Маске*». — Опять перемена: в эпитетах, в ритмах, и в звуках, и в красках; там — «*золотистая осень разлук*» есть связующий центр меж томами; здесь — ветер, поднявшийся быстро в «*Нечаянной Радости*», переметающий в «*Снежную Маску*» и крепнущий вихрем и холодом: дождик, не надо накрапывать! Ей, развевайся туман! Уже сыпался снег по пространству «*Нечаянной Радости*». Он теперь здесь — метелица; ветер имеет свой звук: это — глас роговой, сотрясающий ночь; нет болота, полоски зари, лиловато-зеленого тона, тумана и серости; слово «*серый*» исчезло в ночи черно-синей; и — синей — стихия, соединившая три этапа, — вода — как она изменяется!

Мы живем в старинной келье
У разлива вод:
Здесь весной кипит веселье.
И — река поет.[179]

В стихотворениях первых вода разливается: вешняя, шумная, чистая; в «*Нечаянной Радости*» она преет в затонах, в запрудах, в болотах, иль бесится бурею в море; в «*Снежной Маске*» она — снег, лед и прорубь, струящая пар (247); она — скована льдом (247); и — «*злая вода*» (228); и, опять-таки, — «*злая*» (247); воды-то и нет: снег и лед; все — меняется; ветер меняется тож; поднявшийся в серых туманах «*Нечаянной Радости*», — затрубил рогом он, взвился вихрями в ночь; ветер вспыхивает не сразу в «*Нечаянной Радости*», а приблизительно, — с середины, крепчая к концу: —

— «*Трепли волосы*» (59), «*ветер... пьяный*» (59), «*раздуй паруса*» (59), с ветром борешься (60), «*ветер ломится*» в окна (223), уносит дымки из трубы (209), «с легким треском рассыпался *ветер*» (91), просторами «*гнет*» он «*кусты*» (85); и порой оснежается: «*Ветер! О, снежные бури!*» (217). —

— Таков он в «*Нечаянной Радости*». В «*Снежной Маске*» —

— еще того чище: —

— «*взвихрил*» он снега (235), «*звезды гонит*» (263), и тучи срывает с небес (264); все срывает; он «*бросил нас в бездну*» (233), «*звезда... понеслась*» (234) в «*вихри снежные*» (235) северной ветреной ночью (245). В «*Нечаянной Радости*» он — охватывает; здесь он схватывает все, что есть (звезды, тучи, снежинки, поэта); и — гонит: в бездны; несется стремительно в ночь все, что есть: небеса, звезды, маски, обличия, милая, — все несется; динамика — невероятна; спирает дыханье: —

— «*Мгла взвилась*» (228), «*Мы летим*» (228) там, где искры несутся (233), «*взвилась*», «*сорвалась*» (234), «*уносились*» (235), «*настигла*» (233) и «*опрокинула свод*» (233); «*и звезда за звездой понеслись*» (234); и *неслися* «года» (234), и «*летели* снега... *налетающей* ночи» (236), «*и мы понеслись*» (236) «*лететь стрелой... в пропасть... звезд*» (243), «*улетел*» (254), времена «*быстролетны*» (254), «*летели*» (261), «ладьи... *пролетели*» (241), «*летите*» (244), «*лети*» (245), «*настигай*», «догони» (247); полет переходит в безумие повелительных наклонений и в требование бросаться туда и сюда в бездне звездной: —

> — «*Глядись, глядись*» (233), «*обрати*», «*опусти*», «*укроти*», «*закрути*» (237), «*вейтесь*» (238), «*плывите... вздохните*» (238), глаза «*опусти*» (240), «*дай*» (242), «*пробудись*», «*исцелись*», «*покорись*» (244), «*оставь*» (249), «*прости*» (251), «*восстань*» (267) —

— совершеннейшее безумие повелений безумствовать, переходящее в угрозу:

Рукавом моих метелей
Задушу.
Серебром моих веселий
Оглушу.
На воздушной карусели
Закружу.
Пряжей спутанной кудели
Обовью.
Легкой брагой снежных хмелей
Напою.[180]

И остается одно: «лететь стрелой... в пропасть»; и все — пролетает; и — носится в пропасти, перегоняя друг друга; «колеблемый вьюгами Рока, я взвиваюсь, звеня...»[181]

Вот и двинулась обыденность; пошел —

Бирнамский лес
На Донзинан.

Вьюги Рока подкрадывались в «*Нечаянной Радости*»; в дальних полях хохотал «*Невидимка*»; ну вот и подкралися; и Невидимка теперь обнаружит свой лик: снимет маску; но маска та — «*мир*»; мир стал снежною маскою; весь перевеян он бурей снежинок — куда?

И снежных вихрей подъятый молот
Бросил нас в бездны... (233).[182]

То — молоты Рока, которого звуки еще раздавались в «*Нечаянной Радости*» издали голосом *меди* и звоном с болота.

Звезда за звездой
Понеслась,
Открывая
Вихрям звездным
Новые бездны.[183]

Вскрывается смысл роковой неизбежности: смысл — не земной, хотя Рок ударяет нас глыбою земляною; смысл — бездна небесная:

Открылась бездна: звезд полна.
Звездам числа нет: бездне — дна.[184]

Так из бездны небесной извечно сметаются бури метельные млечных путей, осаждаясь туманом зелено-лилового газа; и покрываяся пеплом того прозаического реализма, в который едва не поверил А. А.:

Все, все по-старому, бывалому
И будет, как всегда...

Или:

Да и меня без всяких поводов
Загнали на чердак.
Никто моих не слушал доводов,
И вышел мой табак.
Давно звезда в стакан мой канула, —
Ужели навсегда?[185]

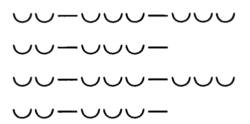
Звезда Духа, когда она канет в стакан, то расплавится тотчас стакан в брызги мысли; за ним — и «чердак, дом, двор, улица, мир»: «*Маска Снежная*» — взрыв оболочки от бомбы («*Нечаянной Радости*»); все полеты — стремительное расширенье трагедии — в Дух!

. . . .

Та динамика дана нам на стремительных, ослепительных ритмах; слова о полетах летают на легких крылатых хореях, которыми Блок не владеет еще в «*Нечаянной Радости*»; здесь — владеет хореем; крылатый хорей (—∪—∪∪) у Языкова, загалопировав, переходит порой в пэон третий (∪∪—∪∪∪—∪); и тоже у Блока:

И неслись опустошающие
Непомерные года,
Словно сердце застывающее
Закатилось навсегда.[186]

Конечно же то — пэон третий:



Великолепно везде контрастирует дактилохорей с ямбо-анапестом. А хорей иногда крепнет в кретик (—∪—):

И струит мое веселье
Два луча.[187]

Доминирует явно хорей: им написано до двадцати стихотворений (и — шесть только ямбов; анапестов, амфибрахиев, дактилей — нет).

Интересна на всем протяжении смена размеров; в стихах «*О Прекрасной Даме*» доминируют *ямбы* в двудольниках и *анапесты* (средь трехдольника) (37 стихотворений анапестических и 105 ямбических); среди них доминирует четырехстопный ямб (61 стихотворение) и трехстопный анапест (до 26 стихотворений); 40 стихотворений написано смешанным ритмом; 17 стихотворений есть дактиль; и только 5 амфибрахиев.

В «*Нечаянной Радости*» изменение в соотношеньи размеров; количество стихотворений со смешанными стопами — все то же; значитель-

но убывают тут ямбы (72 стихотворения); хорей — неизменен; но убавляется дактиль, анапест на счет амфибрахия, редкого в первом томе. В «Снежной Маске» доминирует победоносный крылатый хорей, который становится «*блоковским*», как анапест и ямб в первом томе. До «Снежной Маски» хорей — не для Блока.

. . . .

Слово новое — «*вьюга*», «*метель*»; слово «*вьюга*» проходит на следующих страницах (227, 232, 233, 238, 238, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 257, 263, 265, 265, 267); и слово «*метель*» — так же часто встречается: «*Нет исхода из вьюг*» (267); и опять: «Нет исхода из вьюги *певучей*» (249); у ней — *роговой* громкий голос: «звучали *рога*» (235), иль звенели «*рога*» (236), иль «поют *боевые рога*» (250), «слушай *трубные* звуки» (251), «гуляет... *трубач*» снеговой (247); слово «*снег*» шестьдесят раз проходит на сорока лишь страницах. Здесь какое-то исступление повторений: взрыв слов!

. . . .

Этот взрыв — разрыв косного мира, беззвездно-безбездного, серого — в *бездну звездную*; слово «*бездна*» — повсюду теперь: —

— «*в бездну*» (233), «*над бездной*» (231), «над *бездной*» (237), «над *бездной*» (253), «в *бездне*» (256), «в открытых *безднах*» (264); словом: «летим в миллионы *бездн*»; тоже со звездами; их — так много (стр. 228, 234, 234, 237, 238, 241, 248, 250, 250, 253, 263, 263, 264).

И все оттого, что она —

> Дева пучины
> Звездной (250).[188]

Кто Она? Незнакомка «*Нечаянной Радости*»? Клеопатра? О, нет, — скорее, Та, о Которой сказал Соловьев:

> Ты непорочна, как снег за горами.
> Ты многодумна, как зимняя ночь.
> Вся ты в огнях, как полярное пламя,
> Темного Хаоса Светлая дочь.[189]

Вот кто встретил А. А. в буревом взрыве рока, когда он был брошен стремительно — в бездну; уже подымается голос царицы водоворота небесных пучин: «*Твой* голос слышен...» (241), «*Ты* ли?» (242), «*О, настигай, о, догони*»; вот — Она:

Из очей ее крылатых
Светит мгла.
Трехвенечная тиара
Вкруг чела.[190]

Она говорит:

Глядись, глядись,
Пока не забудешь
Того, что любишь (233).[191]

А он любит теперь не Прекрасную Даму — болото, фиалку, «*испытанных остряков*» с островов:

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз (221).[192]

Хорошо все забыть; но — вот: взгляда не выдержишь: «Нет заката очам твоим звездным» (249), и — «опусти глаза твои» (240).

И когда со мной встречаются
Неизбежные глаза, —
Глуби снежные вскрываются... (229).[193]

Ты опустила очи,
И мы понеслись (236).[194]

Куда же летят? Да из жизни: то — смерть.

Вот меня из жизни вывели
Снежным серебром стези (266).[195]

Вместе с гибелью образы рока, давящие образами *черных монахов, попов, звонарей, невидимок не давят*; «*оттуда*» — сюда они давят; «*там*» это лишь — тени, лишь черные маски, пролеты из снега ночной темноты; превращение «*нечисти*» в маски меняет гнетущее чувство в крылатое; все мы лишь маски; мир — «*снежная маска*»; и появляется лейтмотив маски:

Так смеется *маска* — *маске*...
Маска к *маске* обратясь (254).

Тихо шепчет *маска* — *маске*
Злая *маска* — *маске* скромной (254).[196]

«И она внимает *маске*» (255), «и какие хочешь *маски*» (257), «в темной *маске* прорезь... глаз» (256), «странны были речи *маски*» (262), «возврати мне, *маска*, душу» (265), «ветер *масок* не догнал» (264). Всё — маски, маски. Это — тени *темной* ночи:

И еще *темней* — на *темной*
Завеси окна
Темный рыцарь... (254).[197]

Но «*темный* рыцарь — только снится» (254). То — оставленный *двойник*: порог перейден в смерть. Встреча в бездне звездной — с Маской масок: с мировой душою; нет в ней страха, все — крылато: «птица вьюги *темно-крылой*» (242), «осенившая *крылами*» (240), «и *крылатыми* очами смотрит высота» (268). То крылья взлета в Мир иной; и легкость, легкость: «*легкие* тревоги» (238), «крылья *легкие* раскину», «крылья *легкие* дала» (270); то крылья — в смерть и в гибель: «*горе светлое* мое» (265) и «сердце *хочет гибели*» (266), и весело «*погибнуть*» (267), и «веселится *смерть*» (247). Она — лишь Маска масок:

И под маской — так спокойно
Расцвели глаза — (263)[198]

— Что —

Я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели (262).[199]

Она же — «сладко в очи посмотрела»; и уж — «на завеси оконной золотится луч, протянутый от сердца» (265); и Она говорит: «от дремоты исцелись» (244), «к созидающей работе возвратись» (244).

И приветливо глядит на меня:

— Восстань из мертвых! (267)[200]

Чудесная метаморфоза: «Как труп в пустыне я лежал». Она же, Смерть —

Золотистый уголь в сердце
Мне вожгла (245).[201]

Да, это та, про которую Соловьев говорил:

> Ты непорочна, как снег за горами.
> Ты многодумна, как зимняя ночь;
> Вся ты в огнях, как полярное пламя,
> Темного Хаоса Светлая дочь.

Так пройдя испытание смертью, поэт восклицает уже за порогами «*Снежной Маски*»:

> О, весна, без конца и без краю —
> Без конца и без краю мечта:
> Узнаю тебя, жизнь, принимаю
> И приветствую звоном щита...[202]

. . . .

Перебои в тональности образов, красок и ритмов от первого тома к второму не станут понятны без знанья душевно-духовной действительности и без учения гностиков, где вскрывается энтэлехия[203] Духа чрез силы сознанья — в культуру, в природу материи даже, которая — выделка Духа; припомним Владимира Соловьева, указывающего на систему Великого Валентина: «*Величайшее достоинство Валентиновой системы,* — гласит Соловьев, — *состоит в... новом метафизическом* (*хотя облеченном в поэтическую форму*) *взгляде на материю. Древняя мысль знала... два представления о материальном бытии: или... это бытие являлось лишь субъективным признаком, обманом духа; или же... материи приписывалась самостоятельная реальность. В Валентиновой же системе впервые матерьяльное бытие... определяется... как действительный результат душевных изменений*».[204] София в учении гностиков — эон, которого изменение положений в *плэроме* рождает духовные бури; итог, — появление мира материи, как prирощенья духовности; вся мировая история — часть биографии этой Софии, падение, распаденье ее, возвращенье, смещение сфер, разделение, — все отражает поэзия Блока, так точно, как в грань бриллианта внедряется солнце.

Вот образ Софии в ученьи египетских гностиков, валентиниан: глубина, первый эон, протягивает свою цепь, как паук, выпрядающий нить паутины; София — последний (тридцатый) из эонов страстится зреть глубину, нарушает первичное равновесие эонов, бросившись в бездну, где нет еще мира, но где будет он — отразителем, впечатлителем жизни *плэромы*, как миг озаренья сходящей Софии:

В свете немеркнущем Новой Богини
Небо слилося с пучиною вод.

Что было в извечном, — потом отразится на циклах культуры; сверженью Софии оттуда ответствует здесь: ощущенье Сошествия:

Знайте же, Вечная Женственность ныне...
на землю идет![205]

Биография Человека построена так, как он сложен идеями; озаренье Софией сознания, иль — инспирация, — память о бывшем, о сущем, о вечно грядущем:

«*Предчувствую!..*»

Вся *лазурь золотистая* Блока — предчувствие; но: —

Изменишь облик Ты![206]

Павши в бездну, София не зрит Глубины; потому что Ее — ограняют пределами; и — выделяют Ею страсть ее — в место мира, который появится, как воплощение страстных томлений Софии; это — Дочь Ее, Ахамот,[207] плачет — в томящемся мраке; Софию же вновь водворяют в *плэрому*;[208] что было в до-мирном, — потом повторяется; мигу рождения Ахамот явно ответствует изменение Лика: является «*Темного Хаоса Дочь*». Вознесенью Софии ответствует: — померкание инспирации.

Вся биография наша построена так, как она промышляема в мире идей; и момент ухожденья Софии — повтор для культуры души:

Ты — в поля отошла без возврата!
Да святится Имя Твое.[209]

И — плач Ахамот в темени оплотняется образом косного мира; Она — Душа Мира, а не София Небесная (та есть Царица, а эта — Царевна). Из слез пролитых — вытекают моря; из скорбей ее — земли; и демоны (*попики, звонари, невидимки*) — от страха Ее; образ мира есть образ душевный, который всегда — до материи; это последняя — интерференция образов; имагинация — ткань инспирации; Ахамот — в метаморфозе; а Мать — в неподвижно над-образном; Ахамот — море движения, водоворотов и вьюг; мне в письме называет Ее

Блок Астартой:[210] и он — ошибается; образ Астарты — аспект средь аспектов Ее.

К ней нисходит Христос (не Иисус — по учению гностиков принципы эти разделены: на Иордани лишь был осенен Иисус Духом Логоса); действие Логоса возжигает в Ней родину: образ плэромы, где — Мать; из улыбки Ее начинает светить свет физический; в ней возникает стремление ввысь, как у Матери некогда было стремление вниз; и стремленье — космический Ум, Демиург; Параклет[211] просвещает Ее; сочетанье стремлений двойной Ее сущности (темно-светлой, демиургически-хаотической) есть человек; он есть «*век*», иль слепое течение времени; он же — Чело; и борьба обостряется в нем; биография, отражая собой Душу Мира (Имагинацию), в ней отражает Премудрость; в самосознании — расплетаем сплетенья космической пряжи и нити ее возвращаем в мир Духа; высвобождаем мы Ахамот: в миг, когда все поймут пневму,[212] София Вторая в *плэроме* появится. Здесь исхождение мира — роман; и в любви романтической проницаем мы тайну творения мира, но не любви в нашем куцом, бескрылом, безогненном смысле; любовь до конца совершенно конкретно-гностична; она — не раскрыта; в Любви друг ко другу доходим до Ахамот; Ахамот — Дочь: дочь Любви. Коль София — Премудрость, Душа Мировая — Любовь; но внести в нее свет может гнозис, мы в нем претворяем и Ахамот. Встреча с Софией поэтому через Любовь; так разумное просвещенье Любви в опознаньи духовных законов пути просвещения; пресуществляя любовь в человеческих отношениях, — распахиваем природу материи; и семеним ее Духом; последние тайны любви — в коллективе, в мистерии; и Соловьев в сочинении «*Смысл любви*» говорит:

«*Как в любви индивидуальной два... существа... служат один другому... положительным восполнением, точно так же должно быть во всех сферах жизни собирательной... Необходимо изменить отношение человека к природе... установление истинного любовного, или сизигического отношения человека не только к его социальной, но и к его природной и всемирной среде — эта цель сама по себе ясна*». И далее он говорит: «*истинные поэты всегда оставались пророками всемирного восстановления жизни*».[213] И приводит отрывок из Фета:

Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.[214]

Блок — выразитель любви, о которой еще не умеем мы внятно сказать; и — в любви его, личной, открылась Любовь: и в Офелии он увидал Беатриче, в которой — Царевна, скликающая параклетовых птиц; в Ней же — Та, о Ком нет уже образов: Ту называем Премудростью; Блок повторил в биографии быта душевного всю биографию переживаний гностических: снисхождение, томленье, восход, появление Ахамот, встречу с Ней в безднах; понятно его потемнение *золотисто-лазурного мира* через *серо-зелено-лиловое* — в ночь: то — отход, безвозвратный, Софии; а *попики*, *марева*, *зелья* «*Нечаянной Радости*» — страхи томящейся Ахамот, или Царевны Царицы, Которые переходят в свист вихря, в метелицу звезд; но гностический смысл, в нем отживший, — с ним связана Ахамот: он обусловит возможность вернуться в плэрому. И «*Снежная Маска*» — второе свидание: с Ахамот!

Третье свидание — встреча с Россией: об этом свидании — речь впереди.

. . . .

Поразительно: как повторяется в лирике Блока лирическая философия Валентина: до мелких штрихов! В стихотворении, например, «*Царица смотрела заставки*», великолепном по образам, вы ничего не поймете: зачем здесь Царица, какая такая; и почему здесь подчеркнутое противоположенье Царевны Царице, пока не поймете: Царица — Премудрость, Царевна же — Ахамот:

Царица смотрела заставки —
Буквы из красной позолоты.

Так ей — полагается:

Протекали над книгой голубиной
Синие ночи Царицы.[215]
. . . .
Отворилось облако высоко
И упала Голубиная Книга.

Все — так: и цвета (золотой, синий) — традиционные цвета Мудрости:

У Царицы *синие* загадки
Золотые... заставки.

Иная — Царевна:

Царевне так *томно*...

Томленье сопутствует Ахамот; но к ней слетит Параклетова белая птица: слетает:

А к Царевне с вышки голубиной
Прилетели белые птицы.
. . . .
И плескались белые перья...
. . . .
...Из лазурного ока
Прилетела воркующая птица.

Но «*око*», которому вся протянулась Царевна — из нашего «*окна*» понявшего *синее око* стезею гностической ⟨так!⟩; да, загадан «*духовный роман*» меж Царевной и гностиком: и Царевна — Невеста; она —

Твои числа замолит, царица.[216]

Опять — почему? Лишь тогда, когда Ахамот в нашем сознании перенесется в *плэрому*, окончится мир, мировая история, или последствия неравновесия некогда падшей царицы.

Смотрите, во что превращаются образы Блока, когда подойдете вы к ним с ключом гнозиса. В каждом отрывке о Ней можно увидеть, о ком идет речь: так:

«Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер. В Тебе — спасенье!»[217]

Кто? София. А это?

Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять... всплыла.[218]

Ахамот!

. . . .

От первого тома ко второму описана драма схожденья Софии, Ее изменение в Ахамот, переплотнение в косность скорби; да, да: разложение образов Духа в гнетущую карму тяжелого материального мира — суровый закон; бессознательно Блок дает формулу подтверждения истины жизни.

ПРЕДСТОЯНИЕ ПЕРВОЕ ПЕРЕД ПОРОГОМ

Вооруженье сознания предохранило бы рыцаря от подмены; а то разложенье — закон. Рыцарь, ранее сроку поднявший свой меч, — Арлекин.

Он мечом деревянным
Начертал письмена.
Восхищенная странным,
Потуплялась *она*.

Восхищенью не веря,
С темнотою — один —
У задумчивой двери
Хохотал Арлекин.[219]

Дверь — пороги духовного мира, к которым нет доступа; здесь, у порогов — разбитие образов; образы света становятся ночью; и далее — нет их.

Несуществующих шагов
Тревожный шорох на дороге.
Холодная черта зари,
Как память близкого недуга,
И верный знак, что мы внутри
Неразмыкаемого круга.[220]

Это — образы первого тома: второй лишь выводит последствия; имагинация воды, у тайны порога нам должно разбить; если нет, — то они загнивают, как воды болота; буйственности имагинации — буйственность крови, завившей в струе инспираций, озонного, горного воздуха; надо уметь отделиться от крови, всегда заслоняющей *пневму* моделями физиологических кореллатов; и образ духовный дробится в безобразность отвлеченных понятий (в «*неразмыкаемый круг*») и в «*болото*»:

Мое болото их затянет:
Сомкнется мутное кольцо.[221]

Посмотрите ж: Царевна покатится вниз; вот — наклонная плоскость ее превращений: она обернулась волшебницей; *белые птицы* — лишь вьюга:

Ты в *белой* вьюге, в снежном стоне.

И «*Белая*, Ты в глубинах не смутима» — где, где? Вот навстречу выходит лишь девушка, сопровождаемая *белой* ладьей (белый цвет — Параклетов):

За тобой — живая ладья,
Словно *белая лебедь плыла*.[222]

Белое сходит на землю *ладьею и платьем* (в горах оно — трепеты *света*). Там —

Вдохновительное молчанье,
И скрыты помыслы твои,
И смутно чуется познанье
И дрожь *голубки и змеи*.[223]

Как у Владимира Соловьева:

Нашу голубку свяжите
Ярыми кольцами древнего Змия.[224]

Связыванье «*Царевны*» явленьем — закон, точно ведомый гнозисом: здесь приставляется Фафнер к Брунгильде;[225] здесь *ярые кольца* — «*огни*» (заклинание огней). «*Она*» — «я любил твое *белое* платье, утонченность мечты разлюбив»; где же птица из Синего Ока?

Очертание *белого* стана.[226]

И платье здесь — «*белый намек*»* (138) на плескание белоперого света; остался лишь «*белый цветок*» (138). «Безысходно туманная ты предо мной затеваешь игру» (133); она — связана кольцами Логе-Люге:[227] «*Голубке* привольно в пламенных кольцах» (Вл. Соловьев): спит во лжи:

* Разметки здесь по первому тому издания «Слово».

Как ты лжива и как ты бела,
Мне же по сердцу белая ложь.[228]

Не по сердцу ложь Зигфриду, вырвавшему Брунгильду из царства огней; он есть «*Я*», самосознание, вооруженное мечом, или гнозисом; вооружения нет у А. А.; и великое совершить — нет, нет: «Будет день — и свершится великое, чую в *будущем* подвиг души».[229]

В настоящем поэтому — разложение образа Ахамот, или Царевны-Голубки, в просто безликую и в просто девушку безысходно туманную, белую, сонную, лживую; развоплощение в безобразность Ночи, и оплотненье в «*как все*».

Ты покоишься в *белом* гробу.
. . . .
Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой.
Остальное — бездонная твердь
Схоронила во мгле... (245).[230]

Разделение в образе Юной Голубки — отчетливо: лейтмотив темы Ахамот гармонически расслоен.

Во втором томе эта Белая Голубка уже является *королевной забытой страны*:

Королевна забытой страны,
Что зовется Ночною Фиалкой.

Но то — «*аллегория*», которой украшена «*некрасивая девушка*»:

Некрасивая девушка
С неприметным лицом.
. . . .
И еще я, наверное, знаю,
Что когда-то уж видел ее,
И была она, может быть, краше,
И, быть может, грустили когда-то,
Припадая к подножьям ее,
Короли...*

* Ночная Фиалка.[231]

Посерела Голубка, имагинация, не отвергнутая у *порога* законом пути; «*умирает совсем некрасивая девушка*»:

Она веселой невестой была,
Но смерть пришла. Она умерла.[232]

Ярость древнего Змея над Нею исполнилась: «*пьяный красный карлик*», не дававший проходу ей («*девушке страшно*»), совершает «*ужасное дело*»: «*Безобразный карлик занят делом*». Совершив *это дело*, ее покидает: «*Плывут собачьи уши, борода и красный фрак...*»

«*Девушка... очнулась от сна...*» «*Стыдно возвратиться с дьявольским клеймом*».* Паденье Голубки — в замене в ней белоперого трепета *белою* ложью красивого *белого* платья:

Моя невеста картонной была.
(«*Балаганчик*»)[233]

Белое через все просеренья становится *черным*. И это — предвидено: стихотворенье, выражающее надежду словами «*наутро ввысь пущу мои крики, как белых птиц*», обрывается:

До утра — без солнца — пущу мои крики,
Как *черных* птиц, —
— потому что:
Во сне и в яви — неразличимы
Заря и зарево.

Пути гнозиса вовсе не в том, что — *являются* образы: в том, что они — *различаются*: зори духовного света всегда отделимы от зарева физиологической жизни, где вытравлено содержание образов, где — оболочки:

Там ветер треплет пустой рукав.[234]

За подменой стоит Подменитель:

Берегись, берегись — над бургосским путем
Сидит один черный монах.

* Том второй, стр. 195.

Он у Блока засел над «*бургосским путем*» в первом томе уже:

Мой страшный, мой близкий — *черный монах*...

Кто же Он? *Страж Порога*.[235]

. . . .

Приближение к Ликам вне твердой духовной работы — сжигает подменою пыла томлением адским, которое есть одежда убитого Несса: и — жжет, прилипая;[236] и слишком близко увидевший дух, но не вставший на путь, переживает лишь муки. Уже не поэт (вместе с тем — не провидец), он — слепнет; преданье седой старины нам выводит «*слепого*» певца: рокового слепца, кого водят, кто — нищий; лишь в песне порой разверзаются очи его; таков теперь Блок.

Чтобы стать певцом Духа горнего, сперва надо в жизни ослепнуть (ослеп же Мильтон); отступить от порога, по-новому выступить в жизнь; но выступление — из внутренних нужд: шаг «*вовнутрь*»; голос мудрости соединяет нам внешние *выступы* с тайным отступом; отступники следуют в выступах неотступно пути; соединение *внешнего* с *внутренним* — ступает *Судьбою*: обставшие образы — внешние знаки Судьбы (появление «ведьм»).

Рыцарь Дамы с распадом Дамы — распадается: два двойника начинают свой спор: то — остряк, утверждающий: «In vino veritas»; то — мистик, которого голова провалилась в сюртук;[237] и духовное знание изображает тут первые *ритмы Порога*: явленьем Видения и Смерти.

Виденье и Смерть!

Первый том весь — Видение. Смерть — том второй.

Они — связаны. Смерть и Виденье даны в одном звуке:

Предчувствую Тебя... Года проходят мимо
. . . .
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Написавший стал «*мистиком*» после; каламбурный остряк написал «*Балаганчик*»; но — столкнуты в Третьем; он — ищущий, все еще, — вопреки «*остряку*», вопреки провалившейся голове, или Храму Премудрости («*Церковь упала в зацветший пруд*», или — «*небо упало в болото*»).

Отступая от тайны Порога по-новому вновь выступают в обставшую жизнь: Александр Добролюбов, Толстой, Августин и Франциск (выступал тоже Фауст) переработать свой *порог*. Отступает и Блок; тут

порог, ему видимый, отображается внешне: *порогом реакции* (и Франциск, и Толстой перед проблемой социальной стояли: она — коллективная *карма*); он видит — глубокие корни проблемы; и — упирается: в задания революций; Фауст пытался через смерть подойти к Неописуемому Виденью; он пережил in concreto в себе социального человека; Неописуемое Виденье, видимое одному, станет явью для всех лишь тогда, когда снимутся три порога реакции: политической, социальной, духовной; весь мир матерьяльный — реакция Духа; он — остановка развития у Духов. Индивидуально: *реакции* отражаются: 1. в косностях быта; 2. в его подоплеке (среде социальной); 3. в реакции «Я», остановленного Люцифером, завороженным красивостью прошлого: — кончить с коснеющим «Я» — первый шаг к Революции Духа; террористический акт над собою самим есть начало пути.

И вне этого — Она в маске; и маска та — малое, косное «Я» (иль — «*буржуй*» в нас). И Дама — не «рыцаря»: Храма, Иоаннова Здания. В месте Виденья Блок себе снится в грядущем своем; и — в Иоанновом Здании («я их хранил в приделе Иоанна»)...

Я — меч, заостренный с обеих сторон.
Я правлю, Архангел, Ее Судьбой.[238]

Штейнер указывает: Ангелы суть хранители индивидуальных Судеб; судьбы народа же охраняют Архангелы; судьбы Человечества — в лоне Начал; так что: сын Человеческий связан с Началом; и — Сын Народа, Народник, — с Архангелом, Духом Народа.

Душа мировая является Блоку в двух ликах пока: его личною Музою (ангелически), и — Душой Человечества. Архангелически — нет, не появлялась Она: и не мог он связать свою *Музу* с Ней — подлинно: связь — через Народ. И свидание третье — должно быть, как встреча с Народной Душою.

Я правлю, Архангел, Ее Судьбой —

— значит: судьбы народа зависят от действий Народников — тех, кто мощью расширил сознанье свое до конкретного отражения индивидуумов *Народа*: раскрытые книги они; их читает — Архангел; тут следует отделиться от личности: похоронить себя в смерть; и — воскреснуть: в законы пути.

Мировое Виденье — София. Индивидуальное — Ахамот. Отношение к ней в коллективе народа — явленье России.

О, Русь моя, Жена моя — до боли
Нам ясен долгий путь.[239]

Александр Александрович — оставался максималистом; он — разбил до конца образ Музы; и — образ Небесного Купола, или — бумагу, которую Арлекин протыкает: Виденье ушло; Муза-девушка — серо угасла:

Конец предназначенный близок:
И *война*, и *пожар* впереди.[240]

Тут *начало* его политически-социальных стремлений — в огромнейшем смысле: в духовном.

И — тяга к «*народу*»:

Люблю Тебя, Ангел Хранитель, во мгле,
Во мгле, что со мною всегда на земле.
За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы — муж и жена!
. . . .
За то, что не любишь того, что люблю.
За то, что *о нищих и бедных скорблю.*
. . . .
Отомстить малодушным, кто жил без огня.
Кто так унижал мой народ и меня!
Кто запер свободных и сильных в тюрьму.
. . . .
Кто хочет за деньги лишить меня дня.
За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколенье рабов.[241]

То — его выступление (*от порога*: в революцию).

И ВОЙНА И ПОЖАР ВПЕРЕДИ

В мире первого тома есть рыцарь и Дама; кругом — хоровое начало, какие-то «*мы*»: после рыцарь — Пьеро, Дама есть Коломбина, а хоровое начало суть «*мистики*»; но появляется Арлекин, или — третий: уводит изменную Коломбину.

Где более двух, — миллионы; иль — все; и «*он*» — переход: к «*мы*», «*они*»; путь «*вдвоем*» через «*третье*»: к всеобщему; там — chorus mysticus, или — орхестра, совет, пути жертвы; тут, умирая в отъединении, воскресают в рождаемом коллективе: «*Эта связь активного человеческого начала (личного) с воплощенною в социальном духовно-телесном организме всеединой идеей должна быть живым сизигическим отношением*» (Владимир Соловьев).[242] Если образы ценного воспринимаются жадно Невестой, является — третье: оно — Арлекин; он — общественность.

Вспышкой общественности — в пору смерти в нем образов прежнего мира встает непокорный, общественно-революционный поэт, подходящий по-своему к революции; революция внешняя и революция мира души, — отражение: разбивания рокового порога, удерживающего человечество от духовной конкретности; можно сказать, что А. А. будет — скиф, утверждающий две революции — в третьей, в духовной.

Погасла заря; и вот — вспыхнуло пламя в руке у Петра:

В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.

Пьеро умер, но — жив Арлекин, или сам же поэт (Арлекин и Пьеро — двойники: те же: мистик, остряк): Арлекин, сняв костюм, здесь — Народник, а Коломбина — Россия; народ — хоровое начало.

Революционер призывает:

Бегите все на зов! На зов![243]

Кто? Да те, кто спален:

Опаленным, сметенным, сожженным дотла —
Хвала![244]

Страшный «*Колокол*», страшный недавно в глубинах личного — вовсе не страшен: то — зов революции.

И на башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык.

Словом: —

Город в *красные* пределы
Мертвый лик свой обратил.[245]

И уже:

Край небесный распорот,
Переулки гудят —[246]

О чем гудят?

Опаленным, сметенным, сожженным дотла —
Хвала!

А над этою, начинающимися политической и социальною революциями, слышится и начало духовной:

Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье.
Там на грязной улице, где люди собрались,
Женщина-блудница — с ложа пьяного желанья
На коленях, в рубашке, поднимала руки ввысь.

А над всем миром:

Розовым зигзагом в разверстой лазури
Тонкая рука распластывала тонкий крест.[247]

А. А. откликается на этот звук *революции*:

Я покину сон угрюмый,
Буду первый пред толпой.[248]

Он появляется и на митинге *революции*; видит, как падает революционер:

И в вышине внезапно вставшей
Был светел круг лица,
Был тихий Ангел пролетавший,
И радость — без конца.[249]

Это радость свершений иного пути вызревает в упорнейших думах об интеллигенции и народе; подходит по-новому к старым проблемам земли, осознав, что Виденье должно превратиться в восстание и в свет всей земли; соединенье Лаврова, Владимира Соловьева и Федорова — грядущие вехи исканий культуры.

. . . .

Путь тот — путь крупных. Фауст здесь бессознательно убивает свою Маргариту, переживает сон смертный; переживает его и А. А.; Фауст после — справляется; и — появляется в обществе, где возникает вопрос о Елене Прекрасной: как вызывает Ее? Мефистофель ему сообщает: спускаются в мир Матерей, где кончается все: вещи, люди, события, образы, боги и самая власть Мефистофеля; Матери — лоно, иль — небо внизу; царство Духа — низы подстилает; оно — непосредственно-данное, первое; Фауст — спускается; здесь, прикасаясь к источнику всех превращений, иль тканей, сплетаемых, видит он — Матерей-Парок.[250]

Поэзии Блока путь именно обращается к «*Матери*», символу Матери; в стихотворении «*Моей матери*» сказано: «*возвратились... в родное жилище*»; из «*матери*» — подымается Мать: «*И старая мать погребла...*», «миновали сотни и сотни лет», «одна осталась *старая мать*»:

Как мир стара, как лунь, седа,
Никогда не умрет, никогда, никогда.[251]

Матери — не умирают.

И характерно: в «*пруд*» (лоно Матери) падает «*Церковь*», иль «*Храм*»:

А хмурое небо низко
Покрыло и самый Храм.[252]

Погружается Храм в лоно Матери; остановилась *мушино-мышиная* жизнь; лепетание «*бабье*» становится: говором Матери.

Фауст отсюда выводит Елену на сцену придворного «*Балаганчика*». Долго решают: а подлинно ли Елена — Елена; актриса? Но то — не актриса: Елена, иль — *роза* глубокого лона. В стихотворении «*Моей матери*» (в новом) рассказано: сын разбивает сады

И бережно обходит мать
Мои цветы...[253]

Это — розы из лона; и — далее: «*Знает ли она, что сердце зреет!*» Сердце — роза; зреет — Еленой, новой жизнью; нечаянна радость: «весна без конца и без краю». И —

Узнаю тебя, *жизнь*!

Испытание первое кончено: так, уйдя в запорожную жизнь, он восходит оттуда с Еленою; как Эмпедокл, сочетавшийся с миром огня, сочетался он с миром метели; и — в лоно ночное он канул; вернулся: с Еленой!

Принимаю... простор поднебесий
И томление рабьих трудов.[254]

Говорит уже гётевским языком: мудрой ясностью:

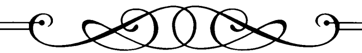
Я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо.[255]

Браку Фауста и Елены ответствует пыл любви к земной женщине; и — образ Мэри рождается; через него говорит ему Та:

К созидающей работе возвратись.[256]

Из брака Елены и Фауста возникает — Эвфорион, пыл;[257] возникает от *Новой любви* у А. А. жар стихов:

Их тайный жар Тебе поможет жить![258]



⟨Воспоминания о Блоке⟩

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Встреча и охлаждение

ПОЛЕМИКА С ПЕТЕРБУРГОМ

В марте 1907 года я был в Москве.[1] С А. А. не переписывался; личное расхождение с ним определилося внешней формою: оказалися мы в разных литературных кругах; непонимания, о которых шла речь впереди, получили возможность себя выявлять чисто внешне; в Москве в литературных кругах «*Скорпиона*», «*Весов*», «*Золотого Руна*», «*Перевала*» открыто я нападал на линию литературной позиции Блока и выражал недовольство стихами его; пора личной переоценки поэзии Блока во мне совпадала с началом широкой известности Блока; о Блоке везде заговаривали; мне особенно было порою мучительно вслушиваться в дифирамб, распеваемый стихам Блока, — не тем, которые некогда поразили меня, — тем, которые меня отшатнули; я искренне думал: А. А. обменял теургическое первородство свое, венец жизни, на лавровый венок поэтической славы. И я повторял строчки Брюсова:

Горе, кто обменит
На венок — венец.[2]

Видел я, что для многих А. А. есть поэт «*Балаганчика*», «*Незнакомки*»; меж тем, думал я, «*Балаганчик*» — симптом упадания поэтической музы; а слухи, которыми в это время питались кружки поэтические Москвы, утверждали какую-то исключительную близость между А. А., Г. И. Чулковым,[3] усиленно проповедующим в статьях и в газетах мистический анархизм, В. Ивановым, выпустившим свою книжечку «*Эрос*»[4] и проповедовавшим, с моей точки зрения, эротизм под маскою

религиозной символики, — все заставляло высказывать желчные мысли о Блоке отчетливо, вслух. Моя нервность, измученность и очень сильная слабость, последствия операции, предрасполагала меня к раздражительным выходкам; было особенно больно мне видеть: среди поэтической молодежи, уже начинавшей восторженно относиться к поэзии Блока, нападки мои на поэзию эту, полемика с Петербургом, воспринимались не так, как хотел бы я видеть полемику эту; иные во мне наблюдали лишь резонера, дотошного теоретика, позабывая, что все выступления против двусмысленной мистики петербургского символизма не были выпадами «*риккертианца*», каким меня сделали из полемических целей; я, все-таки, был автор «*Симфоний*», статей о «*Священных Цветах*», «*Теургии*», во мне можно было усматривать все, кроме мертвого абстрагизма рассудка; и находились такие, которые видели в моей полемической агрессивности — что-то, подобное зависти к всевозрастающему влиянию Блока; бывало, говаривали: «*Белый и Блок*», ставя рядом нас, выразителей передовых устремлений искусства; теперь говорили: «Да, — *Блок*, *Городецкий*, *Иванов*, *Кузмин*, — выказыватели нового слова, а Белый, а Брюсов — реакционеры: они устарели, отстали». Суждения эти о мотивах полемики всего более распаляли меня; и все резче и резче писал против Блока, Иванова и Г. Чулкова. С другой стороны, этот дикий задор разжигали отчасти и Эллис, и Брюсов; отчасти — С. М. Соловьев; к моему возвращению из-за границы в Москву произошла удивительная перемена в Л. Л. Кобылинском по отношению «*Весов*». Брюсов, Эллис, Л. Л. Кобылинский, вполне примирились друг с другом, организовали во время парижской болезни моей в Москве «*Общество свободной эстетики*»; Эллис, недавний противник «*Весов*», оказался сотрудником их;[5] и приблизился очень к «*Весам*» Соловьев; филологические увлеченья последнего совершенно сближали его с тесной группой редакции, где формальное отношенье к проблемам словесности, стиля и где тенденция формулировать принципы символистической школы с отчетливой ясностью, — преобладали все более; в редакционном составе «*Весов*» отложилось ядро теоретиков, определяющих литературную *политику* группы; и на нее влиял Эллис, *политик* особенно по «*марксистскому*» прошлому, бескорыстнейший агитатор и бескорыстнейший интриган; проповедуя культ раздельности духа и плоти, он видел во всяком смешении планов мистических с литературными недопустимую богохульную мешанину; а идеалом отчетливости в выражении своих эстетических упований стал Брюсов для Эллиса; Эллис готов был бросаться вполне бескорыстно на всех, кто считал, что В. Я. не есть первый поэт среди нас; он торжественно провозгласил

его *метром*; а петербуржцы, провозгласивши Иванова руководителем судеб символизма и выдвигая везде А. А. Блока не только полемики ради, но и подчас в пику нам, москвичам, — уж тем самым естественно вызывали в неугомоннейшем Эллисе желание объявить всем-всем-всем беспощадную брань; Эллис лично едва выносил В. Иванова и относился к А. А. с все растущей запальчивостью, подозревая его в «*соглашательстве*»; будучи посвящен в нелады мои с Блоком, стоял на моей стороне он всецело и окружал постоянно меня эманацией страстного своего негодованья на Блока; вполне бескорыстно во мне раздувал он все искры негодования этого — в пожар гнева; и самое резкое, что когда-либо я написал в отмежеванном мне отделе «*Весов*», «*На перевале*», — все это было раздуто и вскормлено страстностью Эллиса.

Разошедшийся с Блоком С. М. Соловьев, так открыто примкнувший к ядру необузданно-ярых «*весовцев*», слагавших «*политику*», разумеется, не только примкнул в этом пункте к гремящему Эллису, но и шел далее: видел он в линии популярного «*мистического анархизма*» течение, разлагающее внутренние устои морали, эстетики и религии; в Брюсове, в Эллисе видел он безобидное безразличение по отношению к своему религиозному credo; и кроме того: эстетические устремленья его, еще прежде изменного Эллиса, явно склонилися к Брюсову; будучи самым близким (почти что родным) в это время, естественно, сильно влиял на меня он, как Эллис.

А Брюсову было, конечно же, на руку личные наши чувства использовать против тенденции Иванова, Блока, Чулкова: приобретал в нас своих бесконечных идейных оруженосцев он; во-вторых: ему было неловко бороться без нас за свое первородство; В. Брюсов был тоже «*политиком*», но — «*политиком*» особого рода (не бескорыстным политиком). Очень умело использовал он настроение наше, способствуя образованию идеологии так называемой группы московского символизма, подъявшего меч на «*соглашательский*» Петербург; Брюсов, официальный редактор «*Весов*» (человек, не имеющий своих собственных философских идей, а лишь — вкус, эрудицию), мастерски дирижировал нами троими; он мне предоставил идейную философскую линию обоснования символизма; а Эллису он предоставил свободу кавалерийских наскоков на Петербург; Соловьеву он предоставил свободу для критики произведений, В. Я. не угодных; так три коренных «*аргонавта*», друзья еще прежде (я, Эллис, С. М. Соловьев), оказалися штабом армии, открывающей военные действия против группы писателей, в центре которых стояли: Иванов, Георгий Чулков, А. А. Блок. З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) присоединилася к нам.

Первоначальное ядро символистов, в котором себя ощущали Иванов, Блок, я, этим было расколото (через несколько лет мы сплотились опять); в этом раннем расколе уже подготовился «*кризис символизма*»; о нем было много впоследствии писано. Собственно символизм — никогда не был школой искусства, а был он тенденцией к новому мироощущению, преломляющему по-своему и *искусство*; а новые формы искусства рассматривали мы не как смену одних только форм, а как отчетливый знак изменения внутреннего восприятия мира от прорези в нас новых органов восприятия; мы (А. А., я и Иванов) все три соглашалися: близится кризис сознанья и близится кризис культуры; и — зреет: духовная революция в мире. Всех трех единила, конечно же, связность с идеологией Вл. Соловьева; а не одни наши вкусы сближали нас; в это время придавал я значение кризису философии; В. Иванов основывал свое *credo* на данных сравнительной филологии, археологии и новых данных в исследовании религиозных культов Эллады; А. А., как мы видели, более всех обосновывал *credo* на опыте, переживаемом внутренне; да, во многом естественно отправлялися мы от единства в воспринимании памятников культуры искусств, от вкусовой солидарности; но не в ней, не в одной вкусовой солидарности этой был базис объединения нас, символистов «*par excellence*»: в религиозно-философской линии всех устремлений: «*символизм как мировоззрение, как мироощущение*», — вот что связывало; под символизмом же разумели мы некую *истинную действительность* восприятия духовного мира сквозь образы, данные миром искусства; А. А. Блок восприял ту *действительность* позитивно, конкретно, а В. И. Иванов был трансцендентный *реалист* (в ученье о «*res*»,[6] о символике и т. д.); я же был бессознательным антропософом в то время уже; трое, — резко мы отмежевывались от банального трактования позитивизма, от чувственно-вкусового базирования своих эстетических воззрений; мы, трое, естественно отмежевывалися от эстетов, импрессионистов и декадентов, невольных лишь спутников; с ними нас связывала лишь вкусовая культура и дружный протест против низкого уровня этой культуры у тех, кто нас сваливал в общую кучу, как вообще «*символистов, эстетов и декадентов*».

«*Школа*» русского символизма не связывалась только с частными задачами техники слова, иль понимания метафоры, звука, инструментовки; хоть именно в школе той уже с достаточною сериозностью выдвигались задачи технической культуры стиха;* школа русского символизма не связывалась с частностями таких задач; акмеизм с своим более позд-

* Исследования В. Иванова в области метафоры, мои — в области ритма и т. д.

ним протестом против русского символизма, как футуризм, имажинизм и т. д., протекал не вне «*вех*», обозначенных символистами, — внутри этих «*вех*», специализируя лишь задачи, выдвинутые символистами; с имажинистами, с футуристами спорить нельзя, потому что не видят они из-за дерева своего — *леса*, в котором засели они;* этот лес — символизм.

Что же есть «*школа*» нашего символизма по Блоку? Символист — обладатель какого-то тайного «*клада*» (духовной действительности); клад кажется символисту принадлежащим сперва одному ему. В своей статье о символизме Блок пишет: «*Ты — одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе... отсюда — мы: немногие знающие, символисты. С того момента... зарождается символизм, возникает школа*».[8] Стало быть, школа русского символизма по Блоку есть некое интимное братство «*конкретно зарю увидавших*»; заря эта — родина: Дух. Символизм так возник; так, как встретились мы (С. М., я и А. А.), так встречаются лишь эсотерики, заговорщики Духа: «*Здесь... „перемигиваются" согласные на том, что существует раскол между этим миром и „мирами иными"*» (из той же статьи); «*Символист уже изначала — теург, т. е. обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие*» (idem).[9] Весь стиль наших встреч и бесед *en trois* (С. М., я, А. А.) в 1904—1905 годах — «*перемигивание*» о знании, из которого должно воспоследовать: *действие*; выдуманный С. М. Соловьевым «*Lapan*» был лишь способом «*перемигивания*». Увы, *действия* — не воспоследовало; и «*теургический*» пыл символизма сменился впоследствии снегом и пеплом «*эстетики*»; эта эстетика непроизвольно расширилась в Петербурге до «*стиля*», «*игры*» в символистическую мистерию (действие), что сказалося, например, в упомянутом вечере, на котором укалывали иглою и на котором водили писатели хоровод; мы в ответ из Москвы (в знак протеста) сознательно сузили сферу «*эстетики*» символизма до самых сухих рассуждений о форме, о ритме, о методе, стиле; в суженьи, во внешнем отмежеваньи от мистики, от «*мистерии*», в блоке с Брюсовым (формалистом, эстетом), спасали мы в катакомбы, в молчание, — скомпрометированный *теургический* момент символизма, поруганный, как казалось нам, в Петербурге с отчетливого попустительства... Блока; так некоторым «*аргонавтам*» казалось в Москве; петербуржцам же, глав-

---

* Характерно, что имажинистский теоретик г. Шершеневич, славный полуцензурною руганью по адресу символистов, в своем определении «*образа*» всецело заимствует это определение из моего «*Символизма*» (без указания источника).[7]

ным образом очень новым пришельцам в страну «*символистов*» (являющимся для нас *parvenus*), им казалося: в нашей придирчивости и в устремлении к формуле есть отказ от недавних путей; так началося образованье двух фракций: Московского и Петербургского символизма («*Скорпион*» и «*Оры*»); казалися петербуржцы нам большевиками и экстремистами; и в экстремизме казались они нам губителями дорогого, всем общего дела; казалось, что к ним примыкают случайные, пришлые люди, непосвященные в «*эзотерику*» символизма, вчера еще наши хулители, контр-революционеры в искусстве, сегодня — сменившие «*вехи*», и объявившие нас, революционеров, вчера выносивших всю тяжесть борьбы за свободу искусства, — в отставшем; таково — содержание пафоса резких статей, из которых в «*Весах*» мы стреляли по «*Орам*». А петербуржцы ответили на эту войну объявлением нас нарушителями добрых нравов литературы, разбойниками, лишенными вкуса, слуха, рационалистами. Правы же были и те и другие; и так же: неправы остались и те и другие; предвидением падения с высоты символизма — падения, погубившего течение (в целом) — правы мы были; но были правы и в Петербурге, естественно возмущаяся «*тоном*» полемики, нами затеянной; а широкая публика — не понимала всех тонкостей фракционной борьбы, ей казавшейся бурей в стакане воды.

Я был искренен в вопле, что: «*Многим из нас принадлежит незавидная честь превратить самые грезы о мистерии в козловак*».*

Петербургская, как нам казалось в то время, распущенность заползала в Москву, образуя гибридные соединения из новаторов, пошедших на соглашение с инертной толпою, и «*сменовехистов*» из бывших отчетливых реакционеров в искусстве, старающихся спекулировать на «*символизме*», на новизне; и по адресу первых я скоро писал потом: «*Нынче талант окружен ореолом рабов. Раб же знает: любезнейшего из друзей патрон отпускает на волю. А вольноотпущенник в наши дни — это первый претендент на литературный трон патрона... Не имей рабов, не останавливайся в покоренной стране, оставайся воином вольным: все вперед, все вперед*».** Талант, окруженный рабами и вольноотпущенниками, — А. А. Блок; мистический анархизм с его формулами расширения символизма в Москве признавались реакцией, способствующей образованию нечистого символизма; к Иванову, к Блоку мы предъявляли категорические ультиматумы: разорвать явно с теми, которые, как нам казалось, их лестью заманивают в свой

* См. «Весы». «На перевале». «Искусство и мистерия».[10]

** «Весы». «На перевале». «Вольноотпущенники».[11]

лагерь для спекуляции новизной; разумеется: ультиматумы им казались насильем; мы требовали покаяния: «*На высотах стоят по-прежнему воины движения, победоносно поднявшие знамя символизма...* потянулся обоз войска. Литературный обоз... всякого движения изобилует гешефт-махерами...».* Эти гордые речи, — как впоследствии я упрекал себя горько за них: именно, в пору, когда Эллис, я, Соловьев с фанатизмом отстаивали чистоту символизма, у нас за плечами шла явная откровенная спекуляция нашим же фанатизмом; мы были слепыми орудиями.

Этого мы не видели; и казалось Иванову, что мы предаем реализм символизма субъективистическому распылению его в философию, «*мистику*» — рационализму и кантианству, творчество — методологическому приему; к такому же взгляду на нас очень часто склонялся и Блок; так в нем преломлялись слова мои: «*Символизм в искусстве не касается техники письма... Борьба художественных школ вовсе не касается проблем символизма... Когда мы осветим поставленные проблемы в свете психологии и теории познания — только тогда мы поймем, что такое проблемы символизма. Но на этих вершинах мысли слышен свист холодного урагана, которого так боятся Митрофанушки-модерн... насвистывающие похоронный марш символизму*».** Митрофанушка — «*мистический анархизм*», в сознаньи которого «*наш*» символизм обертывался «*кантианством*», на что я отвечал с негодованием: «*Певчая птица, качайся себе на веточке, но, Бога ради, не подражай свистом фуге Баха, которую ты могла услышать из окна. Чтобы быть музыкантом мысли, мало еще дуть: „дуть — не значит играть на флейте; для игры нужно двигать пальцами"* (Гёте)».[14] Певчая птица, недовольная нашей московской платформой, — опять-таки есть А. А. Так А. А. был единственной тайной фигурой полемики; я на него нападал, но не для того, чтоб его повалить, уничтожить в борьбе, — чтоб вернуть его к его прежнему светлому миру; через мир тот опять отыскать к нему путь; да, конечно же, тайной любовью к былому дышала моя горечь фраз, обращенных к нему; в руках Брюсова, в атмосфере взаимного подзадоривания друг друга против Петербурга (С. М., Эллиса и меня) эта горечь «*утраты друга*» пресуществлялась в атаки; передавали, что там, в Петербурге, меня называли «*разбойником*», нападающим на дорогах. Попав из Парижа в Москву, очутился я в гуще литературной политики; часто встречались

* Idem.[12]
** «Весы». «На перевале». «Детская свистулька».[13]

мы с Эллисом (у меня и в «*Дону*»),* вынашивая тезисы литературной платформы, задумывая полемическую кампанию; и порою присоединялся к нам Брюсов, желавший воистину «*доброго*» мира между нами (для «*доброй*» грызни с Петербургом); заседания О-ва *Свободной Эстетики*, происходившие в Литературно-Художественном Кружке, рефераты там, — все то привлекало, как способ забыться от душу снедавшей тоски; так, «*Эстетика*» занимала сериозно меня (туда втягивал Эллис); и я очутился совсем неожиданно в комитете «*Эстетики*»; в комитет же входили: любитель художества, доктор И. И. Трояновский, художники В. А. Серов, В. В. Переплетчиков, Гиршман, В. Брюсов, из музыкантов — Н. Кочетов и, кажется, что — Корещенко (а может быть, Мейчик); секретарем был В. В. Пашуканис, расстрелянный через несколько лет.** К тому времени начинаются мои первые публичные лекции, которые имели успех, пока еще не затравили газеты и не был объявлен бойкот (эти прелести «*прессы*» еще предстояли); те лекции вызвали ряд новых встреч: с интеллигентною молодежью, с рабочими, с революционерами; жизнь начинала уже принимать этот вид утомительной суеты, от которой впоследствии так я страдал: жизнь среди телефонных звонков, посетителей, приглашений туда и сюда, теоретических «*принципиальных*» бесед; но под всей этой умственно интересной возней ощущалась тоска; сердце все еще не могло помириться с едва пережитою *драмой сознания*: с разуверением в Блоке и в прежних путях. Мы частенько встречались с С. М. Соловьевым, едва оправляющимся от тяжелого ревматизма, который схватил он в одну из поездок своих (зимних) в Дедово. По приезде в Москву я застал пригвожденным к одру его; он меня встретил с уютным, немного трагическим юмором:

— «Да, вот, — дошли мы: тебя там в Париже изрезали; ты обливался там кровью, а я вот свалился без ног».

— «Да, дошли мы до точки...»

И нам обоим казалось, что годы предшествующие, вызывавшие в нас род какой-то горячки исканья путей, нас столкнувшие с революцией и поставившие перед лицом необходимости совершения какого-то *акта*, — окончились *кризисом*, выпавшим в форме болезни; свалился в Париже я; в скором времени свалился С. М. Соловьев, здесь, в России; к тому же: сгорел его дедовский домик, где сиживал и В. С. Соловьев еще: домик, где столько пережили мы вместе! Задумывались над судьбою своей: но мало мы вспоминали пережитое когда-то у Блоков; А. А. для

* Меблированные комнаты на Сенной площади, где жил Эллис.

** В 1919 году.

С. М. Соловьева теперь был общественной литературною силой, враждебной С. М.; беспощадную критику наводил он на Блока, стихотвореньям которого противополагал он стихотворения Вячеслава Иванова.

О Петербурге болталось так много; ходили какие-то сплетни о том, что там — «*Бог знает что*», и что «*среды*» Иванова — невероятнейший кавардак; я, конечно, не верил ни слухам, ни сплетням, стараясь не слушать о том, что болтают кругом; но я чувствовал: что-то ужаснейше надломилось в кругу, где когда-то встречались с А. А. мы; в чем суть — я не знал (да и знать не хотел); знал одно я: Л. Д. потеряла отца (старика Менделеева),[15] изменилась совсем (говорили, — ее не узнать), поступила на сцену[16] (и факта того я, Бог весть почему, все не мог ей простить: мне казалось, что факт поступленья на сцену — предательство: выдача тайны «*мистерии*»); говорилось еще, что А. А. увлекается сценою (постановкою «*Балаганчика*»), что он весь погружен в интересы театра Коммиссаржевской. Опять-таки: в «*сцене*» я видел для жизни А. А. и Л. Д. лишь кулисы; и самое тяготение к подмосткам рассматривал как болезненное извращение чистоты теургических устремлений недавнего прошлого; про А. А. поговаривали, что и он весь — изменился, что стал попивать, что бросается в угар жизни, иль — мрачно молчит, удаляясь от всех; говорили: как будто бы он увлекается кем-то.

Но все, что случайно ко мне долетало из жизни А. А., воспринималося мной, как «*надрыв*», как жест боли и кощунства, как попранье святынь, под которыми встречались все мы недавно еще для совместного «*действа*»; и вот это «*действо*», связавшее нас четверых, обернулось в А. А. и Л. Д. «*балаганным паясничеством*», отчего мы с С. М. Соловьевым свалились (в Москве и в Париже): болезнь — лишь итог, выпадающий в тело: итог *действий* Духа. И потому-то слова Соловьева, которыми встретил меня он в Москве —

— «Да ведь вот — мы дошли: тебя резали там, в Париже, — а я вот свалился: без ног», — те слова в моей жизни казались словами Сибиллы (хотя С. М. часто просил меня «*ну-ка Боря, провещивайся*», апеллируя якобы к моему сибиллизму, однако «*провещиваться*» мастер был — он: он «*провещивался*» — гениально!).

Нам ясно казалось, что «*миф*» нашей жизни, «*миф*» вещий, сперва не случайно нас свел с ним (и В. С. Соловьев, и М. С. Соловьев тут стояли «*мифически*» между нами), потом этот «*миф*» свел нас с Блоком для какой-то большой, малым разумом не осознанной цели, и мы, выражаясь словами А. А., «*перемигивались*», как заговорщики огромного дела; для этого «*дела*» мы выбрали «*Блоков*» как старших; и что

же случилось: огромное дело — комедия; «*инспиратриса*», которую мы так чтили, — комедиантка; теург — написал «*балаганчик*», а мы — осмеяны: «*мистики*» балаганчика!..

Чувствовалось: прошлое наше сгорело так точно, как дедовский домик, с его обстающими «*белыми колокольчиками*» — теми самыми: Пустыньки! Пепел былого во мне был тем «*Пеплом*», который уже почти весь был написан (писал в это время я «*Урну*»);[17] и пепел былого для Блока был «*снежною пылью*», в которой развеял он то, что когда-то нас сблизило. И поднимался вопрос к Небесам: «О, за что же, за что?» И мы чувствовали с С. М., что теперь на развалинах прошлого оба сидим мы; и — ждем; и — решили, что лето нам следует провести снова вместе, чтоб прислушаться к ритму грядущего.

С Коваленскими я разошелся в то время. С. М. тоже был им далек; его домик сгорел; и он в Дедове только отстраивал новый. Решили мы снять пустой домик в Петровском (в имении кн. Голицына), необитаемом, около деревни Петровское, вблизи пруда и на опушке густого, густого высокого леса (Петровское лежало от Дедова в расстояньи двух верст).[18]

Запомнилось это дождливое лето: туманы, молчанье, раздумье и тихая грусть о былом. Здесь доканчивал «*Кубок Мятелей*»;[19] и здесь я писал стихи «*Урны*»; да, здесь тихая грусть и усталость годами сменилась глубокой-глубокой целительной грустью — на перекрестке путей.

Какая тишина! Как просто все вокруг!
Какие скудные, безогненные зори!
Как всё, прейдешь и ты, мой друг, мой бедный друг.
К чему ж опять в душе кипит волнений море?*

Помню я те особые тихие грусти дождливого лета в Петровском, когда выступающими из берегов ручьями бывали на несколько дней мы отрезаны от окружающих деревень (Надовражина, Дедова).

Какой там зов, — какой?..
О чем?
Какая грусть!..
Как хорошо!..[21]

---

* Из стихотворения, написанного в Петровском и посвященного С. М. Соловьеву в знак общего нам настроения.[20]

Помню широколиственные кущи:

И там, где громами растущий
Яснеет облачный приют, —
Широколиственные кущи
Невнятной сладостью текут.[22]

Много раз вспоминали с С. М. Соловьевым мы полтора месяца, проведенные в Петровском:

Соединил нас рок недаром,
Нас общий враг губил... И нет —
Вверяли заревым пожарам
Мы души юные, поэт,
В отдохновительном Петровском,
И после — улицам московским,
Не доверяя... и т. д.[23]

Действительно: скоро опять очутился я средь московских улиц, когда С. М. от меня для излечения ревматизма двинулся в Крым,[24] а я, приехав в Москву, застал у себя на квартире (пустой: мать уехала на Кавказ) переморенного Эллиса, который, оставшись без комнаты и без денег, совсем перебрался вдруг к нам; я остался при нем, — почти тоже без денег; и вот потекла наша жизнь, лихорадочная и болезненная такая, среди грохота жарового июльских пролеток; здесь с Эллисом мы разжигали друг в друге негодование по отношению к изменникам «*Символизма*», просиживали по ночам до утра, подымались полуголодные и среди дня уже строчили стремительные манифесты от имени «*Символизма*»; потом, отдохнувши, шли каждый вечер в кинематограф, который настраивал опять-таки нас против Блока: «*Кинематограф — демократический театр будущего, балаган в благородном... смысле этого слова. Все, что угодно, только не Балаган„чик". Уж пожалуйста, без „чик"; все эти „чики" — ...гадкая штука; будто достаточно к любому слову приставить маниловское „чик" — и любое слово ласково... заглянет в душу: „балаганчики" мистерию превращают в кинематограф; кинематограф возвращает... здоровую жизнь без мистического „чикания"... Последнее слово новейшей русской драмы, это — внесение пресловутого „чика" в наиболее священную область — в трагедию и мистерию. Слава Богу,*

такой драмы вы не встретите в кинематографическом действе»... и т. д.*

Отстрочив очередной манифест в газеты, в которых я стал работать, или в «*Весы*», или в «*Перевал*», мы продолжали с Эллисом, полуголодные и исступленные, взвинчивать себя до последнего градуса ожесточения; и нам начинало казаться, что Иванов, Блок и Чулков составили заговор: погубить всю русскую литературу: и так решив, — шли в кинематограф.

Экзальтация моя была понятна: я находился в тройной полемике: со всем Петербургом, с Э. К. Метнером из-за заметки моей «*Против музыки*»[26] и с «*Золотым Руном*».

Когда я приехал в Москву, то три журнала «*Весы*», «*Золотое Руно*», «*Перевал*» могли бы быть органами выражения идей нашей группы (Петербург не имел своих органов); и я мечтал создать блок трех журналов против громимого Петербурга, чтобы из трех батарей обстрелять злую «*башню*» Иванова; но — была конкуренция меж журналами («*Весы*» все старались подкалывать «*Перевал*», «*Перевал*» же косился обиженно на «*Весы*» и ярился совсем уже бешеным гневом на «*Золотое Руно*»); три журнала хотели, чтоб я в них ближайше участвовал; но партийный мой долг меня связывал непременно с «*Весами*»: там был водружен нами стяг символизма; впоследствии мне удалося смягчить нелады между Брюсовым и С. А. Соколовым (редактором «*Перевала*»); и состоялось негласное соглашение: не пускать в «*Перевал*» идеологию петербуржцев (в перевальской же группе, как помнится, были: С. А. Соколов, Н. И. Петровская, Муни, В. Ф. Ходасевич, П. П. Муратов, Б. К. Зайцев, я, Янтарев и др.). С «*Руном*» разорвал я; предлог для разрыва — бестактный поступок редактора-издателя Н. П. Рябушинского по отношению к одному из сотрудников, а также отказ мой на приглашения быть заведующим литературным отделом;[27] я ставил условием Рябушинскому — уход Рябушинского от заведывания журналом и мотивировал невозможность работать с ним, как с лицом, не могущим быть компетентным в вопросах литературы; ко мне присоединился Брюсов и некоторые из художников (как помнится — Сапунов, Судейкин, Феофилактов и др.); мотивы бойкота «*Руна*» были мотивы борьбы корпорации писателей с малопонимающим в искусстве меценатом-издателем (мотивы идейные); «*Руно*» превратило мотивы бойкота в идейное разногласие (руководители же «*Руна*» были, помнится, безыдейны совсем); и — пригласило в заведующие литературным отделом А. А.;

---

* См. «Весы» за 1907 год: «*На перевале*».[25]

и А. А. согласился;[28] и петербургская группа теперь получала свой орган в Москве. Я был в бешенстве; мне казалося: появление петербуржцев в «*Руне*» после нашей мотивировки о нежеланьи работать с «*самодуром-редактором*», — появление петербуржцев в «*Руне*» мне казалось штрейкбрехерством; с того времени стали печататься здесь литературные обзоры А. А., посвященные писателям-реалистам (по нашему тогдашнему представлению, реакционерам в искусстве) и с выпадами против нас, былых спутников по пути. Подлинного же уклона А. А. к темам быта, народа, к проблеме «*интеллигенции*» не понимал я еще; статьи Блока казались: фальшивыми и заискивающими в лагере наших литературных врагов.

Так в разгаре полемики я написал А. А. (жившему в Шахматове в то время) немотивированное, до оскорбительности резкое письмо, обвиняющее его и в штрейкбрехерстве, и в потворстве капиталисту, и в заискивании перед писателями, сгруппированными вокруг Леонида Андреева, за которыми шла в это время вся масса читателей. А. А. возмутился до глубины души тем письмом; он прочел в нем мое обвинение его в подхалимстве; и тут же: я получил его дикий по гневу ответ, обвиняющий меня в клеветничестве; и оканчивающийся — вызовом на дуэль.[29]

Я задумался над письмом своим; да, я нашел его резким, несправедливым; друзья тут вмешались, заставили меня написать объяснительное письмо Блоку;[30] поводов к дуэли, действительных, не было; в-третьих же: я дал слово, что никогда между нами не будет «*дуэли*»; и слова нарушить не мог.

Письмо Блока ко мне (оно — первое после месяцев совершеннейшего молчания) было началом действительных «*мирных*» переговоров, окончившихся письмом Блока ко мне;[31] в нем меня извещал он, что едет для личного объяснения со мною: оканчивался год положенного между нами молчания. Встретиться были должны мы: мы — встретились.[32]

ПРИМИРЕНИЕ

Помню, что в день приезда А. А. — волновался ужасно; поднимались все эти года, столь изменные; и — казалось, что с 1901 года — пережито столетие. Возвращаяся в этот день по Арбату (домой), я увидел пролетку и в ней А. А. — в белом; и в белой своей панама́; мне по-

думалось: да; таким его видел я раз в Петербурге, на Караванной, когда, как казалось мне, он не заметил меня; в той же белой он был *панама́*; и такой же, — весь бледный. Пересекал он Арбат, по направлению к Новинскому, где помещалась редакция «*Золотого Руна*». Было — пять часов дня. В семь он должен был быть у меня.

С нетерпением ожидал я его. Мама тоже была в нетерпении (она — только что вернулась с Кавказа). В семь, ровно, раздался звонок; я — пошел отворять: это был А. А. Блок. Но как я удивился: он был в своем темном пальто, в темной шляпе своей, в черном, гладком своем пиджаке, — не такой, каким видел его на Арбате; и главное: тот, кого видел, был мертвенно бледен; а этот, передо мною стоящий А. А., — был совсем загорелый; и — скорее розовый (вовсе не бледный); так — стало быть: образ А. А. мне почудился на Арбате; потом, в *этот* же вечер, я спрашивал у А. А., был ли он — на Арбате; он — был: но не в эти часы, когда видел его. Так, горячее ожидание видеть А. А. мне подставило его образ.

Всегда удивлялся я первому впечатлению; оно — верный синтез, итог того, что переживается впоследствии; так: если бы я себе рассказал в этот миг впечатление от А. А., *очень-очень* конфузливо, с вежливой ласковостью стоящего на пороге квартиры моей, в темной шляпе с широкими очень полями и темном пальто, — то я должен сказать: вид его изменился до крайности за этот год, когда мы не видались. И в сторону прошлого: бессознательную радость в себе вероятно бы я нашел, если бы мог за собой наблюдать в это время; и удивление, и радость — о том, что весь образ А. А., передо мной здесь стоящий, напоминал мне, скорее, А. А. первой встречи (в 904 году); и не было в нем ничего от А. А. 1906 года, такого тяжелого для меня; вид ущербного месяца, перекривившего рот, — таким виделся мне одно время А. А. — вдруг куда-то исчез; и глаза не казались зеленоватыми; нет, голубые, большие и детски доверчивые, они смотрели с той вежливой пристальностью, с какой глядели когда-то, казалися слишком близкими; и наклон головы, и улыбка, и застенчивое потаптыванье перед дверью, и даже конфузливо сказанное невпопад: «*Здравствуйте, Борис Николаевич*» (вместо «*Боря*» и «*ты*»), — это все показалось возвратом к былому; обращение «*Борис Николаевич*», «*Вы*», скорей, вызвало радость; с нелепой улыбкой ответил ему:

— «Здравствуйте, Александр Александрович!»

И почувствовалось: что бы ни было между нами теперь, — все окончится примирением; сразу я понял, что разговор — совершился, — мгновенный в передней, во время нелепейшего обращения друг к другу

«*Борис Николаевич*», «*Александр Александрович*»; все остальное — лишь следствия; странно: во встречах с А. А. 1906 года — обратное: первое впечатление от А. А. мне гласило, что что бы ни было сказано между нами — все тщетно: все только запутает.

Первому впечатлению верю: оно — не обманывает.

Пригласил я А. А. в кабинет; затворился; ощущалась неловкость от предстоящего объяснения; неловкость себя проявляла в бросаемых исподлобья конфузных взглядах, в полуулыбках, и в том, что не сразу коснулися темы приезда А. А.: говорили о «*Золотом Руне*», о заведывании А. А. литературным отделом; А. А. в кабинете моем мне казался большим; и — каким-то совсем неуклюжим; локтями склоняясь на стол и расставивши ноги, он взял в руки пепельницу и, крутя ее, высказал что-то шутливое: «*юморист*» в нем проснулся; но — «*юморист*» от смущения; точно видом своим выразил он:

— «Подите вот, — дошли до дуэли: совсем по-серьезному...»

И этою «*юмористической*» нотой подхода к событиям, бывшим меж нами, он мне облегчал разговор.

Но начинать, как всегда, не хотел; ждал моих слов с терпеливой сериозною тихостью, ясно вперяясь в меня, чтобы я приступил к разговору; а я, как всегда, подступить не мог прямо, а начал издалека, распространяясь на тему о трудности говорить и ощущая одновременную радость, что вижу А. А., что такой же он, как и прежде, что ощущаю по-прежнему близость к нему, будто не было между нами труднейшего года, и будто не были мы разделены обостренной полемикой; начал — туманно:

— «Да, да, — подтвердил А. А., — в сущности это все *не о том*, потому что слова, да и все объяснения, — пустяки: если *главное* занавесится, то и все объяснения не помогут, а если *главное* есть, все — понятно...»

Подлинных слов я не помню, но смысл был — такой. И я понял опять-таки: объяснения с ним — только внешняя форма для отыскания улыбки доверия; «*главное*», т. е. вера друг в друга, друг к другу, проснулась в передней еще; все, что часами теперь обсуждали, естественно протекало под знаком доверия.

Этого разговора, опять-таки, привести не могу; лишь запомнились внешние вехи его; объяснил я А. А. состоянье сознания моего, меня медленно убеждавшего в том, что в поступках А. А. есть нечеткость, проистекающая от молчания. И А. А. постарался с терпением мне доказать, что в «*молчаньи*» его вовсе не было возмущающей меня затаенности; он считал: основная ошибка былого есть спутанность отношений, где отношения личные наши естественно спутались с отношеньями близ-

ких и стали синонимом какого-то *коллектива*; так то, что возникло между нами в сложившемся коллективе, не возникало в А. А.; я старался поставить знак равенства меж, так сказать, социальными отношениями близкой группы людей и личными отношениями нашими; возникавшую между всеми нами невнятицу он старался отчетливо отделить от своих отношений ко мне; но он видел: я не приемлю такой изоляции отношений; так его нежелание говорить вытекало из осознания моей неготовности понимать:

— «А когда есть невнятица в главном, то разговор без доверия друг ко другу бессмысленен!»

Он постарался мне выяснить то, в чем неправ был пред ним; и упрекал меня бережно в психологизме, заставившем видеть его в мною созданном свете; но я возражал: он мог во мне вовремя пресечь мир иллюзий внятным словом, которое хотел я слышать; молчанье его и питало иллюзии; он пытался мне выяснить: иллюзии возникали во мне, и он видел, что *разговорами* их не рассеять. Разбор накопившихся недомолвок был легкий и освещенный улыбкой его, такой доброй и мягкой; и главное — мужеством: вскрыть тайное между нами; я видел решенье А. А.: переступить через косность молчания, выявить правду его и мою в нашей длительной распре: понять объективно меня; и — заставить меня понимать его действия; я же с своей стороны постарался ему показать и себя. Обнаружилось: виною неразберихи меж нами до некоторой степени оказались Л. Д. и С. М. Соловьев (это думал А. А.); я старался С. М. защищать, но наткнулся в А. А. на известный упор; в свою очередь: он наткнулся во мне на тенденцию обвинять Л. Д. в многом, испортившем нашу личную дружбу; между прочим: высказывал и я свое отчуждение от Л. Д. Наконец, мы решили, что в будущем, что бы ни было между нами, друг другу мы будем отчетливо верить; и — отделять наши личные отношения от полемики, литературы, от отношений к Л. Д., к С. М., к Александре Андреевне и т. д. В этом решении чувствовалась действительная готовность друг друга понять; я считаю, что с этого мига впервые мы повернулись друг к другу — вплотную: поверили основному друг в друге. До этого времени стиль отношений меж нами — душевный; теперь мы ощупывали друг в друге как бы духовный рычаг, обуславливающий нашу дружбу; и мы протянули друг другу теперь наши руки, сказали себе, что во многом, еще не улегшемся между нами, мы будем друг в друге взывать только «*к духу*»; и верить взаимному уваженью друг к другу.

Потом перешли мы к полемике; я постарался подробнейшим образом выяснить все мои объективные основания для одобрения литературной

программы «*Весов*» в нападении их на мистический анархизм, представляющий дешевую помесь идей; вместо подлинного воспитания интереса среди молодежи к искусству мистический анархизм, разбавляя тенденции символизма дешевеньким ницшеанством, замешанном на дешевеньком христианстве, способен внести только быструю деморализацию в символизм; он является контрреволюционной тенденцией в новом искусстве; А. А. мне старался отчетливо доказать, что мистическому анархизму он чужд и что личные отношенья к Чулкову его не при чем, что он — сам по себе, Чулков — сам по себе; резкая же полемика и тон Эллиса — неприличны; они заставляют иных петербуржцев держаться вдали от «*Весов*»; возражал: весь мистический анархизм крепко держится за имена Вячеслава Иванова, Блока; пусть А. А. сознает, что мистический анархизм ему чужд, тем не менее — публика видит его солидарным с Чулковым; он должен бы был заявить о своей непричастности ко всей чулковщине; я указывал на заявленье Чулкова, написанное для «*Mercure de France*», где А. А. и Иванов причислены были Чулковым к мистическим анархистам.[33] А. А. возразил: с заявленьем Чулкова вполне не согласен он; я же заметил: так почему же не протестует он? Затем появившееся заявленье А. А., напечатанное в «*Весах*», о его несогласии с заявленьем Чулкова совпадало с тем временем;[34] может быть, оно — следствие разговора со мной; я выражал порицание бесшабашности петербургского стиля, столь выразившегося в рукоплескании «*Тридцати трем уродам*» Зиновьевой-Аннибал и «*Крыльям*» М. А. Кузмина;[35] и А. А. соглашался со мной, но — указывал: моралистическая тенденция «*Весов*» в полемике с петербуржцами не выдерживает тоже критики, пока действия Брюсова — в полном разрезе с негодованием «*весовских*» Катонов;[36] сколько мог защищал В. Я. Брюсова я; возражал: Брюсов вовсе не есть выразитель «*Весов*», потому что «*Весы*» — это группа; А. А. мне заметил: да, группа, но группа — загипнотизированная В. Я. Брюсовым; и перешли к обсуждению мы моего расхожденья с «*Руном*», к появлению там петербуржцев: старался выяснить я, что недовольство мое петербуржцами — в том, что попытка нас обуздать, монархизм Рябушинского, бросившего столько денег на «*Золотое Руно*» и не сумевшего из него создать нужного и полезного органа, — вот мотив нашей ссоры с «*Руном*» (не идейное расхождение); и использовать выход наш из «*Руна*» для создания органа «*мистических анархистов*» есть верх некорректности; но А. А. — возражал: здесь опять-таки брюсовская интрига; мы вышли тогда из «*Руна*», когда Брюсов рассорился с Рябушинским; до ссоры же он фактически был редактор, мирясь с Рябушинским.[37]

Так во многих вопросах литературной политики мы расходились с А. А.; но теперь в расхождении этом уж не было страстности; мы решили, что будем и впредь в разных группах; и будем мы даже идейно бороться; но пусть же борьба не заслонит доверия и уваженья друг к другу.

В этом длительном разговоре опять незаметно мы перешли на «*ты*»: на «*Боря*» и «*Саша*».

Уж было 11 часов ночи, когда моя мама, все ждавшая окончания разговора, нас вызвала к чаю. Мне помнится: было очень уютно втроем; моя мама, любившая Блока, с довольством и радостью наблюдала нас; видела, что мы теперь помирились (она огорчалась всегда расхождением с Блоком); А. А. был уютный; касаясь того, иль иного, — юморизировал он; я — смеялся; и чайный стол мне казался уютен и легок; и было странно мне видеть А. А., о котором за этот ряд месяцев во мне столькое наросло; и вот — все, что стояло меж нами — рассеялось.

После чаю опять перешли ко мне; говорили уже не о трудном: о легком; впервые я понял, что устремленье к народу в А. А. проистекает из углубленнейшего итога работы его моральной фантазии, что переоценка писателей «*Знания*» им в «*Руне*» есть продукт увлечения; понял: разуверенье в «*заре*» не есть крах, а исканье «*пути*», что оно — неизбежно; А. А. мне высказывал мысли, которым созвучье нашел в замечательном докладе о символизме, написанном через несколько лет уже. Так пытался он «*антитезу*» исканий своих объяснить, как развитие тезы; и — стало быть: нащупывал где-то синтез; впоследствии выразил он то искание синтеза: «*В лазури чьего-то лучезарного взора пребывает теург: этот взор, как меч, пронзает все миры... Миры, предстоящие взору в свете лучезарного меча, становятся все более зовущими... Вместе с тем они начинают окрашиваться (здесь возникает первое глубокое знание о цветах); наконец, преобладающим является цвет, который мне легче назвать пурпурно-лиловым. Золотой меч, пронизывающий пурпур лиловых миров... пронзает сердце теурга... Возникает диалог, подобный тому, который описан в „Трех Свиданиях" Вл. Соловьева... Таков конец тезы*».* Далее — изменение облика («*Но страшно мне, изменишь облик Ты...*», «*Лезвие лучезарного луча меркнет*»...). Врывается сине-лиловый сумрак (лучшее изображение всех этих цветов — у Врубеля): «*В лиловом сумраке... качается катафалк, а в нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз*»...

* Курсив мой.

Поэт возводит в принцип то, что лично переживалося (*лиловый* мир «*Ночной Фиалки*» и «*девушка с подурневшим лицом*»). «*Переживающий все это полон... „двойниками"*»... «*Итак, свершилось: мой собственный волшебный мир стал ареной... „анатомическим театром", или балаганом... лиловые миры хлынули в сердце... возникло то, что я* (*лично*) *называю „Незнакомкой"... Это — венец антитезы*». (Из статьи о символизме).[38] Далее А. А. замечает в статье своей: в этот период осознается ограниченность искусства и за отысканием реальности «*Золотого меча*» возвращаются к жизни, где осознаются вопросы общественного служения, связанные с народом и интеллигенцией: *осознается русская революция*. И он кончает: «*И сама Россия в лучах этой новой... гражданственности оказалась нашей собственной душой*». Встреча с Россией есть синтез: «*Лиловый сумрак рассеивается*»...[39]

Я не помню слов, которыми мы обменялись с А. А. в эту ночь; но я понял одно: мир *лиловый*, который так меня напугал в нем когда-то, — рассеялся в нем: были сознаны «*Незнакомка*» и «*Балаганчик*»; что происходило в нем, как явление кощунства, оскорбленье святыни, теперь оказалося испытаньем пути. Разговор с А. А., ясно раскрывший его углубление в тему России, вернул мне А. А.; сквозь лиловые тени, одевшие мраком лицо его, выступил прежний, исканьем оветренный, розовый отблеск; и внешнее что-то в нем перекликалось с былым; отпустил себе волосы он (в 1906 году был он стриженный); и глаза голубели отчетливым строгим решением; был для меня прежним Блоком в ту ночь: милым братом; и — не прежним; в нем явственно подчеркнулися: закаленность и мужество; и в отношениях наших наметилась новая нота: доверия. Говорили мы в эти ночные часы очень мало; и больше молчали; и переваливало к исходу четвертого часа; а поезд его уходил только в семь. Я пошел провожать по светавшей Москве его; около Николаевского вокзала сидели мы в чайной с извозчиками; говорили теперь о простом, о домашнем; я чувствовал: А. А. радуется примирению.

Медленно разгуливали по перрону вокзала; и дожидалися поезда. Перед отъездом доверчиво протянули мы руки друг другу:

— «Так будем же верить...»

— «И отделять все наносное, что возникает, от основного...»

— «И не позволим мы людям, кто б ни были люди, стоять между нами...»

Так мы, обменявшись *паролем*, простилися. Тронулся поезд.

Я шел по Москве, улыбаясь и радуясь: показались прохожие: просыпалась Москва.

Так закончился этот двенадцатичасовый разговор.

ВСТРЕЧА В КИЕВЕ

Примиренье с А. А. охладило на время во мне полемический пыл; мне хотелось внести ноты бóльшего примиренья с Петербургом; но страсти — горели; присоединилась к полемике З. Н. Гиппиус; под псевдонимом своим (Антон Крайний) писала она очень едко; присоединился к полемике Б. Садовской; Эллис рвался все более в бой; разделение группы писателей (на «*Москву*», «*Петербург*») углублялось; мы с Блоком оказывались в разных лагерях; перекликнулись в это время существенно, с восхищением встретивши «*Жизнь Человека*» Андреева.[40] В воспоминаньях А. А. об Андрееве есть указание на одинаковость переживания нами тогда появившейся драмы.[41] Мы оба встречались с Андреевым, переезжавшим в ту пору на жительство в Петербург; так, встречаясь со мною в Москве, Л. Андреев сочувственно отзывался о Блоке, с которым он только что познакомился; с любопытством расспрашивал он о моем отношении к Блоку, осведомленный о сложностях между нами.

Я думаю, что одинаковость переживания «*Жизни Человека*» и мной, и А. А. вытекала из ощущения одинакового разочарования в мишурах и «*богатствах*» душевного, только душевного мира; душевный «*импрессионизм*» я развенчал; весь каталог доселе невиданных образов в литературе был вызван стремленьем к великому; что у Ницше казалось естественным и далеким от вычур, то, например, уж у Петера Альтенберга и Роденбаха казалось манерным; между тем: появилися подражатели Петера Альтенберга в России (покойный писатель Кожевников), облекавшие пустяковые темы эскизов и мыслей своих в велелепие символических риз; если прежде заря нам казалась иною, вещающей, если ее облекали мы в пышные неологизмы и называли зарю «*апельсинной*», «*атласной*», то в направленьи, пытавшемся провозгласить себя новой волной символизма, наоборот, «*апельсины*», «*атласы*» теперь назывались заревыми; еще Шопенгауэр отметил два стиля в искусстве: стиль *вышнего, горного*; и — стиль *прелестного*; стиль искусства — «*высокое*»; в «*прелестное*» выгралася природная «*воля*»; а к отрешенью от воли и к чистому созерцанию Платонова мира идей призывает искусство: к свободе; и символизм — стиль высокого; импрессионизм — стиль прелестного; во введеньи «*прелестного*» в элементы «*высокого*» стиля мы видели разложение чистоты символизма; меж тем: направление, складывающееся в Москве, в этом именно видело новый путь символизма; а представители направления этого называли

себя «*символистами третьей волны*» (первая волна — «*Скорпион*», вторая же — «*Оры*»); принимая Иванова, Блока, Чулкова, они отрицали «*Весы*» и все то, что нам дорого. Эллис бил уж тревогу; и я собирался громить направление это; Б. Зайцев ему покровительствовал; произошло столкновенье мое с «*Художественно-Литературной Газетою*», редактируемой Б. К. Зайцевым и В. И. Стражевым; нападенья мои сосредоточились на В. Стражеве; Б. К. Зайцев его защищал; произошло столкновенье мое с Б. К. Зайцевым, Стражевым, Б. А. Грифцовым и П. П. Муратовым, — столкновение, в котором во многом неправым был я;[42] Б. К. Зайцев повел благородно себя по отношенью ко мне и к В. Стражеву;[43] столкновенье с группой писателей произвело удручающее впечатление на меня; я размахивался статьями по очень широкому фронту: от Вячеслава Иванова (заметка моя «*Штемпелеванная калоша*» задела Иванова больно),[44] театра Коммиссаржевской, до... Виктора Стражева; как «*мистический анархизм*», так и «*третья волна символизма*», естественно тяготевшая из Москвы к «*петербуржцам*», казались враждебными мне; обе группы пересекались в «*Шиповнике*»;[45] там сливались и «*мистический анархизм*», и «*вторая*» и «*третья*» волна символизма, и слегка загримированный импрессионизмом натурализм недавнего прошлого: Блок, Ремизов, Л. Андреев, И. Бунин, В. Стражев, Б. Зайцев, едва появившийся на горизонте писательском Осип Дымов встречались друг с другом; «*Шиповник*» казался «*Весам*» соглашательским предприятием: линией наименьшего сопротивления; мы — волили *линию сопротивления наибольшего*; «*Знание*» с Горьким казалося нам более заслуживающим внимания, чем легкий «*Шиповник*», стремящийся подавать в альманахах своих винегрет направлений (кусочек от реализма, кусочек от символизма под все покрывающим импрессионистическим соусом); мы задевали писателей, близких «*Шиповнику*»; мы задевали огромное большинство уже модных в то время писателей; все на нас злобились; изоляция наша, переходящая в негласно провозглашенный бойкот, подготовлялася.

В эту осень запомнилися гастроли Театра Коммиссаржевской;[46] впервые увидел на сцене я «*Балаганчик*», задевший когда-то так больно меня; постановка была — удивительна; прочие постановки («*Сестра Беатриса*», «*Чудо Св. Антония*» и т. д.) мне казалися парадоксами, а не «*сценическим действом*»; и больно было мне видеть Коммиссаржевскую, замороженную «*стилистикой*» Мейерхольда; великолепна была она в пьесах Гольдони; была она связана в драмочках Метерлинка, к которому в то время закрадывалось недоверие; проблема театра меня волновала; осознавалися невозможности символизма в театре; те-

атр символический — есть мистерия; символизм, допустимый естественно в эпосе, в лирике, переходит в теургию здесь; здесь актер — не актер, а нашедший *пути* человек; театр символический допустим лишь в грядущем; он — грань меж искусством и новою жизнью; *не новые* люди не могут вершить символических действ, ибо действа — литургика.

А. А. в эту пору был близок к исканиям Коммиссаржевской и Мейерхольда; я — видел: искания обречены на полнейшую неудачу (Коммиссаржевская через два с лишним года пришла сама к этому); было больно, что тут мы расходимся с Блоком; я видел в стремленьи к театру — болезнь; я хотел оттащить от театра А. А.; и сомненья в возможности «*символического*» театра я изложил в фельетонах, которые напечатаны были в тогда возникавшей газете, которую редактировал Алексеевский (в «*Утре России*»);[47] Коммиссаржевская заинтересовалася фельетонами; в них — опять-таки выявилась полемика с Блоком.

В ту пору устроили в Киеве «*вечер искусства*»; и получили приглашение на него москвичи; должны были поехать: С. А. Соколов, я, Петровская, И. А. Бунин, который так и не поехал; тогда, посоветовавшись с Соколовым (организовавшим поездку), я телеграммою просил Блока приехать; и получил телеграфный ответ, извещающий: «*Еду*». Мы двинулись в Киев (в конце сентября),[48] в жаркий день; устроители вечера встретили нас на вокзале с приподнятой пышностью; чуялось мне: «Э, тут что-то не то!» Группа киевского журнальчика «*В мире искусств*»[49] в эстетическом отношении не внушала доверия; и пахнуло на нас неприятной дешевкою и неприятной рекламою; перепугал стиль афиш; ими был заклеен весь город; огромный оскаленный козлоногий лохмач безобразно гримасничал на афишах; я думал: «Оповещенье о вечере напоминает, скорей, оповещенье о зрелище *балаганного свойства*». И в том, как везли нас по городу, как усадили нас вечером в ложу, как нас накормили, — во всем был налет театрального пафоса и безвкусицы; что-то скандальное завивалось вкруг нас; сообщили: билеты — распроданы до одного; и театр городской будет полон; и будут все власти; С. А. Соколов, не понявший сперва «*хлестаковщины*», нас окружающей, чувствовал великолепным героем себя; мы с Петровской конфузились; переговариваясь о том, что — скандал; киевляне пойдут на нас так, как идут на забавное зрелище (подлинно понимавших нас, знавших по книгам нас было так мало); я не сумею подкидывать гирь, кувыркаться, заглатывать шпаги и голос мой — не труба иерихонская; стало быть: будет всем скучно; и «*номера*» из себя не представляю; меж тем: стиль афиш обещал «*номера*»; и мне было не по себе (пропал голос

к тому же: страдал я запущенным гриппом). А. А. опоздал, не приехал; пришла телеграмма: он — будет в день «*вечера*».

Он и приехал, доверчивый, милый, немного переконфуженный тем «*бум-бумом*», в котором держали нас; все старался быть вежливым; и, по возможности, держаться в тени, что ему удавалось; мы трое (А. А., я, Петровская) жались друг к другу, стараяся не участвовать в «*буме*»; и киевляне, по-моему, разочаровалися в нас (не глотаем мы шпаг); провалились во мнении киевлян мы до вечера; наоборот: Соколову везло: он ходил, окруженный внимающими репортерами; и гремел победительно бас его: про него говорили: «А Соколов этот — славный мужчина такой». Он естественно представительствовал «*от имени*» и «*во имя*»...

А. А. остановился в одном коридоре со мною в гостинице, кажется, на Крещатике, недалеко от театра. Мы пили с ним чай; оживленный, веселый, раскладывался, сняв пиджак и вытаскивая сюртук. Доминировал — юмор: и умываясь с дороги, повертывал на меня добродушно лицо, загорелое, темное, встряхивал вьющимися волосами своими (на нем была шапка волос), мылил руки и улыбался лукаво:

— «А знаешь, — ведь как-то не так: даже очень не так; не побили бы нас...»

И — вырывался смешок — тот особый глубокий смешок, от которого становилося невыразимо уютно; смешок этот редок был в Блоке; и мало кто знает его; в нем — доверчивость детская и беззлобная шутка над миром и над собою, над собеседником; все становилося от смешка освещенным особо: и — чуть-чуть «*диккенсовским*», чуть-чуть фантастическим; мерещились Пикквики; А. А. передразнивал едко меня и себя, киевлян, окружавших нас «*бумом*», особенно передразнивал «*представительство*» от лица «*символизма*» С. А. Соколова.

За чаем А. А. мне сказал:

— «Знаешь, Боря, приехал-то я ведь совсем не на вечер: приехал к тебе; ты позвал меня, я и приехал».

Пред «*ответственным*» выступлением нашим мы провели тихо время в незначащих пустяках разговора, которого содержанье не вспомнится; не говорили мы о тяжелом былом, ни о том, что естественно нас разделяло; шутили, обменивались впечатленьями дня; и — строили шаржи, уподобляя себя «*джентельменам*», приехавшим в Итансвиль; говорили, что, верно, перегрызутся теперь «*итансвильский журавль*» с «*итансвильской синицею*».*

---

* Из «Записок Пикквикского клуба».[50]

Поговорили серьезно о Леониде Андрееве по драме его; я увидел, какое глубокое впечатление произвела на него эта драма; и удивлялся я тождественности восприятия ее нами.

— «А ты знаешь, он (Л. Андреев) — милый и настоящий: я очень его полюбил».

Наступил час позора; мы облеклись в сюртуки; и за нами приехали; с жутким чувством мы ехали на провал, говоря, что в огромном театре, набитом людьми, мы не сможем читать (голос мой пропадал окончательно); А. А., помню, смеялся, юморизировал и стращал меня; ничего не боялся С. А. Соколов. Я был должен открыть вечер словом, рисующим новое направленье в искусстве;[51] вообразите мой ужас, когда я услышал фанфару, оповещавшую о начале; вслед за фанфарой я вышел и должен был восходить над оркестром (на сцене) — на какое-то весьма пышное возвышение, чтобы оттуда, рискуя пасть в бездну (свалиться в оркестр), оповестить киевлян о том именно, что требовало бы написания книги. Хрипя, кое-как я все это исполнил (мой голос достиг лишь пятнадцати первых рядов, так что, собственно, меня не расслышали); был награжден очень жидкими аплодисментами; и — спасся в ложу, где все мы четыре сидели (С. А. — горделиво, Н. И., я, А. А. — переживая какое-то чувство скандальности нашего положения); программа была невероятно длинна; Н. И. тихо прочла очень тонкое что-то; никто не услышал ее; и никто ей не хлопал; А. А. прочитал «*Незнакомку*», еще что-то, с видом несчастным, замученным, точно просил:

— «Отпустите скорее на покаяние».

Похлопали очень мало: и — отпустили охотно.

С успехом прочел стихотворные басни свои бывший в Киеве в то время профессором граф де ла Барт;* произвел лишь фурор Соколов, зычно грянувший своего «*Дровосека*» (пропел он его);[52] «*Дровосеком*» своим покорил киевлян; говорили потом: «Что такое там Белый и Блок. Соколов — вот так славный мужчина: поет, — не читает». Стихотворения мои почему-то поставили под самый конец, когда голос пропал уже вовсе; я жалкое что-то пищал, что расслышали в первых рядах лишь; представьте мое положение: видеть, как ряд за рядом от хохота клонится.

Вечер был полным «*скандалом*»; и представители нового направления, вызванные из Петербурга и из Москвы с такой помпой, — торжественно провалились бы в Киеве, если бы не выручил С. А. Соколов, поддержавший один лишь престиж «*модернизма*».

---

* Ныне покойный.

Естественно, что он чувствовал себя выразителем всего нового; и за ужином, данным в честь нас после вечера (мы с А. А. просидели как на иголках весь ужин), сказал он, нас чествовавшим, что да, да: мы приехали, де, покорять киевлян, так что я уж взял слово, чтобы умерить самоуверенность нового направления. На другой день газеты ругали нас крепко; так мы — провалились (поездка эта в памяти сохранилась, как нечто стыднейшее).

Через день я был должен прочесть свою лекцию в Киеве,[53] и — уехать в Москву; А. А. мило остался со мною; мы много гуляли по Киеву; вечером забрели мы к Днепру; где-то в мощных оврагах, обвисших желтеющей зеленью, мы под луною стояли все трое: А. А., Н. Петровская, я.

Ночью этой случился страшнейший припадок со мною; я, улегшись в постель, вдруг почувствовал, что начинается что-то неладное; я вскочил; но, став на ноги, снова почувствовал: вот сейчас, вот сейчас — упаду; в это время по Киеву разгулялась сильнейшая холерная эпидемия; поэтому вообразил: со мной-де начало холеры; и понял, что надо мне много ходить (быстро-быстро) по комнате и тереть себе руки, что начал я делать; и знал, если сяду, остановлюсь, — упаду: в очень сильном волнении бегал по комнате, соображая, что делать; и бессознательно полуодевшись, я бросился в коридор по направлению к номеру, занимаемому А. А.; стал стучаться к нему; он открыл мне:

— «Скажи, что с тобою?..»

— «Не знаю, должно быть начало холеры...»

Он — сел на постели, открыв электричество; я же забегал пред ним, потирая руками; не попадая зубами на зубы; он очень спокойно, участливо наблюдал меня:

— «Это — нервный припадок: не уходи же к себе; тебе вредно лежать. И остаться теперь в одиночестве невозможно...»

Он — оделся; похаживал рядом; он взял мои руки, он растирал очень крепко их — минут десять; и видя, что никакой холеры не начинается, он сказал:

— «Нет, незачем доктора: просто с тобою мы просидим эту ночь; я тебя одного не оставлю в таком состоянии...»

Мы — просидели; не забуду внимания, которым меня окружил он; в припадке я бегал по комнате; он — спокойно сидел предо мною на стуле, спокойно и ровно глядя на меня, облокотясь своим локтем на стол, положив ногу на ногу; и — покачивая носком; суетливости, внешней заботы и не было в нем; была — внутренняя забота; и от А. А. на меня исходило тепло; и — припадок стихал; в изнеможении опустился

на стул; и — смотрел на него, как он ровно и ясно сидел надо мною, как нянька: всю ночь напролет. Мне запомнилось это сидение Блока, запомнилась ровная поза; уже изменился, разительно изменился он весь, — не лицом, а — пожалуй, манерой держаться (в тот год, когда мы не видались); стал проще, задумчивей; подчеркнулося мужество; появилась суровая закаленность; исчезла былая душевность; она в нем сказалася перегаром; что прежде сияло вокруг, как невидная аура, как атмосфера, то, прогорев, стало пеплом, тенившим лицо; вся душевность лежала, как пепел, на нем; он сожженным казался за пеплом душевности, как пролеты синейшего неба ночного за отгоревшими тучками; ясно мерцали мне звездные светочи; прежде душевность — сияла; и так сияют вишневые облака на заре; они — ярче зари; золотисто-зеленое бледное небо — за ними; но вот — отгорают, темнеют; а небо за ними — глубинится синевой, открывается звездочками; звезды — из ночи, из ночи трагедии; я из ночи трагедии чувствовал Блока в ту ночь; я почувствовал, что какая-то внешняя огрубелость, иль меньшая красочность есть бескрасочность контуров ночи; и понял, что кончился в А. А. Блоке период теней, или нечисти из «*Нечаянной Радости*»; ночью темной ведь нет и теней; есть спокойная, ровная тьма, осиянная звездами; предо мной сидел Блок, перешедший черту «*Снежной Маски*», услышавший голос:

«К созидающей работе возвратись».[54]

И воистину: созидающее молчание это лилось на меня.

Наблюдал я его: он сидел — неподвижно (сидел он всегда неподвижно); но — неподвижность, и та в нем иная какая-то стала; он прежде казался оцепенелым и деревянным; затянутый в темно-зеленый сюртук, сидел прямо; теперь появилася в позах сиденья его — зигзагообразная линия; он сидел, изогнувшись, не прямо, порою откинувшись корпусом, а порою перегнувшись к столу, положивши руку локтем на стол, подпирая другою рукою большую курчавую голову; я сказал бы: теперь лишь вполне появился в нем профиль; я чаще всего помню Блока теперь, подвернувшего мне профиль свой; появился отчетливо предо мной его нос (почти выгнутый); и появилася четкая линия губ и ушей; прежде помню я Блока en face; а теперь изучаю я профиль его (аполлоновский профиль); и замечаю я вспухлость губы его (нижней), которую неумеренно подчеркнул в нем К. Сомов. Как прежде я видел в нем что-то напоминающее Гауптмана, так теперь находил отдаленное сходство с портретами Оскара Уайльда.

Уж близился день: рассвело; мы хотели спросить себе кофе; но все еще спали; тогда, успокоившись, начал я говорить о себе, о своем одиночестве и о том, как мне трудно дается простое, житейское:

— «Да, понимаю я, — тебе трудно живется», — сказал мне А. А. И внимательно посмотрев на меня, он сказал вдруг решительно:

— «Знаешь что: возвращаться в Москву одному тебе — не хорошо; вот что я предлагаю: мы едем с тобой в Петербург». С удивлением посмотрел на него: год назад он противился моему появлению в Петербурге; теперь — меня звал; в его зове я чувствовал определенное, продуманное решение; ясно, что с этою мыслью меня, меня увезти в Петербург и приехал он в Киев.

— «Ну, правда, поедем-ка вместе: ведь вот я приехал к тебе сюда: в Киев. Так почему же тебе не поехать со мной в Петербург?»

Почему не поехать? Поехал бы я, да — я был в крепкой ссоре с Л. Д.; мы поссорились окончательно в бытность мою еще в Мюнхене;[55] впечатление было, что мы поссорились — окончательно; и я знал, что А. А. это знает; так почему же зовет он опять (ох, уж эти мне зовы приехать: однажды приехал по зову я, — произошла канитель); я опять посмотрел на А. А. Он стоял на своем:

— «Решено: мы поедем».

— «Но как же мне ехать, послушай: ведь знаешь же сам, что бывать у тебя мне нельзя...»

— «Ты про Любу?»

— «Да».

Тут осторожно, с нежнейшею деликатностью подошел он к моим отношениям с Л. Д., мне стараяся доказать, что мотивов для ссоры с Л. Д. уже нет (миновали они), что пора помириться, что для этого одного мне бы следовало с ним ехать — теперь:

— «Поезжай: будет весело».

— «А что скажет Л. Д. при моем неожиданном появлении».

— «Да она уже знает: мы с ней говорили...»

Тут понял вполне я, что план увезти в Петербург меня А. А. прежде придумал. И я — согласился: решили мы ехать; поездка расстраивала тогдашние планы мои (в одной московской газете заведовать литературным отделом);[56] а что касается лекции, предстоящей мне вечером, то А. А. мне решительно посоветовал не читать:

— «Как же быть: ведь билеты распроданы; оповестить уже поздно...»

А. А. посмотрел на меня:

— «Ты читаешь по рукописи?»

— «Да, по рукописи».

— «Ну так вот что: прочту за тебя я. Ты хочешь?»

— «Конечно».

Решили.

Решив, мы спросили к А. А. в номер кофе: и мирно его распивали; припадок прошел; но А. А. настоял, чтобы я шел к себе — отоспаться, провел меня в комнату, уложил, посидел у постели моей и потом, посоветовавшись с уезжающими в Москву Соколовым и Н. И. Петровской, он за доктором послал; доктор меня осмотрел и решил, что — бронхитик и нервное переутомление; перемена места полезна-де мне; так решили с А. А. ехать в ночь, после лекции тотчас же.

А. А. приготовился прочитать мою лекцию: взял мою рукопись; и — внимательно ее изучал, чтобы гладко прочесть; но я к вечеру поздоровел; и решил — сам читать; вместе с ним мы отправились, предварительно отослав на вокзал наши вещи; А. А. в этот вечер с нежнейшей заботливостью не оставлял ни на шаг одного меня; сидел в лекторской рядом со мною, приносил мне горячего чаю; и на эстраде сидел рядом с кафедрой, наблюдая меня, и решаясь меня заменить в любой миг, если я ослабею.

Провалился на вечере я; а на лекции, наоборот, если память не изменяет, имел я успех: собиралась молодежь, а не жадная к «*зрелищам*» публика; после лекции, не возвращаясь в гостиницу, мы отправились на вокзал; А. А. все продолжал проявлять свою милую, неназойливую заботливость: он закутал мне горло, чтоб я после лекции не простудился; едва мы попали в вагон, как уже залегли (до отхода курьерского поезда); и — заснули; проснулись в двенадцатом часу дня (вероятно, сказалась бессонная ночь накануне); и просидели весь день в ресторанном вагоне, потягивая рейн-вейн и болтая; опять было весело; и — шутливо (немного по-диккенсовски); мы себя ощущали, как мальчики, затеивавшие веселую, но немного рискованную игру; и — чувствовалось: как-то встретит внезапное появление нас Любовь Дмитриевна, о которой не говорили мы.

Я впоследствии понял А. А. И в желании перетащить меня в Петербург было много участия к моему состоянию; А. А. считал вредным для нервов моих погруженье в полемику и в «*политику*» литературы, которой чрезмерно я отдавался в то время под наущением Эллиса, Брюсова; и — прочих «*весовцев*»; с другой стороны: он хотел, чтобы я пригляделся к тому, что из Москвы отрицал так решительно; например, — к театру Коммиссаржевской, к которому был так близок в то время он, не разделяя моих опасений; он думал, — угомонюсь очень скоро я; но, увы, — ошибался: я — разразился полемикою, побыв в Петербурге.

В слезливое, в очень холодное утро мы прибыли в Петербург.[57] А. А. сам меня вез — по направленью к Исаакию, в Hôtel d'Angleterre.

— «Здесь тебе близко от нас: здесь всегда останавливался Владимир Сергеевич,* возвращаясь от Саймы».

Со мною прошел он в мой номер; и, посидевши, поднялся:

— «Теперь я поеду — предупредить надо Любу, а ты приходи-ка к нам завтракать; да — не бойся!»

И, улыбнувшись, он скрылся.

ОПЯТЬ ПЕТЕРБУРГ

Блоки жили тогда на углу Николаевской площади, около Николаевского моста: мне помнится — на Галерной,[58] а может быть, — нет: в географии Петербурга — не тверд, я москвич; но я помню, что дом их был вовсе угольный, одной стороной выходящий на площадь, где церковь (коричневая), с золотой, острой крышей.[59]

Квартира их состояла из небольших комнат, убранных просто, со вкусом; ход был со двора.

Никогда не забуду я чувства смущенья, с которым звонился я; встреча с Л. Д. волновала меня. Но мы встретились просто; во всем объясненьи с Л. Д. проявилась одна удивительная черта; объяснялись мы как-то формально; и чувствовалось, что объяснение подлинное, до дна, — ускользает; ну словом: мы, кажется, помирились, — не так, как с А. А. И еще я заметил: разительную перемену в Л. Д. Прежде тихая, ясная, молчаливая, углубленная, разверзающая разговор до каких-то исконных корней его, — ныне она, наоборот, на слова всё как будто набрасывала фату легкомыслия; мне казалось, — она похудела и выросла; что особенно поразило в ней, это стремительность слов; говорила она очень много, поверхностно, с экзальтацией; и была преисполнена всяческой суеты и текущих забот; объяснение с Любовь Дмитриевной 1906 года могло бы вполне состояться, а объяснение с Любовь Дмитриевной 1907 года, казалось мне, — объяснение со светской дамой, исполненной треволнений, забот, удовольствий (до объяснений ли ей!). Так я, объясняяся, — недообъяснился: и водворился меж мной и Л. Д. полушутливый легкий стиль — даже не дружбы, скорее *causerie*.**

---

* В. С. Соловьев.

** Беседы, непринужденного разговора (*фр.*).

Видел я, что А. А. в Петербурге подхвачен был вихрем своих обязательств, намерений, планов, забот; словом, — тот, кто ко мне приезжал объясняться в Москву, потом в Киев — исчез; появился передо мной в Петербурге захваченный шумной жизнью поэт, которому просто времени нет углубляться в детали общения; словом: я понял, что жизнь и Л. Д. и А. А. изменилась; была она тихой, семейною жизнью; теперь стала бурной и светской, и кроме того, понял я, что А. А. и Л. Д. живут каждый своею особою жизнью; А. А. был захвачен какой-то стихией; был весь динамический, бурный, сказал бы я, что *влюбленный* во что-то, в кого-то; и в нем самом явственно я замечал нечто общее с «*ритмами*» «*Снежной Маски*»; он был очень красив и был очень наряден в изящном своем сюртуке, с белой розой в петлице, с закинутой гордо прекрасною головою, с уверенной полуулыбкой и с развевающимся пышным шарфом; таким его часто я видел — в гостях, иль в театре, иль возвращающимся домой; я был больше с Л. Д., составляя отчасти компанию ей; очень часто А. А. оставлял нас; и — несся куда-то по личным делам; он казался мне в этот период весьма возбужденным, овеянным лейтмотивом мятели, которую он так воспел; все мятелилось вкруг него; он *мятелил*; и от него на меня часто веяло ветром мятели; мы мало с ним были вдвоем; он, как будто, всем видом и тоном хотел мне сказать:

— «Будем вместе — потом: наговоримся — потом... Теперь — некогда: видишь, захвачен весь я...»

Я его понимал; и его наблюдая, я им любовался.

Л. Д. говорила мне часто:

— «Переезжайте же к нам, в Петербург: я ручаюсь вам, — будет весело...» Слова «*весело*», «*веселиться*», — казались мне наиболее частыми словами в словаре Любовь Дмитриевны; мне казалось: А. А. и Л. Д. окружали себя будто вихрем веселья; но скоро заметил я, что этот вихрь их несет неизвестно куда, что они отдались ему; и несет этот вихрь их не вместе; Л. Д. улетает на вихре веселья от жизни с А. А.; и А. А. летит прочь от нее; я заметил, они — разлетаются, собираясь за чайным столом, за обедом; и — вновь разлетаются.

Словом, — я стал наблюдателем жизни их. Я замкнулся от них (не враждебно, а дружески); я старался не нарушать своим стилем их стиля; я даже входил в этот стиль, я участвовал в общем веселье, старался быть светским, но — видел: веселье то есть веселье трагедии; и — полета над бездной; я видел — грядущий надлом, потому что веселье, которому отдавались они, было только игрой, своего рода *commedia dell'arte*, не более:

По улицам мятель метет,
Свивается, шатается.
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

Это стихотворение А. А. мне читал в кабинете своем; оно было написано приблизительно в этот период.

Пойми, пойми, ты одинок,
Как сладки тайны холода...
Взгляни! взгляни в холодный ток,
Где все навеки молодо...[60]

Запомнились мне эти рифмы: «*молодо*» и «*холода*»; и Л. Д., и А. А. были молоды; оба пылали расцветами красоты, сил, здоровья; но вместо тепла в жизни их я расслышал вихрь холода, подхватившего их и помчавшего путем «*артистизма*»; вот слово, которое определяет то именно, чем, казалося, жили они: артистизм, театральность; да, *действие*, о котором мечтали мы некогда вместе, теперь наступило для них; но это *действо* их не оказывалось мистерией, а commedia dell'arte оно оказалось. Я помню лицо А. А., строгое, с вытянутым носом, с тенями, когда он читал мне надтреснутым, хриплым голосом:

Там воля всех вольнее воль
Не приневолит вольного;
И болей всех больнее боль
Вернет с пути окольного.[61]

Эту *боль* я почувствовал под весельем, под легкомысленным стилем Л. Д.; мне однажды она говорила в ту пору, что многое она вынесла в предыдущем году; и что не знает сама, как она уцелела; и от А. А. очень часто я слышал намеки о том, что они перешли Рубикон, что назад, к прошлым зорям возврата не может быть; я понимал, что, пока проживал за границею, в жизни Л. Д. и А. А. произошло что-то крупное, что изменило стиль жизни; однажды, придя рано к Блокам, застал я в постели их; я дожидался их в смежной комнате; тут раздался звонок: появилась Марья Андреевна; мы с ней встретились впервые; она все расспрашивала меня о заграничном житье моем; и потом перешла на жизнь Блоков; и тут закивала с какою-то вещею грустью:

— «Да, да: уж не то, уж не то... Нет цветочности!.. Вы, вероятно, заметили?»

— «Что?»

— «Да не та эта жизнь: облетели цветы, поизмялись...»

Мне Марья Андреевна показалась какою-то вещей: ну, паркою, что ли: с досадою я на нее посмотрел. В это время раздался мучительный, хриплый кашель А. А. за стеною; мне стало не по себе; этот кашель — пустяк; но в оттенке его мне послышалось столько страдания, что припомнилась строчка:

И болей всех больнее боль...

Скоро вышел А. А., очень желтый, с мешками под сонными и, как мне казалось, страдающими глазами; он говорил хриплым голосом; голос его стал не тот, каким прежде он был: стал грубее он, стал таким хриплым он.

Я Александру Андреевну в эти дни в Петербурге не помню; быть может, ее не встречал я у Блоков; поэтому я заключал, что между ней и Л. Д., вероятно, — не лады.

Но почти я всегда натыкался по вечерам на артистку театра Коммиссаржевской, Веригину, которая, по моим представлениям, очень дружила с Л. Д.; очень часто встречал я и Волохову (тоже артистку, того же театра), дружившую очень с А. А. Волохова, Веригина, — вот наше общество; порою встречал и Ауслендера, с которым носились артистки театра Коммиссаржевской. Театр стоял в центре всей жизни А. А.; очень часто туда уходил он. Однажды меня он позвал с ним: смотреть «*Балаганчик*», дававшийся после — «*Чуда Св. Антония*» Метерлинка. Приехавши, мы застали еще представление «*Антония*», которое видел я и которое не любил; мы поэтому забралися в буфет: пили вместе коньяк; видел я, что А. А., возбужденный, встревоженный чем-то (какими-то личными переживаниями, связанными с театром), пьет: рюмка за рюмкою; я опьянел очень скоро; А. А. выпил больше, чем я, но совсем не пьянел; скоро он, посадив меня в первом ряду, быстро скрылся (ушел за кулисы); смотрел «*Балаганчик*» один: я был пьян; и из первого ряда кивал я артистам; я помню, как сквозь туман, что А. А. появился в пустом бенуаре налево; и ласково, дружески покивав, быстро скрылся; я более в этот вечер не видел его, на другой уже день мне А. А. говорил:

— «Мне рассказывали артистки, что ты сидел развалясь; и курил папиросу — пред самою сценою...»

Этого я не помню.

Другой раз поехали вместе мы (Л. Д., А. А., я) на первое представление «*Пелеаса и Мелизанды*»;[62] перед началом спектакля к А. А. забегал очень, очень взволнованный Мейерхольд; поднимаясь на цыпочки и кивая изогнутым носом, хватался за голову он, восклицая:

— «Да что: прыгать в бездны, — вот что теперь надо».

Он очень взволновал был предстоящей премьерою; представление мне не понравилось вовсе; был весь Петербург; мне запомнился в этот вечер А. А.; я его наблюдал издале́ка, в антракте: в фойэ; он стоял у стены и помахивал белою розою, разговаривая с какою-то дамою, на него налезавшей; стоял он, подняв кверху голову и обнаруживая прекрасную шею, с надменною полуулыбкою, которая у него появилась в то время, которая так к нему шла; его черный, прекрасный сюртук, не застегнутый, вырисовывался тонкою талией на фоне стены; шапка светлых и будто дымящих курчавых волос гармонировала с порозовевшим лицом; сквозь надменное выражение губ я заметил тревогу во взгляде его; помахивая белою розой, не обращал он внимания на налезавшую даму, блуждая глазами по залу; и точно отыскивая кого-то; вдруг взгляд его изменился; стал он зорким; глазами нацелился он в одну точку и медленно повернул свою голову: тут он мне опять напомнил портреты Оскара Уайльда. Глядел на него я и думал, что вовсе не узнаю его, прежнего: где застенчивость, робость и детскость, которые так явственно выступали в нем; «*светский лев, а не Блок*» — так мне думалось; он же все целился взглядом во что-то, рассеянно очень откланялся и быстрыми, легкими, молодыми шагами почти побежал чрез толпу, разрезая пространство фойэ; развевались от талии фалды его незастегнутого сюртука.

Мне запомнился этот образ: как будто смотрел он не в зал, а чрез зал — в вихрь метели: и когда побежал он, то побежал, как во тьму «*моего города*»; почему-то я вспомнил слова посвящения первого издания «*Снежной Маски*»: «*Посвящаю эту книгу женщине с крылатыми глазами, влюбленной во тьму... моего города*» (так, кажется).[63] Про А. А. говорили в то время, что он — влюблен.

В тот приезд свой я очень любил А. А. Но говорил с ним я мало; мне было — так грустно; я чувствовал: жизнь, им лелеемая, — не настоящая жизнь; это легкий запой над подкрадывающейся к нему новой драмой сознания; и он знал, что я думаю; он как бы просил меня:

— «Не разочаровывай: сам отдайся той жизни, которую я здесь веду».

И Л. Д. мне говаривала не раз:

— «Приезжайте же, будет весело...»

Мне весело не было: наоборот, было — грустно; я знал: под метельным вином, под «*глазами крылатыми, в тьму влюбленными*» ждут А. А. его строки:

Эй, берегись! Я вся — змея!
Смотри: я миг была твоя,
И бросила тебя!
Ты мне постыл! Иди же прочь!
С другим я буду эту ночь!
Ищи свою жену.
Ступай, она разгонит грусть,
Ласкает пусть, целует пусть,
Ступай — бичом хлестну.[64]

Почему-то А. А. того времени связывается для меня со стихами его отдела «*Фаина*». И образ «*Фаины*» встает предо мною:

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.
И под знойным, снежным стоном
Расцвели черты твои.
Только тройка мчит со звоном
В снежно-белом забытьи.
Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля...
Душишь черными шелками,
Распахнула соболя.[65]

Образ Фаины — лукавый, не верный; у нее — *темная вуаль и узкая рука* («*Пусть навек не знают люди, как узка твоя рука*»); одета она — в «*темный шелк*»; и «*нагло скромен дикий взор*» ее; она — «*черноокая*» («*черноокая моя*»); душа ее — «*буря*»; шелка ее «*поют*»; и музыка преображает лицо ее; она говорит:

Найди. Люби. Возьми. Умчи.[66]

В ней просыпается образ Клеопатры, которую А. А. увидел в музее-паноптикуме; и кажется, будто Фаина есть вставшая кукла музея-паноптикума; она — напоминает поэту Египет.

В косых лучах вечерней пыли
Я знаю, ты придешь опять
Благоуханьем Нильских лилий
Меня пленять и опьянять.[67]

Ей сопутствует пенье шелков; и театр сопровождает ее: «*Живым огнем разъединило нас рампы светлое кольцо*»; «*Когда твой занавес тяжелый раздвинулся — театр умолк*»; она говорит о себе: «*Я в дольный мир вошла, как в ложу*»; и — далее: «*Театр взволнованный погас*». Словом, она — артистка:

Тобою пьяная толпа.

И —

Дрожит серебряная лира
В твоей протянутой руке.[68]

Эпитет «*темный*» сопровождает повсюду образ ее: «твой *темный* шелк», «за *темною* вуалью», «я... *мрак* тревожу», «*темной* ложи», «*сумрак* глаз твоих», «*темным* взором».

Вползи ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.[69]

У меня создалось впечатление: в это время А. А. относился прекрасно ко мне; но ему все казалось, что идеология москвичей мне губительна; Брюсов губит меня, завлекая в «*политику*» литературы, а Эллис, Рачинский, С. М. Соловьев и философы кантианцы влекут меня каждый в свою идеологическую трясину; в его представлении, вероятно, меня надо было изъять из столь вредной, абстрактной, в полемику вталкивающей атмосферы; и — приобщить: живой жизни; под этою жизнью в моем представлении он разумел «*артистизм*»; и — кулисы театра Коммиссаржевской; но именно: в этой кулисной, обманчивой жизни я видел лишь пыль — пыль «*кулис*»; да: в моем представленьи не я, а А. А. подменил жизнь живую кулисными «*суррогатами*» жизни; я видел, что спорить нельзя с ним; и я позволял завлекать себя в эту мне вовсе не близкую жизнь, наблюдая ее; и, естественно, не поддаваясь обману. Поэтому мы, превратившись в «*политиков*», не заговари-

вали напрямик, а — таились; любил я А. А., но не верил пути его; мы оставалися в противоположных и даже враждебных партиях; и тем не менее, часто бывало уютно нам вместе; я помню, что часто просиживали вечерами у Блоков мы впятером: я, Л. Д., А. А., Волохова, Веригина, милая молодая блондинка, дружившая очень с Л. Д. В ней мне виделся юмор, задор, доброта; с ней легко было; Волохова — не то: очень тонкая, бледная и высокая, с черными, дикими и мучительными глазами и синевой под глазами, с руками худыми и узкими, с очень поджатыми и сухими губами, с осиною талией, черноволосая, во всем черном, — казалась она reservée.* Александр Александрович ее явно боялся; был очень почтителен с нею; я помню, как, встав и размахивая перчатками, что-то она повелительно говорила ему, он же, встав, наклонив низко голову, ей внимал; и — робел:

— «*Ну — пошла*».

И шурша черной, кажется, шелковой юбкой, пошла она к выходу; и А. А. за ней следовал, ей почтительно подавая пальто; было в ней что-то явно лиловое; может быть, опускала со лба фиолетовую вуалетку она; я не помню, была ли у ней фиолетовая вуалетка; быть может, *лиловая, темная* аура ее создавала во мне впечатление вуалетки; мое впечатленье от Волоховой: слово «*темное*» с ней вязалось весьма; что-то было в ней — «*темное*».

Мне она не понравилась.

Тем не менее были уютны и веселы вечера, проведенные вместе.

Дела вызывали в Москву (был октябрь уже). А. А. звал меня жить в Петербург.

— «Приезжай, Боря, к нам...»

— «Тебе вредно застрять в вашей душной Москве».

А Л. Д. прибавляла:

— «Истерики там, у вас».

— «Приезжайте сюда...»

— «Будет весело...»

— «Обещаю вам это...»

— «Увидите сами...»

И я обещал, что приеду: переселюсь в Петербург.

. . . .

Я поехал в Москву ликвидировать все дела; и — и скорей перебраться;[70] приехав в Москву, я застрял; очень странно: я прежде стремился к А. А. и Л. Д., а теперь переезд в Петербург — не пленял меня

---

* Сдержанной (*фр.*).

как-то; во-первых: меня не пленяла жизнь Блоков; я видел, что в жизни А. А. происходит какой-то разгром; предотвратить его не было в силах; я думал о том, что я буду, приблизившись к Блокам, в глухой оппозиции; наконец, ощущение, что еще предстоят объясненья с Л. Д., останавливало мой пыл переезда; во мне постепенно откладывалось недоверье к Л. Д.; переменилися отношения наши друг к другу; как в 1906 году я, дружа с Л. Д., чувствовал отдаление от А. А., так теперь: примирившись с А. А., явно чувствовал я недомолвки с Л. Д.

Кроме этого: Мережковские, единственно близкие мне из петербуржцев в то время (кроме А. А.), проживали в Париже; с Ивановым я разошелся идейно; и — видеть его не хотел; круг Иванова, пресловутая «*башня*», был чужд мне; я в сущности в Петербурге остался один бы; наоборот: в Москве — крепли все связи мои; предстояла кипучая газетная деятельность, интересовавшая в то время меня; здесь, в Москве, находились «*Весы*», штаб-квартира движения нашего; круг друзей «*аргонавтов*» был здесь; здесь встречался я постоянно с С. М. Соловьевым, с Рачинским, с Петровским, с Сизовым и с Эллисом; приезжал мой друг Э. К. Метнер из-за границы;[71] и — наконец: организовывалась деятельность разного рода.

Во-первых: «*Эстетика*» предполагала расшириться: я, как член Комитета, был связан с ней; заседания «*Московского Религиозно-Философского Общества*» становилися интереснее и интереснее с переездом Булгакова, ставшего членом Совета его; в это Общество втягивали меня Г. А. Рачинский и М. К. Морозова, с которой все более я дружил; наконец: в Москву переселились д'Альгеймы, с которыми я познакомился еще раньше, через Рачинских. П. И. д'Альгейм, человек замечательный, с проблесками гениальности, устраивал в Москве свой «*Дом Песни*»;[72] с 1902 года я стал посетителем всех концертов Олениной; и — горячим поклонником ее пения; П. И. д'Альгейм старался группировать вокруг «*Дома Песни*» литературные и музыкальные силы Москвы; в гостеприимной квартире (в Гнездниковском переулке) мы собиралися вечерами, заслушиваясь блистательными речами П. И. об искусстве, о мистике, о музыкальной культуре; здесь я встречался с С. К. Мюратом, с гр. С. Л. Толстым, с В. Я. Брюсовым, С. И. Танеевым, с Энгелем, с Кашкиным, с проф. Л. А. Тарасевичем; здесь встречался и с Н. А. Тургеневой и с А. М. Поццо, с Рачинскими. Иногда М. А. Оленина начинала петь. Незаметно П. И. захватил меня, привлекая к организации литературного отдела «*Дома Песни*». Так, на открытии «*Дома Песни*» я должен был выступить с лекцией «*Песнь жиз-*

ни»;* вторую часть лекции М. А. Оленина иллюстрировала своим исполнением «*песен*».

И — наконец: философские интересы мои находили пищу в Москве; незаметно сближался я с Г. Г. Шпеттом, наиболее бойким и всесторонним среди тогдашних философов (из молодых); у М. К. Морозовой (на Смоленском бульваре) происходили частые заседания «*философского кружка*» молодежи, в котором бывал я; здесь бывали И. А. Ильин, Гордон, Б. А. Фохт, Г. Г. Шпетт, А. К. Топорков, Б. П. Вышеславцев, А. В. Кубицкий; бывали и старики — Л. М. Лопатин, появившийся в Москве к тому времени кн. Е. Н. Трубецкой, В. М. Хвостов, всегда принимавший деятельное участие в заседаниях, Б. А. Кистяковский и пр.

Словом: в Москве для меня жизнь кипела. А Петербург того времени был мне враждебен и чужд; только Блоки влекли меня, но... но... но...; и — все-таки: я в Петербург переехал.[74]

Остановился я на Васильевском острове, в меблированных комнатах, против моста; из окон моих открывался унылейший вид на Неву, к тому времени полузамерзшую; стоило перебежать этот мост и — я попадал прямо к Блокам; но к Блокам, представьте, я мало ходил; обнаружились тотчас же мои контры с Л. Д.;[75] и настолько сериозные, что я мрачно засел в своей комнате и с отчаянною решимостью застрочил нападательную статью на театр, под заглавием «*Театр и современная драма*» (статья предназначалась для сборника, выпускаемого «*Шиповником*»).[76]

А. А. был в вихре своих увлечений и, видя контры мои с Л. Д., мягко старался стоять в стороне он; мы с ним дружили издалека; но более, чем когда-либо, расходились в путях. А с Л. Д. я имел очень крупное объяснение, после которого решил ликвидировать все с Петербургом. Я скоро наездом там был (был два раза): читал свои лекции; и уезжал очень быстро в Москву.[77] Мы с А. А. находилися в дружеской переписке; но мы чувствовали, что говорить и видаться — не стоит. И уже понимал, что отдалилися друг от друга без ссоры мы; медленно замирало общение наше, чтобы возобновиться лишь через несколько лет; наступала страннейшая мертвая полоса отношений (ни свет и ни тьма, ни конкретных общений, ни явного расхождения)...

Письма писали друг другу мы редко; и, наконец, — перестали писать.[78]

Цоссен—Свинемюнде, 22 г.
Май—Июнь.

* Первая часть этой лекции напечатана в «Арабесках».[73]

⟨Том III⟩
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

АРБАТ

С ноября я в Москве.[1]

Это время отметилось в памяти очень решительным изменением московского облика, ломкою старых домов, воздвиганием новых, решительным расширением сети трамваев, открытием новых торжищ, явлением разных продуктов, доселе невиданных, — как-то: цветов из Ривьеры; в огромном обилии вдруг объявились бананы, кокосы, гранаты, сибирские рыбины странных сортов; прежде рыбой снабжала лишь Матушка Волга — не Обь, не Иртыш; населенье — удвоилось; и объявилися киевляне, куряне, екатеринославцы; особенно — одесситы и харьковцы всюду; и всюду стояли претвердой ногой; один Киев представился князем Е. Н. Трубецким, Кистяковским, Булгаковым, Гершензоном, Бердяевым, Шпеттом, Челпановым (все — киевляне); в адвокатуре, в культуре, в науке — провинциал проявил себя; вместо исконных московских словесных «*плевак*»,[2] киевлянином Игорем Кистяковским построился «*Мерилиз*»[3] адвокатский, пускающий многие щупальцы (штатом помощников) в жизнь финансистов и пухнущий с тою же быстротою, с какою распух большой каменный дом о семи этажах в месте прежнего, барского двухэтажного и колончатого.

Разобщенность кварталов сменилася сообщением их; даже пригород быстро всосался в московские центры; громчей тараракала мостовая; громчей подкаблучивал тротуар; всюду вспыхнули вечерами глазастые вывески новых кофеен, «*Кино*», ресторанов и «*бар*» завелся под названьем «La Scala», где раз с Боровым танцевали мы вальс.

Мой родимый Арбат — не избег своей участи; переменился и он; вот и тот, — и не тот; те же домы и фирмы, — и все же: не те; не с таким выражением окна смотрели (печальней, угрюмей) на новые окна раздувшихся строимых выскочек (новых домов, украшаемых новыми фирмами); прежние домики были — Плеваки, Бугаевы, Усовы, Стороженки; какой-нибудь эдакий Алексей Веселовский, пузатоколонно и чванно кудрявяся фразами кленов, его окружавших, премедленно выговаривал дому напротив, какому-нибудь Стороженке, пыльнейшим отхлопыванием ковров на дворе (два лакея тузили ковры выбивалкой): «у Батюшкова, у Мольера, у Грибоедова — сказано...» Дом же напротив, прелиберальнейший Николай Ильич,[4] разевал ротовой свой подъезд, оттарарахивая отъезжавшим извозчиком: «Тарара́тата... Вы читали Потапенку?..» Все изменилося: особняк, Алексей Веселовский, был стиснут: вытягивались домины и справа, и слева, уподобляемые состоянью финансов какого-нибудь Рябушинского, с розой в петлице, бросающего с высоты всех шести этажей на седые власы и седины профессорской крыши — сигарный дымок: «Грибоедов, Потапенко, Батюшков, — вот чепуха-то..... Ненужные старики, — не читали Оскара Уайльда?» А «*Николай Ильич*» сломан был, как и тезка, профессор Н. И. Стороженко, последние дни доживавший из кресла (тишайшего приарбатского дома, тишайшего переулочка) и дочитывавший по истории западной литературы последнюю лекцию курса Илье Николаевичу Бороздину; то же было с Плевакиным домом (Новинский бульвар); он печально принизился; Игорь же Александрович Кистяковский приглядывал место для дома, который хотел вознести он огромным количеством этажей и пробить в нем большое количество окон — помощников (по окну на помощника); как хорошо, что Плеваки уж не было; умер Захарьин; профессора И. И. Янжул и Н. В. Бугаев капитулировали весьма кстати: один в Академию,[5] а другой в Новодевичий монастырь под приподнятый крест, потому что Арбат конца прошлого века дворянско-профессорский, патриотический, консервативный, семейный стал крупно-капиталистическою, интернациональною, разгуляйною улицей; Прохор, лихач, так недавно единственный настоящий, арбатский лихач, был совсем затеснен раззадастыми лихачами у «Праги».[6]

Все то бросилось мне, когда я утвердился в Москве окончательно; с 1906 года я был на отлете; я жил Петербургом и Блоками; перебегая московские улицы, взором рассеянным я их окидывал; только теперь, заключенный Москвою в Москву, стал Москвою я сам; и «Москва», я, — не тот уже был; вместо прежнего мира какое-то ощущалось изъятье, в которое явно впиралось извне обстоянье (природа сознанья боит-

ся пустот); и Арбатская улица («улица» — то, что стоит у лица, иль у «*зрака*». Она — сущий при-зрак). Арбат, прежде явственный, стал предо мною каким-то явившимся *призраком*: эдакого Арбата и не было; он появился откуда-то, воплощаясь коробками новых домов; я тогда стал, особенно часто, припоминать «*тот*» Арбат, «*настоящий*» Арбат, где я рос, где учился, где думал, где зори светили, откуда я звал к «*Золотому Руну*»,[7] где меня посетил Александр Александрович Блок; изменение Арбата связалося для меня с отступлением: я отступил от Арбата, засев под Арбатом — в Никольском претихеньком переулке;[8] да, прежде арбатская жизнь стала ныне уже приарбатскою, переулочной жизнью; вломилась в Арбат от Никольской, Мясницкой, Кузнецкого громкогласная стая пришельцев, одушевленных коммерцией, перестраивала и ломала устои Арбата; профессора, литераторы и представители старо-дворянских и старо-купецких традиций тогда стали быстро: одни умирать (мой отец, Соловьевы, Пфуль, Кестер-старушка, сам Выгодчиков, Стороженко), другие ж — бежали, раскладываясь в переулках Арбата — до самой Пречистенки, где и застигла их всех канонада потом (весь «*кадетский*» район был жестоко обстрелян гремевшею большевистскою пушкою).[9]

Помнится прежний, «Арбатский» Арбат: Арбат прошлого века — не нынешний; вот он встает предо мной от «*Смоленской аптеки*»[10] градацией главным образом двухэтажных домов, то высоких, то низких (от разницы высоты потолков и оконных размеров), где дом угловой (дом Рахманова, после — Богданова),[11] белый, балконный, украшенный пренелепою лепкой карнизов, приподнятый над Денежным переулочком круглым подобием башенки (причердачной), — тремя этажами величественно возвышался над пятнами ярких домов; и цвета — темно-охровый, белый, коричнево-желтый, оранжево-розовый, бледно-палевый, молочно-кисельный (потом в этом месте зеленый), вновь желтый и красный, кирпичный и далее, далее, далее — образовали цветистую линию вдаль убегающих зданий одноэтажного длинного, двухэтажного, двухэтажного вновь и трехэтажного и т. д. — линию вовсе не равных домов (в вышину, в ширину): эта линия издали уподоблялась нелепо и пестро раскрашенной ленте, к закату блистала разлетами золота (стекол оконных) и глянцами косоглазого фонаря на столбе; мимо ленты домов проходилась звонящая коночка тощей одною лошадкой; и всякие там «тарары́ки» летели весною и летом; и «тарары́ки» подкладывала — в распухшее ухо (от шума) «*Шиперко*» — квадратная фура и скарбница, перевозящая скарбы на дачу; взметалися пропылеи московские метлами дворников, вечером же тараракали тартарары *тарара́ровые*,

иль — вонючие, канализационные бочки, протянутые от «*Миколы*» (на Камне) до *церкви «Смоленския Божия Матери»*:[12] к Доргомилову — тартара́кали; веснами мчалось оттуда, от церкви «*Миколы*», вполне разливанное море коричневой грязи; «*Утопии*» все-таки не было (употребляю я слово «*утопия*» не в утопическом смысле: в буквальном и означающем — *утонутие* в луже; не смейтесь: Казаринов, множество лет завивавший сплошной котильон вдоль Москвы,[13] — утонул в подмосковной невзрачненькой луже; я с ним был знаком); осенями все капало здесь; а зимой рос сугроб, не свозимый ни силой лошадок, тащивших его на Москва-реку, ни рачением полицейских обходов Арешева, пристава; полицмейстера Огарева я помню, Козлова я помню, Власовского помню; и все-таки помню: в годах их владычества — рос несвозимый сугроб на Арбате.

Теперь — все сгребалось, раскалывалось, увозилось стремительно; голые тротуары частехонько посыпались песочком и солью, опасность весенних «*утопий*» прошла, «*пропылеи*» исчезли.

Ну разве Арбат это?

В прежние годы все так же Арбат посредине, у церкви «Миколы» на белых распузых столбах, переломанный «*Кривоарбатом*» каким-то, от самого Староносова[14] виден был вдаль до распузых столбов колькольни, протянутой остроконечною белою шапкой над крепким сращеньем домов; был он дальше не виден; и тоже: коль стать от «*Гринблата*»[15] (когда завелася там «*Прага*», «*Гринблат*» приходился к ней наискось) и посмотреть вниз, бывало, упрешься опять-таки — в церковь «Миколы»: венчался зоолог в ней, Северцев, был же еще он студентом: на «Машеньке» Усовой; и Николай Иванцов, по прозванию «*Труба иерихонская*», был у них шафером, переконфуженным очень.

«Микола» естественно делит Арбат на две части; патрон он Арбата; Арбат мог быть назван «*Миколиной*» улицей, назван же он по-татарски;[16] у Грозного был тут дворец; и проехался Наполеон по Арбату как раз мимо церкви «*Миколы*», у розовой колокольни, Миколы-Плотника, где похаживал переряженный в мещанина Безухов.[17] «*Микола*» изображался на камне, плывущим по водам, с раздувшимся омофором по ветру, держащим в «*десницах*» собор наподобье сращенья просфорок, однокопеечных; на человечьих стоял он ногах, — не на курьих (есть всякие церкви «*Миколы*», — «*Миколы на курьих ножках*», «*Миколы Угодника*», «*Миколы на Спасо-Песках*»; почему-то нет церкви «*Миколы Затрещины*», — разумеется Арию;[18] вовсе приличное именование православному храму. Вот если б «*Микола-на-Кукише*», — то вполне

понимаю, что — нет. А «*Микола Затрещины*» — патриотично, прилично и действенно.

Изображенный «*Микола-на-Камне*» — арбатский патрон, потому что он видел Арбат: от «*Миколы*» до «*Староносова*»; и — от «*Миколы*» до «*Праги*»; и может быть, видя до Праги, пред-видел еще и Белград; за арбатцами, текшими в Прагу, Софию, Белград, он не тек по «*проливам*» на камне, оставшися верным Арбату, — а не местам своей родины: граду Ликийскому, «*Константинополю и Проливам*».

Микола и *Камень* и *Миколин* — *Знаменованья* Арбата: доселе.

Крепись, Арбатец, в трудной доле:
Не может изъяснить язык,
Коль славен наш Арбат в «Миколе»
Сквозь глад и мор, и трус, и зык![19]

От «*Староносова*» начинается, собственно говоря, леточисл, иль верней — домочисл: магазинное перечисление Арбата, столь памятное; до него — все слетает, все сказывается по направлению к среброглавому белому храму «*Смоленския Божия Матери*», где задьяконствовал прежде старший дьячок храма «*Троица-на-Арбате*»,[20] отличнейший Дмитрий Ильич, распустивший по этому поводу кудри и длинную бороду от подбородка, безбрадого вовсе в дьячковские годы; до «*Староносова*» все, что ни есть, — относимо по склону к Москва-*реке*: мимо гор — Воронухиной (справа) и Мухиной (слева), прославленной «*Номерами Семейными*» бань, очень древних, где мылися многие; и между прочим — известнейший композитор Танеев (с Гагаринского переулка), все то относимо к Москва-реке, или плющимо Плющихою, где проживали когда-то Толстые, Фет, Поццо. Под Мухиной горкой я мылся; а с Воронухиной горки я первые зори увидел, впоследствии ставшие *зорями символизма московского*: около домика, где проживала Кохманская, где собиралися после уже начинатели всевозможнейших теософий, — старушки, подобные курочкам, клохчущим над яичком Пралайи[21] и над «яичной» — пардон, виноват! — над телесною скорлупою своею, — старушки, водимые долгое время по книжечкам Безант, Паскаля, Ледбитера Батюшковым, уподобляемым бесхохлатому маленькому петушочку, воспевшему с Воронухиной горки над зернышком Истины; прежде же Ларионовна, прачка, жила в этом месте, которая все-то роптала на кухне у нас о судьбе, ей пославшей больного и слабого мужа, пока мой отец не утешил ее, записавши стишки:

И вскричал тут Алексей,
Муж ее больной:
«Не ропщи и зла не сей,
И не плачь, не ной, —
Ларионовна старушка»... и т. д.

У Ларионовны — дочка была; прозывали ее все прислуги «*Лоскут Доргомиловский*», Лизою звали. Служила — у Янжулов. Тут — в непосредственной близости с домиком Ларионовны — *зори вставали*: периода целого; знаю то место; все-все, что ни есть, от Арбата стремится отсюда валиться к Москва-реке — зори увидеть. «*Смоленской Аптекой*» и домом, где «*Дон*»,[22] устремлению этому ставились грани; и «*Староносов*» поэтому мог беспрепятственно строить Арбат: правофланговая лавка арбатской шеренги!

Дом каменный, темносерый, едва проступающий сереоливковым, грязным оттенком, вполне двухэтажный, но кажущийся трехэтажным отсюда, — дом «*нашей* аптеки» (не общества русских врачей — на Арбате), глядящий из окон цветными шарами, принадлежавшими Иогихесу, аптекарю; знал его я, а не сына: отца! Сына — тоже: был сын на одном факультете со мной, занимаясь усиленно органической химией; кажется, у Марковникова, не у Зелинского вовсе (ведь всё враждовали «*Зелинцы*» с «*Марковцами*» — из-за печей, колб, реторт: педеля, ассистенты, студенты; и враждовали: Марковников и Зелинский друг с другом; *Зелинцем* был я; Иогихес был противного лагеря); очень почтенный папаша его, сребробрадый, высокий, в пенсне, постоянно сосавший кислейший лимон — в ином случае не было бы сего выражения лица, — за прилавком аптеки, пред белыми банками с надписями «Venena»* всегда разбирал содержание рецептов; и видом своим говорил: «Для чего? Все равно, — он не выживет». И проходил, не сказавши ни слова, в квартиру свою, выходившую дверями к аптеке; из этой квартиры носили мне детские книги читать, от детей Иогихеса; сестра гувернантки моей здесь давала уроки. Бок дома к Смоленскому занят был лавкою «*Мясоторговлею Мозгина*»;[23] сам Мозгин прерассеянно гнулся за прочной конторкой средь туш окровавленных, зайцев, тетерок и замороженных поросят; молодцы его, с краснолиловыми лицами, в фартуках, ухали топорами по мясу; Мозгин же носил котелок и очки, вид имея, скорее, доцента-филолога; ездил в пролетке своей. Имел лошадь прекрасной породы, а кучер его украшался не шапкою кучерской —

---

* Яд (*лат.*).

картузом; с Мозгиным велись тяжбы взволнованной мамою; то нам отпускал Мозгин мясо, то — нет; вечно слышалось: «Наглость: опять отпустили протухлое мясо; нет, нет — с Мозгиным надо кончить: переходите к Аборину!»[24] А через три уже месяца — слышалось: «Наглость: тетерьки-то — тухлые... переходите скорее к Мозгину». Раз пятнадцать Мозгин прерывал и опять начинал отпуск мяса на кухню; вся жизнь протекала моя, как качание маятника («*Мозгин — не Мозгин*») меж двух тухлостей: тухлой бычины и тухлых тетерок; да, дом, где шарами сиял Иогихес, где Мозгин протухал своим мясом, приподымая любезнейше котелок над доцентским лицом из кровей и тухлятины, разрубаемой бухающими топорами, — тот дом не забудется!

Против «*Смоленской Аптеки*» опять-таки — серожелтый дом: дом, где был — «*Дон*», выходящий немытыми окнами на Сенную, на площадь; «*Дон*» — комнаты меблированные; проживал Эллис тут, собирал четверги, на которых стояла толпа человек в двадцать пять (за отсутствием стульев) — студентов, курсисток, рабочих, эс-деков, сомнительных очень персон, неизвестно какою судьбой приведенных в то логово, вместе с совсем несомненными, славными деятелями периодической прессы; была ж это «*паства*» держащего проповедь Эллиса; здесь попадался Волошин, когда был в Москве, Шик, Борис Садовский, Русов, даже Цветаевы с приложением Рубановича, Сени, к которому Эллис скрывался на время всеобщих скандалов, затеянных им; «*паства*» громко гудела, сопела и с дикой решительностью пережигала огромное множество папиросок «*Дюшес*», очень яростно низвергаемых на́ пол; и после — растоптанных; в дыме и в вони табачной тонули мутнейшие силуэты стоявших; когда открывал сюда дверь, то всегда я отскакивал от густейших, стремительно выпирающих клубов, из них же неслось: «Га-га-га... Го-го-го... Бодлер, что? Го-го-го... У Тристана Корбьера: га-га-га...»

Это Эллис средь говора «*паствы*» у бюста сурового Данта, с протянутым пальцем сгорал, окруженный кольцом самогара; и дым — валил клубом: сжигалися старые ценности; даже сжигали себя в своем ветхом обличии; «*самосгорание*» это тянулось далеко за полночь; потом: из распахнутой двери валили немым коридором: угрюмые люди и сизые клубы; а Эллис, Нилендер и кучка вернейших адептов перекочевывали, если очень уж поздно, напротив: в ночную, извощичью чайную, где за желтою пятнами скатертью происходили священные заклинания огней и заклятия мечей; и прислуживал спиногрудый горбун; и храпели кругом тяжкозадые и ночные извозчики, головы (в черных лаковых шапках) роняя на руки; порой проносился в массивнейших чайниках вид кипятка,

именуемый водкой (спиртные напитки же воспрещались строжайше!); в той чайной бывали: Бердяев, Волошин и Шпетт, продолжая беседы, возникшие в доме Морозовой: на заседаниях философских, происходивших в том доме,[25] — всего дома за три отсюда, пройдя лишь читальню, приют и квартиру профессора Владимира Григорьевича Зубкова; а если собранья кончалися ранее, — двигались в трактироподобное заведение, выходящее на угол, против «*Смоленской Аптеки*»: я, Эллис, Нилендер, порою Борис Садовский; и садилися к исполинской машине; тогда половой обязательно ставил нам валик — «*Сон Негра*»:[26] машина же, вспыхнув зеленым и красным огнем, словно с места сорвавшися, бударахалась, бацая бубнами.

В «*Доне*» же Эллис обычно не жил, — только спал: от утра и до вечера; вскакивая, выбегал по знакомым; и возвращался к рассвету: где ел он? вернее — нигде, потому что, наткнувшись случайно на залежи пищевого продукта, ну скажем, на вазу с дюшесами, — уничтожал все дюшесы мгновенно он к величайшему огорчению хозяйки; потом же, хватаяся за живот, неожиданно исчезал; происходило все то не от жадности: с голоду; дня три не ел (не подумал!); и вдруг в поле зренья — «дюшесы»: автоматически поглощались во время речей об аскезе.

То длилось до важной минуты в истории «*Дона*», до появления Нилендера — там же; Нилендер забрал быстро Эллиса в руки; его заставлял умываться он; Эллис боялся воды; омывался при помощи кончика полотенца, приложенного к сфере носа: до щек этот кончик добраться не мог; а теперь при посредстве Нилендера мылось лицо, — все лицо, — и то вовсе не главное; главное: эллисовские финансы упорнейше забирались и покупались билеты на право обеда в трактироподобном убежище. С этого времени Эллис белел и полнел; говоря о Нилендере, он приходил в умиление:

— «Знаешь, — Владимир Оттоныч — обмыл, напоил, накормил... без него мне — конец!»

Тем не менее: происходили ужасные пререкания из-за подсиживания «*Орфических* Гимнов»[27] неблагодарнейшим Эллисом; только Нилендер разложит в своем номерке словари, погружаяся в Гимны, — является Эллис; и начинает весьма саркастически, усик крутя, отпускать замечания по поводу греков, далеких весьма от Бодлера и Данта и потому подлежащих сожжению вместе со всеми трудами о них и со всеми о них словарями; Нилендер, схватившись за голову, с плачущим криком, бывало, — кидается: от стенки до стенки: — «Молчи, Лев!» И наконец, схватив шапку, трагическим жестом бросает:

— «Все — кончено между нами: все, все!»

Исчезает; куда, — неизвестно.

А Эллис, устроив скандал, отправляется ночевать к Рубановичу, к Сене. Потом оба сходятся:

— «Лев!»

— «Ах, Володя!»

Объятия — заключаются; и Владимир Оттонович сызнова забирает все деньги: является новый билет — на обед; Эллис — вымыт, причесан, одет и накормлен: белеет, полнеет.

Дом против «*Смоленской Аптеки*» — дом «*Дона*»: его ли забыть? Так с преддверья Арбата приподымалась завеса над сценами жизни, в которых участвовал я.

Перебегая сеченье Арбата с Сенной и Смоленским, имели — налево: одноэтажные небольшие домочки с «Замятиными» (керосинное дело),[28] со всякими зеленными лавчонками, погребками, фруктово-плодовыми лавками; протухолью отдавало от первых: кислятиной — отдавали вторые; великим постом продавали: моченые яблоки, слизи из рыжиков, слизь черносливов, халва, постный сахар, горшки; и сидел толстый кот; и рурыкал, и щурился; против гляделся хлебами из окон под кренделем вывески — прямо с угла: Савостьянов, известнейший пекарь;[29] и далее: чайный магазин «*Зензиновых Сыновей*»;[30] потом слева: большущая лавка для красных товаров с огромною вывескою во все окна; по черному золотом букв: «*Староносов*»![31] Владелец — сначала лавчонки, потом только лавочки, лавки, лавчищи, почти достигающей ранга магазина галантерейных товаров, — мне ведом с младенчества: городовой Староносов, стоявший года между Денежным переулком и громким Арбатом: у самого дома Рахманова и дома Старицкого: сизоносый, багровый, усатый, как морж, — прекорявый, мозолистый; святками он надевал свою шубу навыворот — мехом наружу; и, вымазав сажей лицо, принимался отплясывать он по знакомым по кухням: на радость прислугам и детям, которых он очень любил: топотал сапожищами; он появлялся у нас: раздавались на кухне и взвизги, и фырки; и мама, и папа опрашивали: «Дуняша, да что там такое у вас?» И Дуняша, закрывшись и вспыхнувши, произносила: «Да, там, у нас в кухне — городовой Староносов; ах, *ужасти* — ряженый». И просветлялися лица у папы, и мамы: «Ах, вот что: ну — пусть». Запрещалося всем откаблучивать дроби ногами на кухне — за исключением Староносова-городового: ему разрешалось: на Святках. И папа и мама, и дядя, и тетя, и я — отправлялись на кухню: с улыбкой смотреть — на запачканный сажею нос Староносова и на меха его шубы; и — слушать прегромкую дробь каблуков, под которыми половицы скрипели и гнулись;

а он, покаблучив, с конфузливым, хриплым «хе-хе-с» — удалялся: каблучить в соседнюю кухню. Я мальчиком выгляну из окошка, бывало, — морозище. На перекрестке Арбата и Денежного — оттопатывает ногами от холода городовой Староносов, сосулясь усами и нас охраняя от жуликов, долгое время вводимых в квартиры с двора рассаженным Антоном, вторым нашим дворником; да, очень многие из квартир трехэтажного дома Рахманова (после Богданова) были ограблены жуликами при содействии этого детины, Антона, которого выгнали в шею потом кулаком, основательным, старшего дворника, Дмитрий Петровича, так называемого, — управляющего. Хозяин — не жил, погрузившись в науку и ставши доцентом при Лейсте; а Дмитрий Петрович с квартирами расправлялся; городовой Староносов же — лавку завел; вот-так так: загремел, открывая Арбат до «*Миколы*» на Камне.

А наискось от него, ближе к Денежному, среди правого ряда арбатских домов, приседала не громкая видом, но громкая голосом церковь: то — Троице-Арбатская церковь, с церковным двором и с зелененьким садиком, вытянутым дорожкою в Денежный переулок, там были ворота; а на воротах крылатый Спаситель; сюда привозила меня в очень малой колясочке, — к лавочке: няня; и только потом уж на лавочке делал песочные булки. На дворике был и колодезь, и домики: домик дьячковский, поповский и дьяконский: протоиерей, благочинный, Владимир Семенович Марков, почтенный своей бородой, рыжевато-седою, пристойного тона, приятный волною расчесанных белых волос, благомильный лицом, не худым и не полным, и оттеняемым строгостью синих очков, в мягкой шелковой рясе приятного серого цвета, идущего к цвету волос, с очень крупным крестом, золотым, прикрывающим маленький академический крестик, которым играли такие разбелые пальцы такой чисто вымытой батюшкиной руки (в это время пресдержанно подносилась другая рука к бороде, охорашивать бороду), стройный, прямой, с наклоненной в приятном покое главою, неслышно ступая и быстро скользя по средине величием этого зрелища потрясенного храма, — Владимир Семенович Марков, когда восходил на амвон, где дьячок, номер два, «*стрекоза*» по прозванью, стоял с золотою широкою епитрахилью, расшитою почитательницами, когда восходил на амвон, то неслись отовсюду умильные шепоты: «Да, такого прекрасного батюшку днем с огнем не отыщешь!» Благообразием первый средь всех иереев Москвы, славный вовсе не громким и вовсе не тихим пребархатным голосом, руки в картинном величьи над чашею разводящий, — он был оценен по достоинству: митрой, воздевши которую, грустно покинул он Троице-Арбатскую церковь, пройдя по Арбату — в Успенский собор: протосвите-

ром![32] Здесь имел случай христосоваться с императрицею и обменяться яичком с нею. Крестил он меня и елеями мазал и даже — грехи разрешил. В его доме я был; с «Колей» Марковым, с сыном, готовили постановки из «*Макбета*» и из «*Мессинской Невесты*» на соловьевской квартире;[33] с другим старшим сыном, известнейшим собирателем текстов былин,[34] — даже спорили; Эллис же проповедь Маркса когда-то нес к Марковым (в бытность студентом).

Вот Троице-Арбатская церковь — какая: такая, как всё на Арбате!

Такие ж ее прихожане: была переполнена только знакомыми церковь; и отличалась величием великопостных служений; про всех тут сказать было можно, где кто проживает, где служит, какого достатка, женился ли, скоро ли женится, сколько имеет детей, каких возрастов, чем богаты родители и чем дети впоследствии расторгуются, какие болезни грозят, где успение примут... Вон там у стены, например, Байдакова-мамаша «*Торговли строительными материалами*», — дама седая, сухая и строгая, в черно-сером приятнейшем платье и в шляпке тычочком с атласными серыми лентами; рядом весьма разбогато одетая, рыжая, очень пикантная пристальным любопытством лазоревых глаз — Байдакова-мадам; у амвона, под певчими, гнется в молении уважаемый причтом Богданов с женою и сыном, потом — поливановцем[35] (хаживал он к Соловьевым); Богданов, имеющий в Денежном свой особняк, — коммерсант; Патрикеевы (дом на Арбате)[36] — и муж, и жена: муж — блондин, белорозовый и светлоусый, прекрасно одетый; жена — просто прелесть какая: брюнеточка с легким уклоном полнеть; губы — прелесть какие; такие же глазки, на щечке же — родинка; тут же Мишель Комаров (тоже дом на Арбате),[37] кузнечикоподобный, поджарый, стареющий, уж и с кручеными усиками, в днях былых разгусар, растанцор, постоянно женящийся с похищением и с разводом: с женою венгеркой стоит; вдруг — преклонит колено пред батюшкой; после поедет жену он венгерку катать — в шарабане, с английскою упряжью; вслед же им, — уже смотрится; и — уже говорится: «Поехал „*Мишель*" Комаров в шарабане английском: катает венгерку жену!» Это — правильно. Тут и Горшковы; и — Выгодчиков: — молится тоже, «*Сережа*», сутуло качаясь, преходит на левый, на клирос, — подтягивать Дмитрию Ильичу (после — дьякону церкви «*Смоленския Божия Матери*») вместе с еще гимназистом Марковым, Колей, и с Ваней Величкиным, сыном псаломщика, бывшего «*ведьмой*» — макбетовской в наших спектаклях, потом углубившегося в психиатрию, бактериологию, терапию и магию, и — выходившего оппонировать Мережковскому: очень туманно!

Перечислить посетителей церкви[38] — едва ли возможно: не лучше ль отдельно составить реестр под названием: «Прихожане и деятели Храма Божия „*Троицы, что на Арбате*"». Скажу лишь о старостах: если у Власия — староста Михаил Васильич Попов, старичок и наш доктор, учившийся с папой в гимназии, то здесь староста — Богословский (дом собственный в Денежном и особняк с привидением, с «*белой старушкою*», посетившей профессора Грота, философа, снявшего тот особняк: после жили в нем Карцевы, книготорговцы): старик Богословский, с бульдожьим лицом, испещренным изрядными бородавками, с очень серебряной сединою, весь бритый и красный, как рак, — тем был именно старостой, какового желали б вы встретить в приходе, где батюшка Марков свершает Божественную Литургию; потом Богословский скончался (а сын Богословского стал очень скоро профессором Богословским, историком); старостой стал Байдаков (флигель в Сивцевом-Вражке, где после уже проживал Тарасевич, профессор; в том Вражке, где жил много лет автор книги «*Эпоха великих реформ*», иль Григорий Аветович Джаншиев,[39] где обитали Фельдштейны, гораздо позднее уже, где скончался Столповский, где, где; и — так далее); был Байдаков «*Байбаковым*» каким-то: безусым, безбрадым, ступал, расставляя гиппопотамовы ноги свои, задыхаясь жирами перед — тарелочкой медной, спустивши огромный совсем не живот, а бараний бурдюк перед собою самим до колен; и не мог-де жениться никак: говорили все это — ох, только послушаешь: сплетни арбатские! Мы им не верили. Вот-де: жену-де — имеет, жениться ж — не может.

А наискось, против церкви, как раз на углу переулка был дом, двухэтажный и желто-кофейный, не важный, собой открывающий в переулочек просто забор дровяного какого-то склада, — не более; так себе — дом; и не стоит о нем; я не знаю: пошел ли бы батюшка Марков с крестом обходить этот дом? Прихожане такие кладут на тарелочку не пятиалтынный, как Байдакова-мамаша, не гривенник, как Патрикеевы, не пять копеек, как лавка Горшкова, не три, а — копейку; еще: норовят они, быстро шагнувши вперед, иль назад, избежать положенья копейки — перед величественным придвижением живота Байдакова, расставившего огромные ноги и вовсе задохшегося жирами своими над малой тарелочкой; словом, не дом, а — забор, лишь прикрытый для вида с Арбата — кофейно-желтыми этажами, двумя; точно фиговыми листочками; в доме всего лишь один москательный магазин, торгующий порошками зубными, ромашкой, сухой малиной и содой (сюда — не ходили).

И важно, что прямо против — Горшков: зеленная и овощная торговля:[40] в одноэтажном домишке, соседнем с приходскою церковью, —

двумя окошками в Денежный; дверью, Горшковской, — в Арбат: перевязанный фартуком «*сам*» — перекладывает астраханские виноградины, более крупные в сторону улицы все-то; с изъянцем — подложит под ними; пречерный, прекрупный и горбоносый мужчина, надвинув козырь картуза на глаза, на косые, — в смазных сапогах черноглазит; а из-за яблоков смотрит, бывало, лицо, точно спелая клюква, — Горшчихи: в претеплом бордовом платке, с выражением скрытым и лисьим; горчичное что-то! Лизнешь — не опомнишься: едкая! Тут же — чадо Горшкова, в картузике — «чего-изволитесь» — спинжак, с выпускными — «два фунтика, фунтик?» — штанами: штиблетами щелкнет, взыграет цепочкой и розовым — «клюквы-с?» — младым своим ликом с белясою жидкостью усиков перещелкнет на костяшках, на счетных — «*пятьялтынный, рупь, десять копеек?*» — какой-нибудь вальсик; и счетную лиру поставивши в перпендикулярное положение, — дзакнет костяшками громко: «Рупь с четвертью».

Это вот «чадо», младой же Горшков, — рос; и — вырос; и — пожелал возжениться: во Храме «Троицы-что-на-Арбате»; нет слов! Просто ахнул Арбат, запрудив тротуар у Горшковой лавки: стояла карета сквозная и белая вся изнутри, запряженная шестериком и с гайдушным мальчишкою в треуголочке с кучерищею, задом своим превышавшем фантазии самые пылкие; вот-так Горшков! Он во фраке, в штиблетах оранжевых, в белом жилетике, с бантиком беленьким, напоминающем цветик-жасмин; сел в середину атласных и белых подушек кареты, пронизанный взорами обитателей домов Старицкого, Патрикеева, Комарова, Рахманова и покупателей, превращенных в завистников; положив две ладони на фрачных коленях, расставивши все десять пальцев, не глядя налево-направо, проехал он десять шагов, отделяющих лавку Горшкова от церкви, где мальчик «Сережа», взволнованный, вовсе не спавший всю ночь, где иные жильцы из подъезда, со множеством пфулей, пфулят и пфуляток, живущих под нами, привставши на цыпочки, с умилением увидевши «*голубицу*», которую встретили певчие, — ахнули хором «*Гряди голубица!*» Года торговала потом «*Голубица*» горшковскими фруктами (сам-то уж помер), сама-то — состарилась. Стали «*младые*» Горшковы — Горшковыми собственно; вот: торговала Горшкова-мадам (ничего себе личиком); с шуткой лукавою продавала мне яблоки, переменяя в годах «*голубиную стать* на *утиную*». Вот так!

Горшковская лавка развертывала Денежный переулок с домами: Журавского, Богословского, Берга, Истомина, с древом развесистым, из-за забора склоненным, покровом простертым над мостовою, ее оро-

шающим желтым листом: с червоточиной; и — облетало последним (в конце октября), когда прочие древеса за заборчиком синим, сворачивающим в Глазовский переулок (с домами Морозовой, с новоотстроенным особняком Кусевицкого) были безлистными метлами, зычно бросавшими галочий крик; издалека виднелася «*Покрова Левшина*» белая церковка;[41] Берговский дом уже строили после; и он прогремел: этот дом населялся германским посольством; убили здесь Мирбаха — с помощью бомбы;[42] открылся на весь шар земной — здесь, уже окончательный — Интернационал! Очень громкое место — сама мировая история! Лундберг — жил рядом!

Другим учреждением, открывавшим проход в переулок, — Рахмановский дом; вид его — описал; он возвысился с 78 года; тогда — был единственной трехэтажной постройкой; я — в нем появился; отец переехал сюда еще первым жильцом, возведенный, естественно, в сан домового: жильцами, хозяином, дворником; знали: Бугаев профессор — единственный есть домовой, во всем доме; за это квартирную сбавили плату ему; четверть века он жил здесь; и — умер; когда завелись в чердаке, одно время, и пфыки, и брыки над нами (в двенадцать часов по ночам);[43] и буфет — бударахался; тихо крестилась прислуга (в двенадцать часов по ночам); пригласить бы тут Иверскую,[44] с чем согласен был дворник; отец, огорченный непрошенной конкуренцией (а — второй домовой!), не отправился в клуб и — остался раз дома: ждать стуков над нами — в двенадцать часов по ночам; стук раздался; отец, схватив палку, которую он назвал «*дурандалом*»[45] (ее после мамочка жгла — неприлично с дубиною летом разгуливать в парке), схвативши кухарку и горничную, со свечами отправился сам на чердак: истреблять домового; прислуга — дрожала; чердак же был пуст; домовой самозванец, учуяв приход домового-отца, тихо хлопнул пыльцою, подбросившись Янжулу, — экономисту-профессору, годы у нас за стеной поднимавшему гулы. «По штатиштическим данным... по штатиштическим данным...» Пугался я голоса, будто из погреба, крепнущего за стеною, где Янжул писал сочинение — о статистических данных, буфет — колыхался; и осыпался известкою потолок над пьянино, но дело — не в Янжуле, а — в домовом, перестукивающим над столовою лампою — в двенадцать часов по ночам; в это именно время профессор, страдавший запором, для гимнастического упражнения, соединяя приятное и полезное действие — вздумал — ведь вот — выколачивать пыли из толстых, как он, основательно переплетенных томов; вынимая огромнейший том за томом — в двенадцать часов по ночам — колотился томами по полкам, переколачивая труды по статистике; так-то: «*второй домо-*

вой» — оказался: бубуканьем статистических данных и крепким запором профессора Янжула: дворник, кухарка Дуняша, — не верили этому; я — то же самое; верил: как папа схватил «*Дурандал*» и отправился с ним на чердак, окруженный прислугою, лопнул, как пыльник, второй домовой перед первым: пред папой.

Ах, Янжул, такой желтокосмый, глухой, в полосатом во всем, — он выпаливал, точно из бочки; рукою лез тотчас же в свой полосатый жилет; там копался, вытаскивая мне гривенник: «Шдраштвуй, Бориш: возьми гривенник; и — купи леденец себе». Я же, весь вспыхнувши, — Янжулу: «Благодарю Вас, Иван Иваныч, мамочка запрещает брать деньги от посторонних...» И — бегом от Янжула я; Катерину же Николавну, которую называли все «*данное*» (данное — Янжулу), я полюбил: учреждала какие-то школы, для кройки, брала на дом девушек, занятых этой кройкой; а когда говорили — «ах, где бы достать „мастерицу"», то отвечали: «А вы обращались ли к Янжулам?»

Хаживали Иваны Ивановичи к Ивану Иванычу: Иванюков, Иван Иваныч, Иван Иваныч Иванов, Иван Христофорович хаживал, — Озеров; и Христофорова, Клеопатра Петровна, бывала, как кажется; хаживали Александр Иваныч, Иван Александрыч: Чупров и Угримов; бывали Григорий Аветович Джаншиев, Стороженко, претуго надутый достоинством газовый шар — Алексей Веселовский; проездом бывал Ковалевский, Максим Максимыч, затеявший на вечеринке костюмированной у Ивана Иваныча, остроумно наряженного «буфетом», — с Иваном Иванычем польку-мазурку: дрожали буфеты во всех этажах от мазурки такой; и бывал Лев Толстой, был Мачтет — литератор, которого почему-то «*паштет-литератор*» звал я. Все были до времени, когда Янжул, склонившись в каких-то там смыслах к чиновному Петербургу в каких-то там смыслах, известных не мне, а другим, — произвел в неком смысле двусмыслие; и — многосмысленно переехал с квартиры арбатской: в казенную, — избранный академиком недвусмысленно вовсе!

На воскресеньях у Янжула — перебывала Москва; а на пятницах, в нашей квартире, бывала, опять-таки, — та же Москва: Стороженки, Танеевы, Янжулы, графы Олсуфьевы, Веселовские, Усовы, Новодережкины, Боборыкины — подымали свои растарары речей из столовой; и бывали позднее: Лопатин, Грот, Троицкий, Умов, Зубков, Шеффер, Павловы, Лейст, Каблуков, Млодзеевский, Некрасов, Жуковский, Лахтин, Сабанеев, Столетов, Марковников, Пусторослев, Тихомиров, Бобынин, Щегляев, Преображенский, Зелинский, Анучин и Горожанкин, и Цингер, и прочие, прочие, прочие — с женами, с близкими их

и с научными интересами их; словом: если бы дал я всеобщее определение бывшим, пришлось бы признаться: перебывал в своем полном составе, во-первых: весь физико-математический факультет, над которым был папа декан;[46] и — во-вторых: половина филологического (юристы и медики меньше бывали); в дни громких скандалов, когда уже было оцеплено здание университета полицией (он был закрыт),[47] состоялося у нас заседанье Правленья — в столовой. Да, эта квартира имела особенность: входишь с Арбата в нее и — ан нет: не Арбат — Моховая![48] Являлися педеля и солдаты с медалями — подавали бумаги, перевозили на дачу; а Янжулов комнаты летами педеля — стерегли (о, коварный Антон, что ты скажешь?); и нам убирали столовую пышными пальмами, посылаемыми Ботаническим садом, — вернее, профессором Горожанкиным — маме. Бывал Лев Толстой (два прихода его помню я: он ведь раз посадил на колени; и — гладил; другой раз застал только маму за разбиранием белья: с ней сидел, говорил ей о смерти).[49]

Позднее — сидели: Бальмонт, Балтрушайтис, Иванов, Борисов-Мусатов, Блок, Брюсов, — все те, кто естественно представляли опасность «*орлам*», воспарявшим над старою жизнью Москвы; и «*орлы*» выводилися, превращалися в редкое образование природы, подобное «*белым слонам*».

Вот какие квартиры сливалися в третий этаж, коли окна вести от Арбата: направо — Бугаев; налево же — Янжул!

Под Янжулом долгие годы полковник Шурупов гнездился; однажды в квартиру Шурупова ночью мой папа ворвался с ночным оборванцем; ведь лестница освещалася керосиновым светом; в часу уже первом все — гасло; бродячие жулики забредали в подъезд, постоять под дверями, пощупать замки; всего чаще — поспать; прости, Господи — так себе: тихие жулики; раз идет себе папа: очки запотели, ощупывает перед собою перила и слышит, как будто скребение мышки: под дверью Шурупова; «цап-царап», и ухватился за мягкое что-то; он спичкою — «*чирк*»; что ж: жульчонок, молоденький — в угол забился с отверткою; папа ему: «Молодой человек, что вам надо?»

Жульчонок же — дробь выколачивать; весь растерялся, на двери показывает:

— «Сюда мне».

— «Нет-с, вы лжете; вы — жулик».

— «Ей Богу же, барин, — мне в эту квартиру есть надобность».

Папа же с подковырком ему:

— «В таком случае и мне сюда — тоже!»

Схватив неожиданно жулика под руку, он что есть мочи звонить: отворяют; полковник Шурупов со свечкой, в рубашке, в кальсонах, денщик и прислуга, разинувши рты, наблюдая, как быстро влетает профессор Бугаев в огромнейшей шубе енотовой, в котиковом колпаке, вовлекая насильственно за собою дрожащего оборванца; отправили жулика вместе с Антоном в участок; да только: Антон отпустил на четыре на стороны жулика.

Снова наткнулся на жулика папа — уже на другого; и с ним разговаривал:

— «Нет, нет-с: постойте, — вы кто?»

— «Почему вы молчите?»

— «Ай-ай. Так вы, знаете, — жулик?»

— «Да-с, да-с!»

— «Молодой человек, как ужасно?»

— «Ну, как же не стыдно вам: вы — молодой человек еще... а уж вы — жулик... подумайте, по какой вы идете дороге? Ведь вам же когда-нибудь, знаете, в нос продернут кольцо-с, да-с, да-с: и потащут за это кольцо, да-с, в Сибирь».

Разговор тут прервался: послышалось утопатывание босых ног молодого весьма человека по ступеням; и — бацнула дверь; жулик спасся, а папа стоял и качал головой, размышляя о будущей участи жулика; но не могу я понять, что такое *кольцо*, и при чем? Разве жуликам в нос продеваются кольца?

Пока жил Шурупов, я думал о жуликах; но вот он съехал; сюда перебрался с женою и маленьким сыном, «*Сережей*», М. С. Соловьев — из Владимира в 1893 году; через два уже года сюда опускался я:[50] вечером; после два раза в день; и еще после в день — три раза; и тут началась соловьевская эпопея моя, переходящая в «*блокиаду*» какую-то; видывала квартира сколь многих: Владимира Соловьева и Всеволода Соловьева, Ключевского, князя С. Н. Трубецкого, Лопатина, И. Ф. Огнева, профессора, Г. А. Рачинского, всех Марконетов и всех, что ни есть, Коваленских; Д. С. Мережковский со мной познакомился — здесь; Брюсов — тоже;[51] сюда я осколочки зорь с Воронухиной горки носил; и М. С. Соловьев, сняв пенсне, — раздувал: десять лет! А напротив жил — Пфуль; но на вывеске Пфуля однажды какой-то забавник (я думал, был он с церковного дворика, — Коля Марков, быть может?), — подвыскоблил нижнюю часть буквы «*вэ*», причертив к букве «*ер*» препротивную дужку; и вышло не «*врач*», просто «*рвач*»: «*зубной рвач*»; и пфулята сердились; их было так много — пречерненьких; кто был черней, — неизвестно: прислуга их, — что ли? Сам Пфуль по ут-

рам варил зубы — искусственные; и поднималось зловоние от Пфулевых челюстей; поднимались тяжелые стоны; лет двадцать работал здесь Пфуль: варил зубы, — свои; а чужие он — дергал.

Бедняга, он — умер: зубная врачиха Судейкина после работала в Пфулевом месте; и в 1912 году ее значилась вывеска: рвали, варили здесь зубы — препрочное зубоврачебное место, как все в этом доме.

Налево с подъезда был «*Бартельс*», — не *Бартельс* «известный», а «*Бартельс*»-эрзац; он «дирал пекарей»; отравлялись сластями его производства; его оштрафовали, судили; потом он закрылся; «*Торгово-Промышленный Банк*» завелся; а направо с подъезда был скромный сапожный магазин, необувающий.

Против — дом Старицкого, двухэтажный, морковно-розовый, окаймленный, словно торт, белокремовым цветом карнизных бордюров, с колониальным магазином «*Выгодчиков*»;[52] забирали на книжку: чай, сахар колотый, сахар пиленый, песок, свечи, кофе, колбасы, сардины, рахат-лукум, мармелад, фрукты, финики и фисташки; и — протчее, протчее, протчее — чего изволите-с! Выгодчиков — за прилавком: курносый, двубакий, плешивый, с достойною ямочкой чисто побритого подбородка, и в чистенькой паре, весьма василькового цвета, всегда перевязанный фартуком, с гордою властью, бывало, уронит ладонь на рычаг, управляющий всем:

— «Чего изволите-с? Колбасы? Сыру?.. Ей, молодцы: колбасы — самой лучшей, живее. Мещерского сыру!.. Сударыня, — видите сама: слеза!.. Ей-ей-ей: поворачивайтесь».

Перевернет все вверх дном: и забегают, засуетятся передники; справа летит молодец с колбасою, а слева летит молодец со слезой от «*Мещерского*» сыру; посередине же сыплются — фрукты, сардинки, «чего извольте-с» — сударыне, тихо вкушающей с ножика поданный тоненький ломтик колбасины и обоняющей запах слезы от «*Мещерского сыру*». Когда же придет все в движение, Выгодчиков отвернется солидно, не обращая внимания на сударыню больше, наденет очки и достанет часы золотые с массивной цепочкой, посмотрит с надменною строгостью, погружается в исчисления, напоминая отца, интегрирующего на клочке бумаги за чаем; для шика он, собственник дачи, весьма элегантный своим котелком и покроем пальто, когда медленно бродит с газетой в руках по бульвару, в перчатках сжимая тяжелый и дорогой набалдашник на палке, — для шика лишь вставил за ухо большой карандашище он, подпоясался белым и грубым передником, стал с расторопными молодцами за желтый прилавок, вертя ими всеми; и — хлопая громко в ладоши:

«Эй, эй — пошевеливайся: а к которому часу изволите фрукты прислать?»

И закручивая свои кончики бакенбард худощавыми пальцами, проплешивит, бывало, галантным поклоном:

— «Так-с: слушаю-с. Прислано — будет».

И прислано — будет; коль забрано много, коли заборы часты, — то и прислано будет: при толстом пакете — коробочка, лишняя (винограда сухого, подушечек сахарных): премия!

«Выгодчиков» — вот в чем сила. Не «Коптев», позднее его заменивший, где нет уже, так сказать, главной улицы, где «Таксказатинский» переулок начало берет: «Шафоростов», окончивший быт в революции,[53] — я «*Шафоростова*» просто не знаю; и знать не желаю: в сравнении с Выгодчиковым он тупичок «Чертвозмихинский» просто! Я — выгодчиков покупатель, не кто-нибудь; не шафоростовский прихвостень; с Когтевым вовсе не кумствовал. «Выгодчиков» оживает иным — тоже Выгодчиковым: сыном Выгодчикова, коммерсантом четвертого класса, внушавшим страх поливановцам, чаще всего третьеклассникам, переносящим тяжелые ранцы по тракту: *Гимназия Поливанова, Левшинский и Денежный переулки, «Выгодчиков» колониальный магазин;* тот Выгодчиков (не папаша, а — сын) второклассников бить устыжался, ровесников классом боялся; на нас, третьеклассников, он, нападая у тракта из-за заборов и у скрещения переулков, — бывало, бивал под заборами (под шелестение древа, простершего ветви над Денежною мостовою): он уши дирал и накладывал больно в загривок; раз я его встретил под домом Истомина, углового (Истоминых барышень часто встречал на Арбате: бледны же!) и под балконом квартиры писателя, Салиаса, всегда выходившего греться на солнышко тут — в час вечерний, весною, когда поливановцы, мы, возвращались с экзамена (старенький был Салиас; Евдокию Евгеньевну, дочку его, я знавал: мы встречалися с ней близ Собачьей площадки, в квартире профессора Стороженко, где Дмитрий Иванович Курский, веселый студент — комиссаром юстиции стал он, — участвовал в нашем галдеже); так вот: меня Выгодчиков, поплевавши в кулак и воскликнувши: «*а не хочешь ли в морду*» — с размаху ударил, взбагривши скулу мне, и покрываясь, от злости, какими-то красными пятнами: черт возьми. Я — побежал от него, закрываяся ранцем; он, к счастью, не гнался; чем мог я ответствовать? Ведь имя Выгодчикова гремело: непобедимым он слыл; и иные из нас при проходе по этим местам подносили ему свои дани — моченые яблоки; брал их и кушал; он долго разбоил по этому тракту. Однажды, когда ожидали засады отъявленных коммерсантов, присевших под си-

ним заборчиком, подговорили мы Кедрина, «Димку», за яблоки, с нами идти, чтобы — бить; и пошли; и — действительно: выскочил из-за заборика Выгодчиков; и за ним — коммерсанты; ругались на нас: Кедрин, «Димка», подскакивает, поплевавши на руку, под Выгодчикова, да как гаркнет: «ах мухин сын!» — да и бабахнет ему по лицу: тот — бежать; и за ним коммерсанты — бежать: Димка Кедрин, нагнав молодца, оседлавши одною ногою, другою скача, клал — в загривок: «Не хочешь ли этого?» Мы же бежали за Димкою с ревом и воем; и потрясали воздетыми ранцами.

«*Выгодчиков*» — разъезжается в героический эпос; и как не разъехаться? Первое слово мое продиктовано — им; поднесли годовалым к окошку; в колониальном магазине зажигали огонь; я затрясся, — протягиваясь в окошко ручонками; и произнес свое первое слово: «*Огонь*» (а не «*папа*», не «*няня*», как прочие дети); так украл годовалой ручонкой огонь Прометея — от Выгодчикова; этот огонь жив во мне: им зажег меня — Выгодчиков. И ни слова о нем, но о том, в чьих стенах этот Выгодчиков, — лучше о Старицком, о генерале, который садился в пролетку в своих синекрасных штанах, презапахиваяся в серую, на кровавой подкладке шинель и светлея околышем яркобагрового цвета; имел отбивные он щеки бифштексного цвета; и — дряблые; бритый был; отвалясь на подушки, не видя перед собой ничего, он летал на своей серой в яблоках паре, несся от дома морковного цвета, украшенного белокремовыми бордюрами, вовсе безрукий, как птица, махающий серым, казенным, шинельным крылом; он казался, воистину, прототипом всего генеральего рода; впоследствии, видя не раз генералов, украшенных красным околышем, я говорил себе: «Старицкие». То есть, — род стариков, но — военного типа; когда же встречал генералов, не бритых, как Старицкий, и не с красным околышем, а как Деннет, генерал-лейтенант из Никольского переулка, а как Жилинский, опять генерал-лейтенант из Ташкента, заведующий топографией, Станислав Иваныч покойник, имевшие цвета иного околыши, — думалось: «Невоенный старик». Лишь имеющий красный околыш — военный старик; так Банецкий, тогда капитан, отливающий роем московских красавиц, как палец, унизанный драгоценными перстнями, и с Мазуриною мазурку мазуря и баташа с Баташевой (в Морозово-Востряковом сообществе видел его отмораживающим остроты, вполне безобидные; был он тогда уж — полковник Банецкий), — Банецкий же красный околыш носил; и казался мне близок весьма к генералу; один офицер только, тихо и кротко сидящий у К. Д. Бальмонта, с околышем красным, казался навеки далек от всего генеральского; но казался ошибочно: Владимир Федорович Джунков-

ский стал вскоре же генералом, флигель-адъютантствуя и губернаторствуя надо всей Москвой.[54] Генералы всегда представлялися мне генералами красными; выше их был только «*белый*» с Тверской, да бревернделагардствующий Командир всего Округа; «*бревернлагардствовать*» означало в моем представлении: командировать Округом; окружным командиром всех войск в это время был Бреверн-де-Лагарди: генералы же Старицкие, Даниловы и фон Мевесы проносились к нему, отвалясь на подушки околышем красным и кутаяся шинелями, как безрукие птицы, махающие серым, казенного цвета, шинельным крылом — на беловороных лошадях, редко-редко просовывая сквозь меха кончик белого пальца перчаточного, не могущего дотянуться до носа в ответ на стремительный поворот и на честь юнкеров, офицеров, бросающих барышень, вдруг замирающих честью при этих пролетах; да, «*старицких*» я уважал; всего ж более — Старицкого, генерала, всегда выходившего из квартиры напротив; и нисколько не трогали — нет, офицеры почтенные, в польтах сукна синесерого, с темно-пунсовым околышем, выбегающие с портфелями от подъезда массивного шеколадно-кофейного двухэтажного дома Военного Окружного Суда, находившегося тут поблизости (меж Никольским и Криво-Арбатским, где обитала одним своим зубом морщинистая Серафима Андреевна — в садике, в домике: так и жила при часах, из которых, шипя, выкуковывала скоротечное время кукушка); военных с пунсовым околышем я не любил; что-то было в них серо-суровое, тяжеловато-несдобное; к ним причислял я «*брелока*», хотя он носил тогда розовый нежный околыш, околыш сумца (лишь потом перекрасили этих сумцов в белый цвет); все он бегал двубаким и маленьким пыжичком (грудь и зад — колесом), волоча за собою свою длинную саблю и уморительно переваливаясь на кривых малых ножках, — к подъезду: звониться под Старицким; дамы прозвали «*брелока*» — брелоком (за малый росток); все они говорили — Екатерина Ивановна, Вера Ивановна и Надежда Ивановна — маме: «Ma chérie, вы подумайте, — как с ним пойду я в мазурку, с таким коротышкой; его бы „*брелочком*" на часики, разве что»; а кавалеры иначе его называли... Потом стал заведовать он провиантом; он бегал тут долго, порой останавливаясь и с отвисшей губой заглядываясь на невинные игры мальчишек; казалося мне почему-то: он впал уже в детство; и побежит за мальчишками — попроситься к мальчишкам: в мальчишки.

Со старицковской квартирою — стена в стену (в том доме, иль в смежном, не ясно себе представляю из Гарцбурга) не Александр Иваныч, Иван Александрыч трудился: профессор Угримов, совсем не профессор Чупров; они оба бывали у Янжула; сын, как и я, у них был

(у Угримова и Угримовой, не у Чупрова с Угримовым): сын, как и я: сын Борис; а под ним, под Борисом, верней, под обоими (т. е., опять-таки, я разумею Угримовых), славная фонарем освещалася «*бородарня*»: простите, — название «*Парикмахерская*» — пережиток; то — век 18-й, когда делались парики для всех лиц, причисляемых к обществу; время, которое предъявляю я вам, отличалося не париками, совсем не бритьем (попадались так редко обритые лица); оно отличалося подстрижением бород всеми способами: лопатою, клинушком, эллипсом; в каждой стригульне бород был представлен мужчина, меняющий вид с изменением формы его бороды, — на листе; парикмахерские были, собственно говоря, «*бородарнями*»: употребляю то слово, которое мне подсказала эпоха почившая в Бозе царя: Александр Александрович был человек весьма русский; «*велосипед*» он назвал «*самокатом*»; со мной согласился бы он: парикмахерские его времени были весьма и весьма «*бородарнями*». Вижу, что все смущены; и всех более Пашков,[55] который стриг бороды, делал прически и для чего-то своей такой чистой рукой со щипцами калеными изредка сам завивал парики свои; назвал бы он свое дело, наверное, — «*Парикмахерским делом*»; и я уступаю ему; этот Пашков, подстриженный по одной из моделей листа, на котором менял выраженье всеобщий красавец, всегда завитой, в кудерьках бонвивана-художника, в белом жилете, худой и высокий, распространял свою руку над ростом и процветанием волосяного покрова макушечной и подбородочной области — у Комарова, «*Мишеля*», Патрикеева, К. Д. Бальмонта, М. С. Соловьева, «*Сережи*», меня, и других прихожан церкви Божией Троицы (что на Арбате); там батюшка Марков грехи отпускал, разрешал животы, их опрастывая от греховного засорения; здесь же в Пашковой парикмахерской нам отпускались несущие волосы рекомендацией мазей ⟨так!⟩; или — обратно: весной разрешались мы все от волос, отбриваемых номером первым машинки; и от перхотного плешетворного засорения лечились шампунями Пашкова; хаживал в детстве отсюда ко мне под-под-под-парикмахер, Иван; и меня разрешал от кудрей; из под-под развился он потом в «над-над-над»: в «*надо всеми*» — куаферами вовсе случайными, перебегающими от Пашкова к Пашалы (на Арбатскую площадь); к Васильеву;[56] и спускающиеся обратно: опять-таки — к Пашкову, к нам; я таких бегунов наблюдал; он у Пашкова — шелковый под наблюдением упомянутого «*Ивана*», восставшего много уж лет над «*Иванством*» своим; после вовсе случайно зайдешь к Пашалы; он уж там: и — не тот: там он за нос хватает пребольно, рыгает в лицо; и воняет вполне от селедочных пальцев его; в довершенье всего: он — обрежет; потом уже: входишь к Пашкову; на-

те-ка — тут как тут: тебя видит, стыдится, покашиваяся на «*над-над-Ивана*»; «не режет уж горла, совсем не рыгает», и «*счихивает*», приподнявшись на цыпочки, мягко, конфузливо, нежно (дождем не обдает); вы заметили — все парикмахерские помощники «*Чохом*» страдают: я думаю, — то происходит от раздражения мелким волосом носовой оболочки. Пресуществление «*пашальских*» привычек в тон «*пашковский*» прямо зависит от главного парикмахера: строгого — к нам, брадобрейным объектам, к куаферам и к Пашкову; фиксатуарный усами, стоящими вверх, гребенчатый пробором, и молнящий оком, скупой на слова, — он всегда вызывал впечатление прусского офицера эпохи Вильгельма Второго, неодобрительно наблюдая, как черный, второй парикмахер, поляк, ущипнувши мой нос двумя пальцами и замыливая мои щеки и рот, в это именно время спешил получить мое мнение о последней новинке Тетмайера, иль Пшибышевского, был он знаток беллетристики польской; меня уважал он как «*Белого*»: «*Старшему*» был только «*Боренькой*» я, у которого *старший*, тогда бывший «*Младшим*», отрезывал кудри; меня он не брил никогда, удостоивая Комарова, «*Мишеля*», который был «*старшим*» во всех обстоятельствах пашковской жизни и «*бритони*»; и то ж отношение к себе наблюдал я у Пашкова, только с другим оттенением: в чувствительность, в романтизм, в легкий вздох: «Было время, иное, прекрасное; было тогда это время, когда еще были вы „*Боренькой*"».

И по-иному ко мне относилися Пашковы дети: два строгоновца; и барышня; «*дети*» ходили в «*Кружок*»,[57] уважали «*Весы*», заводили какие-то связи с течением «*Третьей волны символизма*» и, может быть, даже купались в «*волне*», потому что когда из «*Весов*» принялись разбивать мы *волну*, в отношениях ко мне детей Пашковых что-то сказалося: неуловимо-враждебное подозреваю, что кто-нибудь, что-нибудь, где-нибудь тихо пописывал, пробуя плавать в «*волне*», разбиваемой нами.

Бальмонт брился здесь: литературная парикмахерская, должен заметить: в Бальмонтово время сместилась она, оказавшися в одноэтажном соседнем кофейно-кремовом домике, напоминающем тортик ореховый Фельша;[58] за ней открывался проезд со двора в шарабане английском с венгеркою — Комарова, Мишеля, из собственного особняка на дворе (он сам правил), сопровождаемый стояньем двух домиков справа и слева; кирпично-красного домика и бело-желтого; обувью тут торговали и обувью там торговали; особенно торговали у «*Ремизова*»,[59] в красном доме; коль был я обут в эти годы, обязан я этому обстоятельству Ремизову; он преставился вовсе недавно: в году восемнадцатом (вместе со

многими); только тогда оценил я конкретно: моральная и идеальная жизнь — выраженье состоянья сознанья подметок, подошв, каблуков; коль все там исправно, — исправна твоя голова; коли жмут тебе ногу ботинки, коль праздно колотятся в ногу они — голове неприятно; когда же их нет — головы тоже нет; безголово ты бегаешь в поисках каблуков и подошв, получая какие-то ордера; и получая по ордеру — воздух порою; обмен этих ордеров на мировое пространство, на воздух, — тебе не заменит подошв и подметок никак; ордера, как подметки, — весьма промокаемы; воздух — попытка ходить по нему, опускает беспочвенно и бесподошвенно в лужу; в таких размышленьях текли для меня год двадцатый; и — год девятнадцатый; и как нарочно дразнила все та же висящая вывеска: «*Ремизов*»; «*Ремизов*» же под нею исчез: с каблуками, с подметками, с запахом кожи: козловой, шагреневой, с блеском медянок, наполненных жирною и скипидарною ваксой.

Дом Нейгардта, светлокисельный, лишь после — фисташковый, преграциозно раскинулся марципановою конфеткой, подмигивая чуть-чуть-чуть в рококо и в барокко, единственного этажа без единого магазинчика; в нем поражали породистые зеркальные окна; и неизвестность за ними: сам Нейгардт же был камергер; над подъездом привинчены были удобные вставки для древков российского национального флага; и все ж: средь степенного ряда домов, двухэтажных, военных, дворянских, торговых, дом Нейгардта выглядел маленькой дамочкой, шелестящей фестонами юбки среди уступающих первенство кавалер-домов, превышающих «дамочку» ростом.

За Нейгардтом шел дом, не знаю, чей собственно, но называемый домом Барановых (после же, кажется, домом Сабашниковых); выше «*дамочки*» Нейгардта был вдвое он; и он был несомненно иного сословия цветом, напоминающим цвет творожистого теста, в которое влили топленое масло: желтел он; казалась поверхность стены здесь какой-то бугорчатой, как у бисквита крупы «*Геркулес*»; если дом предыдущий казался француженкой, дамой, то дом этот выглядел россиянином, спешно облекшимся в светло-желтую пару из аглицкой шерсти; и кстати: чулочно-вязальное заведение здесь приютилось — опять нарушение «*стиля*»: или отдайся вполне заведеньям торговым, обвесь себя вывесками; или их — в шею; будь домом лишь барским: а то — нет вам здесь магазинов; и — вдруг: где-то, словно сконфузилось, опускаясь в подвальность, — «*Чулочно-вязальное заведение*»; в этом доме бывал мой отец; тут бывал Боборыкин, Андреевы-сестры, Сабашниковы; говорят — было тонно в квартире; литературные разговоры то клеились, то вновь не клеились; стиль профессорский заводился, подобно болон-

ке, — при доме: не в доме самом; между тем: предприятья торговые где-то расстраивались — литературой при доме. Когда-то Асафа Баранова знала Москва — за купца;[60] а *«барановский»* дом на Арбате, как кажется, перегорающий в дом Сабашниковых, в дом барано-Сабашников, или в Сабашниково-баранов, ни то и ни это, не вовсе собака, и не вовсе баран, — относился к тому переходному времени жизни Москвы, когда прежняя линия крепких московских купцов, Журавлевых, Барановых, Ремизовых, разлагаяся на купеческих приват-доцентов Рахмановых, Шиловых, Абрикосовых, Мозеров и творцов утонченной московской культуры модерн — Савва-Мамонтовых, Морозовых, Поляковых, Андреевых, — не осадилась кремневой породою капиталистов большого размаха, подобных Терещенкам, Щукиным, Рябушинским; Баранов Асаф — торговал откровенно вполне; все Сабашниковы вполне откровенно тонули в культуре искусства и мысли; *«бараново-сабашников»* дом — ни баран, ни собака, ни рыба, ни мясо, — иной был по цвету, по стилю, по памяти, связанной с ним; можно только сказать: дом тот строили восьмидесятые годы Москвы промеж старой и новой Москвы, восстающие архитектурною линией, про которую можно сказать: «Ну какая же, с позволенья сказать, это линия: черт знает что!» Тут и фавн, вылезающий рожей из теста, иль крема карнизов, гримасничающих *«Рассею»*, петушащихся орнаментикой деревенского фартука, прилагаемой к мылу *«Раллэ»*, иль к мылу *«Брокар»* (что — последнее дело); и ерзающих по карнизам над глупо так выквадратненной известкой стены очень дрянненького оттенка: желто-помойного, бурдисто-желтого, грязно-фисташкового; все оттенки тут — с пригрязью; все поверхности с явным изъянцем — бугринистые, пупыристые какие-то; и потом: Боже мой, что за тяжесть подъездов, и что за пропорция окон? Коли тут вылезает кариатида, — прости Господи — глыбища: и — боишься за дом; опрокинется вместе с балконом, в сторону выгиба кариатиды; когда архитекторы этого времени, просто махнувши рукою на вкусы и стили, застроили взапуски преоткровенные стены кирпичные, красные, их не пытаяся ни обмазать известкою, ни замарать крембрюлейным карнизом, — то вышло и проще, и чище; посбросив личину свою и надевши картуз, привставал мещанин рядом с прочими барами, генералами, просто кривляками, сросшейся стенами крепкой домовой фаланги; такой дом — Чулкова, построенный на углу Арбата и тихого переулочка,[61] переводящего круги моей мысли в *«Кружок»* из деревьев, куда выбегали прохожие Трубниковского переулка.

В отрезке Арбата, представленном здесь (от Сенной до Никольского), в потенции дан весь Арбат того времени, некогда бывший дворян-

ским, профессорским, литературным Арбатом, видавшим Толстого, идущим в Хамовники, иль на Плющиху с бульвара Никитского, Гоголя, возвращающегося к себе, на Никитский бульвар, иль Герцена — из переулка, из Власьевского, — перечеканивался и перестраивался он домами в Купеческий; лавочник деревенский завел зеленную лавчонку — под барами, под генералами, профессорами, — Горшков; раздерюжистый будочник — бар, генералов, ученых, дворян — сторожил, сторожил; и потом сказал: «Баста!» Заторговал кумачами: вот вам — Староносов; проехал «*Мишель*» Комаров, пролетел серой яблоком парою Старицкий; и — не заметили: разве заметишь две лавочки — Горшков, Староносов; меж тем они высадили-таки Старицких и Комаровых, «*Мишелей*», ссадив переулочки — в особнячки на дворе, заклепавши их с улицы новыми возводимыми, откровенно кирпичными красными эдакими домами Чулковых; подкатывали Старонисовы — от подмосковной деревни, какими-то таратайками тележного грохота, к Доргомилову, на постоялом дворе, бросив сена лошадке; ротасто зевали в Арбат и сморкались в его тротуары; потом открывали лавчонки у Доргомиловского моста; сыны их и внуки с притоками новых Горшковых являли градацию гильдий, по направлению — от Староносова к церкви Миколы, в порядке, описанном мной; если б всех уравнять их по возрасту, то получился бы рост: городовой Старонсов; «*младой*» Горшков — то ж (в ином возрасте); дальше: Мозгин; и за ним уже Выгодчиков, Байдаков или ветви «*Асафа Баранова с Сыновьями*»; за ним уже возраст опасный, грозящий впаденьем в младенчество — преждевременным: Патрикеев; после — явные захиления «*барано-Сабашников*» дом, из которого проходит Сабашников, от амбара — в издательство;[62] он же еще — метериолог Рахманов; но все, все — Горшковы; все вымерли из простейших горшков, где землица с навозцем; перением выперли барство арбатское; перли они хорошо; и в хорошие очень цветы расцветали: мужик удивляет меня; он, конечно же, капиталист в ином случае (ведь раздобревший купец — раздобревший мужик); в мужика продолжаю я верить и там, где мужик покрывается коростом; я мужика видел часто в капиталисте московском, утонченность коего — факт, уже отмеченный; Рябушинские с туберозой, размазывающие каскады цветные холстов, и пописывающие и отстреливающиеся от дикарей Океании, — смешное явленье «*чего-то*»: Бахрушин с театрами иль Третьяков с Галереей, Сергей Александрович Поляков («*Скорпион*» с головы и до пяток), Морозов, Михаил Абрамыч, с иконами, Савва Мамонтов (с Врубелем и с Якунчиковой, Серовым, Коровиным, «*Оперою*», «*Абрамцевым*», Нижегородскою выставкою, Ярославским вокзалом, проектом

железных дорог, открывающим север),[63] иль Щукин с Гогеном,[64] иль Савва Морозов, банкир революции, капиталисты, строители клиник, — уж что-то — *само*, жест истории нашей (не западной) то — дальнейшее пропиранье Горшковых через понятие отвлеченное западной экономики «*капиталистического производства*», подобное пропиранию мужицко-рабочих поэтов уже «*Октября*»; жестом лирика Казина, заставляющим посылать письма «*долам, лесам и лугам*»,[65] иль жестом лирика Клюева, «*баобабы*» выращивающим в Вологодской губернии;[66] запад не знает: «*капиталистического пролетария*», иль обратного: «*социалистического капиталиста*»; «*капиталист*», «*пролетарий*» в России — проекции все того же мужика; а мужик есть явление очень странное даже: лаборатория, претворяющая ароматы навоза в цветы; под Горшковым, Барановым, Мамонтовым, Есениным, Клюевым, Казиным — русский мужик; откровенно *воняет* и тем, и другим: и навозом, и розою — в одновременном «*хавосе*»; мужик существо — непонятное; он — какая-то мистическая скотина, вегетариански ядущая, цвет творящая из лепестков только кучи навоза, чтобы от него из горшковских «*Горшков*» выпирать — гиацинтами; из целин матерщины, из вони Горшкова бьет струйная эвритмия словес: утонченнейшим ароматом есенинской строчки; из орхидейной петлицы хватающих через Уайльда порой прет — «*Боже, храни твою мать*»; то и это — мужик: от конца до начала мужик; и мужик тот — Москва.

Мужику — нипочем: сочетать кислый квас, «Fine Champagne», кочерыжку капусты с мороженым ананасным: без удивления слопает; в пузе открывши невиданную лабораторию химических опытов; вредны лишь пресноты ему; и серо-сплинные лондонские права гражданина: какой гражданин? Вещество качеств мелких. Иль — молодец: молодец, веществом премелкий, но духом — прекрупный (ведь Spiritus — спирт латинский; и — Дух); «*пиво новое*»[67] пьет, веселящее Духом; и Духи творят в нем «*духи*». Ему вредны пресноты: либерализм «*европейский*» из Чернышевского переулка (явление, которого «*западный*» запад не знает); «*Душок*» — извращение, переводящее от добровонного гиацинта и жижи навозной, млекопитательной на... безуханную луковку; дух либеральной Москвы — утилитарнейшее ощипывание гиацинтового цветения и вынимание из почвы всех луковиц; «*Сейте полезное, доброе*»[68] значило в переводе с мужицкого: «Сейте лук для народа», цветы объявлялись опасностью: золоторода — боялись; и Розанова — освистывали; преподавались советы: носы затыкайте! А нос — прижелудочный аппарат; создавался безносый мужик, преснорядный, вполне катарральный: купец-либерал, преждевременно бросивший дело «*Асафа*

Баранова с Сыновьями» и шедший беспроко в доцента, в «*барано-Сабашниковое*» домостроительство, заболевал несомненно катарром кишок от таких «*опресников*».

Мужик настоящий же перепер мимо сих немощей «*животов*» к расцветению подлинно третьяковского духа, хотя бы из вони Горшковской; и тот «*Мужик*» вовсе новой, московской формации сверху и с центра, с Кузнецкого, и с Неглинной — рушил «*барано-Сабашникову*» безвкусицу на Арбате так точно, как некогда он же с окружности Доргомилова рушил дворянские белоколонные домы Арбата; конец века в Арбате есть передышка Горшкова; до этих годов: с Дорогомилова сеном, навозом, конюшней воняет он; но в конце, в девяностых годах, благовонить, вонять было нечем: царило безвоние; «*Русские Ведомости*»[69] зажимали носы; или, лучше сказать, были насморки; с 1907 года Горшков завонял очень здорово; и — по-новому вовсе, фыркнул дымами шестиэтажных домин и взурчал из авто — откровенно бензинными урчами: домики двухэтажные падали в обморок; и разбирались на части; а «*Русские Ведомости*» с озлоблением обоняли лиловый фиалковый запах утонченного «*Скорпиона*», и «*желтые вони*» промышленной крупной газеты.

Читатель — довольно: пора прекратить обхожденье домов, магазинов и лавок Арбата, сопровождаемое представлением персонажа торговцев, жильцов; я знавал почти всех; от Горшкова и Староносова до Гринблата и «Праги»; я мог бы представить отчет, например, о развитии писчебумажной «*Надежды*»[70] («*Надежда*» — зеленая вывеска; сестры «*Надежды*» — да, да: две «*Надежды*», двоившие вечно надежду во мне), или представить отчет о седении Мосье Рэттере (специальный, кофейный магазин),[71] сперва смуглом и жгучем французе, потом уже сером, в описываемую эпоху — седом, старике (в «Новодевичьем монастыре» его крест), мог бы многое очень преприятное высказать о кондитерше мадам Фельш (полагаю, что родственнице какой-нибудь лейпцигских Фельшей) и об особенностях бритья у Васильева (в отличьи от Пашкова), о явленьи Белова,[72] нанесшего тяжкий удар колбасою — в грудь Выгодчикова; мог бы я рассказать, что когда выставлялось в витринах почтеннейшим «*Городом Ниццей*» (когда выставлялися репродукции с Каульбаха, с какой поры Бёклин пошел), о «*Распопове*», мастере дел золотых,[73] и о «*Бурове*», зонтоправе и палкоправе,[74] о хиленьком старикашке, таком колченогом, пропахшем бензином, который мне чистил перчатки в одноэтажном домишке, приставленном к пустоте — вопияющей, пыльнейшей, где покрывались года уже мохом надгробные камни и памятники крестатые (после взлетел тут чудовищный куб о семи этажах[75] и, представьте, — на сторону стал большевизма он в дни

канонады московской); я мог бы излить свою злость на явление выскочек, вроде «*Бликгена и Робинсона*»,[76] своей целью поставивших надмеваться над старым Арбатом (ведь есть же Пречистенка — нет: все поперли к Арбату: «*Бликген*», «*Флей*»,[77] прочие). Читатель — довольно.....

Эпоха уже завершалась; и каждый арбатец ходил в эти годы, протверживая стихотворение Лермонтова:

Смотрю на будущность с боязнью,
Смотрю на прошлое с тоской.[78]

Произошло тут воистину что-то мистическое, что описывал Гоголь: вдруг дали увидели; вышли на улицу, и — увидели: эге-ге — вон Лиман, вон и Черное море, а вон — и Карпаты; а на Карпатах стоял всем неведомый Всадник;[79] поняли, что Карпаты — порог (не приближалась бы русская армия к этим Карпатам); а рыцарь неведомый — Страж припорожный, делящий историю на два огромных периода; страх резкий, морозящий душу — от осознания, что Арбат есть не «*вещь в себе*», замкнутая и адекватная шару земному, а кусочек Москвы, в картах меченной малым кружочком России, которая есть опять-таки всего орган огромного организма; переживания метаморфозы сознания были, вероятно, подобны переживаниям коперниканской эпохи, сорвавшей уютную завесь небесного крова, поставившей каждого пред мировой пустотой; совершилось вторжение неизвестных пустот в обыденные мелочи жизни арбатцев, напоминающее действие от l'Intruse Метерлинка;[80] и появление этой «*Втируши*» во все⟨м⟩ сопровождалось поганеньким «сацовским» лейтмотивом, изображающим «*Жизнь Человека*»,[81] иль Старицкого, Комарова-«*Мишеля*», Богданова, Патрикеева, Выгодчикова; и — всех прочих арбатцев, за исключением «*Бликгена и Робинсона*», который оказывался «*Некто в сером*»,[82] сказавшим арбатскому человеку, что Человек этот умер; тогда-то и началось весьма спешное умирание арбатского (и порой приарбатского) Человека: в могилу упал Байдаков; могикане из церкви Троицы, что на Арбате, исчезли; и «*Когтев*» уже торговал, где сиял столько лет восхитительный выгодчиков огонь; и профессор Н. И. Стороженко — предсмертно согнулся.

После масляницы широкой ударили велико-арбатские «*мифимоны*»: «Господи и Владыко живота моего!»

Прежде круг интересов и знаний о мире естественно ограничивался Арбатскою площадью: Келлер, Бланк[83] были Сциллою и Харибдою: далее шел океан неизвестности, угрожаемой шеколадного цвета образованием (от Воздвиженки) с вывескою: «*Карл Мора*»;[84] и «*Карл Мора*»

означало, что неизвестность стоит тут, что можно еще подойти, постучать в горизонт, куда солнце укатывалось, и сказать себе: «Эта „*Карлмара*" каменная, по-видимому!» И по этому представлению строились сведения о бесконечном и вечном (статические представления!); и потому-то «*Микола на Камне*» был вечным «*Миколою*»: камень «*Миколы*» был, видимо, кем-то выщерблен из стены «*Карл Мора*»; были смутные представления о реке Океане, Арбат опоясывающем — по окружности: Поварская (кусочек), Собачья Площадка, Толстовский, Новинский, Сенная, Смоленский, Пречистенка (там оттуда, как раз из-за «*Карла Мора*» разблисталось громадное солнце Спасителя-Храма), бульвар и Арбатская площадь: и круг — замыкался вполне; в этом круге арбатцы свершали свои путешествия океанические, закрыв лавочки и престепенно прогуливаясь по Пречистенскому бульвару, чтоб Сивцевым Вражком благополучнейшим образом выплыть опять на Арбат.

Зато все, что свершалось в пределах арбатского мира, — опознано было: не то, что к началу описываемой эпохи, когда появились жильцы, вслед за «*Флеем*» и прочими, о которых одно можно было сказать, что Бог знает кто он (а арбатец не знал уже; прежде живали арбатцы теснейшей семьею; бывало, идет кто-нибудь; всем известно: кто, как, для чего и откуда; подъехал купец Окуньков — под портнихину вывеску (тут на Арбате портниху завел себе): знают — зачем; что с портнихою будут совершать, сколько времени, — знают; и знают, когда он останется на ночь, когда только на́ вечер: только подъехал, — от букиниста бежит уж мальчишка к Распопову: «Окуньковские лошади под портнихою»... И Распопов сейчас же отправится в лавку Горшковых, будто бы за огуречным рассолом; на самом же деле — сказать (так себе, невзначай): «Под портнихою... окуньковские лошади!» А у Горшкова — слет горничных: дома Рахманова, Патрикеева, Старицкого; сейчас разнесут по квартирам по всем; всё поймут, всё простят (знали же все — на квартирочке холостого Тушканчикова баба-Марья, кухарка, прогуливается голышатиной вовсе: и тем не менее: Тушканчикову отпускали продукты с «прикажете-с? как-с Вам-с угодно-с!» А голышатину, бабу-Марью кухарку ласкательно так называли все Марьюшкой); да — всё поймут, всё простят: только было б всеобщеизвестно (за неизвестность карали, — хотя бы прекрасных поступков); бывало — идешь по Арбату студентом: из правого из окна поглядят, из-за левой за шторки подвысунутся; и согласно решат, что, мол, Боренька-то, Николая Васильевича сын, с «*Апокалипсисом*» под мышкою шествуют в дом Осетринкина разговоры иметь со студентом Петровским — о семи о громах; в это время прохаживается по Арбату военный седеющий Ворон-

цов-Вельяминов, арбатские улицы в мае кой-где покрывающий мягким асфальтом, прохаживается и Деннет, холостяк, генерал-лейтенант, с преогромным арбузом под мышкой; и знают — куда: в переулок Никольский, в свой собственный дом; а арбуз — для сердечного друга. Пронесся стремительно на своем лихаче преседой старичок — в картузе, с золотыми очками, поматывая очень нервно головкой — Михаил Васильевич Попов, вероятно к Братенши, зубному врачу; вероятнее — к Федору Иванычу Маслову (где центральный собирается штаб старых дев и отъявленнейших холостяков: состоящих из М. В. Попова, Танеева, Мишеньки Эртеля, Маслова под председательством престрожайшей Варвары Ивановны Масловой; старые девы — пошипывают; холостяки — похохатывают); в это время Михаил Сергеевич Соловьев, клюя носом, пенсне, златохохлой бородкой, качается[85] шагом домой от Огнева профессора; стороженковские дети проходят, Иогихес-сын на извозчике тарарыкает с Моховой; все тут «*хожие*»; есть и за-захожие (редко); прохожих — почти что и нет, не считая своих, как вот Льва Николаевича Толстого, так бодро бегущего по Арбату — к Хамовникам, в серой, в кругленькой шапке, и в серой поддевке-пальте, руку сунул в карманы; и — бородой развевается; перегоняет Истоминых барышень (уж и бледны!); а «*Мишель*» Комаров выезжает уже из-за Ремизова, как вчера, прошлым годом, как в тысяча восемьсот девяностом, восьмидесятом, как выедет он и в двенадцатом; в девятнадцатом он уже не выедет: нет лошадей!....

Факт ужаснейший, иль прекращение выездов Комарова «*Мишеля*» (венгерку, жену — покатать), подготовлялся с ужасною незаметностью задолго; первая отдаленная только зарница грядущего рокового удара — молниеносное появление «*Праги*» (подумайте, настоящего ресторана, то есть чего-то такого, что где-то имеется, а у нас быть не может) с толпой лихачей за-арбатских; та «*Прага*» неспроста присела на кончик Арбата (я, дескать, — совсем не у вас: я на площади!), как Староносов когда-то неспроста присел на другой (с Доргомилова); некогда приседание это естественно означало начало огромнейшей политической революции, т. е. борьбу его с генералами Старицким и Деннетом за право гражданства, окончившуюся удалением Деннета в Никольский и появлением двух-трехэтажных яично-помойных, фисташково-грязевых колеров; так же явление «*Праги*», с одной стороны, означало (кто мог это думать тогда), что социальная революция произойдет на Арбате, предшествуемая быстрой стройкою каменных кубов и разрушением всего «*Староносова*», либерального дела; и кроме сего: было знамение некое, что коль многие переменят свое местожительство, переселятся в Софию

и в Прагу. Так: в «*Праге*» сидела уж Прага. За «*Прагой*» впоследствии ведь потащилися «*Бликгены и Робинсоны*» сюда. Но впервые арбатец увидел — «*Лиман и Карпаты со Всадником*» в 1906—1907 годах, то есть, даль заарбатскую на самом на Арбате (еще построение баррикад на Арбате вполне было делом семейным: все строили их — и Горшков, и Распопов, и Ремизов вместе с газетчиком Угловым; разбирали же те баррикады — сумцы;[86] офицеров «*сумцовских*» немало живало здесь); «*Лиман и Карпаты*» — перемещенье понятий с постройкою новых домов, подобное перемещение почв под давленьем подземного пламени, сопровождаемое осыпаньем земель с выпираньем огромных гранитов, базальтов; наклонности к измененью рельефа Арбата из плоской равнины в ущелье, стесняемое двумя горными кряжами, сопровождалося землетрясеньем моральных устоев и всякими иными природными бедствиями в виде огромного наводнения Арбата прохожими от Кузнецкого, от Моховой и Тверской, смывших шумными толпами прежних арбатцев; кой-где пробежит перепуганный вовсе Деннет, пренахально заталкиваемый локтями вполне неизвестных рабочих мещан, понаехавших провинциальных курсисток (ведь Женские курсы открылись опять при Арбате, в том доме угольном, которым подкрадывается Поварская к Арбату — Аптекой); Арбат, в себе замкнутый, стал проходною уж улицей — к Клиникам (молодежи учащейся), к Центру, — рабочих, штурмующих капиталистические центры Неглинной; и этой чужою борьбою захвачен Арбат был; и кроме того: неизвестность селилась в огромных домах, здесь отстроенных только что, с множеством не проверенных вовсе квартир и с числом обитателей, проходимцев арбатских, уже превышающим старое арбатское население; трамвай тут протаскивал кучи сплошной неизвестности в виде летящих голов человеческих — и туда, и сюда; точно сыпью покрыл Арбат красноватые светы, подумайте, — трех «*Кино*» сразу; да, да, — представленье о Каменной Вечности, «*Карле Мора*», — разлетелося вдребезги: и вместо «*Карла Мора*» в помещении «*Карла Мора*» оказалася книжная библиотека.

Вместе с тем и профессорский состав изменился: бывало, ходили тут Усов, профессор, Бугаев, профессор; профессор Зубков, Стороженко, доцент Богословский, Грот; знали их всех; а теперь зачастили: Бердяев, Булгаков, Богдан Кистяковский, Сергей Андреевич Котляревский, М. О. Гершензон; а у «Праги» забегал Сергей Константинович Шамбинаго.

Случились огромные землетрясья под музыку Саца; а некие серые кубы домов продолжали перение этажами своими вверх-вверх, указуя, что под асфальтовым тротуаром Арбата образовались кипящие лавы,

что Воронцов-Вельяминов, старинный варильщик асфальта, сошедший в подземное царство, — под самым Арбатом теперь занимается кипяченьем подпочв, в результате которого будет огромнейший вулканический взрыв — на Арбате: какой-нибудь дом, вновь отстроенный, семиэтажный, откроет вулкан (так оно и случилось во время переворота октябрьского: был Арбат юнкерским; юнкера Александровского училища защищали его; «*Большевик*» наступал с Трубниковского переулка и со Смоленского; вдруг открылся вулкан большевистский на самом Арбате, в семиэтажном домине, построенном в месте пустоши с памятниками: оттуда вдруг раздались большевистские выстрелы в малый разъезд юнкеров; так-то хлынула лава подземная, найдя выход свободный; и распирание почв прекратилось: дома не росли уже). . . . .

. . . .

В седьмом и в восьмом году нашего века действительно ощущались какие-то странные вздроги в Москве; я их слышал особенно: внешне и внутренно; чувство неблагополучия ощущалось особенно сильно; арбатцы, наверное, ощущали те вздроги арбатскими вздрогами; но эти вздроги переживалися и другими московскими улицами; перестраивалась Москва сверху донизу; переменялись московские вкусы, привычки; везде «*Карл Мора*» был разрушен; статическое представление о Вечности переменилося в динамическое; и все улицы сдернулись с мест своих; сдернулась с места Москва, потому что Россия вся сдернулась с места; господствовала реакция: бомбы уже не выделывались в доме Чулкова (где жил доктор Добров, где я повстречался с Андреевым),[87] вот: в 1906 году знали мы: в доме Чулкова готовятся бомбы; теперь уже бомбы исчезли с поверхности жизни; но чувствовалось: бомба принята организмом, как некая капсюля касторки, которая — придет час — свое действие возымеет: весьма! Годы эти — зловещая тишина перед началом действительного разрыва: сознания, мира и жизни; так многие переживания социальные разыгрывались во мне вполне лично.

И об этом поговаривал с М. О.[88]

. . . .

В моем общении с Морозовой, Метнером, Булгаковым, Бердяевым, Трубецким (о котором скажу ниже я) подготовлялась мне тема: Россия; ее я нащупал вне Блока; весь путь, мной проделанный без него, в результате которого появились романы «*Серебряный Голубь*» и «*Петербург*», подготовил возможности нашей будущей встречи с А. А. (уже автором стихов о России и «Куликова Поля»[89]). Стихи о Прекрасной Даме когда-то нас сблизили с Блоком; а «*Куликово Поле*» и «*Серебряный Голубь*» свели нас вторично. В Гоголе соединились мы снова; мы

оба увидели в Гоголе муки боли, рождающей новое, будущее России. О Гоголе писал я восторженно; о Гоголе писал Блок: «*Перед неизбежностью родов, перед появлением нового существа содрогался Гоголь*»...* «*Та самая Русь, о которой кричали и пели славянофилы, как корибанты, заглушая крики матери бога; она-то сверкнула Гоголю, как ослепительное видение, в кратком сне*»...** «*Такая Россия явилась в красоте, как в сказке, зримая духовным оком*»...*** «*В полете на воссоединение с целым в музыке мирового оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок — родилось дитя Гоголя, этого ребенка он назвал Россией. Она глядит на нас из... будущего и зовет туда*».[93]

Эти слова — лейтмотивы моей книги «*Луг зеленый*», освященной России, наиболее ответственные статьи этой книги («*Настоящее и будущее русской литературы*», «*Гоголь*») были написаны в период нашего молчания с Блоком;[94] и написан «*Серебряный Голубь*», о котором Блок писал: «*Есть трогательное в том, что „отверженец" П. Карпов со своим делом, которое всем не ко двору, ищет поддержки в музыке самого отверженного писателя, чьих непривычных для слуха речей о России никто еще не слышал, как следует, но которые рано или поздно услышаны будут*».[95]

Этот писатель — я.

Темы Гоголь, Россия, отношение интеллигенции к народу, «*Куликово Поле*», «*Серебряный Голубь*» подготовили возможность новой встречи; темы те поднималися главным образом религиозно-философскими обществами Москвы, Петербурга. Именно в период молчания нашего застаю я себя посещающим Московское Религиозно-Философское Общество, действующим там вплоть до вступления в Совет Общества, и о Блоке того периода пишет М. А. Бекетова следующее: «*Первая половина этой зимы прошла... в непрерывной работе и общении с людьми разных кругов. Он деятельно посещал Религиозно-Философское О-во, в котором видную роль играли Мережковские, Розанов, Карташев, Столпнер... Создался наделавший столько шума доклад „Интеллигенция и народ". Впервые он был прочитан в Религиозно-Философском Обществе и при большом стечении публики*»...[96]

. . . .

---

* Статья «*Дитя Гоголя*».[90]

** Ibidem.[91]

*** Ibidem.[92]

Обвиняя А. А., я во многом был грешен тем именно, за что нападал на А. А. Самосознания — не было; самосознания ни в ком не было; те, которые соединились, как «*аргонавты*», — теперь изменились; иные уже отошли, как Владимиров; а другие, как Батюшков, Эртель, нам стали далеки. Ядро «*аргонавтов*» — осталось: в него вошли: Метнер, Нилендер; С. М. Соловьев отдалился от А. С. Петровского; М. И. Сизов проживал в Петербурге;[97] оставшиеся не мечтали, как прежде, о светлом; и выступали чудовища, охраняющие Руно; были жизнью изранены мы; были выбиты из седла; но тем более ощущали кружок наш, как «*целое*» душ, кровно связанных: стала тенденция «*аргонавтизма*» нам братством; Петровский, я, Эллис, С. М. Соловьев, Э. К. Метнер, Нилендер, Н. П. Киселев и Рачинский — образовали естественно возникавшее братство.

Уже не мечтали о *зорях*; и — думалось: «Дай-то Бог продержаться кое-как»; положение наше в *Пути* представлялось мне образом: некогда взошли на гору; и оттуда увидели горизонты зари, и — приблизили их (аберрация перспективы); леса нас обстали; в лесу — потеряли друг друга; перекликалися — издали; лес же был — заколдованный; каждому приходилось в странствии сталкиваться с мороком.

Я предсказывал: пройдут годы; и — все-таки: выйдем из леса мы к берегу моря, увидим зарю и здесь встретимся вновь; и — сойдет: кроткий отдых; а ужас — рассеется; и придет из-за моря корабль, или «*Арго*», нас взять; представлялась дорога — чрез море — исполненной новых опасностей; но — другого порядка; там встретят нас — «*водные*» ужасы: после «лесных».

Будущее России вставало в двух образах: или появится Некто в России, подобный Петру; он прискачет на грозном коне от каких-то таинственных гор, называемых мною Карпатами, — Некий, подобный увиденному колдуном «*Страшной мести*»; и я называл почему-то его — «*граф из Австрии*» (Карпаты ведь в Австрии); может быть, — будет бунт: или Сечь Запорожская; в этом случае угрожает пришедшая «*Красная Свитка*» (из Гоголя);[98] и — раздваивался: меж «*Сечью*» и *графом*; под Сечью, по всей вероятности, разумел я восстание снизу; под графом, наверное, я разумел — насаждение какого-то рыцарства, посвящающего себя перерождению России; чувствовали опасности: *граф из Австрии* мог ведь быть Калиостро, а также диктатором; с Сечью (октябрьской революцией) ведь могла обнаружиться *Красная Свитка*. Не знаю, что следовало разуметь мне под образами, возникающими в сознании; образы двух путей (революций) тогда встали именно.

. . . .

Появившись в Москве, на Арбате, с отчетливым ощущением таких-то готовящихся опасностей, с чувством проглоченной бомбы, которая вот-вот-вот разорвется во мне, — я ходил по Арбату; и все мне казалось, что вовсе не то на Арбате; какие-то пробегают оскаленные физиономии подозрительных, неизвестных мещан, как тот самый, который предстал пред Раскольниковым с «*убивец*»;[99] мне делалось боязно на том самом Арбате, где я столько лет ощущал безопасным себя; признавался С. М. Соловьеву о двух своих образах:

— «Понимаешь ли ты, — граф из Австрии; или Красная Свитка».

С. М. Соловьев, положив свою руку на стол, очень чутко прислушивался, покусывая усы: со смешком, очень громким, напоминающим мне смешок знаменитый Владимира Соловьева, — ответствовал громким басом, напоминающим громкий бас Соловьева:

— «Да, да: граф из Австрии: понимаю, да, только он — всадник из Карпат „*Страшной мести*"; он борется с „*Красною Свиткою*", с красным жупаном того колдуна. Да — припахивает этой „*Свиткой*". „*Колдун*" показался опять; он — в Москве...»

— «Ну а „*граф*"?»

— «Знаешь: „*граф*" тоже здесь».

Ощущение борьбы «*графа*» с «*Красным Жупаном*», не ощущение ль будущего столкновения в Москве капиталиста (Бурышкина, Щукина, Пуанкарэ и Ллойд-Джорджа) с огромной стихией огня. Ощущения эти переживалися как одержания мной; одержание подымалось во мне; некоторые стихотворения «*Пепла*» и нападение на Блока — симптомы тогдашнего моего одержания. Но *одержание* развивалось широко в России: «*огарки*», *саниновщина*,[100] *азартные игры*, *пляс*, *пьянство*, *серия самоубийств* — вот чем характеризуемо время: и настроение времени чутко передано в стихотвореньи А. А., написанном вскоре:

Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли,
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали...
Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою...

Страсти — были развязаны; *что делать с собой* — мы не знали. У А. А. в стихотворении этом уже есть осознание *общего одержания*, как предчувствие страшной войны:

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.[101]

Это — рокоты сечи: 1914 год; и то пожар 1917—1920 годов. Ожидание чего-то большого и неизвестного посещало меня; сквозь тоску я прислушивался к поступи будущего. В стихотворении, посвященном С. М. Соловьеву, есть строки:

Ты помнишь? Твой покойный дядя,
Из дали безвременной глядя,
Вставал в метели снеговой
В огромной шапке меховой,
Пророча светопреставление...
Потом — японская война:
И вот — артурское пленение,
И вот — народное волнение,
Холера, смерть, землетрясение —
И роковая тишина...

И далее:

Годины трудных испытаний
Пошли нам Бог перетерпеть...[102]

Зима 1907—1908 годов —
Только гнет ожидания: испытания.

. . . .

Отчетливо ноту трагедии личной прорезала нота трагедии общей, быть может, трагедии мира: разорван в клочки был недавно вполне романтический небосвод; проступили пустоты огромного коперниканского неба; мороз мировой, рассыпающий в прах и мозги, и составы, дохнул на Арбат; кто-то, страшный, неведомый, появился, — оскалом прохожего мещанина без слов мне сказал: «Я тебя поджидаю... Я — здесь уже, час роковой твой!» Нечеловеческим ревом летел по Арбату ночами, открывши два глаза; чудовище металлическое, напоминающее громадную голову мопса без туловища, кидалося на мостовую Арбата:

какой-то бессмысленный «*Головак*», пролетающий по Арбату с созвездия *Пса* в направленьи к созвездию *Дракона*, являл вид сплошной, мировой, подозрительной неизвестности; и арбатцы, как я, себя спрашивали:

— «Господи, что же это такое?»

Как часто мы забирались теперь в приарбатскую чайную (против «*Дона*») от Эллиса из философских собраний; за грязными скатертями сидели извозчики, и — храпели извозчики, договаривали здесь самое тайное, что волновало сердца; и сериознейшие разговоры о мире, Европе, России, Москве и Арбате в нас поднимались — здесь именно: с Эллисом, с В. О. Нилендером, с Шпеттом, с Рачинским.

Бывало, что выходили отсюда с Нилендером (веснами) утром уже; птички пели; прогуливались по бульвару Смоленскому; сидели на лавочках; я возвращался, пересекая пустынную площадь и свертывая на Арбат; и знакомый — все тот же — отрезок Арбата (от Староносова до «*Миколы*» на Камне) вставал разноцветным срощением домов: темно-охрового, одноэтажного, двухэтажных — беленого, коричнево-желтого, розовооранжевого, бледнопалевого, зеленого, желтого, красного, точно нелепо и пестро раскрашенная бумажная лента, поблескивающая разлетами золота; солнце всходило.

И вечером шел я опять; и в обратном порядке от церкви Миколы, поблескивая разлетом вечернего золота стекол, багрея зарей, освещенная лента своими крикливыми пятнами: красным, желтым, зеленым, оранжеворозоватым — до охрового; и зловеще багровый раскол улыбался из стынущей черносерой завесы.

НОЯБРЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНЬЯ МОСКВЫ

Уже мною подчеркнуто: ухожу в интересы Москвы, повернувшись спиной к Петербургу. Уже зазимело; и камни, и крыши пушисто, пречисто хладнея, — белели; а воздухи очень нечисто серели, синели, чернели отяжелевшими дымами; нос щекотал запах гари; и ка́ркарица-ворона — картавила: с небосклона.

По дням и неделям себя проносил я бездомною тенью; и вечер годин моих вытянул тень под ногами: веками, я был только тенью — изъятьем, отсутствием, образовавшим пространственный контур, облепленный тем, что не «*Я*», и изваянный впечатлениями внешнего мира,

своим сюртуком, мягкой шляпой и шубой с перчаткой, схватившейся за крючкастую палку и ею постукивающей по тумбам Арбата; пространство домов, впечатлений и разговоров впиралось (природа боится пустот) в это *менее, чем ничто*, циркулирующее по квартирам знакомых; и все, что ни есть, впечатлениями впиралось в пустоты сознания разгромленного «Я».

В ту эпоху себя ощущаю *ничем*, надевающим над пространством былой головы свою шляпу, — изъятием, вылепленным полнотою пространства мне в руку; я делаю вид, что размахиваю крючкастою палкою, перебегая с Никольского переулка к Сенной завывающей ветрами площади, под снеготрясами, в меблированные комнаты «*Дон*», пробегаю унылейший коридор и врываюся в дрянненький номер, снимаемый Эллисом, дремлющим мирно на жесткой постельке (до вечера); я усаживаюсь на край тюфячка, бужу Эллиса, жалуясь на ничтожество человеческой жизни; а Эллис, зевая и яростно протирая глаза, подпухает зеленым, несвежим лицом, поднимаясь с подушек; и пальцем решительно указует в пространство.....

— «Correspondance!..[103] Соответствие — только: и — абсолютная между ними черта... Никаких совпадений... И —

— Никаких —

— Утешений!»

— «Здесь все — только падаль: charogne[104] — понимаешь?»

— «Там — свет...»

— «И — абсолютная между ними черта!»

— «Никаких совпадений!»

И снова он валится лысинкою в подушки; и начинаются очень скачкастые подпрыги фраз: переметень убеждений! В окне зажигают фонари... Эллис, выерзнув голыми ногами из-под одеяла, топочет по комнате; и, натянувши штанину, глядит в темноте на фонарь:

— «И понимаешь ли, — Брюсов весь в строчке сказался: „*Фонарь, безвестный друг*”...»[105]

И иду я обратно с Сенной в переулок Никольский — обедать: к меня наблюдающей маме; звонок очень резкий — и — «*никаких!*» Это — Эллис, бежавший за мною — мне вслед; потрясая крючкастыми палками, мы убегаем в «*Кино*» вбирать быстрые передроги мелькающих образов: разрукай, разногай пешеходов изображаемых улиц, изображаемых городов изображаемой жизни: несется поток из «*ничто*» и в «*ничто*» (это все передразнит нам с мамой сегодняшним вечером Эллис). О, да: человек есть пузырь пустоты: расчихается — лопнет: и фукнет дымочком, как в шарже, мной виденном.

Вечером я, «*Ничто*», ощущаю отчетливей лицевое, ручное, сердечное и головное изъятье; бегу переполниться чужеродными впечатлениями, необходимыми, как врачующий боли наркоз; переполненность впечатлением, складывающим только видимость теневой моей жизни, — мне памятно в этот период; и я вспоминаю себя, вспоминаю других, мне мелькавших в те дни: их слова и их жесты.

. . . .

Приезды в Москву петербуржцев меня заставляли болезненно вздрагивать.

Непосредственно после приезда в Москву натолкнулся на М. А. Волошина, возвращавшегося из Коктебеля в ему улыбавшийся Питер;[106] в моем представленьи он был козловод Вячеславовых «*хородрыгов*» идейных, откалываемых в петербургских салонах; и пахарь эротики; я в ту пору к нему с подозрением относился; встречалися мы у Бердяева, кажется, где идеи Бердяева дружно обсели Герцыки, доселе всегда представлявшиеся сиамскими близнецами — двуглавицей;[107] я с удивлением видел, что это — не так; потому что Герцык оказалася маленьким, симпатичнейшим существом, совершенно отдельным от младшей сестры, оказавшейся тоже отдельной. Волошин тогда произвел впечатление фаршированного криком моды гиппопотама, раздутого красным и крупным лицом, выпрядающим носом, ноздрившим и пышащим, из-за бури клоков бороды и курчавой шевелюры, с премалыми, юркими глазками; помнится, — думалось:

— «Это скорей не Волошин, а — „*кони*": табун устремленных коней, совершенно подкованных рифмами...»

Кони — копытцами цокнувший, звонко галопистый стих, подаваемый всем желающим голосом, напоминающим сдобное, куличное тесто; уже после любил этот стих, разглядевши в Волошине подлинного стихотворца; тогда — не любил; мне казалось: материя строк точит сладкое масло в то время, как рифмы хрустят на зубах, как вполне пережженный миндаль.

Он истомным движеньем бессильной руки отцеплял золотое пенсне, упадавшее прямо на бархатный, пухло вздутый жилет; и томился из кресла, — не то переполненностью пищевыми продуктами, а не то каббалистикой.

Так он представился: я прошу извинение за гротеск представленья; после я видел иначе его.

. . . .

Приблизительно в то же время мы встретились с Вячеславом Ивановым, перенесшим тяжелое горе: утрату любимой супруги (Зиновье-

вой-Аннибал);[108] остановился Иванов опять-таки у Герцык (у которой из двух — я не помню);[109] узнав о моем возвращеньи в Москву, пожелал он со мной повстречаться; такое желанье меня удивило; ведь после статьи «*Штемпелеванная калоша*» считал себя в ссоре с Ивановым я;[110] а теперь он искал со мной встречи: желал объяснения; встреча произошла на беседе в Литературно-Художественном Кружке, на моем реферате «*О драме*»;[111] и нет, — не забуду я эту фигуру, бредущую среди нарядной толпы, наполняющей зал, размягченную тяжким ударом судьбы; и мне вспомнился тут прорицатель Тирезий, — Тирезий, себе самому напророчивший ужас;[112] в длиннейшем своем сюртуке, точно в траурной мантии, грустно отвесясь рукою (какою-то лапой орлиной), упавшей на плечико падчерицы своей, В. К. Шварцалон (а позднее — жены),[113] перед ним выступавшей скромнейше и поражавшей белесыми волосами и розовым личиком, — грустно отвесясь рукою, он шел, протянувшись сутуло из пестрой толпы с широчайшею лентой пенсне, отвитою за ухо, прикрытое упадающей волною волос, точно вымытых перекисью водорода, и удивляя просвеченным, похудевшим, страдальческим, перламутрово-розовым ликом; он двигался медленно, в трудной натуге ко мне, перещупывая подошвами лоски паркетов, чтоб не споткнуться о трэн обнаженной и набеленной брюнетки, столь часто встречаемой здесь, поклевывая бородою и носом в затылки толпящихся перед ним пестрых дам и покрякивающих крахмалом мужчин; он являл вид слепца, не Тирезия даже: скорее, Эдипа, ведомого прочь от злосчастного места, где рок раздавил ему зрение.

Этот вид потрясенного горем Иванова так взволновал меня, что я мгновенно почувствовал сильный прилив состраданья, переходящий в приязнь к этой крупной и вещей фигуре, восставшей передо мною в минуту тяжелую для себя и меня.

Протянул ему руку, сердечно сжимал его слабую кисть; и почувствовал рукопожатье, искавшее мира меж нами.[114]

А на другой день мы встретились, чтоб обсудить положенье полемики нашей; Иванов пытался уверить меня, как в Москве заблуждаемся мы относительно подлинных устремлений его мира мысли:

— «Борис, — многовласой космой выцветавшего добела злата пушился мне под носом он, — ты не веришь: да, да... Ты — боишься меня», — придыхал носом он, как скрипичным смычком, вырезающим явственно воздух.

— «Страдаешь недопустимейшим химеризмом; в воображении твоем очень часто разыгрываются фантазии наподобие образов Гойи и Босха... Что-то есть в тебе просто болезненное: и оттого, что боишься ты Диониса...»

— «Тебе говорю: изменись. И восчувствуй доверие к людям, тебе все же близким...»

Во всем его тоне я чувствовал милое что-то; и чувствовал явственно я: угрызение совести — за весь тон моей резкой полемики летней, направленной против него, столь согбенного роком; он слабнул, поклевывая своим постаревшим лицом, и дрожал многовласой копной, выцветающей добела, и уж не взвитой, не кольчатой, — как-то прямо и жалко висящей; и раздвоенною белольняной бородкой, безброво растерянным лбом, и глазами, процветшими синеньким цветиком боли и горя, больною улыбкой покорности, — всем этим тронул меня он (чего я храбрился: я сам был развалиной); некоторое подобие примиренья в идеях — свершилось (за что ругал Эллис); я должен сказать, что Иванов всегда отличался незлобивой добротою своею; в той сложной, опасной натуре всегда выступала отчетливо кротость; она расцветала таким детским цветиком глаз; в те минуты казался он мне златорунным барашком.

Совершенно иначе в те дни реагировал он на тон Эллиса; слышались резкие, жесткие вскрики; лицом багрянел, как петух; и смычковые ноты отпевшего голоса крепли пронзительным «*кукурекуком*» петушьим; случалося это при легкомысленном упоминаньи заглавия «*Штемпелеванная калоша*» (статьи против «*Ор*»); не мирился он с фактом статьи; Соловьев, в эти дни посетивший Брюсова, мне рассказал:

— «Прихожу я к В. Я., Иоанна Матвевна встречает в передней словами: „Валерий Яковлевич — занят: с Ивановым; подождем их". Сижу с ней, — а в смежной комнате, из-за плотно закрытых дверей раздается гортанное клекотание Брюсова, прерываемое громким вскриком, обиженно-птичьим: „Но, «*Штемпелеванная калоша*», Валерий..." Потом начиналось успокоительное воркование Брюсова; и опять резкий вскрик: „«*Штемпелеванная калоша*», Валерий". Иоанна Матвевна глазами показывала на двери: „Вы слышите? Он не может простить"...»

Так «*Калоша*» задела его; он уехал в свой Питер; я скоро забыл его; я наполнился московскими впечатлениями; и совсем измосквичился, силяся погрузиться в те тысячи мелких идейных забот, из которых не мог приподняться я более году; казалося мне: надворянились петербуржцы над нами; из Петербурга бурдили идеями в нас; и Иванов, с которым готов был мириться, опять пробурдил рефератом о символическом реализме, приписанным только идейным друзьям его (для идейных врагов, символистов, как он, он придумал обиднейший «*Символизм*», называя его символизмом идеалистическим);[115] мы боролись с наветрием проповедью единоумия вкруг «*весовского*» самодержца, В. Брюсова,

провозглашаемым Эллисом, несшимся иссушающей тучей Самума по едким страницам «*Весов*» с абсолютнейшим лозунгом:

— «Есть лишь один символизм: и пророк его — Брюсов. Все же прочее — только изъян да издой».

Брюсов не раз, подобоченившись, летким и четким словечком указывал нам:

— «Да, Борис Николаевич: появилися всякие Пильские. Пилят в газетах».

Бывало, склоняясь скуластым лицом, руку навись поставив, нагребисто кистью гребет к себе воздух — под слово свое, вызывая всегда у меня впечатление, будто из рта вырывается воздух (дышать просто нечем):

— «Они — обнаглели».

— «А вот, не напишете ли вы об этом, Борис Николаич, в „*Весы*"?»

Эллис, ус закрутив витушком и задергав плечом, истерически взгубится, слушая Брюсова; и покачивая лысой костностью головы, в размухрастом своем сюртучке с заатласенными, полуистертыми рукавами, с каким-то икающим смехом, тряся нарочито всем корпусом, изничтожает стихи Вячеслава Иванова; и наносит «*жарыʹ*» свои, становясь борзословом.

. . . .

Летописцу эпохи той не миновать Литературно-Художественного «Кружка»; мы ходили туда проповедовать «*Символ Веры*» с трибуны, — намыливать головы: Потресову-Яблоновскому, Любошицу, Ашешову, Гиляровскому (после «*боев*» мы встречались относительно мирно (т. е. 〈— — —〉 друг друга) до нового «боя»: до первой газетной ругни). Мне запомнились эти шумливые заседанья «*Кружка*»; большой зал, весь набитый до зрелища жадною публикой; перекрахмаленные господа щелкачи (то есть те, кто крахмалами щелкают) здесь заседали с их пышными женами в шалях, блистающих бриллиантах (потом удалялись в соседние комнаты ужинать), тут же сидели и барышни, набируши, собирательницы идей; и студенты с претомными лицами, в ясных браслетах и с фразой Уайльда во рту; приходили: присяжный поверенный, верхосвист из газет, очень-очень замарчивый (замарает как раз), много жгучих брюнеточек зубоврачебного мира с тоской по скандалу; и — критик, года перепеняющий принципом, явно отжившим; пузырь-биржевик, глупотелая барынька, посетительница религиозно-философских собраний; и просто глазыня-глупыня; преобладали зубные здесь модницы врачихи в изысканных туалетах со зверскими взглядами (вывертень утонченного мнения сиживал рядом с унылейшим выдудком

общего, просто отхожего места); все это, бывало, — сидит, шелестит, и хихикает, пожирая глазами эстраду; и — ожидая скандальчика.

А на эстраде сидят за столом: очень толстый, спокойный, сериозно-комичный Баженов — на председательском месте; и не спешит открывать заседания; рядом — газетчики: Потресов-Яблоновский, премаленький, черненький, точно на что-то обиженный с маленьким лбом и довольно морщавым лицом; он все шепчет, бывало, ехидное что-то соседу, кудрявому, крупному и краснолицему Любошицу, которому мы не могли простить Фета: о нем отзывался совсем неприлично он; тут сидит Эфрос, сидит иногда Дживелегов, С. А. Соколов, Борис Зайцев, В. Стражев, худой, белобледный, обиженно-злой, очень томный и «*честный*» до чрезвычайности (не подходи, — зашибет благородством); и на эстраде ряды: для поэтов, писателей, критиков, деятелей; и — кого-кого нет здесь (знакомые все): Эллис, Муни, Петровская, Ходасевич, Рачинский, Курсинский, Койранский, безусый один литератор (казавшийся мне кислосладким «*бабатей*»).

И вот кто-нибудь начинает очередное введенье к беседе; то это — Чуковский, заезжий; то это — присяжный поверенный, модный бродун по идеям: начнет будорахать отхожее место; иль то — борзописец газет; или, вовсе напротив, — почтенный профессор, Семен Афанасьевич Венгеров; видывал здесь Айхенвальда: с сутуловатой, застенчивой мягкостью скромно поднявшись на кафедру, он исступлением вставших волос и блистанием злобных очков вылагает таким тихим-тихим, вполне задушевным, вполне добродетельным голосом нежные изукрасы словесные; великолепит цитатами мягкого, нежного, тихого и преподобного голоса; барышням кажется: словно два крылышка явно прорезались за сюртуком его; барышни томно вздыхают, потрагивая бессознательно пальцами витушки у висков; вижу — Эллис, уже закрутивши свой ус и задергав плечом, преобиженно взгубится; и застегнувшись взатуг, идет к кафедре, чтобы отсюда ответно взбутусить град слов, расклочить все-все, что ни есть, кроме Брюсова, Данте, Бодлера.

Потом — встану я; возражать; и мне боязно; так и уставятся все; эта злая вполне сладострастная дама лицом измертвечится жадно; приставив лорнетку лицом, изглаздырит тебя; этот старец брезгливо вавакает в первом ряду на тебя небылицу; зубные модницы врачихи ожесточенно глазами едят; и ты чувствуешь просто изъедком себя; чем смелей говоришь, тем страшней; чем страшнее становится, тем на словах ты бесстрашней; и — слышишь: гаганит вся зала протестом; и — видишь: Рачинский завертится беспокойно на стуле, побагровеет, блистает очками и гневами (не на тебя, а на залу).

И — подымается после: сыр-бор.

Борзописец газет, слегка подбоченившись словом, выкладывает бревенчак общих мест; декадентские мальчики бросятся к кафедре — расщеплять бревенчак на лучину; гагакает, шикает, топает, аплодирует публика, жадно осклабясь скандалом; задействовал колокольчик Баженова; и С. А. Соколов пронес слово громчайшим и сдобно увесистым басом; старается: отбогатырствовать словом; Курсинский, взлетая таким вертохватом, став взаверть (муаровый отворот сюртука); он выстреливает по публике пальцем и словом (он бьет наповал); и — слетает; приподымается очень медленно очень маленький, чернобороденький Потресов-Яблоновский, морщаво губанит, прожевывает, превращая мой облик писательский в черт знает что: и безвласые старцы партера брадатятся сединою довольно: «Вот так их и надо»...

Койранский прикинется вертни выкидывать: и длится до полночи так; после — сядешь за столик; за столиком смежным, наверное, Иван Иваныч Попов бородою рыжеет; а добродушнейший Ю. А. Бунин проходит меж столиков; и всегда-то кого-нибудь чествует от лица крупнейших деятелей периодической прессы; у стойки же водочной, ровно в полночь, рождается философ — профессор Лопатин, поднявшийся только с постели (он — спал до сих пор), весь сухой, как лопатка, поднявши тычком козловидную бороду: вот отходит от стойки; поднявши тычок бороды, он проходит у двери, осматривая золотыми очками и подбородком ближайшие столики, закровогубится выпяченной губой; переваливаясь между стульями мелкими шажками, махая бессильными ручками, улетающими назад, себе за спину, и гребущими, точно весла, по воздуху, — пустоту; и с соседнего столика Иванцов ему крикнет; и он, закачавшись, затопчется и, потирая рассеянно ручку о ручку, подняв подбородок, посмотрит овечьими просто глазами; и — хокает Иванцову.

Идете вы к выходу; там у перил, среди плеска муаровых юпок, средь щелканья белых крахмалов — присяжных поверенных, шествующих с супругами к выходу, — кто неподвижно стоит у стены, скрестив руки, — один, подняв голову, очень скуластую? И, замирая, кто щурит раскосые, черные, очень монгольские очи? Широбровый, мрачнейший, бледнейший брюнет. К нему гордо подходит князь Южин-Сумбатов, толстейший и бритый, подставивши всем сторонам горизонта вполне перепыщенный профиль; ему чернобродый татарского вида сюртучник, слегка вырисовывая правой рукой треугольники, с математической точностью что-то гортанит; и сыплются градом — параграфы:

— «Согласно параграфу устава... Мы не имеем права...»

То — Брюсов.

— «Параграф такой-то...»

— «Чудесно...»

Глаза же — прегрустные.....

Вот вы выходите: в ночь.

Перед вами — обвисшая мехом до пяток с подносною шляпою дама превыразительно светит из уха огромнейшим бриллиянтом; и с ней — господин в котелке; и крепчает мороз: уходер, ухощип; и стреляют костры с перекрестков разрывчатым пламенем; и рельеф переулка исходит кубическим криком отстроенных зданий...

Глядишь, будто в бездонь: да, да — безызживное горе меня тяготит; безупокои какие-то тоски поднимаются после «*кружковских*» собраний; и липкое, липкое что-то в душе; и себе говоришь:

— «Больше я ни ногой сюда...»

А на следующий «*вторник*» являешься сызнова.

По возвращении из Петербурга читал я здесь свой реферат: «*Театр и современная драма*». Артисты Художественного Театра мной не были вовсе довольны; Качалов со мной поздоровался с укоризненным видом; но Ленский старик ко мне радостно и приветливо подошел, жал мне руку; и говорил:

— «Совершенно я с вами согласен...»

В этот вечер мы ужинали вместе с Баженовым, Вересаевым, Буниным и другими писателями: И. А. Бунин корил за абстрактность меня; в этот вечер наговорила мне комплименты Вербицкая.

. . . .

Не менее: было мне грустно; и стало грустнее еще — в примелькавшемся беге хромой, семиногой недели.

Ноябрь пролетал снеготрясом; уже сквозь него подбирался тишайше декабрь: носодерным морозцем и скрипом саней по крепчавшему снегу, и елочной канителью, сребревшей из окон писчебумажного магазинчика, чадными площадными кострами, около которых отхлопывали рукавицами багрянощекие, лиловоносые городовики; Шпетт, меня провожая, однажды откуда-то, часу в третьем, слегка возбужденный вином и веселыми разговорами, шаловливо подкрался к лиловоносому городовику, с засусоленными, серебряными усами; и — выхватив шпагу из ножен его, ею стал дирижировать в воздухе; из башлыка раздалось:

— «Хря, хря, хря... барин, вот так шутник: на чаишко бы»...

Шпетт сунул рубль в рукавицу: городовик был доволен; мы тронулись — в тьму.

. . . .

И пошли разгуляи мятели; мятели запели; в столбах телеграфных свистели свирели; пьянист Гольденвейзер, воздушно взлетев над квартирой своей и рассыпавшись снегом, из воздуха лихо разыгрывал раскатайные трели; снежинки густели хлопчатою массой; в печах подпевала валторна; из подворотни фагот гоготал; все исполнилось песнями: первой мятели.

В это время я познакомился с Петром Дмитриевичем Боборыкиным; или, вернее, возобновил с ним знакомство; его очень помню из детства[116] — худым, превысоким, и превертляво, и преразвинченно возбужденным; голова его — череп, обтянутый кожей (коротенький нос создавал впечатленье безносости), — быстро вертелась; дрожащая нервно рука суетливо подбрасывала к двум сурово блиставшим очкам миньятюрную лорнеточку, чтобы, бросив ее, ухватиться порывисто за предметы столового украшения — ими вертеть и подбрасывать в воздух их (а лорнеточка качалась на ленте, подпрыгивая на желтом жилете); ходил во всем желтом он; и, доказывая что-нибудь, багровел и привскакивал с места; и становился в картинную позу, слегка прислонившись к буфету, к столу; он бывал у нас; помню его в этой, несколько деланной позе, доказывающим моей маме, что русская женщина непонятно отстала от хода идей прогрессивного Запада; я же, мальчонок, сижу перед ними зевая, не понимая ни слова; прозвал Боборыкина я «боборыкою» просто; и мне доставалось за это.

У нас на окне очень долго валялся оставленный кем-то искомканный номер «*Будильника*», изображавший на заглавном листе «*боборыку*», танцующим весело, с очень огромною головой; и — крутящим шарманку; однажды пришел Боборыкин к нам в гости; увидев его, я — к окну: беру номер «*Будильника*», с ним разлетаюсь в гостиную с криком:

— «Вот, мамочка, — вот на картинке он; и — вот он: сидит тут».

Мама как выхватит карикатуру, а Боборыкин, став красным, рукой как протянется:

— «Нет, погодите, — а, а: презабавно!»

И отобравши «*Будильник*», запрятал в карман себе; после, когда он ушел, я стоял — носом в угол: меня наказали; и я невзлюбил Боборыкина.

Я не видел его множество лет; и я удивился ему: 〈— — —〉.

Он ходил по Москве с таким видом, как будто он — плод: плод, налившийся славою собственной жизни, которая протекала едва ли не в прошлом столетии; он стал — предороден, налился материей и спокойным достоинством медленных жестов; он — семенил очень быстро, переступая малюсенькими шагами; казалося, что его две ноги неподвиж-

ны; и потому-то не шел он, а плыл, или несся премедленными перемещениями пол сюртука во всем черном (не в желтом, как прежде), откинувши совершенно лысую ослепительно среброусую голову, или вдавив подбородком ее себе в грудь, он с улыбкой мастистого снисхождения вращал пред собою поставленной кистью руки, наливался весом, не без лукавства бросая, что первый он некогда провозгласил культ искусства, не будучи согласен, конечно же, с Писаревым, которого помнил студентом.

Теперь, повстречавшись со мной, с добродушным лукавством дотронулся он до плеча, склонив голову набок:

— «А помните, как вы, будучи мальчиком, показали мне карикатуру „Будильника"... Да, Николай Васильевич, покойник, — философом был; и — прекрасным оратором; говорили мы речи Тургеневу.[117] Да, вот, — да.....»

И налившися весом, пронес он на полах длиннейшего сюртука свою полную, среброусую голову.

Стал в эту пору его я встречать в нашем обществе мило воркующим с Брюсовым; да: его как-то вводили, сажали и угощали не трудною, не утомительною разговорной конфетой; и он — оставался доволен: отведавши несколько фраз, — уставал; и подремывал явственно на заседаниях «*Эстетики*»[118] в тихом почете и в славном молчании.

Боборыкин искал всюду встреч с представителями молодого искусства; просил он меня, чтобы свел его я с Маргаритой Кирилловной Морозовой (с ней был и прежде знаком он); Морозова очень смутилась:

— «Нет, нет уж: поговоришь с Боборыкиным, и очутишься в новом его романе».

Видывал я Боборыкина с Брюсовым, пресурьезнейшим образом обсуждающих кулинарные тонкости; Брюсов заведовал между прочим «*кружковскою*» кухней; и часто, поставив углом свою руку, он предлагал вдохновенно какой-нибудь даме:

— «Пойдемте к бассейну: вы выберете сами в бассейне, что нравится; рыбу при вас унесут; и потом подадут ее в жареном виде».

Беседа П. Д. Боборыкина с Брюсовым о севрюге весьма занимала обоих; я думал, на них поглядев:

— «Им, по-видимому, остается беседовать лишь о севрюге: о критике, литературе — рискованней».

У Боборыкиных, впрочем, я был; энглизированная супруга писателя, София Александровна (уже старушка), прекрасная, тонкая, тонная, очень понравилась мне; вспоминала все маму мою:

— «Александра ведь Дмитревна была раскрасавицей».

А Петр Дмитриевич вспоминал про отца:

— «Николай Васильич был очень живой и широкий... Бывало, мы с ним...»

Передавала мне мама: однажды они (оба были превспыльчивые) так раскричалися в споре один на другого, что спор перешел уже в Бог знает что; кто-то (папа, иль Боборыкин, — не знаю) воскликнул, вскипев:

— «За такие вот речи я уши бы оборвал».

На что (папа, иль Боборыкин, — не знаю) ответил, схвативши графин и поднявши его:

— «А я за такие ужасные убеждения разбил бы о голову этот графин».

Тут их развели; примирилися после они; Боборыкина часто бранили; и папа всегда защищал его; в тоне, с каким говорил о П. Д. он, был тот же оттенок, какой я подметил в П. Д. Боборыкине, вспоминающем об отце: оттенок лукавого благодушия, благожелательства, и просветленной, очищенной грусти о том, что нет прошлого; вероятно:

«Они вспоминали минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они».[119]

П. Д. предлагал ряд вопросов, меня накормил вкусным завтраком и называл добродушно «коллегой»; вопросы его мне казались весьма примитивны; на них было бы очень легко мне ответить; но, предложивши вопрос, Боборыкин, помахивая рукою с салфеткой, уверенно принимался себе за меня отвечать, — разумеется, в стиле, ему только нужном; он скоро стал сонным, поклевывал носом, рассеянно отпивая из маленькой чашечки «Мокко»; и София Александровна обратилась к нему:

— «Ты, Петруша, устал: помолчи... Пусть Борис Николаич расскажет нам что-нибудь...»

Боборыкин являлся на астровские собрания, где он читал свой доклад, заостренный весьма против творчества Леонида Андреева,[120] остановившегося проездом в гостинице, где Боборыкины жили, и появился он раз у К. П. Христофоровой — на теософском собрании (собирать материал для романа, в котором затрагивал богоискательство он);[121] волновался он очень проблемой монизма, пытаясь основать настоящий союз убежденных монистов; читал реферат о монизме в «*Психологическом Обществе*»,[122] там получив поражение, бедного старика разгромили: Лопатин, Хвостов, Трубецкой и Рачинский; старик не стерпел; вдруг обиделся; и во время сурового возраженья, собравши бумаги и бросивши гневное слово о том, что он думал попасть в «*философское*» общество, а попал к «*метафизикам*», сюртуком тихо тронулся к выходу.

Вовсе не страшный призыв Боборыкина к организации союза весьма взволновал П. И. Астрова; тот — как ударит в набат на Каретной Садовой своей, из цветковского домика: как? Мобилизировать Геккеля? А мы? Люди истинного, духовного постижения, — не сумеем мы разве монистам дать стойкий отпор? Астров быстро собрал нас, зазвавши на «*среду*»: тут были Рачинский, Бердяев, Свенцицкий, Эрн, Батюшков, я, Громогласов и много других, «*не монистов*»; П. И. заявил, что мириться с союзом монистов никак невозможно, мучительно перехвативши колени свои, потрясая испанской бородкой (лицо его было — простое, хорошее, русское); провозгласил, что немедленно же надо организовать стойкий очень отпор; и Бердяев, поматывая кудрями, помахивая рукою по воздуху, тихо посмеивался, удивляяся пылу П. И.; тем не менее он говорил; говорили: я, Батюшков, Г. А. Рачинский и Эртель, недавно подписывавшийся не только руками, но и ногами своими под словом П. Д. Боборыкина, здесь, на «*среде*» прозвучавшим; нынче подписывался не только руками, но и ногами своими под словом, направленным против П. Д. Боборыкина (подписывался четырьмя он конечностями под всем тем, что он слышал).

. . . .

На астровских «*средах*» бывали мы редко; один только Эллис с успехом нес проповедь символизма средь деятелей судебного мира и деятелей по городскому хозяйству, стекавшихся к Астрову, с твердым упорством вершившему «*среды*» свои и принявшему деятельное участие в организации «*Юридического Общества*», возникавшего только что;[123] там Астров повел неожиданно тактику против Рачинского, всех удивив; впрочем, Эллис таскал то того, то другого на «*среды*» — продемонстрировать нам: мирового судью, или судебного следователя, затвердившего катехизисы Эллиса:

— «Брюсов в таких-то, таких-то, таких-то особенностях и дороже и ближе таких-то, таких-то писателей и „*Знания*"... Жорж Роденбах и Ван-Лерберг нужней Златовратского»...

— «А?» — дико взвизгивал Эллис, впадая в восторги потом.

— «Понимаешь? Моя пропаганда... Седой человек, уж почтенный; недавно еще сеял только „*полезное, доброе, вечное*": дальше Надсона не шел в понимании искусства... Теперь же: ты слышал: читает Ван-Лерберга, в курсе нашей „*весовской*" политики; и, разумеется, — горою за Брюсова...»

И вогнав шею в спину, и вздернувши кончики губ, хихикал пренервным, икающим смехом, согнувшися в три погибели, он.

Мы являлися к Астрову с Эллисом; деятели судебного мира сидели у стенки и с супругами, приготовляясь прослушать — то, это; чуть Эллис, бывало, меня подведет к седобородому какому-нибудь адепту своей «*символической*» агитации, тот, поднимаяся с места, спешит сдать экзамен на право «*оптанта*», стремящегося быть зачисленным в «*аргонавты*»; и — да: появлялося много почтенных «*оптантов*», спешащих записываться на «*Весы*».

В маленьком желтом домике Каретной Садовой с закрытыми вечером ставнями с белым крестом (меловым) на двери, окруженном чернеющими сучьями голых деревьев, — свершались мистерии посвящения Эллисом в культы «*Весов*» — мировых, лысых судей, их жен и работников по городскому хозяйству; и в разгоравшейся, ярой «*весовской*» полемике с миром, со всеми журналами был угол Москвы, верный «*лозунгам*» нашим: то — «*Среды*», переходящие в «*четверги*»: в те часы, когда свистно мятелилось небо и древотрясами, снеготрясами странно шумела Москва.

Возвращалися с Эллисом мы, бывало, от Астрова: грубые кубы домов вылеплялись тенями: чернейшие тени гранили белейшие снеги; ревела снегами зима; кутермились кудластые гребни прыскучего свиста — из подворотен над грудами; дворник в бараньем тулупе отхрапывал там — с приворотной, трухлявенькой лавочки, крепко присевшей в чернейшую нишь.

Закутавшись в шубу, бывало, восторженно развивает мне планы неистовый Эллис, а я — едва слушаю: тень, переламываясь на стены, вырывается фонарем из-под ног; и — длиннится, длиннится; и я ощущаю себя только тенью — изъятьем, отсутствием.

Останавливаюсь; и показываю на тень:

— «Лева, — вот мой двойник...»

— «Черный контур? Я знаю», — загадочно усмехается Эллис.

. . . .

Дни летели: летели в реакцию; все летели стремительно в эту реакцию; левые быстро правели, пересекая стремительно красочную градацию; из красных они становились коричнево-бурыми; время само становилось коричнево-бурым; иные же доходили до явственной черноты; очень многие отдавались угару вина.

Приходилося Эллису, мне очень часто читать свои лекции в пользу тайных организаций (военной[124] и меньшевистских), устраивая литературные вечера; приходилось видаться с политиками, снова загнанными в подполье, вступать в разговоры с рабочими.

Ясно запомнились двое приметчивых, падких на мысли рабочих, являвшихся ко мне, к Эллису: розовощекий, голубоглазый блондин и ху-

дой, темнокарий, словесный затейник, живые представители организации металлургов, совсем бедняки, в тертых шляпах и сплатанных куртках; у них у обоих была только пара сапог одно время; когда в сапоги облекался один, то другой оставался без обуви; и, босоногий, сидел, дожидаясь товарища.

Голубоглазый был страшный фанатик; и был он молчун; поднимал на людей голубые глаза с недоверчивой строгостью он; философствовал много другой; философия символизма казалась ему буржуазной:

— «Я, знаете, защищал символизм от товарищей: спорили тут в рабочем кружке у нас; вообще говоря, символизм понимаю, а все-таки: символизм есть течение, знаете ли, буржуазное: да-с».

— «Я могу доказать вам, что вы ошибаетесь», — подал я реплику.

— «А какими же средствами, с позволенья сказать, вообще говоря, вы докажете это?» — ввернул темнокарий.

— «Научными средствами», — приходил я в азарт.

— «То есть, опять-таки, вообще говоря, это лишь, вообще говоря, вы докажете буржуазными средствами, вообще говоря».

И прищурился классосознаньем он на меня.

— «Как же так?»

— «Ну-с?.. Наука же, — поразмыслил он, — вообще говоря... То есть, так сказать, — вообще говоря: буржуазна...»

И подщелкнул с довольством он пальцами.

— «Что же, вы полагаете, что социальная революция переродит и науку?» — обиделся я за науку.

— «Конечно же», — подкудлатил он голову.

— «Есть математика...»

— «Переменится математика», — подсиял он блаженно глазами.

Тут я рассердился:

— «Так, стало быть, дважды два в царстве будущего может стать не „*четыре*", а „*пять*"?»

Мой философ мешкотно смутился; и — замолчал; а беззычный товарищ его покраснел; и, поглаживая шершавой рукою лицо, блеснул ясными голубыми глазами:

— «Конечно же: в будущем строе все будет иное»...

— «И все восприятья изменятся?» — изотчаялся я.

— «Все изменится».[125]

Был он решителен.

Встретил однажды рабочих у Эллиса я; как всегда, мы поспорили; тут пришел Брюсов и щупал глазами нас; пасмурно он принацелился на молодого рабочего парадоксом (любил поражать парадоксами Брюсов

в ту пору, как после любил огорашивать он, произнося с важным видом пустейшее, общее место — для «*стиля*»: чего-чего только не делал для «*стиля*» он: добиваяся избрания в гласные думы, заведовал кухней в кружке, преисправнейшим был управляющим в собственном доме, обхаживая лично жильцов и справляяся о состоянии уборных, писывал патриотические фельетоны во время войны — всё для «*стиля*»).

Так вот: в разговоре у Эллиса совершенно сознательно Брюсов завел разговор с молодыми рабочими о влиянии проституции на культуру; рабочие запылали речами, громившими этот позорнейший факт, Брюсов молча стоял, напряженный, с наморщенным лбом, склонив черный свой клок бороды, ухватившись руками за спинку тяжелого кресла и выпучив красные губы; казался клевалою он: очень черным и злым петухом, протянувшим пернатую, растормошенную перьями шею, нацеливаясь своим клювом, чтобы подпрыгнуть; он едко молчал, но я знал, что он «*выпалит*».

Скоро он выпалил:

— «А напрасно ругаете вы проституцию, — болтыхнул креслом он, и угласто плясала бородка скуластого лика над ошарашенным этим наскоком рабочим, — бывали священные проституции: были песни и плясти...» (он «*ка*» иногда не умел выговаривать) — и поглядел он задорно.

Рабочий, став красным, сказал:

— «Нехорошо говорите!»

И, законфузясь, пыхтел: Брюсов сухо замкнулся в сюртук.

Я рабочих моих потерял очень скоро: подозреваю, что их «*ликвидировали*»; я не раз вспоминал их потом; они были продуктом того переходного времени: убежденные революционеры, эс-деки, парадоксальнейше втянутые в интерес к символизму, читающие Бальмонта и Брюсова; Пушкина никогда не читали они...

. . . .

С А. А. в это время не обменялся приветными письмами; даже не знал, чем он держится: в биографии Блока, написанной М. А. Бекетовой, нас встречают известия, что А. А. переживал, как и я, в это время — обостренный интерес к социальным явлениям современности: «*Несмотря на всегдашнее отвращение к политике, к партийности... ему стали близки по разрушительному духу некоторые политические деятели... наряду с подлинными деятелями стали попадаться авантюристы... Ал. Ал., крайне доверчивый и неопытный, попадался. Но посещавший его товарищ Андрей и некая молодая революционерка Зверева оказались... подлинными... Ал. Ал. приходилось часто*

встречаться на вечерах, где под „благовидным предлогом" сборы шли все туда же, и потому, неизменно тяготясь такими выступлениями, он не позволял себе от них отказываться»...[126]

Зиму 1908 А. А. проводил в Петербурге в заботах и интересах, почти схожих с нашими; разойдясь окончательно в формулах наших литературных платформ, мы вдыхали всю ту же стихию, естественно вызывавшую необходимость откликнуться на призыв поддержать нелегальных; и я надрывался от лекций, порою беспроких, и я, как А. А., — «попадался»: те лекции в *пользу* военной организации устраивала О. Ф. Путято, которую скоро потом уличил в провокации: Бурцев;[127] так: объяснялися обыски у устроителей лекций, провалы и конфискация денежных сборов полицией; так объяснялись — аресты.

Арестовали раз Эллиса;[128] и поместили в Бутырках: в одной общей камере с социал-демократами, с анархистами и с эс-серами; Эллис потом дирижировал словом под носом моим, приседая от хохота:

— «Знаешь ли, — было весело, если бы вот не смертники, разделявшие с нами в камере веселье (там были и смертники)»...

— «Что же веселого?»

— «Переживал я все прелести будущего социального строя...»

— «Как так?»

— «Да внутри общей камеры жизнь была построена по социализму — а, что? Были старосты, наблюдающие за жизнью коммуны; была организована связь и с другими коммунами — той же тюрьмы и других... Ты подумай — а, что?.. Как попал я в тюрьму, поднялись на меня со словами: „Товарищ, к какой принадлежите вы партии?"...»

— «Ну, и ты?»

— «А я им: — а? что? Я им: „к единственной истинной — к партии декадентов..." Ты — понимаешь? А, что?»

— «Ну и что же?»

— «Да ничего: прописали на листике со статистикой обитателей камеры — ты понимаешь? А листик на стенке висел».

— «Ну и что ж прописали?»

— «А вот что... А? Что?.. Прописали: товарищей социал-демократов большевиков — такие, такие, такие-то: столько-то; товарищей социал-демократов меньшевиков — ну там, ты понимаешь, — такие-то: столько-то; товарищей социал-революционеров — такие-то: столько-то; товарищей максималистов-экспроприаторов (среди них были «смертники») — столько-то... А?..»

— «Ну?»

— «Товарищей декадентов — один», — и вогнав свою лысую голову в спину, согнувшись и рот разорвав до ушей, закрывая рукою его, Эллис нервически начинал хихикать каким-то изгорбышем.

— «А? Что? Ты — понимаешь?»

И потом продолжал он рассказывать о своем пребывании в тюрьме, прекомически, и пощипывая черную эспаньолку, в мухрастом, бессменном, изношенном сюртуке, с заатласненными рукавами:

— «Да, да: понимаешь? А? Что? — брови вскидывал в воздух он, — так-таки я был принят в коммуну грядущего, в недрах Бутырки, как „*сознательный декадент*"».

Эллис в камере поднял огромное возбуждение: провертных словечек своих; изображал заключенным он — Сологуба и Брюсова; им пародировал «*Жизнь Человека*»; прочел даже раз реферат о Бодлере и Данте; товарищи заключенные — слушали; и — одобряли; и Эллис со всеми сдружился; сдружившись — поднял он пляс, посадивши играть на гребенках экспроприаторов из рабочих; за ним — заплясала вся камера; тут тюремному надзирателю стало явно досадно, что он исключен из веселия; и он запросился; впустили его. А по камерам разбегалися торопливые шепоты: в камере номер такой-то, — сидит «декадент», превеселый: словесничает и забавные шутки свершает; и запросились: «Переведите нас в камеру, номер такой-то, к товарищу „декаденту"».

Была строгая регламентация всех часов дня: вечерами — веселье, а днями — работа; какой-то саженный рабочий просиживал днями с задачником Евтушевского;[129] мусля губами изгрызанный карандаш, разрешал он задачи; и — были часы пропаганды: эс-деки, давившие камеру очень почтенным числом, агитировали среди «*менее сознательных*» экспроприаторов; все садились рядками: более сознательный товарищ, менее сознательный товарищ, снова — более сознательный; и — так далее: «*менее сознательный*» товарищ сжимался «*двумя более сознательными*», «*более сознательные*» деловито старалися высловить:

— «Как же вы, товарищ-экспроприатор, — вы что же такое? Вы, знаете, товарищ — того: дезорганизуете революцию».

— «Понимаешь? А? Что? — меня схватывал за руку Эллис при этих рассказах. — Смешно, но и — трогательно. — А? Что? Так стоял в нашей камере — гул, деловитейший: „бубубу" — выбубукивали сознательные несознательным... Что?»

— «Ну, а ты?»

— «Я? Что ж: я предложил свои знания экономиста-марксиста: меньшевикам; выбубукивал в ухо максималисту устои марксизма. Совсем хорошо было мне: спать ложились мы рано, вставали — чуть свет:

отоспался за эти я дни... Только вот — были смертники там: взглянешь — сердце сожмется...»

Недолго держали «товарища декадента» в Бутырках; но — докучали потом; непрерывною слежкою, обысками (у Эллиса ночевали нередко опасные нелегальные); раз едва не накрыли внушительный тюк нелегальщины, переданный на хранение Эллису; он отделался, севши во время осмотра на тюк; не догадалися попросить его встать.

Раз меня подвели: номинально я был устроителем вечера (в пользу эс-деков); я подписал ряд листов: текст прошений писался потом на листах; все отчеты обычно сдавалися за меня; и порядок устройства концертов и лекций неведом был мне.

Вдруг является на квартиру квартальный; и с видом весьма недвусмысленным требует у меня всех отчетов о вечере; я — не могу сдать отчеты; квартального я прошу появиться еще; сам бегу в дом Пигит (на Садовую); там — узнаю: нелегальная организация вся разгромлена; и ответы — пропали (быть может, они у полиции).

Появляется вновь мой квартальный.

— «Отчеты-с?»

— «Я их потерял...»

— «Эхе-хе-с: человек молодой вы... Зачем вам вредить: ну — садитесь, пишите отписку... Коли в Градоначальстве не догадаются, — так и быть: помогу».

Начал мне диктовать он невнятное что-то: сошло. Оказался квартальный мой честным и даже чуть тронутым разнородными «веяньями». Мне с полицией в общем везло; наблюдали; и — все же: не трогали.

. . . .

Настроения тоски и подавленности находили наивысшие отклики в Эллисе; вся фигура его предо мной вырастала, как тень из-под ног: Эллис, близкий и милый, с одной стороны, неизвестный какой-то, с другой стороны, предо мной вырастает в то именно время; он будто становится теневым моим контуром; и мы видимся ежедневно: в «*Дону*», у меня, у Рачинских, у С. М. Соловьева, в «*Весах*» и в «*Свободной Эстетике*»; всюду встает этот Эллис, как тень; я бегу по Арбату, а между мной и стеной, будто вовсе безвесый, без третьего измеренья, без шума, несется сопровождающий Эллис, подмигивая на мои восприятия нереальности впечатлений арбатских; в моей голове кавардак, а уж Эллис нашептывает мне ужаснейшие гротески-фантазии о человеке, который свой собственный кавардак возвел в принцип, производя кавардак в книгах, которые брал он в руки:

— «Ты понимаешь — а, что? Буквы считывает: не понимает, что в книге стоит: расползаются строчки на буквы, а буквы, как маленькие, понимаешь ли, клопики расползаются: в месте строчки — стоит пустота: что? А? кресла же начинают покусываться; берешь свечки, обыскиваешь кресло, и — вдруг: понимаешь ли, „щ" ползет скорпиоником: хвостик кусает... А? Какая гадость? Что?»

Застилает ноябрьский туман все, что есть; и уж что-то за этим туманом зловещее чуется: Эллис же — тут как тут; начинает выдумывать, будто он видел сон:

— «Понимаешь ли? Стоял серый туман над Москвою — три дня: все метались, не находя себе места... Вдруг быстро туман разрывается — над головою... А? Что?.. А в разрыве тумана над самыми крышами из-за звезд опустилась бычиная морда с таким выраженьем, что — вот-вот-вот — промычит: и от этого мыка, от сотрясенья воздуха все мгновенно разрушится... А? Какой ужас. Ты — понимаешь?»

И мне жутко: в великолепных пародиях, в шутках, в припадках веселья, которые маме так нравились в Эллисе, обнаруживалось содержание, которое охватывало и собеседников Эллиса.

Медиумизмом был явно охвачен; одна *теософская* дама так выразилась об Эллисе: «Проходной двор для *темных*, где *светлые* все — позадержаны: темным проходом»; действительно, Эллис ходил, овеваемый — тем и другим; кто-нибудь совершил некрасивый поступок, а Эллис считал себя вправе — вмешаться; или «*подлая*» статья, на которую надо ответить, переполняла всего его; постоянно взлетал он в тяжелые столкновения; его выручали друзья; раз, на юге, увидевши, что пристали к еврею, — он палкою отколотил черносотенца; после качали за это его; он был должен из города тотчас же выехать (опасаясь полиции); раз в «*Эстетике*» подошел к нему интеллигентного вида военный, желая поговорить; Эллис тут же смешал с адъютантом Джунковского подошедшего: и отказался подать ему руку, воскликнувши, что адъютантам убийц не подаст он руки; офицерское собрание постановило дуэль; но вмешался Джунковский, который, наверное, Эллиса знал (до губернаторства он бывал у Бальмонта, был с нами знаком), заявив, что оскорблен он, Джунковский; и Эллиса вышлет-де: а дуэль — запретил; Эллиса же оставил в покое: не выслал.

С неудержимостью отдавался медиумическим припадкам веселья на наших собраниях Эллис; великолепно под музыку изображал — что угодно; так: мама садилась играть кинематографические мотивы для Эллиса, изображавшего, как танцует вальс: студент-большевик, меньшевик, эс-эр, кадет, юнкер, паж, правовед, еврей, армянин, Брюсов (не

танцевавший), Батюшков, или профессор (такой-то), изображал он сложнейшие сцены кинематографа, передавая дрожание и стремительность жестов экранных фигур; изображал вымышленные инциденты, якобы происшедшие с тем или иным из знакомых; великолепнейшим номером Эллиса была лекция профессора В. М. Хвостова, якобы прочитанная в Психологическом обществе: мешковато усаживаясь на стул, морща лоб, громко чмокая по-*хвостовски* губами, он делался вылитым В. М. Хвостовым, гудя:

— «Милостивые государыни и милостивые государи. Некоторые уважаемые мыслители говорят, что свободы воли нет, а другие, не менее уважаемые, утверждают обратное; есть группа столь же уважаемых мыслителей, которая утверждает сперва, что свободы воли нет, а потом, впадая в явное и в кричащее противоречие с собою, приходит к заключению, что свобода воли есть; и есть группа уважаемых и столь же замечательных мыслителей, которая сперва утверждает, что свобода воли есть, а потом впадает в не менее явное и в не менее кричащее противоречие, приходя к заключению, что свободы воли нет. Милостивые государыни и милостивые государи: коли свобода воли есть, так она есть; а коли ее нет, так ее нет. Разберем же эти группы и подгруппы в их отношениях к проблеме свободы воли» и т. д.

Кругом — хохот; Эллис же, совершенно перевоплотившийся в В. М. Хвостова, развертывает часовую лекцию о *свободе воли*, всю сплошь состоящую из набора слов.

Рассказывали впоследствии: когда Эллиса и меня уже не было (были у Штейнера мы),[130] В. М. Хвостов-таки взял и прочел в Психологическом обществе лекцию *о свободе воли*, которая была удивительным повторением пародии Эллиса; говорили, что многие, прежде слыхавшие Эллиса, были охвачены внутренним смехом.

Пародии, импровизации, пляски свершалися Эллисом с бурною заразительностью, охватывающей решительно всех; помню, раз собирались у меня Шпетт, Ю. К. Балтрушайтис, Феофилактов и ряд других лиц: отодвинули стол: кто-то сел за рояль; Эллис тотчас пустился в быстрейшее, заразительное *верчение*; не прошло трех минут — все вертелися в плясе: и Шпетт, и «*суровый, как скалы*» Ю. К. Балтрушайтис с угрюмым лицом.[131] В этой буре веселья, распространяемой Эллисом (человеком угрюмым и фанатичным), была даже жуть; «номера» его часто гремели в московских кружках; очень скоро потом братья Астровы вывозили Эллиса по знакомым; и — приглашали на Эллиса; так: однажды был съезд *естествоиспытателей*; группу ученых с научного заседания привезли в частный дом показать им пародии Эллиса;

были седые профессора, только что заседавшие где-то; но не прошло получаса, как все завертелися в дикой пляске; вертелись профессора.

Также: раз отправились с Эллисом в увеселительный сад; и присели у сцены — за столиком; грянула музыка; появился на сцене танцующий негр; Эллиса не успели схватить за плечи, как неожиданно прыгнул на сцену и, отстранив рукой негра, пустился выплясывать под оркестр; публика недоумевала сначала; и после пришла она в дикий восторг; в эти дни получал Эллис письма; и все начиналися, приблизительно, — так: «Дорогой Лев Львович, — до меня дошли слухи: вы, литератор, — плясали в кафе-шантане...» Или: «Левушка, — правда ли...» и т. д.

Я описываю парадоксальное поведение Эллиса, потому что считаю: он был одержимый в то время: как в «*шалостях*», так и в «*весовской*» полемике; правильно выражалася теософка, что он — проходной двор для *темных*, где *светлые* были задержаны: *темными*. *Темные*, вырываясь из Эллиса, как угарные газы, порой отравляли меня; *одержанием* он меня заражал; в то время я чувствовал приступы медиумизма; медиумизмом охвачены были все «*аргонавты*», потому они часто провещивались, отдаваясь течению внутренних образов, кажущихся рассудку невнятными; я стал наблюдать во мне появившийся штрих: на собраниях наших мне поднималось желание вертеться, как в танце; я, пользуясь вечеринками, переходящими в буйный галдеж, — начинаю, бывало, «*вертеться*»; и после «*верчения*» в шутку я начинаю, бывало, гадать, взявши за руку того или иного и вслушиваясь в течение внутренних образов; я начинаю описывать образы вслух; были случаи: люди, которым рассказывал образы, явно пугались: и видели в них вещий сказ; некоторым — я гадал; на одном из «*гаданий*» моих Н. К. Метнер — увертывался: не хотел, чтобы я *провещался* о нем.

Мне порой начинало казаться, что я представляю собой повторение андерсеновской сказки о страннике и его тени;[132] тень стала тем именно, кто отбрасывал ее; а хозяин — стал тенью; мой контур, отбрасываемый вечернею лампою на стену, стал на стене оживать:

Он тронулся и тень рассыпал.
Он со стены зашелестел;
И со стены бесшумно выпал,
И просквозил, и просерел.[133]

Эллис, из всего сотворящий кошмарные мифы, пытался уверить меня, что у меня есть двойник, — «*черный профиль*», который он ви-

дел; однажды, когда я в порыве тоски убежал поздно вечером из дому и где-то слонялся по улицам, прибежал ко мне Эллис (он прибегал во все часы дня и ночи); мама не удивилась ночному приходу его, проводила его в мою комнату; он уселся над книгою, поджидая меня; вдруг ему показалося, что в полуоткрытую дверь шмыгнул *черный контур* (мой черный контур); и перепуганный Эллис бежал быстро (все в доме спали), забыв закрыть дверь. С этого случая Эллис стал часто доказывать мне, что у меня — *черный контур*, что *тень моя* от меня убежала; и действует где-то без моего контроля, что должен прибрать я к рукам ее; и — да: странные раздвоения сознания меня посещали.

Очень скоро по возвращении в Москву я читал в аудитории Политехнического музея публичную лекцию о Фридрихе Ницше,[134] соединяющую лейтмотивы Евангелия с лейтмотивами Заратустры, вполне отразилось мое состояние сознания в лекции: катастрофизм и трагизм как пути обретенья религии. Тема лекции сплеталася с личною темой; себя ощущал в величайшей трагедии, связанной с катастрофой путей и с утратой веры в возможность мистерии; Ницше казался мне близким, не только по духу, но — по судьбе; переживал самого себя в Ницше: «*В проповеди Христа и Ницше одинаково поражает нас соединение радости и страдания, любви и жестокости, оба соединили кровь с вином, тяжесть с легкостью, иго с полетом... один как бы заклинает нас: „оставайтесь верными небу" — „Оставайтесь верными земле", — заклинает другой и называет душу, это испарение тела, „лазурным колоколом неба". Когда говорит: „Оставайтесь верными земле", не договаривает „и небу"... Оба вкусили вина невыразимых восторгов и крови распятия крестного... Путь освобождения... назвал он (Ницше) превращением верблюда... в льва, и льва... в ребенка, которого полюбил Христос: „Если не будете, как дети, не войдете в царствие небесное"... „и земное" не договаривает он, но договаривает откровение Иоанна... Символика Евангелия, если разбить на ней кору мертвого догматизма, крепко срастается с символикой Ницше, совпадая в сокровенной субстанции творческих образов. И то, что утверждается этими символами... возносит нас на единственный путь, роковой и страшный... Ницше стоит особняком не только от Канта, Бетховена, Гёте. Но и Шопенгауэр, Ибсен, Вагнер не имеют с ним ничего общего... И одинаково забытый — не в багряницу, в зарю облеченный, стоит он перед современниками, одинаково противопоставленный гениям прошлого и настоящего: „Свет мой даю вам", — обращается он к нам. Но мы говорим об „учении*

*Фридриха Ницше" и не видим распятого Диониса в окровавленных клочьях риз».**

Отношение к Ницше как к подлинному учителю жизни, несущему импульс Христов нераскрытым (в богоотступничестве), переживали иные из нас; понимал эту ноту в Ф. Ницше Петровский; С. М. Соловьев и Нилендер переживали горячее поклонение перед творцом Заратустры.

Лекцию эту рассматривал я как лозунг конкретной платформы своей; но чем некогда были нам всем соловьевские зори, тем ныне, в эпоху трагедии личной моей, мне стояла Голгофа страдания Ницше. Так — лекцию эту читал я с естественным пафосом; и говорил после Эфрос:

— «Я встретился с вами, когда вышли в лекторскую после первого отделенья лекции... Я хотел подойти к вам, хотел поздороваться; вы на меня посмотрели невидящим взглядом, и я отошел».

Темой лекции Ницше в тот день был захвачен вполне; меня только смущало присутствие в зале учителя моего профессора К. А. Тимирязева, завзятого дарвиниста, который сидел предо мной; я старался не видеть его.

А в антракте пришел ко мне Метнер, мой друг, в тот день лишь вернувшийся из Германии после полуторагодового отсутствия из России;[136] мы с ним переписывались все время; мы не видались три года почти; явление его было мне большой радостью; он говорил:

— «Не могу прийти в себя... я прямо с поезда: и на лекцию... В Веймаре познакомился я с Фёрстер-Ницше, сошелся там с Петером Гастом...** Как жалко, что он не присутствует здесь; удивился бы очень он вашим мыслям о Ницше; и — вашему освещению Ницше».

Явление Метнера было ярчайшим духовным подарком.

ЭМИЛИЙ КАРЛОВИЧ МЕТНЕР

Конкретнее всех повлиял на меня в эти месяцы он; должен я рассказать о нем.

Слишком много он значит; в 1907 году — появился опять на моем горизонте он, после того, когда я не имел уж общения с Блоком; мне

* *«Арабески»*. «Фридрих Ницше».[135]

** Петер Гаст — ближайший друг Ницше.

Метнер как бы заполняет порожнее место в душе; это место недавно еще занимал А. А. Блок.

С Э. К. Метнером познакомил Петровский меня (в 1901 году); еще прежде от А. С. Петровского часто выслушивал реплики:

— «Э, да что там: поговорили бы вы об этом с Эмилием Карловичем; он бы вам разъяснил...»

— «Вы всё строите на Шопенгауэре, а вот Метнер — на Канте: послушали б Метнера...»

Метнер да Метнер!...

Бывал озадачен; и даже, признаться, обижен не раз; все-то мнения опровергалися Метнером; всё-то Метнер являлся авторитетом в вопросах, которые мы углубляли с Петровским; и — явственно: Метнер во мне заживал; почему-то казался опасным.

Раз шли мы с Петровским арбатским районом; и вдруг повстречались с Метнером; передо мною стремительно вырос подтянуто-сдержанный, эластичный и стройно-тонкий мужчина широкополою шляпою, бородою треугольником; вовсе казавшийся выше себя от отчетливой стройности (был он лишь среднего роста), в пальто, в темносером, в перчатках; и с палкой в руках; загорелое и худое лицо, тонкий нос, выдыхающий быстро ноздрями, бородка густая и узеньким клинышком, скрывшая несколько срезанный подбородок, и стиснутый рот, разорвавшийся вдруг ослепительно рядом зубов из-под темно-каштанового и мягкого волоса — все поразило: и белые зубы (придавшие некоторую волчинность), глаза, просиявшие зеленоватыми наблюдениями над моею фигурой на миг и потом переведенные на Петровского; они выбросили два прожектора; и угасли — под небольшим крепким лбом, когда он поспешающим четким движеньем руки, строя ею отчетливый угол, снял шляпу, раскланиваясь и бросая вниз голову, с вновь исподлобья сверкнувшим лучом зеленеющей ясности — голову, от которой назад отлетели кудрявые, но жидковатые пряди, сквозящие вычертнем линий сращенья костей черепных: вид представшего Метнера был замечателен соединеньем изящнейшей выдержки с нервною быстротой; и предстал этот Метнер внезапно, как будто он выскочил из трубы водосточной на серые плиты московского тротуара; и будто мы стукнулись лбами.

Но мы перебросились торопливым пролетом случайного слова. Мы после встречались: хватались за шляпы, окидывали торопливо друг друга недоверяющим взглядом: шли мимо.

А от Петровского все-то несло этим Метнером, этим «*Эмилием Карлычем*».

— «Эмилий Карлович так музыкален, что если в оркестре какой-нибудь, знаете, музыкант ошибется, так, знаете, — слышит ведь... Был с ним в концерте; и — знаете — ведь вот представьте: по окончанию Метнеры братья как кинутся с двух концов залы друг другу навстречу; — и оба друг другу (навстречу) в один голос, прямо, — как крикнут: „Миля, Коля", „три ошибки, ужасно: ты слышал ли, Миля, ты слышал ли, Коля"».

Или — слышал:

— «Вы знаете вот», —

— «У Эмилия Карловича — брат есть — пианист; он, вы знаете, окончил только что консерваторию — первым.[137] Он сочиняет. Эмилий же Карлович считает его совершенно единственным композитором и пианистом, как Гофмана».

Или, потупясь нежнейше и вовсе не глядя в лицо, глядя мимо, Петровский выкладывал кончиком губ и пенснейною ленточкой щучьего носика:

— «Эмилий Карлович говорит, что Леонтьев совсем гениальный писатель»...

О Метнере много я выслушал (пришлось-таки много выслушивать: любит Петровский кого-нибудь выбрать и после — гвоздит, гвоздит; точно им вас попрекает: зачем вы не Метнер), так: слышал, что Метнер есть личность вполне одинокая, самостоятельно только еще приходящая к многому из того, что являлось для нас нервом жизни, но личность с своими путями; он, немец (с испанскою кровью в далеком), славянофильствовал, увлекаяся Константином Леонтьевым, Страховым и Аполлоном Григорьевым; с оригинальных высот своей ищущей мысли переоценивал он консерваторов, даже вращался в их обществе (в обществе Цертелева); он открыл Гёте потом; Гёте стал ему вроде как — наша заря; специального философского знания не было в нем; и восторженные панегирики Канту — не в счет; но была в нем начитанность; философию брал только нотой в аккорде сцепления отдельных сторон нашей жизни, которое называем культурой; в исследователях культуры взвит смелый каприз аналогий, переплетений и перемигов между раздельными сферами; чем движется в маленьких гранях мысль Шпенглера, или Леонтьева, Гобино, Чемберлэна и Ницше, — то было предметами подглядения Метнера; как бриллиант, мелкогранно блистает культура деталями; и — из рассказов Петровского понял стиль этого Метнера — еще до близости с ним; понял я, что в нем дар с инквизиторской зоркостью подглядывать одинакость переливов, сверкающих от различных граней культуры, вычитывать из них сокровенные, общие смыслы, он *был* сим-

волистом — по-моему; в нем был дар прозирать — за историческими явлениями сокровеннейший смысл; непосредственным *эсотериком* был он, как всякий философ культуры; он был дуалист; и в формально-логической сфере он требовал метода Канта; но метод в душе его жил лишь *тональностью*, музыкой, вовсе не логикой; Кант для него был, скорее, мудрец — эзотерик, закрывшийся, как эзотерик-мудрец, закрывающийся экзотерикой, голым рассудком; таким экзотериком был еще более Гёте; а гётевский классицизм в разъяснениях Метнера — внешний жест скрытия вечных глубин кристаллической формой; старался он далее парадоксальнейше сблизить поэзию Гёте и логику Канта — в культуре обоих, иль в жесте хорошего тона; и к «двоице» — присоединил он Бетховена.

Да, философские увлечения Метнера протекали внутри музыкального пафоса; музыку он проницал; ею он полонял души наши; подглядывал музыкой тайное, жившее в нас, уловляя при помощи музыки лейтмотив человека; и — да: кандидат прав, юрист,[138] — тосковал он о том, что консерватория его не прошколила; брат его, ставший вскоре известнейшим композитором (Н. К. Метнер), был вечным источником дум, упований, забот и опек Э. К. Метнера; братом своим восхищался он.

Не забуду сближения с Метнером, происшедшего после шапочного знакомства; мы встретились в Благородном собрании — на репетиции Никиша;[139] средь толпы, наводняющей полутемную залу, увидел я Метнера, стройного, тонкого и отчетливо эластичного; был он в пальто темносером, в перчатках; и — с палкой в руках; свою шляпу с полями держал он; увидел его тонкий нос, выдыхающий быстро ноздрями, бородку, густую и узеньким клинушком вздернутую, скрывающую небольшой подбородок; и стиснутые плотно губы, готовые разорваться сарказмом зубов; небольшой его лоб, переходящий в отчетливо напряженные кости фигурного черепа, жидко прикрытого темнокаштановыми кудрями; все то во мне вызвало сочетание викинга с волком; и лейтмотив *вельзунгов*,[140] пересекаемый солнечными мотивами, поднялся на мгновение:

— «А, — вы?»

И мы сели рядом: мы слушали тонкие замечания Никиша — музыкантам оркестра, с эстрады; Э. К., как собака на стойке, посиживал в кресле, пружинный и четкий, высоко подняв свои плечи, застывший игрою душевных процессов, блистающих в нем, чуть протянутый по направлению к Никишу; чутко слушал он Никиша вспышками глаз, быстро скашиваемых на меня (убедиться, слежу ли за музыкой я), и, не выдержав взрыва узнаний о Никише, Шуберте (слушали мы исполнение

C-dur-ной симфонии Шуберта),[141] вдруг упадал углом локтя себе на колено с прямою спиной, дирижировал кистью руки, меня тихо подталкивающей; и — разорвавшимся ртом напевал в ухо мне:

— «Ти-та-тá, ти-та-тá- — а, а, — слышите это место: та-тá-та-та-та-... Что вы слышите?»

— «Дикое, страшное...»

Приложив свою руку ко рту, он мне в уши нашептывал:

— «Нет, нет — послушайте...»

И принимался во мне развивать обертон моей мысли о Шуберте преточнейшими фиоритурами каких-то мелодий, связав их все с домыслом (своим собственным); и зубчатые молнии невероятных, вполне гениальных прогнозов (подобия этих прогнозов встречал лишь у Ницше я), вдруг озарял⟨и⟩ меня; он, отдернувшись быстро от уха, пружинный и четкий, подняв свои плечи и спину прямую, протянутый по направлению к Никишу, застывал, забирая все звуки оркестра и все замечания Никиша в свою мысль, застывал, распираемый дикой игрою душевных процессов, блистающих в нем; странно мне говорил яркой вспышкою глаз, быстро скашиваемых на меня — убедиться: я в музыке ль? И — опять напевал:

— «Это место: а, а... Титетá... Титетá...»

Просидели мы всю репетицию; передо мной проходила C-dur-ная симфония Шуберта в комментариях Никиша, изумительно углубляемых Метнером; разговор перешел вдруг на Никиша:

— «Не правда ли, в Никише есть исключительность?»

— «Вы заметили — вы заметили это лицо?»

Привскочивши из кресла, согнувшись, рукой подопершися в бок, он другою рукою вдруг бросился дирижировать мыслями об исключительных личностях; и — разговор непосредственно соскочил неожиданно на Фридриха Ницше; от Ницше — на Бог знает что; его молнии мысли во мне высекали — опять-таки молнии; я привскочил; я врезался неопытным словом в слова его; образовались меж нами стремительные вихри из помыслов; наше сближение с Метнером в марте 1902 года явилось сближением — с места в карьер, так сказать, просто шапочное знакомство: потом — буря домыслов.

По окончании репетиции Метнер повлек меня к Никишу.

— «Ну — подойдите к нему».

Подошли: Никиш, явно казавшийся тонким, высоким и стройным с эстрады, теперь, под эстрадою, оказался коротеньким, толстеньким чехом с усталым, зеленоватым лицом; и Зилоти ему подавал меховую огромную шубу (хотя был уже конец марта); Э. К. поздоровался с Ни-

кишем (был с ним знаком он); я тут же стоял, переполненный мыслями нашего разговора; из вороха мыслей припоминается мне лишь клочочек, который я выразил после в статье моей — «*Маски*»:*

«*Есть существа загадочно странные. О существовании их не подозревают... Они все знают. Они все видят. Но они не говорят*»... *И далее:* «*Слова — тени переживаний. Углубляя переживание, затрудняем его передачу. В душе остается избыток никому не передаваемых восторгов и страданий... Искусство перестает удовлетворять...*» «*Художник... не может быть руководителем жизни. Ищешь иного руководителя, молчаливо прошедшего над безднами, окончившего путь на том берегу. Сквозь трагический лик его, разорванный в клочки, выступает новый лик, обретенный навеки — лик ребенка.., глядящий на нас с улыбкою мягкой грусти...*» *И — далее:* «*У Артура Никиша странное лицо...*»**

Вот лейтмотив разговора с Э. Метнером. Понял я сразу: Метнер есть друг в устремлениях наших. В нем что-то особенное, эзотерическое по отношению к пошлости «*века сего*»; и он — ищет; так наш разговор в Благородном собрании положил основание в необходимости ряда других разговоров. Простившися с Метнером, я пошел на скучнейшую лекцию Д. Н. Анучина (моего, так сказать, патрона в то время); и не дойдя, — повернулся домой.

Весной этого года выходила «*Симфония*»;[143] скоро по выходе книги в квартире раздался звонок: это были Петровский с Эмилием Карловичем, который, прочтя мою книгу, решил, что я — автор «*Симфоний*»:[144] понял он жест написания книги, в то время столь дикой; он мне улыбнулся приветливо; и показывая свои белые зубы из-под каштановых мягких усов, подмигнул он — зубами; и — веками:

— «А пойдемте-ка с вами гулять».

Мы пошли.

В своей шляпе с прямыми полями и в серо-зеленом пальто он пружинными мягкими, сдержанными какими-то и вместе порывистыми движениями несся, как бы галопируя по Арбату; казался Кентавром Хироном, блеснувшим в меня ослепительным взором, вполне отражавшим зарю; мне казался кентавром, взоржавшим о Гёте, о Ницше, о зорях:

— «Нет, — что-то такое есть, есть в зорях: да — с прошлого года — переменилися зори; вот тема зари — та-та́-та-та-та́...» — и рукой, зажимающей палку, упершися в бок, чуть откинувшись строй-

---

* См. «Арабески».

** См. «Арабески». Статья «Маски».[142]

ным пружинистым корпусом, остановившись стремительно, как собака на стойке, меня он измеривал испытующим взглядом; и выпрыгом быстрым срывался вперед, чтобы с палкою гнаться по миру идей: за идеями.

Помню: неслись мы по улицам — прытким галопом: мелькали — Смоленский бульвар; промелькнула — Пречистенка: встал — Храм Спасителя; мы неслися по улицам — два безумных кентавра: по мыслям, по звукам, а не по скверику около Храма Спасителя, Метнер же, мне казавшийся прямокрылым огнем, своей темной бородкою поворачиваясь и туда, и сюда, и лазурясь глазами туда и сюда, вдруг застопорил, остановился, стесняемый ходом идей, задыхаясь от них, подбоченился; и — завертел пред собой своей палкою в воздухе; и — завертелись вкруг кончика палки его музыкальные темы:

— «Нет-нет: у Чайковского тема карт в его „*Пиковой Даме*" прежуткая: ти-та-та́, ти-та-та́... Чтоб сгустить жуть ужасного разложения темы, он сверху припудрил — Моцартом: и выпустил — пастушков...[145] В этом жутком контрасте меж бездною и пасторалью над бездною есть чудовищно-чувственное и развратное что-то; и выпад к Моцарту Чайковского — противоестественен, как любовь развращенного старичка — к юным отрокам...»

Мы сидели на лавочке; я выслушивал гениальное разбирательство темы *карт*, ее связи с надрывною темой симфонии (патетической);[146] и вставали из блещущего анализа связки тем — тема рока; и в ней открывался естественно лейтмотив темы Метнера, мне казавшимся в эту минуту Зигфридом каким-то, поднявшим свой «*Нотунг*» (свою загулявшую в воздухе палку) над Миме и Альберихом,[147] над химерами вырожденья культуры — в цивилизацию; в его смехе и даже в зубах были помеси солнечного героя и волка; он часто рассказывал близким о Вольфингах, Вольфах и Вельфах, иль — Гвельфах, о Гогенштауфенах, в которых перекрестилися Гибеллины и Гвельфы,[148] о Фридрихе Барбароссе, который когда-нибудь встанет от сна; тема рока переходила в Германию, которую Метнер любил; он прослеживал эту те́му Германии вплоть до... Бисмарка, которого идеализировал он; выходило: Германия — Зигфрид; Россия — Брунгильда; и Зигфрид пробудит Брунгильду, убьет злого Фафнера, их разделившего;[149] Метнер взлетал предо мною в готовящейся теме борьбы мира ариев с темным нашествием гуннов (ведь мифы о Нибелунгах сплеталися с мифами об Атилле: Брунгильда в тех мифах ведь становилась женою Атиллы[150]); как часто впоследствии с Метнером мы углублялися в тему смерти Зигфрида; и он напевал тему Вельзунгов:

— «Там... Та-та-та́м... Та-та́м-там...»

И схватывал за руку:

— «Вы понимаете, Борис Николаевич: в этой теме есть что-то утонченно сладкое — до сердечного замирания... Любовь к гибели... Знаете, я однажды болел — самоотравлением организма; перед болезнию поднималась безудержно — тема Вельзунгов: та́м-та-та-та́м... Та-та́м-там: подкрадывалось отравление: гибель солнца во мне. Это тема моя: я еще с нею встречусь».

Лицо его делалося потерянным, как у больного ребенка; глаза ж становились — моргавшими глазками.

— «Что вы, помилуйте, Эмилий Карлович...»

— «Не утешайте, все кончено для меня: тема жизни — проиграна... Я б мог стать исключительным дирижером, а я?»...

И я верю ему: дирижер вроде Никиша не нашел в нем исхода; и все же он был замечательным дирижером, но только в другом вовсе смысле, естественно дирижируя интересами, жившими в душах людей, в них влюбляясь и страстно обрушиваясь на все то, что могло отклонить от главенствующего лейтмотива, в котором вставал для него человек, ему близкий; когда в этом близком, по мнению Метнера, побеждала враждебная тема, способен он был разорвать с этим близким; и — мстить ему злобными, саркастическими гримасами; я считаю, что суть расхождения с Метнером подготовилася не житейскими недоразумениями, а отклонением от подслушанного лейтмотива — от солнечного художества, обернувшегося темой Листа, иль — магии, переходящей почти в шарлатанство, в «*калиостризм*»:[151] «*Калиостро*», меня погубивший, по мнению Метнера, — Штейнер.

Он мне развивал тему Вольфингов; и псевдоним к его книге придумал впоследствии — я; псевдоним этот — «*Вольфинг*»;[152] а называлася же книга Э. Метнера — «*Музыка и Модернизм*».[153]

Очень помнилось долгое сиденье на лавочке — перед Храмом Спасителя; был — душный вечер; луна всходила — багровая, красная, над кустами душистой сирени; показывая на нее своей палкой, он мне отблистал (и — мелькнуло опять что-то волчье: послышался — взвой: и не волка, а — оборотня):

— «Посмотрите, — какая луна: а, — ведь это опять — ти-та-та́, ти-та-та́... Вот: — три карты, три карты, три карты...», — подпел он.

Еще говорили о всем, очень-очень интимном; и Метнер, взволнованный, искристый, с очень зелеными взорами, с волчьей бородкой, размахивая по воздуху палкою, выговаривал изумительнейшие, интимные вещи: о литературе, о жизни, о нашей эпохе, о нас, о грядущем.

Тот вечер вполне протянул узы дружбы меж нами; и вскоре же Метнер успел напечатать в газете у Духовецкого (в «*Приднепровском крае*», как кажется) два фельетона о только что вышедшей моей книге, московской «*Симфонии*»,[154] проговорившей ему лейтмотивом зари, олицетворенье которой есть «*сказка*»;* в сцене встречи с монашенкой и героини в монастыре, на заре, среди могилок, у зацветающей яблонки — он увидел естественный символ слияния двух тем (темы радости к жизни, любви, с темой радости горней о небе), естественные сочетания неба с землею («*Знайте же, Вечная Женственность ныне, в теле нетленном на землю идет*»);[155] и безо́бразный знак сочетания этого он увидел в нагромождении шести прилагательных без существительного — в одной фразе «Симфонии»: «*Невозможное, грустное, вечное, милое, старое и новое во все времена*».[156]

В заревые, далекие годы он стал соучастником чаяний, чувствуя *невозможное*, опускающееся из *вечного*, и ставшее *милым*; оно, оставаяся *старым* и *новым* во все времена, к нам приблизилось; Блок, Соловьев восприяли то *вечное* — ликом Единой Жены; Метнер зори оформил, как бы говоря: — «Гёте знал и Прекрасную Даму, и Вечную Женственность: „Das Ewig-Weibliche". Но то — „*Там*", лишь на „*небе*"; единство — лишь „*там*"; в „*здесь*" Она проявляется — в плюрализме Ее подсмотрения: в многих, которые нравятся нам... надо быть убежденнейшим *плюралистом* здесь, в жизни, как Гёте; и „*там*" оставаться монистом; меж *здесь* и меж *там* — всегда бездна; и Кант — это знал...» То, что мы называли в те годы «*Она*» (с большой буквы), то Метнер себе формулировал как культуру; культурой считал он дух музыки; в музыке — слышалось веяние: Святого Духа; и — подлинно церковью он считал собор гениев музыкального мира; в эпоху, когда мы с С. М. Соловьевым теологизировали музыкальное восприятие жизни, Метнер омузыкаливал мне теологию, мистику (он же впоследствии стал увлекаться: и Чемберлэном, и Фрейдом; импровизации его — суживались до психоанализа; здесь он казался не столько провидцем, сколько — скучным подглядывателем).

Летом 1902 года прислал он письмо: торопливые вырезки двух фельетонов своих о «*Симфонии*»; выступил — благожелательным критиком; на письмо, переполненное полупонятными проблесками, непричесанными по форме, ответил таким же письмом непричесанным;[157] осенью — встретились.

---

* Действующее лицо «*Симфонии*».

Не забуду я посещения Метнеров; я при входе в квартиру, уютную и отражающую немецкую аккуратность, охвачен был музыкальной стихиею; великолепный родитель Э. К., Карл Петрович, высокий, худой, превосходно подтянутый, лысый старик, с очень острой бородкой à la Валленштейн, из-под синих очков благосклонно сиял мне, усаживаясь за стол; Александра же Карловна, мать (урожденная Гедике), суетяся уютно за чайным столом, успевала соединять разливание чая с весьма прозорливым вниманием к теме беседы; два брата Э. К., К. К. Метнер и А. К. Метнер, присутствовали при беседе; но — больше молчали, аккомпанируя Метнеру; Николай же Карлович, «*Коля*», талантливый композитор, тогда молодой, небольшого росточку, какой-то квадратный и кряжистый, с очень редеющими волосами, меня поразил удивительным сходством с Бетховеном в жесте, с которым сидел перед нами, пережигая коробочки спичек (любимый каприз его); присутствовавшие были тончайшие знатоки симфонической музыки: Конюс и Гедике, и Гольденвейзер, с которыми я здесь встречался; и разговоры на темы о музыке часто бывали такого высокого уровня, что к ним прислушиваться — означало: учиться. Нигде не встречал я такого глубокого понимания музыки; дом этот стал для меня музыкальною академией.

Дирижировал разговором — Метнер, изящный, блестящий, весь вспыхивающий характеристиками; напоминал *альбатроса*, ширявшего в небе; он был интересен; но с первого появления к Метнеру я уж заметил: он был — прекапризником; не мог есть он того, не мог слышать он этого; падал он в обморок от житейского шума; работал — ходили на цыпочках:

— «Миля работает...»

Все угождали:

— «Да, Миля сказал».

И что Миля сказал, то — закон; дирижировал он домом Метнеров. Александра же Карловна, Карл же Петрович покорнейше выговаривали сентенции «*Мили*»; и — «*Миля*» — выслушивал.

— «Вы, папаша, — совсем не о том...»

— «Я хотел сказать, Миля, — слегка защищался седой и почтеннейший Карл Петрович, с достоинством поправляя очки. — Я хотел сказать...»

— «Вы хотели сказать, — нервно схватывался за ножик Э. К., — что у Бетховена музыкальное напряжение в сфере безо́бразности, а сказали — совсем Вы не то».

Осторожнейше дирижировал и «*Колей*», которого был воспитателем (в его вкусах к поэзии); «*Коля*» — собой позволял управлять, но, но,

но...: до известных пределов; тогда он отбрыкивался от крайностей «Мили». Но братья любили друг друга.

Э. К. приусаживал гениального брата — сыграть мне то, или то: из Шумана, или из Вагнера, Баха, Бетховена; сядет со мною он рядом, пружинный и четкий, подняв свои плечи, и вытянувшись по направлению к звукам, застынет — игрою душевных движений; и — скосится четким плечом; и — подмигивает на мелодии брата; углом локтя — себе на колено, а кистью руки, с карандашиком, — задирижирует: в ухо блистает зубами и речью:

— «Тарара... та-та... та... Тарара... та-та... та... Та-татата... Тема первая», — приложивши дрожавшую руку к губам, задыхаяся, шепчет:

— «Та тема вполне соответствует теме монашенки».

И посмотрев очень зорко (вполне ли я понял его), проволчится лицом; замирает, внимая C-moll-ной сонате, тогда сочинявшейся братом.[158]

Прикинется:

— «Слушайте... Та́ — тата́та — тата́... Тати... Тата́та... Тата... Тататата... Татататата...» — привскочит:

— «То — тема „*Сказки*"».[159]

Забегает он от угла до угла, обрывая игравшего брата (— «Постой, постой, Коля») и примется жарко читать гениальную лекцию, сопоставляя аккорды с подобными ходами Вагнера, Шумана и сочетая аккорды с проблемами европейской культуры, в которую — входит он: Н. К. Метнер и я — замираем, внимая; он станет, рукой подопрется; задирижирует мыслями; после же галопирует; я — ношусь вслед за ним; я — врезаюсь в его дифирамбы сложнейшими переборами мысли; подуськивает к экстремизму, подбрасывает метафоры в воздухе; да, — икарийские игры. Да, да: все написанное им о музыке — не отражает все ж Метнера, дирижера идей, исполняющего симфонии, образующего дуэты, квартеты, квинтеты и более — до... «*Мусагета*» был он Аполлон «*Мусагета*»; под дирижерскою палочкою его — исполняли мы трио: я, Метнер и Эллис; Петровский, я, Метнер; или: я, Метнер, Морозова; мы исполняли квартеты (я, Шпетт, Метнер, Эллис). Квартеты, квинтеты, секстеты; и более искристого собеседника, — нет: не встречал. Но он делался совершенно застенчив, корректен — в чужом, большом обществе; не выжмешь уже из него окрыленного слова; он говорил лишь из вежливости.

Осень 1902 года во мне выгравировал он исключительные переживания, их сплавляя с великими деятелями культуры, которыми он умел восхищаться; его божества: Гёте, Кант и Бетховен; сумел заразить; в ряде лет говорили романтики; он — открыл мне мир Гёте; я до не-

го — увлекался Шопеном и Григом; раскрыл мне Бетховена, Шумана, брата; мне говорил Шопенгауэр; а он повернул деспотично на Канта; интерпретировал он не мысли философа, а лейтмотивы мыслей, разговор о Бетховене, Гёте и Канте — вот подлинные симфонии композитора Метнера; в многом он создал стиль брата.

О Гёте воскликнул он раз:

— «Я не знаю, кто именно он, ваш герой: но я знаю о Гёте: он есть воплощение Духа».

Сближение с Метнером происходило всю осень 902 года; запомнилися беседы в его кабинетике: под музыку Метнера, сочиняющего сонату свою; Э. К. Метнер казался Икаром; взвивался под небо, охваченный солнцем, пил солнце ноздрями; и — задыхаяся (в те годы страдал от удушия); казалося: солнце — сжигало; его крылья — плавились; падал, биясь своей грудью; и — задыхаясь припадком; разбитым каким-то встречал он меня:

— «Э, не спрашивайте», — и лицо его делалось детским:

— «Ведь кончено все для меня...»

Успокаивал; ободрялся, прислушиваясь: с доверием, чтобы, зажегшися, взвиться стрелою — в подсолнечный жар; и — вертел карандашиком; лейтмотивы тогдашнего нашего разговора — судьба, Ницше, горькое расхождение с Вагнером, христианство особое, бессознательно проступающее сквозь маску «*Антихриста*».[160]

— «Да, есть люди, — говаривал Метнер мне, — что-то в них есть христианское, проступающее в язычестве; есть христианство, и есть лишь „*христовство*", которое опирается не на догматы, а на чувство Христа...»

Говорили о «*чувстве Христа*».

За окном же кружились снежинки (ноябрь); разыгравшись идеями, Метнер вдруг вскакивал; и — предлагал мне:

— «Гулять».

Вот мы несемся по улицам — прытким галопом: по странам идей, где прохожие — фавны, циклопы, гиганты; мы — два кентавра — несемся: по мыслям, по образам; и — по Тверскому бульвару; куда? На Девичье ли Поле, иль — в Вечность? И Метнер в своей меховой, легкой шубе, и в шапке, бородкою поворачивается — и туда, и сюда; и лазурит глазами — туда и сюда; оборвет, остановится, задыхаясь идеями; подбоченившись, вертит идеями, — палкою в воздухе, воздух вокруг — идеальный, морозистый; кончик носа Э. К. покраснел; и снежинки слетаются на мех.

. . . .

Моя память о наших беседах, тогдашнего времени, напоминает мне пиршества; и отразилась она в стихотворении, посвященном мной Метнеру.

...Помню наши встречи
Я ясным, красным вечерком,
И нескончаемые речи
О несказанно дорогом.
Бывало, церковь золотится
В окне над старою Москвой,
И первая в окно ложится,
Кружась над мерзлой мостовой,
Снежинок кружевная стая...
Уединенный кабинет,
И Гёте на стене портрет...
О, где ты, юность золотая?[161]

В ноябре неожиданно сообщил Э. К. Метнер: он — женится (это намерение жениться хранил он в секрете); я должен был быть его шафером;[162] он сообщил: неожиданно получает он место; и пробует он согласиться на место; ...и место то — цензора в Нижнем;[163] я был изумлен, озадачен: и свадьбой, и местом.

Женился же он на Братенши; с женою уехал; и переписка — возникла, и мы посылали друг другу не письма — статьи; разговор продолжался; я вскоре же посвятил стихи Метнеру: «*Старинный Друг*».[164] Здесь описана новая встреча друзей, где-то прежде встречавшихся, тотчас узнавших друг друга; ведь встречи с Э. Метнером поднимали во мне впечатленье, что наш разговор, охвативший ряд месяцев, напоминавший *пиры*, — продолжение какого-то единственного разговора, происходившего где-то; а продолжение отнесется в далекое будущее — может быть, — в иные вселенные; близость с Э. К., напряженность, всегда высекавшая электрические разряды идей меж нами, — напоминала мне встречу друзей, разделенных веками и не доведших единственного разговора до окончания; встретилися: оборванный разговор — ярко вспыхнул:

Открылся ряд тысячелетий длинный
Из мглы веков, сквозь полусумрак серый:
Янтарный луч озолотил пещеры.
Ты — возвращаешься, о друг старинный.
И та же все — старинная свобода.

И та же все — весна; и — радость снится...
Суровый гном, весь огненный, у входа
В бессильной злобе на тебя косится.[165]

«*Суровый гном*» — тема рока, всегда возникавшая между нами:

Мы вот стоим, друг другу улыбаясь...
Мы смущены все тем же тихим зовом;
С тревожным визгом ласточки, купаясь,
В эфире тонут бледнобирюзовом.

Эфир и визг ласточек — тема прозрачной до необычайности атмосферы меж нами, меня заставлявшей бояться, что эта прозрачная атмосфера есть *близость ненастья:*

Мы — прежние. Мы вот, на прежнем пире;
По-прежнему: нам небо в души днеет;
По-прежнему: овеивает миром,
И — бледно, бледно, бледно бирюзеет.

Боязнь, что та ясная дружба низринется роком, — продиктовала мне строки:

Вдруг лошади под жалким катафалком
Зафыркали: и тащут нам два гроба.
И тот же гном вскричал под катафалком:
— «Смерть — победила: это вам — два гроба».

Рок встал через 13 лишь лет его книгою «*Размышленья о Гёте*», моею ответною книгою «*Рудольф Штейнер и Гёте — в мировоззрении современности*»;[166] восторжествовали коварные *Нибелунги*; стихотворение — осуществилося:

И я — очнулся: старые мечтанья,
Бесцелен сон о пробужденьи новом:
Бесцельно жду какого-то свиданья.
Касатки тонут в небе бирюзовом.[167]

Э. К. отчетливо понял стихотворение; он называл себя, тихо посмеиваяся, — «*старинным другом*».

Весной 1904 года я ездил к нему в Нижний Новгород; я провел у него и супруги его две недели;[168] сплошной разговор продолжался

и развивал очень ярко все темы московского разговора (верней, «*разговоров*»); по вечерам же являлся торжественно Андрей Павлович Мельников (сын Мельникова-Печерского), служивший при губернаторе; он, убежденный буддист, по утрам выборматывал тибетанские тексты; он был интереснейшим собеседником, превращавшим дуэт мой с Э. К. в интересное trio.

Переписка с Э. К. продолжалася до 1907 года; из писем его я узнал, что он, кажется, подружился с покойною А. Н. Шмидт, удивительным автором «*Исповеди*» и «*Завета*»;[169] но службою тяготился Э. К.; началась революция; оказался и он слишком левым для службы, которую бросил;[170] и появился в Москве, когда я был уж в Мюнхене, куда он собирался; мы снова разъехались (я был в Париже); заметку мою «*Против музыки*» встретил он лично, ответивши мне полемическою статьей на страницах «*Руна*» (я ему отвечал в «*Перевале*»);[171] во время полемики длилася переписка, которая чуть не кончилась ссорой; но мы — объяснились.

Теперь появление Э. К. Метнера на моем реферате о Ницше, в котором я высказал мысли, затронутые еще в 903 году, было мне радостно: *встречи и продолжения разговора:*

Янтарный луч озолотил пещеры:
Ты возвращаешься, о друг старинный.

В первых встречах в Москве все возникло, как прежде: и Вагнер, и Шуман, и Ницше; о Ницше Э. К. сообщил мне ряд сведений, не попавших еще в биографию Ницше: о роде болезни его и о домыслах в связи с причинами, вызывавшими заболевание это, — со слов друга Ницше П. Гаста, с которым Э. К. познакомился в Веймаре; Метнер явился в Москву еще более убежденным гётистом; член Goethe-Gesellschaft,[172] вооруженный огромными сведениями, касающимися биографии Гёте, он вновь оказался моим воспитателем в области немецкого классицизма; пошли «*икарийские игры*» меж нами!

Он так же сидел предо мною на стуле, пружинный и чуткий (собакой на стойке), протянутый как-то вперед, дирижируя карандашиком в воздухе, вскакивал и начинал быстро бегать по комнате настоящим кентавром, пересыпая свои несравненные домыслы хохотом и подуськиванием меня к пренелепейшим шаржам, к сарказмам, сражавшим враждебное нам; но он несколько изменился: глаза помутнели и сузились, а у поблекнувших губ обозначилась явственнее саркастическая морщина; просунулась лысина (кудри пропали: носил он короткие волосы), обна-

руживая характернейшее сращение костей черепа: невероятное напряженье в узоре сращенья; казалось порой: голова разлетится на части; в присутствии посторонних он стал осторожнее, суше; и выглядел как-то враждебнее, подозрительнее; подчеркнулись капризности, сдерживаемые искусственно, но могущие разорвать его криком: порой начинал он кричать с багровеющим черепом, с явно толстевшими и готовыми лопнуть височными жилами; неестественно замирая, бледнел неестественно.

Неравновесие — подчеркнулось; и сквозь корректного немца в нем вспыхивал страстный испанец; я прежде не видел в нем этих порывов; он с ними боролся; как прежде, легко отходил; начинал, подбоченившись, галопировать по идеям и вздрагивать саркастическим словом, которое я или Эллис подхватывали, выращивая гротески, которые с хохотом он созерцал.

— «Нет, нет, — вскрикивал он с просто жалобным плачем, привзмахивая руками, — а, а: не могу, не могу больше выдержать: хахахахооо» — и до баса он голосом падал; и — падал всем корпусом.

Нарисовав тип противника «*метнеризма*», — талантливо гипертрофировал он блестяще подмеченные недостатки противника до химеры: и вместо критиков, музыкальных, врагов его брата, пред нами чудовищно дефилировали Эйленшпигели, кобольды, грязные и мозолистые Нибелунги;[173] он вздрагивал нервным словом, покашиваясь изумленными взорами (изумленными собственною фантазией):

— «Нет, Лев Львович, — поймите».

— «Да, нет: понимаете ли, Борис Николаевич, — что за гадость: а, а? Нет, — послушайте...»

И разорвавшися белыми, ослепительными зубами, волчил своим ртом.

Стал он более — викингом, забиякой, идейным рубакою, объявившим войну Нибелунгам: коварному Миме (барону д'Альгейму, быть может), коварному Альбериху[174] (композитору Регеру); всего более — критику Каратыгину и поклонникам разрушения «*темперированного*» рояля; умопостигаемо рубил голову он всем поклонникам целотонных гамм; рвался в бой, как и мы; я считаю: воинственное настроение сблизило Метнера с Эллисом; до 907 года они не встречались; Э. К. был знаком с Маргаритой Кирилловною Морозовой; по приезде в Москву быстро с ней подружился; образовалися трио: я, Метнер, Эллис; Морозова, Метнер, я; я, Петровский, Метнер; он стал бывать всюду; и всюду в собраньях молчал с плотно стиснутым ртом, разрывавшимся после сарказмами — для малого круга друзей (Эллиса, М. К. Морозовой, меня, Шпетта), которыми он порой дирижировал.

Метнер был именно тем человеком, который мне мог преформировать перепутанное отношение к А. А. Блоку в мне нужный аккорд; он с огромной любовью принялся за гармонизацию мира сознания моего — при помощи: музыки, философии и культуры.

Прислушиваясь ко мне, он увидел в истории с Блоками ему ведомую проблему преодоления романтизма (а он проповедовал, что от Новалиса и от грез о мистерии следует перейти к отчеканенному классическому гётеанству); он мне выговаривал:

— «Все, что вы пережили, — происходило и с Гёте: припомните Вертера и „*Избирательное сродство*";[175] Гёте — справился; и — просиял. Справьтесь с вашими трудностями».

Предостерегал он и прежде меня против мистики и теургии, естественно оскопляющих творчество и прокисающих часто в сомнительный «*анекдотик*»; по мнению Метнера, был «*Балаганчик*» таким романтическим анекдотиком. «Тик», т. е. следствием некогда бывших излишеств «*экстаза*»; и «*анекдотик*» сидел во мне. Метнер внимал мне пречутко, стараяся приподнять образ Блоков.

Общение с Метнером озолотило мне горькие дни.

«ДОМ ПЕСНИ»

Моя лекция «*Фридрих Ницше*» запомнилась мне; произошла встреча с Метнером; произошла и другая: мы встретились с Асей Тургеневой.

Ася явилась в Москву ненадолго из Бельгии, где она обучалась гравюре у Данса, известнейшего гравера, составившего себе имя вживанием в типы старинной гравюры; до сей поры Ася мне помнилась девочкой;[176] увидел я барышню; помнил ее вовсе стрижкой; теперь поразили меня предлиннейшие локоны, светло-каштановые, ниспадавшие танцевавшими кольцами ей на покатые плечи и обвивавшие очень худое и розовое ее личико, продолговатое в стиле Бёрн-Джонса; и бирюзистыми становились порой ее камушки глаз, бледносерых и отдающихся взгляду ответному зеленоватыми искрами: строгое напряжение взгляда противоречило фейной и детской улыбке, улыбке — которой опять-таки противоречили вздроги совсем леонардовского[177] любопытства, вполне вынимающей из души ее тайны; в кокетливой, розовой, шелковой кофточке прокачалась она колокольчиком розовым около; с ней был Петровский;

она улыбалася и показала ребенкины зубы; и подала не то чопорно, а не то прешутливо свои удлиненные, тонкие пальчики лилейки-ручки:

— «А вы не хотите и знать меня?»

Я удивился:

— «Но как вы попали сюда?»

И метнула пушистыми локонами, ей призакрывшими весь подбородок; из локонов розовый рот улыбнулся; но к изумлению моему вдруг достала она портсигарик:

— «А почему бы и нет? Дайте спичку...»

И — прикурила:

— «А вы не скучали?»

Она мне пустила в нос синий дымочек:

— «Как видите, — нет...»

Мне она очень-очень понравилась: А. С. Петровский, придя ко мне вскоре, рассказывал с разгоревшимися глазами об Асе, о старом учителе, Дансе, который держал Асю в строгости, Асина жизнь мне представилась средневековою какою-то:

— «Понимаешь ли, Боря, — прекраснейше гравирует: ведь вот — она сделала быстрые, удивительные успехи».

Не мог нахвалиться он ей (ведь питал неизменную слабость ко всем сестрам Тургеневым он):

— «Понимаешь ли, — каждая из сестер в своем роде единственная; Наташа — большой человек; ух какой человек; в ней лежат непочатые силы приподнятой мистики; Ася же — умница, более рационалистка, все напускающая на себя скептицизм и усталость; но у нее поразительная художественность, вкус и такт; Таня — та вся природа: какая-то „*Красная Шапочка*"».

— «Петр Иванович д'Альгейм занимается воспитанием их; а ведь это же что-нибудь, Боря, да значит...»

А. С. восхищался д'Альгеймом.

И силой повлек в синесерую артистическую квартиру д'Альгеймов, чтоб там показать Асю мне; вся обвисшая пепельными кудрями своими, сидела с ногами калачиком на премягкой софе, горбясь, мягко поблескивая из-под локонов ясными глазками, напоминая опять-таки розовый колокольчик какой-то, прислушиваясь к тирадам д'Альгейма; и пальчиками протягиваясь к янтарному винограду.

Через несколько дней она спешно уехала в Брюссель.

Свое впечатление от нее, очень помнится, высказал Метнеру я; он скептически улыбнулся; и, подбоченившись, заходил предо мною кентавром, отмахивающимся хвостом от жужжания мух.

— «Да, да, — я уверен, что Ася, Наташа весьма замечательны...»

— «Только мне подозрительны преутонченности эти, перенасыщенности Святою Терезою и рафинированным французским искусством... И кроме того: Петр Иванович д'Альгейм, их воспитывающий... Вот кому б не доверил детей: смесь французского декаданса с преутонченным аристократизмом российским, тепличным, расшатанно-безалаберным, не давала здоровых плодов для искусства».

С влияньем д'Альгеймов боролся Э. К., становяся брыкливым кентавром; влияние д'Альгейма росло — в нашем круге.

Д'Альгеймы растут на моем горизонте; их нота звучнее проходит в сложнейшем аккорде моих размышлений, переплетаяся с нарастанием будущего лейтмотива всей жизни: со встречею с Асей.

. . . .

С д'Альгеймами был я и раньше в сношении; исполнительница песен Мусоргского, Шуберта, Вольфа всегда вызывала в среде «*аргонавтов*» почти вскрик восторга; такое законченное исполнение песен — неповторимо; да: кто не слышал Олениной, тот не поймет холодения крови под звуками «⟨— — —⟩» Шуберта,[178] сжатий сердечных под звуками «*К вам я взываю*» Мусоргского;[179] все в Олениной — действовало: блеск разрывов огромных, раскрывшихся глаз, потрясающие оттенки ее ни на что не похожего голоса, может быть, вещего недостатками (для любителей «*виртуозного*», италианского пения); «*недостатками*» действовала особенно М. А. Оленина; слушал концерты Шаляпина я; и я должен сказать, что Шаляпин в сравненье с Олениной — невероятно проигрывал; забывался концерт; представлялось, что мы на мистерии; выбор романсов крепил впечатление это; с программою ночи просиживал муж знаменитой певицы, барон П. д'Альгейм; проникая в сознание слушателей и работая над подсознанием, он выгравировал удивительно психологические переходы от песни к песне, где песня, преломленная предыдущей и оттеняемая последующей, вырастала, приобретая совсем неожиданный смысл, где градация песен являла фантазию целого, вырастающую из слияния песен, уподобляемую лишь космогонии, или пути посвящения, выгравируемого в сознанье работой д'Альгейма; явленье Олениной на эстраде отчетливо веяло тайной души: и вела она души — по тайнам; как медленно подготовлялся размах ее рук и разлет черных крылий прозрачного и предлиннейшего шарфа при исполнении «*Полководца*» Мусоргского;[180] когда «*Полководцем*» кончалась программа, Оленина выходила вся в черном; закрытая черным же шарфом от головы до ног, над очарованным залом подготовляла она резкий, дикий вскрик птицы, разбросившей в сторону крылья; когда же концерт за-

вершался спокойнейшим «⟨— — —⟩» — какая-то Ветилуя,[181] вся в белом, являлася на эстраду; и ликом своим начинала почти просвещаться; и многие наблюдали, как зала светлела (психически); критик один написал, что напрасно певица использовала эффекты искусственного усиления освещения зала; мы все хохотали; никто не усиливал освещение; критик же реагировал на впечатление просветления, приписав механическим средствам его; сензитивные люди, далеко стоящие от представлений об *ауре* и о мистических «*выдумках*», заявляли — они-де не раз наблюдали, как из груди знаменитой певицы рос светлый, сияющий, золотой ореол.

С появленья артистки в Москве посещал все концерты ее; на них гнали когда-то покойные Соловьевы меня, — говоря: никакими де Патти, Ван-Зандтами не заменишь Олениной.

Метнеры, Соловьевы, Владимировы, Рачинские, Досекины, Поццо, Петровский, Плетнев, Тарасевичи, Энгель, Кашкин — посещали концерты; и сдержанные ценители музыки приходили в экстаз от концертов; а «*обыватели*» припоминали фиоритуры и трели голосовые Ван-Зандт; не дорастали они до Олениной.

Так в годах посетители «⟨— — —⟩» подобралися в особую, связанную почитанием группу; и на нее опираяся, Петр Иваныч д'Альгейм основал свой «*Дом Песни*», или закрытые концертные вечера.[182]

В 1904 году я писал о певице: «*Оленина-д'Альгейм развертывает перед нами глубины духа. Как она развертывает эти глубины и что обнаруживает перед нами — на всем этом лежит печать пророчествования о будущем. Вот почему с особенной настойчивостью напрашивается мысль о том, что она — звено, соединяющее нас с мистерией*».*

Так относилася к ней молодежь, и «*Петронии*» нашего времени[184] (Соловьев, Рачинский и Метнер); О. М. Соловьева с ней встретилась раз у Рачинских и поразилася соединением высоты с детской ясностью духа.

— «Вы знаете, — мне говорила Ольга Михайловна Соловьева, — ведь Марья Алексевна — святая: мудрец и ребенок; сидит и моргает какою-то птицей; наклонится к уху — болтает о житейском, простом; а потом подопрется, как русская баба: и жалобно заголосит по-народному...»

Я имел счастье встретиться с М. А. Олениной — у все тех же Рачинских, поговорить с ее мужем, в меня устремленным с каббалисти-

---

* Андрей Белый: «Арабески». Стр. 143.[183]

ческой темою разговора; почти я не понял, в чем дело; потом, на концертах, я, Поццо, Петровский, Рачинский, С. М. Соловьев, мы всегда заходили к артистке: поцеловать ее руку; и получали любезное приглашенье: отужинать.

Ужины происходили в квартире д'Альгеймов: стол полон был фруктами, рыбами, яствами; с пеной вина проливалося слово д'Альгейма, единственного вдохновителя песенных циклов; и укоренилося мнение, что естественный соисполнитель М. А. — Петр Иванович: изящный французский писатель, утонченный мистик, читающий Каббалу, тайны Зогара,[185] поэт, публицист, переводчик, философ культуры и автор романа, в котором все фразы отточены так, как слоновая кость;[186] безукоризненной речью (французской) сверкал он на нас, вырисовывая фиоритуры сравнений, цитат; мы ценили барокко воззрений утонченных, напоминающих домыслы Вячеслава Иванова, казавшиеся банализацией мыслей д'Альгейма порою; д'Альгейм изливался схоластикой, напоминающей вычисления Раймонда Луллия; каббалистикой и очень сложной теорией о культурных эпохах, которую складывал он, изучая Зогар; музыкальная тема слиянья художества с мистикой в магию и развитие мощной триады (творец, исполнитель и слушатель) в новую церковь искусств приближала д'Альгейма одной стороной к Вячеславу Иванову, а другой — к аргонавтам; с В. Ивановым мы смутно волили коллективное творчество; П. И. д'Альгейм предысчислил законы его; он ходил с таким видом, что будто он спрятал в карман у себя все искомое нами, доказывая, что им предысчислена орбита хода развития мысли и творчества; если он не всегда может выявить то, что он знает, то не его в том вина; то — падение вкусов, то — гадкая агитация критики; и становился вдруг злым, вызывая во мне образ чистого, благороднейшего маниака, всей жизнью своей разрешающего вековечный вопрос о «⟨— — —⟩»; иль — казался Колумбом, открывшим Америку подлинно, там побывавшим и, к сожалению, не могущим отчетливо доказать, что Америка — есть: за отсутствием рейсов туда.

И внимали ему в этой ноте: Рачинский, С. М. Соловьев; Э. К. Метнер, хватаясь за голову и багровея глазами с досады на нас, что мы верим д'Альгейму, срывался; и — начинал быстро бегать:

— «Нет, нет, понимаете ли, Борис Николаевич, — а, каково?..»

— «Разрешил все проблемы. Нет, знаем мы это: проекты спасения при помощи отвлеченного резонерства: французская жилка, схоластика, под которой копошится сантиментальная хаотичность, „*листизм*"; Лист был тоже таким неудавшимся магом... Неспроста д'Альгейм любит Листа...»

Эмилию Карловичу невыносим был абстрактный «*монизм*» объяснений д'Альгейма; ему, дуалисту (по Канту) и плюралисту (по Гёте), непереносна бывала каббалистическая архитектоника взглядов д'Альгейма, отличие в национальном подходе к искусству; был частию русский д'Альгейм, но ведь Метнер в «*нерусском*» был немец; д'Альгейм же — француз; и растаскивали культуру России в различные стороны; к браку с Зигфридом и к браку с Роландом; да оба претендовали на свадьбу с царевной Россией (Брунгильдой); и за нее поднимали мечи: «*Дюрандали*» и «*Нотунги*»;[187] парадоксально: «*Дом Песни*» возник против дома, где обитал Э. К. Метнер; квартиру его называли тогда «*Домом Метнеров*»[188] мы; так что окна квартиры д'Альгеймов глядели на окна квартиры Э. К.; и порой открывалася дверь: дома Метнеров, дома д'Альгеймов, и я, иль Петровский, Рачинский, Наташа Тургенева, Шпетт, перебегали — из дома в дом; иногда же воинственно Метнер являлся отсиживать перед д'Альгеймом; «*Дома*» отделялися двадцатью лишь шагами...

Беседами с П. И. д'Альгеймом мы все увлекались как подлинным продолженьем концерта Олениной; слушали яркие песни П. И.; он с бокалом вина, косолапо привставши сарказмами, вглядывался перед нами в творения Шумана, Глюка, пророчествуя о новой культуре, где творчество формы есть творчество жизни; в отличье от Метнера, вспыхивающего неожиданно тоже импровизацией, переходящей в каприз или в шаржи, — д'Альгейм проповедовал проработанною чеканкою мысли, где все парадоксы заранее были уже предысчислены, домыслы образовали систему, в которой случайностям места не может быть; делалось жутко от предысчисленного великолепия и порою мучительно от трудности овладения им, без чего пропадали бросаемые им в парадоксе детали; он мифы свои заколачивал в догматы; создавалося впечатление, будто ты ходишь согбенный под чуждою стройностью места, в которое недостойно введен; вероятно, *патент* на создание новой культуры самим Божеством был передан прямо в руки д'Альгейму: «*Дом Песни*», мы рты разевали на П. И. д'Альгейма, не споря — с двенадцати до четырех часов ночи: по окончании концерта, предпочитая порою свободный галоп мысли Метнера, делавший нас соучастниками; П. И. был утонченный ритор; и мог говорить с кем угодно; Э. К. — не умел говорить лекционно; и — не участвовал в прениях; в большом обществе чаще сидел, стиснув зубы, или пожуркивая искрою в ухо друзьям, приложив ко рту руку; лишь за столом дома Метнеров, иль у себя в кабинетике, иль у Морозовой (при двух, трех), на прогулках (особенно, если зори светили) он делался вдруг бесподобным; хотелось вскричать: «Приходите и

слушайте»... Если бы что-нибудь в этом роде случилось бы, Метнер бы, стиснувши зубы, сбежал; а д'Альгейм, расцветая на людях, разыскивал аудиторию; Метнер приискивал лишь собеседника; но такого и не было для д'Альгейма: одни ученицы; долбежка — вменялася; и — подчиненье уставу причудливой «*рокококистой*» мысли; поэтому от д'Альгейма бежали все те, что могли бы стать около: Эллис, Рачинский, Шпетт, Метнеры; и порой из квартиры д'Альгеймов, подавленные великолепием и трудностью домыслов, перебегали ночной переулочек, вламываясь и стеная, — к Э. К.

— «Уж и трудно с д'Альгеймом...»

Э. К. отвечал торжествующим видом:

— «А? А?.. Ведь вот; я говорил!»

Лишь Петровский годами переносил тяжелейшее положенье свое быть равно верным П. И. д'Альгейму и Метнеру; были верны д'Альгеймам: художница В. А. Оленина, Анна Васильевна Тарасевич, Мюрат, А. М. Поццо. С. М. Соловьев то внимал, то — брыкался и фыркал:

— «Черт знает».

И — появлялся у Метнеров. Да: защищать свое мнение в доме д'Альгеймов всегда значило: ссориться; я с ними — ссорился; ссорились: Г. А. Рачинский, С. Л. Толстой, Поццо, Ася, Наташа, Н. Метнер; и после — мирились; порою д'Альгейм начинал разгонять всех друзей, только путавших дело создания «*Дома Песни*», брюзжачил, закручивая таким горюном свою крепкую сигаретку из табачка «⟨caporal⟩»,[189] такой зябкий, тоскуя по Франции; из синесерой столовой напоминая изобретателя, опустившего руки над аппаратом, готовым уже к «⟨— — —⟩» (не хватает ничтожной лишь части: нет паруса — утащили). Вперясь в узоры фантазии, грустно, бывало, показывает на них:

— «⟨— — —⟩».

А я — ничего не вижу.

И тут вспоминаю Паоло Учелли, решавшего перспективный вопрос; разрешившего, давшего его образ: — по правилам перспективного разрешения; окружающие подходили; и видели — набор линий;[190] Паоло Учелли рехнулся (и перед смертью психически расхворался д'Альгейм).

Послеконцертная трапеза, стол: и за ним — критик Энгель, Оленин (брат Марии Алексеевны, композитор), Кашкин, Семен Кругликов (критик), Л. А. Тарасевич с женой, ученицей М. А., Поццо, А. С. Петровский, Досекины, Стенбок-Фермор (брат жены Тарасевича), С. Л. Толстой, Богословский (аккомпаниатор), В. С. Рукавишникова, Мюрат, Эллис, Метнер, профессор Плетнев, композитор Танеев, Ната-

ша Тургенева, В. А. Оленина, все непременно Рачинские; все нагибаются под гениальными переплетами парадоксов, просвеченных мистикой, приподнимающих мелочи разных культурных периодов; Мария Алексевна — немотствует: строгая, очень худая с открытою грудью, играя стеблистою розой, или пригубливая вино с явным отблеском переполненного концертного зала, цветов, совершенно отхлопанных рук, дружных «*бисов*»; за трапезой царствует он, Петр Иванович; М. А. с совершенным доверием смотрит на мужа такими огромными, сине-сафировыми глазами, и носом, в сияющем платье и в белой, сквозной, кружевной мягкой шали; казалась она Ветилуей; раз видел ее я во всем голубом: голубой птицей Вечности с той поры звал; очень часто казалось — Олениной нет: есть два глаза (простите — на палке); в глазах — покатились миры.

Впечатление от артистки я выразил: «*Высокая женщина в черном... В ее силуэте есть... что-то слишком большое для человека... Ее бы... видеть в разрывах туч. В резких штрихах ее лица простота сочеталась с последнею исключительностью. Вся она — упрощенная, слишком странная...*».*

И такою мне виделась Вечность; такою сидела она за столом: молчаливо-худая, встающая тонкою талией с краю стола, чтоб смолчать перед словом П. И.

Он, поднявшися с места, пригубливая рейн-вейн, все вышипывал пену своих предысчисленных парадоксов, не то гениальных, не то совершенно маньячных: маньячеством властный, всем жестом руки, заставляющей силою слушать, насиловал наше сознанье; внимали покорно, обычно столь разные: Энгель, Рачинский, Толстой, Тарасевич, Плетнев, Соловьев. Иногда начинал он играть, подковыривать текстом Рачинского; а тот — как подкинется словом, подтекстит; как — зарукапит над блюдами; все — полетит кувырком; закубарятся смыслы; д'Альгейм же доволен:

— «⟨Eh bien?⟩»[192]

П. И. зазывал меня часто:

— «⟨— — —⟩».

И — подсиживал едко, учил: он нас всех отрицал, полагая, что мы, как и все, забарахтались в лапах у черта; и все-таки: хаживал часто на лекции наши, чтоб после брюзжачить; но более всех изничтоживал критиков; был сочетанием бархатно-серого барса, прыгучего, очень изящного, с злобным медведем: ни кошкой, ни псом; развивал в проявлениях,

* Арабески: стр. 138—146, см. статью об Олениной: «*Окно в Вечность*».[191]

в жестах какое-то «*кошко-песие*»; и шипел по-гадючьи, вдруг делаясь желточерным, как бы нарисованным тушью; но чаще казался он серым, пошлепывая по утрам в серой блузе с седеющей, серою, острой бородкою, с серым лицом (вдохновенно белевшим и никогда не красневшим), сутуловатый и кряжистый, напоминая уже постаревшего и раздобревшего Мефистофеля; после ж обрился, оставил усы, явно выглядя старым французским солдатом — щетиной усов и щетиною серых волос над совсем небольшим, серым лбом, покрывавшимся очень часто морщинами (поперечными); нагнув круглую голову и выдаваясь упорной спиною, глядел исподлобья с казавшейся (только казавшейся) доброй, почти даже нежной улыбкой, мягко подкрадываясь к собеседнику и опуская его в синесерое кресло; садился с ним рядом; и, трогая мягкой рукою пиджачную пуговицу, исподлобья он спрашивал, что полагаете вы вот о том-то и том-то:

— «⟨— — —⟩».

И заранее делалось: трудно, зависимо:

— «Ах я, дурак: ведь — попался».

Д'Альгейм мне казался с поверхности пепельно-серым; он внутренне — добела был раскален; вдруг белел, проступал иссушенным раскалом сорвавшихся с привязи слов и сиял бескорыстною злостью, сверля больно взором, но сохраняя улыбку, казавшуюся добродушной и нежной. Сгорев, начинал он сереть роем дрязг и забот, выступавших в сознании (вечно нуждались д'Альгеймы; и кроме того: переменные замыслы П. И. всегда тяготили).

Придешь: он сидит горюном, зябнет в тальме, закручивает папироску из табака «капораль»; уши, точно прижатые к серой его голове, — быстро дернутся; дернется — вся голова; и не то улыбнется, не то огрызнется; а голова — уйдет в плечи, в широкие; кажется кряжистым, неповоротливым и каким-то квадратным; вдруг станет: и летким и прытким, совсем эластичным, как мячик, в упружистых подпрыгах злости; укалывает рапирою языка, изгибаясь над крошевом «капораля», ругается:

— «⟨— — —⟩».

Или куксится:

— «Да, курю „капораль", вот; и — Францию вспоминаю; чужой ведь я здесь; и мне многое чуждо...»

Я видывал П. И. д'Альгейма на родине — недалеко от Парижа, в местечке Буа-ле-Руа,[193] близ Мелин: в малом домике, или на дворике, в огороде, иль в садике, издышавшемся запахом пьянотворных цветов, в красных маках, на фоне, облупленно-каменном, серой стены;

наклоняяся над табачком «капораль» и закручивая сигаретку, он здесь тосковал по России.

Был родом же он из Альгейма (поселка в Эльзасе): с двенадцатого столетия род д'Альгейма здесь жил.

Вероятно, томленье по родине (и в Москве, и в Буа-ле-Руа) было зовом на вечную родину; к ней был протянут им путь чрез искусство; и он проповедовал орден художников-рыцарей, образующий — интер-индивидуал сотворцов; как и Метнер, спасал он арийское творчество, строя ковчег, на котором должны были плыть в Новый Свет (т. е. был «*аргонавтом*» для нас), и предсказывал скорый потоп, торопил с построением ковчега, или «*Дома Песни*» московского; верил: такие «*Дома*» всю Европу покроют; и в них-то засядут, отстреливаясь искусством от действия *черных магов*; и «*магов*» он видел повсюду, коварнейше учреждающих блокаду идей; он испытывал частые приступы меланхолии; видел победу «*врагов*»; и тогда надевал свою тальму, садился крутить сигаретку; перед болезнью завел он малиновый, яркий берет, надевал театральный халат, в одеянии этом выглядывая старым «*магом*»; посадка квадратной фигуры, бывало, изменится в барса, прижавшего уши, и оскаленного на добычу, вносимый Рачинским, С. М. Соловьевым, иль мною душок модернизма: «*враги*» — в нас сидели; сидели повсюду: в Москве — инспирируя Энгеля, Брюсова и заставивши Метнера сомневаться в заданьях д'Альгейма; поглядывая в окно (за окном дозирающе ширились светочи «*Дома Метнеров*»), дергал ушами, прижатыми к голове; и Оленина, сидя пред ним, повторяла все басни, не споря; внимал Тарасевич, рассеянно взоры вперяя в очищенный апельсин; и — твердя:

— «Апельсин...»

— «Апельсин...»

Барабанил рассеянно пальцами.

И д'Альгейм, разгораясь ⟨?⟩, грозил кому-то:

— «А!»

— «⟨— — —⟩».

Напоминал почему-то в такую минуту он мне героиню Сегюр: незабвенную мадам Мак-Миш...[194]

Он когда-то посиживал с Маллармэ и с Вилье де Лиль-Аданом, твореньям которого он поклонялся, прочитывая «⟨— — —⟩»[195] — вслух; давно он порвал с символистами; и во Франции стал проповедовать произведенья Мусоргского; театральные замыслы его были — фейерверки; он говаривал горестно: Гордон Крэг у него плагиировал план постановок на сукнах, но все исказил, создав славу себе (или *па-*

рус с д'Альгеймова «*Арго*» унес); он был автором великолепного перевода поэмы «Рама»,[196] оригинально им изданной, и романа-мистерии «⟨La passion de maître François Villon⟩», да, мы видели в деле д'Альгейма порой свое дело (пока от него не сбежали); слить слово с движением, с жестом, со звуком, слить зрителя, исполнителя и творца, пересоздать жизнь искусством, — еще бы не наше. Соединение музыки и поэзии видел не в драме, как Ницше, не в опере, как Рихард Вагнер, а — в «*песне*»; героизацию жизни при помощи «*пути песен*» он волил, просиживая все ночи над составленьем программы концертов Олениной; из синесерого, уютного кресла столовой, такой синесерой, украшенной синесерой дверною портьерой и синесерыми занавесками, серый д'Альгейм, развивающий взгляды на «⟨chanson⟩», соблазнял меня выступить на открытии «*Дома Песни*» со словом о песне:

— «Вы скажите, ⟨mon cher⟩, — то и то-то: ⟨Marie⟩ во втором отделении может исполнить все то, что наметите ей, меж ее исполнением вставите свой комментарий», — взъерошился из кресла.

И покручивал «капораль»:

— «⟨Marie⟩, спой Лорелею...»[197]

И Мария Алексеевна в синесером капоте вставала к стене — синесерой и — пела.

— «Ну и вот — докажите: вся жизнь есть концерт ⟨— — —⟩ это — путь посвящения».

Я — согласился.

Условились: во втором отделении М. А. Оленина постарается пением живописать мой доклад:

— «Было б очень желательно, чтобы вы указали что-нибудь из тех „⟨chanson⟩", где затронута правда „*Пути*"».

Я ответил:

— «Что ж, — буду стараться».

Через три дня Петр Иванович прибавил:

— «Желательно было бы, чтобы Marie спела то-то и то-то; не пела того-то...»

Подумал:

— «Да, да: ну конечно, мои указания Марии Алексеевне превратились в обратное: в указания мне, нарушающие свободу развития темы...»

А указания сыпались градом: при встречах с д'Альгеймом; и — в письмах: упомяните о лире Терпандра в таком-то вот смысле, Гонкуров возьмите; и прихватите Верлэна, связавши с Ватто его; помните, что Ватто — голубой и т. д.... Я — испугался дождю указаний; Ватто

ощущал, например, я зеленым, темнозеленым, — не голубым; получал же почти приказы: считайте Ватто голубым. Скрепя сердце, готовил доклад я, которого первую часть напечатали скоро «*Весы*»;[198] утверждаю я там:

«*Песня — символ: образ здесь выброшен ритмом... Из песни развилась и поэзия, и музыка как формы искусства... Слово здесь ищет плоти, чтобы стать ею; слово здесь — созидает плоть гармонической жизни... Песня первый день творчества: первый день мира искусств... Теперь, когда творчество в искусстве все более и более становится творчеством форм мертвых, песня есть первый призыв к творчеству форм живых: призыв к человеку, чтобы он стал художником жизни. Пусть историки изучают законы размножения и расселения песен; пусть они учат нас, как французская песня переселилась в Италию и Испанию, как из песни кристаллизовались сонет и баллада. Как из трубадура возник Данте, как в Греции семиструнная лира Терпандра породила мелодию, а мелодия — строфу... Не стройной теории мы ищем: жизнь живую слагаем мы в песни. Пусть ничтожны мы, предтечи будущего. Мы знаем одно: песня живет, песней живут... Нам нужна музыкальная программа жизни, разделенной на песни (подвиги)... Души наши — невоскресшие Эвридики, тихо спящие над Летой забвения; но Лета выступает из берегов: она нас потопит, если не услышим мы призывающей песни Орфея. Орфей зовет Эвридику*».*

Набросал и вторую я часть с П. И. указанною программою пения; перед самым уж вечером я являюсь — прорепетировать с Марией Алексеевной, — ужас: программу д'Альгейм отменил, произвольно расставивши песни в таком сочетанье, что я их связать уж не мог, и нарушивши мысли первой, теоретической части доклада во ввертываемый комментарий к концерту:

— «Между такой и такою-то песнью вы, „⟨mon cher⟩", ритмизируйте фразы в анапесте, чтобы ⟨Marie⟩ на анапестах ваших могла исполнить бы — то-то; перед „⟨— — —⟩" должны говорить вы трохеями; и нараспев, непременно, чтобы голос Marie был естественным продолжением вашего; тут Marie обрывает, а вы подхватываете; и — непременно: поймайте вы голос ⟨— — —⟩».

Словом: мне предлагался не менее, чем дуэт с настоящей певицей; она распевала романсы; я ж должен был петь комментарий: концерт в квадрате, концерт безголосого Белого, самоуверенно возлетающий над

---

* Арабески: «Песнь жизни».[199]

концертом Олениной, уподоблял вдруг завывшей собаке меня; выгоняют такую собаку.

Я стал отбояриваться от своей глупой роли: куда тут: д'Альгейм, — как взъерошится:

— «Что вы?.. Афиши развешаны, ⟨— — —⟩. Все билеты распроданы; в зале поставлены на эстраде „⟨дэмисиркюлэр⟩"».[200]

И здесь — надо сказать: над трибуной работало воображенье П. И.; как-то лектору ноги закрыть, как-то дать ему право перед трибуной разгуливать; и наконец — разрешил он проблему: «⟨дэмисиркюлэр⟩» была создана; что за трибуна! За нею, как встанешь, так слово и вспыхнет; уже на эстраде стояли трибуны; направо — моя; и налево — трибуна М. А., образовывая треугольник с роялью; мы ездили спешно — трибуны осматривать: что за трибуны! П. И., как ребенок, был выдумке рад; потирал свои руки; и с мягким шипеньем носовыми какими-то звуками нам выражал свою радость:

— «⟨C'est charmant⟩,* — вы довольны?[201] Не всякому лектору приходилося говорить за такою трибуною вот», — и он гладил трибуну.

Не до трибуны мне было. Какое там; только бы не прогнали с трибуны за пение комментариев; жаловался Петровскому я:

— «Черт возьми: заставляют играть роль шута».

Алексей же Сергеевич, нос приподнявши сочувственно и протирая пенсне, карим взглядом, предобрым, меня усмирял:

— «Ну чего тебе стоит, — прочти уж: такие они... Все равно не поймут... Петр Иваныч подумает — снова „*враги*" подвели; будут после истории... Знаешь, — и так нелегко им: ведь рок их всегда — разбиваться о стену, которую сами же перед собою поставят; но в этом-то их красота...»

И с пленительно-доброй улыбкой Петровский меня обласкал своим взглядом — безвеким и карим; и в голосе, чуть заикающемся, мне послышалось столько тепла, что невольно ему уступил: не хотелося с первого вечера «*Дома*» вступать в пререканье с д'Альгеймом; здесь кстати скажу о Петровском: чем более я узнавал его, тем я более удивлялся ему; он казался какой-то всеобщею нянькой; всегда-то он возится, — с тем, и с другим; есть же люди, которым быть нянькой кого-нибудь нужно; их миссия в этом; они преисполнены доброты, но — безличны; Петровский же был утонченнейшим, образованнейшим и одним из умнейших людей, мне встречавшихся в жизни; он тоже был где-то капризен, весьма привередлив; претихенький с виду и маленький, робко-кон-

---

* «Очаровательно» (*фр.*).

фузливый, он за собою носил целый мир — бурь, сомнений, моральных запросов, трагедий; но он превосходною волею подавлял этот мир; и подавленное претворялось в нем тихою силой: любовью к страдающим; там, где нуждались в поддержке, — являлся без зова; я видел его очень часто рассеянным, каким-то далеким; я знал: с кем-нибудь он да возится, угомоняет кого-нибудь: переутомился Рачинский, он — с ним; зафантазируется Наташа Тургенева, он — где-то уж рядом: искусными манипуляциями (где непосредственно, где же тончайшею хитростью) примется он размагничивать намагниченное фантазиями сознанье ее; стоит мне разболеться морально, — является; и отсиживает — часами и днями. В ту пору предвидел он трудность д'Альгеймов, разочарованье их в ряде проектов; и — завелся у д'Альгеймов; просиживал вечерами: над шахматною доскою с П. И. И на это поварчивал Метнер.

Так А. С. убедил меня: ради д'Альгеймов сыграть свою роль.

Наступило позорище: зал был набит;[202] всем хотелось: во-первых, услышать Оленину; и во-вторых: посмотреть на дуэт ее с Белым. Я с первою частью программы отчетливо справился; а во втором отделении выходили мы вместе: аккомпанировал А. А. Оленин; пока он играл «Форшпиль» свой, восседали с М. А. за трибунами «⟨дэмисиркюлэр⟩» (было очень уютно сидеть); но вот я — поднимался: и начинал свои «*посвисты соловьиные*»; публика недоумевала; когда же я начал скандировать, явный провеял смешок мне в лицо; на анапестах приподымалась Оленина — пением; зал встречал бурно ее; а когда она, спевши, садилась, и я поднимался опять, приподхватывая своим голосом ритмы аккомпаниатора, — то смешок вырастал; я был бешено зол; все же: я до конца провел роль; вы представьте себе, — Петр Иванович стал мне обиженно выговаривать в лекторской:

— «Нет, вы не справились с миссией: публика к вам отнеслася враждебно...» — как будто бы тоном своим он подчеркивал:

— «Вы, ⟨mon cher⟩, в день открытия „*Дома*" внесли дисгармонию в дело всей жизни моей».

Так открытие «*Дома*» сказало: не по дороге с д'Альгеймами.

Отвлеченностью портил д'Альгейм себе все; он хотел преждевременно перепрыгнуть вперед через тысячу лет; и ударялся естественно об условия нашей культуры; удар относился к интриге «*врагов*», доводящих до нервной болезни его.

И та ж история повторилась при выступлении четырех лекторов, долженствующих осветить символизм с четырех горизонтов; а выступавшими лекторами явились: Рачинский, я, Брюсов, Семен Владимирович Лурье;[203] по идее д'Альгейма, Лурье должен был начать первым —

развитием позиции семитического символизма, берущего правду идей из правды природы; Оленина исполнением «*Лорелеи*» его обличала (природа — обманная Лорелея); потом должен был я развить лейтмотив символизма арийской культуры: он — творчество нового мира культуры из мира природы; Оленина исполнением «Атласа»[204] разоблачала меня: сотворением мира искусства символизм угнетался бременем вечного этого мира; В. Брюсов нас после отчетливо хоронил: символизм есть иллюзия только; Оленина исполнением «⟨Шеценгребера⟩»[205] нас возвращала из мира теней; и увенчивал вечер Рачинский, соединяя две правды, закрытые в символах семитического и арийского символизма; весь вечер был должен в сознаниях слушателей отчеканить взгляд П. И. д'Альгейма при помощи нас четырех (или даже — пяти). Но «*враги*» чрез Лурье и чрез Брюсова взгляд опрокинули, неожиданно отказавшися выступить прежде меня и Рачинского; вечер же начался с того, чем был должен окончиться; кончился тем, с чего должен начаться был; выступил первым Рачинский, дав цельность; и я, и Лурье раскололи единство в две кривды; и всякий намек на действительность символа Брюсов в конце распылил на иллюзии; рушился план.[206]

«*Враги*» портили все в «*Доме Песни*». Д'Альгейм ходил мрачный; досаду свою он срывал на сотрудниках; те — разбегались, перекочевывая в квартиру напротив, в «*Дом Метнеров*», где подергивал добродушно плечом Г. Г. Шпетт, появлявшийся изредка в синесерую комнату; он, безбородо нацелившись глазками, из неподвижности позы своей выпускал провертные словечки свои расторопно с разлапистым облаком дыма, доказывающим, почему должен скоро «*Дом Песни*» погибнуть.

Петровский, печально повесивши нос, протирая пенсне, умоляюще выговаривал Метнеру:

— «Что ж тут поделать: ведь Петру Ивановичу так неудачи нужны; в этом — тема его: гениальными мыслями биться о стену».

Задирижировав карандашиком в воздухе и двуруко развесясь, отмахивался от собственных слов Э. К. Метнер:

— «Ну да: дух д'Альгейма — дух мрака: дух Листа — не Гёте: дух чувственности, только внешне оседланный каббалистической схемой, бесплотно иссушивающий в душный догмат святыни свои и чужие; он есть выражение декаданса французской культуры, заостренной в гастрономию д'Эзесента;[207] сантиментальное объединение Мусоргских с Равелями и с Дебюсси, — это значит одно: потянуло с мороженого и провансаля на корочку черного хлеба гурмана; то тяга на „⟨— — —⟩" декадентов культуры; нет, нет: весь д'Альгейм главным образом —

в этом. Поверьте, Борис Николаевич, — не по пути вам с д'Альгеймами».

Так часто капризился Метнер словами, махая кистями поставленных в воздухе рук; проповедовал пламенно мне он Бетховена, Вагнера, Брамса и брата; о музыке же Н. К. Метнера выражался брюзгливо д'Альгейм:

— «⟨— — —⟩», — и подыскивал он укалывающие выражения.

Так д'альгеймовский дом мне казался прекрепкою крепостью франкорусской культуры, здесь строимой; а напротив, глядясь в окна окнами, обосновывался культурный «⟨— — —⟩» дома Метнеров; явно: отсюда текли две струи, разрезая Москву на две сферы влияния (французской, немецкой) так точно, как узкая ленточка Малого Гнездниковского переулка разрезом своей мостовой разделяла два дома, уставленные друг на друга; два дома — два замка; в одном за бойницами стен и за башнями рыцарь-француз строил козни разбоя; и нападал он дарами культуры своей на Москву; в другом замке, за башнею, на коне своих планов носился по ряду московских домов Э. К. Метнер, казавшийся пфальцграфом с Рейна, — по ряду московских домов (дому Щукиных, дому Морозовой) с кличем немецкой культуры, грозяся сразить в поединке барона эльзасского (с того берега Рейна) и утверждая, что рыцарь д'Альгейм есть коварнейший Хаген[208] (противоположное думал д'Альгейм); мостовая же Малого Гнездниковского переулка казалася Рейном, в котором плескалися дочери Рейна — русалки Тургеневы; из д'Альгеймова замка ты мог бы расслышать и песню о Лорелее — волшебнице; здесь появлялся сам Логэ коварный под видом Валерия Брюсова;[209] действовал Вотан московский, весьма изменивший свою физиономию с времени Странника[210] (гримировался Рачинским он); бродил пьяный леший, раз так напугавший покойную Веру Ивановну Скрябину; липпсианец, психолог (теперь уж покойный);[211] сюда подъезжала (не к дому д'Альгеймов, а к Метнерам) наша Брунгильда-Валькирия, М. К. Морозова, тихо покашиваясь на окошко угрюмого Хагена (бедный д'Альгейм: он не знал, что собою представляет опасность; он сам защищал свои башни от Хагена-Метнера, встретив Морозову, сделавшую раз лишь визит свой д'Альгеймам, — лазутчицей *того странного* берега: будучи членом дирекции Московского Музыкального Общества,[212] М. К. Морозова предложила Олениной стать профессором пения в Консерватории; но — какое: П. И., встретив сухо ее, убедил отказаться Оленину; и козни «*врагов*» были явно разрушены); после встречались в мифических замках — Зигмунды с Зиглиндами;[213] были отсюда и бегства; и были — погони богов.

На Тверской, отстоящей от этого места всего в двух шагах, уже начинались нашествия гуннов (фланеров); в кофейне Филиппова — страшный Атилла справлял свои оргии; и забегали туда, в царство гуннов, — не гунны: там сиживал изредка Ходасевич с Кожевниковым (беллетристом); Воротников появлялся; и красная борода Александра Койранского вырисовывалась; оттуда со столика Ненюкова, наверное, вылупился Кожебаткин из чашечки недопитого кофе; и рос там по способу фараоновых змей — головою поднимаясь (все выше, все выше, все выше, в претонном своем пиджаке, без копейки в кармане, пока пуповина, его прикрепившая к чашечке, не рассыпалась пеплом; отсюда с портфелем в руках — он пошел в «*Мусагет*» секретарствовать (было позднее то);[214] шел он Тверским; наподобие шляпки гриба преформировалась в это время его голова в вырастающий до неба цилиндр, производивший магические и финансовые операции: поглядят на цилиндр, и — дают меценату московскому все, что имеют, — отведать с А. М. Кожебаткиным «*пражского*» коньяку, удостаиваясь улыбки сего мецената и будущего председателя «*Общества Книголюбов*».[215]

Да, вот в каких славных местах мы водились: между Тверской и Никитской (в Леонтьевском переулке живал Ходасевич); здесь здравствовал еще Карл Карлыч Метнер (по виду был «*Метнер*», по сути — умнейший делец и прекрасный добряк); здесь Елена Михайловна Метнер встречала кружок, состоящий из Щукина, Скрябиной, Конюс, супруги известного музыканта, Э. Метнера, Эллиса; я здесь являлся; здесь Шпетт подговаривал Щукина дать средства для жизни «*Психологического Института*» Челпанова;[216] здесь С. И. Щукин печаловался комически, чуть-чуть-чуть заикаяся, что, мол, Матис (он Матиса пустил в оборот по Москве, закупивши полотна Матиса и даже подправив одно полотно своей собственной рукой: Матис не заметил), — что вот, мол, Матис проживает теперь у него (в переулочке против здания Александровского училища), встречен же царственно (осетрина хорошая, сколько хочешь шампанского). Он испробовал, пожил — чего еще ждать; и — пора б восвояси; и — нет: ожидает чего-то Матис; все живет да живет себе в Щукинском доме; и делает вид, что понравились очень иконы; а уж пора бы — в Париж![217]

Разумеется, произносилось все это не так, но в таком приблизительно смысле.

Матис же сидел и изряднейше кушал, не думал о спешном отъезде (и как это он не заметил, что Щукин одно из творений его подмалевывал?); раз появился в «*Свободной Эстетике*» он[218] — в бриллианты, блистательно покрывающие тела модернисток, — «⟨— — —⟩» побе-

седовать с молодыми художниками; а те оказались не знающими «⟨— — —⟩» знаменитости; попросили меня сказать слово. Я начал с «⟨cher maître⟩»,* но Матис перебил и сказал: он — не «⟨maître⟩», а естественный «⟨cher camarade⟩»,** был высок, худощав, очень розов (пожалуй, оранжев), с расчесанным гладким пробором, с расчесанной длинною бородою оранжевого оттенка, в пенсне с золотым ободочком, из-под которого любопытно подсматривал на бриллиантовые тела: было весело им, и ему, и художникам весело было; мне — тоже весело.

Щукин запомнился мне: у себя на дому, у Елены Михайловны Метнер; какой-то твердеющий, чернобородый и седовласый; в нем что-то мне виделось от ореха (американского, твердого), кабы не губы, большие и вспухшие; был корректен, умен, разговорчив, любезен, смеялся словесным волчкам Г. Г. Шпетта и Эллиса; и — выражал свои вкусы культурнейшим, афористическим способом.

— «А Сезанн, это, знаете ли, — это к-к-к-... к-к-к-... корочка черного хлеба, которую пожуешь с удовольствием после м-м-м... мороженого... освежает..! Т-т-т... так вот и Сезанн... После красных полотен М-м-м... Маттисса... как... корочка... к-к-к... к-к-к... красочная!..»

Эстетические наблюдения Щукина не мешали другим — экономическим наблюдениям Щукина: вел он, кажется, превосходно дела; и скупал, и выкидывал он на российские рынки в огромном количестве ситцы, преуспевал; но когда заходила беседа о конкурентах, то добрый и мягкий Сергей Иванович становился Сергеем Ивановичем, проявляющим твердые, наполеоновы жесты:

— «А конкурентов д-д-д-... д-д-д... д-д-д... давить! Всех!! Б-б-б... б-б-б... б-б-б... без пощады!!!..»

Так всех раздавив, как клопов, переходил он к Гогену, к Ван-Гогу.

Он путешествовал летом в весьма экзотичные страны; стоял перед Сфинксом в Египте, глядя своим глазом в глаза Божества; бедуины ему говорили:

— «В лицо Божеству не глядят!»

Он совету не внял: и сейчас же случилося что-то с глазами его.

Или он совершал путешествия на ослах из Египта к Синаю; а сын его «*Ваня*» Щукин отъявленным был когенианцем,[219] паломничал в Марбург, туда прямо выгнанный Фохтом, сим агентом рейсов «Москва—Марбург»; Шпетт появился — увидел Кубицкого, Фохта; и — победил: «Ваня» Щукин зашпеттствовал, в результате чего С. И. Щу-

---

* Дорогой учитель (*фр.*).
** Дорогой товарищ (*фр.*).

кин восчувствовал непременнейшее желание облагодетельствовать «Институтом» Челпанова (Шпетта привезшего из далекого Киева).[220] Когенианцы, наверное, скрежетали зубами; ведь, вот, мог бы Щукин пожертвовать на издания переводов научного комментария к Канту; пожертвование оказалось не им: Г. Г. Шпетту. Но более всех возмущались д'Альгеймы: на все; С. И. Щукин категорически отказался субсидировать не какие-нибудь финтифлюшки, а «*Институт*» — «*Дом Песни*»: ковчег для спасения мира; казалось, что все в сем ковчеге готово, — недостает пустячка: миллионов; казалось бы, должен был Щукин кланяться в ноги д'Альгейму по гроб своей жизни — д'Альгейму, самоотверженно указавшему Щукину путь оправдания щукинской «щучьей» жизни (С. И. походил ведь на щуку); а тот — «купец».

— «⟨— — —⟩».

— «⟨— — —⟩».

Возмущались д'Альгеймы тому, что «⟨— — —⟩» принимается бриллиантовым отложением Москвы за художника; все то не главное: главное — все эти «гадости», эти общения с Щукиным Шпетта и Метнеров; и вечеринки Елены Михайловны Метнер, происходящие где-то под боком, тут вблизи замка д'Альгейма, у самых источников «рейнского золота» — не без Метнеров.

Слышалось:

— «Метнера... Метнера... Метнеров...»

И возникало два образа: Альберих, Николай Карлыч Метнер (ведомый Эмилием Карлычем, Мимэ), подкапывается совершенно бесповоротно под строимый «*Дом*». И д'Альгейм, в безысходной тоске проходя в своих туфлях и в мягкой накидке по комнатам, начинал исподлобья коситься на окна напротив, прислушиваться к чему-то: быть может, к воображаемой крепкой руладе гремящего снежной мятели пьяниста, подобной грозящему тону летящих полков; и в ответ на угрозу «*оттуда*» он обращался к «Marie», чтобы она своим лорелеиным пением наслала наважденье на войско; тогда, может быть, Э. К. Метнер прислушивался, в свою очередь, к шуму «*оттуда*», — косился; и начинал приборматывать:

— «Нет: уж этот д'Альгейм!»

В этой «пре» вызревало сознание какого-то третьего центра во мне: между «*метнерством*» и «*д'альгеймством*»; между домами д'Альгейма и Метнера, как меж замков, сжимающих справа и слева ущелье, ошибочно названное «*гнездниковским*», разламывалось сознание аргонавтического стремления нашего; если Арбат был российской данностью, хаосом, целиною, то здесь в «*гнездниковском*» ущелье, сжимае-

мом справа французской культурой, а слева немецкой культурой, сознание выковывало свои западноевропейские формы: учитель Геракла, пещерный Кентаврище, старый Хирон, — был наверное иностранцем, как все гувернеры; д'Альгейм же и Метнер казались такими «*Хиронами*», преподающими молодому сознанию «*аргонавтов*» уроки художественной культуры двух западов: готско-германского, кельтско-романского; оба кентавра выскакивали на скалы, взоржав; начинали свой бой, ставши задом; и страшно брыкались; я более примыкал во всем к Метнеру; но действительность показала потом, что «*примкнутие*» породило одни неприятности; и казалось в те дни, что работать с д'Альгеймом в «*д'альгеймовском*» духе — нельзя; что и с Метнером тоже работать нельзя — не открылось еще; надо было пройти мимо них в основном, в чисто-русском, заимствовав у культур, что давали они, но претворив всё — по-своему; эти «*варяги*», с любовью желавшие что-то наладить в России, — конечно же, ничего не наладили; все же их роль велика; один — молот; твердейшая наковальня — другой; и меж обоими меч пониманья ковался в работе сведенья их к цельности; вот, бывало, войдешь в переулок — к кому завернуть? Завернувши — не выдать другому: друг друга недооценивали; недооценивали д'Альгейма, по-моему: М. К. Морозова, Эллис, переоценивая Э. К. Метнера; к ним склонялся и я; недооценивали Эмилия Карлыча (не всегда, а порою) С. М. Соловьев и Рачинский, переоценивая д'Альгейма; Петровский же ухитрялся с трудом сохранить равновесие, являяся в «*Дом*» особенно часто и расставляя с Мюратом, превежливо отпускающим шуточки, — шахматы: за зеленым столом, где сидели мы все вечерами, куда часто врывался Рачинский — отплясывать переводы свои для печатного текста концертной афиши, где изредка сиживал Брюсов, где реже еще являлся серьезнейший Артур Лютер,* уславливаться с д'Альгеймом о курсе, который был должен открыть в «*Доме Песни*».

С. М. Соловьев временами впадал просто в пафос, хватаясь за голову:

— «Знаешь ли, Боря, д'Альгейм — самый близкий мне ум».

Отвечал я ему:

— «Понимаю я, почему он звучит тебе: ведь в тебе есть порою тенденция углубляться в Иванова; а меж обоими есть что-то общее...»

— «Ну, конечно, — но только: куда же Иванову до д'Альгейма: невыразимое что-то в д'Альгейме...»

В другие дни начинал изрекать он премрачно:

---

* Ныне профессор в Германии.[221]

— «С д'Альгеймами — нет: невозможно; они — очень тонкий душевный соблазн в нашей жизни».

Петровский горюнил:

— «Беру я д'Альгеймов такими, какие они: с их капризами, с неразберихою; все-таки: то, что несут они миру, — единственно незабываемо, вечно...»

Да, нота д'Альгеймов звучала в Москве ослепительным противообразом петербургскому артистизму, который был все-таки срывом с мистерии в «*Балаганчик*», с исканий театра в... театр марионеток; а «*артистизм*» «*Дома Песни*», скорей, возносил балаганный, внезапный экспромт до... почти до мистерии, здесь естественно обрывался за невозможностью мистерию воплотить, но без всякого «*кондачка*»; характерно: в Буа-ле-Руа у д'Альгейма имелися марионетки; раз он показал марионетное действо; и игра «*марионеток*», надетых на руки д'Альгейма и Марии Алексеевны, во мне возбудила высокое что-то; П. И. мог из тряпки создать впечатление грандиозности; наоборот: декорации к мейерхольдовскому проведению «*Пелеаса и Мелизанды*»[222] и самую пьесу свели к «*Пыльной Тряпке*», о чем горько сетовал Блок, в это время столь близкий к театру исканий; так у него вырывается горькая фраза: «*Мало плодотворные искания театра Коммиссаржевской...*»* Или: «*Будем бродить всегда в этой самой тьме, которую развел в театральном зале Мейерхольд*»,** — пишет он в 1907 году; или: «*Визжит, свиристит... грязная занавеска. У меня чувство полученной оплеухи*»,*** — пишет он в этом же году по поводу постановки одной метерлинковской драмы; и в той же заметке касается двух фельетонов моих о гастроли В. Ф. Коммиссаржевской в Москве: «*Два фельетона Андрея Белого... настолько богаты мыслями, обобщениями, формулами, требованиями, которые автор предъявляет к новому театру, что стоит, по моему мнению, иной объемистой книги*».****

Но ведь вот в фельетоне же отражалося впечатление не от одних превращений «*Театра мистерий*» в «*балаган*»; нет, отражается впечатление оплеухи, полученной мною при чтении «*Балаганчика*»: автором «*Балаганчика*», говоря петербургским исканиям, бросившим откровенно на сцену «*святое святых*», свое «*нет*», — говорил дважды «*нет*»:

---

* Собрание соч. А. Блока. Том IX. «*О театре*». Стр. 13. Изд. «*Эпоха*».[223]

** Ibid., стр. 61.[224]

*** Ibid., стр. 65.[225]

**** Ibid., стр. 63.[226]

потоптанию бисера пяткой актера. И та же обида «*не только за сцену*» в те дни заставляла меня чутко вслушиваться в театральные замыслы П. И. д'Альгейма, где восстанавливался незатоптанный пяткою этою «*артистизм*», то есть веяние мистерии в формах искусства.

Д'Альгейм был естественным очистителем совести в мути модернистических вывертов, восстановителем прав красоты и добра на владенье подмостками; так, когда он с улыбкой, вдруг ставшею детской, подмигивал шуточно: ⟨Жуон!⟩,* разумел под «*игрою*» он крылья божественной легкости; наоборот; когда слышал не раз в Петербурге я фразу «*так будем играть*», то во мне подымался протест: под «*игрой*» разумелось — кривляние, «*трынтравизм*», снобистическая издевка; издевкою этой, как грязным плевком на лице чистой Музы, порою отталкивались мы от Музы самой, провисая в туман философии, в дымокуры словесные тяжеловесных собраний; д'Альгейм появился в такую минуту: ⟨— — —⟩. И лик Музы опять превратился в икону; поэтому был так он нужен и мне, и С. М. Соловьеву, надолго испуганным Петербургом; и я понимал, когда множество раз Соловьев признавался:

— «А знаешь, ли, Боря, — д'Альгейм, самый близкий он мне...»

Петр Иваныч хотел превратить путь искусства в духовное деланье, не обладая ключами духовной науки; иные же антропософы — обратно: имея ключи, не имеют конкретного понимания искусства; отсюда — поверхностный пафос средь многих адептов учения Штейнера: слушаешь их, — только слышишь: ⟨— — —⟩. А получается вместо искусства — искусственность вымученных аллегорий, где «⟨— — —⟩», «⟨— — —⟩», «⟨— — —⟩» гвоздит тебя с каждой строки распрепресных стихов; а в дорической строгости культа искусства и в пламенной проповеди д'Альгейма той «*пресности*» не было; была строгая фуга, хорал; совершенно обратно: поверхностный пафос в д'Альгейме вставал в разговорах о тайнах «*пути посвящения*».

. . . .

Мне запомнились вечера в «*Доме Песни*», Петровский и шахматы, и Л. А. Тарасевич и «*Апельсин*» Тарасевича; помнилась мне и Наташа Тургенева, тихим своим, словно вовсе придушенным голосом выговаривающая: «⟨— — —⟩». Сергей Львович Толстой, если он приходил, то садился у малого табуретика: перебирать пальцем клавиши; а Мюрат, походивший лицом на «*Мюрата*» (его не вовсе далекого предка), на шахматы пальцем показывал А. С. Петровскому: «Ну-с, садитесь, давайте»; Рачинский строчил своим словом; безмолвствовал Борис Сер-

* Будем играть (*фр.*).

геевич, младший брат Алексея Сергеевича, очень корректный студент секретарь «*Дома Песни*»; Наташа Тургенева, тонкая бледная барышня (я знавал ее прежде еще вовсе девочкой — с великолепнейшими, испуганными глазами и с личиком вопросительным и доверчивым, а не то ироническим, напоминающим очень лицо Микель-Анджеловской дельфийской сибиллы[227]), с каштановыми волосами, ей лоб обрамлявшими, — замкнуто, тихо сидела в тени; и Петровский шептал мне:

— «Ты обрати внимание на Наташу; ведь вот — удивительного размаха душа; она в прошлом году все читала Святую Терезу, имела экстазы какие-то, а вот теперь замыкается; днями сидит на диване; и думает думу какую-то; мы уж с Варварой Алексеевной побаиваемся».

А С. М. Соловьев разводил все руками:

— «Наташа, — да, да: или — просто святая, иль — просто...»

— «Что просто?» — подскакивало пенсне Алексея Сергеевича (был он защитником вечным д'Альгеймов, Тургеневых).

— «Что?.. Да не знаю я: „ведьмочка" — может быть?..»

Тут поднималась взволнованная защита Наташи:

— «Опять ты, Сережа, не так...»

— «Но позволь, Алексей Сергеевич! Я знаю, что я говорю, — я не „*мальчик*" Сережа: учить меня нечему...»

Вечно в те годы они натыкалися друг на друга.

В. А. Оленина (тетка «*Наташи*») всегда отзывалася о Наташе с взволнованной нежностью; Т. А. Рачинская все-то, бывало: «Наташа, Наташа!»... Так в воздухе дома д'Альгеймов стоял культ «Наташи», и говорилося: П. И. д'Альгейм чуть ее не боялся; напел мне он уши «*Наташей*»; поэтому часто видясь с Наташей естественно, как-то всегда сторонился (мы встретились после чрез «*Асю*»; и встретились — прочно).

Так коротали вечера: и Л. А. Тарасевич, ушедший в научные мысли свои, созерцая стоявший лимон, очень медленно выговаривал среди паузы между «*фыком*» Рачинского и вышипыванием какой-нибудь утонченнейшей мысли д'Альгейма:

— «Лимон!»

Все вздрагивали, а он продолжал свой ученейший мысленный ход, барабанил по скатерти пальцами.

В окнах стояла луна: голубела атласная ночь; ослепительно брызгалась искрами; грубые кубы домов вылеплялись тенями; чернейшие тени гранили белейший снег; и взревывала снегами зима; кутермились, кудлатились гребни трескучего свиста — из подворотен над трубами; дворник в бараньем тулупе отхрапывал там — с приворотной трухлявенькой лавочки, крепко присевшей в чернейшую нишь...

Мы с Петровским, с С. М. Соловьевым, иль с Поццо отхрустывали от Гнездниковского переулка по направлению к Арбату, пересекая Никитскую и перечерчивая заметенную мостовую Калошина переулка.

А закипевшие дымом шелка, пелены, парчи, снеги водоворотно просвистывали наши шубы и уши; мороз дедерючил носы; и С. М. Соловьев деловито провещивался:

— «Нет — д'Альгеймы, д'Альгеймы! Такою мне веют они чистотой, высотою: нет, ты не можешь понять, что такое теперь для меня Петр Иванович; чем-то сказочным веет от каждого слова его: точно мы из глубокого мрачного леса, где мучили нас всевозможные бесы, попали под кров благодетельного старого замка; здесь обитает добрейшая Фея...»

Поскрипывал мягкий снежок под ногами; С. М. Соловьев доводил меня до дому; в переулке Никольском стояли мы долго еще, вблизи Новиковского четырехэтажного дома, которого стены обложены были чистейшими, желтыми, глянцевитыми плитками (в этом доме я жил;[228] дом потом исцарапали крепко осколки здесь рвавшейся громкой шрапнели, которая мою маму едва не убила: то было ровнехонько через десять лет — в дни октября).[229]

. . . .

Перед сном я подолгу простаивал пред окнами, мысленно озирая Москву; и она распадалась в моем представленьи на страны какие-то: так из Малого Гнездниковского переулка отчетливо раздавался звук рога, и — рыцарь д'Альгейм или рыцарь Метнер томительно звали кого-то на бой; и откуда-то откликалось из дали Мясницкой едва достигающий уха — звук нового рога; никто не гудел рогом в прошлом году от Мясницкой; теперь — загудело: призывами на какие-то новые бои; засел там Бердяев;[230] и — вывесил флаг свой; и раздавались в пространстве между Арбатом и Сивцевым Вражком горячие зовы Петра Амиенского, проповедующего крестовый поход на неверных,[231] — Булгакова; прежде крепко носилась молва о Мерлине[232] Никольского переулка, открывшем здесь лавку древностей, но под прикрытием ее производившем алхимию опытов переплавления камня седой старины в эликсир жизни новой, — М. О. Гершензоне; а из «*Московского еженедельника*»[233] затрубил походом ⟨Е. Н. Трубецкой⟩. Тревожная нота подготовления к крестовым походам тогда ощущалась везде; в демонстрациях «*Дома Песни*», в собраниях религиозных философов, в подготовлении какого-то выступления, ударившего, как громом: явлением сборника «*Вехи*».[234]

Москва представлялася накануне жестоких идейных боев — кого с кем? Неизвестно еще: но все крепла уверенность, что идейное побоище будет; воинственный тон — креп и креп (не в одних лишь «*Весах*»);

и становища с подозрительным любопытством ощупывали друг друга в то время; и между ними спешили переезжающие на извозчиках адъютанты, бежали гонцы, вестовые; из «*Дома Песни*» в «*Весы*»; от Бердяева к М. К. Морозовой, к Астрову; группировались и разделялись, выстраиваясь в шеренги, образовывали весьма перепутанную и изломанную линию из сложенных многих фронтов, уставившихся друг на друга отверстиями пушечных жерл; и Рачинский, доселе всегда миротворец, в иных выражениях стал проявлять ему прежде несвойственный вовсе, воинственный пыл:

— «Вот мы... мы — расколотим: мы, мы...»

И хотелось воскликнуть:

— «Кто мы? я и вы? И — кого?»

Но Рачинский выпыхивал дымом, что «*мы*» есть Бердяев, Булгаков, Е. Н. Трубецкой, он и Эрн, и что «*мы*» расколотим всех тех, кто не станет под знамя, под «*наше*»: а знамя — «*Святися, святися, Новый Иерусалиме*»...[235] У Метнеров слышалось, что — да, да, будет, будет показано Каратыгиным критикам, Регерам, Дебюсси; и — д'Альгеймам.

Мобилизовались идейные силы Москвы; в перестрелке, в боях, в столкновениях вычеканивалась многогранная, новая, утонченная культура, которая скоро уже стала воздухом совершенно естественным; лишь потом, выключаясь из этой культуры, живя за границею, с удивлением узнавал, что обычная атмосфера идейной Москвы, круг идей, интересов и вкусов, конечно же, превышает столь многое, что меня окружало позднее на Западе. Люди Запада, полагавшие, что Москва есть «*Московия*», не имели ведь представления о единственной в своем роде московской культуре.

Среди этих раскинутых стонов идейных отчетливо, непримиримо и четко рогами гудели «*Весы*», объявляя поход: «Всем, всем, всем!»

О «*Весах*», «*Скорпионе*», сыгравших огромную роль, неоцененную объективно доселе, придется сказать мне подробней.

МОСКОВСКИЕ ДЕКАДЕНТЫ

«*Весы*», «*Скорпион*» — два созвездия смежных: зодиакальные знаки; в книгоиздательстве «*Скорпион*» двух созвездий тех не было: было одно: «*Близнецы*» («*Скорпионо-Весы*», иль «*Весы-Скорпиона*»). «*Ве-*

сы» был идейный журнал; книгоиздательство «*Скорпион*» было тоже идейным; быть может, идейней «*Весов*» оно было; оно началось до «*Весов*», продолжалося после; «*Весы*» лишь этап его жизни, и группа «*весовская*» была та же, что группа издательская, с одною лишь разницей; в жизнь «*Весов*» вошли Эллис, Борис Садовский, я, С. М. Соловьев, Ликиардопуло вместе с Брюсовым, Поляковым, Семеновым, Балтрушайтисом; между тем: не входили ни Эллис, ни я, ни С. М. Соловьев в «*Скорпионовы*» недра, а «*Скорпионы*» (С. А. Поляков, Балтрушайтис, Семенов и Брюсов) входили в «*Весы*»; и они-то суть подлинные «*скорпионо-весы*», то есть опять-таки «*Скорпионы*» — лишь с тем оттенением, что Брюсов в «*Весах*» доминировал более; и доминировали в издательстве «*Скорпиона*» три подлинных, коренных «*Скорпиона*»: С. А. Поляков, Балтрушайтис, Семенов, иль стан «*белокурых*», как мысленно я называл их в отличие от черного стана (Ликиардопуло, Брюсова, Эллиса).

Роль «*Скорпиона*» в культуре московской начала столетия — незаменима, огромна. Ведь надо признать, что во вкусах, в привычках, во всем круге чтения среднего интеллигента свершился огромнейший перевал; до начала двадцатого века едва знали Ибсена; о Меттерлинке откуда-то издали слышали; о Малларме и Верлэне лишь знали, что это какие-то непонятные не то выродки, а не то чудаки; Гамсун был неизвестен; о Чехове спорили (можно ли Чехова признавать или нет); и пределами модернизма считалися: Горький и также не всем известный Бальмонт.

В конце первого десятилетия нового века все то опрокинулось: в библиотеке каждого интеллигента вы видели даже не книги, а просто собрания сочинений: Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Меттерлинка, Оскара Уайльда; зачитывались Верхарном, Верлэном, Бодлэром, Ван-Лербергом, Роденбахом и Стриндбергом, Сологубом, Бальмонтом, Валерием Брюсовым, Блоком, Гюисмансом; а тот, кто хотел проявить себя более образованным, тот говорил о Тристане Корбьере, Жилкэне, Стефане Георге и Рильке; и разговаривал о Рэми де Гурмоне, прочитывая Вячеслава Иванова, Кузмина; тот наверное знал и Анри де Ренье; и, конечно, он слышал уже о Вильдраке, Ренэ Аркосе и Дюгамеле. Уже с книжных полок исчезли Потапенки, Баранцевичи, Альбовы; не проливали слезы над Элизой Ожешко, не увлекалися твердокаменными героями Вернэра: произошел громадный грандиозный сворот: литературное чтение до «*декадентов*»; и — после; до декадентов: Мачтет, Баранцевич, Потапенко; после — какой-то стремительный вихрь направлений до... Маяковского, Клюева, Пастернака (и прочих).

Сворот — в «*Скорпионе*»; могу я сказать, положа руку на сердце: пертурбацию вкусов, привычек и навыков в русском читателе произвел — «*Скорпион*»...[236]

Как поверить тому? Между тем это — так.

В конце прошлого века впервые на книжную обертку вдруг выползло экстравагантнейшее названье издательства, выползло среди всяких: «*Образований*», «*Польз*», «*Светочей*»[237] неорганизованное темное, бесполезное насекомое, осмелившееся издавать дикарей, недоучек, нахалов и выродков, о которых Россия узнала из нескольких хлестких пародий Владимира Соловьева;[238] пародии сотрясали животики; а объектов пародий не знали; конечно же, «*Пользы*» и «*Светочи*» вместе с гуманными сеятелями просвещения с негодованием *отвергли бы* предложение печатать таких «*идиотов*»: но грязное насекомое «*Скорпион*», надругаясь над вкусом, выкидывало на рынок за циником циника; вместе с тем: чуть не первою книгою, выброшенной «*Скорпионом*» на рынок, опять-таки оказалось произведение какого-то норвежского «*дикаря*» Кнута Гамсуна (помню, по этому поводу Гамсун так назван был); это был ароматнейший перевод Полякова (утонченного полиглота) с норвежского;[239] перевод так и канул; осталося в памяти критики впечатление ужаснейшего скандала; и впечатление скандала осталось, когда уже «*Сьесту*» и «*Пана*» прочла с восхищеньем Россия — в плохих переводиках, в скороспелых изданиях; «*Сьеста*» и «*Пан*» украшали столы всех присяжных поверенных; весьма тщательные издания поляковского перевода лежали на складе книгоиздательства «*Скорпион*». Приблизительно та же картина произошла с Пшибышевским, когда переводы Семенова гнили на складе;[240] а перепертыми переводами Пшибышевского вся Россия зачитывалась. Происходило же это в значительной степени оттого, что, само собой разумеется, «*Скорпионов*» замалчивали; критика от простой нелюбви переходила к остервенению по отношению к каждому жесту сего насекомого, неукоснительно попадавшего в цель открыванием новых и новых, вполне неизвестных имен, с той поры вопреки всем усилиям руководителей критики не сходивших с печатных страниц, с неудержимой стихийностью становившихся новыми знаменитостями; кроме того: «*насекомое*» завело даже орган своей пропаганды «*Весы*», объявило в «*Весах*» диктатуру на вкус, оно стало из месяца в месяц гвоздить Пшибышевскими, Гамсунами, Ренэ Аркосами, Маллармэ и Верлэнами: и — находило приверженцев, объявивших всеобщее истребление огнем и мечом всех традиций почтенных журналов; но самое возмутительное в «*Весах*» было то обстоятельство, что «*Весами*» провозглашаемые имена, неизвестные вовсе почтеннейшим Стороженкам,

Иванам Ивановичам Ивановым, через несколько лет признавалися корифеями западной критики; приходилося отступать по *всей* линии фронта; и даже: менять отношение к Гамсуну, затаивая неугасимейшую обиду на этих «*мерзавцев*», умеющих ловко подслушивать будущее, и говорилося: «Это хитрые и опасные штукари...» Происходила такая картина: книгоиздательство «*Скорпион*» выпускает в прекраснейшем переводе перл Гамсуна «*Пан*»; и — смущение: кто такой этот Гамсун? В Норвегии что-то не ценят его. Объявлялось, что Гамсун — дикарь. Возникают «*Весы*»; и гвоздят: «Кто не видит, что Гамсун огромный талант — тот дикарь и невежа...» И поднимается перебранка: «Дикарь!» — «Талант!» — «Вовсе кретин!» — «Гениальный художник»... И вдруг открывается, что какой-нибудь славный Брандес уделяет «*кретину*» внимание; в критике — бешенство по отношению к «*Скорпиону*»; конфузливое отношение к Брандесу, к Гамсуну; и компания, возглавляемая Стороженками, ищет формулу перехода от «*дикарей*» к «*гениальности*» — по кривой «*Дикарь!*», «Не лишенный таланта дикарь!», «Хотя дикарь, а талант!», «Дикий талант! Талант! Гений»... И в этой формуле перехода изжевывают зады из «*Весов*» (прошлогодних) без указанья источников, с разведением мыслей весовских ушатом воды; этим ушатом и начинает российская критика поливать из почтенных журналов читателей русских; тогда увеличивается на Гамсуна читательский спрос: и все Саблины, Скирмунты[241] приготовляют собрание сочинений (в плохих переводах): и ими захлебывается читатель: поймите же — до чего раскаляется ярость на этих «*проныр*» «Скорпионов» — на Балтрушайтисов, Поляковых и Брюсовых; за Гамсуном все имена, провозглашаемые «*дикарями*» «*Весов*» и отвергнутые «*почтенною*» критикой российскою, — разрастаются в имена знаменитых поэтов, писателей, критиков — как-то: Д'Аннунцио, Маллармэ, Меттерлинк, Шарль Ван-Лерберг, Реми де Гурмон, Август Стриндберг, Верхарн, Дюгамель, Вильдрак — кто еще!

Ах, что делать почтеннейшей стороженковской школе; и — Коганам; ясно, что им остается одно: перекрасившись, поплестися за модой, всей силою злости чернить «*молодцов*» из «*Весов*», обскакавших их на десять лет.

И действительно: эдакой ярости, какой нас поливали почти десять лет все газеты, журналы, еженедельники и т. д., — я никогда не видал; тех постыдных клевет, заушений, подуськиваний, подхихикиваний, передержек уже не встречалось по отношению к тем, кто сменил «*символистов*»; последующие высказывания по адресу футуристов, имажинистов и прочих — какие-то благороднейшие журенья отеческие; более того:

заискиванья; я не раз наблюдал отвратительную картину: какой-нибудь из «*почтеннейших*» критиков, некогда скрепя сердце заставленный нами, «*весовцами*», сжечь корабли свои, при процессе сжигания сих кораблей вдруг обскакивал механически нас, простирался из критики, благословляющей десницей своей к футуристам, божась, что заумный язык им усвоен, чтобы, повернувшись к нам и указывая футуристам на нас, зашипеть, задыхаясь от злости: «Ату их!» Я знаю и ныне почтеннейших критиков, вынужденных с очень ласковой миной встречаться с «*былыми противниками*», и знаю, что ласковость — мина, натянутая на кислейшее выражение; и все потому, что «*противник*» есть «*скорпионовец*», или — бывший «*весовец*». Что можно простить Маяковскому (в смысле новшества), то в тысячной доле вовек не простится нам, ныне уже не опасным, обогнанным. А — почему? Потому что мы связаны с «*Скорпионом*», с «*Весами*», т. е. с проломом насильственным многих критических лбов, бывших вынужденных всей силой стихий поплестись вслед за нами; им легче пасть в ноги последнему литературному эпатисту, «*сегодня*» договориться до понимания с Шаршуном,[242] чем простить нам позор — перемены позиций своих.

Я считаю, что подлинную революцию вкусов действительно произвел «*Скорпион*», захвативши насильственно монополию на все области стиля и вкуса; и — объявив диктатуру. С безапелляционной уверенностью ряд почтенных имен был развенчан, лишен прав гражданства; с безапелляционной уверенностью фаланга безвестностей провозгласилась талантами; с неуклонностью выброшенная платформа пригвозживала сознания критиков, с ней боровшихся, превращая сих критиков, незаметно для них, в бациллоносителей, заражавших статьями из толстых журналов всю массу читателей.

Тогда-то вот бой с «*Скорпионом*» вдруг принял другую инстанцию; критикою доказывалось: да, вы хвалите этих Бодлэров, Верлэнов, Д'Аннунцио, Пшибышевских и Гамсунов: «что ж, — это верно: они — суть таланты. А вы, так старательно присоседившиеся к ним, — кто вы? Только выскочки». В первой линии выскочками оказывались — Мережковские, Сологубы, Бальмонты: о Брюсовых, Белых не спорили даже. Потом производили деления: Гамсуны — это талантища; Сологубы — таланты; а Брюсовы, Белые — нет. Не прошло: Брюсов — «*выскочил*» в люди; и все вымещалось на Белом: он долго еще оставался мишенью острот и гримас. Наконец: пропустили и Белого в люди. Вот так-то случилось в годах: «*Скорпион*» и «*Весы*» — прошли в люди: насильственно, вопреки всем стараниям критиков, после вынужденных, скрепя сердце, уже не ругаться.

Такого упорного боя, как бой декадентов и символистов с рутиной вчерашнего дня, — больше не было: потому что тут образовывался настоящий пролом: штурмовалась огромная крепость; усиленно защищаемая бастионами всех журналов и армией критиков очень тогда популярных — ничтожною кучкой дисциплинированных и фанатичных солдат; дальше было уже механическое распространение по занятой области, иль *эволюция революции* стиля; такой *эволюцией* (*только*) считаю я футуризм и пучок разнородных течений, отсюда возникший; и в бое, который тянулся лет десять, шесть лет представляли собою «*Весы*» миноносец, с неудержимой отвагой и злостью напавший на броненосцы тяжелого «*Мира Божьего*», «*Вестника Европы*», «*Образования*», «*Русской Мысли*», «*Богатства*»,[243] на крейсеры, иль — газеты; «*Весы*» обсыпались снарядами, но, утопая, отстреливались, чтоб, окончивши быть, появиться опять броненосцем литературного отдела уже «*Русской Мысли*»,[244] чтобы литься в «*Заветах*»,[245] пробраться — horribile dictu — в почтенные «*Русские Ведомости*»; должен сказать: смерть «*Весов*» — героична; команде сего миноносца я уделяю внимание.

В 1908 году этой командою были: конечно же, капитан — В. Я. Брюсов, С. А. Поляков — ну конечно же, старший механик; М. Ф. Ликиардопуло — рулевой; Ю. К. Балтрушайтис — стоящий на вахте; я, Эллис, С. М. Соловьев, Садовский — артиллерийская часть. Так порой представлялись «*Весы*» мне. Сознание, что пока длится бой, нам нельзя разойтись, тесно спаивало пеструю группу людей, столь различных, глядящих в различные стороны, но прикованных в месте боя друг к другу какой-то железною дисциплиною. Или другая встает мне картина: малюсенькая группочка римских солдат, окруженная полчищами дикарей, сделав быстро testudo[246] из прочных щитов — уложила кругом себя горы из трупов, пока не окончила быть.

«*Весы*», «*Скорпион*» приютилися в «*Метрополе*»,[247] в громадном домине, где шиковала гостиница «*Метрополь*» и расшумелся огромнейший ресторан; этот дом образовывал угол падения Театрального Проезда с Театральной площадью: одной стороной он развертывал окна на сквер, что на площади; а другой стороною надменно поглядывал он на Малый Театр, от растерянности присевший между «*Мерилизом*»[248] и «*Метрополем*». Весь верх «*Метрополя*» пестрел ярким кантом слащавой мозаики Головина, изображавшей различные действия «Грезы» Ростана;[249] а вечером розовокрасное электричество раздражающе вспыхивало от подъезда гостиницы, от ресторана; и бредилось здесь, в этом морочном месте.

Поднявшися по проезду наверх, до угла (где стена, отделяющая от Никольской, с воротами), завертывали вы за угол, шли в подъезд со двора, поднимались на третий этаж; и попадали перед дверью «*Книгоиздательства Скорпион*» в небольшие две комнатки; первая: стены — в полках, набитых изданиями «*Скорпиона*»; а у окошка малюсенький столик; за столиком же Василий, бессменный служитель, ценитель и друг «*Скорпиона*»,[250] здесь принимающий запись на книги, подписку и прочее, в синеньком пиджачке, с ярким галстухом разлилового цвета, с задорными усиками, со смеющимся, несколько забиячным лицом, небольшого росточка; он — все понимает: литературную линию наших «*Весов*»; еще больше он понимает огромное преимущество скорпионовских книг перед всеми другими и полную некультурность читателей, предпочитающих все другие издания скорпионовским; он ненавидит газетчиков и соучаствует в внутренних «*прях*» того с этим и этого с тем, очень часто отпрашивается у С. А. Полякова развлечься: тогда надевает он на голову котелок, облекается в синего цвета пальто; и фланирует по Кузнецкому мосту, раскланиваясь с этим, с той: прекультурный служитель! Валерий Яковлевич Брюсов, изморщивши лоб, принимался бывало роптать на Василия:

— «Вообще говоря, — не понимаю я, чем тут занят Василий; он, кажется, разленился совсем... Но ничего не поделаешь... Сергей Александрович: причуды его...»

В свою очередь, отвечает Василий на эти попытки его пошатнуть в «*Скорпионе*», бывало, — безмолвным сочувствием ко всем стараниям Ликиардопуло: пошатнуть В. Я. Брюсова (что проявилось в последних годах бурной жизни «*Весов*»).

В первой комнате — царство Василия: столик, издания «*Скорпиона*», печатки, расписки, пальто, котелок и Васильина трость.

Во второй комнатушке — суть дела: какая же это редакция? Это, скорее, кокетливая, художественная лавчонка, таящая самые разнообразные ценности; тут громоздятся текучие груды предметов: от книг до фарфора; и тут же закиданный рукописями и корректурами письменный столик; напротив — диван темносиний, два-три мягких стула, две-три интереснейших полочки, шкапчик, уставленный всевозможнейшими безделушками, часами, фарфором; на стульях, диване, порой на полу — преогромные фолианты in quarto; и больше: старинные экземпляры редчайшей гравюры, иль рассуждения мистика Вронского среди ярких каскадов цветных, вероятно, бельгийского, датского или голландского чудака-модерниста, презренного критикой Бельгии, Дании, но переславшего сюда опыты для репродукции их в ближней книжке «*Весов*», иль, мо-

жет быть, для услаждения взора С. А. Полякова, зовущего подглядеть на чудачество Николая Петровича Феофилактова, ковыряющего зубочисткой во рту над каскадами этими; натыкаетесь вы на С. А. Полякова, подслеповато глядящего небольшими добрейшими хитрыми глазками на тот морок красок; его голова, вся ушедшая в плечи, являет в нем что-то от гнома, когда своей желтою бородою, поставленной наискось, он продолжает вперяться в рисунки, мигая совсем исподлобья и легкой плешью посматривая в подпотолочные выси... смеется кривою немного улыбкой; краснея отчетливо маленьким носиком; спелой редисочкой; в желтом во всем; напоминает цветок — курослеп, желтый лютик (пожалуй, глазунью яичницу); К. Д. Бальмонт посвятил свою книгу стихов, между прочим, и «*нежному, как мимоза*» С. А. Полякову;[251] С. А. был конфузлив и нежен, как листья растения, называемого «*не тронь меня*»; тронешь — сожмется. Войдешь, и заставши С. А. Полякова над рисунком, уж знаешь, что будет:

— «Что это, Сергей Александрович?»

— «Так себе — гм-гм-гм — это: один молодой человек, из Голландии... гм-гм!..»

И всё — уберется; и — потираются руки:

— «А что вы даете нам?»

Слушает:

— «Так: так: так: что же — прекрасно...»

И знаешь, что это «*прекрасно*» — рассеянность: на уме же С. А. созревает уж замысел:

— «А не издать ли рисунки голландца книгоиздательству „*Скорпион*"?.. Черт возьми: и в Голландии ничего не известно об этих рисунках; а мы их — в Москве!..»

И наверное: лет через десять голландец прославится.

Или же он украдкой поглядывает, подавая мне реплики, на невзрачную книжечку, брошенную тут на синий диван, вероятно, грамматику тюркского языка; он ее захватил в «*Скорпионе*» из амбара (отсиживает до обеда в амбаре: что делает — Бог его знает: отсиживает — с грамматикою экзотического языка: не занимается же торговыми предприятиями: «*поляковскими*» предприятиями; какой он торговец?).

Однажды накрыл в «*Скорпионе*» его, когда все разошлись (очень часто С. А. заводился тогда в «*Скорпионе*»), *Василий* был услан; Сергей Александрович быстро шагал среди полок фарфоров и книг, зацепляясь за угол стола, где блистательно красовалася выставка всех декадентских журналов Европы («*Химеры*», ⟨— — —⟩[252] и других), зацепляясь за угол стола, скосив голову набок, покашиваясь на меня

недовольно, приблизивши к носу какую-то книгу и пережевывая тарабарские корни:

— «Что делаете, Сергей Александрович?»

— «Гм-гм-гм, — и подставилась мне пресутуло спина его, желтая, и посмотрела из желтых волос его плешь, — гм-гм — так: изучаю грамматику».

— «Какую?»

Совсем недоверчиво из-за желтой спины посмотрел кончик носика:

— «Корейского языка...»

Европейские языки были пройдены; ближневосточные языки не могли представлять интереса (арабский, персидский, турецкий); и оставалися дальневосточные; он с тою же легкостью одолевал языки, с какой мы поедаем с зеленым горошком язык, подаваемый к завтраку.

В комнатке вы натыкались на странные домыслы, вкусы; и антикварная редкость перекликалася с рукописью модерниста, придавленного на столе пресс-папье из стекла с внутри впаянным скорпионом; стены завешены были от потолка до полу эскизами и картинами современных художников (Сапунова, Арапова, Феофилактова, Ларионова) — среди которых — совсем тяжелая золоченая рама; внутри же — Иорданс, где-то найденный тут; соединенье Иорданса и Одильона Рэдона, Агриппы с стихами Бальмонта — вот стиль этой комнатки; стол — пребольшой, за который всегда зацеплялись (ведь тесно!); на нем — пестрый веер обложек последних журналов: французских, английских, немецких, болгарских и новогреческих; каждый предмет, попадавший здесь, перещупывался, чуть ли не нюхался, чаще всего Поляковым: а после торжественно представлялся вниманию:

— «Полюбуйтесь — Агриппа...»

— «Смотрите: церковная ткань, вероятно, XVI столетия...»

— «Новый рисунок Рэдона...»[253]

Комнатка представляла собой органический беспорядок, вполне воплощающий ряд парадоксов; и тесно здесь было всегда, как в каюте, как в кухне; да, да: несомненно, — редакция «*Скорпиона-Весов*» была внутренностью ныряющей под водою, пускающей мины предерзостно лодки, снабженной великолепным техническим аппаратом, легко позволяющим из-под моря сноситься при помощи лучей «N» или «Т» с Веной, с Лондоном, с Вашингтоном, с Афинами; всюду чуялися беспроволочные телеграфы какие-то: и С. А. Поляков, свою голову прятавший в фолианты, напоминал мне особенно мореплавателя, изучающего карты подводных глубин, или медленно дешифрировавшего шифры афинских известий: «Топите такого-то критика, покушающегося на Маларики-

са!»[254] В. Я. Брюсов, покрикивающий в телефон, представлялся дающим приказ потопления последнего номера, бударахающего по нас пушкой «*Богатства*»; особенно представлялся минером всегда суетящийся на пространстве пяти лишь шагов Ликиардопуло, секретарь,[255] на которого все натыкались: сухой, бритый, тонкий и с бегающими глазами, пречерными, с острым, сухим темным носом, с оливковым цветом лица, сквозь который порой проступали румянцы перевозбужденной досады и гнева, безукоризненно выбритый, с четким пробором приглаженных черных волос, тарахтахтахающий очередное, весьма уличающее замечание о покушениях на издание Оскара Уайльда и торопящий — «*скорее, скорее давайте заметку, а то — не успеем*», — в своем шеколадно-коричневом пиджачке и в штанах с четкой складкою, в галстухе синем, проколотом острой булавкою, заменяющий, если нужно, — В. Брюсова, если нужно, — С. А. Полякова, ответственный в проведении дела о потоплении миной того-то, иль этого, переходящий со всеми на «ты» (что ему не мешало, где нужно, топить эти «*ты*»), — вот каков этот юркий, политиканствующий до прозорливости и сухо-страстный до бешенства ликвидатор мещанского вкуса, манер, расправляющийся с изданиями, нам враждебными (т. е. со всеми), нечеловечно и круто; он был здесь душою текущей работы; и на него натыкалися чаще всего; он всегда вас встречал, вытарахтывая своим голосом, точно пó полу разравнивая костяные, английские пуговицы:

— «Какая гадость?.. Читали?..»

— «Нет...»

— «Так прочтите».

Подсовывал номер журнала, где Ляцкий, Горнфельд, Кранихфельд, Абрамович иль кто-нибудь крепко разделывал нас.

— «Наглость: свиньи... Сплошная ложь!..»

Вспыхивающий лихорадочный, южный румянец показывал, что замышляется новая «*месть*» англо-грека (по матери был англичанином он) за попрание «*Скорпиона*»; был зол; суетяся — наталкивался на книги, на стулья, спешил, обрывал разговор, иль влетал в него быстро; повертывал всё какие-то рычаги, управляя лавированием меж подводными корпусами враждебных судов журналистики, рыскающих прожектором, чтобы нащупать нас, потопить; и я думаю, что сухая ярость М. Ф. постоянно питалась потоками вырезок, посылаемых «*бюро вырезок*»; можно было навеки изъяриться от лжей и клевет, принадлежавших не только газетным статистам, но пресолиднейшим критикам, возглавляемым отживающей профессурою; Ликиардопуло все, бывало, ткнет пальцем — читаешь шедевры: «*Терпеть не могу этого старого*

слюнтяя». И подпись «Тэффи» (из рецензии в «*Речи*» на книгу «*Пепел*»).[256] Подумаешь: мне еще 27 лет. Иль покажет заметку Измайлова о «*Серебряном Голубе*», то есть ряд фраз из всех глав, механически склеенных — без многоточий с фразою: «*Потрудитесь понять что-нибудь!*»[257] Иль покажет заметку о бедном портрете моем, появившемся где-то на выставке: стоит-де посмотреть на портрет, чтобы ясно понять по нему, какой Белый ломака; посмотришь с десяточек вырезок, — волосы дыбом становятся; Ликиардопуло же проглатывал сотни рецензий; и потому-то всегда ходил злой, перекошенный, вытарахтывая:

— «Тах-тах-тах... Бить их в морду... Тах-тах... Раздавить... Церемониться нечего...»

Атмосфера «*Весов*» была зла, деловита, суха: и — безжалостна по отношению к всему благоглупому, мягкотелому и расплывчатому; я понимаю, что только железною диктатурой провозглашаемых вкусов, порою прегрубым срываньем мастистостей краткими «*бездарность*», «*дурак*» можно было навеки из критика выпроводить дух Веселовского, Стороженок; и — прочих.

«*Весам*» того времени выпала черная роль: быть душителями душителей; лозунг весовский — «*топи, сколько можешь*» — был лозунгом переходного времени; до «*Весов*» был один подход к слову: а после — другой.

Кроме этих практических действий моренья в «*Весах*» под водой, в глубине океана производились иные манипуляции: получались известия с четырех сторон света: из Мюнхена извещал Элиасберг о новом походе на Моргенштерна;[258] а из Афин доносилося: «Поддержите Маларикиса»; Ликиардопуло, Брюсов, обеспокоенные, готовили для последнего номера реплику, правильно оценимую только в Афинах, иль в Мюнхене, а — не в Москве; сообщенья «*Весов*» представлялись имеющими не наш, русский, характер; скорее, космический смысл открывали они; и потому-то и номер «*Весов*» выходил в авангард европейской, не русской, культуры, оправдывая свои домыслы через 10 лишь лет в измененьях рельефа движений искусства; в момент появленья — казался случаен.

В «*Весах*» вы не знали, где вы: «*Москва*» с «*Метрополем*», откуда являлся часам к четырем пообедавший там Поляков, в сопровождении Михаила Николаевича Семенова в вечном цилиндре, и с вечной сигарой во рту, белокурого, розовощекого, пышащего здоровьем и смесями грубости с утонченностью, — все отходило: подводная лодка несла вас, быть может, с Немецкого моря по направлению к Адриатике.

У «*Весов*» была сложная роль в заграничном отделе, совсем москвичу непонятная; великолепно представленные отделы французской, бельгийской, английской литературы весьма не ценились журнальною русской критикой; зато в Бельгии знали «*Весы*»; ⟨— — —⟩ с благодарностью относилась к «*Весам*», и позднее, когда я был в Брюсселе, то указанье на то, что я раньше сотрудничал в «*La Balance*», открывало мне двери повсюду; и, вероятно, я также был принят бы в дальних Афинах, в Италии; Джиованни Папини — сотрудник «*Весов*»; Реми де Гурмон был сотрудником тоже; и тоже — лорд Морфиль, весьма уважаемый деятель.

Линию тонкой весовской политики не понимали; чрез десять лишь лет появились статьи об Аркосе, Вильдраке у нас; что писалося об Аркосе в «*Весах*»,[259] не прочли; и не знают: Аркос был сотрудник «*Весов*»;[260] интересовались развенчанием «*Потапенок*» и «*Алексейвеселовщины*»; ругали «*Весы*», потому что Надсон не главенствовал: Пушкин и Тютчев — не Бунин — царил, — К. Бальмонт, Брюсов, Блок, В. Иванов, З. Гиппиус; «*весовцы*» считалися негодяями просто: и те негодяи — Д. С. Мережковский, З. Гиппиус, Розанов, Бальмонт, В. Иванов, Ю. К. Балтрушайтис, профессор Оксфорда лорд Морфиль, Реми де Гурмон, Джиованни Папини, профессор А. Лютер, известнейший Элиасберг, Чуковский; и — прочие.

Самыми исконными «*скорпионами*» «*Скорпиона-Весов*» были: сам Поляков, Балтрушайтис, Семенов и Брюсов.

Предо мной возникает Сергей Александрович Поляков, математик и полиглот, разгрызающий языки, как орехи; он первый примкнул к «*декадентам*»; создал «*Скорпион*»: и провез «*декадентство*», провез «*символизм*» сквозь минированные бойкотом и бранью проливы — к широкому полноводному плаванью;[261] в трудные миги раздоров внутри «*Скорпиона*» своей миротворной и мягкой рукою он сглаживал острость углов; вырастал; водворивши порядок, стушевывался — под фолиант: в уголочек; он был добродушен; когда начинались «*при*», задвигался, как гном, он рисунками полочек «*Скорпиона*» и книжищами «⟨in folio⟩», обнюхивая фолианты те кончиком спелого носа; оттуда поглядывал; «*при*» прекращались: и он выходил из ⟨— — —⟩, поглядывая голубыми глазами, поревывая, и поставивши вкось свою бороду (лысинка уставлялася в стену):

— «Ну, стоит ли... Образуется: пустяки!..»

«*При*» случалися с Эллисом, с Ликиардопуло, с Брюсовым; «*при*» разгоралися не раз между мной и В. Я.; я письмом извещал Полякова о выходе; он откликался письмом, гарантирующим мне свободу; и — я возвращался.[262]

Он был очень осведомлен о политике нашей, предоставляя нам право вычерчивать линию поведения, лишь ретушируя линию эту смягченьем углов, чтоб уткнуться в «*свой угол*», отдельный от нас, на который уж мы не могли посягать; здесь господствовал он: утыкался в художественное украшение, в концовочки и в заставочки номера; странные вкусы имел, преутонченные до... до...; не знал, где утонченность переходит в пристрастье, напоминающее пристрастие... к глине, к жеванию мела, к грызне уголечка; я видывал странных субъектов:

— «А, знаете ли, после завтрака, так себе уголечек погрызть — неприятно!»

Казалось: утонченность Полякова доходит до... — не безвкусицы: перевкусицы, что ли? До странных обедов; казалось, не раз, будто он, прибежав в «*Метрополь*» из амбара, перетирая над карточкой блюд с удовольствием жаркие и сухие ладони, подмигивал: «*человеку*»:

— «Нет, знаете ли, — не по карточке мне!»

Начиналися выборы пищи; а после обедал; ему подавали: раствор мела и угля; кусочек поджаренной глины (жаркое); запивши стаканчиком доброго керосинчика, переходил он к помаде губной, присыпаемой битым стеклом; и потом подавался кусочек (тончайший!) казанского мыла (то — сыр); предъявлялся огромнейший счет.

Так порой обстояло со вкусами: очень ценил, понимал и любил примитив; с той же легкостью, с какой он прошел по пятнадцати языкам, прошел он по заданиям модернизма (санскриту, арабскому): тут уперся в эксперименты над супер-модерном, которые соответствовали изученью корейской грамматики; проявлялися в нем интересы к отыскиванию среди красочной палитры, инфракрасных и ультрафиолетовых красок, не видных обычному оку, которое воспринимало в сем месте, сияющем красочно, разве что *тусклости*; в *тусклости* зренья и в *пресности* своей перевкусицы он погружался с восторгом; так в области линии палец его нам указывал только на линии четырех измерений; вставала картина во мне: Полякова, отведывающего керосинчик, поревывающего, что рисунок Рэдона (иль суп из астральных бацилл) совершеннее всех современных рисунков, за исключением *загогулины* Феофилактова, производимой пером, шутки ради; меж зевом, способным сломать ему челюсть; и — поковыриванием в зубах: Бердслея любил Поляков; и — вот все-таки: в Феофилактове ему виделся — превзойденный Бердслей; *Феофилактову загогулину* выгравировали: и она появлялась из номера, ему посвященного; мы становились в тупик: то — безвкусица, иль — перелет вкусовой; в других случаях он проявлял удивительный вкус, прозорливо хватая лет за десять до новейшего откровения вкусов, оп-

равдывая поляковскую наблюдательность (необходимость введения глины в желудок в таких-то желудочных недомоганиях):

— «Видите, а вы говорили», — поревывал Поляков, перетирая с довольством сухие ладони свои.

Он был исключительно скромен: он — не любил представительствовать, появлялся с конфузливою улыбкою в уголочке, у стенки; и — всем подставлял свою спину и плешь, чуть покрытую желтеньким пухом; я вовсе не видел его в сюртуке; он ходил в пиджачках желтосерого, желтого, серого цвета; на чествованиях все-то Гриф-Соколов разлетается басом, от имени «*Грифа*»; от имени «*Скорпиона*» С. А. никогда ничего не сказал; правда, глядя на скромную эту фигуру, совсем не сказали бы, что это и есть «*Скорпион*» — скорпионов; и он ничего не писал; впрочем, раз появился весьма обстоятельный кропотливый обзор, если память не изменяет, грамматик весьма экзотических — с подписью странной: Ещбоев;[263] «Ещбоевым» высунул кончик он носа из мелкого шрифта «*Весов*», чтобы, спрятавшись быстро, сидеть под страницами там; шелестело — какая-то кухня там шла: там сидел Поляков.

Поляков был в прекраснейших отношениях с Балтрушайтисом,[264] появлявшимся в комнатках реже; всегда натыкался на Брюсова, Ликиардопуло; «*Юргис*» же здесь оказывался случайно зашедшим, в пальто с желтизною, с такою же шляпой, склоненным на полку руками:

— «Мне здесь надо дождаться бы...»

— «Мне здесь надо сказать...»

И потом он вставал; и — вздыхал:

— «Ну, пора!»

Балтрушайтис, — Бальмонт его назвал «*угрюмый, как скалы*»;[265] и — да: как утес, запахнувшийся в тучи, которые висли с чела, из ущелья надбровной морщины; из этой морщины несло вечным холодом, сосредоточенным холодом: Стриндбергом, Ибсеном (их он любил, понимал, редактировал); и казался весьма переряженным в партикулярное платье Зигурдом,[266] не Юргисом; все-то сидит и струит из ущелья туман, перекладывая ногу на ногу, во всем светлосером, напоминающем цвет норвежской скалы; в передрягах — ни звука, ни мнения; крякнет, — кажется: он вымалчивает роковое решение — встать, размахнуться мечом, оказавшимся в крепких руках: перейти от молчания к делу; а он — улыбнется совсем неожиданною, успокоительною улыбкой; глаза же, казавшиеся цвета серых туманов Нордкапа,[267] — проголубеют уютностью; и несомненно покажется: эти глаза — не туманы; только синие цветики с луга литовского, около Ковно; он встанет; и — выбасит:

— «Мне что-то надо сказать; только — вот...»

Посмотрев на часы, он прибавит:

— «На днях, как-нибудь: а теперь — мне пора».

И — исчезнет: гуденьем напомнит какого-нибудь Олафа,[268] трубящего в рог, — проходящего в Остедальское ледяное поле, и — дальше: к полярному кругу.

Приглядываясь к Балтрушайтису ближе, ты понимаешь, что «*викинг*» и «*холод*» — завесы, утаивающие миротворную тишину, золотое и теплое солнышко луга: и никакого полярного круга — не может тут быть; он с немного скептическим видом глядит, отрясает свой пепел, поставивши локоть углом, и внимательно, наискось как-то поставленным глазом, моргает на вас из-под двигающихся поперечных морщин, когда тут обсуждается бурный вопрос о полемике, чувствуешь, это — откуда-то взявшийся тихий помощник; и — видишь, такой добродушный, чуть-чуть покрасневший, уставленный нос: миротворнейший нос! Среди самого ярого разбега страстей встанет он не мечом размахнуться, а подойти очень медленно; и очень медленно выгудить, что... —

— «Мне надо... тебе...»

— «?»

— «Сказать что-то...»

Мирен — во всем: продолжение линии Полякова; средь жалящих мир и друг друга «*весовцев*» (Ликиардопуло, Брюсова, Эллиса, Садовского); где можно, лиет примирительные елеи; и в том — его линия; просто какое-то романтическое дыхание, вздох о добре, и о крестном страданьи — провеет из-под «*скалы*», о которой поведал Бальмонт; она — облачко, перепитанное лучами «*Весам*» не присущего солнышка; и «*мне надо сказать тебе*» — означает:

— «Потише, — не кипятись: не бурли... Все само собой образуется... утрясется, уляжется...»

Множество раз обещал он мне что-то сказать; и — молчал, поглядев на часы:

— «Я приду к тебе завтра: теперь — мне пора».

Исчезал: и — не шел; проходили недели; и — снова:

— «Мне надо сказать!»

Я ждал, что он скажет; и — не рассказывал; лишь с добротою поглядывал из «*Скорпиона*»; другие вели наш корабль с усложненнейшими компасами, со сложной системой манометров; Балтрушайтис прогуливался по палубе; только бездействовал; вот — натыкались на мели; и — Брюсов хватался за голову; Ликиардопуло юркал, как мышь; Балтрушайтис, доселе бесцельный, свой нос уставлял; и — гудел:

— «Надо плыть — к юго-западу...»

Вел он — по «*звездам*».

Коль мы вопреки всем грызням еще двигались спаянною шеренгой в годах — то моральную силу давали: С. А. Поляков и Ю. К. Балтрушайтис, тишайшая белокурая, голубоглазая и красноносая парочка; и одевались в цвета: светлосерый и желтый; поревывали: Поляков — с отклоненьем в фагот, Балтрушайтис — в огромнейший рог (Ликиардопуло бил барабанными палками, Эллис же — балалайкой; а Брюсов — охрипшим смычком); оба в жизни «*Весов*» проводили какую-то инструментальную тему, лишь изредка подкрепляемую валторной Семенова; и создавался — «*весовский*» оркестр.

Балтрушайтис — воздействовал: действовал — мрачною кротостью и флегматическим видом; в минуты опасные он устремлялся к положительному, к нераздельно-целому, к «*главному*».

Голубоглазый, с пробритым отчетливо-розовым подбородком, глядящим надменною ямочкою, с пушистыми белокурыми усами (после — безусый), с щеками презозовыми и покрытыми красными жилочками (тоже жилки на носе), высокий и стройный, умело он прятался в мрачность, являющуюся от складки между щеками и ртом, от отчетливых, поперечных морщин его лба; и над лбом всё вихрячились очень светлые волосы; так, когда поперечной морщиною бороздился высокий его умный лоб, а глаза, заморгав, начинали поглядывать на кончик красневшего носа, который он вбок заворачивал, — все-то казалось: вот-вот чихнет; это «*чох*» Балтрушайтиса (был такой «*чох*»), направлялся на все суетливое, временное и поверхностное в «*Скорпионовой*» жизни; а ямочка подбородка — как бы говорила: «Ведь вот вы всё возитесь с аппаратами управления, с картами: лучше глядите на звезды, плывите под звездами».

На протяжении 20 с лишним лет — ни одной легкой тени не встало меж нами; а где ни встречалися: в «*Скорпионе*», в «*Весах*», у художественников,[269] в Кружке, в клубе русских писателей, в книгоиздательстве,[270] и в Союзе Писателей, в разных отделах «*Тео*»,[271] в «*Наркомпросе*» и, наконец (что страннее всего), в литовском посольстве, где он, полномочный посол, пропускал чрез Литву меня;[272] там он сказал, как когда-то в «*Весах*»:

— «Очень жаль, что ты едешь: мне надо сказать тебе, но...»

Посмотрел на часы:

— «Я скажу тебе... в Ковно...»

Со взором — нордкапским туманом — засел в свой посольский *авто*.

Он дарил неожиданно: великолепной улыбкой; или гудением тусклого рога всегда неожиданно он принимался передо мной выводить углубленные пропасти мудрых, покрытых туманом, узнаний, обычному пониманию не доступных, как будто мы с ним говорили века и условились в чем-то огромном; потом мы молчали — столетие; вот наступила пора, — «*вновь условиться*»; впрочем, — спешить-то ведь некуда: наговорившись веками и век помолчав, можно было лет двадцать друг другу отрезывать:

— «Надо мне — что-то сказать!»

Наговоримся — но только не здесь: а *там* — в Вечности; и потому — время терпит.

Он — тот, кто всегда ощущает, что небо — над нами; и — ходит под небом; не потолок «*Метрополя*» над ним, или посольства литовского; он потолков не видал; потолок повисает над Брюсовым; сколько раз видывал вместе сидящими их у Брюсова, над головою которого низкий бревенчатый потолок; особняка на Цветном, дома Брюсовых;[273] в месте же, приходившемся над макушкою светложелтого Балтрушайтиса, был потолок дома Брюсовых выломан; в выломе — голубое глубинилось небо; а под ногами паркетного пола особняка дома Брюсовых, под Балтрушайтисом, не было пола, а — спелая нива златилась; однажды он что-то такое сказал мне — о ниве и солнце; и тут в подтверждение слов своих басом прочел мне — о ниве и солнце; и понял, что все, о чем тайно пророчит он нам в городах своим тусклым молчанием, — нива и солнце; он «*что-то*» свое уже высказал (трудно припомнить); но — понял: в свершеньях благих, полевых, мировых, златонивных и солнечных он; все ж стихи его — нива и солнце.[274]

В годах вырастал предо мной он поэтом; из крупного он вырастал — в очень крупного; кто медитировал с очень крутыми стихами его, навсегда у того солнцевеет под сердцем.

Носил в своем сердце он церковь полей; в ней служил; вынимал из кармана (того, что над сердцем) он изредка беленькую бумажку, и «*мрачный, как скалы*» гудел — *стихотворение Юргиса Балтрушайтиса.*

В нем же сказано было все то, что хотел он сказать без стиха; потому-то слова, им бросаемые («*надо в чем-то условиться*»), — не достигали: сказали, условились, перекинулись строчкой стихов, вынимаемых из кармана — пиджачного, левого, присердечного; перекидывали когда-то молчанием:

— «„*Весам*" — надо быть!..»

Это значило: быть не журналу — созвездию, зодиаку, всем звездам; и — небу над ними.

Таков Балтрушайтис.

. . . .

В «*Весах*» разделялись на *белых* и *черных*; одни — белокурили, а другие — чернели: растительностью; Поляков, Балтрушайтис с Семеновым — белокурили (в эти же годы Семенова редко я видел: он жил за границей);[275] и партия «*черных*» — естественно переполняла «*Весы*» раскаленностью, злостью, стремлением утопить, посадить в дураках; представители этой тенденции — Ликиардопуло, Брюсов и Эллис; Ликиардопуло был тем самым лицом, кто технически приводил в исполнение адские замыслы (Брюсов высиживал их).

Ликиардопуло — спичкообразный, с заостренным носом, сухой, переучерный и бритый, с оливковым цветом лица: он низал очень быстро, отчетливо, точно разранивая, как пуговицы на полу:

— «Тарарах-тах-тах-тах! Тах-тах-тах-тарарах!»

Суетился какими-то сухоярыми местами; их проводил в исполнение с видом таким, будто нет ему времени даже присесть; коль присядет, то тотчас же вскочит, — к пакетику с вырезками «бюро Прессы», иль к телефону:

— «Тарах-тах-тах-тах!.. Тах-тах-тах-тарарах!»

Вел оттуда, из маленькой комнаты, до десяти, до двенадцати мин; и на случай захвата противником минного коридора, — под ним в то же время он вел коридор контр-минный, перебегая из минного коридора в контр-минный; и из контр-минного — в минный; потом — все взрывалось:

— «Тарах-тах-тах-тах!»

Встречавшись, вы вводились ⟨in medias res⟩ очередного сраженья, где надо сию же минуту примкнуть, иль быть взорванным; и — «тах-тах» — раздавалось:

— «Вот напишите заметочку — об изданиях Оскара Уайльда: вы понимаете — свиньи: мои узурпировали права. А издают с опечатками...»

Годы имел он какую-то авторизацию на Оскара Уайльда;[276] и годы боролся с ужасными правонарушениями; питал нежность к Уайльду, собой представляя смесь английской тонности с явным пристрастием к миру оливок и греческих губок; был сильно замешан в пропагандировании новогреческих авторов, писывал обстоятельные обзоры их творчества, которые я не читал; там пестрило страницы все имя «*Маларикис*» среди множества деятелей на «*-опуло*» и на «*-каки*»; сих «*как*» — не знавал; оставляли холодными и тирады М. Ф., что события мировые зависят от проведения: «*-опул*» сквозь строй русской критики.

— «Как же, — ведь сам „*Мореас*" — Папондопуло: ведь Мореас — псевдоним; настоящая же фамилия — Папондопуло...»[277]

С тою же суетливою сухостью был он замешан во всех закулисных интригах: Художественного Театра, доказывая, что театр этот надо ругать и ругать и ругать; сам же бегал туда ежедневно; и наконец — так вбежал, что не выбежал, став секретарствовать там[278] и взорвав контр-миною свою мину в «*Весах*»; также кровно замешан был в «*мести*», которую мы замышляли Иванову, Блоку, Чулкову за посягательство на чистоту символической линии; и агитировал он очень-очень в газетных редакциях «*Утра России*» и «*Русского Слова*» по этому делу; накидывался с торопливою сухостью то на меня, то на Эллиса:

— «Знаете, Блок-то... Иванов-то... А?.. Каковы?..»

И — «тарах-тарарах» — раздавалось:

— «Довольно... Иссякло терпение: нечего, нечего церемониться...»

— «В морду бы им... вот что надо...»

Добродушный С. А. Поляков, очень нежно всегда относившийся к сухоярому Ликиардопуло, защищая его перед Брюсовым, тихо выревывал, показывая из фолианта — редисочку-носик:

— «Ну, это вы... Михаил Федорович... уж слишком».

М-да: скорпион «*Скорпиона*», С. А., был далек от каких бы то ни было скорпионовых жал, походя на большую, нелепую, желтоватую бабочку, добродушно трепещущую пыльцовым своим крылышком — над большим фолиантом.

И «*Скорпионом*» — был Брюсов; высиживал главные «*скорпии*» он — против толстых журналов, в которые скоро вошел, против критика Айхенвальда, которого скоро сменил в «*Русской Мысли*»;[279] имел же невидимый, жалящий хвост, им высовываемый между сюртучными фалдами; Ликиардопуло был пока что — «*скорпиончиком*», но — обещающим; тоже меж фалдами фрака, такого (такого, что «ах!») — вечерами в него облекался, — меж фалдами этими быстро просовывал он ядовитый крючочек, все росший и росший (до явных стремлений ужалить и Брюсова); стал он доказывать нам, что В. Я. уже снюхался с «*Русскою Мыслью*»; ведутся таинственные переговоры уже с Кизеветтером о ликвидации нас[280] (через несколько лет В. Я. Брюсов действительно стал заведующим литературным отделом здесь), и многие «*скорпии*» высыпал он на Брюсова; Брюсов же нас уверял, что М. Ф. человек — предвусмысленный, неблагонадежный; и — даже...; С. А. Поляков начинал тут выревывать тихо, являя из книжища спелый свой носик:

— «Ну, это вы... Валерий Яковлевич... слишком...»

Когда я смотрел на сих двух «*скорпионов*», с сухой торопливостью перебегающих от предмета к предмету — «Михаил Федорович! Валерий Яковлевич!», — виделась мне другая картина: Ликиардопуло, Брюсов, стремительно повернувшись друг к другу задами, раздвинувши фалды своих сюртуков, протянули меж фалдами по направлению друг к другу хвосты скорпионьи, стараясь друг другу вонзить скорпионье жало в весьма уязвимые мягкие части.

Ликиардопуло представлялся утрами съедающим много оливок, потом, перепрыскавшись ароматной «*уайт-розой*»,[281] являлся в «*Весы*» тарахтеть и кипеть, чтобы потом, отсидев с Поляковыми в «*Розе Альпийской*»,[282] стоять пред трюмо своей собственной комнаты и затягиваться тонко и стройно в такой фрак, что — ах! и оттуда пройти с шапо-клаком, в который просовывал он бледно-палевые перчатки, — на раут, куда не попасть никогда ни С. А. Полякову, ни мне (в «*Скорпионе*» матасился он в шеколадненькой, чистенькой паре).

Таков Ликиардопуло, бывший для всех приходящих случайно в «*Весы*» — душой их; все иные — лишь мыслили, замышляли, начертывали на бумаге какие-то линии поведения «*Весов*»; он — обкладывал камнем те линии; и — тарахтахтахтах — прорывал и взрывал; был он «*Марфой*» (марийствовать не умел);[283] и «*промарфил*» до 1910 года; он, кажется, — «*перемарфил*», потом он «*промарфил*» в Художественном Театре; где «*марфит*» теперь, я не знаю.[284]

. . . .

В те месяцы часто бываю в «*Весах*»; в самой гуще вопросов весовских[285] вываривается политика; кроме опасностей расстреляния из газет и журналов — борьба со всей линией петербургского модернизма, стремительно сделавшего вылазку из «*Руна*» и из «*Ор*» — в альманахи, в газеты, в журналы; к «*Весам*» примыкает в те месяцы Гиппиус; под псевдонимом своим «*Антон Крайний*» просовывает из «*Весов*» кончик шпаги; она — человек ненадежный; не вовсе ей верил; и делаем, в свою очередь, вылазки из весовской фортеции — тоже в газеты: «*Столичное Утро*», в котором сидели эс-деки, вполне отдавало нам в руки литературный отдел;[286] мы могли, укрепившися, проводить нашу тактику; но Гершельман очень быстро газету прихлопнул (вполне хулиганское «*Раннее Утро*»[287] явилось на смену приличной газеты; мы в нем не писали; оттуда же быстро на нас полилось просто море помой); уже в «*Утре России*»[288] встречались «*весовцы*» с иной крупной линией: Андреева, Зайцева; там могли гастролировать только; в «*Кружке*» же — держались, все время отстаивая свое право гражданства от ярых

газетчиков и от тех, кто когда-то стремился в «*Весы*», но кого — не пустили; и — мстили.

И — оставалась «*Эстетика*»,[289] клуб; он — влиял средь культурного слоя; здесь «*тон*» создавался; и — все-таки: клуб — не журнал.

Надвигалось тяжелое время; я видел, как Брюсов, сложа свои руки так точно, как их он слагает на врубелевском портрете,[290] с такими же задумчивыми и становящимися очень красивыми взорами — все-то куда-то летел своей мыслью; мы с Эллисом в эти минуты подглядывали с уважением на него; он казался нам сочетанием Мефистофеля с Гамлетом, иль — слиянием Эмпедокла и Гектора; я — почитаю его в эти дни; он мне кажется Цезарем среди галлов: железную нашу когорту ведет к покорению диких, бунтующих стран; Эллис — верный его Лабиэн;[291] Поляков, Балтрушайтис же — триумвиры, ушедшие в светские злобы весьма отдаленной от боя столицы.

Былые размолвки ⟨с⟩ В. Я. — ныне все отодвинулись; бывшие для меня непонятные психологические поединки мне кажутся просто ребячеством; отношения с Брюсовым ограничиваются вопросами тактики; в этом вполне деловом и формальном союзе мне видится что-то уютное.

Часто мне думалось: Брюсов, такой молодой еще, полный сил, полный и творчества, планов, таящий под маскою сдержанной сухости наполеоновы планы, — не может же он ограничиваться маленькими «*Весами*»? Что полон он смелыми, оригинальными планами завоевания — не сомневался никто; сам И. И. Трояновский в «*Эстетике*» мне говорил:

— «Не ропщите на эту бестактность В. Я.... Мы должны уступить. ...Ведь вы знаете, он, как заводская лошадь, которую держат для племени: весь угловатый, тяжелый; чуть что — бьет копытом; заводчики — все такие... Их надо терпеть..!»

И — терпели: и многое, что мы другим не простили бы, мы прощали ему; Эллис очень поддерживал в этом.

Случился вдруг факт, нас пребольно ударивший.

На горизонте Москвы появился Лурье, преисполненный планами реформации умирающей «Русской Мысли», куда он хотел влить и нас, символистов; для этого надо было ему ликвидировать самость «*Весов*», оставшихся совершенно единственным символическим органом;[292] С. В. Лурье замышлял: ликвидировать «*Еженедельник*»[293] Е. Н. Трубецкого, издательницей которого являлась Морозова. Нас поразили тревожные слухи о том, будто Брюсов с Лурье за спиною у нас переговариваются о том, как удобнее кончить с «*Весами*»; а мы — в неизвестности. Брюсов был нужен как знамя: и — вот: передался «чужим»,

топя собственный орган; и — нас; тот поступок его — рассердил; в нем увидели явно: измену заветам; и я с возмущением передавал то Морозовой; «*Еженедельник*» Евгения Трубецкого — был чужд; в Трубецком уважали мы «*чистого*» человека; и — только; «Еженедельник» был скучен; «*Весы*» были едки, нужны: возмущались тому, что Лурье собирался создать подрумяненный лишь символизмом журнал; возмущалась Морозова; с нею решили мы сильно препятствовать планам Лурье; и решили: отстаивать соединенье тактическое «Еженедельника» и «*Весов*»; возникала, естественно, перекличка меж группою Трубецкого и «аргонавтами», нами; оформилась после она — отношениями двух издательств («Пути» к «Мусагету»); в «Пути» же, издательницей которого состояла Морозова, соединилася группа деятелей Религиозно-Философского Общества; а в «Мусагете» — сошлись «*аргонавты*». Так: следствием действий В. Брюсова было растущее недоверие к официальному декадентству; так группа «*Весов*» начинала естественно распадаться; после 1908—1909 года явили отчетливую агонию «*Весов*», и С. А. Поляков, внешне избранный нами редактором-издателем, уехавши за границу, уведомил Брюсова — в конце года: «*Весы*» не намерен он более издавать;[294] В. Я. Брюсов предлагал тогда издавать «*Весы*» — нам; мы — разыскивали благожелательного капиталиста; и мне поручили настойчиво обратиться за денежной помощью к Щукину; он относился серьезно к «*Весам*»; обратился я к Щукину — через Анну Михайловну Метнер; но Щукин ответил: он лично не дал бы «Весам» — ничего; если ж мне «*Весы*» очень нужны и если считаю я бытие их совсем неизбежным, он даст мне, конечно, субсидию: но — не «*Весам*» как журналу.

Но я — отказался.

По настоянию нашему Поляков решил на год продолжить «*Весы*»; и — обдумывали: организацию редакционного комитета из Полякова, Брюсова, Ю. Балтрушайтиса, Ликиардопуло, Соловьева, меня и из Эллиса; все последнее время существованья «*Весов*» был я, помнится, организатором отдела статей; в Комитете «*Весов*» — образовались две партии: партия Брюсова, которую составляли друзья мои: Эллис, С. М. Соловьев; и была партия, благожелательно ко мне относящаяся: Балтрушайтис, Ликиардопуло, Поляков. Так «*Весы*» оборвалися потом — недоразумениями между Брюсовым, Ликиардопуло и С. А. Поляковым; так — старые сотоварищи Брюсова «*Скорпионы*» (С. А. Поляков, Балтрушайтис) решительно отстранялись от Брюсова.

Было же это все — после; пока же «*Весы*» представляли собою фалангу бойцов; и я влекся к «*Весам*». Что влекло? Воля Брюсова;

с Метнером мы предавалися вчувствованию; вся мыслительность — эмоционально разыгрывалась в мифологиях Метнера. А у д'Альгейма само море чувств застывало в кристаллы причудливой мысли; но *воли, решения*, — не было; П. И. д'Альгейм то пытался одно провести, то — другое; раскидывался сложнейшими планами; осуществить же не мог их; и то же — у Метнера: мифологемы, окрашенные утонченнейшими переживаниями, как гряда облаков, — поднимались, всплывали; и — уплывали над твердым решением: что-либо сделать, отчетливо провести до конца.

Здесь в «*Весах*» ощущалась железная воля, направленная не только к тому, чтобы под ноги Валерия Брюсова бросить поверженных супостатов, сам Брюсов рассматривался идеею диктатуры при ликвидации старых литературных приемов; и преимущества в Брюсове — то, что совсем философских идей не имел он, могли при посредстве железнейшей дисциплины, им созданной, гнуть в нашу сторону.

Воля влекла нас к «*Весам*»: здесь мы чувствовали разрушение старой Москвы; и — создание новой.

КУЛЬТУРТРЭГЕРЫ

Так я, петербургский изгнанник, вернулся в Москву, чтоб совсем измосквичиться; и погрузиться в те тысячи мелких, идейных забот, из которых не мог приподняться я более году; казалося: надворянились петербуржцы над нами; из Петербурга бурдили идеями в нас; мы боролись с наветрием; и старалися единоумье создать при «*Весах*»; Брюсов же, единовластец весовский, провозглавляемый иссушливым Эллисом, бичевал петербургский идейный изъян и издой, подбоченившись, летким и четким словечком указывал нам, что грызливой собаке Бог зубы дает: появились-де всякие Пильские: запилили в газетах; бывало, склоняясь скуластым лицом, руку нависъ поставив, нагребисто кистью гребет к себе воздух под слово свое, вызывая всегда у меня впечатление, что он из груди вырывает дыхание:

— «Знаете ли, Лев Львович, они — обнаглели...»

— «А вот, не напишете ли, Борис Николаич, об этом в „*Весы*"?»

И я, конечно же, — соглашаюсь писать; Эллис, ус закрутив витушком и задергав плечом, истерически взгубится, слушая Брюсова; и, покачивая лысой лобастью головы, очень часто нечесанной сбоку, в мухра-

стом своем сюртучке с заатласенными, поистертыми рукавами, с каким-то икающим смехом разит Вячеслава Иванова, и, после, — на деяпись литературно-общественных нравов наносит хары ⟨так!⟩ свои, становясь безобразником просто в своем бессловии.

Изменялась Москва в эти именно годы: и внешне, и внутренне!

Пропадал ей присущий доселе размашистый, провинциальный оттенок; и строились кубы домов; здесь — коробочный дом; там — коробочный дом о шести и семи этажах появлялся среди двух-трех-этажных мясницких, рождественских домиков; и появились кварталы, где высились всё только трубы да трубы, да грубые кубы; а тарахтящая под колесами мостовая — шумнела; и фыркали чаще *авто*; и повсюду бежали трамваи; тоскливая конка таскалась в окраинах; всюду можно было в недавнее время увидеть, как прел трухоперлый забор, выбегающий острым углом между двух перекрещенных улиц (Мясницкой, Пречистенки, Знаменки); из-за забора же лиственные клены, надвесясь, роняли свой палевый лист в тротуары; и шамкали осенью ноги листом; заскорузлый мужик подметал по утрам этот лист; а теперь исчезал трухоперлый забор, выбегающий острым углом между двух перекрещенных улиц; срубалися клены; и вместо всего — восставал грубый каменный куб о шести этажах; эти кубы сливались; и делалась улица днями не светлой (забор отступал в переулки).

А вечерами, наоборот, все — светлело, сияло, играло, сравнительно с прежним.

Преображались витрины; какой электрический блеск, переливание, перебеганье, миганье над окнами, в окнах, — под окнами даже! Вот, смотришь, — а окна до ужаса странно тишают (пред ними — сплошная толпа; шарки ног в полусумраках); и яснея безлюдием и беззаветной отвагой фантазии ярких муаров, груд фруктов, невиданных рыбин, невиданных шляпок и прочего, — окна манили (таких прежде не было); ртутное освещение пересиливало все блески синейшим отливом такого отчетливого белого света, денного почти: то — Кузнецкий.

Вон там — раскаляется раздражающим розовым светочем дверь ресторанного входа; и — около: цепью тумб раскаряченно притихают квадратные колесоногие, допотопные туловища, допотопных, то черных, то красных чудовищ; шофферы из них заклевали носами в совсем неподвижное рулевое свое колесо, растопорщившись рыжею шерстью, — в клеенчатых шапках; проходишь; и — дверь распахнется; и дама в манто цвета тусклого *масака*, вся обвисшая мехом до пяток, с подносною шляпой и с перьями, падающими ей на спину, весьма выразительно отблистав бриллиантами из уха, с невыразительным вовсе лицом —

подберет края юбки, пройдет; и за ней — господин в котелке, что-то крикнувший ближнему чудищу: чудище тотчас вздрожит и вскипит, пустив задом бензинные фырчи, гагакнет — да так, что оглохнешь, сорвется: и — парочку взяв, — устрельнет в темноту.

Таких сценок я прежде не видывал.

Переменилися вдруг туалеты, ярчея цветами пылающих тропиков и градацией ярких наколок, начесок, уборов таких, что наверное жительница Маркизского острова, или Острова Пасхи могла подивиться убору московских купчих, надевающих чуть не цветные чулки на прически свои; — на мужчинах же появились цветные жилеты; и даже — браслеты; и — поредели вдруг бороды; появилось огромное множество гололицых мужчин; совершенно исчезли курсистки в очках, некрасивые, коротковолосые; появилося очень много хорошеньких одевавшихся барышень, чуть-чуть напудренных, надушенных изысканной смесью из «*Кер-де-Жанет*»,[295] афоризмов Оскара Уайльда и Ницше, задрапированных философией Шпетта; так: барышня, белоплечая, белошеяя, повитая гиацинтовым шарфом, с начесанными волосами на ухо из-под волос мне очами внимала не раз, когда я проповедовал ей «*Эмблематику Смысла*»,[296] вставляя порою:

— «Но Фохт говорит».

Или:

— «Да, но вот, Шпетт!»

Бородатил Лопатин в их обществе; им большеумел бровач Б. А. Фохт, перетрясывая разволосою головою своею (выглядывая из-за слова стальным, наблюдательным взглядом).

Таких барышень, очень хорошеньких, изучающих Риккерта, мелопластику, знающих наизусть «Незнакомку» А. Блока,[297] теперь появилось немало; они заходили ко мне; заходили и многие, чтобы после уж, фарся, брекотать:

— «Андрей Белый сказал: .....»

Я же, старый брюзгач, перед ними громил петербуржцев.

Да, деяпись старой Москвы исчерпала себя; перезуд общих мест надоел; передроглым, облезлым стал выглядеть тот, кто недавно ходил по Москве ⟨— — —⟩; и Иван Иваныч, «*талантливый*» критик, сбежав со страницы почтенных журналов, отправился в Нежин — профессором;[298] тщетно тщился Шулятиков — нет: столь недавно крылатое слово, взлетая от кафедр, стремительно падало, как... полукрылое насекомое; правда, еще киселялила критика; нагрызень старых сентенций печатался все еще; длилась долбня про «*цветочки*» поэзии Фета, про «*честность*» Надсона, — но, но: как мелявыми реками переходили

вброд все через мысли такие, — на берег недавно громимого модернизма; иные из «*старцев*», совсем изотчаявшись, лживым вывертнем слов, означавшим согласие с тем, что недавно ругали они; эти *верты*, беспроко взлетая пустым ветродумием благодушества, упадали в безвестие.

Появленье Булгакова, Трубецкого, Бердяева в жизни Москвы внесло новую вовсе струю; пролилась струя воздуха; академический консерватизм теперь — рушился; очень боявшийся новых потребностей мысли профессор Лопатин, скептически уязвляющий эти потребности князь Трубецкой, для которых явленье философов, заговоривших о Ницше, казалося шокингом, — более не влияли: С. Н. Трубецкой уж скончался; профессор Лопатин внезапно — ну, как бы сказать: что ли — смяк...

Я с Лопатиным еще встречался мальчонком: на именинах отца; был еще он доцентом,[299] рассказывающим преталантливо страшные приключения: говорили — он трус; он боялся — собак, привидений, простуды; являлся всегда он у нас — в день Николин: сухой, как лопатка, поднявши тычком козловидную бороденку свою и рассматривая золотыми очками гостей, потирал он бессильно ручки свои и усаживался у именинного пирога; он рассказывал про меня прехорошие вещи (я был — первоклассником, поливановцем).[300]

— «Охохо!.. Я вчера... хо!.. увидал... Льва Ивановича Поливанова... Хохохо... Он сказал мне, что Боренька... очень-очень талантливый мальчик!..»

Меня похвалив, кривогубился очень овечьей губой на меня; поднимался; и, переваливаясь, обессиленными шажками, — шел к выходу. Видывал я раньше его: в незабвенном Демьянове, около Клина, в именьи Танеева, где мы летами жили,[301] где дачу снимали Лопатины: тут он дописывал диссертацию «*Положительные задачи*»;[302] демьяновская молодежь вечерами бродила — огромной компанией: в старом развесистом парке, среди которого приседала уютная дачка Лопатиных; к полночи возникало желание вытащить Льва Михайловича — на луну; он же ночью работал; и вот: молодежь подходила к окну; начинала выкрикивать:

— «Лев Михайлович?»

— «Ау».

— «Лев Михайлович».

В окошко просовывалась козловидная бороденка Лопатина:

— «Хо?»

— «Гулять?»

— «Хохохо! Мне... ведь надо бы... хохохо... поработать...»

— «Пойдемте, идемте...»

Его извлекали из дачки; по старым аллеям, где вечером привиденье ходило, — влекли: на нашу дачу (с большою светлой залой); и — приставали:

— «Теперь расскажите — про страшное...»

Он, потирая руками, рассказывал — очень ужасные вещи, пугаяся собственных слов; молодежь — хохотала; луна — опускалась: темнело в аллеях; Лопатин, нарассказавши ужасных вещей, возвращался один через парк; зажигали фонарь для него; и фонарь очень нервно подпрыгивал в ручках Лопатина, пересекавшего вековые аллеи.

Смеялись:

— «Смотрите-ка, ведь вот же — у „*Левушки*" душа в пятки уходит».

Позднее, когда уж я был поливановцем, то Лев Михайлыч Лопатин преподавал гимназистам, нам, логику: менее пяти — он не ставил. Считали, был он добротой.

В университете столкнулся с Лопатиным я; я уж был, так сказать, «*декадентом*»; Лопатин же возглавлял ⟨sui generis⟩ партию: «*борьбы*» с декадентами; и, узнавши, что автор «*Симфонии*», Андрей Белый, есть я, его ученик и хвалимый когда-то им «*Боря Бугаев*», хватался за голову он, прибежавши в испуге к М. С. Соловьеву:

— «У Николая Васильевича Бугаева...»

— «Ужас!»...

— «У Николая Васильевича сын — декадент!!!!..»

Этим был мне объявлен бойкот: всем порядочным обществом, задававшим тон жизни Москвы; во главе же бойкота — стояли: профессор Лопатин, Венкстерн (пушкинианец и цензор); особенно Масловы, старые девы Москвы; настоящая ненависть излучалась по отношению к нам, декадентам, распространяемая почтенными стражами традиционной Москвы; десять лет я испытывал неприятности, проистекавшие из бойкота порядочным обществом нас; Лев Михайлович Лопатин всегда возглавлял тот бойкот.

Вот так можно сказать — Лев Михайлович!

— «Хохл!» ⟨так!⟩

Переваливаясь очень мелкими, обессиленными шажками, махая короткими бессильными ручками, отлетающими при ходьбе у него назад — за спину, и гребущими, точно весла, по воздуху, приподымая тычок бороды и уставившись им перед гробом отца, он выглядывал важно; стоял — рядом с ним я — у гроба отца (моего).[303]

Но Л. М. старался меня не увидеть.

С князем С. Н. Трубецким познакомились мы у покойного М. С. Соловьева; он был мил и внимателен; будучи еще студентом-естественником, я был ласково встречен покойным.

— «Добро пожаловать — в Историко-Филологическое Общество, мы охотно встречаем здесь всех».

Вскоре вышла «*Симфония*»; узнан был я; и вот с этой поры изменился разительно князь Трубецкой.

Ему очень часто хотелось меня не заметить. Да, да; положенье мое было трудно, когда я решил поступить на историко-филологический факультет: изучать философию;[304] профессорами моими являлись: С. Н. Трубецкой и Лопатин (и можно сказать, оба явно — «*терпеть не могли*» в это время меня).

Передавали мне даже — до поступления моего:

— «Не советуем вам стать студентом».

(В то время уже я окончил естественный факультет).

— «Почему?»

— «Профессора вам советуют передать это...»

— «То есть как?..»

— «Да вам нечего, собственно говоря, философией заниматься».

— «Но предоставьте судить это мне...»

— «Как хотите, а только — увидите, что не выйдет у вас с философией...»

Сразу понял, совет мне оставить намеренье поступать вновь в студенты исходит от будущих профессоров моих: вероятней всего — от Лопатина; может быть, — от С. Н. Трубецкого.

. . . .

В академической философии Московского Университета был прежде всего кодекс приличий: преследовался всякий привкус неокантианства; философы, интересующиеся Когеном и Риккертом, — рисковали: не быть оставленными Трубецким и Лопатиным; внесение афористического тона в доклады — строжайше преследовалось, как философское декадентство; и декадентов, и символистов — боялись; боялись — дионисического потока: явления новой породы людей, интересующихся проблемами философии символистов; боялись философов, скашивающих на символистов глаза; после афористического доклада А. К. Топоркова, оставленного при Университете Лопатиным, университетская карьера закрылась докладчику; интересующемуся философией Белому было передано негласное предостережение, исходящее от философского ареопага Университета: воздерживаться от поступления на филологический факультет; «*символист*» не последовал этому благому совету; он стал по-

сещать семинарий Лопатина;[305] но Лопатин попытки к участию в коллоквиуме студента Бугаева старался всегда оборвать указанием, будто бы он, Лопатин, — не понимает его; и однажды Бугаев был вынужден заявить: непонятен не он, а философ Артур Шопенгауэр, которого он дословно цитирует.

Так боролся Университет — с когенианцами, с ницшенианцами, с декадентами; позволялись занятия — Лейбницем, Владимиром Соловьевым и Лотце; не разрешались занятия — Когеном, Риккертом, Наторпом, Ницше и Штирнером;[306] подозрительно относились к растущему религиозному устремлению; Мережковский, конечно же, — был одиозен; Бердяев, Булгаков — весьма подозрительны: и столь же «*церковника*» боялись в Университете; так: поступлением талантливого математика П. А. Флоренского в Духовную Академию был весьма оскорблен очень-очень почтенный профессор, ему предлагавший остаться при Университете;[307] пугалися небывалого фактора: бегства ученых в становище «*диких*», или в журналы, окрашенные декадентами, или в секцию *истории религии*, или на диспуты Литературно-Художественного Кружка; пугалися «*декадента*», «*попа*», «*когенианца*» — в стенах университета; а наиболее талантливая философская молодежь (Фохт, Эрн, Кубицкий, Гордон, Топорков, Кобылинский) иль сплачивалась в кружки для изучения Канта, или — якшалася с декадентами, или же «*запускала афористическими ананасами*»[308] (Топорков), или ж ездила по епископам (Эрн); экономист Кобылинский стал Эллисом, а учитель его, профессор Озеров, выпустил книгу, подобную «*Так говорил Заратустра*», под псевдонимом «*Ихоров*»;[309] физик Бачинский же выпустил книжечку «*Облака*», подражающую симфонии Белого: под псевдонимом «Жагадис»,[310] да, да: вот и сын Бугаева есть Андрей Белый; и внук историка Соловьева — сотрудник «*Весов*». Даже сам глава ереси, Брюсов, и он когда-то ⟨— horribile dictu⟩ — оставлен был при университете строжайшим Герье.[311] Университет надо было спасать; и — спасали.

Спасение продолжалось до 1906—1907 года; после же позицию непримиримости — сдали; и представители философского ареопага явились среди декадентов, в кружке молодых когенианцев, на заседаниях Религиозно-Философского Общества; моя лекция в философском кружке у Морозовой уже не глядела скандалом. Салон же Морозовой в это время сыграл очень видную роль в том смещеньи недавних границ между замкнутыми кружками; очень-очень прочная дружба Морозовой с Э. К. Метнером, с князем Е. Н. Трубецким, с В. М. Хвостовым, Рачинским, Лопатиным, Скрябиным, мною и с представителями неоканти-

анства Кубицким и Фохтом, такт, чуткость ее, восприимчивость и умение сглаживать острые углы меж кружками естественно создали из Морозовой незабываемую фигуру, которая оставила след в истории умственной культуры Москвы двух истекших десятилетий; с другой стороны — удивительная по благородству и честности, самокритике и постоянному исканию путей личность князя Евгения Николаевича Трубецкого способствовала изменению тона университетского круга к нам. Я Евгения Николаевича помню: с недоумением в нас вперенного, не понимающего нас вовсе, но не встречающего нас с той глупой усмешечкой, с которой встречали нас все; и потом уже помню его, нас — едва понимающего, понимающего с трудом, наполовину, почти; наконец: помню я перекличку меж нами на лекции его «*О Смысле Жизни*»[312] — в моем ответе ему, в его ответе мне: выяснилось почти совпадение наше в моральной платформе; да, я никогда не забуду его благородства в защите меня против выдвинутых нареканий за книгу «*Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности*».[313] Вспоминаю покойного: в вечных усилиях честно понять, осознать, подойти к противоположным, далеким воззрениям, разобрать их, осмыслить; смешка не бывало в нем; помню его — в расширении кругозора, стремящегося к конкретному и включающему такие детали культуры, как изучение иконографии, которой он стал знатоком к концу жизни.[314] Е. Н. Трубецкой был решительно противоположен блестящему брату (С. Н.), более, быть может, философу ⟨par excellence⟩, но и — более ограниченному, узкому в бытовых отношеньях.

. . . .

Мои философские взгляды подверглись перепроверке в ту пору; видоизмененная философия Риккерта мною клалась в основу обоснования символизма; позиция философии этой была мне близка выдвиганием данности; но оспаривал я категориальность той данности (данность как форма рассудка); скорей, устанавливал я непосредственность данности, что потом меня сблизило с философией Штейнера;* близок был Риккерт мне явной тенденцией выдвинуть *долженствованье*, как акт, предлежащий любому сужденью; смешенье понятия *ценности* с формою долга, как истины, заставляло меня нападать в этом пункте на Риккерта, у которого суждение «*истинное есть ценное*» — есть суждение аналитическое, где понятие предиката, иль ценности, есть простая дедукция из понятия истины как рассудочно данного положения, формы; видоизменение философии Риккерта для меня начиналось здесь именно;

* См. мою статью «Эмблематика Смысла», в книге «Символизм».

и суждение «*истинное есть ценное*» ставилось мной как суждение синтетическое; понятием предиката (иль ценности) «*нечто*» вносилось в понятие истины как рассудочной формы; раскрытием этого «*нечто*» как символа, т. е. чего-то пересекающего в единство субъекта с объектом и содержание с формою, подходил я к теории символизма, где самое пониманье понятия «*единство*» бралось мной как символ; как целое, тенью которого появлялася Кантова категориальная форма: «*всеобщность*»; тут слилась мысль освободиться логически от дуализма, присущего философии Канта; так: первое единство, которое мы полагаем, оказывалося единством, в котором единство рассудочных синтезов дано с чувственным содержанием, освобождаемым от ⟨— — —⟩ методов в первичном единстве сознания; этот мой взгляд, развитой в «*Эмблематике Смысла*», передан Риккерту был Степпуном; очень скоро потом получил я от Риккерта маленькую брошюрку с любезною надписью — под заглавием: «*Одно, единица, единство*»;[315] она показалася как будто ответом философа на попытку установить вне-рассудочную идею: единого, как слияния содержанья и формы, естественно выпрямляющего возможности интуиции; Риккерт здесь устанавливал три понятия: о «*едином*», «*единстве*», как категории, о «*единице*» (в математическом смысле), причем допускал он понятие об единстве (четвертое), в моем смысле, но с указанием: понятие это, скорее, — мистическое понятие, вывлекающее современную философию из рассудочных рамок в туман мистицизма Плотиновой философии.

Так попытка моя теоретически формулировать символизм была ⟨— — —⟩ *плотинизацией* нео-кантианских исканий (позднее, здесь именно, я изменил свой подход к символизму переложением *перво-единого, сущего* из трансцендентнейшей области в имманентную сферу сознания: Штейнер помог мне); я допускал плюрализм точек зрений, лишая все их абсолютности; многообразье наук с точки зрения символизма вскрывалося мною как множество эмблематик, где каждая — клавиш единой клавиатуры; умение связывать клавиши в гамму мелодии обусловливалось критическим знанием места клавиша в гамме; и вот: «*Эмблематика Смыслов*» была для меня философией философии, лишающей абсолютности множество данных воззрений, чтоб открыть право творчеству сочетать в симфоническом ладе какие угодно воззренья; здесь я старался упорно пробить по всем правилам логики брешь из критической философии, возглавляемой Кантом и Риккертом, к философии тоже критической, но — символизма; путь же чрез Канта и Риккерта очень казался мне нужен; и я начинал часто танец воззрений от тезисов Риккерта, чтобы при помощи Риккерта, выправив Канта, бло-

кировать в Риккерте все уязвимые пункты, введя контрабандою в них символизм.

В этом хитро задуманном плане мне виделось некое исхождение из Египта отживших воззрений, перегоняемых через аравийские пустыри гносеологии в новую землю моей философии творчества; здесь педагогика преобладала над логикой; мог бы я выбрать иные пути для иной теории символов; так утверждали Бердяев и Шпетт; но не слушал я их; эти странствия по аравийской пустыне сухой аналитики Когена, Канта я брал испытанием: *воли к сознанию, игогою мысли*; и думалось мне: Моисей сорок лет таскал кучу племен по пескам, не пуская в Обетованную землю, чтоб дать им закал, я хотел символизму закала... в горнилах критической философии, чтобы не стал он предлогом сложения чувственных, идоложертвенных капищ; те «*капища*» строил Иванов своим Дионисовым культом в моем представлении, их облицуя сомнительным «*реализмом*» (пародией мысли); святыни завета, «*ковчег символизма*» я ставил — в *святое святых;* «*критицизм*» мне казался оградою символической скинии; внутрь допускалася религиозная метафизика; но в «*святое святых*», где Лик Символа был мне Христом, допускал я лишь избранных; в «*скинии*» вел я бой с догматизмом религий; так, мне «*критицизм*» послужил разгражденьем сфер.

Тут задумано было суровое странствие к Лику Христа и к воплощению философии символизма в Иоанновом Откровеньи; но я намекал в предисловии к книге моей «*Символизм*» на такое касание символизма к ученью о Логосе.[316] 〈...〉 чему поднялся: на защиту Христа от Ивановской ереси. Также казалось подменою Лика (иль Символа воплощенного), древнею византийской иконою все слова Р.-Ф. Общества; по отношению к ним я тактически иконоборствовал, нападая всегда на догматику теологических домыслов — Кантом и Риккертом; если Иванов грозил мне язычеством, то откровенно Булгаков, Свенцицкий и Эрн угрожали сомкнутием религиозного горизонта в двуперстие Аввакума. Рачинский, Бердяев, Булгаков — увидели в моих лозунгах только чудачества (*прет* к Канту, к Риккерту, когда надо бы, чтобы *пер* от них — к нам).

Метнер — вот тот понимал; понимал он «*христовство*» мое; но оформливал религиозные устремления в рамки широкого, просвещенного протестантства лишь.

Более доставалось от Шпетта, которому показалися странным барьеры из Канта, Когена и Риккерта там, где путь у символа явно свободен, но обосновываем совершенно иначе (английскою психологией). Так: он «*святое святых*» моей скинии воспринимал пустотою; частенько подтрунивал он над моей очень сложною тактикой:

— «Не понимаю, зачем тебе Риккерт!..»

Густав Густавович Шпетт был совсем исключителен; острый приверженец Юма,[317] приемлющий философские опыты Л. И. Шестова, он внутренним ухом нас слышал; «*аргонавтизм*» его влек; завелся среди нас (а потом откачнулся);[318] сближала не логика с ним — новизна восприятия и парадоксы его яркой мысли, шутливой и колющей; как-то двоился меж нами и представителями чистой логики.

Являлся у Метнера иль у меня, у д'Альгеймов, у Щукиных; явится — все станет острым.

Передо мной возникает лицо его — круглое, безбородое и безусое, юное, или — принадлежащее старику? Не поймешь: гладкое, как полированный шар из карельской березы: ей, ей, берегись, а не то — шибанет этот шар своим веским разлетом; лицо то казалось не крупным: не губы, а губки, не нос, а — носенок, не глазки (быстрейшие), светлокоричневые, с розоватым отливом, а — два юрких носика мышьих, обнюхивающих твой идейный ландшафт и выбегающих из мозговых полушарий: зрачки — берегись: шибанет тебя шар, разлетится покров черепной: и разбрызжется искрами прежних прозоров идейный багаж.

В глубине орбит Шпетта не глазки — мышиные носики, ерзающие и туда и сюда, чтоб сквозь шутку оскалиться, вгрызться, шмыгнувши в твой череп поднять там под черепом писк, суетню, шелестенье; мышиные носики — скепсис, распространяемый Шпеттом, когда открывалася дверь и выглядывала из нее прелукаво остриженная, небольшая, тяжелая голова, вопросительно; и появлялася крепкая эта фигура, держа свою голову чуть-чуть вперед; и — поглядывала исподлобья улыбочкой:

— «А? Ну... Что нового?..»

Как-то ступал он легко, эластично и мягко, но вкладывал в шаг свой пуды; он садился, молчал с неподвижной улыбкой на юном и розовом личике; он выпускал быстро ерзавшим взглядом мышат, языком, фехтовальной рапирой, заигрывал, но оставался далеким от игр, им затеянных, напоминая свинцовый ком, косный, играющий переливами атмосферы душевных движений, разлитых вокруг, не проникших нисколько в него; и казался тогда вдруг не юным — старообразно грубеющим; в шутках его была жуть.

— «Не люблю я природы, — говаривал он, — там ведь нет ресторанов; и все не устроено, пепельницы порядочной нет на лугу!»

— «Вот, Борис Николаевич, — выпускал он кудрявый дымочек, нацелившись безбородо в какую-то точку и взглядом минуя меня, — вот, Борис Николаевич, например, — развивает вполне интересные мысли в интимном кругу, а как примется он выступать на докладах, то

тотчас же он надевает изношенный фрак, взятый им напрокат в гардеропе у Риккерта!»

И мышиные носики быстро просунутся, ерзая, в дырках зрачков, чтобы внюхаться в впечатление слов; и мальчишески юный и розовый лик постареет, отяготится вдруг весом, уподобляяся цвету пары, в которую облекался Г. Г.: станет явно коричневым, иль желтовато-шафранным; мигнет на Рачинского:

— «Григорий-то вот Алексеевич понимает, небось, — меня».

Г. А. Рачинский, и прежде «*поровший*» меня за фантазии мысли, фафакнет дымком, откликаясь на юркости Шпетта:

— «Паф-паф! — вылетают огромные клубы. — Кант, Риккерт, Кант, Риккерт... Паф... Сухо...»

— «Паф, паф», — исчезает в дымах.

— «Вы, Борис Николаевич, — настоящий художник; а помните, как вы писали, когда-то: „*И ухнул Тор громовым молотом по латам медным, обсыпав шлем пернатый золотом воздушно-бледным*"...[319] Трубецкой-то, Евгений-то Николаевич, — не понимал... Ему и прочел я... Паф-паф-паф! и вернулись бы — паф-паф-паф! — вы к золоту — паф! — в лазури...»

— «Ну вот же, — посмеивался Г. Г., — вот и я говорю: твое дело — стихи; когда пишешь „*Не тот*",[320] — ты на месте; в поэзии ты настоящий философ; нет — мало тебе быть поэтом; тебе подавай еще фрачную пару, заказанную в риккертианской портняжной — для Фохта, и этого...» — тут запускается крепкое слово «Совальского» (Шпетт относился вполне иронически к Фохту, Кубицкому; в корне Совальского он отрицал).

— «Ну скажи, а зачем тебе фрак?»

И грозил: если я еще раз в этот «*фрак*» облекусь на публичном собрании, то дает свое слово — рапирою он разорвет на мне фрак, чтоб под ним обнаружить колпак «*сумасшедшего*»:

Тихо падает на пол из рук
Сумасшедший колпак.*

И угрозу свою он исполнил; читал в философском кружке у Морозовой я свой доклад;[322] и сидели на этом докладе: профессора Северцев, Лопатин, Хвостов, Трубецкой, Кистяковский, Булгаков; сидели: Кубицкий, Эрн, Фохт, Виноградов (философ), Рачинский, Совальский

* А. Белый: «Золото в Лазури».[321]

и многие прочие; Л. М. Лопатин, не нападая, ехиднейше предлагал мне вопросы о том, соответствует ли мой символ понятию типа, и если вполне соответствует, что же останется от моих представлений о символе и от школы в искусстве, которую называют символической? После Е. Н. Трубецкой предлагал мне поставить знак равенства меж метафизикой и символизмом моим; А. Н. Северцев ставил вопросы — случайные; только Совальский, фанатик когеновской философии, ставил вопросы мне в терминах моего языка; я ответил по правилам философии Риккерта; он — согласился; во время обмена словами с Совальским — увидел: ступая легко, эластично, но вкладывая в шаг пуды, пробиралось у стенки средь роя сидевших философов Шпеттово юное и безусое личико: с полуулыбочкой; а мышиные носики, ерзая затаенным ехидством, просунулись в дырки зрачков; отвечая Совальскому, все косился на Шпетта; его голова — разрасталась в поверхность щита с двумя дырками, из которых просунулись кончики острых рапир, управляемых с хладнокровием; Шпетт попросил очень вкрадчиво слово; рапиры — просунулись и завертелись сферически, закруживши сознание; вдруг выдалось уязвимое место; и «*трах*»: я был — проткнут.

Потом говорил с добродушием Шпетт:

— «Вот Борису ведь Николаевичу на дуэли приходится рвать его фрак; ничего: он приходит домой, его штопает; после является сызнова в наспех заштопанном фраке...»

Смеялся и я, сомневаяся в том, что я Риккерта перекроил, утешаяся мнением профессора Кистяковского: после одной из бесед подошел Кистяковский, сказавши:

— «Вы поняли дух семинария Риккерта; долго ли вы у него обучались?»

Не поверил, что Риккерта я не видал и во Фрейбурге не был:

— «Да, этому трудно поверить, — сказал, разводя он руками, — ведь то, что сейчас говорили, лишь обсуждается Риккертом на специальном семинарии...»

Так: когда надо мной трунил Шпетт, я, признаться, считал, что мой «*фрак*» был мне более впору, чем многие думали.

Шпетт щеголял скептицизмом; себя объявил понимающим Юма, которого вовсе не поняли; с модой тогдашнего времени был не в ладах; ощущалось: проказы его — только рябь атмосферы вокруг головы (иль планетного кома), проказы его — разлетающийся, разлапистый дым, выпускаемый «*губками*» юного старца; и да — голова вся точеная (из карельской березы) уподоблялася кегельбанному шару; увидевши кегли,

идеи, готов был всегда он: схвативши руками свой шар и сорвав его с плеч, шибануть им по кеглям: и «тах-тарарах!»

Кантианцы ходили на бой в растяжелых доспехах; их рост мне казался порой Голиафовым; но выходил Г. Г. Шпетт, как Давид,[323] совершенно нагой скептицизмом; пускал очень ловко свой шар кегельбанный: «*трах*» — лоб Голиафа кололся дождями осколков; любил я утонченный шпеттовский ум, тяготеющий к нам, к «*аргонавтам*»; под тяжестью «*шара*» звучало томленье; в интимной беседе вдвоем за стаканом вина пробуждался романтик (увы, — на короткое время!), вздыхающий по «*Баладине*» Словацкого[324] и читающий с увлеченьем Мицкевича; быстро он с нами сошелся; любил Э. К. Метнера, мне называя его просто «*Милей*».

Но Шпетт мне двоился: не мог я понять, чем он тянется к нам — устремленьем моральным, иль тем, что совсем не мыслители мы; он в быту выдирал собутыльников, странно дружил с Кожебаткиным, предпочитая совсем посторонние анекдотики важным логическим трезвым беседам; я думал: общение Шпетта с кружком «*аргонавтов*» — романчик, скрываемый от законной жены, философской карьеры Г. Г.

К тому времени он становился моден — на курсах Герье, педагогических курсах, где Петр Семенович Коган и Юлий Исаевич Айхенвальд стяжали себе столь огромные лавры (ходили на вечеринках, устраиваемых курсистками, покрытые букетами, подносимые ими), на курсах Герье Шпетт — сражал философских курсисток рядами; все стали «*шпеттистками*» (бедный Борис Александрович Фохт!); очень многие начинали носить медальончик с изображением Шпетта, рассказывая, что на лекциях кубарем вертит системы воззрений он.

. . . .

Философия и культура — костяк, за который я крепко вцепился; и я до излишества вплавился в тонкости логики; «риккертианизировал», «когенизировал» я; и за это журили меня: и Бердяев, и Метнер; особенно — Г. А. Рачинский; он прежде устраивал порки мне за декадентство; и приглашал углубиться в теорию знания Канта; теперь наступило обратное; и он покрикивал: «Кант, Риккерт... Ведь сухо же, Борис Николаевич: вы же художник... Какая-то в этом болезненность, малокровие... Помните, как вы писали когда-то о Торе, Валькирии, великанах... Теперь же — Кант, Кант, Кант!.. Ведь сухо!»

Да, он понимал, что мое погружение в философию — показатель болезни во мне: получивши в жизни удар, поступают в монастыри, отвращаясь от жизни; так к логике привлекало меня, как к вину, в то время:

Внемлю речам, объятый тьмой
Философических собраний,
Неутоленный и немой
В весеннем, мертвенном тумане.
Вот ряд неутомимых лбов
Склоняется за стол зеленый;
Песчанистою пылью слов
Часами прядает ученый...[325]

Или:

Уж с год таскается за мной
Повсюду марбургский философ,
Мой ум он топит в мгле ночной
Метафизических вопросов.
На робкий, роковой вопрос
Ответствует философ этот,
Почесывая бледный нос,
Что истина, что правда... — метод...
«Жизнь, — шепчет он, остановясь
Средь зеленеющих могилок, —
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок».[326]

Или:

О, пусть тревожно разум бродит
И замирает сердце — пусть,
Когда в очах моих восходит
Философическая грусть![327]

Увлечение философией — выражение внутреннего одиночества; видел вниманье к себе я со стороны: Соловьева, Морозовой, Метнера, Эллиса и Петровского; видел, что мысли мои — привлекали ко мне молодежь; приходили: студенты, курсистки, рабочие, молодые писатели, — за советами, литературными указаньями, даже с вопросами, ставящими порой в тупик (*«что нам делать»*, *«как жить»*); во всем этом я видел естественное выраженье внимания; но внимание отдавалося мне: трескотней телефонных звонков, шумом слов, утомлением; часто я после живых разговоров, оставшись один в кабинетике

(с оливкового цвета обоями и с оливковой занавеской), ложился в прострации — на диван; зеленоватое зеркало передо мной отражало худеющий облик; так я оставался один: с двойником; и тоска обнимала меня; «*тихий час*» мой был страшен; в минуты глубокого одиночества звучал «*Реквием*» мне Моцарта: то мать моя игрывала отрывки из «*Реквиема*»; и похоронными звуками я опускался в могилу; могила же превращалась в бездонный колодезь, через который летел, опускаясь к себе самому: стихотворение мне возникло в такую минуту:

Далек твой путь: далек, суров.
Восходит серп, как острый нож.
Ты видишь — я. Ты слышишь — зов.
Приду: скажу. И ты — поймешь.
. . . .
С тобой — Твоя. Но вы одни.
Ни жизнь, ни смерть: ни тень, ни свет,
А только вечный бег сквозь дни.
А дни летят, летят: их — нет.
. . . .
Уйдешь — уснешь. Не здесь, а — там.
Забудешь мир. Но будет он.
И там, как здесь, отдайся снам:
Ты в повтореньях отражен.
. . . .
И тот же день, и та же ночь;
И прошлого докучный рой...
Не превозмочь, не превозмочь!..
Кольцом теней, о ночь, — покрой...[328]

А. А. Блок писал, приблизительно в это же время:

И я любил. И я изведал
Безумный хмель любовных мук,
И пораженья и победы,
И имя: *враг*; и слово: *друг*.
Их было много... Что я знаю?
Воспоминанья, тени сна...
Я только странно повторяю
Их золотые имена...

И — далее:

И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст,
И примелькавшиеся плечи...
Нет! Мир бесстрашен, чист и пуст![329]

Стихотворение это написано в самом начале 1908 года; и — утомление в нем.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Приблизительно в это же время в мир мысли моей входит Н. А. Бердяев, переселившийся из Петербурга в Москву, передо мною встающий в этом именно круге, в котором привык я вращаться;[330] меня останавливает многострунная личность Бердяева, взявшего трепет эпохи в себя и все чаянье света, трагически потрясенная кризисом жизни, культуры, сознания, веры, расклеивающая с аподиктическим фанатизмом прегромкие ордонансы,[331] энциклики интеллигенции русской; меня поразило в Бердяеве то, что он нас, символистов, вполне понимал (по писаньям его я не думал, что он так нам близок); блестящий мыслитель, прошедший отчетливо школу марксизма и лазивший в дебри критической мысли, владеющий Кантом, Когеном, Аллоисом Рилем, Г. Риккертом, Наторпом, в них не увязший, столкнувшийся с православием отцов церкви и старцев, с воззрениями[332] католиков, Мережковского, переживавший Метерлинка, Ф. Ницше, поклонник Гюисманса, обозревал он огромное поле идей, направлений, сплетенье тенденций от Маркса до Штирнера, от иезуитов до Безант; ничто ему не было чуждым; он в поле идей себе выбрал утес *догматизма*, засел на утесе орлом; в нем сказалось стяжение многих тенденций, переработанных им; он казался не столько творцом мирозрения, сколько исправнейшим регулятором ряда воззрений, им стягиваемых в один узел с сознательной целью: отсюда прокладывать рельсы к грядущему; был он, скорее, начальник узловой, важной станции мирового сознанья; воззренье Бердяева — станция, через которую лупят весь день поезда, подъезжающие с различных путей; разбирая идеи Бердяева, трудно порой отыскать в них Бердяева: это вот — Ницше, то — Баадер, то — Шеллинг, то — Штейнер;

а это вот, ну разумеется, Соловьев, перекрещенный с Ницше; мировоззренье Бердяева — только центральная станция; мимо платформы летят поезда с разных веток: Бердяев — заведующий движеньем станции, оригинален в порядках, которые он устанавливает в пропускании поездов иль в градации расположения элементов воззрений; акцент его мысли — несение государственных функций средь пестрого населения собственной мысли; отсюда ж его догматизм — волевой, беспощадный, слепой и насилующий совершенно сознательно спорящих в нем обитателей, чтоб не случилося свалки меж нами; он вынужден взять меч, иль жезл, чтоб нещадно бороться с наплывом народа (иль с элементами мировоззрений, ему где-то родственными, друг другу пречуждыми) — на центральную станцию сборища, именуемую «*Мировоззренье Бердяева*»; тут, выходя из убежища, где заседает над планом скрещенных дорог, на платформу, где Макс Штирнер, Гюисманс, Мережковский, Владимир Сергеевич Соловьев, Маймонид, Ницше, Штейнер, Иоанн Богослов, Августин, Раймонд Луллий оспаривают свое право проезда в ближайшую очередь; вынужден стать государственным человеком он; и — ордонировать: «Подать поезд Владимиру Соловьеву»; и даже: хранить станционный порядок при помощи рослых жандармов, расставленных всюду; жандармы же те — произвол, установленный им в сочетании элементов воззрений; за произволом таится прозрение, интуитивное виденье «*Я*»; очень часто мне кажется, Н. А. Бердяев имеет виденья и откровенья в том, как ему поступать с пестрой смесью культурных своих устремлений; иначе в мгновенье ока растекся весь «*бердяизм*»; опустела б центральная станция; всюду открылись бы лишь автономные области, явно вывалившиеся из бердяевских книг: здесь бы вече собрал политический эконом, там открыл бы Дивееву пустынь святой Серафим, там бы Штейнер, явившийся из «*Философии Свободы*» Бердяева,[333] объявил бы, пожалуй, что это совсем не «*бердяевство*», а Дорнах, видения вшептывают Бердяеву непререкаемые откровения субординации и порядка; и он, исполняя веления, призывает жандармов; жандармы Бердяева — догматы, появившиеся не от логики вовсе, от воли Бердяева: строить вот эдак вот; воля же эта диктуется, вероятно, каким-нибудь даймоническим голосом.[334]

Часто он кажется в книгах, на лекциях, в ярких своих фельетонах — слепым, фанатичным, безжалостным, в личном общении он очень мягок, широк, понимающ; имевшие случай встречаться с Победоносцевым нам рисуют Победоносцева понимающим, тонким и даже терпимым; но государственный пост его сделал глухим и слепым; государственный пост философии Н. А. Бердяева (не иметь своей собственной

мировоззрительной виллы, заведовать станцией, через которую проезжают столь многие путешественники, провозящие идейную собственность) вынуждает его регулировать сложность путей сообщения совершенно практическими императивами: «*Быть по сему...*» Ее догматы — это всегда лишь маневры и тактика: «*Быть по сему, до... отмены ближайшим приказом...*» (приказами 900-х годов отменен был марксизм, отменен был кантизм, отменен был Д. С. Мережковский; приказами же десятых годов: отменилась церковность сперва, и Бердяев боролся с Булгаковым, отменялся царизм, как потом революция отменилась и отменилося лучшее его сочиненье «*Смысл творчества*»[335]). Нарушенье приказа всегда угрожает ужасною катастрофою в государственном департаменте высших сообщений (культуры).

Да, да: философия эта есть пропуск едва ли не всех элементов культуры, уже обреченной на гибель, сквозь линию рельс, начинающихся от «⟨credo⟩» Бердяева к Голосу Божию, этому «⟨credo⟩» звучавшему; до Бердяева вот период один был; а с появления Бердяева рушится все, проходя сквозь него в опускающийся над ним — град небесный; от этого личность Бердяева переживает огромнейший кризис (еще бы: весь мир пропустить сквозь себя и не лопнуть!); а Николай Александрович относительно очень легко переваривает старый мир в себе, разбухая; приобретает печать Чела Века, Адама Кадмона,[336] напоминающего — Николая же Александровича, шествующего по Арбату в своем светло-сером пальто, в мягкой шляпе кофейного цвета, в серых перчатках.

Подозреваю, что в миг, когда станет Н. А. проповедовать нам власть над миром Святейшего Папы, то будет лишь значить, что интуиция, продиктовавшая новый догмат Бердяева, соединилася с ним навсегда и что Папа Святейшия есть он — Николай Александрович, собирающий у себя на дому философские вечеринки, которые вовсе не вечеринки, а более того: совещанья епископов; здесь — Карсавин, Франк, Лосский, Кузьмин-Караваев, Ильин, Вышеславцев, последней энцикликою Бердяева-папы назначенные на кардинальские должности, обязуются на заседаниях бердяевской академии[337] объявить всему миру «*восьмой и последний*» вселенский собор.

Тот шарж мне встает неизменно, когда я прослеживаю общение с Н. А. Бердяевым в ряде годин, из которых растет его жизненный облик.

Высокий, высоколобый и прямоносый, чернявый, с красивыми раскиданными кудрями почти что до плеч, с очень черной бородкою, обрамляющей щеки; румянец на них спорил с матовой бледностью; кто он? Стариннейший ассириец, иль витязь российский, из южных уделов,

Ассаргадон,[338] сокрушавший престолы царей, иль какой-нибудь там Святослав, князь Черниговский, или Волынский, сразившийся храбро с Батыевым игом и смерть восприявший за веру в Орде?[339] Разумеется, что атрибуты его — колесница иль латы — не эта же сшитая хорошо темносиняя пара, идущая очень к нему, с малым пестрым платочком, выторчивающим из кармана, из верхнего, вовсе не белый жилет, снова очень идущий к нему; и красивый, и статный, с тенденцией к легкому пополнению (лишь за последние годы весьма похудел он), веселый, отважный и легкий, он как-то цветился во мне (реминисценция, вероятно, его ассирийского прошлого); пестрый платочек, синеющий галстух, пунцовые, тонкие губы, уютнейше улыбнувшиеся среди черных волос бороды и усов и такие лазурные, чистые, честные, детские очи, — все делало его непохожим на философа в первой беседе; в нем явственно простирало⟨сь⟩ романское что-то; и что-то — от бон-вивана, аристократа, немного ушедшего в круг легкомысленной пестрой богемы.

Я мысленно поворачиваюся к Н. А.; он — встает передо мной: летом, ранней весной и позднею осенью, быстро и прямо идущим в своем светлом сером пальто, в шляпе светло-кофейного цвета с полями, в таких же перчатках и с палкою, пересекающим непременно Арбат по направленью к Сивцеву Вражку, и где-то его ожидает (может быть, в том доме, где жил прежде Герцен и где суждено ему было впоследствии переживать революцию)[340] — где-то его ожидает компания модных писателей, публицистов, поэтов, и барынь, затронутых очень исканием новых путей; там проявится мягкая, легкая стать, располагающая к философу, произведенья которого часто пропитаны ядом отчетливо... нетерпеливых сентенций, почти дидактических.

В жизни он был — терпеливый, терпимый, задумчивый, мягкий и грустно-веселый какой-то; словами вколачивал догмат, а из-под слов улыбался с догматической грустью шумящей и блекнущей зелени парков, когда, золотая, она так прощально зардеет лучами склоненного солнца; когда темно-темно-вишневое облачко на холодном и бледно-зеленом закате уже начинает темнеть; и — попискивают синицы; и дышит *возвышенною стыдливостью*[341] выстраданного своего догматизма, мне веял Бердяев всегда из-за слов своих. Часто бывал он уютен и тих.

Нежно любящий псов и немного боящийся Гюисманса, разыскивающий фабулы странные и подобные Честертоновым в литературе новейшей,[342] он не был тяжел в буйном воздухе литературной богемы; не был легковесен в кругу отвлеченных философов он; всюду он появлялся с достоинством, совершенно врожденным, с тем тихим, не лезущим му-

жеством и готовностью пострадать за идеи, которое выдает без остатка и рыцарство, и чувство чести.

Когда ж задевали его точку зрения, касаясь предметов познания, близких ему, начинал неестественно он волноваться и перекладывать ногу на ногу, перебирать быстро пальцами, отбарабанивать ими по краю стола, или схватываться задрожавшей рукою за ручки под ним заскрипевшего жалобно кресла; не удержавшися, с головой он бросался тогда в разговорные пропасти, очень нервически двигаясь корпусом; вдруг разрывался его красный рот (он страдал нервным тиком), блистали отчаянно зубы в отверстии рта, на мгновение ставшего пастью, «*озорно и обло*»[343] старавшейся вызевнуть что-то; шахлатая голова начинала писать запятые; глаза же вращались, так нервно подмаргивая; и, наконец, оторвавшись руками от ручек скрипевшего кресла, сжимал истерически пальцы он пальцами под разорвавшимся ртом, чтобы спрятать язык, припадая кудлатой своей головой и горошиками заплясавшими пальцами, точно ловя запорхнувшую желтую моль пред собою (та моль — чужеродное мнение, долженствуемое быть раздавленным: тут же!); и после этого нервного действия вылетал водопад очень быстрых, коротких, отточенных фраз без придаточных предложений; в то время как левой рукою своей продолжал ловить «*моли*» из воздуха, правой, в которой оказывался непредвиденный, небольшой карандашик, он тыкал отточенным карандашиком перед собой, ставя точку воззрения — в воздухе; этою точкою зренья своей, как мечом, иль копьем, протыкал он безжалостно все, что входило в порядок его строя мыслей, как хаос, с которым боролся: свои убежденья тогда он высказывал с видом таким, будто все, что ни есть в этом мире, в том мире доселе — несло заблужденья; и сам Господь Бог, в ипостаси отеческой, мог ошибаться тут именно — до возведения человека в сан Господа (перед Второй Ипостасью Н. А. пасовал, потому что Второй Ипостасью он, — как бы сказать, трудно выразить: в некотором что ли смысле вводился в хозяйство Вселенной). И тут проявлялося в нем что-то пламенно-южное; чувствовался крестоносец-фанатик, готовый проткнуть карандашною шпагою сарацина-противника, даже (весьма впрочем редко) совсем раскричаться.

Казался в минуты такие он мне полководцем, гарцующим в кресле, которое начинало протяжнейше ржать, точно конь; вспоминалося, что

Он имел одно виденье,
Непостижное уму;
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.[344]

А потом становился опять он уютным и мягким, тишайшим и грустным.

Воистину: в догматическом пафосе Н. А. Бердяева было порою несносное что-то; не то чтоб не видел вокруг он себя ничего (Мережковский — не видел); он — видел, все видел, но тактики ради себе представлялся невидящим; это-то вот раздражало.

Он был в душе воин; его карандашик был меч; он с охотой кидался рубить, колоть, протыкать; прямо с кресла — на площадь (как-то оказалось впоследствии: из кабинетика тихого переулка попал в Предпарламент,[345] как прежде, весьма незадолго до этого из кабинетика выскочил он — в революцию: даже в Манеже взывал он к гражданскому мужеству войск, приглашая на сторону революции их);[346] напоминал тут он *князя*, приявшего крест для борьбы с басурманами и превратившего крест в рукоятку меча.

Дома ж часто бывал так спокойно-рассеяннен, грустно-приветливый, очень всегда хлебосольный, являлся воссиживать милым каким-то сатрапом на красное кресло из тихого кабинета, где только что быстро скрипевшим пером он прокалывал Д. Мережковского в бойком своем фельетоне, — для «*Утра России*»;[347] после боя чернильного с нами он ужинал, тихий, усталый, предоставляя всегда интересным, словоохотливым и талантливым Л. Ю. Бердяевой и сестре ее[348] всю монополию мира идей; и внимал нам с сигарой во рту.

В его доме было много народу: особенно много стекалось сюда громких дам, возбужденных до крайности миром воззрений Бердяева, спорящих с ним и всегда отрезающих гостя от разговора с хозяином; скажешь словечко ему; ждешь ответа — его; но уж мчится стремительно громкая стая словесности дамской, раскрамсывая все слова, не давая возможности Н. А. Бердяеву планомерно ответить; да, да: было много идейных вакханок вокруг «*бердяизма*»; ты скажешь, бывало, — то, это; «*бердяинки*» же поднимают ужаснейший гвалт:

— «Что сказали вы?»

— «Да!»

— «Нет!»

— «То — это!»...

— «Неправда же: это есть то».

И — прикусишь язык; и Бердяев прикусит язык; и останется: встать и уйти.

Так слова разрубались словами «*бердяинок*»; тело живой сочной мысли, кроваво разъятое оргией мысли, рубилось на мелкие части; и далее: приготовлялись «*котлеты*» бердяевских мнений; и дамы корми-

лись «котлетами» этими, потчуя всех посетителей ими; от этих «котлет» уходил; и бывали периоды даже, когда я подолгу не шел на квартиру Бердяева, зная беспрокость общения с ним.

Н. А. Бердяев порой говорил нестерпимые, узкие, крайние вещи; но сам был не узок, а крайне широк, восприимчив и чуток, мгновенно вбирая идеи до ощущения «*внутреннего воленья*»: «Довольно: ты — понял уже!»

И тогда над мыслителем, или течением мысли, искусства, политики, ставился крест: *крестоносец* Бердяев, построивши стены из догмата, сам становился на страже стены, отделившей его самого от хода им понятой мысли; себя он обуживал; пылкое воображенье Бердяева воздвигало химеру фантазии; эту химеру оковывал догматом он; оковав, никогда не вникал, что таилось под твердою оболочкою догмата; оборотною стороной догматизма его мне казался всегда химеризм; начинал он бояться конкретного знания предмета, проводя химеру в конкретном; и с этим конкретным боролся химерою, отполированною им под догмат: совсем химерический образ больного Гюисманса оказывался догматически бронированным (бронированным Церковью); Штейнер, конкретный весьма, — принимал вид химеры; тогда объявлял он крестовый поход против страшной химеры фантазии, дергался, вспыхивал, яро выстреливал градом злосчастных сентенций, гарцуя на кресле, ведя за собою послушных «*бердяинок*» приступами штурмовать иногда лишь «*четвертое*» измерение зренья, и вылетал он в трубу (в мир астральный) чудовищных снов: он — кричал по ночам; мне казался всегда он утонченным субъективистом от догматического православия, или обратно: вполне правоверным догматиком мира иллюзий.

Но импонировал в нем очень-очень большой и живой человек, преисполненный рыцарства, честный, порой независимый — просто до чертиков.

Даже не помню, когда начались забегания мои к Н. А., кажется с осени 1907 года, когда проживал близ Мясницкой он; помню: потягивало все сильнее к нему; обстановка квартиры его располагала к кипению мысли; и милые, интересные разговоры с Л. Ю., ставшей мне очень близкой тогда.

Сам Бердяев за чайным столом становился все ближе и ближе; мне нравилась в нем прямота, откровенность, позиция мысли (не соглашался я в частностях с ним); нравилась очень улыбка «*из-под догматизма*» сентенций, и грустные взоры сверкающих глаз, ассирийская голова; так симпатия к Н. А. Бердяеву в годах жизни естественно выросла в чувство любви, уважения, дружбы.

Мережковские, Риккерт, Бердяев, д'Альгеймы, неокантианцы, Шпетт, Метнер, — влияния сложно скрещивались, затрудняя работу самосознанья; Бердяев был близок по линии прежнего подхождения к Мережковским; идейное отдаленье от них приближало к Бердяеву; а с другой стороны: мне общение с Метнером, Шпеттом вселяло порою жестокую критику по отношению к «⟨credo⟩» Бердяева; Шпетт, почитатель Шестова, в те годы всегда направлял лезвие своей шпаги на смесь метафизики с мистикой у Н. А.; и говаривал мне:

— «Мистика не должна рационализироваться в мысли; стихотворение — мистика; гносеологический трактат — философия. Смешивать их — допускать стиль нечеткости»...

В доме Бердяева встречен был ласково я; если мне было многое чуждо в бердяевском «⟨credo⟩», то «⟨credo⟩» мое было вовсе не чуждо Бердяеву; в сложном скрещеньи путей, выволакивающих вагоны культуры из гибнущих местностей быта и жизни, имелся и поезд, быть может товарный, но все-таки поезд; он значился, вероятно, в бердяевском расписании поездов: «*Поезд новых прогнозов искусства*»; и направлялся через центральную станцию, «⟨credo⟩» Бердяева, в град им увиденный жизни; на станции «*Мировоззренье Бердяева*» строгий начальник движений, Н. А. Бердяев, встречал и меня; в ту минуту, хотел или нет — все равно, я был в сфере владычества государственных отправлений его философии; и под дозором его догматической жандармерии все неприятные выходки против меня глупых критиков, или несносная брюзготня престарелых профессорш, преглупо мне портивших кровь, запрещались строжайше; вагон моей мысли подкатывал к гладкой платформе; на ней поджидал благосклонный начальник движения, Н. А. Бердяев, и всем своим весом философа (веским пером, громким словом) произносил мне:

— «Добро пожаловать!»

Жест доброй встречи, и грустной улыбки, пожатье руки, — непосредственно как-то притягивал поезд мыслительных странствий моих в его сферу; и кроме того: ко мне лично Н. А. относился прекрасно, от этого стали все чаще-чаще мои забеганья к нему в эту вьюжную зиму.

Возвраты домой от Бердяева воспоминанием связаны с вихрем метелей; бежанье мое по кривейшему переулку Мясницкой связалось с бежаньем в московских неделях, недели звенели; недели летели; недели оделись в метели; и чуялись в звуках легчайшие свистени философической истины, в атмосфере, ⟨которая,⟩ казалось, была лишь хлопчатою массой валившего снега, где в белом волненьи, пролуненном мутно, не-

ясно вычерчивалась тень заборчика, выпертого между ⟨— — —⟩ переулком скрещеньем неяснейших абрисов белых и желтых домов.

И тумбы сидели окаменелыми нищенками по краям тротуара, где не могли б разойтись трое встречных; сидели и кланялись мне.

М. О. ГЕРШЕНЗОН

В эту же зиму, мне помнится, начинаются встречи мои с М. О. Гершензоном,[349] которого прежде еще очень чтил, почему-то боялся; не видел еще никогда; Гершензон представлялся мне очень высоким и тучным, сидящим в удобнейшем кресле, обитым прочнейшею носорожьею кожей, в огромнейшем кабинете, с огромною бородою Черномора, с лицом Натансона (эс-сера), седым, постоянно читающим пребрезгливо издания «*Скорпиона*» и «*Грифа*» с единственной целью съязвить, объявивши, что все эти книжки, книжонки и книжечки, взятые вместе, не стоят не только одной строчки Пушкина: даже не стоят строки Огарева они; если этот сердито-презрительный Гершензон, написавший прекрасные книги, читает «*Весы*», то читает с единственной целью: рассказывать пушкинистам, показывая на рецензии Эллиса, иль на мои:

— «Нет, нет, нет — до чего же дошли декаденты!»...

Таким себе вымыслил я Гершензона.

Однажды в передней раздался звонок: попросили в переднюю (был еще ранний час, утренний); передо мною стоял очень маленький, очень нахмуренный, весь пережженый какой-то, чернобороденький господинчик, лет, может быть, около пятидесяти, может быть, сорока, может быть, тридцати лишь пяти с прегустейшей растительностью цвета вороного крыла подбородка и щек (но не длинной), с густейшими очень содвинутыми бровями, слагающими преглубокую черную складку на лбу, убегающую под барашковый колпачок; на коричневом, смуглом лице выдавались препухлые губы, слагавшие силу, крутой, небольшой изогнувшийся нос и два черных, задорных, не то невнимательных, а не то наступательных глаза, перед которыми выдавались огромных размеров очки с черным ободом; я был выше его: и глядел на него сверху вниз; он был ниже меня: и глядел снизу вверх, но так грозно и так недоверчиво: вместе с тем — чуть пугливо, как будто бы он, перепутавши адрес, попал не туда; но попав не туда, вместе с тем решил стойко испытывать все угрожающие неприятности, проистекавшие из досадного

факта; и он приготовился, прежде чем я открыл рот, отразить нападенье мое, нападая полузадорно, полупугливо плевком слов — мне в лицо:

— «Гершензон... заведующий „*Критическим Обозрением*"...[350] Я к вам по делу»...

И тотчас же заторопился словами, не глядя в лицо мне, а глядя на горло (он ниже был ростом), всплескался, всплевался, как вдруг закипевший кофейник, выбрасывающий вместе с темной струею душистого кофе кофейную гущу; и я растерялся (приход Гершензона ко мне был мне крайне приятен); и он растерялся; и растерявшийся, вдруг покраснел, рассердился, поднял высоко свою черную голову; из лопотания какого-то горлового и низкого голоса, вырывающегося через горло и рот, из-за сердца (а быть может, — из-за «*подложечки*») сразу не мог я понять, чем же собственно я провинился перед этой фигуркою, автором замечательных книг, мной ценимых; Михаил же Осипович кипятился в передней желаньем вскипеть поскорее, пролиться струею коричневою горячего кофе, чтобы быть снятым с огня (удалиться стремительно); и подобно тому как горячий кофейник, закупорившись у носика гущею, не струит, только капает в чашку, хотя переполнен до краю он, после же изливает душистый свой дар благодатно и щедро, — так маленькая фигурка М. О. Гершензона сперва заявила сознанию моему о себе только гущей взволнованных звуков: и вдруг прямо хлынула — темной и жаркой струею приятнейшего для меня предложения: стать сотрудником «*Обозрения*» и написать в нем рецензию об одном из явлений, которое виделось мне хулиганским явлением; он поспешил заявить, чтобы я не стеснялся почтенностью тона «*Критического Обозрения*», а написал в таком стиле, в каком я писал для «*Весов*»; и он прибавил, что он уж давно за статьями моими следит, соглашается с нашей «*весовской*» полемикой и весьма одобряет меня за нещадность и резкость по адресу литературной распущенности; тут он весь покраснел и плевнул в меня фразой:

— «Делаете полезное и культурное дело: подай Бог вам помощи».

Этот конец его лепета выкинут был мне так строго и грозно, что я испугался, не сразу поняв всю приятность его содержания, тотчас же стал торопиться он, не раздеваяся и не войдя ко мне в комнату; распростился и вышел (кофейник вскипел, одарил ароматной струею: кофейник убрали); а я оставался стоять перед захлопнутой дверью с улыбкой довольства, испытывая приятную теплоту, точно после крепчайшего, ароматного «Мокко», дающего силы работать; помилуйте: быть приглашенным работать в сериознейшем «*Обозрении*» самим «*Гершензоном*», который читает «*Весы*» не затем, чтобы бранить (все кругом порицали меня за полемику), и получить от него комплимент не от кончика языка,

а от сердца, испытывать юношеское пожатие крепкой руки — это был настоящий подарок в моих сирых днях; так естественный жест Гершензона — дарить животворным, духовным теплом, быть кофейником, в чашку плюющим, восстановляющим силы напитком, — сказался уже с первой встречи; все — брали, навязывали, полоняли; он — дал; все взымали проценты за *данное*: дал бескорыстно!

Потом оживал в фантастическом образе он: на сожженных холмах Палестинской земли крестоносцы, мы, — бились с неверными; все уже были кругом перебиты; кольцом облагали, и оставалось одно: бросив меч, пасть на копья; откуда-то быстро, на маленькой вовсе лошадке примчался совсем небольшой смуглокожий, почтенненький сарацинчик по виду, в тюрбане, в браслетах и в кольцах, с серебряным острым копьем; и зачем-то стал рядом сражаться: за дело мое; и «*неверные*», в ужасе побросавши оружие, бросились прочь; оказался он мудрым Мерлином,[351] волшебником, где-то прозором увидевшим опасности, мне угрожавшие, быстро схватившим какую-то ладанку, севшим на лошадь, возникшую прямо из воздуха, и полетевшим по воздуху: выручать.

Встреча моя с Гершензоном мне памятна; раненный в битвах и все потерявший, нашел я пещеру волшебника; с этой поры стал я часто наведываться к волшебнику, одарявшему мудростью жизни совсем бескорыстно.

Так встает Гершензон в первых встречах.

Я скоро отправился на квартиру к нему, оказавшуюся почти рядом с квартирою нашей; мы жили в одном переулке, в Никольском (я — в доме Новикова, или в № 21; он — в 13-м номере, в доме Орловой): надо было пройти на глубокий двор, внутренний (далее — начинался хорошенький внутренний садик, в котором прогуливался М. О. осенями и веснами), и позвониться, подняться по лестнице; и из передней — подняться вторично, чтобы очутиться в двух маленьких, чистых светелочках, где Гершензон совершал волшебства, иль «*Мерлиново*» действо: опрыскивал мертвые данные старых музейных архивов водою живою вскипавшей в нем мудрости; и прорастали душистые стебли душистой старинной «*Москвы*» из него, как сухого, коричневого боба, прошлогодних цветений культуры, всегда тугопучного будущей нежною зеленью. Столовая, спальни и комнаты милых детей помещались внизу: здесь, в светелке, все было пречисто, престрого, прекнижно; столы, полки, книги; опять — полки, книги; и — более ничего; но казалось: немая и книжная скука столов лишь отвод глаз для праздного докучателя действий, вершимых, — здесь именно; попадая в две комнатки, скоро уже начинали вы слышать: струенье, кипенье поплевывающих ручеечков,

стекающих меж корешками расставленных книг, как меж голых утесов, — от снежных высот горных стран; посредине этого разговора стихий, элементов, М. О. Гершензон заседал в старом, в сереньком пиджачке, такой маленький, такой черный очкун, набивая себе папироску и прибарматывая заклинания, в результате которых все мертвое вдруг становилось живым и процветшим; он — дух элементов — отсюда: дарил и бурлил на Москву, на Россию, на мир; очень помнится маленький тот кабинетик, наполненный книгами; и М. О. среди них, разволнованный, полный кофейник, готовый всегда расплескаться живейшими силами кофе, который заботливо убирала уютная, милая, умная Марья Борисовна с пачки работ своим зовом из нижнего этажа, приглашающим к завтраку; здесь-то вот выговаривал М. О. свои мудрые афоризмы о жизни за быстрой набивкою папирос; набьет мне и себе — и с улыбкой протянет:

— «Курите!»

Он стал мне родным; я утрами сюда заходил, чтобы поведать М. О. о насущных заботах своих: попросивши указаний, совета... М. О. откликался: и мыслью, и чувством, и волей к добру, в нем живой; так-то начали складываться отношения, которыми счастлив; пятнадцать лет ясных, сердечнейших отношений — не шутка!

Напоминал он священного, черного скарабея; копался он в ценностях; в норку уютной квартирки таскал он архивы, музейные выписки, книги и мысли, и факты сознания, раскладывая на столах и припрятывая — подальше на полку. Квартира М. О. Гершензона напоминала мне лавочку архивариуса, где средь ветоши глупых книжонок (их роль — заметать следы книжищ) хранилися ценности, где среди так себе брошенных камушков были редчайшие перлы, которых нигде не найдешь; эти камушки так себе — брызнь словесных плевков Гершензона; а перлы средь этих плевков — взбрызги света духовного, выграненные невзначай одним метким, и цельным, случайным плевком.

Когда маленький Гершензон восседал за столом в этой комнате, то не казался парадным, а — кухонным, перевязанным фартуком за очисткой своих овощей (уже проверенных фактов), иль за скучным мытьем очень грязных картофелин (фактов еще проверяемых), иль рассерженно суетился туда и сюда с преогромною супною ложкой, снимая отстои кипящего супа (отстои[352] из выписок, собранных по музеям), — напоминал он мне повара; виделся белый колпак над его головой; сочетание фартука, колпака и большой супной ложки, с пенсне на горбатом и темно-коричневом носе, выпыхивающем свои африканские зной, над сливою сложенной парою губ, — производило глубокое впечатленье свершаемых здесь очищений и жертв; начинали вы чувствовать, — вы вве-

дены прямо в кухню огромной духовной работы восстания новых вещей, после выставленных в витринах утонченных магазинов культуры, и собирающих кучки ценителей; я это чувствовал; чувствовал: все тебя угощают итогами, схемами, не убеждая реальностью факта, дающего право на вывод; здесь — вывода нет (выводи сам себе!): подан факт; здесь идеи лишь факты варенья, кипенья; идея — варимый здесь суп; и вот повар, такой небольшой, суетящийся, черненький, точно обугленный жаром ⟨о⟩паляющей печи, которому не до слов, не до фраз (тем плеснет, это выплюнет), суетится над булькаиьем непосредственной данности (супа), которую он вываривает из темнотного лона самих *Матерей*; М. О. Гершензон в роли повара самой культуры, не в роли абстрактного прейскуранта предложенных блюд без возможности блюда подать (не Бердяев), М. О. Гершензон возбуждал удивление, благоволение, благодарность за то, что он вводит тебя в свою кухню, где булькает Дух, оставляя свободу испробовать доброкачественность материала стряпни (ведь обычно нас кормят «*эрзацами*»).

И ты начинал понимать, что колпак поварской, пренелепо надетый на эту чернявую голову с маленькою лысинкою, два глаза, напоминающие в иную минуту жарчайшее *черное* место горящей свечи, где свершается химия соединения с кислородом, — суть нечто иное; глаза — алхимическое превращение черного угля в великого *Красного Льва* философского камня алхимиков;[353] белый колпак есть берет розенкрейцера нашего времени, лабораторной работою добывающего новый жизненный эликсир; приносимые *вещи* завзятому собирателю старого быта, открывшему[354] в тихоньком переулочке лавочку древностей, — только сырой материал, проплавляемый в новую вовсе культуру; и консерватор кусков старины — динамитчик-бомбист революции Духа.

М. О. Гершензон, выходящий из дому опасливо, точно боясь, что как только он выйдет, все домики, домы, домины Никольского переулка обвалятся над барашковой его шапочкою и миниатюрной фигурочкой, и ощупывающий толстой палкою прочность асфальтовых тротуаров (быть может, — провалятся?), все же спешащий брезгливо, сердито и внутренне под-подплевывающий протестами («что мне там делать: ведь скучно!»), — напоминал розенкрейцера, выходящего в мир под одеждой старьевщика, или мусорщика: перепробовать отбросы старой культуры (быть может, средь них затерялся перл, годный для переплавки); таким его видывал часто в Музее Румянцевском: щупал он книжные карточки каталожной так точно, как щупает повар добротность тетерки; ему же несли отовсюду: архивы, брошюрки и книги. И А. С. Петровский, ретивый музейный работник, с довольством летел средь про-

странств каталожной, поднявши свой нос, развевая пенснейную ленту от носа — по воздуху, а Киселев опускался из комнаты, где сохранял *инкунабулы*,[355] перемолвиться словом с такою приятной «*кухаркой*» культуры; и предложить — свой товарец.

Порою бывали с М. О. где-нибудь: он же, внутренне гневный на то, что уходит его драгоценное время (составы кипят!), все, бывало, подплевывает в ухо:

— «Ну, не пора ли, Борис Николаич, домой?»

Он любил возвращаться ночами с попутчиком — кто его знает, что может случиться: обрушится дом, налетит он на тумбу с размаху (ночами почти ничего он не видел); мы же были соседями; и иногда выходили мы вместе: из света во тьму; и во тьме ощущал я крепчайшую руку М. О., ухватившего меня под локоть; и во тьму выговаривал он замечательные свои домыслы о духовной науке, о языке языков; и — о многом другом.

Его много читал; и любил, как писателя; *главного* он своего — нет, не выразил: этого смутного лепетания над данностью мира из темного переулочка, — лепетания, напоминавшего древние руны; лепетания эти, конечно же, предпочитал обработанной схеме Бердяева, скепсису Шпетта и даже *ракете* Э. Метнера (в сущности все-таки только корыстной: зовущей насильно *в свое* и *к себе*, завлекающей светом из дали: вблизи пришибающей голову упадающей, обожженною палкой из неба идеи); у Гершензона отсутствовала корысть: все им собранное проплавлялося в эликсир, разливаемый щедро вокруг (или в *кофий*, излившийся в чашку плюющим кофейником); был бескорыстно дарящим — не мыслью, а семенами мыслительных действий, всходящих в даримой душе, получающей дар.

Он как бы говорил нашим мыслям: «Плодитесь и множитесь».[356] Другие хотели их стричь; он — растил; я к нему забегал поделиться духовной находкой; рассматривал долго *товар* мой, как истый знаток — архивариус — в лупу (всегда был сперва недоверчив); лишь убедившися в доброкачественности *продукта*, понюхав коричневым носом, почмокав губами, он принимался поплевывать благословение принесенному; или решительно фыркал:

— «Нет, нет, — не годится!»

Жрецом осветителем он мне казался тогда; возложив свою руку на поданное, отдавал мне. И я нес обратно — идею, открытие, замысел, точно просфорочку, у которой в святилище вынули часть.

Такой маленький, милый, то — гневный, капризный, всегда благородный, всегда копошащийся над какою-то кучкою, напоминал он свя-

щенного скарабея Египта; такой он был старый старинною мудростью; вместе с тем жаром своим и всегдашним кипением был он как юноша, смело готовый искать вовсе новых путей — там, где более поздние генерации начинали бояться новаторства: он любовался каким-то квадратом Малевича,[357] в супрематическом творчестве видя глубокую мысль; он же видел значение текста библейского так, как его увидал бы современник великого Моисея; он есть совершенно прекрасный, вполне богоизбранный вещий еврей, отдающий свои драгоценные силы творению русской культуры и объясняющий русским «*дух*» русского прошлого.

Знает себе настоящую цену; с издателями, с так себе праздноболтающими, или с туристами, пересекающими случайно страну, где работает он, говорит повелительно, гордо и резко; когда легкомысленно с ним обойдутся, священный огонь просто ярости блещет в расплавленном взоре его; и становится страшно: так дух элементов, журчащей струей ручейка, вдруг всклокочется белым потоком летящего наводнения; так огонек, тихо тлеющий, ярым и красным взлетает пожаром; так ласковый воздух, бурея, проносится душным самумом; так капелька снега, слетая с вершины, грохочуще ухает непрерывною канонадой снегов, хороня под собой все, что ниже ее.

Полюбил я квартиру М. О. Гершензона; любил дом Орловой, Никольского переулочка, принимающего вветсяния всяких других переулков Арбатско-Пречистенского района Москвы; я поглядывал на уютненький дом; и я думал: вон там, в глубине оснеженного дворика высится флигель; наверное, из светелки М. О. Гершензона блестит огонечек; наверное, М. О. там сидит, поздним вечером, варит составы идей: и кипит и бурлит сам собой — на оснеженный дворик, на флигель орловского дома, на переулочек, выходящий в тишающий поздний Арбат, на Москву, на Россию, на мир; так и струечка, начиная сочиться с подтаины ледника векового, ширеет, бурля по камням снегопенным ревущим потоком.

И я проходил в переулки: и эта мятель, загласившая всеми валторнами труб дымовых и фаготами подворотен, дрожащих под ветром, быть может, идейное действие Гершензона, обвеивающего освеженным озоном Арбат и Пречистенку; домы, возвышенные средь домишек шестью этажами, овитые пургами, смутные очень в облуненной пыли снежинок, казались горами мне некой страны, может быть, Рюбеланда; а он, чернобраденький, маленький, в острой барашковой шапочке, пробирающийся меж гор в снежной буре, быть может, он есть Рюбецаль.[358]

Становилось уютно: дух местности этой оказывал мне покровительство.

Помню: идешь переулком: сквозь снег выступают неясно колонны того двухэтажного дома, отчетливо розового, с барельефами; розовый треугольник фронтона едва выясняется в переметне и в мельтешне снежинок; едва проступают своей известковою лепкою белые виноградины тяжких гирлянд горельефа, спускаемых пастью кудлатого белого бараногого фавна; вот там выясняется каменный хоровод горельефных, нагих, белых дев, подзастывших навеки; но все засвистит; и плоды, и недвижные белые чресла года́ застывающих дев, даже розовый нежно фронтон, — все уйдет очертанием в переметень и в мельтешню снежинок.

И думаешь: где ты? в Москве? Может быть, ты, Москва, — только сон, пролетающий на поверхности твоего подсознания, и отражение фатаморганное где-то, в иных измерениях протекающей жизни: морок слепился из снежной бури в горах, где ты, путник, все прошлое бросивший, вдруг так сурово застигнут; и сам себе кажешься снова — изъятием, отсутствием; вдруг вспоминаешь: но в горной той местности, в том Рюбеланде, есть дух — Рюбецаль; он пошлет тебе силы найтись; и снега — упадали; и в тусклой, пролуненной мути опять выступал треугольник фронтона: и высились домы; успокоительно так помаргивал фонарек над воротами дома — тринадцатым номером: а, дом Орловой? Наверно оттуда, из тихой светелки, поглядывая в окошечки, бдит Гершензон, охраняя течение жизни Арбатско-Пречистенского района.

РАЧИНСКИЙ, БУЛГАКОВ

Ах, переулки района Пречистенки! Я их избе́гал; мне все они ведомы; сотни домов мной исхожены здесь; и — каких; проживал сорок лет в этом тихом районе; мне кажется, я — не Москвич; я — Арбатец, Пречистенец.

Переулок района Пречистенки: он многоцветен; и он — разносторонен, разносоставен; вот — градация многих домов его; этот дом — синенький, одноэтажный, с заборчиком синим; и — с садом; за ним, отступив от кривейшего тротуара и занавесясь рядком тополей, из-за них — подымается лупленный, желтоватый, белоколончатый, каменный дом с медальонами и с барельефами, изображающими похищение Прозерпины; и он — двухэтажный; за ним — бок чудовища: шестиэтажного, серого куба — слепого и глохлого. А напротив: стеною сливаются

три двухэтажных, три каменных дома; пониже, повыше; и снова — пониже: зеленоватый, белесоватый и розовый, с колониальною лавкою на углу: дальше — что? Неизвестный забор, убегающий, загибающий, покосившийся, шеколадного цвета с отодранной в одном месте доской, позволяющей видеть, что там дровяные, пустынные склады; здесь — скользко; и лед здесь не сколот; и пес поднимает тут ногу.

Неравноростные, неравноцветные кубики, кубищи, кубы, заборище, плоскости; и голотрясы ветвей с криком галок; и — глупые тумбы; и — вдруг: только-только отстроенный дом — декадентский, неравноплечий, нарочно с нахальством присевший одной стороною и взвинченно-вздернутый самовольною башней — с другой (тут законы не писаны), обращенной кощунственно к церкви Покрова Левшина,[359] серебряноглавой, четырнадцатого столетия, рябо облупленной с домиком сутуловатенького и совершенно глухого священника, почти столетнего старца, которого правнуки целыми днями сидят за роялем над исполненьем пассажей труднейшего Скрябина, спорят о Метнере и посещают упорнейше рефераты Бердяева; старенький батюшка явно обижен на наглость декадентского изразцового дома (а внуки и правнуки батюшки ходят туда и приносят рассказы об ярких полотнах Сезанна, повешенных там); декадентский дом блещет мозаикой, складывающей рисунок художника Головина; дом же строил, конечно, Дурнов, а не Шехтель.[360]

Пустой переулок; кой-где пробежит пешеход, мещанин; пробегает тут часто в поношенной шубе, в енотовой, Эллис: и к вечеру, в саночках проезжает кудрявый Бердяев, надевши немного назад меховую пушистую шапку, из-под которой вихляются в ветре чернейшие кудри его, осребренные легким снежком; скрипя, саночки останавливаются — у декадентского дома.

Весною в воротах одноэтажного синего дома сидит длинновласый, мохнатый еще не старик, в невозможных мухрах, с нездоровым лицом, праздно смотрит в глаза он прохожим — большим кадыком, весь нечесанный и немытый; и ходит зачем-то расчесанный мытый козел, перевязанный розовым бантом, — с двора декадентского дома; бодает случайных прохожих, и нюхает руки знакомым прохожим с большим удовольствием.

В беловатом, невзрачненьком доме (в одном из трех, слипшихся вместе) наверное проживает взъерошенный скептик, всегда посещающий Религиозно-Философское Общество, в декадентском же доме *бердяют*; и здесь раздается нередко: святое жунденье Рачинского.

— «Святися, святися, Новый Иерусалиме, Слава бо Господня на тебе воссия» — между селедкой и водкой: перед закусочным столиком;

здесь — застаю: коренастого, белокурого, пристального Серова, с которым Рачинский почти что на «*ты*».

В то время на всех путях жизни передо мной вырастает Рачинский; во все дома входит он быстрым, нервным, будто танцующими движеньями, напоминая пчелу, иль шмеля над цветком; как пчела зажундит над голубеньким колокольчиком мая, танцуя в сияющем воздухе, прежде чем вникнуть в отверстие цветика, так и Рачинский жундел бескорыстно о Духе пред нами, тогда молодежью еще, перед старцем, сектантом, народником, барынькой в голубом, лепестисто-разбрызганном платье.

Рачинский жундел как-то бархатно, великолепнейшим тембром глухого, невнятного голоса (иногда — точно каша во рту); и пофыкивал дымом в лицо, вздев седую бороду; да — шмель, зажужухавший над колокольчиком: вынимал сладость цветика; и совершенно обратно Рачинский: влезая в душевный цветок своей мягкой, глубокою речью, изображавшей угластые, точно шмелевые, танцы цитат, наклоняясь над ухом-цветком, приносил он и мед, и пыльцу; ухо было отверстием колокольчика ждущей души; и в него проникали молебны Рачинского; только когда уставал он, впадая в неврозы, напоминал он летающий жужелжень мух на припеке, или — шмеля, вдруг накрытого чьим-то стаканом; тогда он казался звенящим дотошно, назойливым, слишком порывистым, совершенно бесцельным; мозаика пестрых цитат начинала звучать ерундой — от быстрот темпа речи; тогда появлялся Петровский; и бережно извлекал он Григория Алексеевича из сумятицы мира в обитель какой-нибудь санатории.

Был один критик в Москве, преглупейший болтатель, когда-то умевший срывать похвалы молодежи, потом провалившийся в Лету забвения; этот критик осмелился раз мне сказать:

— «А, Рачинский, но это же — балаболка...»

Он был, вероятно, по-своему прав: «*балаболки*» есть всякие, гусли духовные для представителей многих линий, конечно же, — «*балаболки*»; и — только; Иоанн Дамаскин — «*балаболка*»; средь препочтенных «*не балаболистых*» членов совета Р. Ф. О—ва не было Дамаскиных; были, пусть, — Златоусты; Рачинский же пел совершенно бесцельно и прекрасные песни, — на заседаниях общества у д'Альгеймов, в Эстетике, у Морозовой, Метнеров; и у себя на дому; а для нас, молодежи, пестующим был он Бояном; вынашивал наши стремления он; наполнял наши уши своей «*болтовней*», т. е. тем, что, конечно же, было совсем недоступно элементарному критику, обозвавшему «*балаболкой*» его.

Он писал и стихи: даже прямо талантливо; строгие, грустные строчки его онтологий мне нравились очень; великолепнейше пародировал Алексея Толстого в «*толстовских*» стихах, долженствующих всем доказать, что Толстой — не поэт; и разбирался он в Брюсове, Блока ж эпохи «*Нечаянной Радости*» он не любил: не любил «*Балаганчика*».

Гусли Рачинского (если хотите, «*болтанье*» его) сколько раз в час тоски возвышали меня; роль Рачинского, прожундившего ухо Москвы о духовном, — огромна в Москве; он ее крупный деятель; он — настоящий священник живой, светлой церкви по чину Мельхиседека;[361] смешной человек? «*Балаболка*»? Но — вот: «*балабольством*» огромнейшей эрудиции бескорыстно поддерживал он четверть века все смелое, новое; мы взлетали на неких гигантских шагах; он же нас подносил, он подбрасывал в воздух, взмахнувши руками:

— «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — аминь!..»

Он когда-то был старшим советником Губернского Управления,[362] волей судьбы занимавшего даже ответственный пост губернатора, в дни, когда В. Ф. Джунковский и Баратынский отсутствовали;[363] губернаторствующий Рачинский был символом для меня величайшей анархии; «*править*» — не мог он: он мог разрушать; как я помню его в черном с золотом сюртуке и при шпаге, ораторствующего — о рифмах, о текстах, о бомбах...; вижу его даже в этом мундире — непременнейшим «*батюшкой*» новой церкви какой-то.

В укладах, в устоях всегда потосковывал; я однажды запомнил его у д'Альгеймов; уставши от каббалистических эстетических рококо и барокко д'Альгейма, увидевши Эллиса, он подбежал к нему; и — прижимая свое воспаленное чело, над лбом Эллиса профафакал он:

— «Тоска... паф-паф-паф — Кобылинского, Левки, с тоскою Рачинского, Гришки, — паф-паф... — соплетается...»

— «Паф!..»

— «В мировую тоску!..»

Да: жунденье Рачинского множествами цитат было истым молебном; когда издали слышится громкий молебен, и батюшка, дьякон и причт расстараются пеньем, — слова, содержаньем стираясь, сливаются в благонамеренное жунденье; слышишь: жужжанье пчелиного роя пресветлыми текстами. Православные (Франки, Бердяевы, Лосские) не имеют конкретно — духовного опыта; а вот «*сразимый*» Рачинский (во всех отношеньях) — тот опыт имеет.

Я помню его: темно-синяя, короткобортная, широкоплечая куртка-пиджак отвисает гладчайше (такая короткая куртка); такие же, тем-

носиние, панталоны; Г. А. так выходит из дымного кабинетика — к нам, припадая на ногу чуть-чуть, еле видно сжимая рукою толстейшую скрученную им самим папиросу; он — сбросил дела там, в Губернском правлении, предоставив Перфильеву их;[364] и жужжит величайшими текстами: Гёте, Новалиса, Данта, апостола Павла; увидел меня — расплываются пухлые губы улыбкой: бородка, остриженная, два очка и пухлявое это лицо, посиневшее парою глаз, расплывается преподобной улыбкой: о, о! положивши мне руку на плечи — ведет меня к «*Танькину*», то есть к жене своей (Т. А. Рачинской), жужжа:

— «Понимаешь ли: „*В начале сотвори Бог небо и землю*", что по-еврейски — „береимт бара Элогим: хашамаим бэт харец..."»

Да, я знаю: раввины московские возносили не раз пред лицом справедливейшим Иеговы благодарность Рачинскому, их выручавшему; он очень чтим у Мазе;[365] он почтил пред мною его. Вот ведет меня к завтраку; и — инспирирует мыслями; мысли Рачинского — вовсе не мысли, а — песни...

В эту пору он что-то подбрюзживал на Религиозно-Философское Общество, которого был председателем:[366]

— «Да!..»

— «Паф-паф...»

— «Теологии слишком много!..»

— «А разве они теологию знают, как я?..»

— «Поизучали бы апостольские постановления...»

Он брюзжал на Булгакова, Эрна, Е. Н. Трубецкого; однажды принялся он мне мотивировать необходимость вступления в совет общества быстрыми переборами слов, трепаками изменчивых жестов, со мной благодуря; и перескакивая с «*вы*» на «*ты*», с «*ты*» на «*вы*» (так всегда он, бывало, взволнуется, забойчит, бросаясь в скачи, «*затыкается*»; «*потыкавши*», — вытекает), залетал он очками, затыкал мне в нос своей толстою крепкою папироской, им скрученной дома, кидался поддернутой в воздух бородкою из трепаков рук и ног, напоминая работающего скрипача над фантазией Паганини (на вовсе невидимой скрипке играл он), качаясь всем корпусом, дергаясь и рукой, и плечами, отплясывая ногами пред стулом своим.

— «Понимаешь — паф-паф, — он выверчивал с синими клубами дым из груди своей, — да, тебя бы я, черт возьми, вытурил — паф-паф-паф-паф — из совета — паф-паф...»

— «Понимаешь? Я сам бы тебя — паф-паф-паф-паф-паф-паф —» — исчезал он в дыму...

— «Я бы сам тебя в шею, — являлся из дыму он, — паф!»

И блеснувши очками в лицо, налезая лицом на лицо, и затыкав зажженным концом папиросы себе в выдыхающий рот, — продолжал; с быстротою курьерского поезда.

— «Если бы не Сергей Николаич Булгаков... фу!.. Вы понимаете сами, Борис Николаевич — ты понимаешь — боюсь я густого поповского духа на заседаниях — понимаете?.. Фу! Булгаков способен — ты понимаешь — способен — способен: на заседании эдакое такое — паф-паф! — дернуть» —

— «Паф-паф-паф-паф-паф!..»

Клубы дыма: Рачинского нет в них; из клубов же — бархатное, басовое жундение:

— «На заседаниях не религиозного только, а Религиозно-Философского Общества дернуть, — не религиозного только, а понимаешь ли, религиозно-фи-ло-софского, фи-ло-софского, черт побери, общества», — гудит он в восторге, — какое-нибудь эдакое «*святися-святися*», или — взлетает под небо рукой с папиросой из дымного клуба:

— «Во имя Отца!..»

— «И Сына...»

— «И — Святого Духа!.. паф-паф!..»

(А про Булгакова вовсе напрасно Рачинский: ведь сам он любил поднести нам какое-нибудь: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!..»).

— «Ну вот: тогда я выпускаю тебя, ницшеанского пса, — для равновесия: гамкай-ка» — и начинал бить он выгибнем пальца о выгибень пальца под носом моим, изображая, должно быть, полнейшее равновесие:

— «Идите, идите-ка в совет общества, Борис Николаевич» — и положивши тяжелую воспаленную руку ко мне на плечо, а другою рукой взявши под руку, он, припадая слегка на одну свою ногу, меня выводил из душнейшего кабинетика; свободно висела широкая короткобортная, широкоплечая, синяя куртка его: вел меня он к столу, где Т. А. Рачинская нас ожидала — к столу с кем-нибудь; там сидел Остроухов, или «*Параша*», сестра Т. А., или расстрелянный М. А. Мамонтов, или «*Сашок*», А. К. Рачинский, иль Поццо, А. М., вихроглавый, курносый, кивающий и сияющий, бескорыстно встревоженный и благородно взволнованный...

— «Ну вот, Танькин, — решили: Бориc Николаевича выбираем в совет».

А добрейшая, утонченнейшая Т. А. закивает, стараясь выразить очень сложные ассоциации мыслей, которых наплыв ей мешает отчетливо выразить:

— «Тт... тт... тт... Вот и прекрасно... И Поццо, и батюшка, — тт... тт... И Маргоша,[367] и Алексей Сергеич... все вместе — давайте!» «*Давайте*» же — означало: давайте работать, да так, чтобы сразу Москва — вся Москва! — превратилась в сплошное религиозно-философское общество — не религиозное только, а именно — религиозно-фи-ло-софское... И кивает на это стремленье Г. А. и Т. А. бескорыстно встревоженный и благородно взволнованный Поццо; кудлатит восторженно голову; только Петровский от этих восторгов завертывал нос, становяся брезгливицей вовсе:

— «Ну вы все не верите...»

А. С. Петровский не верит в сошествие Духа над обществом:

— «Много болтают...»

Так был для себя неожиданно выбран в совет я на роли презлющей овчарки, спускаемой в нужные миги Рачинским, когда проявлялось излишнее благомилие в С. Н. Булгакове, иль когда близоручие князя Е. Н. Трубецкого грозило, по мнению Рачинского, обществу, или когда слишком грубо бросал В. Ф. Эрн свое щелкое, ледоломное слово.

С последним крепли в годах мои связи.

. . . .

Окреп наш союз многолетний с С. М. Соловьевым, который, отчетливо понимая, что в сущности я оборвался в годах, своим мужеством, сдержанной нежностью по отношению ко мне и всегдашней заботой бодрил меня: в трудных днях жизни; за этот сезон как-то явственно вырос он: замкнутый, трезвый, отчетливый, часто суровый в своих проявленьях, хранил он действительность «*зорь*» (в новой плоскости, — правда); но буйственных проявлений душевности, сантиментальности, мистики чувств он боялся; «*каковский*» язык в нем был жив; но он спрятался вглубь существа его; в многих своих проявлениях С. М. стал естественно напоминать мне улитку, ушедшую скрытно под ракушку; этой защит⟨н⟩ою «*ракушкою*» для С. М. Соловьева в те годы была филология; он «*новоявленных*» мистиков, религиозных философов точно боялся; сознательно группировал вокруг себя главным образом трезвых филологов он, отстраняясь от «*мистики*» Эрна, Булгакова; часто досадовали на С. М. Соловьева:

— «Сергей Михайлович ведь вот: очень держится странно он; должен бы близко сойтись с нами: нет; и не видно его на заседаниях Религиозно-Философского Общества, странная манера держать себя...»

— «Ну скажите, а что С. М.?» — спрашивали меня удивленно — Эрн, Бердяев, Булгаков, — но объяснить, почему С. М. стал держаться вдали? объяснить я — не мог: С. М. был несомненный «*старик*»,

«*ветеран*» в той компании, где выступали Булгаков, Бердяев, еще «*неофиты*» (годами же — «*старшие*»).[368]

Точно мы некогда захлебнулись зарею с С. М.; мы испили *зори*; и потом начался в нас мучительный очень процесс: усвоенья ее; тот процесс на С. М. Соловьеве особенно я наблюдал: он ходил озаренный теперешними проблемами Религиозно-Философского Общества 907 года — лет за семь еще; уже в 1905—6 годах вижу его обожженным зарею, когда он попробовал жизнью приблизиться к «*зорям*»; а у других, очень многих, пока еще зори духовного возрождения горели — на кончике языка; «*болтовни*» он боялся; и видел: теперешняя религиозная философия пока что «*болтала*»; быть третьего дня правоверным марксистом, вчера кантианцем, сегодня же быть православным — нельзя по-сериозному; совершенно естественно, это сегодняшнее православие часто казалось С. М. Соловьеву беспочвенной лишь болтовнею на темы, которыми жил он от детства.

Я помню: весь облик его незабываемых летних месяцев в 1906 году есть облик фанатика, явно охваченного пожаром дерзаний; а в 1907 году видится мне он каким-то сгоревшим; да, да: от былого «*Сережи*», *ребенка*, читающего философию Логоса, с золотисто-пепельными кудрями — совсем не осталось следа; лишь остались глаза — углубленные, серые, пристальные, глядящие из сожженных и обведенных как углем ресниц; в нем пропала сутулость; отчетливость, выправка в нем появились; когда раздавалось жунденье о «*Логосе*», он молчаливо закушивал несколько жестко-пунцовые губы свои, крутил ус; и — молчал. И Рачинские начинали роптать:

— «Непонятен Сережа...»

— «От нас удаляется он...»

— «Все молчит...»

Мне С. М. говорил:

— «Не могу я бывать у Рачинского: слишком там густо... Такая болезненная атмосфера... Все — Логос да Логос, да Логос. Бесстыдное что-то в таком оголении мистики есть!»

И в нем строилось очень суровое, трезвое религиозное мировоззрение в котором он несколько отходил от В. С. Соловьева, от крайностей увлечения народом; проблемы версификации и изучение греческих памятников стало ракушкою С. М.: он в нее уходил.

В лице его в годы те явно наметилось сходство не с дядей, а с дедушкой: со знаменитым историком;[369] это сходство порой проявлялось в манере держаться: холодная пристальность, строгость, немногословие, замкнутость.

Для меня же оставался он тем же — «*Сережей*», почти что родным, очень близким сопутником жизни.

Мне помнится, на дому у С. М. собирались в те месяцы; здесь знакомлюсь с талантливыми студентами: с А. К. Виноградовым, с его другом, поэтом, которого так мы любили и на которого так мы надеялись: с Ю. А. Сидоровым (в 1908 году он скончался);[370] из посещавших собрания Соловьева запомнились мне: М. А. Петровский, сын доктора, друга Владимира Соловьева, Е. П. Безобразова, А. А. Оленин, Нилендер, Арсеньев, Рачинский, Свенцицкий, Н. П. Киселев, Эллис, Н. И. и М. И. Сизовы, С. В. Гиацинтова, М. А. Венкстерн, Коваленская, Новский и Ю. П. Бартенев, скончавшийся вскоре, он был тогда цензором, человеком весьма просвещенным, заигрывавшим с «*символистами*», но — консерватором до мозга костей.

Мне запомнился круглый, уютнейший стол средь уютной, заваленной книгами комнаты; плотно приставлен к дивану он; в кресле глубоком какая-то малотелая, малогубая «*бабушка*», или А. Г. Коваленская, свесив на ручку тело, безгласит и мглеет глазами, прожевывая варенье, — брусничное, кислое; а полнокровный и жгучий Бартенев, смеясь, благодурит, выверчивая из себя очень детское, четкое, смачное слово; и — взаигры текстит латынью с С. М. Соловьевым в накуренном, перекуренном, передышанном воздухе; передымы пускает Рачинский, подфыркивая и подфакивая дымками (мы в шутку прозвали с Сережей «*фафаком*» его в эти дни и все спорили, пишется ли через «*фиту*» или «*эф*» то слово «*фафак*»), серопепельной пылью вкруг себя, отлетающей с пережога его папиросы, порывистым дыхом пускает отряд поспешающих слов, поражающий мелкотуху и мелюзговину мнений; а малогубая «*бабушка*», свесив на ручку глубокого кресла набокое малое тельце, довольно кивает на речи Рачинского:

— «Умница этот Рачинский», — бывало, она говорит нам потом; Виноградов бобылит с угла, громко гиркает смехом; Е. П. Безобразова, явно словами изъянясь, наполнилась взглядом, розея нам кофточкой и разливая нам чай; а Н. П. Киселев, закремнев векописным лицом, очень редко басисто открякивает поправляющим примечанием; и ползко подсевши, Нилендер, боднув головою, с губками, растянутыми не то в смехе, не то в горьком плаче, икая словами обиженно, явно бесплодит Бартеневу голову, перебивая словами себя самого, — раскрывая темноты темнейшего текста орфических гимнов; и — передрогло отсаживается, не встречая живого внятного отклика; но вот — звонок: это — Эллис; и, посиявши очками, свершает Рачинский совсем неожиданный поскакок из глубокого кресла навстречу зеленого-раззеленого Эллиса.

Тут начинаются быстрые словесные разбегаи меж ними; и — коловерт быстрых жестов:

— «Вы понимаете, Лев Львович, — что ваш Бодлер — понимаете, когда... Во имя Отца, и Сына и Святого Духа!..»

— «И — никаких... Что? Correspondanse...[371] Вы — понимаете?.. Никаких!.. Что...»

И уже все слова — коловерт, перезуд, перекрик, перепрыг: не разберешь в вихре тел, жестов, выкриков, где Г. А., где неистовый Эллис:

— «Первосвященник одевши... Бодлер... Урим, Тумим...[372] Что?.. А... Роденбах... Мельхиседек... Безнадежность... Святися, святися... Вы понимаете?.. Что?.. Христос воскресе... И — никаких воскресений... Паф-паф... У Тристана Корбьера... У Августина... Жилкэна... Паф-паф!.. Воссия... Безнадежность... Свет разума...»

И — не поймешь, где — Рачинский, где — Эллис...

Пойдешь после этих собраний чрез строй переулков, сопровождая Рачинского; он гулко стукает твердыми очень калошами по тротуару, в енотовой шубе, в барашковой шапке, скрывающей лоб; и — потеет очками; и палкою щупает почву, меня взявши под руку: переутомленность, сонливость, немного угрюмость теперь выступает на этом пухлявом и все-таки добром лице; вот он шарит в карманах, в распахнутой шубе стоит под тусклеющим фонарем, освещающим выпукложелтую стену старинного, косолапого дома, откуда низвесились три львиных морды, держащие в пастях своих по кольцу; где-то рядом — закапало: капает, капает горло-дерущими гриппами, плачем, чиханием, насморком: воспаленного носа.

Рачинский сморкается. Нет оживления — никакого: пресыщенность, озабоченность бессуетливо сгущаются складкой у лба:

— «Вот тоже — ах! С Валентином-то Павловичем — ведь опять: ах, неладно... Вы понимаете... И Сергей Николаевич понимает, и Эрн... Жалко Эрна...»

Неладно — подготовлялось в ту пору тяжелое разочарование в среде членов Совета, относившихся с громким восторгом к Свенцицкому; и потом от него отшатнувшихся.[373] «*И Сергей Николаевич понимает*», — тогда означало: Булгаков, натолкнувшийся на проявления шарлатанства в Свенцицком, переменил о нем мнение; «*Жалко Эрна*» — разочаровавшись в Свенцицком, Эрн чуть не болел: он ходил потрясенный...

И тут, распахнув свою шубу, Рачинский бросается мне рассказывать о Булгакове:

— «Понимаешь?»

— «Паф-паф!..»

— «Понимаете, Борис Николаевич!..»

— «Сергей Николаевич — паф: человек удивительный; его надо — паф: паф-паф-паф-паф!»

— «Паф-паф».

— «Понимать..!»

Мы проходим во тьму переулков (о глупую тумбу бывал спотыкач); и во тьме переулков Г. А. обращает внимание мое на Булгакова, мне советуя ближе его рассмотреть и понять; а кругом — снегосеяние; мутно сквозь хлопья наметились (булгаковские убеждения — и сложнее, и тоньше) — колонны того двухэтажного дома, отчетливо розового (убеждения Булгакова прорастают нам всем очень близкими молодыми исканиями) — барельефами; розовый треугольник фронтона едва выясняется в переметне и в мельтешне снежинок.

— «Паф-паф!»

— «Понимаешь... Булгаков...»

— «Паф-паф!»

Проступают отчетливо лепкою белые виноградины горельефа, спускаемые двумя мордами бараноpогих усмешников; и уходят в густеющий переметень; повалила хлопчатая масса; уже выбираемся к центрам, где явно светлеет.

Иду я домой, проводивши Рачинского, вдумываясь во все то, в чем меня убеждал, говорил о Булгакове он; чаще я вижусь с последним; и он, под влиянием панегириков Г. А. Рачинского, медленно оживает во мне.

Мне в Булгакове видится что-то черничное: может быть, — это черничный кисель?

В разговоре с Булгаковым несло ягодами, свежим лесом и запахом смол, средь которых построена хижина христолюбивого, сильного духом орловца,[374] плетущего лапти в лесу, по ночам же склоненного в смолами пахнущей ясной и тихой молитве; несло свежим лесом, — не догматом вовсе; из слов вырастал не догматик-церковник, каким он являлся в докладах, в писаньях своих, — вырастал между юною порослью ельника крепкий стоический мужеством чернобородый и черноглазый орловец; и сравнивал я Булгакова с более мне в то время понятным Бердяевым; да: они появились, как пара: Булгаков, Бердяев, — Бердяев, Булгаков, сливаяся в представлении мало их знавших в «*Булдяева*», или в «*Бергакова*»; вот ты начнешь от Булгакова: «Бул...» Кончишь ты непременно не: — «*гаковым*», — «*дяевым*»; и совершенно обратно: «Бер...», — то-то и то-то; стало быть — «*гаков*». Е. Н. Трубецкой —

отклонялся от них в одну сторону: в сторону большего протестантизма, рационализма и всяких привычек хорошего университетского тона; М. О. Гершензон — отклонялся от них то же самое: в сторону литературы, фактичности и несения службы в хорошего тона почтенных журналах; Булгаков с Бердяевым не принимали того и не шли на другое; мечтали о собственном органе; с университетом формально не связаны были нисколько; смелели своею позицией — «*религиозною*», заостряемою Бердяевым в публицистическом острие и укрепляемою Булгаковым тяжелою артиллерией экономических фактов; они были «*парой*», «*Булдяевым*». И далее — начиналося расхождение меж ними.

Бердяев порою не видел; и вовсе порою не слушал; Булгаков и видел, и слушал, собою являя приятнейшего собеседника, с вкрадчивой ласковостью порой подбиравшегося к истокам души, чтобы, вызнавши топографические особенности душевного склада своим личным экскурсом (экскурсов этих Бердяев не делал, а если и делал, то пальцем на карте, которая была наспех весьма им набросана некогда), — чтобы, вызнавши топографию всех душевных пластов и принявши в расчет их, потом очень твердо отстаивать в узнанной местности все, что ему было убийственно ясно, нападая на все непонятное; был он знаток человека, и нет, не «*профессор*» Булгаков, хотя был «*профессором*» он; в нем таились тогда уж потенции к «*батюшке*», к «*опыту*», к *келье*, ко старчеству и к Зосимовой Пустыни (вблизи Сергиевского Посада, куда ездил он);[375] меж тем: я Бердяева вовсе не мог бы представить себе посещающим «*что-либо*», или «*кого-либо*»; все к нему подъезжали (к центральнейшей станции, а ему было некуда ехать: Зосимова Пустынь, Сергей Николаич Булгаков ведь следовали в расписании поездов — в поездах, им помеченных под таким-то номером: мимо станции «*Мировоззрение Николая Бердяева*»).

Было в Булгакове тихое, обнимающее молчанием ⟨— — —⟩ сосредоточенного восприятия, почти женственного по силе отдачи себя возникающей вести; и оттого разговор с ним бывал со-вещаньем, со-вестием, со-вестью; «*совесть*» будил он. В Бердяеве не было часто желания по-со-вещаться, со-ветствовать; вместо «*со*» было «*по*»: повествовал о себе; или он из-вещал; там у Булгакова «*со*»-весть вставала; вставал же Бердяев с огромною по-вестью; кроме того, был Булгаков *совестным*; Бердяев — *известным*. На мягкую восприимчивость надевал С. Н. часто панцирь воителя: сковывался годами меч воина — догматическое богословие, столь смущавшее многих (и нас между прочим); но «*латы*» он дома снимал; Николай Александрович в «*латах*» сидел у себя за столом; в них пил чай.

Превосходно владел он рапирой и шпагой; и ими прокалывал точки он зрения; С. Н. владел превосходно мечом, прибегая к нему очень редко.

А сверху, на панцирь, Сергей Николаич набрасывал в иных случаях очень ученую мантию экономиста, конкретнее всех прикоснувшегося к истокам формальной науки: к статистике, к цифрам; такою профессорской миною он повернулся ко мне в наших первых беседах у Мережковских в «*Вопросах Жизни*»; он мне показался тогда осторожным, неверящим; жест расширения его (от профессорских рамок в безгранность исканий) казался формальным для виду; но жест — на минуту, жест внешней любезности, из-за цифр, допускающий только *а приори* ширь горизонта; на самом же деле Булгаков решил, что черно, что светло; словом, он показался тогда (и ошибочно) только «*проблемами идеализма*»;[376] подумалось:

— «Нет, Бердяев — тот многое понимает: Булгаков — не понимает в том случае даже, когда понимает словесно».

В ту пору мы, явные для него «*декаденты*», и только (различия между Блоком, мной, Ремизовым, Сологубом, Ивановым, Брюсовым, Гиппиус, вероятно, казались ему оттенками все того же) — всегда натыкались в редакционной политике толстых «*Вопросов*»[377] на твердый отпор нашей линии (мы допускались в отдел стихотворений — не более): Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский — те звали в журнал; но привык слышать вздохи и жалобы Гиппиус:

— «Можно б то-то и то написать, да ведь вот беда: „идеалисты", Булгаков... Уж мы бы, да — нет. Нет, нельзя: ведь — Булгаков же»...

Так я составил сперва совершенно неверное представление о С. Н. Рачинский в Москве представление это расстреливал клубами дыма:

— «Булгаков не то, что о нем говорите... Булгаков — вот кто понимает... Булгаков...»

И — да: о Булгакове я изменил свое мнение, встретясь в Москве с ним; меня поражал удивительными бросками незначащих фраз, открывавших картину глубоких, конкретнейших переживаний, в которых мы жили; но верить ли им? Он же явный — «*профессор*»; и явный догматик; а — вот ведь: меж почтенными мнениями выюркнет яркое замечание о Достоевском: меж двух гололобых камней расцветет голубой преконкретный цветок; и цветком расцветал его взор меж двумя прерассиянными вперениями чернокарих глаз в точку абстракции. Поразило, как быстро освоился он с уголками Москвы, где-нибудь в переулках Арбата, не видных другим из отряда «*солидных*» законодателей московского мнения, как он активно и молодо реагировал словом на все молодое.

— «Не наш ли Булгаков?»

Казался он «*нашим*» не в «*что*» своих догматах, — в «*как*», подстилающем их; в перекличке тональностей восприятия фактов сознания; постепенно открылись: его восприимчивость к атмосфере духовных исканий Москвы, удивительные реакции на поветрия скрытых болезней и дующих ветерков благодати, Москву овевающих.

Виделся, все-таки, — воин — боец, сжавший меч догматизма, чтобы им, где последняя крайность пришла, — размахнуться; и вот, тоже разница в действии ратном: Бердяев всегда шел — за нас; против нас; Булгаков не шел против нас, иль — за нас; он всегда в «*нас*» боролся за то иль иное в «*нас*», против того, — иль иного — в «*нас*»; явно стремился в противо-действии и в со-действии оказаться в ландшафте сознания, а не на карте ландшафта; старался ландшафт культивировать он, где возможно; Бердяев старался тончайшей рапирою диалектики по всем правилам фехтования — проткнуть всю карту ландшафта.

В годах уже более поздних Булгакова я горячо полюбил; и, вот именно, — очень горячее чувство внушал он (не сразу); всегда вопреки очень многим различиям в идеологии; после я понял: идеология — пустяки для Булгакова; и убедился — опять-таки после: идеология для Бердяева — все: ею весь начинается он; ею он и кончается; а для Булгакова действенен опыт, хозяйство сознанья, «*София*»; идеи логические для него только щит, защищающий то, что проверено опытом; ради «*идеи*», порою абстрактной, Бердяев, несущий тяжелое бремя своей государственной философии, — бьет человека, его от себя отшибая; Булгакову — все человек; между тем: человека, как такового, идейно готов засадить он в застенок из догматов там, где идейно Бердяев все делает, чтобы разбить в человеке футляр догматизма; но «*философия свободы*» Бердяева — в голове у Бердяева; в сердце же — догмат, застенок; обратно: *свободой* пылает живое, любовью обильное сердце Булгакова, а в голове догматизм; я Бердяева ощущаю какою-то грустною, сострадательною любовью (все кажется мне, что ему очень трудно). Булгакову — сострадать? Нет: он счастлив избытком любви и конкретнейших радостей; в жизни всегда он, хотя убегает в «*пустыню*», чтоб там развести вкруг себя цветники; Бердяев — вне жизни; на кончике он языка проповедует волю к цветению, к творчеству, а на скучнейшее заседание он убежит из любого конкретного общества.

. . . .

Зима 1907—1908 годов мной отмечена участием в заседаниях московского философско-религиозного общества, завоевавшего много симпатий в Москве: к нему близко примкнули: Бердяев, проф. Е. Н. Трубецкой; действовали: В. Ф. Эрн, Г. А. Рачинский и В. П. Свенцицкий,

Москва. Вид на Арбат. Дом, в котором родился Б. Н. Бугаев (угол Арбата и Денежного пер.), и Троице-Арбатская церковь.

Андрей Белый. Фотография О. Ренара. На обороте — автографы А. Белого: «Эпохи начала „Пепла"», «1904 г. марта». (*ГЛМ*).

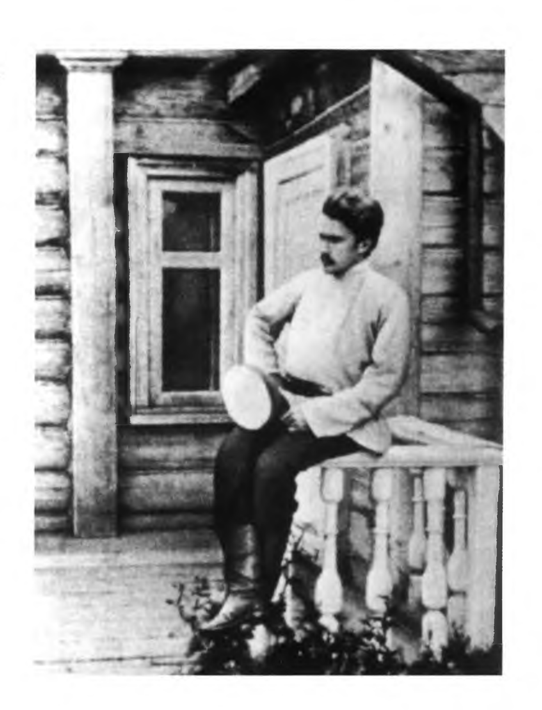
Андрей Белый и С. М. Соловьев. 1905.

А. Д. Бугаева и Андрей Белый. Пояснительная надпись А. Белого: «При въезде в усадьбу у гумна Серебряного Колодца Тульской губернии 28 июля 1904 г.». (*ГЛМ*).

Эллис (Л. Л. Кобылинский).
Фотография из студенческого дела. 1897.

Москва. Арбат. В доме с башенкой на 3-м этаже Андрей Белый жил в 1880—1906 гг.

С. М. Соловьев в Дедове. 1900-е гг.



Ф. А. и А. А. Кублицкие-Пиоттух, А. А. Блок, Л. Д. Блок.
Шахматово. 1905.

Л. Д. Блок.
Фотография А. И. Деньера. 1904.
На обороте дарительная надпись:
«Милому Борису Николаевичу
от Л. Блок».

А. А. Блок. Фотография студии
Д. С. Здобнова. 1907.
(*Музей ИРЛИ*).

А. С. Петровский. 1910-е гг.

Э. К. Метнер. 1915.

М. И. Сизов. Фотография из студенческого дела. 1901.

Б. А. Фохт. Фотография из студенческого дела. 1894.

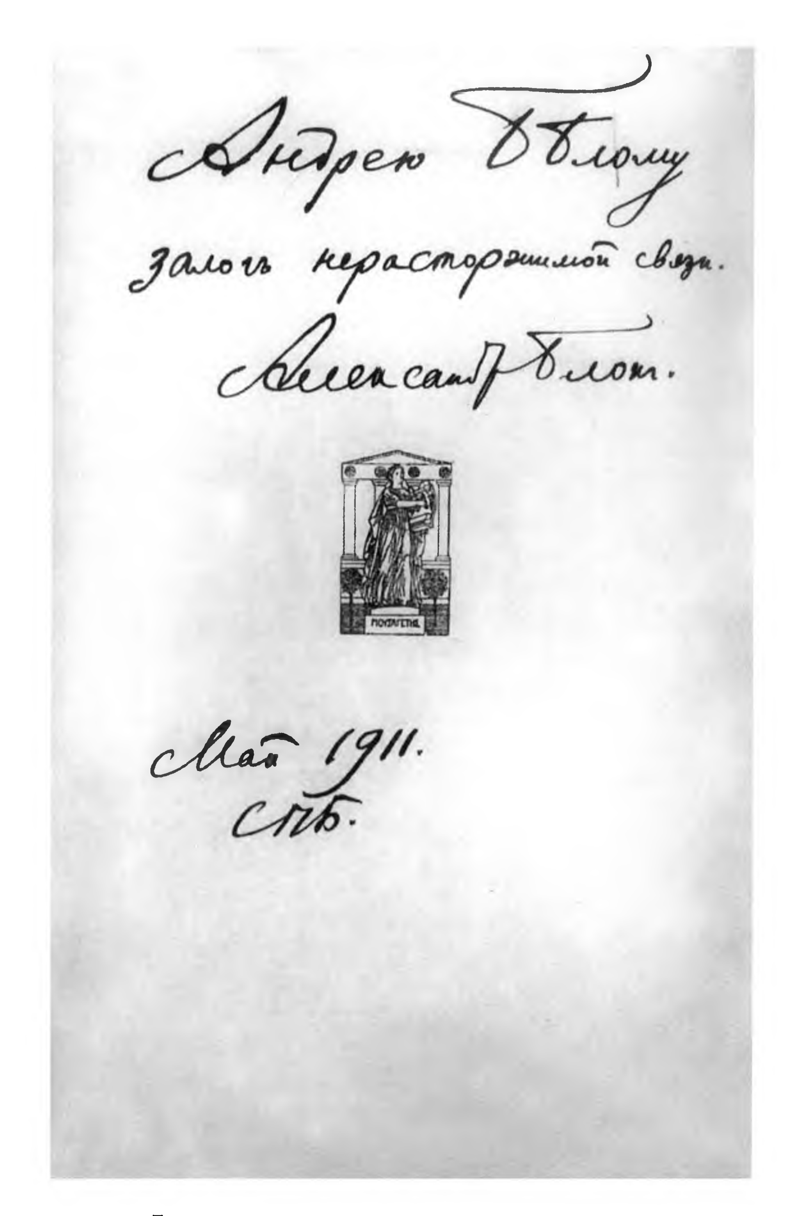
Андрей Белый. Карикатура на В. Я. Брюсова (пускающего стрелу в Андрея Белого). Подпись (цитата из стихотворения Брюсова «Бальдеру Локи»): «Светлый Бальдер, мне навстречу ты, как солнце, взносишь лик». (РГАЛИ).

В. Я. Брюсов. Фотография С. В. Шицмана. 1902.

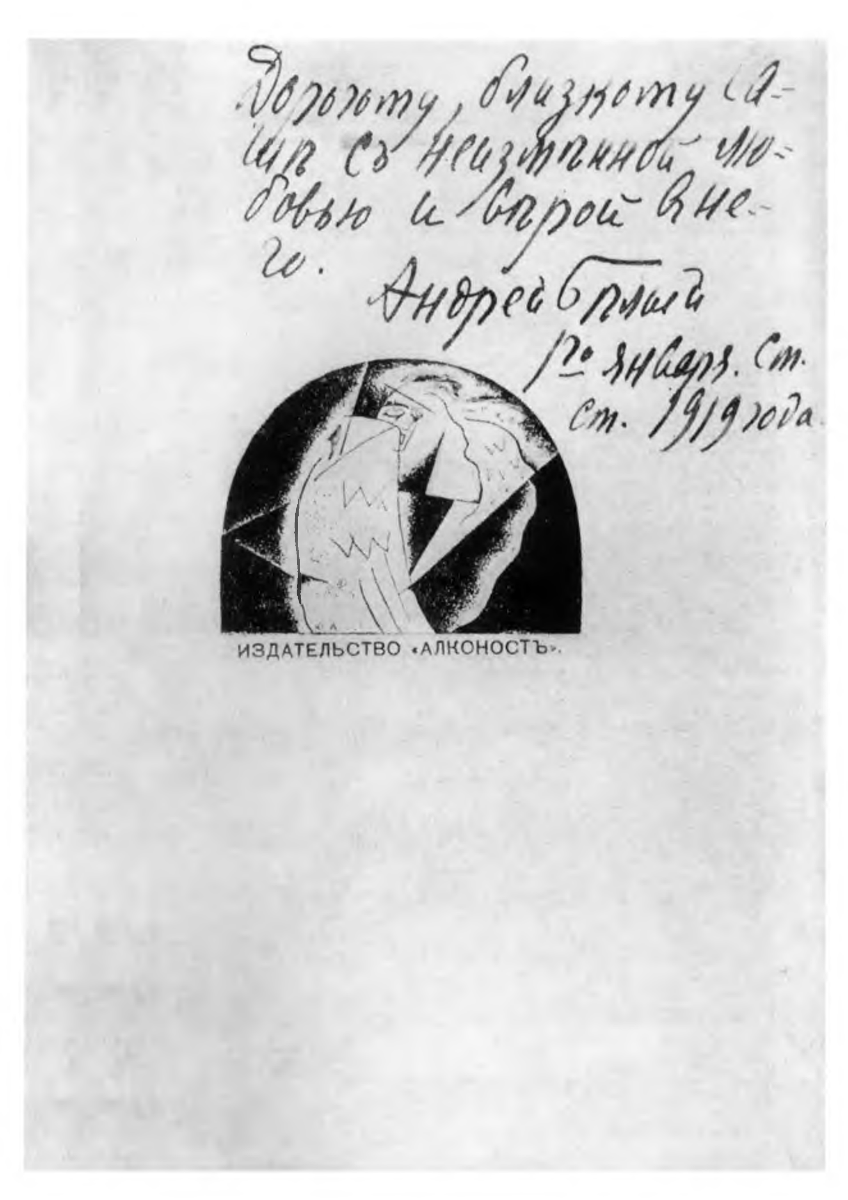
Д. С. Мережковский. Около 1910 г.

З. Н. Гиппиус. 1913. (*Музей ИРЛИ*).

А. А. Блок. Фотография студии Д. С. Здобнова. 1907.
Дарительная надпись Андрею Белому:
«Милому, нежно любимому брату Боре.
СПб. Окт⟨ябрь⟩ 1907». (*РНБ*).


Андрею Бѣлому
залогъ нерасторжимой связи.
Александръ Блокъ.
Май 1911.
СПб.

Дарительная надпись на авантитуле книги:
Александр Блок. Собрание стихотворений. Кн. 1.
Стихи о Прекрасной Даме. М.: Мусагет, 1911.
«Андрею Белому залог нерасторжимой связи. Александр Блок.
Май 1911. СПб.». (*ГЛМ*).



Дарительная надпись на авантитуле книги:
Андрей Белый. На перевале. II. Кризис мысли. Пб.:
Алконост, 1918. «Дорогому, близкому Саше с неизменной любовью
и верой в него. Андрей Белый. 1-го января ст. ст. 1919 года».

Л. Д. Зиновьева-Аннибал и Вяч. Иванов. Загорье, 1907.

Вяч. И. Иванов.
Рисунок Андрея Белого. Автограф Белого: «Вячеслав Иванов, рисовал Б. Бугаев».

Г. И. Чулков. Фотография студии Д. С. Здобнова. 1908.

М. А. Кузмин. Фотография студии Д. С. Здобнова. 1909.

М. О. Гершензон.

А. Р. Минцлова. Фотография
М. А. Волошина. Париж, 1905.

М. А. Оленина-д'Альгейм. (*ГМП*).

Пьер д'Альгейм. (*ГМП*).

Сестры Тургеневы — Наталья, Татьяна и Анна (Ася). 1905.
(Музей-квартира Андрея Белого, Москва).

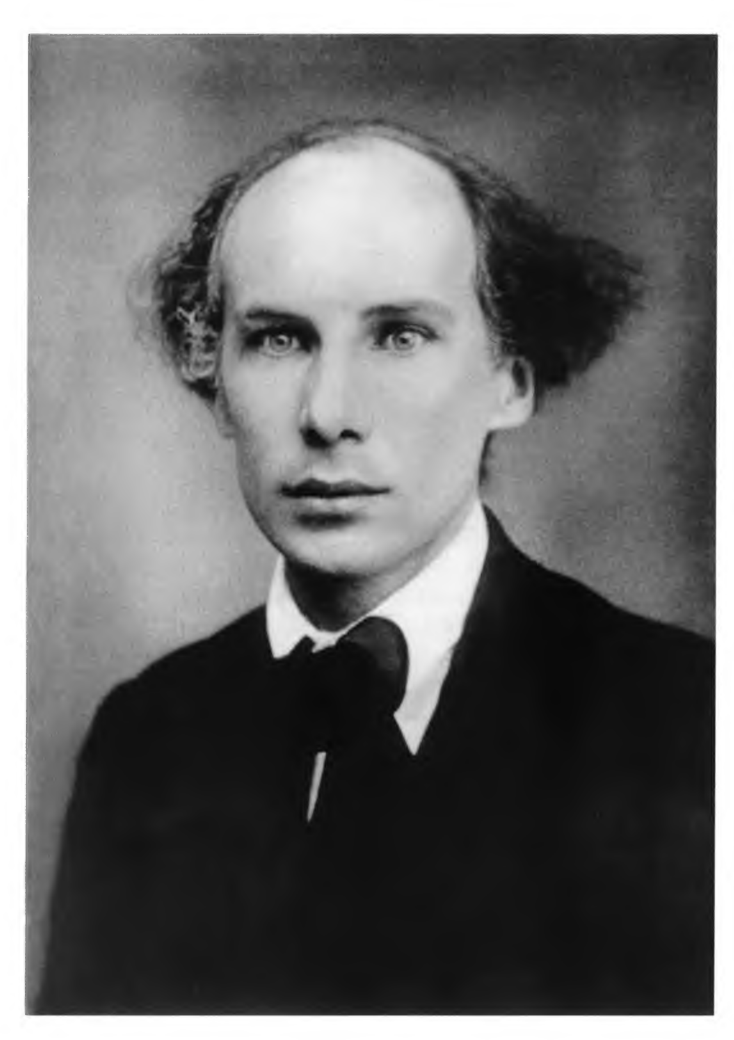
Ася Тургенева и Андрей Белый. Брюссель, 1912.
(Музей-квартира Андрея Белого, Москва).

Андрей Белый. Портрет работы Аси Тургеневой. 1909.

Андрей Белый и Ася Тургенева.
1915.

Рудольф Штейнер. 1910.

Мария и Рудольф Штейнер. Берлин, 1915.



Андрей Белый. 1915.

А. А. Блок на смертном одре.
Фотография М. С. Наппельбаума. 1921.

Андрей Белый. Ковно, 1921. На обороте дарительная надпись: «Милой, хорошей Клавдии Николаевне Васильевой с глубокой и вечной благодарностью за дни Гарцбурга. Б. Бугаев». (РГБ. Ф. 25. Карт. 38. Ед. хр. 6).

Андрей Белый, Абрам Григорьевич Вишняк
(владелец издательства «Геликон») и его жена Вера Лазаревна Вишняк.
Свинемюнде, лето 1922 г.

Дом в городке Цоссен (Штубенраухштрассе, 37, бывший 68),
в котором жил Белый в 1922 г. Фотография Джона Малмстада.

А. М. Ремизов, Андрей Белый, Б. А. Пильняк, А. Н. Толстой,
И. С. Соколов-Микитов, А. С. Ященко. Берлин, 1922.

Нижний ряд: Андрей Белый, М. А. Осоргин, А. В. Бахрах, Б. К. Зайцев.
Верхний ряд: А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, П. П. Муратов,
Н. Н. Берберова. Берлин, 1923.

не исключенный еще; здесь бывали священники: Добронравов, Арсеньев, Востоков и Фудель; являлися: Новоселов, Кожевников, Громогласов, Флоренский, Покровский, П. Астров; естественно: складывалось ядро общества, организовавшее ряд интереснейших заседаний — на протяжении десяти лет.

Рачинского выбрали председателем; и заседания были действенным священнодействием для него; покраснев, яро вспыхивая папиросой, блистая очками из вывертня рук и поддергивая седую бородку, торжественными аллелуями он снаряжал корабль странствия заседания; и — торжественно аллелуя в конце: в каждом «слове» Рачинского был непременно какой-нибудь громкий возглас: «*Дориносима чинми*»,[378] «*Святися, святися, Новый Иерусалиме*», «*В начале бе Слово*»[379] и т. д. Заседания вел он прекрасно; но многие добродушно подсмеивались над торжественным тоном Рачинского, и над контрастом, который являли его суетливые, быстрые, нервные жесты; он был суетен; в перерывах носился летком по набитому публикой залу с предлинною записью оппонентов, которою шелешил, и бача направо, налево и прямо, выхватывал из толпы подхохатывающего Турбина, иль выуживал благоглавого Н. А. Бердяева — за руку:

— «Вы понимаете, Николай Александрович?»

И Бердяев, тряхнув ассирийской копной черных, длинных, кудрявых волос, поднимал на него подсинь глаз, улыбаясь и дергаясь; Г. А. Рачинский, взмигнувши и пфыкнувши дымом, седою бородкою, поджав руки по швам, пролетал как-то боком меж трэнов, меж ряс, пиджаков, косовороток — ко мне:

— «Понимаешь — вы понимаете? — он бойчил перекуром мне в нос, — выпускаю Евгения Николаевича Трубецкого; после — Бердяева, ну а потом...»

— «Выпускаю я потом тебя, ницшеанского пса»...

— «После скажет — Булгаков»...

— «Для равновесия выпущу после я...» — отбойчит от меня; и — взыграется около С. Н. Булгакова он:

— «Я выпускаю вас после Белого; для равновесия».

И наткнется на Эллиса:

— «Ничего смешного, Лев Львович, — и не было: ну чего вы смеялись?»

И — подсиявши очками, дымнув, он припустится с Эллисом взапуски — в разбегаи словесные; и — коловерт быстрых жестов возникнет меж ними.

Но вот начинаются прения.

Встанет матерый такой князь Е. Н. Трубецкой — благородным медведем, лицо завернув красноватое, чернобородое с ясно синеющими очами, развив полномерно свое доброумие, трудно нудяся тяжеловатыми фразами, трудными смыслом, но — полными смыслом; стоит над столом, раскаблучившись, взаверть покачиваясь — не выкрутыжистым, благороднейшим стражем России, расставив облаписто руки локтями, отбрасывая локтями назад их без такта; глаза же — сиятельны: строгим достоинством. Н. А. Бердяеву не сидится, он ассирийственно голову вскинет, осматривая нас с видом таким, будто он говорит:

— «Референта Евгений Николаевич — не понял»...

Кудрявый, чернявый, шахлатый, довольный собою, пощипывает бородку, ждет слова; синеет глазами; да, у Бердяева — лбина (не лоб); им упав себе на руки, вздрагивающие десятью заплясавшими пальцами, точно под мышкой, стараяся не разорвать красный рот и отбрасывая порой свою левую руку, чтобы ею отмахиваться от чего-то, или излавливать пальцами вовсе невидимых, — говорит не другим, а себе самому, пред собою самим, созерцая не публику, а свою точку зрения, которую начертил пред собою он в воздухе; и потом он бросается сызнова на свои десять пляшущих пальцев; схватив карандашик, он ткнет пред собою пространство его острием; и проткнувши пространство, откинется к спинке трещащего кресла; и — всеблаженно он стынет: он — кончил; противники — все сражены.

Булгаков, пока говорит, пресутуло качается, заколтыхавшись, мешкотно поглаживая бородку, черно обрамляющую пышащие румянцем здоровые щеки; и тоном, и взором брюзжит недовольно; и вдруг так ласкательно, так сиянски, добро улыбнется; переконфуженно замолкает; и гладит, качаясь, бородку. Сизов поднимается расставлять вертипижины глубочайших, вполне затуманенных слов.

И вот прения кончены; все — расходятся; над зеленым столом вижу я, как Булгаков, сосредоточенно протянувши какую-то круглую голову, покрываемую черными вихрами волос, теребящий бородку, густую и черную, сосредоточенно устремляющий взор в одну точку, останавливается каречерными глазами своими, такой рассерьезный и вместе с тем мягкий и грустный, внимательным ухом склоненный к Рачинскому, вшептывающему ему в ухо свои торопливые домыслы, от которых прорезывается морщина на лбу его и меняется выражение глаз (выражение внимания на выражение гнева), — вижу, как С. Н. Булгаков, с плечами покатыми несколько, выше среднего роста, с тенденцией гнуться, в застегнутом на одну только пуговицу сюртуке, сочетанием неестественно вспыхивающего румянца на крепких щеках, молодеющий из года

в год, очень дельно отрезывает Рачинскому свое мнение; я смотрю на него: губы, тонко-пунцовые, черная молодая такая растительность, вишни-глаза (они делались вишнями), производят в душе очень странное впечатление — вишневого сока; в нем было вишневое что-то, иль даже — черничное что-то (как будто любил кисели из раздавленной, темно-красной черники); в Булгакове — что-то бодрящее, свежее, стойкое; от разговора с Булгаковым часто несет спелой ягодою, свежим лесом и запахом смол.

Я смотрю на него: он внимательно вглядывается чутким ухом своим в торопливое слово Рачинского (знаю — глазами сейчас он не видит); своей головою, поставленной набок, поматывает; морщина — прорезывается (дела Общества, видно: опять удружил, значит, В. П. Свенцицкий); глаза — то забегают, то — стремительно, точно вкопанные, остановятся, делая стойку над чем-то, невидимым вовсе; и после, рукою отрезая по воздуху (в такт своих слов), начинает с волнением сдержанным он реагировать голосом — деловито и спешно; и видно: Булгаков и есть душа Общества, одновременно Мария и Марфа; все прочие — только Марии; Булгаков — Мария и Марфа; и видно: Рачинский своим председательствованием, даже ропотом на церковность С. Н., ведет линию стратегических планов Булгакова; тут Булгаков вдруг видится Брюсовым *религиозно-философского* Общества, Брюсовым добрым и мягким, но — твердым и стойким; и оба — как черные ягоды: С. Н. Булгаков — черничная ягода; Брюсов же — волчья.

Смотрю я, бывало, на ухо Булгакова; думаю: то, что ему торопливо докладывает Рачинский, — им принято, понято, запечатлено: сохранится до нужного времени; знаешь — вошел он в оттенки передаваемого, индивидуального мнения; и эти оттенки теперь гравируют навеки сознанье его: не забудет; и, может быть, через годика три, он с доверчивой, детски-блаженной открытостью, откровенно покачиваясь над зеленым столом заседания, или над чайным столом у меня, у Рачинского, у Гершензона, — пощипывая бородку пренервно, с таким приглашением руки, улыбнется словами:

— «Григорий Алексеевич, помните, года три назад вы сказали по окончании реферата Бердяева — о Петровском, как он после жизни с Флоренским забунтовал и в нем складывалось решение»...[380]

И — так далее: он удивит тут, давая характеристику сознания Петровского, о котором Петровский забыл и Рачинский забыл, а Булгаков — запомнил: представил картину сознания Петровского на основании слов торопливых и спешных Рачинского, сделал все выводы и подписал резолюцию под бумагою своего отношения к Петровскому; эту

бумагу сложив, положил в боковой свой карман, что у сердца, три года у сердца носил; и теперь, когда случай пришел, — ее вынул; и — обнародовал:

— «Ничего подобного, Сергей Николаевич»...

— «Нет, как же, — ведь вы говорили тогда...»

И пощипывая бородку, пойдет он выкладывать то, что Рачинский успел позабыть:

— «Понимаешь ли — паф-паф-паф, — после этого примется мне удивляться Рачинский, — Сергей Николаевич, — удивительный, паф, и большой — паф-паф-паф — человек; он во имя Отца — паф-паф-паф-, — Сына — паф- и — паф — Святого — паф — Духа...»

Сергей Николаевич Булгаков с рассеянным видом ходил — в заседание, в совещание, в комнату и в обстоятельства жизни; с рассеянным видом он слушал, недоуменно вперяясь в точку пространства, взволнованно реагируя словом на точку пространства и точке пространства ⟨так!⟩ в то время, когда собеседник взволнованно надрывался словами ему; означало все это отнюдь не рассеянность, а — некоторое недоверие, может быть, к недовольному собеседнику, некоторую осторожность к словам (их отчетливо слышал), прикрытую видом рассеянным; и нежелание сразу войти в то, что слышал; во что он входил, тому был уже верен; поверивши, прямо смотрел он в глаза, улыбался сиянски, добрел процветающим ликом; поглядывал — то исподлобья (украдкой), то прямо, с любовью и верностью; прочно входил он в сознание, требуя места себе на идейном пиру: вблизи вас.

Было что-то от воина в нем, — но в бердяевском смысле (в романско-ассаргадоновском, донкихотско-насильническом) какое-то «*христолюбивое воинство*»; отступающее перед вражеским натиском до известных пределов; но став на «*пределе*» твердейшей ногою, твердейше зажав свою руку с невидимым для глаза мечом, теребя и оглаживая бородку по-штатски другою рукою, — кремнел у «*предела*»; и даже отсюда, с «*предела*» христолюбивым воителем истины он наступал, говоря — «*я иду на вас*», хмурясь прорезывающейся морщиною, вспыхивал лихорадочно-свежим румянцем; стоял перед вами с мечом — непреклонный, не слушая жалоб. Таким обнаружился мне в инциденте с Свенцицким, которому пылко он верил сперва, но которого быстро он понял; поняв же — нахмурился, ставши в полуоборот, переставши глядеть на Свенцицкого; и на все объяснения последнего только качал головой перед точкой пространства, ему только видимою; морщина же на челе становилась все глубже; Свенцицкому — отвечало молчанье; стоял на пределе терпения; и отсюда пошел он доказывать с пылкостью юно-

ши князю Е. Н. Трубецкому, Рачинскому, Эрну, Бердяеву, мне, что Свенцицкого надо скорей удалить из Совета: ему он простил; но общественно — нет.[381]

Он был весь преисполнен огня, увлечений, порывов, стихий; отдавался искусству порою он так, как никто; я видал его: совершенно отхлопывал руки он, вызывая А. А. Погоецко-Чаброва, исполнявшего роль Арлекина в мимическом представлении «*Покрывала Пьеретты*».[382] И тою же пылкостью скрытою он реагировал на доклады Рачинского.

Религиозно-Философское Общество он бросал в бой.

. . . .

Мне запомнились эти собрания, происходившие где-то в Мясницком районе сперва (в зале Польской Читальни), происходившие потом в белом зале Морозовой;[383] перебывали здесь многие; образовалось ядро посетителей постоянных — ядро очень пестрое; здесь можно было увидеть безусого сноба, с браслетой на бледной руке; и — сектанта; толстовец Булгаков и «*братец*» Иван Колосков здесь бывали, всерадостный и вседовольный Турбин; и курсисточка-барышня, белоплечая белошеяя, с весьма благомильною рожицей, и всклокоченный скептик; и человек газетный, измарчивый (не попадайся, — как раз замарает) сидел тут; и глупотелая барынька куталась тут в свой фуляр грануляровый; слушая Эрна, демонстративно вогнав шею в спину и рот разорвав до ушей, закрывая рукою его, хихикает Эллис, бывало, со стула — каким-то изгорбышем, а председатель Рачинский завертится беспокойно от этого на председательском кресле, багреет, блистая очками и гневами вправо и влево; и — вбычится в Эллиса взглядом; а сбоку, без места слегка прислонившись к стене, вихроглавый блондин — А. М. Поццо, взвивает курносый свой нос, весь кивающий и сияющий, бескорыстно встревоженный и благородно взволнованный, на путях романтизма; губанит Хвостов, бородатит Лопатин; сияет глазами Морозова; вон примостился на стуле шерохий народник в очках, в неоправленной черной рубашке, не знает, что делать с своей шилохвостой бородкою; издали Фудель, священник, тончает фигурой своею; и нос опустил «*нос-в-кудрях*» (нет лица, только — кудри да нос) — не священник еще, а студент Академии, П. А. Флоренский; а там Новоселов метлясою, седобрысою бородой, золотыми очками молчит (но мне кажется все, что пыхтит); говорят, медитирует он душевными шептами святоотеческих текстов; публично не выступит; златобородого Златовратского видывал здесь я не раз; — в белом зале Морозовой; сиживал за зеленым столом — весь Совет: Трубецкой, Эрн, Рачинский, Булгаков, Бердяев,

Свенцицкий (Свенцицкий потом совершенно исчез, а на месте его сидел я).[384]

С 1907 до 1912 года ходил я сюда, в дом Морозовой, слушать, отсиживать, преть; и я знал уже, кто что расскажет; так из года в год возражал я Булгакову, призакрывая последнее религиозное ⟨credo⟩ свое философией Риккерта и получая упреки за то, что я вслух не глашу о причастии, Лике Христове — от Эрна.

Да, да: заседания Религиозно-Философского Общества начинали влиять; да, отсюда просачивались идеи в культурнейшие слои что-то ищущей жадно Москвы; начинали — *бердяить; булгачить*: и Эрн, благороднейший, тощий, высокий и бледный, с таким нездоровым, подпухшим лицом, с голубыми, святыми глазами пересыпал очень-очень отчетливым словом (с вкраплением «*значить*», на «*ерь*») — здесь и там, доказуя возможность связать православие, радикализм и воззрения Вячеслава Иванова, чтимого и любимого Эрном; и — *эрнили*: белоплечая белошеяя, курсистка, купчиха, священник и... шилохвостый народник в различных районах Москвы, — по преимуществу же в районе Арбатско-Пречистенском, где обитало ядро посетителей Общества в малолюдных, цветных переулках.

МОРОЗОВА

В тяжелых разочарованиях Петербургом невольно встает предо мною великолепная фигура Морозовой; получаешь, бывало, тяжелый и синелиловый конверт; развертываешь: на толстой бумаге большими красивыми буквами четко-четко так выведенные слова: «Милый Борис Николаевич, приходите такого-то числа: посидим вечерок. М. Морозова».[385]

Идешь с радостью — на угол Смоленского бульвара и Глазовского переулка; звонишься: тебя провожает лакей мимо грузной египетской неуютной передней, красивого неуютного зала в уютную белую комнату, устланную мягким серым ковром, куда мягко выходит из спальни такая большая-большая, такая прекрасная, ярко сияющая тихим светом Морозова; мягко садится: лакей ставит маленький столик (для чаю); и — начинается разговор: о путях, судьбах жизни, о нравственном долге — не унывать. Маргарита Кирилловна долго бодрила меня своим мягким этическим пафосом в трудные годы мои; она чуяла очень глубокое, сожи-

гающее отчаяние и осторожнейше вызывала меня на интимность, чтобы смягчить мою боль; успокоительно, ласково, все, бывало, смеется; глаза же ее — (великолепные, сверкающие, голубые) — впиваются в душу; и разговор переходит с религиозного или морального обсуждения злоб наших дней на конкретнейшие переживания моей личной жизни; да, прямо скажу: мы ходили к Морозовой — за моральной поддержкой; выкладывать ей — все-все: о себе, о своих отношениях к людям; рассказывал ей о моих затруднениях с А. А. и с Л. Д.; Маргарита Кирилловна молча, бывало, заслушается, вся закутавшись в мягкую и уютную тьму; лишь вспыхивающие блеском огромные бриллиантовые глаза ее ярко играют переживаниями твоей личной жизни. Морозова — сваянная из какого-то розового прозаренного мрамора; часто казалось: она появлялась совсем не из внутренних комнат — из Вечности; помню: клочки этой Вечности тихо сияли лазоревым взором в то время, как смех, — подмывающий, нижущий душу теплом и участием, как-то жемчужно катился по комнате; все было — в ней русское; мне запела душа ее — душой русской, народною жизнью; и вместе с тем: в ней было что-то и явно германское: приподымалась Валькирия; М. К. Морозова вчувствовалась в народ, как никто; понимала она, как никто, — «*Заратустру*». И чувство к Ницше — в ней жило. В ней было так много пластов: периферический — «*светская дама*», «*хозяйка*»; под ним — все смятенье, сомненье, стихия идей, заставляющая порою воскликнуть: «Нет, нет, — Маргарита Кирилловна путает». Глубже же — мудрое сердце: знать, Вечная Женственность в ней говорила. В беседе была она — разной; ее было надо — пронять и взорвать; лишь тогда из нее извлекалися вещие ноты. Сначала встречала «*Хозяйка*», и просовывался испуганно из-под «*дамы*» — вполне перетерянный человек, не умеющий разобраться в «*идеях*»; и после уже извергалась струя слова вещего.

С Э. К. Метнером знали мы — сущность Морозовой: светлый ее сибиллизм.

И помахивая руками, смеется, бывало, Э. К.:

— «У Маргариты Кирилловны, — надо сидеть часов пять: на исходе лишь пятого часа она говорит удивительно; первые четыре часа говорят в ней „*хозяйка*" и — „*дама*"».

Не многие знали Морозову вещей, когда становилась душа ее, точно сквозная, — открытым окошком, к которому приседала — *оттуда* — лазурная Вечность, покоем отрадно повеяв. Пятичасовой разговор до минут тех казался всегда предварительным восхождением — к глетчерам.

После этих минут разговора казалось, что все разрешили; и следующий разговор — продолжение путешествия по горам; и — напрасно: опять надо было часов эдак пять разговором идти до беседы, когда-то достигнутой; иначе Маргарита Кирилловна путала, неумело касалась своих же высот; и сидела хозяйкою дома, любезно внимающей «гостю».

Она была очень хорошей пьянисткой: не знаю, кто слышал ее; совершенно случайно подслушал — в отверстие телефона, когда ей пошли доложить, что я жду; я услышал из телефона прекрасное исполнение, кажется, Метнера; музыка — оборвалась: Маргарита Кирилловна подошла к телефону.

Спросил:

— «Кто играл?»...

И услышал смеющийся, переконфуженный голос:

— «Да — я»...

Сколько раз я потом приставал: «Ну, сыграйте».

Отмахивалась:

— «Нет, нет».

. . . .

Вот придешь к ней; и — видишь, как там бородатится в кресле Лопатин; и кажется перед крупной Морозовой маленьким очкуном, утопающим в кресле: бессильными потирает ручонками, выставит седоватую бороду; и — разлетается: блеском стекол:

— «Хо-хо...»

— «Хо-хо-хо...»

— «У Леонида Андреева интересная пьеса „Сестры":[386] там — хо-хо-хо — очень страшная бабушка».

И потирает руками перед смеющейся М. К. Морозовой; и принимается с жаром передавать содержание пьесы.

А после М. К. с прелукавой улыбкою скажет:

— «Заметили — Лев Михайлович пугался рассказов?»

Лопатина за уютность, незлобивый вид причисляли к простым добрякам; но Морозова — соглашалась:

— «Нет, нет: слово „добрый" неприменимо к Лопатину; он — нет, не добрый: себе на уме; и холодный, и хитрый»...

Бывали же у Лопатина тайны: Москва о них знала: то был — спиритизм; чуть не сам был спиритом; но он похождения эти таил, полагая: профессору философии — неприлично якшаться с редакцией «*Ребуса*».*

---

* Спиритического журнала.[387]

В «*Ребус*» — ходил: к Чистякову, с которым дружил и с которым был близок Н. П. Киселев, и с которым знаком был Сизов; оба были в кружке «*Аргонавтов*»; рассказывали прямо со слов Чистякова о частых сиденьях Лопатина в «*Ребусе*».

Страшно боялся собак; и когда приходил он, бывало, на дачу — в Демьянове (к нам), восклицал на пороге:

— «Собаки?»

— «Нельзя ли убрать их».

Собак убирали: тогда лишь входил он; перепугала ужасно его революция; так он со страху и стал «*октябристом*».

Морозова мне, смеяся, рассказывала, что Лопатин едва ли читал сам произведения неокантианской литературы; но знал содержание многих тех книг — из пересказа профессора В. М. Хвостова; Хвостов и Лопатин прожили в одной дачной местности летом; и — часто гуляли: вдвоем; и Хвостов на прогулках, глава за главой, пересказывал Л. М. Лопатину содержание книжек — Наторпа, Когена, Риккерта, Ласка; Лопатин же слушал внимательно: запоминал; и вернулся в Москву, вооруженный познаньем Хвостова; поставил он целью себе: гнать все это из стен Университета (так: в бытность Когена в Москве Университет отличался блистательным отсутствием профессоров на устроенном чествовании Когена: и представителем чествования оказался, конечно же, неугомонный Рачинский).[388] Лопатин последние годы почти не читал по предмету своей специальности; но читал — любознательный В. М. Хвостов — не философ: юрист; одно время Хвостов принялся основательно за изучение Риккерта; на реферате о Риккерте Рубинштейна[389] привел за собою он выводок слушательниц своих (с женских курсов); завзятый он был феминист; и, конечно ж, более профессорской деятельности интересовался делами он женской гимназии Хвостовой, — жены своей; многие годы боялся закрытия он гимназии этой; боязнь его делала — робким, но наконец: и он выказал героизм, присоединившись к профессорам, дерзновенно подавшим в отставку (в эпоху свирепого Кассо).[390]

Хвостова встречал у М. К. Морозовой; и возникли хорошие отношения меж нами; Хвостов с очень явной симпатией обо мне отзывался всегда.

Незабываемы встречи мои «en trois», когда мы собиралися у Морозовой с Метнером, или когда приезжала Морозова к Метнеру; мы затворялися в комнате Метнера: Эмилий Карлович, Маргарита Кирилловна, Анна Михайловна, я; Маргарита Кирилловна, крупная, вся прозаренная, с розовым, мраморным профилем, образуемым великолепней-

шим контуром лба и точеного носика, с профилем, дышащим животворным здоровьем и теплотою почти что эфирного света (не платьем, серьгами и веером, а утвержденьем веры и бодрости в нас), — поджимаясь уютно, садилася с миньятюрненькой, черненькой Анной Михайловной рядом: на низкой софе; для уюта сидел у их ног на ковре; Метнер сбоку садился — на стул, замирая с упором, с налившейся очень тугою височною жилою, вылепляяся контуром напряженных сращений костей его лысины и подпираясь руками в колена, отчетливо согнутыми перед несколько согнутым корпусом, в нарочито-комический ферт, долженствующий нам показать, что готов он шутить и шутя, подскакоком слететь с отлетевшего в сторону стула, чтоб бегать по комнате от стула до угла, заливаясь своим «ха-ха-ха, — *не могу*»; и заранее улыбался довольно, метаясь глазами от Маргариты Кирилловны на меня; от меня — на нее; Маргарита ж Кирилловна, понимая шутливое приглашение к умственным играм, смеялась на нас, соглашаясь заранее на какие угодно словесные авантюры:

— «Эмилий Карлович — что вы?.. Борис Николаевич, — как вы... Ну как в „*Доме Песни*"»?

— «Да что, Маргарита Кирилловна, — хлопал себя по колену уже веселеющий Метнер, — заставили вот Бориса Николаича подвывать под „Оленину"».

— «Слышала я», — веселела М. К., заигравши чудесными светами глаз.

Разговор быстро делался искристым; в Метнере было так много чудесного блеска; он вот — выпускает ракету: взвивается — хлоп: все рассыпалось красными звездами; я, подхватив огонек его слов, принимаюсь с ковра раздувать его в пламя, Морозова, опламененная легкою икарийской игрою меж нами (в ней было так много тончайшего слуха к эмоциям мысли), сияющею игрою переливается вся, как серьга в ее ухе (нет, — ярче!); а Метнер привскакивает и, взоржав о заре, быстро мечется в тесноте кабинетика, напоминая кентавра, устраивающего брыкотню задних ног — звонко цокающими копытами: в стену; и вдруг остановится; и подопрется одною рукой, дирижируя перед собою другою — с протянутым пальцем ширеющую спираль обобщений своих нарисует — и пальцем, и словом: от маленького инцидента арбатско-пречистенской повседневности — случай с Рачинским, Булгаков, в связи с этим случаем, нравы богоискательства нашего, православие, протестантизм, дело Лютера, Лютер и Кант, Кант — спаситель культуры, культура в опасности, гибель богов, столкновение вселенных, что Ницше бы высказал тут, что тут сделал бы Гёте, Святой Дух в

Гёте, Никейский собор, утверждающий догмат о Духе,[391] Булгаков, Рачинский, и следовательно: инцидентик арбатско-пречистенского района свое освещение имеет в проблеме культуры, всегда выдвигаемой Метнером: «Я — говорил!» — от случайного инцидента района Арбата—Пречистенки он развернет, разлетаясь, спираль обобщений; и — снова: слетаясь, совьет ее в точку.

Морозова — слушает. Я обвиваю спираль Э. К. новой спиралью — своих ретушевок: Никейский собор, утверждающий догмат о Духе, не так освещают Рачинский, Булгаков и Метнер; вопрос, поднимаемый Метнером в свете теории Вячеслава Иванова, переломленной школой московского символизма (иль — нами!), меняет свое очертанье. Стоит уж давно перекрик: наступаем уже друг на друга; Морозовой выпала роль быть третейским судьею; смеяся, она освещает сгустившийся морок чудесной улыбкою шутки; и вся разрывается — гомерическим хохотом нас четверых: над Рачинским, над Метнером, надо мной, над Булгаковым; и расшалившийся Метнер кубарит пародией, и подхлестывает сарказмами верт быстрых сцен, мной придуманных тут же: для этого дела совсем незаметно я пячусь с ковра, попадая под письменный стол (сфантазировать шаржи оттуда казалось мне легче: казалось, что я из пещеры вещаю им трем); начинается изображение Рачинского — в лицах:

— «Знаете ли, Маргарита Кирилловна, как сидел в кабинетике у Григория Алексеича я, совершенно голодный, и думал о том, что у нас там обедают, а уйти я не мог: был я заперт Рачинским на ключ, чтобы быть посеченным за стиль моих рифм; не понравились — „*парус — стеклярус*":[392] увидел он в рифмах таких эстетизм и снобизм, нечто в роде словесного биббокэ;[393] вот меня заперев, принялся он отчитывать: „Я всегда говорю тебе, — вы, оставьте-ка -паф-паф-паф — бильбокю свои: парус стеклярус!"... Я думаю: „Вот — отпустил бы: а то без обеда останусь"... Шалишь, брат: ты — заперт на ключ... Ну, добрейший Григорий же Алексеевич, вспомнивши, что он едет куда-то, взглянув на часы, заспешил — переодеться: достал свой сюртук, снял пиджак, продолжая ругать меня: „*Парус — стеклярус* — паф-паф" — клубы дыма — паф-паф: только помни — что там в „Аналитике" Канта[394] стоит, что сказал Шопенгауэр: сказал он — „паф-паф" — надо мною поревывал Г. А. Рачинский, снимая кальсоны»...

— «Как так?»

— «Нет, вы слушайте: „Паф-паф-паф!.. Можешь ли ты привести мне различия первого и второго издания «*Критики*» паф!.. Если можешь", — спустил он кальсоны, уж нижние»...

— «Что?» — хохотала Морозова.

— «Ахахаха!.. Не могу!» — изгибался от хохота Метнер.

— «Нет, слушайте: „Можешь — махал он рукою — подкидывай рифмам: «парус — стеклярус» — паф-паф!" Тут он скинул рубашку, и очутившись в костюме Адама, в очках, с папиросой в руках, увлекаяся речью о Гёте, о Данте, о Канте, — стоял предо мною в костюме Адама, размахивая рукой с папиросою, егозил сединой и очками, выпрыгивая очень-очень стремительный танец; Татьяна же Анатольевна между тем там за дверью стояла, стучалась, ломилася: „Гриша! Скорей! Отопри: опоздаешь! Пора!"» —

— «Подожди, Танькин, брось: мы, с Борис Николаичем... Так-то: а ты вот дуришь: пишешь „парус — стеклярус" — паф-паф!..»

— «Да зачем же он стал раздеваться до, так сказать?..»

— «Думаю, — по рассеянности»...

— «Что же — дальше?»...

— «Да что, — ничего: он достал себе нижнюю пару, облекся в нее и в крахмал, достал чистый платок и облекся в сюртук, продолжая корить, проводя параллели меж „*парус — стеклярусом*" и „*апперцепцией*", что ли... Но — мало того: отомкнувшись, мы ринулись оба в переднюю: он — в заседание, я же — обедать, голодный; да, — как бы так; он меня совершенно силком усадил на извозчика (скучно ему было ехать), повез совершенно в обратную сторону — прочь от Арбата!»

— «Зачем?»

— «Договаривать мысли свои»...

— «Вы бы — спрыгнули»...

— «Как бы не так: он держал меня за руку: так и провез до Мясницкой; потом позвонился в подъезд и рассеянно очень простился. А я — обездоленный, усталый, голодный: тащился с Мясницкой к Арбату».

Морозова заливалася заразительным смехом:

— «Так вам: не рифмуйте же „парус-стеклярус"...»

А Метнер, привставши с дивана, где долго катался от хохота он, — принимался рассказывать, как Рачинский, приехавши к Метнерам в час, когда были у них полотеры, увидевши стулья, расставленные полотерами в беспорядке, припомнил по этому поводу почему-то полтавскую битву и стулья выстраивать стал по рядам, объясняя сражение (стулья в нем вызывали, вероятно, картину солдат, отправляемых в бой); полотеры не знали, что делать. Г. А. им мешал; и они ему, видно, мешали.

Так мы веселились: и рисовали смешнейшие шаржи на Эллиса, Метнера, на Маргариту Кирилловну.

Или же с Метнером устраивали атаки на князя Е. Н. Трубецкого, обрушиваясь на его очень-очень тяжелый рассудок; но Маргарита Кирилловна воодушевлялася, вспыхивала, отстаивая Трубецкого.

— «Да, да, пусть в Евгении Николаевиче тяжелодумие — есть; у декадентов же — тонкость есть; но ведь где тонко — там рвется; на декадентов не положилась бы я — ни за что; на Евгения же Николаевича — полагаюсь: вполне!»...

Князь Е. Н. Трубецкой вырастал из ее жарких слов — стражем целой России.[395]

У нас у троих были вечные темы бесед: ритм культуры, культура теперешней музыки: Ницше — Вагнер, Россия, Германия; многое из теперешнего взгляда на генезис нашей культуры вынашивал я в тех беседах; и поднимая огромные темы, — я перепутывал имена, обращаяся к Маргарите Кирилловне:

— «Нет, позвольте, позвольте же, — Эмилий Карлович!»

М. К. Морозова забавлялася этим: в ней было так много уютного, — детски простого; и — крупного; также порой было в ней очень много величья, официальности; в очень большой своей шляпе, с султаном, в великолепном наряде, в блистании бриллиантов — напоминала какую-то мне «*великую княгиню*» она; и тогда я называл ее «*дамой с султаном*».

В общении «en trois» (Э. К. Метнер, Морозова, я) находил я поддержку. Бывало, казалось, — откуда-то сверху окидывали мы пространство Москвы; в бинокли прогнозов рассматривали московские стены; формировались тогда здесь и там идеологические отряды какие-то; вероятно, так утрами перед сраженьем начальник отряда окидывает в тумане полки, протянувшиеся по цепи холмов; так и мы: от Морозовой озирали Москву; вырисовывались отряды! и — Религиозно-Философское Общество мне казалось дивизией целой с полками; вон там — полк Бердяева (много дам, и компания полумистиков-полумодернистов при нем), полк Булгакова (богоискатели из бывших эс-эров, эс-деков, священники), полк Евгения Трубецкого, уже отходящий от Общества собственно — в сферу «*Московского Еженедельника*» (мирнообновленцы, вполне независимые кадеты, Сергей Андреевич Котляревский); ударная кавалерия В. П. Свенцицкого (истерики обоего пола, религиозные анархисты обоего пола); в отряде Свенцицкого чувствовалось разложение; назревало уже наступленье булгаковского отряда на кавалерию эту; меж этими полками скакал на лошадке Рачинский, играющий роль дивизионного «*батюшки*» по чину Мельхиседека. Тут действовал партизан Гершензон, образующий вольный отряд: нечто вроде от-

ряда Дениса Давыдова: не Религиозно-Философское Общество — армия.

За ней, в дали туманной, — суровые контуры: «*Психологическое Общество*» — с группой Лопатин, Хвостов, Кистяковский, Челпанов; и ближе, кружок философский (Фохт, Эрн, Кубицкий, Совальский, Ильин, Гордон, Шпетт, Топорков, Боричевский, и прочая философская молодежь); на отлете — отряд П. И. Астрова, сдержанно относящийся к Религиозно-Философскому Обществу, с деятелями судебного мира, с траншейными переходами в общество Юридическое; в тумане откуда-то издали над сим станом — тень Муромцева, овеивающая П. И. Астрова. Здесь боялися «*православного*» духа; на знамени развевалось: «*Григорий Петров*»; странно: литературою — интересовались.

Правый фланг, это — линия сочетания слов: «*религия*», «*философия*» и «*общественность*»; стало быть: это — «*религиозно-общественные*», «*религиозно-философские*» группы, очерченные с горизонта то чистою философией общества «*Психологического*», а то чистой общественностью общества юридического.

Центром — были, естественно, мы. Кто те мы? «*Аргонавты*», «Кружок Аргонавтов», считающий свое дело в несении импульсов символизма: не школы в искусстве, не отвлеченного мирозренья, а — творчества жизни; в Москве у нас не было штаба центрального, не было места, а были текучие клубы, переменяющие места: нынче — здесь, завтра — там; клуб естественно возникал у меня, на квартире у Метнеров, очень часто в «*Дону*», у С. М. Соловьева, порой у Морозовой, пребывающей с нами одною лишь частью души, очень внутренней; всеми же внешними формами отходила она в «*правый фланг*». С появлением Метнера и с укреплением «*Дома Метнеров*» часто казалося: аргонавтическая квартира — здесь именно (ведь «*Мусагет*», наше дело, из этой квартиры и вышел); «*Дом Песни*» и «*Дом Метнеров*» не был «*Арго*». Воистину: «*аргонавты*», скорей, были вечно подпольною партией, разлитою по многим кружкам, образующим лишь отрезок всей линии обществ Москвы: отливали правофланговыми и левофланговыми, переменяя обличие где-то около невидного центра движения; ближе были: «*Дом Метнеров*», моя квартира, «*Дом Песни*» д'Альгеймов; но трудности заключалися в том, что «*Дома*» — враждовали; и надо было поддерживать вечно текучее равновесие тут; горизонтом, неясно встававшим за центром, уже освещалися «*теософские*» группы и едва намечающаяся группа первых явившихся штейнеристов. Кружок теософский К. П. Христофоровой находился в конкретном общенье с кружком «*аргонавтов*».

Вполне неотчетливый «*центр*» (все здесь было in statu nascendi*) весьма становился отчетливым с «левого фланга», который был вовсе не «*левым*» тогда в политическом смысле; скорее — противоположным по роду своих устремлений; на правом на фланге господствовали религиозно-философские интересы, здесь — интересы художественные; таким только художественным образованием «*Дом Песни*» и не был; искусство, скорей, тут было лишь средством для мистико-кабаллических опытов П. И. д'Альгейма; и левый фронт начинался естественно от «*Весов*», «*Скорпиона*»; в «*Весах*» мы прекрепко сидели; отсюда — естественно расширялися в «*Общество Свободной Эстетики*», в место встречи художников, композиторов и артистов с поэтами и писателями «*Скорпиона*»; «*Эстетика*» — место, откуда бежали траншейные коридоры повсюду: в «*Литературно-Художественный Кружок*», к группам дикой, вполне независимой молодежи, в литературный отдел «*Русской Мысли*» и даже, все более, в «*Общество Любителей Российской Словесности*»,[396] членом которого был В. Я. Брюсов (Бальмонт — еще раньше) и членом которого избран был я (в 1908 году); где-то сбоку от нас были литературные «Среды» (Андреево-Голоушевские), кружок «Грифа», кружок «Золотого Руна». Эти все учреждения образовали левофланговую линию.

Почему называл я «*фланг*» нашим? Да потому что я деятельно работал в «Весах» и в «Эстетике» (будучи в Комитете последнего); и в то же время я был в правом фланге как член совета Религиозно-Философского Общества. Я повторяю: «*мы*» града оседлого не имели, переливаясь по длинному фронту кружков; с определенным заданием: импульсировать, динамизировать «*аргонавтизмом*», иль духом свободы искания новых путей в ощущавшемся явственно кризисе мысли, культуры, искусства и жизни; приходилось бегать отсюда-сюда; и — обратно: в Религиозно-Философском Обществе, где господствовал дух теологии, православия, отцов церкви и где надо было выстреливать критицизм⟨ом⟩, свободою религиозных исканий, отчетливым ницшеанством, порой — «*декадентством*», пугая Е. Н. Трубецкого, Кожевникова, Новоселова (роль «*пугача*» ведь одобрил Рачинский; Морозова тоже меня одобряла); наоборот: на страницы «*Весов*» надо было пролить философию, мистику, парализуя снобизм, формализм; из «*Эстетики*» надо было стрелять символизмом, платформою литературного, узкого, четкого «credo» по мягкотелому благодушию «Русской Мысли»; в «*Кружке*» же иная задача была: «*эпатировать*» пусть в нос буржуа здоровенней-

---

* На стадии зарождения (*лат.*).

шим ананасом (метафорическим, разумеется) и в то же время бороться внутри той же самой «*Эстетики*» с «*эпатацией*» этой среды молодых модернистов; надо было всегда быть в движении: переменяться; меняясь, ощупывать непеременную точку того же центра: а центр — чем он был? Необлагаемого словами уверенности ⟨так!⟩ в наступлении новой, огромной, громами рокочущей эры; я верил в нее, хотя в эти тяжелые годы уже веры не было в то, что мы, именно, «*зори*» увидим; казалося часто, что мы — мертвецы; наша роль — лечь костьми: и костьми умащать те пути, по которым пройдут нас сменившие солдаты храбреющей символической армии; «*Соединяйтеся, символисты всех стран!*», «*Аргонавты всех стран, — оснащайте единый наш Арго!*» — вот лозунги, соединявшие меня, Эллиса, Киселева, Петровского, Метнера, Соловьева; и — к нам примыкавших; тут к лозунгу примыкали: в одном отношении С. А. Поляков, Балтрушайтис, Брюсов (словесно); в другом — примыкала: Морозова, теософы сочувственно откликались откуда-то; П. И. Астров с Садовой порой подавал голос свой; улыбался сочувственно, отделенный формально, и С. Н. Булгаков; сам даже Хвостов (мне казалось не раз) начинал иногда очень-очень сочувственно щурить свой глаз на меня: ведь культ рыцарства и почитание Вечной Женственности ему был так близок во многом.

Слагали, естественно, некий центр вроде братства, встречаясь интимно: отсюда из этого центра — *Рачинский* шел важно вести заседания Религиозно-Философского Общества; *А. С. Петровский* шел тихо подбадривать — *П. И. д'Альгейма*; и несся неистовый *Эллис* к *П. Астрову*: проповедовать символизм мировым судьям «*Сред*», к *К. Ф. Крахту*, читать рефераты в «*Эстетике*», я шел — в «*Весы*», в Теософский Кружок; «*Аргонавтизмом*» опрыскивались незаметно кружки, рефераты, журналы и общества; «Аргонавтизм» — атмосфера, дух, веяние: не направление, не школа, не отвлеченное мировоззрение и не догмат религии, хотя «*аргонавтами*» были: поэты, догматики, мистики, философы; это всё — отложения духа: текучие формы.

Рачинский и Метнер тут нас понимали; особенно понимала *Морозова*, мне кажется, я скажу без ошибки, что *Солнце* искания вспыхивало особенно от электрических разговоров двух «trio» в тот год: одно «trio» есть *Метнер, Морозова, я*; а другое — *я, Метнер и Эллис*. Престранно: «en deux» (*я и Метнер, Морозова — я, Эллис — я, Эллис — Метнер*) не вставало то именно, что вставало всегда «en trois»; и еще: невозможно, совсем невозможно было образовать треугольник: *Морозова, Эллис, я; Метнер, Морозова, Эллис; Морозова, Эллис* всегда друг от друга как бы отлетали; а между тем в том таинственном

дуновении, которое поднималось меж двух *треугольников* — оба участвовали.

Морозова помнится мне в это время особенно; сваянная из какого-то розового, прозрачного мрамора, являющаяся не из внутренних комнат — из Вечности; ясно клочки этой Вечности вспыхивали в лазоревом взоре в то время, как смех подмывающий, нижущий душу теплом и участием, как-то жемчужно катился по комнате; вот ведь и «светская дама»; и вот ведь — «хозяйка»; и — нет: сердцем мудрая, вещая светом Сибилла; как будто окошко, к которому *нежно* оттуда присела лазурная Вечность; бывало, откроешь всю душу, а Маргарита Кирилловна не ушами, а всем своим розовым профилем, образуемым великолепнейшим контуром лба и точеного носа, внимает: и от нее вдруг повеет здоровьем, таким животворным теплом почти света эфирного; переливается светом, так точно, как бриллиант в ее ухе; и кутается в меховую, атласную, белую тальму.

Придешь к ней: на сердце вот кошки скребут; а уйдешь, просиявший; и — «*аргонавт*», как и прежде; и над тобою, над темными тучами жизни твоей, над сгустившейся предгрозовой духотою Москвы, над громами истории, может быть над десятками лет мировых испытаний, страданий, болезней и смертей, — улыбнувшися, скажешь:

Наш Арго,
Наш Арго,
Готовясь лететь, золотыми крылами
Забил![397]

НЕВЕСЕЛОЙ ВЕСНОЮ

Мое расхождение невеселой весной с Любовью Дмитриевной постепенно оформилось явным молчанием; мы не виделися с 1907 года до 1916 г. А к А. А. отношение — замирало, не вспыхивая ни дружбою, ни враждою; но то, что естественно доходило о *Блоках* в Москву, было связано с слухами: об образе жизни А. А. Слухи я отстранял; даже: я закрывал уши. Об этом периоде Мария Андреевна *Бекетова* пишет: «*Жизнь Блоков была у всех на виду. Они жили открыто и не только ничего не скрывали, но даже афишировали то, что принято замалчивать. Чудовищные сплетни были в то время о нра-*

вах литературного и художественного мира Петербурга. Невероятные легенды о жизни Блоков далеко превосходят действительность. Но они оба во всю свою жизнь умели игнорировать всяческие толки».[398]

Последнюю весть о А. А. получил уже в марте я 1908 года; письмо было грустное; проживал он один, потому что Л. Д. уже уехала с Мейерхольдом в провинцию — в труппе; А. А. писал мне: он работает над «*Песнью Судьбы*».[399] Мне думалось: тема *Судьбы* — это то, с чем несчастно столкнулись мы все.

Каждый период имеет окраску; и если окраска 1901—1902 годов — ожидание нового времени, то тема 1908 — разочарованье; в «*Симфонии*» фраза есть: «*Ждали Утешителя, а надвигался Мститель*».[400] Ощущение 1908 года: да, Мститель — приблизился; и А. А. ощущал его — грозной судьбой; я — *Врагом*: надо было беречься; так в духе 1901—1902 годов — загадалось сближение с Блоком; в 1908 год вписалося: разделение наше.

По вечерам, совершенно измученный, я лежал на зеленом диване, прислушиваясь к звукам моцартовских похоронных мелодий, которые за стеной наигрывала мать; приподымался тогда во мне образ А. А., *отступающего в ночь*; быть может, в то самое время он дома, склоняясь над «*Песнью Судьбы*», переживал, как и я, одиночество опустевшей квартиры (он оставался до августа в Петербурге);[401] я верил всегда в телепатию (происходили со мною феномены телепатии); я старался прочесть его душу; и на меня наплывала такая картина сознанья А. А., какой после она вырастала уже из цитат его третьего тома, пока не напечатанного; и я вскакивал с моего зеленнейшего ложа, прислушиваясь к похоронному звуку рояля; ну да! Наши зори — сгорели; и *пепел* остался от нас («Пепел» я изживал); в отношении к пеплу зори, мне казалось, что мы расходимся; я заключил пепел в «Урну» (и «Урна» писалася);[402] благоговением к прошлому был переполнен; и думал, что нам дано свершить действие сведения *света* в *жизнь*; и вот мы — умираем; свет — есть; и жизнь — есть.

Но вставала уверенность: для А. А. образ мой — подменился опять, как во мне подменился он сам; происходило все это в унылые месяцы подлой реакции: учащалися *клубы* («Огарки») среди молодежи; господствовал «Санин»; зловонием лопался над Россией Азеф;[403] ощущая всю гибельность атмосферы, смотрели друг на друга как на *бациллоносителей*: скепсиса и цинизма; и жест подымался: оспаривать мысли А. А.: не дослушав моцартовской звучно растущей мелодии, я убегал прямо в ночь, и в мятель, в слякоть, чтобы складывать строки:

Пусть ризы снежные в ночи
Вскипят, взлетят, как брошусь в ночь я;
И ветра черные мечи —
Прохладным свистом взрежут клочья.[404]

И ночью, вернувшись домой, — гасил свет; и глядел за окно: и — бессонница складывала:

А в окна снежная волна
Атласом вьется над деревней;
И гробовая глубина
Навек разъята скорбью древней...
Сорвав дневной покров, она
Бессонницей ночной повисла —
Без слов, без времени, без дна,
Без примиряющего смысла.[405]

Мне казалося: комната переполнялась тоскою моею; тоска — отделялася, *наклоняяся черным моим двойником: надо мною.*

С угла свисает профиль строгий
Неотразимою судьбой.
Недвижно вычерчены ноги
На тонком кружеве обой.[406]

. . . .

Отношение к собственной гибели у А. А. возмущало меня; мне казался его проникающий скепсис — цинизмом; а слухи, ходящие о его бурной жизни (остался один: кутит) я отталкивал; но они проницали меня; и — разыгрывались в картины цинизма, слагавшие обстановку «огарочных» петербургских кругов; эта гибель души представлялася — увенчанием лаврами Блока-поэта. Впоследствии он написал:

Молчите, проклятые книги, —
Я вас никогда не писал.[407]

Но пока еще не были сложены эти слова, мне жест Блока гласил: «Прославляйте же меня, мои книги, гласящие о моей личной гибели».

Я почти вскрикивал:

— «Но какою ценою!»

Заочно в глубинах сознания моего с Блоком я разорвал; вероятно, и в нем происходили подобного рода телепатические разговоры со мной:

из пустой, из холодной квартиры своей на Галерной: быть может, смотрел на меня он с укором за..... ну хотя бы за *хулиганскую песенку*:

Тили-тили-тили-дон —
Жили были я да он...
. . . .
Со святыми упокой —
Придавили нас доской и т. д.[408]

. . . .

Совсем незаметно зима убежала, потоками грязи; и тихо просила пощады. В пересыхающих лужицах, бессердечно разбрызгиваемых весенней пролеткой, «*страстною*» пролеткой («*страстная неделя*» в Москве совпадала с явленьем пролеток и с озабоченным выставлением окон, «*пасхальная*» — с первой пылью; и Фоминая — с развитием почек в зеленые листики).

Та же весна!......

И качающиеся юные, красные жерди: на сквере — под Храмом Спасителем; и на Пречистенском уж бульваре каждовесенний старик (как весна, — он уж тут), прогулянин, похаживает, оглядываясь; и уж каждая барышня шляпкой — на крыльях на птичьих (на крашеных, красных) — летит в небеса, как сорвавшийся с ниточки синенький, газовый шарик; и — «лалала-лалала»: лалалакает милыми очень глазенками тот же беззвучный, весенний мотивчик, певаемый где-нибудь; с красных жердей ей распускалки-почки щебечут в ушко; а из ушек малюсенькие глазенки-сережки ответствуют щебету; *наигрыш* теплых весенних струений несется — коташкою, мурзиком; вкруг дерев полувидимо глазу вскипела возня атмосферы: раздуть все распуколки; то листорост; листолистие образуется в это, именно, время.

Под Рождеством лишь подумывают деревья и корни, и клубни о том, как бы им распуститься к Святой; и задумываются цветяйства там всякие: плодоношенья, проросты, ветвленья, развития, отстебления — все то задумано дружно растительным обществом в самый рождественский, в самый крещенский мороз; а под Пасху — все в действии: в кипятке атмосферном.

И — да: плодотворна весна; плодотворна же — осень; весна плодотворна — приплодом: коров, поросят, настроением, рифмой и мурзиком кошечным, а воробьиный «*чирик*», навевающий чирк (чирк пера о бумагу) — и *чирик-чирк-чирик* — из-за кустиков. Чижиков бледная и зеленая песня от Пресни, от пресненских садиков — радует; блесни бесплесенных чисто промытых весною прудов: прудов Пресни!

Спешат, покупают все тросточки, чтобы касаться земли — окончанием тросточки; тросточки — просто протянутый палец; весною хотят так коснуться земли; и двух пяток нам мало; а именно пальцами тянет расколупнуть свежепахнущий сыренький грунт; и — тоскуешь о третьей о пятке, или, коли нет, — о протянутом пальце; и вот почему покупается палочка в это весеннее время; и у иных открывается глаз темянной, в горизонт смотрят очи; а темя — в зенит (если плешь, то — особенно); трость протянулась — к надиру; космически ширится всякий весной; оттого-то весной норовишь шляпку снять: это просится глаз — третий глаз, темянной — посмотреть: на Большую Медведицу.

Вечером залалакает каждый из форточки: в воздух; и окна — поют; то — затрынкало томной гитарою: это — про очи про черные распевает сердечно;[409] в темнеющем переулке глазеют зажженные окна — в зажженные окна: влюбленно и нежно; и кажется: эти два пресненских домика, оторвавшися от заборов своих, при которых они, — подбегут: поцелуются (видно, быть к осени свадьбе!); и даже из окон подвальных, откуда людей не видать, а видать сапоги, — быстро выфыркнул кот: быть папашею множества мурзиков, поразораться на крыше. Гармоника все-то рассказывает о таком, о простом, о знакомом; и в ней — что-то страстное, в ней — что-то страшное: что-то — тигриное; и всему человечеству хочется — разораться на крыше.

Весною: и любят, и губят!

. . . .

И все это переживалося у Владимировых, за чаем весенним; и голосом Анны Васильевны[410] все мы велись к недоступному счастью; и — «*сердце тонуло в восторге при виде*»... кого?[411]

Где то время?

И у Владимировых разгромы; Петровский не знает, что делать с собой; и Нина Ивановна унывает — в шестиэтажном домине Арбата (отстроенном только что):[412] я, Янтарев, Ходасевич и Муни — ее утешаем; С. М. Соловьев переживает какие-то затруднения с жизнию сердца, или с домом д'Альгеймов; а Метнер — рукою махнет: «Уж какое там — что: для меня все же — кончено!» Эллис влюблен в М. В—ву; М. ⟨В⟩—ва — М. Д. П—а; М. Д. П—ов — Ю. Г. В—ейскую;[413] эта же — в Эллиса; круг образован безвыходный: бегает Эллис по кругу, как белка бежит в колесе; и Владимир Оттоныч Нилендер — за ним; моет, кормит, поит, отчитывает; и — почитывает ему тексты орфических гимнов, а Эллис, прозревши любовь — круг любвей, в коем вертится он, — восклицает:

— «Correspondance: соответствие...»

— «И...»

— «Нникаких утешений».

Нилендеру тоже невесело: вот так весна!

. . . .

Тем грустней было слышать и видеть: весна беспрепятственно отправляла весенние радости; и гармоника рассказывала о таком о простом и понятном.

Гарцбург, 23 года, 16 июня.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ТРАГЕДИЯ ТРЕЗВОСТИ!..

В то время (в 1908 году) в сознании А. А. Блока вполне уж откладывались контуры его «*Страшного Мира*»;* *страшный мир* — лейтмотив, проходящий сквозь весь третий том; есть иные там лейтмотивы (например, лейтмотив России и русской женщины); но лейтмотивы такие были поздней им осознаны; еще нота «*Куликова Поля*» не прозвучала, да: не было трагедии трезвости и ответственности; но реализм *песни судьбы* — прозвучал для А. А. Именно в это время слагалися темы той *роковой безнадежности*, которые с потрясающей силой встречают нас в третьем томе стихов; выясним лейтмотивы его; и посмотрим: каким виделся мир А. А.; в 1908 году складывались краски зренья на мир и на жизнь у А. А.; он вступал в свою трудную полосу жизни; угаром и страстью охвачены строчки стихов; его страсть, роковая и знойная, зазвучала из ветра и вьюги.

И вьюга, и ветер переметнулися из «*Снежной Маски*»; но *ветер* в поэзии А. А. поднялся до этого; *снежная буря* он; в третьем томе он длится: «*Веет ветер*» (11); «*входит* ветер», «*шалый* ветер, носясь над далью, хотел... выжечь душу мне, в лицо швыряя вуаль и запевая о старине» (25), «*и ветр... поет* в окно» (36), «*воет* ветер» (40), «*ветер* над тобой... простонал» (50), «*ветер* за окном: то трубы смерти близкой» (81), «и некий *ветр* сквозь бархат черной жизни о будущем поет» (112), «*в свист ветра*» (151), «*ветер рек*» (227), «и *ветер* рванулся» (294), «степь *да ветер, да ветер*» (294), «под *ветром* взлетел опа-

* Первый отдел третьего тома стихов.

дающий лист» (300), «*дикий ветер* стекла гнет» (304), «только *ветер, гость нахальный, потрясает ворота*» (304), «только *дикий черный ветер, потрясающий мой дом*» (305), «*ветер ворвался*» (315); он «*поет, поет... поет и ходит возле дома*» (315); «*все равно... ведь никто не поймет... что ветер поет, нам звеня*» (318).

Ветер — *шалый*; он — *дикий, нахальный* и *черный*; он рвет, сотрясает ворота, врывается в дом; ветер — *страшный*; он — ветер *судьбы*.

Тема *страсти* охватывает А. А.; за метелью — страна ее возникает в сознаньи поэта: «*Но за вьюгой солнцем юга опаленная страна*» (11). Предмет страсти — не Беатриче: «*О, где ты, Беатриче?*» (15). К той, которая теперь с ним, обращается он: «*Жизнь разбей, как мой бокал*» (12), в страсти или, вернее, в *страстях*, субъект поэзии Блока утратил свой правый путь: «*Иду один, утратив правый путь*» (15), потому что, «*нет, я не первую ласкаю*» (21).

Не первая: одна, — из многих? Как же любит субъект поэзии Блока эту «*одну из многих?*» Или, верней, — как *ласкает* ее он?

Вот как: «*Чтоб на ложе долгой ночи не хватило страстных сил*» (12), «*я испустил впервые страстный крик*» (18). До этого периода — не было испускания *страстного крика*; была любовь — мистическая, туманная, может быть: — целомудренная, болезненная; не жгла крови она; теперь — *страстные крики с одною из многих*; может быть, — *с каждой из многих?* «*О разве, разве клясться надо в старинной верности навек?*» (21). Лучше «*вспомнить узкие ботинки, влюбляясь в хладные меха?*» (22). И любовь *одной из многих* к поэту — такая же: «И любови цыганской короче были *страшные ласки твои*» (8). Он сам удивлен этими *страшными ласками*, к которым «*принес... усталые губы и... плети изломанных рук*» (27), — удивленно: «*разве это мы звали любовью?*» (33); да, — тема любви (мистической, просто любви) заслоняется именно в это время тем, чему поэт удивляется: разве это мы (мистические юноши) звали любовью?

Что же? Или, верней, — как же? А вот как: «к плечам ее атласным тоскующий склоняется *вампир*» (18); он хочет, «склоняясь над ней влюбленно и печально, *вонзить свой перстень в белое плечо*» (19); и от нее требует он: «*так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце — острый французский каблук*» (33). Женщина для него — *вчерашний ангел*, то есть сегодняшний *черт*, с которой «*тесно дышать от объятий*» (33); счастье, которое можно получить от нее, — «*мрачные, порочные услады*» (42); жизнь с ней течет — «*восторгом, бурей, адом*»

(43); страсть ее — «*дикая*» (63); он просит ее: «*пронзи меня мечами*» (174); он восклицает: «О, зрелой страсти ярость» (178); она пронизывает его «*страстной болью*» (186); «*и обугленный рот в крови еще просит пыток любви*» (57); ему становится жутко в «*эту страшную пропасть глядеть*» (58); «*нет, не смирит эту черную кровь даже — свидание, даже любовь*» (57); «*их было много. Но одной чертой соединил их я, одной безумной красотою, чье имя: страсть и жизнь моя*» (173); года его есть *буря страстных лет* (196); иногда вспоминаются лишь из этой бури страстей *со многими*: «*О, миг непродажных лобзаний! О, ласки некупленных дев*» (13) и т. д.

И вместе со страстью звучит тема *крови*, новая для А. А. Много *крови*: «и был в крови вот этот аметист» (18); «*и пил я кровь из плеч благоуханных*» (18); «чтоб кровь не шла из черных жил» (31); «хлынь, *кровь*, и обагри снега» (31); «губы с запекшейся *кровью*» (57), «знаю, выпью я *кровь* твою» (61), «это *кровь* прошумела в ушах» (61), «и обугленный рот в *крови*» (61), «*кровь* розовеет... на свет» (229), «и сердце захлестнула *кровь*» (247), «закат в *крови*» (274), «сквозь *кровь* и пыль» (277), «с *кровавых* полей» (301), «*кровавый* отсвет в лицах есть» (303), «старое сердце в *крови*» (316) и т. д.

Страсть и *кровь* господствуют в мире: впечатление жути рождается от созерцания этого мира; он — «*страшный мир*»; все в нем — дико: —

— все в нем — гибель: —

— «*гибель*... предстоит» (29); «*и в ужасе, зажмуря очи, я отступлю в ту область ночи, откуда возвращенья нет*» (29), «*как страшно все! Как дико!*» (42), «*страшен невидимый взгляд*» (45); «*утром страшно* мне раскрыть лист газетный» (47), «*страх* могилы» (47), «*тревогу* свою не смирю: *она все сильнее*» (48), «отгони *непонятный страх*» (61), «твой... *ужас бесполезный*» (63), «*тем жизнь страшней*» (83), «*из-под ресниц сверкнувший ужас, старинный ужас дай понять*» (30), «*сонмы лютые чудовищ налетали на меня*» (87), — «*страх познавший Дон-Жуан*» (84), «*не спал мой грозный Мститель*» (88), «*непроглядный ужас жизни*» (101), «*как жизнь страшна*» (154), «*страшный мир!*» (176), «*о, страшный час*» (247), «*до ужаса знакома*» (250), «*забудь о страшном мире*» (283), «*страшной памятью сердце полно*» (288), «*жутко... стало*» (317); «*мы дети страшных лет России*» (303).

Страх охватывает от приближения «*Мстителя*»; сердце поэта ждет гибели: «*чеченская* пуля верна» (27); «*чуешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобою следят*» (45); «*есть дурной и хороший*

есть глаз, только лучше б никто не следил» (46); «*я привык, чтоб над этой постелью наклонялся лишь пристальный враг*» (287); «*роковая гибели весть*» (7); «*погибельные муки*» (141); «*Так! Погибайте!*» (144); «*ты нам грозишь последним часом*» (146); «*задремлешь, и тебя в дремоте он острым полоснет клинком, иль на безлюдном повороте к версте прикрутит кушаком*» (209) и т. д.

Этот страх скоро осознается А. А. не только как личный страх, но и как страх ожидания мировой катастрофы; 7 июня 1908 года написано первое стихотворение цикла «*Куликова Поля*», где есть разгадка страха, где враг «*татарин*» объективно грозит всей России уже.

В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...[1]

И еще позднее, в поэме «*Возмездие*», опять-таки указаны источники страха:

Сознанье страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть, и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.[2]

В этих строках классически отобразился лейтмотив ожидания «*мятежей*» и «*перемен*», который в 1908 году выгрывался в индивидуальные сознания наши, отрывая нас друг от друга, бросая в себя и в себе заставляя подслушивать что-то страшное, подкрадывающееся, как Враг, как Мститель за непрочитанные, невоплощенные зори недавнего и кажущегося в то время таким далеким периодом жизни.

Зори обертывались в Блоке *кровью*; *зори* для него оказались взвеянною под небо землею.

Мы с А. А. по-разному пережили подмену *зори* — кровью; и это переживание подмены отделило нас друг от друга; каждый думал, что

подменен — другой; а *подменивалась самая музыка времени.* И оба мы переживали в то время:

И отвращение от жизни,
И к ней безумную любовь.

Оба мы приблизительно одинаково относились к России:

И страсть, и ненависть к отчизне...

Я скоро (летом 1908 года) написал строки:

Исчезни в пространство, исчезни, —
Россия, Россия моя.[3]

Суть перемены времени мы постигли позднее; и оба поняли одинаково; в этом наша новая и окончательная встреча с А. А. в 1910 году.

Пока же мы оба по-разному переживали перерождение жизни в нас: А. А. искал порою забвения в вине и в страсти; я — в замораживании себя сухими, философскими схемами; но разочаровались мы в сходном, даже... *в одних и тех же людях,* — причем А. А. винил меня в том, может быть, что *эти люди* изменились; а я — его, но мы поняли, что на эти темы нам лучше не говорить; о другом — не могли говорить; без уговору мы замолчали.

Перерождение жизни — свершилось: о жизнь мы разбились по-разному.

Вот представление о жизни А. А., составленное из цитат третьего тома; я привожу эти цитаты потому, что *новое, безнадежное* представление о жизни складывалось у А. А. по крайнему моему представлению именно в эту эпоху: —

— «*Жизнь*

пустынна, бездомна, бездонна» (23), «жизнь пуста, безумна и бездонна» (84), «как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим» (28), «я коротаю жизнь мою, мою безумную, глухую» (29); «живи еще хоть четверть века — все будет так. Исхода нет» (39); «Умрешь — начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь» (39); «Когда ж конец? Назойливому звуку не станет сил без отдыха внимать» (42); «все равно не хватит силы дотащиться до конца» (47); «бессмысленность всех дел, безрадостность уюта» (49); «Что? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это малость! Ну разве не смешно?» (50); «Пробудился: тридцать лет,

хвать-похвать, — а сердца нет. Сердце крашенный мертвец. И, когда настал конец, он нашел весьма банальной смерть души своей печальной» (51); «Когда невзначай в воскресенье он душу свою потерял» (51); «Где деньги твои? Снес в кабак. Где — сердце? — Закинуто в омут» (52); «день проходил как всегда: в сумасшествии тихом» (53); «с него довольно славить Бога — уж он — не голос, только — стон. Я отворю. Пускай немного еще помучается он» (56); «как часто плачем — вы и я — над жалкой жизнию своей» (65); «но торжества не выносила пустынной жизни суета, беззубым смехом исказила все, чем жива была мечта» (75); «смерть невозможна без томленья, а жизнь, не зная истребленья, так — только замедляет шаг» (79); «тихонько течет жизнь моя» (79); «одно, одно — уснуть, уснуть» (83); «душит жизни сон тяжелый» (93); «жизни этой румяна жирные» (101); «разыгрывайся жизнь, как фант» (104); «слабеет жизни гул» (112), «над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак» (175); «спляши, цыганка, жизнь мою» (207); «О, как я был богат когда-то, а жизнь не стоит пятака» (207); «Но жизнь — проезжая дорога» (209); «Неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое» (232).

Может быть, — оттого-то отшумела, что отшумело... какое-то... платье?

Довольно: страшное представление о жизни; оно откладывалось в А. А. с окончательной трезвостью — в 1908 году, когда была зимой 1908 года написана «Песня Судьбы»,* когда Мейерхольд собрал самостоятельную труппу из молодых артистов, в число которых вошла и Люб. Дм.,** когда — «труппа эта вскоре уехала из Петербурга, направив путь по западным и южным городам России»;*** до августа А. А. не приезжал в Шахматово; жил один в Петербурге.[5]

Эти месяцы одиночества, по-моему, и были поворотом линии всех стремлений его к *«трагедии трезвости»*, к звучаниям лейтмотива третьего тома.

Мгла, сумрак и черный цвет (черный бархат) отныне повсюду окрашивают его строки: —

— Черное: —

— «В черном небе» (20), «на черном небе» (30), «в черных сучьях» (32), «из черных жил» (31), «чернее злоба» (37), «черная вода» (46), «чернота на-

---

* Воспоминания М. А. Бекетовой, стр. 112.[4]

** Idem: стр. 114.

*** Idem.

весов» (41), «на дне... души... черной» (49), «черную кровь» (57), «чернее... свет» (65), «черным городом» (97), «бороздою... черной» (100), «над черной Вислой — черный бред» (102), «черный... бриллиант» (104), «черный взор» (107); «черный стеклярус» (111), «на черном блюде» (112), «сквозь бархат черный» (112), «черный глаз» (114), «в черное небо Италии черной душою гляжусь» (117), «в небе черном» (117), «черным взглядом» (119), «чернеют... дали» (128); в первом бы томе сказал он: «синеют, голубеют дали»; теперь дали — черные; «черный бархат» (178); опять: «черный бархат» (175); *черного бархата* — много; «*черная ревность*» (176), «синечерною косою» (186), «черным крыльям» (186), «косами иссиня *черными*» (189), «по *черным* пятнам *черной* судьбы» (252), «под *черною* скалою» (264), «в *черной* ночи» (284), «*чернеют*... трубы» (294), «*Черной* тучей» (300), «глухота и *чернота*» (304), «за окном *черно*» (304), «*черный* ветер» (305), «в небесной *черни*» и т. д.

Все — *черно*; чернота третьего тома сменяет собою серо-зеленые оттенки второго тома. И так же часты слова: *темный*, *темнота*, *мрак*, *мрачный*, *сумрак*, *мгла* и т. д. —

— «Ухожу... *во мрак*» (9), «огни и *мрак*» (9), «мой... *мрак*» (9), «*смертный сумрак*» (12), «средь... *мраков* потонуть» (13), «*сумерки*... легли» (15), «обрывки *мрака*» (15), «из паутины *мрака*» (16), «город... во *мгле*» (17), «вечер *мглист*» (18), «в... *мраке* спальной» (19), «в *сумраке*» (22), «*сумерки* легли» (24), «*сумерки* времен» (30), «*темно*» (40), «*мрачные* услады» (42), «*мраком* глаз» (42), «*темно*» (47), «морозный *мрак*» (49), «за *мраком*» (62), «*мрак*... дней» (65), «каплет *мгла*» (72), «ночная *мгла*» (83), «в снежной *мгле*» (84), «был *мрак*» (94), «роится *сумрак*» (94), «и *мрак*» (101), «окрестный *мрак*» (112), «в мутный *мрак*» (122), «в *сумрачной* стране» (112), «в грядущем *мраке*» (112), «декабрьский *мрак*» (211), «ведь *мгла* — все *мгла*» (214), «неотвратимый *мрак*» (216), «в синем *сумраке*» (260), «*сумрак*» (260), «*мглою*» (261), «*мглы*... я не боюсь» (273), «за... *мглой*» (277), «расточилась *мгла*» (277), «*черная мгла*» (284), «в октябрьскую *мглу*» (309), «в *темный* тупик» (10), «в угол *темный*» (77), «из *темноты*» (67), «*темно*» (78), «сокройся в *темные* гроба» (95), «на *темной* шали» (111), «*темноликий* Ангел» (127), «*темный* морок» (176), «*темней* и *темнее*» (180), «*темная* подруга» (183), «в *темную* пропасть» (215), «перед Доном *темным*» (275), «среди растущей *темноты*» (316), «*темным* огнем» (277), «*темные* ночи» (287), «в *темных* Карпатах», «*темный* времени полет» (317), «*темной* думы» (317) и т. д.

Ночь — доминирует: —

— «Коварнее... *ночи*» (8), «распутица *ночная*» (9), «*ночи*» (10), «на ложе... *ночи*» (12), «из *ночи* туманной» (13), «тропой... *ночи*» (15), «из бездн *ночных*» (18), «отступлю в ту область *ночи*» (29), «*ночью*» (30), «*ночь*» (39), «шествие *ночи*» (48), «*полночь*» (49), «*ночь*» (50), «*ночь*» (59), «в опустошенный мозг ворвется только *ночь*» (50), «в сырую *ночь*» (69), «*ночь* как *ночь*» (72), «и *ночь*» (73), «немотствует... *ночь*» (75), «по бархату *ночей*» (83), «*ночь*» (87), «хриплый бой *ночных* часов» (85), «*ночь* мутна» (85), «волна возвратного прилива бросает в бархатную *ночь*» (113) (всюду бархат у Блока: ночной, черный), «в эту *ночь*» (111), «место вечной *ночи*» (123), «во власти *ночи*» (125), «всю *ночь*» (181), «и *ночь*» (212), «в *ночь* — тропой глухой бреду» (212), «в *ночь*» (216), «страшнее *ночи*» (213), «в сумасшедшей *ночи*» (218), «и *ночь* опять пришла» (233), «в партере — *ночь*» (249), «пусть *ночь*» (273), «сквозь... *ночи*» (287), «долгих лет нескончаемой *ночи*» (288), «последней *ночи*» (311) и т. д.

Ночь, ночь и ночь!..

Эта ночь есть сама пустота; из ничто возникают явления мира; отходят — в ничто: —

— «Я ухожу, душою праздной, в метель, во мрак и в *пустоту*» (9), «в *пустые* очи» (15), «и голос говорит из *пустоты*» (17), «жизнь *пустынна*» (23), «*пусто*, тихо и темно» (40), «с далеких *пустырей*» (41), «*пустая* вселенная глядит на нас» (42), «глядят глаза *пустые*... ночь» (50), «*пустыней* неба» (64), «тоска *небытия*» (65), «*пустынной* жизни суета» (75); «равнина *пустая*, как мечта» (79); «жизнью *пуста*» (84), «и *пустыней* бесполезной» (88), «мир бесстрастен, чист и *пуст*» (173), «сияние *небытия*» (213); «в сердцах, восторженных когда-то, есть роковая *пустота*» (303), «за окном черно и *пусто*» (304), «ищи опоры... в воздухе *пустом*» (34) и т. д.

Ночь: ночь — пустая. Небытье — смерть: и нота *смерти* встает; Боже мой, смертью пронизано все; смерть стоит надо всем:

Разрешенье всех хулений,
Всех хулений и похвал,
Всех змеящихся улыбок,
Всех просительных движений —
Жизнь разбей, как мой бокал!
Чтоб на ложе долгой ночи
Не хватило страстных сил!

Чтоб в пустынном вопле скрипок
Перепуганные очи
Смертный сумрак погасил (12).[6]

«Здесь *умерли*» (15), но зачем перечислять лейтмотив смерти третьего тома; читатель поверит мне: вот страницы со *смертью*: 16, 18, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 (пять смертных образов), 38 (четыре образа), 39 (два образа), 40, 42, 43, 51, 56, 61, 72, 73, 74, 76, 76, 77, 77, 81, 81, 83, 85, 94, 95, 108, 111, 115 и т. д. Почти на каждой странице упоминание об умирании, смерти и гибели. Самое страшное, что это не просто смерть, а смерть прижизненная; так сказать, *смерть* вторая; *мертвец* не укладывается в могилу, а бродит среди живых: «*отверженец, утративший права*» (16); «*увядший цвет в петлице фрака бледнее уст на лике мертвеца*» (17), «*как тяжело бродить среди людей и притворяться непогибшим*» (28), «*как страшно мертвецу среди людей живым и страстным притворяться*» (37); «*спешит мертвец: на нем изящный фрак*» (37); «*пока не откроет могила сырые объятья — тащиться без важного дела*» (48); «*поглядите, вот бессильный, не умевший жизнь спасти*» (51); «*он больше ни во что не верит, себя лишь хочет обмануть*» (56); «*и к вздрагиванию медленного хлада усталую ты душу приучи*» (202) и т. д.

Большинство стихотворений, из которых я привожу цитаты, еще не было написано А. А. в феврале—марте—апреле 1908 года; но я провидел их в духе; и тут: ужаснулся я; помню, что лейтмотив *ночи*, *смерти* переживался и мною в глубинах сознания:

Слепи, —
Слепая ночь!
Глуши, —
Глухая смерть!..
(А. Белый).[7]

Эти строчки стояли уже над душою моею; жизнь второй половины сознания диктовала порою совсем неожиданные жесты души; и таковыми были — припадки *боли и полемической злости*; в то именно время вышла книжечка драм А. А. — с обложкою Сомова;[8] книжечка, из которой опять на меня из А. А. поглядели и *скепсис, и смерть*, — преисполнила меня стремительной полемической злостью; и тут неожиданно я написал обиднейшую рецензию на драмы (сколько раз потом я готов

был рвать волосы за то, что она-*таки* была напечатана); чтобы наказать себя, перепечатываю ее здесь, как образчик медиумического истеризма, в котором порой заставал я себя (*черный контур* овладевал моими поступками: тень становилась хозяином тени).

Вот эта рецензия,* озаглавленная «*Обломки миров*».

ОБЛОМКИ МИРОВ

«Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь, — говорит В. Брюсов. — На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя».[10]

«Пусть поэт творит свои строчки, а не свою жизнь, — как бы возражает ему А. Блок... — На алтарь Ничего мы бросаем наше божество и себя».

Символ — соединения; символизм — соединения образов созидающей воли — для чего? Все равно, для здешней или будущей, старой иль новой жизни, но жизни. Чем глубже внутренний путь, тем новее, загадочней образы, тем более усилий затрачиваем мы, современники, для познания и переживания созданной ценности: таково было для современников появление «Заратустры».

Но есть символ и иного рода: соединение обломков когда-то цельной действительности (той или этой), соединение первичных ассоциаций души, безвольно сложившей оружье перед роком.

За первого рода символизмом — рождающая действительность будущего, предощущаемого, как греза. За второго рода символизмом: небытие, великий мрак, пустота.

Блок — талантливый изобразитель пустоты: пустота как бы съела для него действительность (ту и эту). Красота его песни — красота погибающей души, красота «*оторопи*», а не красота созидания ценности.

Вот перед нами изящный томик в картонном переплетике; обложка Сомова, как венок из роз, венчает книгу; переверните обложку: вас встретит предисловие: «Лирика не принадлежит... к областям... творчества, которое учит жизни»...[11] Далее узнаем, что переживания лирики хаотичны; чтобы разобраться в них, нужно самому быть «*немножко в этом роде*»; под обложкой в предисловии встречает вас пустота мысли. Далее встречает вас ароматный венок самого творчества: символы,

---

* «Весы» за 1908 год.[9]

как розы, гирляндою закрывают смысл и цельность переживаемых драм; приподымите эту гирлянду, на вас глянет провал в пустоту; грациозно, нежно, трогательно слетают туда образы Блока током розовых лепестков.

Как атласные розы, распускались стихи Блока; из-под них сквозило «*видение непостижное уму*»[12] для немногих его почитателей, для нас, когда-то пламенных его поклонников, встретивших его, как созидателя новых ценностей. Но когда отлетел покров его музы (раскрылися розы) — в каждой розе сидела гусеница — правда, красивая гусеница (бывают красивые насекомые — золотые, изумрудные жуки), но все же гусеница; из гусениц вылупились всякие попики и чертенята, питавшиеся лепестками небесных (для нас) зорь поэта; с той минуты окреп стих поэта. Блок, казавшийся действительным мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого прекрасного поэта гусениц; но зато мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся в проститутку и в мнимую величину, нечто вроде «— 1»), призыв к жизни (той или этой — вообще новой жизни) оказался призывом к смерти.

Но далее: Блок стал еще более совершенным техником, а Незнакомка, Смерть, жизнь, проститутки, рыцари, кабачки — все, к чему ни касался Блок, превращалось в изящный, как виньетка, покров, над... чем? И вот в «*драмах*» оказалось, что «*что-то*» есть... большое Ничто. Сначала распылил мир явлений, потом распылил мир сущностей. «*Драмы*» Блока — обломки рухнувших миров (того и этого), как попало соединенные в своем полете в пустоту: здесь — к реальному образу приставлена голова Небесного Видения; там — к образу Видения приставлена голова восковой Клеопатры, или... даже... голова из сыра «*бри*» — все равно; ведь сила своеобразной прелести рыдающих драм Блока (которые рыдают всем, чем угодно; Бетховеном, комаринской и т. д.) в том, что в них нет ничего, они — ни о чем; «*ряд встающих двойников — бег предлунных облаков*».[13] Лирика Блока — разорванная в клочки драма, — не перешла в драму; драма предполагает борьбу или гибель за что-то: в драмах Блока гибель — ни за что, ни про что: так, — гибель для гибели. Лирика разорвалась; и только; и все просыпалось в пустоту. Мы читаем и любуемся, а ведь тут погибла душа *не во имя*, а так себе: «ужас, ужас, ужас!»

Без связи, без цели, без драматического смысла мягко струит на нас гибнущая душа ряд своих образов; символизм — ряд кинематографических ассоциаций, бессвязность — вот смысл блоковской драмы. Пусть

читатель не примет мои слова за осуждение этих «*драм*»; в них есть особая красота «*оторопи*», красота мертвенности.

«Коса смерти — коса девушки: девушка с косой (волос) за плечами, но с косой смерти в руках» — вот ход ассоциаций Блока. «*Корабли плывут*» в «*Короле на площади*». Далее: в «*Незнакомке*» эти корабли уже — бумажные корабли: тем не менее они — уплывают, подобно картонной невесте (пресловутой девушке с косой и «*косой*»), которая тоже куда-то исчезает.

«*Человек в пальто* (громко, как ружейный залп). Бри! *Собеседник*. Ну это... это... знаете. *Человек в пальто* (угрожающе). Что знаете? (Все — вертится)». (1-е действие «Незнакомки»).

Через действие.

«Из общего разговора доносятся слова: „*рокфор*", „*камамбер*". Вдруг толстый человек... выскакивает на середину комнаты с криком: „Бри!" Поэт сразу останавливается. Мгновение кажется, что он вспомнил „*все*"» (3-е действие «Незнакомки»).[14]

Попробуйте подойти к драмам Блока с точки зрения цели, смысла, ценности. «*Бри*» — и всё тут! Вот безвольно вырастает чудесный образ, но как ружейный залп пустота выстреливает: «Бри!» И подстреленная, насмерть подстреленная душа струит на нас кинематограф образов. И если есть захват в драмах Блока, если плачем мы вместе с поэтом, то плачем мы не над героями его (его герои — картонные манекены), плачем над драмою самого Блока. С нежной улыбкой погибающего вырезывает он свои картонажи; и — вот: мистики ждут смерти, Пьеро — невесту; приходит невеста с косой за плечами, — мистики думают, что коса не за плечами, а в руках; Коломбина верна Пьеро; Арлекин, пропев четверостишие, уводит Коломбину, автор врывается в картонный мир; Арлекин проваливается в бумажную бездну; в разрывах бумаги появляется невеста с двумя косами (косой и «косой»). В заключение Пьеро играет на дудочке.

«*Бри*» — и все тут.

Вы говорите, — нельзя понять драм Блока; да их нечего понимать: их небо пропустит сквозь себя: ведь они — обломки ценностей, которым, быть может, молится поэт. Захватывающая сила этих драм есть бесцельная тризна поэта над своей душой, которая и себя, и свои кумиры бросила на алтарь... пустоты. Эту тризну я слышу; болезненною любовью, любовью — жалостью принимаю я плач больной души над собой и смех больной души над собой: плач и насмешка от чистого сердца.

«*Бри*» — и все пусто!

Эта изящная книжечка — незаурядное явление нашей художественной жизни. Блок — незабываемый изобразитель «*пустых*» ужасов: тут перед вами бесшумный провал всего, что вообще может провалиться. Искренностью *провала, краха, банкротства* покупается сила впечатления и смысл этой «*бессмысленности*»: но... какою ценой?

«*Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь*, — говорит Брюсов... — *на алтарь нашего божества мы бросаем самих себя*».

«*Пусть поэт творит свои строчки*: поэт вообще — это строчка с пишущим аппаратом в виде так называемой человеческой „*личности*", — отвечает А. Блок».*

. . . .

На ужасную эту рецензию А. А. Блок обижался, считая, что уговор наш естественно отделять наши личности от литературной полемики — явно нарушен; до появления рецензии мы не думали, что — в разрыве мы; после рецензии — ссора оформилась:[15] мы при встречах протягивали сухо руки; и отходили в разные стороны. 22 мая, т. е. по выходе № «*Весов*», А. А. писал Пантюхову: «*Разве я не откровенен с вами, Михаил Иванович, — нет, я не скрываю ничего и не оберегаю, но я чувствую все более тщету слов с людьми, с которыми было больше всего разговоров (именно мистических разговоров), как А. Белый, С. Соловьев и другие. Я разошелся, отношения наши запутались окончательно, и я сильно подозреваю, что это от систематической лжи изреченных мыслей*»...[16]

А. А. был, конечно же, прав: именно я требовал от него ясных слов, ясных формул душевных движений меж нами; он был объективней меня в «*субъективном*» молчании; и я был субъективен в подыскивании «*объективных*» причин нашей ссоры; мои объяснения поведения Блока звучали, как обвинение, бросаемое как обвинение его моральному миру; он — чрез «*нет*» мне бросил свое «*да*», утверждающее меня; отходя в сфере чистой душевности, он протягивал в «*духе*» мне руку чрез все расхождения; эта сфера его, мне казалося, — «*ничто*», «*пустота*».

И была она сферою неба бездонного; да, духовная бездна, переживаемая каждым отдельно, как рок, просвечивала во внутренних жестах А. А., оставшегося преданным последнему, вечному, невыразимому; в жестах душевных сферу строгого мрака, *порога* пред откровениями духовного мира, — пытался впоследствии он осознать, что доказывает стиль отметок на *Добротолюбии* (при чтении произведений Антония);

---

* Этими словами кончалась рецензия «Весов».

отметки А. А. замечательны; стилем духовной безобразности сигнализировал он. Антоний Великий гласит: «*Свободу, блаженство духа составляет настоящая чистота и презрение при временности*» (подчеркнуто рукою А. А.);[17] или: «*знайте, что дух ничем так не погашается, как суетными беседами*» (снова подчеркнуто).[18]

Он хотел быть со мною в обители, не нарушаемой суетными мыслями друг о друге: а я — «*суетился*»; не мог приподняться я над душевной смятенностью; руку, протянутую из Духа и в духе, я встретил, как тень пустоты; а тоскою моей, разжигаемой полемическим пафосом Эллиса и С. М. Соловьева, — естественно диктовалась заметка «*Обломки миров*», бьющая по духовному миру поэта.

НА ПЕРЕВАЛЕ

Весна мне отметилась общим унынием; часто встречались с Шпеттом, Нилендером, Метнером, Эллисом; и возникали беседы; и Эллис, усы закрутив витушком и задергав плечом, все, бывало, губаном каким-то на стуле досадливо ерзает; Шпетт же, поглядывая, безбородое личико, выточенное из карельской березы, наставит на Эллиса: глазками с розоватым отливом, и юркие носики мышек — зрачки — воздух нюхают; выпустит едкость (как шаром своей головы шибанет); шуткой срежет; заигрывает, оставаясь далеким от игр, им затеянных; Эллис — взорвется: в своем размухрастом помятеньком сюртуке, с обормотками сзади, где фалды (такою он выглядит *хухрей*),[19] в обмотке, — не в галстухе, и с заатласенными рукавами, икающим смехом, трясясь, с разорвавшимся ртом, окровавленным точно, с лицом зеленее листа и в холодной испарине, защелкает пальцем; рукой — хвать альбомчик; и пальцами муслит листы; подскочивши, — альбомом по столику: — «Нет, уж — позвольте-с!»

И выпустит он словотеки, диктующие поведение Педагогическим Курсам, где Шпетт состоит уж в совете,[20] куда не пустили нас Коган и Айхенвальд: читать курс.

Но — звонок: и какими-то самодергами входит Рачинский — совсем очконос; кипятится; и перекуры пуская, на Шпетта, на Эллиса, — факнет каким-то фаготовым голосом, всех убеждая — в чем именно, трудно понять; в теплооблачных клубах сидит; из них вскочит; и вот — стукатень его ног.

В коловерт между Шпеттом, Рачинским и Эллисом В. О. Нилендер, доселе безмолвный, боднет головою и ртом, очень горько растянутым (может быть в смехе?), обиженно высыплет темные тексты Орфея, перебивая словами себя самого; разобидевшись, сжимчиво он подбегает к Петровскому; тот же поводит своим фармазонистым носом в пенсне на возникшее; Метнер молчит, посылая лишь сдыхи, определяющие расстояние между этою кутерьмой и собой, поперхнется, удавится мнением; а голова, точно печь, распылается вправо и влево глазами-огнями.

Весною, бывало, беспрокие сборни; и сижи, и всклоки — до трех часов — пепельницы переполнены, форточки, всё, — растворяй: перекурено!

Или беспрокие сижи бывали — у Н. И. Петровской, подверженной приступам меланхолии, — Муни, Е. Л. Янтарева, В. Ф. Ходасевича; тут — то же самое: пепельницы — опрастывай; форточки — растворяй: перекурено; окна раскрыты — жара; а пойдешь переулком: весна; и коты разорались на крышах; и окна — поют — всё про очи, про черные; где-то гармоника разговоры ведет о простом, о знакомом таком.

Вижу — Метнер устал; я его — подговаривать ехать в имение к нам; мама это имение продавала крестьянам; в нем не был два года; хотелося распрощаться с местами былых вдохновений, узнаний и зорь: побродить по плато, где окрестности с горизонтами и где видишь грядущее; чудилось: с другом, как Метнер, совсем хорошо помолчать на полях и разглядывать волны событий грядущих.

Мы так провели восемь дней;[21] мы часами бродили по липовой старой шумливой аллее; сквозь зелень верхушек летучилась птица; и — пучилось облако; зной нагрянули; и — перегусты зноев оседали дождями; Э. К. очень быстро освоился с ритмами жизни в деревне: он здесь стал уютен и смирен; он понял, что местности эти наполнены смыслами; каждое дерево, каждый овражек гласит о подсказанном, узнанном: здесь — даймонический голос со мной говорил; там — вставала заря; постепенно вводился Э. К. в «*тайны*» местности; вот мы, бывало, — в полях; продувной тепелок раздувает одежду; Э. К., снявши шапку, лазуря глазами туда и сюда, поворачивая бородку туда и сюда, от плато озирает окрестности, палкой указывая то на то, то — на это; там — лысая пусторосль в ветре стреляет песком; стервоядная коршуниха слетит к падали; там же глядит с большака переемщик обозов — кабак-разувай; там свергается странный изгорб — глубоко, глубоко: в сеть оврагов, отчетливо рассекая окрестности.

— «Вы посмотрите, — не правда ли: там за оврагом чужое такое; я, будучи уже студентом, сюда приходил подбирать эти камни, свергать

их в овраги; и думал, что жестом таким истребляю врагов: ежедневно ходил — свергать камни; потребностью стало».

Оглядывая заовражные дали стратегом таким, — приосанится Метнер:

— «Враги?»

Был же он — забиякой, рубакой, поход объявивши коварному Миме (барону д'Альгейму) и Альбериху (композитору Регеру);[22] тут же он стал поминать их; и вот — Эйленшпигели, грязные и мозолистые уроды, — подкрадывались, перебегая; а он, завертев своей тростью, над скатом кричал — с багровеющим черепом, с явно толстевшими и готовыми лопнуть височными жилами:

— «Надо всех их истребить!»

Он подмигнул мне:

— «А давайте-ка скатывать камни... А?.. Нет, — вы хотите, Борис Николаевич?»

И принимались за камни; тара́хали, скатывались, подпрыгивая, — глубоко; и терялись; вдали раздавался лишь звук: «*дзан*»; то — камень доскакивал до железистого, выстланного камнями, большущими, дна водотека.

Потом, на заре, подходил ко мне Метнер; и, осторожно оглядываясь (нет ли мамы, иль тети моей), — он шептал:

— «Ну, Борис Николаич, — пора»...

— «Что такое?»

— «Идемте — врагов истреблять»...

И бежал по полям, подбоченившись, и галопируя быстро по склону, согнувшись, показывая характерное сращение костей черепа; схватывал камень; его взвесив в воздухе, вздрогнувши саркастическим словом по адресу нибелунгов (д'Альгейма, иль критика Каратыгина), он опрокидывал камень; прислушивался — упадет ли на дно водотека; и — спрашивал:

— «Как вы думаете, — скольких этим ударом расшибло?»...

И мы, посмотрев друг на друга, — смеялись отчаянно.

— «Нет, — голосил Метнер жалобным плачем, привзмахивая руками, — а, а; не могу: хахахо» — и до баса он голосом падал.

И — вторило эхо; там — лысая пусторосль в ветре скреплялась песком; стервоядная коршуниха сидела на падали.

Так, уложивши на месте с десяток «*врагов*» (Каратыгина, Листа и Регера), мы возвращались к вечернему чаю; и разговоры — (не знаю: друг с другом, с ветрами?) — свершались в пространство; как будто чего-то мы ждали; стояли с вопросом, бросаемым в воздух, — что бу-

дет? К чему нам готовиться? Выдался день; в этот день уже облак замраморел тенью с утра; к двум часам встала рыжая туча; провыла нам холодом в окна; но ветрами разорвалася в клочки; дождь — не капнул; и туча замазалась в небе; весь день ходил сам не свой друг мой по хрясским дорожкам; и красные рясочки смородины не утешали его; в этот день не высказывал он несравненные мысли свои и меня не подуськивал к шаржам; отчетливо в нем подчеркнулась капризность; и даже — враждебность. Он вспомнил тут строчку стихов моих:

Смерть — победила: это вам — два гроба.[23]

Как будто «*враги*» из оврага, поднявшися тучей, уж нас обложили кругом.

Вдруг — что там? Перебор колокольцев: к крыльцу таратайка; и — выпрыгнул кто же? С. М. Соловьев:[24]

— «Ты?»

И вижу: лицо — темней тучи:

— «Не спрашивай: я дотащился едва»...

Отведя меня в комнату, он рассказал, что совсем поругался — с д'Альгеймами, с кем-то из близких к ним, даже с Наташей Тургеневой; ехал, чтоб мне рассказать это все:

— «Ах, с д'Альгеймами — нет, невозможно... д'Альгейм!.. Подозрительный маг...»

Метнер был в этот день — мрачней тучи; я — тоже; у нас, у троих, настроенье — совпало; и скоро Сережа при Метнере высказал — все; слыша эти слова о д'Альгейме, Э. К. просиял:

— «А?.. Ведь я говорил!..»

Слово за слово разговорились: пошли играть в мифы; задумывались нападения; незаметно Сережа при Метнере перешел на «*каковский*» язык; Метнер тотчас — воспринял, и шутка — заискрилась: Метнер, рукой подпершись, дирижировал мифами:

— «Тема д'Альгейма — „тита-титата"... А? А? А? — Какой ужас» — и вспыхивал характеристикою д'Альгейма; и — скашивал очень четким плечом, наблюдая, какое воздействие миф его вызывал, подмигивал; остро — волчился зубами.

— «Вот: именно!»

И разговор перешел на Тургеневых:

— «Да он их портит своею французскою изощренностью: их бы: силком от него; их похитить бы из „*Дома Песни*"... А, что? Вот — похитьте!»

— «Ну, что же?» — гремел Соловьев (характерно, что так и случилось: через 2 с лишним года уехал я с Асей Тургеневой, а через четыре — С. М. Соловьев повенчался уж с Таней Тургеневой).[25]

Помнится, эта угрюмая мрачность нас трех очень быстро рассеялась; и — икарийские игры пошли! Э. К. Метнер С. М. Соловьевым торжественно был посвящен даже в орден «*Каковских*» воителей.

Так, — мы играли!

Но скоро — уехали.

. . . .

По отъезде друзей охватила опять меня грусть; я прощался с местами, которые крепко связались с эпохой зари: я прощался с полями, мне ставшими бреднями:

Прими меня — в простор простертый гроб!
Рассейтесь вы, как дым, седые бредни!
В последний раз — твой верный, старый поп —
Я здесь служу свои обедни.[26]

Написал очень много стихов здесь из «*Пепла*» и «*Урны*». И лейтмотив настроения выразился в строках о России:

Туда, — где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя.[27]

Исчезала «*Россия моя*» для меня в многих смыслах: революционная заревая; и — эта: Россия «*Серебряного Колодца», которую так я любил: «в последний раз я здесь служил обедни*»...

Все последние дни были тяжестью; ясности безоблаковых пространств приедались; казалися хмурыми; в воздухе все-то мушиная беготня (как поднимут навоз — так от мух нет отбою); метаются сухо по комнатам; у мухоловок пресонные мухи (иные лежали на спинках с раздутым брюшком); в этот год одолели нас мухи; писал:

Мухи черными роями
Плещут ей в лицо.[28]

Без поэзии всякой прощался с насиженным местом; пришлось пересчитывать скот, обходить скотный двор — с управляющим (с тем, что когда-то донес на меня); впечатление последнее — скотный: поднимешь

карбасину; и, утопая в соломе, захлюпаешь скотным: теленок-большун, русокосая девка с помойным ведром, руноносные овцы, пастух шелепнем — размахнулся; и бык беломордый — бежит; и проходишь в свиную закуту; там свиньи носами вкопаются в тухлые рухляди, в кляклые слякоти; к ним подойдешь — ухнут хрюком, прижмут лопушистое ухо; и — бросятся прочь, чтобы влипнуть копытами в кляклые слякоти; там пересаленный хряк перекошенной мордой уставится; выйдешь — пройдешься в контору, где окна усеяны точками; тощий конторщик отсчитывает в мухачах... И пройдешь в огороды; и — баба тебе: «Видно, будет у нас хренород...»

Наконец — все осмотрено, все пересчитано; ехать отсюда; и — жалко.

Уже отмахала коса: отхватила цветы; земляника погибла; посмотришь — здесь плохо косили: высоко подрядье — на бритых лугах; шелестело за окнами сено сухое; носы щекоталися запахом; нюхаешь, да и чихнешь; это сено — не наше; однажды взошло белорукое солнце; наметился день суховедерный; подали мне экипаж; я уехал; и более — никогда не вернулся.[29]

. . . .

Попал я к июлю уже в многотравное Дедово: в царство фиалок — трехцветок, левкоев, фиолей, в настой резедовый — к А. Г. Коваленской, когда наливные плоды у растений пошли: и стрючки, и коробочки; щелкала громко над лавочкой ветка акации: зернышки выпались; а на лугах сарафанились девицы; гостеприимство С. М. Соловьев оказал: он ходил успокоенный, крепкий здоровьем и духом; какая-то новая в нем проступала гармония; не было прежних безумных порывов; исчез романтизм; загорелым лицом с очень яркими тонкими крепко-затиснутыми губами, пунцовыми и опущенными очень густыми усами, с задумчивым взглядом больших серых глаз, обведенных ресницами, с пепельно-темною шапкой волос, крепкоплечий и статный, в рубахе своей (уже белой, не красной), расшитой пунцовым шитьем, появлялся он всюду — в селе Надовражине, в избах, у бабушки, во флигельке Коваленских с той ровною, мягкою силой, которой в нем не было прежде, как бы золотяся классической ясностью Гёте, с трудом обретенной им после периода «*бурных стремлений*»; и — странно: в лице его, напоминающем складом своим то историка — деда, то дядю-философа, то — Коваленских, бросалось теперь гармоническое сочетание, адекватное сочетанию стилей, вполне пережитых; явилося в нем что-то доброе; он — не смотрел: доброглазил; упорно ведя свою линию, распределял гармонично свой день: углубление в классиков, творчество, отдых, прогулка, так — день

был размечен; дружил он со всеми: с селом Надовражиным (сестры Любимовы), с Дедовым, с бабушкой, с дядями Н. М. и В. М. Коваленскими, с взрослой кузиной своей, Марией Викторовной,[30] со мною; и тихою силой своею он мне импонировал; мы проживали в отстроенном домике (старый сгорел) вне усадьбы, с террасой на луг, где в июне такие высокие травы выкидывают курослепы свои и гвоздику (сорвешь, и — рука перепачкана липкой гвоздичкой); в июле же сено сухое раскидано здесь: и — воза; девка с парнем под возом, бывало, бросаются шутками; и — пуками сенными, на граблях; и бросивши грабли, — половят друг друга; и — снова за дело: подкидывать сено; за лугом, вдали, начинался кустики, переходящие в рощу и лес; там когда-то «*бургосский*» сидел; он — пропал: с удаленьем Каменского.

Часто сиживали мы с С. М. Соловьевым; почти успокоенно мы вспоминали «*врагов*»; вспоминали былые неистовства, переживания наши в Петровском; С. М. Соловьев мне читал здесь обрывки поэмы своей из «Cruris Fragium»;[31] и отсюда, с террасы, вели мы беседы о Пушкине, Баратынском, о Тютчеве; как в Петровском одним замечаньем С. М. Соловьев мне приподнял завесу над Пушкиным, так и теперь: углублял он растущий во мне пушкинизм; я жалею, что я не записывал всех замечаний его о поэзии Батюшкова, Баратынского; не записал он нигде свои мысли; они ж были ценными, мне открывающими мир поэзии нашей; С. М. Соловьеву обязан я вдумчивому отношению к классикам русским, как Метнеру был обязан любовью к немецкой культуре. В С. М. Соловьеве таится, по-моему, гениальнейший педагог; говорил — не речами, а краткой ретушью к прочитанным строчкам:

— «Нет, Боря, — послушай, — являлся из комнатки он на террасу — с раскрытою книжечкой Баратынского, — что за крепчайшие строчки:

„*Много на свете решил я вопросов, прежде чем руки марсельских матросов подняли якорь, надежды символ*"».[32]

Он мне так объяснил эти строчки, что весь Баратынский впервые открылся, как некогда Пушкин; мы шли, продолжая беседы, на луг; пересекши, его проходили уже лесовой половиною, взлеском, леском, сперва редким; тут ветви разбросаны; далее — начиналось густое деревье (соплелося жердистою наветвью; ветви разводишь руками, темно; и наступишь ногою на гриб — широкошляпный березовик); после — полянка; на ней серенеет разрубчивый пень; на него мы усядемся; и продолжаем беседы — о рифмах, архитектонике, а сизокрылая мушка мельтешит под носом; потом пробираемся мы к Надовражину: красные, синие, серые домики, церковь и луг, опустевшая дача Каменских, в ко-

торой посеял поэму свою я когда-то;[33] тут строят какой-то домишко; и плотники занимаются деревянной работою; бревна навалены, лес переборник, доска подшивная, фанерочки; и работный мужик тут потеет до... вони; С. М. Соловьев остановится; и — с мужиком — в разговор: и — мужик ему:

— «Да, вот, — возьмем и приляпаем... Это вот рублено в лапу-то — в угол, а лапа-то, барин, глядит-ко, — а лапа-то, чистая, лапа-то — прорезная...»

И бросив поэзию, мягко С. М. Соловьев доброглазит; бревно расклепали — одно; расклепали — другое; а я удивляюсь уменью С. М. подходить к мужикам; и умению ладить с дядьями; в нем явно наметилась эта широта и тончайшее ведение человеческого сердечного чувства, которое в нем проявилось позднее, когда стал он «*батюшкой*»;[34] признаки «*батюшки*» виделись мне уж в то время под формою педагогики; педагогически стал подходить к человеку он.

В 1906 году вылетел я из Дедова, резко поссорившися с Николаем Михайловичем Коваленским; и были натянутые отношения меж мной и семьей Коваленских; С. М. примирил меня, снова введя в дом дядьев своих, «*бабушки*», — старенькой, все перетрясывалась и дрожала в настурциях — в темненьком платьице, в черной наколочке, в черной косынке; Н. М. Коваленский, вполне примиренный с природою, втягивал запах левкоев, играя лорнеткой на беложилетном своем животе, то отмахиваясь веерочком от мошек; под ясное солнышко он подставлял загорелый, коричневый лоб, свои бачки седые; басил:

— «Люблю солнышко!»

Или, поглядывая на нас, предававшихся шуткам, еще аппетитней выбрасывал:

— «Молодость!»

А В. М. Коваленский из ближнего флигеля плакался пальцем на клавишах; тоже! «Уй-мии-тесь... волнее-ния... страсти... Душа ии-стаамии-лаась... в разлу-уу...»[35] И споткнувшись на «*у*», принимался тащиться он сызнова.

Лето запомнилось множеством празднеств: то тот именинник, то — этот; опять пироги и букеты, гирлянды цветов на террасе, костры; и — прыжки через них.

. . . .

Как-то к нам — таратайка; а в ней — рудопегий, с табачного цвета глазами добряк в желтой шляпе соломенной, в пегом пальто; это был Марконет; он приехал на лоно природы; ходил меж цветов и помахивал шапкой, подкинув надбровьем:

— «Цто?»

— «Брюсов — цто?»

— «А? Написал про козу?»[36]

— «А цто Блоки?»

Порой наезжали — Петровский (М. А., не А. С.), Эллис. Брюсов приехал однажды, очаровавши весь дом: Александра Григорьевна просто сияла, когда В. Я. скромно гортанил старушке приятные вещи о нежно любимом Жуковском, о старой романтике; даже В. М. Коваленский поздней себя бил по макушке:

— «Ведь вот какой Брюсов: ведь умная бестия».

Брюсова мы поводили по полю; он стал вдруг какой-то шалун; и мы бегали — вперегонки; повели в Надовражино, к сестрам Любимовым; и Александра Степановна, старая почитательница «*демонических*» строчек, сияла, увидевши Брюсова в доме своем, отвела его в сторону; тихо сказала ему:

— «Человек удивительный вы!»

Брюсов был гармоничен. С. М. Соловьев создавал между нами троими уют. Тем уменьем к уюту, соединением трезвости воли к работе с пленительной сказочностью он оказывал крепкую очень поддержку; и вместе с тем: он углублял мои вкусы, зажег интерес к стиховеденью; я же, прислушиваясь к разнице ритмов ямбических Пушкина, Тютчева, тут нашел способ записывать ритмы; на Баратынском, Тютчеве я изучаю статистику пэонических строк; ускорение первой стопы и второй занимает меня; рассуждаем с С. М. Соловьевым о формах пэонных, и о применении пэона второго; пишу ряд стихов под влиянием Тютчева, как упражнения на пэонные формы («*Жизнь*», «*Ночь и утро*», «*Ночь-отчизна*», «*Вечер*», «*Перед грозой*»).[37] Соловьев поощряет во мне ноты «*Урны*», а к «*Пеплу*» относится сдержанно; можно сказать, что от «*пепельного*» настроения он отбивает меня......

Мережковские, приехавшие из Парижа и проводящие лето под Петербургом, — зовут меня: еду к ним, в Суйду я в августе.[38]

Здесь дней десять мы — вместе.

Но нет прежнего пафоса в отношениях. Многое в Мережковских — мне ясно. И — тем не менее: под их влиянием я пишу здесь статью «*Каменная Исповедь*» (против Бердяева, с которым меня связывает уже дружба): статья нравится очень Д. С.; он берет ее для журнала и передает Богучарскому.[39] Здесь же, в Суйде, — живут: Д. В. Философов, Т. Н. Гиппиус и А. В. Карташев; и я замечаю: растущий протест в Карташеве против абстрактности Мережковского; раз, когда Мереж-

ковские уехали в Петербург, а мы трое (я, Т. Н. Гиппиус и А. В. Карташев) сели в лодку, поехали по реке, я стал жаловаться на абстракции Мережковских; А. В. Карташев с удовольствием подхватил мои жалобы; не забуду я: пения Карташева — на тихой вечерней заре под плеск весел.

С первыми же сентябрьскими днями я трогаюсь; случайные обстоятельства задерживают меня в Петербурге;[40] сижу в меблированных комнатах на Караванной, где у меня сиживали когда-то Блоки и где однажды провел я всю ночь в размышлениях о лишении жизни себя. В Петербурге вспыхивает холера. Я — еду в Москву.

Осенью 1908 года — опять: суета, суета; те же: «Дом Песни»,[41] «*Эстетика*», «*Весы*», Рел.-Фил. Общество и т. д. Реорганизовалася «*Русская Мысль*»; редактором ее стал П. Б. Струве; а Мережковские очень короткое время заведовали литературным отделом; но — разорвали со Струве из-за доклада А. А. «*Интеллигенция и народ*»;[42] заведующим литер. отделом стал Брюсов.[43]

Запомнилось мне время конкурса на переводы «Die schöne Müllerin», устроенного «*Домом Песни*»;[44] было прислано 56 переводов; жюри состояло из трех литераторов (Ф. Е. Корш, В. Я. Брюсов и я), трех музыкантов (С. И. Танеев, Н. К. Метнер и А. Гречанинов) и трех музыкальных критиков (Энгель, Кругликов, Кашкин); Корш и Брюсов не участвовали в собраньях жюри (первый был болен, второй — был в отлучке); один эпизод очень памятен: Энгель желал, чтобы премию получил перевод № 46; казался банальным он мне: казался — недопустимо убогим он и Олениной и Н. К. Метнеру; изо всех переводов отметил один я (№ 20), который передавал относительно более ритма; но Энгель решительно ополчился на проводимый мной перевод, нападая на якобы неправильности стиха (на присутствие в строках «chronoi Renoi»);[45] к Энгелю присоединились: Кашкин, Кругликов, Гречанинов; понял я, что борьба за переводы — борьба за *новое* направление против *старого*; мы с Метнером оказывались в меньшинстве; я доказывал, что «*неправильности*» стиха — иллюзия: в них — вся прелесть ритма; начались принципиальные речи о смысле поэзии; наконец проф. Танеев, молчавший доселе, решительно присоединился к нам; Энгелю — пришлось уступить.

Во все время жюри Петр Иваныч д'Альгейм волновался до крайности, все-то боялся, чтоб номер 46-й, злополучный, не победил бы на конкурсе; все-то, бывало, отворится дверь; и просунется серая голова его, уши, прижатые, дернутся страхом; похож он на барса; готов он на Энгеля — прыгнуть: а голосом мягким, с улыбкой, в дверь пропоет:

— «Marie, tiens... Un moment!»*

За дверями ж его поднимался отчаянный шепот, похожий на свист; и вдруг пепельно-серый оттенок лица отлетит; раскаляяся внутренне ярою, бескорыстною злостью, но сохраняя улыбку, могущую показаться и нежной, он всем обещает, что если пройдет перевод «№ 46», то «Marie ne chantera pas»** на вечере: петь же дрянной перевод она явно не сможет; когда перевод не прошел, просияло лицо его; он успокоился, что «Marie nous chantera...»***

И летела свистучая осень; уже отошли птицелетные дни; уже прочь унеслася вся птица; денек же размоклый кисляился в небе; и лепетень капелек слышался; мокропогодилось; небо дождями разинулось; Метнер собрался в Берлин;[46] приходил он прощаться ко мне; разговор наш последний касался того, что довольно нам жить в неизвестности; я вспоминал, как прислушивались в полях мы к грядущему; и — стало ясно: на Риккерте — не проживешь; если «*зори*» погасли, — осталось нам силой пройти сквозь туман; и нужна нам работа сознания; я показал ему книжечку Безант, в которой встречалися ценные указания о работе; и показал номера «*Теософического Вестника*»; в них печаталось сочинение Штейнера, как достигнуть познания духовных миров.[47]

Э. К. Метнер, нисколько не удивившися теософическому настроению моему, внял сочувственно; теософические же книжонки — подбрасывали: П. Н. Батюшков и К. П. Христофорова; их я читал втихомолку; потом заговаривать стал я о Безант и Штейнере — с Метнером, с Эллисом; я говорил: «Удивительно: станет вот кто-нибудь теософом, — глаза совершенно изменятся; удивительные у теософок глаза — нет, не наши!»

Тут Метнер, взглянув на меня, возразил:

— «Ведь у вас — глаза крепкие, сильные: наперекор настроению вашему».

И на этом простились мы с ним.

. . . .

Весь период покрыт мне тоскою и тьмою. Однажды в гнилом и вонючем ноябрьском тумане, когда электрический свет проступает, как сыпь, брел уныло я и одиноко, пересекая Тверскую; около памятника Пушкина вдруг кто-то — дерг за рукав: оборачиваюсь, смотрю — мокренькое пальто и высоко приподнятый воротник, и высоко привод-

* Мари, послушай... Один момент! (*фр.*)
** Мари петь не будет (*фр.*).
*** Мари нам споет (*фр.*).

нятая рыженькая бороденка и мятая шапченка какая-то, рука без перчаток, вся мокрая: поплевывание словами в лицо; словом — Розанов!

— «Вы как здесь, В. В.?»

— «Проездом: спешу в Петербург... Дожидаюсь вот заведующего газетой... Не покидайте меня, Христа ради, — мне делать нечего...»

Взяв меня за руку, В. В. стал поваживать, стал похаживать — и туда, и сюда — по переулочкам, по грязненьким улицам, занавешенным ноябрьским туманом; на нас брызгали шины — противною грязью; воняло так сильно вокруг; а ногами ежеминутно проваливались мы в лужи; и то — были мраки; то вдруг — кидалися бредовые светы Тверской, переливающие огни с надписью «*Часы Омега*», кинематографы, проститутки и полупьяные шатуны: и циничные выкрики, и циничные предложения; средь всего того Розанов, под руку влекущий меня через грязь, с губами, изображавшими ижицу, поплевывающий словами страшные кощунства на тему: «*пол и Христос*». Не забуду этого туманного вечера; и — гениальных «*ужасиков*» В. В. об аскетах, святых, прохожие — останавливались, оглядывались на нас.

Розанов влек меня в кофейню Филиппова — на Тверской; там за столиком продолжался нелепо поднявшийся разговор: В. В. вдруг выразил поразительную заинтересованность Блоком, расспрашивая о семействе его; я же был с Блоком в разрыве; и мне было трудно ответить на все В. В.; он же, поплевывая словами и масляся глазками, зорко-зорко посверкивал на меня золотыми очками; и дергался и хватался трясущей рукой за пальто; все как будто выведывал: как у Блока дела обстояли с проблемою пола; и каковы подлинные причины разрыва; подглядывание в В. В. вдруг сменялось гениальным прозрением *о поле*, *о поле* у Блока и т. д. Я не помню слова Розанова о Блоке (записать же их было нельзя: было многое в них нецензурное): но если бы те слова увидали когда-нибудь свет, то к «*Опавшим Листьям*» прибавилось бы несколько гениальных страниц.

Тут же, среди гениальных брызг мысли, В. Розанов, все чмыхавший носом, ко мне обратился; и — засюсюкал просительно:

— «Миленький, уж вы простите: нет же, ведь вот, в кармане платка носового, а — насморк: нет мочи»...

— «Да нет у меня, Василий Васильевич, чистого носового платка»...

— «Давайте, голубчик, скорее какой там ни есть: не побрезгаю»...

Отдал ему свой «*не вовсе чистый*» платок; сняв очки, с наслаждением он отдался сморканию. Скоро мы расплатились и вышли; довел я его до здания редакции «*Русское Слово*»[48] (где он писал под псевдонимом «Варварин»); и мы — распростилися; тем же путем я побрел средь

октябрьских туманов и световых тусклых мороков; и казалось, что мокренький Розанов (мокренький от дождя), отобравший платок у меня и мне чмыхавший в ухо, — есть морок осеннего времени; такой осенью был — 1908 год.

Отвратительна осень была; в Петербурге косила холера; холеры боялись в Москве; и боялся чего-то я; тема «врага» подымалась сильней; осень помнится эта; бывало — все улицы мглеют промерзлою пылью, отравленной бронхитом; уж и калоша хрустит на бульваре, на воющем; стал же бульвар — настоящий мерзляк; подбородок — беляк; уши — трешь; нос же — клюква; такой северяк ветродуит, что просто беда; и морозец — с прихрустом; вдруг выкрутит первый снежишко; и подснежит тротуар; станет сразу теплее; и северный ветер пойдет уже — северо-западным, западным, переменяясь на юго-западный ветер; пойдет полуталый ледок: разжиденеют, размозгнут снега; снова — осень; и тучи пойдут снова — с просизью; ветрами разволокутся; и провиднеет к закату холодное небо: стеклянистый вечер!

И вот — меркота наступает на все: и — померкнет душа; и опять принимаешься «*Теософический Вестник*» читать: вопреки всему прочему; странно ведь: ясно смешны теософские дамы — Кохманская, Христофорова, Минцлова, Писарева, Пшенецкая; а — только с ними порою (и как-то украдкой от прочих) ты дышишь; они — понимают тебя; совершенно естественно — теоретически слабы: пойдут объяснять «*теософию*» — просто нет мочи; а в жизни — никто не поможет: помогут они.

Размышленья такие ко мне возвращалися — под впечатлением К. П. Христофоровой, с мамой дружившей; я помню ее у Н. И. Стороженко; записывала все-то в книжечку изречения почтенных людей; после Эллис, друживший с К. П., — много говаривал:

— «Ты — приглядись: Клеопатра Петровна совсем удивительна».

Стал я приглядываться; действительно: понимала она невозможные тонкости; стала потом теософкою; с Батюшковым задружила: и стала являться к нам часто; глаза же — совсем удивительны; более всех понимала меня; и — подкладывала теософские книжечки......................

Приходилось мне осенью путешествовать в Петербург по приглашению В. Ф. Коммиссаржевской, которая стала в близкие отношения к «Весам»: должен был читать — краткую лекцию о Пшибышевском пред представлением «Вечной Сказки»;[49] остановился у Мережковских, которые заняты были чтением рукописей, «Русской Мысли». И скоро потом они вместе с Д. В. Философовым появились в Москве;[50] Мережковский читал у Морозовой, в Университете (студентам), в Политехни-

ческом Музее (лекцию о Лермонтове), выступал оппонентом на лекции Философова в Литературно-Худож. кружке и на моей публичной лекции «*Настоящее и будущее русской литературы*».[51] Приезд Мережковских ознаменовался бурными инцидентами, заставившими меня ломать копья за них; я уже не во всем был согласен с Д. С.; он в своих выступлениях бывал нетактичен; форсировал я порою насильственно солидарность свою; и защита моя выходила — неубедительной, резкой; в «*Кружке*» говорил я кому-то совсем неприятные вещи; в Политехническом Музее с истерикой я обрушился вдруг на профессора Е. Н. Трубецкого; кричал, потрясая рукою, едва ль не указывая на Е. Н.: «*Нам не нужны совсем — ни кадеты, ни мирные обновленцы*»; а он, большой, грузный, слегка покрасневший, — сидел косолапо, роняя печальную голову в руки.[52] Морозова мне призналась потом, как она ненавидела весь этот вечер меня; на другой уже день мы конфузливо встретились у нее с Трубецким; он тотчас протянул мне большую, тяжелую руку свою, пожал руку мою и сказал, что — не сердится; был вечер и у меня — с Мережковскими; появились: Д. С., З. Н., Философов, Бердяев, как кажется, Эрн, Эллис, Рачинский, Петровский, М. О. Гершензон и Морозова; было шумно: курили; и — спорили, спорили.

Странно: приезд Мережковских оставил какое-то чадное впечатление; был для меня поворотным этапом в моих отношениях с ними, и чувствовалось: все — расклеивалось между нами.

Опять-таки чувствовал ярче, чем прежде, что прошлое («*зори*») — погасло, что логикой отвлеченной опять-таки, нет, не заменишь его; Риккерт, Коген — нет: Шпетт — прав: это фраки, хорошее поведение мысли, — не жизнь ее; Шпеттов же скепсис — так чужд: соловьевская сказочность, соединенная с трезвой работой, лишь форма укрытия: прятание страусовой головы в перья от бездны; догматика Н. А. Бердяева есть стилизация: то — модернизм, гюисмансовщина; Брюсова поза — нет, нет: в ней — признание краха «Commedia dell'arte», которую волили с Блоками, — вот она: разрешилася «*Балаганчиком*»; Мережковские — «*отсебятина*» во всех отношениях: в общественном, в опытном, в философском, в религиозном; их «*опытнее*» — епископ Антоний; общественнее — политический деятель; философичнее — любой второкурсник-студент; религиозней — Булгаков, Рачинский; и даже — Свенцицкий.

Себя ощущал, как Бердяев, — центральною станцией я; теоретически был готов синтез мысли и чувства; моя «Эмблематика Смысла» — сложилася; философия символизма — могла быть написана; все же философия эта теоретически обосновывала возможности пересечения логи-

ки «*с опытом сердца*», который имели Франциск, Серафим и... епископ Антоний, но что до того: опыт сердца подвижников не подвигает их мысль; я же волил: *сознательного понимания опыта*. Чувствовал — ходом идей я влеком: к погружению в опыт сознания; эта проблема слияния мысли и чувства в мысль чувства настолько росла, что повсюду искал я украдкою опытных книг, мне позволяющих расшифровать... не «*вообще говоря*» человеческий день в его суетном ритме, а именно — этот день: среду; как в «*среду*» Борису Бугаеву (не «*вообще*» человеку) в таких-то, таких-то весьма исключительных обстоятельствах поступать? И — уткнулся в проблему: для этого требуются особые правила укрепления жизни душевной; никто тут не понял меня: ни д'Альгейм, ни Н. А. Бердяев, ни Метнер, ни Г. А. Рачинский, ни даже «*Сережа*»; но поняли вдруг — теософы, которые так мне казались смешны; стал являться ко мне П. Н. Батюшков (снова, как некогда); и Христофорова мне подарила «Doctrine Secrète» Е. Блаватской,[53] которую стал втихомолку читать (так сказать, — под Когеном и Риккертом); и «*Стансы Дзиан*» — поразили;[54] и весь комментарий Блаватской, смесь путаницы с гениальным прозрением, — втягивал действенно; и поражали глаза «*теософок*»; и — появления Христофоровой к нам.

Незаметно попал в теософский кружок, собиравшийся у Христофоровой, близ Девичьего Поля; между теософами помню: полковника Крыжановского, обладавшего, как говорили, астральною силою, Борнего (офицера), Недович, Пшенецкую, Батюшкова, Григорова, Бурышкину (поздней Григорову), д-ра Боянус с женой, А. Р. Минцлову, часто бывавшую здесь (проживала ж она в Петербурге), студентов — Брызгалова, Асикритова; и — других; кружок вел М. А. Эртель, — талантливо: но — я не верил ему; я бывал не затем, чтобы Эртель меня обучал; мне противно порой было видеть, как Эртель — разглазый, расплекий, обглоданный, точно баранья желтейшая кость, в сюртучишке, с весьма провалившейся грудью, в очках, гыгыкающий, разливающий патоку, патокой этой обмазанный, — подобрастно вводился воркующим роем стареющих дам, томно ими обсосанный: ходил — не за этим; другое я слышал; мне чуялись, — ритмы благие; да, кто-то был здесь, кто, наверное, внутренним опытом нас ритмизировал; мама бывала со мною на этих собраниях; и выносила такое же впечатление, как я.

Кто бы мог это быть?

Останавливали внимание: Христофорова, Минцлова; с ними с обеими было уютно; от них проносилося веяние знанья какого-то: знанья без слов; а его и искал я; его не давало общение с «*умными*».

А. Р. Минцлова останавливала особенно настороженное вниманье мое.

МИНЦЛОВА

Да, Минцлова — точно планета: большая, большеголовая, грузно-нелепая, вся отделенная черным своим балахоном, как черным пространством междупланетного мира; годами ком толстого тела ее между нами катился совсем незаметно; распахивалися двери; и — вваливалась, семеня оступающимися ногами, смешно натыкаясь на стулья; и — бултыхаясь, катилася — в черном мешке (балахоны, в которых ходила, — мешки); между нами просовывалась растяжелая голова, окруженная желтыми космами; как ни старалась чесаться, — торчали всё вскоки над основательным лбиной, безбровым, — противоречащим жидко-голубеньким просто глазенкам, сощуренным подслеповато; когда застывала вдали, то казалася каменной бабой средь нас, опоздавших явленьем на свет — на три тысячи лет; эти скифские «*бабы*» всегда навевают какие-то жути; гранитная баба, надевшая черный мешок и мочало на голову, появившаяся из двери К. П. Христофоровой, приставляющая к двум щелочкам пухлой рукой золотое пенсне, ошарашила бы взглядом — без единого слова; так: помесью жути и смеха являлась года передо мною А. Р.; себя помню ребенком еще, — у Танеева, в переулке в Обуховом, — среди книг: вот — Танеев, Владимир Иванович; рядом с ним — Минцлов, присяжный поверенный, друг его; я, разгасяся, рассказываю им обоим про скальпы, гуронов (читал тогда Купера); а из-за Минцлова грузная выглянула улыбкою дочь его: пристально.

Помню — у Брюсова в 1901 году, при моем разговоре с Д. С. Мережковским присутствовала в своем черном мешке она:[55] голову с космами желтыми выставляла, к глазенкам приставив пенсне; и впивалася в то, что с Д. С. обсуждали: беседа текла у подножия каменной «бабы», глядящей в степи, от кургана; окаменелое прошлое — слушало; было жутко от взгляда; здесь — рок сидел.

Я кого-то спросил в этот вечер:

— «Кто это?»

Ответили:

— «Анна Рудольфовна Минцлова...»

И я подумал:

— «А, дочь адвоката!»

И — не вполне убедился; осталось в моем подсознании: может быть, это явление «*Командора*», вернее «*Командорши*», средь нас; в это время бывал у А. С. Гончаровой я, первой завезшей в Москву

теософию; мне передали дословно все то, что я сказал Мережковскому, что Мережковский ответил мне:

— «Откуда же вы знаете?»

— «Минцлова передавала...»

Подумал:

— «Опять эта Минцлова...»

Тут же спросил:

— «Чем она занимается?..»

— «Да ведь она оккультистка...»

Но не любил оккультисток; встречалися мы (у Бальмонтов, К. П. Христофоровой, на заседаниях, в обществах), — я обходил эту Минцлову, не удивляясь уже, когда дверь растворялася и, спотыкаясь, катился на нас ком тяжелого тела, в мешке, с головою тяжелой, с двойным подбородком, со лбиной безбровым, с глазенками, перед которыми пухлые пальцы сжимали пенсне.

И казалось: сощурясь, взирает (посредством огромного микроскопа) на копошившихся в капельке трех измерений бактерий, — из энного измерения; или казалась хозяйкой, держащей тарелку с зерном, а другою рукою разбрасывающей зерно подбежавшим цыплятам; цыплята же — мы (был такой очень краткий период — аподиктического признания Минцловой); пенсне же, дрожащее в пухлой руке, означало — «цып-цып-цып-цып-цып» — по отношению к тому, на кого подымалось; когда отнималось пенсне, упадала короткая, точно обрубок, рука на опухший живот; и — валилась назад голова; пропадала улыбка; и рот опускался углами, — сурово и строго; и голова принимала квадратную форму; глазенки рвалися — в глазищи («глазенками» были они от усилия щуриться, чтобы, оторвавшися от ландшафта иных измерений, вглядеться в букашек), забыв, что она средь букашек, — отваливалась от того, к чему только что привалилась ее голова; и два серых больших колеса исступленно впивались — в колеса миров: идиотски-бессмысленно, тупо-болванно, не то — серафически; голова становилася головою огромного сфинкса, свисающим шаром:

Тяжелый шар в пустой пустыне, —
Как диавола безумие,
Висел всегда, висит поныне —
Безумие, безумие![56]

В годах лишь увидел — все это: у «*тетушки*», Анны Рудольфовны Минцловой, раз обозвавши ее (да простит меня Бог, — для словеч-

ка, для красного: на язычок был остер я) «*мистическою коровою*»: «*мировою коровою*»; это название разыгралось космически: что-то было действительно в ней от животных Видения Иезекииля;[57] считали же Кеплер, Толстой, что планеты — животные; Минцлова медленно мне распухала в годах, перерастая естественный человеческий образ до лика планетного; «*ком*» — был планетой, отдельной от всех; ее *черный* мешок, из которого выбарахтывалась, представлялся пространством космическим, отделившим ее; когда видел людей, к ней простершихся, когда видел ее, вырывавшуюся из мешка им навстречу, казалося: нет, мирового пространства осилить нельзя; и взаимно простертые руки, стремленье схватиться, стремление толстой женщины, бударахаясь, выпрыгнуть из мешка, вызывало во мне впечатленье гармонии сфер, посылавших друг другу любовные песни, или... картину какого-то бултыхания подслеповатого человека, смешно вырывавшегося навстречу робеющему заиканию встречного: серафическая картина, уподобляемая истерике; или истерика, переходящая в пение серафических песен; но от великого до смешного был шаг; от хохота — к грому восторгов.

В годах изменялася подслеповатая «*теософская тетушка*» с мощной всклокою желтых волос, пошатнув представление «*теософической дамы*»; коли средь «*дам*», хотя редко (как в царстве слоновом слон белый) заводится «*эдакое вот*», то — развести с удивлением руки? Заняться пророчествами Блаватской (которая, кстати сказать, напоминала «*корову мистическую*»); она тоже ходила в мешке; и — вращала колесами глаз. Что-то было в глазах А. Р. Минцловой, серых бездоннейших, — от глаз Е. Блаватской; пятитысячелетний Сфинкс выступал из тумана «*мешков*», предлагая глазами, колесами голубыми, — загадки и тайны; и не дивился бы я ничему из того, что я мог бы узнать о ее странной жизни; сказали бы «Сумасшедшая!», верил бы. «Посвященная!» — верил бы... «Пресвятая?» — «Быть может»... Что может преступнее быть — преступания образа человеческого в образ черных вселенных? Что «*вверх*» или «*вниз*», если «вверх» или «вниз» мы берем не в обычном масштабе? Масштабы терялися при созерцании подслеповатой мистической тетушки, вылепетывающей теософические словечки и вылепетывающей в беседе «en deux» просто Бог знает что: от ее полувнятного слова образовалися солнца; и — да: если бы вы увидели почтенных людей, уже седых, к теософии склонности никакой не имеющих, руки целующих ей, чуть не став на колени, то вы бы поверили мне: где вступали в сношение с Минцловой, там начинались законы иного созвездия: в мысли, в науке, в искусстве, в морали; границы «*безумие*», «*здравость*», «*вверх*», «*вниз*» кавардаком срывались в космос иных измерений.

В А. Р. прорезалась сквозь «*тетушкин*» лик, большинству столь понятный (не многим она открывалась: сидела в «*мешке*» совершенным инкогнито) мировая планета, ударившаяся о землю, зажатая в черный мешок, именуемый «*платье*» *Минцловой*; «*Анна Рудольфовна*» было сплошным псевдонимом; и я до сих пор развожу свои руки вопросом — чем было «*все это*»: безумием, выдумкой, бредом, прозрением, ложью, всем вместе?

Меня обвевал ветерок ее глаз, когда я приходил к Христофоровой, — слушать разглазого Эртеля; и возражать возбужденно; тогда из глубокого кресла протягивалася огромная «Минцлова» голова в желтых космах; и маленькое золотое пенсне начинало поблескивать мне из опухшей руки; и от этих сощуренных глазок в пенсне продувал тишиной ветерочек; и — раздавалася поступь шагов *Командора*; слагалося впечатление: Минцлова — «*мимикри*»; и — подымались надежды на что-то большое, на «*встречу*» с какими-то посвященными в тайны людьми; «*теософка*» и ученица Р. Штейнера — мимикри. В чем же дело?

Ходил к Христофоровой: с Минцловой встретиться; и — доузнать, досмотреть; все то — скрыл; но вокруг — прорывались какие-то экивоки, что вот, мол, пройдут — испытания; мудрые силы: спускаются; «*светлые рыцари*» — близки, в дороге; погибли бы — все; но неспроста же строили «*Арго*»; плывет — среди бурь; «*враг*» не дремлет; но — «*рыцари близки*».

Такие слова раздавались из уст Христофоровой, ставшей все чаще бывать; она видела ауры; и — чувствовала: флюиды; скептический Эллис все мне повторял:

— «Ты прислушайся: Клеопатра Петровна совсем изумительный человек»...

И слова о «*врагах*» и о «*рыцарях света*» — проникли; я стал рассуждать: ощущение гибели переживаю сильней и сильней; не иллюзия это: и Стриндберг об этом писал; и в путях православного опыта эти «*гонения*» ведомы; кроме того: вспоминалося настроение д'Альгейма, вполне убежденного в том, что зловещие «*маги*» подготовляют события мира (а мы марьонетки в руках этих «*магов*»); и Метнер — о том же гласил; и Эллис, в себе сознающий сидящего беса, во мне укреплял возникающий миф о «*врагах*»; под давлением Эллиса, Метнера, П. И. д'Альгейма, К. П. Христофоровой стал я *тоску* и *отчаянье*, крепко во мне свивших гнезда, уже относить к нападенью «*врагов*» на меня; озирался: где «*светлый отряд*», защищающий нас? Подложили Блаватскую с мифами о таинственном «*братстве*» от Гималаев, блюдущем при помощи светлых отрядов нас всех;[58] ветерочек благой объяснял

себе: Минцлову верно «*они*» инспирируют. А Клеопатра Петровна меня укрепляла:

— «Мужайтесь, вы — избраны: в ученики».

Наблюдал я за Минцловой; разузнавал я о ней; парадоксально казалось мое отношение к ней: гносеолог и логик, разбивший мечту о «*заре*», был бы должен степенно подсмеиваться, а — подите: как малый ребенок, питался какими-то все «*ветерочками*», распространяемыми пренелепою «*тетушкой*»; скоро ее подглядел я в ином; удивительные остроты она вылепетывала, обнаруживала недюжинное образование; кроме «*инкогнито*», «*штейнерианки*» я встретился с остро отточенным, смелым каким-то французским умом; голова ее шкафом казалась: откроются дверцы; и сыплются — книги, цитаты, брошюры, Дидеро и Вольтер, и Уайльд, и Руссо, и Бальмонт, и Росетти, и Ангел Силезский; пенсне золотое, так остро поблескивающее, — позитивистический юмор какого-то старомодного энциклопедиста хорошего тона; «*тон*» юмора, знания, парадоксально сплетенный с вытверживанием истин Штейнера, вполне открывал ей дома, где сообществом с ней «*старики*» дорожили, как Маслов, Танеев, и Климент Аркадьевич Тимирязев, охотно вступавший в полемику и в продолжительные беседы с ней.

А. Р. мне представилась в позе, ей свойственной: стать с пузыречком (эфира ли, эликсира ли?), нюхать его, отвернуться; другою рукою поднести быстро к носу платочек; в платочек чихнуть — легким юмором вольтерианства, как следствием быстрой понюшки эфира мистического; это «*чихание*» юмором, чисто французским, наверное нравилося: Тимирязеву, В. И. Танееву.

— «Удивительное существо», — думал я.

. . . .

В эти дни учащались заходы мои в «Дон». Я Эллиса, севши к нему на постель, выволакивал повелительно из глубокого сна; начинались — зигзаги: совсем неожиданных домыслов.

Так жить — нельзя: все полемика да полемика с петербуржцами; в чем ее «*соль*»? В том, что наши «святыни» поруганы; в чем они? И — тут — расходились; для Эллиса эти «*святыни*» таилися — в «*там*», в трансцендентном; а для меня, для С. М. Соловьева, для Блока они выявлялися в здесь, в имманентном; но Эллис, вскочив на постели, кричал на меня:

— «Нникаких! Понимаешь ли — пересечений!»

— «Здесь — падаль, charogne,[59] все — лишь в „*там*"».

Наше «*творчество жизни*», упавшее «Балаганчиком», — знаменательно: «Эллис не прав ли?»

— «И — нникаких!»

Здесь — тени свершений: долг, честь, благородство; теории «*благодати*» разрушены были — теорией долга.

Шептаться я к Эллису хаживал: прав он, — нам надо проснуться для долга и подвига; литература — забыла о долге; расстреливали бесшабашие: но — мы работали ли для морали и долга? Нет, надо ввести упражнения: воли к сознанию; обосновать орден «*рыцарей*»; Эллис, привскакивая с матрасика, схватывал — за руку; быстро моргал опухшими веками: вторил:

— «Да, да!»

Мы казалися заговорщиками, потому что мы знали: пока — не поймет нас никто: ни Петровский, ни Метнер, ни Брюсов; идея какого-то ордена крепла в «Дону». Эллис вздрагивал, быстро бросая словами: «Ты, Боря, ни слова Оттонычу, он — пока слишком в „Гекате":[60] ему — еще рано»...

В беседах касались «*Весов*»; и я видел, что в Эллисе что-то сломалося по отношению к Брюсову. Он избегал разговоров о Брюсове; я ж не просил его, понимал, что это — больнейшая рана его: разочарование в Брюсове.[61] Часто подмигивал Эллис:

— «Вот, если бы Э. К. Метнер сумел бы создать „*наше*" дело, — то мы развернулись бы, а „*Скорпион*", а „*Весы*", — еще это не наши дела»...

. . . .

К концу года я нервно измучился: я физически — слаб; П. С. Усов, осматривавший меня (знавший с детства меня и потому говоривший мне «ты»), стал корить меня:

— «Эдак ты ведь не долго протянешь! Ай, ай, уходило тебя декадентство».

И вот я — затворился, не принимая почти никого; и — нигде не бывая; мне помнится, в те унылые дни началась переписка моя (на философские, религиозные и моральные темы) с М. С. Шагинян, почти девочкой; умные, бойкие письма ее меня сильно бодрили.[62]

И вдруг я впадаю в какое-то сонное состояние; пребываю в нем несколько дней; перед праздником Рождества ради отдыха, в сонной прострации, убираю я золотой канителью стоящую елку: мне захотелось устроить себе ее, чувствую: это занятие — что-то дает;[63] и во время уборки меня осеняет слепительный образ: двух старцев, плывущих на лодке — ко мне; эти старцы — вещают глазами без слов: я прислушиваюсь к бою сердца: оно бьет мне как будто словами:

Стоим у преддверия мы небывалого переворота духовного, уж образуется ныне в Европе фаланга людей, регулирующая нравственное воз-

рождение человечества; это — *новое рыцарство*; это — начало движения, долженствующего захватить всю Европу; и — вместе с тем: это лишь отпрыск старинного рыцарства; одна ветвь его тянется к западу; ветвь же другая — покроет Россию; а во главе тех ветвей станут те, кого можно звать *Лебедями*; над ними главенствует *Тот*, кого словом назвать невозможно: Христос. Так вещали мне сердцем два белых серебряных старца; те образы поразили своею огромною силою; тотчас же побежал я в мой «*Дон*», где я Эллису рассказал то видение, бывшее мне; и оно — потрясло его; мы — перекликнулись снова: и мы обещали друг другу, что будем прислушиваться к ветерочку благому, которого веяние слышал и он.

Но чем ярче откуда-то занимался свет Духа, с тем большим упорством звучала и тема Врага в ощущениях сердца: и — чувствовалось, что Враг губит Россию; и — нас: так отчетливо тема России, воительства, вооружения светом для битвы с Врагом укрепилась к началу 909 года; не знал — «*Куликово Поле*», написанное Блоком; и в нем — те же темы: *бой светлого князя с татарскою тьмой*, угрожающей Руси: 23 декабря 1908 года Блоком написано:

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало,
Высоких и мятежных дней.
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись![64]

Стихотворение написано в дни, когда посетили меня потрясавшие образы, проговорившие громко о будущем; стихотворение Блока прочел через два только года потом;[65] и оно-то во мне бурно вызвало настоящий порыв, — написать А. А. Блоку письмо,[66] и письмо то есть третья, последняя встреча; но я и не знал, что стихи написалися именно в дни, столь чреватые будущим: 23 декабря 1908 года.

И было написано стихотворение «Божья Матерь, Утоли мои печали» — 6 июля 1908 года.[67]

. . . .

В начале 909 года я — вновь в Петербурге: на несколько дней; я приехал прочесть свою лекцию «*Настоящее и будущее русской литературы*»;[68] в ней лейтмотив «Пепла», который в те дни только вышел,[69] уже заострен в очень явную ноту: *враг водит за нос*; так лейтмотив «*Пепла*» —

Как из сырости да из марева
Горю горькому да не вырасти —[70]

— перерождается, крепнет в «*черт водит за нос*»; «*черт*» тот в моем представлении был уже не «*так сказать, черт*», а вполне настоящий, имеющий очень сложную полицейскую организацию; ощущение, что под маревом пьянства, тоски, болтовни, совершенной абстрактности русского общества, как под завесою, производится планомерная очень работа подготовления гибели всей России (за ней и Европы), — уже ощущение это держалось, не покидая меня; всюду чувствовал я стукотню проведения «*чертопровода*», подобного «*водопроводу*», соединяющего дома, города в одну общую «*чертопроводную*» сеть с великолепно устроенными кранами для проведения «*чертовщины*»; организация мыслилась мной таким образом: сеть вполне одержимых людей, бессознательных медиумов, уподобляется сети столбов телеграфных; столб вовсе не знает, какие летят телеграммы; и что он гудит; человек одержимый подобен ему; он не знает, каким преисполнен он гулом; в своих проявлениях, в слове, в поступке, в газетной статье ощущает себя он свободным; а это — не так; великолепно направлен он; сеть телеграфных столбов — уже *скрытая сила*; столбами рассматривал я массу средней интеллигенции, увлекающейся бесшабашием модернизма, читающей «*Санина*»; телеграфистами я считал представителей прессы, сознательно направляющих знаки по сотням столбов; телеграфные служащие, в свою очередь, могут не знать тот язык, на котором выстукивают телеграфные знаки; и смысл телеграмм неизвестен им; смысл телеграммы известен тому лишь, кто шлет телеграмму; она — чистый шифр; составителя телеграммы, конечно, не видел простой телеграфный чиновник; она — только прислана (может быть, даже по почте); представьте себе: посылается телеграмма, шифрованная злоумышленником: «*все готово: взрывайте*»; телеграфист принимает депешу, ее обнародывая, быть может, в газете под формой газетной статьи, где трактуется вопрос моды; но если читать через пятую

букву, то смысл обнаружится истинный; те, кому нужно прочесть, прочитают; и — на другой день: взрыв местности целой; телеграфист (т. е. частью виновник несчастия) гибнет со всеми.

В это время я чувствовал: нечто подобное происходит и с нами со всеми; какие-то проволоки проводятся: ты вот со всеми своими стремлениями строишь в том месте, где ток пробегает: построишь; и — трах: все разрушено. Чувствовал я, что «*враги*» обстают нашу жизнь; и «*враги*» эти скрыты; мы — боремся, спорим друг с другом, разбившись на ряд направлений («Москва», «Петербург», «Кантианство», «религия», «мистика»); и думаем, что мы проводим идеи свои; мы — бессильные, жалкие лишь марионетки в руках одной силы; и сила та — вражья; вопрос подымался: «Кто враг?» *Как бороться с врагом?* И я думал, что первый шаг есть осознание нашего положения марионеток; второй шаг — «союз осознавших» и третий лишь шаг — как же в жизнь проводить свет и правду действительно, чтобы не быть в дураках. В досаде раз высказал Эллису:

— «Я хочу проводить идеалы мои совершенно действительно; в нынешнем положении марионетки я не могу гарантировать, что мои действия — осуществления правды в действительности — не ослиные уши, всем ходом вещей мной рисуемые, ибо я, может быть, — карандаш в чужих пальцах»...

Что мы бессознательные карандаши, — было ясно: меня ужасала огромная безответственность, потрясающее легкомыслие целой фаланги новейших писателей, вдруг появившихся без багажа, без отчетливого представленья пути; «*символисты*» — те знали, за что они борются; нынешние — не знают; усвоивши с легкостью внешний прием модернизма, они превратили его в стиль веселья и легкости; встретившись как-то с О. Дымовым в «Метрополе», я выслушал снисходительное признание Дымова:

— «Бедные вы, символисты: вы в поте лица пробивали пути — не себе, а нам, легким, веселым; для нас вы очистили вкус, провели нам дорогу в сердца русской публики, легши костьми на пути, — ну кто вас читает; вас, тружеников, лишь ругают; мы взяли у вас достижения ваши, их применили к потребностям; и — обогнали вас; вы — страстотерпцы; мы — дети, веселые, легкие, лучезарные»......

Эти слова беллетриста, в то время весьма популярного, очень запали мне, как показатель невиннейшей безответственности, при которой писатель отчетливо превращает себя в карандаш; психологией медиума пахнуло так явственно; и я подумал: О. Дымов не ведает вовсе, что мне он гудит; гудит — столб телеграфный, через который помчались какие-то знаки: «чертопровод» — уже действует.

Действия «*чертопровода*» уже отзывались на мне; с того мига, как я осознал, что всеобщая ложь, разгильдяйство, — гипноз, насылаемый силой «*врагов*», с того мига, казалось мне, — узнан «*врагами*»; и загудели — «*столбы*», рецензенты газетные, посылая мне стрелы разряда, источник которого был им неведом; ряд лиц, одержимых «*чертовством*», в моем восприятии стал транспарантен; сквозь всех я увидел лишь *нескольких*: взгляд я увидел: дурной, ненавидящий; все посылали мне странный оскал; сквозь ряд глаз я увидел глаза — *те же самые*; раз я в «*Кружке*» легкомысленно выкрикнул, что огромная часть нашей прессы подкуплена (вовсе не в денежном смысле, а в смысле идейного порабощения), что долг молодежи освободить нас, писателей, от идейных арестов, которые нам угрожают; сказал это жарко: сопровождалася речь продолжительными аплодисментами; рукоплескала эстрада, наполненная представителями газет; но потом уж за столиком опытный, честный идейный газетчик с печальной улыбкой сказал мне:

— «Вы думаете, что простят вам? Запомните: вам за ваши слова будут мстить...»

С той поры выступления мои — инциденты; моя лекция — повод к ушату помой; стало ясно: меня провоцируют, пользуясь темпераментом; слово мое о «*продажности*» прессы совпало с тяжелыми неприятностями, мне подстраиваемыми; и я травлю воспринял как казнь; телеграфисты (газетчики) — получили депеши; застукали аппаратами: «*знаки*» статей, с им неведомым шифром, вдруг стали несносны; и Тэффи за «*Пепел*» ругала «слюнтяем» меня,[71] издевался Измайлов;[72] в «Образовании» Абрамович писал: «*Пепел*» книга бездарнейшая из бездарнейших;[73] и «*столбы*» загудели: действительность литературная скалилась на меня — *настоящим скандалом*, и мне стало жутко — не тона статей, а того, что за мною следит та «*полиция*» мира, которая подготовляет нам гибель.

Заболевание в конце года есть следствие чувства: мистической слежки.

Приехавши к Мережковским, не мог передать им моих еще новых узнаний и чувств; видел: сами они одержимы; смотрел на Д. С.; и вставало: большой человек — теми крыльями, на которых летает; а крылья — подвешены; выкрикивает громким голосом часто огромные вещи, которых действительный смысл ему вовсе не ведом; в последний приезд Мережковских в Москву наблюдал я, как он, одержимый словами, которые кто-то через него выдувает, словами не собственными, поднимает вокруг себя бури и хаосы; и хотелося крикнуть:

О, страшных песен сих не пой,
Под ними хаос шевелится.[74]

Но он: не расслышал бы!

С такими чувствами встретился я с Мережковскими; в этот вечер должен был читать в зале Тенишевского Училища; З. Н. Гиппиус ехала вместе со мною на лекцию; был же я болен (простуда и нервы); лишь только мы с ней очутилися в лекторской, как отворяется дверь: к моему изумлению увидел я шапочку меховую: в дверях; и стуча очень громко калошами, с видом Тирезия-прорицателя, в шубе длиннейшей, напоминающей шубу священника, бросился, сожимая перед собою дрожащие руки свои, В. Иванов, с которым мы были в полемике; я удивился явленью его (мы ж — враги?);[75] протянувшись сутуло ко мне, стал он быстро клевать своим носом, поблескивая пенснейными стеклами с лентой, кокетливо отвитою за ухо:

— «Я только прочел твой действительно замечательный „Пепел"... Ты знаешь ли, — это событие! Там же затронуты темы России, я должен с тобой говорить: и — сегодня...»[76]

З. Н. (я увидел, что ей неприятно явление Иванова) стала меня тут усиленно дергать:

— «Нет, нет, я же болен: я не могу...»

— «Но тебе все равно же придется поехать домой: переночуй у меня... За вещами твоими пришлю я... Сегодняшний разговор с тобой — важен: так решено — я везу тебя...»

И Иванов в рассеянности не приметил: желание перетащить мои вещи к себе, им высказанное в присутствии гостеприимно меня приютившей З. Н., есть бестактность; но вместе с тем я, поглядев на Иванова, понял: он что-то имеет сказать; я глядел на бородку его, точно вымытую едкой перекисью водорода, и на просвеченный перламутроворозовый лик, удивляяся отпечатку духовности.

Гиппиус, увидав колебанье во мне, прошептала:

— «Послушайте, если поедете вы к Иванову, я не прощу никогда»...

З. Н. очень обиделась на действительно нетактичное предложение: перевезти мои вещи на «*Башню*».

Раздался звонок: выходил я читать; я заметил средь слушателей: Дягилева, Ремизова, Толстого, с которым недавно впервые в «Эстетике» встретились мы, Сологуба; и много других литераторов.

После почти что вбегает Иванов ко мне, настоятельно просит, чтоб — ехал; почувствовал: ехать с ним надо, хотя бы З. Н. разобиделась; едем; везет меня, нос свой уткнувши в меха; и я думаю:

— «Поразительно напоминает он „*батюшку*": что он молчит? Точно что-то таит... В чем же дело?»

Приехали: подымаемся кверху, высоко, высоко, — на «Башню»; звонимся; вот — дверь распахнулась; в распахнутой двери квартиры Иванова — не оказалося вовсе; какая-то оказалася брешь, образованная в трехмерном пространстве и выводящая в «*энное*» измеренье, откуда катился — представьте — на нас ком тяжелого тела, увенчанный «*Минцловой*» головой; точно, Анна Рудольфовна здесь нас ждала (я не знал, что она — в Петербурге: недавно еще я в Москве ее видел); стояла, слегка разведя свои руки, как жрец над поставленной чашей, помахивая платочком, который был в левой руке, и блистая пенснейным стеклом, оказавшимся в правой руке, свою голову с желтыми космами быстро откинув, смеяся так дружески, молодо, пригласительно, будто она понимала мое удивление при виде ее, будто она и была обитательницей ивановской «*Башни*», которая вся псевдоним А. Р. Минцловой (вовсе не знал: после смерти супруги поэта А. Р. оказала убитому горем поддержку; поставила на ноги В. И. Иванова; стала влиять благодетельно, так что давно уже был он под идейным влияньем ее;[77] стала в ивановском доме своею, входила в заботы семейные с М. М. Замятиной, жившей на «*Башне*» и управляющейся с домашним хозяйством); В. И. — засмеялся:

— «Что, ты удивлен?»

— «Хорошо, что пришли, — улыбалася Минцлова; и — засмеялася подслеповатыми глазками из-под пенсне. — Я ждала вас»...

— «Вот видишь, Борис, — потирал свои руки Иванов, — я знал, когда звал, что нам надо втроем провести эту ночь...»

Тут шутливо и весело принялась вылепетывать Минцлова что-то, катясь в кабинетик Иванова, спотыкаяся и приставляя к глазенкам пенсне; В. Иванов, взяв под руку и преткнувшися о портьеру, все ту же, коричневатую и казавшуюся постоянно мне пыльной, толкнул под портьеру меня, останавливаясь на пороге и бросивши нос — в недра «*Башни*»:

— «Нам, Марья Михайловна, чаю бы...»

Видел: просунулась голова симпатичнейшей Марьи Михайловны с некоторым выраженьем растерянности по отношению к Минцловой, у которой совсем здесь исчез налет «*теткинства*» (с ним отсиживала «*христофоровские*» собрания), сменяясь шутливою миною улыбнувшихся губ, вылепетывающих остроумные французские «mots»;* но и «*mots*» были только инкогнито: «*мешок*» Минцловой.

М. М. скоро внесла нам поднос с крепким чаем; А. Р. села в кресло, откинувши голову, и уронила на ручки обрубочки рук; золотое пенс-

* Словечки (*фр.*).

не, спавши с глаз, трепыхалось на толстом ее животе; а глаза разорвались; и два колеса завращались, разинутые на рисунок утонченного Пиранези: гравюра висела на краснооранжевом фоне стены; эти линии Пиранези, витое какое-то италианское кресло, в нем — Минцлова, воспринимались мною на краснооранжевом фоне; Иванов в застегнутом наглухо черном своем сюртуке, распушившийся перекисноводородной растительностью, зашагал совершенно беззвучно меж нами; и голосом очень значительным стал выговаривать мне, что затронул я в «*Пепле*» огромную тему:

— «Ты знаешь, иль нет?»

Посмотрел с удивлением:

— «Что знаю я?»

— «Да ведь образы „*Пепла*" — действительность, страшная: все это — так... Твой же „*Пепел*" рисует картину систематического отравленья России, гипнотизируемой наваждением; „*Пепел*" — правдивое перечисление мороков, под которыми Враг к нам подходит...»

Я — вздрогнул, взглянув на него: как он мог поднять тему мою, о которой шептались мы с Эллисом в «*Доне*» (тогда упустил: ведь мы с Эллисом говорили не раз с Христофоровой, с другом Минцловой: Минцлова же, вероятно, Иванову передала разговоры)?

Пошел и пошел: есть «*враги*», совершенно реальные; и посматривая на меня и на Минцлову, остановился, с таинственным видом, вышептывая:

— «Ну — скажи?»

— «?»

— «Кто же „*Враг*"?»

— «А есть *Враг*?»

— «Да, конечно: ужасный; об этом нельзя говорить уже вслух; лишь об этом мы можем шептаться: ну, ну, — кто же Враг?»

А. Р. Минцлова строго молчала: лишь два колеса ее глаз останавливались на гравюре, но с видом таким, что мне стало отчетливо: тема Иванова — ею навеяна; он же, опять заходив, продолжал, что мое ощущение *гибели и преследований*, о котором он знает, да это и видно по «*Пеплу*», — вполне подтверждаются фактом оккультных исследований (он взглянул тут на Минцлову; и было ясно, что эти исследования производит она); есть «*враги*», отравляющие Россию флюидами и деморализующие главным образом тех, кто бы мог дать отпор; и враги те — восточные оккультисты (тут смутные подымались намеки на страшных татар-демонистов, под видом торговцев, живущих в Москве и образующих какую-то секту, зависящую, в свою очередь, от магических дейст-

вий китайских монголов): опасность с Востока — ужасна; никто и представить не может, чем это окончится все, когда «*дикие страсти под игом ущербной луны*»[78] поразвяжутся в нас под гипнозом, под действием страшного тока астрального, проводимого всюду под нами психическим кабелем: кабель — с Востока; пора осознать этот ужас удельным князьям европейской культуры в России: Иванову, мне, А. А. Блоку, Бердяеву; распри должны мы забыть, протянуть свои руки друг другу — для братства, которого назначение — стать проводом Духа и Истины; и отсюда-то силы могучие — вспыхнут; без оккультистических светов, — нам всем предстоит только гибель: на нас направляются стрелы; мой «*Пепел*» же — брошенный знак: «*Имеющий очи, — пусть видит*».

Так разглагольствовал В. Иванов, остановившися передо мною и Минцловой (мы сидели с ней рядом — в двух креслах).

— «Послушайте, Белый, — ко мне обратилась она, — вы же — подлинный, светлый: и помните, перед игом татарским князья только ссорились; и оттого-то погибли начатки древнейшей культуры; и все погрузилось во тьму — на столетия; то же может случиться теперь. Нужно спешно „*князьям*" подать руки, а то — будет поздно»...

Трясла она руку; живот колыхался ее; а колеса разорванных глаз просияли так солнечно; и пленительная улыбка прошлась; и мне стало казаться, что ком головы ее, быстро расплавившись, станет вдруг солнцем, а желтые космы волос — разлетятся лучами, образовавши — сторучие; солнце начнет подыматься над «*черным мешком*», озаряя всю комнату плавящим светом; тепло охватило меня, точно хлынули светы — от солнца.

Она же вылепетывала:

— «Руки, руки мои вы почувствуйте».

И руками своими зажала мне руку:

— «Вы — слышите?»

— «Что?»

— «Как струится от рук моих»...

Да, мне казалось, что — слышу.

Вскочил: стал расхаживать; все, что я слышал, казалося сном:

— «Неужели же все это правда?»

Иванов остановился передо мною:

— «Ужасная правда, Борис: ты молчи... Говорить это вслух — навлекать на себя „*их*" удары: должны мы таиться...»

— «Действительно, — тут вмешалася Минцлова, — если бы знали, какие ужасные вещи теперь происходят под внешностью обыкновенной: живем в атмосфере оккультных убийств и застенков...»

Слова Вячеслава Иванова и комментарии Минцловой перекликалися с мыслями Владимира Соловьева о «панмонголизме»;[79] и соответствовали пережитому видению старцев, вещающих о *новом* ордене; с того вечера начинается быстрое сближенье с Ивановым; соединяющее звено между нами — А. Р., появляющаяся часто в Москве (от Иванова).

Происшедший обмен разговоров весьма характерен для этого времени; в мраке реакции у меня, у Иванова, Эллиса подымается стремление к теософии; и — потребность в духовной работе, вооружающей от губящих родину сил; мы, культурные силы России, для тайных врагов — на виду; в нас пускают оккультные стрелы из темного мира, сознательно разлагающего Россию; замечу, что воздух таких разговоров охватывал часть и московского, и петербургского общества; приподымалася тема: «*Восток или Запад*»; Блок кончил свое изумительное «*Куликово Поле*», которого ни Иванов, ни Минцлова, ни особенно я — еще знать не могли; в «*Куликовом Поле*» — все та же: губящая сила востока (татар), тема светлого *князя* и «*стяга*»; призывы к молитвенному вооружению:

Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал: Молись!

Я, Иванов и Минцлова проговорили всю ночь и весь день; проговорили день следующий;[80] В. И. Иванов послал к Мережковским за оставленными моими вещами; З. Н. — разобиделась, не простив мне «*измены*» (сбежал к Вячеславу Иванову); а мне Мережковские виделись обуянными злыми стихиями; я написал из Москвы откровенно об этом Д. С. Мережковскому;[81] он на письмо — не ответил; так без «*прей*» совершенно естественно мы разошлись; с той поры останавливаюсь в Петербурге у В. И. Иванова.

Скоро в Москве появляется он;[82] и — по-новому: с чувством, что мы союзники и что полемику пора ликвидировать братьям по духу, ту мысль укрепляет во мне и в Иванове — Минцлова (снова в Москве она); снова встречаемся мы — у Бердяева, у Христофоровой, расположенной очень к Иванову; он появляется у нее в первый раз; он старается ближе увидеть: Петровского, Киселева, Рачинского; привкусы разговоров — всё те же: Россия, «*враги*», союз рыцарей; чаще в Москве поднимаются эти слова; даже мама однажды ко мне обратилась:

— «Ты знаешь, что чудится мне?»

— «Что?»

— «Будто какие-то рыцари близятся: странная атмосфера!»

Рачинский стремительно загудел мне однажды:

— «Да, вот розенкрейцеры знают, — паф-паф — то и это...»

Взглянув, я подумал:

— «Откуда такие слова? И откуда взывание у председателя православного религиозного общества к ордену... к „*ереси*"?»

И лейтмотив ожидания снова звучал: мне и Эллису (с ним говорил до конца я на тему о рыцарях); Эллис, покручивая свои усики, мне однажды сказал:

— «Знаешь, Боря, нам следует очень сериозно подумать о том, чтобы некоторые из нас, осознавшие необходимость работать, образовали б союз, что ли, — орден».

И — да: тема братства опять поднималася с 909 года под формою «*ордена*», как подымалася в 1903 году она под формой мистерии; «*аргонавтизм*», изменивши обличие, — креп; у Эллиса вырывалися ноты досады:

— «Нет, нет: этой линии не проведешь в „*Скорпионе*"; они, „*скорпионы*", — чужие... Ах, если бы Метнер сумел достать средства для *нашего* дела: издательства или журнала!»

Раз встретились с Минцловой мы у К. П. Христофоровой; Минцлова много рассказывала о Штейнере — с теплой любовью; я Штейнера прежде читал; он казался весьма примитивным, прескучным; я знал, что А. Р. ученица его; но все то, что она говорила о личности Штейнера, мне совершенно меняло составленное представление; приходилося думать, что Штейнер, действительно, личность единственная, что писания — его не рисуют, что лекции, которые он читает для тесного круга друзей, — исключительны; помнится: очень меня поразило ее сообщенье о Штейнере, будто бы где-то, в Норвегии, высказал он, что с начала столетия переменилися «*зори*»;[83] я — вздрогнул при этом: ведь наши безумия 900—901 годов мне связалися с восприятием зорь, засветивших иными, духовными смыслами; если Штейнер указывает на такие конкретные факты сознанья *немногих*, то — он что-то знает, чего мы — не знаем; но должен сказать: А. Р. Минцлова не называла себя ученицею Штейнера; чувствовалось: это — прошлое, ей пережитое; наши протесты с Ивановым против решительного рационализма, вносимого в мистику Штейнером, — соразделяла она; и глумилась над «*тетками*», — так называли тогда фанатических штейнерианок; не раз говорила впоследствии мне:

— «Белый, вы обещайте мне, — но действительно обещайте, что вы никогда не отправитесь к Штейнеру; помните — вас не поймут там; вы — вовсе иной; весь ваш путь — совершенно единственный».

Эти слова — твердо врезались; и рассматривал Штейнера, как явленье большое, но обреченное ходом событий на гибель.

Раз был разговор между мною, Ивановым, Минцловой у Христофоровой — накануне ивановского реферата в «*Кружке*».[84] И мне Минцлова говорила:

— «На днях уезжаю в Германию; буду у Штейнера; буду я также в местах, где меня ожидают: под Нюренбергом; да, знаю я: многое очень зависит от встречи одной, в Нюренберге... Весной — я вернусь: и запомните, Белый, — весною увидимся: будет меж нами значительный, памятный разговор».

Наша встреча была в понедельник; во вторник Иванов читал реферат свой в «*Кружке*», а о чем — позабыл; этот вторник мне врезался; был для меня переломным он пунктом; сорвался в Кружке я; был ряд оппонентов, Иванову возмутительно возражавших. Бердяев, сидевший со мною на эстраде, — бесился; подпрыгивали его руки ко рту; и дрожали нервические пальцы-горошки; падала черная, очень кудлатая голова — на горошки, на пальцы; и — выборматывал:

— «Черт знает что... ну и люди же в „*Кружке*", я на месте бы Вячеслава Иванова просто ушел».

Имел глупость я выступить: и — очень резко; но, Боже, — что вызвал я; ряд оппонентов (газетчиков), крайне обиженных тоном моим, — принялся издеваться; я — сдерживался, снисходительно улыбаясь; Бердяев, М. О. Гершензон, где-то близко сидящий, — разгневанно взоры бросали в «*кружковскую*» публику; вдруг истеричный писатель, взяв слово, бросается громко выкрикивать лжи, обращаясь ко мне; понимаю: сидеть — неприлично; инсинуация — должна быть оборвана; председатель беседы, С. А. Соколов, позволяет оратору безответственно осыпать клеветой меня (Соколов — растерялся); кровь бросилась в голову; вскакиваю, прерывая оратора; и — бросаю, совсем неожиданно для себя:

— «Вы — откровеннейший лжец; вы — подлец; если тотчас же не возьмете обратно вы слов своих, я оскорбляю вас действием...»[85]

Двинулся, бросивши стул, я к несчастному оппоненту, но — кто-то схватил меня сзади под крики вскочивших газетчиков, публицистов:

— «Эй, — занавес! занавес!»

Я — оборачиваюсь; и — вижу: Бердяев — меня крепко держит, подергиваясь лицом: от волнения; публика, быстро вскочив с своих мест, распадается вдруг на «*врагов*» и «*друзей*»; поднимаются в воздухе стулья; тут — падает занавес; и — отделяет растущее безобразие зала от хаоса, водворяющегося на сцене, с которой гласил оппонент мой (где все мы сидели); и смутно я помню: какой-то газетчик несет мне воды (говорили: я так побледнел, что боялися: упаду — вот-вот —

в обморок); вижу сквозь сон, как обидчика моего окружают, доказывая, как Иванов взволнованно силится высказать что-то его обступившим; я — в трансе: выводят меня; сознаю себя близко от лестницы, кем-то ведомым сквозь крики толпы, проклинающей громко меня; бессознательно мне отдается: «А кто же ведет меня?» Быстро обертываюсь; и — вижу: ведет меня — Минцлова; как очутилась в «*Кружке*», я — не знаю; ко мне повернула глаза свои, подслеповатые, очень огромные; чувствую, что в катастрофе, со мною случившейся, — я не один; показалося: взявши за руку, — строго выводит: из разлагающейся литературщины — на пути посвящения:

— «Вынесите, мужайтеся, — весною мы встретимся», — вылепетывала мне она.

Тут меня кто-то дергает за руку; я — оборачиваюсь: очень маленький, очень взволнованно кипятящийся, точно кофейник, закупоренный кофейною гущей, — М. О. Гершензон; он — поплевывает разволнованно в ухо:

— «Постойте, Борис Николаевич, — слушайте: произошло хулиганство; втравили в скандал вас; но — вы, потеряв представленье о месте, где мы, совершенно случайно обидели „*подлецом*" человека; не защищаю его; но я думаю только о вас; вы должны извиниться: „подлец" — не причем; это — крик; ну, пойдемте, — скорей извинитесь за слово „*подлец*"; и вы — будете правы во всем; в общем то, что случилося, — безобразие, травля!»

Поплевывая кипящими, точно кофе, словами, М. О. Гершензон, оторвавши от Минцловой, — тащит обратно: в гул, в крики; влечет к литератору:

— «Ну же — возьмите обратно вы слово „*подлец*"!..»

Подхожу к оскорбленному: извиняюсь:

— «Простите меня: это слово „*подлец*" сорвалося случайно... Беру назад слово; но в остальном во всем прав...»

И как будто сквозь сон слышу я:

— «Вам бы, миленький, следовало заранее обсудить выражения ваши...»

Кругом рев толпы; смутно помнится: нововременец, Анатолий Бурнакин,[86] стоял надо мной, воздев свои руки, крича, что над нами висит уже возмездие... Но Гершензон вывлекает меня из толпы со словами:

— «Вы сделали то, что должны были сделать: вы взяли обратно ненужное слово... А в прочем — вы правы...»

Сдает он кому-то меня, может быть, — Н. Н. Русову; кто-то везет меня до дому; я — как во сне: не сняв шубы, сижу в своей комнате;

быстрый звонок; и — влетает Иванов, в енотовой шубе, напоминая священника:

— «Ты — успокойся: все это — уляжется»...

Долго сидит он со мною, не сняв своей шубы:

— «Ну что, — успокоился?»

— «Ну, прощай...»

Уезжает.

И — слышу стук в дверь; это — мама:

— «Скажи, что случилось?»

Рассказываю: с мамой не спали всю ночь.

А на другой день — сочувствия: Эллис, Рачинский, Петровский; газеты, доселе меня осыпавшие бранью, — молчат о случившемся; лишь Яблоновский из «*Русского Слова*» подмигивает: ну и было ж в «Кружке»: будем лучше молчать; мне потом говорили, что состоялося заседанье Дирекции, обсуждавшей «скандал»; говорили, что часть учредителей этих бесед очень горько пеняла газетчикам, их обвиняя в подуськивании «декадентов» совсем невозможными выходками; так общественное мнение вдруг повернулось ко мне: оправдывали мой поступок тем именно, что бессмысленные придирки вогнали в истерику; скоро увидел М. О. Гершензона; и он мне сказал:

— «Что ж, — вы правы: вы взяли обратно безумное слово; а в прочем вели себя вы превосходно: вы были, я должен сказать, очень, очень эффектны во время скандала...»

И у Морозовой, встретивши С. Иванцова, директора «*Литературно-Художественного Кружка*», — я услышал:

— «Зачем это ходите вы на беседы кружковские; бросьте их!»...

Так желание меня обозвать скандалистом не удалося; с тех пор никогда уже не был на этих беседах Кружка: получал приглашенья: не шел.

Вот приходит Петровский:

— «Что, Боря, — устал: брось ты эти „*Кружки*"; отдохнуть тебе надо». Я в месяцы эти как будто бы чувствовал явный запрет говорить с Алексеем Сергеевичем на насущные темы: о братстве, о Минцловой; все казалось, что он, меня выслушав, нос завернет; и — зевнет:

— «Ну, это, знаешь ли»...

Он, точно чувствуя что-то, сидел, сняв пенсне, протирая его и безвекими, добрыми, карими удивительными глазами подсказывал:

— «Чувствую, что — совершается что-то, что нужно опять подойти нам друг к другу. Ты, вижу, со мною молчишь: ну — молчи; только знай, что — я с „*вами*"».

Но он ничего не сказал; только стал уговаривать:

— «Боря, ты — очень устал: тебе нужен покой; хочешь, — вместе поедем в Бобровку, в именье Рачинской, уж я гостил там; там — претихо; Анна же Алексеевна ведь почти не живет у себя: разъезжает по родственникам; дом же пустой; превосходная библиотека, великолепный камин; кругом — сосны...»

Рачинские тоже позвали:

— «Едемте к нам; будет вам превосходно; смотрите, — устали вы... Было бы радостно вместе всем встретить нам масленицу в деревне».

И вот: мы — поехали с ним; неподалеку от Ржева тишала Бобровка — великолепнейшим домом, лесами; там же встретился с приехавшими Г. А. и Т. А. Рачинскими; с ними, с Петровским и с А. А. Рачинской проводим неделю; и здесь принимаюсь за «*Голубя*» я;[87] очень быстро написывается первая глава «Голубя». Г. А. и Т. А. Рачинские вместе с Петровским уехали уж на первой неделе поста;[88] я остался с сестрой Рачинского, Анною Алексеевной, дома не жившей, а разъезжавшей по родственникам; приютился в большом барском доме, старинном, со множеством комнат, увешанных круглыми и облупленными портретами предков, с тенистыми переходами; и — с превосходною библиотекой, принадлежащей Г. А.; проживал здесь неделями я совершенно один: мне прислуживал старый немой и глухой истопник: он беззвучно являлся с обедом и с ужином; молча затапливал белый огромный камин; объяснялись мы знаками; изредка лишь заезжала Рачинская; и — уезжала опять; я работал стремительно, лихорадочно, собирая огромные материалы по ритму;[89] по вечерам же читал — по преимуществу книги, затрагивающие проблемы таинственных знаний: алхимии, каббалы, астрологии; и — составлял гороскоп свой.

Усадьбу сурово и воюще обступали леса; вечерами, надев предлиннейшие лыжи, скользил я по твердому насту — в поля, а сосновые дали — чернели верхушками; очень большая тоска — поднималась; и с ней поднимался вопрос: «*Мне погибнуть, иль — жить?*» Нападал все на книжки, в которых изложены были оккультные действия; и под влиянием книг я замыслил диковинный эксперимент: перевернуть силой воли судьбу, разбить «*Урну*», из *пепла* воскреснуть для жизни; и — вот: я пишу ритуальное стихотворение, завершающее сборник «*Урну*»:

Да надо мною рассеет бури
Тысячелетий глубина —
В тебе подвластный день, Луна,
В тебе подвластный час, Меркурий.[90]

Стихотворение это написано мной в понедельник, в день лунный, в час точный Меркурия (т. е. от 8 до 9 часов вечера); солнечный гений из *Урны*, в которую собран «*пепел*» мой, — *не пепел прольет: луч прольет.*[91]

Очень странно: Бобровка явилася водоразделом периодов жизни: один (от 1901 года) — обнимал 7 годин; а другой протянулся: от 1909-го до 1916-го. Эти два семилетия разно окрашены; в тихой Бобровке отметился день водораздела житейского; даже — час: день и час написания стихотворения. Ряд стихов, прежде написанных, — мрачно окрашен.

Стихотворение предыдущее — тьма:

Меня влекут слепые силы
В покой отрадный хладных стран; —
И различаю сквозь туман
Я закоцитный берег милый.[92]

Стихотворение это написано мной в феврале 1909 года; стихотворение магическое (к «Пи-Рею») написано в первых числах слезливого марта; а следующее по времени написано мною в апреле; оно открывает ряд светлых стихов:

Как тучи, невзгоды
Проплыли.
Над чащей
И чище и слаще
Тяжелый, сверкающий воздух;
И — отдыхи.[93]

В это время С. А. Соколов присылает в Бобровку пучок корректур моей «*Урны*»; пишу предисловие к ней; там — слова: «*Что такое лазурь и что такое золото? На это ответят розенкрейцеры*». Далее: в «*Урне*» собираю свой собственный пепел, чтобы света живому «*я*» не заслонял; мое мертвое «*я*» заключаю я в «*Урну*»; другое, живое во мне пробуждается к *истине*.

Чувствую я *зарю новых дней*: «*Где-то уж брезжит заря примиренности*: „*Голос безмолвия*"» (Предисловие к «*Урне*»).[94] Эпоха от 1901 года до 1909 года — путь: от твердынь пессимизма к проблемам Владимира Соловьева; и — к символизму; заканчивается эпоха попыткою обоснования символизма. Эпоха же от 1909 года до 1916 — путь: от символизма как метода изображения переживания в образе к четкой

символике духовного знания; это — путь трезвого самопознания. Первая эпоха — эпоха «*Симфоний*»; вторая — «*романов*»; — в первое семилетие связан я действенно со «*Скорпионом*» и с «*Грифом*»; второе же — с «*Мусагетом*», с «*Духовным Знанием*»; первое семилетие — я в России; второе — окрашено странствиями; семилетие первое протекает мне в круге друзей; а второе — путь с Асей, тогда подымающейся на моем горизонте; все первое семилетие тянется — дружба моя с Мережковскими; а второе окрашено встречами с В. И. Ивановым; на все детали событий житейских эпохи бросают по-разному вовсе лучи. Жизнь же в Бобровке же есть — переход, Рубикон.

ОПЯТЬ МИНЦЛОВА

Из Бобровки через Москву еду в Киев, приняв приглашение участвовать в благотворительном вечере;[95] Киев почти не оставил следа; было пресно и бледно; запомнилась встреча лишь с Виленским, так ужасавшимся делом Азефа;[96] бродили по Киеву мы; он же мне говорил:

— «Так все страшно... Не знаешь, где сон и где явь... Обыденные факты российской действительности перерастают фантазию»...

Думал:

— «Вот ведь, — меньшевик, очень трезвый, а — как говорит!»

Повстречалися с Валентиновым (Вольским), с которым работали некогда в меньшевистской газете;[97] теперь очутилися Валентинов и Виленский в «*Киевской Мысли*», меня затащивши, — сотрудничать (что-то писал лишь до осени).

В первые дни по приезде в Москву натолкнулся на Асю Тургеневу, вернувшуюся из Брюсселя; встретились на выставке; подивился: какая-то девочка, с серопепельными кудрями, с глазами, глядящими в душу, с улыбкой ребенка, — казалась знакомой, как будто мы встретились после разлуки: и — веяло вновь андерсеновской сказкой от тоненькой, бледненькой барышни в стиле Бёрн-Джонса; стояли под чьей-то мазней; объясняла мне линии; думалось — «как с ней уютно: как все понимает... В молоденькой девочке — мудрое что-то».

И встретились снова у Метнеров (Ася, Наташа Тургеневы проживали в том доме, где — Метнеры).

Вновь показалось:

— «Она ведь и есть та заря, о которой писал в предисловии к „*Урне*"».

Заря темы «*рыцарей*»: «Королевна» тех «*рыцарей*»;[98] и написались стихи в новом стиле; почувствовал: «*Пепел*» и «*Урна*» — прошли: гений, взявши мой пепел, —

Не пепел изольет, а луч
Из бездны времени лазурной.[99]

Писал:

В сладкие чащи
Несутся зеленые воды.
И песня знакомого гнома
Несется вечерним приветом:
«Вернулись ко мне мои дети
Под розовый куст розмарина...»[100]

Не Ася, а — розовый куст розмарина; она, обвисающими кудрями, пришла из зари: — «Понимаю: всё-всё — всё-всё-всё!»

Писал «Голубь»; в Кате, невесте Дарьяльского, — отразилася Ася (по-внешнему).

Раз затрещал телефон; и голос:

— «Вы согласитесь позировать для гравюры? Придется бывать у д'Альгеймов: там буду я вас рисовать...»

Голос — Аси; мне — радостно; можно встречаться теперь каждый день; но на первый сеанс не пришел (простудился); сидел за работой — больной.

И — звонок: Ася с А. С. Петровским:

— «Вот, Боря, — смеялся Петровский, — привел к тебе Асю: изволь-ка позировать...»

Ася, сев в кресло, как кошка, клубочком свилась, развивая уют; и я позабыл, что позирую: то — начинал я строчить, то, отваливаясь, заводил разговоры, достал для чего-то портрет (подарила его Христофорова): Штейнера.

— «Ну — посмотрите, скажите: вам — нравится?»

Ася же свесила локоны:

— «Очень».

— «А верите вы выраженью лица?»

— «Очень верю: кто это?»

— «Да Штейнер»...

— «Не слышала: кто он?»

— «Известнейший теософ»...

— «Ну, зачем, — улыбнулся Петровский, — ей все так далеко: совсем не волнует...»

— «А почему вы так думаете?» — выпустила прелукаво дымочек из локонов.

Странно: весь будущий путь с ней — искание Штейнера, путь с ним; в то время мне Штейнер далек был; для Аси — совсем неизвестен.

Но в первый значительный разговор — он вступил.

После — каждое утро спешил я в «*Дом Песни*», в знакомую комнату; и — в сине-серое кресло; потряхивая пышнейшими локонами, Ася встречала меня; я позировал;[101] и разговоры — окрепли, связали нас тесною дружбою, переходящей в сближение; с добрым уютом являлся д'Альгейм, прерывая сеанс; он садился в глубокое кресло: подсиживал:

— «Brussoff... Que fait-il?»*

Сидел сочетанием серого барса с медведем, с седеющей серой бородкою, с серым лицом, вдохновенно болевшим, сутуловатый и кряжистый, напоминал постаревшего и подобревшего Мефистофеля: над табачком «Капораль», а Оленина то голубою, то белой, то черною птицею тут же носилась; катила миры своих глаз; и бывали Петровский, Наташа и Поццо, который везде искал встречи с Наташею.

Образовались две пары; я — с Асей; с Наташею — Поццо; меж нами — Петровский; «*пятерку*» прозвали П. И. и М. А. — «*молодежь*»; молодежь эту силился П. И. воспитывать, яро вышипывая свою пену исчисленных парадоксов, почти гениальных; но мы, «*молодежь*», тяготились опекой его, исчезая из дома д'Альгеймов и собираяся у Наташи, где сиживали впятером, на коврах, и где были однажды накрыты М. А., невзначай заглянувшей к Наташе; накрыв нас (вменялось встречаться с Тургеневыми в «*Доме Песни*»), М. А. Оленина смерила «*пары*» своим полугневным-полусатирическим взглядом, блеснула «*мирами*» глазными: и вздернувши нос, кратко бросила:

— «Вот ведь»...

— «Сидят!»

— «Дураки»...

И ушла.

— «Что, попались?» — смеялись мы...

— «Уж и влетит теперь нам, — улыбнулись Тургеневы, — да — ничего: обойдется»...

---

* Брюсов... Что поделывает? (*фр.*)

— «Такие уж», — с доброй улыбкой Петровский отметил; и нас обласкал своим взглядом — безвеким и карим.

Весна: мы ходили гулять вместе с Асей; потягивало — к Храму Спасителя, где качалися красные жерди, где каждовесенний старик, прогулянин, похаживал; барышни шляпкой летели под небо — на крыльях, на птичьих; уже щебетали распукалки-почки — веселым чириком; деревья дымилися в кипятке атмосфер; зеленою песенкой чижика вычирикивали глазенки прохожей арсеньевской гимназисточки;[102] вечером — пели зажженные окна; весна беспрепятственно отправляла весенние радости; и — я отдался весне, не как в прошлом году; подымался старинный любимый мотив:

Сияй же, указывай путь,
Веди к недоступному счастью
Того, кто надежды не знал:
И сердце утонет в восторге —
При виде тебя.[103]

Я когда-то просил эту песню петь Анну Васильевну;[104] а вот теперь эту песню пропела д'Альгейм — на весеннем концерте, блистая на залу такими огромными, сине-сафировыми глазами, в сияющем платье и в белой, сквозной, кружевной, мягкой шали, худая, с открытою грудью; играла стеблистою розой, ей брошенной среди криков «*бис-бис*»; над стремительным лепетом многих ладошей, — раскланиваясь, подобрав концы шали; и наша «*пятерка*» была; А. М. Поццо, такой светлоглавый, такой разволнованный, громко отхлопывал... путь романтизма.

Теперь уже я, как С. М. Соловьев, говорил:

— «Нет, послушайте, — что такое д'Альгеймы!.. Они — ближе всех»...

Но на это Рачинский, всегда отзывавшийся очень восторженно на панегирики, хмурился, сбрасывая свой пепел:

— «Паф-паф!»...

— «Да!»

— «Паф-паф!»

Убежденности в тоне не слышалось.

. . . .

Наша «*пятерка*» решила остаться в своем только круге: поехать на два-три денька — под Москву; остановиться же в Саввинском монастыре;[105] А. М. Поццо был должен в Звенигороде защищать одно дело (он был адвокатом); весьма было трудно заставить д'Альгеймов пустить нас; но, наконец, все — уладилось; вырвались! Незабываемые дни:

в них впервые наметилася возможность пути с Асею; и — разговор наш на дереве (странно, что весь лейтмотив приближения к Асе мне связан с деревьями: здесь; потом — в Луцке); деревья любила она; и в рисунках своих специализировалась на деревьях; лазуньей была; и — какой! Два решающих мига — деревья; запомнилась мне: прорезная толпа оксамитовосиних, эфировых пятен: то — прорези неба из листьев; туда убегает отточенный ствол; и — двоится, троится; и в первое облачко зелени прячет свое расстроенье; из облачка — Ася Тургенева высунула светлорусые локоны, чутко прислушиваясь к моему моральному миру, но глядя вниз: в лепетавшую воду (под нами — река, или — пруд: я не помню); и я, распластавшися на суку, — смотрю вниз; и — подречная рыба проходится темной полоской по светлому месту; и реченька — вечная, реченька — течная: с зыбкою — струйною, с рыбкой — подструйною.

Или — другая картина: опять — мы в бушующей резани зеленеющих листьев; и шепчут ночные туманы листвяного шума в развитие высших развалин суков; и оливково-серебристая зыбь освещенных листов; это месяц нам, отрок двурогий, — сребрит; произносится: ночью и ветром, и месяцем, и еще более произносится — нами: меж нами!

Мне помнятся эти сиденья; сойдя с двух дерев, мы уж знали начало пути; и условились: часто и долго писать (Ася скоро должна была ехать к матери, а после — вернуться к учителю);[106] мы обсуждали возможности моего появленья в Брюсселе.

Помнилась ночь, когда я и Наташа, и Поццо, — пошли погулять: перед сном; вдруг решили: пойдем — и вперед, и вперед, и вперед. Кто запросит повернуть, тот — не выдержит искуса; вот пошли — всё вперед, всё вперед, всё вперед, в тихом месяце, перепрыгивая через лужи; и Поццо шагал, бескорыстно взволнованный этим — ...к чему? Я подумал:

— «Куда же мы? А не пора ли?.. Ведь Ася, Петровский — нас ждут». Но, признаться, — нет, нет: заповедано; час, другой шли — сквозь леса, где густое древье сплеталось жердистою паветью; мы разводили раскосые ветви руками; и было так — сыро; и было — так сиро.

— «Куда же?»...

Сообразили:

— «Там — Новый Иерусалим»...[107]

И сиял А. М. Поццо:

— «Конечно же, — в Новый Иерусалим»...

— «А Петровский, а Ася?»

— «Вернемся к ним завтра мы: поездом — через Москву; по дороге нагрянем к Сереже: ведь Дедово — нам на пути...»

И светало: туманы курилися; зорька — розела; спросили в деревне, где мы; и узнали, что линия наша на Новый Иерусалим — стала кругом: прошли мы верст двадцать; и возвращались — к Звенигороду. Новый Иерусалим превратился из города — в путь: от вечерней зари — к заре утренней: там ожидали — Петровский и Ася; и песня звучала:

Сияй же, указывай путь, —
Веди к недоступному счастью —
Того, кто надежды не знал.[108]

Пред отъездом уже обнаружилось: денег-то мы захватили — так мало, что не на что было нам ехать; сидели на станции ночь; и отправили А. С. Петровского выручить (было у нас всего денег ему на билет); утром он возвратился: и взял нам билеты.

. . . .

В то время шли бурные заседания комитета «*Весов*»: Ликиардопуло с Брюсовым враждовали; наметились партии: я, Поляков, Балтрушайтис, Ликиардопуло; и — другая: С. М. Соловьев, Эллис, Брюсов; просиживали в редакции, где С. А. Поляков потрясал своей желтой бородкой, поставленной наискось, легкою плешью глядел в потолок; нам показывал носик, редисочку, тихо выревывая на сухого, сложившего демонически руки Валерия Яковлевича, перечисляющего предложения Ликиардопуло:

— «Ну, вы знаете это, Валерий Яковлевич, вы ведь — слишком!»

И тарахтел исступленнейше Ликиардопуло — спичкообразный, с заостренным носом, сухой, перечерный и бритый:

— «Нет, нет, — пускай явно докажет Валерий Яковлевич, — нет, Сергей Александрович... Погодите, Лев Львович... Послушайте, Юргис»...

А «*Юргис*» — ни звука: спустил из ущелья бровей свой туман, перекладывая ногу на ногу, во всем темносером, напоминающем цвет норвежской скалы; и смотрел на меня покрасневший, такой добродушный, уставленный нос:

— «Мне тебе... Что-то надо... Сказать...»

И на этот раз «*что-то*» сказал-таки:

— «Собственно говоря, тебе следовало б стать формальным редактором»...

Все-таки: «*при*» обошлись; был я выбран заведующим отдела статей; по всему было видно: «*Весы*» не протянут, кончаются; лучше заранее нам разойтись, чем худой такой мир превратить в откровенную ссору.

В ту пору запомнились мне появления Розанова, приезжавшего на торжественные заседания памяти Гоголя (памятник Гоголю ведь открывался в Москве);[109] В. В. Розанов дал нам статью;[110] раз его я застал заседающим прекомфортабельно на скорпионовском синем диванчике; Ликиардопуло, тарахтя, осыпал его ливнями разных рисунков, изображающих голую женщину:

— «Вот — посмотрите, Василий Васильевич»...

Розанов — пальцем водил:

— «Вот — линия живота: хороша»...

— «Эта — нет»...

. . . .

Я присутствовал на торжественном заседании Общества Любителей Российской Словесности;[111] там А. Н. Веселовский напыжился; И. И. Иванов — сказал; прочел Брюсов доклад под заглавием «*Испепеленный*».[112] Доклад — не понравился: и Веселовский, обидевшись, встал; и — торжественно выплыл; за ним потянулся Вогюэ, появившийся здесь; В. В. Розанов, рядом со мною сидевший, поплевывал в ухо:

— «Нет, нет: не годится... Бестактный доклад»...

В перерыве же, взяв меня под руку, что-то поплевывая, — заводил; натолкнулися мы на Матвея Никанорыча Розанова, профессора; оба Розанова остановилися друг перед другом:

— «Василий Васильевич!»

— «Матвей Никанорович!»

В. В., поблескивая очками, зашепелявил, показывая на профессора Розанова:

— «Вот ведь, — учитель мой! По городу Белому!»[113]

— «Как же: Василий Васильевич — ученик!»

Я подумал:

— «Совсем не похоже!»...

. . . .

Дни открытия памятника Гоголю, весовские инциденты скользят по поверхности жизни; общение с Асей все то заслоняет; известие: бабушка Аси, Бакунина, — умирает; и Ася спешит на Волынь; пред отъездом условливаюсь о дальнейших с ней встречах; и после отъезда имею серьезнейший разговор с ее теткой В. А. Олениной; ей я высказываю о возможности в будущем общего с Асей пути; и В. А. внимает сочувственно.

. . . .

Я не успел ощутить еще грусть от отсутствия Аси в Москве, как — событие!

Я иду переулком; и думаю — о суете; затарарыкали колеса извозчика, обгоняя; гляжу — спина Минцловой (значит, вернулась она?); вспоминаю я лепет — мне в ухо (во время скандала в «*Кружке*»).

— «Мы весною увидимся!»

А спина улыбнулася; от нее безо всякого объяснения брызнули струи тепла: над опущенным верхом извозчика; солнце сторукое попыталось явиться на свет — из спины; уж не знаю, — явилось ли, потому что я с места споткнулся о тумбу; прыжком очутился в пролетке; и — сел рядом с Минцловой; вздрогнуло толстое тело ее (не в мешке, а, представьте себе, — в сером платье, в такой же жакетке); и повернулась вуаль василькового цвета, опущенная на лицо от соломенной шляпы; и будто она, покатившись по кривеньким переулкам, ждала появленья меня рядом с нею в пролетке; без всякого удивления улыбнулась, подавши мне кончики пальцев в перчатке:

— «Нам видеться надо».

— «Когда?»

— «Да когда захотите, — у вас; но послушайте: гарантируйте, что никого я не встречу»...

Я вспомнил, что завтра в квартире у нас — никого (мама утром уедет). Сказал:

— «Приходите ко мне завтра утром, в 11»...

— «Буду».

Она улыбнулась; тут я соскочил; и стоял, улыбаясь; пролетка же тарарыкала дальше, везя бледносерую спину, которая мне улыбалась тенденцией — выпустить солнце над верхом пролетки; последнее не случилось: пролетка свернула.

На следующее утро — звонок. Отворять! И — вкатилась, лепечущая и пресветлая полным лицом, с черной сумочкой, с зонтиком; это лицо, некрасиво подпухшее, — мне обернулось букетами розовых роз; а глаза под пенсне — васильками, омоченными живою водицей; могу сказать — «*тетушка!*»

Шмыг — в кабинетик; прислуга же никого не увидела.

Вот долгожданная встреча (не думал о встрече; признаться, забыл): подсознание месяцы жило ей, Минцловой; «*Ася*», заря и весна — лучи «*минцлова*» света; так «*ком*», здесь сидящий, мне вызвал: зарю, весну, Асю; и — комната переполнилась атмосферой того, что услышу; она, сняв перчатку с опухшей руки, закружила мне голову «*иезекиилевыми колесами*»[114] глаз; своим жаром душевным несло от нее:

— «Андрей Белый, послушайте, — то, что писали вы в предисловии к „*Урне*" о золотом треугольнике,[115] о розенкрейцерах — недопус-

тимо; писали вы — правду; да, да: розенкрейцеры — есть; но об этом не пишут... Вы навлекаете написанием на себя злые силы; но и „*они*" — это знают: „*они*" — вам помогут».

Сидела она.

Такая; вокруг нее — светец; короткой рукою намахивала на меня светлину: светодательно!

И мне представилось — месяцы ждал этих слов: с октября и до мая; неспроста отметил ее; все — оправдывалось чудесно; она ж копошилась над черненькой сумочкой; и вытаскивала — две карточки.

— «Посмотрите!»

Увидел — кто это? В индусском костюме? Но это — не индусы, а... И — не люди... Глаза говорили Упанишадами,[116] — тайнами:

— «Это лицо вот — учитель Блаватской, а этот вот — Безант учил: выбирайте; под знаком кого вы хотите стоять?»

Объяснялися «*минцловы*» ветерочки; из-за нее несло — «*этим*»; не помню течения совершенно безумного разговора; но — вот его смысл: розенкрейцерство разделилось в две ветви; «*восточные братья*» — экзотерический отпрыск теченья, в котором созрели исконные (Кунрат, ван-Гельмонт и прочие); линия, так сказать, — в катакомбу ушла; а вот «*восточные братья*» и были действительные вдохновители — Новикова;[117] но изменилося время; и старшая линия, прежде чем в землю уйти, дает отпрыск, чтобы излить благодать на свободную организацию из людей, образующих Грааль, *чашу*; события будущего апеллируют к возрождению нового розенкрейцерства, лишь освещенного силами старого; новое рыцарство — возникает; в России сосуд — должен быть: коллектив sui generis ложа; и нужно, чтобы в Москве, в Петербурге нашлись два лица, группирующих тех, кто себя свяжут братски, чтоб стать под знамена — духовного света; те лица духовными упражнениями подготовят себя; упражнения — вооружения: лба; это шлем; а другое — жизнь сердца: жизнь панциря; и есть — меч; есть *наплечник* (всё разные упражнения); вооруженные *рыцари* образуют круг рыцарей («*Круглый Стол*», на который поставится чаша Грааль, что таима — рыцарями Грааля, потом — темплиерами; и наконец — розенкрейцерами); я же — призван помочь: быть кристаллом, естественно вызывающим стяженье людей; в Петербурге лицо уже есть; двое мы вместе с Минцловой образуем естественный треугольник для построения храма рыцарства; около *двух* соберутся кружки; Минцлова будет органом сношения с *посвященными* братьями; ее миссия передать нечто важное — от старинных традиций:

— «Послушайте, — перебила себя, — я прошу об одном: пусть в кружке, вами собранном к осени (осенью буду в Москве я), не будет Лев Львович: я Эллиса очень люблю; но он — медиум: *проходной двор для темных*»...

Вокруг же двух ядер, иль «*лож*», пусть расходятся радиусами кружки молодежи, экзотеричные по отношению к центру; организации будут свободны, как ветер; одно лишь тут важно: моральная облагороженность, пафос, служение делу Христову.

Вот контуры разговора, сопровождаемого замечаниями о врагах, столь ужасных, что жизнь А. Р. Минцловой — в постоянной опасности; есть мартинисты, настроенные реакционно, имеющие связь с высокими иерархами церкви; они — полбеды: здесь — преследование правительственное; ужаснее — черные маги востока:

— «Не доверяйте захожим татарам — с узлами; меж ними есть страшные; мне удалось раскрыть вещи невероятные, связанные с похищением посредством захожих татар»...

Ничего я не понял: смотрел: на сиявшее — нет, не лицо, — сердце — солнцем; вполне сердцевой человек! Светороды свои раздавала; потом — поднялась:

— «Ну, до осени: осенью познакомите с теми меня, на ком вы остановите выбор; я еду на запад: опять в Нюренберг, потом в Базель; прощайте, держитесь — до осени: свет вам поможет!»

Еще понял я, что какое-то было свидание важное — на Валааме; и от свидания этого что-то зависело... Все — неясно мне было; идет — свет; а она не вязала свободы; и обещала нам помощь моральную.

С тем и ушла.

Я стоял, как безумный; во мне все кружилось, все — вспыхивало: сбылась сказка рыцарей!..

. . . .

Стал я раздумывать: кого можно связать с этим всем? Через день я поехал к Эмилию Карловичу в Изумрудный Поселок — на дачу;[118] на ослепительно-чистой заре я сумел передать ему то, что меня волновало от октября и до мая (из заграницы вернулся к весне он, какой-то растерянный: критики Каратыгины, Регеры вырастали грибами); смотрел на меня; и — реагировал чутко, такой напряженный, прямой, как стрела; потом — вскакивал, точно подхваченный — жаром от жара, теплом света, дующего... из-за Минцловой, из-за меня, через меня на него так же дуло (как дуло в меня из нее, сквозь нее); Метнер мне говорит:

— «Удивительно ясный и светлый вы: что же случилось?»

Тут рассказал ему суть беседы с А. Р., скрыв ее; кто-то есть, кто нам может помочь; но до осени этого *кто-то* назвать не могу; к моему изумлению, Метнер откликнулся; тотчас возник образ Гёте-масона; как знать, был ли Гёте масоном? Явилися томики *Goethe-Gesellschaft*;[119] и началися исследования, после которых Э. К. установлено было, что Гёте и канцлер Мюллер наверное были *не только* масонами; думаю, — Метнер откликнулся тотчас же на ноту о *рыцарях* по двум причинам: враги, как грибы, размножались; без рыцарства, без боевых предприятий пришлось бы нам туго, наверное; и, во-вторых; *рыцарь, ложа*, — да, да: лейтмотив музыкальный той темы; Зигфрид, тема Нотунга,[120] Фридрих Второй Гогенштауфен, рыцари Грааля; ведь вот, Лоэнгрин, Парсифаль:[121] «Ти-те-та! — Ти-те-та!..» И уж он, озаренный зарей, дирижировал. Словом, — воспринял вполне музыкально идею об ордене, как и всё в мире.

Вскочил, подпираясь рукой и другой растирая сращенье костей черепных, бросил в зорю:

— «О, черт возьми: я все сделаю, что только можно, чтобы было у нас свое дело: вы, я и Лев Львович, — могли бы мы многое сделать».

Иначе к словам относился Н. П. Киселев, сей маститый знаток ритуалов, истории всех тайных обществ, утонченный нюхатель запаха инкунабул, мечтавший о составленьи каталога всех каталогов; тихо без всяких восторгов меня он выслушивал — серпиком бледным, лицом худощавым своим опершися о палец; он, изредка лишь прерывая меня, произносил назидательным голосом — терпкости; весь сухоносый такой, худокровный; и после ко мне стал он хаживать с книгами:

— «Вот, посмотрите, — выкрикивал он назидательным голосом, — книга, принадлежащая Magister'у Pianko и вышедшая в 1700 году...»[122]

— «Ну?» —

— «В ней описуются ритуалы и степени старого розенкрейцерства, потому что Magister Pianko, принадлежавший к малоазийскому восточному розенкрейцерству, полемизирует со старшею ветвью».

И тонкоклювою курицей клюнул он серпиком-личиком в книгу, стеклянясь пенсне; и уткнувшися пальцем во что-то, с улыбкой торжественно подал мне книгу:

— «Смотрите... А?.. Базель как место встречи через три года такой-то вот степени...»

— «Ну что же такое..?»

— «А то, что, — покрякивал вполне укоризненно он, посмотрев очень строго, — ведь вы говорили: „*лицо*" едет в Базель».

— «?»

— «Вот видите», — и подавившися самодовольно смешком, — «распознания тайны отъезда», — он сухоносо обслеживал то, что ему передал от А. Р. по историям тайных обществ; ищейкою нюхал по Кунрату, по инкунабулам; следствием трудолюбивых анализов слов, мною сказанных, в общем остался доволен; и — твердо примкнул ко мне с Метнером; он — сберегаем держался; и часто видались мы в мае; придешь — он сидит и молчит; лицо скосится серпиком, трезво прослушает; и наклоняется к пальцу, протянутому к виску: пальцем тронет висок; проскрипит укоризненным басом:

— «Заслуживает доверия...»

А. С. Петровский — не сразу откликнулся; он завернул было нос: сиротенью сидел, такой смоклый, пока я рассказывал, точно гасильник светильни; в глазах появились какие-то слепотворные выражения, точно не знал, как ему отозваться на «*сказку о рыцарях*», в целях тактических высказал он равноносое равнодушие, спрятал глаза, запенснеил он кончиком щучьего носика; вытянул губы, как две тонины; встал; сказал, растирая затылок:

— «Ну...»

— «Мне — пора...»

И ушел.

Но, наверно, увидевши строгое отношение к словам моим Метнера и Киселева, — поверил; явился с лицом, расцветающим центифольною розою; снявши пенсне — меня смерил безвеким своим карим взглядом:

— «Ты, Боря, не думай, что я... Я все выслушал... Нет: н... н... не... умею... сказать...»

А Сизов, появившийся из Петербурга, где кончил естественный факультет, — ухватился с полслова:

— «Вот!.. Понимаешь ли: вооружение... Ну — да: это — иога... И в „*Сутта-Нипате*"»[123] стоит... Наша сила.. внутри... Вот и метод Бобровой, которая предлагает свой авто-кондутивный массаж...»[124]

И нота каждого — оригинальна: Я — миф; Метнер — весь лейтмотив; археолог — Н. П. Киселев; брат — Петровский; Сизов — сущий иог; так ядро намечалось; вел речи среди молодежи; нам нужен моральный и рыцарский пафос служения свету; курсистки, студенты — внимали, особенно В. О. Станевич, с которой в те месяцы я познакомился (это знакомство оформилось дружбой).[125]

Н. П. Киселев заходил: посидеть; худокровным лицом клюнет в чай: пробасит — укоризненно:

— «Павел вот Александрович Бакунин, брат Михаила, был розенкрейцером...»[126]

Скажет — пойдет.

Или:

— «Знаете, Чистяков был лет двадцать назад розенкрейцером...»

Скажет: пойдет.

Было горько, что Эллис, с которым вынашивал братство, отрезан от нас; отличался огромной чуткостью он; с полуслова — все понял: неспроста молчу; закрутив усик, воздух понюхал, решил:

— «Не без Минцловой...»

Очень обиделся: тут же, надев котелок, — к Рубановичу, к Сене, бойкот объявивши Нилендеру; тот — прибегает:

— «Вы знаете... Лев-то — бунтует... Ругается: скрылся — второй вот уж день». И летели протесты и письма — куда-то, кому-то: от Рубановича, Сени.

Оттуда прошел символически он к К. Ф. Крахту; так студия Крахта[127] с тех пор стала громкой трибуной кипящего розенкрейцерами Эллиса; проповедь Эллиса очень мешала; не знал, как сериозна для нас была мысль о кружке и о ложе; все то, что естественно мы затаили как будущий факт, о том в крахтовском доме раскрикивалось направо, налево: в ораву, решавшую: следует снарядить экспедицию для отыскания пропавшего Граля; слова — *«розенкрейцеры»*, *«розенкрейцерам»*, *«розенкрейцеров»* — сыпались; просто не знали, что делать: заткнуть ему рот можно было одним: принять в нашу среду; себе на́ голову исключили его; если б Минцлова знала!..

Весна, начавшаяся зарею и встречей с Асей, окончилась — зажиганьем огней, заклинаньем мечей; план свидания с Асей стоял; переписка с ней — длилась; она звала в Брюссель; я — думал: «Сперва надо мне свести с Минцловой группу людей». Долг был только высиживать время.

ОСКАЛИЛОСЬ!..

Уже я переехал к С. М. Соловьеву; опять пошло Дедово;[128] те же все люди; и те же сидения; почувствовал я холодок от Сережи при всякой попытке моей подойти к теме тем; поджимал свои губы; в глазах появилась далекость и строгость; и делался очень похожим на деда, историка; он, руку свою заложив за тужурку, прямился; кусая усы, говорил:

— «Знаешь, Боря, не говори — ничего: эти темы враждебны — решительно...»

Мы — замолчали начавшимся расхождением; точно меж нами был спущен шлахтбаум; от 95 года до 909 года ничего не лежало; и — вот: теперь что-то легло; постояли мы месяца два друг пред другом, живя в одном доме, в двух комнатках, смежных; и — разошлись: он — одною дорогой пошел; я — другой.[129]

Переписка же с Асей меня утешала; и — ожидание осени; что-то нависло опять; лето было предушное, ливни стучали; и — бурородные тучи прохаживались; и — страхи душили; частил теперь в Дедово Эллис; он нервничал; он кричал по ночам, все чего-то боялся; о символизме он книгу писал;[130] попадая же в Дедово, бледный, в осеннем своем котелке — производил впечатление жалкое: дергал плечом, крутил усик; и — взвизгивал смехом, рассеянно; и — начинал дудить в ухо:

— «Да, да: розенкрейцеры... что?.. Маги... Правда ли?.. У розенкрейцеров... Темный удар...»

Я не раз говорил ему:

— «Лева — так же нельзя: с утра до ночи — все о том же: пойми, до чего разговоры такие нервят; и потом: говоря о гоненьях, о чёрте, направо, налево, — ты разве не думаешь, что этим ты на себя навлекаешь опасности!»

— «Да, да, да!» — начинал он трясти головой, крутить усик и дергать плечом, чтобы сейчас же, забыв «да-да-да», — приниматься за старое:

— «У розенкрейцеров, розенкрейцеры, розенкрейцерам...»

Думал:

— «Ах, не к добру суесловие...»

Делалось страшно за Эллиса.

Сам же едва я держался; работал, как вол, над «*Серебряным Голубем*», он почти был написан за лето; меня тема «*Голубя*» мучила; мне говорил Соловьев:

— «Знаешь, Боря, вокруг тебя — облако: точно все то, о чем пишешь, — вокруг тебя».

«*Голуби*» — мучили; от утра до ночи ведь сидел в атмосфере сюжета; переутомление сказывалось мигренями, частой бессонницей; страхами же заразила меня А. Р. Минцлова; лепеты Минцловой об оккультных китайцах татарах — разыгрывались; прозвучав темой света, А. Р. начинала звучать теперь жутью.

Я часто бродил по полям (не с «*Сережей*»: он шел вечерами к Любимовым; я — оставался); бывало, кругом — буерачник; и почва — зубринами; сохлая грязь, — водороины, колдыбани; и — берестень; а вдали — исхолмилось; холмы же — в пригорбки — там, где сход к мокродо-

лу, где все болотеет; и — хляпают ноги уже камышистым болотцем; «*авдошка*» — болотный кулик, красноногий — отфикает (и комарлив же лужок!); суемятлива мошка; пылит мошкарой это свежее место.

Гулял я под тучами; встали кошмары из «*Голубя*». С жадностью я отдавался натуре; словечки, ужимки крестьян надовражинских я подбирал; и смеясь Соловьев утверждал, что меня он ревнует к натуре: услышишь, бывало, что там-то, вот, будет такое-то; Соловьев же смеется:

— «Ну, нет: я натуры тебе не отдам — там мое...»

Собирал материалы для повести он «*Старый Ям*»;[131] у обоих модель — Надовражино; часто делили людей мы:

— «Бери столяра, а уж (имя рек) — трогать не смей: мне он нужен...»

Все люди в то время служили натурой; брал черточки, фразы, ужимки, потом их прочерчивая в романе; конечно же, фабула, общий рисунок менялся; С. М. понимал, что он часто позировал мне для Дарьяльского (но, разумеется, был он далек от Дарьяльского в этот период);[132] мне он говорил:

— «Ну, бери меня; я — не обижусь нисколько; я сам ведь охоч до моделей; но слушай, Борис Николаич, — храни тебя Бог зарисовать Коваленских: запомни, что ты отрезаешь в том случае путь возвращения в Дедово...»

А между тем — сознавался он сам: Александра Григорьевна Коваленская великолепнейшая модель «*бабки*» Кати. Н. М. Коваленский великолепнейшая модель для сенатора, Тодрабе-Граабена:

— «Но ты дядю Колю — не трогай!»

Попал — прямо в центр: великолепно задумана мною была «*бабка*» Катя; она, вероятно, была бы центральной фигурой; по одной только фразе начала романа, где «*бабинька — тряслася в настурциях*»,[133] понял Сережа — всё-всё; хохоча мне грозился:

— «Послушай, — великолепно: но только — не смей трогать бабушку!»

«*Бабушка*» появляется в третьей главе, мной написанной в «*Дедово*»; с той поры я старался, чтоб ярко продуманный образ романа хотя бы штрихом не просунулся. Так — вместо «*бабушки*» вышла — абстрактная выдумка; яркий сенатор сознательно был заменен другим типом; все типы «*Голубя*» складывалися из разных штрихов очень многих людей, мною виданных в жизни, — в несуществующих сочетаниях; фабула — чистая выдумка; если бы я рассказал, кто служил бессознательно моделью, то мне — удивились бы: ряд штрихов у Дарьяльского списан с С. М. Соловьева — эпохи 906 года: идеология — помесь идеоло-

гии Соловьева (периода 906 года) с моею теорией ценности; странно: столяр Кудеяров есть помесь: своеобразное преломление черточек одного надовражинского столяра с М. А. Эртелем и... с Д. С. Мережковским; одна половина лица говорит «*я вот ух как*», другая — «*что? съел?*»: это — Эртель; и «*долгоносик*», порой становящийся транспарантом, через которого «*прет*» (лейтмотив одержания), есть Мережковский с его бессознательным революционно-сектантским (метафизическим только) хлыстовством; идейную помесь из «*Эртеля—Мережковского*» я расписал бытовыми штрихами действительного столяра; странно: в Аннушке-Голубятне вполне бессознательно отразился один только штрих, но действительный, Н. А. Тургеневой (лейтмотив, бледно-гибельный, грустной сестрицы); и это открыл мне Сережа; Матрена — сложнейшая помесь из нескольких лиц: баба Тульской губернии (большеживотая и рябая, с глазами косящими), Любовь Дмитриевна (глаза — океан-море-синее, грусть, молитвы, обостренное любопытство, дерзание), Поля (прислуга Эмилия Карлыча Метнера — из-под Подсолнечной: странно — из Боблова, то есть деревни имения Менделеевых); Поля нужна была мне как модель; и порой отправлялся я летом из Дедова к Метнерам, чтоб рисовать — от натуры (то лейтмотив — солнечности); сам сначала не понял, что Поля — модель, пока Метнер, которому читывал я ряд набросков, смеясь, мне сказал:

— «Да ведь это же — Поля»...

Потом уж сознательно ездил я: делать эскиз с натуры; «*сенатор*» в существенном тоне фигуры есть В. И. Танеев (идеология, странности, голос, манера держаться); конечно же, внешностью Катя есть Ася; психическое содержание — не Асино.

До конца мною измышленная фигура (за исключением «*бабушки*», места пустого) — купец Еропегин; и местности «*Голубя*» частию — списаны; Лихов — Ефремово; окрестности Лихова есть окрестность Ефремова; говор крестьян — говор Тульской губернии; но Целебеево видом во многом — село Надовражино.

Помню, как много работал над «*Голубем*» я, пока с ног не свалил разразившийся «*эллисовский инцидент*».

Эллис только что был у нас в Дедове, нервный, печальный: душили кошмары, боялся каких-то врагов, видел черта, казался больным.

— «Что с тобою?»...

— «Переработался над книгою своею»...

И — засклонял:

— «Розенкрейцеры, к розенкрейцерам, у розенкрейцеров»...

Я — убеждал его:

— «Если ты будешь и далее продолжать разглагольствовать в этом же направленьи, то — помни: тебе будет плохо»...

Задергал плечом; и — уехал.

Через два только дня я читаю в газетах, что литератор Л. Л. Кобылинский попался в Музее с поличным: вырезывал-де он страницы из книг. Грохотали газеты; стоял громкий крик; остолбенели мы; Александра Григорьевна, Эллиса очень любившая, мне говорит:

— «Поезжайте скорее к нему... Разузнайте, что это: опять, вероятно, гнуснейшая травля»...

Лечу: попадаю в разгар *«инцидента»*.

Считаю его характерным; и должен решительно о нем высказаться; натура противоречивая, — Эллис всегда отличался: действительным бескорыстием; видел его отдающим другим, что имел, забывающим даже обедать (Нилендер, переселившийся в *«Дон»*, постоянно присматривал, чтобы Эллис не позабыл пообедать), — всегда был он страшно беспечен, рассеян, небрежен по отношению к книгам; рассеян — до ужаса; знали все о неряшливом отношении Эллиса к книгам; дать ему книгу — означало: ее получить в совершенно испорченном виде, с заметками на полях; и — с дождем восклицательных знаков; иль — значило: книги лишиться, — не потому, что присвоит он книгу, а — затеряет ее (передаст, занесет и забудет); не раз у себя на столе находил занесенные Эллисом книги, исчерканные карандашом. Зайдя к Эллису раз, я увидел каких-то людей, упаковывающих книги, принадлежавшие Эллису, но отданные в пользу какой-то организации; он все отдавал, что имел; а когда сам нуждался, то с легкостью прибегал к чужой помощи: приходил, говорил: *«Накормите меня»*. С той рассеянной легкостью вел он себя и в Музее, работая над книгой о символизме; был пущен в отдельную комнату; и там писал; допустили же Эллиса в эту комнату — с книгами *«Скорпиона»*, которые дал Поляков ему для вырезывания обильных цитат; и для вклейки в текст рукописи; пользовался он и музейскими экземплярами; раза два, перепутавши книжные экземпляры, он вырезал для наклейки — из экземпляра музейского; речь же шла лишь о странице из *«Северной Симфонии»*, о странице из *«Кубка Метелей»*; служитель Музея заметил, как Эллис вырезывал; и когда он ушел, по обычаю оставив портфель свой в Музее, служитель отнес тот портфель к заведующему Библиотекой; Эллису сделали выговор: за неряшество; и лишили права работать в Музее. Об инциденте узнал уж позднее какой-то газетчик, настроенный против *«Весов»*, где с обычною резкостью Эллис обрушивался на всю прессу; иные газетчики были плохие поэты, которые присылали стихи к нам; стихи отвергались;

вот эти-то «*отверженные*» — и вздули до ужаса инцидент; и ославили Эллиса вором; ведь можно было подумать, читая газеты, что Эллис годами выкрадывал из Музея ценнейшие рукописи.[134] Кассо, министр просвещения, прочитав эти газетные сообщения о «*кражах*», воспользовался инцидентом, чтоб вытолкнуть из Музея Цветаева, заведующего Музеем (у них были личные счеты): прислал телеграмму — дать делу ход;[135] Цветаев же, в свою очередь, имел много причин не любить очень Эллиса.[136]

Этот поступок, которому имя «*неряшество*», превратился в *огромный* скандал;[137] и на бедного Эллиса рушились: личные счеты министра с заведующим Музея, который терпеть не мог Эллиса, радость газетчиков, ненавидивших Эллиса (за «весовские» выходки). Эллиса оклеветали; опроверженья печатались — на четвертой газетной странице, «*петитом*», а обвинения в том, что он вор — с сенсационными заголовками, набранными аршинными буквами, запестрили на первой странице газет; тот же факт, что судебное следствие «*дело Эллиса*» прекратило за полным отсутствием такового и что третейские судьи (проф. Муромцев, проф. Лопатин и Малянтович) — признали Эллиса невиновным вполне в «*краже*» двух-трех страниц из «*Симфонии*», которые мог бы иметь от меня он и от С. А. Полякова, — читатели сенсационных газет не узнали.[138]

И — да: не забуду дней бредных и душных в Москве; я метался: от А. С. Петровского к Крахту, от Крахта к С. А. Полякову, в «*Весы*», из «*Весов*» — в Музей, к Эллису, к Шпетту, к добрейшему Павлу Ивановичу Астрову; ничего-то сперва я не понял; узнал лишь, что Эллиса тащут на следствие в специальную комиссию при Музее, занявшуюся инцидентом; комиссия эта молчала, пока не проверила всех книг, читавшихся Эллисом, чтобы узнать, что «*украдено*»; и обнаружилося, что состав преступленья — странички «*Симфонии*», не представлявшие цены, ибо всюду имелись они, — пока эта Комиссия олимпийски молчала, газеты кричали о «*воре*»: с огромным злорадством; ведь вор был «*весовец*»: «*Весы*» защищали культуру, утонченный вкус, внешность книги; и — вот же: попались...

Нет, я не забуду ужасного взрыва слюнного злорадства и дикого бешенства интеллигентной толпы — в отношении к нам; крики «*вор*»; и — гадючье: «*Да все таковы они*». Тут же вышипывалося попутно безграмотное обвинение Ремизова в плагиате;[139] кривились гримасой газеты: да, да, — не мешало бы всех их по косточкам разобрать: вероятно, «*Бальмонты*» и «*Белые*» — плагиаторы, воры; в стихии дичайшей уж слышалось: «Ей, нашарап — бей, бей, бей!» В осуждениях Эллиса чувствовалось разъяренье толпы, убивающей Верещагина (эту картину

из «*Войны и мира*» я вспомнил);[140] нас ставили просто уже вне закона; я видел на улице лица, совсем не знакомые, с радостно-злобным оскалом, вперяемые в меня:

— «А! Попались, голубчики: улюлю, ату, пиль!»

За оскалом — вставало другое: «*чертопровод*» — славно действует!..

Где-то настиг я несчастного Эллиса; был невменяем, без котелка, — бледный, жалкий; молчал он, помахивая рукою, не пробуя даже бороться: «Бесцельно: ведь — черт: сатанинская сила!» То палку хватал и бросался кого-то прибить. Но — кого? В эти дни обнаружилось: надо бы бить очень многих; я — тряс его:

— «Слушай, чего ты молчишь: опровержения — где?»

— «Опровержения — посланы: не напечатаны»...

— «Не имеют же права: должны напечатать».

— «Забыл? Это право — трех дней».

— «Почему ж опоздал ты?»

В день первого обвинения Эллиса в краже вырезок — газет он не видел; никто ничего не сказал; большинство из друзей его были на даче: Петровский и многие прочие, Метнер же был за границей; а многие очень знакомые, знавшие уж о преступнейшем литературном воре, при встрече трусливейше обнаруживали конфуз, опускали глаза; и — скорей наутек.

— «Понимаешь ли, я ничего-то не знаю: встречаю NN, он — конфузится и — до свидания; вижу М. М.; он же делает вид, что меня не узнал... Вообще эти дни показали мне в истинном свете людей... Да, да, да: не забуду, как все меня бросили»...

Я опускаю подробности гнусного дела; тянулось оно очень долго: музейное следствие, ряд протоколов, вопросов, комиссии; после ж — судебное следствие; после третейский суд Эллиса с одним газетчиком, напечатавшим передовицу с заглавием «*Господин Эллис*».[141] Дутые обвинения — прахом рассыпались; а пока рассыпались в неделях они, никто просто не мог ничего написать для защиты несчастного; двери редакций закрылись для нас в эти дни.

Характернейшее явление: незадолго до этого инцидента в Музее, действительно, вора поймали, вырезывавшего гравюры, ценнейшие, и их сбывавшего;[142] этому вору огромнейший оправдательный фельетон в «*Русском Слове*» всесильный тогда посвятил Дорошевич;[143] об Эллисе же — ни гу-гу: эти дни пошатнули во мне навсегда веру в прессу; на «*эллисовском*» инциденте я понял, что часто свобода печати — свобода газетных людей: клеветать.

Возвратился в Дедово — вовсе больной, потрясенный; и — вдруг телеграмма от Метнера: есть возможность издательства, или журнала; согласен ли?[144] Просит ответа: немедленного; и вот первое впечатление: «Какой там журнал? До него ли? От этой литературщины, сплошь развращенной, — бежать!» Соловьев соглашался:

— «Заранее должен сказать, что мне некогда будет касаться какого бы то ни было журнала, издательства: ты на меня не рассчитывай!»

Я — был не годен; С. М. Соловьев — умыл руки: вполне невменяем был Эллис; чуть-чуть не ответил: «Не надо». Но вспомнил — Петровского, Киселева; поехал в Москву: за советом:

— «Нет, Боря, нельзя: дело — нужно, издательство — нужно», — твердил мне Петровский; тогда мы послали ответ: положительный; Метнер прислал нам письмо, прося строго обдумать план действий: книгоиздательства, или — журнала;[145] просил прислать смету, проекты; писал, что скорейше вернется; и препечальнейше началась кропотливая организация книгоиздательства «*Мусагет*» (отклонили пока мы журнал);[146] переехал из Дедова с чувством, что мы разошлись с Соловьевым; на заседаниях он не участвовал, нас избегая; участвовали: Рачинский, Петровский, Сизов, Киселев, я, Нилендер, Борис Садовский, Эллис; техником был приглашен Кожебаткин,[147] явившийся с Ахрамовичем к нам (ставшим после корректором; и потом далее — секретарем «*Мусагета*»);[148] сентябрь был окрашен работою выработки плана издания, сметы и отыскиванием помещения редакции, подготовлением рукописей; появился и Метнер; официально редактор-издатель был он; редакционною тройкою — я, Метнер, Эллис; ближайший совет при Редакции составляли Рачинский, Сизов, Киселев и Петровский; а секретарствовал — Кожебаткин, меж нами, редакторами, условлено было, что «*veto*» каждого — безапелляционно; любое решение осуществлялось согласием *трех*; но с начала же самого все по-иному сложилось; во-первых: *de facto* не так уж считалися с Эллисом; стал голос совета Редакции — законодательным; проявлялася более личная воля Эмилия Карловича; появились в совете: Степун, Яковенко и Гессен, окрасившие «*Мусагет*» очень сильно; появился Иванов; влияла и Минцлова; эмансипировался Кожебаткин; и «*Мусагет*» стал мучительным часто скрещением разных идейных влияний.

То время звучало темно; после «*эллисовского*» инцидента — второй инцидент; и на этот раз — мой; несправедливо был бит бедный Эллис, за дело был бит я; я напечатал заметку; в ней требую я равноправия для евреев, чтоб в сфере культуры нам можно было бы бороться с евреизацией русской критики; и далее: я доказывал, что культуры евреев и ари-

ев — ценны; когда же евреи пытаются характеризовать дух арийской культуры, то смешивают цивилизацию (интернациональное нечто) с культурою (национальной всегда); интернациональная же культура есть «*штамп*»; в наложении «*штампа*» винил я еврейскую критику.[149] Эта заметка моя — неудачна; во-первых: в ней мысль плохо выразил я; во-вторых: если б даже и выразил, то — неверна она; главное: мысль — внушена мне (отчасти д'Альгеймом, отчасти Э. Метнером, его критикою музыкальной Эстрады[150]); и наконец: «*маниакальное*» настроение отпечаталось в этой заметке (я вскоре потом понял промах: заметку — не перепечатывал), и — влетело: пребольно! Во-первых: от многих друзей из евреев; и — во-вторых: от сочувствия мысли моей в черносотенном круге; выслушивал горькие истины; и происшествие это меня угнетало ужасно.[151]

Потом — разорвал с «*Домом Песни*»; отказ мой прочесть здесь курс ритмики, обусловленный отсутствием свободного времени для подготовки, взбесил окончательно П. И. д'Альгейма: и я оказался с «*врагами*»; и во-вторых: нетактичное поведенье П. И. в отношении к С. Л. Толстому, которому присудили премию конкурса, объявленного «*Домом Песни*» на лучшую гармонизацию шотландских мелодий, весьма рассердило Н. К. Метнера, Г. А. Рачинского, разорвавших с д'Альгеймом;[152] присоединился я к ним; и — ушел от д'Альгеймов: с большой все же болью.

Я помнил, что Ася меня ожидает; но в Брюссель не мог я уехать: все ждал запоздавшую Минцлову, чтобы представить друзей ей и ждать указаний; но Ася — ждала; все то — мучило.

Много работал: писал «*Символизм*», примечания к «*Символизму*», оформливал материалы по ритму, заканчивал «*Голубя*», каждый день бегая в помещенье редакции «*Мусагета*» — на заседания, обсуждения; там — принимал; помещение это тогда находилось в начале Пречистенского бульвара, у памятника: во дворе.

В это время в Москве «*Арго*» тронулся в плавание; появились из Фрейбурга молодые философы: Ф. А. Степун, С. И. Гессен; с ними мы, встретившись, обменялися мненьями; нас поразили особой культурною выправкою они, соединяя позицию Фрейбургской школы с терпимостью и с широтой кругозора; искали издателей для печатания русского выпуска международного философского журнала «*Логос*»;[153] их с нами сближала одна очень важная тема: проблема культуры; проблему отчетливо выдвинуло издательство «*Мусагет*»; в «*Скорпионе*», в «*Весах*» символизм был представлен, скорее, как школа в искусстве; для Эллиса, меня, Метнера символизм был, скорее, мирозрением; школа

в искусстве — часть целого; контуры взглядов моих в это время печатались в «*Эмблематике Смысла*»,[154] вполне подводящей к проблеме координации разных сфер духа; культура есть целое, разрешаемое в многорядие процессов символизации; и так упирался в проблему культуры как данной историей реализации символизма; и Метнер вполне примыкал ко мне в ноте раскрытия символизма в процессе культуры; стремилися мы перекинуть мосты от течения, школы в искусстве к широкому горизонту проблем философии; и совершенно понятно, что линия учеников Виндельбанда и Риккерта, уделяющая вниманье проблемам культуры, эстетики (Кон, Христиансен), была наиболее близкой нам в пафосе яркой борьбы за проблему культуры: мы не были вовсе идейными братьями; но троюродными братьями — были; расхождение подымалось, — в ориентировке проблем; риккертианцы естественно орьентировали проблемы культуры в теоретической философии; мы ж самую философию ориентировали в культуре (и — кто перетянет!), с Э. К. сговорились о том, что желательно сблизиться с «*Логосом*»; и издавать в «*Мусагете*» его; но оппозицию встретили: в Киселеве, в Петровском, в Рачинском и в Эллисе; Эллис, приемля платформу культуры, все ж гнул к «*символистам*» (французским, бельгийским); и — к мистико-католическому оформлению символизма, столь чуждому протестантизму и германизму редактора; Метнер боялся преобладания «*мистики*» (я — то же самое). «*Логосом*» мы попытались заранее бронировать «*Мусагет*» от засилий возможного религиозного и литературного догматизма; Рачинский — тот явно, где можно, вел курс на религию (на православие); принимая участие в организации «*Пути*» (группа Религиозно-Философского Общества),[155] он подтаскивал все — к Трубецкому, Булгакову, Эрну. Петровский, Сизов, Киселев, — ожидая возможности «*внутренней линии*», думали наш «Мусагет» превратить в орган будущей «*ложи*»; носились с мечтой об издании мистиков; логику, литературу, искусство они умаляли; с Э. К. мы составляли естественный центр, платформируя твердо: ни слишком налево, ни слишком направо: ни Кант и ни Экхарт, а — тот и другой в центре нашей проблемы; и, стало быть, — Кант в «*культуре*»; и — Экхарт в «*культуре*».

Мне Метнер говаривал:

— «Что бы ни было, — я наложу свое „veto" на усилие превратить „*Мусагет*" в то интимное, что, может быть, и возникнет в Москве; то — одно; „*Мусагет*" же — другое».

Степун появился у нас, франтоватый и полный, такой самодушный с актерским, немного насмешливым бритым лицом и с зачесанными во-

лосами, помахивая, точно веткой сиреневой, мистикой, но полагая границу меж нею и логикой («*ценности состоянья* одно, *положенья* — другое»); сошелся с Э. К. и с редакцией; он исходил самосевами слов, говорил очень смачно, легко и красиво, вставая со стула, закидывая с характерным кокетством логический лоб, говоря своим видом:

— «Да, да: несмотря на логический лоб, — понимаю романтику, ветку сирени, люблю рудотворные силы природы: не удивляюсь чудачествам Эллиса; не удивляюсь в Москве ничему: это — *ценности состоянья*; мы *ценностями положенья* все быстро оформим!»

Он очень нам нравился.

С. И. Гессен, явившийся потом, — был иной: очень сдержанный, небольшого росточка, худой, походящий слегка на японца; всегда в сюртуке; и блистая строжайше очками на нас, очень выглядел — мальчиком; выговаривал он положительно, сухо и веско, оформливая простые житейские обстоятельства разговора лишь терминами философа Ласка, преодолевшего Риккерта и Москве неизвестного; и — расширяли глаза на него; реферат С. И. Гессена в философском кружке у Морозовой о философии этой[156] воспринят был выпученными глазами религиозных философов, метафизиков, кантианцев и когенианцев, являя труднейшее сплетение гносеологических терминов, не изученных даже Совальским и Фохтом; Хвостов заявил, что не понял ни слова; профессор Лопатин ко мне подошел, потирая ручонками, закровогубив мне в ухо:

— «Ни слова — хохо! — хохохо! знаете ли, — какая-то это джиуджица логическая,[157] будто он — хохохо — выпрыгнул из девятого этажа, не сломав себе шею»...

Действительно: девятиэтажные термины Гессена нас напугали сперва; но прислушившись, поняли: в трудном сплетении слов пробивается сильная, честная, оригинальная мысль; скоро Гессена мы полюбили за удивительную прямоту, благородство, уравновешенность, справедливость; и — да: за действительную культурную широту понимания наших задач; но и кроме того: оказался прекрасным товарищем; было в его строгой сухости что-то простое и милое: детское.

«*Логос*» для «*Мусагета*» с трудом отстояли мы с Метнером; парадоксальный союз символизма и Фрейбургской школы пускал очень корни в редакции; Шпетту не нравилось это; он встал вдали; Эрн — косился; Бердяев, Булгаков смеялися, пожимая плечами; Рачинский — роптал; мы же с Метнером, улыбаяся, — понимали, что делали; и педалировали решительно «*Логосом*».

Надо было связать многосложность тенденций и дать себе ясную формулу «*Мусагету*». Мы формулу эту составили с Метнером: Апол-

лон Мусагет есть водитель всех муз, представляющих хоровод из искусств, философий и мифов; он — целое, или — культура (то — лейтмотив Метнера); конкретизация этой культуры в истории — символизация творческих становлений (то — мой лейтмотив); теоретическое обоснование ценностей становления — в логике («*Логос*»), практическое изживание ценностей в образах мира искусства и в мифах (Нилендер), в теургии (Эллис), в символике мистик, религий (Петровский, Рачинский, Сизов, Киселев); так в платформу издательства влили различные линии, их собирая в триаду: Орфей—Мусагет—Логос; в центре стоял «*Мусагет*» (символизм и культура), направо он — «*Логос*» (ведь ионийская философия — есть аполлоново дело); налево — «*Орфей*»: дионисийское развоплощение *ставшего* в мир *становления*.

Вот почему решено было нам, «*Мусагету*», с начала издательства выделить две сепаратные линии: линию «*Логос*», философскую, и мистическую, «*Орфея*». В составе редакции «*Логоса*» были Б. А. Кистяковский, Степун, Гессен, Метнер и Яковенко; в «Орфее» засели: Петровский, Сизов, Киселев; в «*Мусагете*» же, в центре, работала тройка редакторов: Эллис, я, Метнер; понятно, что сразу редакция стала стяженьем кружка молодых, очень бойких философов, «*аргонавтов*», искателей правды (кружок К. Ф. Крафта, в котором витийствовал Эллис, стал постепенно слагаться в кружок, называемый Эллисом — *молодой* «*Мусагет*»);[158] под «*Орфеем*» естественно ждали мы: будет то «*братство*», которое будет. И тут же наметилась серия книг для издания: по линии «*Мусагета*»: мои «*Символизм*», «*Арабески*»; Эллиса «*Русские символисты*»; Б. А. Садовского «*Русская Камена*»; Э. Метнера «*Музыка и модернизм*»;[159] перевод Гильдебрандта: «*Проблема изобразительного искусства*»;[160] трактат Леонардо да Винчи «*О живописи*»;[161] в отделе «*Орфей*» намечалися: исследование Киселева «*Поэзия трубадуров*»,[162] Иванова «*Религия страдающего Божества*»,[163] переводы Новалиса,[164] Экхарта, Бёме и Рейсбрука.[165]

Постоянно виделись и с Морозовой мы, очень занятой так же, как мы, появлением «*Пути*» (ведь его издавала она); группировались здесь: Эрн, Трубецкой, Гершензон, Бердяев, Булгаков, Рачинский; «*Весы*» же — кончалися;[166] «*Скорпион*» — затихал.

Продолжалась усиленно деятельность Религиозно-Философского Общества и «*Свободной Эстетики*», где я бывал уже редко; из Комитета «*Эстетики*», кажется, вышел в то время.

Тогда появилася Минцлова; и — окончание года прошло в очень деятельном представлении ей «*нашей группы*»; я много бы мог рассказать, как влияние Минцловой, в душу входившей, вливалось почти не-

заметно; бывало, ведешь к ней кого-нибудь: конечно, входит к ней — скептиком; вышел, — блистают глаза: победила.[167]

И скоро случилось, что, будучи вовсе далекой формально от всяких редакций, реально была она внутренним светочем; и порою оказывалось, что равномерное распадение Мусагета на линии Логос—Мусагет—Орфей складывалось в неравновесье ядра, иль «*Орфея*», забронированного двумя оболочками (более эксотерическим «*Мусагетом*» и внешнею формою, «*Логосом*»).

Минцлова помнится мне теплородом; она вылепетывала, — все летало кругом незабудками цвета «*глазенок*»; не мог я понять цвета глаз: серый, веющий Северным морем; и вот он — голубенький, сентиментально провеет; и «*Анна Рудольфовна*», добрая, очень уютная, — катится в черном мешке, улыбаясь германскою сагой и сказкой; и — нет: что за ужас — планета чужая несется навстречу, меняя законы природы кругом; меж цветами — голубеньким, серым — градация многих нюансов: от сатурнических, бешено пляшущих орбит, до... милого камушка, с толстого пальца поющего сказкой: в кольце золотом; и когда оставались вдвоем, мне хотелося сесть на ковер перед нею; закрывши глаза, отдаваться струенью невнятиц ее лепетавшего голоса; ветер лепечет, а — что? Ты — не знаешь; а — как-то уютно; и вдруг, — сквозь уют заблистает немая зарница грозы мировой:

Как демоны глухонемые
Ведут беседу меж собой.[168]

И — привскочишь от ужаса странного призвука к звуку родимому; а она — пред тобою сидит: голова оквадратилась глухонемым, оболваненным в камень, в скале иссекаемым демоном: баба каменная; даже — баба-Яга.

— «Ну, вы что — испугались»...

И снова лепечет она незабудковой речью, как нянька над малым ребенком:

— «Ну, ну»...

— «Я — не бука»...

— «Я — Анна Рудольфовна»...

Только ли «Анна Рудольфовна»?

Истины тайной науки она облекала в свой лепет — под формою сказки; в ней так же, как в нашем издательстве, были три стадии: «*Анна Рудольфовна*», с тихою сказкой сидящая на «*орфейском*» диване в часы, когда нет посторонних; руководительница, подготовляющая

братство рыцарей Истины; вой миров, столкновенье планет, раскаленность кометных хвостов, — ничего не поймешь: ужас, ужас! И «*ужас*» порой проступал в этой «*каменной бабе*», чудовищно вылупляющейся над курганом истории — в тысячелетние пустыни обычного здравого смысла: Москвы, «*Мусагета*», служителя Дмитрия, там за стеной кипятящего чай...

Да, под формою сказки вдувала огромные вести о космосе, мною впоследствии встреченные в курсах доктора Штейнера, осуждаемого ей теперь так решительно, гневно:

— «Нет, — он ошибся: не слушайте Штейнера»...

Очень многое в циклах интимных Р. Штейнера встретил впоследствии я как знакомое нечто, вошедшее мягко, легко, музыкально в меня; тихим лепетом Минцловой; и оттого-то тянулись к ней те, кого подпускала, как к матери: сон этой жизни вставал, как случайность; сквозь сон вылепетывалось:

— «Вспомни родину: проснись, — ты!»

И на миг лишь очнувшися, вскрикивал:

— «Не хочу я здесь жить: я хочу возвратиться!»

Так Минцлова родиною лепетала в сердце; эти *вылепеты* заживали, как сфинксова тайна:

— «Познай себя!»

И тоска по «*Пути посвящения*» — подымалась; оказывалось: чтоб сорвать незабудку, цветок голубой, ей показанный в сказке, — оказывалось, надо долго, упорно трудиться; *цветок* — вел и звал: к концентрации мысли, к контролю, и думаю, что К. А. Тимирязев, любивший ее, для себя незаметно под лепеты начал бы медитировать, сам не зная, что это — преддверие иоги, духовной науки; до этих преддверий — цветами осыпан был путь ею, феей — волшебницей; и за порогом, вполне отделяющим, узнавалося: «Это и есть теософия».

Так бы я формулировал эти «*уроки*»; она нам давала «*уроки*»; уроки — рассказывание странных сказок, будивших сердца: — «Ну, какие же это уроки» — порою привскакивал Метнер; ему все хотелося, — правил, отчетов; она — лепетала; и — «цып-цып-цып-цып» — тот, другой, третий уже получал упражненья душевные; этими упражненьями пыталася вооружить она нас; от сказки о «*милом цветке*» до душевного упражнения путь пробегался легко, — по летящему самолетному облачку; ну а — братство, а — ложа, а — тайны старинных традиций, а — рыцари?

Тут она как-то смолкала, иль начинала взволнованно вылепетывать, что пока не пройдется курс краткий «*шести упражнений*», нам не

о чем спрашивать. За ней чувствовалась — неопределенность, туман, романтизм голубой, из-за которого изредка подымались какие-то жуткие вывывания о «*врагах*», о «*борьбе*», «*сатанистах*».

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно.[169]

И — холодок пробегал: жуть, жуть, жуть!..

Тем не менее Анну Рудольфовну — боготворили: Петровский, я, Метнер, Сизов, Киселев, Христофорова, мама, Наташа Тургенева: та, как увидела Минцлову, — ахнувшим жестом каким-то присела к ногам ее (в аллегорическом смысле); Рачинский, косясь на нее, будто нюхая, дергал свой нос, заворачивал голову; и — суетливо схвативши мундштук, фыфафакивал в сторону целую мировую туманность, краснел, опуская свой голос на целую с лишком октаву (то — признак волнения); морщение носа однако — не означало еще осуждения, а колебание — между желанием чертыхнуться или вскочить с нервным вздергом плечей, поправляющих быстро подтяжки, и седокрасною головой доброглазо направиться, — к Минцловой; «Мельхисидек — фя-фя-фя... Царь Солима...[170] Первосвященник, — фя-фя. Урим-Туним[171] — фя-фя (фимиамы) — ...Брат с севера... Брат — фя — с востока... Я сам — фя-фя-фя — посвященный не по закону, а по — фя... благо- — фя-фя — ... Святися, святися... Вот я говорю архиерею... Когда бы пришел розенкрейцер ко мне — паф-паф — ... Я бы сказал розенкрейцеру: Пафф... Ты — брат — пафф — я — брат — пафф...» И придя в величайший азарт, он бы мне чего доброго мог благожелательно выкрикнуть:

— «Я ведь сам — пафф-паф-паф: чин Солима-то — знаю: паф-паф!»

И Метнер тут — морщился: требовал он в вопросе о «*братстве*» от всех, чтоб держали язык за зубами; и тут — распоясывались; отщелкивал Эллис словами; носилось святое жунденье Рачинского.

Метнер теперь изменился разительно; летом еще был «*Эмилием Карловичем*», или — «*другом старинным*»; теперь — но во-первых: вернулся он бритым; усы и бородка лицу придавали уютное, близкое что-то; теперь поражали: сухой подбородок и бритые щеки — испанца какого-то, сухо-презрительно сжавшего губы, выдавливающие просто черствость какую-то; может быть, борода и усы закрывали всегда эгоистический, черство-чувственный рот; как-то странно закрылись глаза (точно их подменил он); лазурные, с легким зеленым отливом, они рас-

крывались доверчивой ясностью; ныне же с выжидательным недоверием сосредоточенно сжалися неопределенного цвета глазенками, блистательно зажигавшиеся переливами гневного карналина; держался — прямее; выслушивал нас с деловитым вниманием, как выслушивает чиновник просителя: очень любезно, но... но... — никаких! Появлялся в приемный в свой час — раз в неделю; и... и... — никаких! Все же прочие сиживали в мусагетской гостиной, как в клубе: естественно, что и был «*Мусагет*», скорей, клубом, скорее, салоном идейных обменов: так с Эллисом волили; редко являлся сюда посидеть наш редактор, скрываясь в своем кабинетике, там принимая; потом норовил убежать; и почти он не знал молодых мусагетцев, свое ограничивая общение кругом ближайших сотрудников; дома же делался милым и прежним — почти; все ж, — как будто его подменили; пропала в нем солнечность; вычертилося производящее оторопь самообладанье сухое: редактор редактором!

Мы — разводили руками порою:

— «Не понимаю, Эмилий Карлович какой-то такой», — начинал очень нервно подварчивать Эллис...

— «Эмилий Карлович, знаешь... — со вздохом вперялся в пространство Петровский, — наложит тут veto»...

И начинало казаться: *Эмилий Карлович — перестал быть Эмилием Карловичем* (не тогда ли он стал заниматься «*психо-анализом*» всяким).[172]

Уже в декабре А. Р. Минцлова вдруг забила тревогу: какие-то странные толки о «*них*», кто за нею стоит, о «*врагах*», о походе на мрак: вооружение, упражнение; правда, порой «*Мусагет*» в своем внутреннем облике выглядел ратною ставкой; отряд собрался, но — не знал: дня приказа к военному выступленью; солдаты лишь знали, что где-то — «*враги*», и что где-то «*руно золотое*», которое надо добыть (в штабе — карты и планы); шепталися: объяснение плана кампании будет дано; упражнялись пока, но с ленцой. Несменяемый лагерь растет: маркитантами, лавочками и людом захожим; и так наш «*отряд*», разбивавший палатки полков «*Мусагета*», «*Орфея*» и «*Логоса*», рыл укрепление: подготовлялися книги, печатались книги, из волн корректур; появлялись кружки (молодой «*Мусагет*»), возникали и контуры будущих семинариев (есть уж доска, куплен мел). Вокруг всякого постоянного укрепления в мирное время растет население, не имеющее отношения к крепости: так в «*Мусагете*» повынырнул ряд посидельников; появились откуда-то вдруг знакомые Кожебаткина; и появились знакомые этих знакомых; и стало так людно, и густо от сборен и сиж — в двух лишь комнатках: в третьей, в редакторской, — мало сидели; об-

разовалися сростени человеческие: здесь — посидельня; там — стойня людей, посторонних; бывало, они: мелелякают — телелякают — талалакают: требушат (от растущего суесловия после уже заводились тут моли: диваны объели); росла на диванах тюфячья какая-то лень, поощряемая Кожебаткиным, блещущая секретарем «*Мусагета*», не могшим понять, почему мы, ближайшие люди редакции, были порой равнодушны к салону поэтов, являвшихся здесь; начиналося дело, печатались книги; казалось бы: тут и поддать! мы же ждали чего-то (не выхода книги, а «*минцлова*» знака) и знали, что наш «*Мусагет*» не есть крепость, — стоянка, быть может, случайная; и не внимали возникшей сидельне, стояльне, словесной жевальне, которую чествовал здесь Кожебаткин за свой риск и страх; удивлялся: ведь вот — Садовский, литератор известный; а он — не в коллегии; А. С. Петровский, не пишущий вовсе, — в коллегии: Минцлова эта — при чем?

И чащели звонки: то — миглявец с тетрадкой, сигач по редакциям (много таких сигачей): он — и здесь, он — и тут; ходит рюмой;[173] средь плевел, бывало, сидит Киселев: лицо — серпиком; выкрякнет что-то о плане издания Якова Бёме; и А. С. Петровский цветет центифольной розой; в углу — С. Бобров; перебросчиво словом он сцепится с Эллисом; все-то секретничает малоплечий распросливый Машковцев, тихо лаская рукой подбородок; сидит сердоболенкой; тут же хрипит с Кожебаткиным и — выедень зуба покажет; и любы ему пережуи словес, обсужденья шрифтов:

— «Елизаветинский, рональдсон, иль... рената?»

— «Ах, что вы — какая рената: латинский шрифт; кто же ренатой печатает?»

Метится цвет для обложки; сидят — Айзенштадт и Б. А. Садовской; Кожебаткин пенснейный, высокий, худой, с перекрученным усом, с не то кислосладким, не то терпкогорьким лицом, крякотцой дребезжит о шрифтах, уходя дожевать с Садовским или с поздно явившимся Шпеттом (когда разойдутся другие) словесную жвачку о книгах в родимую «Прагу»; и — ночь проконьячить.

Все то завелось очень скоро, как моль: приходили, сидели за круглым столом, на диване, куда подавался угрюмейшим Дмитрием чай в ручковатых не чашках, а — чашах (и мятные пряники к чаю). На все это Метнер, пришедший по делу, посмотрит проглядным укором; и «*сдыхи*» ноздрями пускает, решительное обнаруживая расстояние между собой и окурком этой бездельной сидельни негожих захожих; потом позовет в кабинетик редакторский; и голова, точно печь, распылается гневно глазами-огнями; и — бегает он в кабинетике:

— «Не понимаю я вас, господа... Как вы можете допустить это сборище вовсе не нужных людей... Кожебаткинская ассамблея...»

И — вдруг разблажится; и — разгибным своим станом показывает нетерпение:

— «Попробуйте-ка исправить вы переводы Льва Львовича: не переводы, а — черт знает что, — он разводит руками. — Какой-то сплошной, неотчетливый хаос... Нет-нет, господа: так нельзя».

Поперхнется, удавится мненьем: молчание это вполне отразится в глазах: смотрит сухо, поджатым «*редактором*», даже с испугом косяся на дверь — поскорей убежать.

Этой внешнею пепельной пылью захожих людей осыпался извне «*Мусагет*», вечно людный: роильня какая-то; так застоявшийся лагерь бывает обложен обозом; и — вдруг: раздается сигнал: «Выступление».

Все оживает.

В конце октября тот сигнал прозвучал: подала его Минцлова, вылепетывала суетливо-огромные космосы злободневности; она раздала упражненья.

И говорила мне:

— «Слушайте, Белый: должны вы теперь углубиться в работу контроля сознания; поезжайте в Бобровку: вам надо остаться совсем одному; и потом — в Петербург: для решения очень важных проблем».

И, должно быть, она подтянула других; так команда при звуке сигналов летит на места, разбирает оружие, строится; точно на душу мою излилась дезинфекция; все стало — чисто, серьезно и строго; подтянутость нас отразилася бессознательно на редакции: и бездельники все поисчезли; А. М. Кожебаткин уже не жевал с святохульником X, так вся моль исчезает оттуда, где белая соль нафталина.

. . . .

И — вот: я — в Бобровке с Петровским[174] (как в прошлом году), когда линия жизни ломалась; и — с тем же Петровским, который с Бобровкой меня повенчал; там — уютно: со мной корректуры печатаемого «*Символизма*»; с Петровским — Рейсбрук (в переводе Сизова); безжалостно чиркает он перевод, несравненный редактор для всех переводов; и — может быть: утонченнейший переводчик в России; его переводы из Бёме есть истинное сотворение языка Бёме — в русской транскрипции;[175] днем — мы работаем; в сумерках мы, расходясь, отдаемся строжайше заданной трезвой духовной работе: его и меня отослала ведь Анна Рудольфовна — в тишь: отдаваться работе; сидели — отдельно: темнело, синело, чернело за окнами; мы ж — отдавались сло-

вам, нам загаданным; Минцлова — передала нам слова, проходившие душами очень немногих длиннейшею цепью столетий; и вот — разверзалися образы, тихо сходившие в три измерения, — из скольких? — Рамзесу Второму, пророку Илье, Маккавеям, апостолу Павлу, Плотину, блаженному Августину, прекрасному Абеляру, Агриппе, Джордано, быть может, трезвейшему Новикову, доктору Штейнеру, Анне Рудольфовне Минцловой, нам: точно ключ, отворяющий тайну подхода к духовным мирам, — крепко действовала на меня *медитация* Минцловой: в тихой, в пустынной Бобровке.

Да, первая данная мне медитация — действовала: красотою своею; была так по форме мягка, так ласкательна, так фантастична: как сказка! Отдался я ей непосредственно: так отдаются мелодии Шумана — а была ведь обставлена рядом суровых условий (во время ее, — я был должен молчать: если б мать умерла, и меня б потревожили словом в минуты теченья ее, — я бы должен, отбросив и смерть моей матери, — только беззвучно повертывать спину от всех «*треволнений*» случайных); впоследствии только узнал: медитация эта — ответственна; сопровождалася упражненьем с дыханьем; дыхательные упражнения — лезвие; иль люди срываются в них к сумасшествию, или... к чахотке; иль — быстро взбираются к горному снегу «*пути посвященья*». Я понял поздней, что все методы Минцловой — сказочкой милою — подвести: к очень-очень рискованным опытам Иоги. И — да: человека она не ценила: «Будь ангелом» — говорила она; если ж в ангеле ты оборвешься, — ну: падай — до зверя! События времени уничтожают «*середку на половину*»; уже нет «*человека*» в недавнем значении слова; уже гуманизм превзойден; переживаем огромнейший кризис «*гуманистической*» эры, распавшейся в «*ангелическую*» эпоху, иль — в «*бестиальную*»; и порывала со Штейнером; «*Антропософия*» ей была бы враждебна.

И — да: расхожденье со Штейнером явственно выпирало из всех ее «*милых*» рассказов о докторе Штейнере; чувствовалось — снисхождение; говорила как бы: «Этот чудный единственный, замечательный человек — заблуждается; я была ученицей его, а теперь — я равна ему; встретила учителей — больше Штейнера: тот все печется о маленьком человеке, „*мои*" же (предполагалися руководители Минцловой) человека берут лишь в стремлении преодолеть человека»; ригоризм, доходящий до ужаса, подкреплял лишь смешок над критерием обыденного долга, который — для «*маленьких*», для «*недоросших*» до тайны пути; просто ужас валил на меня от ее мира этики (скоро уже я вполне осознал этот ужас); и — действо ее над душою — иезуитизм, столь враждебный для доктора Штейнера: максимализм своих требований к обы-

денному «homo sapiens», — мягко, ласкательно так подносился под формою сказок; из сказок рождались твердыни духовного опыта; и — мы карабкались (но — куда? к иезуитам?), ряд лиц, совершенно надорванных Минцловой, — должен бы был проклинать *преступленье* ее; между тем очень многие, явно отравленные синильною кислотой ее сказок, — доселе ее вспоминают: с блаженной улыбкою:

— «Анна Рудольфовна! С Анной Рудольфовной!.. Анна Рудольфовна нам говорила...»

Позднее, — у Штейнера, лица, которым я верю, о ней отзывалися так, приблизительно:

— «Эпилептичка, больная, несчастная! Форма болезни ее — шарлатанство; попавшая в руки сомнительных оккультических обществ, она есть такая же Харибда движения нашего, как атеизм, скепсис духа, есть Сцилла»...

И — некоторые штейнеристы решительно утверждали, что Минцлову, задурманивши, выкрали просто от Штейнера; и посадили в оккультный застенок.

Когда, через год, потеряли ее, то — грустили о ней; уходя, — говорила:

— «За мною — другие стоят: те — придут и помогут вам всем»...

Но слова эти — или обман, пред которым бледнеют другие обманы, иль лепет безумия окончательного. Чем была в своем подлинном виде она — сумасшедшею, дегенераткой, предательницей, мечтательницей, Сибиллой, хлыстовкой, преступницей? Это — осталося тайной для нас.

. . . .

Не забуду Бобровку — зимою начала 910 года.

Здесь жили с Петровским; и он разливал вокруг себя очень мягкий уют; небольшой, кареглазый, с умильной улыбкой, сидел он в пенсне, уронив свою голову в руки, руками обеими подпирая виски; и вперялся в каминный огонь, разведенный им только что: в русской рубашке, всегда выше талии подпоясанный, в черном своем пиджачке, в мягких туфлях; молчал: и поленья потрескивали; и — кровавые отблески мягко плясали во тьме тихой комнаты (кабинета отсутствующей постоянно Рачинской); две двери, как руки, открыто тянулись — во мраке, и шорохи смежных двух комнат, наполненных книгами, дневниками, портретами, креслами, шкафчиками 18—19 столетий. Казалось, что мы не одни; где-то — «*те*», кто — за Минцловой. «*Те*» представлялись мне образом, медленно выросшим в медитации.

Мне казалось: вели через комнаты трех измерений — к *окну*, открывшему виды иные (куда? в старину, иль — в иное пространство?).

Оттуда к окну приближалось *лицо* (мною знаемое до мельчайших штрихов): с бородою седою, с глазами строжайшими, в красном (порою в зеленом) берете; «*он*» видел оттуда сюда: как отсюда — туда — я тянулся к нему; «он» входил через душу мою в обыденность мою, претворяя мне будничный день (корректуры, писанье, статьи, план созданья кружков в «*Мусагете*»); «*он*» — стал даймоническим голосом мне; и однажды под сердцем мне екнуло что-то:

— «Да он — Раймонд Луллий!»

Меня инспирировал «*он*», отворивши мне дверь в свою келью; а «*дверь*» — медитация, Минцловой данная.

Часто — казалось: мы, вот, с Алексеем Сергеичем в креслах, а «*он*», из теней возникая, — подходит: за спинками кресел, в которых сидели, — стоит; мы — не двое: мы — «*трое*»; и он — «*розенкрейцер*», учитель А. Р., о котором она говорила, что будто бы есть у ней «*доктор*», учитель, который-де будто бы из Гельсингфорса приехал в Россию, встречается с нею в Москве (и нас знает); но это — не Штейнер (что Штейнер пред «*ним*»?). Этим мифом А. Р. нас кормила; и образ, увиденный мной, в медитации стал мне действительным символом очень таинственного «*кого-то*», для встречи с кем Минцлова нас всех готовит.

О всем этом думал я в кресле, поглядывая на Алексея Сергеича: он, уронивши пенсне и откинувшися спиной к спинке кресла, — протягивался глазами, губами и носом (каким-то стерляжьим) к камину; и мы перебрасывались словами о Минцловой; да, я не узнал, что в Петровском, утонченном скептике (звали его мы, шутя, очень часто — «*гасильником*») столько нежнейшей любви: жест его отношения к Минцловой — только любовь: сына к матери; если б сказала ему, показав пузырек нашатырного спирта, — «*вот это есть жизненный эликсир*», он бы, химик, поверил, сказавши:

— «Что знаем мы? Если она говорит „*эликсир*", стало быть, — эликсир!»

Говоря о ней, цвел нежной розой; лицо — розовело; казался — каплюшкой трехлетней. Любовь изливал на друзей, на чужих, на весь мир; долго он тихим светом любви своей к Минцловой тучи сомнений моих развевал; я же порою задумывался:

— «Не охвачены ль мы коллективным безумьем, гипнозом, способным всех нас с „*Мусагетом*", — вогнать в желтый дом, иль (что хуже!) — в какую-нибудь современную келью... почтеннейшей иезуитской коллегии?»

Взгляд на Петровского эти тревоги смирял; видел в нем, — как росток дал бутон, развернувшийся в чудную, нежную розу; и — чувст-

вовал: это цветение — праздник, вполне бескорыстный; и — Божий; где столько любви, там — нет страха.

Так стал он чудным цветком в эти дни; ароматом его доброго сердца — живил; мы дружили от 1899 года; но только теперь стали братьями мы; и обряд побратимства есть Минцлова; нет уж ее между нами, а он остается мне братом.

Бывало — сидим у камина: во тьме; перешептываемся о «*сказках*», приходят в столовую свет зажигать: стены вспыхнули там; и портреты задумчивых предков открылись; идем тихо ужинать; очень уютно: болтаем, расходимся.

Прожили так две недели.

. . . .

Москва.

Собираюся спешно в Питер (что ждет?); говорю с Э. К. Метнером; он — пленен «*сказкой*» (без «*сказки*» не мог бы он жить). Был же он дирижером сознаний; и коллектив человеческих душ представлялся оркестром ему; та душа — вьолончель; эта — скрипка, гобой; души складывал он в квинты, в терции, в кварты; гармонизация душ, оркестровка *мелодии*, хором сознаний, — вот тема интимная Метнера; думаю я, что идею о *братстве*, о «*ложе*» воспринял вполне музыкально; есть в жизни пьянисты, флейтисты средь просто людей; я, Петровский, он, Эллис, Сизов, Киселев, — конечно же, прирожденные музыканты; у каждого — звук свой, особый (все звуки ценил Э. К. Метнер); рождается — «*какофония*» из простой суммы звуков; их надо, естественно, гармонизировать, отделив музыкантов эстрадой от просто людей; «*ложа*», «*братство*» — эстрада такая для Метнера; где есть оркестр, там должно протекать исполнение: музыкальная тема, мелодия — необходима; и стало быть: должен же быть *композитор*; я думаю: Минцлову брал композитором он новой формы симфонии;[176] но оркестровка мелодии и проведение темы по душам взывает к *теории контрапункта*; где есть музыканты, где есть дирижер, композитор, там где-то таится профессор Танеев, знаток контрапункта, способный дать правила; этот профессор есть «*тот*», кто таится за Минцловой; так, вероятно, для Метнера «*путь*», «*розенкрейцерство*» — точный учебник теории ритма пути суммы душ, музыкально построенных; так, увлекаяся сказкою Минцловой (рыцари, храм, темплиеры), он требовал «правила»; или — теории музыки; Минцлову брал он мостом, — от слепительной импровизации «*темы пути*» к теоретическому проведению темы по душам: того «*проведения*» ждал он от тех, кто за Минцловой, Анна Рудольфовна — не удовлетворяла его, как учительница; мне он говаривал:

— «Анна Рудольфовна — да: замечательна, только — ... Она, вот, дает упражнения, вызывающие несомненные взрывы сознания... Тут вопросы встают: тьма вопросов... Как быть теперь с этим, иль с тем... А она — не умеет ответить... Я, знаете, почитал книги Штейнера, Штейнер — не Минцлова: сух он, в нем гения нет, нет фантазии... Он — дает меньше, но он отвечает за то, что дает; она — нет»...

Так для Метнера — Минцлова мост: поскорее за мост, через мост над рекой: к твердой почве «*пути*». «*Мост*» по Метнеру что-то задерживал нас. Твердой почвы как будто и не было — не было правил. И Метнера я понимал. Увлекаяся «*гением*» в Анне Рудольфовне, требовал он, чтобы «*гений*» стал трезвым учителем в первых шагах к «*посвящению*».

— «Бог знает что, — он взрывался в то время, — сплошной только хаос огромностей, изредка нам угрожающий подозрительным превращением в космос какой-нибудь узенькой, тиранической линии; это, свертевши всем головы, можно легко к безголовому восхищению привинтить, скажем, голову иезуитского ордена».

Более всех начинал беспокоиться он о характере тех, кого Минцлова укрывает до сроку от нас и к кому нас ведет.

Я его понимал в этой ноте; во мне шевелились вопросы: да, да — удивительны все результаты психического упражнения, ей данного мне; но они возбудили во мне рой вопросов; вопросы же эти А. Р. странно смазала (будто не время на них отвечать: ответ будет-де в будущем). Кроме того, я боялся тревоги ее; в эти дни волновалась ужасно; и вылепетывала непонятности; падала, иногда, в наши руки, барахтаясь в своем черном мешке; точно с ужасом вырывалась она из каких-то схвативших чудовищных лап.

Киселев оставался спокоен: ему было мило во всех темах Минцловой историческое, археологическое содержание: показательный точный «*музеум*» в истории им изучаемых культов, традиций; на «*ложу*», на «*братство*» глядел каталожным он оком; ведь души людей, изучающих путь посвященья, — заглавия книг, размещенных в каталоге «*Ритуалы, культы, традиции, ордена* от такого-то века до нашего времени». Составлял он «*Каталог каталогов*»; в этом «*Каталоге*» суть лишь — в заглавии, в номенклатуре, которая есть «*вещь в себе*», иль — оккультно таимый Палладиум; Метнер способен был самый Музей превратить в партитуру, где книги, предметы суть нотные знаки для звуков Симфонии, а Киселеву наверное звуки симфоний вставали томами огромнейшей библиотеки, где ряд полок — ряд тактов; и думаю: воспламенился он темой «*пути к посвящению*» лишь потому, что открылась

возможность пути жизни своей положить очень чистеньким томиком, переплетенным в такое-то братство, на полку такого-то века под ярлычком соответственным.

Метнер был подлинный гераклитианец: все брал становлением; а Киселев был элейцем: жил в ставшем.[177]

Такие вот мысли во мне подымались, когда собирался я в Питер, куда ехал Метнер, чтоб быть на концерте, который давал его ⟨брат,⟩[178] и чтоб быть у Иванова — по мусагетским делам; и — по «*нашему делу*»; открылося, — будущее всего «*братства*» зависит от частной причины: сумеем ли мы сговориться с Ивановым.

Мне лепетала она:

— «Понимаете: ведь Вячеслав — то лицо, о котором весной говорила я, — помните? Он — в Петербурге; в Москве — вы; а я — между вам двоими и „*ими*": такой треугольник, где каждый — единственен, незаменим».

Этот лепет смутил; и я думал:

— «Как будущее огромного дела, в которое мы положили зерно наших душ, повисает на ниточке дружбы с Ивановым»...

Ехал к Иванову — ближе его рассмотреть: был конец января.

«БАШНЯ»

Быт жизни «*башни*» — незабываемый, единственный быт; «*башня*» — название квартиры В. И. Иванова, помещающейся в выступе пятиэтажного дома, имеющего вид башни; внутри круглого выступа — находилась квартира, — на пятом, как помнится, этаже; по мере увеличения количества обитателей, — стены проламывались, квартира соединялась со смежными; и под конец, как мне помнится, состояла она из трех слитых квартир или путаницы комнатушек и комнат, соединенных между собой переходами, коридоришками и передними; были — квадратные комнаты, треугольные комнаты, овальные чуть ли не комнаты, уставленные креслами, стульями, диванами, то прихотливо резными, то вовсе простыми; мне помнится: коврики и ковры заглушали шаги; выдавалися: полочки с книгами, с книжицами, даже с книжищами, вперемежку с предметами самого разнообразного свойства; казалося: попади в эту «*башню*», — забудешь, в какой ты стране и в какой ты эпохе; столетия, годы, недели, часы, — все сместится; и день будет ночью, и

ночь будет днем; так и жили на «*башне*»: отчетливого представления времени не было здесь; знаменитые «*среды*» Иванова были не «*средами*», а — «*четвергами*»; да, да: посетители собирались не ранее 12 часов ночи; и стало быть: собирались в «*четверг*»; гостеприимный хозяин «*становища*» (Мережковские называли квартиру Иванова — «*становище*» Вячеславово) появлялся из спальной — к обеду часов эдак в 7; до — лежал он окутанный одеялами, пледами и забросанный корректурами на постели-диване, работая с 4—5 часов дня и отхлебывая чернейший, его организм отравляющий чай, подаваемый прямо к постели — часа эдак в три; до — не мог он проснуться; Иванов ложился не ранее 6-го, 7-го часов (утром); и гости его ложились не ранее; часто с постели он выходил к обеду, в столовую, а подавали обед в семь часов; Э. К. Метнер, проведший со мною на «*башне*» лишь два только дня, — не мог выдержать эдакой жизни; сбежал со «*становища*», совершенно измученный; жизнь такую выдерживал я — недель пять; возвращался в Москву — похудевший, зеленый, осунувшийся; но — возбужденный «*идеями*», выношенными с Ивановым многочасовыми, ночными и, главным образом, утренними беседами.

«*Башня*» казалась мне символом безвременности; а сама повисала над «*временем*», над *современностью*: над Государственной Думою, возвышаяся с Таврической улицы и угла какой-то другой (не упомню какой, выходящей Кавалергардскою, где проживал Н. В. Недоброво,[179] наш общий с Ивановым собеседник, любимец: его — почитали мы).

Обитатели башни: ко времени моего появления жили здесь (в разнообразнейших, причудливых закоулках квартир): сам Иванов, М. М. Замятина (друг покойной Зиновьевой-Аннибал), В. К. Шварцалон (дочь от первого брака покойной жены его, падчерица), Л. В. Иванова (дочка Иванова); появлялися: сын В. И. Иванова — кадет Сережа;[180] С. К. Шварцалон, — сын Зиновьевой-Аннибал (от первого брака); тут жил и писатель Кузмин, занимая две комнаты лабиринта и принимая гостей своих, собственных, часто ночующих в гостеприимном «*становище*» Вячеславовом (помнится — в 1910 году часто являлся в час ночи Н. С. Гумилев, проживающий не в Петербурге, а в Царском); и постоянно в становище ночевали: А. Н. Чеботаревская, А. Р. Минцлова; и — другие; неделями кто-нибудь вечно здесь жил: я, Степун, В. Нилендер и многие.

Чай вечерний в «*становище*» подавался не ранее полуночи; до — длилися сепаратные разговоры: в частях лабиринта квартир: у Иванова, помню, торжественно заседает совет петроградского Религиозно-Фило-

софского О-ва (Столпнер,[181] Д. В. Философов, С. П. Каблуков, полагающий в совершенной рассеянности, что у петуха есть четыре ноги: это раз-таки высказал он); иль посиживает Протейкинский, или заехавший в Питер Шестов, или кто-нибудь, близкий Иванову: Бородаевский, Недоброво, иль сектант, иль поэт и т. д.; у В. К. Шварцалон, в эти годы курсистки и ученицы Зелинского, заседает щебечущий выводок филологичек; у Кузмина заседает в то время возникший журнал «*Аполлон*»;[182] и у меня, в отведенной мне комнате, кто-нибудь — заседает всегда: до 12 часов ночи; в двенадцать вся публика высыпает в столовую: Религиозно-Философское О-во, курсистки Зелинского, «*аполлоновцы*» Кузмина и мои посетители; начинается общая беседа за чаем; и ставится: огромных размеров бутыль легкого белого вина, распиваемая гостями; часам этак к двум часть сидящих — расходится; В. И. Иванов, напоминающий дома мурлыкающего кота, потирая уютно какие-то зябкие руки и встряхивая золотою копною мягчайших волос, упадающих на сутулую спину, — затягивается папиросой, оглядывает лукаво меня, Кузмина или Минцлову; и — обращается ко мне с заразительно шутливою просьбой:

— «Ну, ты, Гоголек, — начинай-ка московскую хронику». —

Звал он меня «*Гогольком*» за мое будто бы сходство с Гоголем; а «*московскою хроникою*» называл — юмористические рассказы мои: о событьях жизни Москвы (инцидентах — со мною, иль с Эллисом, или с Рачинским, иль с Брюсовым); чаще рассказывал я ему о событиях старого времени: о детстве и об отце, математике, жизнь которого столь богата была очень трогательнейшими странностями; рассказывал: о старых деятелях Университета, которых когда-то я знал (о С. А. Усове, Троицком, Стороженко, Ключевском, Буслаеве, Гроте); меня подмывало: юморизовать; вид Иванова, рассевшегося на диване (в накидке), — располагал очень к «*шуткам*»; усаживался, для уюта, я на ковре; и принимался: переплетать действительность с шаржами; взвизгивал заразительным смехом Иванов; «*московская хроника*» длилася — час или два, осушались стаканы вина; М. М. Замятина озабочивалась о *втором* самоваре. Или же: мы обращалися к Кузмину:

— «Михаил Алексеевич, ну-ка — сыграйте-ка, спойте-ка...»

И Кузмин препокорно усаживался за рояль, чтобы петь, петь и петь стихотворения свои, к которым писал он, по-моему, очень хорошую музыку;[183] надтреснутый хриплый голос передавал совершенно чудесно стихи; я особенно часто к нему приставал, чтобы спел он: «О милые други, дорогие костыли: к какому раю хромца вы привели».[184] Или: «Стукнул в дверь. Отверз объятья. Поцелуй и вновь и вновь, посмот-

рите, сестры, братья, как светла наша любовь».[185] Бывало, засядет и — запоет: до 4 часов ночи.

У В. И. Иванова блещут глаза; и часов эдак в пять он уводит меня, или Минцлову, или двоих нас в оранжевый свой кабинетик; и происходили в оранжевом кабинетике удивительные беседы с хозяином; да, он взрывал обыденность; и наиболее интимные мысли о Боге, о символизме, о судьбах России вставали мне здесь, в кабинетике, особенно, если присутствовала при них Минцлова: *наш общий друг* (в эти месяцы); эти беседы тянулись часов до семи; после же В. И. Иванов будил прикурнувшую в смежной комнате М. М. Замятину, осведомляяся с добродушной опаскою и просовывая юмористически нос, весь какой-то прищурый, сутулый, слабый, напоминал он кота, изогнувшего спину.

— «Нельзя ли — яишенки: а нельзя ли вскипятить воды к чаю?..»

В семь часов появлялась «*яишенка*». А к 8 — расходились, отведав яишенку; и запив ее чаем.

И так — день за днем; попадая на «*башню*» на три, на четыре лишь дня, — проживал недель пять; и безумная, но такая уютная жизнь, — отнимала последнее представленье о времени; гостеприимный хозяин же придирался к любому предлогу: продлить пребывание «*гостя*» на «*башне*»; так «*гость*» превращался, естественно, в обитателя «*башни*»; казалось: уехать отсюда, вернуться в *действительность* (т. е. в пространство, во время, в Россию, в такой-то вот год) — невозможно.

А утро на «*башне*»? Верней, что «*дни*», — потому что ведь ранее часу я здесь не вставал; попадал я к кипящему самовару в столовую, смежную с комнатами Кузмина; очень часто Кузмин, расположившийся у стола с своей рукописью под самоваром, бросал свою рукопись, наливая мне чай; очень-очень уютный, домашний, в просторной рубашке, помалкивал, слушая разговоры мои; потом снова склонялся над рукописью (под самоваром); на «*башне*» он был — очень-очень домашний, простой; и другой был в подтянутом «*Аполлоне*»: враждебный, чужой, занимающий полемическую позицию по отношению к нам, символистам; позиция «*Аполлона*» была нам чужда; В. Иванов, бывало, корил его дома за лозунг «*прекрасная ясность*» (заглавие статьи, напечатанной им и задуманной косвенно против нас);[186] все Иванов журит Кузмина; тот — лишь ежится да отшучивается, слегка шепелявя и стряхивая пепел:

— «Да что вы?.. Да нет!..»

А потом, втихомолку, скрывается: где Кузмин? В «*Аполлоне*», — вдобавок в рецензии, там им написанной, снова откроются едкие выпа-

ды на символистов; на Михаила Алексеевича очень сердился порою Иванов; ведь вот в самом деле: живет ведь — тут, вместе, выслушивает головомойки, не возражает, почтителен, а полемика с символистами — длится. В. И. полагал: Кузмина он на «*башне*» спасает от... акмеизма, готового уже объявиться; Кузмин не оправдывал ожиданий В. И.: не спасался, а утверждался в своей легкомысленной и кокетливо-вызывательной ясности; из «*Аполлона*» порою предерзко он нас, ветеранов, глашатаев символизма, продергивал за «*дионисические*» туманы. Порою Иванов устраивал ратоборства (ну, кто кого — Аполлон Диониса, иль Дионис Аполлона?). И с приходящими на башню С. К. Маковским, В. А. Чудовским и особенно с Гумилевым сражался. Бывало: В. И. весь взъерошится, покраснеет, забьет пальцем в стол и покрикивает громко в нос (негармоничными, скрипными нотами, напоминающими петушиные крики); наскакивает на чопорно стянутого Гумилева, явившегося к часу ночи откуда-то — в черном фраке, с цилиндром и в белых перчатках, прямо сидящего в кресле, недвижно, невозмутимо, как палка, с надменно-бесстрастным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; Гумилев отпарировал эти наскоки Иванова не словами, скорей — своим видом; Иванов же — втравливает в «*свару*», бывало, меня; я — поддамся; и начинаю громить «*аполлоновскую*» легкомысленность; после дружно мы все распиваем вино.

Не забуду я одного разговора: В. И., очень-очень лукаво расхаживая пред Н. С. Гумилевым, — с иронией пускал едкости, что, мол, вот бы вы, Н. С., — вместо того чтобы отвергать символистов, придумали бы свое направление, — да-с; и подмигивая, предложил сочинить мне платформу для Гумилева он; я тоже начал шутливо и, кажется, употребил выражение «*адамизм*»; В. И. тотчас меня подхватил; и — пошел, и пошел; выскочило откуда-то слово «*акмэ*» (острие); и Иванов торжественно предложил Гумилеву стать «*акмеистом*». Но каково же было великое изумленье его, когда сам Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив нога на ногу:

— «Вот и прекрасно: пусть будет же — „*акмеизм*"».[187]

Вызов принял он: и впоследствии «*акмеизм*» появился действительно.[188]

В. И. всегда принимал Гумилева; и кажется, несмотря на наскоки, любил Гумилева. Так, споры на «*башне*» с враждебными аполлоновцами носили совсем благодушный и мирный характер в то время.

Мне из бывавших на башне — запомнились: проф. Е. В. Аничков, Тамамшева, сестры Беляевские, вечно спешащие с лекций на лекции и записывающие в книжечки изречения «*известных*» людей, Столпнер,

С. П. Каблуков, В. П. Протейкинский, В. В. Бородаевский с женою, Н. В. Недоброво с женой, Гумилев, Княжнин, А. Н. Чеботаревская, А. Р. Минцлова, Пяст, Скалдин, св⟨ященник⟩ Агеев, С. М. Городецкий; появлялися: поэтессы, поэты, философы, богоискатели, корреспонденты, сектанты; бывал пролетарский писатель Чапыгин, бывал Пимен Карпов; и постоянно являлся с почтеннейшим видом массивный Ю. Н. Верховский, ужасно любивший Иванова, — читать антологии; здесь я видался с Шестовым, с Аскольдовым, с Ремизовым, с проф. Лосским, с Ивановым-Разумником.

В. И. Иванов живет в моей памяти: удивительным человеком эпохи. Наружность?

Когда познакомился с ним, он имел вид профессора, провинциала немецкого, сохранившего традиции первой половины истекшего века; носил он усы, рыжеватые, производящие впечатление жестких. Впоследствии помню с бородкой его, чуть раздвоенной, белольняной, производящей контраст с красноватыми и покрывающимися красными полосами щеками; пенсне сотрясалось на выгнутом носе, орлином и собирающемся клюнуть в то время, как губы, змеясь, обволакивали собеседника медовыми такими словами всепонимания и тонкости до... «*чересчур*»; вдруг та тонкость рвалась; и выступал из-под нее ригорист, схематизатор, которому всепонимание нужно для того, чтоб поддеть; было что-то в В. И. от идейного иезуитизма: вся гибкость его мне порою казалась приемом: пробраться в интимные закоулки чужого сознания и выволочить оттуда «*основы чужого миросозерцания*», чтобы из них строить мост к себе; чтоб кого-нибудь «*покорить*», начинал агитировать он; и идейно порою пускался в интриги (так: чтобы поддеть «*аполлоновцев*», сам, старый дионисиец, «*аполлинизировал*» с ними; и проникал в стан враждебный; и — «*чтился*» весьма там; со мной — похохатывал). Должен, однако, сказать, что «*интриги*» Иванова были всегда бескорыстны, напоминая мне похождения с «*переодеванием*» (ради забавы), раз мы все нарядились: Иванова нарядили восточным пашой; и сидел он в огромном тюрбане; у В. Иванова была бескорыстная хитрость; и бескорыстное желание: нравиться; вот, бывало, он знает, что в комнате сидит идеологический враг; так вот к нему и притянется, и подседает — запеть:

— «Я, собственно говоря, не столь чужд уже вам».

И найдет непременно пункт сходства: не успокоится, пока — не пленит (многие называли Иванова «*идейною*», метафизическою кокеткою); помню, что раз, рассердившись, воскликнул я: «Да, Вячеслав, переехав в Москву, снял квартиру теперь в *Православии*; и прекрасно

устроился в ней, как устраивался некогда он в мистическом анархизме»... Но я — был неправ; ведь неспроста квартиру Иванова называли «*становищем*»: у него побывали жильцами — все, все. И не он снимал «*комнаты*» в Православии; наоборот: в этом путаном лабиринте квартиры «*обитателей*» было столь много; бывало же так: в кабинете В. И. заседает священник Агеев, а в комнатах Кузмина в то же время сидит Гумилев; да, Иванов сдавал всем «*квартиры*». Бывало, нацелится на собеседника, вознамерившись и его «*точку зрения*» превратить в «*точку*» линии «*ивановских*» взглядов; так вкрадчиво потирает какими-то обессиленными руками своими; и — помню, сжимает их; сотрясается на выгнутом носе пенсне, замотавшись тесемочкой; и лоснятся безбровые бровные плоскости; под стекольными глянцами очень внимательные и прищуренные глаза поблескивают душевными сысками и зеленоватыми искрами; зорко и вдруг отстранится от собеседника, не доверяя доверию; и потом зашагает: слетает пенсне; васильковые, ясные, добрые глазки совсем разыграются: вот и поверил, что — верят, что — «*победил*».

Лицо — плоское, очень широкое; лицо лоснилось; лоснился лоб: лоб огромных размеров (не «*лобик*», как у Д. С. Мережковского); лицо — русское, если бы не змеиные губы, с полуулыбкою леонардовских персонажей; когда он позднее обрился, то стал — смесью Тютчева с Моммзеном; когда носил бороду, то... чуть-чуть... — простите за выражение — «*христосился*» он (по Корреджио):[189] сантиментально, вздыхательно; этот «*аспект*» в нем казался всегда подозрителен, как... кольцо с пентаграммою, которое он невзначай в разговоре как бы подносил собеседнику вместе с копной золотых, очень мягких и вьющихся взлетных волос; это все схватил Сомов;[190] посмотришь на сомовское изображение В. Иванова и воскликнешь: «*Сидит раскрасавец!*» А он был совершенно отчетливо не-красив; именно «*некрасивость*»-то шла к нему; «*раскрасавец*», «*Христов*» — это беглый налет, пробегавший по умному и некрасивому лику, казалися мне «*авантюрою*», переодеваньем Иванова.

Волоса отпадали на вечно сутулую, старомодную спину; бывало, посмотришь; и — скажешь: фигура «*неспроста*»! Да, странное сочетание простоты и изысканности; вкрадчивость, подкуривающая фимиам; и — вдруг: резкость, безапелляционность; бывало, побагровеет и примется в нос он кричать, неприятный и злой: станет жутко; кричащая эта фигура, томительно спотыкающаяся о ковры, была жуткой химерою; скоро он отойдет, засутулится, улыбнется, прольет незабудки из глаз, выведет из кабинета, усадит за стол, распивает вино; хорошо и уютно: вновь — добрый, вновь — ласковый.

Случится то, чего не чаешь...

Ты предо мною вырастаешь —
В старинном черном сюртуке,
Средь старых кресел и диванов,
С тисненым томиком в руке:
«*Прозрачность. Вячеслав Иванов*».

Моргает мне зеленый глаз,
Летают фейерверки фраз
Гортанной, плачущею гаммой:
Клонясь рассеянным лицом,
Играешь матовым кольцом
С огромной, ясной пентаграммой.

Нам подают китайский чай.
Мы оба кушаем печенье;
И — вспоминаем невзначай
Людей великих изреченья;
Летают звуки звонких слов,
Во мне рождая умиленье,
Как зов назойливых рогов,
Как тонкое, петушье пенье.

Ты мне давно, давно знаком —
(Знаком, должно быть, до рожденья) —
Янтарно-розовым лицом,
Власы колеблющим перстом
И длиннополым сюртуком
(Добычей, вероятно, моли) —
Знаком до ужаса, до боли!

Знаком большим, безбровым лбом
В золотокосмом ореоле.[191]

Я любил его дома в уютной и мягкой рубашке из шерсти, подобной рубашке А. А.; и любил я его в колоссальнейших ботиках, утопающим в шубе на лисьем меху, в малой котиковой шапке; в таком виде его проглядывало поповское что-то, когда мы садилися в саночки, отправляясь на заседание Религиозного общества; я имел вид псаломщика, веро-

ятно; В. И. — вид «*старинного батюшки*» (в шубе старел он); и глядя, как В. И. усаживался, занимая шубою саночки, как застегивал полость, — со стороны бы сказали: «*Ну вот, — повезли попа: службу справлять!*» И действительно: редкие выезды в гости Иванова (редкие, потому что все езживали в «*становище*», где он исповедовал), — редкие эти выезды всегда имели меткую цель: провозгласить, «*совершить*» обряд заседания, заключить союз, образовать группу: словом, — службу «*справлял*» он; и как же было уютно вернуться с ним после «*на башню*»; и там, веселясь заключенным союзом, представить все в лицах: как Иванов «*служил*», как «*подтягивал*» с клироса я и т. д.

Он был огненный, удивительный, зоркий: отчетливо он проницал собеседника, перевоплощаясь в него; он из каждого каждому продиктовывал нужные каждому смыслы; это умение перевоплотиться в захожего человека и делало его чарователем, чуть не учителем жизни: ответственным «*мэтром*» — поэту; и «*пастырем*» — богоискателю; великолепно с поэтами он рассуждал о пэоне втором и четвертом; с богоискателем — о непорочном зачатии; оба оспаривали друг друга: «Иванов-де главным образом лирик». — «Нет же, позвольте: теолог!» Священник Агеев, ходивший к В. И., ничего-то в пэонах не смыслил; и ничего-то не смыслил в богоискательстве Юрий Верховский; Иванова слушались оба; он — радовался: «*победам*»!

При более близком знакомстве он делался очень придирчивым, испытующим, соблазняющим собеседника; «*психологическим*» *сыском* пронзал он не раз и меня; становилося — трудно, ответственно; многие В. И. ненавидели, — из-за этого, мучительного аспекта его; кто же знал его еще ближе, — всегда поражался его бытовой, умной легкостью, непритязательностью и умением изливаться уютом. Иванов, дотошно сверлящий своим мирозреньем людей и настойчивый (до настырности), — превращался в легчайшего человека: в быту своем, в «*башенном*»; лишь поселившись на «*башне*», — я понял его как добрейшего, милого хозяина «*башни*».

Под пологом этой уютненькой жизни скрывалась другая, тяжелая; поясом бурь я бы назвал ту зону общения, где выступал треугольник — «*Иванов*», *я*, *Минцлова*; трудно сказать, что вскрывалося в этом мучительном пребывании вместе; попробую все же характеризовать; ведь положено было: Иванов и я образовываем с А. Р. средь «ядра» долженствующего образоваться в Москве, в Петербурге «оккультного» братства — второе ядро: «*центр центра*»; а «*те*», кто был должен стоять уже за нами, руководя, ритмизируя действия, стало быть, превращалися

в «*Центр центра центра*»; и «*центр центра центра*» протягивался в неизвестность; иерархическое строение «*братства*» не соответствовало бросаемым лозунгам о свободе; ведь в неизвестности могли прятаться «*темные*»; Минцлова строила все на доверии; и появление ее среди нас было встречено нами доверием; я ведь и сам пришел к мысли о «*братстве*»; «*ядро*» москвичей, до свидания с Минцловой, стало естественным братством; мы знали друг друга — в годах; мы сошлися под знаменем «Арго»; мы были свои друг для друга; доверие, понимание и любовь — все то было естественным чем-то меж нами. И если бы Минцлова опиралась на Москву, мы могли бы сказать: Братство есть.

Но подставляла вдруг она мне как самого близкого брата — Вячеслава Иванова, долженствующего основать в Петербурге «*ядро*». Как бы я ни любил его, ближе увидевши его, — все же был он для меня и для всех — «homo novus»;* и годы полемики нас разделяли; и кроме того: в Петербурге такого «*ядра*» я не видел; движение наше, московское, становилось под знак отношения к Вячеславу Иванову; создавалось — неравновесие. В. Иванова я полюбил, но я видел, что он, принимая от Минцловой много узнаний и формул оккультного мира, с узнаниями этими дилетантски играет; а Минцлова дилетантизм — покрывает ответственностью; Э. К. Метнер, отнесшийся к «*братству*» серьезно и уважающий Вячеслава Иванова как мыслителя и желательнейшего сотрудника (даже и в иных отношениях и руководителя) «*Мусагета*»,[192] — не мог выносить: дилетантского отношения Иванова к эсотерическим истинам, преподаваемым Минцловой; видел отчетливо он, что Иванов порою играет в салоне своем с тем, что он получает от Минцловой, очень кокетливо он эзотерикой щеголял, точно пудрой кокетка; перед являющимися благоговейно на «*башню*» к учителю Вячеславу Иванову; так, например: неизвестно зачем он носил на руке своей перстень с огромною пентаграммою; и — так далее; Метнер, схватившись за голову, говорил:

— «Нет, послушайте, — выделение вас от всех „*нас*", москвичей, и вменение вам, чтобы вы в общем деле упорнейше становились под знак честолюбия Вячеслава Иванова, — это меняет все; Минцлова, вместо того чтобы нас приготовить для встречи с учителем, сперва как-то сгибает под иго Иванова, точно учитель — Иванов; я не знаю, какие такие стоят розенкрейцеры где-то за нею; но знаю, что подлинные розенкрейцеры не могли бы принять В. Иванова, превращающего путь посвящения просто в „*косметику*" для статей своих... Минцлова,

* Новый человек (*лат.*).

вместо того чтоб его обрывать, откровенно кадит фимиам; если верно, что Минцлову выслали в мир силы света, то должен сказать, что она своей слабостью к слабостям Вячеслава Иванова испытывает терпение этих сил».

Еще он высказывал:

— «Нет, Борис Николаевич, — запомните: если Вячеслав Иванов станет, так сказать, лидером нашим, то я, как бы я ни оценивал дарований его и А. Р., — я скажу: нет и нет!.. Не пойду я на братство такое...»

В словах Э. К. Метнера слышал я отклики мыслей интимных моих (их пока я скрывал); недоверие к словам Минцловой крепло; и горестно обнаруживалось, что во многом была А. Р. Минцлова более слабая, чем пасомые ею мы, овцы; ее гениальные сказки о тайнах пути стали частью обертываться «*кликушеством*» очень больного сознания, как бы полоненного кем-то.

А. Р. — заболела и растерялась, запутав нас всех в свои бредни, — вот лейтмотив Петербурга; я наталкивался на глубокое недоумение Вячеслава Иванова; он, как и мы, горевал, усумнился; он как бы и все-таки пользовался недержанием «*тайн*», ей завещанных кем-то (коль и был этот «кто-то»); А. Р. представлялася часто какой-то дойной коровою; и В. Иванов выдаивал Минцлову; этакое отношение к «*учительнице*» мне казалося странным.

Что в Минцловой вместо «*учительницы*» проявляется только страдающая каким-то мистическим Friedrich heraus,[193] становилось ясней и ясней, и мрачный ставился вопрос: кто за ней? Штейнерианцы смотрели с испугом на Минцлову, утверждающую про себя, что она-де равна посвященным, что самые «*старшие*» посвященные правят путями ее; эти «*старшие*» беспокоили — меня, Вячеслава Иванова, Метнера: есть ли «*они*» (может быть, «*они*» — миф сумасшедшей?); и коль есть, то — откуда они? может быть, забарахталась Минцлова в чьих-нибудь «*лапах*»; тогда эти «*лапы*» через нее протянулись за нами? И Метнер, и я — мы висели над страшным вопросом: Иванов — тревожился.

Вместо внятного разъяснения роли своей как посредницы между нами и представителями пути посвящения, из ее безумеющих уст излетали все более и более дикие сказки — «*о жизненном эликсире*», который-де будем хранить она или мы, о демонах, воплотившихся в сатаническом обществе, собирающемся погубить; и на лице ее проступал ужас мрачный: да, да, — демонисты гонялись за нею; казалось порой: не она нас «*ведет*», — мы спасаем ее от чудовищных лап, из которых она выбарахтывалась.

И у меня, и у Метнера сердце сжималось:

— «Довольно!»

А Вячеслав был доверчивый; верил: она оделяет оккультными благами; пусть зашатались в устоях, и все же: ее сообщения использовать; это меня возмущало порой.

Да, Минцлова нам задавала трагедии в этот период: я видел, что кроме вопроса «*пути*» между ней и Ивановым возникала какая-то драма; Иванов какие-то автономии требовал: пусть-де она передаст свои знания; он-де пересмотрит, как с ними жить: Минцлова ставила ультиматумы: пусть-де В. Иванов изменится, — и тогда она скажет; и чувствовал я: в сложных «*прях*» я — сторонний; так все происшествие смахивало все более на авантюру какую-то; Метнер меня укреплял в этой мысли.

Мы с ним говорили, что Минцлова — просто попала меж молотом и наковальнею: молот — какое-то «*братство*» (Бог знает какое); а «*наковальня*» — ее склонность к Иванову.

Под уютным и изысканным башенным кровом таилась трагедия: «*быть*» иль «*не быть*» нашим песням о новом пути; сознавал, что «*мистический треугольник*», подставленный Минцловой, — чужд: Метнер прав!

Это было трагедией настоящей: вступить на пути, данные Минцловой медитации действовали, и быть брошенным в подозрительную политику вокруг «*тайн посвящения*». Стиснувши зубы, присутствовал я при учащавшихся ссорах Иванова с Минцловой — в том оранжевом кабинетике, где висел Пиранези; бывало, сидишь в черном кресле, а Минцлова в «*черном мешке*» завязает напротив в таком точно кресле, выкрикивает профетическим голосом что-то (в ней мифы мешалися с явью), тяжелою «*каменной бабою*» выбарахтываяся из кресельных ручек, не то — из ее обхвативших весьма подозрительных лап и вперяяся ужасом серых, бездоннейших глаз; и я — думаю: «Святая?» — «Быть может!» — «Преступница?» — «Может быть!» В. И. Иванов, отвесясь рукой с папиросою, протянувшись сутуло орлиным, клюющим нас носом и удивляя просвеченным, прохудевшим лицом, подвигаяся в трудной натуге по комнатам, перещупывает подошвой ковры, чтоб ногой не проткнуться; то он останавливается и, потрясая белесою, перекисноводородной растительностью, выкрикивает:

— «Коли так, — я пойду самочинным путем!.. Я скажу розенкрейцерам вашим!»...

А Минцлова ужасом стынет из кресла; и кажется «*каменной бабою*» среди нас, опоздавших явленьем на свет — на три тысячи лет;

приставляет к «*глазенкам*» опухшей рукою пенсне, упадает рукою на кресло; слетает пенсне на опухший живот; голова принимает квадратную форму; глазенки же пучатся: и становятся просто колесами, которые исступленно-болванно (не то — серафически) катит в рисунок стенной Пиранези на желто-оранжевом фоне стены; и — потом: истерически рвется из кресла — навстречу Иванову, простирающему ей худые дрожащие руки:

— «Я, Анна Рудольфовна, — не отступаю; но... но... И „*они*" же должны гарантировать...»

Стремление толстой женщины, бударахтаясь, выпрыгнуть из мешка...

Нет, — тяжелые сцены!..

Больная, больная!..

И — вот она, слава Богу, уехала, нас оставив, — в Москву,[194] где не ждали ее: Метнер и некоторые аргонавты, и «*кто-то*», стоявший за нею, приехавший будто бы из-за границы и ожидающий, когда будем готовы мы, чтоб передать нам традиции древнего посвящения.

В «*кто-то*», увы, — я не верил уже, понимая: стремление к свету и к братству, в нас вызванное, оборвано: в пропасти скепсиса, зияющие.

. . . .

В разговорах с Ивановым все-таки крепло сближение: в одинаковом понимании религиозно-философских задач; и отсюда же — в одинаковом понимании символизма; падало разделение на «*Скорпион*», на «*Оры*» (Москву, Петербург): в «*Мусагете*» встречались мы вновь. Э. К. Метнер, бывавший на «*башне*», присутствовал при многих беседах, оформливая вступление Иванова в «*Мусагет*»; и с другой стороны: сам Иванов, державшийся Блока и посвященный в детали печального расхождения нашего, все-то усиливался меня примирить с А. А. Блоком; по отношенью к А. А. в этом все же успел он: и намечался идейный союз нас троих (символистов): я, Блок, Иванов; ликвидировалась «*полемика*».

«*Весы*» — кончились.

А. А. все-таки со мной не встречался; в одном инциденте, происшедшем со мною, он мужественно за меня заступился; я был благодарен ему.

Миротворное действие В. Иванова на меня и на Блока сказалося после моего отъезда; в апреле 1910 года в «*Обществе Ревнителей Художественного Слова*» А. А. прочел свой доклад «*О символизме*»;[195] докладу я радовался; чувствовалось: пора ликвидировать ссору.

В тогдашний приезд раз только наткнулся я на А. А.: на вечере памяти Коммиссаржевской,[196] с которой осенью 1909 года я очень сошелся

и, казалось мне, — прочно; а через месяца полтора уже смерть к ней придвинулась;[197] мы столкнулися в лекторской: я, Г. И. Чулков и А. А. Блок; с Чулковым же мы не здоровались; и трое мы шагали по комнате в разные стороны, стараяся не глядеть друг на друга.

В эти дни я прочел свои лекции в «*Обществе Ревнителей Художественного Слова*»; лекции происходили в помещении редакции «*Аполлона*», на Мойке:[198] председательствовал С. К. Маковский; после лекции были прения, в которых принимали участье: проф. Е. В. Аничков, проф. С. А. Венгеров, В. И. Иванов, В. А. Чудовской, К. К. Кузьмин-Караваев,[199] Маковский и, кажется, Гумилев; читал я о ритме; и кроме того: читал лекцию «О драмах Ибсена» в Соляном Городке;[200] и другую — в Религиозно-Философском О-ве (я не помню о чем).[201]

Начиналась весна: таяло...

В последние дни моего петербургского пребывания у нас с В. И. крепла мысль: вместе ехать в Москву и отпраздновать вступление его в «Мусагет»: в «Мусагете» же. В слякотный день мы поехали; — на другой день Москва охватила.[202] Остановился В. И. в помещении редакции «Мусагет»; принимал и знакомился ближе с кружком «*Мусагета*» (с Петровским, с Сизовым, с Н. П. Киселевым, с В. О. Нилендером); потянулись паломники к мусагетскому гостю; он только кончил «Rosarium»,[203] переводил «*Гимны к Ночи*» Новалиса, которые «*Мусагет*» должен был напечатать (увы, не сбылось это: переводы Иванов не удосужился отработать на протяжении ряда лет);[204] в «*Мусагете*» устроили вечер; В. И. там читал переводы свои.

Появление Вячеслава Иванова в «*Мусагете*» имело два смысла: решительно он проявил интерес к «*Мусагету*», вступая с ним в тесный союз и занявши позицию в тройственном сочетании («*Мусагет*» — «*Орфей*» — «*Логос*»); конечно, «*Орфей*» всего более говорил Вячеславу Иванову; он примкнул к Киселеву, к Петровскому, стал нажимать на «*Орфей*», раздувая его в пику «*Логосу*», на который Иванов косился к неудовольствию Метнера, определившего свои симпатии к «*Логосу*», что и понятно; ему было горько, что сказка его (музыкальная тема гармонии душ и интимного братства) так больно теперь опрокидывалась из-за Минцловой, из-за Иванова даже; с другой стороны, он Иванова очень ценил, дорожа его связью с редакцией и восхищаясь стихами «Rosarium'а»; кстати сказать, весь «Rosarium», полный крестами и розами, есть отражение Минцловой, многие строчки и многие истины книги — транскрипция слов А. Р. Минцловой; то же во многом в «Cor Ardens»: горящее сердце и вся диалектика «*сердце — солнце*» — лирическая импровизация Минцловой, в свою очередь, весьма-таки

черпавшей из учения Штейнера, ей отвергаемого. Многие мысли статей Вячеслава Иванова суть модуляции тем, обсуждавшихся с Минцловой.

Должен сказать, что ко многому в стихотвореньях «Rosarium'а» в ту пору отнесся с опаскою я, отвергая отчетливый эротический привкус, вносимый Ивановым в мистику.

Чествовали мы Иванова в «Праге»: на чествовании был «*Мусагет*» в своем полном составе, Рачинский, Бердяев (как помнится), Ф. А. Степун, Шпетт; был Эллис, с Ивановым помирившийся: разочарование в «*Скорпионе*» и в лидере-Брюсове, устремление к оккультизму сближало естественно Эллиса с автором удивительного «Rosarium'а»...[205]

Все, что скопилось во мне как усталость, досада и боль, — проявилось на вечере у К. П. Христофоровой — бурным, совсем неожиданным «*взрывом*», в котором сказался протест против Минцловой; и против «*сказок*» ее. Дело было в незначащем споре, возникшем меж мной и Рачинским о Гёте, натурфилософии; помнится, я, как естественник, стал защищать правомерность науки как метода; и утверждать, что слиянье науки и жизни не в жалких, наукой изжитых натурфилософских путях; тут вмешался Иванов; и видом своим он подчеркивал мне:

— «Как же можешь ты так говорить, когда ты — против Гёте, а Гёте ведь......»

Я видел, что Минцлова видом своим подтверждает упреки Иванова; тут я сорвался: пошел и пошел, и пошел — вплоть до выкриков, ясно колеблющих *трио* (Иванов, я, Минцлова); с Минцловой, кажется, что-то подобное истерическому припадку случилось; Иванов вполне неприятно покрикивал; бедный Рачинский не знал, в чем «*соль*» ссоры; а «*соль*» ее — в ноте отказа от «*сказок*» и в ноте неверия Минцловой; выскочил из-за стола; и — пустился бежать; Христофорова, быстро поймавши в передней меня, прошептала:

— «Вполне понимаю я вас»...

Через несколько дней с ней случилось подобное нечто: такой же протест против Минцловой, кончившийся расхождением полным недавних «*сестер*»; Христофорова с горькою болью наткнулась на следствия путаницы отношений, которых причиной была — та же Минцлова; скоро в Москве обнаружились всюду последствия странных весьма раздвоений сознанья ее.

Мой протест всполошил В. Иванова, Минцлову, Г. А. Рачинского; мне говорили: сидели они до утра у К. П. Христофоровой; утром Иванов отправился от Христофоровой к Эллису в «*Дон*»; и возникла беседа меж Эллисом и Нилендером, провожавшим Иванова до Девичьего монасты-

ря; простояв литургию, отправился он, свеж и бодр, принимать посетителей.

С Минцловой, с ним помирили меня в те же дни; но, но, но... — окончательно надорвалась во мне нота доверия к сказке о «*рыцарях*», где-то таимых А. Р. И она — поняла.

Я сказал ей, что я отвлекаюсь от «*дела*», что я не могу так беспроко вариться в соку «*коллектива*», что Ася Тургенева, зиму прождав меня в Брюсселе, все основанья имеет сердиться; теперь она едет в Россию; и ею я связан: тут А. Р. призналася, что с Асей меня вероятно и свяжет путь жизни, что «*тайн*» у меня от нее вероятно не будет; А. Р. мне сказала:

— «Я вижу, что прежде чем личная жизнь не устроится ваша, — не можете вы слишком много вникать в наше „*дело*"; и я — отпускаю вас. Асе же можете „*все*" рассказать... Но запомните, Белый, что прежде чем вы отойдете, должны вы поехать в Италию, чтобы в назначенном месте увидеть „*того*", кто вас свяжет с традицией»...

Вместо того чтобы ехать мне к Асе, я должен был после бесплодной сумятицы прошлого лета, всей осени, трудной зимы вновь возиться с каким-нибудь «*мороком*» Минцлову: эта обязанность камнем легла; промолчал, но — подумал:

— «Я — вряд ли поеду!»

Петровский увозит весною в «*Бобровку*» меня, где едва отхожу от «*удара*»:[206] и да, да — только здесь мне оформилось: бывшее все в этот год есть удар ожиданием; прошлой весною связала она своей «*сказкой*» меня; и двенадцать томительных месяцев ждали мы все разъясненья невнятицы, ею затеянной; прямо Петровскому не говорил, что страдаю неверием в Минцловой; он же как сын относился к ней; все-таки горькую ноту он слышал во мне.

И стекали снега, разлилось половодье; макушки холмов подсыхали; овраги гремели потоками; в парке же лешими хохотали ушастые филины — вечером.

Вдруг телеграмма нам: «Еду. А. Минцлова».

И неожиданно так появилась в Бобровке на день. Суетилась, взволнованно лепетала; опять пошли «*сказки*»: Петровский процвел центифольною розою; я на минуту пленился опять этим нежнослепительным гениальным «*фонтаном*»;[207] вся же горечь моя была в том, что А. Р. потеряла границу меж «*мифом*» и жизнью; за нею теряли границу и мы; и потом наступали — «*удары*».

Сказала, что будет перед Пасхой в Москве,[208] говорила, что должен я ехать в Италию; и понеслась чрез потоки распутицы. Ждал ее очень

в Москве, а она в Петербурге застряла (опять с Вячеславом); меж тем: появленье в Москве ее было мне нужно (сама же запрягла меня в эти ненужные «*нужности*»); и обнаружились новые очень печальные истины.

Тут, придя к Метнеру, высказал:

— «Я — никуда не поеду: Италия — новый кошмар»...

Метнер со мной согласился; тогда я поставил на вид, что, быть может, от этого нарушения обещания Минцловой ехать нарушится «*дело*», во имя которого Минцлова к нам подошла; но Э. К. замахал лишь руками; Н. П. Киселев тоже сдержанно отозвался о всей «*авантюре*».

Тогда я послал в Петербург свой решительный очень отказ: этим рушился «*треугольник*» с Ивановым: рушилась «*сказка*». Но я полагал: чем скорее конец этой «*сказке*», — тем лучше. «*Наташа*» — сердилась: она полагала, что Ася — причина тому. На мое путешествие в Луцк она стала коситься.[209]

Весна была душная: проходила земля под огромной кометой; писали: в кометном хвосте есть отрава; и ждали иные, что все мы отравимся; Минцлова иногда вырастала в сознанье моем этой страшной кометою, пересекшей душевную сферу всех нас и оставившей след ядовитый...

. . . .

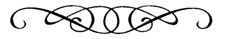
Между тем: в «*Мусагете*» печатались книги. И только что вышел объемистый «*Символизм*», о котором писал из деревни Бердяев мне (очень сочувственно);[210] деятельность «*Мусагета*» все ширилась внешне; но внутренне «*Мусагету*» был Минцловою нанесен несомненный удар; мы ходили, повесив носы; «*Арго*» — было; везло по фарватеру литературы; но — аргонавты сидели понуро; и еле гребли; и естественно вырастал франтоватый такой Кожебаткин из штиля идейного, сосом посасывая сигару и склабяся; перед Эмилием Карловичем он подтягивался; и флажолетовым звуком своих объяснений о ходе печатания успокаивал нас; появлялся смекалистый, смысливый Ф. А. Степун: редактировать «*Логос*», сидеть с драматическим видом, то морща логический лоб, то его добродушно разглаживая и препираясь с Петровским за место «*Орфея*» и «*Логоса*»; Петровский же смякло выслушивал истины логики; вел тонины своих губ; и, когда удавалося Киселеву пред Метнером что-нибудь протащить для «*Орфея*», — он цвел; Киселев утверждал назидательным голосом терпкости; глядь — звонок: говорун приходит в безносой беспечности, — так, разговорцем хватить и стоялое мнение высказать; но натыкается на твердосердие Метнера, все старающегося дать *теку* и надуто молчащего, распространяющего стратегию взглядов; влетит Эллис, пытаяся Метнера ввергнуть в «*выспрь*» вихря

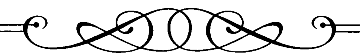
словес и решений; да, Эллис всегда страстность; и от этого делался Метнер такой страстотерпицей, опасаясь стремглавых решений; подкинет, бывало, А. М. Кожебаткину — то или это; А. М. Кожебаткин, соблюдчивый, парень и дэнди, и соса сигары, соединитель, где надо, и разрознитель, где надо, порой согрешитель словцом, собратан: и не хитрый хитрец, и коньячник пленительный; видя, что многие сонно относятся к лавированию мусагетского «*Арго*», с упорством, достойным внимания, медленно, день изо дня, секретарствуя, «*хартию вольностей*» ширит; кажется даже случайным захожим, что нами он правит брекочущим словом.

Последние дни пребыванья в Москве мне окрашены перепискою с Асей, вернувшейся к матери (С. Н. Кампиони), которая жила с мужем (Асиным отчимом) около Луцка: в селе Боголюбах; и окрашены обсуждением кружков, долженствующих с осени при «*Мусагете*» возникнуть; Степун собирался вести философский кружок; Эллис должен был вести деятельный семинарий на тему «*История западноевропейского символизма*»; обилие записавшихся обусловило перенесение лекций к художнику Крахту, где креп «*молодой Мусагет*» (выражение Эллиса); я же был должен вести кружок ритма; еще я зимой прочел лекцию (в Историческом Музее) на тему «*Лирика и эксперимент*»,[211] где доказывал необходимость формального стиховедения, призывая желающих к кропотливой, активной работе; в итоге призыва явилась ко мне молодежь и просила об организации кружка для разработки проблем ритма;[212] наиболее заинтересованными оказались: А. А. Сидоров (ныне профессор, тогда же — студент), С. Н. Дурылин (ныне священник) и В. Шенрок;[213] эти юноши стали позднее ритмистами; в числе прочих ритмистов мне помнятся: Сергей Бобров (отдельно работавший над трехдольником), В. О. Станевич, Чеботаревская, Баранов-Рем, П. Н. Зайцев; и — ряд других лиц; кружок же насчитывал человек до пятнадцати. Распределял работу по описанию русского пятистопного ямба.[214] В те дни вышел «*Серебряный Голубь*» (отдельным изданием).[215]

Часть лета проводил я в Демьянове, в имении В. И. Танеева (под Клином), в усиленном занятии ритмом; и писал статью «*Кризис сознания и Генрих Ибсен*».[216] В конце июня поехал в Луцк, или, верней говоря, в Боголюбы.

Берлин 22 года, Гарцбург 23 года. Июнь.





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

У второго порога

ПОВОРОТ К ВСТРЕЧЕ

В июле и в августе 1910 года я проживал в Боголюбах, близ Луцка, в прелестнейшем домике, отделенном тенистой дубовою рощей от белого дома, в котором устроилося семейство В. К. Кампиони, лесничего Торчинской области, то есть его жена, его дети и падчерицы, Тургеневы: «*Таня*», «*Наташа*» и «*Ася*»; мы с Асей дружили; и собирались соединить наши жизни; опять, как когда-то, в Звенигороде, забирались на дерево с Асей, качаясь на зеленых ветвях и разговаривая часами: о жизни, о наших возможных путях к невозможному, соединяющих нас, о России, о Духе: я высказывал горькое разуверение в недавней инспиратрисе столь многих из нас. Выговаривал все это я — из зеленых ветвей, обвевавших меня в те зеленые ветви (чуть-чуть надо мной), из которых высовывала свое личико Ася (и локоны), прислушиваясь к моему моральному миру; июльские жаркие полдни в ветвях, среди нас обнимавшего ветра, остались одним из значительнейших моментов, в котором складывалось волевое решение: разорвать с прежней жизнью; и что-то начать — начать строить; в те миги определялося где-то решение: прислушиваться к духовному знанию (без мифов о «рыцарях»).

Умолкали, смотрел в чащу леса я — в прочертень черных стволов в зеленеющей резани листьев: шептали туманы лиственого шума в развитье высших развилин суков; и внизу все тенело оливковым сумерком; выше — бывало: гляжу — прорезная толпа оксамитовосиних эфировых пятен: то — прорези неба из листьев; под нами отточенный ствол, на который вскарабкались мы: толст и плотен, склонен; и — двоится, тро-

ится; и — первое облачко зелени прячет свое расстроенье под нами, чтоб выше — качаться уже многоветвием в кружеве листьев, охваченных солнцем; и где-то *затвикает*: «*Тви-тви-тви-тви*», кончив чоком, хорошенький, серорозовый зяблик. Мы слушаем. Я начинаю рассказ: про пути, про А. А., про химеры сознанья, про встречу, про Минцлову.

Наташа, которая Минцлову знала, любила ее, не разделяла стремления моего к отчуждению от нее: упрекала меня, будто я ради Аси ушел от возможного братства. Сизов и Петровский в то время все более примыкали к учению Штейнера; мне то — не нравилось; но Петровский решил ехать в Берн, на курс Штейнера; и, проезжая в Швейцарию, остановился на несколько дней в Боголюбах. Сюда же приехал и Поццо; соединилися несколько москвичей в Боголюбах в те дни.

Здесь попалося «*Куликово Поле*» мне,[1] строчка за строчкою совпадая с интимнейшими переживаньями этих лет о необходимости вооружаться для боя: с «*врагом*»; это все было остро осознано с конца 1908 года; и это оформилось Минцловой, Вячеславом Ивановым (в 909 году); каково ж удивленье мое, когда стало мне ясно, что в это же время А. А. — в сокровеннейшем так совпадал; этот факт совпадения мне показал, что остались мы братьями, как и в годы зари; так теперь совпадали мы в года тишины перед громом.

Совершенно естественно: тотчас же я написал А. А. Блоку письмо; в нем его я приветствовал, принося благодарность ему за прозрения «*Куликова Поля*»; не помнится, что я писал; только помнится, что просил ликвидировать расхождение, которое — исчерпано жизнью;[2] сияющий, ароматный ответ получил от А. А. я.[3]

Так ссора закончилась.

Да: я испытывал глубочайшую радость и вместе счастливый покой от того, что все трудности *четырех лет* окончились между нами, что вновь мы друг друга нашли и что связь — навсегда; с того времени и до самой кончины А. А. ни одно происшествие не затемнило уже солидарности нашей; окрепли за эти три года; общественные отношения обросли наши личные жизни; теперь не могли отдаваться, как прежде, стихии душевности, некогда переплетавшей две жизни; биографически так и остались далекими; часто не видели мы в кутерьмах жизней наших друг друга, общались с другими людьми, разделявшими нас; если не было прежних цветений созвучности, близости, то не бывало теперь подозрений взаимных, бросивших когда-то так яростно нас друг на друга. Душевное братство расторгнуто было когда-то; оно — не вернулось; росло меж нами *духовное* братство.

В последующих наших встречах не спрашивали о жизни друг друга; не знали порою подробностей бытов; но мы говорили о том, в чем основа сознания. И от свободного «*Я*» обращались к свободному «*Я*». Было что-то чудесное в том сознании, что у тебя есть брат, что его можно годами вовсе не видеть, не спрашивать; и он не встретит вопросом о суете пустяков твоей жизни; слепительною улыбкою утвержденья бессмертного «*Я*» — тебя встретит он; и молчаливой улыбкою будет приветствовать «*Я*»:

— «*Ave frater!*»...*

И веянье, неуловимое, побежит от «*Я*» к «*Я*»:

— «*Benedictus!*»[4]

Сближение с Асей Тургеневой и примирение с Блоком — совпали в сознаньи моем; и вернулась ко мне покидавшая долго любовь — в Боголюбах; и часто твердил в «*боголюбских полях*»: «Боголюбы: неспроста!»

На выгорбах ярко глядела лесная клубника своим пропеченным листом: и усатились в солнце козявки-порховки, рогатицы; воздухи полнились густо пискливым зуденьем сквозных насекомых; и трепетень тысячей крылышек воздух пестрил и рябил; и, бывало, мы с Асей гуляли дубовыми рощами; и разговор продолжался: о Духе, о нас, о моей странной жизни, о Блоке; и Ася вливала мне в душу елей примирения с Блоком; оглядывались среди рощ: всюду — перерось; всюду — главастой корягой протянута ветвь; не проломишься: крякнет толпа рогорогих коряг, обхвативших тебя, попадешься; и после — завязнешь в расщепе, а где-то из дичи послышатся хрусты кипящего хвороста: может быть, — дикий козел, иль — барсук (барсуков было множество); может быть, — вепрь (вепри тоже водились в лесах).

СЛУЧАЙ С МИНЦЛОВОЙ

Моя радость от примирения с Блоком во мне заслонялась заботами, мне предстоявшими: с Асей решили зимою поехать в Италию, средства найти; в Боголюбах мне дали труднейшее для меня поручение: отыскать помещение для Наташи, для Тани и Аси, переезжавших в Москву.

---

* «Здравствуй, брат!» (*лат.*)

По приезде в Москву[5] Киселев, очень близкий в то время ко мне, уведомляет тревожно: в Москве — А. Р. Минцлова;[6] и она меня ждет; я немедленно должен отправиться к ней (остановилась в квартире Сабашниковых, недалеко от Тверского бульвара).

— «Что такое?»

Н. П. Киселев посмотрел на меня, ничего не сказал:

— «Вы — пойдите»...

Лишь в тоне почудилось:

— «Удостоверьтесь: опять — кутерьма. И на этот раз...»

Что-то в словах растревожило; Минцлову я не видал: с утомительного свидания в Бобровке; по правде сказать: и видать не хотел.

И как будто такое же отношение встретил в Н. П. Киселеве; настаивая на свидании с Минцловой, он как бы сам отстранялся от всяких общений с былой кутерьмой; своим тоном как бы говорил:

— «Повозиться придется вам с ней, а я — занят: переезжаю с квартиры вот... Мне — не до этого».

— «А Алексей Сергеич?»

— «Да он не приехал еще».

Был Петровский в те дни за границей, как кажется, — в Берне; он слушал курс лекций в Теософическом Обществе — Штейнера.[7] Я окинул в воспоминании атмосферу упорнейшего напряжения, опасений, надежд, сказок, бредов, в которых «она» продержала нас год; и я ясно почувствовал: полное нежелание вмешаться опять «*во все это*». Но нечего делать.

— «Пойду»...

— «Да скорее...» — сказал Киселев; и подумал: вот, сам — не идет; посылает меня...

Ах, что делать с больной, перемученной кем-то, клокочущей женщиной, сотканной из сплошных qui pro quo, уверяющей: путь теософии Штейнера есть откровенно падение Штейнера в области «*тайного знания*», и — заклинает: не верить особенно штейнеризации христианства; и вместе с тем: все указания нам в медитациях, вся эзотерика Минцловой — сколок с бесед его. И потом эти «кто-то», которые изъявляли намерение появиться среди нас. Кто же мог ими быть? Темплиеры, масоны? Терялись в догадках. Смущало: всегда потрясенная, Минцлова умирает от страха пред сатанинскими таинственными братствами; преследования — менялись; являлись на сцену «*шпики*» и за ними — какие-то оккультические «*татары*», не ободрявшие ее деятельность мартинисты, расширившие-де влияния среди избранного петербургского общества и среди иерархов; мне она сообщала, что будто бы имела беседу

с одним из великих князей, мартинистом, и будто бы этот последний поставил вопрос, как нам быть с нашей родиной и что делать с царем Николаем.

Теперь было ясно: имели мы дело с больной, истощенной повторными галлюцинациями и, может быть, подлинно поддавшейся чьему-то влиянию.

В этих мыслях — я шел к ней; и ветры ходили по улицам: дули и гнули; надули ненастье; сухиничи, листья, ошамкали ноги; и — капало; и стояла мокрель неиссошная.

Минцлова встретила и сообщила такое, что... что: я стоял, ошарашенный; Минцлова же скорее упала, чем села, в глубокое кресло, роняя свои очень пухлые руки на ручки; откинув на спинку большую свою, одутловатую голову с желтыми, перепутанными волосами, роняла пенсне и глядела перед собою большими и выпуклыми стекловидными голубыми глазами, напоминавшими мне глаза Е. Блаватской.

— «Ничего не понимаю...»

— «Андрей Белый, — прошу вас одно: не расспрашивайте, а слушайте: вот могу высказать это, — не удивляйтесь... Но только я вас заклинаю, что в первые годы вы будете обо всем том молчать... Вы — запомните: ваши слова будут только вредить мне... Даете же слово, вы — обещаете?» Тут схвативши за руку меня, начала выбарахтываться из мешка своего, как из злого застенка...

— «В чем дело?»

— «Уважите просьбу мою: для меня эти ближние годы вы будете только молчать...»

— «Обещаю...»

И тут, то привскакивая и бударахаясь толстым телом по тесненькой комнате, то совсем неожиданно обнимая короткими, точно обрубки, руками, то мощно вытягиваясь, простирая за окна дрожавшие пальцы, она вылепетывала:

— «Посмотрите, какое ненастье... Там, в ветре, как будто бы песня об Атлантическом океане... Я скоро увижу его... Меня ждет... Этот ветер напоминает мне Атлантиду... Я связана с Атлантидою... Меня там зовут... Этот ветер зовет меня».

Опять она падала в кресло, выпучивая глаза пред собой, — в настоящем сердечном припадке.

Стоял, ошарашенный, перед новою, очередной, как казалось мне, сказкой, которую приняла за действительность ни на что не похожая женщина эта; она, чуть кивая большой головою туда, где в окно стрекотали дожди, — уплывая глазами туда, мне рассказывала о фак-

тах, которые по сие время стоят пред душою моей неотвязным вопросом.

О фактах могу рассказать я не много конкретного; но поверить им трудно, как и всему, что ее окружало; она рассказала, что «*миссия*», ей-де порученная, не исполнена ею; и «миссия» — провалилась; ее неустойчивость и болезненность вместе с растущею атмосферою недоверия к ней среди нас расшатала все «*светлое дело*» каких-то неведомых благодетелей человечества, за нею стоявших; меж тем: дала слово она («*им*» дала), что возникнет средь нас братство Духа; неисполнение слова-де падает на нее очень тяжко; ее удаляют «*они*» навсегда от людей и общений, которые протянулись меж нею; она исчезает-де с нашего горизонта; и — навсегда; с этих дней уж ее не увидит никто; и она умоляет нас всех: эти годы ближайшие строго молчать о причинах ее окончательного исчезновения.[8] Я так и не понял, что, собственно, означает исчезновение это: исчезновенье — «*куда*»? В монастырь, в плен, в иные страны? Или же — исчезновенье из жизни? Но что-то подсказало, что на этот раз этот бред не есть «*миф*» ее и что мы *никогда не увидим* ее; бывало: рассудком не верил словам ее; но в душе откликалося что-то на них; принимал я известия эти как выражение какой-то ужасной, всю душу смущающей тайны ее, про которую мне ничего не известно; известно одно: *это — правда*.

Запомнился день, непрозрачный и белый, как горный хрусталь: этот день, оседающий в тень; и запомнился лист с червоточиной, кажется, липы-листухи, за окнами, — там, где кислятиной бедной прибеднились все; и запомнилась полная, точно опухшая, Минцлова в «*черном мешке*» с запрокинутою головою, с глазами Блаватской (не то — сумасшедшими, а не то — гениальными).

В совершенно болезненном состоянии передавала она, почему «*они*» (кто?) порешили «*убрать*» ее, и что она, исчезая, нас просит быть верными «*свету*».[9] Что «кто-то» (по-видимому, бессердечно ее убирающий) — нас не забудет; внешний знак — «*бегства*» от нас — переезд в Петербург, откуда исчезнет она. Каждый день до отъезда бывал у нее и выслушивал совершенно бредные речи, не понимая их смысла; и не имея возможности ей перечить; я думал, что Минцлова появилася на пороге значительных двух эпох моей жизни и жизни мне близких, «*исчезновение*» ее глубоко взволновало. Мне запомнился день, когда я и Сизов провожали ее на вокзал с очень диким сознанием, что ее никогда не увидим и без всякого понимания поведенья ее; она же стояла в своей черной кофточке на площадке вагона, перепоясавшись саквояжем; и — улыбалась значительно; и махала рукою, когда поезд тронулся;[10] и —

опустела платформа: последний вагон убегал, умалялся до точки, и исчез: так исчезла она — навсегда!

Мы ее никогда не видали с тех пор: и — никто не видал.[11]

Дни сменялись ночами: ползло полосатое время — ночами и днями! И время точило клыки на съедобные дни; и несносные ночи летели проносною тьмою. Боюсь непробежного времени я!

Единственный случай бесследного исчезновения человека, который я знаю, живет до сих пор неизживным вопросом во мне: как возможно, чтобы имеющий стольких друзей и знакомых живой человек так бесследно исчез, чтобы даже не спрашивали впоследствии: что сталось с Минцловой? В Петербурге у ней был, я знаю, ряд верных друзей; в Москве — кто не знавал ее? У покойного проф. К. А. Тимирязева, у В. И. Танеева, у Ф. И. Маслова, у «*аргонавтов*», у «*мусагетчиков*», у теософов она была своим человеком. С 1910 года же исчезла бесследно; не поднималось — вопросов, тревог, беспокойств. Лишь ходили страннейшие шепоты, что-де бросилась в волны она Атлантического океана, что-де живет она в монастыре иезуитов (и называли мне город в Италии, где ее будто видели). Верных сведений — не было.

Обстановка отъезда ее глубоко взволновала меня; сообщая событие исчезновения Минцловой приехавшей вскоре Наташе Тургеневой, разволновался я. Она — плакала. Это было в редакции «Мусагета».

Приехал Петровский; и у него опустилися руки; приехал и Метнер; он мне говорил:

— «Ничему не удивляюсь я... С Минцловой что-то недоброе произойти должно было».

Но всё еще думали мы, что слова об исчезновении — миф; Метнер очень заинтересовался тем фактом, что Минцлова, уезжая, дала мне кольцо свое; и — сказала:

— «Когда к вам придет человек, произнеся текст (такой-то), вы выньте кольцо и ответьте ему текстом (таким-то); и после того он откроется вам, объяснивши, что он — розенкрейцер; то — будет чрез год, в то время иль — в сентябре... И тогда, если вы захотите, вы можете говорить о „*пути посвящения*" с ним».[12]

Э. К. Метнер сказал мне:

— «Что ж, — пусть к нам придут; поговоривши, по крайней мере узнаем, в чем сила всего „*этого*"...»

В тоне же Метнера слышалось недоверие.

Часто в ту осень мы вспоминали о случае с Минцловой; и — ощущалась: тоска по каким-то исчезнувшим сказочным «*братьям*».

Тоску о них все же зажгла одно время она. Под влиянием этой тоски скоро я написал:

Кресла, чехлы, пьянино...
Все незнакомо мне...
Та же висит картина
На глухой теневой стене...

Ожила — и с прежним приветом
Закурчавясь у ног, —
Пеной, кипеньем, светом
Хлынул бурный поток.

Из раздвинутых рамок
Грустно звали — «проснись» —
Утес, забытый замок,
Лес, берега и высь...

Просыпался; века вставали...
Рыцарь, в стальной броне, —
Из безвестных, безвестных далей
Я летел на косматом коне.

Кричал, простирая объятья:
— «Я вернулся из дальних стран.
Омойте мне, о братья,
Язвы старых ран...»

И в ответ на то «рыцарь» со стены замка ответствует:

«Мы — умерли, мы — поверья:
Нас кроют столетий рвы...»
Пошел... (закачались перья
Вкруг его стальной головы).[13]

Так тоска о несбыточном ощущалась остро.

ВСТРЕЧА С БЛОКОМ

Весь сентябрь, весь октябрь и ноябрь протекает в сплошной лихорадочной суете для меня: подготовка отъезда в Италию с Асей Тургеневой; многообразная ликвидация дел и усиленная деятельность в кружках «*Мусагета*»: при «*Мусагете*» образовалося три кружка молодежи: ритмический, мой, где пыталися мы соединить в один общий итог наши летние изучения ритма ямба (на этот раз пятистопного); приходилося нам: очень тщательно устанавливать правила для ритмической записи так, чтобы запись была объективной; для этого мы коллективно составили нечто вроде учебника ритма;[14] я помню, как ряд заседаний был тщательно посвящен уясненью того, что есть форма паузы; шесть заседаний мы дебатировали формы пауз: «a» «b» «c» и «d» (так называемых нечистых и чистых).[15] В кружке среди ряда живой молодежи запомнились мне: А. А. Сидоров (ныне профессор), Дурылин, Шенрок, Чеботаревская, Нилендер, Баранов, Бобров; и — другие. Особенно знаменательным я считаю доклад молодого поэта Баранова о возможности исчисления разнопостроенных строчек при помощи десятичных дробей, позволяющих после построить кривую для ритма; доклад тот служил мне и пунктом исходным работы, впоследствии озаглавленной «*О ритмическом жесте*».[16] Собранья кружка отличалися соединением деловитости с оживленьем, порою охватывавшем нас всех; в это же время Бобров очень тщательно изучал ритм трехдольных размеров. Второй мусагетский кружок, философский, тогда собирался под руководством Ф. А. Степуна; я бывал очень часто в нем, деятельно принимая участье в прениях; среди участников, посещавших кружок философский, запомнился юноша Б. Л. Пастернак (ныне крупный поэт);[17] третий людный и шумный кружок собирался под руководством бурнейшего Эллиса;[18] был посвящен изучению он символизма; но там поднимались вопросы пути посвящения; и читалися рефераты, взывающие к отысканию Мон-Сальвата и Китежа;[19] он собирался на Пресне, в оригинальнейшей студии скульптора Крахта (покойного ныне); там Эллис и Крахт были подлинными вдохновителями молодежи; но я — заходил туда; вместе с тем: продолжалися заседания Религиозного общества, происходившие в морозовском доме; с Морозовой продолжали дружить мы; я должен был там прочитать свою лекцию: «*Достоевский в трагедии творчества*»;[20] а все свободное время я проводил у Тургеневых, Аси, Наташи и Тани, в очень тихеньком переулочке (в Штатном); готовился здесь наш отъезд за границу — мой с Асей и Поццо с Наташей. И уже насыпала

зима нам снега; и метели свершались уже (очень рано); порою сугробы гребнистыми спинами у тротуара кидались на тумбы застывшим порывом; меж них намечались порою проторы от ног (наследили огромные валенки): дыры являлись везде на заглаженной плоскости снега; перерывали все это лопаты; и появлялися скрипные розвальни у тротуара — за снегом; сгребали снега; перерывалось все это, чтобы устроилась свалка снегов: на Москве-реке (в будущем); появлялся С. М. Соловьев в шубе с мягким, коричневым мехом на шубе, в бобровой, красивой такой своей шапке — к Тургеневым; мы помирилися с ним (расхождение 1909 года забылось меж нами); ему я рассказывал о своем примирении с Блоком; была в нем большая терпимость и мягкость к А. А. Добродушно он нам похахатывал с Асей; и шапку надевши, шел в снег. Но еще не держались снега; и ослякотясь, уплывали ручьями и лужами; снова являлась зимой побежденная осень.

Мне помнится: в эти вот дни умер Муромцев;[21] Ася снимала эскиз с его мертвого лика у гроба; приехала Асина мать, С. Н. Кампиони; и у Тургеневых собиралися, помнится, часто: Петровский, Нилендер, С. М. Соловьев, А. М. Поццо. С д'Альгеймами мы не видались.

Потом начиналась пурга; и по Штатному переулку огромный какой-то ходил перегромом.

Сквозь сумятицу дней и часов я все помнил о Блоке, о том, что мы с ним примирились; и с Метнером поговаривали о том, что прекрасно было бы издать стихи Блока томами; конечно же, «*Мусагет*» с очень-очень глубоким сочувствием относился к А. А.; на одном из собраний мы, зная, что Блок живет осенью в Шахматове, послали ему телеграмму, которую мы составили так: «*Мусагет, Альциона, Логос приветствуют, любят, ждут Блока*».[22] И вот: получив телеграмму в деревне, А. А. вдруг решил к нам приехать на несколько дней; в биографии М. А. Бекетовой напечатан отрывок письма А. А. к матери, Александре Андреевне; он пишет: «*Мама, я опустил это письмо к тебе и уезжаю в Москву, а Люба — в Петербург завтра... Завтра вечером я буду на лекции Бори о Достоевском, в Религиозно-Философском Обществе в Москве...*»[23] В это же время матери про меня сообщает он, «*что Боря женится, что Боря уезжает отдохнуть за границу*»...[24]

Все лето А. А. занимался переустройством и переделкою шахматовских построек и проводил много времени со столярами рабочими; пишет: «*У нас в усадьбе с рабочими масса народу — и весело*»;* с рабо-

* М. А. Бекетова: Александр Блок, стр. 136.[25]

чими он ведет разговоры: «*Все разные, каждый умнее, здоровее и красивее почти каждого интеллигента*». Однако хлопоты надоедают ему: «*Домостроительство весьма тяжелый кошмар*». Пред поездкой в Москву он живет одиноко с Л. Д.: и 22 октября — пишет матери: «*У нас два дня был сильный ветер, дом дрожал. Сегодня ночью дошел почти до урагана, потом налетела метель, и к утру мы уже ходили по тихому, глубокому снегу... Мы слепили у пруда болвана из снега... Однако прожить здесь зиму нельзя... Мертвая тоска...*»[26]

«*Мусагет*» собирался в то время печатать «*Ночные часы*» А. А.; в уединении подготовлял этот сборник к печати он;[27] характерное замечание М. А. Бекетовой о А. А. того времени: *ему близок Ницше*;[28] а в прежние годы был чужд ему Ницше; наоборот, необыкновенно близок он был для меня. Интерес А. А. к Ницше есть новый штрих в жизни сознанья А. А.; поворот от женственно-восприимчивой мистики к мужественной трагедии трезвости, пронизывающей его позднейшее творчество.

Разделяли нас годы молчания; встреча же произошла очень просто: без всякого объяснения; нужд в нем не было; то, что стояло меж нами (полемика и резкие недоразумения жизни), перегорело естественно; жизнью приблизились мы к общим темам России; в идеологических выступлениях, без уговора, мы встали, как прежде, под знамя, нам общее, символизма. В день встречи, в день лекции о Достоевском (моей), в Москве молнией разносилася весть об уходе Толстого;[29] переживали уход, как громовой удар, как начало огромного сдвига инерции мертвенных лет этих; словом: переживали уход, как событие мировое; упоминанием о значении события этого я открывал мою лекцию; а за несколько лишь минут до нее повстречались мы с Блоком.

То было в красивом и светлом морозовском зале, где по традиции Религиозно-Философского Об-ва происходили собрания; зал был набит; и Рачинский, готовясь к открытию заседания, фыркал дымом и переметывался от угла до угла, шебуршал у стола приготовленною бумагою, перетискивался через толпы входящих, и подавая рассеянно руку входящему справа, вытягивал шею налево, вышукивая кому-нибудь очередную остроту, или заботу свою, вместе с тем через зал мне подкивывая и подзывая значительным взглядом меня, чтобы дернуть меня за рукав и подать мне совет, как вести себя в прениях; эти сложные, многообразные, полные значения жесты, не знаю, как ухитрялся проделывать единовременно он, озадачивая того, кому он пожимал кончик кисти, того, кому вшептывал он свои шутки, меня, им притянутого; и он

всех обдавал синим дымом; вот бросив всех нас, он оказывался меж Булгаковым и Бердяевым, одновременно беседуя с ними двоими: с Булгаковым — жестами рук, а с Бердяевым — жестами ног («*Ася*», мало знакомая в это время с различиями идеологий Булгакова и Бердяева, путала их, называя обоих «*Булдяевыми*»).

В эти миги рассеян был я, собираясь с мыслями перед лекцией и окруженный кольцом очень-очень известных и мало известных, и даже совсем не известных людей, мне протягивающих руки и говорящих мне: «Здравствуйте». Средь присутствующих мне запомнились: П. Б. Струве, С. А. Котляревский, Брюсов, Эрн, Лурье, Гершензон, Кизеветтер, Бердяев, Булгаков, Кожевников, М. К. Морозова, сестры Тургеневы, которыми заинтересовался, как помнится, очень покойный Е. Н. Трубецкой; он ведь слышал от М. К. Морозовой, что мы с Асею уезжаем в Италию; и косолапо потаптывался около Аси он, все стараяся ее разглядеть, чтобы это ей не было вовсе заметно; а это так было заметно, что Асе хотелось смеяться; был, помнится, тоже Ф. А. Степун. Средь обрывков словесности, рукопожатий и деловых замечаний, в обмене взволнованных чувств об уходе Толстого — вдруг вижу: из роя причесок, голов, мне знакомое, улыбающееся такое лицо А. А.; вижу, как он пробирается очень неловко ко мне; через голову собеседника ему издали улыбаюсь, как будто бы мы лишь вчера с ним расстались, и будто бы не было между нами тяжелого расхождения в прошлом; меня поразил в А. А. жест растерянного стояния в освещенном морозовском зале средь роя ему неизвестных, «*московских*» людей: жест не светской застенчивости и неловкости; не прекрасно сидящий, такой деревенский какой-то короткий и черный пиджак, не застегнутый (отчего он казался с широкою тальей), стоячий воротничок, не подвязанный черным шелковым шарфом, так шедшим к нему; цвет лица был обветренный, желтый такой, как и прежде, без вспышек румянца и без следа розоватости былых лет, — желтый, желто-коричневый; улыбнулся растерянными, большими, прекрасными и голубыми, как прежде, глазами (хотя прежде и не было этих подглазных мешков, этих малых морщинок у глаз); он казался подсушенным, похудевшим, но — крепким, здоровым (здоровым казался всегда он и прежде: до самой болезни); курчавая шапка густых, не рыжевших, как прежде, волос показалась темнее, чем прежде; и менее вьющейся.

Явно конфузился и мигал на меня, мешковато протаптываясь среди платьев, атласу, вуалей, лорнеточек, косо и прямо сидящих визиток, рубах, пиджаков, сюртуков, озиравших его, может быть, узнававших его, отчего еще пуще конфузился он; я протискивался навстречу к нему:

в этом явленьи А. А. после долгой разлуки заметил какое-то сходство во встрече, как и при первом свиданьи в Москве; и мы крепко пожали друг другу протянутые, открытые руки; открыто глядели друг другу в глаза, не умея сказать ничего, переживая неловкость.

Переменилися мы за истекшие годы (со дня первой встречи); тогда он казался таким петербуржцем, чуть франтом, с военною выправкой, дворянином, помещиком; и не нервным нисколько; я казался — интеллигентом, смешным и немного бестактным, демократичным и потирающим нервные руки во время старания высказать витиеватую, не поддающуюся оформлению мысль. Теперь: он казался нервнее меня (он подмаргивал нервно, растерянно, ослепляемый электричеством зала), казался не франтом и не помещиком: скорей, — управляющим, «*интеллигентом*» и демократом; я был в длиннополом своем сюртуке, очень-очень уверенный и спокойный, что предстоящая лекция есть то самое, что надлежит мне сказать (да, во мне появилась с годами и выправка, и привычка к естественной вескости мнений, которая приобретается опытом лекций и семинариев).

Мы стояли среди разгудевшихся, пробирающихся к стульям людей; и уже над зеленым столом раздавался звонок председателя; и очки его важно облескивали все собрание, и металася седенькая бородка; А. А., улыбаясь, сказал мне:

— «Ну вот, как я рад, что поспел...»

— «И я рад».

— «Знаешь, Боря, я думал, что я опоздаю: ведь я прямо с поезда; ехал, „*чтобы*" поспеть» (улыбнулся я мысленно: «*чтобы*», — то милое «*чтобы*», которое я так долго не слышал).

— «Сегодня из Шахматова?»

— «Восемнадцать верст трясся до станции, *чтобы* (опять оно?) не опоздать: перепачкался глиною; вязко: ведь — оттепель, а ты знаешь, какие дороги у нас...»

В это время заметил я очень внимательный, пристальный и как всегда очень-очень сияющий взгляд (изумрудно-сапфировый) М. К. Морозовой, которой, наверное, рассказали уже, что на лекции — Блок; и теперь пробиралась она, улыбаяся, к нам в своем вечно сияющем платье, слегка наклонив набок голову, крупная и такая хорошая; я представил ей Блока, которого так хорошо она знала уже по рассказам моим, по стихам; и — любила; А. А. с прежней светскостью, в нем проступавшей сквозь вовсе не светский, дорожный, чуть трепаный вид, поцеловал ее руку; и, стоя, выслушивал, улыбаяся и опуская глаза вниз, как будто он пристально вглядывался в кончик носка своего (я опять в нем

узнал этот жест, мной подмеченный в первые встречи; и — радовался: все милые, позабытые, вновь восставшие жесты); но тут отвлечен я был дергавшим за рукав председателем: Г. А. Рачинский, уже протрезвонивший над столом, не добившийся результата, пустился меня извлекать к реферату, рассеянно он поздоровался с Блоком (не до того!), напустившийся на меня:

— «Ну, ну — что?.. Ну, Борис Николаевич, — начинать, начинать», — и, подталкивая под локоть меня, стал мне вшептывать что-то:

— «Ну, вот — говорю я тебе — понимаешь?.. Скажу-ка им всем: Петр Бернгардович, я, старый мистик — ты понимаешь? Мы, старые матерые, Борис Николаевич, — понимаете? — скажу я — ми-сти-ки... Понимаешь?» — подталкивал он.

Видел я, как во сне, что А. А. поздоровался сдержанно с Н. А. Бердяевым, перетряхивающим черными кудрями своими; отметилась мне: какая-то отчужденность, холодность меж ними; и вот — сели все.

Очень мало мы говорили с А. А. в этот вечер; во время чтения лекции я видел внимательные, устремленные на меня мне знакомые взоры А. А., — очень добрые, выразительно говорящие:

— «Ну вот встретились: вот — хорошо...»

Прения были долги, оживленны; и в них принимали участие Брюсов, Булгаков, Е. Н. Трубецкой, П. Б. Струве, еще кто-то;[30] надо было записывать возражения и отвечать; я поэтому вынужден был отвлекаться от Блока; но после лекции мы собиралися у Тургеневых, я и хотел пригласить туда Блока, но он мне сказал:

— «Знаешь, Боря, я очень устал: пришлось-таки ехать по слякоти; нет уж, до завтра» (в те дни была оттепель).

Мы назначили место встречи в редакции «Мусагета» и обменялися коротко лишь известием об уходе Толстого; А. А. показался мне очень взволнованным этим известием и удивлялся, что деятели московского Религиозно-Философского Общества в промелькнувших, попутных словах недостаточно оценили значительность факта; еще показалося мне: впечатление от заседания, от шумного и битком набитого зала произвело на А. А. не особенно приятное впечатление; он имел то растерянное выражение физической боли, которое знал я давно и которое не могло относиться ко мне; и улыбка страдания от желания перемочь раздражающий шум, ему чуждый, — передергивала похудевшее за вечер это лицо с удлинившимся носом и синевой под глазами; а может быть, просто сказалась усталость; вкруг — капали слякоти; прыгали нервно круги фонарей; был туман: тускло-красный фонарик случайный, людьми не наполненной конки, прошел мимо нас, опахнув длинной тенью; так чер-

ная скромница, тень, посмотрела на нас окровавленным взглядом, несяся в тумане по времени; время, испуганный заяц, бежало за нею.

А. А. мне сказал на прощанье:

— «А знаешь ли, Боря, в деревне так тихо, так хорошо в эти дни... Намело было, с Любою мы вылепляли болвана из снега».

И с этими словами — он скрылся. И я шел один: было мокро; текло; теплый ветер пальто рвал; по Глазовскому переулку шел к Штатному; думал я: совершалися для меня два события: бегство Толстого и встреча с А. А. В эту ночь я сидел без огня в своей комнате и наблюдал, как из сумрака ручкой пролапилось кресло; я думал — о Блоке.

БЛОК В МОСКВЕ

Это краткое пребывание Блока в Москве мне покрыто туманом; вычерчиваются два или три очень ярких момента: общения нашего; прочие бытовые подробности встречи неясны; я думаю, — дефект памяти коренится в рассеянности моей того времени, в спешке, в необходимости перед отъездом закончить ряд дел, добыть денег; и наконец: перемена всей личной жизни моей заслоняет воспоминание о подробностях быта жизни Москвы. И кроме того: перед отъездом я подготавливал «*инструкторов*» для ритмического кружка, чтобы занятия ритмом с отъездом не прерывалися; я разрывался на части и вечно спешил; я не мог уделять всего времени Блоку; и поэтому-то не помню в моментах последовательности всех встреч; и не помню я, сколько дней пробыл Блок.[31]

Помню его в редакторской комнате «*Мусагета*» с Э. Метнером; вот он весело говорит, улыбаясь. Свидание с Метнером мне отметилось их взаимной приязнью и пониманьем друг друга; культурная платформа редакции оказалась близка А. А.; некоторые философствующие друзья «*Мусагета*» (Рачинский) не понимали всех подлинных оснований, заставивших нас, издателей-мистиков, поддерживать позицию журнала «*Логос*»; а на позицию эту напали: и Религиозно-Философское Общество, и некоторые профессора, предводительствуемые Лопатиным и Хвостовым. Но Блок понял нас; и одобрил всю линию «*философии*» против «*религиозной*» политики «*Пути*»; не будучи книжным философом, он уважал философию, неодобрительно он относился к гибридным продуктам, к смешению философии и религии; против «*религиозных философов*» был он настроен в то время, что я подметил в нем на засе-

дании у Морозовой; вероятно, враждебное отношение к религиозным философам поднималось в А. А. под впечатлением фельетона Д. С. Мережковского, писанного этим летом намеренно против нас, символистов; в нем сильно досталось А. А. за недостаток общественности; и А. А. рассердился; и Мережковскому он написал что-то резкое;[32] приблизительно в это же время он писал своей матери: «*Восьмидесятники, не родившиеся символистами, но получившие его по наследству с Запада* (*Мережковский и Минский*), *растратили его, а теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием... Мережковскому мне пришлось просто прочесть нотацию*». Мережковский ответил А. А.; о письме А. А. пишет: «*Лучше бы он не писал вовсе: письмо христианское, елейное, с объяснениями мертвыми по существу*».[33] В эти месяцы был в боевом настроении он; и потому-то платформа редакции «*Мусагета*», включающая раздельные сферы мистики, философии и эстетики в цельной культуре, удовлетворяла его; и в вопросе о том, стоит ли нам поддерживать «*Логос*», стоял он за «*Логос*», совпавши со мною и с Метнером против Петровского и отчасти Сизова, ужасно желавших расширить «*Орфей*» за счет философии.

С радостью видел, как близкий мой друг и редактор-издатель Э. Метнер (который, обривши и бороду, и усы, изменился до крайности: выглядел сухо подтянутым, сухо надменным испанцем) в том быстром и кратковременном разговоре с А. А. как-то внутренне весь просиял; и я радовался, что два моих друга в летучем том миге знакомства и поняли, и оценили друг друга; соединяло их очень и отношение к германской культуре; Э. К. был гётист, кантианец, любитель Бетховена, Вагнера; А. А. же всегда относился с глубокой симпатией к германскому гению; в этом смысле был «*немец*» он, не «*француз*»; а в Москве в эти годы все русские культуртрэгеры как-то делилися на «*французов*» и «*немцев*»; так, Брюсов был истый «*француз*»; и «*французами*» были отчасти д'Альгеймы; «*француз*», иль, вернее, «*латинец*», был Эллис; мы с Блоком всегда были «*немцы*»; и «*немец*» был Метнер; тут он и А. А. очень дружно сошлись. Метнер выскочил, как всегда, очень скоро из «*Мусагета*»; А. А. же сказал мне:

— «Какой, право, милый Эмилий Карлович, какой блестящий; совсем настоящий!»

Запомнился очень А. А. в «*Мусагете*», на серо-синем диване в косоугольной уютнейшей комнате с палевыми стенами; вот «*Дмитрий*», служитель, нам подает с Блоком очень огромные чашки с чаем (огромные чашки заведены были для посетителей: их опаивали); А. А., широкоплечий, сидит развалясь, положив нога на ногу и уронив руку на руч-

ку дивана, поглядывая на меня очень близкими и большими глазами, поблескивающими из-под вспухших мешков; я рассказываю ему о наших редакционных работах, о маленьких суетах, переполняющих нас в эти дни; сам его наблюдаю; да, да, — изменился: окреп и подсох; стал кряжистый; таким прежде он не был; исчезла в нем скованность, прямость движений, которая характеризовала его; да, в движениях появилась широкая зигзагообразная линия; прежде сидел прямо он; теперь он разваливается, сидит выгнувшись, положив руки свои на колено; и вижу я жесты рук, обнимающих это колено; и опять (субъективное восприятие) вижу лицо я не в профиль, как в 1907 году, а en face; да, исчез и налет красоты, преображавший лицо его в наших последних свиданьях; исчезло то именно, что отдаленно сближало с портретом Уайльда лицо его; губы — подсохли, поблекли; и складывались в дугу горечи; а глаза были прежние: добрые, грустные; и начерталась более в них любовь к человеку; и жесты терпения появилися во всем; нетерпеливости прежнего времени не было и помину; выглядел в эти дни А. А. скромным провинциалом; старался войти во все мелочи жизни «*сегодняшнего „Мусагета“*» и вкладывал в ряд вопросов ко мне столько внимания, внутренней ласки, что мне казалось: простые вопросы, их тон, заменяли то длинное объяснение между нами, которое казалось необходимым; необходимости не было: *объяснили года нас другу другу*; мы встретились с чувством доверия, тотчас принявшися обсуждать мусагетские злобы дня, будто мелочи эти были нам подлинным воплощеньем духовности; соединились как деятели, много пожившие; братство теперь вытекало не из обмена душевностью, — из общего устремления к практической деятельности; тогда именно мне впервые А. А. предложил издавать дневниковый журнал трех писателей-символистов (В. Иванова, его и меня) и впоследствии он не раз возвращался к идее;[34] внимательно слушал я, как он мне развивал все подробности издания такого журнала, где каждый из трех мог бы высказать что угодно и как угодно. В ближайшее время дневник состояться не мог: уезжал за границу я; но в будущем мы порешили: журнал вызвать к жизни. А. А. в тот приезд свой умел удивительно вкладывать внутренний смысл в обыденные редакционные разговоры; и наблюдая его, я почувствовал, что «*редакция*» для него не есть пепел окурков, всегда оставляемый приходящими; нет, это — место, которое осуществляет духовное устремление людей, соединившихся братски; так он и взглянул на участье в «*Мусагете*» свое. Этот тон отношения к нам как к культурному, нужному месту все время в нем сказывался; я даже думал: не переоценивает ли он «*Мусагет*»? Но — нет-нет: он действительно был дальновидней меня, потому что он видел:

существование «*Мусагета*» необходимо нам всем; это все он и выдвинул на сине-сером диване, отхлебывая крепкий чай, распуская уютно дымки папиросы; он мне объяснил: «*Мусагет*» — наше дело; объединение «*символистов*» (Иванова, Блока, меня) произошло в «*Мусагете*», а «*Скорпион*» — не был почвою. «*Весы*» — кончились; да и: в «*Весах*», полемизировавших с ним и с Ивановым, не было почвы для прочного объединения символистов; но «*аргонавты*» ту почву давали. А. А. разглядел очень чутко *моральную* сторону «*Мусагета*», естественно подстилающую идеологическую платформу его. И внимая А. А., я теперь начинаю ему верить, что «*дело*» тут есть.

В разговоре со мною А. А. как-то пристально очень расспрашивал меня об исчезнувшей Минцловой; в тоне вопросов и взгляде его мне почудилось, что он внутренне знает влияние Минцловой на недавние устремления наши (наверно, Иванов его посвятил); мы же, давшие слово ей, Минцловой, не разглашать в эти годы тяжелую тайну (исчезновение ее навсегда), и не могли бы А. А. удовлетворить окончательно относительно Минцловой; на вопросы о ней отмолчался; и тут вспомнил рассказы А. Р. о ее встрече с Блоком (в 1910 году, в Петербурге), о взгляде А. А., очень пристально брошенном на А. Р. (на каком-то собрании), о нескольких только словах, которыми они обменялись.[35]

Не помню, чем кончился наш разговор в сине-серой «*гостиной*» (в «*Мусагете*» — три комнаты: редакторская, приемная, где заседал Кожебаткин с корректором, Ахрамовичем, ставшим после католиком; и наконец — коммунистом; третья комната была с креслами, диванами и с круглым столом; здесь пили чай; эту комнату я назвал почему-то «*гостиной*»). Не помню, кто был в «*Мусагете*» в то время: всего вероятнее Машковцев, пребывавший всегда тут, возникший естественно; и не помню, в тот день иль позднее здесь состоялось собранье кружка моего, которое отменить я не мог, на котором присутствовал Блок; вероятней беседа с А. А. была прервана явкой ритмистов, весьма осчастливленных появлением его на беседе о тонкостях русского пятистопного ямба; А. А. с любопытством прислушивался к специальнейшим разговорам о ритме, приглядывался к чертежам на доске (в «*Мусагете*» имелась доска; и — большой запас мела); в беседу же он не вступал; и сидел в уголке; и глазами оглядывал моих рьяных ритмистов. Сам же он никогда не пускался в анализ структуры стиха, полагая, что для поэта опасно детальное изучение анатомии и физиологии творчества; изучение это считал он особого рода самоубийством; мне помнится, что когда объяснял еще прежде подходы свои к изучению ритма стиха, то А. А. слушал молча, не слишком выказывая интереса; интересовалася — Лю-

бовь Дмитриевна; передавали впоследствии мне, что А. А. не советовал молодежи анализировать ритм, указывая на меня (в тот период стихов не писал я): «Вот был Андрей Белый поэтом, пустился в детальное изучение ритма; и — перестал сам писать; так оно и должно быть». Тут я никогда не согласен был с Блоком; блестящее подтверждение того, что детальное изучение ритма способствует расширению диапазона ритмичности — ритмы Казина, молодого поэта, сознательно изучавшего ритмику и потому позволявшего себе ходы, которые были бы не под силу другим.[36] Тут я — с Гумилевым, скорее; и — с формалистами.

Помню: оставшись одни (по окончании ритмического кружка), еще долго мы говорили с А. А. о тенденциях «*Мусагета*»; А. А. сделал мне предложение: издать все стихи его в «*Мусагете*»; и я обрадовался предложению этому, но без «*тройки*» не мог дать ответа; требовалось согласие Метнера, в котором — не сомневался; тут я позвонил Кожебаткину, с просьбой съездить к Э. К. и телефонировать к Тестову (в ресторан)[37] о согласии на предложение Метнера (мы решили с А. А. отобедать у Тестова).

Вот — пустынные помещения ресторана; и вот мы у стойки — пьем водку; пьет много он; в жесте его опрокидывать рюмочку — обнаруживается «*привычка*», какой прежде не было; я смотрю на него, на мешки под глазами; и вспоминаю о слухах (как много он пьет).

Вот и — тестовская «*селянка*», а вот — «*растегай*» (мы решили обедать по-тестовски); в серебряном очень холодном ведре — вот бутылка рейнвейна; отхлебываем в разговоре вино; и разговор наш какой-то простой и уютный, но — прочный, значительный по подстилающему молчанию; я высказываю А. А. восхищение перед песнями Вари Паниной; и говорим мы о Пушкине, о цыганах; А. А. мне высказывает очень глубокие домыслы о цыганизме у Пушкина и — о том, что банальные представления о «цыганщине» — просто вздор обывателя.

Я рассказываю А. А. о наметившихся переменах в моей личной жизни; оказывается, что ему все известно уже; мы решаем, что после обеда мы едем к Тургеневым; в это время является к Тестову Кожебаткин с известием: Метнер согласен издать все собрание стихотворений А. А.;[38] начинаются технические разговоры о форме, шрифтах, об обложке, о цвете букв (цвету букв придавал он значение).

Посидевши за кофе, пригубив ликер, до которого был так охоч Кожебаткин, мы едем к Тургеневым.

Подмерзает, снежит, запорашивает; мы — молчим; неповоротное прошлое нас обнимает безликими ликами ночи; и вспоминается давнее пребывание Блока в Москве, когда снился нам сон (и о Ней); убежал

этот сон в самогоны времен: в самороды событий; невзглядное, неразглядное время!

— «Помнишь, Саша, мы тут проходили когда-то, — показываю ему на Арбатскую площадь, — ты шел в мокрой слякоти и с бутылкою пива на марконетовскую квартиру».[39]

А. А. улыбается:

— «Много прошло с той поры. Что Владимир Федорович Марконет?»

— «Он такой же: и — вспоминает тебя».

— «Что-то будет еще?»

И мы замолкаем: и были былины, и были грустины, а небылицы — нет, не были!

Закипавший, сквозной беломет закипел из ворот; громко струйки снежистые пораспрыскались средь пречистеньких переулков; вот — Штатный: приехали! Часам к десяти появилися мы у Тургеневых (Аси, Наташи и Тани); и Ася, такая вся маленькая, имеющая до неприличия молоденький вид с вьющимися волосами и в голубом балахончике, на который кокетливо надевала она козью шкурку, горбатясь, как кошка, выглядывает на нас с независимой дикостью; Наташа же принимает, как взрослая, нас; три сестры с любопытством естественным окружают поэта, которого прежде еще полюбили они, о котором так много рассказывал им; он — большой, улыбающийся и спокойный, рассматривает их внимательно; если память не изменяет, — по просьбе Наташи читает стихи:

Ты в комнате один сидишь,
Ты слышишь?
Я знаю: ты теперь не спишь...
Ты дышишь и не дышишь.[40]

Чернорогая тьма накопала в углах чернорогие дыры; и в дырах уселись нездешние (может быть, там Чернодумы, а может быть, кто-нибудь из сестер: вероятней, что — Таня). Наташа и Ася воссели на мягкий диван; и, конечно, Наташа уселася скромно, — так точно, как подобает сидеть взрослой барышне; Ася — с ногами: сидит, обвисает кудрями; и — горбится, очень внимательно слушая Блока. Мне радостно видеть такого мне близкого человека, как Блок, у таких близких сердцу, как сестры Тургеневы; из соседней же комнаты, темной — не видно предметов: твердеет меж всеми предметами ночь; точно каменным углем, не воздухом, все пространство наполнено: сказочен, сказочен мне этот вечер!..

А ночью, часам так к двенадцати, Блок провожал меня до дому; мы разговариваем — о Тургеневых; я спрашивал:

— «Ну, как понравилась Ася?»

— «Да, острая она такая: дикая и пронзительная...»

Из расспросов не удалось ничего от него мне добиться; и понял я в общем — одно: что он в Асе увидел значительную натуру, но не совсем разобрался в своих впечатленьях о ней; нерешительность эта меня огорчила; я стал объяснять, как близка стала Ася мне:

— «Да?»

Так сказал он, взглянув; и это «*да*» прозвучало, как будто бы он сомневался в словах моих; стал уверять его, что — ручаюсь за отношение к Асе.

— «Да?» И — ничего не прибавил.

Зато говорил о «*Наташе*», которая очень понравилась.

У подъезда — простились, решив еще встретиться: в «*Мусагете*».

На следующий день в «*Мусагете*»[41] мы вовсе почти не остались; был и Метнер, и «*мусагетцы*»; А. А. с Кожебаткиным окончательно договорился об условиях издания стихотворений. А. А. был внимателен к мусагетцам, с которыми познакомился еще в старые годы он; а С. М. Соловьева, примкнувшего к «*Мусагету*», здесь не было. Кажется, — был Ходасевич.

В «*Мусагете*» простились мы; он отбыл в Петербург, окунулся в привычную суету, от которой так скоро устал: «*Я изнемогаю от разговоров*» (письмо его к матери);[42] в эту зиму испытывал сильный упадок он сил; и лечился массажем, порой увлекаясь французской борьбой; писал он «*Возмездие*».[43]

Я же вскоре уехал: в Сицилию, потом в Африку (с Асей),[44] откуда я часто, подробно писал А. А. Блоку; интересовался он очень моими дорожными впечатлениями.

ВРЕМЯ РАЗОЧАРОВАНИЙ

Я не описываю своих впечатлений от стран, развернувшихся передо мною и Асей; впечатления мною описаны;* остановлюсь я на боли, которою мучился в месяцы пребывания в Тунисии и в Египте; недоумение

---

* См. «Путевые заметки». Т. I и II. К-во «Геликон».[45]

это касалось Москвы («*Мусагета*»); наметилась явная линия моего расхождения с Метнером; да простит мне Э. К.: в эти годы стал резко меняться характер его; появились какие-то ноты запальчивости по отношению ко мне; формально мы трое (я, Эллис и Метнер) были руководителями «*Мусагета*»; de facto же Метнер препятствовал творчески проявиться мне там; я все более стал испытывать род опеки, цензуры идей в «*Мусагете*» (и обвинял в этом Метнера); ставились рельсы, угодные Метнеру; всем объявлялося, будто бы «*Мусагет*» существует для полного выявления моей линии; я же не мог предпринять ничего без громоздкого *Комитета* из разно глядящих людей (из Рачинского, Степуна, Яковенко, Петровского, Эллиса, Метнера и Сизова); все мелочи жизни редакции тормозилися; ряд заседаний томительно обсуждал инициативу мою; и независимо от *Комитета* я чувствовал: Метнер стоит надо мною с идеями, которые делались мне порою чужими; но свою линию не выдвигал он, а ждал от меня выполнения идейных желаний своих, будто эти желания мое персональное выявление; в случаях моего несогласия с «*метнеризмом*» докучливо поднимались капризы «*редактора*» (и не друга уже).

К тому времени меж «*Путем*» и меж «*Логосом*», издаваемым «*Мусагетом*», полемика обострилася; «*Логос*» и мне открывал свои двери, но брал меня узко, Kanninchen'ом эксперимента,[46] иль вставленным в риккертианскую раму; моя ж философия строилась критикой основных твердынь Фрейбургской школы, с которою был я недурно знаком; сам же Риккерт, которому я послал «*Символизм*» и которому передали ход мысли в моей «*Эмблематике Смысла*», прислал мне статейку с любезною надписью («*Одно, единица, единство*»);[47] в ней мог получить разъяснение на мои возражения против «*Предмета познания*» Риккерта. Все-таки: Риккерт входит одной гранью в меня; очень многими гранями приближалися задания Бердяева и Булгакова. В «*Логосе*» я был во «*фраке*», в котором пребыть невозможно; а у Бердяева — в своем собственном виде; конечно же, голым ходить невозможно; высказывания религиозных философов того времени *о последнем* выглядели порой оголением философии в исповедь; в устремлении исповедоваться в докладах я был против них; в обстановке интимной же мне Булгаков, Бердяев казались родными и близкими по сравнению с риккертианцами; я расходился существенно в тактике с «*Путем*», соединяясь здесь с Метнером, говорившим, что надо прикрыть *наготу* чистой мистики фраком сериозного гносеологического символизма; что лучше остаться в сфере приличного, *предпоследнего*, чем оголеньем последнего совершить профанацию. При крепчайшей по-

лемике тактика эта казалася мне предаванием близкого; тактика Метнера, окончательно слившегося с кантианцами, превращалася в суть у него; альтернатива меж «*фраком*» и все-таки «*человеком*» разрешалася для меня все же в сторону *человека* (пусть голого), только не «*фрака*», который без тела, в него облеченного, сам по себе не имеет значения («*фраком*» же юмор Шпетта клеймил систематическую подмену живых философских вопросов методикою, приемом).

Мое раздвоение меж «*Путем*» и меж «*Логосом*» Метнер себе объяснял переменою фронта; сердился, стараясь насильственно к телу пришпилить мой «*фрак*»; это мне надоело; писал ему, что считаю — неправильным припадание к «*Логосу*» «*Мусагета*» в процессе полемики с религиозною философией.

Разразилася бурная ссора в письмах, во время которой во мне отложилася горечь, досада на Метнера, допустившего резкости в письмах. Мне помнится: еще в Тунисии я бродил по полям с этой острою думою о «*Мусагете*» и с чувством растущего недоумения по отношению к Метнеру; иль бродил в закоулках Радеса[48] с все тою же думою; и мелькали бегущие головы в белых и желто-лимонных тюрбанах; и высились издали гребни лиловые Атласа; нежил мне взор бирюзовый тунисский залив с прилипающим парусом: к белым пескам побережий; и я возвращался домой, и высказывал Асе сомненья свои; мы посиживали в полосатых (и желтых, и синих) шелках, в ни на что не похожих, в малюсеньких комнатушках арабских; и обсуждали, что делать мне с Метнером; наконец, из Тунисии написал я всю правду мою, критикуя позиции наши; и — говоря о «*Пути*»;[49] недопустимый по тону ответ на письмо получил я в Каире;[50] и очень им мучился: я почувствовал оскорбленье себе. Здесь писал очень резкие, ответные письма; и рвал почти все их по настоянию Аси, старавшейся, чтобы я окончательно с Метнером не порвал; среди серо-коричневых зданий в хамсинном коричневом душащем воздухе дико носился по улицам я среди палевых, розовых, серо-сиреневых смокингов, увенчанных фесочкой (местных дэнди); и за городом нападало спокойствие, скорбное; пучились лопасти листьев; и капали влагой; и сахарный, сочный тростник плыл верхушками в воздухе; пятноголовые пташки порхали, пиликая; зелень чрезмерная хлопка кидалась в глаза.

Наконец, одолевши себя, написал очень сдержанное письмо Э. К. Метнеру (в примирительном духе);[51] на этом упорно так Ася настаивала.

Так наметилось в Африке отхожденье от Метнера; по приезде в Москву, правда внешне еще, сговорились мы: прежние, несравнимые

отношения — кончились; через два года снова поссорились мы; и потом помирились; в 1915 же году разошлись: навсегда.

Весь рельеф нашей жизни казался иным мне из Африки; незначительными, преходящими мне показались занятия наши в Москве; а проблемы сознания Вечности и Пути поднимались упорнее; может быть, пустыня и старые пирамиды зажгли в нас искание правды, пути, приведя к антропософии вскоре. Да, да: москвичи были как-то особенно невнимательны в пору ту к нашему моральному облику; и путевые мои впечатления были мне дороги по моральным исканиям, которые они подымали; и равнодушие к Африке воспринимал я обидой себе; я вернулся в Москву отделенным от прежних моих интересов; тянуло в широкое и глубокое море пути, а Москва стала символом, удаляющей от пути суетою; окрепло стремленье уехать надолго; и тяготение к «*загранице*» во мне стало символом расширения границ кругозора (московского).

Все это наметилось — в Африке, не встречая отклика в москвичах; лишь А. А. понимал суть стремлений моих; потому-то я много писал ему; не становился он явно со мной против Метнера, проливая елей примирения; все же — чувствовал я: только Блок понимает меня. Этим и обусловлены частые мои письма ему, о которых упоминает Бекетова: «*С северо-африканского побережья, куда уехал... Борис Николаевич, Ал. Ал. стал получать частые и длинные письма...*»[52]

В мае 1911 года вернулись в Россию; я Асю завез в Боголюбы; а сам на короткое время поехал в Москву,[53] где почувствовал: отдаление от «*Мусагета*»; и Эллису стал далеким каким-то он; Эллис влекся к антропософии, к Штейнеру, враждебному Метнеру. Большую близость я чувствовал к деятелям «*Пути*»: меня ласково встретил Рачинский; переглянулся со мною словами приветливо князь Трубецкой; говорили мы с ним у Рачинского. И профессор Булгаков высказывал мне и вниманье и ласку; он сделал тогда предложение мне — передать «*Русской Мысли*» мой новый роман (его должен был я написать); говорил он со Струве по этому поводу;[54] издательство «*Путь*» стало близко по духу мне, как «*Мусагет*», — с той разницей, что в «*Пути*» не участвовал я, а в «*Мусагете*» же числился редактором; но я чувствовал, что — ни здесь и ни там; да, Москва лишь расстроила нервы; и я убежал в Боголюбы.

Медлительно длилося странное бездождливое лето; мотыльковые цветики густо пестрили мне дни; желторой курослепов уже откачался на мае, теперь светлотелый Иванов-жучок изумрудил из ночи; потом — перестал изумрудить; вокруг многодревые чащи качались; закаты тянулись к востоку, теплили рассветы, мешаясь гореньем в всеобщем обсве-

те; и лучеродные проясни — ширились; и — облака набегали над полем, являя порой необстойных небесных пространств переполненный вид; тихоглавые липы сквозили жарищею синею; а полудневки взлетали в сиянское небо.

Запомнилось мне это лето.

Запомнился вновь отстроенный домик, в котором мы жили: средь поля; скирдами от нас отделен боголюбский был дом, где тогда проживало семейство В. К. Кампиони (С. Н. Кампиони, их дети, Наташа и Таня). Их дом был от нашего на расстоянии трехсот шагов.

Полюбил я Владимира Константиновича Кампиони, лесничего, густо обросшего бородой (называющего меньшевиком себя); был он нежен и чуток, но — обладал зычным басом, отчетливо разносившимся на версты; это скликал он — объездчиков-служащих, или свору собак, или просто: ругался в пространство, стараясь казаться свирепым; он, страстный охотник, разъезды свои по лесничеству соединял с истреблением куропаток, козлов, привозил иногда и подстреленных вепрей, кишащих в лесах; он нас звал «*декадентами*», «*выродками*», добродушно подтрунивал, втихомолку прислушиваясь к тому, чем мы жили; шутливый смешок соединялся в нем с искренним уважением к нам, с очень мягкой терпимостью; он под грубостью прятал тончайшую душу; с ним было легко и уютно; и он никому никогда не мешал; полюбил я мать Аси (Тургеневу по первому браку), свободного человека, не устающего и ищущего пути.

Боголюбское общество: В. К. Кампиони, С. Н. Кампиони, Наташа, Ася, Таня и я, А. М. Поццо (присоединившийся из Москвы к нам позднее) да Варечка (дочь С. Н. и В. К.), да Миша, брат Аси,[55] помощник лесничего, старая Асина нянюшка, приходящий священник да наезжающие из волости; и да — не забуду уютные вечера в небольшом белом домике, куда приходили (обедать и ужинать); все, бывало, В. К., только-только вернувшийся после объезда лесов иль с охоты, облокотяся на стол очень грузными и большими руками, расчесывает кудластую бороду, наклонившись над шахматами, и задумывается над ходами Аси; вспоминаю я что-нибудь: а Наташа, и Танечка, и С. Н. Кампиони — внимают; а в окнах — луна; и пора уже спать: но расходиться — не хочется.

Лето казалось значительным: будущее стояло в тумане; чувствовался отрыв от Москвы; предстояло зимою там жить; оставались без денег мы; и откладывалося решенье — при первой возможности убежать за границу, чтобы писать мне роман, чтобы Асе окончить ее курс гравюры; предстоящая жизнь мне казалася неустойчивой и чреватой конфликтами (может быть, с Метнером).

Я писал том «*Заметок*» об Африке (том второй);[56] в стихотвореньях моих того времени — ожидание: чего-то большого, придвинутого вплотную к душе; переписывался я охотно лишь с Блоком да с М. К. Морозовой, звавшей к себе нас, в имение.[57]

Не могу не отметить переживаний предчувствия: эти места — Луцк, Боголюбы, Торчино через три года попали в громовую полосу русско-австрийского фронта; летом же 1911 года не указывало ничто на войну; а какое-то беспокойство нас всех охватило; и — да: на прогулке, в полях, очень явственно мы (я, Наташа и Ася) прислушивались к явственным глухим рокотам грома, иль грохота отдаленных орудий, напоминающих гремение телеги по вымощенному шоссе.

— «Слушай...»

— «Слышишь?»

— «Гремит?»

— «Да — гремит».

Гром? Безоблачно небо. Орудие? Да откуда? Телега проехала по дороге? Дорога, пустая — протянута в даль. Нет источника грохота, а — погромыхивает. Слышу — я, слышит — Ася, Наташа — прислушивается средь порхающих васильков и уже созревающей наклоненной пшеницы; вот — грохнуло; обрывается наш разговор; мы молчим: ру-ру-руу...

— «Слышишь?»

— «Да, да: погромыхивает!»

Что это было? Мы слушаем: но — от этих вот рощ листоплясом похаживать примется ветренник, ветер: свистун, — пронесется, засвищет далекие грохоты; и яснорогий закат объясняет пространства под облаком; ясной семью перстов разгасится над облаком; неугасимо нам светит; и — начинаются замерки; мы возвращаемся с поля, прислушиваясь к полету времен; уже фыркают лошади; мчится в ночное мальчишка, верхом, растопырившись пятками ног: он промчался, бросаясь локтями, размахивая рукою веревкой — гоп-гоп — мимо нас. И — все тихо; и — грохнуло...

Раз уже в сумерках вовсе шли около дома мы — с поля; и стлалася уже сине-серая дымка июльского вечера; на приступочке белого домика, выходящего одной стороною в стволы, другою — в поля, — на приступочке загорелый, большой и кудластый В. К. Кампиони, «*позитивист*», вечный скептик, — мы видим: сконфуженно чешет затылок, поглядывая украдкой на нас:

— «Что, Володя?»

— «А черт знает что: вот ведь — черт: подъезжает телега; гремит колесом; выйду я, жду-пожду — нет телеги... Гремит... Что за черт?..»

— «Мы давно это слышали».
— «Слышали?»
— «Слышали».
— «Что же: гремит?»
— «Да: гремит!»

И В. К. Кампиони, полусконфуженный и рассерженный, разводит руками: и плюнув, уходит в свой беленький домик.

Описываю восприятия грохота здесь, в этих мирных полях, как предчувствие грохота, долженствовавшего здесь разразиться; впоследствии домик лесничего, маленький домик наш и тот большой, через год лишь отстроенный дом, — все разрушено было: австрийскими пушками (здесь погибли и книги мои, и коллекции безделушек из Африки); годы здесь длились бои; но предчувствия будущих грохотов слушали мы с Кампиони за четыре года до грохота.

Общее впечатление лета: *гремящая тишина*; тишина — зрела «*громами*»: упадающей эры; гремело не здесь, а над миром; и можно уже было слушать тяжелые поступи будущих лет. Стихотворения, мне слагавшиеся в то лето, — призывные, боевые:

И опять, и опять, и опять —
Пламенея, гудят небеса...
И опять, и опять, и опять —
Меченосцев седых голоса.
Над громадой лесов, городов,
Над провалами облачных гряд —
Из веков, из веков, из веков —
Полетел меднобронный отряд.
Выпадают громами из дней...
Разрывается где-то труба:
«*На коней, на коней, на коней*»...
Разбивают мечами гроба.[58]

Стихотворение написано в Боголюбах под впечатлением грохота, слышимого порою в полях: мной, Асей, Наташею и В. К. Кампиони, — среди безоблачных июльских небес, когда ни телега, ни бричка не разгромляла дороги.

Грохотала грядущими бедами атмосфера России; и мы — грохот: слышали!

Часто я возвращался в ту пору к стихотворениям Блока; звучали мне строчки:

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.[59]

И писал я:

Тяжелый, червонный крест —
Рукоять моего меча.[60]

Ощущалось, что мы — «*дети страшных годин*». А. А. Блок, как поэт «*страшных лет*», к нам придвинулся в это лето. Вдобавок же: в нашем домике с Асею начались спиритические явления (трески, шаги, огоньки), что сердило В. К.; явления продолжалися более месяца.

Осенью мы гостили у М. К. Морозовой;[61] и потом поселилися с Асею под Москвой, около станции Расторгуево;[62] раз в неделю являлся в Москву я, бывал в «*Мусагете*»; и тотчас бросался назад: прочь из города. Иногда — москвичи приезжали: Наташа, иль Метнер, или Петровский, иль Поццо.

Не стану описывать сосредоточенной «*расторгуевской*» жизни с возвратными медитациями о «*путях*» и о жизни; интересовались Блаватской и Штейнером мы; между тем: подготовлялися «*Труды и Дни*», мусагетский журнал; Александр Александрович Блок вызвал к жизни его; он сумел убедить Э. К. Метнера в необходимости появления «*дневника*» трех писателей; но увы: «*Мусагет*» со всей грузной компанией «*комитета*», где мистик Н. П. Киселев постоянно противился влиянию Степуна, Яковенко, а православный Рачинский боролся с католиком Эллисом, с Метнером (протестантом) — увы, видел я, что журнал трех писателей-символистов заранее обречен на провал; руководство журналом не терпит медлений; я значился там редактором; но «de facto» ко мне на буксир прицепили почтеннейший тормоз; идея «*журнала*», который мог быть (дай Иванову, Блоку или мне «*carte blanche*») *новым словом* культуры, *a priori* превращалася: в скучнейшее учреждение (так журнал очень скоро зачах); им почти пренебрег я; и идее А. А. деспотичнейший Метнер не мог дать свободы. В осенние месяцы эти «*Труды*» были подлинно душевным балластом. Мне помнится мое общение с С. И. Гессеном, приехавшим подготовлять второй № «*Логоса*», обосновавшимся в «*Мусагете*», где он принимал в определенные дни и часы; с ним легко было; он оказался хорошим редакционным товарищем (не как Метнер: я видел уже, что мне с Метнером невозможно работать).

В ту пору же я получил официальное предложение от «*Русской Мысли*» (от Струве и Брюсова): написать к январю им не менее 12 печатных листов нового моего романа; и я — согласился, приготовляясь писать «*Петербург*»: на работу же я смотрел как на срочный и твердый заказ, не допуская мысли о непринятии текста редакцией;[63] к тому времени моя авторская физиономия была уже достаточно всем известна, особенно Брюсову, редактору литературного отделения «*Русской Мысли*», с которым ближайше работали мы шесть лет очень тесно в «*Весах*»; что же касается Струве, то он меня звал как писателя, написавшего «*Серебряный Голубь*», имевший успех в кругу близких участников «*Русской Мысли*» (Булгакова, Бердяева, Гершензона);[64] и стало быть: мне заказывая роман, на меня полагался он; на написанье романа смотрел, как на долг перед журналом; а долг был — тяжелый, в течение менее чем трех месяцев написать и отделать художественно 12 печатных листов, т. е. кроме процесса создания по крайней мере переписать раза три все написанное; после третьей отделки лишь можно бы было к печати сдавать; за всю эту работу я должен был 1000 рублей к Рождеству получить как аванс; в наличности же — не было денег (от «*Мусагета*» я получал 75 рублей в месяц; и на прожитие вдвоем — не хватало).

Помнится мне, как, согнувшися с утра до ночи, я писал в Расторгуеве с тяжким сознанием, что у меня накопился 3000-й долг «*Мусагету*», который бы мог ликвидировать я, предоставивши «*Мусагету*», во-первых, распроданные «*Симфонии*» и стихи; во-вторых, «*Путевые заметки*» (2 тома, совсем не плохих и написанных только что); но Метнер *a priori* невзлюбил «*Путевые заметки*» (их кисло, медлительно набирали года, чтобы после сбыть «*Сирину*»);[65] не печатали и распроданных книг, подчеркивая вместе с тем, что я должен 3000: со мной «*Мусагет*» поступил негуманно, меня заставляя мой долг отрабатывать новыми произведеньями (статьями и пр.), которых не мог в это время я дать, потому что процесс написания «*Петербурга*» в ту пору не позволял мне сосредоточиваться на чем бы то ни было.

Переживал очень трудные дни; а в голове созревали невоплотимейшие проекты: освободиться, отделаться; и — отправиться куда-нибудь на восток; приобрел я Бедекера[66] (*Месопотамию, Сирию*) и изучал все пути по Евфрату и Тигру, мечтая отправиться с Асей туда; это было совсем невозможно; но невозможней казалось остаться в Москве, в кабале, в неприятностях, в суетах, в «*злобах дня*». В месяц отписывал я по пяти печатных листов трудной прозы, что — очень много; и кроме того: мне для заработка устроили лекцию (в первый раз — в свою пользу!); она поддержала: немного; и все-таки: надвигалось безденежье;

я был должен работу над «*Петербургом*» оставить; и — помышлять о газетах (нежеланьем перепечатывать уже распроданные произведенья и задержкою «*Путевых заметок*» сажал меня на мель тот именно «*Мусагет*», о котором провозглашалось: «Вы знаете, „*Мусагет*" существует ведь для Андрея Белого!» Так думал Иванов; и — многие очень).

Вдруг получаю из Петербурга письмо: от А. А.; пишет он: слышал о денежных затрудненьях моих; и о том, что предстоит очень трудная ответственная работа мне, которая требует сосредоточенности; он же после отца получил небольшое наследство; поэтому просит принять он меня взаймы 500 рублей, которые ему ничего не стоит послать, но которые могут, быть может, меня поддержать в моей трудной работе.[67] Письмо все — проникнуто очень большой деликатностью; и отказать уж А. А. я не мог; на сердечную, дружелюбную помощь со всей простотою сердечно ответил: принятием помощи;[68] да — я нуждался; три месяца сосредоточенной работы над «*Петербургом*» не мог бы я вынести, если бы не заем у А. А.; мне ведь «*Русская Мысль*» не дала ни гроша; между тем мне поставила ряд условий; и кроме того: мне назначила унизительный гонорар (чуть ли не 75 рублей за лист прозы,[69] в то время как Л. Андреев за лист получал ведь не менее 1000); назначая тот нищенский гонорар, В. Я. Брюсов посмеивался надо мною в присутствии Аси:

— «Борис Николаевич: у „*Русской Мысли*" — нет денег. Тому плати, этому... надо кого-нибудь поприжать... Вы же, вы человек — неземной... ну скажите мне: для чего деньги вам? Если уж прижимать кого, то конечно же — вас!»

Так присылка мне Блоком 500 лишь рублей была стимулом возникновения «*Петербурга*». Поэтому А. А. Блока считаю я: вдохновителем «*Петербурга*» и подлинным автором восстания к жизни его.

И писал регулярно я, разделивши 12 печатных листов, или 200 печатных страниц, на три месяца (должен был я не менее 3 раз, переписывая, переделывать текст); положил я себе: каждый день отрабатывать не менее 20 страниц (письменных): хочешь не хочешь — пиши; и — писал.

Уж с конца октября наступил такой холод на «*расторгуевской*» даче, что с Асей ввалились в Москву мы: в квартирочку Поццо, где обитали Наташа и Таня (в Шестом Ростовском);[70] ютились в одной очень маленькой комнатке; все-таки: не было денег почти; и работал я (проживая последние деньги) до нервного переутомления; А. А. Рачинская пригласила в Бобровку нас, где пробыли мы почти весь декабрь,[71] где оканчивал я переделку 14, а не двенадцати листов «*Петербурга*».

Попали (теперь уже с Асей) в всё те же старинные комнаты; хмурились те же ели; портреты немеющих предков Рачинского (в лосинах, в роб-ронах) глядели на нас из черневших от времени рам: утром, вечером, днем; Асе было немного и грустно, и жутко в тишающем доме; поскрипывали по вечерам половицы; казалося ей: ходят — предки; мне помнится: Ася сидит у окна (что-то шьет) в очень-очень просторной столовой; я около стены сижу, сгорбленный, перечеркивая раз в четвертый исписанные страницы, или читаю ей только что переделанное, или же мы углубляемся в книги по оккультизму; уже темнеет, а в окнах метет: громче, громче гремят вихряные рога; громче, громче невеста метель завивается в окнах и снегом, и ветром; и хлещет крылами, насвистывая безглагольную песню свою; и — темнеет совсем; где-то рядом проходят с огнем: пятна света по потолку побежали, остановились, застыли; затеплим мы свет с ней; и — разговариваем о том, что надвигается что-то большое-большое-большое на нас; или слушаем поступь событий.

В последние дни пребыванья в Бобровке присоединился Петровский к нам; мы втроем коротали морозные, эти декабрьские дни; надвигалося Рождество; и мы тронулись (кажется, вместе) — в Москву.

По приезде в Москву «*Русской Мысли*» представил я до 14 печатных листов, возлагая надежды на злополучную 1000;[72] и увы: 1000 не получил; получил лишь уклончивые ответы от Брюсова, что роман мой сперва подлежит рассмотрению Струве (в моем же сознании о цензуре здесь не могло быть и речи); да, да: предпочли «*Петербургу*» длиннейший роман Абельдяева;[73] от Струве же — получил я письмо, что «*Петербург*» он не может печатать в журнале; и — даже он, Петр Бернгардович, был бы весьма опечален, если бы вообще появился роман где-нибудь:[74] тут мне жаль стало — Струве: отказ напечатать роман огорчил меня с денежной стороны: обманули меня; заказали и — отняли только рабочие месяцы, не заплатив ни гроша; мы с Асей остались почти что голодными — с половиною «*Петербурга*». Считаю: роль Брюсова в этом деле отнюдь красотою не блещет.[75]

С этого времени к Брюсову у меня водворилось одно отношение: шапочного знакомства.

Да: грустное Рождество встретил я; все надежды на деньги исчезли: негодование Булгакова, сватавшего меня с «*Русской Мыслью*», не утешало меня: сочувствие сердечного, чуткого человека, когда почти нечего есть, — что оно значит? А «*Мусагет*» — не пришел мне на выручку; так мы встретили Новый год. Тут позвал нас Иванов к себе; и мы с Асей охотно отправились к Вячеславу: на «*башню*».[76]

Иванов устроил на *башне* ряд чтений моих, которые имели успех средь писателей; из присутствовавших на чтениях помню: Аничкова, Кузмина, Гумилева, Ахматову, Городецкого, гр. А. Н. Толстого (с женою), Недоброво, Княжнина, Пяста, И. В. Гессена, С. И. Гессена; В. И., проф. Е. В. Аничков мне оказали в те дни очень дружескую поддержку, подчеркивали, чтобы я не бросал «*Петербурга*», что он — настоящее, крупное произведение русской литературы; Ф. К. Сологуб, у которого с Асей обедали мы, мне сочувственно высказал солидарность, естественно негодуя на Брюсова и подчеркивая, что «*Андрея Белого*» подвергать цензуре — нельзя (он впоследствии рекомендовал «*Петербург*» одному из издательств, какому — не помню); забракование «*Русскою Мыслью*» романа уже становится «*притчею во языцех*» и выглядело «*скандалом*» оно не для меня, а для Брюсова; с той поры начинаю я получать предложения отовсюду: о напечатании «*Петербурга*»; поддержка Иванова и Аничкова мне давала возможность: продать «*Петербург*», ликвидировать денежный кризис.[77]

И кстати сказать: «*Петербург*», то заглавие романа придумал не я, а Иванов: роман назвал я «*Лакированною каретою*»;[78] но Иванов доказывал мне, что название не соответствует «*поэме*» о Петербурге; да, да: Петербург в ней — единственный, главный герой; стало быть: пусть роман называется «*Петербургом*»; заглавие мне казалося претенциозным и важным; В. И. Иванов меня убедил так назвать мой роман.

В это время мы с Асей бывали: у Сологуба, у Городецких, у Аничкова, у Гумилева. И отношение к нам было всюду радушное, теплое. Прожил в Петербурге четыре недели (а Ася поехала ранее — приготовляться к отъезду: в Москву);[79] я прочел две публичные лекции; и прочел свои лекции в «*Обществе Ревнителей Художественного Слова*»: о ритме русского пятистопного ямба и о стихиях в поэзии Тютчева, Пушкина, Баратынского;[80] кроме того: я участвовал в происходившей полемике меж символистами и акмеистами на волновавшую тему: есть ли символизм, развиваемый нами, лишь школа в искусстве, иль — миросозерцание; помнится вечер: с Ивановым мы произнесли декларацию символизма (докладами: эти доклады впоследствии появилися в № первом «*Трудов и Дней*»);[81] Гумилев, Чудовской и Кузмин нас оспаривали.

Разумеется: первые же вопросы мои, обращенные к В. Иванову, обращалися к Блоку: что он, и — можно ли его видеть? Иванов сказал, что Блок пробегает обычную полосу мрачности (полосы эти порой на него нападали); он-де затворился от всех, никого не пускает к себе; его видеть — нельзя. Вместе с тем: в В. Иванове я заметил какую-то сдер-

жанность по отношению к Блоку: какое-то сдержанное стеснение — что ли; он выражался туманно и смутно; я понял одно: с Блоком — что-то неладно; я знал, что Блок летом предпринял с Л. Д. путешествие за границу;[82] и побывал он в Берлине, в уютнейшем Кельне, в Париже, что жил он в Бретани, купаяся в океане; Европа произвела впечатление на него очень-очень «*чудовищной бессмыслицы*»: «*В каждом углу Европы уже человек висит над самым краем бездны*».* В конце сентября 1911 года вернулся он в Питер. Теперь начались увлечения его мрачным гением Стриндберга; с этим последним его познакомил В. Пяст;[84] и мне думается, что все приближало А. А. к глубочайшему впечатлению от Стриндберга: чувство гибели, ощущение гонений переживали мы все в эти годы; так: мрачность А. А. происходила от изживания тем, приближающих к Стриндбергу.

Раз у Иванова невзначай сорвалось: «Блок же *пьет* — *пьет* отчаянно!» Я не расспрашивал Вячеслава Иванова о бытовой стороне жизни Блока; казалось, что все-все-все располагало к тому, чтоб мы встретились с Блоком; но встречи с А. А. в Петербурге теперь затруднялися тем обстоятельством, что, находясь с Любовь Дмитревной в ссоре (года не видались уже), не мог посетить я А. А. у него на квартире; писать же ему и выпрашивать встречу — нет, нет: не хотелось.

Увидевши Пяста, вполне получил подтверждение, что А. А. — очень мрачен, недомогает, и — затворился от всех (впрочем с ним, с В. А. Пястом, встречался он изредка), что А. А. уже слышал об этом приезде моем и хотел повстречаться, но очень просил никому не промолвиться о желании этом, особенно Вячеславу Иванову; к Вячеславу Иванову А. А. чувствовал охлаждение, о чем гласят строчки стихов, посвященных В. Иванову и написанных в этот же год: в них, в строчках, вспоминает он прошлое, пережитое с Ивановым (вероятно, то — 1906—1907 года, нас с А. А. разделившие):

Из стран чужих, из стран далеких
В наш круг вступивши снеговой,
В кругу бездумных, темнооких
Ты золотою встал главой.
Слегка согбен, не стар, не молод,
Весь — излученье тайных сил,
О, скольких душ пустынный холод
Своим ты холодом пронзил.

---

* Из писем к матери.[83]

Намечается в Блоке — здесь явственное разочарование в Иванове; и вместе с тем: разубеждение в годах, выдвигавших «*мистический анархизм*», на который так пламенно мы, москвичи, нападали когда-то. В те годы А. А. спел *с Ивановым стих*:

...И наши души спели
В те дни один и тот же стих.

Признается он —

— друга
В тебе не вижу, *как тогда*.[85]

Во всех домыслах Вячеслава Иванова, обращенных по адресу Блока, я чувствовал: грусть. Отчуждение это, казалось мне, продолжалось года...

Через несколько дней после тихого, уединенного разговора с В. Пястом я получаю чрез Пяста (украдкою) небольшую записку, в которой А. А. приглашает меня на свидание в небольшом и глухом ресторанчике (где-то около Таврической улицы);[86] я в условленные часы прихожу; ресторанчик убогий, но совершенно пустой, — располагал нас к уюту; я вижу, А. А. ждет меня; он — единственный посетитель — встает из-за столика: с очень приветственным жестом; одет он в просторный и скромный пиджак был, подобный тому же, в котором я видел его год назад. Он осунувшийся, побледневший, но весь возбужденный какой-то (в Москве возбуждения этого не было в нем) ко мне обратился; что-то в облике его переменилось; остались вполне лишь «глаза» (усмиренные, ясные, добрые); стиль его отношения ко мне узнавал безошибочно я: по глазам и губам; и — потому-то в воспоминаньи о нем рисовался он мне то повернутым в профиль, то подставляющим фас. Когда нечто лежало меж нами, что нас отделяло, не видел я детских, больших голубых его глаз; мне казались они зеленоватыми, серыми, полуприщуренными; и не видел я этой пленительной, над лицом восходящей улыбки, а видел кривую улыбку; или — надменно сомкнутые губы. Так с первого взгляда, мной брошенного на А. А., понял я, что меж нами всё те же хорошие отношения и что мы бы могли разговор наш последний в Москве продолжать, точно он был вчера. Между тем: в моей жизни свершались крупнейшие перемены; в его жизни? Что-то происходило с ним (я видел то). Но так уже устанавливалось между нами: события личные наших жизней не задевали теперь

всей тональности встреч (прежде было не то); обстановки встреч, лиц, разделявших нас, не было. Из бессмертного, непеременного центра, из «Я» в «Я» другого глядели мы, будто души, тела, оперение переживаний под-солнечных, красочность их, — отлетели уже; и будто бы мы из-за граней сражающей смерти, из вечно засмертного (где нет ни красок, ни образов) смотрим друг на друга. Глухой ресторанчик, иль блестящий зал, Москва, Петербург, или Шахматово, Европа иль Азия, или Марс, иль Сатурн — помню много моментов меж нами, когда не имели б значенья для тем разговоров, которые мы вели, эти малые или большие перемещения места; все — призрак: при-зрение, т. е. то, что вокруг прилипает к глазам (ресторанчик, квартира, иль улица — то, что стоит «*у лица*»); действительность — действия наши — выносят на улицу нас; но улица — то, что стоит «*у лица*», что не может уйти от лица, что *при-лично*: *от-личное где*? Да, да: зрение есть созревание; «*зрак*» есть «*зерно*»; *созревание* — зрение с кем-нибудь вместе; *созреет* лишь тот, чьи глаза отвечают глазам.

Этот скромненький ресторанчик, его желтый крашеный пол, освещаемый желтым светом, коричнево-серые стены с коричнево-серыми полинявшими шторами и с прислуживающим унылым и серым каким-то лакеем (с опущенным правым плечом и привздернутым левым), — тот серенький ресторанчик скорей подходил к разговору, чем эти сиянские оперенья природы, или блестящая, переполненная военными зала у Палкина, где когда-то мы встретились вместе раз; стиль нашей встречи теперешней был — стилем «*страшного мира*» (из третьего тома стихов); да, мы не были ныне уже дети «*Божии*», как когда-то нас кто-то назвал; дети «*страшных лет*» жизни России — несли бремя страхов.

Мы руки пожали друг другу, поцеловались и обнялись; я сердечно благодарил А. А. за оказанную им денежную поддержку; А. А. стал отмахиваться:

— «Ты, Боря, пожалуйста, не думай о возвращении денег; отдашь, когда сможешь; мне ведь осталося от отца небольшое наследство; его хватит мне... Если бы я нуждался, а ты бы мог помочь мне, то неужели же не помог бы?..»

Мы сели: Блок, тихо склонившись, подробно выспрашивал об истории с «*Русской Мыслью*»; при упоминании о роли Брюсова в этом он стал усмехаться:

— «Валерий Яковлевич, ну конечно же — верен себе...»

История не удивила его; А. А. Блок никогда не подвержен был склонности: переоценивать Брюсова; этой склонностью мы страдали в Москве; каюсь, я сколько раз лез из кожи вон провозглашать замеча-

тельным человеком его; и со сколькими я перессорился из-за Брюсова; в 1904 году А. А. назвал его «*математиком*», т. е. тем, кто измеривает и взвешивает: строчки, рифмы, размеры, способности, переживания, души: примеривает и не только «*при*»-меривает; считает, рас-считывает, про-считывает и порою в метафорическом смысле об-считывает; отношение к Брюсову в нем создалось искони «*ироническое*»; мы естественно, разочаровавшися в Брюсове после лавров, которыми мы венчали его, переходили в противоположную крайность; А. А. был спокойнее, может быть, справедливее к Брюсову; зная, на что он способен, он все-таки в пору нападок на Брюсова отмечал в нем действительность поэта и, все-таки, очень незаурядного, крупного человека:

— «Да, да, — у Валерия Яковлевича по отношению к тебе проявилась тут лишь обычная его „*магия*"», — так он сказал мне; и глаза его иронически лишь заблуждали по столикам, и застыла улыбка, как будто бы он говорил:

— «Не рассказывай: знаю, все знаю».

Более, по-моему, не понравилось ему поведение Струве; шутя, мне припомнил он мой же рассказ ему, как нас, Общество Свободной Эстетики, Брюсов, его председатель, гнал в качестве главного директора Литературно-Художественного Кружка, прижимая к груди свои руки и слезно жалуясь И. И. Трояновскому и Серову (на заседании Комитета Эстетики):

— «Знаете ли, Иван Иванович, — они гонят нас вон: говорят, будто бы невыгодно им сдавать помещение нам».

И в ответ на печальную жалобу приходящего в отчаянье Брюсова относящийся более чем мягко к нему Трояновский не мог не воскликнуть:

— «Позвольте же, Валерий Яковлевич, да кто ж гонит нас: вы? Вы ведь главный в Кружке?»

И действительно: в это именно время В. Я. наводил экономию на финансы кружка и себя самого (вместе с нами) изгнал из каких-то расчетов: директор Кружка, В. Я. Брюсов, гнал основателя общества и председателя В. Я. Брюсова; и на поступок директора Брюсова по отношению к председателю Брюсову огорченно, взволнованно жаловался он Комитету Эстетики; помню я едкий и полный сарказма вид Серова, который, как помнится, произнес, тихо-тихо, сквозь зубы:

— «Что ж, коли гонят, тут ничего не поделаешь: надо приискивать помещение».

И действительно, что можно было поделать В. Брюсову, когда гнал-то его тот же Брюсов: «*Кружковский*» — «*Эстетского*».

Этот-то случай и рассказал я А. А. в его бытность в Москве; он тогда рассмеялся; ужасно понравился случай, характеризующий Брюсова:

— «Весь Валерий Яковлевич тут вылился», — сказал мне А. А.; и теперь, по поводу случая с забракованием «Петербурга» в пользу громоздкого абельдяевского романа, А. А. принялся мне шутливо оправдывать Брюсова:

— «Ведь Валерий Яковлевич играет: бескорыстно совсем из любви к искусству — не более, делает он», — тут А. А. употребил очень крепкое слово, которое в переводе на менее крепкое выражение означало «*поступки, не подходящие к кодексу обычной морали*»... Но Струве считал он ответственней, потому что — «*общественник*» Струве (Брюсов в смысле общественности был сознательно и намеренно беспринципен); к общественности относился А. А. в это именно время сериозно и строго; и от «*общественников*» он требовал многого. В воспоминаниях Княжнина* отмечается, что как раз в это время (в конце 1911 года: разговор же наш происходил в начале 1912-го) А. А. увлекался общественностью; Княжнин пишет: «*А. А. скупил целую серию революционных книжек, выпущенных в предшествующие годы... В статье своей „Памяти Августа Стриндберга" А. А. отмечал, что „ему хочется назвать старого Августа" — товарищем. С этим словом „связаны заветные мысли о демократии, это — самое человеческое имя сейчас"*».** Потому-то отказ П. Б. Струве печатать роман, специально заказанный мне, отнимавший все время без гарантии оплаты труда, — этот резкий отказ он считал *необщественным* поступком общественника. Не поведение Брюсова возмутило его, а поведение «Русской Мысли» как органа «*общественной мысли*» по отношению к писателю-бедняку. Разбирая поступок тот, вдруг рассердился он; и меж бровей его появилась глубокая складка.

Перейдя снова к Брюсову, весело он рассмеялся. И на минуту проснулся теперь «*юморист*» былых лет; в наших встречах последних уже не было в нем того юмора легкого, — появился оттенок сарказма в юмористических вспышках: сам юмор стал гуще, тяжелей, мрачней.

Скоро мы перешли на его состояние сознания; и я передал ему, что кругом говорили о том, как он мрачен и как удаляется он от людей.

— «Это, Боря, и так, и не так... Тут ведь были другие причины. Я, видишь ли, болен был...»

---

* В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок.[87]

** Idem, стр. 111.

Стал мне рассказывать он, что в последнее время он вдруг занемог; и сперва все не мог осознать непонятного недомогания; даже подумал, что заразился одной неприятной болезнью; доктора подозревали сперва ту болезнь; ему сделали впрыскивание; лишь потом обнаружилось, что болезнь — совершенно иная (на почве нервов); и он успокоился:

— «Видишь, это совсем ведь не то, что тебе обо мне говорили...»

И он посмотрел на меня грустным взглядом; и улыбнулся, слегка отвернувшися, — пустым столикам:

— «Из вот этого моего рассказа ты можешь сейчас заключить, что за жизнь я веду».

И опять посмотрел на меня вопросительно, грустно; тряхнув головой, протянулся к стакану вина.

— «Да, я — пью... И да, — я увлекаюсь: многими!..»

И опять поворот головы: и улыбка — в гардины.

Тут он начал рассказывать мне о характере своей жизни и о причинах, которые его толкают периодами к тому образу жизни, могущему показаться беспутным; он говорил о «*цыганщине*» как одной из душевных стихий; и под всеми его словами, во всем, столь не свойственном для него возбуждении, проступала глубокая грусть человека, терявшего внешнее равновесие вовсе и что-то увидевшего в областях «*Мира—духа*», но вовсе не там, где ожидал он увидеть (не в заре), а в потемках растоптанной и в тень спрятанной жизни; из всего, о чем он говорил, вырывался подавленный окрик: «Можно ли себя очищать и блюсти, когда вот кругом — погибают, когда — *вот какое кругом*!»

В эти годы А. А. увлекался цыганами; М. А. Бекетова пишет о лете 1912 года: «*И в это лето, как всегда, он слушал цыган. По поводу концерта Раисовой он пишет: „У цыган, как у новых поэтов, все «странно». Год назад Аксюша Прохорова пела: «Но быть с тобой и сладко и странно». А теперь Раисова поет: «И странно, и дико мне быть без тебя»*"».[88] В этот период у него было много встреч с женщинами; вот отрывки из писем к матери:* «*Мама, ко мне вчера пришла Гильда. Меня не было дома, когда пришла девушка, приехавшая из Москвы, и просила меня прийти туда, куда она назначит... Ей — 20 лет, она очень живая, красивая (внешне и внутренне) и естественная. Во всем до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду, и говорит все, как должна говорить Гильда*». Или: «*Я нашел красавицу еврейку, похожую на черную жемчужину в розовой раковине*»...[89]

---

* М. А. Бекетова. Александр Блок.

Эти многие появления женщин пред Блоком вместо утраченной, прежней, одной, происходили в атмосфере «*страстного*» состояния сознанья его, в визге цыганского напева и часто весьма: «*за бутылкой вина*».

Из хрустального тумана,
Из невиданного сна
Чей-то образ, *чей-то странный*...
(*В кабинете ресторана*
За бутылкою вина).
*Визг цыганского напева**
Налетел из дальних зал,
Дальних скрипок вопль туманный...
Входит ветер, входит дева
В глубь исчерченных зеркал.

Мне известно, что в жизни Блока бывали встречи не только с аллегорической «*Гильдою*», относительно которой пожалуй что можно сказать:

Взор во взор — и жгуче-синий
Обозначился простор.[90]

Были встречи — без «*взора во взор*»; был и —

Красный штоф полинялых диванов
Пропыленные кисти портьер, —

— после которых А. А. внутренне восклицал:

Разве дом этот — дом в самом деле?
Разве так суждено меж людей?[91]

К этой-то стороне его жизни и относились слова его, сказанные мне в сереньком ресторанчике, когда он улыбнулся в полуоборот — пустым столикам:

— «Из вот этого моего рассказа ты можешь сейчас заключить, что за жизнь я веду».

---

* Курсив всюду мой.

Он подчеркивал: в сфере стихий внешней жизни подвержен он всяким случайным опасностям, неприятностям — вплоть... до... до заболеваний; он пытался, весьма возбужденный, мне сделать понятным, естественным, почему *это* так, не *иначе*: и почему то — судьба его, которую он принимает смиренно; и в визге, и в свисте метели, в объятиях бесшабашного ветра слагались поверхности этой мучительной жизни (отсюда же особое тяготение к Аполлону Григорьеву); между тем: в тайниках этой жизни отслаивались огромные и чреватые мысли о новой России-«*дите*»: «*В музыке мирового оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок — родилось дитя Гоголя. Этого ребенка он назвал Россией*».* Или: «*Среди нас появляются бродяги... Можно подумать, что они навсегда оторваны от человечества, обречены на смерть. Но бездомность и оторванность их — только видимость. Они вышли, и на время у них „в пути погасли очи"; но они знают веянье тишины*».** Или: «*Это... пляска тысячеокой России, которой уже терять нечего; всю плоть свою она подарила миру и вот, свободно бросив руки на ветер, пустилась в пляс*». Или: «*Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься — даль, синева и щемящая тоска неисполненных желаний*».***

Или в своей замечательной статье «*О современном состоянии русского символизма*» он пишет: «*Так или иначе лиловые миры захлестнули и Лермонтова... и Гоголя...; еще выразительнее то, что произошло на наших глазах: безумие Врубеля, гибель Коммиссаржевской; недаром так бывает с художниками сплошь и рядом, — ибо искусство — чудовищный... Ад; из мрака этого Ада художник выводит свои образы. Так, Андрей Белый бросает в начале своей... повести... вопрос: „А небо? А бледный воздух его, сперва бледный, а коли приглядишься, вовсе черный воздух"... Но именно в черном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры*».****

Этот *черный его проницающий воздух*, который так естественно напугал меня в 1904 году, во время шахматовой прогулки с А. А. (в поле), — окончательно окружил А. А. в 1912 году; *голубая* тишь сквозь *лиловые миры* тома второго стихов предвещали теперь подхождение А. А. к рубежу, к роковому порогу: к порогу, делящему душу от Духа; недаром боялся я в 1905 году погружения в *лиловые* отсветы его

* Александр Блок. Собрание сочинений. Том седьмой. Дитя Гоголя. «Эпоха».[92]
** Idem. С площади на «*Луг Зеленый*».[93]
*** Idem.[94]
**** Idem.[95]

«*Ночной Фиалки*» (разговор у него в кабинете). О тех пахнущих лилово-зеленых тонах из «*Нечаянной Радости*» я писал уже; цвет лиловый встречается и в статьях того времени (1906 года): «Всадник видит молочный туман *с фиолетовым просветом*». Или: «Узнавший это счастье будет вечно кружить по болотам... в *фиолетовом* тумане»... Или: «Самый страшный демон нашептывает нам теперь самые сладкие речи: пусть вечно смотрит сквозь болотный туман прекрасный *фиолетовый* взор Невесты».*

Недаром же в 1905 году увлечение *фиолетовым тоном* меня за А. А. испугало: через шесть лет уже те вдыхания *тона* в себя у А. А. ведь исторгли горчайшую фразу о состоявшемся в нем опознании этого красочного оттенка: «*Лиловые миры* захлестнули и Лермонтова... и *Гоголя*». *От них погибли: и Врубель, и Коммиссаржевская.*

Все это мне вспомнилось в разговоре с А. А.; и подумывал я: «*Лиловые*-то миры завели его в ночь». Ночь казалась порогом и испытанием; припоминалися слова Минцловой о губящих нас силах; и о *враге*, нас губящем; я знал: увлечение А. А. Стриндбергом, автором «*Ада*»,[97] есть притяжение к человеку, переживающему очень родственное А. А.; этот Ад и все *преследующие, все черти*, с ним связанные, в представленье моем объяснялись как испытанье порога, откидывающего наше бренное «Я» от духовного «Я»; под влиянием этих мыслей я начал рассказывать Блоку историю моей внутренней жизни за эти последние годы: и попытался раскрыть ему мной составленный взгляд на *черта*, попутавшего и меня, и его, и Л. Д., и С. М. Соловьева когда-то; я пытался ему передать все события странные, происходившие со мною в то время и неизменно толкавшие меня к поискам строгого морального братства, ищущего пути; я ему рассказал все, что можно, о встрече с исчезнувшей Минцловой, о руководстве ее над моими «*духовными упражнениями*»; передал и ее уверение, будто бы за нею стоят «*посвященные*»; рассказал о болезни ее и таинственном исчезновенье ее; рассказал, как, прощаясь со мною, оставила мне она кольцо с аметистом, сказав, что когда придут ко мне люди от Духа и вопросят о *кольце*, то, его показав им, найду я путь Духа; я ему передал, как ждал сперва *встречи* я; но — не было встречи; и я ничего уж не жду от таинственных «*посвященных*». Я рассказывал много А. А. об исканиях Аси путей, о теософии, пути посвящения: словом, — рассказ этот был моей исповедью *пути* пред А. А., долженствующей поддержать его, чтоб он видел, что состоянье покинутости, им испытанное, — тоска пред *порогом* судьбы.

---

* «Русская литература».[96]

А. А. слушал с глубоким вниманием, склонив голову: выслушав, он сказал:

— «Да, все это отчетливо понимаю я; и для тебя, может быть, — принимаю... А для себя — нет, не знаю: не знаю я ничего. И не знаю: мне — *ждать*, иль не „*ждать*". Думаю, что ждать — нечего...»

Вероятно, А. А., мне внимавший сочувственно и встречавший у Стриндберга те же искания, связанные с духовной наукой, потом говорил своей матери о характере моего устремления того времени, потому что М. А. Бекетова пишет: «В феврале 1912 года приехал в Петербург Б. Н. Бугаев. Саша видался с ним не раз. Эти свидания, состоявшиеся после долгих перерывов, после многих миновавших разногласий, скрепили связь между Блоком и Белым, который тогда связал уже свою судьбу с Штейнером. Лично Блоку теософия была чужда; он писал матери: „Теософия в наше время, по-видимому, есть один из реальных путей познания мира. Недаром ей предаются самые разнообразные и очень замечательные люди во всей Европе"».*

В этих словах есть неточности; к Штейнеру я подошел только в мае;[99] и если бы в феврале кто-нибудь бы спросил меня, захотел ли бы я подойти, связал ли бы я судьбу близко с Штейнером, категорически я бы ответил: «Нет, нет!» К теософии же чувствовал склонность. И еще: с А. А. Блоком я виделся раз всего; но свидание это мне стало значительней многих свиданий: оно мне дало ключ к «*Блоку*» тогдашнего времени: многочасовый разговор очень много открыл мне; и верю: *скрепил наши связи*. Открылося раз навсегда мне, что связывало А. А. с мрачным гением Стриндберга, что диктовало стихи его третьего тома, такие как «*К музе*», «*Двойник*», «*Песнь Ада*», «*Идут часы и дни, и годы*», «*Осенний вечер был*», «*Унижение*», «*Демон*», «*На смерть младенца*», «*Жизнь моего приятеля*». И другие.

Между прочим А. А., наклонясь надо мной, облокачиваясь рукой на спинку убогого стула (ведь вот же, я — помню), какого-то желтого, как полы ресторанчика, осведомлялся заботливо о течении болезни «*Сережи*» (С. М. Соловьева), который переживал в эти месяцы очень трудный, критический и ответственный момент личной жизни; события для него очень тяжкие так расстроили нервную систему его, что уже он три месяца находился в лечебнице Лахтина (в ней семь месяцев он отстрадал);[100] даже нас не пускали к нему; я старался А. А. передать все, что знал, что до нас доходило от страдающего С. М. Соловьева; А. А. слушал меня с напряженным вниманием; и в глазах его вспыхнуло

* М. А. Бекетова: «Александр Блок». Стр. 172.[98]

прежнее теплое чувство к любимому прежде и близкому троюродному брату; А. А. спрашивал много об Эллисе; но мы Эллиса в октябре проводили торжественно за границу; он так собирался, как фанатический правоверный мулла собирается в Мекку: поехал он к Штейнеру[101] (вечер прощальный происходил у Астрова, где душой размягченному Эллису говорилися речи; пришел между прочими провожавшими и Веселовский, Ю. А.); с этих пор Эллис канул и больше не появлялся; не появлялся в России он; из Берлина же он посылал нам: восторженнейшие и подробнейшие описания разговоров и встреч своих с Штейнером; я описал содержание писем А. А.; он — внимал; и потом, вдруг откинувшись и опустивши глаза, принялся очень медленно стряхивать пепел с своей папиросы; вздохнул и сказал:

— «Да, вот — странники мы: как бы ни были мы различны, — одно нас всех связывает: мы — странники; я, вот (тут он усмехнулся) застранствовал по кабакам, по цыганским концертам. Ты — странствовал в Африке; Эллис — странствует по „*мирам иным*“. Да, да — странники: такова уж судьба».

И еще усмехнулся: и мы — замолчали: тут грянула в совершенно пустом ресторане некстати — машина: какой-то отчаянный марш; и лакей, косоплечий (одно плечо свисло, другое привздернулось), подошел и осведомился, не нужно ли нам чего: кто-то, там, в уголке жевал мясо; газ тусклый мертвенно освещал бледно-желтые плиты пола и серо-коричневое одеяние стен; там, за стойкой сидел беспредметный толстяк, надувал свои щеки; и вдруг выпускал струю воздуха из толстых, коричневых губ; делать нечего было ему; он — скучал: слушал марш; и мы — слушали тоже: молчали.

Молчание это в паршивеньком уединеннейшем ресторанчике мне казалось — значительным; чувствовалось: Петербурга и нет; нет — проспектов, нет тел; нет и душ; мировое пустое космическое пространство (с иллюзией ресторанчика); и в нем — два сознания, духовно вперенных друг в друга: от «Я» к самосознающему я.

Мы — молчали: А. А. мне казался, как в 1910 году, — не прямым, а каким-то в движениях раскаряченным, потерявшим всю прежнюю, изысканную, светскую стать; об утрате былого, такого блестящего вида А. А. в воспоминаниях своих повествует и Зоргенфрей: «В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты; и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные. Правда, внешнее изящество — в покрое платья, в подборе мелочей туалета сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились,

по-видимому, первоклассным портным. Перчатки, шляпа „*от Вотье*". Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А.... Никогда — даже в последние, трудные годы — ни пылинки на свеже-выутюженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе как в расправку. Ботинки во всякое время вычищены; белье безукоризненной чистоты: лицо побрито, и невозможно его представить иным...»*

Сколько мы просидели с А. А. — не упомню: но помню, что разговор перешел на мои отношения с Асей: А. А. меня спрашивал, — что, доволен ли я путем жизни; и узнав, что доволен, как будто бы он удивился; но — ничего не сказал.

Вместе вышли на улицу мы; была слякоть; средь грязи и струек, пятен фонарных и пробегающих пешеходов с приподнятыми воротниками (шла изморозь) распрощались сердечно мы; в рукопожатии его, твердом, почувствовал я, что сидение в сереньком ресторанчике *по-особенному* нас сплотило; я думал: «Когда теперь встретимся?» Знал я, что мы с Асею вырвемся из России надолго.

Запомнился перекресток, где мы распрощались; запомнилась черная, широкополая шляпа А. А. (он ей мне помахал, отойдя в мглу тумана и вдруг повернувшись); запомнилась почему-то рука, облеченная в коричневую лайковую перчатку; и добрая эта улыбка в недобром, февральском тумане; смотрел ему вслед: удалялась прямая спина его; вот нырнул под приподнятый зонтик прохожего; и — вместо Блока: из мглы сырой ночи бежал на меня проходимец: с бородкою, в картузе, в глянцевитых калошах; бежали прохожие; проститутки стояли; я думал: «Быть может, вот эта вот подойдет к нему»...

Мне захотелось остаться совсем одному; не хотелось на «*башню*», к интересным речам Вячеслава Иванова; думалось: будет расспрашивать он:

— «Ну, где же ты был? Что ты видел?»

Тут неожиданно очутившись пред чайной, свернул я в нее; и — спросил себе чаю: и не прошло получаса, как старый картузник, богоискатель, уже за меня зацепился; возник разговор между нами; картузник меня угостил: поднес водки; и не позволил платить; подчинился я: выпил; и на прощание: облобызались мы.

Возвращаясь на «*башню*», я все вспоминал о судьбе А. А.; чувствовалось, что трагедия, о которой в литературных и поэтических кругах говорить бесполезно, подкралась к А. А., что стоит у «*порога*» он.

---

* «Записки Мечтателей», № 6. Зоргенфрей. Александр Александрович Блок.[102]

Между тем: кажется, в этом году был А. А. исключен из тогда лишь сформированного «*цеха поэтов*»: за непоявление в «*цехе поэтов*» без уважительных причин (а, может быть, произошло то годом ранее).[103]

«ЛЮБОВЬ И РОССИЯ» В ТРЕТЬЕМ ТОМЕ У БЛОКА

Примиреньем кончается второй том стихов Блока, иль символическим браком Елены и Фауста; рождается ныне дитя их — стремление, Евфорион, пыл;[104] и об этом стремленьи поэт говорит:

Их тайный жар тебе поможет жить.[105]

Это есть жар пылающих строчек, — тот жар, о котором иные из нас говорили: «*цыганщина*»; но не «цыганщина» это, а жар жизни Блока.

Меняется образ видений Той, про Которую в прошлые годы сказал он: Она — приближается; в первом томе Она гласит ясной Софией, сопровождаемой своею душевной тенью, иль образом Дамы священной, Царицы, читающей золотыми заставками писанную Глубинную Книгу; Царица — отображенье духовного существа; Ее тень на земле, Ее чувственный образ есть образ истомной красавицы-девушки, Гретхен: Царевны.

Так образ растрояется в первом томе стихов.

В третьем томе стихов осеняет Ее новый образ: является Богоматерью, которую отражает щит светлый воина; щит этот — солнечный; видит Женой, облеченною в солнце, Ее.

Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.[106]

Богоматерь является строчками третьего тома; и шествует скорбно перед умершего гробом усопшей девицы во образе, в лике образа: «*Утоли мои печали*»;[107] тень в сфере душевной Ее есть Россия, душа; Блок вперяется в душу народа, как Гоголь; он любит Ее, как Ее верный жених; и — как сын. Эта девушка, Гретхен, Царевна, — воистину отражение русской жизни: теперь для него каждодневная жизнь русской женщины (может быть — Магдалины), которая — в темном гре-

хе, как и в святости — может быть, есть Елена Прекрасная; в третьем томе стихов есть Елена, порою — цыганка; порою — Кармен, Карменсита.

Блок ныне уже национальный поэт: всей земли и всей толщи народа; он — даже: поэт традиционного народничества нашего; перекликаются с ним Есенин и Клюев; с последним считается он; он находится с Клюевым в действенной переписке;[108] поэты народные близки ему (в противоположность поэтам акмеистической школы); он — понял: Россия вынашивает особую тайну в своем отношении к Богоматери; к Ней; в образе Богоматери и снисходит София к России; он понял: интернационал есть тогда только братство, когда гармонически сочетаются *народные души*, не утеривая стихийного лика народа; коль нет, — всякий «*интер*» становится — «*интер*»-лежащим и разделяющим души народов: он — преткновенье, препятствие, скелет Мертвеца; мертвецы загрызают его.

Елена — Россия: Россия — жена; и — невеста; и — мать; он в раздоре с абстрактно живущею интеллигенцией; он указывает: организм органичен ее, когда он движется вместе с народом, в народе; интеллигенция без народа есть ветвь без корней; она стала сухою корягою; против нее поднимает он голос уже с 1908 года; и — да: ощущает интеллигенцию Разумом, *манасом* иль умом, соединившимся со стихиями, где стихии — народ; интеллигент есть Разумник иль — «*Манас*»-ович: Чело Века.

Ее приближение к жизни — приятие *русской народной действительности, народной души*; нет, не суммы, не мысли: приятие Существа (Grande Etre), огласимого философской системой, где Герцен, Лавров, Михайловский и Федоров пересекутся с Владимиром Соловьевым и с Шеллингом — в будущем: русская действительность — тело Ее, ныне нами ломимое; к Ней обращался и Гоголь: «*Какая же тайная сила влечет к Тебе!*»[109] К Ней простирается жизнь А. А. Блока, припавшего к плачу о праведности русской женщины; тут, влюбляясь в глаза, может он восклицать: «не тебя я так пылко, так кротко люблю; Ту люблю я в тебе, что взирает из глаз твоих».[110]

Лермонтов, Гоголь, Некрасов и Соловьев теперь цельно, по-новому пересекаются: и прорезывается воистину Русский.

Божья Матерь «*Утоли Мои Печали*»
Перед гробом шла светла, тиха,
А за гробом в траурной вуали
Шла невеста, провожая жениха.

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец,
Но мертвец — родной душе народной:
Всякий свято чтит она конец.

. . . .

Словно здесь, где пели и кадили,
Где и грусть не может быть тиха,
Убралась она *фатой из пыли**
И ждала иного жениха.[111]

Фата пыли не кажется маской; она ласково внемлет и пылью засыпанной жизни; и говорит с состраданием:

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью, иль колесами
Она раздавлена — все больно.[112]

И — да: «*любовь—жалость*» есть мудрая жалость; змеиное жало его укусило; он — болен прекраснейшей жалостью; знает он — коли жалости нет в «*несказанной*» любви, то любовь подменяется противоположным: становится лишь в сердце вонзаемым «*каблуком*».

Так вонзай же, мой *ангел вчерашний*,
В сердце — острый французский каблук.[113]

Высшие тайны без жалости деятся низшими кощунствами; кощунственность ведает сердце поэта; то — опыты, живущие в нем. Незнакомка — планетою, трупом, луной, мертвым солнцем отягощает сознание; и магией манит; *луна* должна выпасть из сердца, чтоб встретиться с нею, как с внешне представленным видением мертвеца, мертвым спутником жизни: противообразом Той, Прекрасной; и встречей с кощунственным противообразом подготовляется для поэта второе явление Стража Порога; в науке духовной эта встреча имеет название *встреча со Львом*.

Лев есть образ сердечный и женский; и испытуемый переживает: да, стены его обиталища — пали; в отверстия стен — входит *Лев*; надо выдержать это — *проклятие зверя* и ярость его: без испуга; бежать?

---

* Курсив всюду мой.

Некуда! Зверя, грозящего съесть, надо силою приручить: превратить его в женщину, возвращаемую в сферу света.

В «*Нечаянной Радости*» — только признаки приближения *Льва*: ангелический образ Ее — подменен.

Люблю Тебя, Ангел-Хранитель, во мгле,
Во мгле, что со мною всегда на земле.
За то, что ты светлой невестой была,
За то, что ты тайну мою отняла.
. . . .
За то, что не можем согласно мы жить,
За то, что хочу и не смею убить.
. . . .
С тобою смотрел я тогда на зарю.
С тобой в эту черную бездну смотрю.[114]

Да: подмена Хранителя ликом Губителя подготовляется медленно: умирает Хранитель («покоишься в белом гробу»).

Золотистые пряди на лбу,
Золотой образок на груди.[115]

Смерть — совершившийся факт: Да, она лишь — «*картонной невестой* была», или трупом, еще продолжающим после смерти ужасную *упыриную* жизнь; труп, по смерти своей наливаяся кровью, плотнеет, встает (точно панночка в «*Вие*»); он есть восковая и страшная кукла, живущая за счет нашей жизни (оттуда — сюда) сладострастьем; «*Клеопатра*» — дальнейшее изменение подмененного Ангела; то — Незнакомка («покоишься в белом гробу»):

Она лежит в гробу стеклянном,
И не мертва, и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова.

И она говорит:

— Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь — я воск. Я тлен. Я прах.[116]

И вычерчивается: образ великой блудницы; поэт же к блуднице склоняется с жалостью; он понимает: теперь сквозь нее проступает лик ведьмы, умершей, кощунственно овладевающей своим собственным трупом. Да: есть «*Незнакомка*» и есть «*незнакомки*»; последние — русские женщины, вполне одержимые Незнакомкою, чудовищно обуреваемой послесмертной истомою сладострастия; Та, страшная, действует «*суккубом*»[117] из незнакомок; образом «*страшной Музы*»; но то — испытание: *встреча со Львом*.

Тут же небо поэта меняется; да: небо первого тома — *лазурное*, с *розово-золотой* атмосферой зари; небо тома второго есть серое небо с *лилово-зелеными* отсветами.

Небо третьего тома (эпохи второго порога) есть черное с брезжущей *желтою*, *желто-рыжей* зарею; *желтое с черным* иль *черное с золотом* в третьем томе глядит отовсюду —

— «В эти *желтые* дни меж домами мы встречаемся только на миг. Ты меня обжигаешь глазами и скрываешься в темный тупик». Или: «Сожжено и раздвинуто бледное небо, и на *желтой* заре — фонари». Или: «В *черных* сучьях дерев обнаженных *желтый* зимний закат за окном...» Или: «В *желтом* зимнем огромном закате...» и т. д. *Желтый* цвет с *черным* цветом везде сочетаются в *желто-черное*, или же в *золоточерное*; например —

— «Бледно *золото* твое!.. Вдруг замашет страстной болью *черным* крыльем воронье...» Или: «И только сбруя *золотая* всю *ночь* видна...» Или: «И утра первый луч звенящий сквозь *желтых* штор...» «Она» — *рыжая*:

Розы — страшен мне цвет этих роз,
Это — *рыжая* ночь твоих кос.[118]

Или:

Но, как ночною тьмой сквозит лазурь,
Так этот лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей — *червонно-красным*,
И голос — рокотом забытых бурь.[119]

И глаза ее отливают тем цветом:

Глаз молчит, *золотистый* и *карий*,
Горла тонкие ищут персты...
Подойди. Подползи. Я ударю —
И, как кошка, ощеришься ты.[120]

Видение ощерившейся, большой кошки (иль Льва) выступает в *оранжевых, желтых тонах*: эта кошка *порога* его соблазняет:

Знаю, выпил я кровь твою...
. . . .
Будет петь твоя кровь во мне.[121]

Соблазняя, внушает: убийца, поверив на миг, — содрогается:

Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня...[122]

Зовет в Ад:

Схожу, скользя, уступом скользких скал.
Знакомый Ад глядит в пустые очи.

Совсем обречен:

Склонясь над ней влюбленно и печально,
Вонзить свой перстень в белое плечо.[123]

Любовь-бой — начинается (испытанием Льва):

В *желтом*, зимнем огромном закате,
Утонула (так пышно) кровать...
Еще тесно дышать от объятий...
. . . .
Ты — смела! Так еще будь бесстрашней!
Я — не муж, не жених, не твой друг!
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук.[124]

Удар Льва — удар в сердце; *она* собирается — доканать: «*И меня, наконец, уничтожит твой разящий, твой взор, твой кинжал*»; над кругом «*ужасного*» мира встает словно лик его Музы:

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.[125]

Вступает с Ней в бой:

> Подойди, подползи. Я ударю, —
> И, как кошка, ощеришься ты.

Бой естественно превращается в обуздание женского лика:

> И мне страшны, любовь моя,
> Твои *сияющие очи*.[126]

Удивителен, и певуч, и прекрасен взор женщины; тут удивительные все слова о глазах и о взглядах —

— вот она обдает из очей «*молчаливым пожаром*» (10), во взоре ее «*жгуче-синий простор*» (11); глаза — «*страшная пропасть*» (58); сверкает в них «*ужас*» старинный (30); глаза ее «*ищут добычу*» (45); во взгляде же «*демон*» (57); «*когда ты сощуришь глаза, слышу, воет поток многопенный, из пустыни подходит гроза*» (58); «твой *ядовитый* взгляд» (59); взор горит на щеке (57) — до того, что боится, «*чтоб черный взор... проснувшись, камня не прожог*» (107) (что же станет со щекой, на которой горит этот взор?); просветляется он, становится ярким: «*Ослепительные очи*» (87), «*источник сияющих глаз*» (110); и глаза начинают «*смеяться*» (114); «*непостижимые*» эти глаза (119); «*твой быстрый взор... меня обжог и ослепил*» (193); «*звезды... глаз*» (203); бьют поэта «*светящими*» взорами (313)* и т. д. К *свету* глаз прибавляется *звук* ее голоса; и — цыганка *визжит*, щерясь кошкой: «*Монисто бренчало... цыганка... визжала заре о любви*» (26); «*дивный голос твой, низкий и странный, славит бурю цыганских страстей*» (252); голос этот вливается в жесты; звучат ярким космосом жесты ее: «*Песня плеч... до ужаса знакома*» (250); ее «*одичалая прелесть*» становится, «*как гитара, как бубен вдали*» (252); ее голос уносится в «*отчизну скрипок запредельных*» (205). —

То — укрощение Льва; усмирение хаоса древнего ясной мелодией мира, восстание женского образа, вампиру подвластного, в жизнь души мира, в жизнь космоса; звучит песня сфер мировыми оркестрами; все — полно звуков —

— «*Дальних скрипок вопль туманный*» (11); «*в вопле скрипок*» (12); «*танец в небесной черни звенит и плачет*» (25); «*где-то пели смычки о любви*» (26); где-то «*песня зурны*»

---

* Разметка страниц по 3-му тому издания «Слова».

(27), где-то «*стонет зурна*» (27); в ушах — «*нездешний странный звон*» (38); этот звон мелодически преображает и звуки будней; рожок автомобиля, и он — «*поет*» (24); винты аэроплана «*поют*, как струны» (34); дождик становится «*звуком стеклянным*» (43); все наполняется музыкальными звуками, мягкими звуками *струн*, а не *рогов*, как в «*Снежной маске*»: «Сдружусь со *скрипкою* певучей» (47); «слушать *скрипок*... звуки» (58); «И воля дирижера по *арфам* ветер пронесла» (198); «отчизну *скрипок* запредельных» (205); «и *скрипки*, тая и слабея, сдаются бешенным смычкам» (208); «натянулись *гитарные* струны» (226); «*смычок запел*» (230); сердце поэта трогается «*нежной скрипкой*» (297); сама душа становится напряженной, «*как арфа*» (215); она становится лирой; «*и лира поет*» (311); эти звуки, звуки пресуществляемой страсти к женщине, пресуществляемой пресуществлением, эти звуки становятся уж не страшными, а родными и неземными: голосом Души: —

— «чтобы звуки, чуть тревожа легкой музыкой земли, прозвучали, потомили, и *в иное увлекли*» (311); «*иное*» — любовь к просветляемой женщине, восстающей из гроба; здесь уши становятся полными «*странным звоном*» (38); «*услышит полет... планет*» (46); и в полете уж явственно: «*арфы спели: улетим*» (199) из мира страсти: «*Звенело, гасло, уходило и отделялось от земли*» (30).

В этом плачущем, струнном и мелодично расширенном мире души разрывается морок, объявший женщину; Суккуб бросает ее; одержимая женщина пробуждается Карменситою:

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет,
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.[127]

С ней:

Летим, летим над грозной бездной

И тогда:

Тем лучезарнее, тем зримей
Сияние Ее лица.[128]

Так сама она отнимает прочь испытания: и является душой народа, которой остался поэт в страстях личных своих всегда верен.

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням и т. д.[129]

Следует перечисление грехов русской жизни, которые рассеяны по ряду стихотворений: вплоть до «Двенадцати». Вот грехи:

Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!..
В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!
. . . .
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреши!
Будет легче для души.[130]

Увидал он страданья русской души в душе «Катьки», которую любил огромной любовью и мудрым сознаньем; знает: над гробом, в который насильственно заколочена Катька, стоит Божья Матерь; в поклоне святыне (святыне Катьки) поэт перекинулся с Гёте, изображающим «Синюю тайну» Мадонны, стоящей среди грешниц: Марии Египетской, Магдалины и Гретхен, всех трех разрешает Она от греха.[131] Гретхен-девушка, или — невеста, которая в первоначальной поэзии Блока цвела; и потом подурнела («Ночная Фиалка»); теперь умерла:

Она веселой невестой была.
Но смерть пришла: она — умерла.[132]

Гретхен его есть душа, о которой сказал:

Любовью, грязью, иль колесами
Она раздавлена — все больно.

Оправдывает многолюбивое сердце поэта ее.

Грешница же вторая есть Магдалина, со страусовым пером, «Незнакомка», цыганка с бокалом Аи, или Катька; и Магдалину любовью оправдывает сердце поэта.

Великая грешница есть Мария Египетская: Египтянка, иль Клеопатра, опасная сладострастием магии, встающая от одра и грозящая в сердце вонзить острие каблука: это — Лев.

Говорит же и ей всепрощающее сердце:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.[133]

Он — узнал: «Клеопатра» — с ума давно сошедшая Катька, вообразившая Клеопатрой себя; она, бывшая верной женой Катериной (женою Данилы),[134] — отображенье России; но страшный колдун, вызвавший чарами душу ее, переместил эту душу в воск мумии; и поэт отходил ее; Катерина (или бывшая Катька) проснулась; за ней в ее ад, как Орфей, нисходил посвященный в тайну поэт; извлекая из тьмы ее, подвергал себя стрелам невидимых глаз:

Тем и страшен невидимый взгляд,
Что его невозможно поймать;
Чуешь ты, но не можешь понять,
Чьи глаза за тобою следят.[135]

Ощущение мстительных и невидимых глаз, вероятно, приблизило Стриндберга к Блоку; и ощущение это господствовало в пору встречи последней моею с А. А. (в 1912 г.).

«Глазами» или «глазом» Клингзора[136] испорчена Катерина до Катьки, до... Клеопатры; поэт — любит сглаженную; в ней ответ России:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!

Или:

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты.

И лишь забота отуманит
Твои прекрасные черты.
Ну что ж? одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.[137]

Отчитывает бесноватую он: дух злобы слетает с нее; «Лев» приручен; он — только женщина, только жена, «Катерина».

Das Unbeschreibliche
Hier ist getan![138]
. . . .
И невозможно возможно,
Дорога легкая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка —
Когда звучит тоской острожной
Глухая песня ямщика.[139]

Возможно — да, да! — невозможное, когда всю свою душу отдашь в волю жизни народа и душу народа полюбишь в душе «Катерины» — любовью небесной: когда и виноватой, и грешной поклоняешься в ноги (не ей, а святыне, в нее заключенной), когда на лице восковом Клеопатры увидишь не смерть, — летаргический сон живой девушки.

Ты покоишься в белом гробу.
. . . .
Золотистые пряди на лбу,
Золотой образок на груди.[140]

Образ Богородицы «Утоли моя печали» или, может быть, — образок «Умиления» (Понетаевской Божией Матери).

Эта прядь такая золотая,
Разве не от прежнего она? —
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня.[141]

И она просыпается; и она — только русская женщина: скажет...

Вернись ко мне...

И поймет, что в поклоне греху ее — действует Сын человеческий:

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где преклонить свою главу.[142]

Пусть душа преклоняется к... стойке:

Душа моя, душа хмельная, —
Пьяным пьяна, пьяным пьяна.[143]

Уничижением до «стойки» Орфей земли русской находит дорогу к сердцам обреченных и павших.

Так силой невидимой приручается «Лев», и все павшие поднимаются к жизни:

Обнимет рукой, оплетет косой,
И, статная, скажет: — здравствуй, князь![144]

Свершится:

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?[145]

Слезы же — светлые.

Силой необъяснимою, до которой еще не возвышался поэт, зазвучали слова о России его: он же Русский, Разумный; в нем русское Чело-Века; и — да: за поэзией троек, за странными звуками песен иная нездешняя сила звучит:

Чтобы звуки, чуть тревожа легкой музыкой земли,
Прозвучали, потомили, и в иное увлекли.[146]

Слышится Интеллигент (с большой буквы), имеющий право свидетельствовать об интеллигенции; в голосе его о России теперь — звуки голоса Посвященного; и Посвященный сквозь муки падения, ужасы личной жизни гласит; вся трагедия в том, что в себе не познал посвяти-

тельных звуков и третьего испытания не вынес поэтому: оно стало — смертью его.

Сила строк его не «цыганщина» вовсе.

Стихотворение: к нему эпиграф романса: «Не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и обожгу и утомлю».[147] Как разыгрывается в нем лейтмотив этих слов? А вот как:

Я огражу тебя оградой —
Кольцом живым, кольцом из рук.

Что же следует далее?

Подруга, на внезапном пире,
Помедли здесь, побудь со мной.
Забудь, забудь о страшном мире,
Вздохни небесной глубиной.[148]

Глубиною небесной отчитывает цыганку поэт; и в цыганщине освобождает он связанное огневое начало любви, которое — Неопалимая Купина; нет, недаром Мария Египетская — искупляема.[149]

Тайна неведомого приобщения к небу совершается в миге, когда в пошленьком переполненном ресторане увидел ее он — Марию Египетскую:

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, Аи...
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным
Чуть заметным дрожаньем руки.
. . . . :
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала,
И бросая, кричала: — лови!
А монисто бренчало, цыганка плясала,
И визжала заре о любви.[150]

Прочитывали ли мы стихотворение правильно? Поэт посылает цветок ей; она отвечает презрительно: «Этот — влюблен». В другом плане (в зеркальном) из глуби зеркал откликается тайна, ей не видная, на

священные тайны влюбленности, словами цыганских романсов («Не уходи. Побудь со мною. Я так давно тебя люблю»). Но в поэте они откликаются словом:

Забудь, забудь о страшном мире:
Вздохни небесной глубиной.

Глубь зеркал — глубь небесная подсознанья женского, чующего перед собою его:

Мой любимый, мой князь, мой жених!..[151]

В облике посетителя ресторана она увидала протягивающего ей, грешнице, руку — Его:

Подруга, на вечернем пире,
Помедли здесь, побудь со мной.

Стихотворение об «*Аи*» после смерти поэта прочитано было с амвона священником, силою сана удостоверившего *святыню «цыганщины»* Блока.[152] Воистину: сила «*цыганщины*» этой священной и чистой любви. Этой силой *любви* и пронизаны строки стихов о России, которую видит он полоненною чарами женщины русской; и в русской женщине (в многих) он силой любви переживает любовь к Той, Одной Душе Русской:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первыя любви.[153]

Или:

Человеческая глупость
Безысходна, величава,
Бесконечна... Что ж, конец?

Так спрашивает душа его в «*страшном мире*» страстей. И — ответ:

Нет... еще леса, поляны,
И прогулки по шоссе,

Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе.

И Россия:

Это — легкий образ рая,
Это — милая твоя.[154]

Милая третьего тома: страдающий, униженный до Катьки и оскорбляемый лик — лик России.

Единственный же соперник, с которым готов скрестить меч, — это Враг, унижающий Душу Народа. К нему и подводит сознание; с Ним не может не встретиться; видит мученье любимой России; и видит, что тайные чары, разлитые в атмосфере Ее, искажают красу Ее — в красу «*дико разбойную*», потому что она подвергается нападению, действующему извне, как нашествие *моря народов* (востока); и — изнутри, как влиянье гипноза; *злой глаз* Ее глазит:

В собрании каждом людей
Эти тайные сыщики есть.[155]

«Они» — в подсознании; и оттого-то у русских —

Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.

Оттого и, —

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем.[156]

Иго темных огней искажает лик Руси, которая — *сонное марево*, где —

Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых.[157]

Но в тумане уже проступили «глаза»: и о них говорит —

И глазами добычу найти
И за ней незаметно следить.[158]

За глазами вычерчивается самый лик Мстителя: это — монгол; Александр Иванович (действующее лицо моего «*Петербурга*») в бреду созерцает его на куске темно-желтых обой:[159]

За море Черное, за море Белое,
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни.[160]

Угрозу России В. С. Соловьев видел в монгольском востоке; «*панмонголизм*» — символ тьмы, азиатчины, внутренне заливающей сознание наше; но тьма есть и в западе; и она-то вот губит сенатора Аблеухова в «*Петербурге*»; она же губит сына сенатора, старающегося при помощи Канта, *реакционера* в познании, обосновать социальную *революцию* без всякого Духа; *татарские очи* у Блока суть символы самодержавия, или востока; и символы социалодержавия, запада; здесь, как и там, одинаково «*очи татарские*» угрожают России.

Поэт волит битвы, общественной битвы с Врагом: и осознанием в себе воина приближается к тьме он *третьего испытанья порогом.* В духовной науке та встреча имеет название: *встреча с Драконом.*

Любовь к просто женщине русской возвышена в нем до влюбленности в лик единой России, как Женщины. Его, Дон-Жуана, любовь превращает в сурового воина; битва — общественность; так «*общественник*» в нем — порождение углубленного индивидуализма, в котором всегда индивидуум — организованный коллектив; индивидуальность, корней не пустившая в коллектив, — субъективна всегда; субъективизм побежден ныне в Блоке; он — рупор огромного слоя сознания; и изживанья его суть теперь настоящие символы нашей общественности (в глубочайшем значении слова).

И a priori можно предвидеть, что бой за Россию он примет на поле общественности (так оно оказалось впоследствии); Враг обнаружится — здесь; он доселе таился, скрываясь за Кундри;[161] и вот предстоит — бой с Клингзором.

Еще в 1908 году, в пору подхода к второму порогу, бросал уже вызовы «*Куликовским Полем*», где налагается на него доспех воина; было же это тяжелое время; *стихию России ближайших лет первый пророчески видит он, провозглашая, что бой приближается.*

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!

— «Что? О чем этот бред?» — так могли бы воскликнуть все, погруженные в «*злобу журнального дня*», и — не слышащие подлинной злобы: *огромного гула грозы*:

За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней.[162]

Дикие орды монгольские — чуются:

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.[163]

Нота близкой катастрофы, и в ней нота востока (*монголов, татар*), переживались и мною: в те именно месяцы — и писал «*Петербург*»; повторяются там темы Блока; в те месяцы я написал: «*Великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич. Петербург же опустится*».* И — далее: «*Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, — брань небывалая в мире... Будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово Поле, я жду тебя!*» И еще: «*Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о, Солнце, под монгольской, тяжелой пятою опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена*»...** И еще: «*Все прочее соберется к исходу двенадцатого; только в тринадцатом году... Да что! Одно пророчество есть: вонмем-де... на нас-де клинок*»... (Слова

* «*Петербург*», глава вторая.
** Idem.

Степки).* Ошибся я: не к исходу тринадцатого, а к исходу четырнадцатого — *все началось*... Тема лихого «*Монгола*» проходит в воздухе; и Аполлон Аполлонович, Николай Аполлонович — *монгольского рода*; «*монгол*», одержащий Н. А. Аблеухова («*развязаны дикие страсти под игом ущербной луны*»), появляется перед ним в бредовом сновиденье; и он сознает, что «*монгол*» — его кровь; ощущает туранца в себе, ощущает арийство свое оболочкою, домино; так «*кровавое домино*» (революция) есть покров, под которым таится туранец (восток, иль — реакция): «*Так старинный туранец, одетый на время в арийское домино, быстро бросился к кипе тетрадок... тетрадки сложились в громадное дело... сплошное монгольское дело сквозило в записках*»;** «*в испорченной крови был должен вскормиться Дракон: и жрать пламенем все*»...[165] Аблеуховы ощущают «*монгола*» — в себе; Александр Иванович Дудкин его ощущает во вне, на обоях (галлюцинацией, преследующей его): «*Химера росла — по ночам: на куске темножелтых обой — настоящим монголом*».*** «*Монгол*» воплощается для него в негодяя Липпанченко: — «Извините, Липпанченко: вы не монгол?»[167] — спрашивает он Липпанченко; возвращаясь домой, на Сенатской площади слышит он «*оглушающий, нечеловеческий рев! Проблиставши рефлектором, несся, пыхтя керосином, автомобиль... и — желтые, монгольские рожи прорезали площадь*».**** Топоты конские раздаются уже над ночным Петербургом: «*Пал Порт-Артур; желтолицыми наводняется край; пробудились сказания о всадниках Чингис-Хана... Послушай, прислушайся: топоты... из уральских степей. Это — всадники*».[169] Николай Аполлонович бросается к посетившему его туранцу; и поднимается между ними совсем бредовой разговор: «*Кант (и Кант был туранец)*» — «*Ценность как метафизическое ничто!*» — «*Социальные отношения, построенные на ценности*» — «*Разрушенье арийского мира системою ценностей*». — «*Заключенье: монгольское дело*». *Туранец ответил*: «*Задача не понята: параграф первый — Проспект*». — «*Вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена*». — «*Вместо нового строя зарегистрированная циркуляция граждан Проспекта*». — «*Не разрушенье Европы — ее неизменность*». — «*Монгольское дело*...».[170]

---

* Idem.[164]

** Глава 5-я.

*** Глава 6-я.[166]

**** Глава 2-я.[168]

Руководившая нота *татарства, монгольства* в моем «*Петербурге*» — подмена духовной и творческой революции, которая не революция, а вложение в человечество нового импульса, — темной реакцией, нумерацией, механизацией; социальная революция («*красное домино*») превращается в бунт реакции, если духовного сдвига сознания нет; в результате же — статика нумерованного Проспекта на вековечные времена в социальном сознании; и — развязывание «*диких страстей*» в индивидуальном сознании.

Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны,

Потому что слышны —

— рокоты сечи
И трубные крики татар —

— в нас!

В ресторанчике во время нашего разговора мы это поняли с Блоком; у нас был особый жаргон говорить о «*монгольстве*», которое было символом угрожающего Дракона.

А. А. осознает себя воином светлой Жены, Которой даны в Апокалипсисе два орлиных крыла (крыла разума), чтобы летела она от Дракона; отображение Светлой Жены есть Россия для Блока.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
  Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой *татарской древней* воли
  Пронзил нам грудь.
Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
  В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
  Я не боюсь...
. . . .
И вечный бой! Покой нам только снится
  Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
  И мнет ковыль...

Предчувствие: и восстание будущих «Скифов», и обнажение «*меча*», величайшей ответственности, — пред Россиею; и — за Россию;

меч был обнажен; это — «*Скифы*», которые в десятилетиях будут загадкой еще разгадываться; «*скифов*» он призывает на бой: за Россию и мир; есть у них знамя светлое; они же — не варвары:

> В степном дыму блеснет *святое знамя*
> *И ханской сабли сталь.*[171]

Лик, отражающийся в щите воина, — Лик Богоматери:

> И с туманом над Непрядвой спящей,
> Прямо на меня
> *Ты сошла в одежде, свет струящей,*
> *Не спугнув коня.*
> . . . .
> И когда на утро тучей черной
> Тронулась орда,
> *Был в щите Твой лик нерукотворный*
> *Светел навсегда.*[172]

Тайна сошествия Лика в щите — тайна, пока не понятная тем, для кого наше русское «*скифство*» (не до конца понимаемое и русскими «скифами») литературное баловство иль (horribile dictu) какое-нибудь политическое, иль партийное устремление (смешивали «*скифов*» с лево-эсерами!).[173]

Меч им не выкован; через искусство А. А. заглянул за искусство; и за искусством увидел он жизнь свою, спаянную *кармой*[174] с судьбой современников; в переживаниях биографической жизни своей изживал он трагедию целой России; в нем были узнания, до которых доходят лишь на духовных путях, когда предстают те узнания пред путем жизни духа, как страшные испытания пути, для которых естественно вооружение всем осознанным опытом жизни в духе, — осознанным не до конца А. А.; знания — были; и осознания *знаний*, в отдельности взятых; со-осознания в самосознании — не было; не было потребности к точному знанию, которое становится ненасытимою жаждою; и отсюда-то: раздвоенье сознанья, необходимое до известных пределов, — переходило границы; из созерцательного становилось оно раздвоеньем в *поступках*; и переход к *акту жизненному*, вытекающему из духовного знания, и ответственен, и опасен: прыжок через пропасть он.

Два прыжка — удались; два порога по-своему были осознаны им (не отчетливо, правда); и — вот: в неотчетливом преступленьи порогов

обычного состоянья сознанья заложены и причины тумана сознания перед третьим виденьем *порога*, к которому он подступил преждевременно, не проработавши до конца свою личную жизнь; он вперился в ужасного Вия, как — Хома Брут: не опустил своих глаз; и *Вий* — увидал его: «*Вот он*».[175] Толпы чудовищ обстали А. А. Он не справился с ними.

ДВОЙНИКИ

Дракон нападает теперь на А. А. со всех точек зрения; нападает со всех он миров и сторон: нападает — с духовного плана, с душевного плана, с физического; появляется перед ним он во внутреннем мире; идет на него в мире внешнем: от Запада — на Восток; от Востока — на Запад; он в мире духовном — Дракон; он же в мире душевном есть Демон; в физическом мире он — низшее сознание Блока, отказывающееся от жизни:

> Так падай, перевязь цветная!
> Хлынь, кровь, и обагри снега...[176]

То, конечно же, — Арлекин тома первого (с глазами совы), который «*сбежал с горы и замер в чаще*» болот, городов, там слоняется по ресторанам он *черным человеком*, *плачущим на зоре*, *когда* «*хмурое небо низко закрыло и самый храм*»; это он о себе заявляет, что — «*пригвожден к трактирной стойке*»; встает же он в образах внешней общественности, в образах государственного механизма, где действует лишь «*стальной интеграл*» или мертвое — упокоение *монголо-китайской реакции*: с Запада на Восток угрожает он образом страшного «*Сёра*» и «*Командора*»; с Востока на Запад грозится грядущими Гуннами:[177] жечь города «*и мясо братьев жарить*»; отовсюду вздымается ужас Драконова испытания; *Лев*, женский образ, есть Люцифер (черт душевного мира); Дракон — черт духовного мира, иль — Ариман.[178] Взметается — страшная туча: Дракон, Демон, Самоубийца, Пьяница, Арлекин, Интеграл, Монгол, Сёр — все, все обступают поэта; справиться с бесовскою силой — отдать свою волю, свой голос и в волю, и в голос сознания: «Да воскреснет Бог!» На *максимум смерти* — ответить последним максимализмом. Сказать себе: «*В это смертное время — хочу жить*; *и — буду*; сознаю: *моя жизнь есть жизнь не моя*,

а пославшего меня в жизнь». Лишь Христово *Пришествие* в «Я» облекает Мечом; и Жена в этот миг отступает перед силой Дракона; и «Я» есть не «Я» (не я, а Христос во мне), в озеро огненное оно сражает Дракона; тут в первый раз в жизни А. Блок проявляет «минимализм»; отступает он в тему поэмы «Возмездия»; в силы жизни не верит; так телом его овладевает Дракон.

Тема третьего испытания подготовлена всею жизнью поэта; сначала звучит заглушенно она под покровом тоски и уныния; демон уныния есть сперва — аллегория; потом — символ; и наконец — воплощение.

Враг — воплощен.

Появление обусловлено поступками 1902 года: «сбежал с горы и замер в чаще»; бегство себя самого от себя самого: разделенье сознания, в результате которого тот, от «которого» другой бежал, — начинает заглядывать (тот — этому) в лицо белым призраком:

И опрокинувшись, заглянет
Мой белый призрак им в лицо.[179]

Белый призрак есть неудавшееся посвящение в рыцари «Иоаннова Храма» («Я их хранил в приделе Иоанна»); не посвященный в жизнь горнюю есть «Печальный демон — дух изгнанья»;[180] другой же есть тот, кто сказал:

Мое болото их затянет;
Сомкнется мутное кольцо.[181]

Мутное же кольцо — кольцо низменной жизни; создание «белого призрака»: с осени 1902 года вместо Нее в мирах видит «Прекрасную Даму»; другой, ставши «черненьким человеком», видит даму уже вовсе с маленькой буквы («она стройна и высока»), подстерегая ее и подглядывая за ней из подъездов; так идущее к посвящению этим бегством с горы — разорвано надвое: Люцифер, Ариман, подхватывая части душевного «я», их — растаскивают; а духовное «Я» («я» большое), которому должно их воссоединить, есть далекая несошедшая точка звезды пока, долженствующая где-то еще стать солнцем Дамасского Света;[182] поэт ощущает два «я», иль — два зрения Ее — двумя «Я»: перемешивает ее сферы («Ты — здесь: ты — близко... тебя здесь нет: ты — там»); появляется: «Я» и «я», «Дама» и «дама»; одно «я» — люциферизовано; другое — ариманизовано. Оба — пригвождены: одно — к кругу кантианского мышления («как верный знак, что мы внутри не-

размыкаемого круга»); другое — к трактирной стойке («я пригвожден к трактирной стойке»); на расщепах душевных двух «я» распято невоскресшее духовное «Я» поэта.

«Я», Ich, рассекаемо Мечом Света («Я» — Меч и разделение), который и есть Свет Дамаска: «Не я, а Христос во мне»; «Я» поэта вплотную не приближается к тому Свету, к свету — Его; в третьем томе поэт говорит о себе:

Да. Ты — родная Галилея
Мне, невоскресшему Христу.[183]

Пока в «Я» не воскреснет Христос, — неотвратимы опасности третьего испытания: даже «Она» в Апокалипсисе улетит от Дракона: Дракон побеждается — «Им»: Семя жены (не сама Она) сотрет главу Змия.

В испытаниях смертью «Я», «Ich» распадается в «I» и «ch»; Александр, например, здесь становится и «Jochann'ом» и «Christian'ом»; они — двойники; лишь Дамасский Свет высекает в распаде «Ich» на «I» и «ch» символ «I. ch»: Iesus Christus.

Духовное «Я» у поэта — еще невоскресший Христос; части «Я», похищенные Люцифером и Ариманом, — обложены явно пределами: неразмыкаемым кругом рассудка; и — чувственным «мутным кольцом»; в «неразмыкаемом круге» — Прекрасная Дама становится отвлеченной премудростью; в кольце она есть — *земля сыра*; в точке ж духовного «Я», создающей разрывы «я» малого, Она пока — точка, звезда: при попытке приблизиться к Ней звезда — падает; остается пустая лишь скобка, иль маска Ее: Незнакомка; под этою медиумической маскою могут вить гнезда и совы, и голуби; чаще — здесь совы.

На всех произведеньях А. А. можно видеть, каким из двух «Я» продиктованы произведения эти: так, например, «Крушение Гуманизма» диктуется люциферическим «Я», созерцающим с высоты ариманическое кипение духа музыки; рассуждения же о русской интеллигенции последнего времени писаны ариманическим «я»[184] (бездонной стихийностью, плещущей в природу интеллигентского мира).

Разрыв нераздельного «Я» еще с 1902 года подготовляет А. А. и последнюю встречу с порогом.

Проследим же пока судьбы этих двух «Я» души Блока.

«Белый призрак», заглядывающий в лицо, как двойник, сопровождается в мире мысли поэта и грустью, и скепсисом, т. е. знаком того, что внутри неразмыкаемого круга явлений мы; откровение мысли скеп-

сисом превращается лишь в простое воплощение чувств; а «встреча» становится тут — отошедшей сказкой; до этого обращается к лучшим друзьям, говорит:

Молча свяжем вместе руки, —
Отлетим в лазурь.[185]

Теперь те друзья — короли, потерявшие в дреме короны; они пребывают у девушки, подурневшей («королевы забытой страны»); и ни он не узнал их, и ни они не узнали его.

Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей.[186]

Не узнал и того он, кто молча сидел рядом с ним и пил «*мутное пиво*»: себя самого, иль другую свою половину, которая в королевне увидела — дочку трактирщицы; эта другая его половина блуждает по улицам города; и — повторяет она с остряками:

«*In vino veritas!*»[187]

И — пригвождается к стойке; и — поет на заре:

Ах, какой бледный город на заре!
Черный человек плачет на заре...[188]

Люциферическое, одинокое «я» не увидело униженного, оскорбляемого им бродяги — бродяги, самим собой оскорбленного.

Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей.

Что друг — это «Я», это ясно, но его не видит плененная Люцифером другая его половина, то «Я» унижая в себе; и униженный быстро наглеет перед люциферическим «дэнди»:

Однажды в октябрьском тумане
Я брел, вспоминая напев...
. . . .
И стала мне молодость сниться,
И ты, как живая, и ты...

И стал я мечтой уноситься
От ветра, дождя, темноты...
Вдруг вижу, — из низи туманнной,
Шатаясь, подходит ко мне
Стареющий юноша (странно,
Не снится ли он мне во сне?)
Выходит из ночи туманной
И прямо подходит ко мне.
И шепчет: «Устал я шататься,
Промозглым туманом дышать,
В чужих зеркалах отражаться
И женщин чужих целовать...»
. . . .
Вдруг он улыбнулся нахально, —
И нет близ меня никого.

Два «я» тут проходят — один пред другим: уединенный мечтатель; и — ресторанный гуляка; Люцифер — ведет первого; и второго ведет — Ариман; и уводятся оба, столкнушись, — в противоположные стороны; «я», уводимое Люцифером, — догадывается.

Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной.

Оно — белый призрак, мечтатель, брезгливый пред миром явлений (не он бежал в чащу) — вздыхает о прошлом:

И стал я мечтой уноситься
От ветра, дождя, темноты.

Куда? В мир Прекрасной?..

О, мир непродажных лобзаний!
О, ласки некупленных дев![189]

В ресторане, когда «*визг напева*» его окружил, видит в деве со страусовым пером он евангелическую Магдалину; за вьюгою видит страну, «опаленную *солнцем юга*». Двойник же его, Ариман, плененный, с *глазами совиными*, — в эту минуту несется к Елагину мосту — с той самою «*девою*»:

Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И тонкий стан обняв, лукавить
И мчаться в снег и темноту.

И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха...
Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха...

Здесь все ясно и просто.
Один созерцает за вьюгою — Палестину; другой — заявляет:

Все только — продолженье бала,
Из света в сумрак переход.[190]

Переход к обыденному есть вторая натура *второго* «Я». И одно «Я» вздыхает:

О, ласки некупленных дев!

А другое «Я» ищет тех купленных ласк:

Нет, я не первую ласкаю...[191]

И уж знаешь наверное всю последовательность фаз этой ночи: летенье на тройке — к Елагину острову; и — «*кабинет*»:

Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня.[192]

Потом:

Испугом схвачена, влекома
В водоворот...[193]

И — «*комната*»:

Красный штоф полинялых диванов,
Пропыленные кисти портьер...

Вплоть до — раскаянья:

Разве дом этот — *дом* в самом деле?
Разве *так* суждено меж людей?[194]

Раскаянье в ариманическом «Я» оттого, что была-таки встреча с другим, *с лучшим другом*, потерянным некогда, — на улице, там, где прохожий, надменно тоскующий дэнди, увидел «*стареющего юношу, который улыбнулся нахально*»; в это время «*стареющий юноша с пошло-нахальной улыбкою*» не видел прохожего, а ощутил смутный трепет лишь:

Только крыл раздался трепет,
Кто-то мимо в небо канул,
Как разгневанная тень...[195]

И — прошли двойники, не узнавши друг друга: один приходил — в свои *синие сферы мечты с Люцифером*; другого повел Ариман — в погребок: уже в три часа ночи:

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне все — равно.
Вон счастие мое — на тройке
В сребристый дым унесено...
. . . .
И только сбруя золотая
Всю ночь видна... Всю ночь слышна...
А ты, душа... душа глухая...
Пьяным-пьяна... пьяным-пьяна...[196]

И — вскрик отчаянья:

Забыться бы в свежем бурьяне,
Забыться бы сном навсегда!..[197]

В минуту такую жутка эта новая встреча с «Я»: вовсе не дэнди на улице, а — Крылатый: и с неба Он прянул («*только крыл раздался трепет*»); и — тук: в его пьяную комнату, в «*мутное кольцо*» жизни:

Зачем за дверью свет погас?
Не бойся!

Я твой давно забытый час,
Стучусь — откройся.
. . . .
Зачем склонился ты лицом
Так низко?
Утешься: ветер за окном,
То трубы смерти близкой!..[198]

Сквозь опьянение чувствует душа холоды чуждого мира: то мир — двойника:

Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен?[199]

Не открывает ослепшее «я» ту закрытую дверь; и на возглас *забытого* часа (забытого «Я») — отвечает сугубым развратом:

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце острый французский каблук![200]
. . . .
Все на свете, все на свете знают:
Счастья нет.
И который раз в руках сжимают
Пистолет!
И в который раз, смеясь и плача,
Вновь живут!
День, как день; ведь решена задача:
Все умрут.[201]

Униженное «Я» в аримановом плане себя утешает.
Но — чудится: —

Мой грозный Мститель...
Лик его был гневно-светел
В этой ночи на скале.[202]

Та скала есть «*гора*», от которой бежало в болото совиное «Я», на которой когда-то оно повторяло: «*Я озарен: я жду Твоих шагов!*» И болота — теперь — рябь канала.

Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.[203]
. . . .

А перед шкафом с надписью «Venena»,
Хозяйственно согнув скрипучие колена,
Скелет, до глаз закутанный плащом,
Чего-то ищет, скалясь черным ртом...[204]

Но скелет — *Ариман*, заведший оторванную часть сознанья с горы (сквозь сияния ресторанного зала, сквозь «*штоф полинялых диванов*», сквозь одурь *трактирную*, сквозь канал) к преисподней, к аптеке и к шкафу с «Venena»; пред шкафом с «Venena» открылся лик подлинный Спутника: то — Скелет, иль Великий Мертвец; от него кидается «*Я*» — к позабытому *лучшему другу*, к «*Я*» Горнему, к рыцарю, с гор не сбегавшему: и — начинаются воспоминания — о «*потухшей*» горе:

Было то в темных Карпатах,
Было в Богемии дальней...
Впрочем, прости... мне немного
Жутко и холодно стало...[205]

Карпаты — «*горы*»; на горе — ждет оставленный рыцарь: но почему «*мне немного жутко и холодно стало*»? Да потому, что стоящий там рыцарь твердит:

Недостойный раб, сокровищ
Был «*ты*» царь и страж случайный.
. . . .
И покинув стражу, к ночи
«*Ты*» пошел во вражий стан.
. . . .
Падший ангел, был «*ты*»* встречен
В стане их, как юный бог...

Рыцарь с Карпат — повествует о гибели падшего, дошедшего до Аптекаря «я»: «Страшно, страшно»... И «я» закрывается в ужасе от далекого голоса прошлого (ждущего... в будущем!):

Но не спал мой грозный Мститель.
Лик его был гневно-светел
В этой ночи на скале.[206]

---

* В тексте у Блока тут всюду вместо «ты» стоит «Я».

Вот, что подлинно совершается: —

.... в темных Карпатах,
.... в Богемии далекой...

Повторяется «*Страшная Месть*»: тот же Рыцарь, — стоит, ожидает к себе возвращенья убежавшего в чащи, того, кто предательски —

...пошел во вражий стан.
. . . .
Это — я помню не ясно,
Это — отрывок случайный,
Это — из жизни *другой* мне
Жалобный ветер напел.[207]

А с другой стороны, где Аптекарь (Мертвец) поджидает, оттуда —

Говорит Смерть:

Когда осилила тревога
И он в тоске обезумел,
Он разучился славить Бога
И песни грешные запел.
. . . .
Он больше ни во что не верит,
Себя лишь хочет обмануть,
А сам — к моей блаженной двери
Отыскивает вяло путь.
С него довольно славить Бога —
Уж он не голос, только — стон.
Я отворю. Пускай немного
Еще помучается он.[208]

Узнается Мертвец из глубокой пропасти подкарпатской, которого грызут мертвецы и к которому сбросится грешное тело:

Было то в темных Карпатах...

И вот что, действительно, значит: —

...Постигать
В обрывках слов

Туманный ход
Иных миров.[209]

И слышится голос: «*колдун, завершающий проклятый род: жду тебя!*»[210] Бежать некуда: бегство в сторону бездны: к аптекарю, где

Скелет, до глаз закутанный плащом,
Чего-то ищет, скалясь черным ртом.[211]

Напрасно трусливое сознание начинает подсказывать:

Это — из жизни *другой* мне
Жалобный ветер напел.

Т. е. из жизни гоголевской «*Страшной Мести*», реминисценция, литература? О, нет: так — *бывает всегда*! И —

Стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня.[212]

Тут вот и приподымается в поэзии Блока глубокая безвыходность поэмы «*Возмездие*»; эта поэма по существу есть поэма о прóклятом роде, не о каком-либо роде, — о «*роде*» как таковом; ведь *колдун* «*Страшной Мести*» — чудовище зла потому, что — последний в грехом отягощаемом роде: он — декадент, жалкий выродок и прижизненный труп; «*мертвецы*» его ждут, потому что давно они — в нем. Тема рода всегда — тема грешного рода; ведь все родовое — *в грехе первородном*; мы сильны постольку, поскольку мы силою Божией возрождаемся в Духе; но — для рода (в Христе) умираем. В сознании Блока Христос — не воскрес; оттого-то не может себе подтвердить он: «*Не „Я", но Христос во мне*». Между тем: к испытанью *порогом* вплотную придвинут он; а в испытании поднимается пред сознанием испытуемого бесконечная цепь кармы личной и родовой; тема *рода* здесь — тема *грызущего мертвеца*.

Автор первого тома стихов говорит:

Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.[213]

Бездорожье дано лишь в безродности, в отрешении от наследственных уз. Отступленье поэта от бездорожий внеродного света к дороге

наследственной, родовой, есть потеря возможности силою света Христова преодолеть испытания: отступление — от дерзающего максимализма в позитивный «*минимализм*»; и недаром он ставит знак равенства меж *возмездием* («страшной местью») и — *родом*; поэма «*Возмездие*», занимающая А. А. тот период — поэма о роде. Для Блока же «*род*» — темный род, грешный род, издавна угрожающий светлому миру его.

Когда в беседе с А. А. я наткнулся на жуткую в нем тему «*рода*», то я испугался: опасности для А. А. этой темы; мне помнится: взявши за локоть меня, говорил он в полях все о косности человечества в роде, о том, что он — косный, что родовое начало его пригибает к земле; он стоял предо мною с печальной улыбкою:

— «Какие бы не свершали усилья светлые силы, на чаше весов перевесит исконная смерть».

Это было в июле 1904 года; он так о *влияньи рода* судил тогда, еще не вполне пригибаемый родом; а через пятнадцать лет, в предисловии к поэме «*Возмездие*» он написал: «*Тогда* (то есть в 1911 году) *мне пришлось начать постройку большой поэмы... Тема заключается в том, как развивается зрение единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела, и затем вновь поглощаются мировой средой... Мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека: от личности почти вовсе не остается следа; сама она, если остается существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек — не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка*».*

Читатель: не ужас ли это согласие на истлевание личности и на «*тлеющую душонку*»? Поэт оговаривается, что «*семя брошено и в следующем первенце растет новое*»; все равно: перенесение судьбы бессмертия от «я» к «*семени*» угашает все то, что способно вооружить на борьбу с бесконечной *змеей* (со временем). Именно: пред явлением Дракона сознанию Блока отчетливым отступлением от Вечности к темам Золя отступает в *минимализм* он; и заключает он компромисс с изживаемой точкою зрения позитивизма, которым когда-то ругался поэт.

Отступление в род подымает в нем тему возмездия: здесь заглавие, аллегория, превращается в совершенно реальную жуткую тему; род — «*страшная месть*»; полоненный им, мчится конем на Карпаты,

* Из предисловия к поэме «*Возмездие*».[214]

где Мститель стоит, ожидая, чтоб свергнуть примчавшегося во тьму Аримана:

Было то в темных Карпатах,
Было в Богемии дальней...
Впрочем, прости... мне немного
Жутко и холодно стало.

Тема вступленья в поэму звучит — уже двойственно: Зигфридом Нотунг куется:[215]

Так Зигфрид правит меч над горном
. . . .
И Миме, карлик лицемерный,
В смятеньи падает у ног.[216]

Забывает поэт: Зигфрид — в спину сражается;[217] загораются небеса; и все — гибнет; поэт ощущает себя и не Зигфридом, а рабом, «*из глины созданным и праха*»; меж тем:

Над всей Европою *дракон*,
Разинув пасть, томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль — туманом,
И пахнет гарью. Там — пожар.

На фоне этого начинающегося мирового пожара изображен —

Коротенький обрывок рода —
Два-три звена...

Изображено, как —

Сыны отражены в отцах.[218]

В предисловии к поэме А. А. пишет: «*Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом „возмездия"; этот лейтмотив есть мазурка... мазурка — разгулялась; она звенит в снежной вьюге... В ней явственно слышится уже голос возмездия*».[219]

И так: с одной стороны поднимается на Европу разинувший пасть и задышавший огнем Дракон, а с другой стороны — пригибаемый темой

«*возмездия*» род; где же Зигфрид? Ясно, что выхода — нет: тупик, смерть.

«*Месть! Месть!*» — в холодном чугуне
Звенит, как эхо над Варшавой:
То Пан Мороз на злом коне
Бряцает шпорою кровавой.

Пан Мороз есть примчавшийся всадник (с Карпат); и он рыщет по городу за порождением грешного рода:

Молчат магнатские дворцы,
Лишь Пан Мороз во все концы
Свирепо рыщет на раздолье!
Неистово взлетит над вами
Его седая голова,
Иль откидные рукава
Взметнутся бурей над домами,
Иль конь заржет — и звоном струн
Ответит телеграфный провод,
Иль вздернет Пан взбешенный повод,
И четко повторит чугун
Удары медного копыта
По опустелой мостовой.

Здесь, не правда ли, слышится явственно тема Медного Всадника? И — шагов Командора?

Месть! Месть! — так эхо над Варшавой
Звенит в холодном чугуне.[220]

Эта тема летящего всадника на коне перекликается с темой метельного всадника «*Кубка Метелей*»: «*Над крышей вздыбился воздушный конь, пролетая в небо развеял хвост... На нем сидел метельный всадник... На минуту блеснуло его копье; он скрылся в снежном водовороте. Раздалось звенящее трепетанье: это буря рванула номер фонаря*» (18). Или: «*Раздались призывы:„Ввы... Ввы... Уввы..." Над крышей вздыбился воздушный конь*» (15). Или: «*Вздыбился над домами... вьюжный... белый... замахнулся ветром, провизжавшим над домом, как мечом: „Вот я... вот вас... вот я! Моя ярость со мной"*» (48—49). Или: «*Над домами занес свой карающий меч... „Задушу*

снегом, разорву ветром". Спустился меч... Взлетел. И с высей конем оборвался» (54).[221]

Эти всадники (Пан Мороз и Метельный) суть образы Рока, или всадника на Карпатах. Уж рок подступает к «Возмездию»; и — некуда скрыться, разве что в комнату, куда зазывают:

«Прошу вас. В пять он умер. Там...»
Отец в гробу был сух и прям.

С одной стороны — ярость рока, Возмездие; с другой —

Мертвец, собравшийся на смотр,
Спокойный, желтый, бессловесный.
. . . .
Внушал тоску и мысли злые
Его циничный, тяжкий ум,
Грязня туман сыновних дум...

И он отравил его, потому что отравленный сын знает точно, что —

...На ребра гроба лег
Свинец полоскою бесспорной
(Чтоб он, воскреснув, встать не мог).[222]

Меж Ариманом, иль мертвецом, воскресающим *второй смертью*, и Всадником (Люцифером), вопящим — «Месть, Месть» — ограничиваются кругозоры ариманической части сознания; остается одно: подчиниться.

И статуя Командора, себя самого, от далеких Карпат, прошлых гор — подступает:

Я твой давно *забытый* час.
Стучусь, откройся.[223]
. . . .

Но: —

(Это я помню не ясно...
Это из жизни другой)
. . . .
Пролетает, брызнув в ночь огнями,

Черный, тихий, как сова, мотор.
Тихими тяжелыми шагами
В дом вступает Командор...
Настежь дверь. Из непомерной стужи —

— (То — Пан Мороз...)

Словно хриплый бой ночных часов, —
Бой часов: — Ты звал меня на ужин.
Я — пришел. А ты готов?[224]

Так происходит в сознании одной половины душевного «я» (ариманической) встреча со Стражем Порога; здесь же страж — другая половина душевного «я», полоненная Люцифером. Командор — белый окаменевший очерк рыцаря, некогда говорившего:

Я их хранил в приделах Иоанна,
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.
. . . .
Я скрыл лицо, и проходили годы.
Я пребывал в служеньи много лет.

Служенье же протекало на той озаренной «*горе*», от которой бежала другая, отколотая от святыни часть «я» («Сбежал с горы»).

Сбежавшее, грешное «я» — грешно очень; но не безгрешна оставшаяся на горе часть сознания, утверждающая горделиво, что —

...в оный День — *один* участник встречи,
Я этих встреч *ни с кем не разделил*.[225]

Не разделил; и — замкнулся в своем одиночестве; и — не спустился за убежавшим, не выдержавшим выспренной гордости сотоварища «двойником»; но покинутое половиной себя самого, превращается «я» Иоаннова рыцаря — в белого, бескровного призрака; в скорбного инока:

Брожу в стенах монастыря,
Безрадостный и темный инок;
Чуть брезжит бледная заря, —
Слежу мелькание снежинок.
. . . .

Заря бледна и ночь долга,
Как ряд заутрень и обеден.
Ах, сам я бледен, как снега,
В упорной думе сердца беден.[226]

Обледеневает, окаменевает и ждет на «Карпатах»: свершить месть «*другому*».

Да минует нас чаша сия!

. . . .

Проследим теперь повесть бледнеющей половины душевного «*Я*», полоненной мечтой Люцифера; она не сошла за сбегающим в чащу; и оттого стала вовсе она обескровленным призраком: мысли, которая, замыкаясь в пределах рассудка, стремится к высокому; но высокое — признает за мечту; и не видит в нем — сущего; невоплощенная идея — пуста; и пустая идея — понятие; в мире понятий все — «*кажется*»; все — только Майя;[227] и рыцарь мечтаний абстрактного мира проходит по сущему миру — тоскующим дэнди; само слово «*рыцарь*» становится здесь аллегорией; и встречаясь с собою, воспринятым чувственно, — видит нахального, постаревшего господина, произведя на него впечатление жуткого трепета крыл и исторгая тяжелое восклицание: «И опрокинувшись, заглянет... белый призрак мне в лицо...» Этот дэнди мечты заключен ведь в пределы рассудка «*Тебя здесь нет: ты там*»; а этого «*там*», как бытия, ведь и нет вовсе.

Ужасен холод вечеров!..[228]

В этом холоде движется контур посетителя ресторанов; но он, предающийся буйным разгулам, — двойник недействительного в мире дэнди («*мир есть мое представление*»), *черный сквозной человечек* есть тень: не пугает «*нахальный двойник*», потому что он есть аллегория миросозерцания дэнди, не существующего в действительности.

Несуществующих шагов
Я слышу шелест по дороге.[229]

Шаги *теневых проходимцев*, протянутых под ноги, — мороки; их — спасать нечего; *жизнь* «*пустынна, бездонна, бездомна*», и — нет ее вовсе; щемящие песни глухо гуторят в ушах:

Всюду эти щемящие ноты
Стерегут и в пустыню зовут...[230]

Мертвеца с безобразия к безобразию —

Скрежещущий несет таксомотор.

Жизнь лишь общая форма познания: *категория должности* или — абстрактная мысль (после бегства с *горы* полнокровного двойника рыцарь Мудрости, обескровленный, может рассудочно лишь рассуждать о прекрасной идее, о Логике, но не о Даме). И рыцарь мертвец:

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая — ... лязг костей.

Отвратительно, что представление Мертвеца — отражение иллюзии жизни: в самой жизни мысли; иллюзия мысли — жизнь собственной тени, которая волочится к Елагину острову, думая, что она — веселится: и — «кости лязгают о кости»:

Спешит мертвец. На нем изящный фрак.

Или:

Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...

Прохожие:

...дома и *прочий вздор.*[231]

Теневой этот вздор суть аллегорические понятия круга рассудка; они меняются прихотливою мыслью, они догматически утверждаются эмпирическим фактом; в сознании крайнего кантианства они суть — скелеты, иль — схемы; само представление двойника просто есть познавательный результат предпосылки сознания; анализ его рассуждающим сознанием переживает он как собственную свою гибель: как бегство к аптекарю за «Venena»;[232] «Venena» здесь есть «*вещь в себе*», строющая пределы познания; переживается она — Мстителем, угрожающим Рыцарем, — угрожающим гибелью аримановского двойника, убегающего от себя, как от Всадника; пуля мысли — его настигает:

Чеченская пуля верна.[233]

Упразднен существующий мир: освобождена чистая мысль, свободная от чувственных примесей:

Летун отпущен на свободу,
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.
Уж в вышине недостижимой
Сияет двигателя медь.

Этот двигатель — мысль: мысль — уносит в безбрежный мир:

В бинокле, вскинутом высоко,
Лишь воздух — ясный, как вода.[234]

Но безо́бразный мир есть ничто:

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная...[235]

Или:

Что? Совесть? Правда? Жизнь?..[236]

Тут

Все... чернее сгущается свет,
И все безумнее вихрь планет.[237]

Во всех вихрях *пространство и время*, иль формы a priori независимые от фактически упраздненного мира; в не сущем работает «*двигатель*» мысли, как в *сущем*; *не сущее* сотворяет здесь «*энное*» образованье миров (мир мечты) — ради скуки; так Брама[238] видит в снах творений: душа их — *Прекрасная Дама*, — *Абстрактная Дама*; и рыцарь, иль дэнди — «*субъект*» познавания; он — влечется к мечте, в глубь зеркал.

Входит ветер, входит дева
В глубь исчерченных зеркал.[239]

И в ту не сущую Деву — влюбляется:

Не уходи. Побудь со мною.
Я так давно тебя люблю.[240]

. . . .
Из хрустального тумана,
Из невиданного сна
Чей-то образ, чей-то странный...

К образу нового мира мечты протянулось «я». Но он строится теми же законами рассуждающего сознания, образующего ту же все упраздненную пустоту:

Из хрустального тумана,
Из невиданного сна
Чей-то образ, чей-то странный, —

Но виданный. Где же? В Богемии дальней? Нет —

— В кабинете ресторана
За бутылкою вина.[241]

Этот образ — мечтает о том же все: о Елагином, о венгерке; двойник, упраздненный в *том* мире, — воскресает в сем мире не сущей мечты; стало быть: «*ветер дева*» — не «*ветер*»; простая цыганка — лишь «*ветер мечты*».

Когда ж конец? Назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать...
Как страшно все! Как дико! Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.[242]

Товарищ же, тень, — убегает; и — убегает *тень тени товарища*; лучшего друга; «венгерка» же — *тень тени тени*; Мечта как действительность; *тень тени тени товарища, лучшего друга*, есть смерть у прилавка *Аптеки*: *в сне сна*, где Меч Мстителя — форма протянутости «*субъекта сознания*», видит Мстителя, Всадника на Карпатах, который не Всадник, а — двигатель, Авиатор, Авторская Мысль, тревожащая себя самое в своем собственном творчестве — собственным двойником; она видит в ресницах «*товарища, сотворенного друга*» — лишь ужас; и ужасом отдается на ужас:

Больная, жалобная стужа,
И моря снеговая гладь...

Из-под ресниц сверкнувший ужас —
Старинный ужас (дай понять)...
Слова? — Их не было. — Что ж было? —
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
И отделялось от земли.[243]

Отделялось «Я», дэнди во взорах нахального юноши, в дальней Богемии; совершалось перевоплощение в мир двойника, в мир материи, в мире материального тела перед Аптекою: и возник ресторан, где —

...рука подлеца нажимала
Эту грязную кнопку звонка.[244]

В тот же миг, как рассеялся чувственный призрак пред взорами рыцаря-Мстителя, обнаружилась перед взорами пустота, куда падает авиатором, сломав винт машины, тот рыцарь; и кабинет ресторана, где он восседал,

За бутылкою вина —

— возникает в мечтательных рассуждающих схемах сознания: —

Слишком больно мечтать
О былой красоте
И не мочь:
Хочешь встать —
И ночь.[245]

Всадник Карпат и пьянчужка, теперь не могущий встать, — то же все:

Припомнишь ты
И то, и се,
Все, что было... —

— (Было то в темных Карпатах,
Было в Богемии дальней) —

Все, что было,
Что манило,
Что прошло, —
Все, все.[246]

Был же рыцарь, оставшийся верным «*горе*»:

Лик его был гневно-светел.[247]

Был другой — посетитель трактиров:

Все, что было,
. . . .
Что прошло.

Командор, убивающий Дон-Жуана, — есть сон Дон-Жуана; он — пьяное окаменение: и —

Говорят черти:

Греши, пока тебя волнуют
Твои невинные грехи,
Пока красавицу колдуют
Твои греховные стихи.[248]

Тут-то и входит морочивший Люцифер, уводивший в «*надзвездные мысли*», которые были — иллюзией Люцифера; плотяная материя есть иллюзия Аримана; и Ариман — есть неизбежная смерть: Люцифер — неизбежная жизнь: *вечно* эта вот *жизнь*; или — *вечное возвращение в прошлое*: круг:

Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный
Решал все тот же я — мучительный вопрос,
Когда в мой кабинет, огромный и туманный,
Вошел тот джентельмен. За ним — лохматый пес.
На кресло у огня уселся гость устало,
И пес у ног его разлегся на ковер.
Гость вежливо сказал: «*Ужель еще вам мало?*
Пред Гением Судьбы пора смириться, сёр!»

И воистину: встреча со Стражем Порога люциферической части душевного «*Я*» столь же тягостна, как той части, которая пленена Арима-

ном. Мечта, как действительность, вечная, — окружающей жизни: во веки веков! Но сознание — протестует: «*Но в старости — возврат и юности, и жара*». Где смыкается круг, нет ни жара, ни холода; юности — нет; но и дряхлости — нет.

И странно: жизнь была — восторгом, бурей, адом,
А здесь — в вечерний час — с чужим наедине, —
Под этим деловым, давно спокойным взглядом
Представилась она гораздо проще мне.[249]

Простоту эту выдержать и не лишить себя жизни, и не payволить теперь «*окончить до срока* свой путь», — в этом смысл испытания; ведь невольно захочется уничтожения *рыцарю поднебесной мечты*:

Так падай, перевязь цветная!
Хлынь, кровь, и обагри снега!

В испытании третьем — одновременное нападение: справа — темнотного Аримана; и слева — светлейшего Люцифера: на части душевного «Я»; вместе с тем — нападение двойников друг на друга: один — обнажает меч рыцаря на другого; другой — отвечает на это ужаснейшим утвержденьем себя, как исконно живущего мертвеца в той же самой заплеванной жизни; тут Люцифер — подменяется Ариманом; тут Мститель — становится статуей Командора, тут Ариман подменяется Люцифером (иль Командором, Сёром, Бессмертным Жидом); двойники, обе части разъятого «я», — предаются своим страшным участям: жаждущий смерти из смерти теперь — созерцает бессмертие смерти: рука, заносящая над собой самим меч, меч роняет:

Меч выпал. Дрогнула рука.

Другой, собирающийся отомстить жаждущему бессмертия страшной смертною местью: он умирает — от им же задуманной мести:

Хлынь, кровь, и обагри снега!

Обе части устранены в разделенности, чтобы — не быть, иль — восстать в «Я», в Ich, в I. Ch:

Раздался голос: Ecce homo!..[250]

Что испытывает Большое Сознание Чела Века в ту пору, когда его части или части низшего «я» переживают порог? *Оно* переживает опасность Порога — по-своему: исход испытанья его обусловлен исходами испытания низшего «я».

Испытанье духовного «*Я*» — встреча с образом мирового Дракона; «*Дракон*» — этот символ духовного (а не душевного) зла; символы символа — неудачные разрешения индивидуально-духовных и социально-духовных проблем; рост государственной культуры — такой символ; в механике государства, съедающего личные жизни, иль вдавливающего их в подсознание вне-государственных физиологических отправлений. С Драконом встречается Блок — гражданин; где-то видящий всечеловеческое назначенье России. В духовных путях только тот прочитает духовные символы, кто победил в себе сферу душевного раздвоения; этой победы в эпоху последнего *испытания* — нет у Блока; оно настигает его безоружным.

Ведь и сёр, усмиряющий, ведь и «*каменный Командор*» в мире духа — иные, чем в мире души; их проекции в социальную сферу — стальная, давящая власть *государственного механизма*; здесь Сёр-Командор есть — Ллойд-Джордж, или — Вильсон, иль Пуанкарэ?[251] Кто еще? Тот, Кто их выдвигает, тот спрятан за ними. «*Его*» ощущает духовное зрение А. А. Блока; и «*Он*» направляет Россию путями огромной неправды, отображаемой как вовлеченье России, любимой Жены, в «*мировую бойню*» народов, в начало пожара, который проносится с запада на восток, поднимая с востока на запад ответные волны грядущего японо-монголо-китайского нападения на Европу; так мировая неправда, вошедшая в запад войной, отразится в востоке — такой же войною: с востока на запад. Россия, стоящая меж востоком и западом, должна явно сказать свое «*нет*», чтобы выполнить миссию: отражения бойни с востока; она — щит; поверхность его должна быть очень чистой: ведь в ней отразится Лик Скорой Помощницы. В 1908 году Блок предчувствовал «*бой*»: в образе воспоминания о Куликовом Поле встает поле будущего; святость русско-вселенского дела требует незапятнанности «*щита*», поставленного пред востоком и заграждающего Европу: в «*щите*» отразится ведь лик Богоматери.

И когда на утро тучей черной
Двинулась орда, —
Был в *щите* Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.[252]

Блок первый откликнулся на стихию грядущей войны, как предчувствовал полосу страшных годин в 1898 году в стихотворении, где Гамаюн, птица вещая —

Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых.[253]

В 1901 году он предчувствовал зори Солнца, могущего взойти над Россиею *в случае выполнения нами судьбою врученного русско-вселенского дела*; но оговорка не переживалась Блоком в годах тех; и оттого-то «*в случае, если*» встает — через десять лишь лет как угроза.

В 1905—1906 годах гаснут зори далеких ландшафтов: а в 1908 году придвигаются ландшафты ближайшие скорых опасностей; и поднимается гигантская туча, которую Блок воспринимает всем своим существом: социально, морально, душевно, духовно, физически, лично.

На пути — горючий белый камень.
За рекой — поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.
Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена.[254]

Характерно здесь все: ощущенье «*поганой орды*»; ощущение долгой болезни России, которая будет отдана чародею: и — сглажена.

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.[255]

И не является ль «*Новая Америка*» этой Россией, отдавшей свою луговую, разбойную стать иноземному колдуну («*Страшной Мести*»), одетому в красный жупан с искрой отсвета «*железоплавильных*» печей. В стихотворении «*Новая Америка*» рисует он две России: не тронутую цивилизацией, и — отдавшую красу свою иноземному капиталу. И первая — вот:

Сквозь земные поклоны да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —
Шепотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои...

Вторая Россия отделена перерывом от первой: каким-то зияющим пустырем:

Дальше, дальше... И ветер рванулся,
Черноземным летя пустырем.

И за ним —

Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды в далекой земле.
. . . .
Путь степной — без конца, без исхода,
Степь да ветер, да ветер, — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...[256]

«Черноземный пустырь», степь без краю; вдруг — корпус завода; перепрыги какие-то к Руси «*заводской*», напоминающие похищение красавицы:

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.

В этой смелой отваге отдачи себя «*чародею*» — надменнейший вызов:

Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих![257]

Думаю, все-таки — «*страшен*»:

Пускай загубит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты, —[258]

— однако же:

путь спасенья — тернист; испытания — «*страшные годы России*»; почему же поэт заявляет тогда, что — «*мы дети страшных лет России*»?[259] Да именно потому, что душа цельная, долженствующая примирить восток с западом, вдруг распалась между западом и востоком; в одной половине, в восточной:

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами — кресты да кресты.

Во второй, в западной —

Черный уголь — подземный мессия.

А меж обеими половинками — перерыв, или — пустырь:

...И ветер рванулся
Черноземным летя пустырем.[260]

В тот пустырь, в место будущей, третьей России («природа боится пустот») стремительно вдавливается от запада «*стальной интеграл*»; и втягивает Россию в войну, а с востока проходит ужасная ведьма, старуха, отдавшаяся кабацкому пьянству: монголизация русских задач — налицо.

И я с вековою тоскою,
Как вол под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой.[261]

Ужас востока есть излияние древней *желтой, китайской* души в нашу душу. И образ «татар», или китайца с винтовкой встает в потрясающих образах. Молнья боя разрезала воздух в 12-м (война на Балканах),[262] в 13-м (недоразумения с Австрией); упала стрелою на нас лишь в 14-м году; «*Новая Америка*», т. е. дух авантюры, вовлек-таки в бойню; и — отклонил нас от миссии: быть в стороне от войны; воспевали поэты войну; Блок учуял лишь:

Грусть — ее застилает *отравленный пар*
С Галицийских, кровавых полей.

Да:

Петроградское небо мутилось дождем.
На войну уходил эшелон.

Даже в самом «*ура*» ему слышались крики «*пора*»...

В грозном клике стояло: *пора*...[263]

Что — «*пора*»? Да молиться:

Теперь твой час настал: — Молись.[264]

Берлин 1922 г. Декабрь.

ПРЕДОТЪЕЗДНЫЕ ДНИ

Разговор с А. А. Блоком меня взбудоражил; те мысли, которые я развивал много после о «*страшной России*» у Блока, — тогда во мне вспыхнули вечером поздно; вернувшись к Вячеславу Иванову после часов, проведенных с А. А. в ресторанчике, я откровенно признался Иванову о том, что я виделся с Блоком, что временно скрыл от него то свидание; понял Иванов меня с полуслова; не стал ни о чем уже спрашивать; характеризовал мне поэзию Блока; а в теплых, любовных словах об А. А. было много утонченного понимания положения Блока; сквозило в них братское что-то; высказывалось: Блок не может себя ощущать в настоящем периоде близким Иванову; скоро уже появились в печати: стихи А. А. Блока к Иванову;[265] в них уже ясно звучит отхождение от Иванова (я отрывок уже приводил); В. Иванов откликнулся братскими строчками:

Пусть вновь — не друг, о мой любимый,
Но братом буду я теперь тебе
На веки вечные в родимой
Народной мысли и судьбе,
Затем, что оба Соловьевым
Таинственно мы крещены;
Затем, что обрученьем новым
С Единою обручены.[266]

Так ответил Иванов на строки:

. . . . и друга
В тебе не вижу, как тогда.[267]

И союз символистов (его, меня, Блока) по Вячеславу Иванову есть вечный союз ради дела Владимира Соловьева и ради Софии Премудрости; жизненно переплетались мы трое: я с Блоком в 1902—1905 годах; Блок с Ивановым в 1906—1908 годах; я с Ивановым в 1910—1912 годах через Минцлову.

Поздно ночью с Ивановым мы вели очень долгий, ответственный разговор об А. А.; после этого разговора особенно полюбил Вячеслава Иванова я. В то время Иванов казался мне гением добрым моим: пропагандировал «*Петербург*». Загорелся он мыслью о крупном журнале; и мыслию этою воспламенил он Аничкова, часто весьма посещавшего нас и поддерживавшего обещанием в скором будущем достать средства для чаемого журнала: условлено было, что я мой роман сохраню для журнала; необходимо же было достать хоть субсидию для возможности приготовить две-три первых книжки; и возникали вопросы: не может ли «*Мусагет*» поддержать наш журнал?[268] Воспламенялся Иванов идеею Блока о «*дневнике*» трех писателей, или о № 1 «*Трудов и Дней*»,[269] подготовляемом уж ряд месяцев, как-то завязшем; усиленно письмами он вызывал Э. К. Метнера для разрешенья вопросов; и Метнер явился на «башню» (прожил здесь два дня); произошло заседание группы сотрудников предполагаемого журнала; и предложили решительно Метнеру, чтобы «*Мусагет*» внес хотя бы один только денежный пай для начала работы; не помню участников этого заседания; кажется, были: Аничков, Иванов, я, Метнер; Аничков нас всех зажигал оптимизмом, а Метнер был сдержанный, очень далекий, сухой и корректный; в глазах его что-то прочитывал я затаенно враждебное; взяли с меня обещание, чтоб «*Петербург*» сохранил для журнала — в предположении, что такой журнал — будет.[270]

Потом я узнал: Метнер шагу не сделал для вызывания к жизни журнала, которому должен был я передать «*Петербург*», наполовину всего лишь написанный; психология же моя заключалась не в том, чтобы кому-то отдать свой роман (ненаписанный); а заключалася она только в том, чтоб его написать; был все время я курицей, долженствующей сдать яйцо; мне же надо было снести то яйцо; об «яйце» говорилось; а курицу только морили; сперва я был должен для Струве и Брюсова написать очень много (без денег); потом должен был ненаписанное со-

хранить для журнала Аничкова, Метнера и Вячеслава Иванова; все только «*должен*» был; за долженствование это ни от кого не получил *ни* копейки; голодная курица (за яйцом неснесенным уже учредили надзор) побежала за первым зерном, снисходительно брошенным: курица думала не о себе — о яйце: как снести? «*Мусагет*», как и «*Русская Мысль*», не помог мне писать «*Петербург*». Лишь издатель Некрасов авансом помог;[271] помог «*Путь*», предложивший работу;[272] журнал — провалился; я «*Мусагету*» не мог дать романа, ведь для писания надо же было мне кушать: об этом — забыли. Пишу так подробно об этом: впоследствии Метнер обиделся за Вячеслава Иванова: я-де роман, мной обещанный для журнала Иванова, — не сохранил; но гнев Метнера, признаюсь, — удивил; сам Иванов впоследствии мне говорил:

— «Я тебя понимаю вполне: Ты не мог же сберечь свой роман для журнала, который был просто химерой; и я, и Аничков, — мы ждали субсидии „*Мусагета*", у нас денег не было; Метнер не двинул ни пальцем для отыскания средств; стало быть, пресловутый журнал превратился в чистейшую фикцию; обещание твое было действенно перед журналом, а не перед фикцией».

Я связал обещанием себя перед Ивановым и Е. В. Аничковым; оба вполне меня поняли; тем непонятней казалась мне ярость, которую вдруг на меня стал обрушивать Метнер за то, что роман передал я Некрасову: дай «*Мусагет*» средства мне, я за ним бы оставил права для печати; с меня ж деспотичнейше требовали: «Роман — наш»; а роман — не написан был; курицу убивали фактически; и, убивая, ей иск предъявили: «Ты — дай нам яйцо...»

Эти доводы выдвинул я перед Метнером (другом моим); он же доводы вовсе не слышал; каприз изливал на меня, очевидно за то, что его связал некогда с Минцловой: Минцлова нас обманула во многом; Э. К. «*оккультизмом*» обжегся: досаду свою на меня перенес; и — потом: ему очень не нравилось сближение мое с Асей; в сближении этом он видел победу во всем «*д'альгеймизма*» над «*метнеризмом*»; срывал он на мне свои гневы; преследовать стал он меня.

Очень трудные отношения возникали в то время меж мною, Ивановым, Метнером; между мной и Ивановым возникала грустнейшая нота: разочарование в путях, на которых мы встретились с Минцловой; мы замолчали о ней; видел ясно: Иванову больно о ней вспоминать; мы почти не касались в разговоре вопроса о Минцловой; будто она не вставала меж нами; в молчании этом была все же тяжесть.

Труднейшие отношения возникли меж членами мусагетской редакции: А. С. Петровский, Рачинский, Сизов, Киселев восставали

сильнее против «*Логоса*»; Метнер за «*Логос*» стоял; я — раздваивался, стараясь соблюдать равновесие; одновременно я чувствовал: равновесие это мне тягостно. Кроме того: уже в чисто техническом отношении «Мусагет» шел ко дну; обнаружилось невозможное ведение дела; издатели средств не давали; а «*Мусагет*» не сумел окупить себя; были сильные голоса против действий *А. М. Кожебаткина*, превратившего секретарство свое в sui generis редактирование; Кожебаткиным тяготилися; и указывали, что Ахрамович бы с бо́льшим успехом мог стать нам помощником. Следовало бы, по мнению многих, скорей ликвидировать с Кожебаткиным; но в глаза все стыдились ему это прямо сказать.

И отсюда-то появился в редакции стиль тяжелейшей неискренности; все воздерживались в заседаниях совета от явного изложения своих мнений; в беседах же частных роптали: на Кожебаткина, на меня и на Метнера.

Словом, то дело, которое так окрылило сперва нас, распалося; не было «Мусагета» внутри «*Мусагета*», а были тенденции «*Логоса*», «*Альционы*»,[273] «*Орфея*», которые стали враждебны друг другу.

Развал этот чувствовался; и в него посвятил Вячеслава Иванова; он это понял; но он заклинал нас: быть твердыми, преодолеть эти розни, пытаться поладить с капризнейшим Метнером; он говорил:

— «Помни только, что наш „*Мусагет*" очень нужен теперь».

В. Иванов доказывал необходимость заняться серьезней «*Трудами и Днями*» иль — первым отделом его, посвященным борьбе и отстаиванию символизма. Инициатива рожденья журнала принадлежала сперва А. А. Блоку (журнал трех писателей); Метнер отдал журнал нам: я был должен его редактировать; «я» — подставное лицо; «я» — трое (Иванов, я, Блок).[274] Все задания в «Мусагете» осуществлялись наполовину (и оттого-то тускнел «Мусагет»); так, в одной половине редактор был я, а в другой — Э. К. Метнер; и кроме того: на буксире тащился многосоставный и внутренне противоречивый, медлительный «*Комитет*»; весь мой пафос к ведению журнала убит был; Иванов доказывал мне всю серьезную необходимость заняться хотя бы немногими по количеству мне представленными страницами; обещаяся давать в каждом номере по статье; и Блок — тоже. Действительно: символизм был разгромлен, не как движенье идейное, был он разгромлен технической невозможностью иметь место высказываний; символисты лишилися органа; символизму заткнули тем рот; и заткнув ему рот, объявили «*Конец Символизму*»; а символисты ютились под разными флагами — в органах, не позволявших им действенно защищаться. Вся близорукость позиции

«*Мусагета*» в том именно, что он не понял задачи своей: всеми средствами защищать символизм; этим он рубил ветку, которая крепко поддерживала его; поразительно: Метнер оглох в те годы; *шума времени*, темпа времени — не хотел вовсе видеть; все более, более «*Мусагет*» превращался не в орган, возглавляемый Белым, Блоком, Ивановым; «Мусагет» становился издательством Метнера. Мой проект: выпускать боевые и яркие сборники, посвящаемые назревшим вопросам культуры, опять-таки Метнер с каким-то особенным раздражением отклонил. Этим «*пафос*» убил он во мне; я, естественно, от «*Мусагета*» отваливался, чувствуя стесняющую цензуру идей и не видя развертывания со стороны Э. К. Метнера творческой, идейной инициативы. Э. К. раз в неделю показывался в «*Мусагете*», с поджатым ртом сухо выслушивал планы ближайших сотрудников, их браковал; и — на неделю скрывался; в такой обстановке «*беседы*», естественно кристаллизуемые проектами, превращались в «доклады» редактору; а где вносится тон доклада и «*Veto*», там дело живое не может возникнуть. Э. К. как-то ссохся, замкнулся; и мы отомкнулись от него: «*Мусагет*» засыхал. Пусть мечты Вячеслава Иванова рухнули в будущем: не состоялся журнал, им затеиваемый с Аничковым, не состоялся «*дневник трех писателей*», — все-таки: в трудные дни для меня В. Иванов стоит как единственный почти вдохновитель. С такой очень нежною мыслью о нем я покинул его; я не знал, что чрез семь только месяцев встретимся в Базеле мы.[275]

Ехал в Москву я;[276] грядущее было темно: «*Мусагет*» не давал никаких гарантий материально устроиться; «*Путь*» мне заказывал книгу «*Поэзия Фета*», давая солидный аванс; но с авансом «*Пути*» я не мог-таки выбраться за границу; а выбраться — было нужно: в Москве я не мог продолжать «*Петербурга*».

Тут-то вот появился издатель Некрасов, с которым сосватал меня Сергей Кречетов,[277] и Некрасов давал мне солидный аванс за роман;[278] и с авансом мог ехать я. Мне последние все недели в Москве очень ясно окрасились: отчуждением от Метнера, распрями в «*Мусагете*», которые были мне чужды; и примирительной дружбой с д'Альгеймами (П. И. д'Альгейм принял к сердцу труднейшее положение мое); особенно полны те дни разговорами с С. Н. Булгаковым. В это как раз предотъездное время я часто захаживал к С. Н. Булгакову, жившему, кажется, в Нащокинском переулке (близ Сивцева Вражка).[279] Неудержимо порою тянуло меня туда. Идеологически мы были друг другу далеки; неспроста Рачинский, боясь устремления в сторону чистой церковности в С. Н. Булгакове, настоял на вхожденьи моем в Совет Общества,[280]

как представителя крайне левых тенденций; должно быть: противоположности сходятся, перекликаются; перекликался с Булгаковым я очень явственно; сближало — не мировоззрение, а восприятие фактов сознания; в С. Н. меня отдаляло склонение к официальной церковности; наоборот, — с ним сближало стремление к конкретному осознанию духовного опыта; он, действительно, чувствовал, как мы с Блоком в то время, — разлитость губительной атмосферы вокруг; и поэтому: откликался особенно чутко на темы, нам близкие с Блоком; на тему грядущей опасности, угрожающей миру; он чувствовал в воздухе ноту Антихриста; на апокалипсические вопросы сворачивал разговор; оба мы одинаково относились к традициям Серафима Саровского; я был в Сарове и в Дивееве;[281] Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря одно время была для меня драгоценнейшей книгой;[282] С. Н. знал о внутреннем моем культе святого; за «*культ*» он прощал мои «*ереси*» в области мистики и думал, что внутренне связан я как-то со св. Серафимом; мне же в нем были близки перехожденья идеологии в сторону мистики жизни. Средь прочих московских религиозных философов более, чем Рачинский, Бердяев, Е. Н. Трубецкой, он казался конкретным мне; и потом: он умел с удивительной чуткостью вслушиваться в переживанья сознания, не отгораживаясь от них мысленной схемой, как бы вбирал в себя человека. Потом уже на основании ряда интимных бесед он высказывал свое мнение; внешняя форма согласия или несогласия в отвлеченных идеях не слишком его волновала; при нашем абстрактном несходстве всегда он подчеркивал то действительное, что лежало в ядре моей личности; к философскому «*фраку*», вовсе не сходному с тяготением его к «*рясе*», он относился спокойно.

Переживал он поэзию Блока — конкретно, реально; и мы иногда говорили о Блоке; к воспоминаниям моим о заре 1900 и 1901 годов, о покойных М. С. и О. М. Соловьевых, которыми интересовался он очень; более, чем философией Владимира Соловьева, к которой в то время уже относился он сдержанно, интересовался он фактами жизни философа. Признавая «*Прекрасную Даму*» поэзии Блока опасной мистической ересью, кончившеюся преклоненьем перед сомнительной «*Незнакомкой*», он все же видел в Блоке мистически углубленную проникновенную личность, решительно сделавшего все страшные выводы из мистики В. С. Соловьева; и — вскрывшего корень болезни идей Соловьева; он отрицал путь гнозиса Василида и Валентина;[283] был более склонен вникать он в духовную подоплеку душевного творчества, обусловливающего возникновение ересей; упорно прислушивался к теософическим устремлениям он, их во мне видел ясно; не зная, что через два

только месяца стану отъявленным я штейнерианцем, однажды, поглаживая рукой свою бороду, облокотяся на стол, устремил он глаза пред собою в пространство, со вздохом сказавши:

— «Да, вот: много придется нам в будущем выдержать испытаний: позитивизм, атеизм, — только шутки: невинны его все забавы: испытание *веры* не в элементарном неверии вовсе, а ⟨в⟩ нарастающих духовных соблазнах...»

И тут перешел к теософии он, к оккультизму; и снова, вздохнувши, сказал:

— «А за ними за всеми подкрадывается — настоящая бездна...»

— «Какая же, Сергей Николаевич?»

— «Штейнер».

— «Так вы полагаете Штейнера очень серьезной опасностью?»

— «Страшною!..»

А впоследствии (в 1916—1917 годах) под влиянием многих бесед со мной на ту же тему всё («Штейнер»), мне кажется, он изменил свое мнение; Штейнер ему перестал вовсе видеться страшным «*слугою Антихриста*»; в индивидуальную, моральную честность его он поверил; но он считал: «Штейнер — немец, рационалист».

Одною из тем разговоров, соединивших с Булгаковым, была Шмидт, автор «Исповеди» и «*Третьего завета*».[284] Шмидт, бедная корреспондентка нижегородских газет, в ряде лет изживала духовные инспирации, которые смешивались в ней с болезненными симптомами мании; натолкнувшись позднее уже на философию, мистику и поэзию Владимира Соловьева, она увидела в ученье его о Софии то именно, что открывали ей Силы Небесные. Более того: она сочла свое внутреннее сознание за воплощение Софии Премудрости, а духовное «я» Соловьева раскрылось ей как Христос; стихотворение «*Три свидания*» в ее постижениях обращено было внутренне к ней; свои встречи с В. С. Соловьевым в *духовных мирах* захотела она превратить в настоящую встречу, чтоб объяснить Соловьеву огромные тайны их личностей как отношение Софии к Христу; да, болезнь перемешивалась в ее теософии с подлинным, с удивительным гнозисом, так она обратилась при помощи писем к Владимиру Соловьеву. Он ездил к ней раз на свидание; и между ними произошел разговор; данные биографии Соловьева гласят, будто он уговаривал Шмидт отказаться от «*ереси*»;[285] по ее же утверждениям (после смерти Владимира Соловьева), совсем выходило не то.

То свидание произошло в мае 1900 года, за $2\,^1/_2$ или только за 3 месяца до кончины философа; а разговор мой с Владимиром Соловье-

вым, игравший такое значение для меня, произошел, как с Булгаковым установили мы, непосредственно вслед за свиданием с Шмидт, когда В. Соловьев был проездом в Москве и читал у М. С. Соловьева (в моем присутствии) свою «*Повесть*»,[286] которая породила нашу единственную во всех отношениях встречу (до той встречи встречались мы внешне); а после — скончался он;[287] на похоронах Соловьева присутствовала и Шмидт, обращая внимание семейства своим странным видом. А с 1901 года М. С. Соловьев стал получать от А. Н. очень длинные, частые письма, доказывавшие «*божественность*» Соловьева и свою собственную «*софийность*»; М. С. Соловьев был тогда и смущен, и подавлен тем фактом, что к памяти брата привяжутся привкусы ереси; он говорил мне: не знает, что делать ему с А. Н. Шмидт. Помню: в первых числах теплейшего октября 1901 года в квартиру М. С. Соловьева является Шмидт, все стараясь его убедить в правоте своей «*веры*»; и при одном разговоре присутствовал я, стараясь прислушаться к ней;[288] уклонение от высказывания Шмидт сочла за внимание к «*вере*»; и написала из Нижнего мне письмо, с желанием распропагандировать;[289] на письмо я ответил с категорической резкостью; до весны 1903 года она пропадает; весной же показывается в Москве (после кончины М. С. и О. М. Соловьевых), смущая М. С. Соловьева «еретическими» беседами;[290] после она появлялась в 1904 году, была даже на «*аргонавтическом*» воскресенье моем, возбуждая недоумение странным видом; в ту пору она была заинтересована очень поэзией Блока; и ездила в Шахматово к А. А.: разглядеть его ближе; была в Петербурге и завязала сношение с «*Новым Путем*», где напечатала статью — возражение мне (на статью «О теургии»).[291]

В Нижнем бывала у Метнера, проживавшего в Нижнем[292] и относившегося с симпатией и даже, странно сказать, уважением к ней; встречалась с Мельниковым, бывавшим у Метнера; А. П. Мельников (сын Мельникова-Печерского) был знаток быта сект и буддист по тогдашнему устремленью, скандировавший санскритские «*мантры*» (я познакомился с ним в бытность в Нижнем в 1904 году);[293] впоследствии он, как Метнер, ценил Шмидт. Мы знали, что ею написано много; все то должно было открыть после смерти ее; она вскоре скончалась (не помню я точно, в котором году); по смерти же рукописи пропали; и пропадали года; обнаружились опять очень странно: не то у корректора, а не то у метранпажа газеты «*Нижегородский листок*»; были переданы А. П. Мельникову, который, не зная, что ему с ними делать, просил Э. К. Метнера, обитавшего уже в Москве, и меня позволение переслать на хранение их (это было весной 1909 года); мы согласились и получи-

ли; я целую ночь напролет глотал странные эти страницы; составили мы с Метнером настоящее заседание о том, что нам делать с *«наследием»* Шмидт; и решили отдать на хранение общему другу, Морозовой, которая и передала их Булгакову (уже потом).[294] Так заходы к Булгакову совпали с его углублением в рукописи А. Н. Шмидт (которые после издал он отдельною книгою); пораженный, смущенный, какой-то взволнованный вид его был, когда речь заходила об них; произведения Шмидт вызывали двойное в нем действие; с одной стороны, несомненно пугали; с другой стороны — привлекали; и даже сужденья его об А. Н. были — робкие, неуверенные, колеблющиеся меж решительным осуждением ее и признанием в ней гения религиозного творчества;[295] С. Н. подробнейше спрашивал об А. Н., о свиданиях с ней, и о том, что мне было известно об отношениях ее с Владимиром Соловьевым; и также выказывал он исключительный интерес к пережитиям прежних лет, к зорям, к чаяньям нашим и к мифам о Даме Прекрасной, слагаемым нами в то время. Отсюда-то, думаю я, и повышенный интерес у него к темам лирики Блока, которого не было у религиозных философов. Отсюда и близость моя с ним в те месяцы; только он был способен вполне оценить всю конкретность былого восторга пред лирикой Блока у молодых символистов; он понял конкретное нечто в А. А., может быть как ужасный соблазн, но соблазн, не могущий возникнуть без подлинного прикосновения к стихии духовного опыта.

Я считаю, что встреча с С. Н. Булгаковым была встречей людей, исходящих от разных источников, но пересекшихся в одинаковом устремлении: понять правду Духа.

Тихий, сосредоточенно-строгий и вместе ласковый, очень внимательный, очень настороженный С. Н. создавал атмосферу беседы *en deux* — незабываемую, притягивая невольно к себе.

В эти дни я бывал очень часто и у М. К. Морозовой; и встречал в ней, как прежде, поддержку; бывали мы с Асею и у д'Альгеймов, которые жили в особняке Тарасевичей; Л. А. Тарасевич, жена его, А. В., присутствовали всегда.

Говоря откровенно, Москву покидали с решительным облегчением; без всякого желания скоро вернуться.[296]

БЕЛЬГИЯ

Подхожу теперь к тому сложному, смутному, трудному времени, которое и по сию пору оформить никак не умею я; стало быть: то, что стоит предо мною, есть факт, пережитый сознаньем, вплетенный конкретно в реальную жизнь, обусловивший изменения в стиле жизни и обусловивший расхождение с рядом друзей; передо мною возник: иной быт, иной ритм отношения к жизни; и до сих пор: десятилетие (1912—1922) во многом окрашено нотами, прозвучавшими именно в это время. И вместе с тем я боюсь: если включу я переживания внутренней биографии, то мной взятая тема, конечно же, сузится; тема же — «время Блока»; оно — наше время; ведь первые «*блоковцы-москвичи*» стали первыми антропософами (в антропософию перешли: М. В. С., А. С. П., М. И. С.,[297] я; антропософами одно время были и Эллис,[298] и Киселев); реагировал на антропософию Метнер; меж тем: эти именно люди вынашивали атмосферу московского символизма; они же оценили единственность темы поэзии Блока; в моем сознаньи поэзии Блока в годах тех, конечно же, сказывалась нота антропософского восприятья ее; я считаю: София, отображение Прекрасною Дамою Блока, — София антропософии. В годы крайней отдачи себя антропософской доктрине я не терял чувства связи, соединявшей всегда меня с Блоком; что связывало трех юношей (А. А., С. М. Соловьева, меня), — то и притягивало к антропософии, как то ни кажется парадоксальным; вникая в учение Штейнера, я продолжал себя чувствовать символистом; и оставался я «*блоковцем*». Страшно боюсь, что расширю первоначальную цель воспоминания о Блоке.

Придется избрать средний путь; отступивши от личности «Блока», сосредоточить вниманье *на* времени Блока; Блок кровно связался с эпохою; антропософия — показатель эпохи; придется коснуться: рассказать, как приблизился к Штейнеру. Многие думают: подхождение это — на почве идеологии; нет, было конкретное, кровное, что-то, что притянуло к течению Штейнера. Буду описывать факты, которые мне непонятны; в них есть нечто странное; были ль болезнью они, иль были внимательным проникновением в жизнь? Я не вижу уж жизни в былом, странном свете; сознанье мое прозаично, но тем отчетливее стоят предо мной пережитые годы (1912—1914); необъяснимые звуки тех лет разложить не сумел на обычные объяснения. Я проведу их пред взором читателя так, как они мне звучат.

В апреле 1912 года мы выехали из России: на день мы остались в Берлине[299] — увидеться с Эллисом, жившим около Motzstrasse (на Motzstrasse, 17 жил Штейнер); но Эллиса мы не застали: уехал он, кажется, в Христианию: слушать цикл лекций Штейнера, чтобы оттуда попасть — в Гельсингфорс,[300] где должно было состояться свидание Штейнера с группою русских антропософов (на Пасхе);[301] оставили Эллису мы небольшую записку; и уехали далее, через Кёльн (где остались на день), прямо в Брюссель.[302] Там скоро нашли помещение, с окнами, выходящими на собор St. Gudule;[303] черносерые стены собора бросали свои черносерые тени нам в комнату; в окна глядели химеры, свисая от кровли собора. Тут мы заболели сильнейшим бронхитом; метаясь в жару, вспоминали былое; рассказывал Асе я об исчезнувшей Минцловой и о словах, ею сказанных; передавал ощущенье мое медитаций, которым она обучала меня; с недоумением вспоминал я признанье ее об оккультистах, за нею стоящих, которые обещали через нее к нам прийти; и которым я должен был показать *кольцо* Минцловой; говорил я о том, что никто не пришел, что душою влекусь я к духовному знанию; Ася меня понимала; и в ней постепенно слагалось влеченье к пути. Проговорили весь вечер, и наш разговор был значителен; мрачные стены собора стояли в окне.

Мы — заснули. А на другое утро сказала мне Ася: приснился ей сон, столь отчетливый, столь поразивший ее, впечатлившийся в душу ей; видела, будто с нею мы в комнате, напоминающей зал; но наполнилась комната — вдруг; и какие-то люди из двери поспешно направились к нам, с незнакомцами (двумя), столь замечательной внешности, что Ася была вне себя; они были почтенного возраста; кто-то сказал, обращаясь к Асе: — «Вы ищете Штейнера, а ведь он в Брюсселе!» И — удивилась она: Штейнера не искали мы вовсе; и тут пробудилась; рассказывая тот сон, переживала она очень действенно сызнова странное впечатление сна; а во время рассказа ее смутно вспомнилось, что и я будто видел ту комнату, — комнату, переполняемую людьми с двумя лицами, возглавлявшими шествие; лиц я не помню; не помню и голоса, помню лишь я волненье свое при приближении группы людей; показалось курьезным, что Асин сон прозвучал во мне очень бледным отображением.[304]

Подивились: и — скоро забыли мы сон, погрузившися в суету нашей жизни. Я принялся за продолжение «Петербурга» и увлекался в свободное время коллекцией марок, которую стал собирать; Ася ездила в Uccle[305] каждый день, заниматься гравюрою — у Данса; мы с ней посещали музеи; встречалися часто мы с дочерью Данса, женой адвоката и депутата парламента, Жюля Дестрэ (вскоре сделавшегося бельгий-

ским министром);[306] порой присоединялся и он. Я не помню всех тех, с которыми приходилось встречаться: из общества, средь которого мы вращались, запомнился Санд (собиратель картин и банкир), жена Санда, поэт молодой и художник де-Гру, остроумный, талантливый, чудаковатый. Обедали мы очень часто у Данса: и иногда у Дестрэ, посещали театр; чувствовали себя — превосходно.

Однажды, вернувшись от Данса, с волненьем передавала мне Ася о происшедшем с ней в траме, с которым она почти каждое утро из Брюсселя ездила в Uccle по шоссе Ватерлоо — к учителю; на одной остановке трамвая в трамвай вошел медленно господин лет пятидесяти пяти, очень строго одетый, с лицом изумительным, выделяющимся настолько от всех других лиц, что естественно Ася уставилась на него с удивлением; в этом старом, скорее, лице поразила гравюрная почти тонкость прочерченных лицевых тонких мускулов, придававших лицу необъяснимое выражение почти повелительной мощи; и вместе с тем: благости; скоро я понял ее изумленье, граничащее с потрясением; лица подлинных оккультистов весьма характерны отметкой, которая налагаема той самой прочерченностью малых мускулов лицевых, придающих лицу отпечаток особый; но не лицо потрясло главным образом Асю, а серые, серо-зеленые, углубленные, пристально в нее вперенные взоры, которых, по заверенью ее, не могла она вынести и которых вошедший в трамвай господин не отрывал от нее; он ее наблюдал в совершенном спокойствии, с жестом сдержанной мощи; то сочетание строгой корректности с необычайным вниманием к Асе произвели на нее столь огромное впечатление (чего-то давящего и одновременно манящего), что едва она не спросила вошедшего незнакомца:

— «Скажите же...»

— «Что вам нужно?»

— «Зачем вы глядите так?»

Ну, конечно же, в этом пристальном взгляде не могла содержаться по отношению к Асе житейская пошлость; и стало быть: любопытство, которое возбудила она, относилося к содержанию ее морального мира; казалося ей, что вошедший глядит сквозь нее, все в ней видит и все узнает; он же, сидя пред ней, не спускал с нее глаз; и казалося от напряжения ей, что весь воздух меж нею и ним натянулся, как тетива; что сорвется вот-вот с тетивы что-то важное и единственное; и она переступит через какой-то предел; передавала она: еще миг, и она бы воскликнула:

— «Что вам надо?»

Но он встал, на ближайшей же остановке трамвая (проехавши одну станцию лишь); и, не прервавши молчания, вышел, обмеривая Асю

своим непонятнейшим взглядом; и ту остановку, где слез он, запомнила Ася.[307]

Я слушал; и — удивлялся; но удивительнее всего было то, что меня охватило под действием Асиных слов очень странное состоянье сознания; я почувствовал: в нашей комнате изменяется атмосфера; будто бы слова Аси открыли лишь дверь среди стен нашей комнаты; обнаружились комнаты среди двух наших комнаток, о которых не подозревали мы; и вот-вот: на нас хлынуло мощно и сладко какое-то море даримых нам чувств (нет, не наших, принадлежащих кому-то, благому, сияюще мощному); и мы чувствами этими рассветились, как ризами странной парчи, парчи света; и как будто предметы, обставшие нас, — не такие, как только что; все восприятия переменились; и будто бы стены пропали; и кто-то, кого мы не знали, стоял за пространством незащищающих стен; и взирал на нас зовными взорами; право же, комната наша в тот миг показалась мне птичьею клеткой, подвешенной в другой комнате, посредине которой стоит кто-то, знавший нас, звавший нас, и рассматривает нас так, как рассматриваем мы двух мечущихся по жердочкам клеточки канареек.

Восприятие мое проницаемости всех стен передалося и Асе; она, оборвав свой рассказ, повернулась ко мне и сказала с недоумевающею улыбкой:

— «Послушай, — ты замечаешь», — и обвела глазами вокруг.

— «Замечаю...»

— «А что?»

— «Да будто бы стены пропали; и будто бы кто-то сквозь стены, — нас слушает».

— «Именно».

Мы замолчали и слушали звук тишины, точно сладостный колокол, нас призывающий; мне припомнилось стихотворение Владимира Соловьева:

Лишь забудешься сном, иль проснешься в полночи:
Кто-то здесь. Мы вдвоем.[308]

Относительно нас лучше было б сказать: «Кто-то — здесь. Мы — втроем». И уж близился вечер; уже облака, самодары небес, высылаемые над крышами Брюсселя, — розовели.

Подивилися мы происшествию с Асей; и — скоро забыли его. Потекла суета; но запомнился день происшествия: был то — четверг.

Вся неделя текла очень быстро; утрами — работа (над «Петербургом» и над статьями в «Труды и Дни»); после — прогулка по Брюссе-

лю; и — обед, одинокий (обедала Ася у Данса); потом встреча с Асей в кафе, расположенном на крыше огромного дома, занимаемого магазином (брюссельским Вертгеймом[309]), пятичасовый чай; присоединялась к нам и Дестрэ очень часто; потом, уже к вечеру, мирный ужин и тихие речи (а то — театр: опера); так — каждый день. Через неделю, в четверг, мы поехали с Асею к Дансу обедать (он — звал нас); и вот: происшествие — повторилось; я был теперь, так сказать, сам свидетелем Асиных слов.

Мы сидели в трамвае, везущем нас в Uccle; и в том именно месте, где слез незнакомец, увиденный Асею в предыдущий четверг (установила потом это Ася), — на остановке в трамвай, вижу, входит, во всем удивительный господин (я такого лица никогда и не видывал); и тотчас подумал: вот — *тот*, кого встретила Ася на прошедшей неделе; он был высок ростом и строен; на вид ему можно было дать лет уже пятьдесят пять; был он в сером во всем, очень строго одетый; и помнится: у него была палка, которую он, сев напротив, поставил между колен; и сжимал ее пальцами в темнокоричневых (помнится) новых перчатках; его волоса были серы (от проседи); был же он брит; и лицо было мелко исчерчено, будто бы гравировальным, маленькими штришками, и протенями, образующими удивительный отпечаток достоинства, сдержанной мощи; казался же он: не бельгийцем, не немцем; скорей, — англичанином; впрочем, скорее, напоминал представителя он расы грядущей; будто бы из тридцать третьего века проник он инкогнито к очень далеким дичающим предкам, напоминающим ему скорей род обезьян, чем людей; изумительное выражение серых глаз, в нас вперенных, смутило меня; так открыто, так явно пронизывал нас (то меня, а то — Асю) глазами; и чувствовал, как натягивается вся атмосфера, как... тетива; что сорвется какая-то электрическая стрела — прямо в нас; делалось и чудесно, и стыдно, и жутко от этого взгляда.

Я знал, что то самое переживает и Ася, но — повернуться, спросить ее — не было сил. Переглянуться с ней — выдать смущенность свою: нет, не мог.

Все то произошло в полторы-две минуты; проехавши одну станцию, он поднялся на остановке трамвая; и, продолжая смотреть с той ⟨же⟩ пристальностью на нас, очень медленно вышел он; и, выходя, повернул свою голову: и опять посмотрел на нас.

Трам стоял; и мы видели, как он улицу пересек, останавливаясь у подъезда старинного серого дома, вложил ключ от двери в замочную скважину; и опять повернулся на нас; и посмотрел очень пристально, как бы давая понять:

— «Видите; здесь я живу. Здесь меня вы застанете». Дверь отворилась; в нее он вошел; дверь защелкнулась; а над дверью прочел номер дома я: 76. Этот номер запомнил.

И тут — трамвай тронулся.

— «Ася, — тот самый?»

— «Нет, вовсе не тот, но — подобный ему: тот — еще замечательней видом; не странно ли: *этот* вошел на той именно остановке, где вышел на прошлой неделе другой».

— «Что же это?»

— «Не говори: посторонние... Я не знаю...»

Понял, что говорить здесь, в трамвае, о происшествии — неуместно. У Данса же (позитивного старика) — невозможно; мы отобедали с Дансом поспешно, вернулись домой уже к вечеру; и только тут принялись обсуждать происшествие встреч (этой и Асиной ровно неделю назад); и пока обсуждали мы, — странное ощущение, что нас кто-то слушает через стены, опять повторилося, как и неделю назад; сопровождалося это чувство все тем же пронзительным, сладким, зовущим, непередаваемым лейтмотивом блаженной тревоги, охватывающим без уговора обоих:

— «Опять?»

— «Да, опять!»

— «Что опять?»

— «Да: как будто нет стен», — озиралася Ася. И мы — замолчали; и отдавались отчетливому, подымавшемуся призыву: «Да, да, приходите же к нам: мы — вас ждем!»

И мне вспомнилось: эту ноту, зовущую ноту, я слушал уже: это было весной в 1909 году, когда Минцлова раз пришла ко мне и сказала: «Предисловие ваше к „*Урне*" есть зов к силам света; должна на него я откликнуться и сказать, что то, о чем сердце тоскует у вас, оно — сбудется». Тут начала говорить о таинственном братстве духовных людей, помогающем силами света запутавшемуся человечеству; и тут вынула из ридикюля два кабинетных портрета, изображавших двух индусов с невыразимыми лицами, с нечеловеческими глазами; один портрет — руководителя Е. П. Блаватской; другой — Анни Безант,[310] и в разговоре с ней я почувствовал в первый раз это странное ощущение: *отсутствия стен и присутствия* среди двух — Третьего: между ними стоящего; и этот зов, будто звон зазвучавшего колокола, слушаемого только внутренним ухом; и — Голос Безмолвия:

— «С вами — Я...»

Лишь забудешься сном, иль проснешься в полночи,
Кто-то — здесь...

Я посмотрел на смущенную Асю; и — я сказал:

— «Ася?»

— «Что?»

— «А ведь это *то самое, что стояло* за Минцловой...»

Тут увидел я, что Ася в глубоком волненьи смотрит на меня, что-то хочет сказать, глубоко ее изумившее, — то, что ей только открылось, чему ей не верится даже:

— «Ты что?»

— «Знаешь ли?..»

— «Ну?»

— «Я вспомнила все: я сейчас только вспомнила...»

И — запнулась.

— «Что вспомнила ты?»

— «Эти двое, которые повстречались в трамвае, — тогдашний, сегодняшний, — да ведь они — *те самые двое*».

— «Какие *те двое*?»

— «Да *двое*, которых я видела во сне, — помнишь, сон рассказывала, приснившийся во время болезни».

И опять передала она содержание сна: как она со мной находилася в комнате, в которую вошла группа людей, окружающих двух господинов, услышала голос: «Вот ведь — ищете Штейнера вы, а Штейнер — в Брюсселе». Я же видел лишь бледное отражение сна ее. Признание Аси в минуту, когда мы сидели и слушали, как зовом истаяли стены («Мы ждем!»), — это признание произвело впечатление на меня электрического удара:

— «Ася?»

— «Да, да: это — те, кого видела я во сне».

— «Не ошибаешься ты?»

— «Да нет, нет!»

— «Почему же ты прежде не вспомнила?»

— «Да я сон как-то странно забыла; потом: и знакомых-то не всегда узнаем в первый миг; как же сразу мне было сообразить это все?»

Я был — потрясен: разволнован и выбит из колеи.[311] Произошел разговор между нами совсем ни на что не похожий; в нем Ася напомнила: Минцлова, исчезая навеки, сказала, что нас не забудут, придут к нам *какие-то мудрые, посвященные* люди... А что, если встречи в трамвае и сон — знак, нам данный: зов к пути, приглашенье — от-

кликнуться? И я должен признаться был Асе, что Минцлова неоднократно рассказывала, как именно происходят *духовные встречи*: они происходят как будто случайно; законы встреч — скрыты; случайная встреча в трамвае, на улице, да, — могла быть не случайной для *тех*, кто ее подготовил. Тут Ася сказала: — «Коли встречи в трамвае и сон — приглашенье откликнуться, — то: дом-то, *второго*, — мы знаем»... — «Но слушай, — куда ж мы пойдем: к неизвестному господину, внимательно наблюдавшему нас. Чего хочешь ты? разве же он виноват, что ты прежде во сне его видела?» Так старался я не сойти с ума вовсе и удержаться в границах самообладания; а атмосфера, невидимо говорившая, — приглашала: перешагнуть черту здравости; мы говорили: что может дурного случиться, коль всё — лишь иллюзия наша: недоразуменье, не больше; если же мы на возможный *призыв* не ответим, то так и останемся мы: без духовного руководства; а руководства искала душа; и — решили: написать в таком тоне «*ему*», что если неспроста была эта встреча, то *он* должен выставить розы в окне дома 76, где он живет; если же наше письмо непонятно, то и пусть «*он*» позабудет его.

Написали, решив письмо бросить в отверстье почтового ящика (в Бельгии каждый подъезд открывает вход в частное помещение: комнаты же квартиры — во всех этажах: столовая, кухня — в первом, приемная — во втором и т. д.; дома — узкие, заключающие одну лишь квартиру).

На другой день, уж к вечеру, возбужденные и охваченные все тем же волнением, вышли на площадь мы, откуда длинилася улица, где жил незнакомец; пред домом № 76 остановились; его осмотрели внимательно: серый старинный дом; именно: в *таком доме* мог жить человек с этим вещим лицом; надо было с письмом торопиться; полез я в карман за письмом: и ай, ай: а *письмо то — забыл*; мы решили: судьба! Что-то нас удержало от дикого очень поступка; прошлись мы по улице; обернулись на дом; увидели: дверь дома — раскрыта; стоит на подъезде почтенный лакей, старичок, бритый, с белыми волосами, с лицом очень умным, усмешливо-вещим, но — добрым; и — смотрит нам в спины; когда обернулись, он принял такой пригласительный вид, будто видом показывал: «Знаю, пожалуйте!» Мы — отвернулися нервно; вернуться и подойти к старичку — означало: перешагнуть пороги смысла; мы быстро пошли — всё вперед, всё вперед; и совсем неожиданно: мы повернули обратно, притягиваемые серым *домом*; опять подошли к нему: двери были закрыты; когда поравнялись со стенами дома и проходили под окнами, то железные жалюзи опустились с решительной быстротою и шумом: кто их опускал? Что то значило? И — опять, по-

вернулися; опять подбиралися к дому (по противоположной теперь стороне); мы заметили: *нового старичка*; с очень-очень внимательным, нас наблюдающим видом, переходил середину он улицы, направляясь от дома к нам; тихо пошел впереди нас, соразмеряя шаги свои с нашими и повертываясь на нас с тем же ласковым и внимательным, пригласительным видом; чтоб проверить свое впечатление, остановилися пред окном магазина; остановился и он пред окном — смежного, продолжая поглядывать, ожидая, что сделаем мы; мы — пошли: он — пошел. Стало жутко и дико опять: нестерпимо совсем; и безумье какое-то нас охватило; мы были на волосок от того, чтобы, все позабыв, подойти к старику; ему бросить вопрос:

— «Вы ведь посланы за нами — от *них*?»

— «Вы нас ждете?»

Остановился проходящий трамвай перед нами как раз; без уговора поняли мы: если не сядем в трамвай, то совершится нелепость и мы подойдем к старичку; без уговора мы прыгнули на площадку трамвая; понесся трамвай, относя от *безумия этого* — к дому.[312]

А дома решили: не опускать нам письма, подождать — продолжения очень странных явлений, происходящих с обоими: сон наяву будет длиться; в этом было упорное знание: продолжение — следует; и мудрей выжидать, не бросаясь в мистический омут, который открылся пред нами; представилось: будет новая *встреча* на представлении «*Гибели богов*», в оперном городском театре — в субботу,[313] через неделю (мы были абонированы на серию вагнеровских опер Вагнера ⟨так!⟩, исполняемых гастролерами из Байрейта[314]).

Здесь должен сказать: получили мы около этого времени от Петровского, из Москвы, извещенье о том, что в такие-то числа мая назначена в Кёльне публичная лекция Штейнера и что если хотим мы послушать его, то ведь Брюссель от Кёльна так близок (всего пять часов); сообщал он и адрес, где можно достать нам билеты на лекцию;[315] мы открытку прочли, отложили, забыли о ней; и о Штейнере вовсе не думали; происходящее с нами вполне поглотило нас; кроме того: именно в дни читаемой Штейнером лекции чествовали в Брюсселе Маттерлинка (в театре): хотелось увидеть его; мы достали билеты. Мы ждали субботы. Порой наплывали на нас те же острые, сладко-томительные переживания *зова*; и так томительно остро менялся весь воздух вокруг; и изменялися восприятия окружающих обыденных предметов; прислушивались; но «*всё*» — возвращалось на место; текла обыденная жизнь; Ася ездила к Дансу; писал «*Петербург*», углубляясь в фабулу его четвертой главы; покупал себе бразилийские марки; встречались — с Дест-

рэ: пили в пять часов чай — там, на крыше огромного шестиэтажного дома, откуда развертывалась панорама покрытого дымкою Брюсселя.

Раз — было дело уж к вечеру — мы посиживали уютно в своих малых комнатках; Ася расположилась за чаем (в удобнейшем кресле); я, стоя пред ней, что-то весело ей говорил: передавал эпизоды из жизни московской; смеялись. Вдруг, слышим: отчетливый стук — в нашу дверь, выходившую прямо на лестницу, убегающую вверх, и вниз — к сдаваемым комнатам; лестницу в этот день перекрасили; и стоял там весь день терпкий запах и скипидара и краски; услышавши стук, машинально я крикнул: «Entrez!»* В два шага был у двери; открыл — никого; удивился; подумал, что кто-то ошибся; но если бы *кто-то*, ошибшись, взбежал вверх по лестнице или сбежал вниз стремительно, то, во-первых: шаги бы за дверью мы слышали; если б не слышали, то, открыв дверь, я не мог бы не слышать шагов, восходящих наверх, иль шагов, спускающихся к выходной двери (меж стуком и появлением моим за дверью не протекло двух секунд); между тем: освещенная лестница, тишая, пустела; но это не главное: главное, непостижимое, было — вот что: как раз у дверного порога услышал я пряные и сладчайшие ароматы цветов, напоминающие смеси запаха лилий и роз; тут же, вспомнивши, что ведь лестница — крашена, что ведь пропахла она скипидаром, я спустился стремительно двумя ступеньками ниже, понюхавши воздух; и — бросился из-под запаха лилий и роз запах терпкого скипидара мне в нос; я — взбежал кверху; и выступил там тот же запах; вернулся к порогу; опять охватили меня ароматы и лилий, и роз. Это все произошло в три-четыре секунды; тогда инстинктивно, желая проверить себя, позвал Асю (что это — галлюцинация обоняния?).

— «Ася, поди сюда!»

Ася — подходит.

— «Стань — здесь».

Стала: вижу, что нюхает; вижу лицо ее — недоуменье сплошное; оно озарилось улыбкою вдруг:

— «Что?»

— «Цветы».

— «Ведь — цветы? Ведь — цветы?»

— «Определенно».

Она, улыбаясь, прибавила:

— «Видишь, какой нам подарок?»

* Войдите! (*фр.*)

Опять выходили на лестницу: нюхать внимательно скипидарные стены; и стены — воняли; и возвратившись, закрыли мы дверь: и всю комнату переполнили запахи лилий и роз.

Мы стояли блаженные; мы улыбалися глупо: «*они*»! Даже мы не могли удивляться; мы знали, что сны наяву продолжаются; одновременно мы сохранили всю трезвость.[316]

— «Ведь стук-то, — сообразил теперь только я, — стук спиритический. Ведь стучали то не в середину двери, а в верх: человек не достал бы рукою до верху! — Да, да!»

Все отличие стуков реальных от спиритических знали мы по феноменам спиритическим в Боголюбах; реальный стук — глуше и как-то плотнее; а спиритический стук, по моим наблюдениям, имеет оттенок какого-то невесомого треска, напоминающего разряд электричества.

Явное дело: стук в дверь — спиритический стук.

Через короткое время стал гаснуть развеянный в комнате запах цветов; он — погас.

Эти факты описываю я так именно, как предносятся мне они в памяти; десятилетие — время не малое; были всякие домыслы за десять лет; и попытки к членораздельному объяснению фактов; но все объяснения развевались в годах; потому-то я их приводить не хочу; факты — те же; в скептическом, в очень мистическом состояньи сознания я стоял перед фактами этими; и различные мне объяснения вставали; я думал в годах очень многое; думал по-разному; думалось: может быть, *двое те* суть действительно *двое из тех*, о которых мне некогда много раз говорила А. Минцлова, будто за нею стоят посвященные в тайное знание; и — посвященные эти за нами следят; потом думалось: может быть, *эти двое* — сомнительные гипнотизеры, внушавшие нам на расстоянии переживания, долженствующие нас отдать в руки их; и какое же счастье, что мы не откликнулись; думалось: это — символы некой судьбы; и еще тоже думалось, — самовнушение это; в последнем же случае любопытно: факт встречи и запах цветов переживали вдвоем мы (а случаи галлюцинации коллективной столь редки в XX столетии); совпадения лиц, нами виденных, с Асиным сном, где явились они до явления на физическом плане, — проверить не мог, разумеется, я, ибо я ведь не мог нырнуть в Асин сон; но правдивостью, трезвою честностью в передаче фактического отличалась особенно А. А. Тургенева.[317]

Может быть, факты эти не так описал я; но пусть же поправит меня пережившая вместе со мною их А. А. Тургенева, объясняющая по-своему, вероятно, их; думаю: если б скрыл навсегда эти факты, то был бы неправ; я и так не рассказывал почти никому о случившемся в Брюссе-

ле, — десять лет; я, признаться, молчал потому, что в эпоху почти фанатического моего отношения к Штейнеру пересказ этих фактов сколь многих заставил бы с сожалением покачать головой; и счесть нас — сумасшедшими в лучшем случае; и шарлатанами — в худшем; и — кроме того: мне казалося, что оглашать эти факты нельзя; но в интимном кругу я рассказывал обо всем, с нами бывшем: Петровскому, Штейнеру, Эллису, К. Н. В.,[318] некоторым другим (не упомню кому).

А теперь через десять уж лет из другого морального тонуса, переменившийся, трезвый и не имеющий никаких «*оккультических*» восприятий, я чувствую, что я должен поставить перед сознанием всех эти факты.

И — да: коллективной галлюцинации не удивились; мы жили приподнято; не удивились бы более странным явлениям; ждали — страннейшего; были очень уверены мы, что в субботу, в театре, произойдет что-то важное.

Вот — в театре. Но — ничего, никого; мы стояли в фойе; Ася, я и Дестрэ, и m-me Вандервельд; с ней меня познакомили; показывали и Вандервельда средь кресел партера; был скучный, простой разговор; ничего, никого.

И вернулись домой очень грустными мы.

А на следующий день, в воскресенье, сидели в набитом людьми ресторане; да, да: не случилося ничего; обманула суббота; стояли пред старою альтернативою: опустить нам письмо, или — ждать; чего ждать? Опустить же письмо неизвестному господину — безумно; исследовали состояния наших душ; и — феномены; сказал Асе:

— «Вот если бы были в России, нашел бы я путь к совету; здесь — и спросить-то ведь не у кого совета: ни у кого нет духовного опыта, нужного нам».

(Знал: в России, в Зосимовой Пустыни — *старец* есть; и есть — в Оптиной Пустыни).[319] Ася меня перебила:

— «Скажи, — веришь честности доктора Штейнера ты?»

Я ответил:

— «Да, верю, я не согласен с учением Штейнера; личность же Штейнера для меня — вне сомнения».

— «А веришь ли, что у него опыт есть?»

— «Безусловно».

Подумавши, Ася сказала:

— «Так вот: совершенно естественно: опускать *неизвестным* письмо — преждевременно: завтра же, в понедельник, объявлена в Кёльне публичная лекция Штейнера; не поехать ли к Штейнеру? Не рассказать ли о всем, с нами бывшем, ему? Не расспросить ли о Минцловой?»

Я сперва удивился; идея такая казалась совсем неожиданной: не пришла бы мне в голову; но, подумав, ответил:

— «А почему бы и нет?»

— «Тогда нечего медлить!»

Мы справились о расписании поездов; и узнав, что единственный поезд на Кёльн идет скоро, мы — бросили суп (черепаховый), расплатились; и — вышли; и дó дому взяли «Cocher»;* дома мы захватили дорожные сумочки, захватили открытку Петровского с обозначением теософского адреса; словом — пришли в себя в поезде, мчащемся к Кёльну; и удивлялися: куда едем? нет у нас в Кёльне знакомых! Ведь явимся к Штейнеру — с улицы? Поздно: что начали, — должно закончить. И — Кёльн. Остановилися — против собора[320] в Hôtel St. Paul, где уже останавливались и прежде; и заходили в собор; и — сидели там молча.

Для храбрости выпив бутылку рейнвейна, отправились утром — по адресу кёльнской «*ложи*»;[321] звонимся: и открывает дверь женщина с очень строгим лицом, с очень ясными синими и пронзительными глазами, с волною волос золотых.

— «Что вам нужно?»

— «Приехал ли доктор Штейнер?»

— «Приехал».

— «Нам нужно его повидать».

— «Занят он».

— «Мы приехали специально из Брюсселя».

— «К доктору приезжают из Нового Света; и — ждут; иногда десять дней; так он занят».

Мы назвали нескольких теософов знакомых (Григорова, Сабашникову, Эллиса, Христофорову).

Дама задумалась:

— «Погодите: сейчас я вернусь».

Мы остались у двери: вернулась она:

— «Приходите сюда — через час: доктор будет читать в помещении ложи; вы — можете быть».

Так попали совсем неожиданно мы на интимную лекцию в ложе без всякого права присутствовать; разрешение дал сам Штейнер.[322] И сразу же: обстановка расположила нас к *встрече* (какой, — мы не знали); в затянутой синей материей комнате были женщины в туниках (розовых, белых, лиловых, сиреневых, черных) с легчайшими стóлами разно-

---

* Извозчик (*фр.*).

образных цветов, с очень бледными лицами, с очень короткими волосами; иные — с крестом на груди; перед кафедрою цвел куст красных роз; обстановка — понравилась; мы — ждали Штейнера.[323]

Вот — входит: очень худой, очень бледный, с прочерченным небольшими морщинками невыразимым и близким каким-то лицом, показавшимся издали нам молодым, как у юноши (в другие минуты казалось оно — тысячелетним каким-то), с чернейшими, жгуче пронизывающими глазами и с очень черными волосами без седины, ниспадавшими легкой тонкою прядью на лоб (эту прядь он отвеивал взмахами головы), в сюртуке с черным бантом, небрежно и пышно повязанным; что-то было во всем его облике легким, казавшимся призрачным; одновременно же: выгравированным из металла; весь веял какою-то свежею силою будущих гармоничных времен, где уже не стареют, не женятся, не умирают; и вместе с тем: он показался таким старомодным, старинным и строго изящным, было что-то веселое, странно-веселое в нем, будто он обвеян ветрами спустившейся Вечности; и оттого: был он ветряный, сдержанно-легконогий, напоминающий воплощенье танцующей философии Ницше;[324] и да простят: было в нем нечто, его выделявшее от других так, как отделяется эльф, принужденный ходить в сюртуке средь людей, — от людей; тут я вспомнил слова свои, живописующие идеал мудреца для меня прежних лет: «*Мудрец — это самый тонкий безумец, счастливый весельчак, сериозный и важный для тех, кто не в состоянии совместить мудрость с легкомыслием*» («Арабески», стр. 229).[325] Вместе с тем: бесконечным страданием мира, каким-то распятием крестным за все и за всех проблистали глаза его, когда он, быстро вскинув пенсне, с легким жестом оглядывал в полуоборот всех сидящих в синеющих сумерках ложи, одновременно склонившися ухом к застенчиво что-то шепчущему старичку и легко отвечая ему на вопросы из одиночества, распятости среди мороков мира; и тут он напомнил мне фразу о мудреце, мной написанную в 1906 году: «*Мудрец обертывается на свою ризу... Он узнает Млечный Путь. И туманности и планетные системы. Все узнает он, созерцая складки ризы своей. Он узнает мировую жизнь планет. Он узнает возникновение народов. Он видит себя самого, брошенного в круговорот бытия*» («Арабески», 155).[326] Если писал я еще в 904 году, что «*искусство перестает удовлетворять*» и что «*ищешь иного руководителя*»,[327] то почти предносился мне этот образ и легкий, и строгий, старинный и новый (какая-то подлинная человеческая разновидность); и если бы я в то время высказывал мысль, мною высказанную впоследствии, то она выражала бы характеристику моего впечатленья от Штейнера: «*Первая с ума сшедшая*

обезьяна есть человек;[328] *первый же человек, с ума сшедший, есть гений; а первый из гениев, дерзостно с ума сшедший, преодолевший в себе гениальность, ее осознавший, есть посвященный*».

Все то пронеслося, как вихрь, не осевши кристаллами мысли во мне в первый миг встречи с Штейнером; помню: как я вперяюсь в него, как я за руку дергаю Асю, а Штейнер бросает на нас понимающий, грустный, сжигающий взгляд, очень быстрый, летучий, и медленно — направляется к кафедре. Появление Штейнера перед нами — решило судьбу, потому что мгновенно поняли оба (позднее — установили мы это), что Штейнер есть *третий* меж *двух*, нами виденных; если они оккультисты (лицо выдавало их), то он — то же самое, только в них повелительность, нас давящая; в нем же — легкость; ответ был получен: пришли мы туда, куда жадно хотели прийти: дом № 76 — отпадал.

То сознали позднее: пока же мы отдавалися обаянию слов, произносимых с возвышения кафедры, из-за роз; тема лекции (я недостаточно понял ее): говорилось о связи меж миром сознанья, меж миром планет и меж миром цветов; в каждом цветке — отображение вихрей вселенной; спирали листов у цветов соответствуют явно спиралям планет, пролетающим с солнцем по космосу и чертящим круги вокруг солнца; так: каждый цветок связан с космосом, связан с планетою (той или этой); его впечатленье на нас, — впечатленье связи стихий с миром мысли, и сам календарь — только ноты симфонии переживания года; и то, как сказал это он, мне рассеяло представленье о сухости, рационализме, которым доселе дышали мне книги его; понял я: книги Штейнера — нотные знаки симфонии; ключ был дан к этим книгам: сам Штейнер.

И мы выходили из ложи совсем вне себя; мы купили билеты теперь на публичную лекцию, озаглавленную: «*Христос и двадцатый век*».[329] Думал я: не случайно, что он читает на тему, которая для меня кардинальна для отношения к «штейнерианству»; доселе казалося: в *христологии* Штейнер мне чужд; может быть, он — оккультный учитель; мне этого мало; мне нужен учитель, стоящий под знаком Христа. Мне последняя лекция показала, что я ошибался; об импульсе безымянном, зиждительном жизни сказал он; в XX столетии импульс этот — импульс Христов; было все, что сказал он, весьма далеко от обычного церковного оформления; понял одно: *Штейнер ведает импульс Христа*; к концу лекции — пали сомнения; знал я, что Штейнер есть *именно то, что мы ищем*; сбылися слова Аси, сказанные во сне: «*Вот ведь, — ищите Штейнера*»; и чего-то искали; и *незнакомцы* являлися символами той дороги, которая приводила нас к Штейнеру; после лекции

к нам подошла очень полная дама (в лиловом), в пенсне на рассеянных, подслеповатых глазах; и сказала нам:

— «Доктор вас просит прийти: завтра в одиннадцать по такому-то адресу».[330]

И мы — явились.

Звонились: никто не откликнулся: дверь была замкнута; вдруг, слышим мы, опускается кто-то по лестнице, сверху; повертываюсь: за спиною стоит Штейнер с вчерашнею дамою, синеокою, златоволосою и румяной. (Она оказалася М. Я. фон Сиверс, секретарем его; после — женой);[331] вчетвером прошли в комнаты; более получаса рассказывал я происшествия наши, начавши от Минцловой (бывшей его ученицей); и Сиверс переводила слова мои; опускаю беседу; упомяну лишь, что, выслушав очень внимательно все, Штейнер мне ничего не ответил; и не ответил с такою решительностью, что переспрашивать не имело и смысла; я понял: молчание, — нежелание говорить на мотивы приезда из Брюсселя, — есть отклоненье от встречи, которую волили мы; он — спросил под конец:

— «Вы свободны в июле?»

Переглянулись: в июле уже возвращались в Россию (без денег); взгляд Аси (ответный) — сказал: «Да, свободны»; ответил:

— «Свободны».

— «Так вот: приезжайте ко мне вы — в июле; в июле я в Мюнхене буду. Там будет досуг поговорить очень тщательно обо всем; в то же время вы можете ознакомиться с нашею жизнью; и ближе увидеть движение наше: согласны?»

— «Мы будем».

— «Так до свидания — в Мюнхене», — очень приветливо он улыбнулся, пожал руки нам.

Так-то стали и мы «штейнерианцами»; идеологически не было тут измены пути; это было созревшим решением, выходом органическим *из событий*, разгадки которым искали.[332]

В тот же день мы вернулися в Брюссель; в тот вечер сидели на чествовании Маттерлинка (в театре); и сам Маттерлинк, о котором когда-то так много мечтал гимназистом, казался мне: грубым, упитанным, примитивным *шоффером* пред Рудольфом Штейнером.[333]

Мы вернулися с решением: дом № 76 — позабыть; проезжая в трамвае по улице дома — мы видели: обитатели дома уехали; окна — закрыты: слепые; дом — хмуро-пустой; показался он нам неприятным.

ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ

Естественно: по возвращению в Брюссель писали мы Эллису, по нашим расчетам вернувшемуся в Берлин, — написали о встрече и разговоре со Штейнером; тотчас же прилетела от Эллиса телеграмма, что он едет в Брюссель; а на другое уж утро — стук-стук: стук решительный в дверь (о, вполне материальный!): «Entrez!» Дверь стремительно отворяется; и — появляется на пороге ее неузнаваемый, бритый и ставший медлительным Эллис: в совсем запыленном своем котелке — без вещей: с малым сверточком: будто не разделяли нас месяцы (ведь семь месяцев мы не видались); и будто бы перервали на миг мы последнюю нашу беседу (семь месяцев ранее); не здороваясь с нами, завел с нами он разговор, иль верней — продолжение разговора, который он вел, очевидно, в дороге: посыпались быстро на нас — поученья, сентенции, сведения, почерпнутые им из слышанных циклов лекций.[334] Пытались его усадить, напоить крепким кофеем с булками; нет, — ах, куда тут! Воссевши средь нас, собирая колечком свои потемневшие и не, как прежде, кровавые губы, откинув назад свою лысую голову, сжавши холодные мертвые пальцы холодными мертвыми пальцами и прижимая к груди их, не глядя на нас, Эллис сыпал цитатами, текстами слышанных лекций и читанных курсов, вполне побивая нас огненными дождями словесными и превращая нам в Мертвое море цветущий ландшафт обыденной действительности.

Эллис всегда вырастал в агитаторской нервной стихии, имея чудеснейший дар: увлекать увлеченьем своим: через три иль четыре часа мы очнулись от фейерверков космической панорамы, раскинутой Эллисом: та панорама — учение о культурах, сознаньях, телах, иерархиях, природных явлениях, пересеченных друг в друге: с экспрессией, свойственной Эллису, изображал он вид древних атлантов; когда же дошел до облика лемурийца, дышавшего полужабрами и подскакивающего при ходьбе, как лягушка, то руки приставил он к шее, изображая талантливо орган дыхания лемурийца и выпятив странно глаза, принялся он подскакивать;[335] это скаканье по комнате только что к нам прилетевшего Эллиса, запыленного после дороги и не желающего даже нас расспросить, почему мы приблизились к Штейнеру, — производило на нас свое действие; в импрессионистическом кинематографе теософских идей было столько пленительной, непосредственной силы, что слушали мы, раскрыв рты, эту мощную космогоническую поэму, в которой провел перед сознанием нашим он «*Тайноведенье*» и «*Теософию*» Штейнера:[336] без

передышки. Словом: обделал он нас «*под орех*»; противоставить ничто не могли мы ему; все, что он говорил, разбивало легенду, которую я составил себе об учении Штейнера, то есть легенду о материалистической мистике, смешанной с рационализмом; и в том и в другом обвиняли мы Штейнера; Эллис провел перед нами учение Штейнера в подлинном, не догматическом, но динамическом его аспекте; и выявил тонусы христианства в учении этом; впоследствии я познакомился с курсами Штейнера; и оценил совершенно блестящую экспозицию антропософии, данной нам Эллисом; предрассудки развеивались: будто бы должен я отказаться от личного «Credo» и потерять мое право свободомыслия, чтобы стать теософом.

Не помню, когда мы очнулися от урагана космических образов; все на столе было скошено: скомкана скатерть; и кофе пролито на стол; ковер — сдвинулся; кресла — расставились (не удивительно: тут, среди комнаты, так-таки и прошлись перед нами: преадамиты, гиперборейцы,[337] атланты и лемурийцы):

— «Нет, понимаешь ли, — схватывал меня за руку Эллис, представивши, как на древней луне испускали животные ревы мы (он — заревел!). — Понимаешь ли, какая гадость! А? Что?»

И на бледном лице его вспыхивала демоническая усмешка, изображающая отношение его к безобразиям древней жизни:

— «Ты понял? Вы поняли, Ася?»

И Ася кивала головкой в кудрях.

— «Поняла».

— «Слушай, Лева, — пытался я перебить его. — Тебе б выспаться; хочешь умыться?»

Поглядывая на пропыленный пиджак свой, дешевый, преветхий (как видно, жилось ему плохо), он тут только вспомнил, что ночь он не спал:

— «Да, нельзя ли почиститься? Нет ли тут где-нибудь щеточки»...

И подумав еще, он прибавил, рассеянно и чуть конфузливо улыбаяся:

— «А скажи, кстати, мне: тут какая же, собственно говоря, циркулирует система монет?»

— «Как какая? Да — франки...»

— «Я, собственно, упустил из внимания это».

— «Но, — как ты приехал?»

— «А очень просто: в Берлине купил я на марки билет».

— «Ну а здесь чем платил?»

— «Да я, собственно говоря, не платил ничего: я приехал; с вокзала же пешком к вам пришел».

— «Но у тебя есть же деньги».

— «Да, собственно говоря, денег нет у меня: марок несколько есть»...

Переглянулись мы с Асей: *таков* он всегда был; делился последними крохами с первым попавшимся; брал, когда нужно, — себе: точно птица небесная! Получивши письмо, что мы были у Штейнера, — понял одно он, что надо стремительно мчаться к нам: нам проповедовать истину; на что ехать, как ехать — последнее дело; с собой притащил он нам несколько курсов лекций, наверное, заплатив за них все, что имел; на последние марки примчался сюда; а на что он вернется и чем будет жить, — не подумал (конечно, снабдили его мы билетом и очень немногим, что нужно ему: он способен был жить на ничто): совершенная птица небесная!

И этого человека в течение года клеймили писаки газетные, будто с корыстною целью вырезывал он в музее страницы из книг!..

— «Ну и всегда ты так, Левушка, путешествуешь за границей?» — спросил я его.

— «Как же иначе: собственно говоря — так всегда», — засмеялся он нервно, задергал плечом (его жест) и схватился за сбритые усики, чтобы дернуть их (тоже привычка); и дернул за воздух.

— «Изъездил Германию; был в Скандинавии, был в Гельсингфорсе, был в Дании; и — приехал вот к вам: безо всякого представления о „*монетных системах*", отелях и прочей вещественной дребедени».

— «На что ж ты живешь?»

Знал: его субсидировал «*Мусагет*», заказав переводы из Вагнера;[338] но «*Мусагет*» платил мало; на эти гроши, знал наверное я, не разъедишься по Европе.

— «На что я живу? — расхохотался он и развел препотешно руками, — умора; и — только: Волошин, Макс, — вот спасибо ему — меня, знаешь, пристроил к слепому еврею: водить по Берлину его».[339]

— «Так ты, стало быть, поводырь?»

— «Да!»

— «Но это же скучно?»

— «Да нет же: слепец мой — ученый хассид, много лет упражнявшийся в медитациях и молитвах; переусердствовал до того он, что эти его упражнения отразились на нервной системе; от этого он и ослеп: интереснейший, право, субъект: с ним не скучно».

— «Нет: это — великолепно!»

— «Мы с ним философствуем, спорим, кричим друг на друга: он все обращает меня в хассидизм; я его побиваю цитатами курсов. Вот только он очень капризен: расспорится где-нибудь в ресторане; и раз-

рывает сношенья со мной; не желает, чтоб я его вел, а уйти сам не может ведь; я его все-таки — за рукав; и веду; он — старается освободить свою руку и заявляет мне, что различие в убеждениях не позволяет ему, чтобы я его вел: а куда ж без меня ему? Трогательно и смешно: впрочем, в общем, мы ладим!!..»

Подумал я: да, — вот картина: невероятный, незрячий чудак, прерассеянно проводящий другого, слепого, под трамваями, автомобилями миллионного города, с риском его подвести под трамвай: оба спорят о Вечности и о том, как верней медитировать.

Этого и в романе не выдумаешь.

Покормили мы Эллиса; спать уложили его; после подняли; поводили по Брюсселю.

Годы, годы кричал он в Москве, потрясая на нас грозно перстом, что «jeune Belgique»[340] — откровение литературы: Верхарн, Роденбах, Маттерлинк и Ван-Лерберг суть гении; есть единственный стиль: стиль готический! Все иное есть дрянь. Вот и думали мы, что, попав наконец в те места, где созрели творения Роденбаха и Лерберга, Эллис выкажет к этим местам интерес; повели мы его в те места, где на площади красовались прекраснейшие перлы готики; мы частенько сюда приходили; и любовалися: оживальными[341] арками, вырезными розетками; думали мы, что же будет теперь с нашим Эллисом при созерцании великолепий? И что же: рассеянно схватываясь за отсутствие уса и опустив низко голову с заблуждавшими зеленоватыми глазками, Эллис не видел вокруг ничего, отдаваяся мысленным ходам:

— «Да посмотрите, Лев Львович, какие розетки», — настойчиво теребила его удивленная Ася, схватив за рукав.

— «Лева, не видишь ты разве: ведь — чистая, старая готика, а не „style flamboyent"»,[342] — теребил за другой рукав Эллиса я.

— «Да, да, да: хорошо, хорошо», — отвечал он рассеянно, мельком взглядывая на розетку и отворачиваясь немедленно к ходу мыслей:

— «А, каковы мерзавцы!»

— «Да кто?»

— «Лемурийцы».

Махнули руками на Эллиса мы: он и готики вовсе не знал; ему готика нравилась — в мыслях о готике; все конкретное — ⟨не⟩ знал он; но — между тем: был при случае он поразительно наблюдателен.

Здесь ни на что не смотрел; ничего не видел. Два дня и две ночи он нам проповедовал боготворимого доктора Штейнера; напроповедовал; и уехал в Берлин: слушать лекции Штейнера; и водить по Берлину ученейшего слепого хассида.

Мы, простившися с Эллисом, принялись за внимательное изучение немецкого языка; и за чтение курсов, которые нам привез Эллис.

И — странно: тот Брюссель, в котором недавно еще пережили столь многое мы, перекрасился как-то: из светлого Брюсселя стал угрожающе мрачным; нам стали встречаться на улице всё какие-то ужасающие уроды; кривились нам рожи; какие-то встречные, нам казалось, на нас демонически ухмыляются; а по ночам нападали кошмары; мы — вскакивали: принимался нас кто-то душить; очень странное чувство закралось нам в души; те рожи и эти кошмары не суть ли симптомы преследования со стороны подозрительных оккультистов; припоминались иные страницы из Стриндберга; то, о чем пишет в «Inferno»[343] он, переживалося в Брюсселе нами, — в том городе, где нам слышался странный, влекущий нас зов: «Приходите, идите — к нам, к нам». А когда к этим к «*нам*» не пошли, но поехали к Штейнеру, то «*они*» вдруг — оскалились; и обстреливали кошмарными снами и обсыпали кошмарными лицами на жарких улицах, мстя очень мелкими гадостями, происходившими с нами. Так я оплотнил бы в естественном символе происходившее.

Кроме того: из Москвы приходили известия, выводившие из терпения нас; снова Метнер почти что привязывался очень странными, точно нарочно выдумываемыми нападками и придирками; в этом жесте сказалася определенная злоба на нас и досада, что вот из Москвы ускользнули, в опеке «*культурного*» Метнера не нуждаяся вовсе; пытался, как мог, передать москвичам о поездке в Германию и о встрече со Штейнером; но в ответ на попытки какую-то правду свою передать — раздавалось глухое, враждебное и недоверчивое молчание; лишь от Метнера притекали все более и более истерические послания на двадцати и более крупных листах; в них мне вменялося, будто бы предал я «*Мусагет*»; и с насмешкой указывалось: от меня-де, автора «*Символизма*», теперь надо зорко оберегать символизм, ибо я — теософ.

Это все — мне казалося: несправедливым и мелким; вернувшись из Кёльна, писал-таки: для «*Трудов и Дней*» я статьи: о символизме, который-де предал;[344] в ту именно пору особенно чувствовал я символистом себя; в идеологии — ничто не менялось; нападки (и *ахи*, и *охи* о том, что погиб-де) напоминали мне мелкие пересуды московских стареющих кумушек с замкнутым кругозором, составивших себе некогда шарж на духовное знание; в кругу прежних друзей начиналося издевательство над конкретнейшими и святейшими устремлениями моими; я знал: ничего не теряю из прежнего; лишь открылось мне новое нечто, меня выводящее в широчайшие кругозоры сознания, но говорили, что

эти-де кругозоры есть гибель меня как художника (эти люди потом восхваляли меня за роман «*Петербург*», а во время писания «*Петербурга*» меня объявляли талант потерявшим, не потрудившися подождать с вынесением приговора до появления «Петербурга»). В Брюсселе я пережил всю горечь разрыва с многими, близкими прежде; поведать о важных событьях во внутренней жизни моей было некому; что-то определило решение: не возвращаться на родину, ставшую в эти дни мне «*осиным гнездом*».

Мы бросались из Брюсселя в Брюгге, в Шарлеруа (к Ж. Дестрэ),[345] наконец: в совершенной усталости я, оставивши Асю у Данса (докончить свой курс), чуть не бросился прямо к д'Альгеймам (в Буа-Ле-Руа, близь Фонтенебло), гостеприимно нас звавшим к себе; вскоре Ася приехала.[346] Здесь до июля я мог успокоиться, отдохнуть: приготовиться к Мюнхену; здесь писал я и пятую главу «*Петербурга*».

РУССКИЕ СИМВОЛИСТЫ

Буа-Ле-Руа — небольшой, приседающий в зелени французский поселочек недалеко от Melin; примыкал он к огромному, полному ядовитых гадюк фонтенбльскому лесу; д'Альгеймы имели здесь собственный особняк, небольшой огородик и сад, отгороженный; Ася, Варвара Сергевна Оленина, М. А. д'Альгейм, я и П. И. д'Альгейм — наше общество.[347] Часто сюда наезжал из Парижа француз по фамилии Питт (где-то, что-то пописывал он), почитатель, знакомый поэта и драматурга Клоделя; с д'Альгеймами сблизился я совершенно по-новому в эти недели; П. И., oncle Pierre (называла так Ася его), деликатно отнесся к тому, что случилось с нами; и — нет: ни насмешек, ни колкостей мы от него не слыхали; он только вздыхал, что суровый избрали мы путь; больше спорил с Варварой Сергевной Олениной; да оно и понятно: она в то время постриглася тайно (и состояла в общении с бенедиктинками); постриг ее обнаружился после кончины. Мы часто сидели в густом сине-сине-зеленом саду, у колодца (французская зелень — не зелень, а — синь); я поглядывал на желтейшие пятна июньского солнца сквозь зелень, на красные маки, на белый капотик Олениной, наклоненной над огородною грядкою; я любовался ей; детскостью, ясностью, очень большой чистотой восхищала меня. Болтушинник мушиного роя метался так сухо туда и сюда. Уходил в библиотеку П. И. д'Альгейма, порой зары-

ваяся в книги; а вечером поднималися разговоры: П. И. все пытался себе уяснить отношение мое к символизму — теперь, когда стал я приверженцем Штейнера. Здесь передумал я многое; прошлое мне возникало; перепроверивал прошлое.

Я понимал, что течение русского символизма пока обозначило остро себя только в трех именах (Сологуб не вполне символист); и отчетливый кризис наметился в этом течении; он заключался не в том, что одно направленье сменялось другим, и не в том, что идейно себя символизм защитить не сумел; этот кризис был внутренней диалектикой углубления представлений о символе.

Символ — скрещение двух линий в одну: *той* и *этой*, где *та* — царство образов Духа, а эта — реальности эмпирической жизни. Пересечение *этого* и *того* — в символизме самом, а не в форме, которую он вылагает; в открытии этом — суть кризиса символизма; предметы обставшего мира и сущности мира духовного — трансцендентны друг другу, за исключением точки, в которой они имманентны друг другу.

И точка — сознанье.

Здесь образ «*предмета*» и действие духа даны — в однорядности; спаиваясь, пересекаются они — здесь, пересекая во всем и нам совершенно раздельные сферы; пересечение — символ.

Чтобы творчество символов не было эфемерно, чтобы не схемы сознания пересекалися, а бытие, надо мир человека считать *двуединым*, влагая, с одной стороны, человека в предметы; с другой стороны, полагая его имманентным к духовному миру... У Штейнера человек спаян с миром предметов, поскольку он в теле; и — разливаем в вещах; нет деления на вещи «*в себе*» и для нас; здесь все вещи — «*для нас*», оставаясь «*вещами в себе*»; и границы познания внешнего мира — нет (критика кантианства). С другой стороны, человек в «Я»-сознании имманентен духовному миру; как дух, наше «Я» сопричастно духовному миру в работе сознания; нет границы меж ним и ноуменом.

В нашем сознании — встреча двух разных миров, меж которыми чувствует человек свой раздав, заставляющий его ширить пределы сознания, где раздава нет вовсе; но наше сознание — точка в возможном: оно — обнимающий точку сознания круг; точка — ширим в малый круг; малый круг — ширим до круга космического сознания, где предметы вне нас, нас давящие (органы, чувственность, вещи), плавимы духовной работой; но внезапное расширенье сознания есть динамит по отношению к оболочкам (предметному миру); оно — взрыв, подобный разрыву снаряда; сознание накопляется непрерывно; коль нет правомерного выхода сознания в мир, или действия одухотворения, то скопив-

шееся электричество духа бьет молнией в оболочки, в тела; пламенем пожара проходит по жизни дух жизни; и подлинная причина катастрофических бед — неумелое влучение огня духа в материю (от незнания духовного мира); катастрофа при опытном расширении сознания превращается в действенное плодотворение духом материи; так внезапная молния духа в нас действует карой, возмездием, потрясеньем основ, революцией; одухотворение — инволюция; революция — бессознательная инволюция; раскрывая нормально свое содержание, революция становится: духом творческой жизни; эволюция — охватывает видоизменения оболочек; и эволюция противопоставлена одинаково и революции, и инволюции.

Символизм — течение революционное: вкладывает он в материю чувства содержание духовного динамита; отдача себя символизму — не в методе формирования предмета в искусство, а в действительном ощущении бомбой себя, или телом, заряженным явной духовностью; символизация есть «*бомбизация*» мира; и стало быть: увеличение возможности взрывов; и творчество символизма здесь переходит на творчество жизни в себе; заряжение бомбы и обхождение с бомбой (с собою) вызывает к духовному знанию.

Символизм, углубленный, осознанный, переходит в трагедию осознания динамитом себя; а трагедия ведет к взрыву, иль к *катарсису*; этот катарсис современности есть духовное знание.

Взрыв становится здесь алхимическим действием, преобразованием, плавлением оболочек от бомбы (тел); становится он образованием такого состава, который бы гармонически ширился во все стороны; здесь трагический дуализм символизма пресуществляем в конкретный *монизм*, нам гласящий: материя есть отрицательное электричество, дух собственно — электричество положительное; оттого-то введение духа в материю (приближение +Э к −Э) и вызывает громовый удар катастрофы — так часто. Течение русского символизма стояло с сознанием, что изменение мира — готовится; многие из символистов не проявили себя как писатели символического течения литературы; стояли под знаком иным (П. Флоренский, С. М. Соловьев); вопрос о конкретном пути углублялся пред нами. И первый по времени символист, Добролюбов, — стал странником, главарем крупной секты;[348] другой символист, Л. Семенов, стремился стоять на «*пути*»;[349] и Флоренский, студент Академии, стал священником; священником стал Соловьев, а А. С. Петровский, Сизов пришли к Штейнеру; да, исканье пути, Лика, Имени, Символа есть лишь стадия углубленного символизма; другой исход — вне «*пути*»: кризис, трагедия и взрыв.

Писатели символической школы, конечно же, исходили не из приема и стиля; прием как внешнее выражение жеста души потрясенной, сознавшей расколотость мира, расколотость мира сознанья и упадание этих миров друг на друга; попытки расслышать гул времени, восхищение красотой молний духа из тучи, бегущей на нас, — вот сознание символистов (Иванова, Блока, меня).

Ф. А. Степун в своей лекции «*Трагедия и современность*»* когда говорит, что проблема трагедии поставлена самой жизнью, — конечно же прав, указуя на то, что в трагической линии литературы российской есть линия Владимира Соловьева, в которой катастрофа предысчислена; и предысчислено искание пути жизни; этой линией он считает Иванова, Блока, меня. На связь чаяний символизма с воззрениями Владимира Соловьева достаточно я указал; о влиянии Соловьева на мир Вячеслава Иванова указывает Иванов:

Затем, что оба Соловьевым
Таинственно мы крещены;
Затем, что обрученьем новым
С Единою обручены.

В. Иванов.[350]

Катастрофизм, буря мира, — отчетливо слышится в вещих фрагментах Иванова; он предвидит в трагедии жизни Ницше и в драмах, написанных Ибсеном, прорези молний из набегающей над человечеством тучи; и — отмечает: Толстой возникает как кризис сознания; Достоевский же — весть о грозе; и — пророчествует: образуются общины бунтарей; в новорожденном народе — гигантская происходит трагедия;** он углубляется в существо той трагедии; и вещает: на западе — кризис индивидуализма; в 1912 году то все было сказано Вячеславом Ивановым.

Было сказано мной в то же время:

«*Чтобы спастись от нового потопа тьмы, Ницше звал нас к геройству; не обороняться от ночи он звал: он звал... наступать на ночь...*» «*Мы должны созидать образ и подобие героя в жизни...*»[352] «*Мы должны строить ковчег нашей души — воспитать героя в себе...*» «*Мы должны... восстать на хаос жизни... и струны лиры*

---

* Лекция, читанная в берлинском Logenhaus 11 декабря 22 года.

** Сюда: сочинения В. Иванова: «Эллинская религия страдающего Бога», «Борозды и межи» (книга статей), «К звездам (книга статей)».[351]

*натянуть на лук тетивой».** Или: «*Драма есть высочайшее напряжение поэтического творчества... Здесь поток творчества не укладывается в воображаемых образах».*[1] «*В драме... осознаются скрытые пружины, руководящие художественным творчеством»...*[2] «*Жизнь станет драматическим творчеством»...*[3] «*Искусство есть временная мера: это — тактический прием в борьбе человечества с роком...»*[4] «*Не должна ли взорваться... и вся наша жизнь, подвластная року...»*[5] «*В драме — маневры грядущего боя с роком...»*[6] «*Драматическая культура и есть культура...»*[7] «*Третья и четвертая часть „Заратустры" — это воистину драма жизни...»* «*Здесь начало взрыва...»*[8] «*Но взрывчатый снаряд разорвется не прежде, чем человечество станет под одним трагическим знаменем»...*[9] «*Фетишизм товарного производства... не рок, а личина рока...»* «*Когда спадут маски с рока, ... человечество пойдет на последний бой...»* «*Ему (Ницше) было чуждо понимание социальной драмы...»*[10] «*Символизм является наиболее сознательной школой искусства, само искусство рассматривает как пути к Свободе...»*[11] «*И Джордж Габриэль Боркман берет палку... и идет бороться с жизнью; Сольнес поднимается на башню; Бранд ведет народ на ледники»*[12] «*Рубек, Сольнес — это только первые бойцы за... освобождение человечества...»*[13] «*Символическая драма не драма, а проповедь... растущей драмы человечества»*[14] «*Это — проповедь роковой развязки» (стр. 37).* «*Не на сцене придет... великая ночь Эноптии. Эта ночь... спускается над человеческой жизнью»* «*Мы... плывем на последнем корабле к роковому бою: наша плоть перерождается. Мы изменимся или умрем... Мерцали молнии... выйдут призраки с песьими головами: это призраки ужаса и вырождения» (41).* «*Человечеству грозит смерть» (43).* «*Великое предельное разложение мира не мечта...» (46).* «*Задача ритма, укрытого в творчестве, оборвать небо, разорвать землю» (48).* «*Проваливается культура... злой дух... нападает на нас» (53); смертная Лета* «*выступает из берегов: она нас потопит, если не услышим мы призывающей песни Орфея» (59).* Это сказано в 1907—1908 годах. Или: «*В его (Лермонтова) судьбе узнаешь всем нам грозящие судьбы. Секира, маска — символ созревающего действа» (132);* «*полоски... тучек пролетают,*

* Арабески. Стр. 15—16. 1/Ibidem, стр. 17. 2/Ibidem, стр. 19. 3/Ibidem. 4/Ibidem, стр. 21. 5/Ibidem, стр. 42. 6/Ibidem, стр. 23. 7/Ibidem. 8/Ibidem. 9/Ibidem, стр. 24. 10/Ibidem. 11/Ibidem, стр. 31. 12/Ibidem, стр. 32. 13/Ibidem, стр. 34. 14/Ibidem, стр. 37 (далее метка страниц по «Арабескам»).[353]

обнажая блеск... доспехов» (141). *«Мы переживаем кризис. Никогда еще основные противоречия человеческого сознания не сталкивались в душе с такой остротой»* (161). *«Противоречия между волей и созерцанием — показатель кризиса нашей культуры»* (170). *«Соединяя пути, начертанные Ницше и Ибсеном, в один путь, мы определяем средства и цели одними минусами... но „минус" на „минус" дает плюс; странный и страшный вывод: должны погибнуть самая культура, современность с ее представлениями о будущем, чтобы это будущее реально осуществилось». «Взорваться со своим веком... — единственное средство не погибнуть»* (174). *«Ибсен разбил футляр на человеке... этот футляр разбит ныне и на нас»* (188). *«Царство отца и царство сына; одно — бессознательная земля... другое... — бесплодное слово... гибель и тут, гибель и там; единственный выход из гибели — восхождение к той ступени... где царства пересекаются... Так реализм и идеализм соединяются... в символизме»* (209). *«Творчество мое — бомба, которую я бросаю; жизнь, вне меня, — бомба, брошенная в меня; удар бомбы о бомбу — брызги осколков»* (216). *«Где цельность жизни»* (219).[354] А вот что мной было сознано в 1903 году: *«Где оно — наше прошлое? Почему земля заколебалась под нами?.. В путь пора»* (221). *«Куда мы летим»* (227). *«Все чувствуют, что слишком близко свершилось вторжение вечности, слишком ничтожны пред нею наши устои, близко пронесся от нас заряд... огня, ничто не предохранит нас от... опасностей»* (228). *«Пропасть разверзается у наших ног»* (231). *«Мы оказываемся стоящими вверх ногами при взгляде туда»* (231). *«Ведь за Ницше обрыв. Ведь это так»* (237). *«Мы подслушиваем в себе смерть»* (242). *«Над новым искусством разлит дух проповеди; проповедуют самые образы; они... рисуют смерть старой жизни»* (247). *«Символическое течение современности... действует на границе двух эпох»* (248); *«Слышен свист холодного урагана»* (265). *«Она (реальность) — дама, хворающая насморком: чихнула и лопнула. А мы-то, державшиеся за нее, — мы-то где? Мы висим в пустоте»* (356); *«Мы превращаемся в странников, тоскливо бредущих в пространстве. Черная, злая тень ложится над лесами, долами, городами и селами»* (362). *«Еще недавно мы стояли на прочном основании... Теперь сама земля стала прозрачна... Нам кажется, что мы идем по воздуху. Страшно...»* (403). *«То, что казалось теневыми складками, оказывается пролетом в Вечность»* (405).[355] В 1904 году я писал: *«Наша жизнь — безумие. Сама наука только найденный ритм безумия: спокойная маска на воспаленном лице... И точно*

сеть висит надо всем, невидимо сплетенная страшным ловчим... Близок ловчий, и немногие слышат его приближение, но давно уже приветственно кличут его вопли призывных гудков... Сорвана маска обманной здравости... Люди превратились в карандаши, которыми чьи-то невидимые руки зачертили арабески» (486). «Кажется, что на черный горизонт жизни выходит что-то большое красное... Но что?» (490). «Средний человек — Иван Иванович — неизменно проваливался. Все Иваны Ивановичи проваливались... Но последнего вывода Андреев не делал: молчал о том, что провал, куда все уносит, действительно существует...» (497).[356]

Я бы мог увеличить количество выдержек из одной моей книги, написанной до 1912 года. В ней указано: *близится катастрофа*; человек — разрывается; человек — начиненная взрывчатым динамитом тяжелая бомба; от первого сотрясения разорвется она; а в Bois-le-Roi я писал о Николае Аполлоновиче Аблеухове, чувствующем, что проглотил бомбу он, что он — бомба; и — стало быть: он — разрывается.[357]

В эту пору уже Блоком было написано: «*Достоевский уже предчувствовал, торопясь закрыться руками в ужасе от того, что можно услышать и увидеть... он слышал быструю поступь и видел липкое и отвратительное серое животное» (12).* «Большое, серое животное вползало в дверь, нюхало, осматривалось... Все окуталось смрадной паутиной» (12). «Утратили понемногу: ...бога... мир... самих себя» (13); «в теле паучихи сидит заживо съеденный ею нормальный человек» (13); «звучит безмерное отчаяние» (15); «будет... смерть, сумасшествие, отчаянье» (15); «что же делать? Что же делать? Нет больше домашнего очага... Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь» (16); «Но и на площади паучиха» (17); «мне часто кажется, что наше общее поприще — давно знакомый мне пустой рынок... где особенно хищно воет вьюга» (17); «смерть зовет... как будто вдали тревожно бьют в барабан» (17); «наша действительность проходит в красном свете» (17); «зажженные со всех концов, мы крутимся в воздухе... застигнутые врасплох» (18); «среди нас появляются бродяги... Можно подумать, что они... обречены на смерть» (18); «идут, ковыляют, тащатся... они обнищали так же, как и великий простор... Это — священное шествие тысячеокой России, которой уже нечего терять» (21); «времени больше нет» (22); «это — бесцельное стремление всадника... заблудившегося среди болот» (22); «кажется, что близок ко-*

* Цитирую из книги статей тома седьмого (издание «Эпохи»).[358]

нец» (23); «она (литература) сметена смерчом» (23); «литература... мировых эпох таит в себе присутствие чего-то страшного... разражающегося смерчом где-то совсем близко, так близко, что кажется, почва уходит из-под ног» (23); «колдун появился уже» (26); «Лермонтов и Гоголь... ведали ... приближение... смерча» (27); «Человек устал, человек разбит, огонь потух, в душе что-то смрадное» (56); «засыпаешь с чувством тяжкой вины — перед кем?.. исторический процесс завершен... от желтой расы ждать нечего, кроме погромов» (57).[359] Все то написано в 1906 году.

В 1908—1909 годах Блок писал: «*То, что стоит неотступно перед чувством и разумом, потребует наконец своего разрешения — волей» (65); «если мы опустим на минуту... занавесы над... действием, уже не будет видно суетни. Будет слышен только гул, с преобладанием одной какой-то все возрастающей ноты... Когда Гоголь опустил занавес над действием своих „Мертвых душ", он услышал возрастающее бормотанье бубенцов — лёт бешеной тройки... Среди суеты... нам надо иногда опускать занавес, прислушиваться... вникать в разрастающиеся звоны набегающей тройки» (66); «Тема моя, если можно так выразиться, музыкальная» (69); «В России растет одно грозное и огромное явление» (78); «непреступима черта, отделяющая интеллигенцию от России» (91); «интеллигенция осуждена... вырождаться в заколдованном круге» (91); «русские писатели любили представлять... Россию как воплощение тишины... тишина сменяется... возрастающим гулом... тот гул, который возрастает так быстро... и есть... „звон" колокольчика тройки... Что если тройка... — летит на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройки, на верную гибель» (92—93); «вокруг... уже господствует тьма» (93); «тьма происходит от того, что над нами повисла грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта» (93); «в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, вызванное... накоплением фактов, часть которых — дело свершившееся, другая часть — дела, имеющиеся свершиться» (95); «в каждом деле своем они чувствуют, что за ними стоит что-то» (95); «как будто современные люди нашли около себя бомбу... одни вскрывают бомбу, пытаясь разрядить снаряд; другие только смотрят, выпучив от страха глаза... третьи притворяются, что ровно ничего не произошло... четвертые спасаются бегством... История... взяла и положила нам на стол настоящую бомбу» (95); «высверлены... трещины между человеком и природой, между отдельными людьми... и в каждом человеке*

разлучены душа и тело, разум и воля» (96); «во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы» (96); мы, по Блоку, *«бабочка, танцующая у пламени» (98); «цвет... культуры пребывает в сне» (99); «вдруг... отклоняется в обсерватории стрелка сейсмографа... через день телеграф приносит известие, что уже не существуют... — 23 города, сотни деревень и сотни тысяч людей...» (99); «если исчезли на земле древние Харибда и Сцилла, то впереди в сердце нашем и в сердце нашей земли — нас ждет еще более страшная Харибда и Сцилла — перед лицом разбушевавшейся стихии приспущен надменный флаг культуры» (100); «уверены ли мы... что отвердела кора над... не подземной, а земной стихией — народной» (100); «Из Этны вырываются столбы... дыма. Сицилия продолжает содрогаться, и не нам усмирить ее дрожь» (101); «люди культуры... — с пеной у рта строят машины, двигают вперед науку... стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь» (102);*[360] Блок приводит письмо христианина: «*Живем, как под тучей, — вот... вот грянет гром» (104);* он приводит письмо сектанта: «*наша масса представляет... застывший поток лавы — нужно пробить верхний слой, чтобы вырвалась... огненная сила» (105);*[361] *«уже при дверях то время, когда неслыханному разрушению подвергнется и искусство» (150).*[362]

Не огромная ли катастрофа встает из цитат; это все было Блоком написано до 1910 года; в 1913 году ощущает он приближение красного террора: «*Испугаемся, что наш бунт... может быть „бессмысленным, беспощадным" (Пушкин)... будет кровь, топор и красный петух. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, более страшной» (122).*[363]

Жалею, что нет под рукой у меня сочинений Иванова; мог бы я и из них привести строй подобных цитат. Ощущением катастрофы заряжено состояние сознания представителей символизма; но ось ощущенья — иная у всех; у Иванова — в центре искусств; в музыкальной стихии, забившей из бессознания, — звучит катастрофа; Иванов отыскивает предохранительный клапан вселенной в организации коллективов, «оркестр»; в изменении быта искусств, в революции творческих замыслов, в расширении сферы творчества. Ось катастрофы проходит, по-моему, прямо сквозь «я» в человеке; так: и кризис личности в психологическом и физиологическом перерождении «я» человека (надтреснуто каждое «я»); создается сдвиг жизни; механизация жизни есть маска органики; выход из кризиса — в творчестве над собою самим, в революции быта сознания. Ось та для Блока — в расщепе на интеллигенцию и народ,

на абстракцию и стихию, на разум и волю. Вперяясь в разлад русской жизни, он видит центр тяжести личной драмы в общественной драме; преображения личного волит и он; но в раздумиях над общественным очищением — центр его мысли.

Отсюда пафос наш при одинаковом отношении к *катастрофе*, вполне предысчисленной, — разен: пафос мой — в пути личном, которому отдаюся как делу общечеловеческому; только очищенное сознание индивидуума есть рычаг, поднимающий бремена; в радиоактивную силу сознания верю я: сознания десяти, двенадцати, пятнадцати *действительно новых людей* могут более сделать, чем тысячи паллиативов общественных. Пафос Блока: стремленье к общественности как к заветному, личному делу, как к долгу пред каждым отдельным сознанием; верит в силу народного взрыва он; личность же (десять, пятнадцать) — что может она? Для чего личный путь? Оттого-то и личная жизнь у него в тот период такая запущенная. И стремление к личному углубленью во мне отдается ему, вероятно, как «*суета от отчаянья*». Мне обратно: в те годы не вовсе понятен общественный пафос его; — слушать шум революции внутри русской стихии; ведь для меня революция только часть революции мировой: революции каждого «я», всех; изменяется «*я*»; не к земле, а к себе приникаю.

И символизм для меня — признак явного начинения порохом оболочек культуры; символист для меня есть бомбист; его бытие — факт существования бомбы, установимый и Блоком: «*Современные люди нашли около себя бомбу*» *(95)*.[364] Вся позиция Блока в то время мне кажется только гляденьем — *на бомбу*; моя же позиция, выражаяся в терминах Блока, — *стремление безболезненно вскрыть эту бомбу в себе*; возникают во мне наряду с лейтмотивом *катастрофы старинного мира* еще *лейтмотивы*: *создания нового мира в себе*.

Например:* «*Искусство окрыляет там, где призыв к творчеству есть... призыв к творчеству жизни*» *(20)*. «*Новое творчество сольется с новою жизнью...*» «*Творчество мертвых форм станет творчеством форм живых*» *(21)*; «*в драме... осознается сокровенный призыв к творчеству как к творчеству жизни*» *(21)*; «*драматург... стоит под знаком творчества новой жизни... озаренный радугой трагического просветления*» *(22)*. «*Возвращение к жизни... упраздняет... драму как форму искусства*» *(23)*; «*момент взрыва будет... жизнь, а не момент драматического действа*» *(23)*; теория символизма — теория творчества, *путь жизни* (31); где символизм превра-

---

* Имея под руками лишь одну книгу статей «Арабески», я все цитаты беру из нее.

щает порывы к свободе *в долг творчества* (31); теория символизма предписывает *«осуществлять этот долг... превращая жизнь в объект творчества» (31); «символизм, являясь наиболее сознательной школой искусства, само искусство рассматривает... как начало... пути к свободе» (31); «поэзия... говорит... „Воспевайте зарю". Символизм превращает веянье зари в... призыв: „Заря зовет — иди к заре"» (32); «стремление к заре она превращает в долг...»; «Стань и ты солнцем» (32); «Художник приподымает здесь свой лавровый венец, но он начинает сверкать лучами пророческой митры» (33); «мы сами те мраморные глыбы, которые мы же должны изваять в скульптурные статуи» (35); «искусство есть искусство жить» (43); «корень искусства — творческая сила личности» (44); «Человечество рождает форму искусства, в которой мир расплавлен в ритме, так что уже нет ни земли, ни неба, а только — мелодия мироздания» (47); «называем мы ритм жизни духом музыки» (47); «в душе художника — новая земля и новое небо»; «смерть повержена в озеро огненное» (48); «из музыкального пафоса души — рождается заря новой мудрости» (55); «песня как упражнение в ритме жизни: вот путь будущего; мы должны пропеть нашу жизнь» (56); «песня, первый день творчества» (56); «песня есть... призыв к творчеству форм живых: призыв к человеку, чтобы он стал художником жизни» (57); «мифология в образе Орфея наделила музыку силой, приводящей в движение косность материи» (58); «когда играл Орфей, плясали камни» (58); «слияние музыки с поэзией возможно только в душе человека»; оно — «способно рождать не художественные произведения, а личности, сильные духом. Эти личности должны стать прообразом будущего священства» (143); «„да будет" — первоначальный акт творчества... Так было. Так будет. Художник — творец вселенной» (152); «жизнь есть личное творчество» (215); «умение жить есть личное творчество» (215); «жить, значит, уметь, знать, мочь» (217); «мочь — это быть героем» (218); «Новое искусство — менее искусство. Оно — знамение, предтеча» (227); «искусство есть ныне... фактор спасения человечества» (245); «художник — проповедник будущего; его проповедь... в выражении внутреннего „я"; это „я" есть стремление и цель к будущему; он сам — роковой символ того, что нас ждет впереди» (246); «Мы разучились летать: мы тяжело мыслим... нет у нас подвигов... легкости, божественной простоты и здоровья нам нужно; тогда мы найдем смелость пропеть нашу жизнь... Нам нужна музыкальная программа жизни, разделенная на песни (подвиги)» (59).*[365]

Моя мысль ищет нового представления о мире искусства; искусство былое — уничтожается слиянием с мистикой в теургию; «*теурги надеются на близость новой благой вести... Под мину подводится контр-мина*» *(237)*; «*Теургия — вот что воздвигает пророков*» *(236)*; «*лестница превращения человеческого духа начертана в образах гениев XIX века; символическое течение последнего времени образами... указывает... что мы превращаемся, вырождаемся от старого к новому*» *(247)*; «*современные искатели... если они художники, то, скорее, не вырождения, а перерождения*» *(247)*; «*гримасы искусства суть муки родов*» *(257)*; все искусство теперешнее — оболочка, «*из нее-то и вылетит феникс жизни*» *(265)*; «*современное искусство обращено к будущему, но это будущее в нас таится; мы подслушиваем в себе трепет нового человека*» *(242)*; «*зная отблески Вечного, мы верим, что истина не покинет нас, что она — с нами. С нами любовь. Любя, победим... С нами покой. И счастье с нами*» *(129)*; «*нужно перодиться*» *(174)*; перерождающиеся «*оказываются точками приложения и пересечения всемирно-исторических сил. Это — окна, из которых дует ветер будущего*» *(118)*.[366]

Перерождение — ощутимо конкретно: «*Не произошел ли взрыв в хорошо известном сосуде, именуемом душой*» *(63)*; «*Ибсеновская драма говорит нам о преображении плоти душой*» *(33)*; «*Апокалипсис человеческой плоти — вот символизм ибсеновской драмы*» *(33)*; «*символическая драма и может изображать одно: перерождение органов восприятия мира и через то перерождение мира. Рок является тут опасностью, грозящей человеческому организму в корчах физиологического изменения его в организм сверхчеловеческий*» *(33)*; «*Нужно, чтобы музыка пролилась в нашу кровь, чтобы кровь стала музыкой: тогда мы поймем, что преображение — в нас и бессмертие — с нами*» *(48)*; перерождающиеся — среди нас: «*Есть существа загадочно-странные. О существовании их не подозревают сонные, потому что для них эти существа такие же люди, как и все... Но они не говорят. Их глаза сквозят... далями*» *(131)*;[367] может быть, это — рыцари и герои? «*Героя, рыцаря еще нет*»; «*Появление Владимира Соловьева знаменательно... Миновала эпоха гениев и великих мыслителей... Являются лица... которым надлежит в будущем соединить жизнь с мистерией*» *(143)*; это те мудрецы, о которых писал: «*Мудрец обертывается на свою ризу... Он узнает Млечный Путь. И туманности. И планетные системы. Все узнает он, созерцая складки ризы своей. Он узнает мировую жизнь планет. Он узнает возникновение народов. Он видит себя самого, брошенного*

в круговорот бытия» (155).[368] Такой *рыцарь, герой, посвященный,* творец своей жизни, пока мы не станем *на путь,* отделен от общения с нами; для нас — эсотерик он, не могущий нам растолковывать *теософские глубины: «Теософские бездны Фауста скрыты»* (226).[369] Это написано в 1903 году; вскрытие глубин — в будущем: «*Когда это будущее станет настоящим, искусство, приготовив человечество к тому, что за ним, должно исчезнуть»* (227); «*искусство перестает удовлетворять»* (133); «*художник не может быть руководителем нашей жизни»* (133); «*Ищешь иного руководителя»* (133), руководителя того, что некогда было искусством, что стало «*путем*» (225) к мудрости этой лазейкой из «*трех измерений*» (228), где «*души... увидят друг друга без... чувств*» (235), ибо это — мистерия: «*человечество подходит к мистерии, которая никогда не снилась древним грекам*» (41); и к греческим мистериям «*подготовлялись, очищались... были стадии посвящения... гиерофант был солнцем, гиерофантида — луной, эпопты — созвездьями*» (41); однако: «*возвращение к прошлому — отказ от этой нашей мистерии*» (41); наша мистерия в том, что уже «*человек перестает быть человеком и даже образ бога к нему не применим*» (78); «*эту страшную тайну нашел он* (*Ницше*) *в себе*» (78); его *вечное* возвращение — непонятое ощущение Второго Пришествия (83): сошествия Духа на нас; «*Ницше пришел к „высшему мистическому сознанию", нарисовавшему ему „образ Нового Человека". В дальнейшем он стал практиком, предложившим... путь к телесному преображению личности; тут соприкоснулся он... с... теософией и с тайной доктриной*» (90). В 1907 году соглашаюсь я с Анни Безант: «*Высшее сознание разовьется сперва,* — говорит Анни Безант, — *а затем уже сформируются телесные органы, необходимые для его проявления*» (90).[370]

Все то было написано и осознано — до конца. Стало быть: я не мог отступить от себя самого; должен был я искать «*пути жизни*»; иль сказанное — болтовня и снобизм; фантазия реального героизма, возникши из недр символизма как следствие осознания, что символизм есть путь жизни, определило попытки созданья морального братства; в 1904 году я писал: «*Искусство перестает удовлетворять... Ищешь иного руководителя*».[371] Или: «*лучшим из нас, тончайшим из нас, пора распроститься с искусством, если верны они раз выбранному пути. Разве не знают они, что уже прошли сквозь арку, называемую искусством*» (35).[372]

Мои поиски — согласование *слова с делом*; слова — принимались; за «дело» — посыпались все *скорпионы*; я-де изменил символизму;

я-де для искусства — погиб навсегда; и я-де — стал идиотом; никто не спросил меня искренно о мотиве сближения с Штейнером; знали: в течение шести лет я высказывал maximum критики против доктрины его; если я изменил отношение к «*доктрине*», то, стало быть, *нечто увидел*, что не было видно в Москве. Но меня ни о чем не спросили; не дали мне слова; и объявили — погибшим для творчества.

Чувствовал все это остро в Бу-Ле-Руа; и д'Альгеймы меня понимали. В чем сила стремленья к *духовной науке* во мне? Было негде искать? В школах «*Иоги*» искать? В *теософии* Безант? Но нет, путь, нарисованный мною в годах, меня вел от *Упанишад* через линию философии *Шопенгауэра*; и об этом писал я впоследствии: «*Упанишады наполнили душу, как чашу, теплом...*»; «*Упанишады, светлейшие тексты в моем бессознании сетью сознания подняли: том Шопенгауэра; я развернул; и — отдался ему... Все сказали бы: Шопенгауэром начертались все мои философские вкусы — о, нет! Шопенгауэр был зеркалом; в нем отразилась Веданта*»;* и далее: «*Гимназистом уже проповедую я гимназисткам... путь упражнения (опыты перемещенья сознания) — социальное дело*».** Недостаточность эстетизма есть альфа сознания моего; означает она, что центр творчества должен воистину быть укреплен, углублен в «*до-искусстве*»; в духовной культуре; искусство лишь ветвь ствола мудрости. К теософии индуизма не мог я примкнуть; намечалось в сознанье событие переживания связи личного с «*Я*» мировым; совершенно конкретно; конкретно мне встала заря, осенившая Блока; заря, о которой писал:

С неименуемою силой
С неизреченных аллилуй
Ко мне, волнуемому Милой,
Мгновенный свеян поцелуй.[375]

Ощущение дымки, нависшей над нами, — стояло; и Апокалипсис говорил мне сильнее всех книг, определяя отчетливо встречу мою с Соловьевым; о ней вспоминаю: «*Почувствовал, что между нами возникает что-то особенное... я знал, что мы встретимся прочно... Но Соловьев скончался. И не сказанное между нами слово стало для меня лозунгом*».*** В 1903 году я свой сдвиг к христианству определил

---

* А. Белый: «Возвращение на родину», стр. 59.[373]
** Idem, стр. 62.[374]
*** «Арабески», стр. 394.[376]

(«Арабески»). «*Ницше и Гартман прошли сквозь Шопенгауэра, в нем соприкоснулись. И разошлись безвозвратно*» (222); *слияние воли и представления у Ницше — в личном начале* (222); у Гартмана — в бессознательном, которое по Соловьеву есть узел меж Человеком и Богом. «*Вопрос о проявлении в личности всеединого духа указывает человечеству путь к богочеловечеству*» (222);[377] «*Сверхчеловек Ницше*» — неузнанный Человек, переживающий в жизни своей *Христов импульс: он, так сказать,* «*богочеловеческий человек*».

Такая позиция отрезывала от теософии Индии: в 1900 году, в 1910, в 1912; я в «*Симфонии*» изобразил, как христианские теософы ответили теософам востока: «*Ваши друзья, индусы, нас не прельщают... Строя храм, вы сравниваете купол, увенчанный крестом, с основанием*».* Но к возможности теософии христианской я относился сочувственно — в 1903 году: «*Призрачность красного цвета — своего рода теософское открытие*» *(120)*; «*понятна теософская двойственность красного*» *(121)*; «*тут начинается сокровенность*» *(234)*; «*задача теургов сложна. Они должны идти там, где остановился Ницше... Вместе с тем они должны считаться с теософским освещением вопросов бытия*» *(237)*; в 1907 году я указывал: Ницше «*соприкоснулся... с современной теософией*» *(90)*.** Устремление к теософии — или ересь тогдашнего символизма, иль *нечто, что кровно с ним связано*. В «*Символизме*» и в «*Арабесках*», написанных и изданных «*Мусагетом*», не менее 1100 страниц, посвященных теории и практике символизма; теория символизма там есть философия; практика — христианская иога; и книги мои считались платформою Символизма; меж тем: в них отчетливо уж предысчислен мой путь: *на духовное знание*. Скажут: так почему же не соединился я с религиозно-церковным движением; в линии православия были мне близки отдельные частности: старчество; и Амвросий, и Серафим — шире, глубже, свободнее в опыте догматической православной оправы, надетой на них; мне сознание исторической церкви являлось сознаньем, приемлющим теологическую подпору; а теология для меня была только дурной метафизикой, негативною дисциплиною; теологический догматизм для меня был «negatio» религиозного опыта собственно, который — внутри человека, в котором божественное имманентно сознанию; стало быть: оно — в «я», не в «трансцензусе» (где-то там, надо мной, в небесах). Вся история христианства казалась «падением» христианства, или тяжелыми ризами, закрывающи-

* «Симфония» (2-я).[378]

** «Арабески».[379]

ми порою прекрасную живопись; вместо лика из риз металлических смотрит копченый и черный провал; я, сближаясь в моментах духовного опыта с деятелями «*Пути*», восставал против догмы; я видел, что догма есть «*рака*» символа; слово отяжелевшее — догмат; в эпоху церковного взятия опыта был с Мережковскими, провозглашавшими новое осознание догмата, но когда мне открылася «*фельетонность*» всего устремления их, я от них отошел.

Волил подлинно: соединения веры и знания, — в то, что ни вера, ни знание, в то, что есть *верное знание*; так придвигалось *духовное знание*.

В Штейнере, столь отчетливо понимающем и Соловьева, и Ницше и полагающем в центре *знания* действие Христа в сердце и в разуме, — в Штейнере мог встретить тот тип мудреца, о котором писал 9 лет до того; впечатление, которое вынес от Штейнера, соответствовало словам, мной написанным: «*Мудрец — это самый тонкий безумец, счастливый весельчак, сериозный и важный для тех, кто не в состоянии совместить мудрость с легкомыслием. Вот он застывает в гиератической позе. Мудрец рассеян. Он мыслит свободно. Его мысль порхает. Это — музыка. Лишь для избранных спадает с мудреца... завеса равнодушия. Выражение жгучего могущества и сверхчеловеческой нежности, как зарница, трепещет на засиявшем лице. И потом вновь это лицо окаменевает*» *(239)*.[380] Таким Штейнер предстал: *окаменелый* же лик его книг я знавал; лик сияющий, нежный увидел я в Кёльне; и он стал — воплощением «*мудрого*»: осуществлением идеала «*учителя*».

Мне оставалось одно: ухом внутренним убедиться, что он о Христе.

Весь мой опыт о встрече сознания с импульсом жизни привел к неизбежности: импульс тот есть Христов, переполнение сердца Христом (вне всех догматов) — «*знанье*»: в том знании символизм воплощался в действительность переживанья начала второго пришествия в «я» человека, где «я» становилось не я, *а Христос во мне*. Есть иные, которые ведают «то», а другие — не ведают; в знании этом был «эсотериком» с 1901 года: с момента переживаний моих, о которых рассказано: «*В том месте, где ощущал свое „я", исчезало оно; в его месте был тонкий пролет неприсущего неба... то, что вставало оттуда во мне, не относилось ни к „я", ни к душе... старина — открывалась. Переживаньями этими разрешались: переживания пылкой любви — к „я", в себе... это-то мягкое-мягкое подступало из красного воздуха: „Жди меня". Кто „Он"?.. Мои жесты в полях, весь их чин не был сходен с церковным... И все же Ему говорил: „Кто бы ни был — иду за Тобой..."*»; «*Переживания летних закатов во мне вызывали:*

чин службы... И от них-то пошли темы более поздних симфоний; они мне пришли от „Него"...» («Записки чудака»: том первый: стр. 53—55).[381] Так: в московской симфонии переживания эти сказались строками: «*Все возвращается... все возвращается... Одно... одно... во всех измерениях... великий мудрец... великий глупец... Все одно... Нет целого и частей... Нет родового и видового... Нет ни действительности, ни символа... Может быть общий и частный Утешитель... Жизнь состоит из прообразов... Один намекает на другой. Все... одно*» (Симфония 2-я, стр. 139—142);[382] и далее: «*И он подхватывал: „Опять, опять возвращается..." И слезы радости брызнули из глаз...*» Эти слова, написанные в 1901 году, были подлинно пережитым; а в 1902 году было подлинно пережито узнание: «*Дни текут. Времена накопляются. Надвигается незакатное, бессрочное. Просится. Пора мне в этот старый мир: пора сдернуть покровы, развить пелены, налететь ветром, засвистать в уши о довременном. Воздушно-мировые объятия распахнулись бестрепетно. Я несу парчевые ризы всех вещей*» («Кубок метелей», стр. 95).[383] В 1903 году я писал: «*Вечное возвращение... — возвращение Вечности. Это — „день великого Полудня", о котором... Павел говорит: „Но когда пришла полнота времен, Бог послал Сына Своего"*» («Арабески»: стр. 235).[384] И писал в 1907 году: «*Ницше первый заговорил о возвратном приближении Вечности — о втором пришествии — кого, чего?*» («Арабески»: стр. 83).[385] Наивные строфы «*Золото в Лазури*» о том же:

Тишину возмутив,
Весть безумно пронес
Золотой перелив,
Что идет к нам Христос.[386]

Иль — строки, написанные в 1901 году:

И снова шум среди аллей
О близости священных дней.[387]

Или:

Опять с несказанным волненьем
Я ждал появленья Христа.[388]

И в 1906 году писано: «*Гряди, жнец, гряди! К тебе, — жнец, — тайна и слово о тебе вихрем благим нам в сердца глаголет. В облаке росном, во струях воздушных, цветогонных, на ниву сойди, и серп*

нам пусти свой — серп пусти нам, нам свой серп. Скажи: „Я — с вами"» («Кубок метелей», стр. 116).[389] Отсветом этого *точного знания* о Его возвращении в сердце уже загорались сознания немногих, в 1903 году: «*Мы не знаем, будет ли наш перевал началом конца или прообразом его. Но в первых снежинках, закружившихся над ними, мы прочли священные обеты. В голосе первой вьюги услышали радостный зов: „Возвращается, опять возвращается"*» («Арабески», стр. 127).[390]

Эзотерика внецерковного христианства — вот то, что искал в «Петербурге»; глухой лейтмотив соприсутствия с нами ведущего нас Христа очень глухо проходит на фоне трагедии Софьи Петровны Лихутиной, Александра Ивановича и Н. А. Аблеухова. Катастрофический момент, гул падения старого мира — растет; но искания *пути*, возвращение когда-то доступного *точного знания* все нарастает; оно гонит нас с Асей по странам; «*Тот Голос во мне подымался в полях. „Он" впоследствии выслал мне Нэлли. Он вел нас в Египет: ко Сфинксу; оттуда — ко Гробу Господню; и этот же голос раздался из голоса Штейнера (в Кёльне, на лекции, озаглавленной на афишах: „Христос и наш век")*» («*Записки чудака*»: *том первый, стр. 57*).[391]

Кёльнская лекция Штейнера — брошенный и последний кристалл в пересыщенный донельзя мой раствор ожидания: встать на *пути*. Кристаллизация волевого решения — совершилась мгновенно: с неотразимою силою; скопляемой в годы зари, в годы полной оставленности, в годы странствия; прозвучали две явственных темы; и — первая: «*Катастрофа близится: все летит стремглав в пропасть; Европа — пред взрывом. И время настало: Исполнились сроки*». И — тема вторая: «*Ничто человечество в будущем не спасет; спасет сила сходящего нового импульса; импульс тот — Импульс Христа, нисходящего сызнова в „я"; так: второе пришествие — близится; укрепившие Импульс Жизни пройдут к новой эре; а не расслышавшие лейтмотива эпохи — падут*».

Подготовленный переживаниями двух последних годов, теоретически предысчисливший ранее путь символизма от мысли о нем к воплощению в жизнь его и охваченный обаянием Штейнера как искомого, конкретного учителя жизни, — перешагнул я решительно Рубикон, отделяющий слово поэта, писателя, теоретика от конкретного деланья: переплавления жизни.

Не понимаю, за что же ругали меня: если бы я поступил по-иному, я был бы «повапленный гроб». Ведь я видел: нет кризиса символизма в объявленном «*кризисе символизма*»; а кризис нас всех в символизме

был явственен с обостреньем осознания, что символизм, в свою очередь, — символ пути; для Иванова скорбь о пути выражалась в метании: в поисках личной жизни (его новый брак),[392] в устремлении к оккультизму, к моральному братству; и искус его — в нежелании плавить себя в обыденности, в мелочах; у меня кризис выразился в присягновении к плавлению этому (искус же мой, мне не видный в то время, — в гордыне посягновения пройти в «*те миры*»); кризис Блока — в сознании, что символизм — это кризис; и в одновременном решительном нежелании искать себе выхода; в переложении личного пути жизни на путь всей России («Коли Россия больна, что же мне быть здоровым?»). Что символизм для него очень явственно символ пути, — он прекрасно доказывает в статье «*О современном состоянии русского символизма*». Например: «*Мы, русские символисты, прошли известную часть пути и стоим перед новыми задачами*».* И далее: «*Мы взошли на палубу корабля*» (Ibidem); он признает ответственность нашу «*в... час великого полудня*», когда «*мы... поднимаем знамя нашей родины*» (182). В чем это знамя? В реальности символизма как внутреннего пути; он расслушивает зов Иванова (быть символистами); и отвечает Иванову: «*Я принадлежу к числу тех, кому известно, какая реальность скрывается за его* (Иванова) *словами*» (182). Блок пытается рассказать: содержание символов символизма есть спрятанный клад, или — тайна: «*Ты — ... обладатель клада; но рядом есть... знающие об этом кладе... Отсюда — мы немногие знающие символисты*» *(183); «Возникает школа. Это... детская новизна новых открытий..; „перемигиваются"; согласные на том, что существует раскол между этим миром и миром иным; идут на борьбу за... иные... миры..; символист уже изначала теург, т. е. обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие; но на эту тайну, которая... оказывается всемирной, он смотрит, как на свою*» (183).[393] Сознание определенного пути здесь отчетливо.

Первый шаг на пути завершается снятием пелены с лика символа мирового как Лика Подруги:

Только Имя одной Лучезарной Подруги
Угадаешь ли ты?

Вл. Соловьев.[394]

«*Здесь возникает... глубокое, знание о цветах*» (184), о которых писал я когда-то статью;** «*Голос говорит: — будь в Египте*» (184);

---

* Том седьмой. Изд. «Эпоха», стр. 181.
** «Священные цвета» (в «Арабесках»).

«Египет» — оставленность и изменение облика, Тайны («в поля отошла без возврата»); «врывается сине-лиловый мировой сумрак» (185); «переживающий... полон многих демонов (иначе называемых «двойниками»)» (182); раздвоенье сознания — следствие «*египетской*» жизни; двойников, многих демонов должен художник связать, покорить (186); воссоздание жизни из мрака А. А. называет добываньем искомого «*при помощи заклинаний*»; искомое же — «*красавица кукла*» (или «Елена Прекрасная»?); «*Жизнь стала искусством, я произвел заклинание, и передо мною возникло... земное чудо*» (187) и т. д.[395]

Блок пересказывает этапы пути своего как пути, а не грезы: «*Символистом можно только родиться» (190); «быть художником — значит выдержать ветер из миров... совершенно не похожих на этот мир» (191)*; и далее совершенно отчетливо: «*По бессчетным кругам... может пройти, не погибнув, только тот, у кого есть спутник, учитель*» (191).[396] Круги — этапы пути.

В миг отчетливого осознания символизма как теургического пути (в 1910 году) — признается он: что в периоде испытания, «*антитезы*», произошло: опустошение душ символистов: «*были „пророками", пожелали стать „поэтами"*» (191).[397] Что что-то подобное произошло, совершенно отчетливо явствует из того, что во время решительного расхождения нашего мы бросали друг другу упреки в подмене пути; я писал: «*Блок изгнал себя из придела*» (в 1907 году),[398] Блоку же показался кощунственным «Кубок метелей».[399] Про каждого из действительных символистов хотел бы сказать он: «*На строгом языке моего учителя Вл. Соловьева это называется так:*

. . . . .
Святыню Муз шумящим балаганом
Он заменил и обманул глупцов.

Да, все это так. Мы вступили в обманные заговоры с услужливыми двойниками; мы силою... превратили мир в балаган» (191).[400] Но не в этом ли обвинял я его в моей страстно-пристрастной рецензии на томик драм?[401] «*Наша „литературная известность", которой грош цена, посетила нас именно тогда, когда мы изменили „Святыне муз"*» (192), — пишет он; «*Мы... преждевременно потребовали чуда» (193); «наш грех... велик» (192); «мы... бежали от подвига*» (194).[402]

Именно: все это я ощущал; и моральная нота искания правды, искание выхода из тенет испытания — все это с 1909 года во мне поднимал лейтмотив, окончательно Блоком осознанный: «*Вывод таков: путь*

к подвигу, которого требует наше служение, есть — прежде всего — ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диета» (195).[403]

Путь ученичества, самоуглубления, духовной диеты и был для меня теперь путь мой на Мюнхен; и первое в этом пути — *послушание* перед поставленной из свободы высокою целью; о послушании этом читал я прежде у... Блока (все в том же докладе, статье: «*Подвиг мужественности должен начаться с послушания*» (194)),[404] послушанием было опять-таки мне изучение, пристальное, основы духовной науки; и взятие бремени первых шагов к переплавлению жизни в себе, т. е. пути *упражнений и медитаций*, который у Штейнера лишь для меня становился конкретным вполне. Я об этом писал: М. К. Морозовой, Метнеру, кажется, Блоку, Рачинскому; мне — не ответили; вместо ответа меня объявили «они» (но не Блок) — сумасшедшим, предателем, гибнущим.

Блок, под словами которого я готов подписаться (под словами, произнесенными им два года назад), еще в 1912 году пребывал в той же всё неуверенности, хотя «*в первой юности нам было дано неложное обетование*» (193); и потому-то мое становленье «*на путь*» было твердым решением «*о... душе... нашей... сказать мужественным... голосом: „Да воскреснет"*». (Слова Блока из той же статьи).[405] Так понимал я переживаемые в нас кризисы русского символизма, согласные с определением их сотоварищами по идее (Ивановым, Блоком); в моем представлении я делал шаг, нужный всем; а они в представленьи моем того времени отклонялись от этого шага; переживал я разлад с современностью русской; и чувствовал, как никогда, символистом себя: но высказывать это я мог только Асе, да Эллису (в письмах); другие же мне не внимали. И я — замолчал: никому не писал; отложилось намерение не вернуться в Россию.

В это время А. А. познакомился в мае с М. И. Терещенко, будущим издателем «*Сирина*»; под влиянием его он принялся за сценарий к балету; сценарий же превращался в последнюю драму А. А., в «*Розу и Крест*».[406] В эпоху моего размышленья о судьбах нас всех (меня, Блока, Иванова) под Парижем, в Буа-Ле-Руа, — А. А. выехал в направлении к Парижу (не знал я того), был в Париже, уехавши приблизительно в те же числа, как мы: он с женой — к океану; мы — к Штейнеру, в Мюнхен (мы — 4 июля, а он — 6-го);[407] его, одного из немногих, хотел бы я видеть: в то именно время; ему бы я мог передать все, что с нами случилось; он был где-то рядом; а я — не узнал о том: подозреваю, что он на письмо мое лишь потому не ответил, что с ним он разъехался;[408] было ему неприятно в Париже; писал он: «*Париж нестерпим*».[409]

У ШТЕЙНЕРА

В начале уже июля были в Мюнхене;[410] Эллису, переехавшему под Мюнхен вместе с семейством фрау Поольман-Мой, написали письмо мы; фрау Мой, урожденная голландка, спиритка, потом — астролог, наконец — теософка, одна из талантливейших штейнеристок, дружила с неукротимейшим Эллисом. Одновременно: мы сделали обязательнейший визит графине Калькрейт, проживавшей с подругою Софией Штинде, на Adalbertstrasse; к ней было поручено нам обратиться; под ней иль над нею (не помню) — жил Штейнер.[411]

Бывшая фрейлина, видевшая у отца своего императоров Александра II, Вильгельма Первого, посещавших его,[412] отдалася она делу Штейнера, помогая движению, помогая отдельным с движением связанным людям; она раздавала последнее; и работала по 18 часов в сутки; потом уже, посетив ее дом, вспомнил я: в этом именно доме я был еще в 1906 году, у А. Р. Минцловой, встретившей меня как-то на улице в Мюнхене;[413] в это время А. Р. была верною ученицею Штейнера, была в центре всех избранных учениц, про которых, смеясь, говорили, что будто бы круг их есть подлинно «*зодиак*» вокруг солнца; «*зодиакальные тетки*» держали себя очень гордо; графиня Калькрейт, А. Р. Минцлова, София Штинде, графиня Мольтке и пр. когда-то сидели в одном «*зодиаке*»; друг с другом дружили; поэтому А. Р. Минцлова и проживала всегда у графини Калькрейт в бытность в Мюнхене.[414]

София Штинде, графиня Калькрейт — незабываемые фигуры в движении Штейнера;[415] обе — старинные ученицы, почти первозванные, самоотверженно работали годы для мюнхенской ложи; графиня Калькрейт, прехудая, предлинная, розоволицая, голубоокая, лет почтенных уже, отличалася добротою, каким-то сияющим видом худого лица; одевалась она — во все *розовое*; София Штинде, остроумная, острая, лет, как кажется, одинаковых с летами Калькрейт, проносила с насмешливым несколько видом свой белый, нерозовый лик; одевалась во все *голубое*; С. Штинде с Калькрейт были вместе всегда; и вращали движением Мюнхенского отделения Общества; в Мюнхене к ним попадали все мы, новички; наблюдали за нами они, оберегали свободу работы Р. Штейнера: от назойливых посетителей. Мы появлялись у них с указанием: доктор просил нас чрез них известить о приезде его; потом выяснилось: оба стража приезд наш скрывали от доктора дней эдак 10 (вполне им сочувствую); первое впечатление от старушек: одна выража-

ла собою все *нежно-розовое*; *голубое* собой выражала вторая; и на собраниях общества, перед лекциями, они игрывали в помещении ложи на двух фисгармониях; во всем розовом — розоволицая графиня Калькрейт помещалась налево; направо же — вся в *голубом*, за фисгармониум тихо садилась приземистая София Штинде; на представленьях «*Мистерий*»,[416] в театре, они отбирали у входа билеты; у правого входа стояла предлинная, прехудая, розоволикая *розовая* графиня Калькрейт; а у левого входа показывалась *голубая* и бледнолицая Штинде; перед поднятием занавеса — то же самое: в первую ложу направо — просовывалась *розовая* Калькрейт; и являлася в первую ложу налево — голубостолая, голубая вся Штинде; пред кафедрой Штейнера рядушком сиживали подруги (та — в голубом, эта — в розовом) — в первом ряду. Неизбежное двуединство цветов сочеталося с двуединством натур этих милых, любвеобильных и благородных старушек; вот первое впечатление Мюнхена: Штинде, Калькрейт; встреча с Эллисом, с Поольман-Мой, поражавшей умом, остроумием, эзотеризмом, соединенным с изяществом, выдержкой, — впечатление второе; приезд же Наташи Тургеневой-Поццо к нам, в Мюнхен, — событие для нас важное;[417] мы подыскивали себе помещенье (против Мюнхенской академии, с пансионом, с прекраснейшим видом на арку, увенчанную конями); и здесь ожидали свидания с Штейнером.

И — состоялось оно; первый мюнхенский месяц мы трое бывали у Штейнера еженедельно.[418]

Не стану описывать этих свиданий: в июле и в августе; лет через десять найду я, быть может, приличную форму: изобразить их; я должен сказать: впечатления были мне горьки, и радостны.

Горьки. Да потрудитесь-ка, будучи автором 13 книг, идеологом символизма, здесь выглядеть: учеником grand nigaud,* у которого нет никаких достижений, идей, и которого функция — догматически вызубрить теософский катехизис; все те новые люди, с которыми приходилось мне сталкиваться, отличались одною чертой: удивительным отсутствием интереса к моральному миру, с которым пришли мы сюда; как-то чувствовалось невольно: они говорили без слов: «Да, учитесь, учитесь, что можете знать вы; вы — сошка, такая же, как и все вокруг Штейнера; может быть, вы и профессор, а может быть, круглый невежа; пред Штейнером все мы невежи; быть может, вы только бездарность, быть может, вы крупный талант; перед Штейнером все мы бездарности...» и т. д. Все начинали учить меня: у человека — 7 тел, 3 души;[419] в челове-

* Великий простофиля (*фр.*).

честве — семь культур; мы же — в пятой.[420] Все сведения по истории, этнографии, биологии, нам сообщаемые, были цитатами из Р. Штейнера. Тут же заметил я: многие теософки, способные разговаривать о всех науках и всех культурах, не ознакомились с литературой вопроса, который, бывало, они разрешали при помощи «Doktor hatte gesagt».* Так, если бы Штейнер о Ньютоне не упомянул бы в том или этом своем сочинении, то для людей характеризуемого типа не существовало бы в истории Ньютона; разговаривали докторально о математике, об искусствах, о химии, о персидских пророках на основании той или иной цитаты, порой только слова, когда-нибудь оброненного Штейнером; соединение сектантства с поразительным отсутствием интересов к чему бы то ни было, кроме Штейнера, характеризовало тот тип теософок, которые был прозваны «*теософскими тетками*»; и характеризовала тот тип удивительная любовь к сплетням (мистическим, оккультическим, просто житейским).

Да, «*тетка*» есть тип: подавлял он количеством; придя в общество, не разглядели б сразу вы действительно замечательных, образованных, углубленных людей (они были — не в малом количестве; и они доминировали морально); но «*тетка*», так сказать, выступала наружу при первом знакомстве с движением Штейнера: она первая к вам подскакивала, начинала учить, агитировать, ставить отметки вам, даже за вами подглядывать; с беззаветным усердием «*тетка*» готова была наставлять вас, расстраивать даже семейную жизнь. Вид этой тетки? Бледна, зелена, некрасива, немолода, худа, часто в очках, часто стриженая, в яркой тунике, в яркой столе, не гармонирующей с цветом туники, с преогромным крестом на груди, с острым носом, с «esprit mal tourné»,** с неблагополучием в сфере пола: та «*тетка*» на новоприбывшего вылезала из всех буквально щелей; шла гурьбою, размахивая руками на вас, подносила вам книжечки Штейнера, истолковывала их наивно, не допуская и мысли, что вы можете лучше понять то, что ей ведомо.

Этот тип теософки, всегда появляяся на авансцене движения пред новичками, годами отпугивал от движения многих искренно и глубоко подходящих; воистину: выдержать «*тетку*» и не сбежать — есть победа над искусом; «*тетка*» — жалкая, балаганная карикатура, повешенная на дверях «*храма познания*»; кто проходил эту дверь, попадал в удивительные ландшафты движения; и встречался с действительно за-

* «Доктор сказал» (*нем.*).
** «умом, направленным на дурное» (*фр.*).

мечательными людьми, сперва заслоненными «*теткой*» (теперь пошла «*тетка*» на убыль: когда-то в периферии движения подавляла количеством эта «*тетка*», царила количеством).

Разумеется, не одну только «*тетку*» мы видели: мы встречались с глубокими, образованными, исключительными натурами (вроде Штинде, Шолль, Поольман-Мой), но лишь Поольман-Мой понимала действительно, кто мы, каков наш подход к теософии, как подавать познавательный материал нам; другие (не говорю я о Штейнере) как-то не видели нас: не за тех принимали; здесь, в теософском движении, было столько бездарных людей, повышающихся, так сказать, в рангах общества многогодовым выпотеванием из себя элементарнейших достижений.

И жест, вас встречавший порою у умных и тонких людей, поражал меня первое время, — надменством и менторством; чувствовался мне порой окрик: «Молчите, сидите, учитесь тому, что подносят вам, — вас не спрашивают!» Хотелось порою взорваться: «Позвольте, — вы сообщаете мне ваши знания таким образом, точно a priori вы заключили, что я — совершенный невежа, осел и дурак: может быть, „*теток*" учат так, — „*доктора*", автора многих книг, много думавшего человека, — не учат так». Приходилось мне видеть немало сериозных, известных и даже великих людей (Соловьева, Толстого, Жореса, Ключевского[421] и т. д.); и никто, никогда не выказывал по отношению ко мне такого начальнического превосходства, как некоторые из истолкователей Штейнера. Раз снисходительно удостоили здесь вопросом меня: «Понимаете ли вы выражение in statu nascendi?» Хотелось воскликнуть в ответ: «А вы понимаете ли, с кем имеете дело?»

Да, «*тетку*» мы встретили как испытанье терпением; думаю даже: я был потрясающе скромен в то время, — недопустимо скромен, непроизвольно обманывая людей, поучавших меня тому именно, чему мог бы учить их я сам; испытание самолюбием порой было остро так, мне показывали десятистепенных немецких писателей и предлагали впадать в телячий восторг оттого, что средь «Unsere Bewegung»* находятся «solche berühmte Menschen».** Хотелось воскликнуть: «Оставьте, в России я сам занимаю естественно положение, несоизмеримое с вашими берюмтостями; извините, — впадать в ваш восторг не могу!» Но — молчал.

Да, тактику Штейнера по отношению к себе — до сих пор не пойму до конца; с затруднением выражаяся по-немецки, не мог совершенно

* «Нашего движения» (*нем.*).
** «Такие знаменитые люди» (*нем.*).

отчетливо высказать то, что меня волновало, ему; а немой в отношении языка — идиот; и таким идиотом себя ощущал я; выдумал способ общения с Штейнером: я рисовал ему мысли-вопросы мои и на эти-то схемы он мне отвечал — часто схемами, отвечал вполне ясно, конкретно; и — тем не менее: мне казалося: не *за того* принимают меня; возразить же не мог: я поставил себе послушание в метод; усилием воли заставил в себе замолчать очень много вопросов; и голова моя становилася «tabula rasa»* порою; я снял мою голову с плеч, сохранив за собою моральное право: надеть мою голову. Я, Андрей Белый, привыкший влиять, платформировать, становился вдруг «Dieser liebe naiwe Bugaeff»** с образованием четырех первых классов гимназии; для самолюбия человека, всю жизнь провращавшегося в утонченнейших литературных и философских кругах, — согласитесь: переносить было трудно свое новое положение — идиота, тем более что за этот идиотизм от меня отвернулись столь многие: в Москве, в Петербурге. Повис в безвоздушном пространстве я; внутренно — исполнялось задание: превратить себя в tabula rasa, перепроверить себя: может быть, 2×2 не «4», а — «5»? Я во всем, что я знал, должен был усумниться, чтобы критически выстроить здание независимой своей мысли; и я — усумнился; я всякую небылицу порою учился встречать предположеньем (сознательным): ну, допустим, что — так это; если ж не так, — от противного парадокс отпадет.

Так я силился конкретизировать лозунг теории знания Штейнера, что в начале теоретико-познавательного изыскания предпосылки познания должны быть отвергнуты; я отверг предпосылки познания, данного мне; к новому ж, к твердому, к точному знанию я не пришел еще; было мучительно видеть, что скромность моя, вытекающая из решимости усумниться — решимости, на которую не у всех хватит сил, — в восприятии большинства теософских знакомых моих походила на примитивную простоту «grand nigaud», иль Иванушки, тридцатилетнего русского дурачка.

Переносить это было так горько, — казалось порой: незаслуженно горько!

Отрадою было мне: в тихенькой комнате по вечерам углубляться в огромные циклы, рисующие полеты, перед которыми меркли и мистики и теологи всех времен и народов; меня восхищала конкретность духовного знания, где глубокие мысли об иерархиях и тайнах культуры ес-

---

* *Букв.*: чистая доска (*лат.*) — т. е. пустое место.

** «Этот милый наивный Бугаев» (*нем.*).

тественно отражались в мельчайших движениях жизни обычной, в предметах обставших; и было мне ясно, что сферы планет и сознания высших существ — не над нами, не там, в трансцендентном, а здесь: в пульсе крови, в количестве угольной кислоты, растворимой в крови, — всплески ангельских крылий и демонских крылий; действительность, нас обстающая, есть — не прочитанный свиток духовного мира; а расстояние наше от этого мира есть расстояние животного, не умеющего увидеть на плоскости — перспективу, пространство; ведь для животного изображенная пирамида на плоскости — пересечение линий; и — только; умение пирамиду увидеть есть для него оккультизм, одолеваемый упражнением; в координации линий, выдавливающий пространство: из плоскости.

А духовное знание есть продолжение той же способности — координировать: три измеренья в четыре; четыре, пять — в шесть; мы создаем на картине рельеф — только мы: так мы строим действительность перспективы; так точно: вхожденье в мир духа — уменье правильно перестроить душевную перспективу из линий; и далее: строить из сложенной перспективы душевной — духовный рельеф; мир в физическом опыте — сплющен до линии; линия же физического предмета есть линия плоскости мира душевного; плоскость души — одна плоскость духовного тела; так: линии нервов и жил — грань души; души — грань пространства духовного; так что ангелы и архангелы — здесь; и в конкретнейших мелочах ежедневного обихода звучат: звуки космосов, пенье архангелов. От вопроса о том, как построить сегодняшний день, судьбы мира меняются.

Точка зрения эта была мне близка; но я видел, что это — не есть «*точка*», а «*линия*» взгляда; ах, столько я слышал «*словес*» о мистическом опыте; действительный опыт в «*словесах*» был — ничто; если б мы ограничились рассуждением о вообще электричестве, газе, материи, не были бы построены нам мосты; не горело бы в городах электричество; философски бы мы не построили формулы расширения газа; в применении к практике жизни перестроение опыта мне давала метода Р. Штейнера: рассуждение о вообще электричестве превращало в конкретную формулу скорости распространения тока и силы его; спрашивал некогда: как поступить мне сегодня (в такой-то вот день) по такому-то поводу, то-то, конкретизировав обычную формулу поведения коэффициентами расширенья сознания в Дух и приняв во внимание, что в духовной действительности социальное положенье граждан ее — таково-то; мне духовное знание разрешало проблему; и то, что в науке ответствует лаборатории (без нее невозможна наука), встречало меня в указаниях

Штейнера, разрешавшего, как естественно приступать к шести правилам упражнений, указанным в книге его «Wie erlangt man».[422] Да, вечером, утром я предавался вниманию к мысли; учился контролю сознания по указаниям Штейнера, принимавшего первое время не менее раза в неделю; он расспрашивал о движениях наших; я чувствовал восхищение — разрешил я Колумбов вопрос об «*яйце*»:[423] как начать мне задачу переплавленья сознания, перерождения органов восприятия жизни в слагаемые органы восприятья душевно-духовного мира; что в этом есть подлинное достижение жизни, — я знал: ибо прежде еще я писал: «*Символическая драма может изображать одно: перерождение органов восприятия жизни*»;[424] в систематической медитации — гравировальный резец, незаметно штрихующий наше астральное тело; во вздрогах его — штрихованье эфирного; а в штриховке последнего — физиологические перерождения восприятий; в работе, загаданной Штейнером, я замечал, что — покрыт, точно зверь, безволосый недавно, вокруг прорастающей шерстью узнаний, меня потрясающих; я ходил потрясенный, взволнованный от огромности узнанного, к которому еще слова не было; были лишь знаки без слов; Штейнер четко давал разъяснения знаками схем своих — на сложнейшие знаки вопросов моих; и я был терпеливый работник, слагавший массивы для моста чрез реку; а Штейнер мне был — инженером, дававшим отчетливые вычисления: мост на тот берег — медитативная работа сознания; берег — мир духа: координация линий плоскости в определенный рельеф, слагавшийся мне в *первый раз*; нет, подумайте: годы ведали вы, что картина садов за окном — лишь обои; деревья под ветром — заколебались; картины садов неподвижных — лишь миг в мире сада; а миг тот — моя миновавшая жизнь; но сад тронулся — ветром: и узоры «*обойных орнаментов*», побежавшие вдруг перед носом, — стихийные существа четырех измерений; а ветер, качнувший их, — ветер усилия воли: к сознанию, координация линий в фигуры эфирного тела; теперь стало ясно, что то, что стоит перед вами как «*здесь*» лишь линейная грань многогранного тела, выдавливаемого в пространство за стекла — «туда»; наоборот: отвлеченные мысли о «*там*», «*по ту сторону*», — с потрясающим реализмом вдавимы сюда, как кипение жизни душевных существ вашей кровью, как вздроги гроз «*тамошней*» жизни тончайшими окончаньями здешних нервов; вы чувствовали бы себя точно вывернутыми наизнанку, иль ставшими пятками в небо и головой — в земной шарик. Говорили доселе вы: «я хожу на руках: я — паяц». А теперь вы впервые узнали: стояние «кверх ногами» есть правильная ориентация; «*бездна*» разверзлась под ногами, да, да: символисты гласили о *бездне*; теперь ощутил

эту *бездну* во всем потрясающем я реализме; тут Штейнер меня понимал; он давал указания, как справляться с пугающим прорастанием тела — в зательное; да, кто в плоскости, в семи скрещенных линиях не увидят рисуемой пирамиды — меня не поймут, а раз увидевши контур рельефа на плоскости, уже не сможешь не видеть отчетливой пирамиды средь линий; и я увидал в переживаниях своих, в переживаниях А. А. Блока, — фигуру вмешательства *мира иного*; и — да: Блоку все-таки я не мог бы сказать ничего; я давился от криков, которыми мне хотелось поведать друзьям о громадности новых узнаний, меня обраставших; но — знал: голос мой будет голосом, точно под колоколом, из которого выкачан воздух; не голосом — будет отсутствием голоса он, или путаницею неразборчивых линий, лишь мне явно сложенной в пирамиду; и потрясался я страхом и чувством, что я прорастаю и урастаю — куда-то, отчетливо укорачиваясь в проявлениях «здесь»; великая драма без фабулы: драма перед вратами мистерии, о которой я сам еще прежде писал: «*Мы оказываемся стоящими кверх ногами при взгляде туда*» («Арабески», стр. 231); «*пропасть развертывается у наших ног*» (Ibidem, 231); «*ничто не предохранит... от... опасностей*» (228);[425] «опасности» — перерожденье сознания, очищающегося от былых предрассудков; «опасности» — возможности срывов, бросающих в «*вырождение*»; «*выйдут призраки с песьими головами... призраки ужаса*» (41);[426] «*нужно переродиться*» (174);[427] а это значит: переместиться; и выпрыгнуть из себя самого; или выдернуться, как из перчаток, из органов осязания, зрения, слуха, — в неслышно-безвидную неосязаемость, чтобы *оттуда сюда* развить новое зренье; об этом *скачке* с потрясающим реализмом заговорил скоро Штейнер на мюнхенском курсе, суммируя формой новые пережития мои; да, великое утешение и великая скорбь мне скрестились; мое утешение — реализм всех узнаний: под руководством учителя; горечь — давящее одиночество косноязычия; все узнанья мои в тот период — обратно пропорциональны способности выражаться; я, внутренне расширяяся, внешне ссыхался до точки... идиотизма; и чувствовал: «*человек перестает быть человеком*» («Арабески», 78): «*подходит к мистерии, которая никогда не снилась древним грекам*» (41).[428]

В ту пору готовились к постановке «*мистерий*», написанных Штейнером; по ночам он дописывал третью мистерию;[429] днями присутствовал на нескольких репетициях, очень подробно уча, как играть, и входя во все мелочи постановок — вплоть до деталей костюмов; в свободные промежутки он принимал отовсюду съезжавшихся теософов, следил за новинками книжного рынка, писал свои книги, готовился к курсу; мое

удивленье пред ним, человеком, нервы которого есть сталь, — вырастало; и род священного трепета я испытал; так я выглядел перед ним совершенно растерянным; мы бывали на лекциях; помнятся: лекции Юли, теперешнего председателя антропософского общества;[430] видывал д-ра Пайперса, отыскивающего новые методы лечения светом; но не был знаком с ним; к нам хаживал теософ, поляк Рихтер — художник; мы ездили каждый день к фрейляйн Шолль, очень умной, начитанной, нам любезно дававшей уроки немецкого, — сводившиеся к интереснейшим разговорам о Гётевой теории света, об иерархиях; еще приходила к нам фрейляйн Ганна: переводить мистерии;[431] часто виделися с (приезжавшими из-под Мюнхена) Эллисом, Поольман-Мой; Эллис нам читал курс;[432] в нем прекрасно слагалась картина учения Штейнера; а Поольман-Мой — растолковывала иные из новых переживаний сознания;[433] так вводились в круг знания курсов, прочитанных прежде, чтоб понимать предстоящие лекции; день был наполнен; казалося снова — студент; утром, вечером — практика (медитаций); днем — чтение курсов, приготовленье отчета, сдаваемого нами Штейнеру, иль разговор с Поольман-Мой, или с Рихтером, лекция Эллиса; вечером — занятия с Шолль, с фрейляйн Ганна; сидели весь день за работой; и — будто не было Мюнхена.

С августа начался уже съезд: из Норвегии, Швеции, из Германии, из Швейцарии, Австрии, Польши, России (приехало более тысячи человек), появились: Викентьев, Сизова,[434] Н. П. Киселев и Петровский; мы виделись как-то рассеянно; новые наши знакомства оттягивали от общения с москвичами; приехала М. В. Сабашникова, вернулся Трапезников, проживающий в Мюнхене; и пришло время курса.[435]

Не стану описывать курса и постановку мистерий; скажу: впечатление было огромно; огромным казался нам Штейнер; мистерии длились три дня (с 10 утра до 5—6 дня); каждый вечер ходили на лекции: Унгера,[436] Бауэра, Юли; потом длился курс; днем — завязывались знакомства и встречи с наехавшими теософами.

Вот окончился съезд; все мы падали с ног от усталости; в промежутках меж лекциями Штейнер принял не менее трехсот человек; и был ряд заседаний, в которых взволнованно обсуждалося расхождение с Безант, по вопросу об ордене, ордене «Восточной Звезды», против которого гремел Штейнер.[437] Не утомился лишь он. Собирался из Мюнхена — в Базель: читал курс «Евангелие от Марка».[438] За ним и мы ехали; но сперва проводили Наташу — в Россию,[439] простилися с москвичами и — тронулись: дней за десять до курса, чтобы побыть

в одиночестве; и — разобраться в потоке разнообразнейших ощущений, нас разрывавших буквально; два месяца, прожитых в Мюнхене, показались годами, отрезавшими навсегда от прошедшего: все интересы Москвы были где-то — на Марсе; и даже: казалися заслоненными дымкою — впечатления Брюсселя.

Отделял же — действительный сдвиг; первоначальные прорези *опыта*. Да, какую-то перешел я черту, разделявшую жизнь на две части: до мая 1912 года; и — после.

Черта остается доселе.

БАЗЕЛЬ — ФИЦНАУ — ШТУТТГАРТ — БЕРЛИН

Мне первые дни пребывания в Базеле тягостны;[440] хлынули неприятные письма (Москва угощала): пришлось перервать отношения с Метнером;[441] вставал материальный вопрос: на что жить?[442] Ощущалась покинутость.

Базель — старинный, прелестнейший, веял особой тоской, от которой впоследствии так я страдал; мы бродили по маленьким крутеньким уличкам; стаивали на берегу быстро струи катящего Рейна; кормили здесь чаек; однажды мы получаем известие: от Вячеслава Иванова; и узнаем: во французской Швейцарии он; слышал — стал теософом я; и хотел бы увидеть; писал, что приехал бы нас навестить: стало радостно; звали его; дня через три он приехал; остановился в отеле, где жили мы; с ним провели два-три дня.[443] Пересказывал я Иванову многое из пережитий последнего времени; первый из не теософов — отнесся внимательно он к моему обращению в штейнерианство; другие ко мне отнеслись невнимательно.[444]

Он понимал весь размах дела Штейнера; он понимал, что пришли не случайно к нему мы. Но будучи убежденнейшим символистом, поставил вопрос мне: как быть с символизмом? Мое подхождение к Штейнеру не меняет ли *трио*, которое возглавляло течение символизма, в дуэт? Я доказывал, что ничего не бросал из былого; и с книгами прежними своими согласен; подчеркивал связь символизма с конкретною практикой; практика эта теперь для меня — медитации, контемплации;[445] и как подлинный символист — В. Иванов со мной согласился; ведь сам он стремился к оккультному: в пору общения с Минцловой, о которой мы с ним говорили теперь (что ее следов не было); и — говорили

о Блоке; старался ему показать, сколько в Блоке естественного, стихийного знания; подступов к *знанию* (без осознания). Поговорили о том, как же быть с «*Мусагетом*»; и горько я жаловался на поведение Метнера; говорили, что не я отхожу от издательства, близкого мне; от меня ускользает издательство, систематически оскорбляя меня; В. Иванов тревожился, что формально порву с «*Мусагетом*»; он мне говорил, что тогда «*Мусагету*» — конец, ибо я — «*Мусагет*»; отвечал: это — фикция; это так думают; Метнер стесняет меня, развернуться нельзя мне; просил я вмешательства Иванова в судьбы издательства; он — дал согласие.

Дни пребыванья Иванова в Базеле напоминали военный совет; наша комната мне казалась штабом, в котором подробнейшим образом обсуждались возможные судьбы для символизма в России; а в прочее время — гуляли по Базелю; и провели в кабачке один вечер. Иванову очень хотелося познакомиться с Штейнером; и получить разрешение прослушать цикл лекций; я знал адрес Штейнера: на станции Ботниге-Мюле (под Базелем).[446] В. Иванов решил завезти свою карточку Штейнеру. Мы с ним поехали: были на Ботниге-Мюле; но Штейнер еще не приехал. Прощаясь, Иванов просил разрешенье от Штейнера: получать цикл лекций, печатаемый лишь для членов (впоследствии Штейнер не дал разрешенья, сказав: «Я не думаю, чтоб господину Иванову были полезны теперь мои курсы»).[447]

Едва проводили Иванова, как мы стали повсюду встречать теософов; то близился съезд; появился и Эллис, и фрау Поольман-Мой; мы встречались ежедневно; мы много бродили по городу с Эллисом; и — подводили итоги: былым годам жизни; припоминали и встречу — у Соловьевых, в 1901 году, и мои воскресенья, и среды у Астрова; Эллис, как я, символист, стал теперь, как я, теософом; гадали о будущем; и удивлялись поведению Метнера.

Эллис же, бритый, напоминал католического монаха; ходил в очень странной хламиде чернейшего цвета, до ужаса обрамляющей мертвенный цвет неживого лица его; он ходил иль закинувши голову, иль ее свесив на грудь, на груди зажимая холодные пальцы холодными пальцами. И все прохожие останавливались невольно, шушукаясь, оборачивались на Эллиса; не впадал в прежний стиль он: и нет — не вертелся, как прежде, не пародировал; он старался себя заморозить; с какою-то утрированною медлительностью поворачивал голову, напоминая смертельно больного, который от быстрого жеста (движенья руки или корпуса) может скончаться; я видел, что это теперь его новая роль (он всегда был актером с собою); и он говорил, что для прежнего стал мертвецом: жить годами, — не мочь агитировать, проповедовать и устраивать курсов —

то ужас для Эллиса; между тем: признавался теперь: Штейнер-де ему строго сказал: «Да, доктор Эллис, должно воздержаться вам в воплощении этом от всякой общественности: уж вы лучше притихните». Он и старался притихнуть; отсюда-то: форсированная медлительность жестов; и — стиснутость пальцев; все клокотало в нем; клокотало такое безумное поклонение Штейнеру, что мне делалось страшно; я знал: все такие же поклонения в Эллисе после обертывались проклятиями по адресу тех, кому он поклонялся. Пугала ненависть, которую обнаруживал Эллис по отношению к очень многим из лиц, окружающих Штейнера. Штейнер казался неукротимому Эллису в это время каким-то Христом, окруженным Иудами; уровень общества он считал невозможным; мы видели с Асей, что, может быть, это и так, но не нам, новичкам, отдаваться той критике, на которую по существу не имели мы права; ведь в судьбах движенья, насчитывающего тысячи членов, конечно же, средний уровень должен был быть относительно низок; значенье движения — в единицах; и «единицы» в движении — были; и стало быть: не по глупейшим наивнейшим и несноснейшим «*теткам*» судить о движении; зная Эллиса, я боялся, что он вознамерится около Штейнера предпринять фантастический свой крестовый поход, какой он раз предпринял из «*Весов*», защищая позицию Брюсова; очень мне помнились крайности нашей весовской полемики, расколовшей течение русского символизма; так ряд возмутительных фактов, рассказанных Эллисом мне и касающихся теософок, в моем представлении относился, скорее, к пылавшей фантазии Эллиса, к ревности Эллиса по отношенью ко всякому (кроме нас с Поольман-Мой) из подходящих движению Штейнера. Но меня удивляло одно: как такая глубокая оккультистка, как Поольман, не видела гнева Эллиса; руководимая счетами с главарями движения, на которых она обижалась, она бессознательно разжигала пылавшие страсти в моем бедном друге. Я видел тенденцию Эллиса: объявить наш кружок — кружком избранных. Все это не нравилось, очень не нравилось мне; я старался умерить гнев Эллиса; он — утомлял; вместе с тем: был один он мне близок здесь: прочие относились ко мне внешним образом; был — новичок, «ученик», герр Бугаев, окончивший разве что прогимназию: существо состояния моего было явно для всех непонятно, теперь редко виделся с Штейнером; стало быть: все влекло меня — к Эллису.

Курс открылся — блистательно; съехалось до шестисот членов Общества; среди русских тут были: К. Н. Васильева,[448] Ильина, и Трапезников, и Сабашникова, Недович, Странден, Костычева; в курсе, читанном в Мюнхене, Штейнер касался проблем тренировки сознания и медитации; лейтмотив лекций в Базеле — Евангелие от Марка: на фоне

истории; грандиознейшие картины культур проходили пред взорами; десять дней жил лишь тем, что пред взорами ставил нам Штейнер; концепция Евангелия от Марка — открылась впервые; ряд текстов звучал — по-иному, по-новому; в промежутке меж лекциями Штейнер принял опять до двухсот с лишним лиц (между прочим и нас).[449]

И уже вот отгремел Базель нам; и — опять: утомленье сказалось. В тумане мелькнули супруги Дестрэ, возвращавшиеся из Италии — в Брюссель. Мне помнится: Жюль Дестрэ очень много расспрашивал Асю о Штейнере.

Мы решили поехать на месяц к горам: в Фицнау, ютящемся на берегу Фирвальдштедского озера,[450] чтобы оттуда вернуться под Штуттгарт, куда переехал и Эллис, и Поольман; а в конце ноября должны были мы ехать на серию лекций, предполагавшихся в Мюнхене.[451]

Стлался туманом октябрь. Фирвальдштедское озеро было свинцовое; были свинцовы черно-серые тучи над ним; проживали мы в комнате, окнами выходившей на озеро, — с малой терраской, висевшей под ливнями: прямо над водами; верх гребенчатый причудливых гор был как срезан — прехмурою мглою; и было так строго и тихо; и время наполнилось снова духовной работой. Мы много успели. Бывало: сижу за столом; за другим столом — Ася: кругом — веера из листов перечерченной схемами белой бумаги (отчеты для Штейнера); как-то особенно мне в эти дни говорил «*Заратустра*». Писал я статью «Круговое движение»;[452] и переписывался с Москвою (нерадостно). Кроме курсов и книжечек Штейнера мы ничего не читали; и — отдавалися медитациям (вечером, утром, средь дня); и продумывали получаемый в медитациях опыт; Фицнау было — кельей, значительно углубляющей отношение к науке, теперь ставшей жизнью; подстегиваемые насмешками из Москвы, мы, быть может, форсировали отношение к упражнениям.

Да, и — конкретно переживали переплавленье способностей; лозунг мой старого времени («человек должен стать своей собственной творимою формою»)[453] стал мне конкретен, себя ощущал потрясаемый электрической силой познания, проницавшего — кровь, дыхание, мускулы; и — изменялися ритмы дыхания, ритмы пульсации; все обычные мысли — не производят на мыслящего впечатления электрических токов; а медиацией укрепленные мысли — слагали в мозгу впечатление действенной силы, скопляемой шаровидною пустотой; в месте мозга — не ощущал мозга я: били пульсы себя изживающих, плоть проницающих мыслей, голова мне казалась лейденской банкой,[454] откуда мне в сердце и в руки влучалися молнии; чувствовал сердце: оно получало удар электрической силы (от головы); распухало оно, точно шар; надувалось;

и — выдувалось из тела, которое ощущал я теперь точно в сфере раздутого сердца, переживаемого, как... эфирное колесо сил, вращаемых световыми лучами — в безмерность; два центра вращения оживало во мне; один центр возникал меж бровей; ось вращенья другого я чувствовал — посередине груди; понимал: это — лотосы (двухлепестковый, которого центр — голова, и двенадцатилепестковый, которого центр — наше сердце), иль органы восприятия астрального мира; в те миги все косности тела стремительно плавились; не было тяжести тела: представьте себе, что утратили вы впечатление инерции, иль равновесия сил, и ощущаете тело вы линиями силовыми, раскручиваемыми в бесконечность: из центра сердца; неравновесие силовых, клокотавших фонтанов пугало меня; и пространственный очерк мой превращался мне в косточку огромного и сочного плода, мучительно вызревающего из вселенной; так я ощущал себя вовсе вне кожи: сплошным мировым великаном, которого голова упирается в купол неба, а ноги — вросли в центр земли; в середине же сердца у этого великана стоит человечек (пигмей) иль — обычное ощущение тела, обвеваемое ощущением необычного распростертого в космосе тела, пульсирующего себя сознающими ритмами, из которых я должен сложить гармонический звучный аккорд. Вне сложения этого — переживал я испуги:

О, страшных песен сих не пой:
Под ними хаос шевелится.[455]

Переживал расширение тела я так, будто в теле обычном, как в доме, открылися трещины, дыры, которыми просквозила мне бездна:

Открылась бездна: звезд полна...
Звездам числа нет: бездне дна.[456]

Звезды — вспышки огней — переживались теперь в темноте совершенно реально; в звездистом, роившемся мороке глаз — для меня привидения не было; были же — физиологические соответствия переживаниям медиативным, иль *звездам* узнания *бездны* космической; переживания тела как космоса — переживания пробуждавшегося эфирного тела,[457] обычно в нас спящего: искры, звездистая канитель (точно елочная) — от увеличения угольной кислоты, в моей крови скопляемой; переменою двигательных ритмов; перемена — от морального переживания мысли в медитативных часах.

Мелькающие световые фигурки, переживание электричества из головы — по тончайшим, как иглы елочки, нервам — реальные символы:

они — внешние соответствия внутренних образов; я следил, как слагалась под глазами из блесков — фигура, переходящая в моральное состояние сознания, растворяемая в переживаемую безо́бразность теплоты или холода: углубленнейшие мысле-чувствия вспыхивали под глазами — фигурами; скоро узнал, что то — образы физических органов, созерцаемых из эфирного тела.

Естественно: медитации мне врастали — в дыхание, в кровь, корост тела, как лед, покрывающий реку, под действием теплоты, во мне — вздрагивал: переживалась боязнь, что, вот, — тронется лед; и — сломается, искрошится; переживал свое тело порою раскромсанным: в том углу — голова; руки в этом; нога — на балконе.

И ощущение опасности, разрушения, смерти, — подкрадывалось первыми испытаниями на *пути очищения*.

И стал чувствовать я, что от мяса несет трупным запахом; мне было так противно оно; скоро стал я естественно вегетарианцем (вино бросил с Мюнхена).

Выходили порою — на озеро; и бродили в октябрьском тумане по горным уступам; и высились деревянно резные дома; перезванивались отроги гор звонкими колокольцами; и мычали коровы; деревья карабкались вверх; и — истаивали в серочерном тумане, в порывистом вое ветров; мы сидели на камне — у трещин ущелья; заламывались над головами крутейшие очерчни каменно-творимого космоса: одиноко и строго.

И Фицнау остался в сознании местом, где я впервые почувствовал: расширение в космосе; и трепет эфирного тела в себе; и разверстую бездну, и — трещины в восприятиях прежнего; и — близость смерти.

Меж тем — писал Эллис: и звал — в Дегерлох, около Штуттгарта; звала: Поольман-Мой; в первых числах ноябрьских — поехали к ним.[458]

Поселились в прелестнейшей местности, среди вилл, расположенных в роще над Штуттгартом, по соседству от Поольман; в той вилле жил Эллис; запомнились наши сиденья втроем; вчетвером; разговоры за чаем; запомнилась мне и Поольман, высокая, тонкая как оса, с интересным лицом, с ослепительными серосиними, кристальными глазами и с черными волосами, — в чернеющей тунике, в черной столе с крестом на груди, обрамленным пунцовыми розами; Эллис же в мягкой хламиде, со скрещенными руками, с застывшим и бледнозеленым лицом — мне запомнился тоже. Я должен сказать: было больно увидеть душевное состоянье его, доведенное до болезни; Поольман впутывала его в передряги и сплетни, гулявшие в обществе; Эллис ряд лиц, занимавших в движении видную роль, собирался теперь колотить; видел — себя отрезал от возможности жить общей жизнью движения он; то же — Поольман;

в ней действовало оскорбленное самолюбие; я удивлялся: адептка (одна из талантливейших по достижениям) — высказывает столько гордости, инспирируя Эллиса; в Эллисе стал подмечать я какие-то ноты протеста по отношению к Штейнеру; недостаточное уважение заслуг Поольман-Мой его страшно бесило: она — подстрекала его. Знал я: Штейнер не станет входить во все мелочи сплетен; и тем самым отдалится от Поольман, которая выйдет из общества; с нею и Эллис (оно так и случилось).[459]

Читали мы с Эллисом Блока («Ночные часы»);[460] раз прочтя «Матерь Божия, утоли моя печали»[461] — заплакал он.

В ноябре вчетвером мы поехали в Мюнхен;[462] и слушали лекции Штейнера, — были у Штейнера, спрашивая, где нам жить; он просил нас приехать в Берлин; взял с собой дневники наши, писанные в Фицнау и в Дегерлохе.[463]

Мы в Мюнхене познакомились с симпатичнейшим теософом, впоследствии издателем переводов Владимира Соловьева на немецкий язык: то был граф Лерхенфельд.[464]

Проездом в Берлин остановились мы в Нюренберге.

Поселилися на углу Лютерштрассе (как раз против «Скала») в Берлине[465] — за три-четыре дома от канцелярии общества и от квартиры Р. Штейнера (Моцштрассе, 17); ходили сюда — или к д-ру Штейнеру, или к Сиверс, выказывавшей доброе внимание нам; днями дома сидели (я стал переделывать пять мной написанных глав «Петербурга»); мы бывали лишь на Гейсбергштрассе, где помещалась берлинская ложа; бывали в «Архитектенхауз», где читывал Штейнер публичные лекции (раз в две недели);[466] изредка по субботам мы хаживали в «Гедехнисскирхе»[467] — слушать орган, да навещали Т. А. Бергенгрюн (теософку), сестру Е. А. Бальмонт; вот все наши выходы.

Еженедельно читал Рудольф Штейнер нам лекцию курса, который, по-моему, можно было озаглавить: «*Переживание „Я" между смертью и новым рождением*».[468] Анализом переживаний посмертных меня привлекал и захватывал курс. Приглядываясь к Рудольфу Штейнеру, я поражался неутомимостью этого человека; читал он *по вторникам*, и в «*Архитектенхаузе*» по средам — раз в две недели. А в прочие дни разъезжал и читал он повсюду: во вторник он отчитает в Берлине, а в среду читает уже, скажем, в Гамбурге, в пятницу — в Дюссельдорфе, в субботу — в Ганновере;[469] так — всю неделю.

То время отметилось бурными заседаниями, посвященными разбору обостренным отношениям с Безант (германская фракция теософского общества откалывалась от центра). Антропософское общество продолжало слагаться: вступили в него в январе 1913 года.[470]

Повторились мои потрясавшие состоянья сознания, связанные с работой: себя ощущение «*вне себя*» завершилось событием, разразившемся надо мной, как громовый удар; о событии этом писать не могу; совещался со Штейнером я; он — меня успокоил, сказав: *все в порядке* вещей; с той поры укрепилось знание, что душа существует *вне тела*, что смерть — не конец.

На Рождестве — были в Кёльне; читал Штейнер курс: «*Бхагават-Гита и Послания апостола Павла*»;[471] там же встретились с Эллисом и с фрау Поольман-Мой; они продолжали будировать; к февралю был в Берлине съезд членов: и было открытие антропософского общества; восемь-девять дней длился он; обсуждали дела и выслушивали доклады, курс Штейнера.[472] Заседания начинались с утра и оканчивались в одиннадцать вечера: «Architektenhaus» снят был на все это время; здесь длились речи, доклады; я познакомился с некоторыми лекторами: с М. Бауэром и с д-ром Унгером; Бауэр меня поразил углубленностью; и — всем видом своим. Он зажил во мне мастером Экхартом нашего времени;[473] помню доклад Аронсона (из Штуттгарта) о заповедях Моисея;[474] и сериозный доклад антропософа бреславльского по фамилии, кажется, что — Деглау: о механических представлениях Ньютона.[475] Доклады произвели очень бодрое впечатление; в нашем обществе были культурные силы; всего более захватил курс «*Мистерии Востока и Запада*»; читал его Штейнер.[476] Незабываемым впечатлением прозвучала мне речь его «*О сущности антропософии*»; ею открылося антропософическое общество.[477] Считаю необходимым ее содержание передать. София — духовное существо (в гностицизме раскрыта идея Софии); София есть Муза философов; мудрецу был открыт Ее лик. Но развитие философии подменило Софию в абстрактные представления; Лик Ее — скрылся; она постепенно ссыхалась в рассудочной логике современных философов; прежде была она милой Софией. И в Данте отчетливо жив ее лик; так: в сонете, который поэт посвятил философии, говорится, что Лик философии блещет лазурными взорами и что сладко дыхание уст философии.[478] Под философией Данте разумел лик Софии, Премудрости; эта София свернулась в понятие познавания после: так философия Запада — ссохлась; и кризис ее — налицо; философия отжила свое время; но близится новое время, когда лик Софии — откроется; он — открывается: с милой «Софией» становится снова она, опускаясь во все существо человека (не в голову только); духовная встреча с Софией окончится соединением человека с Софией; соединение это новое — в Антропософии скоро раскроется.

Вставали слова Соловьева:

Знайте же, Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.[479]

И вставало учение Соловьева; вставали мечты нашей юности, «*зори*», которые были утрачены в более поздних годах; вызывал эти зори теперь тот, кто относительно до сих пор о Софии молчал, про которого многие русские, вероятно, сказали бы: «*Что может высказать этот немец о нам восходившей заре?*» Но сказал он то именно, что сказал прежде Блок:

Предчувствую Тебя, года проходят мимо.
Всё в облике одном предчувствую Тебя.[480]

Не видал никогда еще Штейнера я таким радостным, бодрым, сияющим, как в этот вечер; лицом, розовеющим атмосферой духовной зари, с очень быстрыми непроизвольно-изящными жестами — руки протягивал он пред собою — Софии, «*Заре*» («*Тайно тревожна и тайно любима — Дева, Заря, Купина*»...[481]); и та самая, розово-золотая, душистая атмосфера, которой обвеян был некогда Блок, — *атмосфера провеяла* мне от слов Штейнера; то, что мы, юноши, *без духовного знания* волили некогда сердцем, — то мудро теперь отзывалось ответом духовной науки; я был потрясен; Блок писал:

И близко *появленье*,*
Но страшно мне: изменишь облик Ты...[482]

И претерпели мы некогда изменение облика.

Встреча с А. А. в ресторанчике мне выявила растерянный облик его: обманули весенние зовы; сказали б иные: Блок — пал; отошел от Нее; мне же, через 10 лет после угасшей зари, прозвучал ожиданием розовый воздух: в Берлине.

За год до кончины своей признавался А. А.: зори 1900—1901 годов были подлинно — зорями; он их не понял-де; непонятны ему и стихи его того времени; но — «Прекрасная Дама» познанию моему теперь стала внятна. Мне берлинская лекция Штейнера приоткрывала завесы над мыслями некогда сфантазированного «*Lapan*»;[483] возвращала по-новому мне и задания Владимира Соловьева; и «*секта блоковцев*», бывшая некогда в 1902 году, мне казалася рудиментами возникавшего «*Ан-*

* Курсив мой.

тропософского общества»; течение Штейнера перекликалось в иных сторонах с философией Соловьева: «*Собрание сочинений Владимира Соловьева*» в старательном переводе фрау фон Вакано печатается антропософским издательством «Der kommende Tag» (четыре тома уже вышли).[484] Я думал в то время, что если бы вновь засветила «*заря*», в ней бы не было прежних красок: угасшей зари; но *заря восходящая* вспыхнула прежним светом, освещенным новыми светами. Помню: смотрел я на Штейнера, легкого, ясного, овеваемого розово-золотой атмосферою собственных слов; благодарною радостью билося сердце; увидел среди рядов стульев я М. В. Сабашникову, переживавшую «зори» 1900—1901 годов, как и мы: пошел поделиться с ней радостью:

— «Что же это, Маргарита Васильевна, что же это такое?»

И она, возбужденная радостно, мне улыбнулась:

— «А?»

— «Да».

— «Грустно и больно одно: те, кому надо бы это услышать, — отсутствуют: нет Иванова, Блока», — сказала М. В.

— «Зори русского символизма — понятны теперь; и все то, чем когда-то взволнованы были, — не ложно».

— «Те, кто слушал, — не понимают реальности произнесенного; те, что переживали „зарю", — их судьба увела от возможности быть среди нас. Но хотелось бы крикнуть отсюда им: „Да"».

— «И не скажешь...»

. . . .

С той лекции стал окрыленным и легким я; я окрыленно носился по улицам Берлина: весна; ярче, радостней переливалось солнце, увеличился день; и зори нежнее цветились; охватывала розово-золотая волна; и сквозь гудки «*авто*» точно слышался голос:

— «Иду к вам».

Переживались порывы сияющей нежности к миру и к людям, к движению нашему; ласково доктор поглядывал; знал: он один понимает без слов; говорить с ним об «*этом*» нельзя; говорили с ним о технике медитаций моих: *не об этом*: тональность же моего отношения к Антропософии сокликалась со строками:

Я укрыт до времени в приделе,
Не растут великие крыла.
Час придет — исчезнет мысль о теле,
Станет высь прозрачна и светла.

. . . .

Новый щит я подниму для встречи.
Вознесу живое сердце вновь.
Ты услышишь сладостные речи,
Ты ответишь на мою любовь.
А. Блок.[485]

Оттого и впоследствии я написал обращение к Антропософии: тема Антропософии в нем перекликнулась с темой Блока:

Слепую мглу бунтующей стихии —
Преобрази.
Влекут меня Твои, Христософия,
Твои стези.
Ты снилась мне, смеясь, когда-то, где-то,
Сестра моя.
Люблю Тебя... Ты — персикова цвета
Цветущая заря.
. . . .
Пусть сердце, обезумевшая птица,
В немой мольбе,
Взрывая грудь, как легкая зарница,
Летит — к Тебе.[486]

Стихотворение выражает порыв, охвативший меня; я почувствовал точно влюбленным себя: в Антропософию, в наше течение; близкие к Штейнеру люди казались особенно близкими; переживал я движение как организм ее силы и света:

Я обезглавлен в набежавшем свете
Лучистых глаз.
Мы — вспыхнувшие, вспыхнувшие дети:
Не бойтесь нас.
Проснулись мы, но для земли погасли,
Мы — тихий стих.
Мы — образуем солнечные ясли.
Младенец в них.[487]

«*Мы*» — работники Духа; «*ребенок*» же — импульс Христов, в нас рождаемый.

С озарением шел я, бывало, по вторникам в закрытое помещение общества, приютившееся возле купола электрической станции (дом этот

ныне сломан, разобран: пустой там забор); проходя по ночам мимо этого места, теперь останавливаюсь: перед обломками прекрасного прошлого берлинской весны, печально смотрю на обломки: мне кажется: тот, кто стоит, — здесь шел по пути; звуки песни встают: «Still ist die Nacht... Es ruhen die Gassen».[488]

В эту пору душою был с Блоком; с ним часто беседовал я стихами его; может быть, и писал (но не помню): когда бы и писал, вероятно, не мог бы я выразить сотой доли того, что в душе протекло; пережил себя рыцарем «*Дамы*»; он был уж не тот: был он автором «*Страшного Мира*».[489]

В то время писал мне А. А.: о простом, деловом. Он стал близок с Терещенко (и с сестрой его), кажется, это знакомство уже завязалось с Пасхи и вызвало литературное дело: издательство «Сирин»;[490] А. А. очень помнил, что я — за границей, что книги мои разошлись; он напомнил Терещенко, что не мешало бы издать меня; говорили мы с ним об издании: «Путевых заметок», «Симфоний»;[491] теперь же в письме ко мне Блока шла речь о покупке еще не оконченного «Петербурга» (которого частью запродал Некрасову), для проведенья его через сборники «Сирина»;[492] если бы состоялась продажа романа, я мог бы безбедно прожить года два за границей; А. А. торопил: поскорей выслать рукопись. Выслал;[493] и — ожидал я решения «Сирина»; проживались последние деньги; тяжелое близилось время: все бросить и ехать в Россию за отысканием средств; мы же стремились в Голландию, в Гаагу, где Штейнер читал: «*О воздействии духовной работы на тело*»;[494] курс был очень нужен; достали билеты на лекции; но все складывалось таким образом, что должны были ехать к С. Н. Кампиони, под Луцк; от принятия «Сирином» рукописи — все менялось.

Голландия, или — Луцк? Ждали мы телеграммы; ее же все не было. И свобода всей жизни повисла на волоске: в редакционной коллегии «Сирина» (куда входили Терещенки, Блок и Иванов-Разумник) решительно разделилися голоса: знаю — подлинно, что Терещенко и сестре его мой роман не понравился; против него они высказались; тогда Блок горячо и настойчиво встал на защиту романа: настаивал на проведении его в «Сирине»; он проявил всю активность свою, на которую был он способен; настаивал, чтобы роман «Петербург» принят был в альманахи; подробности этого инцидента передавал мне Иванов-Разумник, отстаивавший, как и А. А., мой роман; несогласие редакционной коллегии по вопросу «Петербург» — тянулось.[495] А я лихорадочно своей участи ожидал: утекали последние деньги; занять — у кого? Оставалися средства лишь на покупку билетов до Луцка; и — пролета-

ла Голландия; и — нужный ведь, очень же нужный, нам курс; нарушалась работа у Штейнера, и лишалися — необходимейших указаний его; мы пошли к нему; принял нас ласково; что же делать?[496] Придется уехать: но пусть же и мы не печалимся; мы — вернемся; решили скорее отбыть в Боголюбы;[497] поставили вещи в Берлине на склад (залогом необходимого возвращенья в Берлин); уложились; купили билеты; и вдруг — телеграмма от Блока: роман — принят;[498] принятие означало для нас — получение ежемесячного аванса по 300 рублей (на протяжении ряда месяцев); могли быть в Голландии, но — решили мы: провести это лето в деревне; и — съездить в начале июня на курс — в Гельсингфорс,[499] чтобы к августу, к мюнхенской постановке мистерий, надолго вернуться: к движению нашему.[500]

Здесь ставлю я точку: мне явственно — здесь совершенно отчетливо рассекает черта мою жизнь; здесь же должен, конечно, окончиться и том второй моих странствий по времени; сумерки, все еще затемнявшие путь моей жизни, на краткий период сменяются светом — слепительным: с того света и должен открыться «Том третий».[501] До лета 1913 года — одно; после этого лета — другое: меняются восприятия жизни; и кажется, что я вступил на действительный путь посвященья: ломается линия жизни; отчетливо мне углубляются отношения с Асей; уже не события литературно-общественной жизни меня занимают — события личные; но с другой стороны: до слепительной осени 1913 года живу я Россией; а с осени этого года проблемы всечеловечества переполняют меня; вся Европа становится родиной; кажется мне, — я не русский уже. В ноте «я» сочетаюсь с «я» человечества: опознаю проплетенность конкретнейших переживаний моей биографии с громкими судьбами нового человека в Истории; парадоксальное пересеченье во мне на краткое время становится молнией грозы мировой; гром той молньи — война; «Третий том» мой — война, вытекающая из огромного расширения сознания: война с предрассудками рода и быта во имя рожденья нового человека, которого назначение — осуществить в мире мороков братство народов.

От пути посвящения через мировую войну к революции перегоняет меня третий том. Том второй, это — сумерки.

1922—1923 гг. Декабрь—Январь.

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. В. Лавров

ВОСПОМИНАНИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО — БЕРЛИНСКОГО ЭМИГРАНТА

В читательском восприятии представление об Андрее Белом — мемуаристе связано прежде всего с его так называемой мемуарной трилогией, над которой писатель трудился в последние годы жизни, — книгами «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций»; трилогией, оставшейся, как и многие другие его масштабные начинания, незавершенной: смерть оборвала работу над третьим томом, во второй части которого, согласно авторскому замыслу («Вместо предисловия»), «центр внимания: заграничная жизнь до и во время войны; лишь конец ее посвящен России накануне революции».[1] Задача трилогии — описание и осмысление всего дореволюционного жизненного и творческого пути автора в его взаимосвязях с современниками; при этом, что немаловажно, воссоздаваемая картина должна была соответствовать предустановленной прагматической цели: быть доведенной до читателя в советских идеологических условиях конца 1920-х—начала 1930-х гг. В этом существенное отличие упомянутых мемуарных книг от непосредственно предшествовавших им «Воспоминаний о Штейнере» (1929) и аналитического автобиографического очерка «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (1928) — произведений, писавшихся в расчете на узкий круг единомышленников, сподвижников по Антропософскому обществу, имевшему после 1923 г. статус нелегального, «подпольного» объединения, и на читателей отдаленного будущего. Оглядываясь на заглавие-оксюморон монографии М. Л. Спивак «Андрей Белый — мистик и советский писатель» (2006), можно сказать, что о Рудольфе Штейнере и о своем символистском становлении вспоминал

[1] *Андрей Белый*. Между двух революций. М., 1990. С. 6.

Белый — «мистик», между тем как, закончив в январе 1929 г. «Воспоминания о Штейнере» и принимаясь в начале февраля того же года за книгу «На рубеже двух столетий», тот же автор выступал в ином образе — как «советский писатель», точнее, — надевал на себя личину «советского писателя».

О мемуарной трилогии Андрея Белого справедливо было высказано много высоких оценок; по достоинству она признана как не имеющая себе аналогов красочно и темпераментно выписанная панорама культурной жизни России рубежа XIX—XX веков, воссозданная сквозь призму глубоко субъективного, индивидуализированного восприятия ее создателя.[2] И вместе с тем был очень точен в ее характеристике Ц. С. Вольпе, писавший в предисловии к третьему тому воспоминаний Белого: «Эти мемуары обращены к советской современности. Поэтому это не столько объективная история истекших событий, сколько попытка объясниться с современностью, оправдаться перед нею, попытка посмотреть новыми глазами на собственную биографию. ⟨...⟩ Мемуары — это *современные* произведения Белого, особый вид художественной литературы, построенный на точной документации и на полном назывании имен литературных героев».[3] Историко-культурные ретроспекции, выстраиваемые автором, пытающимся быть мемуаристом-хроникером и одновременно старающимся предстать «советским писателем», закономерным образом оказывались отражением в кривом зеркале. Достигнутые оптические эффекты, сплошь и рядом подменявшие собою фактически достоверную пережитую реальность, трудно было свести к полету творческой фантазии или к издержкам авторской субъективности: к вымыслу художественного преображения действительности примешивался умысел привнесенной — и чужеродной для самого сочинителя — идеологической установки. В статье «От полуправды к неправде» (1938), посвященной разбору третьей части мемуарной трилогии Белого, В. Ф. Ходасевич со всей резкостью заключает: «Без улыбки (очень мучительной) невозможно читать, как он силится представить себя чуть ли не правоверным марксистом, а символизм — проявлением ненависти к капитализму, как старательно вспоминает и раздувает каждую мелочь, которая может ему зачесться в послужной список „революционера" ⟨...⟩ подавляя былую свою психологию, психологию мистика, Белый пуще всего старается отречься от всякого мистицизма — и тут уже прямо валит с больной го-

---

[2] Подробнее см. во вступительной статье «Мемуарная трилогия и мемуарный жанр Андрея Белого» в кн.: *Андрей Белый*. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 5—32.

[3] *Вольпе Цезарь*. О мемуарах Андрея Белого // Андрей Белый. Между двух революций. Л., 1934. С. VIII—IX.

ловы на здоровую. От неправдивого освещения фактов он в последней книге переходит к их искажению и измышлению».[4] Сходные выводы формулирует по прочтении «Между двух революций» и Н. Валентинов, близко общавшийся с Белым во второй половине 1900-х гг.: «...здесь, как и в других моментах своих многочисленных автобиографических сочинений, написанных в советское время, он производит огромное, сознательное насилие над фактами, чтобы представить в ином свете свое прошлое».[5]

Учитывая отмеченные особенности позднейших, «советских», воспоминаний Андрея Белого, следует с надлежащим вниманием обратиться к его более ранним мемуарным опытам, и прежде всего к наиболее пространной версии «Воспоминаний о Блоке» (1922), послужившей основой для книги «Начало века», написанной в Берлине в 1923 г., — одноименной со второй частью будущей («московской», как называл ее автор) мемуарной трилогии, но существенно отличающейся от нее если не по биографическим фактам, то по характеру их изображения и интерпретации.

Обращение к мемуарному жанру для писателя в возрасте сорока с небольшим лет — случай не тривиальный и объяснимый двумя основными факторами. Первый — отчетливая и резкая историческая межа, внезапно разделившая Россию на дореволюционную и пореволюционную. Оставшийся за межой дореволюционный период быстро стал восприниматься как определившийся в своих контурах исторический цикл, в силу своей завершенности призывавший к ретроспективному осмыслению, и в то же время как фрагмент биографии конкретного участника этого процесса, развивавшейся в его потоке и, в свою очередь, оказывавшей свое воздействие на его течение. Другой фактор — сугубо индивидуальный: автобиографизм как главенствующая творческая установка Андрея Белого, со всей определенностью проявившаяся уже в его литературном дебюте — «Симфонии (2-й, драматической)» (1902) — и получившая дополнительный стимул к самореализации после его приобщения в 1912 г. к антропософскому учению Штейнера, которое выдвигало на первый план проблему духовного самосознания личности. Непосредственно в мемуарном жанре Белый впервые выступил в 1907 г., напечатав 2 декабря в «Русском слове» очерк «Владимир Соловьев. Из воспоминаний». По-своему символично, что длинный ряд

[4] Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников: Антология. СПб., 2004. С. 870.

[5] *Валентинов Н.* Два года с символистами / Под ред., с предисл. и примеч. проф. Г. П. Струве. Stanford, California, 1969. С. 24.

будущих мемуарных портретов начинался изображением философа и поэта, который был для юноши Бориса Бугаева, еще не крещенного своим литературным именем, духовным учителем и провозвестником того жизнетворческого мировосприятия, которое будет провозглашено как символизм. В том же году в московских газетах появились «силуэты», вышедшие из-под пера Белого, — литературные портреты современников (Жана Жореса, Шолома Аша, Станислава Пшибышевского, Д. С. Мережковского, К. Д. Бальмонта); в них уже прошли апробацию те стилевые приемы изображения, которыми воспользуется будущий мемуарист, выстраивая череду «силуэтов» тех же своих знакомцев, а также и многих других действующих лиц, с которыми его сталкивала жизнь в предреволюционные десятилетия.

Мемуарной в своей первичной основе должна была стать задуманная Андреем Белым в середине 1910-х гг. автобиографическая эпопея «Моя жизнь». Авторский план ее зафиксирован в автографе, предпосланном рукописи романа «Котик Летаев», открывающего предполагаемый цикл:

«Моя жизнь»

(3-ья часть трилогии «Восток или Запад»)

Роман в семи частях

Часть первая: «Котик Летаев»
(годы младенчества).
Часть вторая: «Коля Летаев»
(годы отрочества).
Часть третья: «Николай Летаев»
(годы юности).
Часть четвертая: «Леонид Ледяной»
(годы мужества).
Часть пятая: «Свет с востока»
(восток).
Часть шестая: «Сфинкс»
(запад).
Часть седьмая: «У преддверия Храма»
(восток или запад? Мировая война).[6]

[6] *Лавров А. В.* Автограф романа Андрея Белого «Котик Летаев» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1994 год. СПб., 1998. С. 351.

Как видим, замысел этого автобиографического произведения вырисовывался в сознании автора в жанровых параметрах романа: трилогия «Восток или Запад», по плану Белого, включала как первую часть роман «Серебряный голубь» (1910) и как вторую часть — роман «Петербург» (1913); третья, автобиографическая, часть трилогии первоначально фигурировала в авторских проектах под заглавием «Невидимый Град».[7] «Котик Летаев» был опубликован в 1917—1918 гг. в двух сборниках «Скифы» с подзаголовком «Первая часть романа „Моя жизнь"», его непосредственное продолжение (соответствующее части второй приведенного выше плана) появилось в 1921 г. в № 4 журнала-альманаха «Записки мечтателей» уже с указанием на принадлежность к многосоставному замыслу с другим заглавием — «Эпопея»; на титульном листе значилось: «Преступление Николая Летаева (Эпопея — том первый. Крещеный китаец. Глава первая)». В 1927 г. это произведение было издано отдельной книгой без каких-либо сопутствующих указаний — под заглавием «Крещеный китаец. Роман». Хотя персонажи начальных частей «Моей жизни» — «Эпопеи» носили вымышленные имена и характер изображения событий в них был далек от претендующей на фактографическую достоверность мемуарной стилистики, автобиографическое начало в этих произведениях, подчиняющих описание внешних, бытовых обстоятельств демонстрации и анализу внутренней жизни личности, становящегося сознания, является основой повествования; едва ли не все сюжетные элементы и образные построения «Котика Летаева» и «Крещеного китайца» находят себе непосредственные аналогии в позднейших собственно мемуарных свидетельствах автора. По всей видимости, задуманные и неосуществленные части «Моей жизни» также призваны были отобразить значимые этапы духовной биографии Белого и ее эволюцию: кризис юношеских идеалов во второй половине 1900-х гг. («Леонид Ледяной» — ипостась автора в «негативном» периоде его самосознания и творчества), путешествие по Средиземноморью в 1910—1911 гг. («Свет с востока»), участие в возведении антропософского центра Гётеанума в 1914—1916 гг. («У преддверия Храма»).

Пребывание в Швейцарии на строительстве Гётеанума нашло отражение в начальных главах еще одного произведения Андрея Белого, имеющего непосредственно автобиографическую основу, — «Записок чудака», законченных в 1921 г. Первоначально эта книга печаталась

---

[7] См.: *Долгополов Л.* Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 343—345.

в «Записках мечтателей» (1919. № 1; 1921. № 2/3) под заглавием «„Я". Эпопея. Том первый „Записки чудака". Часть первая „Возвращение на родину"». Эпопея «Я» замышлялась в десяти томах,[8] но за томом первым («Записками чудака») продолжения не последовало. Построенные опять же на автобиографическом фундаменте (путешествие в 1916 г., в обстоятельствах Первой мировой войны, из Швейцарии кружным путем через Францию, Англию и Скандинавию в Россию), «Записки чудака» вбирают в себя и мемуарные фрагменты, затрагивающие ранние годы жизни Белого: эпизоды гимназического периода, переживания, вызванные чтением книг, общением с природой в Тульской губернии — в родительском имении Серебряный Колодезь, встреча с Вл. Соловьевым и т. д. Мемуарный субстрат при этом отнюдь не означает, что книга в целом отвечает общепринятым стандартам мемуарного изложения подлинных событий. Повествовательный ряд в «Записках чудака» — это череда свободных образных ассоциаций при отсутствии хронологически и прагматически выстроенного событийного сюжета, поток интроспективных картин и описаний, насыщенный отображением внешнего мира, но не управляемый и не координируемый ими. В большей мере с мемуарами в традиционном жанровом определении соотносится прототекст «Записок чудака» — сохранившаяся во фрагментах рукопись Белого под заглавием «Воспоминания странного человека»,[9] своего рода текст-абрис, текст — предварительный конспект будущего масштабного произведения. В этом прототексте в отличие от «Записок чудака» (в которых устанавливается оппозиция «автор» — «герой» и соответственно происходит расщепление на Андрея Белого и Леонида Ледяного) Белый впрямую повествует о себе; герой не отчуждается от автора, напротив, манифестируется единство героя («странного человека») и автора, всячески подчеркивается неукоснительный автобиографизм излагаемого. В этом отношении «Воспоминания странного человека», при всей установке на отображение подспудных внутренних иррациональных импульсов и сокровенных, порой фантасмагорических переживаний, правомерно рассматривать как хронологически первый в творчестве

---

[8] Ср. хроникальное сообщение о Белом: «Закончил первый том своего нового романа „Эпопея" (задуман в 10 томах)» (Русская книга. Берлин, 1921. № 5. С. 20). В письме к С. М. Алянскому, относящемуся к концу ноября—началу декабря 1919 г., Белый сообщал: «...к началу 30-х годов (через 10 лет) я должен написать ряд томов „Я" 〈...〉» (Лица. Биографический альманах. Вып. 9. СПб., 2002. С. 99. Публ. Джона Малмстада).

[9] См.: «Воспоминания странного человека» Андрея Белого / Предисл., публ. и примеч. А. В. Лаврова // Миры Андрея Белого. Белград; М., 2011. С. 47—56, I—LXII.

Андрея Белого масштабный опыт автобиографического мемуарного повествования, предшествовавший нескольким версиям воспоминаний об Александре Блоке.

Тотальный автобиографизм творчества Андрея Белого предполагал, что этим качеством в равной мере наделены его проза и поэзия. «Первое свидание» — поэма, созданная в 1921 г. почти экспромтом, за несколько дней, — представляет собою развернутое лирическое воспоминание о переживаниях и событиях двадцатилетней давности, о поре личностного самоопределения автора, претворения студента-естественника Бориса Бугаева в поэта и «симфониста» Андрея Белого. Творческое задание Белого в поэме реализуется через двуединство автора-героя: автор, сегодняшним днем воскрешающий панорамы былого, предстает и как главный герой-реципиент безвозвратно ушедшего и пережитого, и как повествователь, описывающий своего героя с учетом временно́й дистанции и всех новых представлений и смыслов, отбрасывающих свой отсвет на поток поэтических ретроспекций. Автор «Первого свидания» одновременно равен своему герою, неразрывно с ним сопрягается, но в то же время ему не идентичен:

В пути года, как версты, стали:
По ним, как некий пилигрим,
Бреду перед собой самим...[10]

Аналогичный двойственный образ автора-героя воплощается во всех последующих мемуарных опытах Андрея Белого, начало которым было положено событием, сыгравшим в его жизни исключительно значимую роль, — кончиной Александра Блока (7 августа 1921 г.). Несмотря на то что в отношениях двух поэтов были долгие полосы отчуждения, что в последние годы жизни Блока его взаимоотношения с Белым были эпизодическими и лишенными былого духовного накала, позади оставались общие переживания «эпохи зорь», начала XX в., когда автор «симфоний» и создатель «Стихов о Прекрасной Даме» обрели друг друга в едином пафосе мистического энтузиазма, когда они ощущали глубинную общность в своих внутренних помыслах и устремлениях. При всех различиях, которые в кризисные моменты вспыхивали острыми конфликтами, Белый воспринимал Блока как alter ego, что подтверждается, видимо, самым ранним его откликом на смерть — письмом к В. Ф. Хо-

[10] *Андрей Белый*. Стихотворения и поэмы. СПб.; М., 2006. Т. 2. С. 28. («Новая Библиотека поэта»).

дасевичу от 8 августа 1921 г.: «Эта смерть для меня — роковой часов бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто „бытие" Блока на физическом плане было для меня, как орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или *умирают*, или *просветляются* внутренно: вот и стукнуло мне его смертью: *пробудись*, или *умри*: *начнись* или *кончись*. ⟨...⟩ Эта смерть — первый удар колокола: „*поминального*", или „*благовестящего*"».[11]

Чувство общности с Блоком в последние годы его жизни при минимуме личных контактов («не видались, почти не говорили») не исчерпывалось представлением об общности духовных истоков, но дополнительно подкреплялось сходством восприятия революционных катаклизмов, за которыми оба поэта пытались различить контуры грядущей революции духа, то есть опять же нечто внутренне созвучное тем невыразимым мистическим импульсам и теургическим порывам, которые роднили их в первые годы XX в. В этом завороженном ожидании откровений, по справедливому мнению Н. А. Бердяева (статья «Мутные лики», 1923), скрывается «почва для всяких смешений и подмен», которая в полной мере проявилась в творчестве и идейных установках Белого и Блока 1917—1918 гг.: «Когда разразилась революционная буря, А. Блок и А. Белый не в силах были проявить мужественной активности духа, не могли различить духов, они оказались окутанными иррациональной стихией революции, пронзенными ее токами, они пассивно ей отдались и пытались увидеть в революции *Ее*, с которой ждали свиданий. Не есть ли это явление того, что они так долго ждали в пассивном состоянии, что предчувствовали еще тогда, когда в начале века увидели новые зори? Как это соблазнительно, как это утешительно! Наконец что-то великое случилось, таинственная стихия развернулась, противиться ей нет сил. Это — вечно женственная стихия, премудрая в своей глубине, софийная стихия. Она кажется безобразной лишь на первый взгляд, лишь для рационалистического сознания. От нее нужно ждать правды и красоты новой жизни».[12]

Столь же почти синхронным, как и приобщение к революционной стихии, оказалось у Белого и Блока сначала охлаждение революционного пафоса, а затем и решительное отчуждение от нового государственного строя. Прослеживая вехи своей духовной эволюции в автобиографи-

---

[11] *Ходасевич В.* Три письма Андрея Белого // Современные записки. Кн. 55. Париж, 1934. С. 257—258.

[12] *Бердяев Николай.* Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 450.

ческом письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г., Белый обозначал линию своего внутреннего развития от 1916 к 1919 г. под знаком «революции», а последующую линию — от 1919 к 1922 г. — под знаком «реакции»; там же он относил к 1919 г. свое «явное разочарование в близости *„революции Духа“*»,[13] — сохраняя вместе с тем глубокую убежденность в подлинности и правомерности упований на нее. В дневниковых заметках «К материалам о Блоке» (включавших и лапидарные записи мемуарного характера), которые Белый фиксировал в первые недели после кончины поэта, он особо акцентировал те факты и высказывания, которые свидетельствовали о разладе между Блоком и большевистским государством, — в беседе с Р. В. Ивановым-Разумником: «Р. В. сказал: *„Если бы знали руководители атмосферы нашей жизни, что смерть Блока есть ужаснейший приговор им“* 〈...〉 Блок 〈...〉 после *„Скифов“* и *„Двенадцати“* — замолчал словами и стихами: угрюмо нахмурился; и без заявления о том, что *„душно“*: *„взял и задохся“*; воздух России его убил»; в беседе с матерью Блока: «...она сказала мне: „Саша умер от двух обстоятельств: во-первых, от того, что происходит в России; и во-вторых: от трудных отношений между Любой и мной“ 〈...〉 по свидетельству всех лиц, видавших его за 2 $^1/_2$ месяца его болезни, — он говорил, что не мог бы выйти даже на улицы Петрограда: не вынес бы чисто внешнего вида теперешней жизни: так резко в нем обострилось за последние месяцы 〈...〉 отношение к нашей действительности»; «Соня Каплун мне сейчас рассказала про один разговор ее с А. А. Блоком о „Двенадцати“. Она: „В Киеве считают вас в «*РКП*»?“ *Блок*: „Как, неужели меня считают коммунистом?“ (Сказал с мрачной горестью). Она: „Нет, я вовсе не вижу в «*Двенадцати*» никакой партийности и менее всего коммунизма, но я вижу октябрь“. *Блок*: „Как я рад, что, наконец, это начинают понимать!“ Блок до конца остался при *„Двенадцати“*, но никогда ничего общего не имел с коммунизмом» — и т. д.[14] И в речи, произнесенной в Вольной философской ассоциации 28 августа 1921 г. на открытом заседании памяти Блока, Белый счел необходимым провести непереступаемую черту между блоковским (и своим) переживанием революции («начало восстания, начало светлого воскресения, Христа и Софии, России будущей») и попытками трактовать блоковские революционные произведения в «партийном», большевистском ключе, растаскать блоковские строки на агитационные плакаты: «Да не так же это надо понимать, что идут двенадцать, мар-

[13] Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 506.

[14] *Андрей Белый*. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 448—450, 453.

шируют, позади жалкий пес, а впереди марширует Иисус Христос, — это было бы действительно идиотическое понимание. „Впереди Исус Христос" — что это? — Через всё, через углубление революции до революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств, наших мыслей, до изменения нас в любви и братстве, вот это „все" идет к тому, что „впереди", — вот к какому „впереди" это идет».[15]

Речь о Блоке, произнесенная на заседании Вольной философской ассоциации («Вольфилы»), а также аналогичное выступление в Москве в Политехническом музее 26 сентября 1921 г.[16] нашли отражение в первой из вышедших в свет, самой краткой редакции воспоминаний Белого о Блоке, датированной октябрем 1921 г.; в альманахе «Северные дни», где она была помещена, автор сопроводил ее примечанием: «Уезжая спешно за границу, я должен был отдать свою статью, недостаточно проработав ее стиль; прошу извинения у читателей».[17] Более или менее развернуто в этом тексте освещен начальный этап творческой эволюции Блока, последующие охарактеризованы суммарно. Гораздо полнее и подробнее Белый излагает историю своих взаимоотношений с Блоком в мемуарной версии, опубликованной в последнем выпуске «Записок мечтателей» в июне 1922 г.[18] Над воспоминаниями о Блоке Белый начал

---

[15] Там же. С. 495—496. Попутно следует отметить, что стремление Белого отделить и очистить обуревавший его и Блока «мистериальный» революционный пафос от злобы дня большевистского переворота редко находило понимание и поддержку; даже те, кто сочувствовали этим исканиям, считали оптимизм поэта применительно к переживаемому историческому моменту неуместным. Примечательна в этом отношении статья А. И. Белецкого (в будущем видного литературоведа, академика) о революционной поэме Белого «Христос воскрес»; автор недоумевает: «...если за огненной бурей можно было увидеть Христа, — то как же увидеть Его в лике холодного Демона, поднявшемся вскоре над бунтующими волнами пламени? Как не почувствовал поэт в коммунистической системе, долженствующей скреплять и утверждать „завоевания" мировой революции, — знакомых черт, воплощенных им же некогда в героях романа „Петербург" ⟨...⟩ Неизменность в рамках нумерации, циркуляции, уничтожения личности: в конце концов он согласился бы назвать все это „диктатурой пролетариата"». Приводя цитаты из поэмы, провозглашающие «весть весны» и грядущее воскресение, критик добавляет: «Мы готовы повторять эти слова, забывая, что они произнесены несчастным, поклонившимся бесовскому действу вместо Христа Грядущего. Кто из вас, зная его, бросит в него камень?» (*Белецкий А. И.* Бесовское действо. (Андрей Белый. Христос Воскрес. Поэма) // Новая Россия. Харьков, 1919. № 109, 28 сентября. С. 3—4).

[16] См.: *Андрей Белый.* О Блоке. С. 500—512.

[17] См.: *Андрей Белый.* Воспоминания о Блоке // Северные дни. Сб. II. М., 1922. С. 133—155. Сборник вышел в свет в январе 1922 г.

[18] См.: *Андрей Белый.* Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Записки мечтателей. № 6. Пб., 1922. С. 5—122. Большой фрагмент этого текста (под заглавием «Воспоминания об Александре Блоке») тогда же был опубликован в журнале

работать в Детском Селе в августе 1921 г. («...начинаю набрасывать „Воспоминания о Блоке"»[19]), в конце сентября—начале октября выступил с ними на двух вечерах в «Вольфиле». По всей вероятности, перед отъездом из Петрограда в Москву (12 октября 1921 г.) для дальнейшего следования в Берлин Белый передал текст воспоминаний, основанный на этих выступлениях, руководителю издательства «Алконост» С. М. Алянскому для печатания в «Записках мечтателей». Скорее всего по причине предотъездной спешки он не сумел достичь при освещении истории своих взаимоотношений с Блоком надлежащих пропорций — не успел довести подробное изложение событий до конца. Четыре главы в этой мемуарной версии посвящены периоду, предшествовавшему личной встрече с поэтом, и описанию общения с ним, доведенному до февраля 1905 г.; далее же следует «Заключение», открывающееся пояснением: «Мои „Воспоминания" — первая глава воспоминаний. Две другие пока не написаны. Я постараюсь их написать. Они составят период наших общений и встреч 1905—1907 годов. Этот период опять-таки замкнутая глава воспоминаний. Здесь стиль наших встреч, общений и разговоров иной, — тревожный и сложный».[20] В «Заключении» развернутая характеристика встреч с Блоком меняется на конспективную и обрывается на 1913 годе, а обстоятельства, относящиеся к пореволюционной поре, даже не упоминаются. Конечно, не только нехватка предотъездного времени послужила причиной недостаточно подробного внимания Белого к конфликтному периоду его взаимоотношений с Блоком, но и особая деликатность темы, полное раскрытие которой требовало откровенного освещения личных отношений автора с женой поэта.

20 октября 1921 г. Белому, после неоднократных настойчивых, но неудачных попыток, удалось вырваться за границу. Проведя более трех недель в Ковно (из-за задержки с получением визы на въезд в Германию), он 18 ноября 1921 г. прибыл в Берлин. Начался длившийся почти два года заграничный период жизни писателя, который правомерно определить как относительно непродолжительную эмиграцию. Сам Белый не воспринимал свой отъезд за границу как эмиграцию по политическим мотивам; он всячески подчеркивал, что необходимость в нем диктовалась деловыми обстоятельствами (планами издания собственных книг, организацией в Берлине отделения «Вольфилы» и др.), а также

«Литературные записки» (1922. № 2, 23 июня. С. 23—30). В полном объеме «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке» переизданы Вл. Орловым в кн.: Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 204—322.

[19] *Андрей Белый*. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 110.

[20] Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 308—309.

стремлением к воссоединению с женой (с нею он не виделся со времени отъезда из Швейцарии в Россию в 1916 г.). Отказ жены, Аси Тургеневой, восстанавливать с ним прежние отношения вызвал у Белого тяжелый и затяжной душевный кризис, который выражался в форме эпатирующих публичных эскапад, запечатленных в описаниях многих его современников. Переживание мучительной личной драмы сочеталось у Белого, однако, с чрезвычайно активной литературно-общественной деятельностью. Сразу по приезде в Берлин он стал председателем совета берлинского отделения «Вольфилы»[21] и членом совета «Дома Искусств», участвовал в акциях Общественного комитета помощи голодающему населению России, в заседаниях и вечерах Клуба писателей и т. д.[22]

По своим общественно-политическим позициям Андрей Белый в Берлине занимал колеблющееся, промежуточное положение между убежденными, последовательными противниками большевизма, с одной стороны, и «сменовеховцами» (воспринятыми им резко отрицательно[23]) и просоветскими кругами — с другой. В публичных выступлениях и широковещательных статьях «Культура в современной России»,[24] «О Духе России и „духе" в России»[25] Белый, констатируя порожденные революцией гибель жизненных устоев, деморализацию, распад быта, тем не менее выражал надежды на «зелень новой культуры», на воскрешающую силу неистребимого духовного творчества, возвестившего о себе в России, несмотря на самые невозможные внешние обстоятельства. В приватном общении, однако, эти упования сходили на нет. И. А. Бунин записал (21 января/3 февраля 1922 г.) слова Л. Шестова, общавшегося с Белым в Берлине в декабре 1921 г.: «Он говорит, что Белый ненави-

---

[21] См.: *Белоус Владимир.* Вольфила (Петроградская Вольная философская ассоциация). 1919—1924. М., 2005. Кн. 2. С. 235—236, 256—260.

[22] Подробнее см.: *Malmstad John E.* Andrej Belyj at Home and Abroad (1917—1923). Materials for a Biography // Europa Orientalis. 1989. Vol. 8. P. 425—480; *Beyer Thomas R.* Andrej Belyj. The Berlin Years 1921—1923 // Zeitschrift für slavische Philologie. 1990. Bd. L. H. 1. P. 91—142.

[23] В частности, он решительно отказался от сотрудничества в Литературном приложении к берлинской «сменовеховской» газете «Накануне»; см. его письмо к А. Н. Толстому от 20 апреля 1922 г. (*Толстая Е.* Андрей Белый и «серо-бурое политиканство». Неизвестное письмо Алексею Толстому из фондов Государственного музея А. С. Пушкина // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. М., 2008. С. 113).

[24] Новая русская книга. Берлин, 1922. № 1. С. 2—6. По рукописи, хранящейся в архиве А. Элиасберга (Прага), опубликовано в кн.: *Белоус Владимир.* Вольфила. Кн. 2. С. 262—271.

[25] Голос России. Берлин, 1922. № 908, 5 марта. С. 5—6.

дит большевиков, только боится, как и Ремизов, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию. „Жизнь в России, — говорит Белый, — дикий кошмар. Если собрались 5—6 человек родных, близких, страшно все осторожны, — всегда может оказаться предателем кто-нибудь". А на лекциях этот мерзавец говорит, что „все-таки" («несмотря на разрушение материальной культуры») из России воссияет на весь мир несказанный свет».[26] По мере пребывания в Берлине Белый все более сживался с мыслью о долговременности своего проживания за границей. В сентябре 1922 г. он обратился в берлинское полицейское ведомство с заявлением: «Срок моей визы кончается 1 октября; между тем, связанный многообразной культурной работой с русскими и немецкими издательствами, я прошу дать мне разрешение остаться в Берлине на сколько возможно продолжительный срок».[27] А 17 ноября 1922 г. он написал Н. О. Шупак, что для него в Россию «путь отрезан».[28]

Установки Белого стали меняться после того, как к нему в Берлин в январе 1923 г. приехала из Москвы К. Н. Васильева, его друг и товарищ по Антропософскому обществу. Доходившие в Россию известия и слухи об отчуждении Белого от Рудольфа Штейнера и переоценке его доктрины, имевшие под собой достаточные основания,[29] беспокоили адептов антропософии, и К. Н. Васильева была делегирована в Берлин со специальной целью — попытаться вернуть самого видного русского приверженца антропософии в лоно учения, а заодно и возвратить его

---

[26] Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы, под ред. Милицы Грин. В двух томах. ⟨М.⟩, 2005. Т. 2. С. 64.

[27] *Malmstad John E.* Andrej Belyj at Home and Abroad (1917—1923). P. 479.

[28] *Sapir B.* An Unknown Correspondent of Andrey Bely. (Andrey Bely in Berlin 1921—1923) // The Slavonic and East European Review. 1971. Vol. 49. N 116. P. 451. Такого же убеждения придерживалась и Н. И. Петровская, рассказывая о Белом в письме к О. И. Ресневич-Синьорелли (Берлин, 8 декабря 1922 г.): «...он работает в „Днях" *Керенского*, а я в „Накануне", на 3/4 коммунистическом. Мне в Россию — скатертью дорога, а ему никогда!..» (Русско-итальянский архив IX. Ольга Ресневич-Синьорелли и русская эмиграция: Переписка / Сост. и ред. Эльда Гаретто, Антонелла д'Амелия, Ксения Кумпан, Даниела Рицци. Салерно, 2012. Т. II. С. 180. Публ. Эльды Гаретто).

[29] Ср., например, признания Белого в письме к Иванову-Разумнику от 15 января 1922 г.: «...у меня трагедия: Ася ушла от меня; Штейнер — разочаровывает; движение ⟨т. е. деятельность Антропософского общества. — *А. Л.*⟩ — пустилось в *„пляс"*»; «Провалилась Ася, Штейнер, движение — всё ⟨...⟩ когда я слушал Штейнера, то... мне казалось: Штейнер — разжиженная *„Вольфила"*» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 234). См. также исповедальный отрывок (без заглавия и датировки; видимо, конец 1921 г. или 1922 г.), в котором Белый критически переоценивает пройденный им путь антропософского ученичества (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 55—60).

обратно в Москву, в близкий ему круг единомышленников.[30] Из писем Б. А. Лемана (секретаря петроградского отделения Российского Антропософского общества) можно заключить, что планировалась также поездка в Берлин Б. П. Григорова, председателя Российского Антропософского общества,[31] т. е. организация готова была отправить на помощь «заблудшему» сильный десант. Белый поначалу с настороженностью относился к установленной над ним опеке (постоянно общавшийся с писателем в Берлине В. Ф. Ходасевич свидетельствует в мемуарном очерке о нем: «Из Москвы приезжала антропософка К. Н. Васильева, звала с собою в Россию, к антропософской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел: „Хочет меня на себе женить". — „Да ведь вы сами хотите жениться?" — „Не на ней! — яростно хрипел он, — к черту! Тетка антропософская!"»[32]), но длительное пребывание Васильевой подле него — с января по июль 1923 г. — дало свои плоды. 1 августа 1923 г. Белый получил от берлинской комиссии Наркомпроса извещение о разрешении въезда в РСФСР и лишь в октябре того же года — въездную визу. По словам Н. Н. Берберовой, «он кинулся в Россию: твердая рука К. Н. Васильевой ⟨...⟩ помогла ему найти туда дорогу».[33] Белый выехал из Берлина в Москву 23 октября 1923 г.[34]

---

[30] Ср. мемуарное свидетельство Н. И. Гаген-Торн: «Клавдия Николаевна Васильева по поручению московских друзей и с разрешения Вячеслава Рудольфовича Менжинского приехала в Берлин уговорить Бориса Николаевича вернуться в Советский Союз» (*Гаген-Торн Н. И.* Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый) // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 550. С В. Р. Менжинским, в 1923 г. — заместителем председателя ОГПУ, К. Н. Васильева состояла в отдаленном родстве).

[31] 12 января 1923 г. Леман писал Н. А. Григоровой: «⟨Б. Я.⟩ Кожевников и ⟨Н. Н.⟩ Белоцветов пишут, что Белый снова заходил к Белоцветову и начал отставать от своей аудитории антиантропософической ⟨...⟩ Слышал, что Кл⟨авдия⟩ Н⟨иколаевна⟩ ⟨Васильева. — *А. Л.*⟩ едет. Едет ли Б. П.? Пусть едет, нужно это, очень нужно, сами понимаете, родная моя»; 16 марта 1923 г. — ей же: «Рад был очень узнать, что Б. П. все же не оставил мысли о поездке, очень жду, когда она осуществится» (РГБ. Ф. 636. Карт. 1. Ед. хр. 18).

[32] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 62.

[33] *Берберова Н.* Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 194.

[34] В мемуарном очерке «Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым)» М. Цветаева свидетельствует (ошибочно датируя отъезд Белого в Россию ноябрем 1923 г.), что в день его отъезда (о котором сообщила газета «Руль») получила в Праге от Белого из Берлина письмо — «письменный вопль в четыре страницы» — с просьбой помочь ему устроиться в Праге и найти комнату. Письмо приводится ею в пересказе (см.: *Цветаева Марина.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 267), автограф его не обнаружен. Ср. свидетельства о Белом в воспоминаниях Р. Б. Гуля: «Он умолял Марину Цветаеву, уехавшую из Берлина в Прагу, устроить ему там правительственную стипендию для

В течение двух лет проживания в Германии Белый сотрудничал в русских берлинских газетах («Голос России», «Дни»), выпустил в свет рекордное количество собственных книг (в общей сложности восемнадцать, из них в Берлине двенадцать), сотрудничал с несколькими издательствами русского Берлина. В одном из этих издательств — «Геликон» — он не только напечатал в 1922 г. свои книги «Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис» и «Записки чудака», но и редактировал журнал («литературный ежемесячник») «Эпопея».[35] «Геликон» был основан в Москве в 1918 г. и возобновлен в Берлине в сентябре 1921 г. Во главе его стоял Абрам Григорьевич Вишняк (1895—1944), друг И. Эренбурга и адресат эпистолярного цикла М. Цветаевой «Флорентийские ночи».[36] Издание «Эпопеи» было организовано под единоличной редакцией Андрея Белого. В трех номерах журнала, появившихся соответственно в апреле, сентябре и декабре 1922 г. и в четвертом номере, вышедшем в свет (с обозначением «Литературный сборник») в июне 1923 г., были опубликованы произведения А. Ремизова, Б. Пильняка, В. Лидина, А. Толстого, П. Муратова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, В. Шкловского и других, но преобладал среди авторов сам Андрей Белый, а его «Воспоминания о Блоке» занимали более половины объема в каждом выпуске «Эпопеи». В начале мая 1923 г. сотрудничество Белого и Вишняка обернулось конфликтом,[37] Белый заявил о прекращении редактирования «Эпопеи» (оповещение об этом — в четвертом выпуске), а поскольку издание осуществлялось исключительно благодаря энергии его редактора, то оно и не было продолжено.

В ретроспективном автобиографическом документальном своде «Ракурс к Дневнику» Белый указывает, что закончил 1-ю главу «Воспоми-

---

дальнейшей литературной работы. И как это ни странно, сама столь непрактичная, Марина через кого-то устроила Белому и квартиру, и стипендию и с радостью послала ему телеграмму. Но телеграмма опоздала: *в этот день Белый уехал... в Москву*» (*Гуль Роман*. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 1. Россия в Германии. М., 2001. С. 108—109).

[35] См. статью Т. Н. Красавченко о нем в кн.: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918—1940. Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 506—508. См. также: *Домогацкая Е. Г.* «Эпопея» (Берлин, 1922—1923). Роспись содержания // Stefanos: Памяти А. Г. Соколова. М., 2008. С. 349—355.

[36] См.: *Юниверг Л.* Абрам Вишняк и его издательство «Геликон» // Русское еврейство в Зарубежье: Статьи, публикации, мемуары и эссе / Сост., гл. ред. и изд. М. Пархомовский. Т. 1 (6). Иерусалим, 1998. С. 164—176.

[37] Ср. сообщение в письме Н. И. Петровской к О. И. Ресневич-Синьорелли от 10 мая 1923 г.: «Андрей Белый по какому-то пустяку поссорился с „Геликоном", пришел, наскандалил, назвал Вишняка „ах ты, издательская харя!" и редактирование бросил, — я полагаю, окончательно» (Русско-итальянский архив IX. С. 196).

наний о Блоке» в декабре 1921 г., 2-ю — в январе 1922 г., 3-ю — в мае и 4-ю — в октябре 1922 г.,[38] но, судя по отсутствию последующих указаний (всего в этой мемуарной версии девять глав), можно заключить, что под главами в данном перечне автор подразумевает выпуски «Эпопеи», каждый из которых включал две или три главы мемуаров. Берлинские «Воспоминания о Блоке» — наиболее развернутый, детализированный рассказ о взаимоотношениях двух поэтов, но и в нем история «дружбы-вражды» (по аттестации первого ее исследователя, Вл. Орлова[39]) не доведена до финальной точки: повествование обрывается на 1912 г. — на описании последней встречи Белого с Блоком в Петербурге перед отъездом за границу. Вся история общения Белого и Блока, — начиная с первого обмена письмами в январе 1903 г. и кончая блоковской смертью, — укладывается в 18 лет; в берлинских «Воспоминаниях о Блоке» освещены первые 9 лет, второй хронологический отрезок остался вне поля зрения мемуариста; впрочем, после 1912 г. личные встречи поэтов были эпизодическими и в целом их отношения приобрели иную тональность, утратили эмоциональную и психологическую насыщенность, вошли в своего рода латентную фазу.

Начатые несколько недель спустя после кончины поэта «Воспоминания о Блоке» несут на себе сильный эмоциональный отпечаток недавней утраты. Развернутому в книге мемуарному повествованию предшествовали поминальные речи и некрологические заметки, и заданная в них стилевая тональность во многом окрашивала реконструируемые картины былого. В этих выступлениях давалась высочайшая суммарная оценка творческой личности Блока и утверждался провиденциальный характер созданного им для судеб России. В кратком некрологе Блок обрисовывается Белым как цельный синтетический образ, воплощающий единую во множестве конкретных самовыражений теургическую, «жизнетворческую» идею: «Блок — национальный поэт; он — наш, любимый, единственный, несравнимый ни с кем из поэтов XX века, поэт страшных лет, *русских* лет (лет *страстных*); мы же — „*дети*" страшной России. Мы связаны с ним одною мыслью, одною, все тою же Музой: Россией. Он имел с Ней *свидания*: и *Она* ему — Мать, Невеста, Жена. ⟨...⟩ Стихотворения трех его томиков — листья единого древа, три ветви от цельного корня; он в них неделим. В „Незнакомке", в „Двенадцати",

[38] *Андрей Белый*. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 111 об., 112, 113 об., 114 об.

[39] См. его статью «История одной „дружбы-вражды"» в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка / Ред., вступ. ст. и коммент. Вл. Орлова. М., 1940. С. V—LXIV; *Орлов Вл.* Пути и судьбы. Литературные очерки. Л., 1971. С. 507—635.

в „Прекрасной Даме" и в „Скифах"; в единственном „Куликовом Поле" — единственный голос, все тот же, все той же единственной Музы — его ⟨...⟩. Блок именно потому Блок „*Куликова Поля*" и „*Скифов*", что он — Блок „*Прекрасной Дамы*", „*России*" ⟨...⟩ Три томика Блока — три акта единой мистерии-драмы ⟨...⟩».[40] Задача раскрытия цельного лика творчества Блока побуждала к прочтению и осмыслению этой «мистерии-драмы» во всех ее составляющих частях, в выявлении образно-символических рядов в их онтологическом содержании и в эволюции этого содержания. Еще в статье «Поэзия Блока» (1916)[41] Белый предпринял попытку очертить образные лейтмотивы и продемонстрировать наиболее значимые, сущностные черты целостного творческого мира поэта, и теперь он вновь предлагает аналогичные опыты интерпретации, перемежая мемуарное изложение пространными аналитическими этюдами, в которых лирическая стихия Блока предстает в динамике своего становления и развития. Проведенный Белым «анализ стихотворений, пьес и поэм Блока имеет, несомненно, самостоятельную научно-критическую ценность — как блестящий образец пристального чтения текста. В процессе этого чтения-интерпретации поэтический мир Блока сначала разлагается на мельчайшие атомы — вплоть до отдельных мотивов и звуков, — а затем воссоздается как новое целое, объединенное вокруг „центрового" образа поэта, вокруг „мифа сердца его" и „мифов, с ним связанных". Но при этом не вычленяет ли Белый из строк Блока лишь те повторяющиеся темы и сквозные мотивы, которые работают на нужный ему образ ⟨...⟩?»[42] На этот риторический вопрос исследователя, конечно, приходится ответить утвердительно: Блок, препарируемый и постигаемый Белым, — это, безусловно, Блок, не только воспринимаемый, но и отчасти порождаемый сознанием Белого, движущийся вместе с ним по пути посвящения, который для автора, пишущего воспоминания, вырисовывался как путь к самому себе под благословляющим знаком антропософии Рудольфа Штейнера.

В целом «Воспоминания о Блоке» Белого — в равной мере подробный мемуарный отчет о взаимоотношениях с покойным поэтом и опыт духовной автобиографии. Поскольку в юношеском творчестве и мировидении Белого и Блока налицо разительное сходство, соединение этих

[40] *Андрей Белый.* О Блоке. С. 443—444.

[41] Впервые опубликована в кн.: Ветвь. Сб. Клуба московских писателей. М., 1917. С. 267—283; вошла (под заглавием «А. Блок») в кн.: *Андрей Белый.* Поэзия слова. Пб.: Эпоха, 1922. С. 106—134. См.: *Андрей Белый.* О Блоке. С. 431—443.

[42] *Пискунова С. И.* О Блоке, о времени и — о себе // Андрей Белый. Собр. соч.: Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 9.

линий повествования оказывается вполне закономерным. Столь же закономерно выстраивание событийного ряда под знаком неких высших смыслов, отражающихся в череде биографических эпизодов, — смыслов, рождаемых переживаниями «эпохи зорь», мистико-романтического «жизнетворчества», прорицаниями Вл. Соловьева, софианскими откровениями, напряженным эсхатологизмом и т. д. Никто другой, кроме Андрея Белого, не мог бы передать во всей подлинности и органичности эту духовно-психологическую субстанцию. По следам первых поминальных выступлений Белого о Блоке в этой связи уверенно написал Ф. А. Степун, подчеркнувший, что они «представляют собою величайший интерес и по своему значению совершенно несоизмеримы со всеми остальными опубликованиями, связанными со смертью поэта»: «...широкими и одновременно очень интимными мазками пишет Белый атмосферу, в которой жил и творил Блок, атмосферу, в которой жил и творил он сам, которую он знает изнутри, как атмосферу своей жизни и своей судьбы. В этой историко-психологической атмосфере, которую Белый с большим мастерством сгущает под куполом своего философского построения о поэте, изумительно звучат, гулко резонируют все его слова об Александре Блоке. Тема же всех этих слов — раскрытие глубокого органологического единства всех образов и всех этапов творческого пути А. Блока. ⟨...⟩ Природа Блока, как революционера, как духовного максималиста, окончательно отрывается от всякой политической „злобы дня", превращается в высокий мистический строй».[43]

Некрологический отсвет, окрашивающий всю повествовательную фактуру «Воспоминаний о Блоке», предопределял характер изображения главного действующего лица. Блок не идеализируется Белым, но патетически возносится, выделяется из общего ряда современников как личность, наиболее тонко и глубоко чувствующая, переживающая, творящая. При этом дистанция между героем и автором стирается: изображенный в мемуарах с исключительной яркостью и мастерством Блок неизменно оборачивается ипостасью образа самого Белого, взгляд со стороны предстает интроспективным описанием, биографическая хроника — авторской исповедью. Субъективизм писательской оптики в «Воспоминаниях о Блоке» столь же последователен, как и в предшествовавших им «Записках чудака»; документальная достоверность в обоих случаях — лишь исходный набор деталей, требующийся для созидания прихотливого художественного строения, для демонстрации творческой воли

[43] *С⟨тепу⟩н Ф.* Андрей Белый об Александре Блоке // Шиповник: Сборники литературы и искусства. № 1. М., 1922. С. 177—178.

и фантазии сочинителя. Читателю «Воспоминаний о Блоке» придется немало потрудиться, если он задастся целью извлечь из повествовательного материала книги голую истину факта, но он будет вознагражден, отказавшись воспринимать текст Белого как недостоверную «хронику текущих событий» и доверившись его внутренней образной логике, приняв установку автора на манифестацию своего, сугубо авторского мемуарного самовыражения. Уникальное качество «Воспоминаний о Блоке» уловил в свое время их рецензент Э. Ф. Голлербах: «В мемуарной литературе Белый кладет основание новому, своеобразному и обособленному жанру: его воспоминания насквозь насыщены психологизмом, притом психологизмом почти фантастическим. Это значит, что Белый говорит не столько о душе Блока и не столько о своей душе, сколько о каких-то прикосновениях этих душ, о каких-то эманациях или флюидах, о впечатлениях, догадках и тревогах, неясных, смутных, еле уловимых. Чувствуется, как много „фантастики" в этих воспоминаниях. Если бы не доверие к Белому, если бы не глубокая уверенность в его совершенной искренности, можно было бы заподозрить его в желании создать „возвышающий обман"».[44]

Субъективно-«поминальная» общая установка «Воспоминаний о Блоке» предопределила и такую особенность книги, как смягчение многих конфликтных обстоятельств в истории взаимоотношений Белого и Блока и умолчание о многих из них. Прежде всего это касается освещения периода 1906—1908 гг., в биографии Белого прошедших под знаком его влюбленности в Л. Д. Блок и вызванных этим — сначала разделенным, затем отвергнутым — чувством тяжелейших внутренних переживаний.[45] Обострение личных отношений с Блоком в этот период сопровождалось для Белого неприятием новых тенденций в его поэтическом творчестве, которые он расценивал как «измену» общим мистико-теургическим идеалам юности, и усугублением собственно литературных разногласий, вызванных внутрисимволистской полемикой и враждебной поляризацией журнально-издательских кланов. Разумеется, Белый сразу после смерти Блока, когда были живы Л. Д. Блок и другие его близкие, еще не мог со всей откровенностью и во всех деталях живописать историю своего несостоявшегося «романа» и должен был ограничиться глухими намеками или констатациями фактов, глубинные причины которых оставались утаенными от читателя. Остроту литературных разногласий с Блоком он

---

[44] Россия. 1922. № 1. С. 30.

[45] См.: *Орлов Вл.* История одной любви // Орлов Вл. Пути и судьбы. С. 689—708; *Галанина Ю. Е.* Андрей Белый и Л. Д. Блок: К истории отношений // Андрей Белый в изменяющемся мире. С. 49—66.

также сглаживает, порою даже готов ретроспективно укорить себя и оправдать Блока в их идейных и ситуативных конфронтациях. На деле все обстояло гораздо резче и непримиримей; об этом свидетельствуют документальные материалы (в частности, переписка Белого и Блока) и воспоминания современников, которым нет оснований не доверять.

Так, Н. Валентинов в своих очень точных и достоверных в деталях мемуарах сообщает о Белом: «Раздражение против Блока (в 1907—1908 гг.) находило себе выражение в его отзывах о стихах, пьесах, статьях его прежнего друга. Когда он говорил о них с С. Соловьевым, Эллисом, я часто слышал такие слова: Блок „опять разразился пустотой", „опять кощунствует", „снова и снова лицемерит и двуличничает". Злоба так накатывала на него, что раз он завел со мной долгий разговор о Блоке, хотя знал, что Блока я видел мельком лишь раза два в жизни, им совсем не интересуюсь и подавно его интимною жизнью. Разговор, — правильнее сказать, яростная диатриба, являвшаяся как бы объяснением „покорнейшей просьбы" не смешивать его с Блоком, — поразил меня своим характером. Как только он начал говорить о Блоке, лицо его сразу изменилось, потемнело, глаза стали противными, белыми, видно было, что злоба в нем клокочет. Ни о ком другом — ни о Пильском, ни о Стражеве, ни о Бунине, ни о других, которых привык ругать, — он не говорил с таким остервенением. Я никак не могу передать всего, что от него услышал, тем более о сексуальных похождениях Блока: это совершенно нецензурно, и это язык проклинающего монаха».[46] Сам Белый в период разлада с Блоком, описываемый Валентиновым, готов был даже воспринимать былые глубоко доверительные отношения с поэтом как ложную, обманчивую близость. «Знаете ли вы, — писал он 19 декабря 1908 г. М. С. Шагинян, — как опасно пройти путь дружбы, не зная друг друга? У меня была когда-то одна переписка: два года, не будучи лично знакомы, переписывались мы с Блоком. Приблизились невероятно в *письмах*; но встретились (не знаю отчего) с самого *начала*; и начало навалилось ложью на уже пройденное: новое, ложное начало смешалось с верной серединой: пошли химеры — полуистины: и наши отношения провалились в кошмар».[47] Обрисовать этот «кошмар» в «Воспоминаниях о Блоке» Белый не берется; преклонение перед покойным поэтом побуждает его сглаживать все острые углы, переосмыслять на новый лад пережитые коллизии и былые высказывания: в частности, включая в текст мемуаров свои печатные отзывы о книгах

---

[46] *Валентинов Н.* Два года с символистами. С. 74.

[47] *Шагинян Мариэтта.* Человек и время. История человеческого становления. М., 1982. С. 242.

Блока, содержавшие резкие критические пассажи, он считает необходимым оговорить, что теперь не согласен ни с тоном, ни с содержанием этих рецензий.

Если при изображении Блока в берлинских мемуарах Белого доминирует тенденция к возвеличению личности поэта и любовной окраске его образа, то в портретах Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, в 1900-е гг. сыгравших в жизни автора не менее значимую роль, чем Блок, преобладает иное стремление — к переоценке старших духовных наставников в негативном ключе, к шаржированному, ироническому описанию. «Я слышала, что А. Белый издал воспоминания о Блоке, — писала З. Гиппиус С. П. Ремизовой-Довгелло 30 сентября 1922 г. — Не видала книги, но и не видав могу сказать, что наверно там половина вранья».[48] В данном случае писательница в очередной раз проявила присущую ей проницательность — безусловную, по крайней мере применительно к освещению и трактовке взаимоотношений Белого с четой Мережковских. Причина такого подхода мемуариста коренится прежде всего в его (и Блока) идеологическом размежевании с Мережковскими после Октябрьского переворота. Тогда З. Н. Гиппиус со всей резкостью выступила против «скифского» революционного максимализма обоих поэтов и напомнила им об ответственности, которую они должны нести за свою готовность покоряться разрушительной стихии и воспевать ее торжество.[49] Разрыв, происшедший в 1918 г., не был преодолен и в 1922 г., когда Белый касался своих встреч с Мережковскими в «Воспоминаниях о Блоке»; сохранилось свидетельство мемуаристки, подтверждающее, что в Берлине — и непосредственно в помещении издательства «Геликон» — он муссировал с предельной экзальтацией «сложные отношения с Гиппиус и Мережковским, с которыми раньше он был очень близок, потом разошелся, и которые теперь обвиняли его в „большевизанстве". „Зинаида Гиппиус, никогда ничего для народа не сделавшая, оплевывает нас, попав за границу!" — кричал он, взмахивая пушистыми седыми волосами. И еще: „Мережковский бежал из России. От большевиков ли? Не от рабочих ли, крестьян, красноармейцев, матросов, протягивающих руки за хлебом духовным?" Его „Воспоминания о Блоке" ⟨...⟩ были отчасти и сведением счетов с Мережковскими. Их Белый не щадил — особенно его: „туфельки с помпонами", в которых Мережковский расхаживал по комнате, в представлении читателя незаметно становились

[48] Wiener slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 175. Публ. Хорста Лампля.

[49] См. письмо З. Н. Гиппиус к Белому от 1 сентября 1918 г. (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 480).

символом всей литературной деятельности, всех „псевдо-философских бескровных схемочек", которые Мережковский „клеил", не покидая своей квартиры в доме Мурузи, „в роскошных уютах просторного кабинета", как выражался Белый».[50] Аналогичная негативная тенденция прослеживается и в интерпретации Белым образа Валерия Брюсова: в данном случае сказался незаглаженный конфликт десятилетней давности, возникший в связи с отказом журнала «Русская мысль» (представителем которого выступал тогда Брюсов) публиковать роман Белого. Примечательно, что после встречи и примирения с Брюсовым летом 1924 г. в Коктебеле, происшедших незадолго до его смерти, Белый написал о нем большую некрологическую статью, в которой воссоздал покойного поэта в тех же возвышенных тонах, в которых повествуется о главном герое «Воспоминаний о Блоке».[51]

Таким образом, субъективная палитра используется не только в самом методе мемуарного изложения, но и в характере обрисовки современников, оказавшихся в поле зрения автора. Восстанавливая в хронологической последовательности историю своих взаимоотношений с Блоком, Белый неизбежно должен был вовлекать в свой рассказ других лиц, имевших прямое или косвенное касательство к этим отношениям, а также не мог отказаться от изображения фона, на котором эти отношения развивались. Поток воспоминаний выплескивался за рамки строго очерченной темы, взывал к выведению на авансцену тех героев и событий, которые с личностью Блока впрямую не соотносились. Белый осознавал опасность децентрализации развертываемого мемуарного сюжета и даже ввел (в главе восьмой — «Вдали от Блока») голос протестующего читателя: «...какие это воспоминанья о Блоке? Где Блок? Проходят — кружки, общества, люди. О Блоке — молчание: Блок появляется издали молчаливой фигурою, о которой автор высказывает то, иль это; и, высказав, снова пускается в характеристику людей, не имеющих прямого касания к Блоку».[52] Подготовив девять глав «Воспомина-

---

[50] *Каннак Евг.* Воспоминания о «Геликоне» // Русская мысль. Париж, 1974. № 2982, 17 января. С. 8.

[51] См.: *Андрей Белый.* Валерий Брюсов // Россия. 1925. № 4. С. 263—280.

[52] *Андрей Белый.* О Блоке. С. 335—336. Ту же особенность «Воспоминаний о Блоке» отметил А. В. Бахрах в рецензии на 3-й выпуск «Эпопеи»: «И чем больше погружается Белый в свою работу ⟨...⟩ — тем все интенсивнее и сгущеннее вливается в нее фактический материал и все больше перерастает она сравнительно узкую тему „воспоминаний о А. А. Блоке". Становится подлинной *эпопеей,* где сам Блок уже почти что деталь, история российского символизма и движение его в годах ⟨...⟩ лишь быстро мелькающие узорчатые пятна огромного, начертанного Белым, полотнища» (Новая русская книга. 1923. № 1. С. 21).

ний о Блоке» для «Эпопеи» и доведя повествование до 1912 года, Белый, по сути, почти исчерпал собственно мемуарную сторону своей темы: не отраженное в этих главах последнее десятилетие жизни поэта для него проходило в основном «вдали от Блока», и, следовательно, дальнейший, пусть даже и ускользающий, «блокоцентризм» при сохранении избранного типа освещения событий соблюсти бы уже никак не удалось. В последующих главах «Воспоминаний о Блоке» главный герой мог оказаться второстепенной фигурой.

Как уже попутно отмечалось, в Германии Белый поддерживал тесные дружеские отношения с В. Ф. Ходасевичем и Н. Н. Берберовой, они встречались часто (Берберова в своих мемуарах приводит листок «Встречи с Белым»: всего их было 109 в период от июля 1922 по сентябрь 1923 г.[53]) и предельно доверительно. О зиме 1922/1923 г., проведенной в Саарове под Берлином, где жил М. Горький с семьей и куда регулярно наведывался Белый, Берберова вспоминает: «Борис Николаевич гостил у нас часто ⟨...⟩ и писал, а вечерами читал нам вслух написанное. Да, я слышала в его чтении эти страницы воспоминаний о Блоке, я имела это высокое, незабываемое счастье. Бывало, до двух часов ночи он читал нам, сидя за столом, в своей комнате, по черновику, а мы сидели по обеим сторонам его и слушали. И один раз я помню, как я легла на его кровать, это было вечером 1 января, накануне была встреча Нового года у Горького и я легла в пять часов утра, а днем мы гуляли втроем по снежным дорожкам Саарова. Я легла на его кровать и, пока он читал, уснула. Мне было стыдно сказать, что я была не в силах бороться со сном, попросить его прервать чтение, отложить на завтра. Я заснула крепким сном и временами, сквозь сон, слышала его голос, но не могла проснуться. Ходасевич поблескивал очками, обхватив руками худые колени, покачиваясь, внимательно слушал. Это были главы „Начала века".

— Какое придумать название к этой части? — беспокойно спрашивал нас Белый несколько дней подряд.

— „Начало века", — как-то сказала я случайно, и так он и сделал».[54]

Та же история возникновения из «Воспоминаний о Блоке» новой книги — в изложении Ходасевича (очерк «Андрей Белый»): «С сере-

[53] *Берберова Н.* Курсив мой. С. 188—189. Подсчеты Берберовой соотносимы с подневными записями В. Ф. Ходасевича: за тот же период его общение с Белым зафиксировано в записях, охватывающих 97 дней (см.: *Ходасевич Владислав.* Камер-фурьерский журнал. ⟨М.⟩, 2002. С. 25—52).

[54] *Берберова Н.* Курсив мой. С. 191—192.

дины ноября я поселился в двух часах езды от Берлина. Белый приезжал на три, на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким-то чудом работал — чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец остановились на том, которое предложила Н. Н. Берберова: „Начало века"».[55]

К развертыванию вширь первоначального мемуарного замысла Андрей Белый приступил непосредственно после завершения в октябре 1922 г. последних глав «Воспоминаний о Блоке» для четвертого выпуска «Эпопеи». В его ретроспективных записях о декабре 1922 г. значится: «...начинаю переработку „Восп⟨оминаний⟩ Блока ⟨sic!⟩" в Первый том „Начала Века". Работа — медленная».[56] Последнее определение не согласуется с темпами, которыми шла в дальнейшем работа над книгой: январь 1923 г.: «Кончаю первый том „Начала Века"»; февраль: «Пишу второй том „Начала Века"»; март: «Пишу 2-й том „Начала Века". И — кончаю».[57] К написанию 3-го тома Белый приступил в апреле 1923 г. и завершил работу в июне: «...разом, единым махом ⟨пишу⟩ почти весь III том „Начала Века". 3 тома готовы».[58] Такая стремительность была обеспечена прежде всего тем, что основу новой мемуарной книги составили опубликованные в «Эпопее» главы «Воспоминаний о Блоке». В автобиографических заметках более общего характера Белый зафиксировал: «*1923 год.* С января до июля старательнейше перерабатываю материал „*Воспоминаний о Блоке*" в 3 тома „*Начало Века*" (не напечатаны: 75 печ. листов)».[59] В «Описи архива А. Белого», составленной при передаче архива в 1932 г. в Государственный Литературный музей, говорится о характере предпринятой переработки: «Блок стал лишь предлогом к воспоминаниям. Вся переработка пошла в сторону интимных воспоминаний».[60] В печати в 1923 г. появилось сообщение о том, что Андрей Белый «перерабатывает для отдельного издания „Воспоминания о Блоке" ⟨...⟩ Воспоминания составят большой труд,

---

[55] *Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 62.
[56] *Андрей Белый.* Ракурс к Дневнику. Л. 115.
[57] Там же. Л. 115 об.
[58] Там же. Л. 116.
[59] РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 98.
[60] *Бугаева К., Петровский А., ⟨Пинес Д.⟩.* Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 614.

который выйдет в свет в 4 томах под заглавием „Блок и его время"».[61] Указанное заглавие не менее адекватно соответствовало содержанию книги, чем то, которое, по предложению Берберовой, предпочел Белый.

Содержание «Воспоминаний о Блоке» было инкорпорировано в «Начало века» практически в полном объеме, причем многочисленные фрагменты и целые главки включались в новый текст без каких-либо изменений. Тем самым «Начало века» во многом сохранило «блокоцентризм» исходной книги, из которой в развернутую мемуарную версию перешли даже разделы, посвященные анализу лирики Блока, — интерпретации поэтических текстов, с воспоминаниями собственно никак не соотносящиеся. Главной творческой установкой Белого в данном случае стало разворачивание фона, на котором в «Воспоминаниях о Блоке» вырисовывались эпизоды взаимоотношений двух поэтов, в подробно выписанные картины минувшей литературной эпохи; это задание включало в себя и создание тщательно выписанных портретов современников (или «силуэтов», как в 1900-е гг. определял Белый жанр своих очерков о встречах с примечательными людьми). Были введены в мемуарную ткань и аналитические фрагменты, в которых Белый развивал свою ретроспективную апологию символизма, в трактовках 1923 г. получившую дополнительный импульс от антропософии Штейнера.

После разрыва с А. Г. Вишняком вопрос о публикации мемуарной книги в «Геликоне» отпал сам собою, и Белый передал «Начало века» в «Эпоху». Это издательство было основано в конце 1921 г. в Петрограде, где его возглавлял Е. Я. Белицкий, с которым Белый был связан добрыми отношениями (Белицкий был женат на сестре Софьи Гитмановны Каплун, деятельной «вольфилки» и близкой приятельницы Белого). В начале 1922 г. отделение «Эпохи» открылось в Берлине, его возглавил журналист и политический деятель (меньшевик) Соломон Гитманович Каплун (псевдоним — Сумский; 1891—1940), брат С. Г. Каплун и Бориса Гитмановича Каплуна, деятеля большевистской партии, сотрудника управления Петроградского Совета. Белый в 1922 г. тесно общался с С. Г. Каплуном-Сумским в Берлине и на летнем отдыхе в Свинемюнде.[62] Близость писателя к руководителям издательст-

[61] Новая русская книга. 1923. № 3/4. С. 49.

[62] А. М. Ремизов в мемуарном очерке «Цвофирзон», входящем в его сборник «Мерлог», приводит слова С. Г. Каплуна-Сумского о Белом: «...завязалась между нами самая тесная дружба. Летом мы жили вместе на взморье в Свинемюнде, вместе купались, танцевали фокстрот „под Ходасевича" и увековечили нашу дружбу на семейной карточке трех видов: вплавь, на пляже и с Гржебиным». «Дружба Соломона Каплуна с Андреем Белым, — добавляет Ремизов, — продолжалась и после купанья. Вернулись они в Бер-

ва наглядно воплотилась в практической плоскости: в 1922 г. в Петрограде «Эпоха» выпустила в свет три книги Белого — «Котик Летаев», «О смысле познания», «Поэзия слова», а в Берлине — пять: «Глоссолалия. Поэма о звуке», «Петербург» (ч. 1—2), «Серебряный голубь» (ч. 1—2), «Стихи о России», «После разлуки. Берлинский песенник». Естественно было ожидать, что за этими изданиями последуют и тома «Начала века».

Первый том мемуарной книги был набран, существовал в матрицах, но до выхода в свет не дошел. Издательство «Эпоха» потерпело финансовый крах, вполне объяснимый общим экономическим положением Германии в ту пору, вследствие которого Берлин, оказавшийся в начале 1920-х гг. своего рода столицей Русского Зарубежья, утратил свой статус: его насельники устремились кто в Париж, кто в Прагу, кто в Америку, немногие — обратно в Россию. О размерах катастрофы можно судить по цифровым данным, приводимым Р. Б. Гулем: «24 августа 1922 года за один американский доллар в Германии платили 1972 марки, а в 1923 году один доллар в Германии стоил 150 *миллионов* марок, за фунт же стерлингов в 1923 платили от 32 до 50 *биллионов* немецких марок».[63] Не удивительно, что в этих условиях «Эпоха» не смогла опубликовать книгу Белого; удивительно другое — что она не сумела сохранить ни текст, переданный автором для публикации, ни гранки набора.

В сводном указателе «Написанные и ненапечатанные рукописи Андрея Белого», им самим составленном, значится:

«*Начало Века*». (Эпоха от 1901 до 1912 годов).

Том I-ый (эпоха раннего символизма).
Том II-ой (1905—1908 годы).
Том III-ий (1908—1912 годы).

Автор думал написать 5 томов, доведя повествование до 1921 года. В четвертом томе он намеревался дать очерк быта Европы, а также и духовных течений Европы пред войной и в первые годы войны; там

лин вместе — ехали в одном вагоне. Вместе ночевали в „Эпохе". Всюду, где появлялся Соломон, мелькал и Белый. Их видели неразлучно в ревире, в вонунгсамте, в полицейпрезидиуме на Александерплац. И Андрей Белый, когда его куда звали, беспомощно повторял одно и то же: „Как Соломон Гитманович!"» (*Ремизов А. М.* Неизданный «Мерлог» / Публ. Антонеллы д'Амелиа // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 3. Paris, 1987. С. 220).

[63] *Гуль Роман.* Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 1. Россия в Германии. С. 350.

должна была ⟨быть⟩ очерчена фигура Рудольфа Штейнера приблизительно так, как в предыдущих томах очерчен Блок. Том должен был обнимать эпоху 1912—1916 годов. В пятом томе автор хотел зарисовать революционную эпоху (1917—1921 годы).

Но по независящим от автора обстоятельствам были написаны лишь 3 тома, обнимающие от 70 до 75 печ. листов. Но и эти томы, долженствовавшие выйти в издательстве «Эпоха» (Берлин), постигла неудача. Первый том был набран в Берлине в 1923 году. Он существует в матрицах. Но вследствие «*краха*» издательства и перепродажи им рукописи другому издательству (уже после отъезда автора в Россию) у автора не осталось рукописи этого тома; при всем усилии вернуть ее — вследствие неряшливого отношенья «*наследников*» издательства «*Эпоха*» к праву автора — автору не удалось получить имевшихся гранок набора.

Второй том находится у Р. В. Иванова.

Ремингтон третьего тома находится у автора.[64]

Далее следует роспись оглавления третьего тома «Начала века» — единственного, остававшегося в распоряжении Белого ко времени составления указателя (видимо, 1927 г.). Второй том, хранившийся на тот момент у Р. В. Иванова-Разумника, был, по всей вероятности, впоследствии возвращен автору. В сохранившейся части архива Иванова-Разумника нет ни автографа, ни машинописи второго тома «Начала века». При этом следует подразумевать, что ко времени сдачи машинописи «Начала века» на архивное хранение текст второго тома был неполным — не было его начальной части, о судьбе которой нет ясных и внятных указаний: «Пропала и половина второго тома, и в архиве имеются лишь вторая половина второго тома и целиком третий том».[65]

В имеющемся тексте «берлинской» редакции «Начала века» описание событий начинается с лета 1904 г. — со второй половины июля, когда Белый возвратился из поездки к Блоку в Шахматово. В утраченных частях книги, безусловно, прослеживались те вехи взаимоотношений с Блоком, которые были обозначены в первых трех главах воспоминаний, опубликованных в «Эпопее»: обстоятельства, предшествовавшие знакомству Белого с Блоком и подготовившие его; завязавшееся в январе 1903 г. эпистолярное общение поэтов и темы их переписки; личное знакомство с Блоком и Л. Д. Блок в январе 1904 г. и описание их двух-

[64] РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 31.

[65] *Бугаева К., Петровский А., ⟨Пинес Д.⟩.* Литературное наследство Андрея Белого. С. 615.

недельного пребывания в Москве; поездка Белого и А. С. Петровского в Шахматово в середине июля 1904 г. Правомерно предположить, сравнивая текст «берлинского» «Начала века» с его прототекстом — «Воспоминаниями о Блоке», что большие фрагменты последнего перекочевали в новую книгу без существенных изменений, поскольку в них связанные с Блоком биографические ситуации воссозданы с надлежащей подробностью и полнотой.

Для воображаемой реконструкции того, что содержалось в утраченных главах помимо «блоковского» сюжета, может помочь обращение к позднейшей мемуарной версии — так называемой «московской» редакции «Начала века», опубликованной отдельным изданием незадолго до смерти автора, в ноябре 1933 г. Надо полагать, что, работая над этой книгой, Белый стремился создать некий аналог своей одноименной книги 1923 года: событийный ряд в них обеих всецело предопределялся подлинными биографическими обстоятельствами и не подлежал существенной корректировке; изменения по сравнению с «берлинской» интерпретацией былого диктовались лишь стандартами, которым должно было подчиняться творчество «советского писателя» и которые насаждали другую иерархическую систему ценностей, никак не соответствовавшую системе ценностей Белого — берлинского эмигранта, «мистика» и антропософа. Исходя из этого допущения, мы можем предположить с достаточной долей уверенности, что первый том «берлинского» «Начала века» и начало второго тома этой книги включали подробный рассказ об обстоятельствах юношеского духовного и творческого становления Белого, о семействе М. С. и О. М. Соловьевых, сыгравшем в этом становлении значительную роль; о литературном дебюте автора — «Симфонии (2-й, драматической)» и вхождении его в символистскую литературную среду; о первых встречах с В. Я. Брюсовым, а также с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус; об оформлении вокруг Белого кружка «аргонавтов» и об идеях и стремлениях, объединявших участников этого кружка; о друзьях и единомышленниках автора — С. Соловьеве, А. Петровском, Эллисе и т. д. Те жизненные коллизии, о которых в «Воспоминаниях о Блоке» речь не заходила или было упомянуто мимоходом, в утраченных главах «Начала века», безусловно, представали в форме развернутого, психологически насыщенного, детализированного, эмоционально окрашенного рассказа — в полном соответствии с теми сохраненными для читателя «новыми» разделами, которыми был наращен текст, ранее опубликованный в «Эпопее».

Авторская работа над «берлинской» редакцией «Начала века» включала в себя три основных элемента: введение в новую книгу фрагментов

«Воспоминаний о Блоке» без каких-либо существенных изменений; введение этих фрагментов в более или менее радикально переработанном виде (основная тенденция — к более подробному отражению образов и ситуаций, проходящих в первичной мемуарной версии фоном повествования); написание новых фрагментов, не имеющих себе аналогов в исходном тексте. Белый при этом стремился к соблюдению единой стилистической гаммы, гарантирующей генетически «лоскутному» материалу художественную цельность. Такая установка была достаточно успешно реализована, однако при внимательном рассмотрении «новых» глав и отрывков нельзя не заметить усилившейся по сравнению с исходным текстом «Воспоминаний о Блоке» склонности автора к языковым экспериментам — к форсированному употреблению неологизмов, редких областных, диалектных слов (в значительной части почерпнутых из словаря Вл. Даля), к усложненным синтаксическим конструкциям. Зачастую это речетворчество замещает собою нормативный лексико-синтаксический строй, как например при описании будничной жизни в издательстве «Мусагет»: «...образовалися сростени человеческие: здесь — посидельня; там — стойня людей, посторонних; бывало, они: мелелякают — телелякают — талалакают: требушат ⟨...⟩ И чащели звонки: то — миглявец с тетрадкой, сигач по редакциям (много таких сигачей): он — и здесь, он — и тут; ходит рюмой; средь плевел, бывало, сидит Киселев: лицо — серпиком; выкрякнет что-то о плане издания Якова Бёме; и А. С. Петровский цветет центифольной розой; в углу — С. Бобров; перебросчиво словом он сцепится с Эллисом; все-то секретничает малоплечий распросливый Машковцев, тихо лаская рукой подбородок; сидит сердоболенкой; тут же хрипит с Кожебаткиным и — выедень зуба покажет; и любы ему пережуи словес, обсужденья шрифтов» — и т. д. (гл. 9-я, главка «Оскалилось!..», с. 611—612 наст. изд.). В «Воспоминаниях о Блоке» еще нет подобных описаний, — а если и встречаются «ненормативные» слова и словосочетания, то не в таком густом наборе, — однако стилевой строй, сходный с продемонстрированным, станет доминирующим в романе «Москва» (1925), следующем после «берлинского» «Начала века» крупном прозаическом произведении Андрея Белого. «Это уже не просто „орнаментальная проза" — это совершенно особый словесный план, это своего рода выход за пределы словесных тональностей: нечто по основным принципам аналогичное новой музыке, — писал о «Москве» Б. М. Эйхенбаум. — ⟨...⟩ Вы оказываетесь в совершенно своеобразной, чисто словесной атмосфере, которая кажется неразложимой. Откровенно метризованная (даже в диалоге!), проза эта, насыщенная новообразованиями и всевозможной

словесной игрой, кажется абсолютно в себе замкнутой — абсолютным словом».[66]

Поскольку «берлинская» редакция «Начала века» во многом соответствует приведенным аттестациям, правомерно говорить о совершенно особом, уникальном типе мемуарного повествования, отличающем опыты Белого в этом жанре от произведений других писателей. Суть не только в том, что авторское «я» в мемуарных книгах Белого неизменно остается в центре и порождает сугубо индивидуализированную манеру письма, посредством которой вырисовываются портреты «других», но и в особом, динамическом, ритмизованном характере рассказа, являющемся его главной стилевой приметой (при этом сквозная ритмизация иногда вбирает в себя даже рифмующиеся фрагменты, как в главке «Опять Минцлова» (гл. 9-я): «...я, распластавшися на суку, — смотрю вниз; и — подречная рыба проходится темной полоской по светлому месту; и реченька — вечная, реченька — течная: с зыбкою — струйною, с рыбкой — подструйною» (с. 588 наст. изд.)). Если попытаться найти изобразительное подобие образу автора, выстраивающего текст «Начала века», лучше всего, на наш взгляд, эту функцию выполнит силуэт Е. С. Кругликовой, изображающий Белого во время публичного выступления на сцене: содержание своей речи писатель не только проговаривает, но и вытанцовывает; созидаемое им — звучащий текст, реализуемый посредством ритмического жеста и приобретающий дополнительные смысловые обертоны благодаря жесту. Словесный ряд мемуаров Белого, как и многих других образцов его художественной прозы, подчинен жесту; ритмическая организация текста переводит его в иное измерение, способствует передаче тех сокровенных намеков и смыслов, которые открывались писателю в «начале века» и которые он стремился вновь уловить и воплотить годы спустя. Примечательно, что ученица Белого и профессиональный этнограф Н. И. Гаген-Торн воспринимала его «как великого шамана верхов культуры XX века»: «Он — маг. Он зачаровывает себя и других, взлетая в надсознательное из подсознательного, минуя линейный ход мысли. ⟨...⟩ Безразлично: камлает ли шаман в дымном чуме, звеня металлическими подвесками и ударяя в бубен, взлетает ли у кафедры гибкая фигура в сюртуке и поднимает руки, гремя голосом о других мирах, которые подступают, — все равно это теургия, как и таинство египетского жреца или индийского посвященного. Это прорыв в иные сферы сознания».[67]

---

[66] Красная газета. Веч. вып. 1926. № 273, 18 ноября; Андрей Белый: pro et contra. С. 756.

[67] Запись от 29 октября 1973 г. (*Гаген-Торн Нина*. Иероглиф и знак векам. М., 2013. С. 106).

Р. В. Иванов-Разумник в примечаниях к своей переписке с Андреем Белым сообщает, что по возвращении из Берлина в Москву тот «собирался в 1923—1924 гг. писать тт. IV и V „Начала века”, но этого своего намерения не осуществил».[68] Отказаться от этого замысла Белого побудило, конечно, осознание полной бесперспективности дальнейшей работы над книгой, обреченной оставаться неизданной в советских условиях. Широкая панорама литературной жизни 1900-х гг., воссоздававшаяся в «Начале века» одним из самых даровитых и самых деятельных ее участников, опровергала уже самим фактом своего существования все те уничижительные оценки и приговоры, которые ей выносились большевистскими идеологами. К тому же в отношении «Воспоминаний о Блоке» высказался директивно и совершенно однозначно Л. Д. Троцкий: мемуары Белого «заставляют удесятеренно почувствовать, до какой степени это люди другой эпохи, другого мира, прошлой эпохи, невозвратного мира».[69] Когда в 1928 г. историк русского символизма и издательский работник П. Н. Медведев обратился к Белому с предложением опубликовать «Начало века», тот принужден был указать (в ответном письме от 10 декабря 1928 г.) на неосуществимость такого намерения — как по внешней причине (утрата первого тома), так и по существу содержания книги — объективно-описательного, по его мнению, контрастирующего с требуемым «тенденциозным»: «В „Начале века” я старался писать исторически, зарисовы⟨ва⟩я людей, кружки, устремления, не мудрствуя и не деля людей на правых и виновных — такими, какими они были до 12-го года; и свои отношения к ним старался рисовать такими, какими они были в 12-м году. Современность ставит требования „тенденциозности”, а не „летописи”; после 17-го года ряд людей, мной описанных, попал за границу. В первоначальном плане „Начало века” должно было состоять из 5 томов в сто двадцать пять печ. листов (75 листов было написано); 3 тома рисовали историю литер⟨атурной⟩ культуры в живых деятелях до 12⟨-го⟩ года; 4-й том должен был быть посвящен тому, что я видел на западе и чему учился в эпоху 12—16⟨-го⟩ года. А пятый том — русской революции. Вернувшись в Россию, я увидел, что такого рода „объективные” труды никого не интересуют. И продолжать свое *„былое и думы”* — бросил».[70]

Предложение Медведева, однако, не было исчерпано и отвергнуто этим разъяснительным посланием, оно стимулировало Белого к началу работы над новым мемуарным циклом, уже не тяготеющим исключи-

[68] Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 251.
[69] *Троцкий Л. Д.* Литература и революция. М., 1923. С. 35.
[70] *Лавров А. В.* Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 454.

тельно к «объективности» (а по сути — к последовательной субъективности авторского высказывания), а учитывающим нормативы «тенденциозности». Так возникла его мемуарная трилогия, включающая «Начало века» в «московской» редакции 1930—1932 гг. Даже в сохранившейся части «берлинское» «Начало века» по широте охвата материала, тщательности воспроизведения пережитой эпохи, изыскам сугубо авторской палитры, подробности и искусности литературного портретирования не уступает позднейшей, «советской» мемуарной версии, а по степени верности исторической правде, соответствия смыслу и внутренней логике описываемых явлений и событий и, главное, по степени искренности и адекватности самовыражения Андрея Белого выгодно от нее отличается. Подменить собою мемуарную трилогию «Началу века» 1923 г. не суждено, но восполнить и скорректировать ее — удастся безусловно.

ОБОСНОВАНИЕ ТЕКСТА

«Берлинская» редакция книги Андрея Белого «Начало века» представлена машинописным текстом глав 4, 5 (том II), 8, 9, 10-й (том III). Текст (машинопись по новой орфографии, выполненная, согласно помете К. Н. Бугаевой, в 1928 г.) сохранился в трех личных архивных фондах Андрея Белого.

I. РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 25 (гл. 4-я, 5-я), 26 (гл. ⟨8-я⟩), 27 (гл. 9-я, 10-я). Наиболее полный состав текста. Сдан автором в 1932 г. вместе с другими материалами личного архива В. Д. Бонч-Бруевичу для Государственного Литературного музея, откуда впоследствии передан в РГАЛИ. К тексту приложены следующие пояснительные записки Андрея Белого (Ед. хр. 25. Л. 1, 3, 4—4 об.):

«Вторая половина 2-го тома „*Начала века*". 246 страниц»;

«Вторая половина трехтомия „*Начало века*" (берлинская редакция 1921—1922 годов, позднее сильно переработана в 1930 году последняя редакция: выйдет в „*Гихле*" в 1933 году).

Автор считает эту раннюю редакцию ненапечатанной рукописью.

810 страниц»;

«„*Начало века*" задумано как многотомие воспоминаний типа „Былое и думы". Началом воспоминаний послужили „*Воспоминания о Блоке*", напечатанные в берлинском журнале „Эпопея" (№ 1, 2, 3, 4). Эти воспоминания, радикально переработанные и сильно расширенные, составили трехтомие „Начало века" (75 печ. листов), написанное в Берлине; уезжая из Берлина в 23-м году, я отдал материал издательству „Эпоха"; первый том был набран; но после моего отъезда из Берлина издательство кончилось; и о дальнейшей судьбе рукописи не знаю; два ненабранных тома я получил в Москву; $^1/_2$ потеряна, частью использована для „Начала века" очень сильно переработанной.

Данный материал (1/2 второго тома и 3-й том) составляют 826 ремингтонных страниц. Они гораздо (почти вдвое) обширней той сильно переработанной редакции, которую я сдал „Гихлу" в 1930 году.

А. Белый».

Еще одно указание Белого — применительно к гл. 9—10-й: «*Главы девятая и десятая*. Автор отдает их Гос. Музею с условием, что до смерти автора эти главы не будут даны в общее пользование» (Ед. хр. 27. Л. 1).

II. РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 11 (гл. 4-я, 5-я), 12 (гл. ⟨8-я⟩), 13 (гл. 9-я), 14 (гл. 10-я). Тот же общий состав текста, но отсутствует около двух десятков машинописных листов, изъятых, видимо, в ходе подготовки позднейшей мемуарной версии «Начала века». Ряд листов — с позднейшей черновой автографической правкой (в ходе работы над указанной позднейшей версией мемуаров). В публикуемом тексте эта правка не учитывается.

III. Фонды Мемориальной квартиры Андрея Белого на Арбате (Отдел Гос. музея А. С. Пушкина). Гл. ⟨8⟩, 9, 10-я. Машинописный экземпляр, принадлежавший К. Н. Бугаевой; ее рукой составлены перечень главок и нумерация страниц.

Автограф указанных глав книги (1923 г. — по старой орфографии) не выявлен. Наиболее вероятно, что он был изъят органами госбезопасности (в ночь с 8 на 9 мая 1931 г. в московской квартире Васильевых, где хранилось имущество Белого, был произведен обыск и был конфискован сундук с его рукописями и другими архивными материалами[1]) и позднее не возвращен владельцу (ходатайства Белого о возвращении архива были удовлетворены лишь частично; как сообщал он в письме к Г. А. Санникову от 27 июля 1931 г., «получил-таки сундук, но без ряда рукописей»[2]). Ни один из трех указанных выше машинописных текстов книги не был тщательно сверен и исправлен по автографу. Машинопись изобилует опечатками и прочими дефектами, исправление которых оказывается в ряде случаев проблематичным, — поскольку для стиля Белого характерны нетривиальный пунктуационный режим и столь же нетривиальные синтаксические сочетания, а также широкое употребление неологизмов и редких областных слов (по большей части заимствованных из «Толкового словаря живого великорусского языка» Вл. Даля). Отделить случаи механической порчи текста от индивидуальных авторских решений иногда затруднительно, равно как и выявить слова, неправильно прочитанные в автографе и соответственно воспроизведенные при перепечатке. Весьма вероятно и неразличение при перепечатке близких друг другу словоформ, правильное воспроизведение которых значимо для сохранения авторской ритмической структуры текста. На необходимость в подобных случаях в точности сохранять авторские написания неоднократно указывал сам Белый; ср., например, его письмо к С. М. Алянскому от 28 февраля 1919 г.: «...очень часто наборщики меняют окончания слов: вместо „казалось" набирают „казало*ся*" (и обратно), мно*ю* = мно*й*, по*с*редине = по*се*редине и т. д. Между тем: я ставлю то „*казалось*", то — „казало*ся*", в зависимости от *ритма*; один „ерик" или „*я*" разруша-

---

[1] См. письмо Андрея Белого к М. Горькому от 17 мая 1931 г. и три его заявления в Коллегию ОГПУ от 26 июня, 1 июля и 10 июля 1931 г. (Из «секретных» фондов в СССР / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 12. Paris, 1991. С. 349—361).

[2] Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка. 1928—1933 / Сост., предисл. и коммент. Д. Г. Санникова. М., 2009. С. 41.

ет целый ритмический период; в одном случае ставлю „*посередине*", в другом „*посредине*"... Самые ужасные опечатки для меня те, где сознательно для ритма поставленное казало„*ся*" превращается наборщиком в казало„*сь*" (ему невдомек, что его „*ерик*" проваливает меня как автора, создавая ритмический „ухаб"〈...〉».[3]

Учитывая все эти обстоятельства, приходится сделать неутешительный вывод о том, что при публикации «берлинской» редакции «Начала века» безусловная аутентичность текста, полное его соответствие авторской воле представляются недостижимыми — в том числе и потому, что в тексте во множестве случаев не восстановлены написания, пропущенные при перепечатке (сделанные в латинском алфавите или неразобранные в автографе). Такие фрагменты обозначаются тройными тире в ломаных скобках: 〈— — —〉; также в ломаных скобках дается предположительное чтение: 〈credo〉; при воспроизведении сомнительных фрагментов, не поддающихся однозначному исправлению, ставится редакторская помета 〈так!〉.

В авторском указателе «Написанные и ненапечатанные рукописи Андрея Белого» дана роспись содержания тома III («1908—1912 годы») «Начала века», при этом пояснено: «В рукописи „*части*" названы „*главами*"; но я предпочитаю их назвать „*частями*"; таких частей в трех томах 10».[4] Гл. 8-я обозначена в этом указателе как «Часть I-ая. Москва эпохи 1907—1908 годов», гл. 9-я — «Часть II-ая. „Сказка" пути», гл. 10-я — «Часть III-я. У второго порога». Главки, составляющие соответственно содержание глав 8—10-й, в указателе названы главами и пронумерованы (ч. I — 11 глав, ч. II — 6 глав, ч. III — 13 глав). Поскольку, однако, соответствующие исправления не внесены ни в один из трех машинописных текстов книги, мы не сочли возможным сделать их в публикуемом тексте.

В том же указателе содержание тома I «Начала века» раскрыто как «эпоха раннего символизма», содержание тома II — «1905—1908 годы». В сохранившейся части тома II представлены главы 4-я и 5-я. Позволительно заключить, что отсутствующая глава 3-я представляла собой аналог главы 3-й («Шахматово») «Воспоминаний о Блоке» (вторая главка главы 4-й «Начала века» — «После Шахматова» — совпадает по тексту с главкой «Жизнь в Москве», открывающей главу 4-ю «Воспоминаний о Блоке»). Соответственным образом том I «Начала века» составляли главы 1-я и 2-я, вобравшие в себя содержание аналогичных глав «Воспоминаний о Блоке», а также, безусловно, включавшие дополнительные разделы, расширявшие повествование до описания и осмысления всей «эпохи раннего символизма».

Поскольку, согласно приведенному выше указанию Белого, в трех томах «Начала века» имеются 10 частей (глав), причем в тома I и II входят главы 1—5-я (в архивах представлены только главы 4-я и 5-я), обращает на себя внимание

---

[3] Андрей Белый и С. М. Алянский: Переписка / Предисл. и публ. Джона Малмстада // Лица: Биографический альманах. Вып. 9. СПб., 2002. С. 85.

[4] РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 31. На л. 12 об. приписка Д. М. Пинеса: «Список составлен по моей просьбе. Но когда — не помню... Дм. Пинес». Там же — предполагаемая датировка: «1927? Осень».

отсутствие глав 6-й и 7-й (номера глав 9-й и 10-й обозначены автором, предшествующая 9-й глава 8-я номером не обозначена, но по содержанию и хронологии описываемых событий непосредственно примыкает к главе 9-й). К машинописи тома III «Начала века» Белый приложил записку:

«3-й том берлинской редакции (без изъяна) „*Начало века*"

258
\+ 127
183

568 страниц».[5]

Указанные страницы в точности фиксируют машинописный объем соответственно глав 8, 9 и 10-й «Начала века», входящих в том III. Имеются все основания заключить, что главы 6-я и 7-я в машинописном виде в архив не передавались. Согласно авторскому указанию, хронология событий, описываемых в томе II, охватывает 1905—1908 гг., между тем как изложение в последней главке главы 5-й обрывается на феврале 1906 г.

Правомерным в данном случае представляется вывод о том, что машинописного текста глав 6-й и 7-й «Начала века» вообще не существовало и что Белый предполагал в случае издания книги включить в нее ранее опубликованные главы 6-ю и 7-ю «Воспоминаний о Блоке» без каких-либо существенных изменений, — подобно тому как он включал и в другие ее главы пространные фрагменты из предшествующей мемуарной книги. Главы 6-я и 7-я «Воспоминаний о Блоке» естественно заполняют хронологический разрыв между февралем 1906 г., к описанию которого подводит глава 5-я, и ноябрем 1908 г., которым начинается последовательное изложение событий в главе 8-й. Сосредоточенность внимания на Блоке в указанный временной промежуток вполне объяснима, поскольку взаимоотношения с ним и его женой тогда составляли главное содержание жизни Белого, однако в главах 6-й и 7-й «Воспоминаний о Блоке» уделено необходимое внимание и другим событиям биографии автора в 1906—1908 гг.; тем самым включение этих глав в общую повествовательную канву «Начала века» имеет под собой достаточные основания. Вместе с тем необходимо обозначение «Воспоминаний о Блоке» как источника текста глав 6-й и 7-й, поскольку нельзя исключить, что в ходе подготовки «Начала века» к печати Белый мог внести в текст этих глав исправления и дополнения.

Таким образом, устанавливаемый нами текст «берлинской» редакции книги воспоминаний «Начало века» представляет собой контаминацию переведенных в машинопись глав 4, 5, 8—10-й (с непоследовательной и выборочно выполненной авторской правкой) с печатным текстом глав 6-й и 7-й «Воспоминаний о Блоке» (Эпопея. Литературный ежемесячник под редакцией Андрея Белого. № 3. М.; Берлин: Геликон, 1922. С. 125—310).

---

[5] РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 1.

Текст книги воспроизводится в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации, но с сохранением индивидуальных и специфических отклонений от норм написания, свойственных Белому; в частности, с сохранением неточных и ошибочных написаний фамилий упоминаемых лиц и отклонений от принятых ныне норм в транслитерации иноязычных имен собственных и названий (необходимые в подобных случаях коррективы обозначены в аннотированном указателе имен). Прописные буквы в многочисленных названиях (в частности, периодических изданий) сохраняются согласно первоисточнику и в соответствии с нормами написания начала XX в. Подстрочные примечания в тексте принадлежат Белому, за исключением переводов с иностранных языков.

При жизни Андрея Белого было опубликовано несколько фрагментов из «берлинской» редакции «Начала века» — в основном в эмигрантской печати:

«Из воспоминаний. 1. Бельгия. 2. Переходное время. 3. У Штейнера» (Беседа. № 2. Берлин, 1923. С. 83—127) — три главки из гл. 10-й, с небольшими сокращениями;

«Отклики прежней Москвы» (Современные записки. Кн. 16. Париж, 1923. С. 190—209; фрагмент этого текста: Дни. Берлин, 1923. № 202, 1 июля) — контаминация фрагментов из гл. 8-й;

«Арбат» (Современные записки. Кн. 17. Париж, 1923. С. 156—182) — главка из гл. 8-й (с небольшими разночтениями), с пояснительным редакционным примечанием: «Настоящий очерк представляет собою главу из книги воспоминаний Андрея Белого, подготовляемой к печати издательством „Эпоха"»;

«Арбат» (Россия. М., 1924. № 1 (10), февр. С. 34—66) — тот же текст.

Посмертно были опубликованы следующие фрагменты книги:

Из книги «Начало века». Публикация и предисловие С. Григорьянца (Вопросы литературы. 1974. № 6. С. 214—245) — главки «А. А. Блок и Д. С. Мережковский», «В казармах» из гл. 4-й, с купюрами;

Из воспоминаний о русских философах. Публикация Дж. Мальмстада (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 9. Paris, 1990. С. 326—351) — главка «Центральная станция» и фрагменты главки «Рачинский, Булгаков» из гл. 8-й;

Из воспоминаний «Начало века» («Берлинская» редакция). Подготовка текста и комментарии М. Л. Спивак (*Андрей Белый*. Собр. соч.: Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000. С. 636—685) — главки «Бельгия», «Переходное время», «У Штейнера», «Базель — Фицнау — Штутгарт — Берлин» из гл. 10-й. Комментарии М. Л. Спивак к этой публикации учтены и использованы в наших комментариях к тем же главкам в настоящем издании.

Кроме того, более или менее пространные фрагменты из «берлинской» редакции «Начала века» цитировались в ряде новейших книг и статей, из которых отметим прежде всего работу Н. А. Богомолова «Anna-Rudolf» (в кн.: *Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 23—110).

ПРИМЕЧАНИЯ

⟨Том II⟩

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

[1] Этой главе непосредственно предшествовало описание пребывания Андрея Белого и А. С. Петровского в гостях у А. А. Блока в подмосковном имении Бекетовых Шахматово в июле 1904 г. См. главу третью «Шахматово» в «Воспоминаниях о Блоке» (*О Блоке*. С. 79—102).

[2] Однострочное стихотворение В. Брюсова «О, закрой свои бледные ноги», впервые опубликованное в 3-м выпуске сборника «Русские символисты» (М., 1895), принесшее автору скандальную славу и ставшее в глазах читательской публики одним из опознавательных знаков русского «декадентства».

[3] «В небеса запустил // ананасом» — цитата из стихотворения Белого «На горах» («Горы в брачных венцах...», 1903 // *СП — 1*. С. 130).

[4] Книга стихов Белого «Пепел» (СПб.: Шиповник, 1909) посвящена памяти Некрасова и открывается — в виде эпиграфа — стихотворением Некрасова «Что ни год — уменьшаются силы...» (1861). О влиянии Некрасова на Белого см.: *Скатов Н. Н.* «Некрасовская» книга Андрея Белого // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 151—192; *Пьяных М. Ф.* Роль поэтических традиций Некрасова в развитии лирики русских символистов // Некрасовский сборник. IV. Некрасов и русская поэзия. Л., 1967. С. 162—164, 167—168; *Серман И.* Андрей Белый и поэзия Н. Некрасова // Славяноведение. 1992. № 6. С. 34—38.

[5] «Мистический анархизм» — философско-эстетическая концепция, выдвинутая Г. И. Чулковым в 1905 г. и поддержанная Вяч. Ивановым (см.: *Чулков Георгий*. О мистическом анархизме / Со вступ. ст. Вяч. Иванова «О неприятии мира». СПб., 1906). Идеи «мистического анархизма» получили определенное распространение в среде приверженцев «нового» искусства и стали поводом для ожесточенной печатной полемики в 1906—1908 гг. на страницах модернистских изданий.

[6] Подразумевается прежде всего появление двух статей-манифестов, провозглашавших религиозно-теургический символизм, — «Заветы символизма»

Вяч. Иванова и «О современном состоянии русского символизма» А. Блока — в журнале «Аполлон» (1910. № 8); там же Белый выступил в их поддержку со статьей «Венок или венец» (1910. № 11).

[7] Имеется в виду группа литераторов, участвовавших в двух литературных сборниках «Скифы» (⟨Пг.⟩, 1917—1918) и разделявших в той или иной мере настроения духовного преображения и революционного максимализма, которые пропагандировал главный инициатор и организатор группы Р. В. Иванов-Разумник. Белый был тогда одним из наиболее энтузиастических выразителей «скифских» умонастроений. В политическом аспекте большинство литераторов-«скифов» близко соприкасалось с партией левых эсеров. Подробнее см.: *Леонтьев Я. В.* «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М., 2007.

[8] «Кризис западной философии. Против позитивистов» (М., 1874) — книга Вл. С. Соловьева, защищенная им в Московском университете как магистерская диссертация.

[9] В статье «Смысл любви» (1894) Вл. Соловьев утверждает: «...связь активного человеческого начала (личного) с воплощенною в социальном духовно-телесном организме всеединою идеей должна быть живым *сизигическим* отношением. ⟨...⟩ Такое распространение сизигического отношения на сферы собирательного и всеобщего бытия совершенствует самую индивидуальность, сообщая ей единство и полноту жизненного содержания, и тем самым возвышает и увековечивает основную индивидуальную форму любви»; «Связавши в идее всемирной сизигии (индивидуальную половую) любовь с истинною сущностью всеобщей жизни, я исполнил свою прямую задачу — определить смысл любви, так как под смыслом какого-либо предмета разумеется именно его внутренняя связь со всеобщею истиной». Вводимый термин Соловьев пояснил примечанием: «От греч. *сизигия* — сочетание. Я принужден ввести это новое выражение, не находя в существующей терминологии другого, лучшего» (*Соловьев Вл. С.* Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 545—547).

[10] А. А. Блок.

[11] Первое письмо Блока к Белому от 3 января 1903 г. (*Белый — Блок.* С. 15—17) представляет собой отклик на статью Белого «Формы искусства», опубликованную в журнале «Мир искусства» (1902. № 12. С. 343—361).

[12] Обыгрываются заключительные строки стихотворения Блока «Сторожим у входа в терем...», первого в цикле «Молитвы» (март—апрель 1904): «Молча свяжем вместе руки, // Отлетим в лазурь» (*Блок I.* С. 173). Белый полностью приводит это стихотворение в гл. 1-й «Воспоминаний о Блоке» (*О Блоке.* С. 54—55).

[13] Неточно цитируются строки из стихотворения Блока «Вот Он — Христос — в цепях и розах...» (1905): «И не постигнешь синего Ока, // Пока не станешь сам как стезя...» (*Блок II.* С. 66).

[14] О неформальном кружке «аргонавтов», определившемся вокруг Андрея Белого и Эллиса в 1903—1904 гг. и объединявшем главным образом молодых людей, тяготевших к мифопоэтическому восприятию действительности и связанных

общими философскими интересами и религиозно-мистическими устремлениями, безусловно, подробно повествовалось в несохранившихся начальных главах книги. Краткая характеристика «аргонавтического коллектива» — в гл. 1-й «Воспоминаний о Блоке» (*О Блоке*. С. 53—56), развернутая — гл. 1 «Аргонавты» в позднейших мемуарах (*НВ*. С. 20—132).

[15] Подразумеваются слова из письма Блока к Белому от 3 января 1903 г.: «Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потому что Вам необходимо сменить Петербург ⟨...⟩ на белокаменную Москву» (*Белый — Блок*. С. 16).

[16] Сокращенная цитата из статьи «Будущее искусство» (1907), впервые опубликованной в книге Андрея Белого «Символизм: Книга статей» (М.: Мусагет, 1910).

[17] Свет с неба — явление Господа Савлу на пути в Дамаск (Деян. IX, 3—6).

[18] Сокращенная и неточная цитата из трактата «Оправдание добра. Нравственная философия» (1897) — часть третья, гл. 19-я, разд. III; в оригинале: «...женщину человек видит здесь не так, как она является внешнему наблюдению и как ее видят другие, а прозревает в ее истинную сущность или идею ⟨...⟩ она утверждается как нравственное лицо, как самоцель, или как существо, способное к одухотворению и „обожению"» (*Соловьев Вл. С.* Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 1. С. 491).

[19] Цитата из главы 4-й поэмы Белого «Первое свидание» (*СП — 2*. С. 55).

[20] Словом «корабль» сектанты (хлысты, скопцы) называют свою общину, круг. Святой Грааль — в средневековых западноевропейских легендах чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя; священная реликвия, бывшая целью исканий для легендарных рыцарей Круглого стола и в средневековых романах о Парсифале; в переносном смысле — символ заветной мистической цели.

[21] Подразумевается московское символистское издательство «Скорпион» (1899—1916), основанное и руководимое С. А. Поляковым при ближайшем участии К. Д. Бальмонта, Ю. К. Балтрушайтиса, В. Я. Брюсова, М. Н. Семенова. Главный «скорпионовский» лозунг — самоценность искусства, доминанта эстетических ценностей над какими-либо иными (общественными, философскими, религиозными).

[22] Подразумевается основное направление интересов Эллиса в годы студенчества (он учился на юридическом факультете Московского университета в 1899—1903 гг.).

[23] Имеется в виду золотое руно, за которым отправились в плаванье аргонавты (*греч. миф.*). Эллис наряду с Белым определил контуры «аргонавтической» мифопоэтики.

[24] Неполный перевод книги Шарля Бодлера «Цветы Зла» представляет собой книга: *Эллис*. Иммортели. Вып. 1-й. Ш. Бодлэр. М., 1904; новый вариант перевода: *Бодлэр Шарль*. Цветы Зла / Пер. Эллиса. Со вступ. ст. Теофиля Го-

тье и предисл. Валерия Брюсова. М.: Заратустра, 1908. См. также: *Бодлэр Шарль*. Мое обнаженное сердце / Пер. Элис ⟨sic!⟩. М., 1907; *Бодлэр Шарль*. Стихотворения в прозе / Пер. Эллиса. М.: Мусагет, 1910. Эти переводы Эллиса переиздавались в полном объеме в новейшее время; см.: *Бодлер Шарль*. Цветы Зла и Стихотворения в прозе в переводе Эллиса. Томск: Водолей, 1993; *Бодлер Шарль*. Цветы Зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М.: Рипол-Классик, 1997. Тезисы лекции Эллиса «Поэт-демон. (Поэзия и личность Бодлэра)», прочитанной 18 ноября 1908 г. в Московском Литературно-художественном кружке, опубликованы Н. А. Богомоловым в составе его заметок «Из истории русского бодлерианства» (см.: *Богомолов Н. А.* Вокруг «серебряного века»: статьи и материалы. М., 2010. С. 545—549).

[25] А. С. Петровский поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета в 1899 г.

[26] В Московскую Духовную академию Петровский поступил осенью 1903 г., свое решение он аргументировал в письмах к Э. К. Метнеру, цитированных в статье Джона Малмстада «„Мой вечный спутник по жизни". Переписка Андрея Белого и А. С. Петровского: хроника дружбы» (Андрей Белый — Алексей Петровский. Переписка. 1902—1932. М., 2007. С. 17, 21—23).

[27] С. М. Соловьев окончил классическое отделение историко-филологического факультета Московского университета в 1911 г. с дипломом 1-й степени; в ноябре 1915 г. рукоположен в диаконы, 2 февраля 1916 г. — в сан священника, в октябре 1915 г. принят в Московскую Духовную академию, которую окончил в июле 1918 г.; в 1921 г. присоединился к католической церкви — вошел в общину русских католиков восточного обряда. См.: *Смирнов Марк*. Последний Соловьев. Жизнь и творчество поэта и священника Сергея Соловьева: Главы из книги // Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. 2001. Т. III. № 4. С. 106—116.

[28] Обыгрывается заглавие основного богословского труда П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной феодицеи в двенадцати письмах» (М.: Путь, 1914). Весной 1904 г. Флоренский окончил физико-математический факультет Московского университета (отделение чистой математики) с дипломом 1-й степени и осенью того же года поступил в Московскую Духовную академию, которую окончил в 1908 г.

[29] Микробиологией Белый занимался, будучи студентом естественного отделения физико-математического факультета Московского университета в 1899—1903 гг. См.: *Андрей Белый*. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 386—400.

[30] Здесь очевидный анахронизм: Белый приобщился к учению Р. Штейнера в 1912 г.; учреждение суверенного Антропософского общества на базе Немецкой секции Теософского общества состоялось в конце декабря 1912 г.

[31] А. А. Блок и Л. Д. Блок.

[32] Упанишады (*санскр.* — сокровенное знание) — заключительная часть вед, основа всех ортодоксальных религиозно-философских систем Индии. Белый впервые познакомился с ними по публикации: *Джонстон Вера*. Отрывки из

Упанишад // Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 31 (1). С. 1—34. Ср. запись Белого о весне 1896 г.: «...производят потрясающее впечатление „*Отрывки из Упанишад*" 〈...〉» (*МБ*. Л. 5 об.). Позднейшая попытка передачи этих впечатлений — в кн.: *Андрей Белый*. Записки чудака. М.; Берлин: Геликон, 1922. Т. 2. С. 149—150.

33 Цитаты из стихотворения «На буграх» («Песчаные, песчаные бугры...», 1908 // *СП — 1*. С. 254).

34 Заключительные строки стихотворения «Последний язычник» («Века текут... И хрипло рухнул в лог...», 1908 // Там же. С. 257).

35 Имеется в виду Исаак Сирианин (Исаак Сирин, Исаак Ниневийский; ум. в конце VII в.) — христианский писатель-богослов, монах-отшельник.

36 Речь идет о М. К. Морозовой, ставшей для Белого в 1901 г. объектом «мистериальной» влюбленности, которая определила тональность всего его мироощущения: «...весь этот год для меня окрашен первой глубокой, мистическою, единственной своего рода любовью к М. К. М. 〈...〉 *М. К. М.* в иные минуты являлася для меня лишь *иконою, символом* лика Той, от Которой до меня долетали веянья» (*МБ*. Л. 16). О феврале 1901 г. Белый вспоминает: «...моя встреча глазами с М. К. М. на симфоническом концерте во время исполнения бетховенской Симфонии; и отсюда мгновенный вихрь переживаний, мной описанный в поэме „*Первое свидание*". С той поры совершенно конкретно открывается мне: все учение о Софии Премудрости Вл. Соловьева, весь цикл его стихов к Ней; и моя глубокая и чистая любовь к М. К. М., с которой я даже не знаком и которую я вижу издали на симфонических концертах, становится символом сверхчеловеческих отношений 〈...〉» (Там же. Л. 17—17 об.). Подробнее см.: «Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901—1928. М., 2006. С. 3—11 (статья А. В. Лаврова и Джона Малмстада «„Прекрасная Дама" Андрея Белого»).

37 Неточная цитата из главы 4-й поэмы «Первое свидание» (в оригинале: «Она ко мне сходила снами» // *СП — 2*. С. 56).

38 Цитата из главы 2-й поэмы «Первое свидание» (*СП — 2*. С. 36). Прообраз Надежды Львовны Зариной — М. К. Морозова, прообраз Сони Н—ой — Мария Дмитриевна Шепелева. Белый свидетельствует о 1901 г.: «Для С. М. Соловьева этот год был 〈...〉 тоже годом первой, глубокой, мистической любви к М. Д. Ш.» (*МБ*. Л. 16). См. также: *Соловьев С.* Воспоминания. М., 2003. (Ч. II, гл. 4—9-я).

39 Цитата из стихотворения «Das Ewig-Weibliche. Слово увещательное к морским чертям» («Черти морские меня полюбили...», 1898) (*Соловьев*. С. 121).

40 Цитата из главы 2-й поэмы «Первое свидание» (*СП — 2*. С. 36).

41 Лапан — порождение игрового пародийного мифотворчества С. М. Соловьева: «трудолюбивый профессор культуры из XXI века 〈...〉 академик, философ Lapan», изучавший секту «блоковцев» (см.: *О Блоке*. С. 72). Этот образ стал предметом разнообразных шуточных эскапад летом 1904 г. в Шахматове: «...утра с С. М. Соловьевым и Блоками шли под „Lapan"овским знаком; все мы усвоили стиль размышлений „Lapan"; и по-своему каждый „*лапанизировал*"; были тут

смехи ⟨...⟩» (Там же. С. 101). О «лапановской философии» Белый, безусловно, подробно рассказал в несохранившейся части книги. См. также главу «Лапан и Пампан» в позднейших мемуарах (*НВ*. С. 377—381).

[42] Неточная цитата из стихотворения А. А. Фета «Она ему — образ мгновенный...» (1892).

[43] Подразумевается «Симфония (2-я, драматическая)» (1901) Андрея Белого.

[44] Белый встречался с А. Н. Шмидт осенью 1901 г. в Москве. См.: *НВ*. С. 141—145. Ср. запись Белого о сентябре 1901 г.: «...я посвящен М. С. Соловьевым в историю со Шмидт; читаю письма А. Н. Шмидт на тему „*3-й завет*"; в конце месяца — встреча со Шмидт; и ответственный разговор с нею» (*РД*. Л. 11). Незадолго до смерти Вл. Соловьева Шмидт вступила в переписку с философом; 7 писем Соловьева к ней, отправленных с 8 марта по 22 июня 1900 г., опубликованы в кн.: Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. ⟨М.⟩, 1916. С. 281—288. Шмидт отправила Соловьеву 26 писем и 5 телеграмм, их личное знакомство состоялось в конце апреля 1900 г. во Владимире.

[45] Свадьба Блока и Л. Д. Менделеевой состоялась 17 августа 1903 г. (венчание в церкви села Тараканово). С. М. Соловьев воспринял ее как событие глубокого мистического смысла; в письме к Белому от 2 сентября 1903 г. он отмечал, что «на свадьбе Блока» «дело близилось к *реальному откровению*» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 206).

[46] Личное знакомство Белого с А. Блоком и Л. Д. Блок состоялось в Москве 10 января 1904 г. — год спустя после начала его переписки с Блоком (4 января 1903 г.).

[47] Белый воспринимал 1901 г. как ключевой и важнейший для своего духовного становления: «Главенствующие осознания этого года: 1) Откровение Софии, 2) Духа Иоанновой, *белой* зари, 3) осознание, что „*уже — заря*" ⟨...⟩» (*МБ*. Л. 16).

[48] Гиерофант (иерофант, *греч.* ἱεροφάντης) — у древних греков старший пожизненный жрец при Элевсинских таинствах; вообще толкователь или учитель священных обрядов у греков и египтян.

[49] Ср. развернутую философско-мистическую интерпретацию цветовой символики в статьях Белого «Священные цвета» (1903; *Арабески*. С. 115—129) и «О религиозных переживаниях» (1903; Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 4—9. Публ. А. В. Лаврова).

[50] Обыгрываются заглавия книг стихотворений Белого «Золото в лазури» (М.: Скорпион, 1904) и «Пепел» (СПб.: Шиповник, 1909).

[51] Речь идет о поездке к А. Блоку в Шахматово в июле 1904 г.

[52] Подразумеваются интимно близкие отношения с Н. И. Петровской, завязавшиеся в конце января 1904 г. По возвращении из Шахматова в Москву Белый принял решение о разрыве с Петровской. См.: Письма Андрея Белого к Н. И. Петровской / Публ. А. В. Лаврова // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 198—214.

[53] Отношения с Петровской на их ранней стадии (осенью 1903 г.) Белый стремился выстраивать в аспекте «мистериальной» духовной близости: «Моя тяга

к Петровской окончательно определяется; она становится мне самым близким человеком, но я начинаю подозревать, что она в меня влюблена; я самое чувство влюбленности в меня стараюсь претворить в мистерию 〈...〉»; когда же «вместо грез о мистерии, братстве и сестринстве оказался просто роман», Белый расценил эту метаморфозу однозначно: «Мои порывания к мистерии, к „*теургии*" потерпели поражение» (*МБ*. Л. 42—43).

[54] Белый выехал в родительское имение Серебряный Колодезь (Старогальская волость Ефремовского уезда Тульской губернии) 19 июля 1904 г.

[55] Имеется в виду письмо Блока от 25 июля 1904 г. (*Белый — Блок*. С. 170—171).

[56] Имеются в виду «Система философии» (СПб., 1902) Вильгельма Вундта и «Научные основы психологии» (СПб., 1902) Вильяма Джемса.

[57] Впервые Белый принимался за изучение «Критики чистого разума» И. Канта весной 1898 г. (*МБ*. Л. 9 об.).

[58] Статья «О целесообразности» была опубликована в № 9 «Нового Пути» за 1904 год (с. 139—153).

[59] Сокращенные цитаты из статьи «О целесообразности» (*Арабески*. С. 110, 111).

[60] «Мы хотим быть позитивистами, мы должны утверждать бытие» (*фр.*; *Арабески*. С. 114).

[61] С философией итальянского религиозного мыслителя, католика-августинианца Антонио Розмини-Сербати Белый позднее мог познакомиться по книге В. Ф. Эрна «Розмини и его теория знания» (М.: Путь, 1914).

[62] Заключительная фраза статьи «О целесообразности» (*Арабески*. С. 114).

[63] Неточная цитата из главы 4-й поэмы «Первое свидание» (*СП — 2*. С. 56).

[64] С философским трудом Г. Риккерта «Der Gegenstand der Erkenntniss» (1892) Белый знакомился, видимо, по его русскому переводу, выполненному Г. Г. Шпетом («Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания». Киев, 1904).

[65] «Эмблематика смысла. Предпосылки к теории символизма» — философская работа Белого, написанная в 1909 г.; см.: *Андрей Белый*. Символизм: Книга статей. М.: Мусагет, 1910. С. 49—143.

[66] Имеется в виду издание: Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда с жизнеописанием основателей ее: преподобного Серафима и схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуновой / Сост. архимандрит Серафим (Чичагов). М., 1896. Белый назвал «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» своей «настольною книгою» (*МБ*. Л. 25 об.).

[67] В Саровский монастырь Белый ездил в конце августа 1904 г.

[68] Женская классическая гимназия С. Н. Фишер в Москве (2-й Ушаковский пер., дом Дерожинской).

[69] Цензурное разрешение на печатание первой книги Блока «Стихи о Прекрасной Даме» было получено 9 сентября 1904 г.

[70] Ходатайство Э. К. Метнера об увольнении с должности нижегородского цензора было удовлетворено в марте 1906 г. Ср. признания Метнера в письме к Белому от 10 августа 1905 г.: «...я твердо решил в скором времени оставить ту разбойничью среду, в которой я очутился, поступив на государственную службу; лучше быть приказчиком у Мюр и Мерилиза, нежели у Н. А. Романова и К°; государство, принадлежащее Мерилизу и им управляемое, несмотря на явно меркантильные цели, гораздо нравственнее, нежели романовское 〈...〉» (РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 60. Упоминается московский универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» и торговый дом, основанный в России в 1857 г. Арчибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром).

[71] Имеются в виду естественнонаучные труды Гёте, посвященные анализу физиологии зрения, — «Об оптике» («Beiträge zur Optik», 1792), «К учению о цвете» («Zur Farbenlehre», 1810). Световой теории Гёте Белый подробно касается в своей книге «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» (М.: Духовное знание, 1917): гл. 3-я — «Световая теория Гёте и Рудольф Штейнер», гл. 5-я — «Световая теория Гёте в моно-дуо-плюральных эмблемах».

[72] Блок называет так политику в «Записке о „Двенадцати"» (1920): «...в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой 〈...〉» (*Блок Александр.* Собр. соч. Т. 5. Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. С. 134. Маркизова лужа — обиходное разговорное обозначение мелководной восточной части Финского залива вблизи Петербурга, — по связи с маркизом Жаном-Франсуа (Иваном Ивановичем) де Траверсе, морским министром России в 1811—1828 гг.

[73] «Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене...» (*Блок I.* С. 18). В разделах книги, посвященных анализу стихотворений А. Блока, в примечаниях атрибутируются только сравнительно пространные цитаты, приводимые с сохранением авторского деления на строки.

[74] «Прошедших дней немеркнущим сияньем...» (*Блок I.* С. 32).

[75] «То отголосок юных дней...» (*Блок I.* С. 35).

[76] «Твой образ чудится невольно...» (*Блок I.* С. 36).

[77] «Ищу спасенья...» (*Блок I.* С. 41).

[78] «За городом в полях весною воздух дышит...» (12 июля 1901 // *Блок I.* С. 68). Приводимая Белым датировка неверна.

[79] «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (*Блок I.* С. 60).

[80] «О, как в тебе лазури чистой много...» (1881 // *Соловьев.* С. 68).

[81] «Das Ewig-Weibliche» (*Соловьев.* С. 121).

[82] По преданию, древнегреческий философ, маг и врачеватель Эмпедокл бросился в жерло Этны, сицилийского вулкана.

[83] «Христос воскрес!» (*нем.*). Подразумевается Хор ангелов в 1-й сцене («Ночь») 1-й части «Фауста» Гёте.

[84] Слова Одной из кающихся, прежде называвшейся Гретхен, в финальной сцене 2-й части «Фауста»; в переводе Н. А. Холодковского: «Мой прежний милый, — // Он с новой силой // Вернулся, чужд земных скорбей».

[85] Фраза из Мистического хора (Chorus mysticus), завершающего финальную сцену 2-й части «Фауста»; в переводе Н. А. Холодковского: «Как сущность конечная // Лишь здесь происходит».

[86] Mater gloriosa — Богоматерь в славе небесной — появляется в финальной сцене «Фауста».

[87] Евр. IV, 12: «Ибо слово Божие живо и действенно ⟨...⟩ оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов ⟨...⟩».

[88] Слова Одной из кающихся, прежде называвшейся Гретхен, в финальной сцене «Фауста». В переводе Н. А. Холодковского:

Блаженным хором окруженный,
Не узнает себя он сам,
Не чует жизни обновленной,
Но стал уже подобен нам.
Все узы, все земного мира
Покровы он уже сложил
И вот, в одежде из эфира,
Исполнен снова юных сил!

[89] «Ты свята, но я Тебе не верю...» (29 октября 1902 // *Блок I*. С. 129).

[90] «Я — тварь дрожащая. Лучами...» (26 апреля 1902 // *Блок I*. С. 104).

[91] Мистический хор (Chorus mysticus), завершающий 2-ю часть «Фауста»; в переводе Н. А. Холодковского:

Лишь символ — все бренное,
Что в мире сменяется;
Стремленье смиренное
Лишь здесь исполняется;
Чему нет названия,
Что вне описания, —
Как сущность конечная
Лишь здесь происходит,
И женственность вечная
Сюда нас возводит.

[92] Gleichnis (*нем.*) — сравнение, подобие; Ereignis (*нем.*) — событие.

[93] Слова к Богоматери, которые произносит в финальной сцене «Фауста» Doctor Marianus. В переводе Н. А. Холодковского:

О владычица, молю!
  В синеве эфира
Тайну мне узреть твою
  Дай, царица мира!

[94] Весь текст стихотворения («18 января 1902. Исаакиевский собор» // *Блок I.* С. 91). Неточная цитата.

[95] «Готов ли ты на путь далекий...» (18 июля 1899 // *Блок IV.* С. 87).

[96] «На небе зарево. Глухая ночь мертва...» (10 июня 1900 // *Блок I.* С. 33).

[97] «Вновь белые колокольчики» (8 июля 1900 // *Соловьев.* С. 137).

[98] «То отголосок юных дней...» (29 июля 1900 // *Блок I.* С. 35).

[99] «Гамаюн, птица вещая. (Картина В. Васнецова)» («На гладях бесконечных вод...», 23 февраля 1899 // *Блок I.* С. 20).

[100] Реминисценции из романа «Петербург»: «...будет — Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово Поле, я жду тебя!» (*Андрей Белый.* Петербург. СПб., 2004. С. 99. («Литературные памятники»)). Строки из «Петербурга», в свою очередь, соотносятся со стихотворным циклом Блока «На поле Куликовом».

[101] Фраза из «Слова о полку Игореве»: «О Русьская земле! уже за шеломянемъ еси!»

[102] «Ищу спасенья...» (25 ноября 1900 // *Блок I.* С. 41).

[103] Весь текст стихотворения («4 июня 1901. С. Шахматово» // *Блок I.* С. 60).

[104] «В часы вечернего тумана...» (*Блок I.* С. 33).

[105] Указан номер страницы, на которой помещено цитируемое стихотворение «Старый год уносит сны...» (25 декабря 1901 // *Блок I.* С. 86) в издании: *Блок Александр.* Стихотворения. Кн. 1. ⟨Берлин⟩: Слово, 1922.

[106] «За туманом, за лесами...» (*Блок I.* С. 63). Неточная цитата.

[107] «Одинокий, к тебе прихожу...» (1 июня 1901 // *Блок I.* С. 60).

[108] «Я все гадаю над тобою...» (27 августа 1901 // *Блок I.* С. 74).

[109] «Ты горишь над высокой горою...» (18 августа 1901 // *Блок I.* С. 72).

[110] «Ты прошла голубыми путями...» (16 июля 1901 // *Блок I.* С. 69).

[111] «Я долго ждал — ты вышла поздно...» (27 ноября 1901 // *Блок I.* С. 82).

[112] Фразы из стихотворения «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко...» (10 июня 1901 // *Блок I.* С. 62—63).

[113] «Видно, дни золотые пришли...» (*Блок I.* С. 73). Неточность в 1-й строке.

[114] «Я все гадаю над тобою...» (*Блок I.* С. 74).

[115] «Смотри — я отступаю в тень...» (20 сентября 1901 // *Блок I.* С. 75).

[116] «Вхожу я в темные храмы...» (25 октября 1902 // *Блок I.* С. 128).

[117] «Мне страшно с Тобой встречаться...» (5 ноября 1902 // *Блок I.* С. 131).

[118] Весь текст стихотворения «Бегут неверные дневные тени...» (4 января 1902 // *Блок I.* С. 89). Приводится с неточностями.

[119] «Пытался сердцем отдохнуть я...» (27 августа 1902 // *Блок I.* С. 117).

[120] «Мне страшно с Тобой встречаться...» (*Блок I.* С. 131).

[121] «Ты свята, но я Тебе не верю...» (29 октября 1902 // *Блок I.* С. 129).

[122] Весь текст стихотворения (15 марта 1902 // *Блок I.* С. 98).

[123] «За городом в полях весною воздух дышит...» (12 июля 1901 // *Блок I.* С. 68).

[124] «Мы преклонились у завета...» (*Блок I.* С. 91).

[125] «Кто-то с Богом шепчется...» (27 февраля 1902 // *Блок I.* С. 96).

[126] «Я, отрок, зажигаю свечи...» (7 июля 1902 // *Блок I.* С. 112).
[127] «Без Меня б твои сны улетали...» (август 1902 // *Блок I.* С. 118).
[128] «Вхожу я в темные храмы...» (*Блок I.* С. 128).
[129] «Religio» («2. Безмолвный призрак в терему...», 18 октября 1902 // *Блок I.* С. 128).
[130] «Она стройна и высока...» (27 сентября 1902 // *Блок I.* С. 123).
[131] «Там — в улице стоял какой-то дом...» (1 мая 1902 // *Блок I.* С. 105).
[132] «Говорили короткие речи...» (15 июля 1902 // *Блок I.* С. 112—113).
[133] «Сбежал с горы и замер в чаще...» (21 июля 1902 // *Блок I.* С. 113).
[134] «Ужасен холод вечеров...» (июль 1902 // *Блок I.* С. 115). Неточная цитата.
[135] «Люблю высокие соборы...» (8 апреля 1902 // *Блок I.* С. 103).
[136] «По городу бегал черный человек...» (апрель 1903 // *Блок I.* С. 153).
[137] «Мне гадалка с морщинистым ликом...» (11 декабря 1903 // *Блок I.* С. 167). Неточная цитата.
[138] Весь текст стихотворения (18 декабря 1903 // *Блок I.* С. 168).
[139] «Был вечер поздний и багровый...» (19 апреля—28 сентября 1902 // *Блок I.* С. 123).
[140] «Я их хранил в приделе Иоанна...» (8 ноября 1902 // *Блок I.* С. 135).
[141] «Дали слепы, дни безгневны...» (22 апреля—20 мая 1904 // *Блок I.* С. 177).
[142] «Старик» («Под старость лет, забыв святое...», 29 сентября 1902 // *Блок I.* С. 124).
[143] «Мой монастырь, где я томлюсь безбожно...» (17 ноября 1900 // *Блок I.* С. 40).
[144] «В те целомудренные годы...» (15 ноября 1900 // *Блок I.* С. 40).
[145] «Стою у власти, душой одинок...» (14 ноября 1902 // *Блок I.* С. 135).
[146] «Мой монастырь, где я томлюсь безбожно...» (*Блок I.* С. 40).
[147] «Ты уходишь от земной юдоли...» (6 октября 1901 // *Блок I.* С. 77).
[148] Первые строки стихотворения, датируемого 18 октября 1903 г. (*Блок I.* С. 162).
[149] «Голос» («Жарки зимние туманы...», 3 декабря 1902 // *Блок I.* С. 138).
[150] «Царица смотрела заставки...» (14 декабря 1902 // *Блок I.* С. 141).
[151] «В посланьях к земным владыкам...» (27 января 1903 // *Блок I.* С. 145).
[152] «Умри и будь» (*нем.*). Цитата из стихотворения И. В. Гёте «Блаженное томление» («Selige Sehnsucht», 1814) из раздела «Моганни-наме. Книга певца» в «Западно-восточном диване».
[153] «Здесь память волны святой...» (31 января 1903 // *Блок I.* С. 146).
[154] «Царица смотрела заставки...» (*Блок I.* С. 140).
[155] «Мой месяц в царственном зените...» (1 октября 1903 // *Блок I.* С. 160).
[156] «Царица смотрела заставки...» (*Блок I.* С. 140).
[157] «Отрекись от любимых творений...» (1 ноября 1900 // *Блок I.* С. 39). Следующая цитата — из этого же стихотворения.
[158] «То отголосок юных дней...» (29 июля 1900 // *Блок I.* С. 34).
[159] «Ищу спасенья...» (*Блок I.* С. 41).

[160] «Медленно, тяжко и верно...» (5 декабря 1900 // *Блок I.* С. 41).

[161] «Мы всё простим — и не нарушим...» (февраль 1902 // *Блок I.* С. 96).

[162] «Здесь память волны святой...» (*Блок I.* С. 146).

[163] «Стою у власти, душой одинок...» (14 ноября 1902 // *Блок I.* С. 135).

[164] «Странных и новых ищу на страницах...» (4 апреля 1902 // *Блок I.* С. 102).

[165] «Не бойся умереть в пути...» (5 июля 1902 // *Блок I.* С. 110).

[166] «Безрадостные всходят семена...» (6 сентября 1902 // *Блок I.* С. 121).

[167] «Religio» («2. Безмолвный призрак в терему...» // *Блок I.* С. 128).

[168] «Я, изнуренный и премудрый...» (30 ноября 1902 // *Блок I.* С. 137).

[169] «Кто-то шепчет и смеется...» (20 мая 1901 // *Блок I.* С. 58).

[170] Первая строфа стихотворения (июль 1903 // *Блок I.* С. 157).

[171] «Я их хранил в приделе Иоанна...» (*Блок I.* С. 135).

[172] «Я — меч, заостренный с обеих сторон...» (*Блок I.* С. 158).

[173] «Молитвы» («5. Ночная»; март—апрель 1904 // *Блок I.* С. 175).

[174] «Разгораются тайные знаки...» (октябрь 1902 // *Блок I.* С. 131). Неточная цитата.

[175] «Гамаюн, птица вещая» (*Блок I.* С. 20).

[176] «Фабрика» («В соседнем доме окна желты...», 24 ноября 1903 // *Блок I.* С. 166).

[177] «На Вас было черное закрытое платье...» (15 мая 1903 // *Блок I.* С. 154).

[178] В кн. 1-й «Стихотворений» Блока, выпущенной издательством «Слово» (которой пользовался Белый, работая над «Воспоминаниями о Блоке» и «Началом века»), на этой странице помещено стихотворение «Мы всюду. Мы нигде. Идем...» (5 декабря 1902). См.: *Блок I.* С. 139.

[179] Первые две строфы стихотворения (18 июня 1904), завершавшего кн. 1-ю «Стихотворений» Блока (*Блок I.* С. 178). Неточная цитата.

[180] Весь текст стихотворения (10 октября 1902 // *Блок I.* С. 126).

[181] «Она ждала и билась в смертной муке...» (декабрь 1902 // *Блок I.* С. 143).

[182] О своем внутреннем голосе, гении (даймонии) Сократ говорит неоднократно в диалогах Платона; ср.: «Феаг», 128 d («Даймонион» (гений) Сократа): «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений — это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему меня не побуждает» (*Платон.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 122. Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн).

[183] «Дали слепы, дни безгневны...» (*Блок I.* С. 176). Неточная цитата.

[184] Обзор печатных отзывов на «Стихи о Прекрасной Даме» дан в статье: *Скворцова Н. В.* Раннее творчество Блока в оценке критиков и современников (1902—1905) // Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1987. С. 131—139. См. также: *Минц З. Г.* О первом томе лирики Блока // *Блок I.* С. 408—410.

[185] «Монадология» (1720) — одно из главных сочинений Лейбница, излагающее положенное в основу его философской системы учение о монаде — про-

стейшем элементе, неделимой части бытия, проявляющей себя во внешних физических действиях.

186 Имеются в виду философские труды: «Положительные задачи философии» (Ч. 1—2. М., 1886—1891) Л. М. Лопатина, «Критика отвлеченных начал» (М., 1880) Вл. С. Соловьева, «Учение о Логосе и его истории» (М., 1900) С. Н. Трубецкого, «Основания идеализма» С. Н. Трубецкого (Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 1 (31)—5 (35)).

187 П. А. Флоренский был рукоположен в сан диакона, а затем в сан священника в апреле 1911 г.; в звании экстраординарного профессора Московской Духовной академии по кафедре истории философии утвержден в августе 1914 г.; в 1921 г. избран профессором Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) по кафедре «Анализ пространственности в художественных произведениях».

188 Имеются в виду книги В. Ф. Эрна «Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение» (М.: Путь, 1912) и «Розмини и его теория знания» (М.: Путь, 1914).

189 Имеется в виду религиозно-философская секция Студенческого Историко-филологического общества, организованного кн. С. Н. Трубецким при Московском университете в 1902 г.

190 См.: Свободная совесть. Литературно-философский сборник. Кн. 1, 2. М., 1906.

191 П. И. Астровым написан целый ряд брошюр на различные общественные и литературные темы: «Дети подмостков» (СПб., 1899), «Алексей Михайлович Жемчужников» (Сергиев Посад, 1908), «По поводу книги Н. Морозова „Откровение в грозе и буре"» (М., 1908), «Налог на наследство и общественное призрение» (М., 1910), «Русская фабричная медицина» (М., 1911), «Юридические предпосылки рабочего права» (3 брошюры: М., 1911), «Лечение рабочих и русское национальное самосознание» (М., 1911) и др.; он же является одним из составителей книги «Из текущей юридической практики. 710 вопросов и ответов из области гражданского, торгового, административного, крестьянского и нотариального права» (под ред. А. Э. Вормса. М., ⟨1913⟩).

192 См.: *Астров П. И.* «Христос» художника И. А. Астафьева. М., 1911. Известны этюды и эскизы Астафьева к этой картине.

193 А. О. Шкляревский служил воспитателем в Петровско-Александровском пансионе — приюте Московского дворянства.

194 Мф. V, 8: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

195 Белый вывел М. А. Эртеля под именем Степушки Венделя — ученого-филолога, пишущего диссертацию, — в фельетоне «Великий лгун»: «Всюду он обещал прочесть реферат, но нигде не исполнял обещания: помехой служил его капитальный труд» (Утро России. 1910. № 247, 12 сентября. С. 4).

196 П. Н. Батюшков не был внуком К. Н. Батюшкова (у поэта не было потомства), а принадлежал к другой ветви рода Батюшковых, восходившей к прадеду поэта Андрею Ильичу Батюшкову (см.: *Кошелев Вяч.* Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987. С. 9).

[197] П. Н. Батюшков был научным сотрудником Библиотеки Румянцевского музея (с 1907).

[198] Об отношениях Белого и М. И. Сизова см.: *Лавров Александр.* «Прекрасный рыцарь Парсифаль»: М. И. Сизов — корреспондент Андрея Белого // Параболы. Studies in Russian Modernist Literature and Culture. In Honor of John E. Malmstad. Frankfurt am Main... Wien: Peter Lang, 2011. С. 65—99.

[199] См.: Андрей Белый — Алексей Петровский. Переписка 1902—1932 / Вступ. ст., сост., коммент. и подгот. текста Джона Малмстада. М., 2007.

[200] Знакомство и начало дружбы Белого с А. С. Петровским относится к осени 1899 г., когда оба они стали студентами Московского университета.

[201] «Христианское Братство Борьбы», ставившее целью совместить обновленческие религиозно-церковные и революционные идеи, было организовано В. П. Свенцицким и В. Ф. Эрном в 1905 г. Программные тексты «Христианского Братства Борьбы» см. в кн.: *Свенцицкий В. П., протоиерей.* Собр. соч. Т. 2 / Сост., подгот. текста, коммент. С. В. Черткова. М., ⟨2010⟩. С. 3—161; В. Ф. Эрн: pro et contra. Личность и творчество Владимира Эрна в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология / Сост. А. А. Ермичев. СПб., 2006. С. 59—88. См. также раздел «Христианское Братство Борьбы» в кн.: *Колеров М. А.* Не мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 225—277.

[202] Роль Петровского в организации Московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева весной 1905 г. не была решающей. В первоначальный состав его Совета входили С. Н. Булгаков, Д. Д. Галанин (директор гимназии), Е. Н. Трубецкой, Г. А. Рачинский, В. П. Свенцицкий, В. Ф. Эрн.

[203] «Дом песни» был организован в Москве осенью 1908 г. как центр концертно-лекционной пропаганды новых идей в музыке. О его работе дает представление газета «Дом песни», выходившая в Москве в 1910—1911 гг. два раза в месяц.

[204] В московском символистском издательстве «Мусагет», основанном в 1909 г., были выделены три тематических направления: философское, представленное журналом «Логос», общее культурологическое — собственно «Мусагет» и религиозно-мистическое — «Орфей». Первоначально куратором серии «Орфей» значился Вяч. Иванов.

[205] Издательство Русского Антропософского общества, основанное в Москве в 1916 г. См.: *Maydell Renata, von.* Vor dem Thore: Ein Vierteljahrhundert Anthroposophie in Russland. Bochum; Freiburg, 2005. S. 223—229.

[206] Подразумевается Московская Духовная академия.

[207] Имеются в виду рассказ В. Поливанова «Не то, не то...» (Свободная совесть: Литературно-философский сборник. Кн. 1. М., 1906), поэма С. Соловьева «Дева Назарета» (Там же) и его драматическая поэма «Саул и Давид» (Там же. Кн. 2. М., 1906).

[208] В. Ф. Джунковский был московским генерал-губернатором в 1905 г., позднее — товарищем министра внутренних дел. В воспоминаниях он характеризует Е. А. Бальмонт, жену Бальмонта, как своего «большого друга» (*Джунков-*

ский В. Ф. Воспоминания / Под общ. ред. А. Л. Паниной. В 2 т. М., 〈1997〉. Т. 1. С. 569).

[209] «Воскресенья» у Белого (в доме на углу Арбата и Денежного переулка) начались в октябре 1903 г.

[210] Психологическая подоплека этих коллизий — любовная связь Брюсова и Н. И. Петровской (связанной ранее с Белым близкими отношениями), установившаяся в начале октября 1904 г. Подробнее см.: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // Гречишкин С. С., Лавров А. В. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб., 2004. С. 6—39; *Лавров А. В.* Валерий Брюсов и Нина Петровская: Биографическая канва к переписке // Валерий Брюсов — Нина Петровская. Переписка 1904—1913 / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова. М., 2004. С. 5—41.

[211] С начала издания в январе 1904 г. московского символистского журнала «Весы», фактическим руководителем которого являлся Брюсов, Белый был одним из ближайших сотрудников журнала, печатавшихся почти в каждом номере.

[212] В письме к С. А. Полякову от 21 декабря 1904 г. Белый, в частности, признавался: «...мне чрезвычайно трудно поддерживать живую связь со „Скорпионом", благодаря тому что пришлось иметь дело с Валерием Брюсовым, который держал себя по отношению ко мне более чем возмутительно, пользуясь моим мягким и робким нравом»; в последовавшем за этим письме к Полякову Белый, однако, извинялся за допущенные резкости и добавлял: «Мне бы хотелось и писать в „*Весах*", и не разрывать связей с людьми, которые мне дороги» (Stanford Slavic Studies. Vol. 1. 1987. P. 75, 78. Публ. Джона Мальмстада).

[213] Подразумеваются эксперименты французского врача и парапсихолога Ипполита Барадюка, в частности, его попытка запечатлеть уходящую душу своей умирающей жены посредством специальной фотоаппаратуры (1896). В статье «Еще о методах медиумизма» (Ребус. 1900. № 41. С. 349—351) В. Брюсов упоминает работы Барадюка как «особенно замечательные» в плане изучения медиумических явлений (см.: *Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 306).

[214] Речь идет о рассказе «Теперь, когда я проснулся... Записки психопата», впервые опубликованном в альманахе «Северные цветы на 1902 год, собранные книгоиздательством „Скорпион"» (М., 1902. С. 61—69); вошел в кн.: *Брюсов Валерий.* Земная ось: Рассказы и драматические сцены (1901—1906). М.: Скорпион, 1907. С. 83—91; перепечатан во 2-м и 3-м изданиях этой книги в 1910 и 1911 гг.

[215] В июле 1904 г. Белый подал заявление о принятии на историко-филологический факультет Московского университета и с сентября по декабрь 1904 г. слушал лекции и участвовал в работе университетских семинариев.

[216] Ин. I, 5: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

[217] Инфернальный персонаж повести Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (1830).

218 Тетка Белого — Екатерина Дмитриевна Егорова (1861—?), сестра его матери А. Д. Бугаевой. См. о ней: *МДР*. С. 429—432.

219 Искаженная цитата из стихотворения В. Брюсова «Крысолов» («Я на дудочке играю...», 18 декабря 1904 г.), в оригинале: «Спите, овцы и барашки, // Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля» (*Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 418).

220 Стихотворение Брюсова «Бальдеру Локи» («Светлый Бальдер! Мне навстречу...») было впервые опубликовано с посвящением: «Андрею Белому» (Северные цветы ассирийские: Альманах IV книгоиздательства «Скорпион». М., 1905. С. 35—36), в книгу Брюсова «Στέφανος. Венок: Стихи 1903—1905 года» (М.: Скорпион, 1906) вошло без посвящения.

221 Стихотворение «Бальдеру Локи» цитируется с неточностями. См.: *Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 388—389.

222 Заключительная строфа стихотворения «Старинному врагу» («Я был в ущелье. Демон горный...», 9 декабря 1904 // *СП—2*. С. 451), отосланного Брюсову 14 декабря 1904 г. (заглавие в автографе: «Старинному врагу *в знак любви и уважения*») вместе с листом бумаги, на котором Белый начертал крест и выписал несколько цитат из Евангелия (см. вступительную статью С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова к публикации переписки Брюсова и Белого: *ЛН*. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 336—338. Там же (с. 338) — рисунок Белого с изображением Брюсова (черный силуэт), пускающего в него стрелу; подпись под рисунком — неточная цитата из «Бальдеру Локи»: «Светлый Бальдер, ты, как солнце, мне навстречу взносишь лик»).

223 Подразумевается Н. Петровская. Во время работы Белого над мемуарами она поселилась в Берлине, где они неоднократно встречались.

224 Это соображение Белого подтверждается стихотворением Брюсова «Бальдеру II» с недвусмысленным эпиграфом из З. Н. Гиппиус («Тебя приветствую, мое поражение») и начальными строками: «Кто победил из нас, — не знаю! // Должно быть, ты, сын света, ты!» (*Брюсов Валерий*. Стихотворения и поэмы. Л., 1961. С. 502—503. («Библиотека поэта». Большая серия)). Стихотворение не было опубликовано при жизни автора и, видимо, осталось неизвестным Белому.

225 Начальные строки стихотворения «Молния» (17 ноября 1904 // *Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 400).

226 См.: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел». С. 39—50. К работе над историческим романом «Огненный Ангел» Брюсов приступил в 1905 г., публикация романа началась в журнале «Весы» с января 1907 г.

227 Эта встреча произошла во второй половине декабря 1904 г., непосредственно перед отъездом К. Д. Бальмонта из Москвы за границу для дальнейшего следования в Мексику.

228 К А. С. Петровскому Белый направил в начале ноября 1904 г. письмо, которое нам неизвестно, но за которое он извинялся в следующем письме к тому же адресату (12 ноября 1904 г.): «...простите мне мою надорванность» (Андрей

Белый — Алексей Петровский. Переписка 1902—1932. С. 104). По получении от Брюсова рукописи стихотворения «Бальдеру Локи» Белый и С. Соловьев отправили П. А. Флоренскому краткую записку: «Брюсов снял маску. Принимайте меры. 〈...〉 P. S. Дать знать Свенцицкому» (Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка / Сост., подгот. текстов и коммент. Е. В. Ивановой. М., 2004. С. 466). 1 декабря 1904 г. Флоренский написал Белому: «Не обращайте, дорогой Борис Николаевич, внимания и идите свои путем мимо всех личин. Мы не дадим Вас. Хотя В. Б. и пристает, но я сознаю, что он надломился и теперь больше форсит, чем имеет подлинной силы» (Там же. С. 467). 5 декабря 1904 г. Флоренский написал Брюсову развернутое письмо (оно не было отправлено) с призывом отказаться от магии и скинуть «власть гипноза»: «Только на минуту очнитесь, и Вы 〈...〉 закричите нечеловеческим голосом из той тьмы внешней, которую Вы, как полагаете (а на самом деле не Вы, а *они* в Вас), так любите, осветите сумрак и [склонитесь перед Бальдером]» (Там же. С. 529—530).

[229] Епископ Антоний (Флоренсов), имевший глубокое духовное влияние на Белого в 1903—начале 1904 г., стал духовником Флоренского (который познакомился с ним через Белого в марте 1904 г.). См.: *Игумен Андроник*. Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской патриархии. 1981. № 9. С. 71—78; № 10. С. 65—73; *Иванова Е. В.* Андрей Белый и епископ Антоний (Флоренсов) // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. М., 2008. С. 81—87.

[230] См. выше, примеч. 65.

[231] Подразумеваются члены Ордена Освободителей — жрецов смерти, выведенные Брюсовым в действии II пьесы «Земля. Сцены будущих времен» (1904). См.: *Брюсов Валерий*. Земная ось: Рассказы и драматические сцены (1901—1906). М.: Скорпион, 1907. С. 127—136.

[232] Подразумевается евангельский эпизод изгнания бесов из Гадаринского бесноватого (Мк. V, 1—15; Лк. VIII, 26—39).

[233] См. письмо Белого к Блоку от 18 или 19 декабря 1904 г. (*Белый — Блок*. С. 186—190).

[234] Текст этой телеграммы неизвестен; в архиве Белого она не сохранилась.

[235] Е. И. Чернова (Гамалей), жена А. Я. Чернова, солиста Мариинского театра.

[236] Имеется в виду штабс-капитан Александр Александрович Эртель — брат М. А. Эртеля, московского приятеля Белого.

[237] Муж Александры Андреевны полковник Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух 9 января 1905 г. командовал отрядом, охранявшим Сампсониевский мост.

[238] А. А. Смирнов, начинавший литературную деятельность как поэт в кругу петербургских символистов, впоследствии — известный филолог, профессор Ленинградского университета, учился в Петербургском университете с 1901 по 1907 г. — сначала на физико-математическом, с 1902 г. на историко-филологическом факультете. См.: *Иезуитова Л. А., Скворцова Н. В.* Новое об университетском окружении А. Блока (А. А. Блок и А. А. Смирнов) // Вестник Ленинградского университета. 1981. № 14. Вып. 3. С. 49—58; *Лавров Александр.*

А. А. Смирнов — корреспондент Людмилы Вилькиной // Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья: Сб. статей и материалов. Памяти Л. А. Иезуитовой: К 80-летию со дня рождения. СПб., 2010. С. 10—26; Письма А. А. Смирнова к Л. Н. Вилькиной / Публ. и коммент. Джона Малмстада // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб., 2012. С. 309—355; *Малмстад Джон.* «Да, мы несомненно друзья на всю жизнь...» // Смирнов А. А. Письма к Соне Делонэ 1904—1928 / Публ. и вступ. статьи Джона Малмстада и Жан-Клода Маркадэ. М., 2011. С. 5—27. В письмах З. Н. Гиппиус к В. Ф. Нувелю содержатся достаточно нелицеприятные отзывы о Смирнове. См.: Письма З. Н. Гиппиус к В. Ф. Нувелю / Вступ. ст., публ. и примеч. Н. А. Богомолова // Диаспора. Новые материалы. II. СПб., 2001. С. 323, 326, 332—334.

239 А. П. Философова и Д. В. Философов проживали в доме 21 по Баскову пер.

240 По другим сведениям Д. С. Мережковский был делегирован в Александринский театр. Ср. сообщение об этой политической акции в письме Иванова-Разумника к жене, В. Н. Ивановой, от 11 января 1905 г.: «9-го янв⟨аря⟩ вечером во все театры посланы были депутаты от интеллигенции (от редакций журналов, газет и т. п.) с требованием прекратить спектакли в этот день жестокой бойни и народного траура. В Имп. Александринском театре на эту тему говорил речь — угадай кто? Д. С. Мережковский. Он горячо говорил, требуя уважения к памяти убитых в этот день рабочих; публика устроила ему восторженную овацию и немедленно толпой покинула театр» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 198). Срыв представления в Александринском театре описан в воспоминаниях Г. И. Чулкова «Годы странствий» (1930). См.: *Чулков Георгий.* Годы странствий. М., 1999. С. 91—92. З. Н. Гиппиус также свидетельствует, что Мережковский, она, Д. В. Философов и Белый участвовали в тот день, помимо акции протеста в Александринском театре, в манифестации в Вольно-экономическом обществе, где выступал Г. Гапон: «Эстрады не имелось, ряды стульев ⟨...⟩ были расстроены, почти все стояли ⟨...⟩ Рассмотреть говорящего было нельзя, голос незнакомый, с хрипотой. Некоторые влезли на беспорядочно разбросанные в зале стулья. Влез и спутник наш А. Белый. Он, сегодня только приехавший ⟨...⟩, — ровно ничего не понимал» (*Гиппиус-Мережковская З.* Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 132—133).

241 Критик, журналист и историк литературы К. И. Арабажин был двоюродным братом Белого (сыном его тетки М. В. Арабажиной, урожд. Бугаевой).

242 После расстрела демонстрации Г. Гапон скрывался на квартире Горького, где написал воззвание к народу. В очерке «Савва Морозов» Горький описал, как после этого, остриженный, загримированный и переодетый, Гапон появился на собрании интеллигенции в Вольно-экономическом обществе (см.: *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 524).

243 Имеется в виду имение Демьяново.

244 Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух умер 27 января 1920 г.

245 О своем приобщении в январе 1905 г. к деятельности «религиозной коммуны» Мережковских Белый вспоминает: «Они приняли меня на свои тайные

моления; их малая община имела свои молитвы, общие; было 2 чина; 1-х: чин ежедневной вечерней молитвы; и 2-х: чин служб: этот чин свершался приблизительно раз в 2 недели, по „четвергам"; во время этого чина совершалась трапеза за столом, на котором были поставлены плоды и вино; горели светильники; на Мережковском и Философове были одеты широкие, пурпурные ленты, напоминающие епитрахили. В числе участников „*четвергов*" в это время были: Мережковский, Гиппиус, Философов, Карташев, я, Татьяна Николаевна Гиппиус, Наталья Николаевна Гиппиус; вот и все: Мережковские одно время надеялись ввести в чин свой Бердяева и Волжского; но те скоро отошли от них» (*МБ.* Л. 51 об.).

[246] «Слугой Личардой верным» называет себя Смердяков, персонаж «Братьев Карамазовых» (ч. 2-я, кн. 5-я, гл. VI; ч. 4-я, кн. 11-я, гл. VIII); образ этот восходит к древнерусской переводной повести о Бове Королевиче (см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 245; Т. 15. С. 59, 564, 590 (комментарии В. Е. Ветловской)).

[247] Подразумевается эпизод из повести Н. В. Гоголя «Вий» (1835). См.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. ⟨Л.⟩, 1937. Т. 2. С. 185—187.

[248] Около Суйды (Петербургская губерния, близ Гатчины, дача Бергера) Белый гостил у Мережковских в августе 1908 г.

[249] Великан Риза — фантастический образ из «Северной симфонии (1-й героической)» (1900) Белого. См.: *Симфонии.* С. 53.

[250] В доме Мурузи (Литейный пр., 24), выходящем на Литейный проспект, Пантелеймоновскую улицу и Преображенскую площадь, Мережковские проживали до 1913 г.

[251] Журнал «Вопросы жизни» издавался лишь на протяжении 1905 г.; его редакция первоначально размещалась в доме 10 по Саперному переулку, с августа 1905 г. — на 7-й Рождественской улице (дом 7).

[252] См.: *Студент-естественник.* По поводу книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». Отрывок из письма // Новый Путь. 1903. № 1. С. 155—159.

[253] Имеются в виду слова мертвеца в повести «Вий»: «Приведите Вия! ступайте за Вием!» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 217).

[254] Первая опубликованная книга В. В. Розанова — «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего состояния науки как цельного знания» (М., 1886).

[255] Ф. Сологуб служил в 1899—1907 гг. учителем-инспектором Андреевского городского мужского четырехклассного училища, располагавшегося в доме 20 по 7-й линии Васильевского острова. См.: *Павлова М.* Писатель-инспектор. Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников. М., 2007. С. 215—231.

[256] Сестра Сологуба Ольга Кузьминична Тетерникова (1865—1907) скончалась 28 июня 1907 г. См. о ней: Письма Ф. Сологуба и О. К. Тетерниковой / Публ. Т. В. Мисникевич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1998—1999 год. СПб., 2003. С. 224—229.

[257] Ассоциация с дорическим архитектурным ордером.

[258] Книга «Возврат. III симфония» (М.: Гриф, 1905) вышла в свет в середине ноября 1904 г.

[259] Вероятно, имеется в виду одна из двух полемических статей В. В. Розанова начала 1909 г., написанных в связи с выступлением Блока в петербургском Религиозно-философском обществе и его статьей «Стихия и культура», — «Литературные симулянты» (Новое время. 1909. № 11794, 11 января), «Попы, жандармы и Блок» (Там же. № 11829, 16 февраля). См.: *Розанов В. В.* О писательстве и писателях / Собр. соч. / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 1995. С. 324—326, 330—333. О полемике между Блоком и Розановым см.: *Беляев С. А., Флейшман Л. С.* Из блоковской переписки // Блоковский сборник, II. Тарту, 1972. С. 398—406.

[260] Неточная и сокращенная цитата (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 155).

[261] Цитата из той же статьи (Там же. С. 154).

[262] Неточная и сокращенная цитата из той же статьи (Там же. С. 154—155).

[263] «В полночь глухую рожденная...» (24 декабря 1900 // *Блок I.* С. 42). Неточная цитата (в оригинале 2-й стих: «Тканью морозной земли»). Следующая цитата — из того же стихотворения.

[264] «Ты не обманешь, призрак бледный...» (*Блок I.* С. 43).

[265] «31 декабря 1900 года» («И ты, мой юный, мой печальный...» // *Блок I.* С. 43). Неточная цитата.

[266] «Я вышел. Медленно сходили...» (25 января 1901 // *Блок I.* С. 49).

[267] Первые две строфы стихотворения (29 января 1901 // *Блок I.* С. 49).

[268] «Я понял смысл твоих стремлений...» (26 февраля 1901 // *Блок I.* С. 52). Неточная цитата (в оригинале: «Благословен прошедший сон»).

[269] «За городом в полях весною воздух дышит...» (12 июля 1901 // *Блок I.* С. 68).

[270] Вероятно, имеется в виду фраза из «Симфонии (2-й, драматической)» (1901) — первой опубликованной «симфонии» Белого: «Весна была небывалая и странная» (*Симфонии.* С. 126).

[271] Образ из главы XI 1-го тома «Мертвых душ»; см.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. ⟨Л.⟩, 1951. Т. 6. С. 243—245.

[272] «Арлекин» и «Лесной царь» (*нем.*). Каламбур «Arlekino — Erl-König» обыгрывается в письме Блока к Белому от 3 января 1903 г. (*Белый — Блок.* С. 16). «Лесной царь» («Erlkönig», 1782) — баллада Гёте, известная в России в переводе В. А. Жуковского (1818).

[273] «Полярная звезда» — еженедельный общественно-политический и культурно-философский журнал, издававшийся в Петербурге в 1905 (№ 1—3, 15—30 декабря) и 1906 гг. (№ 4—14, 5 января—19 марта) под редакцией П. Б. Струве; по политическим позициям был близок к конституционно-демократической партии. Об этом издании см.: *Колеров М. А.* Не мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 135—157.

[274] «Гамаюн, птица вещая» (*Блок I.* С. 20).

[275] «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (*Блок I*. С. 60).

[276] Имеются в виду рифмующиеся строки («И не знаю для счастья границ» — «И мечта воздвигает Царицу») из стихотворения «Я живу в отдаленном скиту...» (январь 1905 // *Блок II*. С. 13), впервые опубликованного в «Вопросах жизни» (1905. № 6). Ср. свидетельство о Белом в мемуарном очерке З. Н. Гиппиус «Мой лунный друг. О Блоке»: «Раз он мне прочел (или показал) новое стихотворение Блока, где рифмовалось „ниц" и „царицу". Стихотворение было хорошее, но рифма меня не очаровала.

— Вам нравится, Боря, это „цариц-у"?

Он неистово захохотал, подпрыгнул, чуть ли в ладоши не захлопал:

— Да, да, это именно у-у-у! Как тут нравиться, когда цариц-у-у-у!» (*Гиппиус З. Н.* Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С. 226—227).

[277] Эта перемена в отношении Мережковских к Блоку относится к осени 1908 г. — ко времени их возвращения из двухлетнего заграничного пребывания и возобновления встреч с Блоком. См.: *Минц З. Г.* Блок в полемике с Мережковскими // Минц З. Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., ⟨2000⟩. С. 570—583.

[278] Цитируется «Новогреческая песнь» («Спит залив. Эллада дремлет...»). См.: *Козьма Прутков*. Полн. собр. соч. М.; Л., 1965. С. 83. («Библиотека поэта», Большая серия).

[279] Подразумевается послание Святейшего правительствующего Синода по поводу событий 9 января и последовавших стачек и беспорядков: «Люди русские, искони православные, от лет древних навыкшие стоять за Веру, Царя и Отечество, подстрекаемые людьми злонамеренными, врагами Отечества, домашними и иноземными, десятками тысяч побросали свои мирные занятия, решились скопом и насилием добиваться своих будто бы попранных прав ⟨...⟩ Всего прискорбнее, что происшедшие беспорядки вызваны и подкупами со стороны врагов России и всякого порядка общественного» (Новое время. 1905. № 10368, 16 января).

[280] Образ из стихотворения Белого «На горах» (1903). См. выше, примеч. 3.

[281] Программа и устав конституционно-демократической партии были приняты на ее 1-м учредительном съезде в Москве 12—18 октября 1905 г.; ядро партии составили «Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов».

[282] «Вечность бросила в город...» (26 июня 1904 // *Блок II*. С. 103). Неточная цитата.

[283] Образы из стихотворения «Незнакомка» (*Блок II*. С. 122): «Вдали, над пылью переулочной ⟨...⟩ Чуть золотится крендель булочной».

[284] Дословно такой фразы в письме Блока к Белому (вторая половина ноября 1904 г.), содержащей отклик на присланную 3-ю «симфонию» «Возврат», не имеется; ср.: «Я такой же молодой сегодня и розовый мальчик, как... даже в 1888 году. ⟨...⟩ Скоро будет елка, и Ты подарил мне заранее книжку с картинкой ⟨...⟩. Мы с Любой ее читаем, а на елке повесим золотые орехи и золотой дождь, который режет пальцы» (*Белый — Блок*. С. 185).

[285] Вероятная ассоциация с первой строкой стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887 // *Соловьев*. С. 79).

[286] Подразумевается роман Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» («Антихрист»), который печатался в «Новом Пути» на протяжении 1904 г. и был завершен публикацией в «Вопросах жизни» в 1905 г. (№ 1—3).

[287] Стихотворение Белого «В голубые, священные дни...» (1907 // *СП — 2*. С. 458—459), предпосланное драме «Маков цвет», было напечатано без указания его авторства; см.: *Гиппиус З., Мережковский Д., Философов Д.* Маков цвет. СПб., 1908. С. 3.

[288] Имеется в виду статья А. Белого «Каменная исповедь. По поводу статьи Н. Бердяева „К психологии революции"» (Образование. 1908. № 8. Отд. III. С. 28—38).

[289] Елена Гуро — писательница, примыкавшая к кубо-футуристам, — скончалась 23 апреля/6 мая 1913 г.

[290] Т. Н. Гиппиус с 1901 г. занималась станковой живописью, рисунком и графикой в Высшем художественном училище при Академии художеств (сначала в мастерской И. Е. Репина, затем у Ф. А. Рубо). См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 209—210.

[291] Ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой (8 февраля 1905 г.) о С. В. Панченко и Белом: «Семен Викторович повержен в прах. ⟨...⟩ Боря его чуть не возненавидел» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 608). Она же записала (6 декабря 1905 г.) о случайной встрече Панченко и Белого у Блоков 4 декабря: «...волнение вследствие присутствия Бори и С. В. вместе ⟨...⟩ Оба, конечно, друг друга в душе проклинают или осуждают. ⟨...⟩ Оба как будто проясняются немного относительно друг друга» (ИРЛИ. Ф. 462. Ед. хр. 3. Л. 37—37 об.). См. также: *Минц З., Лавров А.* Письма С. В. Панченко к Блоку / Предисл. и коммент. А. Лаврова // Блоковский сборник, XIV: К 70-летию З. Г. Минц. Tartu, 1998. С. 208—274.

[292] Во время обучения на историко-филологическом факультете Петербургского университета Блок слушал у И. А. Шляпкина лекционные курсы по истории русской литературы, посещал его методологический семинар и готовился к испытаниям в комиссии по истории русской литературы по конспектам лекций Шляпкина. См.: *Кумпан К. А.* Александр Блок — выпускник университета // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. 1983. Т. 42. № 2. С. 163— 178.

[293] Софья Григорьевна Карелина (1826—1915), двоюродная бабушка А. Блока и С. Соловьева.

[294] Имеется в виду французский теософ Теофиль Паскаль (Pascal; 1860—1909), первый генеральный секретарь Французской секции Теософского общества (1900—1908).

[295] Мимеограф — множительный аппарат, аналог гектографа.

[296] Воссоединение «новопутейцев» с «идеалистами» (С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, С. Л. Франк и др.) состоялось осенью 1904 г.: последние три выпуска «Нового Пути» (1904. № 10—12) содержали множество публикаций новых участников. См.: *Корецкая И. В.* «Новый Путь». «Вопросы жизни» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX—начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982.

С. 229—231; *Колеров М. А.* Не мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. С. 63—132.

[297] «Скифы» Блока были написаны 29—30 января 1918 г.; мирные переговоры с Германией велись в Брест-Литовске с 9 декабря 1917 г. до 28 января/10 февраля 1918 г., после чего были прерваны; Брестский мирный договор был подписан 3 марта 1918 г.

[298] «Скифы» (*Блок V.* С. 79).

[299] Первые строки стихотворения (25 декабря 1902 // *Блок I.* С. 141).

[300] «Мир Божий» — ежемесячный литературный и научно-популярный журнал общедемократического направления, печатавший в основном произведения писателей-реалистов; издавался в Петербурге с 1892 г. по август 1906 г.

[301] Контаминация сокращенных цитат из статьи «Стихия и культура» (декабрь 1908 // *Блок VIII.* С. 91, 92—93).

[302] Сокращенная цитата из статьи «Ирония» (ноябрь 1908 // *Блок VIII.* С. 89—90), входящей в книгу А. Блока «Россия и интеллигенция» (М., 1918).

[303] Неточная цитата из статьи «Стихия и культура» (*Блок VIII.* С. 96).

[304] Сокращенная цитата из статьи «„Религиозные искания" и народ» (в книге статей Блока «Россия и интеллигенция» — М., 1918; 2-е изд. — Пб., 1919), представляющей собой исправленный вариант первых двух разделов статьи «Литературные итоги 1907 года» (ноябрь—декабрь 1907). Ср.: *Блок VII.* С. 110—111.

[305] Сокращенная цитата из той же статьи. Ср.: *Блок VII.* С. 112.

[306] «Первое свидание» (*СП — 2.* С. 55). Неточная цитата из гл. 4-й.

[307] Белый, Блок и Л. Д. Блок были на концерте А. Дункан 21 января 1905 г. в зале Петербургской консерватории. Впечатления от танца Дункан отразились в статье Белого «Луг зеленый» (Весы. 1905. № 8; см.: *Андрей Белый.* Луг зеленый: Книга статей. М.: Альциона, 1910. С. 3—18).

[308] Имеется в виду письмо Блока от 7 апреля 1904 г., в котором он уподобляет Розанова извозчику «с трясущейся рыженькой бороденкой 〈...〉 (как у Розанова)» (*Белый — Блок.* С. 139).

[309] Л. Д. Блок посещала с осени 1900 г. до 1903 г. Высшие женские (Бестужевские) курсы.

[310] С. П. Хитрово — владелица имения Пустынька (под Петербургом, близ станции Саблино), где подолгу жил Вл. Соловьев. Об отношениях с ней Вл. Соловьева пишет его племянник С. М. Соловьев: «...можно ли представить себе, чтобы человек любил женщину около 20 лет жизни, если б она его *совсем не понимала*? Не знаю, разделяла ли Софья Петровна те или другие идеи Соловьева, но несомненно она „умосозерцала" его внутреннее я, и ей оно открывалось полнее, чем кому-нибудь другому» (*Соловьев С. М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 205—206).

[311] После 9 января 1905 г. Л. Д. Семенов ушел в революционную деятельность: стал социал-демократом, участником революционных манифестаций, вел агитацию среди крестьян Калужской и Курской губерний — вплоть до ареста в декабре 1905 г. или в начале 1906 г. См.: *Баевский В. С.* Жизнестроитель и

поэт // Семенов Леонид. Стихотворения. Проза / Изд. подгот. В. С. Баевский. М., 2007. С. 470—482. («Литературные памятники»).

312 П. П. Перцов, постоянно живший в Казани, во время своих длительных пребываний в Петербурге обосновывался в большом меблированном доме «Пале-Рояль» (Пушкинская ул., 20).

313 См.: Дан. VI, 6—24.

314 8 февраля 1905 г. З. Н. Гиппиус писала Белому: «Когда приехал Волжский и сказал, что вы „опоздали на все поезда", а потому вернулись с вокзала и поехали к Блокам, откуда уже уехали на другой день, — я и поняла, что именно это-то мне неуловимо все время и не нравилось. 〈...〉 И вы сам еще лучше меня и нас определили бы, — если б понадобилось, — что в этом неважном факте ненравящегося» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 221).

315 Белый выехал из Петербурга в Москву 4 февраля 1905 г.

316 4 февраля 1905 г. в 3 часа дня эсер И. П. Каляев совершил террористический акт на Сенатской площади московского Кремля — убийство великого князя Сергея Александровича разрывной бомбой.

317 Министр внутренних дел и шеф жандармов В. К. Плеве был убит эсером Е. С. Созоновым 15 июля 1904 г.

318 4 февраля 1905 г., после отъезда Белого, Блок сразу же написал ему: «Как было хорошо с тобой в Петербурге! Сейчас мы узнали о убийстве Сергия Александровича. В этом — что-то очень знаменательное и что-то решающее. Это случилось, когда мы прощались с тобой на платформе. У нас обоих ужасно тяжелое чувство, и что будет — не знаем» (*Белый — Блок*. С. 196).

ГЛАВА ПЯТАЯ

1905 год

1 Первый концерт Айседоры Дункан в Москве состоялся в Большом зале Консерватории 24 января 1905 г. (исполнялись танцы на музыку Шопена), второй концерт — там же 27 января («Dances idylles»); тогда же Дункан дважды выступала и в театре Солодовникова — 31 января и 3 февраля.

2 См. примеч. 232 к гл. 4-й.

3 Сохранился рисунок Белого, из подписи к которому мы узнаем слова Брюсова: «Он продавал свои ласти, Борис Николаевич» («ласти» — ласки; Белый пародирует манеру произношения Брюсова); рисунок подписан Белым: «Как злословит великий человек» (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. Между с. 128—129). Имеется в виду слух об отношениях Мережковского с Е. И. Образцовой, отраженный в дневнике Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16), определенно со слов самой Образцовой, и в последующее время на протяжении ряда лет пытавшейся через Брюсова получить от Мережковского взятые им в долг 3000 рублей; касаясь этой темы в письме к Брюсову от 4 сен-

тября 1912 г., она отмечала: «Очевидно, они желают мои деньги зажилить или, того хуже, считают это платой за любовь. В таком случае — дешевая любовь была. Деньги мной были даны на издание книг обоих супругов» (РГБ. Ф. 386. Карт. 96. Ед. хр. 34).

[4] Ср. слова Белого в этом письме к Брюсову (19 февраля 1905 г.): «Ведь вы ругаете *периодически* всех. Вы и пишете нехорошие вещи про всех (про меня, например). Лично я относительно себя совершенно ничего не имею: вам так подходит. Я вас часто про себя называю — „*ругателем*" — это одна из ваших черт. ⟨...⟩ Мережковские мне близки и дороги, и я очень близок к ним. Считаю нужным предупредить вас, Валерий Яковлевич, что впредь я буду считать ваши слова, подобные сказанным мне сегодня (*по моему позволению*), обидой себе» (*ЛН*. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 381).

[5] См. письмо Брюсова к Белому от 20 февраля 1905 г. (Там же. С. 381—382).

[6] В письме от 21 февраля к Брюсову Белый, разъясняя смысл своего предыдущего послания («Все письмо написано не из желания вас обидеть, а из желания исполнить свой долг относительно людей, с которыми я связан теснейшими узами дружбы»), заключал: «Если вы человек честный, вы пойдете навстречу моему желанию прекратить возникшее недоразумение. В противном случае, конечно, я меняю тон моего отношения к вам» (Там же. С. 382).

[7] См. письмо Брюсова к Белому от 22 февраля 1905 г. (Там же. С. 383). Брюсов собирался описать в дневнике этот инцидент под заголовком «История моей дуэли с Белым» (РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16. Л. 37), но этого намерения не осуществил. 1 апреля 1905 г. Белый сообщал Э. К. Метнеру: «...у меня с Брюсовым должна была быть *эмпирическая*, а не символическая дуэль, или, лучше сказать, тут символизм наших отношений хотел „*окончательно воплотиться*"» (РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 44).

[8] Стихотворение «Ахиллес у алтаря» («Знаю я, во вражьем стане...») входит в раздел «Правда вечная кумиров» книги Брюсова «Στέφανος. Венок: Стихи 1903—1905 года» (М.: Скорпион, 1906). Подразумеваются строки из него: «Но прекрасен ясный жребий — // Просиять и умереть!» (*Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 391).

[9] Типография В. И. Воронова, в которой печатались книги издательства «Скорпион», размещалась на Моховой улице в доме князя Гагарина.

[10] Гостиница «Метрополь» в центре Москвы, построенная в 1899—1905 гг. по первоначальному проекту Вильяма Валькота (архитекторы Л. В. Кекушев, Н. Л. Шевяков и др.). В одном из помещений «Метрополя» (кв. 23) располагалась редакция журнала «Весы».

[11] Белый подразумевает свою болезнь (флегмона, угрожавшая заражением крови), закончившуюся хирургической операцией (2 января н. ст. 1907 г., Париж).

[12] Бундисты — члены Бунда, Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России, учрежденного в Вильно в сентябре 1897 г.; входил в РСДРП как организация, автономная в вопросах, касающихся еврейского пролета-

риата. Ср. запись Белого об апреле 1905 г.: «Начинаю посещать собрания у Морозовой; знакомлюсь с Морозовой 〈...〉 Сближение с Морозовой» (*РД*. Л. 28 об.).

[13] В мемуарах П. Н. Милюков рассказал о своих посещениях дома Морозовой, затронув, в частности, взаимоотношения хозяйки дома и Белого: «В центре восторженного поклонения М. К. находился Андрей Белый. В нем особенно интересовал мою собеседницу элемент нарочитого священнодействия. Белый не просто ходил, а порхал в воздухе неземным созданием, едва прикасаясь к полу, производя руками какие-то волнообразные движения, вроде крыльев, которые умиленно воспроизводила М. К. Он не просто говорил: он вещал, и слова его были загадочны, как изречения Сивиллы. В них крылась тайна, недоступная профанам» (*Милюков П. Н.* Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 287—288).

[14] Издательство «Путь», основанное в Москве в 1910 г., субсидировалось М. К. Морозовой, выпускало книги религиозно-философской проблематики. См.: *Голлербах Евгений*. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910—1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000. Деятельность Морозовой как основательницы и руководительницы «Пути» отражена в подготовленных Н. А. Струве публикациях писем к ней С. Н. Булгакова (Вестник Русского христианского движения. 1985. № 144. С. 123—135) и Г. А. Рачинского (Там же. 1985. № 145. С. 153—171).

[15] Сообщая Блоку в недатированном письме (апрель—май 1905 г.) о московской лекции Д. С. Мережковского «о церковной реформе», Белый добавлял: «Хлопоты все упали главным образом на меня. Неделю я только и мог, что бегать из места в место» (*Белый — Блок*. С. 219). Статья Мережковского «Теперь или никогда. О церковном соборе» была опубликована в «Вопросах жизни» (1905. № 4/5. С. 295—319).

[16] Как политическая организация «Христианское Братство Борьбы» возникло в начале 1905 г., его книгоиздательская деятельность началась в августе—сентябре 1905 г.

[17] Статья «Апокалипсис в русской поэзии» была опубликована в № 4 «Весов» за 1905 г. (с. 11—28); вошла в книгу Белого «Луг зеленый» (М., 1910).

[18] Гостиница и ресторан на Никольской ул., в доме Синодальной типографии.

[19] Подразумеваются номера журнала «Новый Путь» (закончившегося изданием в декабре 1904 г.).

[20] Упоминаемый вечер, безусловно, состоялся не в мае 1905 г. (К. Д. Бальмонт в это время находился в Мексике), а, видимо, в предыдущий приезд Мережковских в Москву в начале апреля 1904 г.

[21] «Знание» — книгоиздательское товарищество (Петербург, 1898—1913), возглавлявшееся с 1902 г. М. Горьким и объединявшее писателей реалистической школы; выпускало с 1904 г. «Сборники товарищества „Знание"» (вышло 40 книг).

[22] Начало общения с Б. К. Зайцевым Белый относит к марту 1904 г.: «В этот месяц происходит мое ближайшее знакомство с Зайцевыми (Борисом Константиновичем и Верой); хотя мы и раньше познакомились на Арбате, но ближе

встретились только теперь» (*МБ*. Л. 44). Мемуарный очерк Зайцева «Андрей Белый» (Русские записки. 1938. № 7. С. 78—94) вошел в его книгу «Далекое» (Вашингтон, 1965). См.: *Зайцев Б. К.* Соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 353—366.

23 Московский литературный кружок «Среда» возник осенью 1899 г. по инициативе Н. Д. Телешова, просуществовал до 1916 г. Открытые для посторонних, так называемые «выходные» «Среды» проходили либо у Л. Н. Андреева, либо у С. С. Голоушева. См.: 〈*Шруба Манфред*〉. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890—1917 годов. Словарь. М., 〈2004〉. С. 21, 228.

24 Воспоминания Белого о Л. Н. Андрееве вошли в кн.: Книга о Леониде Андрееве. Берлин; Пб.; М., 1922. С. 177—192.

25 Имеется в виду рассказ «Проклятие зверя», впервые опубликованный в кн. 1-й альманаха «Земля» (М., 1908). См.: *Андреев Леонид*. Собр. соч.: В 6 т. М., 1994. Т. 3. С. 17—47.

26 В хронологически выстроенном автобиографическом своде Белый относит «встречи и разговоры с Леонидом Андреевым (у д-ра Доброва)» к июлю 1907 г. (*РД*. Л. 40 об.) — явно неточно, поскольку в указанное время Андреев жил в Куоккале.

27 Имеются в виду герой рассказа Андреева «Мысль» (1902) и эпизод, описываемый во фрагменте «Лист седьмой» (*Андреев Леонид*. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 1. С. 414—415).

28 Цитата из «Симфонии (2-й, драматической)» (*Симфонии*. С. 115).

29 Цитатные фрагменты из статьи «Призраки хаоса» (*Арабески*. С. 486, 485).

30 Контаминация сокращенных цитат из воспоминаний Блока «Памяти Леонида Андреева» (1919), опубликованных в сборнике «Книга о Леониде Андрееве». См.: *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 129—131.

31 Подразумеваются пьесы Андреева «Черные маски» (1908) и «Жизнь Человека» (1907).

32 Неточная цитата из воспоминаний Блока «Памяти Леонида Андреева» (*Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 130).

33 Имеется в виду статья «В защиту от одной похвалы (Открытое письмо Андрею Белому)» (Весы. 1905. № 5. С. 37—39), где Брюсов возражал против интерпретации своего творчества (в статье Белого «Апокалипсис в русской поэзии») в религиозно-мистическом аспекте. Белый опубликовал полемический ответ — «В защиту от одного нарекания (Открытое письмо Валерию Брюсову)» (Там же. № 6. С. 40—42). Подробнее см. вступительную статью С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова к переписке Брюсова и Белого (*ЛН*. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 331—332). Открытое письмо Брюсова см. в кн.: *Брюсов Валерий*. Среди стихов. 1894—1924: Манифесты. Статьи. Рецензии / Сост. Н. А. Богомолов и Н. В. Котрелев. М., 1990. С. 144—146.

34 Цитаты из стихотворения А. А. Фета «Фантазия» («Мы одни; из сада в стекла окон...», 1847).

[35] Об этом визите Белый сообщал Блоку в недатированном письме, относящемся к февралю 1905 г.: «...из Петербурга приехал зуборог Волжский с охапкой религиозной общественности, и прошел караван, меся песок, — Флоренский, Свентицкий, Эрн, Сыроечковский и др.» (*Белый — Блок.* С. 208).

[36] Религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева в Москве было инициировано весной 1905 г. участниками Религиозно-философской секции Студенческого Историко-филологического общества при Московском университете; открылось явочным порядком после обнародования манифеста 17 октября 1905 г.; устав утвержден в августе 1906 г.

[37] Имеется в виду «Симфония (2-я, драматическая)» (1901). Белый совмещает не связанные между собой фрагменты ее текста: «сеть мистиков покрыла Москву» — в части третьей, четыре Зачатьевских переулка упоминаются в части первой (*Симфонии.* С. 159, 94).

[38] Подразумеваются, видимо, брошюры «Христианского Братства Борьбы», издававшиеся с осени 1905 г. в серии «народной литературы» «Религиозно-общественная библиотека».

[39] Подразумевается попытка волхвователя Симона получить дар приобщения к Духу Святому за деньги (Деян. VIII, 9—24).

[40] Белый жил в имении Дедово (в 8 верстах от станции Крюково Николаевской железной дороги, под Москвой) вместе с С. М. Соловьевым в мае и июне 1905 г.

[41] См. переведенные М. С. Соловьевым диалоги «Апология Сократа» и «Критон» (*Платон.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 70—111).

[42] О. М. и М. С. Соловьевы. Подробный рассказ о них — в несохранившейся части книги. См. о них в главе первой «Воспоминаний о Блоке» (*О Блоке.* С. 27—29, 32—37).

[43] В Пустыньке (под Петербургом) написаны стихотворения Вл. Соловьева «Белые колокольчики» (август 1899) и «Вновь белые колокольчики» (8 июля 1900). В «Биографии Владимира Сергеевича Соловьева» С. М. Соловьев свидетельствует: «Природой Пустыньки вдохновлены стихи: ⟨...⟩ „Белые колокольчики", „Вновь белые колокольчики"» (*Соловьев Владимир.* Стихотворения. 7-е изд. / Под ред. и с предисл. С. М. Соловьева. М., 1921. С. 21).

[44] Фингал — король Морвена, главный герой «Поэм Оссиана» Джеймса Макферсона («Фингал, древняя эпическая поэма» в 6 книгах (1762) и др.). «Поэмы Оссиана» представляют собой основной литературный источник баллады В. А. Жуковского «Эолова арфа» (1815); оссианические мотивы присутствуют и в других произведениях Жуковского (см.: *Левин Ю. Д.* Оссиан в русской литературе. Л., 1980. С. 88—92, 111—122).

[45] Греческая богиня утренней зари Эос, у Гомера, — розовоперстая (Одиссея, X, 187).

[46] Подразумеваются конъектуры — восстановления несохранившихся, не поддающихся прочтению или вовсе отсутствующих в оригинале частей текста на основании правдоподобных и аргументированных догадок.

[47] См. отдельную главку в позднейших мемуарах, посвященную этому произведению (*МДР*. С. 21—24).

[48] Статья Белого «Химеры» напечатана в № 6 «Весов» за 1905 г. (с. 1—18).

[49] Поездка Белого и С. Соловьева в Шахматово состоялась в середине июня 1905 г.

[50] Станции Николаевской железной дороги: Крюково — ближайшая к Дедову, Подсолнечная — ближайшая к Шахматову.

[51] «Ваня-ключник — злой разлучник // Мужа старого с женой» — образ из стихотворения В. В. Крестовского «Ванька-ключник» (1861), ставшего популярной песней с 1880-х гг. См.: Песни русских поэтов. В 2 т. Л., 1988. Т. 2. С. 129—131, 455 (примечания В. Е. Гусева).

[52] С. А. Кублицкая-Пиоттух, тетка А. А. Блока.

[53] Обыгрываются строки из стихотворения Блока «Осенняя воля» («Выхожу я в путь, открытый взорам...», июль 1905): «Или — каменным путем влекомый // Нищий, распевающий псалмы?» (*Блок II*. С. 62).

[54] Цитируется баллада Томского из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (действие I, картина 1-я; либретто М. И. Чайковского).

[55] Эти слова Блока относятся ко времени пребывания Белого и С. Соловьева в Шахматове летом 1904 г., описанного в несохранившейся части книги. Ср. в «Воспоминаниях о Блоке»: «...раз С. М. Соловьев мне сказал о своем разговоре с встревоженной Александрой Андреевной, которая передала ему впечатление А. А. от меня; раз А. А. ей сказал после общего, тихого вечера вместе:

— „Кто он? И не пьет, и не ест...“

Он хочет подчеркнуть во мне тон аскетизма, уже обреченного на провал для А. А.; он ведь видел во мне человека (не ангела) 〈...〉 Недоуменьем («*и не ест, и не пьет*») хотел выразить: „Неужели же он, как стезя?“ Это значило: „Неужели серьезно он думает, что — стезя: *разубедится он в этом! Не знает себя!*“ А. А. сознавал, что он знает, чего он не знает; я — нет; за меня огорчался он» (*О Блоке*. С. 97).

[56] Книга Блока «Нечаянная Радость: Второй сборник стихов» (М.: Скорпион, 1907).

[57] Начальная строка стихотворения Блока (16 апреля 1905 // *Блок II*. С. 7). С 1916 г. печаталось как Вступление к книге II Собрания стихотворений Блока.

[58] Трагедия Вяч. Иванова «Тантал» была опубликована в «альманахе IV книгоиздательства „Скорпион“» «Северные цветы ассирийские» (М., 1905. С. 197—245), вышедшем в свет в апреле 1905 г.

[59] Т. е. ученица женской гимназии С. А. Арсеньевой (Пречистенка, дом Перфильевой).

[60] Об антагонизме между семействами Бекетовых и Коваленских (мать Блока — урожденная Бекетова, мать С. Соловьева — урожденная Коваленская) рассказывает М. А. Бекетова в письме к Белому от 24 января 1931 г. (см.: Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1987. С. 252—254).

[61] Начальная строка стихотворения Блока «Старушка и чертенята» (июль 1905 // *Блок II*. С. 18).

[62] «Колдун укачал весну» — строка из стихотворения «В лапах косматых и страшных...» (август 1905 // *Блок II.* С. 18).

[63] Подразумеваются строки из стихотворения «Болотный попик» («На весенней проталинке...», 17 апреля 1905): «И лягушке хромой, ковыляющей, // Травой исцеляющей // Перевяжет болящую лапу» (*Блок II.* С. 15).

[64] Цитата из стихотворения «Болотные чертенятки» («Я прогнал тебя кнутом...», январь 1905 // *Блок II.* С. 12).

[65] Подразумевается стихотворение Блока «Сторожим у входа в терем...», первое в цикле «Молитвы» (март—апрель 1904 // *Блок I.* С. 173).

[66] Заключительные строки того же стихотворения.

[67] Начальная строка стихотворения Блока (июнь 1905 // *Блок II.* С. 17).

[68] См. выше, примеч. 62.

[69] Персонажи повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (1832).

[70] Ассоциация со стихотворением Блока «Сбежал с горы и замер в чаще...» (21 июля 1902 // *Блок I.* С. 113).

[71] Обыгрывается образный строй стихотворения Блока «Поэт» («Сидят у окошка с папой...»): на вопрос «Так зачем же она не приходит?» (она — Прекрасная Дама) — ответ: «Она не придет никогда: // Она не ездит на пароходе» (*Блок II.* С. 58—59).

[72] Сюжетный мотив оперы Р. Вагнера «Зигфрид» (1876), входящей в тетралогию «Кольцо нибелунга»: великан Фафнер, обернувшийся драконом, охраняет подступы к месту, где спит зачарованная Брунгильда.

[73] Заключительная строка стихотворения Вл. Соловьева «Белые колокольчики» («Сколько их расцветало недавно...» // *Соловьев.* С. 135).

[74] Цитата из того же стихотворения.

[75] Жанна Д'Арк. «Орлеанская Дева» — заглавие трагедии Иоганна Фридриха Шиллера («Die Jungfrau von Orleans», 1801).

[76] «Болотный попик» — заглавие стихотворения Блока (17 апреля 1905 // *Блок II.* С. 14—15).

[77] Двоюродный брат Блока Андрей Адамович Кублицкий-Пиоттух (1886—1960).

[78] Песенный вариант стихотворения Н. А. Некрасова «Огородник» («Не гулял с кистенем я в дремучем лесу ..», 1846), бытовавший в фольклорном репертуаре с народной мелодией.

[79] Героиня романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1880).

[80] Об А. И. Розвадовском, шафере на свадьбе Блока со стороны невесты, тогда студенте физико-математического факультета Петербургского университета, идет речь в гл. 1-й «Воспоминаний о Блоке» и, соответственно, в несохранившейся части настоящей книги; ср.: «...один из участников, шафер невесты, совсем поразил Соловьева своей глубиной; он был „наш", т. е. чающий Новой Звезды; он был мистик, окончивший университет и особенно почитавший невесту; он должен был ехать в Галицию, чтобы там принять католичество, постригаясь в монахи; фамилия шафера — граф Развадовский; и он, по словам Соловьева, развил свой, особый мистический культ, углубляя который, он видел „Звезду"; за

„Звездою" он шел в монастырь» (*О Блоке*. С. 52). По свидетельству Белого, имя Розвадовского возникло в его разговоре с Блоком при их последней встрече весной 1921 г.: «А. А. ⟨...⟩ сказал, что в Галиции (кажется) упоминается имя епископа; и что это есть граф Развадовский: „Ты знаешь, ведь это наверно *тот* Развадовский", — сказал, улыбаясь мне, Блок; и в улыбке мелькнуло: воспоминание о далеких годах, когда юные шаферы Л. Д. Блок ждали новой зари; один видел „мистерию" в свадьбе; другой непосредственно после обряда пошел за „Звездой", увенчавшей епископской шапкой его» (Там же. С. 53). А. И. Розвадовский — член ордена иезуитов (с 1904 г.), католический священник (с 1912 г.), профессор философии в Новом Сонче, Турине, Риме. См. о нем: *Galis Adam*. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie. Warszawa, 1976. S. 78—94.

[81] «Фиолетовый запад гнетет...» (14 мая 1904 // *Блок II*. С. 40).

[82] «Факелы» — петербургские альманахи (кн. 1—3. СПб., 1906—1908), собиравшиеся и редактировавшиеся Г. И. Чулковым. «Оры» — петербургское символистское издательство, основанное в конце 1906 г. Вяч. Ивановым. «Руно» — «Золотое Руно», модернистский литературно-художественный журнал, издававшийся в Москве в 1906—1909 гг. Н. П. Рябушинским. «Мусагет» — московское символистское издательство философско-культурологической ориентации, основанное в 1909 г. Э. К. Метнером при ближайшем участии Андрея Белого и Эллиса. «Скифы» — см. примеч. 7 к гл. 4-й. «Вольфила» — Вольная философская ассоциация, действовавшая в Петрограде в 1919—1924 гг. и имевшая филиалы в Москве и Берлине (председатель — Андрей Белый, фактический руководитель — Иванов-Разумник).

[83] Образы и цитаты из пьесы Блока «Балаганчик» (1906 // *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 12).

[84] Глухонемым был не Феликс (Фероль) Адамович Кублицкий-Пиоттух (1884—1970), окончивший в 1905 г. петербургское Училище правоведения (см.: *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 344 — статья В. П. Енишерлова), а его младший брат и также двоюродный брат Блока Андрей Адамович Кублицкий-Пиоттух. Ту же ошибку Белый допускает в гл. 3-й «Воспоминаний о Блоке»: «...один среди них ⟨сыновей С. А. Кублицкой-Пиоттух. — *Ред.*⟩, не правовед, а глухой и немой, — тот, которого называли „Феролем", был чуток ⟨...⟩» (*О Блоке*. С. 90).

[85] См. выше, примеч. 54.

[86] «Синяя птица» (1908) — драма-феерия М. Метерлинка.

[87] Обыгрываются ремарки из «Балаганчика»: «Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. ⟨...⟩ В бумажном разрыве видно одно светлеющее небо» (*Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. С. 20).

[88] См. 4-е действие драмы Г. Ибсена «Йун Габриэль Боркман» (1896).

[89] Цитата (с неточностями) из книги М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (Пб.: Алконост, 1922). См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 72.

[90] Ср. характеристику этого инцидента в дневниковой записи М. А. Бекетовой от 27 июня 1905 г.: «Сережа внезапно исчез с вечера на целую ночь. Дума-

ли, что он заблудился в лесу, искали его, кричали, утром гоняли всех лошадей. Боря узнал в Тараканове, что он в Боблове. Он приехал в 3 часа и за чаем рассказал свое паломничество. Мистическая необходимость вела его от церкви до церкви в Боблово, а там на лай собак вышла Муся 〈...〉 Он объяснил ей, что заблудился, гуляя, она привела его в дом и т. д. Все это он рассказывал с шутками, как всегда, но делал из этого нечто похожее на странствие в пустыне Вл. Соловьева, только еще важнее. Закончил тем, что иначе поступить было нельзя, даже если бы все мы умерли от беспокойства. Алю, и без того измученную, это взорвало, и она крикнула, что он дьявол и соблазн, и ушла. „Ты ничего не понимаешь, ты говорила глупости, тетя Аля", — говорил потом Сережа. Аля говорила, что все это игра, что Сережа совершенно здоров и уравновешен. Боря сказал, что если бы она была мужчиной, он бы вызвал ее за это на дуэль. На другой день уехал скорее, чем было положено 〈...〉» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 609—610. Муся — Мария Дмитриевна Менделеева, сестра Л. Д. Блок; Аля — А. А. Кублицкая-Пиоттух).

91 «Потеха! Рокочет труба...» (июль 1905 // *Блок II*. С. 56—57). Неточная цитата.

92 «Моей матери» («Тихо. И будет все тише...», июль 1905 // *Блок II*. С. 60).

93 Белый уехал из Шахматова, по всей вероятности, 17 июня 1905 г.

94 Восставший броненосец «Потемкин» ушел с одесского рейда в Констанцу (Румыния) 18 июня 1905 г. После того как кораблю было отказано в необходимых припасах, он возвратился в Россию к берегам Крыма, но 22 июня в Феодосии не удалось получить уголь и продовольствие. 23 июня «Потемкин» вновь ушел в Констанцу, а 25 июня сдан румынским властям (матросы сошли на берег как политические эмигранты).

95 Имение Поляковых находилось в Павшине (близ Москвы). Станция Снегири — на Московско-Виндавской железной дороге.

96 23 июня 1905 г. С. Соловьев писал Г. А. Рачинскому из Дедова: «...вчера вернулся из Шахматова, имения Блоков. Там много радостного, но очень много нестерпимо трудного, так что и я и Боря порядком извелись» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 226).

97 См. выше, примеч. 79.

98 Народная песня на текст стихотворения С. Н. Стромилова «То не ветер ветку клонит...» (1840-е гг.). См.: Песни русских поэтов. Л., 1988. Т. 1. С. 528. («Библиотека поэта». Большая серия).

99 Над романом «Серебряный голубь» Белый работал с февраля по декабрь 1909 г.

100 Замысел этой книги С. Соловьева не был реализован.

101 В недатированном письме к Белому М. К. Морозова предлагала ему приехать в Поповку 1 июля (см.: «Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901—1928. М., 2006. С. 48).

102 Хронологическая неточность; Белый посетил Морозову в Поповке в начале июля 1905 г. (см. его письма к ней из Москвы от 9 и 11 июля 1905 г.: Там

же. С. 49—51). В мемуарном очерке «Андрей Белый» Морозова свидетельствует: «В начале июля он приехал к нам в Поповку на несколько дней. Тут мы много гуляли по окружающим Поповку дремучим лесам, устроили пикник в село Маркино-Городище, находившееся от нас верстах в 10, на очень высокой горе над Волгой ⟨...⟩» (Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. М., 1988. С. 529. Публ. Е. М. Буромской-Морозовой и В. П. Енишерлова).

[103] Из Поповки Белый уехал в Москву и затем в Серебряной Колодезь.

[104] К этим словам К. Н. Бугаева сделала примечание (в машинописи, хранящейся в РНБ): «Эта фраза записана в заметках, которые Б. Н. называл для себя „Макеты". Это были главным образом выписки из Даля, сгруппированные по темам и переходящие иногда в художеств⟨енные⟩ зарисовки. Вероятно, они относятся к 1922 г., п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ Б. Н. показывал мне их в начале 1923 г. в Берлине».

[105] Эволюция взаимоотношений Блока и С. Соловьева прослежена во вступительной статье Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова к публикации их переписки (см.: *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 308—324).

[106] Стихотворение Блока «Невидимка» («Веселье в ночном кабаке...») датируется 16 апреля 1905 г., поэма «Ночная Фиалка» начата 18 ноября 1905 г., завершена 6 мая 1906 г.

[107] «Вступление» («Ты в поля отошла без возврата...», 16 апреля 1905 // *Блок II*. С. 7).

[108] «Ночная Фиалка» (*Блок II*. С. 25). Неточная цитата.

[109] Подборку из 20 стихотворений Блок прислал Белому при письме от 2 октября 1905 г. (*Белый — Блок*. С. 234—248).

[110] Тексты этого письма Соловьева и ответного письма Блока неизвестны. Под собственным «дерзким» ответом Белый подразумевает свое письмо к Блоку от 11 или 12 октября 1905 г. (*Белый — Блок*. С. 250—252).

[111] Имеется в виду письмо Л. Д. Блок к Белому от 27 октября 1905 г.: «Я не хочу получать Ваших писем, до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 231).

[112] Письма Белого к Л. Д. Блок не сохранились.

[113] Подразумевается Атанасиус Кирхнер (1602—1680), немецкий ученый, занимавшийся физикой, математикой, естественными науками, древностями, теологией; его сочинение по физике — «Ars magna lucis et umbrae» (1646).

[114] Имеется в виду деятельность Н. И. Новикова как руководителя масонских лож «Латона» (основана в 1775 г.) и «Гармония» (основана в 1781 г.).

[115] Подробнее об этом направлении интересов Н. П. Киселева см. предисловие А. И. Серкова к кн.: *Киселев Н. П.* Из истории русского розенкрейцерства / Сост., подгот. текста и коммент. М. В. Рейзина, А. И. Серкова. СПб., 2005. С. 5—78. См. также: Николай Петрович Киселев: Биобиблиографический указатель / Сост., вступ. ст. О. А. Грачевой и К. П. Сокольской. М., 1984.

[116] «Ребус» — еженедельный журнал по вопросам спиритуализма, психизма и медиумизма, выходивший в Москве с 1881 по 1917 г. (редактор-издатель до 1904 г. — В. И. Прибытков, с 1904 г. — П. А. Чистяков).

[117] См. некрологическую статью Белого «Дорогой памяти Ю. А. Сидорова» (в кн.: *Сидоров Юрий*. Стихотворения. М.: Альциона, 1910. С. 9—12). См. также: *Лавров А. В.* Юрий Сидоров: На подступах к литературной жизни // A Century's Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes / Ed. by Lazar Fleishman, Hugh McLean (Stanford Slavic Studies. Vol. 32). Stanford, 2006. С. 38—62.

[118] Имеются в виду кн.: *Щербатской Ф. И.* Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Часть 1. Учебник логики Дармакирти с толкованием на него Дармоттары. СПб., 1903; Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений. Буддийская каноническая книга, переведенная с пали на английский язык Др. Фаусбеллем. Рус. пер. Н. И. Герасимова. М., 1899.

[119] Полное заглавие книги Генриха Кунрата (Khunrath) «Амфитеатр вечной мудрости»: «Amphitheatrum sapientiae aeternae solius verae, christiano-kabalistium, divino-magicum, nec non physico-chymicum, tertriunum, catholicon» (1609). Книга переводилась на французский, немецкий и другие языки. Белый упоминает труд Кунрата в комментариях к своей книге «Символизм» (М.: Мусагет, 1910. С. 460).

[120] «Соответствия» — сонет Ш. Бодлера (ок. 1855), развивающий мысль о закономерных связях-соответствиях между чувственными явлениями и определенной сущностью, скрытой реальностью; одно из программных произведений в символистской эстетике.

[121] Орфизм — древнегреческое религиозное движение, возникшее в VI в. до н. э. в результате реформы культа Диониса; учредителем очистительных обрядов и автором мистериальных поэм был провозглашен мифический певец Орфей.

[122] Пелазги — доисторический народ, населявший территорию Древней Греции; отрывочные упоминания о нем имеются в гомеровском эпосе.

[123] В первой половине 1910-х гг. в издательстве «Мусагет» анонсировалось готовящееся издание «Гимнов Орфея» в переводе Вл. Нилендера. Книга в свет не вышла.

[124] Подразумеваются последователи Анни Безант, одной из лидеров Теософского общества.

[125] Имеется в виду Сергиев Посад, где А. С. Петровский учился в Духовной Академии. См. примеч. 26 к гл. 4-й.

[126] Кн. П. Д. Святополк-Мирский в конце августа 1904 г., после убийства В. К. Плеве, был назначен министром внутренних дел; пытался действовать путем определенных уступок и либеральных реформ, названных эрой «весны» и «доверия». 18 января 1905 г. уволен в отставку. Упоминая его в связи с политическими событиями, происходившими в октябре 1905 г., Белый допускает анахронизм. Ср. фразу в позднейших мемуарах Белого, — опять же приуроченную к осени 1905 г.: «Растерянный министр „Мирский" мирил всех со всеми расплывчатым обещанием, вызывая взрывы разноголосицы» (*МДР*. С. 35).

[127] Видимо, имеется в виду издание: *Меринг Ф.* История германской социал-демократии / Пер. со 2-го немецкого издания М. Е. Ландау. Т. 1—4. СПб., 1906—1907.

[128] «Капитал. К критике политической экономии» — основной труд К. Маркса; том 1-й опубликован в 1867 г., незаконченные тома 2-й и 3-й опубликованы посмертно.

[129] Книга Рудольфа Штаммлера «Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории. Социально-философское исследование» (СПб., 1898; то же: СПб., 1899).

[130] Имеется в виду Лев Андреевич Оленин, студент-филолог. См. о нем в позднейших мемуарах Белого (*МДР*. С. 36, 44, 48).

[131] С. Н. Трубецкой, первый выборный ректор Московского университета, умер 29 сентября 1905 г. в Петербурге во время заседания комиссии по выработке университетского устава. Смерть его вызвала большой общественный резонанс, в частности, потому, что в июне 1905 г. Трубецкой входил в состав земской и городской делегации к Николаю II и выступил перед ним с программной либеральной речью.

[132] Похороны С. Н. Трубецкого, состоявшиеся в Москве 3 октября 1905 г., превратились в политическую манифестацию. Белый описал их в некрологической статье «Князь С. Н. Трубецкой»: «Алые ленты венков, ярко оттеняя зелень листьев, проливались над морем черных голов. Перед каждой церковью обнажались головы и многочисленные хоры пели „Вечная память". Во главе процессии на длинном древке несли пучок алых цветов, и ленты, ниспадая, развевались» (Весы. 1905. № 9/10. С. 80).

[133] «Похоронный марш» («Вы жертвою пали в борьбе роковой...»), возникший на основе стихотворения А. Архангельского «В дороге» и стихотворения неизвестного автора «Вы жертвою пали» (1870-е гг.), музыкальная обработка Н. Н. Иконникова. См.: Песни русских поэтов: В 2 т. Т. 2. С. 222, 346, 423—424, 499 (примечания В. Е. Гусева). («Библиотека поэта». Большая серия).

[134] О приезде в Москву Л. Д. Семенов уведомлял Белого письмом от 26 августа 1905 г. (см.: *Лавров А. В.* Леонид Семенов — корреспондент Андрея Белого // Россия и Запад: Сб. статей в честь 70-летия К. М. Азадовского. М., 2011. С. 242).

[135] Критическое отношение к символизму Семенов выражал и ранее, — в частности, в письме к Белому от 5—6 октября 1903 г. (см.: Там же. С. 230—236).

[136] Перед изданием манифеста 17 октября Д. Ф. Трепов (с 1905 г. петербургский генерал-губернатор и товарищ министра внутренних дел) обнародовал 14 октября 1905 г. одиозный приказ решительно пресекать любые «попытки к устройству беспорядков», «при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления — холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Приказ «патронов не жалеть» сразу же приобрел широчайший резонанс как своего рода оборотная сторона манифеста 17 октября.

[137] Подразумевается 3-й драгунский Сумский полк. 15 октября 1905 г. вооруженные черносотенцы напали на бастовавших рабочих и студентов в Охотном ряду, у здания Городской думы, и устроили избиение. Стремясь обеспечить свою безопасность в стенах университета и осуществить свободу собрания в нем, студенты приняли решение забаррикадировать входы, устроить дежурства у всех ворот и самим разбиться на группы по 10 человек. В университете забаррикадировалось около 1500 человек, была организована боевая дружина. Осада университета 16 октября закончилась поражением черносотенцев: войска были убраны, и осажденные смогли покинуть здание университета. См.: Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. М.; Л., 1955. Ч. 1. С. 448—450.

[138] Подразумевается И. Д. Пигит, владелец табачной фабрики «Дукат» («И. Пигит и К°») в Чухинском переулке, дом 6 (Пресненская часть, между Владимиро-Долгоруковской и Большой Тверской-Ямской ул.).

[139] Манифест 17 октября был провозглашен 18 октября 1905 г. и вызвал массовые демонстрации.

[140] Похороны Н. Э. Баумана, убитого 18 октября надсмотрщиком рабочих бараков фабрики Щапова черносотенцем Михалиным, состоялись 20 октября 1905 г. и превратились в политическую манифестацию (участвовало до 30 тысяч человек). Вынос тела состоялся в 12 часов дня из здания Технического училища, похороны — на Ваганьковском кладбище около 9 часов вечера. Впечатления от этого события отразились в стихотворении Белого «Похороны» («Толпы рабочих в волнах золотого заката...», 1906 // *СП — 1.* С. 247—248).

[141] Обыгрывается заглавие рассказа Эдгара А. По «Маска Красной Смерти» (1842). Красная свитка — образ из повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» (1831).

[142] Согласно донесению московского градоначальника Г. П. Медема Д. Ф. Трепову от 22 октября 1905 г., после похорон Баумана большая группа студентов (до 1000 человек) у здания университета на Моховой ул. у Манежа столкнулась с толпой «манифестантов-националистов», «в которой появление студентов вызвало сильное озлобление, и по адресу их было произнесено несколько угроз. Ввиду этого находящаяся в толпе демонстрантов боевая дружина, выстроившись двумя группами на тротуаре университетского здания, сделала два залпа по толпе манифестантов, причем некоторые пули попали в стекла здания Манежа, где в это время находилась сотня казаков. Последние, услышав выстрелы, спешенные выбежали из Манежа и, так как частичные выстрелы со стороны студентов продолжались, произвели залп, которым из числа студентов убиты 6 и ранено до 60 человек» (Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. Ч. 1. С. 469—470). В докладах Н. Шубинского, уполномоченного Московской городской думы по расследованию обстоятельств расстрела демонстрантов казаками, признается, что перестрелка была начата около 11 часов вечера черносотенцами и что в среде демонстрантов убито 7 и ранено 70 человек (Из истории революции 1905 г. в Москве и Московской губернии: Материалы и документы. М., 1931. С. 227—229).

[143] Союз русского народа, главная реакционно-монархическая партия черносотенного толка, был организован в ноябре 1905 г. в Петербурге (лидеры — А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков). Всего в ходе революции 1905 г. оформилось около двух десятков организаций, руководствовавшихся черносотенными лозунгами (Русское братство, Лига патриотов, Общество националистов, Партия Минина и Пожарского, Общество хоругвеносцев, Партия честных патриотов и борцов за родину и др.).

[144] См. выше, примеч. 110, 111.

[145] Гостиница «Дрезден» располагалась на Тверской площади (дом Немчинова). В ноябре 1905 г. в Малой зале Благородного собрания состоялось три концерта М. А. Олениной-д'Альгейм — 7, 15 и 29 ноября. Видимо, речь идет о концерте 29 ноября.

[146] П. И. д'Альгейм и М. А. Оленина-д'Альгейм (тетка сестер Тургеневых).

[147] Белый выехал в Петербург 30 ноября 1905 г.

[148] По приезде в Петербург 1 декабря 1905 г. Белый остановился в меблированных комнатах «Бель-Вю» на углу Невского пр. и Караванной ул.

[149] См.: *Белый — Блок*. С. 257.

[150] Подразумеваются строки из стихотворного фельетона М. М. Бескина «Был доклад и был скандал» (Раннее утро. 1909. № 23, 29 января. С. 2; подпись: *Меб*):

Подавайте нам скандал!
И в скандалах поседелый
(Ах, для рифмы я соврал!)
Поднялся Андрюша Белый
И устроил в миг скандал.

[151] Ресторан «К. П. Палкин» — Невский пр., дом 47 (на углу Невского и Владимирского пр.).

[152] Речь идет о пребывании Блока и Л. Д. Блок в Москве в январе 1904 г.: «Остановился Блок — на Спиридоновке, в доме В. Ф. Марконет, — в необитаемой малой квартирке, обставленной всеми предметами, необходимыми для жилья» (*О Блоке*. С. 67). Хозяин дома Владимир Федорович Марконет, преподаватель истории в московской гимназии, был женат на тетке С. М. Соловьева Александре Михайловне (урожд. Коваленской).

[153] Здесь в мемуарной реконструкции беседы Белый объединяет в одно два своих письма к Блоку: «злое» письмо (от 11 или 12 октября 1905 г.) было отправлено по почте, и Блок на него ответил 13 октября (см.: *Белый — Блок*. С. 253—255); с оказией (с ехавшим в Петербург Эллисом) было послано письмо Белого к Блоку от 30 октября 1905 г., ответное на упомянутое письмо Блока, в котором была предпринята попытка преодолеть «недоразумение в понимании друг друга» (Там же. С. 256).

[154] О том же сообщает М. А. Бекетова в биографическом очерке «Александр Блок»: «17 октября и дни всеобщего ликования Ал. Ал. переживал сильно. Он

участвовал даже в одной из уличных процессий и нес во главе ее красный флаг, чувствуя себя заодно с толпой» (*Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 72). Ср. слова Блока в письме к А. В. Гиппиусу от 9 ноября 1905 г.: «Какой-то ты? Я — „СОЦИАЛЬ-ДЕМОКРАТ"» (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 141).

[155] «Крутящийся дервиш» (*фр.*). Подразумевается одна из форм ритуального поведения мусульманских дервишей. См. описание «мистерии кружащихся дервишей» в очерке И. А. Бунина «Тень птицы» (1907) (*Бунин И. А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1965. Т. 3. С. 331—332).

[156] Сохранившиеся наборные рукописи и корректуры «Собрания стихотворений» Блока в трех книгах, выпущенного в свет издательством «Мусагет» в 1911—1912 гг. (РГБ. Ф. 190. Карт. 9. Ед. хр. 1; Карт. 11. Ед. хр. 2; Карт. 12. Ед. хр. 1), содержат, в частности, авторские указания, каким именно цветом в каждой книге должны быть набраны заголовки на обложке и на титульных листах: красным — в кн. 1-й, зеленым — в кн. 2-й, синим — в кн. 3-й.

[157] Первая строфа стихотворения (18 октября 1904 // *Блок II.* С. 43). Ставрогин — главный герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (1872).

[158] Commedia dell'arte — комедия масок; итальянские импровизированные театральные представления по краткому сценарию, персонажи которых — типовые маски, с использованием ярких зрелищных элементов, гротеска, буффонады. Блок ориентировался на эту театральную форму, работая над пьесой «Балаганчик» (1906).

[159] Обе статьи Белого были опубликованы в «Весах»: «Феникс» — в 1906 г. (№ 7), «Фридрих Ницше» — в 1908 г. (№ 7—9).

[160] Неточно цитируется 1-я строфа стихотворения (24 октября 1907 // *Блок II.* С. 185).

[161] «Царица смотрела заставки...» (14 декабря 1902 // *Блок I.* С. 140).

[162] Обыгрывается образный строй того же стихотворения: «А к Царевне с вышки голубиной // Прилетали белые птицы»; «А к Царевне из лазурного ока // Прилетела воркующая птица».

[163] «Покраснели и гаснут ступени...» (25 декабря 1902 // *Блок I.* С. 142).

[164] Сокращенная цитата из статьи «Маска» (1904).

[165] Сокращенная цитата из статьи «Священные цвета» (1903).

[166] Сокращенная цитата из той же статьи.

[167] В 1900-е гг. тетралогия Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» на сцене Мариинского театра ставилась целиком; партию Зигфрида исполнял И. В. Ершов. «Валькирия» (1870) — вторая часть «Кольца нибелунга».

[168] Ахамот (Эннойя) — в представлениях гностиков-валентиниан гипостазированное «помышление» падшей Софии Премудрости, духовный плод ее грехопадения; неоформленная и плененная духовная субстанция. Из «страстей» Ахамот рождается материя, из ее «обращения» — стихия души. «Ахамот, жертвенно павшая в хаос», осмысляется Белым в гл. 1-й «Воспоминаний о Блоке»: «...отношения мужчины и женщины — символ иных отношений: Христа и Софии.

Мужчина логической силою освобождает павшее начало Софии Ахамот, завороженное темными безднами 〈...〉» (*О Блоке*. С. 40).

[169] Зигфрид убивает дракона Фафнера во втором действии оперы Р. Вагнера «Зигфрид».

[170] Начало профессиональной артистической деятельности Л. Д. Блок относится к февралю 1908 г., когда она приняла участие в гастрольной поездке труппы В. Э. Мейерхольда. См.: *Галанина Ю. Е.* Любовь Дмитриевна Блок. Судьба и сцена. М., 2009. С. 80—96.

[171] Б. В. Савинков был товарищем Ремизова по вологодской ссылке в 1901—1903 гг. (см.: *Ремизов А. М.* Собр. соч. Т. 8: Подстриженными глазами. Иверень. М., 2000. С. 440—447, 449—457, 498—506). Личное знакомство З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского с Савинковым состоялось позднее — зимой 1907/1908 г. в Париже (см.: *Гончарова Е. И.* «Революционное христовство» // Письма Мережковских к Борису Савинкову / Вступ. ст., сост., подгот. текстов и коммент. Е. И. Гончаровой. СПб., 2009. С. 12). 19 декабря 1905 г. Ремизов отправил Белому четыре стихотворения Савинкова («Бориса С.») для помещения в «Золотом руне». Публикация не состоялась. См.: Андрей Белый и А. М. Ремизов. Переписка / Вступ. ст., публ. и коммент. А. В. Лаврова // Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 454—455.

[172] Подразумевается убийство великого князя Сергея Александровича (см. примеч. 316 к гл. 4-й). См.: *Савинков Борис.* Воспоминания террориста. Л., 1990. С. 67—114.

[173] Имеется в виду арест Петербургского совета рабочих депутатов (3 декабря 1905 г.). В ответ на это 5 декабря конференция московских большевиков постановила объявить с 7 декабря всеобщую стачку и перевести ее в вооруженное восстание.

[174] Д. В. Философов.

[175] Автограф этого стихотворения не выявлен; ныне печатается по тексту, зафиксированному Белым (*О Блоке*. С. 191; см. другой его вариант: *НВ*. С. 488; Русская эпиграмма (XVIII—начало XX века). Л., 1988. С. 478. («Библиотека поэта». Большая серия)).

[176] Эта встреча — согласно записи Ремизова, введенной в его книгу «Кукха», — состоялась 3 декабря 1905 г.: «У Мережковских. Познакомился с Андреем Белым. Очарован. Безгрешный и чистый, — белый» (*Ремизов Алексей.* Кукха. Розановы письма / Изд. подгот. Е. Р. Обатнина. СПб., 2011. С. 34).

[177] Эта встреча состоялась 4 декабря 1905 г. на именинах В. Д. Розановой. Ср. описание происходившего в «Кукхе»:

«— Сыт, пьян и нос в табаке! — вот как полагается.

Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. Бердяев ничего, только кашлянул, а Андрей Белый от неожиданности финик проглотил» (Там же).

[178] Вяч. Иванов обосновался в Петербурге в середине июня 1905 г. (18 июня он извещал Брюсова: «Я в Петербурге 〈...〉» // РГБ. Ф. 386. Карт. 87.

Ед. хр. 3). См.: *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. М., 2009. С. 121—124.

[179] Первый (погрудный) портрет Андрея Белого был выполнен Л. С. Бакстом в декабре 1905 г., второй (для журнала «Золотое руно», опубликовавшего его в № 1 за 1907 г.) — в марте 1906 г. Ср. сообщение в письме Белого к матери от 4 марта 1906 г.: «...с завтрашнего дня меня опять пишет Бакст во весь рост для „*Золотого Руна*"» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 358). См.: *Пружан И. Н.* Лев Самойлович Бакст. Л., 1975. С. 88—90; *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* Неизданная статья Андрея Белого «Бакст» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1978. Л., 1979. С. 94—95. Портрет З. Н. Гиппиус работы Бакста был помещен в № 4 «Золотого руна» за 1906 г.

[180] Портреты Вяч. Иванова и А. Блока работы К. А. Сомова были помещены в «Золотом руне» соответственно в № 3 за 1907 г. и в № 1 за 1908 г.

[181] Студенты и выпускники петербургского Училища правоведения.

[182] Первая строка стихотворения (июнь 1905 // *Блок II.* С. 17).

[183] Статья «Священные цвета» датируется 1903 г.; при составлении книги «Арабески» выделена как самостоятельный текст из статьи «Символизм как миропонимание» (Мир Искусства. 1904. № 5). См.: *Арабески.* С. 115—129.

[184] «Пасть ночи» — заглавие «отрывка из ненаписанной мистерии» Белого (см.: Золотое руно. 1906. № 1. С. 62—71).

[185] Цитаты из «Ночной Фиалки» (*Блок II.* С. 25).

[186] Фрагменты из «Ночной Фиалки» (*Блок II.* С. 27—29, 33).

[187] Первая строка стихотворения (14 мая 1904 // *Блок II.* С. 39).

[188] «На перекрестке...» (5 мая 1904 // *Блок II.* С. 11).

[189] «Ночная Фиалка» (*Блок II.* С. 28).

[190] «Царица смотрела заставки...» (14 декабря 1902 // *Блок I.* С. 140—141).

[191] «Ночная Фиалка» (*Блок II.* С. 28).

[192] «Я искал голубую дорогу...» (декабрь 1902 // *Блок I.* С. 143).

[193] «Ночная Фиалка» (*Блок II.* С. 30).

[194] «Мы живем в старинной келье...» (18 февраля 1902 // *Блок I.* С. 95).

[195] Фрагменты из «Ночной Фиалки» (*Блок II.* С. 31—33).

[196] «Ночь» («Маг, простерт над миром брений...», 19 ноября 1904 // *Блок II.* С. 45).

[197] «Ночная Фиалка» (*Блок II.* С. 25).

[198] Подразумевается отзыв о поэзии С. М. Городецкого в статье Блока «Краски и слова», впервые опубликованной в «Золотом руне» в 1906 г. (№ 1); приведенное в статье полностью стихотворение Городецкого «Зной» стало его поэтическим дебютом в печати. См.: *Блок VII.* С. 16.

[199] Взаимоотношения Блока и Е. П. Иванова проанализированы в статье Д. Е. Максимова «Александр Блок и Евгений Иванов» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 344—361) и отражены в ряде публикаций: Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке / Публ. Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова; подгот. текста Э. П. Гомберг; коммент. Э. П. Гомберг

и А. М. Бихтера // Там же. С. 362—464; Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову / Ред. и предисл. Ц. Вольпе; подгот. текста и коммент. А. Космана. М.; Л., 1936; *Ильюнина Л. А.* Неопубликованные письма из архива Е. П. Иванова // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1990. М., 1992. С. 99—124; Александр Блок в дневнике Е. П. Иванова (1903—1941) / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. О. Л. Фетисенко // Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 311—436.

200 Имеется в виду Александр Васильевич Гиппиус (1878—1942), студент юридического факультета Петербургского университета, ближайший друг Блока в университетские годы; поэт-дилетант (псевдонимы — Г. Заронин, А. Надеждин). См.: Переписка Блока с А. В. Гиппиусом (1900—1915) / Предисл., публ. и коммент. В. В. Бузник, Л. К. Долгополова, В. А. Шошина // *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 414—457. Под «поэмой в 16 песнях» подразумевается «Лик человеческий» Вл. Гиппиуса (Пб.; Берлин: Эпоха, 1922); в отдельное издание вошли песни 1—8-я; песни 9—20-я остались в рукописи.

201 Блок встречался с Вяч. Ивановым и до приезда Белого в Петербург в декабре 1905 г. — в частности, на «воскресенье» у Ф. Сологуба 9 октября 1905 г. (см.: *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 231). О взаимоотношениях поэтов см.: *Белькинд Е. Л.* Блок и Вячеслав Иванов // Блоковский сборник, II. Тарту, 1972. С. 365—384; *Минц З. Г.* Блок и В. Иванов. Статья I: Годы первой русской революции // Минц З. Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., ⟨2000⟩. С. 621—629; *Котрелев Н. В.* Из переписки Александра Блока с Вяч. Ивановым // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 41. 1982. № 2. С. 163—176.

202 Рыжеватый цвет волос Вяч. Иванова здесь каламбурно соотносится с названием журнала «Золотое руно».

203 Анализу собраний в петербургской квартире Вяч. Иванова на «башне» (верхний этаж дома на углу Таврической и Тверской улиц) как специфическому культурному феномену начала XX в. посвящен специальный коллективный сборник статей и материалов «Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века» (СПб., 2006). О начальном периоде собраний на «башне» см. прежде всего: *Шишкин Андрей*. Симпосион на петербургской Башне в 1905—1906 гг. // Русские пиры. (Альманах «Канун». Вып. 3). СПб., 1998. С. 273—352; *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. М., 2009. С. 115—198.

204 Имеется в виду ивановская «среда» 7 декабря 1905 г. — не первая, а, по всей вероятности, двенадцатая (первая — видимо, 7 сентября 1905 г.; см. хронологию «сред» в кн.: *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. С. 197). Рассказывая в письме к М. М. Замятниной от 11 декабря 1905 г. об этом собрании, Л. Д. Зиновьева-Аннибал, в частности, сообщала: «Блок первый прочитал прекрасные стихи о „Влюбленности“. Говорил Белый о мировой душе, отблеск которой мужчина ищет в любимой женщине, из этого как-то рождается лик Христа, потом все обращается в церковь и в жену,

облеченную солнцем, по апокалипсису» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 233).

[205] Имеется в виду магистерская диссертация Вяч. Иванова «Общества государственных откупов в Римской республике»: «De societatibus vectigalium publicorum populi Romani» (СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1910; Записки Классического отделения Русского археологического общества. Т. VI).

[206] Город Элевсин в Древней Греции — место проведения элевсинских мистерий, ежегодных религиозных празднеств в честь Деметры и Персефоны. 18 сентября 1905 г. Белый сообщал Г. А. Рачинскому: «Теперь занимаюсь ознакомлением с литературой по елевсинским мистериям. Очень интересный вопрос» (*Малмстад Джон*. Андрей Белый и Г. А. Рачинский // Russian Literature. LVIII—I/II (2005). С. 132). Сохранились две тетради с заметками и конспектами Белого, относящимися к элевсинским мистериям (см.: *Глухова Е. В.* Конспекты Андрея Белого по истории гностицизма // Античность и культура Серебряного века. К 85-летию А. А. Тахо-Годи. М., 2010. С. 263—264, 266—273).

[207] Подразумевается относящийся к концу 1905—началу 1906 г. нереализованный замысел создания театра «Факелы»; основными инициаторами этого начинания были Г. И. Чулков и В. Э. Мейерхольд. См.: *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 397.

[208] Образ из драмы Блока «Балаганчик» (слова Пьеро: «Она картонной невестой была» // *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. С. 21).

[209] Бакхий (Иакх, Вакх) — в греческой мифологии одна из архаических ипостасей Диониса, бога плодоносящих сил земли, растительности, виноделия, связанная с Элевсинскими мистериями.

[210] Первый опыт обоснования этой философско-эстетической концепции — статья Г. И. Чулкова «О мистическом анархизме» (Вопросы жизни. 1905. № 7).

[211] См. сводку документальных сведений о собрании на «башне» 7 декабря 1905 г. в кн.: *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. С. 141—144.

[212] «Влюбленность» («Королевна жила на высокой горе...», 3 июня 1905 // *Блок II*. С. 55).

[213] Забастовка переросла в восстание 9 декабря, 10—11 декабря баррикады возникли во всех районах Москвы.

[214] Полковник Г. А. Мин командовал отрядом, подавлявшим московское восстание. В ходе уличных боев 17—19 декабря 1905 г. было убито более 1000 человек.

[215] Особняк Танеевых находился в Обуховском переулке (дом 7), близ Арбата.

[216] Белый возвратился в Москву после 20 декабря 1905 г.

[217] В дневнике С. И. Танеева зафиксировано присутствие Белого среди гостей «вторников» 9 ноября, 16 ноября, 7 декабря 1904 г. (*Танеев С.* Дневники: В 3 кн. М., 1985. Кн. 3 (1903—1909). С. 190, 191, 197), а также сообщается о встречах с Белым в квартире Эртелей.

[218] Подразумевается драматическая поэма Сергея Соловьева «Саул и Давид», опубликованная в литературно-философском сборнике «Свободная совесть» (Кн. 2. М., 1906). Ср. дневниковую запись С. И. Танеева от 4 апреля 1905 г.: «Обедали: С. М. Соловьев, Б. Н. Бугаев, М. А. Эртель, Сол⟨овьев⟩ читал драматическую поэму „Саул"» (*Танеев С.* Дневники: В 3 кн. Кн. 3. С. 233).

[219] С. И. Танеев написал работу «Подвижной контрапункт строгого письма» (1889—1906; изд.: Лейпциг, 1909), имеющую мировое значение в области музыкальной теории.

[220] Имеется в виду 6-я симфония П. И. Чайковского (h-moll, op. 74, 1893).

[221] Статья Белого «Ибсен и Достоевский» была напечатана в «Весах» (1905. № 12; этот же выпуск журнала вышел и как № 1 за 1906 г.), вошла в книгу Белого «Арабески» (с. 91—100).

[222] Сокращенная цитата.

[223] Под этим заглавием помещена в «Арабесках» (с. 273—277) рецензия Белого на книги «Достоевский» А. Волынского (СПб., 1906) и «Около церковных стен» В. Розанова (Т. 1. СПб., 1906), впервые опубликованная в «Весах» (1905. № 12; 1906. № 1).

[224] Неточная и сокращенная цитата (*Арабески.* С. 277).

[225] Ср. запись Белого о январе 1906 г.: «Выходит моя статья „*Достоевский и Ибсен*". За статью мою мне достается от Мережковского: он присылает мне письмо, отрешающее меня от Христа» (*МБ.* Л. 52). Упоминаемое недатированное письмо Мережковского см. в составе публикации его писем к Белому, подготовленной А. Холиковым (Вопросы литературы. 2006. № 1. Январь—февраль. С. 164—166). Подробнее об этом конфликте см.: *Лавров А. В.* Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 188—195.

[226] Д. С. Мережковский эмигрировал в январе 1920 г.: вместе с З. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым и В. А. Злобиным нелегально перешел польскую границу.

[227] Мережковские жили в квартире на Сергиевской улице (в угловом доме с Потемкинской) с осени 1912 г.

[228] Публицист «народовольческой» ориентации В. Л. Бурцев после Февральской революции был одним из инициаторов борьбы против большевиков; эту задачу выполняла его газета «Общее дело», издававшаяся в 1917 г. в Петрограде и с 1918 г. в Париже. См. его книгу «В борьбе с большевиками и немцами» (Вып. 1—2. Париж, 1919).

[229] Дворец Искусств в Москве был организован в январе 1919 г. при непосредственном участии Белого и действовал до весны 1921 г.; Белый принимал активное участие в работе этого учреждения. См.: *Евстигнеева А. Л.* Особняк на Поварской. (Из истории Московского Дворца Искусств) // Встречи с прошлым. Вып. 8. М., 1996. С. 116—140. Вольная Академия Духовной Культуры была организована в Москве Н. А. Бердяевым (устав зарегистрирован 26 сентября 1919 г.; председатель — Бердяев, секретарь — Б. А. Грифцов) и существовала до февраля 1923 г. (см.: *Галушкин Александр.* После Бердяева: Вольная Академия Духовной Культуры в 1922—1923 гг. // Исследования по истории

русской мысли. Ежегодник за 1997 год / Отв. ред. М. А. Колеров. СПб., 1997. С. 237—244).

[230] В 1920 г., эмигрировав в Польшу, Мережковские развернули политическую деятельность, направленную к активизации борьбы с советской Россией; в частности, Мережковский имел аудиенцию у маршала Ю. Пилсудского. См.: *Гиппиус-Мережковская З.* Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 251—292.

[231] Подразумевается письмо Л. Д. Блок, отправленное Белому в конце января 1906 г., в котором говорилось: «...приезжайте скорей к нам — очень обо многом нужно теперь поговорить; кроме того, мне очень хочется, чтобы Вы присутствовали на представлении Сашиного балаганчика — он очень, очень хороший ⟨...⟩» (*ЛН.* Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 237; предполагавшаяся постановка «Балаганчика» в несостоявшемся театре «Факелы» тогда не была осуществлена — см.: Там же. Кн. 4. С. 397).

[232] Отсылка — к изданию, осуществленному в Берлине издательством «Алконост» (1923). Контаминация сокращенных цитат из статьи «Ирония» (ноябрь 1908 // *Блок VIII.* С. 87—89).

[233] Неточная и сокращенная цитата из той же статьи (*Блок VIII.* С. 87).

[234] Сокращенная цитата.

[235] Инициатива поездки в Петербург тогда исходила от Белого, писавшего Блоку в первую декаду февраля 1906 г.: «...на днях поеду в Петербург. Хочу проститься с Мережковскими *и главное* повидать Тебя, Любовь Дмитриевну и Александру Андреевну» (*Белый — Блок.* С. 276. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус выехали из Петербурга за границу на длительный срок 25 февраля 1906 г.). О приезде Белого в Петербург упоминает Е. П. Иванов в дневниковой записи от 14 февраля 1906 г. (Блоковский сборник. С. 399). Белый остановился в меблированных комнатах «Бель-Вю» (Невский пр., д. 64/11).

⟨Воспоминания о Блоке⟩

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Ты в поля отошла без возврата»

[1] Статья Белого «Мировая ектения. (По поводу «Трилогии» Мережковского)» // Золотое руно. 1906. № 3. С. 72—83.

[2] Имеется в виду митрополит Киевский Иларион (XI в.), автор «Слова о Законе и Благодати» и других религиозно-нравоучительных сочинений.

[3] Блок держал государственные экзамены в апреле 1906 г., закончил университет с дипломом I степени 5 мая 1906 г.

[4] «Болотные чертенятки» («Я прогнал тебя кнутом...», январь 1905 // *Блок II.* С. 12).

[5] Подразумевается заключительная строка стихотворения «Старуха гадала у входа...» (13 февраля 1903): «Кто-то встал — и развеял флаг» (*Блок I.* С. 147).

[6] Речь идет о банкете по поводу выхода первого номера «Золотого руна», состоявшемся 31 января 1906 г. Иронически характеризуя это празднество в письме к П. П. Перцову от 2 февраля 1906 г., Брюсов замечал о Белом: «...на оргийном торжестве „Руна" он был неподражаем: в венке из плюща, обнимаясь и целуясь с M-lle Кругликовой, художницей из «Нового времени» 〈...〉. Это было осуществлением всех дионисийских проповедей теоретика дионисизма Вячеслава Иванова» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 26).

[7] Подразумевается поэма Д. С. Мережковского «Старинные октавы», опубликованная в № 1—4 «Золотого руна» за 1906 г. О «Старинных октавах» идет речь в мемуарном очерке В. Ф. Ходасевича «О меценатах» (1936), в котором Н. П. Рябушинский выведен под обозначением Л—в: «Один писатель, знаменитый уже в ту пору, всучил Л—ву нуднейшую и длиннейшую свою поэму, получил по рублю за строчку, уехал за границу и там вдруг испугался, что недобрал. Прислал телеграмму: „Если журнал хочет сохранить мое идейное сочувствие, прошу дополнительно выслать пятьсот рублей". Л—в, надо ему отдать справедливость, нашелся. В ответ он телеграфировал: „В сочувствии не сомневаемся, денег не посылаем"» (*Ходасевич Владислав.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 331—332).

[8] К работе над пьесой «Балаганчик» Блок приступил в середине января 1906 г., 23 января он извещал Г. И. Чулкова: «„Балаганчик" кончен, только не совсем отделан» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 132).

[9] Это чтение состоялось 25 февраля 1906 г. Ср. запись Е. П. Иванова, сделанную в этот день: «Сегодня у Блока было собрание. Последний пришел Белый» (Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 331. Подгот. текста О. Л. Фетисенко).

[10] См. примеч. 9 к гл. 4-й.

[11] Вероятно, один из товарищей Блока, С. Городецкого и Вл. Пяста по оформившемуся в начале 1906 г. литературно-художественному «Кружку молодых», — В. А. Юнгер или Я. В. Годин.

[12] Реплика Паяца в «Балаганчике» (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 19). Неточная цитата.

[13] Образ, восходящий к первой строке стихотворения Блока «Я их хранил в приделе Иоанна...» (1902 // *Блок I.* С. 135).

[14] «Ты смотришь в очи ясным зорям...» (декабрь 1906 // *Блок II.* С. 137).

[15] Премьера «Балаганчика», поставленного В. Э. Мейерхольдом в Театре В. Ф. Коммиссаржевской, состоялась 30 декабря 1906 г. Белый был на представлении пьесы осенью 1907 г., во время своего пребывания в Петербурге.

[16] См.: Перевал. 1907. № 4. С. 38—42; *Арабески.* С. 458—463. Книга Блока «Нечаянная Радость. Второй сборник стихов» (М.: Скорпион, 1907) вышла в свет в декабре 1906 г.

[17] Имеется в виду работа Шеллинга «О мировой душе» («Von der Weltseele», 1798).

[18] Образ из стихотворения «Вхожу я в темные храмы...» (25 октября 1902): «Там жду я Прекрасной Дамы // В мерцаньи красных лампад» (*Блок I.* С. 128).

[19] Цитаты из стихотворения «На весеннем пути в теремок...» (24 апреля 1905 // *Блок II*. С. 15—16).

[20] «Болотный попик» («На весенней проталинке...», 17 апреля 1905 // *Блок II*. С. 14).

[21] Неточная цитата из вступления («У лукоморья дуб зеленый...», 1824—1825) к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

[22] «Старушка и чертенята» («Побывала старушка у Троицы...», июль 1905 // *Блок II*. С. 18).

[23] «Ты в поля отошла без возврата...» (16 апреля 1905 // *Блок II*. С. 7).

[24] «Мы подошли — и воды синие...» (25 января 1906 // *Блок II*. С. 72).

[25] «Вот Он — Христос — в цепях и розах...» (10 октября 1905 // *Блок II*. С. 67).

[26] «Болотные чертенятки» (*Блок II*. С. 12).

[27] Заключительная фраза из вступления «Вместо предисловия» к «Нечаянной Радости» (август 1906 // *Блок II*. С. 215).

[28] «Осенняя воля» («Выхожу я в путь, открытый взорам...», июль 1905 // *Блок II*. С. 62).

[29] Рукопись этого стихотворения с посвятительной надписью «Боре» Блок выслал Белому сразу же после его написания (13 января 1906 г.). См.: *Белый — Блок*. С. 270—271. Впервые опубликовано в сборнике стихов и прозы «Корабли» (М., ⟨1907⟩. С. 103—104) под заглавием «Брату»; в третьем сборнике стихов Блока «Земля в снегу» (М.: Изд. журнала «Золотое руно», 1908. С. 19—20) — под заглавием «О несказанном»; в книге Блока «Собрание стихотворений. Кн. 2. Нечаянная Радость» (2-е изд., доп. М.: Мусагет, 1912. С. 129—131) — под заглавием «Брату». Позднее печаталось без заглавия. О связях между стихотворением и темами переписки Блока и Белого см.: *Магомедова Д. М.* Переписка как целостный текст и источник сюжета. (На материале переписки Блока и Андрея Белого, 1903—1908 гг.) // Динамическая поэтика. От замысла к воплощению. М., 1990. С. 254—257; *Магомедова Д. М.* Автобиографический миф в творчестве А. Блока. ⟨М., 1997⟩. С. 111—130.

[30] В тексте стихотворения опущены три строфы. См.: *Блок II*. С. 71.

[31] Белый умалчивает здесь о главном содержании своих отношений с Л. Д. Блок — объяснении в любви (26 февраля 1906 г.) и последовавшем решении соединить с нею свою судьбу. О феврале 1906 г. Белый вспоминает: «Трудная ситуация создается с Блоками: Л. Д. Блок влюбляется в меня; я уже ясно сознаю, что сильно люблю ее (с 1905 года); мы имеем с ней в конце этого месяца ряд объяснений. ⟨...⟩ Я снимаю себе комнату на Шпалерной: Л. Д. бывает у меня» (*МБ*. Л. 52). Об этом также пишет Л. Д. Блок в воспоминаниях «И быль и небылицы о Блоке и о себе»: «Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева, с „Парсифаля", где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки „братских" (модное было у Белого слово)

отношений. Но тут (помню даже где — на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то фразу я повернулась к нему лицом — и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь это то же, то же! „Отрава сладкая...” 〈...〉 И с этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы остаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев» (Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 173—174). См. также: *Галанина Ю. Е.* Андрей Белый и Л. Д. Блок: К истории отношений // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. М., 2008. С. 49—66.

[32] См. примеч. 171 к гл. 5-й. 13 февраля 1906 г. С. А. Соколов писал Ремизову (на бланке «Золотого руна»): «Стихи Бориса С. возвращаю — они не пойдут» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 203).

[33] Ср. замечание Белого в автобиографическом очерке «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (1928): «...в начале 1906 года — моя последняя попытка живо себя ощутить в общине Мережковских» (*Андрей Белый.* Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 443).

[34] Имеется в виду вечер в квартире Н. М. Минского (2 мая 1905 г.), на котором (по предложению Вяч. Иванова и Минского) собравшиеся производили ритуальные действия и символические жертвоприношения. О вечере подробно рассказал Е. П. Иванов (со слов падчерицы В. В. Розанова А. М. Бутягиной) в письме к Блоку от 9—10 мая 1905 г. (в кн.: Русское революционное движение и проблемы развития литературы. Л., 1989. С. 178—180. Публ. Л. А. Ильюниной). См. также: *Эткинд Александр.* Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998. С. 8—10.

[35] Трилогия Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» (романы «Смерть богов (Юлиан Отступник)», «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)», «Антихрист (Петр и Алексей)») была выпущена в свет петербургским издательством М. В. Пирожкова в 1906 г. М. В. Пирожков был основным издателем книг Мережковских в те годы: с марта 1903 по июнь 1908 г. в его издательстве вышло 22 названия их книг общим тиражом 86 500 экз. (*Эльзон М. Д.* Издательство М. В. Пирожкова // Книга: Исследования и материалы. Вып. 54. М., 1987. С. 162).

[36] «Ночная Фиалка» (*Блок II.* С. 25). Неточная цитата.

[37] «Свобода смотрит в синеву...» (10 октября 1902 // *Блок I.* С. 126).

[38] «Болотные чертенятки» (*Блок II.* С. 12).

[39] Первая строфа стихотворения (14 мая 1904 // *Блок II.* С. 39).

[40] «Все бежит, мы пребываем...» (сентябрь 1904 // *Блок II.* С. 42—43).

[41] «Вот на тучах пожелтелых...» (28 мая 1905 // *Блок II.* С. 54).

[42] «Проклятый колокол» («Вёсны и зимы меняли убранство...», 7 ноября 1906 // *Блок II.* С. 86).

[43] Строфы из стихотворения «Лазурью бледной месяц плыл...» (январь 1906 // *Блок II.* С. 120—121). Неточная цитата.

[44] Описываемый визит к Мережковским состоялся, вероятно, 22 февраля 1906 г. См.: *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 238—239.

[45] Неточно цитируется стихотворение Д. С. Мережковского «Дети ночи» (1894). См.: *Мережковский Д. С.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 470. («Новая Библиотека поэта»).

[46] «Насмешница» («Подвела мне брови красным...», 10 января 1907 // *Блок II*. С. 166).

[47] 25 февраля 1906 г. Мережковские уехали за границу; в Париже они прожили более двух лет. См.: *Соболев А. Л.* Мережковские в Париже (1906—1908) // Лица: Биографический альманах. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 319—371.

[48] Видимо, имеется в виду скульптор Василий Васильевич Кузнецов (ум. в 1923), близкий друг Н. Н. Гиппиус.

[49] См. примеч. 133 к гл. 5-й.

[50] Видимо, имеется в виду «Краткий очерк теософии» Чарльза Ледбитера в русском переводе Е. П. (Е. П. Писаревой; Калуга, 1911). Шесть правил — в антропософии душевные качества, которые должен усваивать стремящийся к эзотерическому познанию духовный ученик: «господство над течением мыслей, господство над волевыми импульсами, невозмутимость по отношению к горю и радости, положительность в суждении о мире и непредвзятость в воззрении на жизнь. Кто в течение известного времени последовательно прилагал усилия к приобретению этих качеств, тому затем нужно будет еще привести эти качества в душе к гармоническому согласию» (*Штейнер Рудольф*. Очерк тайноведения. Л., 1991. С. 204).

[51] «Вот Он — Христос — в цепях и розах...» (*Блок II*. С. 67). Неточная цитата.

[52] Иоанново здание — Гётеанум, антропософский храм, воздвигавшийся в Дорнахе (Швейцария) под руководством Р. Штейнера. Белый в 1914—1916 гг. принимал непосредственное участие в строительных работах.

[53] Цитата из Мистического хора (Chorus Mysticus), заключающего 2-ю часть «Фауста». См. примеч. 91 к гл. 4-й.

[54] «Матери» («Я вышел из бедной могилы...», январь 1907 // *СП — 1*. С. 253).

[55] Подразумеваются книга Рудольфа Штейнера «Как достигнуть познания высших миров?» («Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten», 1904) и его же «Статьи о тройственности социального организма» («Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus», 1919).

[56] Цитаты из стихотворения «Взморье» («Сонный вздох онемелой волны...», 26 мая 1904 // *Блок II*. С. 40).

[57] Рассказ «Аргонавты» (1904). См.: *Андрей Белый*. Золото в лазури. М.: Скорпион, 1904. С. 197—210; *Симфонии*. С. 450—455.

[58] «Взморье» (*Блок II*. С. 40).

[59] «У моря» («Стоит полукруг зари...», июль 1905 // *Блок II*. С. 59).

[60] Неточная цитата (*Блок II*. С. 215).

[61] «У моря» (*Блок II*. С. 59). Неточная цитата.

[62] Подразумеваются слова о Прекрасной Даме в стихотворении «Поэт» («Сидят у окошка с папой...», июль 1905): «Она не придет никогда. // Она не ездит на пароходе» (*Блок II*. С. 59). Ср. один из первых эпизодов в новелле Ги де Мопассана «Орля» (1887): «...прошел великолепный бразильский трехмачтовый корабль, весь белый, удивительно чистый, сверкающий. Я приветствовал его, сам не знаю почему, — так приятно мне было видеть этот корабль» (*Мопассан Г. де*. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 6. С. 286. Перевод К. Локса).

[63] Речь идет о коллизиях, раскрываемых Белым в мемуарных записях: «Л. Д. мне объясняет, что Ал⟨ександр⟩ Алекс⟨андрович⟩ ей не муж; они не живут как муж и жена; она его любит братски, а меня — подлинно; всеми эти⟨ми⟩ объяснениями она внушает мне мысль, что я должен ее развести с Ал⟨ександром⟩ Алек⟨сандровичем⟩ и на ней жениться; я предлагаю ей это; она — колеблется, предлагая, в свою очередь, мне нечто вроде ménage à trois, что мне несимпатично; мы имеем разговор с Ал. Ал. и ею, где ставим вопрос, как нам быть; Ал. Ал. — молчит, уклоняясь от решительного ответа, но как бы давая нам с Л. Д. свободу» (*МБ*. Л. 52 об.). В записи, относящейся к 11 марта 1906 г., Е. П. Иванов зафиксировал слова Л. Д. Блок, характеризующие ее внутреннее состояние в это время: «Я Борю люблю и Сашу люблю, что мне делать. Если уйти с Борисом Николаевичем, что станет Саша делать. Это путь его. Борису Николаевичу я нужнее. Он без меня погибнуть может. С Борисом Николаевичем мы одно и то же думаем: наши души это две половинки, которые могут быть сложены. А с Сашей вот уж сколько времени идти вместе не могу ⟨...⟩. Это не значит, что я Сашу не люблю, я его очень люблю, и именно теперь, за последнее время, как это ни странно, но я люблю и Борю, чувствуя, что оставляю его» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 400).

[64] «Ее прибытие» («5. Корабли идут», 16 декабря 1904 // *Блок II*. С. 49). Сокращенная цитата.

[65] Неточная цитата из стихотворения Вильгельма Мюллера «Ворон» («Die Krähe»), входящего в цикл «Зимний путь» («Die Winterreise»), положенный на музыку Францем Шубертом (op. 89, 1827); в русском переводе В. Коломийцова: «Этот ворон городской // Все летит за мною» (*Коломийцов В.* Тексты песен Франца Шуберта. Л., 1933. С. 96).

[66] Термины французской школы фехтования, обозначающие приемы защиты — парады.

[67] См. выше, примеч. 45.

[68] Герой трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787).

[69] Имеется в виду фраза из 1-й части «Симфонии (2-й, драматической)»: «Братья мои, ведь уже все кончено для человека, севшего на пол!» (*Симфонии*. С. 115).

[70] Подразумевается евангелист Иоанн.

[71] Имеется в виду сцена из 2-го действия музыкальной драмы Р. Вагнера «Зигфрид» (1876) — бой Зигфрида с драконом Фафнером.

[72] Белый уехал в Москву 5 или 6 марта 1906 г.

[73] См. письма Л. Д. Блок к Белому за март—апрель 1906 г. (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 239—245).

[74] См. письма Блока к Белому от 4 и 6 апреля 1906 г. (*Белый — Блок*. С. 279).

[75] Ср. в связи с этим конфликтом запись Е. П. Иванова, относящуюся к 11 апреля 1906 г.: «Письмо Белый пишет Любови Дмитриевне и адресует Александре Андреевне. 〈...〉 Я, читая, ничего не разобрал. Вижу сплошное отчаянье бесноватого» (Блоковский сборник. С. 403). См. также письмо Блока к Белому от 9 апреля и ответное письмо Белого от 10 или 11 апреля 1906 г. (*Белый — Блок*. С. 280, 281—283), письмо Белого к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 10 или 11 апреля 1906 г. и ее ответное письмо от 13 апреля (Там же. С. 562—563). 9 апреля 1906 г. Л. Д. Блок писала Белому в связи с этим эпизодом: «Боря, Боря, что ты наделал своими нахальными письмами, адресованными А〈лександре〉 Андр〈еевне〉 для меня! Ведь это же дерзко и она совершенно обижена, а также и Фр〈анц〉 Фел〈иксович〉 и Саша. Боря, у нас сегодня Бог знает что было, так мы поссорились с ней. Не надо больше ставить меня в трудное положение, Боря, веди себя прилично. Мучительно и относительно Саши — он верит, что Ал〈ександра〉 Андр〈еевна〉 хорошая, а я не хочу же против этого идти. Твой приезд осложнился невероятно — благодаря твоим выходкам, Боря» (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18). Письма Белого, послужившие причиной конфликта, по всей вероятности, не сохранились.

[76] Белый приехал в Петербург 15 апреля 1906 г. (остановился в отеле «Бель-вю») и в тот же день посетил Блоков. 16 апреля 1906 г. Е. П. Иванов записал в дневнике: «Говорят, приехал Белый» (Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 334). 17 апреля М. А. Бекетова записала о Белом в дневнике (со слов А. А. Кублицкой-Пиоттух): «...явился вчера — жалкий и общипанный, было с Сашурой очень натянуто, а Люба спокойна» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 616).

[77] Имеется в виду латышский поэт Вальдемар Дамбергс (1886—1960), знакомый И. фон Гюнтера (живший тогда, как и Гюнтер, в Митаве). См.: Письма В. Дамбергса к Блоку / Предисл., публ. и коммент. Е. М. Беня // *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 423—426.

[78] Стихотворение «Незнакомка» датируется 24 апреля 1906 г. В дневниковой записи от 12 января 1921 г. К. И. Чуковский передает слова Блока о том, как создавалась «Незнакомка»: «„Незнакомку" писал, когда был у него Белый — целый день. Белый взвизгивал, говорил — „а я послушаю и опять попишу"» (*Чуковский Корней*. Собр. соч.: В 15 т. М., 2006. Т. 11. С. 316).

[79] Стихотворение Блока «Клеопатра» (16 декабря 1907) было впервые опубликовано в «Литературно-художественных альманахах издательства „Шиповник"» (Кн. 4. СПб., 1908. С. 251—252).

[80] «Незнакомка» (*Блок II*. С. 123). Вертгейм — немецкая торговая фирма.

[81] «К Музе» («Есть в напевах твоих сокровенных...», 29 декабря 1912 // *Блок III*. С. 7).

[82] I Государственная дума начала свою деятельность 27 апреля 1906 г. Из окон квартиры Вяч. Иванова («башни») в верхнем этаже дома на углу Таврической и Тверской улиц открывался вид на Таврический сад и Таврический дворец, в котором проходили заседания Думы.

[83] Речь идет о книге Г. И. Чулкова «О мистическом анархизме» (СПб.: Факелы, 1906), вышедшей в свет (с предисловием Вяч. Иванова «Идея неприятия мира и мистический анархизм») в июле 1906 г.

[84] Образы-мифологемы, осмысленные Белым в статьях «Сфинкс» (Весы. 1905. № 9/10. С. 23—49) и «Феникс» (Весы. 1906. № 7. С. 17—29; *Арабески*. С. 147—157).

[85] Депутат I Государственной думы Ф. И. Родичев был одним из лидеров конституционно-демократической партии, на 2-м съезде кадетов (январь 1906 г.) избран в состав ЦК.

[86] Idée fixe (*фр.*) — неотступная, навязчивая мысль, подавляющая все другие; настойчивое желание, стремление и т. п.

[87] Белый возвратился в Москву в начале мая 1906 г. О своем пребывании в Петербурге во второй половине апреля 1906 г. он впоследствии писал: «Морально я одерживаю победу над Л. Д.; она дает мне обещание, что осенью мы с ней едем в Италию и что с этого времени как бы начинается наш путь с ней; она просит меня дать ей провести с Ал. Ал. последнее лето» (*МБ*. Л. 52 об.—53).

[88] «Донская речь» — издательство, организованное в 1903 г. в Ростове-на-Дону Н. Е. Парамоновым; выпускало дешевые издания публицистики деятелей западноевропейского рабочего движения, массово-политические брошюры, сборники революционных песен и стихотворений. Постоянно подвергалось цензурным гонениям. См.: *Травушкин Н. С.* Издательство «Донская речь» // Книга: Исследования и материалы. Вып. 21. М., 1970. С. 106—123.

[89] Всероссийский крестьянский союз — массовая политическая организация, возникшая летом 1905 г. и объединившая народническую интеллигенцию и сознательное крестьянство; лидеры Союза и большинство делегатов были сторонниками мирных форм борьбы. Союз распался в 1907 г.

[90] См. в № 9/10 «Весов» за 1905 г. (с. 110—111) рецензии Белого на книги «Идеализм в марксизме» (Нижний Новгород, 1905) Э. Вандервельде, «Программа германской рабочей партии» (Одесса, 1905) К. Каутского, «Антисемитизм и пролетариат» (Одесса, 1905) А. Бебеля. В этом же выпуске «Весов» были помещены и другие рецензии Белого, подписанные псевдонимами «Альфа» и «Гамма». В «Весах» Белый подписывал свои тексты, помимо основного псевдонима и настоящего имени, еще не менее чем тринадцатью псевдонимами: Альфа, А. Б—ый, Бета, В. Быков, Гамма, Дельта, Зигмунд, Яновский, А. Б., 2Б, Spiritus, Taciturno, А. (этим инициалом подписаны также тексты Брюсова).

[91] См. примеч. 141 к гл. 5-й.

[92] Эллис был восторженным ценителем творчества бельгийского писателя Жоржа Роденбаха (см., например, его письмо к Блоку, относящееся к середине марта 1907 г.: *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1981. Кн. 2. С. 288—290), в статье «Лебедь „Молодой Бельгии". Жорж

Роденбах. (Основные мотивы его личности и творчества)» он называет его «величайшим из современных поэтов-символистов» (Молодая Бельгия / Сб. под ред. М. Веселовской. Т. 1. Поэты. М., ⟨1906⟩. С. 50; *Эллис*. Неизданное и несобранное. Томск, 2000. С. 28).

[93] П. Н. Милюков и И. И. Петрункевич принадлежали к числу основателей и видных лидеров конституционно-демократической партии, А. И. Гучков был лидером Союза 17 октября.

[94] Присяжный поверенный А. С. Шмаков был монархистом и известным антисемитом, автором ряда статей юдофобского содержания. В 1906 г. участвовал во Всероссийском съезде «Русского собрания».

[95] Белый лечился в больнице (после несчастного случая) в Москве с конца декабря 1920 г. до марта 1921 г.

[96] I Государственная дума царским указом от 9 июля 1906 г. была распущена. В ответ на это 10 июля в Выборге было принято обращение группы депутатов Думы — кадетов, трудовиков и социал-демократов, около 230 членов («Народу от народных представителей»), — призывавшее граждан России до созыва Думы не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата в армию». Против подписавших «Выборгское воззвание» было возбуждено уголовное преследование.

[97] См. примеч. 98 к гл. 5-й.

[98] Большинство этих писем Белого было обращено к Л. Д. Блок и не сохранилось; они отражали ответную реакцию Белого на ее решение не соединять с ним свою судьбу (см., например, письмо Л. Д. Блок к Белому от 22 июля 1906 г.: *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 248—249). Белый вспоминал в этой связи: «...начинается непрекращающаяся мучительная переписка между нею и мною, где выясняется мне, что она меня вынуждает к бурным поступкам. Ценой своей смерти, смерти ее или Ал. Ал. Блока, я, исполняя данную ей клятву, должен разрушить средостение между нами троими» (*МБ*. Л. 53). См. также относящиеся к августу 1906 г. письма Белого к Блоку и к А. А. Кублицкой-Пиоттух (*Белый — Блок*. С. 288—296, 565—570).

[99] Книга Генриха Риккерта «Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания»; переведена на русский язык Г. Шпетом (Киев, 1904). Белый читал ее осенью 1904 г.: «...скрупулезно, по страничкам, штудирую эту книгу ⟨...⟩ так, постепенно неокантианские проблемы начинают въедаться в меня» (*РД*. Л. 24 об.).

[100] «Новая песня» («Отречемся от старого мира!..», 1875) П. Л. Лаврова — свободная переработка «Марсельезы», исполнявшаяся на мелодию французского гимна (см.: Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988. Т. 2. С. 215—216, 466).

[101] Данило и колдун (в красном жупане) — персонажи повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (1832).

[102] В имении Серебряный Колодезь Белый жил во второй половине июня—первой половине июля 1906 г.

[103] «Бурьян» («Вчера завернул он в харчевню...», 1905—1908 // *СП — 1*. С. 196).

[104] «Горе» («Солнце тонет...», январь 1906 // *СП — 1.* С. 208). Неточная цитата.

[105] «Панихида. Лирическая поэма» Белого (*СП — 2.* С. 459—465) была опубликована в «Весах» (1907. № 6. С. 5—14); при формировании книги «Пепел» Белый разделил ее на самостоятельные стихотворения.

[106] «Вынос» («Венки снимут...», 1906 // *СП — 1.* С. 263—264).

[107] Канатчикова дача — в московском разговорном обиходе название психиатрической больницы на юге Москвы, открытой в 1894 г. по инициативе городского головы Н. А. Алексеева на Канатчиковой даче (в середине XIX в. владение купца Канатчикова).

[108] Дарьяльский — главный герой романа «Серебряный голубь», село Целебеево — одно из мест действия в нем.

[109] Романс М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на текст стихотворения Н. В. Кукольника.

[110] «Ангел-Хранитель» («Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле...», 17 августа 1906 // *Блок II.* С. 77). Неточная цитата.

[111] Эти переговоры были связаны с предложением Блоку писать для «Золотого руна» ежемесячные литературные обозрения. М. А. Бекетова в дневниковой записи (Шахматово, 7 августа 1906 г.) сообщает, что Блок поехал в Москву «по делам своей книги» (*ЛН.* Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 617) — т. е. в связи с печатанием в «Скорпионе» второго сборника стихов «Нечаянная Радость» (М., 1907).

[112] Эта встреча Белого с Блоком и Л. Д. Блок состоялась 8 августа 1906 г.; к ней относятся две недатированные записки Блока, адресованные Белому (*Белый — Блок.* С. 287—288). Сложившаяся ситуация проясняется в дневниковой записи М. А. Бекетовой от 7 августа 1906 г.: «Завтра Сашура едет с Любой в Москву 〈...〉 объясняться с Борей. Дела дошли до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе вороха писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и видеться. С каждой почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез; сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения. 〈...〉 Они оба уверяют, что все кончится вздором, смеются и шутят. Люба в восторге от интересного приключения, ни малейшей жалости к Боре нет. Интересно то, что Сашура относится к нему с презрением, Аля 〈А. А. Кублицкая-Пиоттух. — *А. Л.*〉 с антипатией, Люба с насмешкой и ни у кого не осталось прежнего. Все не верят в его великую силу» (*ЛН.* Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 617—618).

[113] В сходном духе выдержано письмо Л. Д. Блок к Белому от 6 августа 1906 г.: «С весны все настолько изменилось, что теперь нам увидеться и Вам бывать у нас — совершенно невозможно. 〈...〉 И переписку тоже лучше бросить, не нужна она, когда в ней остается так мало правды, как теперь, когда все так изменилось и мы уже так мало знаем друг о друге» (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18).

[114] 8 августа 1906 г. в Шахматове М. А. Бекетова записала в дневнике: «Саша с Любой вернулись из Москвы. Все благополучно. Виделись с Борей. Пого-

ворили 5 минут. Поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношений и не верит в то, что Люба к нему изменилась. 〈...〉 Боря был, как всегда, безвкусен до крайности (общее мнение)» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 618).

115 В основе этого конфликта лежали политические разногласия. Белый конкретизирует: «...ссоры с Коваленскими (они — «кадеты», мы с С. М. — революционеры)» (*РД*. Л. 35).

116 Дача министра внутренних дел П. А. Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге была разрушена взрывом 12 августа 1906 г.; сам Столыпин не пострадал, эсеры-террористы погибли. См.: *Спиридович А. И.* Революционное движение в России. Вып. II. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. М., 1916. С. 290—291.

117 «На площади» («Он в черной маске, в легкой красной тоге...», 1906 // *СП — 1.* С. 250). Неточная цитата.

118 «Вакханалия» («И огненный хитон принес...», 1906 // *СП — 1.* С. 245).

119 «Маскарад» («Огневой крюшон с поклоном...», июль 1908 // *СП — 1.* С. 238).

120 Об «огарочном» настроении («проповедь „трынтравизма", подхватываемая послереволюционным надрывом») см.: *МДР*. С. 175. Определение восходит к повести Скитальца «Огарки», опубликованной в его сборнике «Рассказы и песни» (Т. 2. СПб.: Знание, 1907; см.: *Скиталец*. Избранные произведения. М., 1955. С. 226—314), которую Блок в статье «О реалистах» (1907) расценивал как «талантливую повесть совсем горьковского типа»: «Она называется „Огарки". Это термин, обозначающий горьковских „бывших людей". 〈...〉 „Огарки", конечно, бездельничают и пьянствуют 〈...〉 Вся повесть наполнена похождениями огарков, от которых, я думаю, отшатнется „критик со вкусом"» (*Блок VII*. С. 49—50). А. П. Каменский и М. П. Арцыбашев (его роман «Санин» печатался в 1907 г. в журнале «Современный мир») упоминаются как писатели, наиболее активно разрабатывавшие «проблему пола».

121 «Correspondances» — сонет Ш. Бодлера «Соответствия» (см. примеч. 120 к гл. 5-й). Эллис отправился от Белого в Шахматово к Блоку с вызовом на дуэль 10 августа 1906 г. Объяснения с Эллисом в Шахматове описаны в воспоминаниях Л. Д. Блок (Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 176—178). См. также дневниковую запись М. А. Бекетовой от 24 августа 1906 г. (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 618).

122 В конце августа—начале сентября 1906 г. Блок с женой поселились отдельно от матери и отчима, в квартире на Петербургской стороне (Лахтинская ул., д. 3, кв. 44). В это же время Белый с матерью переехали в квартиру в доме Новикова близ Арбата (в Никольском пер.). См. примеч. 8 к гл. 8-й.

123 Белый приехал в Петербург 23 августа 1906 г.

124 См. письмо Л. Д. Блок к Белому от 26 августа 1906 г. (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 256).

125 См. дневниковые записи Е. П. Иванова за 1906 г.: «...думаю, зайду к Белому 〈...〉 Зашел и живет как раз 27 № с Караванной. Открывая дверь без сту-

ка — увидел его читающим свое произведение с рукописи. Очень он милый был. 〈...〉 Первое, о чем заговорили, о бесноватых» (4 сентября); «Пришел половина десятого Белый Андрей ко мне. Как он измучен, истомлен. Как химеры его затомили. „Бедный Боря". 〈...〉 Ушел в начале шестого, четверть шестого» (5 сентября); «...пошел к Белому 〈...〉 И подошел я с Караван〈ной〉 комнаты как раз в тот момент, как Андр〈ей〉 выходил на улицу и брал письма. Я спросил, нанял ли он комна〈ту〉. Нет. Предложил. Он сказал: „с удовольствием". Условия сказал. 〈...〉 Ели яблоки» (6 сентября); «Утром все неприятно было, что вчера необдуманно так говорил с Белым, недаром ведь у него седые волосы. 〈...〉 Ну и письмо! 〈...〉 Я пошел. 〈...〉 Мы поцеловались два раза от души. Простились. Он сказал, что будет жить у нас, если что-нибудь не изм〈енится〉» (Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 342—344. Публ. О. Л. Фетисенко). Упомянутое письмо Белого к Е. П. Иванову от 6 сентября 1906 г. опубликовано в кн.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: Аннотированный каталог. Публикации. М., 1989. С. 355.

[126] Крапивница — сыпь на коже, в виде ожога крапивой.

[127] Редакция журнала «Мир Божий» располагалась в доме 7 по Разъезжей улице.

[128] Воспитанник петербургского Пажеского корпуса.

[129] Д. Ф. Трепов умер 2 сентября 1906 г.

[130] Рецензия Белого на книгу Чулкова «О мистическом анархизме» была опубликована в «Золотом руне» (1906. № 7/9. С. 174—175). Ср. запись Белого о сентябре 1906 г.: «Имею значительный разговор с Чулковым, старающимся мне объяснить, что такое мистический анархизм» (*МБ*. Л. 53 об.).

[131] Литературный вечер у Ф. Сологуба состоялся 3 сентября 1906 г. Сологуб записал в этой связи: «Читали стихи: Андрей Белый, Кузмин, Пестовский, я» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 81. Л. 48).

[132] Цикл Кузмина «Александрийские песни» был опубликован в «Весах» (1906. № 7. С. 1—12) в составе 11 стихотворений.

[133] См., например, рецензии Белого на альманах «Цветник Ор. Кошница первая» (СПб., 1907): Весы. 1907. № 6. С. 66—70, на 1-ю и 2-ю книги «Литературно-художественных альманахов издательства «Шиповник»» (СПб., 1907): Перевал. 1907. № 5. С. 51; № 8/9. С. 94—95.

[134] В записке, отправленной Белому 6 сентября 1906 г., Л. Д. Блок предлагала: «Приходите, если хотите, в четверг 7 сентября вечером» — и сообщала новый адрес на Лахтинской улице (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18).

[135] Первая строфа стихотворения (7 декабря 1906 // *Блок II*. С. 132).

[136] «В октябре» (октябрь 1906 // *Блок II*. С. 128).

[137] Первые строки стихотворения (октябрь 1906 // *Блок II*. С. 131).

[138] Имеется в виду рецензия на 4-ю книгу рассказов З. Н. Гиппиус «Алый меч» (СПб., 1906), опубликованная в «Весах» (1906. № 9. С. 57—60).

[139] См. примеч. 118 к гл. 5-й.

[140] Ср. запись Е. П. Иванова, относящуюся к 9 сентября 1906 г.: «Был у Блоков. Узнал, что Белый решил ехать за границу» (Блоковский сборник. С. 411).

[141] Белый возвратился в Москву 9 или 10 сентября; 10 сентября он подал прошение об увольнении из числа студентов Московского университета в связи с заграничной поездкой, которое было удовлетворено 19 сентября (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 305. Л. 18). Из Москвы в Мюнхен он выехал 20 сентября 1906 г.

[142] «Прохождение» («Я фонарь...», 1906 // *СП — 1.* С. 251). Неточная цитата.

[143] Художник и искусствовед И. Э. Грабарь приезжал в Мюнхен в ноябре 1906 г. (см.: *Грабарь И.* Письма. 1891—1917. М., 1974. С. 189).

[144] Имеется в виду Казимеж Врочиньский (1883—1957), польский поэт и драматург; о встречах с ним см. в письмах Белого к Брюсову (ноябрь 1906 г.): *ЛН.* Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 396, 398. «Chimera» («Химера», 1901—1907) — ежемесячный литературно-художественный журнал, орган польского модернизма; выходил в Варшаве под редакцией Мириама (Зенона Пшесмыцкого).

[145] О своих мюнхенских встречах с молодым еврейским писателем Шоломом Ашем и польским писателем Станиславом Пшибышевским Белый рассказал в очерках «Шолом Аш. Силуэт» (Час. 1907. № 28, 16 сентября) и «Пшибышевский. Силуэт» (Там же. № 18, 2 сентября).

[146] В марте 1919 г. Эрих Мюзам активно участвовал в борьбе за Баварскую советскую республику, за что был осужден и приговорен к тюремному заключению.

[147] В квартире графини Паулины фон Калькрейт, последовательницы антропософского учения, останавливался Р. Штейнер во время своего пребывания в Мюнхене. См.: *Андрей Белый.* Воспоминания о Штейнере / Подгот. текста, предисл. и примеч. Фредерика Козлика. Paris, 1982. С. 86, 164—166.

[148] Подразумевается конфликт, возникший в связи с опубликованием в «Золотом руне» (1906, № 7/9) рассказа Белого «Куст» (см.: *Андрей Белый.* Собр. соч.: Серебряный голубь. Рассказы. М., 1995. С. 264—273), отобразившего в символико-метафорической форме коллизии взаимоотношений Блоков и Белого в 1906 г. В письме к Белому от 2/15 октября 1906 г. Л. Д. Блок расценивала публикацию «Куста» как «поступок глубоко непорядочный»: «...нельзя так фотографически описывать какую бы то ни было женщину в рассказе такого содержания; это общее и первое замечание; второе — лично мое: Ваше издевательство над Сашей. Написать в припадке отчаяния Вы могли всё; но отдать печатать — поступок вполне сознательный, и Вы за него вполне ответственны. Вы знали, *что* делаете, и решились на это» (*ЛН.* Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 258); в письме к нему же от 9/22 октября она заявляла с еще большей резкостью: «Скажу Вам прямо — не вижу больше ничего общего у меня с Вами. Ни Вы меня, ни я Вас не понимаем больше 〈...〉 возобновление наших отношений дружественное еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь. Надо для этого, чтобы теперешний, распущенный, скорпионовский до хулиганства, Андрей Белый совершенно исчез и пришел кто-то новый» (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18. Л. 133—134 об.). См. также письма Белого к Блоку от 23 ноября/6 декабря, 24 ноября/7 декаб-

ря 1906 г. и письмо Блока к Белому от 6 декабря 1906 г. (*Белый — Блок.* С. 296—300).

[149] В Старой Пинакотеке — одном из художественных музеев Мюнхена — экспонируется в основном живопись эпохи Возрождения, преимущественно нидерландских и немецких мастеров. О впечатлениях Белого от Старой Пинакотеки подробнее см.: *МДР.* С. 100—106.

[150] Вероятно, подразумевается немецкий живописец, скульптор и график Франц фон Штук (1863—1928).

[151] Видимо, имеются в виду письма Д. С. Мережковского к Белому из Парижа от 5 ноября (н. ст.) (РГБ. Ф. 25. Карт. 19. Ед. хр. 9; см.: «Боря, Боря, мальчик мой любимый, единственный...»: Письма Д. С. Мережковского Андрею Белому / Вступ. ст., публ. и коммент. А. Холикова // Вопросы литературы. 2006. № 1. Январь—февраль. С. 174—175) и З. Н. Гиппиус от 8 ноября (н. ст.) 1906 г.: «А когда к нам приедете — увидите, какая у нас трезвость, и простота, и стремление к известному „смиренномудрию"; может быть, даже скучно вам покажется, но, наверное, будет, как раз вам, не бесполезно» (РГБ. Ф. 25. Карт. 14. Ед. хр. 6). Белый приехал в Париж 1 декабря (н. ст.) 1906 г.

[152] В Париже Белый общался с Рудольфом Буксгевденом; отца, барона Отто Оттовича Буксгевдена, застрелил в Петербурге 21 июня 1907 г. его сын и брат Рудольфа Эдгар. Представляется оправданным предположение, что по аналогии с Буксгевденами Белый придумал фамилию одного из второстепенных персонажей романа «Петербург» (в котором активно разрабатывается мотив отцеубийства) — Вергефден (см.: *Ljunggren Magnus.* The Dream of Rebirth: A Study of Andrey Belyj's Novel «Peterburg». Stockholm, 1982. P. 142—143).

[153] Парижский адрес Белого: Passy, XVI, rue de Ranelagh, 99. З. В. Ратькова-Рожнова — сестра Д. В. Философова.

[154] О своих парижских встречах с Ж. Жоресом Белый подробно рассказал в очерках «Силуэты. I. Жорес» (Накануне. 1907. № 20, 6 июля), «Из встреч с Жоресом» (Час. 1907. № 2, 14 августа), «Воспоминания о Жоресе» (1924; см.: Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 645—652). См. также: *МДР.* С. 135—153.

[155] «Humanité» — ежедневная газета французских социалистов, основанная Жоресом в 1904 г.

[156] Труд французского философа-неокантианца Шарля Ренувье (Renouvier) «Эскиз систематической классификации философских доктрин» («Esquisse d'un classification systématique des doctrines philosophiques». Vol. 1—2. Paris, 1885—1886) Белый читал в феврале 1907 г. (*РД.* Л. 37 об.).

[157] Белый заболел в канун 1907 г. (флегмона, угрожавшая заражением крови); 2 января 1907 г. перенес хирургическую операцию, вышел из больницы в конце января. Д. В. Философов в письме к А. Д. Бугаевой от 10/23 января 1907 г., сообщив название болезни Белого («phlegmon ischio-rectal»), отмечал: «Опасности никакой больше нет. Но за ним нужен долгий и упорный уход. Ему сделали очень глубокий разрез со стороны заднего прохода ⟨...⟩. До сих пор он, по-видимому, за здоровьем своим никогда не следил, особенно за желудком, вме-

сте с тем болезнь его произошла, по-видимому, от неправильного пищеварения ⟨...⟩. Настроение у него великолепное. Больницей доволен. Мы его часто посещаем, да и вообще его навещают. Под хлороформом чувствовал себя „как в раю" (его слова)» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 369). З. Н. Гиппиус писала Брюсову 8/21 января 1907 г.: «...больной А. Белый лежал у нас перед операцией и почти кричал от боли, которая „туго, туго крутила жгут". Теперь все понемножку обошлось. Операция сделана, прошла хорошо, и Белый лежит кротким, веселым, больным ангелом среди ухаживающих за ним монахинь какого-то строгого католического ордена. На будущей неделе, вероятно, встанет. Тучи близких и дальних навещают его. Его ведь как-то любят и те, и другие» (Литературоведческий журнал. 2001. № 15: Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус. Исследования и материалы. С. 155. Публ. М. В. Толмачёва. Исправлено по автографу).

[158] См. выше, примеч. 16.

[159] «Вот он — ряд гробовых ступеней...» (18 июня 1904 // *Блок I.* С. 178).

[160] «Пляски осенние» («Волновать меня снова и снова...», 1 октября 1905 // *Блок II.* С. 21). Белый пользовался изданием: *Блок Александр.* Стихотворения. Кн. 1—3. Берлин: Слово, 1922.

[161] Первые строки стихотворения (июнь 1903 // *Блок I.* С. 156). Неточная цитата.

[162] «Сбежал с горы и замер в чаще...» (*Блок I.* С. 113).

[163] «Ее прибытие» («4. Голос в тучах» // *Блок II.* С. 49). Неточная цитата.

[164] «Ночная Фиалка» (*Блок II.* С. 33).

[165] Подразумевается строка из стихотворения «Балаган» (ноябрь 1906): «В тайник души проникла плесень» (*Блок II.* С. 89).

[166] Цитаты из «Ночной Фиалки» (*Блок II.* С. 25, 30—31).

[167] «Осенняя воля» (*Блок II.* С. 62).

[168] Имеется в виду сцена в степи (акт I, сцена 3-я) из трагедии Шекспира «Макбет» (1606).

[169] Эту цитату из «Макбета» в переводе А. И. Кронеберга (слова Банко в указанной выше сцене) Блок в 1916 г. взял эпиграфом к разделу «Пузыри земли» во 2-й книге «Стихотворений» (*Блок II.* С. 9). Подробнее см.: *Блок II.* С. 558—559 (комментарий Н. Ю. Грякаловой); *Грякалова Н. Ю.* Природа и фольклор в цикле А. Блока «Пузыри земли» (1904—1905) // Ал. Блок и революция 1905 года. Блоковский сборник, VIII. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 813). Тарту, 1988. С. 23—25.

[170] Предсказание третьего призрака в «Макбете» (акт IV, сцена 1-я).

[171] Начальные строки «Баллады» (1830) М. Ю. Лермонтова, представляющей собой вольный перевод баллады из XVI песни поэмы Байрона «Дон Жуан». Отразились в заключительных строках стихотворения С. М. Соловьева «Поединок»: «Ты меня доконал! О, проклят будь, // Враг мой с рожденья, черный монах!» (*Соловьев Сергей.* Апрель: Вторая книга стихов. 1906—1909. М.: Мусагет, 1910. С. 71).

[172] Образ из стихотворения «Проклятый колокол» (7 ноября 1906): «...средь болотной травы, // Я узнал тебя, черный звонарь» (*Блок II.* С. 86).

[173] «Здесь ночь мертва. Слова мои дики...» (9 января 1903 // *Блок I*. С. 144).

[174] Образы из стихотворений «Шаги Командора» (сентябрь 1910—16 февраля 1912) и «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (2 ноября 1912 // *Блок III*. С. 50—51, 26).

[175] Поэма «Возмездие» была последним стихотворным произведением, над которым работал Блок (наброски продолжения второй и третьей глав относятся к январю и маю—июлю 1921 г.). См.: *Блок V*. С. 63—73.

[176] Имеется в виду альбом рисунков Т. Н. Гиппиус «Kindisch» («Детское»), в котором были изображены всевозможные фантастические существа. 19 февраля 1905 г. Блок сообщал Белому: «Мы сидели с Татой 〈...〉 и смотрели альбом Kindisch, результатом чего было мое послание к чертям из Татиного альбома» (*Белый — Блок*. С. 202). Подразумевается стихотворение «Твари весенние (Из альбома «Kindisch» Т. Н. Гиппиус)» (19 февраля 1905 // *Блок II*. С. 13—14). Подробнее см. комментарий Н. Ю. Грякаловой (*Блок II*. С. 565), а также: А. А. Блок. Письма к Т. Н. Гиппиус / Публ. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 210—211.

[177] «Я живу в глубоком покое...» (15 июня 1904 // *Блок II*. С. 41).

[178] «Балаган» (*Блок II*. С. 88). Неточная цитата.

[179] Первая строфа стихотворения (18 февраля 1902 // *Блок I*. С. 95).

[180] «Ее песни» («Не в земной темнице душной...», 4 января 1907 // *Блок II*. С. 149).

[181] «Нет исхода» («Нет исхода из вьюг...», 13 января 1907 // *Блок II*. С. 170).

[182] «Настигнутый метелью» («Вьюга пела...», 3 января 1907 // *Блок II*. С. 146). Неточная цитата.

[183] Цитата из того же стихотворения (*Блок II*. С. 147).

[184] Цитата из «Вечернего размышления о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743) М. В. Ломоносова. Первую из цитируемых строк Белый позднее взял эпиграфом к своему роману «Москва» (1926).

[185] Цитаты из стихотворения «В октябре» («Открыл окно. Какая хмурая...», октябрь 1906 // *Блок II*. С. 129).

[186] «Настигнутый метелью» (*Блок II*. С. 147).

[187] «Прочь!» («И опять открыли солнца...», 8 января 1907 // *Блок II*. С. 157). Кретик (амфимакр) — античная стопа, противоположная амфибрахию; в трех слогах стопы краткий слог находится среди двух долгих.

[188] «Голоса» (8 января 1907 // *Блок II*. С. 158).

[189] «На Сайме зимой» («Вся ты закуталась шубой пушистой...», декабрь 1894 // *Соловьев*. С. 107). Неточная цитата.

[190] «Прочь!» (*Блок II*. С. 156).

[191] «Настигнутый метелью» (*Блок II*. С. 146).

[192] «Клеопатра» («Открыт паноптикум печальный...», 16 декабря 1907 // *Блок II*. С. 139).

[193] «Снежная вязь» («Снежная мгла взвилась...», 3 января 1907 // *Блок II*. С. 144).

[194] «На зов метелей» («Белоснежней не было зим...», 3 января 1907 // *Блок II.* С. 148).

[195] «Обреченный» («Тайно сердце просит гибели...», 12 января 1907 // *Блок II.* С. 169).

[196] «Бледные сказанья» («— Посмотри, подруга, эльф твой...», 9 января 1907 // *Блок II.* С. 161).

[197] Цитата из того же стихотворения (*Блок II.* С. 161).

[198] «Неизбежное» («Тихо вывела из комнат...», 13 января 1907 // *Блок II.* С. 167).

[199] «Они читают стихи» («Смотри: я спутал все страницы...», 10 января 1907 // *Блок II.* С. 167).

[200] «Нет исхода» (*Блок II.* С. 170).

[201] Строка из «Пророка» (1826) А. С. Пушкина; «Прочь!» (*Блок II.* С. 156).

[202] Первая строфа стихотворения (24 октября 1907), открывающего цикл «Заклятие огнем и мраком» (*Блок II.* С. 185).

[203] Энтелехия — термин философии Аристотеля, служащий для обозначения актуальной действительности предмета, акта в отличие от его потенции, возможности бытия.

[204] Сокращенная цитата из статьи Вл. Соловьева «Валентин и валентиниане» (Энциклопедический словарь, изд. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон. Т. 5. СПб., 1891. С. 408).

[205] Цитаты из стихотворения «Das Ewig-Weibliche» (*Соловьев.* С. 121).

[206] «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (*Блок I.* С. 60).

[207] См. примеч. 168 к гл. 5-й.

[208] Плерома — термин христианской мистики и гностицизма, означающий множественное упорядоченное единство духовных сущностей, совокупность, в которой до конца развертывает себя верховная первосущность.

[209] Первые строки «Вступления» к кн. 2-й «Стихотворений» Блока (*Блок II.* С. 7).

[210] Речь идет о письме Блока к Белому от 18 июня 1903 г. (*Белый — Блок.* С. 67—70). См. также позднейший комментарий Белого к нему (Там же. С. 71—77).

[211] Параклет — Дух Святой, Утешитель (Ин. XIV, 16, 26; XV, 26; XVI, 4—15).

[212] Пневма — термин древнегреческой философии, первоначально (у натурфилософов VI в. до н. э.) обозначавший элемент «воздуха», позднее — субстанцию души; в гностицизме и неоплатонизме пневма — посредник между «горним» и «дольним» мирами, материальным и нематериальным.

[213] Неточные и сокращенные цитаты. См.: *Соловьев Вл. С.* Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 544, 546, 547.

[214] Цитата из стихотворения А. А. Фета «Поэтам» («Сердце трепещет отрадно и больно...», 1890). См.: Там же. С. 546.

[215] В тексте Блока: «Протекали над книгой Глубинной» (*Блок I.* С. 140); образу Царицы соответствует книга Глубинная, образу Царевны — Голубиная.

[216] Цитаты (отдельные — с неточностями) из стихотворения «Царица смотрела заставки» (*Блок I.* С. 140—141).

[217] «Ищу спасенья...» (*Блок I.* С. 41).

[218] «Я долго ждал — ты вышла поздно...» (27 ноября 1901 // *Блок I.* С. 82).

[219] «Свет в окошке шатался...» (6 августа 1902 // *Блок I.* С. 117).

[220] «Ужасен холод вечеров...» (июль 1902 // *Блок I.* С. 115).

[221] «Сбежал с горы и замер в чаще...» (*Блок I.* С. 113).

[222] «Вечереющий сумрак, поверь...» (20 декабря 1901 // *Блок I.* С. 85). Неточная цитата.

[223] «Там, в полусумраке собора...» (14 января 1902 // *Блок I.* С. 91). Неточная цитата.

[224] «Песня офитов» («Белую лилию с розой...», 1876 // *Соловьев.* С. 64). Неточная цитата.

[225] Сюжетный мотив третьей части («Зигфрид») тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга»: дракон Фафнер охраняет спящую зачарованным сном валькирию Брунгильду, дочь бога Вотана.

[226] Строка из первоначального варианта 4-й строфы (представленного в ряде прижизненных изданий Блока) стихотворения «Мы встречались с тобой на закате...» (13 мая 1902 // *Блок I.* С. 284; *Блок А.* Стихотворения. Кн. I. ⟨Берлин⟩: Слово, 1922. С. 139).

[227] Логе — герой музыкальной драмы Р. Вагнера «Золото Рейна», первой части тетралогии «Кольцо нибелунга»; непостоянный, беспокойный, двуличный бог, воплощение огня. Lüge (*нем.*) — ложь.

[228] «Днем вершу я дела суеты...» (5 апреля 1902 // *Блок I.* С. 102).

[229] Первые строки стихотворения (23 ноября 1901 // *Блок I.* С. 82).

[230] «Вот он — ряд гробовых ступеней...» (*Блок I.* С. 178).

[231] Цитаты из «Ночной Фиалки» (*Блок II.* С. 30, 28).

[232] Первые строки стихотворения (3 июня 1905 // *Блок II.* С. 55).

[233] У Блока (слова Пьеро): «Она картонной невестой была» (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 21).

[234] Цитаты из стихотворения «Здесь ночь мертва. Слова мои дики...» (*Блок I.* С. 145).

[235] Страж Порога — в антропософии символ преграды и предостережения, возникающих перед человеком на его пути в духовный мир: «Все искаженные образы человека есть истинный Страж Порога. — Мы сами в нашем противообразе являемся себе как малый Страж Порога. Мы сами и есть то, что нам мешает, как созданное нами ранее» (Anthropos: Опыт энциклопедического изложения духовной науки Рудольфа Штейнера / Сост. Г. А. Бондарев. М., 1999. ⟨Т. I⟩. С. 126); «При встрече со Стражем Порога человек впервые узнает, с какой магнетической силой притягивает его к себе то, что он должен оставить. То существо, которым был сам человек, не желает отпустить его и притягивает к себе сотнями и сотнями сил. И если оторваться от него не удастся, то в духовные миры не войти»; «Два совершенно различных предостережения получает человек, когда вступает в духовный мир. Страж Порога говорит ему: забудь в момент твоего

духовного познания физически-чувственный мир. При переходе из духовного мира в физически-чувственный Страж Порога говорит: не забудь ничего, постоянно вспоминай все снова в физически-чувственном мире опыт, полученный в духовно-небесном мире» (Там же. ⟨Т. II⟩. С. 670, 673). При восхождении в высшие миры различаются встречи с двумя Стражами Порога — «меньшим» и «большим» (см.: *Штейнер Рудольф.* Путь к посвящению, или Как достигнуть познания высших миров. Путь к самопознанию человека в восьми медитациях. М., 1991. С. 118—133).

[236] Несс (*греч. миф.*) — кентавр, известный своим коварством; смертельно пораженный Гераклом, он посоветовал Деянире собрать его кровь (уверив, что она поможет чудесным образом сохранить любовь Геракла). Деянира пропитала ею хитон Геракла; кровь Несса превратилась в яд, и хитон прирос к телу Геракла, причиняя ему невыносимые страдания. В 1906 г. Белый собирался написать для «Весов» статью под заглавием «Кентавр Несс» (см. его письмо к С. А. Полякову, конец марта 1906 г.: Stanford Slavic Studies. Vol. 1. Stanford, 1987. P. 86. Публ. Дж. Малмстада), этот замысел остался нереализованным.

[237] Образы из стихотворения «Незнакомка» (*Блок II.* С. 123) и пьесы «Балаганчик» (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. С. 14).

[238] Первые строки стихотворения (июль 1903 // *Блок I.* С. 157).

[239] «На поле Куликовом» («1. Река раскинулась. Течет, грустит лениво...», 7 июня 1908 // *Блок III.* С. 170).

[240] «Разгораются тайные знаки...» (октябрь 1902 // *Блок I.* С. 131). Неточная цитата.

[241] Фрагменты из стихотворения «Ангел-Хранитель» (17 августа 1906 // *Блок II.* С. 76—77).

[242] Цитата из статьи «Смысл любви» (*Соловьев Вл. С.* Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 545).

[243] Цитаты из стихотворения «Петр» («Он спит, пока закат румян...», 22 февраля 1904 // *Блок II.* С. 100).

[244] «Гимн» («В пыльный город небесный кузнец прикатил...», 27 августа 1904 // *Блок II.* С. 105).

[245] Цитаты из стихотворения «Город в красные пределы...» (28 июня 1904 // *Блок II.* С. 103).

[246] «Вечность бросила в город...» (26 июня 1904 // *Блок II.* С. 103).

[247] Неточные цитаты из стихотворения «Последний день» («Ранним утром, когда люди ленились шевелиться...», 3 февраля 1904 // *Блок II.* С. 99).

[248] «Ввысь изверженные дымы...» (25 сентября 1904 // *Блок II.* С. 107).

[249] «Митинг» («Он говорил умно и резко...», 10 октября 1905 // *Блок II.* С. 117).

[250] Подразумевается эпизод с парками (*римск. миф.* — богини судьбы, прядущие нить человеческой жизни) во 2-й части «Фауста» Гёте (акт I, сцена «Маскарад»).

[251] «Она веселой невестой была...» (*Блок II.* С. 55).

[252] «Мне страшно с Тобой встречаться...» (5 ноября 1902 // *Блок I.* С. 131).

[253] «Я насадил мой светлый рай...» (апрель 1907 // *Блок II*. С. 178). Неточная цитата.

[254] Цитаты из 1-го стихотворения цикла «Заклятие огнем и мраком» — «О, весна без конца и без краю...» (*Блок II*. С. 185).

[255] «Когда вы стоите на моем пути...» (6 февраля 1908 // *Блок II*. С. 198).

[256] «Прочь!» (*Блок II*. С. 156). Неточная цитата.

[257] См. заключительную сцену III акта 2-й части «Фауста» Гёте.

[258] «О, нет! не расколдуешь сердца ты...» (15 декабря 1913 // *Блок III*. С. 103).

⟨Воспоминания о Блоке⟩

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Встреча и охлаждение

[1] Белый возвратился из Парижа в Москву в конце февраля (ст. ст.)—начале марта (н. ст.) 1907 г.

[2] «Гимн», входящий в стихотворение «Искушение» (1902 // *Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 298). Цитируемые строки Белый взял эпиграфом к своей статье «Венок или венец», полемически направленной против Брюсова (см.: Аполлон. 1910. № 11. Отд. II. С. 1, 4).

[3] Белого задевала близость Г. И. Чулкова не столько с Блоком, сколько с Л. Д. Блок. Ср. его запись о времени возвращения в Москву из-за границы: «Первое известие, сражающее меня окончательно: Л. Д. в связи с Г. И. Ч⟨улковым⟩; в Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за попранную любовь и за профанацию символизма — углубляется» (*МБ*. Л. 54 об.).

[4] Сборник стихов Вяч. Иванова «Эрос» (СПб., 1907) — первая книга, выпущенная издательством «Оры», — вышел в свет в начале января 1907 г.

[5] Общество Свободной Эстетики (1906—1917), собиравшееся в помещении Московского Литературно-художественного кружка (Большая Дмитровка, дом Вострякова), объединяло главным образом представителей модернистских и близких к ним кругов московской творческой интеллигенции, а также поклонников «нового искусства». Первое заседание его состоялось 15 ноября 1906 г.; устав Общества был утвержден 10 апреля 1907 г. В это объединение и в круг ближайших сотрудников «Весов» Эллис вошел весной 1907 г. (см.: Эллис в «Весах» / Предисл., публ. и коммент. А. В. Лаврова // Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 287—327).

[6] Res (*лат.*) — вещь, предмет. Имеется в виду концепция реалистического символизма, развиваемая Вяч. Ивановым в философско-эстетических статьях второй половины 1900-х гг., собранных в его книге «По звездам» (СПб.: Оры, 1909).

[7] Возможно, Белый усматривает связь между своей формулировкой из статьи «Эмблематика смысла»: «Понятие менее отвлеченное по сравнению с понятием

более отвлеченным есть образ» (*Андрей Белый*. Символизм: Книга статей. М.: Мусагет, 1910. С. 91) — и имажинистскими тезисами В. Г. Шершеневича: «...образ есть реализация всех свойств предмета», «образ есть конкретизирование символа» и т. п. (*Шершеневич В.* 2 × 2 = 5. Листы имажиниста. М., 1920. С. 3, 10).

[8] «О современном состоянии русского символизма» (март—апрель 1910 // *Блок VIII*. С. 124). Сокращенные цитаты.

[9] Там же. С. 124. Сокращенные цитаты.

[10] *Арабески*. С. 321. Впервые: Весы. 1906. № 9. С. 45—48. Козловак — образ из «Северной симфонии (1-й, героической)» Белого: «...козлобородый рыцарь ⟨...⟩ водил проклятый хоровод и плясал с козлом в ночных чащах. И этот танец был козловак ⟨...⟩» (*Симфонии*. С. 51—52).

[11] Неточная и сокращенная цитата (*Арабески*. С. 332). Впервые: Весы. 1908. № 2. С. 69—72.

[12] Сокращенная цитата (*Арабески*. С. 333).

[13] Неточная и сокращенная цитата (*Арабески*. С. 264—265). Впервые: Весы. 1907. № 8. С. 54—58.

[14] Цитата из статьи «На перевале. IV. Детская свистулька» (*Арабески*. С. 268).

[15] Д. И. Менделеев скончался 20 января 1907 г.

[16] В декабре 1907 г. Л. Д. Блок вошла в театральную труппу, собранную В. Э. Мейерхольдом для поездки по провинции; выехала в гастрольную поездку в середине февраля 1908 г. (см.: *ЛН*. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 216—218, 221—222, 225—228).

[17] Подразумеваются не собственно книги Белого, а преобладающее количество стихотворений, впоследствии их составивших. Обе книги в окончательном составе и композиции формировались в 1908 г.; «Пепел» вышел в свет в начале декабря 1908 г., «Урна» — в конце марта 1909 г.

[18] В Петровском Белый жил в мае—июне 1907 г.

[19] Работа над «четвертой симфонией» «Кубок метелей» (М., 1908) была закончена 30 июня 1907 г.

[20] «Ночь» («Как минул вешний пыл, так минул страстный зной...», июнь 1907, Петровское // *СП — 1*. С. 319).

[21] «Как и всегда...» («Там — даль, чета берез...», 1907, Петровское // *СП — 1*. С. 342). Стихотворение посвящено Сергею Соловьеву.

[22] «Вольный ток» («Душа, яви безмерней, краше...», июнь 1907, Петровское // *СП — 1*. С. 339).

[23] «Сергею Соловьеву» (январь 1909 // *СП — 1*. С. 353—354).

[24] 22 июня 1907 г. С. М. Соловьев писал Г. А. Рачинскому из Петровского: «Я уезжаю на месяц в Крым, для поправления своих членов, которые безобразно ведут себя при малейшей сырости» (РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 2903). В июле Соловьев жил на южном берегу Крыма, гостил также (два дня — около 1 августа) у М. А. Волошина в Коктебеле (см. его письмо к Волошину от 8 июля 1907 г. из Алупки // ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1129; письмо Андрея Белого

к З. Н. Гиппиус от 7—11 августа 1907 г. // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 5. Paris, 1988. С. 212. Публ. В. Аллоя).

25 Сокращенные цитаты из статьи «На перевале. XXI. Синематограф» (*Арабески*. С. 351). Впервые: Весы. 1907. № 7. С. 50—53.

26 Имеются в виду статья Белого «На перевале. VI. Против музыки» (Весы. 1907. № 3. С. 57—60) и полемический ответ на нее — статья Э. К. Метнера (Вольфинга) «Борис Бугаев против музыки» (Золотое руно. 1907. № 5. С. 56—62), в свою очередь вызвавшая ответное полемическое «Письмо в редакцию» Белого (Перевал. 1907. № 10. С. 58—60).

27 Имеется в виду конфликт между Рябушинским и А. А. Курсинским, ответственным за ведение литературного отдела «Золотого руна» в конце 1906—начале 1907 г. 18 марта 1907 г. Курсинский объявил в печати о своем выходе из числа сотрудников и из состава редакции «Золотого руна». Белый сообщал в этой связи З. Н. Гиппиус в первой половине августа 1907 г.: «С „*Руном*" у меня война. Еще в апреле я вышел из состава сотрудников. Потом Рябушинский просил меня вернуться. Я ответил ему письмом, что пока он Редактор, путного из „*Руна*" ничего не выйдет. Потом Метнер написал против меня статью. Я ответил письмом в Редакцию. Письмо отказались напечатать; поставили условием, чтобы я вернулся в состав сотрудников. Я им выдвинул ряд условий, в числе которых было 1) чтобы журнал не опирался на мистических анархистов, 2) чтобы Рябушинский дал конституцию. Мне ответили скверным, обидным письмом. Все это сопровождалось всякого рода гнусностями. Наконец я напечатал протестующее письмо в газетах» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 5. С. 211. Публ. В. Аллоя). Окончательный разрыв Белого и других ведущих сотрудников «Весов» с «Золотым руном» произошел в августе 1907 г. в связи с отказом Рябушинского поместить ответное «Письмо в редакцию» Белого на полемическую статью Метнера (Вольфинга) «Борис Бугаев против музыки». Подробнее см.: *Лавров А. В.* «Золотое руно» // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 475—478.

28 В № 4 «Золотого руна» за 1907 г. было опубликовано редакционное сообщение о том, что А. Блок будет вести в журнале критические обозрения, «дающие систематическую оценку литературных явлений» (с. 74); там же было напечатано заявление Блока, в котором намечалась тематическая программа «критических обозрений текущей литературы». См.: *Блок VII*. С. 209.

29 Имеются в виду письмо Белого к Блоку от 5 или 6 августа и ответное письмо Блока от 8 августа 1907 г. (*Белый — Блок*. С. 310—312).

30 См. письма Белого к Блоку от 10—11 августа (подробное объяснительное) и от 11 августа 1907 г. (ответ на дуэльный вызов) (*Белый — Блок*. С. 312—322).

31 Имеется в виду письмо Блока к Белому от 15—17 августа 1907 г. (*Белый — Блок*. С. 323—328).

32 Эта встреча состоялась 24 августа и продолжилась в ночь с 24 на 25 августа 1907 г.

33 Подразумевается помещенная в «Mercure de France» (1907. T. LXVIII. N 242, 16 juillet. P. 361—364) статья Е. П. Семенова (русского корреспондента

этого парижского журнала) «Le Mysticisme anarchique», в основу которой была положена беседа с Чулковым. «Мистическими анархистами» в русской литературе в ней назывались Вяч. Иванов, Блок, С. Городецкий и Чулков. Пространную цитату из статьи Семенова и предложение сделать заявление по этому поводу содержало письмо Белого к Блоку от 21 августа 1907 г. (*Белый — Блок*. С. 333—334).

[34] «Письмо в редакцию» Блока, датированное 26 августа 1907 г., в котором выражалось несогласие с «тенденциозной схемой» Е. Семенова, было опубликовано в № 8 «Весов» за 1907 г. (с. 81). См.: *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 675—676.

[35] Повести «Тридцать три урода» Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (СПб.: Оры, 1907) и «Крылья» М. А. Кузмина (Весы. 1906. № 11; отд. изд. — М.: Скорпион, 1907), затрагивающие тему однополой любви, вызвали в печати широкий и скандальный резонанс; критические отзывы о них опубликовал и Белый (Перевал. 1907. № 5. С. 53; № 6. С. 50—51).

[36] Образ римского писателя и государственного деятеля Марка Порция Катона Старшего (234—149 до н. э.), поборника староримских нравов, используется здесь как воплощение защитника строгих моральных устоев и непримиримости к врагам (его крылатая фраза: «Карфаген должен быть разрушен»).

[37] Брюсов заявил о своем выходе из числа сотрудников «Золотого руна» (вместе с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус) письмом в редакцию газеты «Столичное утро», опубликованном 21 августа 1907 г. Косвенное влияние на редакционную деятельность «Золотого руна» он оказывал в конце 1906—начале 1907 г. (в период работы А. А. Курсинского в журнале). См. составленное Брюсовым и опубликованное без подписи «объявление» о журнале, напечатанное в брошюре «Золотое руно: ежемесячный художественный, литературный и критический журнал. Отчет за 1906 год (I год издания)»; атрибутировано Н. А. Богомоловым (*Богомолов Н. А.* Вокруг «серебряного века»: Статьи и материалы. М., 2010. С. 334—337).

[38] Неточные и сокращенные цитаты из статьи «О современном состоянии русского символизма» (*Блок VIII*. С. 124, 126—127).

[39] Там же. С. 128.

[40] Белый откликнулся на появление пьесы Л. Андреева статьей «Смерть или возрождение. „Жизнь Человека" Л. Андреева» (Литературно-художественная неделя. 1907. № 1, 17 сентября; *Арабески*. С. 491—497), Блок посвятил ей специальный раздел своей обзорной статьи «О драме» (Золотое руно. 1907. № 7/9; *Блок VII*. С. 96—100).

[41] См.: *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 132 («Памяти Леонида Андреева», 1919).

[42] О конфликте Белого с редакцией «Литературно-художественной недели», происшедшем в конце сентября 1907 г., см.: *МДР*. С. 225—226, 513—514.

[43] Сообщая об инциденте Блоку в письме от 26 или 27 сентября 1907 г., Белый добавлял: «...Зайцева одного *прошибло*: побежал за мной, я взял его за руку: он расплакался» (*Белый — Блок*. С. 341). В мемуарной книге «Далекое»

Зайцев также отобразил эту сцену: «...Белый вылетел в переднюю, я за ним. 〈...〉 Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что „лично" по-прежнему друг друга „любим", в литературной же плоскости „разошлись" и не можем, конечно, встречаться, но „в глубине души ничто не изменилось". У обоих на глазах при этом слезы. Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались „друго-врагами" и долго не встречались, как будто даже раззнакомились» (*Зайцев Б. К.* Соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 358).

44 Статья Белого «Штемпелеванная калоша», представлявшая собой памфлет, направленный по адресу петербургских модернистов, входила в его полемический цикл «На перевале» (Весы. 1907. № 5. С. 49—52; *Арабески*. С. 342—346); обыгрывающийся в ней на разные лады образ калоши — изделия петербургской фабрики «Треугольник» — заключал в себе намек на треугольную эмблему петербургского издательства «Оры», возглавлявшегося Вяч. Ивановым.

45 З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман, руководители основанного в Петербурге в 1906 г. издательства «Шиповник», начавшего регулярный выпуск популярных литературно-художественных альманахов, стремились печатать произведения известных писателей как реалистического, так и символистско-модернистского направления. См.: *Келдыш В. А.* Альманахи издательства «Шиповник» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 257—294.

46 Гастроли Театра В. Ф. Коммиссаржевской проходили в Москве в помещении театра «Эрмитаж» с 30 августа по 11 сентября 1907 г.; в репертуаре были «Балаганчик» Блока, «Вечная сказка» Ст. Пшибышевского, «Сестра Беатриса» и «Чудо странника Антония» М. Метерлинка — все пьесы в постановке В. Э. Мейерхольда.

47 Имеется в виду статья «Символический театр», напечатанная в двух номерах (№ 1, 11) «Утра России» (16 и 28 сентября 1907 г.). См.: *Арабески*. С. 299—313.

48 Белый приехал в Киев 2 или 3 октября 1907 г.

49 Литературно-художественный журнал «В мире искусств» издавался в Киеве в 1907—1910 гг. под редакцией Б. К. Яновского (1907—1908), А. И. Филиппова (1908—1910), И. М. Миклашевского (1910). Его эстетическая платформа была ориентирована на модернизм.

50 В гл. XIII «Посмертных записок Пиквикского клуба» (1837) изображены две противоборствующие партии города Итенсуилла (в переводе А. В. Кривцовой и Евг. Ланна — *Синие* и *Желтые*), под которыми подразумеваются две основные политические партии Англии того времени — тори и виги. См.: *Диккенс Ч.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 2. С. 202—204.

51 Описываемый вечер «нового искусства» состоялся в Киевском городском театре 4 октября 1907 г.; Белый выступил на нем с лекцией «Об итогах развития нового русского искусства». См. письмо Белого к матери от 9 октября 1907 г. (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 312).

[52] Стихотворение Соколова (Кречетова) «Дровосек» (*Кречетов Сергей.* Летучий Голландец: Вторая книга стихов. М.: Гриф, 1910. С. 77—78) было написано, по всем очевидным признакам, под влиянием стихотворения Белого «Работа» (1904; см.: *СП — 1.* С. 274—275), впервые опубликованного (под заглавием «Идиллия», 1-я часть) в «Альманахе к-ва „Гриф"» (М., 1905. С. 20).

[53] Лекция «Будущее искусство» в Коммерческом собрании (6 октября 1907 г.).

[54] «Прочь!» (*Блок II.* С. 156). Неточная цитата.

[55] См. примеч. 148 к гл. 6-й.

[56] Подразумевается, по всей вероятности, газета «Столичное утро», издававшаяся в Москве с 30 мая по 19 октября 1907 г. и приостановленная в административном порядке, либо, возможно, одно из несостоявшихся изданий. Белый сообщал З. Н. Гиппиус в первой половине августа 1907 г.: «Предлагали писать в „Столичном Утре", но это — газета весьма низкого сорта; предлагали в „Голосе Москвы"; но это — октябристы. Теперь остаются две комбинации. С сентября выйдет газета „Солнце" (левых кадетов); там предлагают писать о чем угодно и что угодно. Кроме того: быть может, Соколов будет редактировать газету (еще не выяснено); он обещал заработок на 150 рублей в месяц. Жду» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 5. С. 209).

[57] Блок и Белый приехали в Петербург 8 октября.

[58] Адрес Блока (с осени 1907 г. до ноября 1910 г.) — Галерная ул., дом 41, кв. 4. Николаевской Белый ошибочно называет Благовещенскую площадь (по смежности с находящимся рядом Николаевским мостом).

[59] Имеется в виду Благовещенская церковь, построенная в 1844—1849 гг. по проекту К. А. Тона; снесена в 1929 г.

[60] Цитаты из стихотворения «По улицам метель метет...» (26 октября 1907), 7-го в цикле «Заклятие огнем и мраком» (*Блок II.* С. 190—191).

[61] Цитата из того же стихотворения (*Блок II.* С. 191).

[62] Премьера драмы М. Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда» (1892) в постановке В. Э. Мейерхольда состоялась в Театре В. Ф. Коммиссаржевской 10 октября 1907 г.

[63] Текст посвящения (13 января 1907 г.), предпосланного отдельному изданию «Снежной Маски» (СПб.: Оры, 1907): «Посвящаю эти стихи *Тебе,* высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города» (*Блок II.* С. 451).

[64] «Песня Фаины» («Когда гляжу в глаза твои...», декабрь 1907 // *Блок II.* С. 196).

[65] Первые три строфы стихотворения (декабрь 1906), открывающего раздел «Фаина» (*Блок II.* С. 175).

[66] «Я в дольний мир вошла, как в ложу...» (1 января 1907 // *Блок II.* С. 176).

[67] «Ушла. Но гиацинты ждали...» (31 марта 1907 // *Блок II.* С. 177).

[68] Цитаты из стихотворения «Я был смущенный и веселый...» (декабрь 1906 // *Блок II.* С. 176).

[69] «Ушла. Но гиацинты ждали...» (*Блок II*. С. 177).

[70] Белый возвратился в Москву в середине октября 1907 г. В письме к матери от 9 октября 1907 г. он извещал, что пробудет в Петербурге «до 15-го» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 312). Л. Д. Блок писала А. А. Кублицкой-Пиоттух 14 октября 1907 г.: «Боря в сущности хороший и можно его обласкать, когда он будет жить в П⟨етер⟩б⟨ур⟩ге, он ведь переезжает, но пока по-прежнему влюблен, и это сильно его портит» (Там же. С. 312).

[71] Э. К. Метнер вновь обосновался в Москве в конце 1907 г. после продолжительного пребывания в Германии (Мюнхен, Веймар).

[72] Подробнее о деятельности «Дома песни» см.: *НВ*. С. 425—439.

[73] См.: *Арабески*. С. 43—59 («Песнь жизни»).

[74] Белый поселился в Петербурге с 1 ноября 1907 г. (Университетская наб., дом 25, кв. 10).

[75] Ср. записи Белого о ноябре 1907 г.: «Мучительные переживания с Л. Д. Блок ⟨...⟩ Ссора с Л. Д.» (*МБ*. Л. 55 об.). 12 ноября 1907 г. Белый писал матери: «Раза 3 был у Блоков. ⟨...⟩ Чувствую себя в общем недурно. Странно мне в Петербурге, странно» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 314).

[76] Статья была напечатана в сборнике «Театр. Книга о новом театре» (СПб., 1908. С. 261—289). См. также: *Арабески*. С. 17—42.

[77] Белый возвратился в Москву 18 ноября 1907 г.; вскоре после этого он дважды приезжал в Петербург — в январе 1908 г., на короткий срок для лекционных выступлений.

[78] Переписка между Блоком и Белым была прервана в связи с конкретным обстоятельством. 24 апреля 1908 г. Блок отправил Белому письмо, в котором выражал резкое неприятие его «четвертой симфонии» «Кубок метелей»; в ответном письме (от 3 мая) Белый заявлял: «Очень благодарен за Твое правдивое мнение обо мне. Оно показывает, насколько мы чужды друг другу. ⟨...⟩ Ввиду „*сложности*" наших отношений я *ликвидирую* эту сложность, прерывая с Тобой сношения (кроме случайных встреч, шапошного знакомства и пр.). Не отвечай. Всего хорошего» (*Белый — Блок*. С. 364—365).

⟨Том III⟩

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

[1] Подразумевается ноябрь 1907 г. См. примеч. 77 к гл. 7-й.

[2] Обыгрывается фамилия юриста и знаменитого адвоката Федора Никифоровича Плевако.

[3] Метафорически обыгрывается название торгового дома и большого универсального магазина «Мюр и Мерилиз» (Кузнецкий мост, дом кн. Гагарина; Петровка, д. 10). Ср. примеч. 70 к гл. 4-й.

[4] Н. И. Стороженко. В некрологе «Николай Ильич Стороженко» Белый писал: «Николай Ильич был слишком *человек* в вечно прекрасном смысле этого слова, чтобы его можно было сопричислить к типичным либералам нашего времени 〈...〉 Чистым воздухом дышали его слова, хотя вообще он был человек либерально настроенный» (Весы. 1906. № 2. С. 68).

[5] И. И. Янжул был избран членом-корреспондентом Академии наук в 1893 г., действительным членом — в 1895 г.

[6] Имеется в виду ресторан «Прага» на углу Арбата и Арбатской площади.

[7] Имеется в виду программный «аргонавтический» двухчастный стихотворный цикл Белого «Золотое руно» (1903 // *СП — 1.* С. 81—82).

[8] Подразумевается переезд в августе—сентябре 1906 г. из квартиры в доме Богданова на углу Арбата и Денежного переулка в новую квартиру в доме Новикова: Арбат, Никольский пер., д. 21, кв. 7 (ныне — Плотников пер.). Белый поселился там вместе с матерью и теткой.

[9] Речь идет о боях в Москве в ходе Октябрьского переворота 1917 г. Советская власть утвердилась в Москве 2/15 ноября.

[10] Аптека «Смоленская», принадлежавшая Нисену Марковичу Иогихесу (Смоленская пл., дом Щенкова).

[11] Дом, в котором Белый родился и жил до осени 1906 г.

[12] Церковь св. Николая Чудотворца «Явленного» на Арбате и церковь Смоленской Божией Матери — Рождества Пресвятыя Богородицы (Плющиха, за Смоленскими воротами).

[13] Ср.: «Казаринов, два раза в год дирижировавший в Благородном собрании танцами, в день наносивший полсотни визитов, сват-брат всей Москвы 〈...〉» (*НВ*. С. 113).

[14] Адрес дома В. П. Староносова — Арбат, 62.

[15] Сапожное заведение М. Т. Гринблат на Арбате в доме И. В. Платонова (д. 7).

[16] Наиболее вероятно, что название московской улицы восходит к арабскому arbad (множественное число от rabad — «пригород», «предместье»); слово попало в русский язык, вероятно, через татарское посредство.

[17] Ср. в «Войне и мире» Л. Н. Толстого: «Путь Пьера лежал 〈...〉 на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело» (т. 3-й, ч. 3-я, гл. XXXIII).

[18] Александрийский пресвитер Арий (256—336) был основателем еретического учения, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына. Согласно легенде, св. Николай Мирликийский, непримиримый противник арианства, дал пощечину Арию на I Вселенском соборе.

[19] В тексте обыгрываются первые строки гимна М. М. Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе...» (вольное переложение псалма 64-го; опубликован посмертно в 1819 г.), положенного на музыку Д. С. Бортнянским.

[20] Троице-Арбатская церковь — св. Живоначальныя Троицы на Арбате (на углу Денежного переулка).

[21] Пралайя (pralaya — разрушение) — в космологии индуизма период растворения вселенной в небытии, длящийся 4.32 млрд земных лет. Согласно

теософской трактовке у Е. П. Блаватской, Пралайя — «период обскурации или покоя — планетного, космического или вселенского — противоположен манвантаре» (*Блаватская Е. П.* Теософский словарь. М., 1994. С. 355). В комментариях к своей статье «Эмблематика смысла» Белый, вслед за «Тайной доктриной» Блаватской, указывает на два состояния мира — Манвантарайя и Пралайя. См.: *Андрей Белый*. Символизм: Книга статей. М.: Мусагет, 1910. С. 491—492.

[22] Меблированные комнаты «Дон». Ср.: «Меблированные комнаты „Дон" ⟨...⟩ помещались в оливковом доме, поставленном на Сенной площади ⟨...⟩ дом стеной выходил на Арбат (против «Аптеки»); другим боком дом глядел на Смоленский бульвар; третьим — в паршивые домики ⟨...⟩» (*НВ*. С. 55).

[23] Мясная лавка Павла Петровича Мозгина (Смоленская пл., дом Щенкова).

[24] Колониальная торговля Никиты Максимовича Аборина — на Смоленском пр. в доме Бокова.

[25] Дом М. А. Морозова и М. К. Морозовой у Смоленского рынка (Смоленский бульвар, 52).

[26] «Сон негра» — музыкальная пьеса, написанная, вероятно, на текст стихотворения А. Н. Майкова «Сон негра. (Из Лонгфелло)» («Измучен зноем и трудом...», 1859) — перевод «The Slave's Dream» Г. Лонгфелло. См.: *Майков А. Н.* Избранные произведения. Л., 1977. С. 183—184. («Библиотека поэта». Большая серия).

[27] См. примеч. 123 к гл. 5-й.

[28] На Арбате были две керосиновые лавки братьев Замятиных — в доме Голикова и в доме Лепешкина.

[29] В Москве в 1900-е гг. было более десяти булочных И. и А. Савостьяновых.

[30] Торговый дом «Братья Зензиновы» и торговая лавка на Арбате в доме И. М. Савостьянова (д. 71).

[31] Собственный дом П. Ф. Староносова на Арбате (торговля мылом и свечами).

[32] После Троице-Арбатской церкви В. С. Марков служил в Успенском соборе Кремля и затем храме Христа Спасителя. См.: *Соловьев С. свящ.* Памяти протопресвитера В. С. Маркова // Богословский Вестник. 1918. Июль—сентябрь. С. 247—248.

[33] «Мессинская невеста» (1803) — трагедия Ф. Шиллера; сцены из нее ставились в конце 1897 г.; сцены из «Макбета» (1606) У. Шекспира — годом ранее. Белый пишет о ноябре—декабре 1896 г.: «С С. М. Соловьевым мы начинаем увлекаться театром. Собираем труппу (я, Сережа Соловьев, Маруся Коваленская, Коля Марков, Ваня Величкин, Огневы). Мы ставим сцены из „Макбета", из *„Бориса Годунова"* ⟨...⟩» (*МБ*. Л. 6—6 об.).

[34] Имеется в виду фольклорист Алексей Владимирович Марков (1877—1917), автор книг «Бытовые черты русских былин» (М., 1904), «Из истории русского былевого эпоса» (Вып. 1—5. М., 1905—1907); им подготовлены издания: «Беломорские былины, записанные А. Марковым» (М., 1901), «Былины новой и недавней записи. Из разных местностей России» (под ред. В. Ф. Мил-

лера, при ближайшем участии Е. Н. Елеонской и А. В. Маркова: М., 1908) и др.

[35] Т. е. ученик частной гимназии Л. И. Поливанова (которую закончил Белый).

[36] Дом Михаила Павловича и Павла Павловича Патрикеевых — Арбат, 63 (между Никольским и Денежным пер.).

[37] Дом братьев Сергея Андреевича и Михаила Андреевича (ротмистра) Комаровых — Арбат, 52—54.

[38] *В машинописи*: Перечисленные посетители церкви.

[39] «Эпоха великих реформ» (в 1-м издании (М., 1892) — «Из эпохи великих реформ») — книга Г. А. Джаншиева, посвященная истории судебной реформы и либеральных преобразований 1860-х гг.; пользовалась широкой популярностью (выдержала несколько изданий) и сыграла большую общественную роль.

[40] Овощная лавка Зиновия Кузьмича Горшкова — Арбат, 67 (дом церкви св. Троицы).

[41] Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Левшине (Пречистенская часть, Левшинский пер.).

[42] Дом Берга — Денежный пер., 5. В 1918 г. в нем размещалось германское посольство, где 6 июля, по постановлению ЦК левых эсеров, был убит германский посланник В. Мирбах эсером Я. Г. Блюмкиным; убийство преследовало целью срыв Брестского мирного договора.

[43] «В двенадцать часов по ночам» — первая строка и рефрен стихотворения В. А. Жуковского «Ночной смотр» (1836) — перевода баллады Йозефа Кристиана Цедлица.

[44] Имеется в виду список с Иверской иконы Божией Матери (названа по имени Иверского монастыря на горе Афон), установленный в 1669 г. в Москве в часовне у Воскресенских ворот (между Красной пл. и Тверской ул.). Иконе поклонялись в часовне, а также ее возили по домам.

[45] Шуточно искаженное: Дюрандаль — имя меча (производное, видимо, либо от прилагательного «dur» — прочный, либо от глагола «durer» — «быть прочным, устойчивым») Роланда, героя средневековой французской эпической поэмы «Песнь о Роланде» (XII в.).

[46] Н. В. Бугаев был избран деканом физико-математического факультета Московского университета в 1886 г. и исполнял эту должность до конца жизни.

[47] Видимо, подразумеваются студенческие волнения 23—26 февраля 1901 г., сопровождавшиеся демонстрациями, стычками с войсками и арестами. См.: *Ушаков А. В.* Революционное движение демократической интеллигенции в России. 1895—1904. М., 1976. С. 149—151.

[48] Главное здание Московского университета располагалось на Моховой ул.

[49] О встречах с Л. Н. Толстым Белый написал мемуарный очерк, оставшийся при его жизни неопубликованным (см.: Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 638—644. Предисл. и публ. Льва Озерова), а также рассказал о них в позднейших мемуарах (*Андрей Белый*. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 329—333).

[50] Знакомство Белого с юным С. М. Соловьевым и его родителями М. С. и О. М. Соловьевыми состоялось в конце 1895 г.

[51] Знакомство Белого с В. Я. Брюсовым состоялось в квартире Соловьевых 5 декабря 1901 г., знакомство с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус — там же на следующий день. См.: *НВ*. С. 172—175, 192—195.

[52] Магазин колониальных товаров Выгодчикова в доме Старицкого (Арбат, 56—58) находился напротив дома, в котором жили Бугаевы.

[53] Мясная лавка Вас. Вас. Когтева и мучная торговля Ник. Дм. Шафоростова.

[54] В. Ф. Джунковский был адъютантом московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича с декабря 1891 г. до гибели великого князя 4 февраля 1905 г., 30 июля 1905 г. был назначен московским вице-губернатором, а 11 ноября того же года — московским губернатором и исполнял эту должность до января 1913 г. В генерал-майоры Джунковский был произведен в 1908 г., флигель-адъютантом Свиты состоял с весны 1905 г.

[55] Парикмахерские Николая Алексеевича Пашкова — Арбат, дом Соколова.

[56] Парикмахерская Василия Сергеевича Пашалы (Арбатская пл., д. 2) и Дан. Васильева (Арбат, дом И. В. Гофмана — № 13).

[57] Подразумевается Московский Литературно-художественный кружок (см. его описание в позднейших мемуарах Белого: *НВ*. С. 231—239).

[58] Имеется в виду магазин кондитерских товаров Александра Эдуардовича Фельша (Арбат, дом Городского общества).

[59] Сапожник Филипп Михайлович Ремизов — в Троилинском переулке в доме Савостьянова (между Арбатом и Большим Толстовским пер.).

[60] Гласный Московской Городской Думы Асаф Асафович Баранов проживал на Новинском бульваре в доме Плевако (№ 107).

[61] Дом купца А. Ф. Чулкова — на углу Арбата и Спасопесковского переулка.

[62] Подразумевается Издательство М. и С. Сабашниковых, основанное в 1891 г. и существовавшее до 1930 г.; выпустило свыше 600 названий книг. См.: *Белов С. В.* Книгоиздатели Сабашниковы. М., 1974.

[63] Указаны различные сферы предпринимательской и меценатской деятельности С. И. Мамонтова: организация на сцене театра Солодовникова частной оперной труппы (1885); приобретение (1870) и благоустройство подмосковной усадьбы С. Т. Аксакова Абрамцево, ставшей в 1870—1890-х гг. одним из центров художественной жизни России; участие в организации XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде (1896), где он заведовал одним из павильонов; учреждение Общества Московско-Ярославской железной дороги и начало строительства железной дороги от Ярославля до Архангельска, субсидирование строительства здания Ярославского вокзала (1904; архитектор Ф. О. Шехтель).

[64] С. И. Щукин стал собирателем новой европейской живописи в конце 1890-х гг., с 1908 г. открыл свою галерею для регулярных бесплатных посещений. Основу экспозиции составляли работы импрессионистов, постимпрессионистов, Матисса, Дерена, Пикассо.

[65] Видимо, обыгрывается образный строй стихотворения В. В. Казина «Гармонист» («Было тихо. Было видно дворнику...»): «Все цветы поплыли по лугам»; «Увидал, что письма адресованы // Только нивам да лесам» (*Казин Василий.* Рабочий май: Стихи. М.; Пб.: Круг, 1923. С. 20).

[66] Ср. строки из стихотворения Н. А. Клюева «Железо» («Безголовые карлы в железе живут...», 1919): «Из магнитных ложесн огневой баобаб // Ловит звездных сорок краснолесьями лап» (*Клюев Николай.* Сердце Единорога: Стихотворения и поэмы. СПб., 1999. С. 449).

[67] Обыгрывается евангельский образ «новое вино» («молодое вино»). См.: Мф. IX, 17; Мк. II, 22; Лк. V, 37—39.

[68] Подразумевается строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» («Сеятель знанья на ниву народную!..», 1876): «Сейте разумное, доброе, вечное».

[69] «Русские ведомости» — ежедневная московская газета, выходившая в 1863—1918 гг.; одно из наиболее респектабельных периодических изданий, отражавших взгляды либеральной интеллигенции.

[70] Магазин «Надежда» А. И. Потуловой на Арбате в доме Серебрякова (д. 53).

[71] В 1900-е гг. в Москве было пять кофейных магазинов Э. Реттере.

[72] Колбасная «А. Д. Белова Насл.» — Арбат, дом Городской управы.

[73] Ювелирный магазин Ивана Никифоровича Распопова — Арбат, дом Иванова (№ 23).

[74] Токарные заведения Виктора Васильевича Бурова — Арбат, дом Бурова (№ 59).

[75] Имеется в виду восьмиэтажный доходный дом, состоящий из трех корпусов; современный адрес — Арбат, 51.

[76] Кондитерская торговля «Блигкен и Робинсон» — Арбат, угол Серебряного переулка (№ 19).

[77] Кондитерская торговля «Флей» — Пречистенка, 1.

[78] Неточно цитируются первые строки стихотворения М. Ю. Лермонтова (1837—1838): «Гляжу на будущность с боязнью, // Гляжу на прошлое с тоской».

[79] Обыгрывается образный строй повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (гл. XIV): «Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. 〈...〉 „А то что такое?" допрашивал собравшийся народ старых людей 〈...〉 „То Карпатские горы!" говорили старые люди 〈...〉 облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 1. 〈Л.〉, 1940. С. 275).

[80] «L'Intruse» («Непрошенная», или «Втируша») — одноактная пьеса Мориса Метерлинка (1890).

[81] Подразумевается музыка И. А. Саца к драме Л. Н. Андреева «Жизнь Человека», поставленной В. Э. Мейерхольдом в Театре В. Ф. Коммиссаржевской (премьера — 22 февраля 1907 г.).

[82] Условно-символический персонаж, сопровождающий все действие пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека».

[83] Магазин в доме Давыдовской пустыни на Арбатской площади — «Антон Григорьевич Бланк (торговля птицами, набивка чучел)» и «„Р. Келер и К°" — парфюмерный товар».

[84] Магазин гастрономических товаров «Мора, Блинов и Барсов» на Воздвиженке, в доме Арманд.

[85] Ср. описание М. С. Соловьева в поэме «Первое свидание» (гл. 2-я): «Качаясь мерною походкой, // Золотохохлой головой, — // Золотохохлою бородкой, — // Прищурый, слабый, но живой» (*СП — 2.* С. 34).

[86] Имеется в виду армейский кавалерийский Сумский полк. См.: *Голодолинский П. П.* История 3-го драгунского Сумского ⟨...⟩ полка. Ч. 1, 3. М., 1902.

[87] Филипп Александрович Добров, врач Первой Городской больницы, жил на Арбате в доме Чулкова.

[88] М. О. Гершензон.

[89] Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом» (1908) был впервые опубликован в «Литературно-художественных альманахах изд-ва „Шиповник"» (Кн. 10. СПб., 1909. С. 273—278) под заглавием «На Куликовом поле (стихи)».

[90] См.: *Блок VIII.* С. 107 («Дитя Гоголя», 1909).

[91] Неточная цитата из той же статьи (*Блок VIII.* С. 107).

[92] Неточная цитата из той же статьи (*Блок VIII.* С. 108).

[93] Неточная и сокращенная цитата из той же статьи (*Блок VIII.* С. 108).

[94] Обе упомянутые статьи Белого были впервые опубликованы в «Весах» в 1909 г.: первая — в № 2 и 3, вторая — в № 4.

[95] Неточная и сокращенная цитата из статьи «Пламень» (1913; *Блок VIII.* С. 161).

[96] Контаминация сокращенных цитат из биографического очерка «Александр Блок». См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александра Блоке. М., 1990. С. 83—84.

[97] С осени 1907 г. М. И. Сизов, студент естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, перешел в Петербургский университет; в соответствующем прошении (13 июля 1907 г.) он аргументировал свое решение тем, что в Петербургском университете «имеется кафедра физиологии животных», которую он «избрал своей специальностью, в то время как в Московском университете этой кафедры нет» (ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 317. Дело 1024. Л. 6).

[98] См. примеч. 141 к гл. 5-й.

[99] Имеется в виду эпизод из «Преступления и наказания» (ч. 3-я, гл. VI), в котором неизвестный мещанин обличает Раскольникова: «Убивец!», «*Ты* убивец» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 209).

[100] См. примеч. 120 к гл. 6-й. Саниновщина — от Санина, героя одноименного романа М. П. Арцыбашева (отд. изд.: СПб., 1907), приобретшего широчайшую скандальную известность; тип гедониста, проповедующего чувственную раскрепощенность и вседозволенность.

[101] Цитаты из 4-го стихотворения цикла «На поле Куликовом» (31 июля 1908 // *Блок III*. С. 172).

[102] «Сергею Соловьеву» («Соединил нас рок недаром...», 1909 // *СП — 1*. С. 354, 355). Неточная цитата.

[103] См. примеч. 120 к гл. 5-й.

[104] «Charogne» («Падаль») — стихотворение Ш. Бодлера, входящее в его книгу «Цветы Зла».

[105] «Фонарь, безвестный друг! ты близок! ты со мной!» — строка из стихотворения В. Брюсова «Когда сижу один и в комнате темно...» (1898), входящего в его книгу «Tertia Vigilia» (1900). См.: *Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 172.

[106] М. А. Волошин приехал из Коктебеля в Москву 19 ноября 1907 г., отбыл из Москвы в Петербург 5 декабря. С Белым Волошин встречался 22 ноября (см.: *Купченко В. П.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877—1916. СПб., 2002. С. 192—193).

[107] Подразумеваются сестры Аделаида Казимировна (старшая) и Евгения Казимировна (младшая) Герцык.

[108] Л. Д. Зиновьева-Аннибал умерла от скарлатины в поместье Загорье Могилевской губернии 17 октября 1907 г.; была похоронена в Петербурге в Александро-Невской лавре. Некрологическую статью «Зиновьева-Аннибал» Белый опубликовал в газете «Правда живая» (1907. № 1, 26 октября. Подпись: *А. Б—ый*).

[109] Вяч. Иванов находился в Москве с 3 по 24 ноября 1907 г., но жил он не у сестер Герцык. См. письмо А. К. Герцык к В. С. Гриневич от 9 ноября 1907 г. (*Сестры Герцык*. Письма / Сост. и коммент. Т. Н. Жуковской. СПб.; М., 2002. С. 95—97). По свидетельству В. К. Шварсалон, описавшей эту поездку вместе с Вяч. Ивановым в Москву, они остановились тогда в квартире Ал. Н. Чеботаревской на Новинском бульваре (см.: *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. М., 2009. С. 273).

[110] См. примеч. 44 к гл. 7-й.

[111] С лекцией «Театр и современная драма» Белый выступил в Московском Литературно-художественном кружке 20 ноября 1907 г. (тезисы: РГБ. Ф. 25. Карт. 31. Ед. хр. 14. Л. 5). См. подробное изложение: *М. Л.* Андрей Белый о современном театре // Раннее утро. 1907. № 5, 23 ноября. С. 4.

[112] Тиресий (*греч. миф.*) — фиванский прорицатель; выступает в этой функции в «Царе Эдипе» и «Антигоне» Софокла и в «Финикиянках» Еврипида.

[113] Официальный брак Вяч. Иванова и В. К. Шварсалон был заключен 16/29 апреля 1913 г. Близкие отношения между ними установились летом 1910 г.

[114] Ср. признание Белого в письме к Блоку (конец ноября 1907 г.): «С Вячеславом мы встретились исключительно хорошо, верно. Это было мне утешением и подспорьем. Когда встретишь его, скажи ему, что люблю его» (*Белый — Блок*. С. 350). О встрече Иванова и Белого в Москве вспоминает В. К. Шварсалон: «Приходил Белый ⟨...⟩ мириться с В⟨ячеславом⟩, стыдился грубых ре-

цензий на Маму в „Весах”, говорил, как он горевал, когда узнал о ней, и я на него сердилась и не верила, и, кажется, Вячеслав ему сказал, что я на него сержусь, и Бел⟨ый⟩ все говорил на это, как он был потрясен, когда узнал об ней» (*Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах. С. 273—274).

[115] Упоминается лекция Вяч. Иванова «Две стихии в современном символизме», с которой он выступил 25 марта 1908 г. в Московском Литературно-художественном кружке. Текст лекции лег в основу одноименной статьи, опубликованной в «Золотом руне» (1908. № 3, 4/5).

[116] Свои детские впечатления от П. Д. Боборыкина, посещавшего семью Бугаевых, Белый изложил в позднейших мемуарных книгах (см.: *Андрей Белый.* На рубеже двух столетий. С. 133; *НВ*. С. 236—237).

[117] П. Д. Боборыкин и Н. В. Бугаев выступили с речами на обеде, организованном в честь И. С. Тургенева М. М. Ковалевским в Москве, 15/27 февраля 1879 г. См.: Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. 1876—1883 / Авт.-сост. Н. Н. Мостовская. СПб., 2003. С. 242.

[118] См. примеч. 5 к гл. 7-й.

[119] Неточно цитируются заключительные строки «Песни о вещем Олеге» (1822) А. С. Пушкина.

[120] См. печатные выступления П. Д. Боборыкина о творчестве Л. Н. Андреева: Литературное движение. «Красный смех» Л. Андреева // Русское слово. 1905. № 57, 1 марта. Подпись: *Рутений*; Беседы («Жизнь Человека» в Художественном театре) // Слово. 1907. № 334, 19 декабря; На «трагическом представлении» // Театр и искусство. 1909. № 42, 18 октября. С. 719—722. (О постановке «Анатэмы» Андреева в Московском Художественном театре).

[121] Имеется в виду повесть П. Д. Боборыкина «Прорыв в вечность», опубликованная в «Вестнике Европы» в 1911 г. (№ 1. С. 46—90; № 2. С. 126—173; № 3. С. 85—124); в ней нарисована панорама «богоискательских» устремлений среди представителей интеллигенции — ортодоксальных христиан, сектантов, теософов и даже последователей «доктора», «немецкого реформатора „оккультизма”» (№ 1. С. 71—72), т. е. Р. Штейнера. В одном из персонажей повести, поэте-символисте Юрии Александровиче Авенирове, определенно отразились черты личности Андрея Белого: интерес к мистическим учениям и теософии, «религиозный эклектизм», эсхатологические чаяния («...на все ⟨...⟩ смотрит сквозь видения Апокалипсиса» — № 2. С. 162), экзальтированность поведения, выступления с публичными лекциями в форме вдохновенных импровизаций, иногда завершающиеся скандалами, и т. д.

[122] Московское Психологическое общество при Московском университете было основано 24 января 1885 г., в его составе преобладали философы (Н. Я. Грот, Л. М. Лопатин, Вл. С. Соловьев и др.).

[123] Речь идет о возобновлении деятельности Московского Юридического общества, основанного в 1865 г. и ликвидированного в 1899 г.

[124] Видимо, подразумевается Боевая организация эсеров.

[125] Не исключено, что здесь Белый приписывает себе слова Брюсова (который вводится в повествование непосредственно следом). В письме к отцу от

3 июня 1907 г. Брюсов излагает эпизод, приуроченный к «вечеру о Бодлэре ⟨...⟩ в пользу безработных»: «Недавно один из тех „товарищей", в пользу которых я читал лекцию, ораторствовал мне, что со введением социального строя появится *новое*, совсем новое искусство. Я его спросил: а таблица умножения тоже будет новая? Он мне ответил, подумав: может быть! — Хороши! будь пролетарием, и ты не только прав, но и поэт и мудрец, не учась» (в кн.: *Ямпольский И.* Поэты и прозаики: Статьи о русских писателях XIX—начала XX в. Л., 1986. С. 337).

[126] Неточная и сокращенная цитата (*Бекетова М. А.* 1) Александр Блок: Биографический очерк. Пб.: Алконост, 1922. С. 111; 2) Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 81). Упомянута Зоя Владимировна Зверева (в замужестве Поливанова; 1880—1956), слушательница Высших женских курсов в Петербурге, затем начальница женской гимназии в Нижнем Новгороде. Сохранилось 23 письма Блока к ней, из них 6 были опубликованы в «Литературной газете» (1971. № 31, 28 июля. С. 7). См.: Александр Блок. Переписка: Аннотированный каталог / Под ред. В. Н. Орлова. Вып. 1. Письма Александра Блока / Сост. Н. Т. Панченко, К. Н. Суворова, М. В. Чарушникова. М., 1975. С. 170—174.

[127] Имеется в виду секретарь московского отделения РСДРП Ольга Федоровна Руссиновская-Пуцято, в 1909 г. разоблаченная В. Л. Бурцевым в провокаторской деятельности на основе сведений, предоставленных деятелем политического сыска Л. П. Меньщиковым (см.: *Бурцев В. Л.* Борьба за свободную Россию / Сост., коммент., вступ. ст. Т. Л. Пантелеевой. СПб., 2012. С. 462). Была секретной сотрудницей Московского охранного отделения с 1903 г. Б. К. Зайцев свидетельствует, что она сама в Париже «созналась Бурцеву, что уже несколько лет служит в охране ⟨...⟩ Бурцев все это сообщил печати» (*Зайцев Б.* Москва. Мюнхен, 1973. С. 56). Ср.: *Бурцев Вл.* В погоне за провокаторами. М.; Л., 1928. С. 186.

[128] Эллис был арестован в ночь с 5 на 6 января 1908 г. по подозрению в принадлежности к «Военной организации партии социалистов-революционеров», освобожден 10 января. См. письмо Эллиса к В. Я. Брюсову от 10 января 1908 г. (Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 315—317).

[129] Имеется в виду «Сборник арифметических задач» В. А. Евтушевского в двух частях, широко распространенный (1-я часть к 1909 г. выдержала 76 изданий, 2-я часть — 31 издание).

[130] Совместное пребывание Белого и Эллиса в кругу последователей Рудольфа Штейнера относится к 1912—началу 1913 г.

[131] Обыгрывается посвящение книги К. Д. Бальмонта «Будем как Солнце»: «Моим друзьям, чьим душам всегда открыта моя душа ⟨...⟩ угрюмому, как скалы, Ю. Балтрушайтису ⟨...⟩» (*Бальмонт К. Д.* Будем как Солнце. Книга Символов. М.: Скорпион, 1903. С. ⟨VI⟩).

[132] Имеется в виду сказка Ханса Кристиана Андерсена «Тень» (1847), героем которой является ученый, а не странник. Белый допустил неточность, безу-

словно, по ассоциации с книгой Ф. Ницше «Странник и его тень» («Der Wanderer und sein Schatten», 1880).

[133] Строфа из стихотворения Белого «Искуситель» («О, пусть тревожно разум бродит...», 1908 // *СП — 1*. С. 329).

[134] С лекцией «Фридрих Ницше» Белый выступал в Политехническом музее 19 декабря 1907 г.

[135] Контаминация сокращенных цитат (*Арабески*. С. 70—73).

[136] Э. К. Метнер прожил тогда в Германии немногим менее года (приехал в Мюнхен 16/29 декабря 1906 г.; см.: *Метнер Н. К.* Письма. М., 1973. С. 80. Комментарии З. А. Апетян).

[137] Н. К. Метнер окончил Московскую консерваторию в 1900 г. по специальности фортепиано с Малой золотой медалью.

[138] Э. К. Метнер закончил юридический факультет Московского университета в 1899 г., в последующие годы был адвокатом.

[139] Концерты под управлением Артура Никиша состоялись в Москве 1 и 4 апреля 1902 г. В ретроспективных записях, касающихся марта 1902 г., Белый отмечает: «Увлечение Никишем; встреча и первый разговор с Э. К. Метнером на репетиции Никиша, определивший будущую дружбу» (*РД*. Л. 14). Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 16 сентября 1902 г. о Белом: «В первый раз я виделся с ним на заседании Психологического общества в память Вл. Соловьева. Это было мимолетно. Нынешнею весною Алеша ⟨А. С. Петровский. — *Ред.*⟩ затащил его ко мне, после того как узнал, что мы быстро сошлись на репетиции концерта Никиша ⟨...⟩» (РГБ. Ф. 167. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 50 об.—51).

[140] К роду Вельзунгов принадлежали Зигмунд и его сын Зигфрид, герои тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» (1852—1874). Вёльсунги (Вельзунге, *староеверн.* Völsungar) — в скандинавской мифологии род героев, которые вели происхождение от бога Одина: Сигмунд, его сыновья Хельги и Сигурд; название старинного рода, воспеваемого в средневековых германских героических сказаниях.

[141] Симфония № 6 (C-dur, 1818) Ф. Шуберта.

[142] Контаминация сокращенных цитат из статьи «Маска» (1904 // *Арабески*. С. 131, 133—134).

[143] «Симфония (2-я, драматическая)» Андрея Белого вышла в свет в апреле 1902 г.

[144] Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 16 сентября 1902 г.: «...вышла в свет книжка А. Белого „Симфония", которую я начал читать, не зная, что она принадлежит перу Бугаева, но среди чтения догадался, кто автор. Я ответил на визит, и мы сблизились еще больше» (РГБ. Ф. 167. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 51).

[145] Имеется в виду интермедия в сцене костюмированного бала из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (1890) — действие 2-е, картина 1-я (либретто М. И. Чайковского).

[146] Видимо, подразумевается 4-я симфония П. И. Чайковского (f-moll, ор. 36, 1877).

[147] Образы из «Кольца нибелунга» Вагнера. Нотунг — выкованный Зигфридом меч, которым он убивает Фафнера (3-я часть тетралогии — «Зигфрид»).

[148] Вольфинги — род, к которому принадлежал Дитрих Бернский, герой немецкого национального эпоса, представленный в длинном ряду средневерхненемецких поэм. Вольфы (фон Вольфы) — баронский остзейский род, восходящий к средневековью. Вельфы — немецкий княжеский род, в VIII—IX вв. имевший обширные владения в Швабии и Бургундии, в XII в. получивший герцогства Баварию и Саксонию. Гвельфы — политическая партия в Италии (XII—XV вв.), получившая название от Вельфов, герцогов Баварии и Саксонии, соперников династии Гогенштауфенов, объединяла противников Священной Римской империи. Им противостояли гибеллины — сторонники Империи. Гогенштауфены — династия германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138—1254 гг., в 1197—1268 гг. также короли Сицилийского королевства.

[149] Один из ключевых эпизодов «Кольца нибелунга» («Зигфрид»): убив Фафнера, Зигфрид освобождает Брунгильду, спящую на вершине скалы за огненной стеной.

[150] В «Песни о нибелунгах» (начало XIII в.) Этцель (Атли — исторический властитель гуннов Аттила) — второй супруг Кримхильды, вдовы Зигфрида.

[151] Критическое отношение к творчеству Ф. Листа, в котором Метнер видел чуждые подлинно немецкой музыке черты — мефистофелевское начало, самоценную виртуозность, — он обосновал в статье «Лист» (Труды и дни. 1912. № 1).

[152] Под этим псевдонимом Э. К. Метнер стал выступать как музыкальный критик в 1906 г. в журнале «Золотое руно». Ср. дневниковую запись Метнера от 1 февраля 1906 г.: «В № 1 „Золотого Руна" от 1906 года помещена моя заметка об операх Рахманинова за подписью Вольфинг. Этот псевдоним мне дал Борис Николаевич» (РГБ. Ф. 167. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 199).

[153] Имеется в виду кн.: *Вольфинг.* Модернизм и музыка. Статьи критические и полемические (1907—1910). Приложения (1911). М.: Мусагет, 1912.

[154] Оценку «Симфонии (2-й, драматической)» Метнер дал в статье «Симфонии Андрея Белого» (Приднепровский край. 1903. № 2023, 2024, 15 и 16 декабря. Подпись: Э.). См.: Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников: Антология. СПб., 2004. С. 39—53.

[155] См. примеч. 39 к гл. 4-й.

[156] Неточная цитата из части 2-й «Симфонии (2-й, драматической)» (*Симфонии.* С. 133).

[157] Первое письмо Э. К. Метнера к Белому — из Немчиновки от 1 августа 1902 г. (РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 1), ответное письмо Белого — от 7 августа 1902 г. (Там же. Карт. 1. Ед. хр. 1).

[158] Имеется в виду соната для фортепиано f-moll Н. К. Метнера (ор. 5, 1902—1903); первое исполнение ее состоялось 2 ноября 1904 г. в Малом зале Российского благородного собрания (см. комментарии З. А. Апетян в кн.: *Метнер Н. К.* Письма. С. 41—45).

[159] Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 16 сентября 1902 г.: «Коля ⟨...⟩ сочинил за это время ⟨...⟩ сонату, в которой вторая тема первой части является основным мотивом „Симфонии" Бугаева. Это есть радость страшная и уютная в одно время, общая и интимная... Когда в позапрошлый раз Коля начал играть при Бугаеве эту сонату, я, все лето промучавшийся аналогией между обеими темами, наблюдал за Бугаевым... После первого появления этой темы он задумался, но, когда ей пришел черед явиться снова, он вскочил и взглянул на меня с таким ужасом, как будто он увидел двойника... Удивлению и восхищению его не было конца... Бугаев говорил, что ему многое выяснилось в „Симфонии" благодаря этому мотиву...» (РГБ. Ф. 167. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 52 об.—53).

[160] Подразумеваются идейное размежевание с Вагнером, провозглашенное Ницше в его очерке «Казус Вагнер. Проблема музыканта» («Der Fall Wagners. Ein Musikanten Problem», 1888), и его же книга «Антихрист» («Der Antichrist», 1894).

[161] Цитата из стихотворения «Э. К. Метнеру (Письмо)» («Старинный друг, моя судьбина...», 1909 // *СП — 1.* С. 355).

[162] Ср. запись Метнера от 2 января 1903 г.: «...я был обвенчан в 11 ч. утра 23 октября 1902 года. Шаферами были Борис Бугаев и Алексей Петровский, Коля и оба брата Анюты ⟨...⟩ Бугаев и Петровский были восхищены Анютою и всячески старались...» (РГБ. Ф. 167. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 57—57 об.).

[163] 1 августа 1902 г. Метнер сообщал А. С. Петровскому: «Назначен я в Нижний Новгород отдельным (т. е. единственным) цензором» (РГБ. Ф. 167. Карт. 16. Ед. хр. 6). На постоянное жительство в Нижний Новгород Метнер уехал из Москвы в конце 1902 г.

[164] Под этим заглавием сформирован цикл из пяти стихотворений (1903 // *СП — 1.* С. 137—140).

[165] «Старинный друг» цитируется по переработанной редакции, опубликованной в книге Андрея Белого «Стихотворения» (Берлин; Пб.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1923). См.: *СП — 2.* С. 405—407.

[166] Книги «Размышления о Гёте. Кн. 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» Э. К. Метнера (М.: Мусагет, 1914) и полемическая по отношению к ней «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том „Размышлений о Гете"» Белого (М.: Духовное знание, 1917).

[167] «Старинный друг», переработанная редакция (*СП — 2.* С. 406).

[168] Белый выехал к Метнеру в Нижний Новгород 17 марта 1904 г., возвратился в Москву в начале апреля.

[169] Религиозно-мистические сочинения А. Н. Шмидт были опубликованы С. Н. Булгаковым в отдельном издании: Из рукописей Анны Николаевны Шмидт: О Будущности. Третий Завет. Из дневника. Письма и пр. / С письмами к ней Вл. Соловьева. ⟨М.: Путь⟩, 1916; см. также: *Шмидт Анна.* Третий Завет. СПб., 1993. 3 января 1903 г. Э. К. Метнер писал Белому из Нижнего Новгорода: «Я забыл спросить Вас, ⟨...⟩ переписывается ли Мих⟨аил⟩ Серг⟨еевич⟩ Соловьев со здешнею сивиллою Шмидт; дело в том, что ⟨...⟩ Шмидт соби-

рается ко мне ввиду того, что ей из Москвы сообщено, будто я мистик... Признаться, эстетично я боюсь этого посещения» (РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 9).

[170] С должности нижегородского цензора Метнер уволился в марте 1906 г. 1 февраля 1906 г. он записал: «Те два-три месяца, которые я здесь пробуду, суть не иное что, как длинная *coda* трехлетней симфонии моего цензорства. Исключительно материальные соображения вынуждают меня не швырять отставки в лицо одному из самых гнусных правительств, которое когда-либо стояло во главе народов» (РГБ. Ф. 167. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 181 об.—182).

[171] См. примеч. 26 к гл. 7-й.

[172] Goethe-Gesellschaft — литературно-исследовательское общество по изучению Гёте, основанное в Веймаре в 1885 г.

[173] Эйленшпигель (Уленшпигель; *нем.* Eule — сова, Spiegel — зеркало) — герой немецких народных юмористических рассказов (народная книга о Тиле Уленшпигеле, ок. 1450). См.: Прекрасная Магеллона; Фортунат; Тиль Уленшпигель / Изд. подгот. Н. А. Москалева, Б. И. Пуришев, Р. В. Френкель. М., 1986 («Литературные памятники»). Кобольд — один из духов в низшей германской мифологии, особый вид эльфов или альвов. Нибелунги (дети тумана) — в германской мифологии род карликов, владельцев сокровища.

[174] Нибелунги Миме и Альберих — персонажи тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга». Миме гибнет от руки Зигфрида («Зигфрид», действие 2-е); по наущению Альбериха его сын Хаген убивает Зигфрида («Гибель богов», действие 3-е).

[175] Романы Гёте «Страдания молодого Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers», 1774) и «Избирательное сродство» («Die Wahlverwandschaften», 1809).

[176] Первую «встречу с Асей и Наташей Тургеневыми» Белый относит к ноябрю 1905 г. (*РД.* Л. 31).

[177] Подразумевается Леонардо да Винчи.

[178] Здесь в автографе было указано оригинальное заглавие одного из двух вокальных циклов Ф. Шуберта на стихи Вильгельма Мюллера — «Die schöne Müllerin» («Прекрасная мельничиха»; ор. 25, 1823) или «Die Winterreise» («Зимний путь»; ор. 89, 1827). Ср.: *НВ.* С. 426.

[179] Слова Марфы в сцене гадания Марфы (опера М. П. Мусоргского «Хованщина», 1886; действие 2-е).

[180] Песня из цикла Мусоргского «Песни и пляски смерти» (1875—1877; слова А. А. Голенищева-Кутузова).

[181] Ветилуя — родной город Юдифи (Юдифь IV, 6; VI, 10). Для Белого, видимо, он ассоциируется со строками из стихотворения А. С. Пушкина «Когда владыка ассирийский...» (1835): «Стоит, белеясь, Ветилуя // В недостижимой вышине».

[182] См. примеч. 203 к гл. 4-й.

[183] Неточная цитата из статьи «Окно в будущее» (1904).

[184] Подразумевается восходящее к Тациту («Анналы», XVI, 18) определение Гая Петрония: «arbiter elegantiae» (*лат.*) — арбитр изящного; законодатель общественных вкусов.

[185] «Зогар» («Зохар») — написанная на арамейском языке книга каббалистических трактатов; наряду с «Сефер Ецирой» — старейший кодекс еврейских эзотерических религиозных доктрин; предание приписывает его авторство раввину Шимону бен Йохаи (I в.), однако бо́льшая часть текстов не старше 1280 г., когда он был отредактирован и издан Моше (Мозесом) де Лионом из Гвадалахары (Испания). См.: *Раби Шимон*. Фрагменты из книги Зогар / Пер. с арамейского, коммент. и приложения к текстам М. А. Кравцова. М., 1994.

[186] См.: *D'Alheim Pierre*. La passion de maître François Villon. Paris, 1892; 2 éd.: 1900. В 1892 г. под редакцией д'Альгейма вышло в свет издание сочинений Вийона.

[187] См. выше, примеч. 45, 147.

[188] Э. К. Метнер проживал по адресу: Малый Гнездниковский пер., дом Пегова (№ 10). Адрес М. А. Олениной-д'Альгейм и П. д'Альгейма: угол Тверской и Малого Гнездниковского, дом Смирнова.

[189] Название восстановлено по тексту, следуемому ниже.

[190] Параллель с живописными экспериментами Паоло Учелло восходит, по всей вероятности, к статье М. Волошина «Устремления новой французской живописи» (Золотое руно. 1908. № 7/9), в свою очередь заимствовавшего рассказ о флорентийском художнике у Марселя Швоба (см.: *Волошин Максимилиан*. Собр. соч. Т. 5. М., 2007. С. 48—51, 669).

[191] Сокращенная цитата (*Арабески*. С. 145).

[192] Вписано рукой Белого: «Э бьэн?» («Хорошо?» — *фр.*).

[193] Белый и А. Тургенева жили в Буа-ле-Руа в июне 1912 г.

[194] Г-жа Мак-Миш, пятидесятилетняя вдова, жившая в шотландском городке, — тетушка главного героя детской повести «Добрый маленький чертенок» («Un bon petit diable», 1865) французской писательницы русского происхождения графини Софьи Федоровны Сегюр (Ségur). См.: Добрый маленький чертенок. Повесть для детей графини Сегюр, урожд. Ростопчиной / Пер. с фр. под ред. С. И. Ярославцева. СПб.; М.: Изд. т-ва М. О. Вольф, ⟨1908⟩.

[195] Вероятно, здесь было указано заглавие одного из наиболее известных произведений Вилье де Лиль-Адана «Contes cruels» («Жестокие рассказы», 1883).

[196] В позднейших мемуарах Белый упоминает осуществленный д'Альгеймом «перевод драмы „Рама" индусского поэта Бавабути» (*НВ*. С. 427). Из трех пьес классика санскритской драматургии Бхавабхути (VIII—IX вв.) две разрабатывают сюжет героического эпоса «Рамаяна» — «Махавирачарита» («Жизнь великого героя») и «Уттарарамачарита» («Последующая жизнь Рамы»). См.: Bhavabhūti. Le drame sacré de l'Inde Rama / Œuvre du grand poète le divin Bhavabhūti intitulé: Le dénouement de l'histoire de Rama mis en française par Pierre d'Alheim. Bois-le-Roi, 1906.

[197] «Лорелея» («Lorelei») — романс Ф. Листа на текст стихотворения Г. Гейне (1-я ред.: 1841, 2-я: 1855).

[198] См.: *Андрей Белый*. Символизм. Публичная лекция, читанная в Москве 21 ноября в «Доме Песни» // Весы. 1908. № 12. С. 36—41. Это, однако, текст следующего выступления Белого в «Доме песни»; в данном же случае подразуме-

вается выступление 6 ноября 1908 г., с которым соотносится статья «Песнь жизни», впервые опубликованная в «Арабесках».

199 Контаминация сокращенных цитат из статьи «Песнь жизни» (1908; *Арабески*. С. 56—59).

200 В позднейших мемуарах (главка «Д'Альгейм»): «...сделаны по специальным рисункам трибуны „дэмисиркюлэр"» (*НВ*. С. 435). Demi-cercle (*фр.*) — полукруг.

201 Там же: «Довольны теперь? Сэ шарман: са ира?» (*НВ*. С. 435).

202 Двухчастная лекция Белого в «Доме песни» («I. Песня и современность. II. Жизнь песни») состоялась 6 ноября 1908 г.

203 Имеется в виду четвертый вечер «Дома песни» (21 ноября 1908 г.), объявленный как «беседа с музыкальной частью» на тему «Символизм» (участники — В. Я. Брюсов, Андрей Белый, С. В. Лурье, Г. А. Рачинский): «В течение беседы М. Олениной-д'Альгейм будут исполнены песни Шуберта, Шумана, Листа, Вольфа и Мусоргского. Аккомпанирует Л. Э. Конюс» (Русские ведомости. 1908. № 269, 19 ноября. С. 1).

204 «Атлас» («Der Atlas») — песня Ф. Шуберта (ор. 89, 1827) на текст одноименного стихотворения Г. Гейне.

205 Имеется в виду «Der Schatzgräber» (в переводе Белого: «Вырыватель кладов» // *НВ*. С. 436) — песня Ф. Шуберта (1815) на текст одноименного стихотворения Гёте («Кладоискатель»).

206 Согласно газетному отчету о четвертом вечере «Дома песни», «это была собственно не беседа, а четыре доклада, из которых последний — г. Брюсова — дал вместе с тем импровизированное критическое резюме первых трех» (Русские ведомости. 1908. № 273, 25 ноября. С. 5. Подпись: *Ю. Э.* ⟨Ю. Д. Энгель⟩).

207 Имеется в виду Дез Эссент, герой романа Жориса-Карла Гюисманса «Наоборот» («À rebours», 1884), характернейший выразитель декадентского мироощущения.

208 Хаген — персонаж 4-й части («Гибель богов») тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга»; сын нибелунга Альбериха, поражающий Зигфрида ударом копья в спину.

209 Логэ (Логе) — персонаж 1-й части («Золото Рейна») «Кольца нибелунга», непостоянный и двуличный бог. Его аналог в скандинавской мифологии — Локи; стихотворение Брюсова «Бальдеру Локи» (см. примеч. 220 к гл. 4-й) представляет собой монолог Локи, с кем в данном случае идентифицирует себя автор.

210 Бог Вотан — персонаж «Кольца нибелунга». В третьей части тетралогии («Зигфрид») выступает в обличье Странника.

211 Подразумевается Николай Васильевич Самсонов (?—1921) — философ-неокантианец, последователь Т. Липпса; доцент Московского университета по кафедре философии в 1907—1909 гг., вел курс по истории послекантовских эстетических учений. Ср. в позднейших мемуарах Белого: «...проповедовал ⟨...⟩ Самсонов — Липпса ⟨...⟩» (*МДР*. С. 272).

[212] Русское Музыкальное общество в Москве было открыто в 1860 г., симфонические концерты проходили в Колонном зале Дворянского (Благородного) собрания. Руководители: Н. Г. Рубинштейн (1860—1881), М. Эрмансдёрфер (1882—1889), В. И. Сафонов (1889—1905), М. М. Ипполитов-Иванов (1907—1917).

[213] Зигмунд и Зиглинда — герои 2-й части («Валькирия») тетралогии «Кольцо нибелунга», родители Зигфрида.

[214] А. М. Кожебаткин был секретарем издательства «Мусагет» со времени его основания в 1909 г. до 1911 г. О его взаимоотношениях с Белым см.: «Кожебак!.. Да ведь это хуже, чем Гусак!!!» Письма Андрея Белого к А. М. Кожебаткину / Предисл., публ. и коммент. Джона Малмстада // Лица: Биографический альманах. Вып. 10. СПб., 2004. С. 127—176.

[215] В 1920—1921 гг. Кожебаткин был товарищем председателя Русского общества друзей книги. См.: *Берков П. Н.* История советского библиофильства (1917—1967). М., 1983. С. 120—121.

[216] Московский Психологический институт был основан Г. И. Челпановым в 1912 г., Челпанов был и его директором.

[217] Во время своего пребывания в Москве с 23 октября до начала ноября 1911 г. Анри Матисс жил в особняке С. И. Щукина в Знаменском переулке. Картины Матисса Щукин начал приобретать еще в 1904 г., к 1911 г. в его собрании насчитывалось 25 работ Матисса. См.: *Гриц Т., Харджиев Н.* Матисс в Москве // Матисс: Сб. статей о творчестве. М., 1958. С. 96—119; *Русаков Ю. А.* Матисс в России осенью 1911 года // Труды Государственного Эрмитажа. XIV. Л., 1973. С. 167—184; то же в кн.: *Русаков Ю. А.* Избранные искусствоведческие труды. СПб., 2000. С. 57—88.

[218] Матисс присутствовал на заседании Общества Свободной Эстетики 27 октября 1911 г., которое было посвящено докладу Ф. А. Степуна «О философии пейзажа». В отчете об этом заседании сообщается: «Собрание посетил Анри Матис, которого В. Я. Брюсов приветствовал от лица Общества. Несколько вопросов, предложенных А. Матису А. Белым, вызвали собеседование о современных задачах живописи. В беседе приняли участие: Н. В. Баснин, А. Белый, А. Б. Вайнштейн и А. Матис» (РГБ. Ф. 386. Карт. 114. Ед. хр. 36). В хроникальной заметке «Матисс в Москве. В кружке вольных эстетов», помещенной в «Утре России» 28 октября, раскрывалось содержание этой беседы: «А. Белый предложил Матиссу высказаться по вопросу о соотношении рисунка и цвета в живописи, что поставило Матисса в некоторое затруднение ввиду слишком широких размеров предложенного вопроса. 〈...〉 Матисс высказался горячо за неизбежность „рисунка" в живописи. Передавать, вернее, записывать исключительно цвет можно в этюдах. Но без рисунка художественное произведение неполно, несовершенно» (*Русаков Ю. А.* Матисс в России осенью 1911 года. С. 178).

[219] И. С. Щукин был студентом Марбургского университета в летнем семестре 1906 г., брал в Марбурге у Б. А. Фохта частные уроки философии, но в дальнейшем избрал поприще искусствоведа и археолога. См.: *Дмитриева Нина.* Рус-

ское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. М., 2007. С. 168, 171.

[220] Г. Г. Шпет, родившийся в Киеве и окончивший историко-филологический факультет Киевского университета, переехал в Москву в 1907 г. Г. И. Челпанов, бывший профессором психологии и философии Киевского университета в 1892—1906 гг., перевелся в Московский университет в 1907 г.

[221] Филолог-русист Артур Федорович Лютер был лектором в Московском университете в 1903—1914 гг., с 1918 г. заведовал предметным каталогом в Немецкой библиотеке (Deutsche Bücherei) в Лейпциге, по совместительству преподавал русский язык в лейпцигских учебных заведениях. См. о нем статью Г. Кратца в кн.: Немцы России. Энциклопедия. Т. 2. М., 2004. С. 364—366.

[222] См. примеч. 62 к гл. 7-й.

[223] Цитата из статьи «О театре» (1908 // *Блок VIII*. С. 12). Цитируемое Белым издание Собрания сочинений А. Блока было осуществлено в Берлине в 1923 г. (т. 1—5, 7, 9).

[224] Цитата из статьи «„Пробуждение весны"» (1907), представляющей собой отклик на постановку пьесы Франка Ведекинда «Пробуждение весны» В. Э. Мейерхольдом в Театре В. Ф. Коммиссаржевской (*Блок VII*. С. 101).

[225] Сокращенная цитата из статьи «„Пеллеас и Мелисанда"» (1907), представляющей собой отклик на указанную выше (примеч. 62 к гл. 7-й) постановку (*Блок VII*. С. 105).

[226] Сокращенная цитата из той же статьи (*Блок VII*. С. 104). Упомянуты статьи Белого «Символический театр. К гастролям Коммиссаржевской» (Утро России. 1907. № 1, 16 сентября) и «Символический театр. По поводу гастролей Коммиссаржевской» (Там же. № 11, 28 сентября). См.: *Арабески*. С. 299—313.

[227] Фигура одной из четырех сивилл на боковых частях потолочного свода Сикстинской капеллы в Ватикане (роспись Микеланджело, 1508—1512).

[228] См. выше, примеч. 8.

[229] Речь идет о боях в Москве в ходе большевистского переворота (27 октября—3 ноября 1917 г.). 4 ноября 1917 г. Белый писал А. А. Тургеневой: «...целую неделю мы, т. е. наш дом, был отрезан от мира, потому что невозможно было выходить. Наш тихий арбатский район оказался неожиданно одним из центров военных действий ⟨...⟩ с Арбатских домов, кажется, стреляли юнкера, с Трубниковского переулка наступали большевики и т. д. Загрохотали пушки, залетали снаряды, стены дрожали от грохота ⟨...⟩ осколок шрапнели, разбив стекла, пролетел на расстоянии не далее дюйма от маминого виска; с мамой сделалась истерика ⟨...⟩ кабинет мой прострелен; стекла разбиты; стоит адский холод; работать нет никакой возможности ⟨...⟩» (Europa Orientalis. 1989. № 8. С. 437. Публ. Джона Малмстада).

[230] Н. А. Бердяев поселился в Москве в 1908 г. по адресу: Мясницкая ул., Кривоколенный пер., дом Микини.

[231] Петр Амьенский, или Петр Пустынник, по преданиям, записанным у Альберта Ахенского и Вильгельма Тирского, был организатором и вдохновителем Первого Крестового похода (1095).

[232] Мерлин — восходящий к кельтскому фольклору образ чародея и прорицателя, широко известный в западноевропейской средневековой литературе: «Пророчества Мерлина» («Prophetiae Merlini», ок. 1135), «Жизнь Мерлина» («Vita Merlini», ок. 1150) Гальфрида Монмутского.

[233] «Московский еженедельник» — еженедельная общественно-политическая газета, выходившая с 1906 по 1910 г. (редактор-издатель — кн. Е. Н. Трубецкой). Издание субсидировалось М. К. Морозовой.

[234] «Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909) вызвал широчайший общественный резонанс (в 1909—1910 гг. вышло в свет пять его изданий). См.: Вехи: pro et contra. Антология / Изд. подгот. В. В. Сапов. СПб., 1998. С. 255—258. Белый приветствовал выход в свет «Вех» статьей «Правда о русской интеллигенции» (Весы. 1909. № 5. С. 65—68), перепечатанной в указанной антологии (С. 255—258).

[235] Пасхальный канон, песнь 9-я, ирмос.

[236] Ср. суждения Белого, высказанные им десятилетием ранее в библиографическом «Обзоре книгоиздательства „Скорпион"»: «Весь *круг чтения* современного читателя по западноевропейской литературе составлен по программе к⟨нигоиздательст⟩ва „*Скорпион*" ⟨...⟩ первые шаги к ознакомлению с предтечами символистов предприняты тем же „Скорпионом"» (РГБ. Ф. 190. Карт. 55. Ед. хр. 16. Л. 2, 5).

[237] «Образование» — научное издательство, основанное в Петербурге в 1909 г. и действовавшее до 1930 г.; выпустило более 200 монографий, серийных сборников и учебников, преимущественно по естественным наукам (см.: Каталог изданий ⟨Культурно-просветительного трудового товарищества «Образование»⟩ за 15 лет. 1909—1924. Л., 1925). «Польза. В. Антик и К°» — московское издательство (1906—1918), основанное В. М. Антиком и в 1915 г. реорганизованное в акционерное общество «Универсальная библиотека»; основная его издательская серия — «Универсальная библиотека», состоявшая из дешевых выпусков преимущественно современной мировой литературы, печатавшихся большими тиражами (всего вышло около 1300 выпусков; см.: Московский книгоиздатель В. М. Антик. Каталог изданий 1906—1918 / Сост. Л. В. Антик; ред. и вступ. ст. Л. И. Юниверга. М., 1993). «Светоч» — петербургское издательство, основанное С. А. Венгеровым (1906—1909, 1917—1919), выпускало «Библиотеку „Светоча"», состоявшую из нескольких серий; всего в «Библиотеке» вышло 126 изданий. Все указанные издательства были организованы значительно позже «Скорпиона».

[238] Три стихотворных пародии Вл. Соловьева на стихи символистов («Горизонты вертикальные...», «Над зеленым холмом...», «На небесах горят паникадила...») входят в состав его статьи «Еще о символистах», представляющей собой отклик на выход в свет сборника «Русские символисты. Лето 1895» (М., 1895) и опубликованной в «Вестнике Европы» (1895. № 10. С. 847—851. Подпись: *Вл. С.*). См.: *Соловьев.* С. 164—166.

[239] В переводах С. А. Полякова «Скорпионом» были изданы сборник рассказов К. Гамсуна «Сьеста» (М., 1900) и его же роман «Пан» (М., 1900). Первая книга была отпечатана тиражом 1800 экз., вторая — 2400 экз.

240 В издательстве «Скорпион» в переводах М. Н. Семенова были изданы роман Ст. Пшибышевского «Homo Sapiens» (М., 1903), а также тома Собрания сочинений Пшибышевского: том I («Homo Sapiens». М., 1904), том II («Pro domo mea», «De profundis», «У моря», «Сыны Земли» / Пер. М. Семенова, Е. Троповского, С. Полякова. М., 1905), том IV («Заупокойная месса», «В час чуда», «Город смерти», Поэмы в прозе / Пер. М. Семенова, Е. Троповского и др. М., 1906).

241 Имеются в виду: издательство В. М. Саблина, основанное в Москве в 1901 г. переводчиком Владимиром Михайловичем Саблиным (1872—1916) и ликвидированное в 1912 г.; выпускало преимущественно сочинения западноевропейских писателей (всего издано 320 книг; см.: Каталог изданий книгоиздательства В. М. Саблина. М., 1908); издательство С. А. Скирмунта, основанное в Москве в 1899 г. под названием «Труд» Сергеем Аполлоновичем Скирмунтом (1862—1932) и действовавшее до 1907 г.; выпускало социально-политическую и художественную литературу, в том числе массовые социал-демократические издания (см.: *Кваше Е. В.* Издательская и книготорговая деятельность С. А. Скирмунта // Книга: Исследования и материалы. Вып. 38. М., 1979. С. 118—132).

242 С. И. Шаршун в 1921—1923 гг. провел 15 месяцев в Берлине, где, в частности, общался с Белым; в 1921 г. напечатал брошюру «Слепой мозг. Перевод Дада» и поэму на французском языке «Foule Immobile» («Неподвижная толпа») с дадаистическими иллюстрациями; с 1913 г. выставлял свои кубистские, а позднее и абстрактно-геометрические картины. См.: *Кагарлицкая С. Я.* Андрей Белый и художники Русского зарубежья: Сергей Шаршун и Марианна Веревкина // Миры Андрея Белого. Белград; М., 2011. С. 812—820.

243 Ежемесячные «толстые» литературные журналы «Мир Божий» (СПб., 1892—1906; возобновлен под названием «Современный мир»), «Вестник Европы» (М., 1866—1918), «Образование» (СПб., 1892—1909) «Русская мысль» (М., 1880—1918), «Русское богатство» (СПб., 1876—1918).

244 Подразумевается переход Брюсова из «Весов», закончившихся изданием в 1909 г., в «Русскую мысль», где он с сентября 1910 г. заведовал литературно-критическим отделом.

245 «Заветы» — петербургский ежемесячный журнал (1912—1914), литературно-критическим отделом которого заведовал Иванов-Разумник, привлекший к сотрудничеству наряду с писателями традиционной ориентации модернистов, а также так называемых «новых реалистов».

246 Тестудо (*лат.* — черепаха, панцирь черепахи) здесь: у римских воинов деревянные щиты, обтянутые шкурами; щиты, составленные наподобие навеса для защиты при штурме вражеских укреплений; боевой порядок сомкнутыми рядами с прикрытием такими щитами.

247 В мемуарном очерке «„Весы" (Воспоминания сотрудника)» Б. А. Садовской уточняет: «Если встать перед огромным домом „Метрополь", то с левой стороны (где памятник первопечатнику), войдя со двора в первый подъезд направо, можно подняться на лифте в редакцию „Весов". Помнится, это пятый

этаж ⟨...⟩» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 18. Публ. Р. Л. Щербакова).

[248] См. примеч. 70 к гл. 4-й.

[249] Фасады «Метрополя» украшают майоликовые панно, центральное — «Принцесса Грёза», исполненное А. Я. Головиным по картине М. А. Врубеля на сюжет драмы Эдмона Ростана «La Princesse lointaine» (1895) — «Принцесса Грёза» в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.

[250] Василий Ардальонович (или Адрианович) Курников, служащий редакции издательства «Скорпион» и журнала «Весы».

[251] Цитируется текст посвящения книги К. Д. Бальмонта «Будем как Солнце»: «Моим друзьям ⟨...⟩ нежному, как мимоза, С. А. Полякову ⟨...⟩» (*Бальмонт К. Д.* Будем как Солнце. С. ⟨VI⟩).

[252] См. примеч. 144 к гл. 6-й. Видимо, здесь Белый указывает названия тех изданий, которые значатся как «внешние образцы» для «Весов» в редакционной декларации «К читателям»: «...английский „Athenaeum", французский „Mercure de France", немецкое „Litterarische Echo", итальянский „Marzocco"» (Весы. 1904. № 1. С. ⟨III⟩).

[253] Работами Одилона Редона были иллюстрированы № 4 и 5 «Весов» за 1904 г. Связь между французским художником и редакцией «Весов» организовал М. А. Волошин, который в упомянутом № 4 «Весов» поместил свою статью «Одилон Рэдон» и подборку отзывов «Современники о Рэдоне».

[254] Белый, видимо, подразумевает греческого поэта Мильзиаде Малакасиса (1870—1943). Рецензия М. Ф. Ликиардопуло на книгу Малакасиса «Часы» (Μ. Μαλαχαση. Ωρες. Ποίματα. Αφηναι, 1903) была опубликована в «Весах» в 1904 г. (№ 2. С. 64—65. Подпись: *М. Л—о*).

[255] М. Ф. Ликиардопуло стал секретарем «Весов» в 1906 г.; играл в издании журнала особенно активную роль в 1907—1909 гг. См. о нем: *Азадовский К. М., Максимов Д. Е.* Брюсов и «Весы». (К истории издания) // *ЛН*. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 282—283; М. Ф. Ликиардопуло. Письма М. А. Кузмину // Публ., подгот. текста, предисл. и примеч. Н. А. Богомолова // De Visu. 1993. № 5 (6). С. 5—11.

[256] Имеется в виду фельетон «Чающие от юродивого», подписанный псевдонимом «Поэт XIX столетия» (Речь. 1908. № 320, 29 декабря. С. 3), в котором подвергалась критике сочувственная оценка «Пепла» Белого, данная З. Н. Гиппиус (Антоном Крайним), а об авторе книги говорилось: «Сидит юродивенький, слюни пускает, а все в кружок вокруг него и слушают, ждут». См.: Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников. С. 120—122.

[257] Имеется в виду фельетон А. А. Измайлова «Литературное бильбокэ» (Биржевые ведомости. Веч. вып. 1909. № 11222, 22 июня. С. 3—4. Подпись: *А. Изм.*), в котором шла речь о «Весах» и печатавшемся там романе Белого «Серебряный голубь»; главные претензии критик предъявлял языку автора: «Это какой-то сплошной выверт, один бесконечный выкрутас, не то подделка под речь „сказителя", не то неудачное и безвкусное подражание своеобразной речи Мель-

никова»; приведя в обоснование своих оценок ряд цитат, Измайлов заключал: «Спаси, Господи, и помилуй всякого православного от такого языка! Занозишь свой собственный, прежде чем произнесешь такой набор намеренно несуразно разбросанных слов! Точно набирал наборщик в понедельник, с хорошего похмелья, и перепутал все слова шиворот навыворот!»

[258] См.: *Элиасберг А.* Современные немецкие поэты. II. Христиан Моргенштерн // Весы. 1907. № 9. С. 80—84.

[259] Статей, посвященных рассмотрению творчества Аркоса, в «Весах» не было напечатано, но его имя упоминалось в обзорных статьях Рене Гиля о современной французской литературе (Весы. 1908. № 1. С. 111—117; № 3. С. 112—118; 1909. № 1. С. 96—100).

[260] Жан Рене Аркос опубликовал в «Весах» статьи «Взгляд на французскую литературу в 1907 г.» (1908. № 2), «Несколько новых книг. Письмо из Парижа» (1908. № 9), «Осенний салон. Письмо из Парижа» (1908. № 11), «Анатоль Франс» (1909. № 6).

[261] См. приветственное письмо Белого «Сергею Александровичу Полякову в день двадцатипятилетия „Скорпиона" от старого „скорпионца"» (1925; Stanford Slavic Studies. 1987. Vol. 1. P. 95—100. Публ. Джона Е. Малмстада; Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 653—662. Предисл. и публ. Н. В. Котрелева). Многосторонняя деятельность Полякова в «Скорпионе» и «Весах» отражена в публикации его переписки с Брюсовым за 1899—1921 гг. (*ЛН*. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1994. Кн. 2. С. 5—136. Вступ. ст. и коммент. Н. В. Котрелева; публ. Н. В. Котрелева, Л. К. Кувановой и И. П. Якир).

[262] См. письмо Белого к С. А. Полякову от 21 декабря 1904 г., в котором выражалось намерение отказаться от писательской деятельности, и последовавшее за ним недатированное письмо к Полякову с извинениями: «...простите мне мое безумное письмо» (Stanford Slavic Studies. 1987. Vol. 1. P. 74—79. Публ. Джона Е. Малмстада).

[263] Под псевдонимом С. Ещбоев Поляков опубликовал в «Весах» в 1904 г. две рецензии (№ 1. С. 62—65; № 5. С. 55—56) и реферат одной из статей Реми де Гурмона (№ 4. С. 30—35).

[264] Начало дружбы Полякова и Балтрушайтиса относится к середине 1890-х гг., когда они оба были студентами физико-математического факультета Московского университета.

[265] См. выше, примеч. 131.

[266] Зигурд (Сигурд) — герой в скандинавской мифологии и эпосе, воспетый в «Старшей Эдде», «Младшей Эдде», «Саге о Вельсунгах» и других памятниках.

[267] Нордкап — мыс на острове Магерё в Норвегии; наиболее известный из крайних северных мысов Европы.

[268] Использовано имя покровителя Норвегии св. Олафа (995—1030) — короля, завершившего введение христианства в Норвегии («Сага об Олафе Святом» Снорри Стурлусона).

[269] Подразумеваются члены труппы Московского Художественного театра.

[270] Московский Литературно-художественный кружок; Клуб писателей, организованный в Москве в 1917 г.; «Книгоиздательство писателей в Москве» (1912—1923).

[271] Театральный отдел Наркомпроса (Белый был заведующим научно-теоретической секцией в нем в ноябре—декабре 1918 г.).

[272] Получив разрешение на выезд за границу в 1921 г., Белый 20 октября отправился из Москвы в Берлин через Ригу и Ковно, где в ожидании визы провел более трех недель (23 октября—15 ноября). 16 сентября 1920 г. Балтрушайтис был назначен руководителем специальной миссии Литвы, а 21 июня 1922 г. — чрезвычайным послом и полномочным министром Литвы в Советской России. См.: *Дауётите В.* Юргис Балтрушайтис. Вильнюс, 1983. С. 67—68; *Лауринавичюс Ч.* Юргис Балтрушайтис — дипломат надежды? // К 125-летию со дня рождения Юргиса Балтрушайтиса. К 80-летию литовской дипломатии: Доклады (Научные чтения. I. 30 мая 1998 г.). М., 1999. С. 7—13.

[273] Дом семьи Брюсовых — Цветной бульвар, 24. Брюсов жил в нем до сентября 1910 г.

[274] Сохранились наброски статьи Белого «Ex Deo nascimur», анализирующей образный строй поэзии Балтрушайтиса, опубликованные В. Кубилюсом и Д. Страукайте. См.: Literatūra ir kalba. XIII. Lietuvių poetikos tyrinėjimai. Vilnius, 1974. P. 426—448; *Лавров А. В.* Андрей Белый и Юргис Балтрушайтис // Лавров А. В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 216—218.

[275] С начала 1900-х гг. М. Н. Семенов бывал в России наездами, проводя основное время во Франции, Германии, Швейцарии, Италии (по преимуществу). Биография Семенова отражена в его мемуарной книге: *Семенов М. Н.* Вакх и Сирены / Сост., подгот. текста и пер., коммент. В. И. Кейдана; вступ. статьи В. И. Кейдана и Н. А. Богомолова. М., 2008.

[276] Следствием этого права Ликиардопуло на «авторизацию» (полученного от Роберта Росса, ведавшего литературными делами покойного писателя) явилось появление в «Весах» (1907. № 1) перевода неизданной «Флорентинской трагедии» О. Уайльда, выполненного им с рукописи (в соавторстве с А. А. Курсинским), а также других произведений Уайльда (или отрывков из них), не публиковавшихся ранее на языке оригинала. См.: *Павлова Т. В.* Оскар Уайльд в русской литературе (конец XIX—начало XX в.) // На рубеже XIX и XX веков. Из истории международных связей русской литературы: Сб. научных трудов. Л., 1991. С. 103—105.

[277] Настоящая фамилия Жана Мореаса приведена искаженно; правильно: Пападиамандопулос.

[278] Ликиардопуло был секретарем дирекции Московского Художественного театра в 1910—1917 гг.

[279] См. выше, примеч. 244. В «Русской мысли» Ю. И. Айхенвальд был театральным обозревателем и в 1907—1908 гг. — членом редакции.

[280] Брюсов вел переговоры о своем предполагаемом вхождении в редакцию «Русской мысли» с представителем редакции журнала С. В. Лурье в 1909 г.

281 Духи. Ср. в поэме Белого «Первое свидание»: «Меня онежили *уайт-розы*» (*СП — 2.* С. 32).

282 Ресторан «Альпийская роза» на Софийке (дом Туркестановой).

283 Обыгрываются евангельские образы сестер Марии и Марфы: Мария «села у ног Иисуса и слушала слово Его», «Марфа же заботилась о большом угощении» (Лк. X, 39—40).

284 Справку о последующей жизни Ликиардопуло Белый дал в позднейших мемуарах (*НВ.* С. 421).

285 *В машинописи*: весовской.

286 Газета «Столичное утро» (официальный редактор-издатель — С. Л. Кугульский, с № 56 — В. Павлов) издавалась в Москве с 30 мая по 19 октября 1907 г. (вышло 118 номеров); была приостановлена в административном порядке. Внося коррективы в характеристику этой газеты, данную Белым в позднейших мемуарах (*МДР.* С. 227), Н. Валентинов отмечает, что «Столичное утро» было не социал-демократической газетой, а лишь органом общедемократического направления (см.: *Валентинов Н.* Два года с символистами. Stanford, 1969. С. 23). Ср. пренебрежительный отзыв Белого о «Столичном утре» в письме к З. Н. Гиппиус, процитированном в примеч. 56 к гл. 7-й.

287 «Раннее утро» — московская ежедневная газета, выходившая в 1889—1918 гг. (редактор И. Я. Емельянченко).

288 Ежедневная московская газета «Утро России» выходила в 1907 г. и в 1909—1918 гг.

289 Т. е. Общество Свободной Эстетики.

290 Имеется в виду незаконченный портрет Брюсова работы М. А. Врубеля (уголь, сангина; 1906. Государственная Третьяковская галерея, Москва).

291 Подразумевается Тит Лабиен (ок. 100—45 до н. э.), римский политический деятель; в начале своей деятельности — военачальник и легат Цезаря.

292 Здесь неточность: последний год издания «Весов» (1909) был также последним годом издания другого московского ежемесячного символистского журнала — «Золотого руна».

293 «Московский еженедельник». См. выше, примеч. 233.

294 История переговоров, проходивших в конце 1908 г. между С. А. Поляковым и сотрудниками «Весов» об условиях дальнейшего продолжения издания журнала, изложена в статье К. М. Азадовского и Д. Е. Максимова «Брюсов и „Весы" (К истории издания)» (*ЛН.* Т. 85. Валерий Брюсов. С. 302—305). См. также переписку Полякова с Брюсовым за ноябрь—декабрь 1908 г. (*ЛН.* Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. С. 113—122).

295 Cœur de Jeanette — духи, выпущенные к Парижской выставке 1900 г.

296 См. примеч. 65 к гл. 4-й.

297 Стихотворение Блока («По вечерам над ресторанами...», 24 апреля 1906).

298 Имеется в виду литературный и театральный критик, историк Иван Иванович Иванов, в 1907—1913 гг. — директор Историко-филологического института в Нежине.

[299] Л. М. Лопатин был приват-доцентом Московского университета с 1885 по 1892 г.

[300] Белый поступил в московскую частную гимназию Л. И. Поливанова в сентябре 1891 г.

[301] В имении В. И. Танеева Демьяново (Клинский уезд Московской губернии) Белый с родителями провел первое лето в 1884 г., последнее — в 1891 г.

[302] См.: *Лопатин Л. М.* Положительные начала философии. Ч. 1—2. М., 1886—1891; 2-е изд.: М., 1911.

[303] Н. В. Бугаев скончался 29 мая 1903 г., похороны состоялись 31 мая в Новодевичьем монастыре.

[304] Вторично Белый поступил в Московский университет в 1904 г., год спустя после его окончания, — в июле подал заявление о принятии его на историко-филологический факультет.

[305] В работе философского семинара Л. М. Лопатина (по Лейбницу) Белый участвовал с осени 1904 г.

[306] О неприятии неокантианства старой философской профессурой Московского университета см.: *Дмитриева Нина.* Русское неокантианство: «Марбург» в России. С. 207—219.

[307] См. примеч. 28 к гл. 4-й. Предложение Флоренскому остаться в университете на кафедре математики исходило от Н. Е. Жуковского и Л. К. Лахтина. См.: Павел Флоренский. Каталог выставки. М., 1989. С. 9.

[308] Белый обыгрывает строки своего стихотворения «На горах» (1903): «В небеса запустил // ананасом» (*СП — 1.* С. 130).

[309] Вероятно, подразумевается книга: *Ихоров З.* Исповедь человека на рубеже XX века. М., 1904. Под тем же псевдонимом И. Х. Озеров позднее выпустил в свет еще две книги, выдержанные в сходной тематико-стилевой тональности, — «Записки самоубийцы» (М., 1911) и «Песни бездомного. (Фантазии в прозе)» (М., 1912).

[310] См.: *Жагадис.* Облака: Поэма. М.: Скорпион, 1905. Влияние «симфоний» Белого было отмечено рецензентами этой книги Л. Н. Войтоловским (Мир Божий. 1906. № 3. Отд. II. С. 96—97. Подпись: *Л. В.*) и Н. И. Петровской (Золотое руно. 1906. № 1. С. 144—145).

[311] В. Брюсов окончил историко-филологический факультет Московского университета в мае 1899 г., был удостоен диплома первой степени, но не был оставлен при университете. По заданию В. И. Герье (профессора всеобщей истории в Московском университете в 1868—1904 гг.) Брюсов подготовил рефераты о Тите Ливии и Жан-Жаке Руссо (см.: Письма из рабочих тетрадей (1893—1899) / Вступ. ст., публ. и коммент. С. И. Гиндина // *ЛН.* Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 620, 716, 740), но его отношения с профессором оставались напряженными (ср. дневниковую запись Брюсова от 7 октября 1896 г.: «Со студентами происходят горькие столкновения и еще более горькие с профессорами, особенно с Герье» // Там же. С. 709). О работе под руководством Герье Брюсов пишет в «Автобиографии»: «Проф.

Герье *заставил* меня изучить историю великой революции и внимательно вникнуть в вопросы древней римской историографии и в критику первой декады Ливия» (Русская литература XX века. 1890—1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова. СПб., 1914. Т. I. С. 108).

[312] Имеется в виду лекция Е. Н. Трубецкого «Мировая бессмыслица и мировой смысл», прочитанная в Московском Религиозно-философском обществе 27 января 1917 г.; по содержанию она соответствовала первой главе книги Трубецкого «Смысл жизни» (М., 1918).

[313] См. выше, примеч. 166. Под «нареканиями» подразумеваются выступления И. А. Ильина против Белого и в защиту Э. К. Метнера, относящиеся к февралю 1917 г. (см. переписку Ильина и Метнера в этой связи: РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 9; Карт. 16. Ед. хр. 14). Белый прояснил ситуацию в позднейших мемуарах: «...придравшися к книге, полемизировавшей с Метнером 〈...〉 И. А. Ильин разослал внезапно ряд писем (Булгакову, Гершензону и многим другим) с клеветой на меня; он и мне прислал копию; я же был в Петербурге 〈...〉 текст письма был передан Трубецкому, который стал между нами невольным третейским судьей; Трубецкой объяснил получателям писем, что он, ознакомившись с текстом книги моей, не нашел в ней ничего предосудительного» (*МДР*. С. 280). См.: *Гаврюшин Н. К.* В спорах об антропософии. Иван Ильин против Андрея Белого // Вопросы философии. 1995. № 7. С. 98—105.

[314] Эта сторона интересов Е. Н. Трубецкого нашла отражение в его книге «Умозрение в красках» (М., 1916).

[315] Имеется в виду книга Г. Риккерта (Rickert) «Das Eine, die Einheit und die Eins» (1912).

[316] Далее пропуск в тексте.

[317] Г. Шпет был автором труда «Проблема причинности у Юма и у Канта. Ответил ли Кант на сомнения Юма» (Киев, 1907).

[318] Белый относит начало своего тесного общения со Шпетом к декабрю 1907 г.: «Сближение со Шпеттом (переходим на «*ты*»; Шпетт сближается с Эллисом и Метнером)» (*РД*. Л. 42 об.). См. письма Белого к Г. Г. Шпету за 1916 и 1933 гг.: Начала. 1992. № 1. С. 63—65. Публ. М. Г. Шторх.

[319] Цитата из стихотворения Белого «Поединок» («Из дали грозной Тор воинственный...», 1903 // *СП — 1.* С. 127).

[320] Цикл Белого из шести стихотворений (1903 // *СП — 1.* С. 90—94).

[321] Заключительные строки 3-го стихотворения цикла «Вечный зов» (1903 // *СП — 1.* С. 87).

[322] Белый выступил с лекцией «О новом искусстве символизма» в декабре 1907 г. (см.: *Соболев А. В.* К истории Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева // Историко-философский ежегодник '92. М., 1994. С. 109). Ср. ретроспективную запись Белого о декабре 1907 г.: «Реферат мой в филос〈офском〉 кружке Морозовой на тему „*Философия Символизма*"; участвуют в прениях Е. Трубецкой, проф. Л. М. Лопатин, проф. Северцев, проф. Хвостов, Рачинский, Шпетт, Фохт, Совальский» (*РД*. Л. 42 об.).

[323] См.: 1 Цар. XVII, 23, 37—51.

[324] «Балладина» (1839) — стихотворная драма Юлиуша Словацкого на темы легендарной польской истории.

[325] Первые две строфы стихотворения «Премудрость» (1908 // *СП — 1.* С. 325). Неточная цитата.

[326] «Мой друг» («Уж с год таскается за мной...», 1908 // *СП — 1.* С. 326).

[327] Первая строфа стихотворения «Искуситель» (1908 // *СП — 1.* С. 328).

[328] «Я» («Далек твой путь: далек, суров...», декабрь 1907 // *СП — 1.* С. 335).

[329] Цитата из стихотворения «И я любил. И я изведал...» (30 марта 1908 // *Блок III.* С. 112).

[330] О взаимоотношениях Белого и Н. А. Бердяева см.: *Бойчук А. Г.* Андрей Белый и Николай Бердяев: К истории диалога // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1992. Т. 51. № 2. С. 18—35; Н. А. Бердяев. Письма Андрею Белому / Предисл., публ. и примеч. А. Г. Бойчука // De Visu. 1993. № 2 (3). С. 12—23.

[331] Аподиктический — несомненный, исключающий возможность противного. Ордонанс (*фр.* — ordonnance) — распоряжение верховной власти, указ, закон.

[332] *В машинописи*: с воззрением

[333] В книге «Философия свободы» (М.: Путь, 1911) Н. А. Бердяев называет Р. Штейнера «замечательнейшим современным теософом-оккультистом», но указывает на несоединимость его христианской теософии с христианским учением о воскресении и вечной жизни (*Бердяев Н. А.* Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 219—220).

[334] От *др.-греч.* δαιμονικός — сверхъестественный или божественный; исходящий от злого божества; одержимый нечистой силой.

[335] См.: *Бердяев Н.* Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М.: Изд. Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1916.

[336] Адам-Кадмон («Единый Сын божественного Отца») — имя, упоминаемое в книге «Зохар», одном из памятников каббалистической литературы, и используемое Е. П. Блаватской в «Тайной доктрине»; в мистической традиции иудаизма — абсолютное, довременное явление человеческой сущности. Интерпретируется Белым в комментариях к его сборнику статей «Символизм» (М., 1910. С. 494—495), на основе «Тайной доктрины» главным образом (см.: *Бурмистров К. Ю.* Каббала и русский символизм. К постановке вопроса // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. М., 2008. С. 244).

[337] Имеется в виду Вольная академия духовной культуры, организованная по инициативе Н. А. Бердяева и действовавшая в Москве в 1919—1922 гг. (дата официальной регистрации — 26 сентября 1919 г., ликвидации — 21 февраля 1923 г.). Белый участвовал в ее деятельности. См.: *Галушкин Александр.* После Бердяева: Вольная академия духовной культуры в 1922—1923 гг. // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник. 1997. СПб., 1997. С. 237—244.

[338] Образ ассирийского царя Асархадона (680—669 до н. э.) ассоциируется, скорее всего, со стихотворением В. Брюсова «Ассаргадон» («Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон...»): «Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон. // Владыки и вожди, вам говорю я: горе!» (*Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 144).

[339] Ошибочное утверждение. Из многочисленных древнерусских князей по имени Святослав лишь один, Святослав Всеволодович (1196—1252), ездил в 1250 г. в Орду, но там «был принят с честию» (Русский биографический словарь. Т. Сабанеев — Смыслов. СПб., 1904. С. 252. Статья Л. Куманина).

[340] На Сивцевом Вражке (современный адрес — дом 27) А. И. Герцен жил с 1843 по 1847 г.; с 1976 г. в этом доме — музей А. И. Герцена.

[341] «Возвышенной стыдливостью страданья» — исправленный Н. А. Некрасовым вариант заключительной строки стихотворения Ф. И. Тютчева «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров», 1830): «Божественной стыдливостью страданья».

[342] Имеется в виду статья Бердяева «Утонченная Фиваида (Религиозная драма Гюисманса)», впервые опубликованная в «Русской мысли» (1910. № 7) и перепечатанная как приложение к книге Бердяева «Философия свободы». См.: *Бердяев Н.* Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 344—365. Под фабулами, «подобными Честертоновым», подразумевается, скорее всего, сюжет романа Гилберта Кийта Честертона «Человек, который был Четвергом» («The Man, who was Thursday», 1908). См.: *Лавров А. В.* Андрей Белый между Конрадом и Честертоном // Лавров А. В. Андрей Белый. Разыскания и этюды. М., 2007. С. 188—197.

[343] «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» — стих из поэмы В. К. Тредиаковского «Тилемахида» (т. II, кн. XVIII, ст. 514), изданной в 1766 г.; приобрел известность как эпиграф к «Путешествию из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. См.: *Николаев С. И.* «Чудище обло...» // Русская судьба крылатых слов. СПб., 2010. С. 423—433; *Костин А. А.* «Чудище... лаяй». Из дополнений к истории крылатого выражения // Русская литература. 2013. № 3. С. 111—120.

[344] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

[345] Предпарламент — Временный Совет Российской республики, представительный орган Всероссийского демократического совещания. В начале октября 1917 г. Бердяев работал там в комиссии по национальным вопросам.

[346] Имеется в виду эпизод, относящийся к Февральской революции в Москве: 28 февраля 1917 г. Бердяев агитировал войска, собранные в Манеже, не стрелять в народ. Об этом рассказывает Е. Ю. Рапп в примечаниях к книге Бердяева «Самопознание (Опыт философской автобиографии)» (1949): «Мы ожидали, что вот-вот грянет залп. В этом момент я обернулась, чтобы что-то сказать Н. А. Его не было, он исчез. Позже мы узнали, что он пробрался сквозь толпу к войскам и произнес речь, призывая солдат не стрелять в толпу, не проливать крови... Войска не стреляли. До сих пор мне кажется чудом, что здесь же на месте он не был расстрелян командующим офицером» (*Бердяев Н. А.* Самопознание. Л., 1991. С. 222).

[347] Возможно, подразумевается статья Бердяева «Мережковский о революции» (Московский еженедельник. 1908. № 25, 25 июня. С. 3—19), вошед-

шая в книгу: *Бердяев Н.* Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910. С. 102—119.

[348] Младшая сестра Л. Ю. Бердяевой — Евгения Юдифовна Рапп (урожд. Трушева; 1875—1961), жила вместе с Бердяевыми с 1914 г.

[349] Подразумевается зима 1907/1908 г. Деловое общение Белого и М. О. Гершензона началось ранее: еще 27 марта 1907 г. Гершензон обратился к Белому с письмом на бланке «Критического обозрения», в котором просил его «написать небольшой (в 1—1 $^{1}/_{2}$ печ. стр.) отзыв о „Посолони" А. М. Ремизова для „Крит⟨ического⟩ об⟨озрения⟩", которое будет выходить в Москве с апреля сего года» (Переписка Андрея Белого и М. О. Гершензона / Вступ. ст., публ. и коммент. А. В. Лаврова и Джона Мальмстада // In memoriam: Исторический сборник памяти А. И. Добкина. СПб.; Париж, 2000. С. 245—246). Рецензия Белого на книгу Ремизова «Посолонь» (М., 1907) появилась в 1-м выпуске «Критического обозрения» в 1907 г. (с. 34—36).

[350] Московский критико-библиографический журнал «Критическое обозрение» выходил в 1907—1909 гг.; официальный редактор-издатель — Е. Н. Орлова.

[351] См. выше, примеч. 232.

[352] *В машинописи*: отсюда, *исправлено по смыслу*.

[353] Красный Лев в алхимии символизирует мужской принцип (сера); философский камень, жизненный эликсир, панацея, красная тинктура.

[354] *В машинописи*: открывшего

[355] Инкунабулы (от *лат.* incunabula — пеленки, колыбель) — книги раннего, «колыбельного» периода книгопечатания; условно — книги, изданные от первых опытов И. Гутенберга (40-е гг. XV в.) по 1 января 1501 г.

[356] Быт. I, 22, IX, 7: «плодитесь и размножайтесь».

[357] «Черный квадрат» и «Красный квадрат» — картины К. С. Малевича, принадлежавшие к серии его супрематических работ, впервые показанной в декабре 1915 г. на «Последней футуристической выставке» в Петрограде и экспонировавшейся также в Москве на выставке «Бубнового валета» (ноябрь—декабрь 1917 г.).

[358] Рюбецаль — в германской низшей мифологии горный дух, воплощение горной непогоды и обвалов.

[359] См. выше, примеч. 41.

[360] Адрес Г. А. Рачинского: Садовая-Кудринская, дом Найденовой. См.: *Малмстад Джон.* Андрей Белый и Г. А. Рачинский // Russian Literature LVIII—I/II (2005). С. 127—147.

[361] Пс. CX (CIX), 4: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Ср.: Евр. V, 10; VI, 20.

[362] Г. А. Рачинский был делопроизводителем и секретарем Московского губернского правления в 1889—1907 гг., надворным советником. В. Ф. Джунковский свидетельствует: «Как с советником я расстался с Рачинским без сожаления, так как он совершенно не подходил к этой должности и дело у него весьма страдало, но как человек это был благороднейший и честней-

ший, очень умный и весьма образованный, начитанный» (*Джунковский В. Ф.* Воспоминания / Под общ. ред. А. Л. Паниной. В 2 т. М., ⟨1997⟩. Т. 1. С. 204).

[363] См. выше, примеч. 54. Лев Андреевич Баратынский был московским вице-губернатором в 1890—1902 гг.

[364] С. С. Перфильев был старшим советником Московского губернского правления. После его гибели во время пожара в подмосковном имении Рачинский писал о нем В. Ф. Джунковскому (6 февраля 1907 г.): «Степа Перфильев был в общем малый хороший и по-своему благородный и честный, но невыносим, как старая дева, обидчив и несчастен в семейной и личной жизни. Он терзал и мучил меня, искренно полагая, что уважает и понимает меня. ⟨...⟩ Христос зачтет ему и страдания, и мученическую смерть» (приведено в кн.: *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 1. С. 205).

[365] Яков Исаевич Мазэ (Мазе) — московский общественный раввин, журналист, основатель Общества любителей древнееврейского языка и письменности. См.: *Марголин М.* Яков Исаевич Мазе. 1860—1925. (Вместо некролога) // Еврейская летопись. Сб. 4. Л.; М., 1926. С. 192—194.

[366] Г. А. Рачинский состоял председателем Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева в Москве. Ср. суждение С. Н. Булгакова в письме к А. С. Глинке от 13 декабря 1907 г.: «Председателем Религиозно-философского общества согласился быть Рачинский, пока это служит к общему удовольствию и всех устраивает ⟨...⟩» (Взыскующие града: Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках... / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. И. Кейдана. М., 1997. С. 157).

[367] М. К. Морозова.

[368] «Неофитами» Белый называет Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова, бывших в числе инициаторов и учредителей Московского Религиозно-философского общества, в аспекте их идейного генезиса (оба проделали эволюцию «от марксизма к идеализму»).

[369] Сергей Михайлович Соловьев (1820—1879) — историк, ректор Московского университета в 1871—1877 гг., академик; автор «Истории России с древнейших времен» (Т. 1—29, 1851—1879).

[370] Ю. А. Сидоров умер в Калуге 21 января 1909 г. от дифтерита.

[371] См. примеч. 120 к гл. 5-й.

[372] Урим и Туммим (*др.-евр.* — «светы и совершенства», «явление и истина» или «свет и правда») — особое украшение, преимущество священника, которым он превознесен от Бога (Исх. XXVIII, 15, 17, 21, 30; Лев. VIII, 8).

[373] В результате обвинений «в ряде действий, явно предосудительных», выдвинутых против него Советом Религиозно-философского общества в Москве в ноябре 1908 г. (рождение внебрачных дочерей и присвоение денег из кассы журнала «Век»; см.: *Чертков С. В.* Писатель-проповедник // Свенцицкий В. П., прот. Собр. соч.: Второе распятие Христа. Антихрист. Повести и рассказы. 1901—1917. М., 2008. С. 634), Свенцицкий вышел из состава членов Общества. Ср. запись о Свенцицком В. В. Розанова: «...призывал к покаянию и аске-

тизму и завел гарем в Москве» (Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. 1. Ч. 98. Публ. А. В. Ломоносова).

[374] С. Н. Булгаков родился в городе Ливны Орловской губернии, в 1885—1888 гг. учился в Орловской духовной семинарии.

[375] Пустынь преподобного Зосимы Соловецкого — небольшой монастырь неподалеку от станции Арсаки Ярославской железной дороги, бывший одним из центров духовного «старчества».

[376] Обыгрывается заглавие сборника «Проблемы идеализма» (издание Московского Психологического общества), вышедшего в 1902 г.; он представлял собой коллективный манифест «новых идеалистов» (статьи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева, С. Л. Франка и др.). Новейшее переиздание в серии «Исследования по истории русской мысли»: М.: Модест Колеров, Три квадрата, 2002 (подготовка текста Н. В. Самовер).

[377] Петербургский журнал «Вопросы жизни» (редактор Н. О. Лосский, издатель Д. Е. Жуковский), издававшийся в 1905 г., представлял собой продукт воссоединения руководителей прекратившегося в 1904 г. «Нового Пути» с «идеалистами», которые в формировании идейной платформы издания играли доминирующую роль. См.: примеч. 296 к гл. 4-й, а также: *Колеров М. А.* Не мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 63—104; *Колеров М.* «Вопросы жизни»: История и содержание // Логос. 1991. Вып. 2. С. 264—283.

[378] Цитата из херувимской песни («Иже херувимы...»).

[379] Ин. I, 1.

[380] Речь идет об А. С. Петровском, жившим вместе с П. А. Флоренским в пору обучения в Московской Духовной академии.

[381] См. выше, примеч. 373. Ср. письмо С. Н. Булгакова к А. С. Глинке от 12 декабря 1908 г.: «Св⟨енцицкий⟩ сбежал, как и надо было ожидать, теперь прячется, уже прислал ругательное письмо Ш⟨еру⟩ — я считаю возможными и дальнейшие выпады. ⟨...⟩ На будущей неделе будет у нас годовое собрание, не устроили бы скандала его почитательницы. Мы приготовились» (Взыскующие града... С. 182).

[382] «Покрывало Пьеретты» («Der Schleier der Pierrette») — пантомима Артура Шницлера на музыку Эрнё Донаньи; была поставлена в Свободном театре А. Я. Таировым в ноябре 1913 г. (художник А. А. Арапов).

[383] Имеется в виду особняк М. К. Морозовой на Смоленском бульваре.

[384] Вероятно, Белый был утвержден как член Совета Религиозно-философского общества в Москве (на место, освободившееся после ухода В. П. Свенцицкого в ноябре 1908 г.) на общем годовом собрании Общества, состоявшемся 15 декабря 1908 г. (РГБ. Ф. 25. Карт. 29. Ед. хр. 18. Л. 23—24).

[385] В архиве Белого сохранилось более 90 писем М. К. Морозовой к нему (РГБ. Ф. 25. Карт. 34. Ед. хр. 1—8).

[386] Подразумевается драма Л. Н. Андреева «Анфиса», впервые опубликованная в «Литературно-художественных альманахах издательства „Шиповник"» (Кн. 11. СПб., 1909).

387 См. примеч. 116 к гл. 5-й.

388 Г. Коген был в России в конце апреля—начале мая 1914 г.

389 См.: *Рубинштейн М.* Генрих Риккерт. Очерк теоретико-познавательного идеализма // Вопросы философии и психологии. 1907. Кн. 86 (1). Отд. II. С. 1—61.

390 Известный своими ретроградными взглядами Л. А. Кассо был министром народного просвещения с 25 сентября 1910 г. по 26 ноября 1914 г. По его распоряжению, в связи с усилением студенческого движения, в феврале 1911 г. из ряда университетов были исключены сотни студентов. В знак протеста ректор Московского университета А. А. Мануйлов, его помощник М. А. Мензбир, а также более 100 профессоров подали в отставку (см.: Неделя Вестника знания. 1911. № 6, 14 февраля. С. 11, 17; № 7, 20 февраля. С. 9).

391 На 1-м Вселенском (Никейском) соборе христианской церкви в 325 г. был провозглашен христианский Символ веры.

392 Слова «парус» — «стеклярус» дважды рифмуются в стихотворении Белого «Преданье» (1903. *СП — 1.* С. 145, 147).

393 Имеется в виду бильбоке — игра привязанным на шнурке шаром, который подбрасывается и ловится в чашечку при падении.

394 «Трансцендентальная аналитика» — раздел в «Критике чистого разума» (1781) И. Канта.

395 О близких отношениях, связывавших Морозову и Е. Н. Трубецкого, см.: «Наша любовь нужна России...»: Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой // Новый мир. 1993. № 9. С. 172—229; № 10. С. 174—215. Публ. Ал. Носова.

396 Общество любителей российской словесности (ОЛРС) при Московском университете — старейшее литературно-научное общество, существовавшее в 1811—1930 гг. См.: Словарь членов ОЛРС при Московском университете. 1811—1911. М., 1911.

397 Цитата из 2-го стихотворения («Пожаром склон неба объят...») цикла Белого «Золотое руно» (1903 // *СП — 1.* С. 82).

398 Неточная цитата из биографического очерка «Александр Блок». См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 81.

399 О работе над первой редакцией пьесы «Песня Судьбы» Блок упоминает в письмах к Белому от 6 марта 1908 г. («Моя драма опять застряла») и от 25 марта 1908 г. («Мою драму, наконец, кончил почти совсем, очень переболел ею, и, пожалуй, вышло что-то лучшее, чем предыдущие. Очень хотелось бы, чтобы ты ее узнал») (*Белый — Блок.* С. 358—360).

400 Цитата из части 4-й «Симфонии (2-й, драматической)» (*Симфонии.* С. 181).

401 Блок приехал из Петербурга в Шахматово 21 августа 1908 г., возвратился в Петербург 4 октября.

402 Ср. «Вместо предисловия» (14 января 1909) к книге Белого «Урна. Стихотворения» (М.: Гриф, 1909): «В „*Урне*" я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому „я". Мертвое „я" заключаю в „Урну" ⟨...⟩» (*СП — 1.* С. 297).

[403] Имеется в виду разоблачение Е. Ф. Азефа, руководителя Боевой организации Партии социалистов-революционеров с 1903 г., как агента охранки, сотрудничавшего с Департаментом полиции с 1893 г. Благодаря сведениям, собранным в основном В. Л. Бурцевым, Азеф на заседании ЦК партии эсеров 7 января 1909 г. официально был объявлен провокатором. См.: Провокатор. Воспоминания и документы о разоблачении Азефа / Ред. и вступление П. Е. Щеголева. Л., 1929 (переизд.: Л., 1991).

[404] Цитата из 1-го стихотворения («Год минул встрече роковой...», 1907) цикла «Ссора» (*СП — 1.* С. 306).

[405] Цитата из 2-го стихотворения («Над крышею пурговый конь...», 1908) того же цикла (*СП — 1.* С. 306).

[406] «Искуситель» («О, пусть тревожно разум бродит...», 1908 // *СП — 1.* С. 329).

[407] «Друзьям» («Друг другу мы тайно враждебны...», 24 июля 1908 // *Блок III.* С. 88). Неточная цитата.

[408] «Хулиганская песенка» («Жили-были я да он...», 1906 // *СП — 1.* С. 285). Фрагменты стихотворения приведены неточно.

[409] Имеется в виду популярный «цыганский» романс на текст стихотворения Е. П. Гребенки «Черные очи» («Очи черные, очи страстные!..», 1843) и на музыку вальса Н. С. Германа «Hommage» в обработке С. Гердаля (1884). См.: Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988. Т. 1. С. 518, 637—638 (примечания В. Е. Гусева). («Библиотека поэта». Большая серия).

[410] Певица А. В. Владимирова (в замужестве Сизова), сестра художника В. В. Владимирова.

[411] Обыгрывается текст романса «Как сладко с тобою мне быть...» (1843; слова П. П. Рындина, музыка М. И. Глинки): «Веди к недоступному счастью // Того, кто надежды не знал... // И сердце утонет в восторге // При виде... тебя...» Цитаты из этого романса приводятся в 3-й «симфонии» Белого «Возврат» (1902) и в его «Рассказе № 2» (1902). См.: *Симфонии.* С. 244, 492—494, 497—498.

[412] Имеется в виду Н. И. Петровская. Ее адрес с 1908 г. — Арбат, дом Толстого, кв. 13.

[413] Какие лица скрыты за этими обозначениями, установить не удалось.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

[1] «На поле Куликовом» («1. Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» // *Блок III.* С. 170).

[2] «Возмездие», первая глава (1916 // *Блок V.* С. 25).

[3] «Отчаяние» («Довольно: не жди, не надейся...», июль 1908 // *СП — 1.* С. 181).

[4] Отсылка к книге М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (Пб., 1922).

[5] См. примеч. 401 к гл. 8-й.

[6] «Из хрустального тумана...» (6 октября 1909 // *Блок III.* С. 9).

[7] Искаженная цитата из стихотворения «Ночь» («Изгложет, гложет ствол тяжелый ветер...», 1907); в оригинале (*СП — 1.* С. 316):

Слепи,
Слепая смерть!
Глуши,
Глухая ночь!..

[8] Книга Блока «Лирические драмы» (обложка работы К. А. Сомова) вышла в свет в петербургском издательстве «Шиповник» в феврале 1908 г. В нее входили пьесы «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка».

[9] Статья «Обломки миров. (О «Лирических драмах» А. Блока)» была опубликована в № 5 «Весов» за 1908 г. (с. 65—68). См.: *Арабески.* С. 463—467.

[10] Цитаты из статьи «Священная жертва» (1905 // *Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 99).

[11] Сокращенная и неточная цитата из авторского «Предисловия» (август 1907) к «Лирическим драмам» (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М.; Л., 1962. С. 433).

[12] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

[13] Заключительные строки стихотворения Вяч. Иванова «Fio, ergo non sum» (*Иванов Вячеслав.* Прозрачность: Вторая книга лирики. М.: Скорпион, 1904. С. 12).

[14] Неточные и сокращенные цитаты (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. С. 80, 100—101).

[15] Отношения между Белым и Блоком были прерваны еще до появления в майском номере «Весов» статьи «Обломки миров», — после того как Белый отправил Блоку письмо от 3 мая 1908 г. (см. примеч. 78 к гл. 7-й).

[16] Неточная цитата (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 241). Письмо Блока к М. И. Пантюхову от 22 мая 1908 г. впервые было опубликовано в кн.: Михаил Иванович Пантюхов — автор повести «Тишина и старик» (1880—1910). Киев, 1911. С. 30. См. также: Михаил Пантюхов — корреспондент А. Блока / Публ., предисл. и коммент. А. В. Лаврова // Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 224—247.

[17] Искаженная цитата из 18-й главы «Наставлений о доброй нравственности и святой жизни» св. Антония Великого; в оригинале: «Свободу и блаженство души составляют настоящая чистота и презрение привременного» (Добротолюбие. Т. 1. 4-е изд. М., 1905. С. 67). Выписки из «Добротолюбия», отмеченные Блоком, сообщила Белому 31 августа 1921 г. Н. А. Павлович (см.: *О Блоке.* С. 465—466, 470—471).

[18] «Наставления св. отца нашего Антония Великого о жизни во Христе» (41) (Добротолюбие. Т. 1. С. 39).

[19] Хухря (хухряй) — «нечеса, растрепа, замарашка» (*Даль Вл.* Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 569).

[20] Г. Г. Шпет был профессором Высших женских курсов в Москве с 1907 г.

[21] В 1908 г. Белый жил в имении Серебряный Колодезь (в последний раз) со второй половины мая до 24 июня. Э. К. Метнер описывает свое пребывание там в дневниковых записях от 1 июня и 25 июня 1908 г. (РГБ. Ф. 167. Карт. 22. Ед. хр. 12. Л. 28, 31 об.—32 об.). «Последние дни у Бугаева, — писал Метнер, — у нас с ним были очень важные беседы 〈...〉 Удивительно! Все между нами стало так ясно; то, что нас сливало воедино, и то, в чем мы расходились» (Там же. Л. 31 об. Оригинал по-немецки).

[22] См. примеч. 174 к гл. 8-й. Сокрушительная критика творчества М. Регера содержится в книге Метнера (Вольфинга) «Модернизм и музыка» (М., 1912).

[23] Строка из переработанной редакции стихотворного цикла «Старинный друг», посвященного Э. К. Метнеру. См.: *СП — 2*. С. 403, 406.

[24] В дневниковой записи от 1 июня 1908 г. Э. К. Метнер сообщил о приезде С. М. Соловьева в Серебряный Колодезь на четыре дня (РГБ. Ф. 167. Карт. 22. Ед. хр. 12. Л. 28).

[25] В той же дневниковой записи Метнер сообщал о С. Соловьеве: «Он любит теперь двух сестер Тургеневых, совсем как я когда-то Аннет и Марию Братенши. Он еще не знает чувственного наслаждения от полового сношения. При этом он страдает от припадков, описанных Гоголем в „Вие". В таком настроении, как я его называю — „виеватом настроении", он сюда приехал. Сексуальную проблематику, в которой он, равно как и Бугаев, довольно наивен, мы обсудили основательно» (Там же. Оригинал по-немецки).

[26] «Последний язычник» («Века текут... И хрипло рухнул в лог...», 1908 // *СП — 1*. С. 257). Неточная цитата.

[27] «Отчаянье» («Довольно: не жди, не надейся...», 1908 // *СП — 1*. С. 181).

[28] «В деревне» («Ходят плечи, ходят трясом...», 1907 // *СП — 1*. С. 220).

[29] Белый выехал из Серебряного Колодезя в Москву 24 июня 1908 г.

[30] М. В. Коваленская — дочь В. М. Коваленского, переводчица со скандинавских языков. См. о ней: *Арзамасцев В. П., Мисочник С. М.* Эпизод из жизни Блока // Наше наследие. 1998. № 45. С. 52—53.

[31] Имеется в виду книга стихов и прозы С. Соловьева «Crurifragium» (М., 1908); в нее вошли поэмы «Червонный потир» и «Три девы».

[32] Неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «Пироскаф» («Дикою, грозною ласкою полны...», 1844).

[33] Подразумевается поэма «Дитя-Солнце», утраченная в июне 1907 г. (*РД*. Л. 40). В автобиографии, написанной для М. Л. Гофмана весной 1907 г., Белый сообщает, что «готовит к печати эпическую поэму „*Дитя-Солнце*"» (текст приводится в письме Гофмана к В. Я. Брюсову от 9 июня 1907 г. // РГБ. Ф. 386. Карт. 83. Ед. хр. 44).

[34] В сан священника С. Соловьев был рукоположен 2 февраля 1916 г.

[35] См. примеч. 109 к гл. 6-й.

[36] Подразумеваются вызвавшие скандальный эффект строки из стихотворения Брюсова «In hac lacrimarum valle» («Весь долгий путь свершив, по высям и низинам...», 1902): «Мы натешимся с козой, // Где лужайку сжали стены» (*Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 307).

[37] Все перечисленные стихотворения в указанном порядке составляют первую половину раздела «Думы» книги Белого «Урна».

[38] Мережковские вернулись из Парижа в июле 1908 г.; об их дальнейшем пребывании («ст⟨анция⟩ *Суйда*, Варшавск⟨ая⟩ ж⟨елезная⟩ д⟨орога⟩. Дача Бергера, бывш⟨ая⟩ Каменской») Д. С. Мережковский извещал Белого в письме из Гомбурга от 2 июля 1908 г. (Вопросы литературы. 2006. № 1. Январь—февраль. С. 180—181).

[39] Статья Белого «Каменная исповедь. По поводу статьи Н. Бердяева „К психологии революции"» была опубликована в «Образовании» (1908. № 8. Отд. III. С. 28—38) в кратковременный период сближения Мережковских с редакцией этого журнала. В. Я. Богучарский в 1908 г. входил в редакцию «Образования».

[40] 28 августа 1908 г. Белый сдал рукопись книги «Пепел» в петербургское издательство «Шиповник».

[41] Анахронизм. «Дом песни» начал свою деятельность только в ноябре 1908 г.

[42] Под редакцией П. Б. Струве журнал «Русская мысль» выходил с 1907 г. (первые три года соредактором был А. А. Кизеветтер). Редакционный союз Мережковских с «Русской мыслью» был непродолжительным (подробнее см.: *Гапоненков А. А.* Журнал «Русская мысль». 1907—1918 гг. Редакционная программа, литературно-философский контекст. Саратов, 2004. С. 67—79). 20 октября 1908 г. З. Н. Гиппиус извещала Блока: «Мы окончательно *вошли* в „Русск⟨ую⟩ мысль"», — но уже 3 декабря писала ему же: «Мы разошлись с Русск⟨ой⟩ м⟨ыслью⟩ и остаемся ⟨...⟩ еще 2—3 месяца редакторами *чисто беллетристического* отдела. Предлог, т. е. повод, который выявил нашу полную несходимость и вообще бессмыслицу этого предприятия, — была ваша статья» (*Минц З. Г.* Блок в полемике с Мережковскими // Минц З. Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 576—577). Статья Блока «Россия и интеллигенция» (позднейшее заглавие — «Народ и интеллигенция»), представлявшая собою текст доклада, прочитанного в Петербургском Религиозно-философском обществе 13 ноября 1908 г., была предложена для публикации в «Русскую мысль», но вызвала резкое неприятие со стороны Струве (см. письмо Блока к матери от 16 ноября 1908 г. // *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 261). «Россия и интеллигенция» была напечатана в «Золотом руне» (1909. № 1). См.: *Блок VIII*. С. 343—344 (комментарии Д. М. Магомедовой).

[43] Брюсов заведовал литературно-критическим отделом «Русской мысли» позднее — с сентября 1910 г.

[44] См. примеч. 178 к гл. 8-й. Конкурс проводился в 1908 г. (см.: *Танеев С.* Дневник: В 3 кн. М., 1985. Кн. 3. С. 462 (комментарии Л. З. Корабельниковой и Л. И. Даревнской)).

[45] Латиницей здесь неверно воспроизведен термин κρόνοι χενοί — обозначение паузы в древнегреческой версификации. См.: *Андрей Белый.* Символизм: Книга статей. М.: Мусагет, 1910. С. 557.

[46] Э. К. Метнер уехал в Берлин в ноябре 1908 г., возвратился в Москву в марте 1909 г. (см.: *Юнггрен Магнус.* Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001. С. 34, 38).

[47] Подразумевается «Вестник теософии. Религиозно-философско-научный журнал», издававшийся в Петербурге под редакцией А. А. Каменской в 1908—1918 гг. Книга Р. Штейнера «Как достигнуть познания высших миров» (1904) в переводе В. Лалетина печаталась в «Вестнике теософии» в 1908 (№ 1—12) и 1909 г. (№ 1—11).

[48] Редакция ежедневной газеты «Русское слово» располагалась на Страстном бульваре в доме Перловых.

[49] Эта поездка Белого в Петербург относится к середине ноября 1908 г., однако выступление его о Ст. Пшибышевском в Театре В. Ф. Коммиссаржевской тогда не могло быть приурочено к представлению «Вечной Сказки»: эта пьеса Пшибышевского с Коммиссаржевской в роли Сонки (премьера — 4 декабря 1906 г.) в те дни не шла на сцене театра (см.: *Рыбакова Ю. П.* В. Ф. Коммиссаржевская. Летопись жизни и творчества. СПб., 1994. С. 423—424).

[50] 13 ноября 1908 г. З. Н. Гиппиус сообщала В. Я. Брюсову о намерении приехать в Москву 26—27 ноября (см.: Литературоведческий журнал. 2001. № 15: Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус: Исследования и материалы. С. 210).

[51] В философском кружке в доме М. К. Морозовой Мережковский выступил 6 декабря 1908 г. с докладом «Борьба за догмат», вскоре опубликованном в газете «Речь» (1908. № 307, 14 декабря). См.: Взыскующие града: Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках... / Сост., подгот. текста и коммент. В. И. Кейдана. М., 1997. С. 181, 183. Лекцию о Лермонтове «Поэт сверхчеловечества» (опубликована в «Русской мысли»: 1909. № 3. Отд. II. С. 1—32) Мережковский прочитал 28 ноября 1908 г. в публичном заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, проходившем в Большой новой аудитории Политехнического музея (см.: *Потресов С.* Поэт и толпа (реферат Д. С. Мережковского) // Русское слово. 1908. № 277, 29 ноября. С. 3). Д. В. Философов выступил с рефератом на тему «Апофеоз беспочвенности в русской критике и литературе» в Московском Литературно-художественном кружке 2 декабря 1908 г.; при этом произошел «небывалый скандал»; по свидетельству газетного обозревателя, «возражавший референту Андрей Белый, по обыкновению кривляясь, истерически возопил к публике с просьбой „спасти литератора" от каких-то когтей, от каких-то темных сил, заставляющих его, литератора, часто поступать против совести, „продаваться"»; с отповедью Белому выступил И. И. Скворцов, защищавший марксизм, а в поддержку Белого высказался Мережковский (В Литературно-художественном кружке // Русское слово. 1908. № 280, 3 декабря. С. 5). Андрей Белый выступил с лек-

цией «Настоящее и будущее русской литературы» в помещении Политехнического общества 5 декабря 1908 г. (см.: Русские ведомости. 1908. № 279, 2 декабря. С. 1).

[52] Ср. впечатления С. Н. Булгакова, изложенные в письме к А. С. Глинке от 12 декабря 1908 г.: «Заседание о Лермонтове было страстное: досталось и Лермонтову, и всем, и всему 〈...〉. Была схватка — полуличная — с кн. Трубецким. Был неприятный выпад Белого, который 〈...〉 вообще страшно омережковился и повернулся как-то не примиряющей, скорее, непримиримой своей стороной, которую хотелось преуменьшить, и тоже была демагогия» (Взыскующие града... С. 180). О лекции Мережковского «Поэт сверхчеловечества» вспоминает К. Г. Локс в «Повести об одном десятилетии. (1907—1917)»: «Любопытны были прения. Нападал на Мережковского и Лермонтова одновременно кн. Трубецкой. Возражения князя заключались главным образом в том, что Лермонтов написал „Героя нашего времени", вещь, по его мнению, автобиографическую. Он не одобрял этого произведения. Оно, без сомнения, было безнравственным. Худенький и прыгающий А. Белый дал князю отпор и наговорил ему много неприятных вещей» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 15. М.; СПб., 1994. С. 42. Публ. Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова).

[53] Французский перевод книги Е. П. Блаватской «Тайная доктрина» (The secret doctrine. Vol. 1—2. London, 1888; Vol. 3. 1897), основополагающего теософского труда.

[54] Станцы «Книга Дзиан» — структурирующая часть «Тайной доктрины», осмысляемой автором как развернутый комментарий к ним; выданы Блаватской за древнеиндийские космогонические тексты. Русский перевод их впервые опубликован в сборнике «Вопросы теософии» (Вып. 2. СПб., 1910). См.: *Блаватская Е. П.* Тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии. Т. 2. Антропогенезис, ч. 1. СПб., 1991. С. 17—26.

[55] Эта встреча относится к декабрю 1901 г. (ср.: *НВ*. С. 188, 209). В. Брюсов познакомился с Минцловой летом 1899 г. в Крыму (*Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 28).

[56] Искаженно приведены начальные строки стихотворения З. Н. Гиппиус «Земля» (1908); в оригинале: «Пустынный шар в пустой пустыне, // Как Дьявола раздумие» (*Гиппиус З. Н.* Стихотворения. СПб., 1999. С. 171. («Новая Библиотека поэта»)).

[57] См.: Иез. I, 4—28.

[58] Ср. интерпретацию Вс. С. Соловьева: «По легендам, пущенным в обращение теософами „первого призыва", Е. П. Блаватская от юности своей находилась под особым покровительством „тибетских братьев", которые, взяв ее на попечение, руководили всеми шагами ее жизни, подготовляя в ней исполнительницу великой миссии, имеющей *мировое* значение» (*Соловьев Вс. С.* Современная жрица Изиды. Мое знакомство с Е. П. Блаватской и «теософическим обществом». М., 1994. С. 267). Согласно Блаватской, ей во время пребывания в Тибете (1868—1870) благодаря ее учителю индийцу Мории удалось посетить потаенные

центры так называемого «Белого братства», обладающего магической технологией и эзотерическим знанием.

[59] Подразумевается стихотворение Шарля Бодлера «Падаль» («Charogne», не позднее 1843). См. перевод Эллиса: *Бодлер Шарль.* Цветы Зла и Стихотворения в прозе в переводе Эллиса. Томск, 1993. С. 102—103.

[60] Имеется в виду Владимир Оттонович Нилендер. Геката (*греч. миф.*) — богиня мрака, ночных видений и чародейства.

[61] Ср. признание Эллиса в письме к М. И. Сизовой от 31 октября 1909 г.: «...мне страшно грустно, что и Брюсов для меня умирает, что он бросил путь служения и сделался писателем, официальным литератором» (РГАЛИ. Ф. 575. Оп. 1. Ед. хр. 20).

[62] Знакомство Белого с М. С. Шагинян относится к декабрю 1908 г. Шагинян рассказала об этом в мемуарах, включив в них девять писем Белого к ней, написанных между 17 декабря 1908 г. и 18 августа 1909 г. (и еще одно позднейшее его письмо, 1928 г.). См.: *Шагинян Мариэтта.* Человек и время. История человеческого становления. М., 1982. С. 237—252. В архиве Белого сохранилось 23 письма Шагинян к нему за 1909—1916 гг. (РГБ. Ф. 25. Карт. 25. Ед. хр. 14).

[63] Отголосок описываемых переживаний — в письме Белого к Вяч. Иванову, отправленном 30 декабря 1908 г.: «...кто бы ты ни был, — друг или враг, близкий или несуществующий, я говорю тебе: Христос родился... С новым годом... 〈...〉 Вот нить с моей ёлки; я убирал мою ёлку три дня золотом с любовью и миром. Да протянется между нами золотая нить, если может она протянуться. Пусть скрепит она то между нами, что еще не очернено *ими*...» (РГБ. Ф. 109. Карт. 12. Ед. хр. 29).

[64] Весь текст 5-го стихотворения цикла «На поле Куликовом» (*Блок III.* С. 173).

[65] См. примеч. 89 к гл. 8-й.

[66] Побудительным мотивом к написанию этого письма Белого, относящегося к концу августа—началу сентября 1910 г., послужило не приведенное стихотворение Блока, а — если исходить исключительно из текста письма — опубликование в журнале «Аполлон» (1910. № 8) статьи Блока «О современном состоянии русского символизма». См.: *Белый — Блок.* С. 367—368.

[67] Имеется в виду стихотворение Блока «За гробом» (*Блок III.* С. 87). Интерпретацию стихотворения Белый предпринял в речах, произнесенных на заседаниях памяти Блока в Вольной философской ассоциации (Петроград, 28 августа 1921 г.) и в Политехническом музее (Москва, 26 сентября 1921 г.). См.: *О Блоке.* С. 490, 506.

[68] Лекцию «Настоящее и будущее русской литературы» Белый прочитал в зале Тенишевского училища 17 января 1909 г.

[69] Книга Белого «Пепел. Стихи» (СПб.: Шиповник, 1909) вышла в свет в начале декабря 1908 г.

[70] Заключительные строки стихотворения «Горе» («Солнце тонет...», 1906 // *СП — 1.* С. 209). Неточная цитата.

[71] См. примеч. 256 к гл. 8-й.

[72] В фельетоне А. А. Измайлова «В „Кружке белого слона"» «объектом осмеяния были избраны отдельные словесные формулировки в стихотворениях «Телеграфист» и «На рельсах» из книги «Пепел» (Биржевые ведомости. Утр. вып. 1909. № 10908, 15 января. С. 6). См. также примеч. 257 к гл. 8-й.

[73] В журнале «Образование» рецензию на «Пепел» опубликовал не Н. Я. Абрамович, а М. В. Морозов (1909. № 1. Отд. III. С. 66—70. Подпись: *Мих. М—ов*); критические ноты в отзыве сочетались с признанием определенных достоинств книги (см.: *СП — 1.* С. 547).

[74] Контаминация строк из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1830-е гг.).

[75] Белый здесь упускает из виду, что к описываемому моменту (17 января 1909 г.) Вяч. Иванов был уже знаком с его примирительным письмом от 30 декабря 1908 г. (см. выше, примеч. 63): «Пусть будет между нами мир. ⟨...⟩ Я больше не могу... я не хочу вражды!..»

[76] Высокую оценку «Пепла» Вяч. Иванов развил в рецензии на книгу, опубликованной в «Критическом обозрении» (1909. Вып. 2(11). С. 44—48). См.: *Иванов Вячеслав.* Собр. соч. Т. IV. Брюссель, 1987. С. 615—618; Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников: Антология. СПб., 2004. С. 140—142.

[77] Духовно доверительные отношения между Вяч. Ивановым и А. Р. Минцловой сформировались в конце 1907—начале 1908 г. В описываемую Белым пору Минцлова каждодневно бывала в квартире Иванова. О глубокой духовной связи Иванова с нею, получившей с его стороны характер своеобразного мистического ученичества, свидетельствуют его дневниковые записи (июнь 1908 г., июнь—июль 1909 г.; см.: *Иванов Вячеслав.* Собр. соч. Т. II. Брюссель, 1974. С. 771—779). Подробнее см.: *Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 53—68.

[78] Цитата из 4-го стихотворения («Опять с вековою тоскою...») цикла Блока «На поле Куликовом» (*Блок III.* С. 172).

[79] См. стихотворение Вл. Соловьева «Панмонголизм» («Панмонголизм! Хоть слово дико...», 1894 // *Соловьев.* С. 104—105).

[80] Ср. запись Белого о пребывании в Петербурге в середине января 1909 г.: «Интимная встреча с Вячеславом Ивановым; перманентная трехдневная беседа между мною, Ивановым, Минцловой; начало нашей „*тройки*"; с этим сознанием еду в Москву» (*РД.* Л. 46 об.).

[81] Текст этого письма Белого неизвестен.

[82] Вяч. Иванов приезжал в Москву в конце января 1909 г.

[83] Первая лекционная поездка Р. Штейнера в Скандинавию проходила с 27 марта по 8 апреля 1908 г., вторая — с 7 по 21 июля того же года (15 лекций на тему «Теософия в связи с Евангелием от Иоанна» в Льяне, близ Христиании).

[84] В Московском Литературно-художественном кружке Вяч. Иванов выступил 27 января 1909 г. с лекцией «О русской идее».

[85] Как сообщалось в газетном репортаже о лекции Вяч. Иванова, в ходе прений писатель Ф. Ф. Тищенко обвинил Белого в политической и этической бес-

принципности, Белый в ответ закричал: «Вы — подлец! Я оскорблю вас действием!» (Русское слово. 1909. № 22, 28 января). См.: *О Блоке.* С. 344; *МДР.* С. 233—234. Инцидент подробно освещен с привлечением документальных материалов в статьях: *Богомолов Н. А.* История одного литературного скандала // Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 239—254; *Кобринский А.* Несколько штрихов к пребыванию Вяч. Иванова в Москве в январе—феврале 1909 года // От Кибирова до Пушкина: Сб. в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М., 2011. С. 155—163.

[86] А. А. Бурнакин стал постоянным сотрудником газеты «Новое время» позднее, в 1910 г.

[87] Белый выехал вместе с А. С. Петровским в село Бобровка Тверской губернии (имение А. А. Рачинской, за Ржевом, станция Оленино Виндавской железной дороги) 20 февраля 1909 г.; первая глава романа «Серебряный голубь» была написана там в конце февраля—первой половине марта.

[88] Неточность; первая неделя Великого поста в 1909 г. — с 9 по 15 февраля, т. е. еще до приезда Белого в Бобровку.

[89] Ко времени пребывания Белого в Бобровке относится начало его работы над исследованием ритма русского стиха, результатом которой стали четыре стиховедческие статьи, опубликованные в его книге «Символизм» (М., 1910).

[90] Заключительная строфа стихотворения «„Наин" — святой гиероглиф...», датировка: «День Луны. Час Меркурия» // *СП — 1.* С. 352.

[91] Образы из того же стихотворения: «Не пепел изольет, а луч // Из бездны времени лазурной». Понедельники во время пребывания Белого в Бобровке приходились на 23 февраля и 2 марта (не исключено, что он находился еще там и в понедельник 9 марта); видимо, в один из этих дней стихотворение и было написано. Авторские датировки стихотворения противоречивы: ниже Белый сообщает, что оно написано «в первых числах 〈...〉 марта», а в рукописи «Собрания стихотворений», подготовленного в 1914 г. для издательства «Сирин», указывает под текстом: «Февраль 09. Бобровка» (*СП — 1.* С. 604; *Андрей Белый.* Собрание стихотворений. 1914 / Изд. подгот. А. В. Лавров. М., 1997. С. 290).

[92] «Жалоба» («Сырое поле, пустота...», 1909, Бобровка // *СП — 1.* С. 345).

[93] «Родина» («Наскучили...», 1909 // *СП — 1.* С. 377).

[94] «Вместо предисловия» (Москва, 14 января 1909 // *СП — 1.* С. 297) — цитаты и близкий к тексту пересказ. Неясно, какое из указаний на время и место написания «предисловия» не соответствует действительности — в помете под его текстом или в комментируемых мемуарных строках. «Голос Безмолвия» — заглавие Отрывка I из «Книги Золотых Правил», одного из основных изложений теософского учения Е. П. Блаватской. См.: Голос Безмолвия. Семь Врат. Два пути: Из сокровенных индусских писаний. Обнародовано Еленой Петровной Блаватской / Пер. с англ. Е. Писаревой (Е. П.). Калуга, 1912.

[95] Белый выступал в Киеве в театре Медведева 14 марта 1909 г. с лекцией «Современность и Пшибышевский».

[96] См. примеч. 403 к гл. 8-й.

[97] Белый определяет так московскую ежедневную общественно-литературную газету «Столичное утро», выходившую в 1907 г. Опровергая аттестацию этой газеты как «марксистской» в позднейших мемуарах Белого (*МДР*. С. 227), Н. Валентинов утверждал: «„Столичное утро" — газета большая, богатая ⟨...⟩ имевшая большой успех, ни социал-демократической, ни марксистской ни на одну минуту не была. Это было издание только с „левым", демократическим направлением» (*Валентинов Н.* Два года с символистами / Под ред., с предисл. и примеч. проф. Г. П. Струве. Stanford, California, 1969. С. 23).

[98] Обыгрывается заглавие сборника стихов Белого «Королевна и рыцари. Сказки» (Пб.: Алконост, 1919), объединявшего в основном стихотворения 1909—1911 гг.

[99] «„Наин" — святой гиероглиф...» (*СП — 1.* С. 352).

[100] «Родина» («Наскучили...» // *СП — 1.* С. 377).

[101] Впервые портрет Андрея Белого работы А. А. Тургеневой воспроизведен в кн.: *Turgenieff Assja.* Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum. Stuttgart, 1972.

[102] См. примеч. 59 к гл. 5-й.

[103] См. примеч. 411 к гл. 8-й.

[104] А. В. Владимирова.

[105] Саввино-Сторожевский монастырь с Рождественским собором (нач. XV в.) и многочисленными постройками (XVII в.) в подмосковном городе Звенигород. Белый побывал там в апреле 1909 г.

[106] Имеется в виду Мишель Огюст Данс (Danse), преподаватель гравировального искусства в Брюсселе.

[107] Город Воскресенск (ныне Истра) к северо-западу от Москвы, известный Воскресенским Новоиерусалимским монастырем, основанным в 1656 г. (Воскресенский собор, 1658—1685).

[108] См. примеч. 411 к гл. 8-й.

[109] Памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Н. А. Андреева был открыт — в рамках торжеств, посвященных 100-летию со дня рождения писателя, — 26 апреля 1909 г. на Арбатской площади перед Пречистенским бульваром. Белый в этот день произнес публичную речь при возложении венка на могилу Гоголя.

[110] Видимо, подразумевается статья В. В. Розанова «Магическая страница у Гоголя» (Весы. 1909. № 8. С. 25—44; № 9. С. 44—67). Кроме нее, в «Весах» в 1909 г. были опубликованы статьи Розанова «Афродита и Гермес» (№ 5. С. 44—52) и «О радости прощения» (№ 12. С. 175—184).

[111] Торжественное заседание Общества любителей российской словесности, посвященное юбилею Гоголя, состоялось 27 апреля 1909 г.

[112] Этот доклад Брюсова был опубликован в «Весах» (1909. № 4. С. 98—120) и выпущен в свет отдельным изданием (М.: Скорпион, 1909; 2-е изд.: 1910). См.: *Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 134—159.

[113] В точности воспроизведения слов В. В. Розанова правомерно усомниться, поскольку В. В. и М. Н. Розановы — почти сверстники, они одновременно были

студентами Московского университета (В. В. Розанов окончил его в 1882 г., М. Н. Розанов — в 1883). Слова Розанова, безусловно, отсылают ко времени его собственной преподавательской деятельности: в 1882—1893 гг. он, согласно составленной им автобиографической справке, «служил преподавателем истории и географии преемственно в Брянской прогимназии, Елецкой гимназии и Белевской, Смоленской губернии, прогимназии» (Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Вып. I. М., 1991. С. 275. Публ. Т. В. Померанской); в городе Белом он проживал с августа 1891 до марта 1893 г.

114 См.: Иез. X, 2, 6, 9—19.

115 Имеется в виду раскрытие Белым (в предисловии к «Урне») «символического смысла» заглавия его первой книги стихов «Золото в лазури»: «*Лазурь* — символ высоких посвящений; *золотой треугольник* — атрибут Хирама, строителя Соломонова храма» (*СП — 1.* С. 297).

116 См. примеч. 32 к гл. 4-й.

117 Н. И. Новиков вступил в 1775 г. в масонскую ложу «Астрея», из которой перешел в ложу «Латона», вскоре став ее руководителем; с 1784 г. занимал высшие должности в масонской иерархии.

118 Изумрудный Поселок — дачное место под Москвой (Брянская жел. дор., станция Очаковская). Э. К. Метнер приглашал Белого приехать туда («Жду к себе на дачу») открыткой, полученной в Дедове 2 июня 1909 г. (РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5).

119 См. примеч. 172 к гл. 8-й.

120 Чудесный меч Нотунг (см. примеч. 147 к гл. 8-й) из осколков, в которые он был обращен ударом копья Вотана (2-я часть тетралогии «Кольцо нибелунга» — «Валькирия»), был заново отлит Зигфридом (3-я часть — «Зигфрид»).

121 Здесь — герои основанных на средневековых сюжетах одноименных опер Вагнера, соответственно 1850 и 1882 гг.

122 «Сочинение магистра Пианко (Амстердам, 1782)» Белый упоминает в комментариях к своей книге «Символизм» (с. 460). Магистром Пианко именовался у иллюминатов Ганс Генрих фон Эккер унд Экгофен, автор книг «Freymäurerische Versammlungsreden der Gold — und Rosenkreutzer des alten Systems» (Amsterdam, 1779) и «Der Rozenkreuzer in seiner Blösse» (Amsterdam, 1782). Ср.: *Бурмистров К. Ю.* Каббала и русский символизм. К постановке вопроса // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. М., 2008. С. 250.

123 См. примеч. 118 к гл. 5-й.

124 Имеется в виду Александра Ивановна Боброва, подруга П. А. Чистякова, редактора спиритического журнала «Ребус», известная в кругах московских спиритов; упоминается в «Воспоминаниях» Н. И. Петровской (см.: Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 20).

125 В архиве Белого сохранилось 40 писем В. О. Станевич к нему за 1908—1910 гг. (РГБ. Ф. 25. Карт. 23. Ед. хр. 6).

[126] О посвящении П. А. Бакунина в Орден азиатских розенкрейцеров Киселеву сообщил, согласно его записям, П. А. Чистяков (прочитавший 22 октября 1906 г. на первом съезде спиритуалистов доклад об «Азиатских розенкрейцерах»). См. предисловие А. И. Серкова в кн.: *Киселев Н. П.* Из истории русского розенкрейцерства. СПб., 2005. С. 28.

[127] Квартира-мастерская скульптора К. Ф. Крахта на Большой Пресне (д. 9). Описана Б. Л. Пастернаком в автобиографическом очерке «Люди и положения» (см.: *Пастернак Борис.* Полн. собр. соч. с приложениями: В 11 т. ⟨М.⟩, 2004. Т. 3. С. 318).

[128] Белый жил по преимуществу в Дедове с мая по август 1909 г.

[129] Как следует из письма С. Соловьева к Белому, относящегося к концу августа 1909 г., побудительной причиной для размежевания стал роман «Серебряный голубь», с которым Белый знакомил Соловьева в Дедове по мере работы над ним: «Что-то между нами стало тяжелое и душное. Все это можно назвать одним словом „Серебряный голубь". После последних страниц, которые ты мне читал, я окончательно не могу, не изменяя делу всей моей жизни, *быть внутренно с тобою.* Надеюсь, что это пройдет, и мы начнем опять описывать новый круг, как не раз бывало. ⟨...⟩ Это лето наши души встречались редко, только Ася сближала нас. ⟨...⟩ Придумай предлог для переезда в Москву» (РГБ. Ф. 25. Карт. 26. Ед. хр. 8).

[130] Имеется в виду кн.: *Эллис.* Русские символисты: Константин Бальмонт. Валерий Брюсов. Андрей Белый. М.: Мусагет, 1910 (переизд.: Томск, 1996).

[131] О том, что готовится к печати «Старый Ям. Повесть из современной жизни», Соловьев оповещал в библиографических объявлениях при своих книгах «Crurifragium» (М., 1908. С. IV) и «Апрель» (М., 1910. С. 2); повесть была включена также в рукописный план Собрания сочинений в 12 томах (во 2-й том), составленный Соловьевым в 1930-е гг. (РГБ. Ф. 696. Карт. 4. Ед. хр. 3. Л. 2), однако осталась, видимо, незавершенной (сохранились черновые автографы: РГБ. Ф. 696. Карт. 1. Ед. хр. 4. 42 л.).

[132] См.: *Лавров А. В.* Дарьяльский и Сергей Соловьев: О биографическом подтексте в «Серебряном голубе» Андрея Белого // Лавров А. В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 105—129. О том, что в образе главного героя романа Белого и его сюжетных коллизиях скрыты также ассоциации с А. Блоком, подробно говорится в работе В. Н. Топорова «О „блоковском" слое в романе Андрея Белого „Серебряный голубь"» (в сб.: Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. С. 212—316).

[133] В печатный текст начала «Серебряного голубя» (гл. 1-я, главка «Дарьяльский») эти слова о «бабиньке» не вошли.

[134] Конкретные обстоятельства инцидента, происшедшего в Библиотеке Румянцевского музея, Эллис изложил в письме к Брюсову от 20 августа 1909 г.: «Я писал в Музее свою „Историю символизма" ⟨...⟩ Все рукописи, книги (я пользовался льготой иметь до 15 своих собственных книг, употребляемых мною для вырезок) я хранил в музее же, передавая их дежурному чиновнику, г. Кваскову

⟨...⟩ Случалось, что у меня под руками находились дубликаты книг, одна книга музейская ⟨...⟩ другая моя. Дело в том, что, вклеивая вырезку ради стр. 100, я гублю при вклейке и стр. 101. Поэтому у меня очутились два экземпляра симфоний А. Белого. Я по ошибке вырезал и вклеил открыто музейским клеем при чиновниках и солдатах две цитаты из музейского экземпляра. ⟨...⟩ Однажды, придя в Музей, я не нашел своей папки с рукописями. Она была у Кваскова, к⟨о-то⟩рый вежливо указал мне на мою ошибку. Я сейчас же съездил в „Скорпион" и вернул свежие экземпляры книг ⟨...⟩ Дело кончилось, и я продолжал заниматься и успел закончить свой труд. Все остальное — анонимный донос одного из чиновников ⟨...⟩ В настоящее время специальная следственная Комиссия при Музее после 3-кратного допроса меня, ревизии всех бывших в моем пользовании за целый год книг и всех рукописей и вырезок пришла к выводу, что ущерб, нанесенный мною Музею, = 90 коп. за переплеты двух „симфоний". И — всё. По требованию контроля дело передано прокурору, к⟨ото⟩рый, конечно, его прекратит, ибо corpus delicti ⟨состав преступления — *лат.*⟩ = 0» (Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 323).

Приводим для сравнения с этим объяснением одно из первых газетных сообщений об инциденте: «На днях в читальном зале библиотеки Румянцевского и Публичного музеев обнаружено злоупотребление с книгами одного из постоянных посетителей библиотеки, некоего литератора Л. Коб—ского, писавшего в декадентских журналах под псевдонимом „Эллис". Этот посетитель из выдаваемых ему книг для чтения вырезывал страницы текстов и брал себе. Проделка была замечена одним из служителей, который о замеченном сообщил по начальству, указав, что Л. Коб—ский приносил с собой всегда в читальную залу портфель, а при уходе из библиотеки оставлял его на хранение швейцару. При осмотре в портфеле в особой тетради найдены вырезанные страницы текстов из книг библиотеки. При объяснении Коб—ский сознался в порче книг и объяснил, что вырезывал из них страницы, не находя свободного времени для переписывания их. Администрация библиотеки решила не привлекать его к судебной ответственности, а лишить права посещения читальни музеев. Выяснилось, что и ранее, в бытность директором музеев М. А. Веневитинова, тот же Коб-ский был лишен права посещения читальни за вырезки из книг, выдаваемых для чтения ему» (Русские ведомости. 1909. № 179, 5 августа. С. 3). 5 августа 1909 г. аналогичные сообщения обнародовали «Раннее утро» (№ 179. С. 3. Под заглавием «Порча книг в Румнцевском музее»), «Русское слово» (№ 179. С. 3), «Газета-копейка» (№ 92. С. 3). Подробное освещение печатной кампании, развернувшейся вокруг Эллиса, см. в статье: *Глуховская Е. А.* Инцидент с Эллисом в контексте русского символизма: К истории одного (около) литературного скандала // Русская литература. 2012. № 1. С. 137—148.

[135] Белый ошибочно указывает здесь на Л. А. Кассо, ставшего министром народного просвещении лишь в 1910 г. В 1909 г. министром народного просвещения был А. Н. Шварц, стремившийся к смещению И. В. Цветаева с должности директора Румянцевского музея и тем самым заинтересованный в разжигании скандала вокруг Эллиса (см.: Там же. С. 138—139, 142—143).

[136] Этому утверждению Белого противоречат слова дочери И. В. Цветаева: «...что папа жалует Эллиса — зналось: увидев его, он что-нибудь говорил доброе ⟨...⟩» (*Цветаева Анастасия*. Воспоминания. М., 2003. С. 324). В. И. Цветаева в своих «Записках» также подтверждает, что «отец благоволил Эллису как человеку одаренному, образованному» (*Каган Ю. М.* И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1987. С. 140).

[137] Уже в первые дни после печатного оглашения инцидента М. Ф. Ликиардопуло писал Белому: «В публике творится нечто ужасное, ни с кем нельзя почти говорить, чтобы не нарваться на оскорбления. Приводится, конечно, довод, что „Весы" и „Скорпион", так отстаивающие культуру и уважение к книге, терпят среди своих человека, и т. д.» (РГБ. Ф. 25. Карт. 28. Ед. хр. 21). 23 августа 1909 г. он же сообщал Брюсову в Париж: «...дело страшно раздули. ⟨...⟩ положение дел в течение 2—3 недель было ужасно. Каждого почти открыто называли вором, обобщая дело Эллиса и казус с Бальмонтом (Чуковский в „Речи" обличил Бальмонта в плагиате в статье о Уитмене, напечат⟨анной⟩ в „Весах")» (РГБ. Ф. 386. Карт. 92. Ед. хр. 23).

[138] Упоминаемый суд чести при Обществе периодической печати и литературы в составе председателя С. А. Муромцева (бывшего председателя 1-й Государственной думы), товарища председателя Н. В. Давыдова и членов суда Л. М. Лопатина, П. Н. Малянтовича, Н. В. Тесленко состоялся 7 ноября 1909 г. Он признал, что факт вырезания двух страниц из книги Белого не представляется «актом сознательно злонамеренным, а тем менее актом кражи, как об этом сообщалось во многих органах периодической печати, свидетельствует, однако, о крайне небрежном отношении Л. Л. Кобылинского (Эллиса) к имуществу, составляющему общественное достояние» (Русские ведомости. 1909. № 260, 12 ноября. С. 5).

[139] Это обвинение было предъявлено в «письме в редакцию» под заглавием «Писатель или списыватель?», подписанном псевдонимом Мих. Миров (Биржевые ведомости. Веч. вып. 1909. № 11160, 16 июня. С. 5—6), — посредством сопоставления двух сказок А. М. Ремизова с записями фольклорных текстов из сборника Н. Е. Ончукова «Северные сказки» (СПб., 1908). Подходы Ремизова к обработке фольклорного материала защитил М. М. Пришвин в статье «Плагиатор ли А. Ремизов? (Письмо в редакцию)» (Слово. 1909. № 833, 21 июня. С. 5). Подробнее см.: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 159—160, 168—173, 204—209. Ответное «Письмо в редакцию» Ремизова (29 августа 1909 г.) см. в кн.: *Ремизов А. М.* Собр. соч. Т. 2. Докука и балагурье. М., 2000. С. 607—610, 619 (примечания И. Ф. Даниловой). См. также: *Данилова Инга.* 1) Писатель или списыватель? (К истории одного литературного скандала) // История и повествование / Под ред. Г. В. Обатнина и П. Песонена. Хельсинки; М., 2006. С. 279—316; 2) Литературная сказка А. М. Ремизова (1900—1920-е годы). Helsinki, 2010. С. 99—124.

[140] Эпизод из тома 3-го романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (ч. 3-я, гл. XXV).

[141] В этой статье, опубликованной без подписи (автором ее был Е. Л. Бернштейн, известный под псевдонимом Е. Янтарев) в «Голосе Москвы» 8 августа 1909 г. (№ 181. С. 2), не только тенденциозно подавался «возмутительный для культурного человека факт порчи книг и кражи целых страниц из национального книгохранилища», но и сообщались сведения и слухи, не имевшие к этому делу отношения: о том, что «за г. Эллисом давно и довольно прочно установилась репутация человека некорректного, неискреннего, несвободного в своих литературных мнениях и симпатиях», что «крупная и некрасивого характера ссора» с Брюсовым «не помешала г. Эллису стать впоследствии другом и верным рабом г. Брюсова», что якобы «он когда-то в университетской библиотеке вырезал целую главу из редкого собрания сочинений Канта» и т. п. Полностью статья «Господин Эллис» воспроизведена Е. А. Глуховской в указанной выше (примеч. 134) работе (Русская литература. 2012. № 1. С. 146). Третейский суд определил статью «Господин Эллис» «написанною в недозволительном тоне оскорбительных сообщений и намеков, не имеющих отношения к факту порчи книг и в то же время рисующих всю личность Л. Л. Кобылинского в неблаговидном свете, что заслуживает осуждения с точки зрения добрых литературных нравов» (Русские ведомости. 1909. № 260, 12 ноября. С. 5).

[142] Речь идет о краже из Румянцевского музея 300 гравюрных листов М. П. Козновым, обнаруженной 25 января 1909 г. (большинство гравюр удалось вскоре вернуть). Решением суда в ноябре 1909 г. Кознов был оправдан, при повторном рассмотрении дела в октябре 1910 г. приговорен к 8-месячному тюремному заключению (см.: *Каган Ю. М.* И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. С. 136; *Цветаева Анастасия*. Воспоминания. С. 295—296). Дело Кознова служило главным аргументом министра А. Н. Шварца в его кампании против И. В. Цветаева (см.: *Глуховская Е. А.* Инцидент с Эллисом в контексте русского символизма... С. 142).

[143] См.: *Дорошевич В.* Кандидат // Русское слово. 1909. № 261, 13 ноября. С. 2.

[144] Текст этой телеграммы не сохранился. Аналогичное сообщение — в письме Э. К. Метнера к Эллису (Пилльниц, 5/18 августа 1909 г.), отложившемся в архиве Белого: «Я аннексировал одно лицо для книгоиздательства (непременно) и для журнала (может быть). Книгоиздательство может начать функционировать через две-три недели. Напишите об этом Бугаеву» (РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 5. Л. 3).

[145] Подробное изложение издательских планов содержит письмо Метнера к Эллису и Белому из Пилльница от 13—15/26—28 августа 1909 г. (Там же. Л. 4—6; РГБ. Ф. 167. Карт. 6. Ед. хр. 13).

[146] Такое решение было, видимо, принято по возвращении Э. К. Метнера из Германии в Москву. В ходе переписки с ним Белый признал приоритетной идею издания журнала: «...журнал — да будет. Уже не отступайте, Эмилий Карлович» (конец августа—начало сентября 1909 г. // РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 4) — и в подробностях изложил приблизительную смету для издания

журнала тиражом в 2000 экз. (середина сентября 1909 г. // Там же. Ед. хр. 5). Энергично настаивал на необходимости издания журнала Эллис в летних письмах к Метнеру за 1909 г.: «Издательство существенно, но всего существеннее начать журнал после „Весов". 〈...〉 Пусть журнал погибнет хотя бы через 1 год. Время будет выиграно сейчас 〈...〉» (РГБ. Ф. 167. Карт. 7. Ед. хр. 11); «В сентябре мы все должны знать наверное о будущем журнале, ибо тогда только возможно быстрое и решительное потопление „Весов", этого судна, уже лишенного части пушек, парусов 〈...〉» (Там же. Ед. хр. 14). Письмо Эллиса к Метнеру и Белому, относящееся к началу 1910 г., озаглавлено «Доводы в пользу журнала» и содержит более полутора десятков сформулированных аргументов (Там же. Ед. хр. 23).

[147] А. М. Кожебаткин исполнял секретарские обязанности в «Мусагете» со времени основания издательства осенью 1909 г. до конца 1911 г.

[148] В. Ф. Ахрамович сменил Кожебаткина в должности секретаря «Мусагета» в 1912 г.

[149] Подразумевается статья Белого «На перевале. XIV. Штемпелеванная культура» (Весы. 1909. № 9. С. 72—80. Подпись: *Борис Бугаев*). Ср. свидетельство Белого в мемуарных записях «К материалам о Блоке» (1921) о раннем «мусагетском» периоде: «...я, инспирированный Метнером в эти месяцы, переживал нечто вроде „*юдобоязни*" (скверная болезнь, быстро прошедшая); это — эпоха моей заметки „*Штемпелеванная культура*"» (*О Блоке*. С. 462). См. также: *Безродный М.* О «юдобоязни» Андрея Белого // Новое литературное обозрение. 1997. № 28. С. 100—125; *Эткинд А.* Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1996. С. 277—278; *Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 72—74.

[150] Имеется в виду статья Э. К. Метнера (под псевдонимом Вольфинг) «Эстрада», опубликованная в «Золотом руне» (1908. № 11/12. С. 77—79; 1909. № 2/3. С. 100—108; № 5. С. 44—52). Вошла в кн.: *Вольфинг*. Модернизм и музыка: Статьи критические и полемические (1907—1910). Приложения (1911). М.: Мусагет, 1912.

[151] Показательно в этом отношении заглавие фельетона Оскара Норвежского, опубликованного 26 ноября 1909 г. в «Раннем утре»: «Андрей Белый без маски. Первый погром в литературе». Ср. запись Белого о ноябре 1909 г.: «Мои инциденты с Гершензоном и с Эфросом (Абрамом). Бойкот меня» (*РД*. Л. 50 об.). В позднейшем письме к Р. В. Иванову-Разумнику (начало марта 1925 г.) Белый вспоминал о Гершензоне: «А ведь порою „*какою кипучкой*" он был: раз на меня — натопал, накричал, почти выгнал от себя (за заметку „*Штемпелеванная культура*"); я — смутился; и — внутренне сказал себе: „*Заслужу прощение*"... И — заслужил; дулся на меня два месяца; и после — вернул расположение; и как от „*сердца*" — кричал, так от „*сердца*" — простил 〈...〉» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 312).

[152] Белый проясняет ситуацию («необъяснимый поступок д'Альгейма») в позднейших мемуарах: «С. Л. Толстой 〈...〉 откликнулся на конкурс (лучшее

оформление шотландских мелодий на песни Бернса); Николай Метнер присудил премию его номеру, не подозревая фамилии номера; воображенье „маньяка" сложило басню о будто б сговоре Толстого с Метнером, кстати, едва знакомых друг с другом; отсюда — разрыв д'Альгейма и с Метнерами и с Рачинским, принявшим сторону невинно оскорбленного автора» (*МДР*. С. 339). Этот конфликт Белый относит к октябрю 1909 г. (*РД*. Л. 50).

153 «Логос» — международный журнал по философии культуры — в России выходил с 1910 г. под редакцией С. И. Гессена, Э. К. Метнера и Ф. А. Степуна (в 1911 г. в состав руководителей журнала вошел Б. В. Яковенко). Договор об издании в «Мусагете» «Логоса» был заключен между редакторами (представителями международного редакционного комитета «Логоса») С. И. Гессеном и Ф. А. Степуном и издателем-редактором Э. К. Метнером в Москве 2/15 ноября 1909 г. Подробнее см.: *Безродный М. В.* Из истории русского неокантианства (журнал «Логос» и его редакторы) // Лица: Биографический альманах. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 372—407.

154 См. примеч. 65 к гл. 4-й.

155 «Путь» — московское издательство, имевшее ближайшее отношение к деятельности Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева (см. примеч. 14 к гл. 5-й), в 1910 г. выпустило первые книги.

156 С докладом «О книге Э. Ласка» С. И. Гессен выступил в Московском Религиозно-философском обществе 4 ноября 1910 г.

157 Джиуджица — джиу-джицу, японская система самозащиты и нападения без оружия, сложившаяся в XIII—XIX вв. у самураев.

158 Кружок «Молодой Мусагет» возник к осени 1910 г. и функционировал до 1913 г. (официальное название с осени 1912 г.: Кружок для исследования проблем эстетической культуры и символизма в искусстве), руководили его работой Эллис и К. Ф. Крахт. См.: ⟨*Шруба Манфред*⟩. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890—1917 годов: Словарь. М., 2004. С. 127.

159 Книги статей Андрея Белого «Символизм» и «Арабески» вышли в издательстве «Мусагет» соответственно в конце апреля 1910 г. и в начале марта 1911 г. См. также: *Эллис*. Русские символисты: Константин Бальмонт. Валерий Брюсов. Андрей Белый. М., 1910; *Садовской Борис*. Русская Камена: Статьи. М., 1910; *Вольфинг* ⟨Метнер Э. К.⟩. Модернизм и музыка: Статьи критические и полемические (1907—1910). Приложения (1911). М., 1912. Первое упомянутое издание вышло в свет в июле 1910 г., второе — в ноябре 1910 г., третье — в конце июня 1912 г. Полный библиографический перечень изданий «Мусагета» см. в статье: *Толстых Г. А.* Издательство «Мусагет» // Книга: Исследования и материалы. Сб. 56. М., 1988. С. 130—133. Деятельность издательства «Мусагет» проанализирована также в статьях М. В. Безродного «Издательство „Мусагет": групповой портрет на фоне модернизма» (Русская литература. 1988. № 2. С. 119—131), «Из истории русского германофильства: издательство „Мусагет"» (Исследования по истории русской мысли. Ежегодник на 1999 год. М., 1999. С. 157—198), «Издательство „Мусагет"» (Книжное дело в России в XIX—начале XX века. Вып. 12. СПб., 2004. С. 40—56).

[160] См.: *Гильдебранд Адольф*. Проблема формы в изобразительном искусстве и Собрание статей / Пер. Н. Розенфельда и В. А. Фаворского. М., 1914. Книга вышла в свет в январе 1915 г.

[161] Книга в свет не вышла. Текст издательского анонса: «*Леонардо да Винчи*. Трактат о живописи. Перевод и вступительная статья М. С. Сергеева. (Готовится)».

[162] Книга в свет не вышла. Текст издательского анонса: «Провансальские лирики XII и XIII веков. Перевод Н. П. Киселева. Т. I. Переводы. Т. II. Комментарии. (Готовится)».

[163] Книга в свет не вышла. Текст издательского анонса: «*Вячеслав Иванов*. Эллинская религия страдающего Бога. Опыт религиозно-исторической характеристики. (Печатается)». Книга позднее была отпечатана в Издательстве М. и С. Сабашниковых (М., 1917), весь ее тираж сгорел при пожаре в типографии.

[164] Книга в свет не вышла. Текст издательского анонса: «Лира Новалиса в переложении Вячеслава Иванова. (Готовится)». Впервые «Лира Новалиса» в полном объеме и авторской композиции опубликована в кн.: *Иванов Вячеслав*. Собр. соч. Т. IV. Брюссель, 1987. С. 181—251.

[165] См.: *Мейстер Экхарт*. Проповеди и рассуждения / Пер. со средне-верхне-немецкого и вступ. ст. М. В. Сабашниковой. М., 1912 (Орфей. Кн. 3); *Бёме Яков*. Aurora, или Утренняя Заря в восхождении / Пер. Алексея Петровского. М., 1914 (Орфей. Кн. 6); *Рэйсбрук Удивительный*. Одеяние духовного брака / Вступ. ст. Мориса Метерлинка. Пер. Михаила Сизова. М., 1910 (Орфей. Кн. 1). Первая книга вышла в апреле 1912 г., вторая — в августе 1914 г., третья — в июле 1910 г.

[166] Последний, декабрьский номер «Весов» за 1909 г. вышел с опозданием — в марте 1910 г.

[167] Ср. признания Минцловой в письме к Вяч. Иванову от 4 ноября 1909 г.: «Сейчас мне очень хорошо в Москве. Я окружена большой любовью, которая очень помогает мне. Андрей Белый очень много сил и радости дал мне эти дни. В Москве вдруг вспыхнула и загорелась странная, глубокая жизнь теперь. Возвращаются назад тени прошлого. Век Новикова воскресает... Моя встреча этой весной с А. Белым не прошла бесследно» (*Богомолов Н. А*. Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 92). См. также: *Глухова Е. В*. Письма А. Р. Минцловой к Андрею Белому: материалы к розенкрейцерскому сюжету в русском символизме // Русская антропологическая школа. Труды, 4/1. М., 2007. С. 215—240.

[168] Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Ночное небо так угрюмо...» (1865).

[169] Начальные строки стихотворения Тютчева (1830-е гг.).

[170] Быт. XIV, 18: «...Мелхиседек, царь Салимский 〈...〉 священник Бога Всевышнего».

[171] См. примеч. 372 к гл. 8-й.

[172] Пробуждение интереса Э. К. Метнера к психоаналитической литературе и к «сеансам» З. Фрейда относится к лету 1913 г. См. главу «Встреча Метнера с

психоанализом» в кн.: *Юнггрен Магнус.* Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб., 2001. С. 75—87.

173 Рюма (*обл.*) — «плакса, хныкса, рева» (*Даль Вл.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. СПб.; М., 1882. С. 123).

174 В письме к М. А. Волошину от 15 января 1910 г. А. Р. Минцлова сообщила, что Белый уехал «в деревню к Рачинскому» (т. е. в Бобровку) 10 января и вернется в Москву 25 января (*Купченко В. П.* Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877—1916. СПб., 2002. С. 240).

175 Имеется в виду прежде всего перевод книги Бёме «Aurora» (см. выше, примеч. 165). Ср. позднейший отзыв о Петровском в письме Белого к Г. Г. Шпету от 1 апреля 1933 г.: «...переводчик он незаменимый, — тонкий стилист (со вкусом); некогда у нас в „Мусагете“ он редактировал все переводы (и в том числе Рачинского — всегда); лучшего переводчика трудно себе представить» (*Шторх М. Г.* Немного прошлого // Начала. 1992. № 1. С. 64).

176 Знакомство Э. К. Метнера с Минцловой состоялось «или в самом конце 1909 года, или прямо под новый 1910 год» (*Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 93), общение их после этого стало регулярным. 4 марта 1910 г. Минцлова писала Вяч. Иванову: «...это большая радость — свидания мои с Киселевым, Петровским, Метнером — я их нашла сильными, стойкими, верными и безусловными вполне ⟨...⟩» (Там же. С. 96).

177 Элейская школа древнегреческой философии (VI—V вв. до н. э.), представителями которой были Ксенофан Колофонский, Парменид, Зенон из Элеи, Мелисс Самосский, впервые сформулировала как основу философствования понятие единого бытия, понимаемое как непрерывное, неизменное, нераздельное, исключающее какую-либо множественность вещей и их движение.

178 Вечер музыки Н. К. Метнера состоялся в Малом зале Консерватории 5 февраля 1910 г. (см.: Русская музыкальная газета. 1910. № 7, 14 февраля. Стб. 199—200).

179 Дом, в котором проживал Вяч. Иванов, располагается на углу Таврической и Тверской улиц; Н. В. Недоброво жил в доме 20 по Кавалергардской улице — параллельной Таврической.

180 Ошибка Белого: в 1910 г. у Вяч. Иванова было лишь две дочери — Александра (от первого брака с Д. М. Дмитриевской) и Лидия (от второго брака с Л. Д. Зиновьевой-Аннибал). В данном случае Белый подразумевает младшего сына Зиновьевой-Аннибал от первого брака (ошибочно называя его именем ее старшего сына Сергея), Константина Константиновича Шварсалона (1892—1917 или 1918?), с 1908 г. учившегося в 1-м кадетском корпусе (см.: *Богомолов Н. А.* ...И другие действующие лица // Вячеслав Иванов — Лидия Зиновьева-Аннибал. Переписка. 1894—1903. М., 2009. Т. 1. С. 46—47).

181 Б. Г. Столпнер упомянут в этой связи безосновательно: он был принят в действительные члены Петербургского Религиозно-философского общества только 2 февраля 1913 г. (*Ермичёв А. А.* Религиозно-философское общество в Петербурге (1907—1917). Хроника заседаний. СПб., 2007. С. 276). В описываемый Белым период в Совет Религиозно-философского общества входили

Д. В. Философов (председатель), Д. С. Мережковский (товарищ председателя), С. П. Каблуков (секретарь), Д. В. Знаменский (казначей) и члены Совета Н. О. Лосский, П. Б. Струве, С. Л. Франк.

[182] Первый номер «Аполлона» вышел в свет 24 октября 1909 г.

[183] Ср. стихотворение Белого «В альбом В. К. Ивановой» (*СП — 2*. С. 70):

И Вячеслав уже в дремоте
Меланхолически вздохнет:
«Михаил Алексеич, спойте!..»
Рояль раскрыт: Кузмин поет.

[184] Первые строки 6-го стихотворения цикла «Мудрая встреча» (1907 // *Кузмин М.* Стихотворения. СПб., 1996. С. 98. («Новая Библиотека поэта»)).

[185] Цитата из 3-го стихотворения («Окна плотно занавешены...») того же цикла (Там же. С. 96). Эти строки Белый взял эпиграфом к «четвертой симфонии» «Кубок метелей» (М.: Скорпион, 1908). Автографы стихотворений цикла «Мудрая встреча» в письме к Белому от 2 февраля 1908 г. (РГБ. Ф. 25. Карт. 18. Ед. хр. 8) представляют собой нотные записи с текстами. См. примечания Н. А. Богомолова в кн.: *Кузмин М.* Стихотворения. С. 697—698.

[186] Статья Кузмина «О прекрасной ясности. Заметки о прозе» была опубликована в «Аполлоне» (1910. № 4). См.: *Кузмин М.* ⟨Проза и эссеистика⟩. Т. III. Эссеистика. Критика. М., 2000. С. 5—10. Обосновываемый в этой статье термин «кларизм» (требования строгости, четкости, прозрачного и точного стиля) «подарил» Кузмину, однако, сам Вяч. Иванов (см. его дневниковую запись от 7 августа 1909 г. // *Иванов Вяч.* Собр. соч. Т. II. Брюссель, 1974. С. 785).

[187] В позднейших записях Белый относит этот эпизод к февралю 1912 г.: «Споры с Гумилевым и Кузминым об акмеизме (выдумываем с В. Ивановым Гумилеву «акмеизм-адамизм»)» (*РД*. Л. 55 об.). Термин «адамизм» также использовался в пору формирования нового поэтического направления (см.: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. Т. 7/8. С. 29—30).

[188] Впервые печатно принципы акмеизма были сформулированы в статьях «Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилева и «Некоторые течения в современной русской поэзии» С. Городецкого, опубликованных в № 1 «Аполлона» за 1913 г.

[189] В позднейшей мемуарной книге Белый также отмечает, что Иванов напоминал «раздвоенною бело-льняной бородкой Христа по Корреджио», и поясняет: «Известный тип лика Христова, данный Корреджио» (*НВ*. С. 346).

[190] Имеется в виду портрет Вяч. Иванова работы К. А. Сомова (1906). О том, что Иванов, «не скрываясь, носил какое-то черное кольцо с адамовой головой» (адамова голова — бабочка с рисунком на груди, напоминающем череп; один из масонских символов), свидетельствует М. А. Кузмин (*Кузмин М.* Дневник 1934 года / Под ред., со вступ. ст. и примеч. Глеба Морева. СПб., 1998. С. 110, 306).

[191] Весь текст стихотворения «Вячеславу Иванову» (1916 // *СП — 1.* С. 390—391).

[192] О взаимоотношениях Вяч. Иванова и Э. К. Метнера см.: В. И. Иванов и Э. К. Метнер: Переписка из двух миров / Вступ. ст. и публ. В. Сапова // Вопросы литературы. 1994. Вып. 2. С. 307—346; Вып. 3. С. 281—317.

[193] Немецкое эвфемистическое выражение, обозначающее тошноту и рвоту.

[194] Минцлова уехала в Москву, видимо, в конце февраля 1910 г.; 4 марта 1910 г. датировано ее письмо к Вяч. Иванову, описывающее встречи с «мусагетцами» (см.: *Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 96).

[195] С докладом «О современном состоянии русского символизма» Блок выступил в Обществе ревнителей художественного слова 8 апреля 1910 г.

[196] Вечер памяти В. Ф. Коммиссаржевской состоялся 7 марта 1910 г. в зале Петербургской городской думы. См.: *Рыбакова Ю. П.* В. Ф. Коммиссаржевская. Летопись жизни и творчества. СПб., 1994. С. 495.

[197] В. Ф. Коммиссаржевская скончалась 10 февраля 1910 г. О встречах Белого с Коммиссаржевской во время московских гастролей ее труппы (8—20 сентября 1909 г.) см.: *МДР.* С. 344—350.

[198] С докладом о ритме в Обществе ревнителей художественного слова Белый выступал 18 февраля 1910 г. Адрес редакции журнала «Аполлон» в 1910 г. — Мойка, д. 24, кв. 6.

[199] В *машинописи* — ошибка (или опечатка) в инициалах: «С. А.»; в соответствующем фрагменте «Воспоминаний о Блоке»: «С. К.» (*О Блоке.* С. 356). Имеется в виду, вероятно, Константин Константинович Кузьмин-Караваев.

[200] Лекцию «Генрик Ибсен» Белый читал в аудитории Соляного городка 2 марта. Соляной городок — культурно-просветительский центр, где устраивались выставки, концерты, лекции (комплекс построек между набережной Фонтанки, Пантелеймоновской улицей, Соляным переулком и Рыночной улицей).

[201] В сводном труде А. А. Ермичёва «Религиозно-философское общество в Петербурге (1907—1917). Хроника заседаний» выступление Белого, относящееся к январю—марту 1910 г., не зафиксировано.

[202] Белый и Вяч. Иванов приехали в Москву после 7 марта 1910 г.

[203] «Rosarium. Стихи о Розе» — пятая книга сборника стихотворений Вяч. Иванова «Cor ardens» (Ч. 2. М.: Скорпион, 1912). Однако, по имеющимся сведениям, Иванов написал «Rosarium» в течение лета 1910 г. (см.: *Иванов Вяч.* Собр. соч. Т. II. С. 697, 810. Примечания О. Дешарт).

[204] «Гимны к Ночи» («Hymnen an die Nacht», 1800) — поэтический цикл Новалиса. См. выше, примеч. 164.

[205] Примирение Эллиса с Вяч. Ивановым было непродолжительным, уже в середине мая 1910 г. Эллис отправил Иванову письмо, в котором заявлял о своем идейном размежевании с ним. См.: Письма Эллиса к Вячеславу Иванову / Предисл., публ. и коммент. Н. А. Богомолова // Писатели символистского круга: Новые материалы. С. 373—384.

206 Белый и А. С. Петровский уехали в Бобровку в конце марта 1910 г.

207 7 апреля 1910 г. Минцлова писала Вяч. Иванову из Бобровки: «Я здесь два дня уже — и чувствую себя *так* отдохнувшей и счастливой, точно я и не уставала никогда — завтра в ночь я уеду отсюда. 〈...〉 здесь я встретила *только* А. Белого, Петровского, Сизова — — — — Я встретила *только* помощь, поддержку и силу, за которые не знаю слов, чтобы благодарить их всех 〈...〉» (*Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 99).

208 Пасха в 1910 г. — 18 апреля.

209 Близ Луцка в Волынской губернии находилось имение Боголюбы, принадлежавшее отчиму А. Тургеневой В. К. Кампиони и ее матери С. Н. Кампиони.

210 См. выше, примеч. 159. В письме к Белому (станция Люботин, имение Трушевой, 15 июня 1910 г.) Н. А. Бердяев давал развернутую оценку книги «Символизм», уделяя основное внимание риккертианской позиции автора в статье «Эмблематика смысла». См.: De Visu. 1993. № 2(3). С. 16—17. Публ. А. Г. Бойчука.

211 Лекция Белого «Лирика и эксперимент» состоялась в Историческом музее 23 ноября 1909 г. (объявление: Столичная молва. 1909. № 89, 16 ноября. С. 4).

212 Ритмический кружок был организован при «Мусагете» в апреле 1910 г. Подробнее см.: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* О стиховедческом наследии Андрея Белого // Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 515). Тарту, 1981. С. 101—106.

213 Имеется в виду Сергей Владимирович Шенрок.

214 Первой задачей деятельности Ритмического кружка при «Мусагете» было всестороннее описание ритма одного стихотворного размера — пятистопного ямба у русских поэтов; стиховой материал был распределен между участниками кружка в мае 1910 г. (перечень исследователей с указанием поэтов, которые были избраны объектом исследования, см.: Там же. С. 104). Андрею Белому были выделены: лирика Пушкина, Баратынский, К. Павлова, Огарев, Тютчев.

215 Роман «Серебряный голубь. Повесть в семи главах» вышел в свет отдельным изданием в издательстве «Скорпион» во второй половине мая 1910 г.

216 Белый написал эту статью в июне 1910 г. См.: *Арабески*. С. 161—210.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

У второго порога

1 См. примеч. 89 к гл. 8-й.

2 Переписка между Белым и Блоком была возобновлена письмом Белого, датируемым концом августа—началом сентября 1910 г., в котором давалась высокая оценка, однако, не стихотворному циклу, а статье Блока «О современном состоянии русского символизма», напечатанной в № 8 «Аполлона» за 1910 г. См.: *Белый — Блок*. С. 367—368.

[3] В письме к Белому от 6 сентября 1910 г. Блок признавался: «Твое письмо ⟨...⟩ глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более чем личной (в сущности ведь сверхличное главным образом и мешало личному). ⟨...⟩ Люблю тебя до дна души и уже совсем без слов» (*Белый — Блок*. С. 368—369).

[4] «Благословен!» (*лат.*) — католическое хвалебное песнопение.

[5] Белый возвратился в Москву около 10 августа 1910 г.

[6] А. Р. Минцлова приехала в Москву из Крыма, судя по ее письму к Вяч. Иванову от 7/20 августа 1910 г., 8 августа (см.: *Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 104, 481).

[7] Р. Штейнер читал цикл лекций «Евангелие от Матфея» в Берне с 1 по 12 сентября 1910 г., а также выступил там с публичными лекциями «Сущность человеческой судьбы» (13 сентября) и «Теософия и Библия» (14 сентября). 17/30 августа 1910 г. А. С. Петровский писал Белому из Мюнхена: «Я очень рад, что познакомился со Штейнером. Впечатление от него и от того, что за ним, неописуемо. А ведь я только слушал лекции и еще не познакомился лично (познакомлюсь в Берне ⟨...⟩)» (Андрей Белый — Алексей Петровский. Переписка. 1902—1932. М., 2007. С. 112).

[8] Ср. признания Минцловой в письме к Вяч. Иванову от 18/31 августа 1910 г.: «Андрей Белый приехал как раз в то мгновение, когда был установлен и решен мой уход ⟨...⟩ Да... я поняла сразу, что все, что было, что встало между мной и Белым за лето — — — это лишь *пыль* и прах, который рассеялся без остатка при первой встрече нашей ⟨...⟩ Андрей Белый *сам*, сразу, *тотчас же, изгладил* все, что было, это *его* активная сила и любовь развеяли *все*, что было смутного — — *в одно* мгновение все встало вновь, возрожденное в еще небывалом свете и красоте — — —» (*Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 105).

[9] В прощальном письме Минцловой от 16 августа 1910 г., обращенном к Э. К. и Н. К. Метнерам, Н. П. Киселеву, А. С. Петровскому и М. И. Сизову, содержится указание на особую роль Андрея Белого в провидимых ею мистических предначертаниях: «Душу свою, все, что я могла передать, сейчас — я передала Андрею Белому. И свершилось чудо. Уходя, я вижу, как родилось уже что-то великое, живое и священное. В мгновение, когда я передала Белому все, что было у меня в руках, в то мгновение (это было 15/28 августа, день Успения Богородицы) зажглось что-то великое... С вами Бог! Люблю вас, каждого из вас *особенно*, иначе, несказанно. И люблю вас как одно целое. Уже мистическая община. ⟨...⟩ Благословляю все начинания Андрея Белого, о тех собраниях, мысль о которых явилась к нему *свыше*, не от меня, а от Тех, кто за мной ⟨...⟩ Все, что надо, скажет вам Андрей Белый. Сейчас, это *камень*, на котором строится все...» (*Серков А. И.* Предисловие // Киселёв Н. П. Из истории русского розенкрейцерства. СПб., 2005. С. 29—30).

[10] Минцлова выехала из Москвы в Петербург 17 августа 1910 г. В письме к Вяч. Иванову от 18/31 августа 1910 г. она сообщала: «Вчера меня проводили из

Москвы — А. Белый, Сизов, Эллис, Нилендер и Марг⟨арита⟩ Ал⟨ексеевна Сабашникова⟩, которая сделала мне бесконечно много за это время ⟨...⟩» (*Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 106).

[11] Никаких достоверных сведений о дальнейшей судьбе Минцловой не имеется. 18 августа 1910 г. она писала М. И. Сизову из Петербурга: «Доехала очень хорошо, завтра вечером (19-го) думаю выехать за границу, прежде всего в *Дрезден*, т. е. в Пильниц, где пробуду два дня с Эм⟨илием⟩ Карл⟨овичем⟩, затем в Берн, где застану Алекс⟨ея⟩ Серг⟨еевича⟩ ⟨...⟩ Я там буду *не позднее* 25 авг⟨уста⟩ (русск⟨ого⟩ стиля)» (опубликовано А. И. Серковым в кн.: *Киселёв Н. П.* Из истории русского розенкрейцерства. С. 31).

[12] Ср. свидетельства А. А. Тургеневой о Минцловой: «Бугаев был избран ею для непосредственных контактов с тем кругом, который она представляла. ⟨...⟩ Перед тем, как исчезнуть, она передала Бугаеву свое кольцо и несколько евангельских изречений — в качестве „опознавательных знаков" на случай возможной встречи в 1912 году. Бугаев не исключал подобной встречи, специально ее не ожидая» (*Тургенева Ася.* Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. М., 2002. С. 21).

[13] Фрагменты из стихотворения «Перед старой картиной» (1910 // *СП — 1.* С. 362—363).

[14] «Учебник ритма», составленный под редакцией Белого, предполагался к опубликованию в «мусагетском» двухмесячнике «Труды и дни», но там не появился; опубликован в новейшее время по гранкам из архива «Мусагета» С. С. Гречишкиным и А. В. Лавровым в кн.: Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 515). Тарту, 1981. С. 119—131.

[15] Характеристике междусловесных пауз и их классификации посвящена статья IV «Учебника ритма» (Там же. С. 122—124).

[16] Над неизданной книгой «О ритмическом жесте» Белый работал в феврале—марте 1917 г., перерабатывал ее в 1921 г. Сохранился ее черновой автограф (*РГБ.* Ф. 25. Карт. 4. Ед. хр. 1), из которого опубликованы предисловия и первая глава (см.: Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII. С. 132—139).

[17] Подробнее об отношениях Белого и Б. Л. Пастернака см.: Из переписки Бориса Пастернака с Андреем Белым / Вступ. ст., публ. и коммент. Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 686—706.

[18] Подразумевается кружок «Молодой Мусагет», руководимый Эллисом и К. Ф. Крахтом. См. примеч. 158 к гл. 9.

[19] Монсальват — замок Грааля в опере-мистерии Р. Вагнера «Парсифаль» (1882). Видимо, Белый подразумевает в данном случае главным образом круг интересов С. Н. Дурылина, автора книг «Рихард Вагнер и Россия. О Вагнере и будущих путях искусства» (М.: Мусагет, 1913) и «Церковь невидимого Града. Сказание о граде Китеже» (М.: Путь, 1914). Ср. позднейшее свидетельство С. Н. Дурылина о первой из этих книг: «Вагнер был читан у покойного

К. Ф. Крахта, в Вагнеровском кружке, в ноябре 1911 г. Сразу же попросили его у меня в „Мусагет" Сизов и Петровский. Э. К. Метнер читал его и одобрил 〈...〉» (*Дурылин Сергей*. В своем углу. М., 2006. С. 671).

[20] С лекцией «Трагедия творчества у Достоевского» Белый выступил в Московском Религиозно-философском обществе 1 ноября 1911 г.

[21] С. А. Муромцев скончался в Москве 4 октября 1910 г.

[22] Телеграмма приведена в книге М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (Пб.: Алконост, 1922. С. 140). См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 99.

[23] Сокращенная и неточная цитата из письма Блока к матери от 31 октября 1910 г., приведенная в книге М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (с. 140—141). См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 99.

[24] Цитата из книги М. А. Бекетовой о Блоке (с. 144). См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 101.

[25] Неточная цитата из приводимого М. А. Бекетовой фрагмента письма Блока к матери. Ср.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 96.

[26] См.: *Бекетова М. А.* Александр Блок. Биографический очерк. С. 136, 137, 140; *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 96, 97, 98.

[27] Четвертый сборник своих стихов «Ночные часы» Блок предложил для напечатания издательству «Мусагет» в декабре 1910 г. (см.: *Фрумкина Н. А., Флейшман Л. С.* А. А. Блок между «Мусагетом» и «Сирином» (Письма к Э. К. Метнеру) // Блоковский сборник, II. Тарту, 1972. С. 389; Неизданная переписка А. Блока и Э. К. Метнера / Публ., предисл. и коммент. А. В. Лаврова // Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 199—200). Книга вышла в свет в конце октября 1911 г.

[28] Имеется в виду фраза из биографического очерка М. А. Бекетовой «Александр Блок»: «В одном из писем Ал. Ал. сообщает матери 〈...〉 что много читает, что близок ему Ницше» (*Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 98). Подразумевается письмо Блока к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 22 октября 1910 г.: «Я 〈...〉 читал Ницше, который мне очень близок» (*Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 319). См.: *Паперный В. М.* Блок и Ницше // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. XXXI. Типология русской литературы и проблемы русско-эстонских литературных связей. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 491). Тарту, 1979. С. 84—106; *Labry R.* Alexandre Blok et Nietzsche // Revue des Études Slaves. 1951. N 17. P. 201—208.

[29] Л. Н. Толстой ушел из Ясной Поляны ранним утром 28 октября. Первые сведения об этом появились в газетах 30 октября (см.: Уход и смерть Льва Толстого: Корреспонденции. Статьи. Очерки. СПб., 2010. С. 23—29, 609).

[30] Ср. отзыв о заседании в письме В. Ф. Эрна к Е. Д. Эрн от 2 ноября 1910 г.: «Вчера было у нас заседание. Читал А. Белый „Трагедию творчества у Достоевского". Вечер вышел крайне интересным и оживленным. Реферат был блестящ, 〈*нрзб*〉 написан мастером слова. Прения также вышли очень удачными.

В них приняли участие: Брюсов, Струве, Волошин. Представь, рядом с Булгаковым сидел Блок! Говорил хорошо Бердяев. Рачинский насильно меня записал. Я сказал кратко, сжато, но, кажется, не без сгущенности. ⟨...⟩ Мы слышали, уходя, как на улице неистово спорили студенты о Достоевском» (Взыскующие града: Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках... / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. И. Кейдана. М., 1997. С. 292).

[31] Блок пробыл в Москве с 1 по 4 ноября 1910 г.

[32] Имеется в виду статья Мережковского «Балаган и трагедия», опубликованная в «Русском слове» 14 сентября 1910 г. (№ 211). См.: *Блок VIII*. С. 408—409 (комментарии Д. М. Магомедовой). Текст упомянутого письма Блока к Мережковскому нам неизвестен; ответное письмо Мережковского к Блоку от 24 ноября 1910 г. опубликовано З. Г. Минц в составе ее работы «Блок в полемике с Мережковскими» (см.: *Минц З. Г.* Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 594—595).

[33] Цитаты из писем Блока к матери (от 22 и 29 ноября 1910 г.) Белый приводит по книге М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (с. 143). См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 100—101.

[34] Идея издания журнала — «дневника трех поэтов» была высказана Вяч. Ивановым, который писал Блоку 20 января 1911 г.: «...давайте издавать Дневник трех поэтов, в котором мы на первом месте заявим, что пишем вместе, под одним заголовком, потому что просто так хотим, но не стремимся ни к единогласию, ни даже к гармонии трех безусловно не зависящих один от другого отделов, — не боимся даже и тройных повторений одной мысли, если таковые случатся, одним словом — *не читаем друг друга*, и все это потому, что знаем, что жили и живем *об одном*. Трое, конечно, — вы, Андрей Белый и я» (Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. Т. 41. № 2. С. 173—174. Публ. Н. В. Котрелева); Белый о ней узнал от Э. К. Метнера и поддержал эту инициативу (см. его письмо к Блоку, написанное в конце мая 1911 г. // *Белый — Блок*. С. 401—402, 404). Блок, излагая в письме к матери от 21 января 1911 г. замысел «дневника трех писателей», заключал: «Этот последний план всех заманчивей, конечно» (Письма Александра Блока к родным. М.; Л., 1932. Т. II. С. 113). В своих первоначальных очертаниях замысел не был реализован, но с 1912 г. при «Мусагете» стал выходить журнал «Труды и дни», в котором предполагалось ближайшее участие Белого, Блока и Иванова.

[35] Интерес А. Р. Минцловой к Блоку был непосредственно связан с восприятием ею его статьи «О современном состоянии русского символизма» (см. фрагмент из письма Минцловой к Вяч. Иванову от 6 июля 1910 г. с оценкой этой статьи // *ЛН*. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 369). См. также: *Богомолов Н. А.* К истолкованию статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» // Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 186—202.

[36] В. В. Казин учился в литературной студии московского Пролеткульта, где слушал (в 1920 г.) курс лекций Белого по стиховедению. Сохранились наброски

Белого к ритмическому анализу стихотворения Казина «Бреду я вечером на Пресню...» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 3. Ед. хр. 69).

[37] Ресторан И. Я. Тестова находился на Воскресенской площади (дом Патрикеева).

[38] Издание «Собрания стихотворений» Блока в трех книгах было осуществлено «Мусагетом» в 1911—1912 гг.

[39] В квартире В. Ф. Марконета (родственника С. М. Соловьева) на Спиридоновке, близ Никитских ворот, А. А. Блок и Л. Д. Блок жили во время своего первого совместного посещения Москвы (10—24 января 1904 г.). См.: *О Блоке*. С. 67—73; *Лесневский Станислав*. Путь, открытый взорам. Московская земля в жизни Александра Блока. Биографическая хроника. М., 1980. С. 166—168.

[40] Начальная строфа стихотворения (март 1909 // *Блок III*. С. 49).

[41] 4 ноября 1910 г., последний день пребывания Блока в Москве.

[42] Неточная цитата из книги М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (с. 144). См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 101.

[43] Возникновение замысла «Возмездия» относится к началу 1910 г., непосредственная работа над поэмой началась летом того же года и была активно продолжена в 1911 г. См.: *Блок V*. С. 383—387 (комментарии И. А. Ревякиной).

[44] Белый и А. Тургенева выехали из Москвы в заграничное путешествие 26 ноября/9 декабря 1910 г.; на Сицилии они провели вторую половину декабря, в Африке (Тунис, Египет) пребывали с начала января до начала апреля 1911 г., затем посетили Иерусалим и 5 мая (22 апреля ст. ст.) возвратились в Россию (в Одессу). См.: Путешествие на Восток. Письма Андрея Белого / Публ., вступ. ст. и коммент. Н. В. Котрелева // Восток — Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 143—177.

[45] В издательстве «Геликон» вышел в свет только 1-й том «Путевых заметок» («Сицилия и Тунис») Белого (М.; Берлин, 1922); тот же текст (без двух небольших фрагментов) был опубликован «Книгоиздательством писателей в Москве» в 1921 г. под заглавием «Офейра. Путевые заметки. Часть I». 2-й том отдельной книгой при жизни автора напечатан не был, сохранился в гранках, оттиснутых для издательства «Геликон» (под заглавием «Тунисия и Египет»); опубликован С. Ворониным под заглавием «Африканский дневник» (с предисловием Н. Котрелева) в сб.: Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Вып. I. М., 1991. С. 327—454.

[46] Подразумевается: подопытным кроликом. Kaninchen (*нем.*) — кролик.

[47] См. примеч. 315 к гл. 8-й.

[48] Радес — арабская деревня близ Туниса, в которой Белый и А. Тургенева жили с 15 января до 7 марта (н. ст.) 1911 г.

[49] Имеется в виду письмо из Радеса от 12 февраля (н. ст.) 1911 г., в котором, однако, основной темой были взаимоотношения Белого, в том числе и финансовые, с издательством «Мусагет» (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 29).

[50] Имеется в виду письмо Э. К. Метнера от 19 февраля/4 марта 1911 г. (РГБ. Ф. 25. Карт. 20. Ед. хр. 7; авторская копия: РГБ. Ф. 167. Карт. 5. Ед. хр. 21). В Каир Белый и А. Тургенева прибыли 1/14 марта, выехали оттуда в Палестину около 26 марта/8 апреля 1911 г.

[51] Это письмо Белого (с припиской А. Тургеневой) было отправлено из Каира 21 марта/3 апреля 1911 г. (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 37).

[52] Сокращенная цитата (*Бекетова М. А.* Александр Блок. Биографический очерк. С. 144). См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 101.

[53] Белый и А. Тургенева приехали в Боголюбы 25 апреля 1911 г.; в Москву после этого Белый приехал 8 мая и отбыл обратно в Боголюбы 18 мая.

[54] С. Н. Булгаков был посвящен в планы Белого написать новый роман (будущий «Петербург»), первоначально задуманный как непосредственное продолжение «Серебряного голубя» и часть будущей романной трилогии. Ср. запись Белого о московских встречах в мае 1911 г.: «...происходит мое сближение с Булгаковым, подбивающим меня писать роман для „*Русской Мысли*"; он ведет переговоры со Струве обо мне» (*МБ*. Л. 60). 13 февраля 1911 г. Булгаков писал Белому в Тунис: «...желаю вам вдохновения, сил и самоотвержения для художественного подвига, который вы на себя подъяли планом своей трилогии» (РГБ. Ф. 25. Карт. 10. Ед. хр. 10).

[55] Варвара Владимировна Кампиони и Михаил Алексеевич Тургенев, сын С. Н. Кампиони и А. Н. Тургенева (умер в Польше в 1939 г.).

[56] «Путевые заметки» (в первоначальной редакции) были завершены Белым в сентябре 1911 г.

[57] См. недатированные письма М. К. Морозовой к Белому (июнь—июль 1911 г.) с приглашением приехать в ее имение Михайловское в Калужской губернии («Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901—1928. М., 2006. С. 170—171, 174—175).

[58] «И опять, и опять, и опять...» (1911 // *СП — 1.* С. 372).

[59] «На поле Куликовом» («4. Опять с вековою тоскою...», 31 июля 1908 // *Блок III.* С. 172).

[60] «Голос прошлого» («I. В веках я спал... Но я ждал, о Невеста...», 1911 // *СП — 1.* С. 373).

[61] Ср. запись Белого о сентябре 1911 г. (о поездке в Михайловское): «Месяц открывается гощением у Морозовой; проводим у нее в Калужской губернии 2 недели» (*МБ*. Л. 60 об.).

[62] Белый жил на даче А. Н. Депре в Видном близ Москвы (станция Расторгуево Павелецкой железной дороги) с конца сентября до середины ноября 1911 г.; там он приступил к работе над новым романом (будущим «Петербургом»).

[63] Ср. письмо Белого к А. А. Рачинской от 1 декабря 1911 г.: «...мне заказан роман в „Русскую Мысль", от возможности написания которого зависит просто наше существованье с женой 1912 года. ⟨...⟩ если к первому январю я не представляю в „*Русскую Мысль*" определенное (очень большое) количество печатных страниц, мой роман откладывается до 1913 года, то есть я лишаюсь средств к существованию на 1912 год» (*Малмстад Джон.* Андрей

Белый и Г. А. Рачинский // Russian Literature. LVIII—I/II (2005). С. 138—139).

[64] Развернутый анализ «Серебряного голубя» Н. А. Бердяев предпринял в статье «Русский соблазн» (Русская мысль. 1910. № 11; см.: Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников: Антология. СПб., 2004. С. 267—278). С. Н. Булгаков дал свою оценку в письме к Белому от 13—17 декабря 1910 г.: «Я совершенно потрясен вашей книгой. В ней вам удалось, нет, *дано* вам такое проникновение в народную душу, какого мы не имели еще со времен Достоевского. В ней совершилось чудо художественного ясновидения. Пред вашим творчеством распахнулись сокровенные тайны народной души в ее натуралистической и, как вы со всей силой показали, неизбывно демонической стихии. За вашим романом для меня оживал и Розанов, и становился понятен соблазн петербургских радений, и „глубины сатанинские" мистического сектантства. И, хотели ли вы этого или не хотели, но то, что в вас — эмпирическом — больше вас, — ваш дар, такой ответственный и страшный, явил такое разительное свидетельство истины Церкви, которая одна спасает нас от всех чар кудеяровских, изгоняет бесов, дает мужественную, а не пассивную жизнь духовную. Вам приходится нести и крест своего служения, холодное непонимание, равнодушие толпы, но это хороший знак, вы сами это знаете. Но рано или поздно поймут — услышат вашу художественную речь» (Новый мир. 1989. № 10. С. 238—239. Публ. И. Б. Роднянской).

[65] В письме к Блоку от 24 ноября 1912 г., касаясь вопроса о передаче «Путевых заметок» Белого из «Мусагета» в издательство «Сирин», Э. К. Метнер, однако, отмечал: «Это вещь не менее гениальная, нежели роман» (Александр Блок: Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 208. Роман — «Петербург»). В издательстве «Сирин» «Путевые заметки» также не были изданы.

[66] Подразумевается путеводитель известной издательской фирмы Карла Бедекера.

[67] Инициатива в данном случае от Блока не исходила. Деньги от Блока Белый получил во второй половине ноября 1911 г., после того как в письме к нему от 15 или 16 ноября 1911 г. сам просил похлопотать «у какой-нибудь редакции» об авансе в 500 руб. (*Белый — Блок*. С. 426—427). Ср. дневниковую запись Блока от 17 ноября 1911 г.: «Отчаянное письмо от Бори — о деньгах» (*Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 92). Письмо Блока к Белому, оповещавшее о высылке нужной денежной суммы, не сохранилось.

[68] См. благодарственные письма Белого к Блоку от 19 и 26 ноября 1911 г. (*Белый — Блок*. С. 428—432).

[69] Судя по переписке Брюсова и П. Б. Струве (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 43—45, 59—68), в «Русской мысли» обычно за 1 печ. лист художественной прозы известным писателям платили от 150 до 250 руб., но были и отступления от этого правила (Д. С. Мережковскому, например, за роман «Александр I» предполагалось платить по 400 руб. с листа; см. письмо Брюсова к Струве от 12 сентября 1910 г.: Литературный архив. Т. 5. М.; Л., 1960. С. 278).

[70] А. М. Поццо жил в 6-м Ростовском переулке в доме Орлова (№ 11).

[71] Белый приехал в Бобровку в начале декабря 1911 г., в Москву возвратился 25 декабря.

[72] 10 января 1912 г. Белый писал Брюсову: «...моя порция романа „Злые тени" готова; задержка лишь за ремингтоном. ⟨...⟩ 15 или 16 числа я очень хотел бы видеться с вами, чтобы лично вам передать роман. Оконченная порция представляет собой около 13 печатных листов (12 $^1/_2$ приблизительно); состоит из четырех очень больших глав (три последние представлю до апреля—мая, чтобы к моменту предполагаемого печатания у вас весь роман был на руках») (*ЛН*. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 425).

[73] Роман Д. А. Абельдяева «Тень века сего. Записки Абашева» был напечатан в № 6—12 «Русской мысли» за 1912 г.

[74] Это письмо Струве к Белому, видимо, не сохранилось. О его содержании можно судить по письму Струве к Брюсову от 2 февраля 1912 г.: «Спешу вас уведомить, что относительно романа Белого я пришел к совершенно категорическому *отрицательному* решению. Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно до последней степени. Я уже уведомил Белого о своем решении (телеграммой и письмом) — я заезжал к нему на квартиру Вяч. Ив. Иванова, но не застал его там. Мне лично жаль огорчать Белого, но я считаю, что из расположения к нему следует отговорить его от печатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написанной» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 65). Причины, которые могли побудить Струве к принятию такого решения, анализируются в статье М. А. Колерова «Почему П. Б. Струве отказался печатать „Петербург" А. Белого» (De Visu. 1994. № 5/6. С. 86—88).

[75] Белый не знал, что Брюсов в ходе внутриредакционных переговоров пытался склонить Струве к решению о публикации романа; в письме к Струве (опубликованном в статье И. Г. Ямпольского «Валерий Брюсов о „Петербурге" Андрея Белого») он отмечал: «Достоинства у романа есть бесспорные. Все же *новый роман Белого* есть некоторое событие в литературе, интересное само по себе, даже независимо от его абсолютных достоинств. Отдельные сцены нарисованы очень хорошо, и некоторые выведенные типы очень интересны. Наконец, самая оригинальная манера письма, конечно, возбудит любопытство, наряду с хулителями найдет и страстных защитников и вызовет подражания» (*Ямпольский И.* Поэты и прозаики. Л., 1986. С. 349). См. также: *Черников И. Н.* В. Я. Брюсов и творческая история романа А. Белого «Петербург» // Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985. С. 206—213.

[76] Белый и А. Тургенева приехали в Петербург 21 января, остановились в квартире Вяч. Иванова. Белый возвратился в Москву 28 или 29 февраля 1912 г.

[77] Подробнее о восприятии романа Белого петербургскими литераторами и о конфликте со Струве см.: *Долгополов Л. К.* Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» // Андрей Белый. Петербург. 2-е изд., испр. и доп. / Изд. подгот. Л. К. Долгополов. СПб., 2004. С. 554—559. (Серия «Литературные памятники»).

[78] Кроме этого раннего варианта заглавия будущего «Петербурга» фигурировали и другие авторские варианты: «Путники», «Злые тени», «Красное домино». См.: *Долгополов Л.* Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 200—202.

[79] Подразумевается намеченный отъезд из Москвы в Брюссель — в гравировальную школу Данса.

[80] Доклад о работе Ритмического кружка над изучением пятистопного ямба Белый прочел 28 января 1912 г. (см.: *Недоброво Н. В.* Общество Ревнителей Художественного Слова в Петербурге // Труды и дни. 1912. № 2. С. 25), со вторым докладом он выступал в Обществе ревнителей художественного слова 18 февраля. «Материал на тему: „солнце, луна, воздух, вода, небо" у Пушкина, Тютчева, Баратынского» (*МБ.* Л. 57 об.) Белый собирал в июне 1910 г., эти разыскания легли в основу статьи «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы», опубликованной 26 июля 1916 г. в «Биржевых ведомостях» (утр. вып.). См.: *Андрей Белый.* Поэзия слова. Пб.: Эпоха, 1922. С. 7—19.

[81] 1-й номер «Трудов и дней» (1912, январь—февраль) открывается статьями «Мысли о символизме» Вяч. Иванова и «О символизме» Белого.

[82] А. А. Блок и Л. Д. Блок выехали в заграничное путешествие 5 июля и возвратились в Петербург 7 сентября 1911 г.: более месяца провели в Бретани, десять дней в Париже, неделю в Бельгии и Голландии (см. составленную Вл. Орловым хронологическую канву жизни и творчества Блока: *Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 532).

[83] Цитата из письма Блока приводится в книге М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (с. 163). См.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 113.

[84] Как свидетельствует в мемуарах Вл. Пяст, Блок принимал «живое участие» в организации его поездки в Стокгольм весной 1912 г. к смертельно больному А. Стриндбергу (*Пяст Вл.* Встречи. М., 1997. С. 151, 348—350 (комментарии Р. Тименчика)). См.: *Шарыпкин Д.* 1) Блок и Стриндберг // Вестник Ленинградского университета. 1963. № 2. Серия истории, языка и литературы. Вып. 1. С. 82—91; 2) Скандинавская литература в России. Л., 1980. С. 267—270; *Минц З. Г.* Переписка ⟨Блока⟩ с Вл. Пястом // Минц З. Г. Александр Блок и русские писатели. С. 687—688; *Иванов Вяч. Вс.* Блок и Стриндберг; Письмо Фредерики А. Стриндберг к Блоку / Публ. К. Н. Суворовой; Из воспоминаний дочери А. Стриндберга Карин Смирновой / Предисл., публ. и примеч. А. Е. Парниса и М. Юнггрена // *ЛН.* Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1993. Кн. 5. С. 402—424.

[85] Цитаты (с неточностями) из стихотворения «Вячеславу Иванову» («Был скрипок вой в разгаре бала...», 18 апреля 1912 г. // *Блок III.* С. 99—100).

[86] Эта встреча состоялась 24 февраля 1912 г. «Сегодня мы целый день провели с Борей», — сообщал Блок матери в этот день; на следующий день в письме к ней же он уточнял: «Мы говорили вчера 6 часов» (Письма Александра Блока к родным. Т. II. С. 190, 193). Ср. дневниковую запись Блока от 26 февраля

1912 г.: «24-го весь день провел с *Борей* (у Лейнера). Облик Бори, впечатление от него и от его слов. Очень важное сообщение» (*Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 129).

[87] См.: *Княжнин В. Н.* Александр Александрович Блок. Пб.: Колос, 1922. С. 110.

[88] См.: *Бекетова М. А.* Александр Блок. Биографический очерк. С. 179 (цитата из письма Блока к матери от 21 июля 1912 г.); *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 123.

[89] См.: *Бекетова М. А.* Александр Блок: Биографический очерк. С. 151—152 (цитаты из писем Блока к матери от 28 февраля и 8 марта 1911 г.); *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 105—106.

[90] Цитаты из стихотворения «Из хрустального тумана...» (6 октября 1909 // *Блок III*. С. 9). Гильда — фрёкен Хильда Вангель, героиня драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес» (1892).

[91] Цитаты (с неточностью) из стихотворения «Унижение» («В черных сучьях дерев обнаженных...», 6 декабря 1911 // *Блок III*. С. 19).

[92] Неточная цитата из статьи «Дитя Гоголя» (март 1909) по Собранию сочинений Блока, вышедшему в Берлине в 1923 г. в издательстве «Эпоха». Ср.: *Блок VIII*. С. 108.

[93] Сокращенная цитата из статьи «Безвременье» (октябрь 1906; раздел 2 — «С площади на „луг зеленый"»: *Блок VII*. С. 24).

[94] Цитаты (с неточностями) из той же статьи (*Блок VII*. С. 26).

[95] Неточная и сокращенная цитата (*Блок VIII*. С. 130).

[96] Сокращенные цитаты из статьи «Безвременье» (разделы 2 — «С площади на „луг зеленый"» и 3 — «Русская литература»: *Блок VII*. С. 24, 25, 31).

[97] «Ад» («Inferno», 1897) — автобиографический роман А. Стриндберга. Блок читал его в январе 1912 г. (см. его дневниковую запись от 17 января 1912 г.: *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 124—125).

[98] Неточная цитата. Ср.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 119.

[99] Первая личная встреча Белого с Р. Штейнером состоялась в Кёльне 7 мая 1912 г.

[100] 31 октября 1911 г. в состоянии нервно-психического расстройства С. М. Соловьев покушался на самоубийство, после чего был направлен в психиатрическую лечебницу, где провел несколько месяцев. В ноябре—декабре 1911 г. Белый неоднократно писал Блоку об этих обстоятельствах (см.: *Белый — Блок*. С. 420—421, 423, 433).

[101] Эллис выехал из Москвы в Карлсруэ (где Р. Штейнер с 5 по 14 октября 1911 г. читал лекционный курс «От Иисуса ко Христу»), видимо, в середине сентября ст. ст. 1911 г. (сопроводительное письмо из Москвы Б. П. Григорова к Штейнеру датировано 17 сентября 1911 г.; см.: *Maydell Renata, von.* Vor dem Thore. Ein Vierteljahrhundert Anthroposophie in Russland. Bochum; Freiburg, 2005. S. 103). Решение стать последователем учения Р. Штейнера Эллис принял летом 1911 г., но еще в 1910 г. обращался в письме к Штейнеру со словами: «Высоко-

чтимый и бесконечно-любимый учитель!» (*Майдель Рената, фон.* «Спешу спокойно...»: К истории оккультных увлечений Эллиса // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 221); в 1911 г. он представил Штейнеру «Предварительный Краткий отчет о теософических кружках в Москве за 1911 г.» (см.: Там же. С. 224—235). В июне 1911 г. Эллис писал Белому: «Моя судьба на карте. С одной стороны, получил интимные циклы лекций от Доктора, внесен в члены Теософич⟨еского⟩ об⟨щест⟩ва, решил увидаться с Доктором в Гельсингфорсе, чувствую, что теперь для меня настало самое роковое в моей жизни» (РГБ. Ф. 25. Карт. 25. Ед. хр. 31). Заявление о вступлении в Германское отделение Теософского общества Эллис подал в Карлсруэ 5 октября 1911 г., членский билет был выдан ему 3 ноября 1911 г. (*Майдель Рената, фон.* «Спешу спокойно...» С. 215).

[102] Цитата из воспоминаний В. А. Зоргенфрея «Александр Александрович Блок (По памяти за пятнадцать лет: 1906—1921 гг.)», опубликованных в № 6 «Записок мечтателей» (Пб., 1922). См.: Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 14.

[103] Сведения, сообщаемые Белым, не соответствуют действительности: в «Цех поэтов», организованный Н. Гумилевым и С. Городецким осенью 1911 г., Блок не входил и уже тем самым не мог быть исключен из него; он лишь присутствовал на первом организационном собрании «Цеха поэтов» 20 октября 1911 г. на квартире Городецкого (и описал происходившее в этот день в дневнике; см.: *Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. С. 75—76), но, по свидетельству Вас. В. Гиппиуса («Встречи с Блоком»), «в прениях не участвовал и в „Цехе" с тех пор ни разу, кажется, не бывал» (*Гиппиус В. В.* От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 335).

[104] Имеется в виду содержание III акта 2-й части «Фауста» Гёте.

[105] «О, нет! не расколдуешь сердца ты...» (15 декабря 1913 // *Блок III.* С. 103).

[106] «На поле Куликовом» («3. В ночь, когда Мамай залег с ордою...», 14 июня 1908 // *Блок III.* С. 172).

[107] Тема чудотворной иконы Божьей Матери «*Утоли мои печали*» развивается в стихотворении Блока «За гробом» («Божья Матерь *Утоли мои печали...*», 1908 // *Блок III.* С. 87, 768 (комментарий Н. В. Лощинской)). См.: *Левинтон Г. А.* Заметки о фольклоризме Блока // Миф — фольклор — литература. Л., 1978. С. 181—183.

[108] Переписка между Блоком и Клюевым началась осенью 1907 г. См.: *Клюев Н. А.* Письма к Александру Блоку. 1907—1915 / Публ., ст. и коммент. К. М. Азадовского. М., 2003.

[109] Сокращенная цитата из гл. XI 1-го тома «Мертвых душ» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 6. ⟨Л.⟩, 1951. С. 220).

[110] Обыгрывается образный строй стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю...» (1841).

[111] «За гробом» (*Блок III.* С. 87). Неточная цитата.

[112] «На железной дороге» («Под насыпью, во рву некошенном...», 14 июня 1910 // *Блок III.* С. 178).

[113] «Унижение» (*Блок III.* С. 19).

[114] «Ангел-Хранитель» (17 августа 1906 // *Блок II.* С. 76—77). Неточная цитата.

[115] «Вот он — ряд гробовых ступеней...» (18 июня 1904 // *Блок I.* С. 178).

[116] Цитаты из стихотворения «Клеопатра» (10 декабря 1907 // *Блок II.* С. 138—139).

[117] В демонологии суккуб (от *лат.* succubare — «лежать под») — демон в женском облике, вступающий в телесное общение с мужчиной или искусно имитирующий половую связь (см.: Сад демонов: Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения / Авт.-сост. А. Е. Махов. М., 1998. С. 143—147).

[118] «Вербы — это весенняя таль...» (30 марта 1914 // *Блок III.* С. 153).

[119] «Есть демон утра. Дымно-светел он...» (24 марта 1914 // *Блок III.* С. 151).

[120] «Черная кровь» («3. Даже имя твое мне презренно...», 30 января 1914 // *Блок III.* С. 35).

[121] «Черная кровь» («8. Я ее победил, наконец!..», октябрь 1909 // *Блок III.* С. 37).

[122] «Как свершилось, как случилось?..» (19 декабря 1912 // *Блок III.* С. 54).

[123] Цитаты из стихотворения «Песнь Ада» («День догорел на сфере той земли...», 31 октября 1909 // *Блок III.* С. 10, 13).

[124] «Унижение» (*Блок III.* С. 19). Неточная цитата.

[125] «К Музе» (29 декабря 1912 // *Блок III.* С. 7).

[126] «Шар раскаленный, золотой...» (6 января 1912 // *Блок III.* С. 133).

[127] Весь текст стихотворения (4 марта 1914 // *Блок III.* С. 149). Неточная цитата.

[128] «Он занесен — сей жезл железный...» (3 декабря 1914 // *Блок III.* С. 144).

[129] Первые строки стихотворения (26 августа 1914 // *Блок III.* С. 185).

[130] «Двенадцать», гл. 5-я (*Блок V.* С. 13).

[131] Имеется в виду заключительная сцена V акта 2-й части «Фауста» Гёте.

[132] Первые строки стихотворения (3 июня 1905 // *Блок II.* С. 55).

[133] «Грешить бесстыдно, непробудно...» (*Блок III.* С. 185).

[134] Герои повести Н. В. Гоголя «Страшная месть». Белый обыгрывает эти образы в статье «Луг зеленый» (1905), открывающей одноименную книгу его статей (М., 1910).

[135] «Есть игра: осторожно войти...» (18 декабря 1913 // *Блок III.* С. 27).

[136] Клингзор — персонаж оперы-мистерии Р. Вагнера «Парсифаль» (1882); злой маг-чародей.

[137] «Россия» («Опять, как в годы золотые...», 18 октября 1908 // *Блок III.* С. 173—174). Неточная цитата.

[138] См. примеч. 91 к гл. 4-й.

[139] «Россия» (*Блок III.* С. 174). Неточная цитата.

[140] «Вот он — ряд гробовых ступеней...» (*Блок I.* С. 178).

141 «Перед судом» («Что же ты потупилась в смущеньи?..», 11 октября 1915 // *Блок III.* С. 105). Неточная цитата.

142 «Ты отошла, и я в пустыне...» (30 мая 1907 // *Блок III.* С. 167). Неточная цитата.

143 «Я пригвожден к трактирной стойке...» (26 октября 1908 // *Блок III.* С. 117). Неточная цитата.

144 «В густой траве пропадешь с головой...» (12 июля 1907 // *Блок III.* С. 168).

145 «Осенний день» («Идем по жнивью, не спеша...», 1 января 1909 // *Блок III.* С. 175).

146 «Последнее напутствие» («Боль проходит понемногу...», 14 мая 1914 // *Блок III.* С. 184). Неточная цитата.

147 Цитата из романса «Не уходи, не покидай» («Не уходи, побудь со мною...»; М., 1900; слова М. П. Пойгина, музыка Н. Зубова), пользовавшегося известностью в исполнении В. В. Паниной. См.: Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988. Т. 1. С. 363. («Библиотека поэта». Большая серия). Первые две фразы цитируемого текста Блок взял эпиграфом к стихотворению «Дым от костра струею сизой...» (август 1909 // *Блок III.* С. 175).

148 Цитаты (с неточностями) из стихотворения «Дым от костра струею сизой...» (*Блок III.* С. 175).

149 Мария Египетская (VI в.) — христианская святая. По преданию, в молодости была блудницей; присоединившись к паломникам, которые шли в Иерусалим, обратилась к вере и 47 лет прожила в покаянии в пустыне заиорданской.

150 «В ресторане» («Никогда не забуду, он был, или не был...», 19 апреля 1910 // *Блок III.* С. 16). Неточная цитата.

151 Первая строка стихотворения (26 марта 1904 // *Блок I.* С. 172).

152 Имеется в виду Слово протоиерея отца Александра Введенского, посвященное памяти Блока (13/28 августа 1921 г.), в котором, в частности, отмечалось: «Одна особа, которая хорошо знает Блока по его произведениям, говорила мне, что когда читаешь его и проникаешь в его поэзию, тогда Блок, как религиозный мыслитель, как религиозный творец, представляется чем-то чуждым и случайным. Он — иной. Прежде всего вспоминаются его слова о том, что „я послал тебе черную розу в бокале", в котором было налито золотистое Аи. Блок, который умел, кажется, как никто из современных поэтов, выявить всю яркость и красоту этого мира, со всеми его тонкостями и нюансами, — подчеркивая всю красоту до мельчайших изгибов ее, Блок — служитель потустороннего, нездешнего, мистического мира, представляется как бы не в той роли, в которой он, может быть, и сам хотел выступить» (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 8. Ед. хр. 27. Л. 3).

153 «Россия» (*Блок III.* С. 173).

154 Цитаты (с неточностями) из стихотворения «Последнее напутствие» (*Блок III.* С. 184).

155 «Есть игра: осторожно войти...» (18 декабря 1913 // *Блок III.* С. 27).

156 Цитаты из 4-го стихотворения («Опять с вековою тоскою...», 31 июля 1908) цикла «На поле Куликовом» (*Блок III.* С. 172).

[157] «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (28 февраля 1910 // *Блок III*. С. 176).

[158] «Есть игра: осторожно войти...» (*Блок III*. С. 26).

[159] Ср.: «Темно-желтая пара Липпанченки напомнила незнакомцу темно-желтый цвет обой его обиталища на Васильевском Острове — цвет, с которым связалась бессонница и весенних, белых, и сентябрьских, мрачных, ночей; и, должно быть, та̀ злая бессонница вдруг в памяти ему вызвала одно роковое лицо с узкими, монгольскими глазками; то лицо на него многократно глядело с куска его желтых обой» (*Андрей Белый*. Петербург. СПб.: Наука, 2004. С. 42).

[160] «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (*Блок III*. С. 176).

[161] Кундри — героиня оперы-мистерии Р. Вагнера «Парсифаль», прекрасная девушка, грешница, беспрекословно повиновавшаяся воле мага Клингзора.

[162] Цитаты из 5-го стихотворения («Опять над полем Куликовым...») цикла «На поле Куликовом» (*Блок III*. С. 173).

[163] «На поле Куликовом» («4. Опять с вековою тоскою...» // *Блок III*. С. 172).

[164] Сокращенные цитаты из «берлинской» (сокращенной) редакции романа (*Андрей Белый*. Петербург. М.: Художественная литература, 1978. С. 90, 94).

[165] Сокращенные цитаты (Там же. С. 197, 196).

[166] См.: Там же. С. 223.

[167] См.: Там же. С. 50.

[168] Сокращенная цитата (Там же. С. 91).

[169] Сокращенная цитата (Там же. С. 272).

[170] См.: Там же. С. 197.

[171] Цитаты из 1-го стихотворения («Река раскинулась. Течет, грустит лениво...») цикла «На поле Куликовом» (*Блок III*. С. 170).

[172] «На поле Куликовом» («3. В ночь, когда Мамай залег с ордою...» // *Блок III*. С. 171—172). Неточная цитата.

[173] Непосредственным основанием для такого сближения была руководящая роль Р. В. Иванова-Разумника в организации сборников «Скифы» и формировании группы писателей, в них участвовавших; он же был ведущим публицистом, стоявшим в 1917—1918 гг. на левоэсеровских позициях (формально в партию левых эсеров, однако, не входившим). См. главу «„Скифы", как литературные попутчики левых эсеров» в кн.: *Леонтьев Я. В.* «Скифы» русской революции: Партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М., 2007. С. 156—221.

[174] Карма — древнеиндийское этико-религиозное понятие, воспринятое теософией: совокупность всех добрых и дурных деяний, совершенных индивидуумом в прежних существованиях и определяющих его судьбу в последующих. «Карма ни наказывает, ни награждает, она есть просто *единый* Всеобщий *Закон*, безошибочно и, так сказать, слепо направляющий все другие законы, производящие определенные результаты в направлениях, определенных соответствующими им причинностями» (*Блаватская Е. П.* Теософский словарь. М., 1994. С. 216).

[175] Имеется в виду предфинальная сцена повести Гоголя «Вий». См.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 2. ⟨Л.⟩, 1937. С. 217.

[176] «Идут часы, и дни, и годы...» (4 октября 1910 // *Блок III.* С. 18).

[177] Подразумевается стихотворение В. Я. Брюсова «Грядущие гунны» (1905 // *Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 433).

[178] Люцифер и Ариман — в антропософии символы двух полярных духовных сил, в противостоянии которых осуществляется самопознание и развитие человека: «Ариман — более духовное существо, Люцифер — более душевное существо. Ариман является ⟨...⟩ господином того, что происходит во внешней природе, Люцифер проникает со своими импульсами внутрь человека»; «Люцифер — это высокомерный дух, который любит больше всего смотреть с высоты птичьего полета; Ариман — морально одинокий дух ⟨...⟩ который вгоняет свое существо в подсознание человека»; «Ариманическое выступает как ложный путь в виде педантизма, филистерства, односторонней рассудочности. С другой стороны встает то, что ⟨...⟩ в необходимой линии развития человека стоит впереди, что развивает волю к свободе, волю к использованию материального бытия, ведет человека к освобождению и т. д. Люциферическое в человеческой душе представляет все то, благодаря чему человек желает вырваться вверх, выйти из себя. Благодаря этому он попадает в *туманно-мистическое.* Благодаря этому он может выйти в те сферы, в которых всякая мысль о материальном станет неприятной, покажется низкой, так что он будет подведен к тому, чтобы материальное бытие полностью презирать и направляться лишь к тому, что лежит над материальным» (Anthropos. Опыт энциклопедического изложения духовной науки Рудольфа Штайнера / Сост. Г. А. Бондарев. М., 1999. Т. I. С. 277—278, 283).

[179] «Сбежал с горы и замер в чаще...» (*Блок I.* С. 113).

[180] Первая строка поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1830—1839).

[181] «Сбежал с горы и замер в чаще...» (*Блок I.* С. 113).

[182] Подразумевается божественный свет с неба, осиявший Савла, гонителя христиан, на пути в Дамаск (Деяния, IX, 1—9).

[183] «Ты отошла, и я в пустыне...» (*Блок III.* С. 167).

[184] Подразумеваются статьи А. Блока «Крушение гуманизма» (март—апрель 1919) и, видимо, «Интеллигенция и революция» (январь 1918).

[185] «Молитвы» («1. Сторожим у входа в терем...» // *Блок I.* С. 173).

[186] «Ночная Фиалка» (*Блок II.* С. 25).

[187] «Незнакомка» («По вечерам над ресторанами...», 24 апреля 1906 // *Блок II.* С. 123).

[188] «По городу бегал черный человек...» (апрель 1903 // *Блок I.* С. 154). Неточная цитата.

[189] Неточные цитаты из стихотворения «Двойник» («Однажды в октябрьском тумане...», октябрь 1909 // *Блок III.* С. 9—10).

[190] Цитаты из стихотворения «На островах» («Вновь оснеженные колонны...», 22 ноября 1909 // *Блок III.* С. 14).

[191] Цитата из того же стихотворения (*Блок III.* С. 14).

[192] «Дух пряный марта был в лунном круге...» (6 марта 1910 // *Блок III*. С. 15).

[193] Первые строки 6-го стихотворения (2 января 1914) цикла «Черная кровь» (*Блок III*. С. 36).

[194] Неточные цитаты из стихотворения «Унижение» (*Блок III*. С. 19).

[195] «Как свершилось, как случилось?..» (19 декабря 1913 // *Блок III*. С. 53).

[196] «Я пригвожден к трактирной стойке...» (26 октября 1908 // *Блок III*. С. 116—117).

[197] «Друзьям» («Друг другу мы тайно враждебны...», 24 июля 1908 // *Блок III*. С. 88). Неточная цитата.

[198] «Ты в комнате один сидишь...» (*Блок III*. С. 49).

[199] «Миры летят. Года летят. Пустая...» (2 июля 1912 // *Блок III*. С. 25).

[200] «Унижение» (*Блок III*. С. 19).

[201] «Ночь — как ночь, и улица пустынна...» (4 ноября 1908 // *Блок III*. С. 45).

[202] «Как свершилось, как случилось?..» (*Блок III*. С. 53). Неточная цитата.

[203] «Пляски смерти» («2. Ночь, улица, фонарь, аптека...», 10 октября 1912 // *Блок III*. С. 23).

[204] «Пляски смерти» («3. Пустая улица. Один огонь в окне...», октябрь 1912 // *Блок III*. С. 23). Неточная цитата. Venena (*лат.*) — яд.

[205] Первые строки стихотворения (октябрь 1913 // *Блок III*. С. 195).

[206] «Как свершилось, как случилось?..» (*Блок III*. С. 52—53). Неточные цитаты.

[207] «Было то в темных Карпатах...» (*Блок III*. С. 195).

[208] «Жизнь моего приятеля» («8. Говорит смерть», 10 декабря 1915 // *Блок III*. С. 33—34).

[209] «Было то в темных Карпатах...» (*Блок III*. С. 195).

[210] Подразумевается колдун, преследуемый всадником-мстителем на Карпатах, в повести Гоголя «Страшная месть».

[211] «Пляски смерти» («3. Пустая улица. Один огонь в окне...» // *Блок III*. С. 23).

[212] «Как свершилось, как случилось?..» (*Блок III*. С. 54).

[213] «Мы живем в старинной келье...» (18 февраля 1902 // *Блок I*. С. 95).

[214] Неточная и сокращенная цитата из предисловия к «Возмездию» (12 июля 1919 // *Блок V*. С. 49—50).

[215] См. примеч. 147 к гл. 8-й. О мотиве ковки меча в поэме Блока «Возмездие» см. в статье Д. М. Магомедовой «Блок и Вагнер» (*Магомедова Д. М.* Автобиографический миф в творчестве А. А. Блока. М., ⟨1997⟩. С. 91).

[216] «Возмездие», Пролог (*Блок V*. С. 21).

[217] Имеется в виду эпизод убийства Зигфрида Хагеном (предательский удар в спину копьем) в третьем действии музыкальной драмы Р. Вагнера «Гибель богов» (1876).

[218] Цитаты из Пролога к «Возмездию» (*Блок V*. С. 21, 23).

[219] Сокращенная цитата (*Блок V*. С. 51).

[220] Неточные цитаты из третьей главы «Возмездия» (*Блок V.* С. 52, 59).

[221] Неточные и сокращенные цитаты из «четвертой симфонии» Белого «Кубок метелей» (М.: Скорпион, 1908). Страницы в скобках указаны по этому изданию. Ср.: *Симфонии.* С. 263—264, 262, 287, 291.

[222] Цитаты из третьей главы «Возмездия» (*Блок V.* С. 53, 56, 54—55).

[223] «Ты в комнате один сидишь...» (*Блок III.* С. 49).

[224] «Шаги Командора» («Тяжкий, плотный занавес у входа...», сентябрь 1910—16 февраля 1912 // *Блок III.* С. 51).

[225] Неточные цитаты из стихотворения «Я их хранил в приделе Иоанна...» (8 ноября 1902 // *Блок I.* С. 135).

[226] «Брожу в стенах монастыря...» (11 июня 1902 // *Блок I.* С. 108). Неточная цитата.

[227] Майя — одно из ключевых понятий древнеиндийской модели мира: обозначение иллюзорности бытия, представление о действительности как грезе божества и мире как божественной игре.

[228] Первая строка стихотворения (июль 1902 // *Блок I.* С. 115).

[229] Неточная цитата из того же стихотворения (*Блок I.* С. 115).

[230] Цитаты из стихотворения «С мирным счастьем покончены счеты...» (11 февраля 1910 // *Блок III.* С. 15).

[231] Цитаты из 1-го стихотворения («Как тяжко мертвецу среди людей...», 19 февраля 1912) цикла «Пляски смерти» (*Блок III.* С. 22).

[232] Мотивы 3-го стихотворения («Пустая улица. Один огонь в окне...») цикла «Пляски смерти» (*Блок III.* С. 23).

[233] «Демон» («Прижмись ко мне ближе и ближе...», 19 апреля 1910 // *Блок III.* С. 17).

[234] Цитаты из стихотворения «Авиатор» («Летун отпущен на свободу...», 1910—январь 1912 // *Блок III.* С. 20).

[235] Первые строки стихотворения (2 июля 1912 // *Блок III.* С. 25).

[236] «Жизнь моего приятеля» («I. Весь день — как день: трудов исполнен малых...», 11 февраля 1914 // *Блок III.* С. 29).

[237] «Голос из хора» («Как часто плачем — вы и я...», 6 июня 1910—27 февраля 1914 // *Блок III.* С. 39). Неточная цитата.

[238] Брама (Брахма) — в индуистской мифологии высшее божество, творец мира, воплощение творческого принципа существования; «безличный, высший и непознаваемый Принцип Вселенной, из сущности которого все исходит и в кого все возвращается, который бестелесен, нематериален, нерожден, вечен, безначален и бесконечен» (*Блаватская Е. П.* Теософский словарь. С. 93).

[239] «Из хрустального тумана...» (6 октября 1909 // *Блок III.* С. 9).

[240] См. выше, примеч. 147.

[241] Цитаты из стихотворения «Из хрустального тумана...» (*Блок III.* С. 9).

[242] «Миры летят. Года летят. Пустая...» (*Блок III.* С. 25).

[243] «Идут часы, и дни, и годы...» (*Блок III.* С. 18).

[244] «Унижение» (*Блок III.* С. 19).

[245] «Я сегодня не помню, что было вчера...» (3 февраля 1909 // *Блок III.* С. 46).

[246] Контаминация цитат из стихотворений «Вспомнил я старую сказку...» (октябрь 1913) и «Было то в темных Карпатах...» (*Блок III.* С. 194, 195).

[247] «Как свершилось, как случилось?..» (*Блок III.* С. 53).

[248] «Жизнь моего приятеля» («7. Говорят черти», 10 декабря 1915 // *Блок III.* С. 33).

[249] Цитаты из стихотворения «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (2 ноября 1912 // *Блок III.* С. 26).

[250] Цитаты из стихотворения «Идут часы, и дни, и годы...» (*Блок III.* С. 18).

[251] Дэвид Ллойд-Джордж был премьер-министром коалиционного правительства Англии в 1916—1922 гг., Томас Вудроу Вильсон — президентом США в 1912—1921 гг., Раймон Пуанкаре — президентом Французской республики в 1913—1920 гг., в 1922—1924, 1926—1928 гг. — премьер-министром Франции.

[252] «На поле Куликовом» («3. В ночь, когда Мамай залег ордою...» // *Блок III.* С. 172).

[253] «Гамаюн, птица вещая» (*Блок I.* С. 20).

[254] «На поле Куликовом» («2. Мы, сам-друг, над степью в полночь встали...», 8 июня 1908 // *Блок III.* С. 171).

[255] «Россия» (*Блок III.* С. 173).

[256] Цитаты (с неточностями) из стихотворения «Новая Америка» («Праздник радостный, праздник великий...», 12 декабря 1913 // *Блок III.* С. 181—182).

[257] Цитата из того же стихотворения (*Блок III.* С. 182).

[258] «Россия» (*Блок III.* С. 173). Неточная цитата.

[259] «Рожденные в года глухие...» (8 сентября 1914 // *Блок III.* С. 187).

[260] Цитаты из стихотворения «Новая Америка» (*Блок III.* С. 181—182).

[261] «На поле Куликовом» («4. Опять с вековою тоскою...» // *Блок III.* С. 172).

[262] Имеется в виду первая Балканская война (9 октября 1912—30 мая 1913) между государствами Балканского союза 1912 г. (Болгария, Греция, Сербия, Черногория) и Турцией, в результате которой была освобождена от турецкого владычества Македония.

[263] Цитаты (с неточностями) из стихотворения «Петроградское небо мутилось дождем...» (1 сентября 1914 // *Блок III.* С. 185—186).

[264] «На поле Куликовом» («5. Опять над полем Куликовым...» // *Блок III.* С. 173).

[265] Стихотворение Блока «Вячеславу Иванову» («Был скрипок вой в разгаре бала...», 18 апреля 1912 г.) было впервые опубликовано в журнале «Русская мысль» в 1914 г. (№ 2. Отд. I. С. 88—89).

[266] Начальные строки стихотворения, посвященного А. Блоку и впервые опубликованного в посвященной «Александру Блоку, поэту» книге Вяч. Иванова «Нежная Тайна. Λέπτα» (СПб.: Оры, 1912. С. 12—13). См.: *Иванов Вячеслав.* Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979. С. 10. Автограф стихотворения (с посвящени-

ем «Александру Блоку» и с датировкой «25 апреля 1912») Иванов выслал Блоку на обороте титульного листа своей книги «Cor Ardens» (Ч. 2. М.: Скорпион, 1911); см.: Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 1 / Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина; под ред. К. П. Лукирской. Л., 1984. С. 297.

267 «Вячеславу Иванову» (*Блок III*. С. 100).

268 В середине февраля 1912 г. Белый писал Э. К. Метнеру из Петербурга: «...Иванов пытается собственно для моего „*вышвырнутого романа*", который, по его мнению, лучше всего, что появлялось за последний период, создать журнал ⟨...⟩ нужен предварительный разговор с вами» (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 55). 8 или 9 марта 1912 г. Белый сообщал Блоку: «Разговоры с Аничковым о новом журнале обусловили то, что я дал слово Вячеславу не решать с романом до 1) разговора с Метнером en trois ⟨...⟩. Метнер сказал, что для нового журнала достанет деньги к концу 1912 года. ⟨...⟩ Приезжаю в Москву — сюрприз: Метнер говорит, что 1) денег не будет (журнал пролетает) ⟨...⟩» (*Белый — Блок*. С. 444, 445).

269 См. выше, примеч. 34. 1-й номер «двухмесячника издательства „Мусагет"» «Труды и дни» (1912. Январь—февраль) вышел в свет в середине марта 1912 г.

270 Замысел журнала, фигурировавшего под заглавием «Петербургский вестник», реализовать не удалось; возвращаясь к этой истории, Белый резюмировал в письме к Метнеру из Брюсселя (отправленном 9/22 апреля 1912 г.): «Роман пытался пристроить с согласия *Мусагета* в Петербурге и разорвал переговоры 1) благодаря „*Петербургскому Вестнику*" (существованье коего зависело от нескольких тысяч в Москве) ⟨...⟩» (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 57). См. также: *Долгополов Л. К.* Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург». С. 557—558.

271 В марте 1912 г. Белый заключил договор на издание романа «Петербург» с К. Ф. Некрасовым, организовавшим в Ярославле в 1911 г. издательство собственного имени. 22 марта 1912 г. Белый писал Некрасову: «Я согласен отдать вам мой роман *Петербург*, заключающий около 22 печатных листа по 40 000 букв (немногим более или менее), за 2200 рублей ⟨...⟩ Вы даете мне за полученную часть рукописи в счет авторского гонорара 1100 рублей. Я же в течение 3 месяцев, т. е. к концу июня, представляю вам окончание романа» (Там же. С. 558).

272 Речь идет о предложениях М. К. Морозовой, писавшей Белому в апреле или первой половине мая 1912 г.: «...мы остановились на следующих двух из предложенных вами работах: 1) Мы хотели бы издать маленькой, хорошенькой книжкой ваше исследование о чувстве природы у Пушкина, Баратынского и Тютчева; размер текста желателен листа в 4 печатных ⟨...⟩ В книжке это составило бы 80 маленьких страничек. Гонорар составит по 80 рубл⟨ей⟩ за лист — 320 рубл⟨ей⟩. 2) Затем мы хотели бы, чтобы вы написали нам небольшую статью о Фете, листа в 2 печатных ⟨...⟩ Ее мы думаем издать отдельной брошюрой. Содержанием ее, как вы сами предлагали, будет философия Фета, вообще его миросозерцание. За него придется 160 рубл⟨ей⟩ (т. е. 2 листа по 80 р.)» («Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. С. 186). Ср. сообщение в

письме С. Н. Булгакова к В. Ф. Эрну от 19 марта 1912 г.: «На очередь у нас поставлено издание ⟨...⟩ кое-что Белого (которому Маргарита Кирилловна ссудила и вот — в отработку)» (Взыскующие града... С. 451). Эти работы для издания их в «Пути» Белый не представил (см.: *Голлербах Евгений*. К незримому граду: Религиозно-философская группа «Путь» (1910—1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000. С. 129—131). Первый замысел был осуществлен Белым в виде небольшой статьи (см. выше, примеч. 80), второй остался нереализованным.

[273] «Альциона» — московское издательство, организованное А. М. Кожебаткиным в 1910 г.; было суверенным по отношению к «Мусагету», хотя и располагалось по одному с ним адресу (Пречистенский бульвар, д. 31, кв. 9).

[274] В печатных объявлениях о «Трудах и днях» указывалось, что журнал выходит «под редакцией Андрея Белого и Эмилия Метнера, при ближайшем участии Александра Блока и Вячеслава Иванова».

[275] Эта встреча относится к сентябрю 1912 г.

[276] Белый возвратился из Петербурга в Москву 28 или 29 февраля 1912 г.

[277] От С. А. Соколова (Кречетова) исходило предложение К. Ф. Некрасову напечатать «Петербург» в его издательстве. В письме к Некрасову от 4 марта 1912 г. Соколов сообщал о том, что «произошел разрыв между Белым и Струве на той почве, что, по мнению Струве, роман имел в себе антизападнические идеи и проникнут пессимизмом, и роман Белого в „Русской Мысли" не появится» (*Долгополов Л. К.* Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург». С. 557—558).

[278] В марте 1912 г. Белый получил от К. Ф. Некрасова аванс в 300 рублей с обещанием выслать вскоре еще 800 (см.: Там же. С. 559).

[279] Московский адрес С. Н. Булгакова в 1911—1912 гг. — Большой Афанасьевский пер., д. 22/17.

[280] Подразумевается Совет Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева в Москве.

[281] Имеются в виду Саровская пустынь и Серафимо-Дивеевский монастырь. Белый вместе с матерью побывал там в конце августа 1904 г.

[282] См. примеч. 66 к гл. 4-й. Белый впервые читал «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» в 1901 г.: «...образ Серафима, весь чин молитв его, оживает в душе моей; с той поры я начинаю молиться Серафиму; и мне кажется, что Он — тайно ведет меня» (*МБ*. Л. 25 об.). Подробнее см.: *Malmstad John E.* Andrey Bely and Serafim of Sarov // Scottish Slavonic Review. 1990. Vol. 14. P. 21—59; Vol. 15. P. 59—102.

[283] Философы-гностики, развивавшие концепцию единого начала, развертывающегося в серии эманаций, предполагавшие существование между Богом и миром серии ипостасей, разделяющих идеальное и материальное начала.

[284] См. примеч. 44 к гл. 4-й. С. Н. Булгаков был инициатором публикации в «Пути» (без обозначения марки издательства) книги «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт», вышедшей в свет в начале 1916 г., он же субсидировал издание. См.: *Голлербах Евгений*. К незримому граду: Религиозно-философская

группа «Путь» (1910—1919) в поисках новой русской идентичности. С. 209—213.

[285] Ср. этот эпизод в интерпретации С. М. Соловьева: «Соловьев назначил свидание Анне Николаевне на полдороге между Москвой и Нижним, во Владимире на Клязьме. 30 апреля ⟨1900 г.⟩ они имели двухчасовую беседу во Владимире. „Он мне сказал, что преобразиться вслед за Христом нужно и другим... и мне. Сказал, что все написанное мною внушено свыше, только изложено по-моему", — передает Анна Николаевна. Мы полагаем, что к этим словам Шмидт надо относиться с большой осторожностью. Во-первых, из великодушия и сострадания Соловьев воздержался от резкого осуждения ее болезненных фантазий, а во-вторых, она могла с бессознательной ложью придать его словам иной смысл. ⟨...⟩ Не мог же Соловьев поддерживать в ком-нибудь веру, что он, Владимир Сергеевич Соловьев, принял божеское естество и грядет судить живых и мертвых. Вероятно, Соловьев успокоил Анну Николаевну общими фразами о преображении и обожении всего человечества во Христе, что же касается веры в его собственную божественность, то мы имеем свидетельство, что он „настаивал" перед безумною женщиной на „субъективности ее видений"» (*Соловьев С. М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 400).

[286] Подразумевается «Краткая повесть об антихристе», входящая в книгу Вл. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1900). Белый (к тому времени уже автор незаконченной мистерии «Пришедший» на сходную тему об антихристе) описал чтение Вл. Соловьевым своей «Повести» в квартире Соловьевых в мемуарном очерке «Владимир Соловьев. Из воспоминаний» (*Арабески.* С. 393—394). Рассказывая об этом вечере, С. М. Соловьев свидетельствует: «Андрей Белый находился в экстазе. Соловьев с радостным удивлением следил за этим молодым человеком, разделявшим его идеи, которые для всех в то время казались безумием. Поднимался разговор о том, что прочитать мистерию „Пришедший". Но было уже поздно, все устали. „До осени, Борис Николаевич", — ласково простился Соловьев с Белым» (*Соловьев С. М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. С. 396).

[287] Вл. С. Соловьев умер в имении Узкое под Москвой 31 июля 1900 г.

[288] Ср. запись Белого, отнесенную к сентябрю 1901 г.: «...я посвящен М. С. Соловьевым в историю со Шмидт; читаю письма А. Н. Шмидт на тему „*3-й завет*"; в конце месяца — встреча со Шмидт; и ответственный разговор с нею» (*РД.* Л. 11).

[289] В архиве Белого сохранилось два письма А. Н. Шмидт к нему (РГБ. Ф. 25. Карт. 25. Ед. хр. 37).

[290] С. М. Соловьев свидетельствует: «Я лично хорошо знал А. Н. Шмидт. Она производила впечатление доброй, глубоко несчастной и помешанной женщины, отталкивала в ней какая-то сектантская самоуверенность и назойливость. Весь ее „Третий Завет" стар, как все произведения подобного рода, представляя амальгаму из гностиков и каббалы. Интересно в писаниях Анны Николаевны только то, что она создала все это сама, не читая ни гностиков, ни каббалы, ни

даже Соловьева, с которым ознакомилась позднее» (*Соловьев С. М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. С. 400—401).

[291] Отклик А. Н. Шмидт на статью Белого «О теургии» (Новый Путь. 1903. № 9. С. 100—123), вопреки утверждению Белого, не был опубликован в «Новом Пути». В своде «К „Указателю" критической литературы обо мне» (1927) Белый в связи со статьей «О теургии» также ошибочно указывает: «Возражения А. Н. Шмидт в журнале „Новый Путь" за 1903 год или в „*Вопросах Жизни*" за 1904 г.» (Андрей Белый: pro et contra. С. 31). Видимо, со слов Белого в библиографии литературы о нем (сост. К. Н. Бугаева, Д. М. Пинес, А. С. Петровский) упоминается первоначальная публикация «Замечания по поводу одной теософской статьи» А. Н. Шмидт в «Новом Пути» («1903. IX» — т. е. в том же номере, что и «О теургии») за подписью «S.» — т. е. Sophia (машинопись — в собрании комментатора), а в «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова с отсылкой к сообщению Д. М. Пинеса указан псевдоним «S.», которым якобы подписывалась А. Н. Шмидт в «Новом Пути» (Т. 3. М., 1958. С. 333). В действительности Шмидт в «Новом Пути» не публиковалась, а ее «Замечание по поводу одной теософской статьи» впервые было напечатано в кн. «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт» (⟨М.⟩, 1916. С. 17—21).

[292] Э. К. Метнер жил в Нижнем Новгороде, где служил цензором, с ноября 1902 г.; в марте 1906 г. вышел в отставку и возвратился в Москву.

[293] Белый гостил у Э. К. Метнера в Нижнем Новгороде во второй половине марта 1904 г.

[294] Ср. сообщение в письме С. Н. Булгакова к Белому от 13—17/26—30 декабря 1910 г.: «Я получил еще большой короб бумаг А. Н. Шмидт, но большинство неудобочитаемо, хотя есть и интересный материал» (Новый мир. 1989. № 10. С. 239. Публ. И. Б. Роднянской).

[295] Ср. суждения С. Н. Булгакова об А. Н. Шмидт в письмах к А. С. Глинке: «Мы приступили к печатанию творений А. Н. Шмидт. Уже много встреч прошло в колебаниях и незнании, как поступить с ее рукописями. Дело в том, что по характеру их содержания установить внутреннее к ним отношение до сих пор невозможно (да и не станет возможно до каких-либо мистических подтверждений или обнаружений). ⟨...⟩ поставьте себя мысленно в положение фактического душеприказчика Шмидт, и вы почувствуете, как оно трудно и ответственно» (24 декабря 1914 г.); «Ваши слова о „романе" с Шм⟨идт⟩ психологически очень метки и, вероятно, в известном смысле и верны. Только ⟨...⟩ это и ответственнее, и страшнее, чем все мои другие „романы", так что один я, не разделив это бремя с о. Павлом ⟨П. А. Флоренский. — *Ред.*⟩, не знаю, подъял бы. Особенно все ответственно становится на фоне событий, ею предвиденных в общем» (19 июля 1915 г.; Взыскующие града... С. 607, 645).

[296] Белый и А. Тургенева выехали из Москвы в Брюссель 16/29 марта 1912 г.

[297] Подразумеваются М. В. Сабашникова, А. С. Петровский, М. И. Сизов. Сабашникова стала ученицей и последовательницей Р. Штейнера в 1905 г.

(с конца сентября до начала ноября 1905 г. посещала в Берлине его курс лекций «Основы эзотерики», предназначенный для узкого круга слушателей). Петровский и Сизов, согласно составленному Эллисом «Предварительному Краткому отчету о теософических кружках в Москве за 1911 г.», с осени 1911 г. входили в кружок, организованный с целью изучения творений Штейнера (см.: *Майдель Рената, фон.* «Спешу спокойно...»: К истории оккультных увлечений Эллиса. С. 227).

[298] См.: Там же. С. 214—239; *Maydell Renata von.* Vor dem Thore. Ein Vierteljahrhundert Anthroposophie in Russland. S. 103—112; *Willich Heide.* Lev L. Kobylinskij-Ellis: Vom Symbolismus zur *ars sacra.* Eine Studie über Leben und Werk. München, 1996. S. 118—134; *Виллих Х.* 1) Эллис и Штейнер // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 182—191; 2) Л. Л. Кобылинский-Эллис и антропософское учение Рудольфа Штейнера (К постановке проблемы) // Серебряный век русской литературы: Проблемы. Документы. М., 1996. С. 134—146; *Rizzi Daniela.* Эллис и Штейнер // Europa Orientalis. XIV / 1995: 2. С. 281— 294; *Нефедьев Г. В.* Русский символизм: от спиритизма к антропософии. Два документа к биографии Эллиса // Новое литературное обозрение. 1999. № 39. С. 119—140.

[299] В Берлине Белый и А. Тургенева были 18/31 марта 1912 г.

[300] Видимо, Эллис уехал из Берлина прямо в Гельсингфорс, где Штейнер с 3 по 14 апреля 1912 г. читал лекционный курс «Духовные существа в небесных телах и царствах природы». До этого Штейнер всю вторую половину марта провел в Берлине (см.: *Lindenberg Christoph.* Rudolf Steiner. Eine Chronik. 1861—1925. Stuttgart, 1988. S. 316—317. Последующие сведения о жизни и деятельности Р. Штейнера основываются преимущественно на этом источнике).

[301] Пасха в 1912 г. — 25 марта (ст. ст.).

[302] В Кёльне Белый и А. Тургенева были 19 марта/1 апреля 1912 г., в Брюссель приехали на следующий день

[303] Готический собор св. Михаила и св. Гудулы (Сен-Мишель-э-Гюдюль) на площади св. Гудулы — древнейший архитектурный памятник Брюсселя (около 1000 г. — капелла св. Михаила, в начале XIII в. перестроен в готическом стиле, фасад окончен в XV в.). 4/17 апреля 1912 г. Белый писал Блоку: «Был ли Ты в Брюсселе? Если был, то наверное знаешь старый, старый собор: S-te Gudul. Вот на этой-то площади мы живем» (*Белый — Блок.* С. 447).

[304] Ср. признания Белого в письмах: «Я читаю Асе одну рукопись, говорящую близко к тому, что говорит Штейнер. Оба засыпаем — оба видим один сон: зала, по зале проходит Штейнер, окруженный толпою; у Штейнера *другое, не штейнеровское* лицо; вот что мы видели оба; я более детально не видел; Ася видела все подробнее» (А. А. Блоку, 1/14 мая 1912 г. // *Белый — Блок.* С. 454—455); «...в одну и ту же ночь, в тот же час во сне нам с Асей явился Штейнер: тотчас же после этого сна все и началось» (М. К. Морозовой, 17/30 мая 1912 г. // «Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. С. 184—185). О том же — позднейшая версия А. А. Тургеневой: «Я страшно простудилась, у меня был жар. Ночью мне приснилась группа людей, торжест-

венно вступающих в какой-то зал. Особое впечатление производили две личности. Кажется, при этом произносилось имя Рудольфа Штейнера, словно он также присутствовал там. Однако это было не так. В моей памяти отчетливо запечатлелась его фотография, которую я увидела еще в 1909 году, — поэтому я могла заметить это несоответствие. Свой сон я детально пересказала Бугаеву» (*Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 21).

[305] Один из 19 муниципальных районов современного Брюсселя, в начале XX в. — его предместье.

[306] Жюль Дестре был министром по вопросам науки и культуры Бельгии с декабря 1919 г. по ноябрь 1920 г. Ср. сообщение в письме Белого к матери (Брюссель, 27 апреля/10 мая 1912 г.): «Мы часто бываем в обществе Mr и Madame Destré⟨e⟩. Он — писатель, адвокат и депутат в здешнем Парламенте; жена его очень милая дама и дружит с Асей» (*Малмстад Джон*. Андрей Белый в поисках Рудольфа Штейнера: Письма Андрея Белого А. Д. Бугаевой и М. К. Морозовой // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 115).

[307] Ср. этот же эпизод в изложении А. Тургеневой: «...я поехала на трамвае к моему старому учителю: его домик находился далеко на окраине Брюсселя. Какой-то пожилой, суровый, почти пасторского вида господин занял место напротив меня и в течение по меньшей мере четверти часа, пока длилась поездка, не отрываясь, смотрел мне в глаза. Все мои силы сосредоточились на одной мысли: я — это я, я есмь. Я не могла отвести от него взгляда, не могла хоть раз поглубже вздохнуть. Наконец мы остались одни. Он низко склонился надо мной, затем, отступая назад, удалился» (*Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 21—22). О том же Белый написал Блоку (1/14 мая 1912 г.): «Однажды Ася возвращается от учителя своего, Данса, и говорит мне, что в трамвай (по дороге к Дансу) к ней вошел человек с изумительно-напряженным и как будто знакомым лицом, где-то виденным, и упорно всю дорогу особенно смотрел на нее; что острота его взора наполнила весь трамвай совершенно особым напряжением; когда он вышел из трамвая, то повернулся и смотрел на нее все время, пока трамвай уходил, точно ждал, что и она за ним выйдет; Ася сказала, что было мгновение, когда она чуть не заговорила с незнакомцем (незнакомцу было лет пятьдесят)» (*Белый — Блок*. С. 455).

[308] Неточно цитируются начальные строки стихотворения Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи...» (*Соловьев*. С. 133). Их Белый приводит, описывая те же переживания, в письме к Блоку от 1/14 мая 1912 г. (см.: *Белый — Блок*. С. 455—456), а также в письме к М. К. Морозовой от 17/30 мая 1912 г.: «Вдруг у нас начался ряд снов, знамений и каких-то незабываемых минут. Как будто какая-то светлая рука указывала дорогу. Часто по вечерам было и такое» — и далее цитируется первая строфа указанного стихотворения Соловьева («Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. С. 184).

[309] Сеть европейских универсальных магазинов.

[310] Речь идет о портретах махатм Мориа и Кут-Хуми, написанных немецким художником Г. Шмихеном. Ср. свидетельства Вс. С. Соловьева: «...*живость* их была значительна, и глаза двух таинственных незнакомцев глядели прямо на зрителя, губы чуть что не шевелились. Художник, конечно, никогда не видал оригиналов этих „портретов". Блаватская и Олкотт уверяли всех, что он писал по вдохновению, что его кистью водили *они* сами и что „сходство поразительно". Как бы ни было — Шмихен изобразил двух молодых красавцев. Махатма Кут-Хуми, одетый во что-то грациозное, отороченное мехом, имел лицо нежное, почти женственное и глядел ласково прелестными светлыми глазами. 〈...〉 Огненные черные глаза великолепного Мории строго и глубоко впивались в нас, и от них нельзя было оторваться. 〈...〉 Вся сила рефлекторов была устремлена на это мрачно-прекрасное лицо, и белизна тюрбана и одежды довершала яркость и живость впечатления» (*Соловьев Вс. С.* Современная жрица Изиды. Мое знакомство с Е. П. Блаватской и «теософическим обществом». М., 1994. С. 73—74).

[311] Ср. тот же эпизод в интерпретации А. Тургеневой: «Неделю спустя 〈...〉 я ехала на том же самом трамвае, на этот раз с Бугаевым. Вскоре напротив нас сел пожилой господин исключительно благородной и привлекательной наружности; его любезность действовала на нас притягательно и обволакивающе. Вряд ли отец мог бы с большей нежностью взирать на своих детей. — Мне пришлось толкнуть Бугаева, чтобы он оставался спокойным. Вскоре господину надо было выходить; он дружелюбно простился и исчез в одном из домов вблизи остановки. Неделей раньше на той же самой остановке в трамвай садился первый господин. — Где я уже видела одного и другого? Только вечером мне пришел на ум мой сон двухнедельной давности; Бугаев же внезапно вспомнил про „опознавательный знак" фрейлейн фон Минцловой. Что-то должно было произойти» (*Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 22). Рассказывая о том же в письме к Блоку от 1/14 мая 1912 г., Белый передает слова А. Тургеневой: «„Вспомнила! Эти два лица я видела во сне: они мне подставлялись вместо Штейнера и о них голос сказал: «Что вы все ищете Штейнера, когда он — тут» (т. е. в Брюсселе)"». Замечательно то, что второй господин *сошел* с того места, где четвергом ранее *вошел* первый...» (*Белый — Блок*. С. 456).

[312] В письме к Блоку от 1/14 мая 1912 г. Белый в подробностях описал этот эпизод (в письме — дом № 79; см.: *Белый — Блок*. С. 456—457). Он же — в изложении А. Тургеневой: «...мы решили 〈...〉 отыскать тот самый дом, в котором скрылся дружелюбный господин. Листок бумаги, где Бугаев написал несколько строк и который мы намеревались опустить в почтовый ящик этого дома, был забыт на письменном столе. Однако мы могли и без письма хотя бы осмотреть местность. Едва мы приблизились к вожделенному порогу, дверь отворилась и навстречу нам вышел, улыбаясь, любезный пожилой господин, словно желая сказать: „Ну наконец-то, входите, дети!" Тем не менее мы прошли мимо, сосредоточив внимание на витрине по соседству. Но внезапно пожилой господин оказался возле нас. Мы двинулись к следующему магазину, — он шел за нами по пятам. После двух или трех таких попыток мы перешли на другую сторону ули-

цы, однако пожилой господин снова возник рядом. — Этого мы не вынесли и вскочили в идущий мимо трамвай» (*Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 22).

[313] Четвертая часть («Götterdämmerung», 1848—1874) тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга». Представление ее в оперном театре Брюсселя состоялось 4 мая 1912 г.

[314] Имеется в виду Байрёйтский театр (Festspielhaus — Дом торжественных представлений), открытый в 1876 г. в Байрёйте (Бавария); был создан по замыслу Р. Вагнера для постановок его опер. В письме к Блоку от 1/14 мая 1912 г. Белый сообщал: «...мы были на трех Вагнеровских спектаклях с байрейтскими исполнителями («*Лоенгрин*», «*Тристан*», «*Валькирия*»). И дни были окрашены *Кольцом*» (*Белый — Блок*. С. 455).

[315] Упоминаемое письмо А. С. Петровского (полученное, как сообщает Белый Блоку, «4 мая нов⟨ого⟩ стиля»: *Белый — Блок*. С. 457), видимо, не сохранилось. О нем Белый упоминает в письме к М. Я. Сиверс, врученном адресату 6 мая 1912 г. в Кёльне: «Третьего дня от А. С. Петровского, из Москвы, я получил известие, что Доктор от 6 до 8-го в Кёльне. И вот мы приехали из Брюсселя сюда» (*Спивак Моника*. Андрей Белый — мистик и советский писатель. М., 2006. С. 42).

[316] Этот «страннейший инцидент» Белый описал в письме к Блоку от 19 мая/1 июня 1912 г. (*Белый — Блок*. С. 466—467). Ср. свидетельства А. Тургеневой: «...нас неодолимо влекла какая-то могущественная сила. Кульминация этого богатого переживаниями периода пришлась на ту ночь, когда раздался стук в дверь и наша маленькая прокуренная комната заполнилась ароматом как бы от тысяч цветов; мы оба ощущали этот аромат по крайней мере в течение четверти часа» (*Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 23).

[317] Ср. суммарную характеристику описываемых Белым эпизодов в мемуарном очерке А. Тургеневой «Андрей Белый и Рудольф Штейнер»: «...личный опыт еще до встречи с Штейнером показал нам, что среди нас есть люди, владеющие знанием и умеющие применять его в степени, далеко превышающей знакомые нам нормы. И сначала с помощью сна, переходящего потом в действительность, у нас создался, можно сказать, психический контакт с группой таких людей, длившийся несколько недель. Из него выросли три потрясающего впечатления встречи. Первая воспринялась, как непосредственное воздействие волевой силы, вторая притягивала обаянием, третья была призывом. И нужно было большое концентрированное усилие, чтобы не откликнуться. Откуда это, разве мы примадонны? Почему комнаты наши заполняются благоуханием незримых цветов? Чем заслужили мы такое внимание, даже если это от друзей Минцловой? Рудольф Штейнер скажет нам, идти ли им навстречу» (Мосты. 1968. № 13/14. С. 242; Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 209). В конце мая—начале июня (н. ст.) 1912 г. Белый писал Н. А. Тургеневой: «...вот уже 2 месяца, как мы с Асей сумасшествуем: нет — то не сумасшествие. Ведь с нами происходили прямо *невероятности*, совершенно реальные необъяснимые вещи»

(*Rizzi Daniela.* Из архива Н. А. Тургеневой. Письма Эллиса, А. Белого и А. А. Тургеневой // Europa Orientalis. XIV / 1995: 2. С. 313).

[318] Клавдия Николаевна Васильева (урожд. Алексеева, во втором браке Бугаева) — последовательница Р. Штейнера; спутница жизни Белого с 1923 г. и его вторая жена (официально брак зарегистрирован 18 июля 1931 г.).

[319] Центры духовного «старчества» — пустынь Преподобного Зосимы Соловецкого (см. примеч. 375 к гл. 8-й) и Оптина (Введенская) пустынь — мужской монастырь в 2 км от Козельска (под Калугой), основанный в XIV в. Оптою (Макарием); посещался многими русскими писателями (см.: *Котельников Вл.* Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной. М., 2002).

[320] По приезде в Кёльн (6 мая 1912 г.) Белый и А. Тургенева поселились в отеле напротив Кёльнского собора св. Павла (основан в XIII в., памятник готического искусства).

[321] Подразумевается местный теософский кружок.

[322] Ср. изложение того же эпизода в письме Белого к Блоку от 1/14 мая 1912 г.: «Разыскиваем подъезд, звонимся: выходит старушка-скорлупка — бледная, тощая „тетушка", но с хорошими глазами. Мнемся — передаем письмо. К нам выходит стареющая дама и говорит на чистом русском языке: „Вы — к доктору? Вы из того московского кружка, который — и т. д.". Оказывается русской М. Я. Сиверс, секретаршею доктора, много лет безотлучно находящейся при нем. „Подождите"... Ждем. Выходит Сиверс и говорит: „Доктор, хотя вы и не члены Ложи, в виде исключения просит вас через два часа на заседание Ложи. Свидание же доктор вам даст после — сегодня или завтра"...» (*Белый — Блок.* С. 457). Подробно ту же сцену описала А. Тургенева в «Воспоминаниях о Рудольфе Штейнере...» (с. 24—25) и вкратце — в очерке «Андрей Белый и Рудольф Штейнер»: «Нельзя сказать, чтобы в Кёльне нас встретили особенно любезно, было ясно, что им не до нас, но все же, как русских, нас пригласили на лекцию для членов. Мы попали в толпу теософов, преимущественно дам, очень безвкусно одетых, но среди них было много милых лиц ⟨...⟩» (Мосты. 1968. № 13/14. С. 242). См. также: *Спивак Моника.* Андрей Белый — мистик и советский писатель. С. 41—57.

[323] 6 мая 1912 г. выступление Штейнера перед членами Теософского общества было приурочено к торжественному открытию нового помещения кёльнской ложи (или ветви; Zweigraum).

[324] Подразумевается в первую очередь образ Заратустры (поэма Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», 1883—1885) с характернейшим для него мотивом танца.

[325] Цитата из статьи «Символизм как миропонимание» (1903; *Арабески.* С. 228).

[326] Сокращенная цитата из статьи «Феникс».

[327] Цитаты из статьи «Маска» (*Арабески.* С. 133).

[328] Ср. суждение Вяч. Иванова в одной из заключительных глав книги «Эллинская религия страдающего бога», опубликованных под заглавием «Религия

Диониса»: «Способность к безумию, быть может, определила впервые разумное сознание, и когда животное сошло с ума, — оно стало человеком» (Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 137).

[329] Белый подробно изложил свои впечатления от выступлений Штейнера в Кёльне в письме к Блоку от 1/14 мая 1912 г. (*Белый — Блок*. С. 457—461). См. также: *Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 25—27.

[330] Как сообщает А. Тургенева в «Воспоминаниях о Рудольфе Штейнере...», приглашение от Штейнера передала Матильда Шолль, «руководительница кёльнской ветви» (с. 26). Ср. сообщение в письме Белого к А. С. Петровскому от 24 апреля/7 мая 1912 г.: «Мы в Кёльне. Да, да, да, — он невероятен. Мы потрясены и даже... разбиты: вчера два часа слушали его в ложе и два часа вечером. Сегодня в 2 часа дня он назначил нам свидание» (Андрей Белый — Алексей Петровский. Переписка. 1902—1932. С. 200).

[331] Бракосочетание Р. Штейнера и М. фон Сиверс состоялось в Дорнахе 24 декабря 1914 г.

[332] См. рассказ о той же встрече (7 мая 1912 г.) в «Воспоминаниях о Рудольфе Штейнере...» А. Тургеневой (с. 27—28). 5/18 мая 1912 г. Белый писал матери: «В Кёльне мы прожили 3 дня, слышали три лекции. Имели получасовой разговор с Доктором. Ты просто не можешь себе представить, что это за человек: его аура (свет вокруг) прямо видна глазами. Он читал лекцию о близости пришествия Христа: такой громовой, сильной речи я не слышал никогда в жизни. У него словно разрывается лицо, из лица светит лицо и т. д. Мы были совсем потрясены, и за эти 3 дня пережили года. Нас допустили в интимные заседания Ложи (в виде исключения). Доктор выслушал нас (у нас был к нему ряд вопросов); сначала говорил я, потом Ася через переводчицу — М. Я. Сиверс. В итоге разговоров 〈...〉 Доктор нас позвал к себе — в июле. 〈...〉 Словом, выходит, что мы едем прямо вступить на путь ученичества под руководством Штейнера или Штейнером приставленного лица» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 117. Публ. Джона Малмстада).

[333] Намек на увлечение М. Метерлинка автомобилизмом (см. очерк «В автомобиле» в его кн. «Двойной сад» (1904) // *Метерлинк М*. Полн. собр. соч. / В переводе Н. Минского и Л. Вилькиной; под ред. Н. Минского. Т. 4. Пг.: Изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1915. С. 83—88). Вечер в честь Метерлинка состоялся 8 мая 1912 г. Упоминая в письме к Блоку от 1/14 мая о посещении лекции Штейнера вечером 7 мая, Белый сообщал: «На другой день мы уехали в Брюссель. Приехали в 6. А в 7 были на чествовании Метерлинка: Метерлинк седой болван — Слон Слонович, таким показался после Штейнера» (*Белый — Блок*. С. 461); ср. отзыв Белого в письме к матери от 27 апреля/10 мая 1912 г.: «...в день же возвращения из Кёльна попали на чествование Метерлинка. Метерлинк выглядит гораздо старше, чем на портретах: у него совсем седая голова. Шла его „*Пелеас и Мелизанда*" с музыкой Форе» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 115). В «Воспоминаниях о Рудольфе Штейнере...» А. Тургенева поделилась сходными впечатлениями: «Пустым и неподлинным показалось нам боль-

шое празднество, устроенное в Брюссельском театре в честь Метерлинка. Всемирно известный эстет казался тучным мясником в сравнении с простым, но благородно-элегантным обликом доктора Штейнера 〈...〉» (с. 29).

[334] Эллис приехал в Брюссель 11 мая (н. ст.) 1912 г. Белый писал А. С. Петровскому 11/24 мая: «...в понедельник к нам из Берлина приехал Эллис, прожил 3 дня. Был великолепен (вообще он *очень* подвинулся). Мы расстались в прекраснейших отношениях» (Андрей Белый — Алексей Петровский. Переписка 1902—1932. С. 203). Ср. сообщение в письме Белого к матери от 5/18 мая 1912 г.: «Мы вернулись в Брюссель *точно во сне*. Написали Эллису в Берлин о нашей встрече со Штейнером. Через два дня к нам прилетел Эллис, взявший отпуск у Доктора, и провел с нами 3 дня. Эллис *очень окреп*, очень помолодел, изменился к лучшему. Он — бритый, и ему это очень идет. Мы читали Дневник Эллиса (записанные им беседы со Штейнером: это нечто удивительное)» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 117).

[335] Согласно «тайновидческим» теософским представлениям об истории («Хроника Акаши»), пятой (арийской) коренной расе, к которой принадлежит современное цивилизованное человечество, предшествовала четвертая (атлантическая) коренная раса (по имени легендарного материка, ныне образующего дно Атлантического океана); к очень отдаленным временам человеческого развития относится третья коренная человеческая раса — лемурийская (Лемурийский материк простирался приблизительно от Цейлона до Мадагаскара, захватывая нынешнюю южную Азию, Австралию и часть Африки): «В древней Лемурии земля была окружена массами туманов; температура была очень высока, и океаны состояли наполовину из воды и наполовину из туманов. 〈...〉 В те времена туманов человек не мог еще дышать посредством легких; у него были два дыхательных органа: один — вроде рыбьих жабр, а другой, на месте теперешних легких, представлял из себя нечто вроде воздухоносного пузыря. Вместо рук у человека были ластообразные органы, посредством которых человек передвигался в морях тумана. И только по мере того как он выпрямлялся, органы эти постепенно преобразовывались в руки, жабры — в уши, воздухоплавательный пузырь — в легкие» (*Штайнер Рудольф*. Из области духовного знания, или антропософии: Статьи, лекции и драматическая сцена в переводах начала века. М., 1997. С. 213); «Человек тогда имел вид некой птице-рыбы, которая не то парила, не то плавала» (Anthropos. Опыт энциклопедического изложения духовной науки Рудольфа Штайнера. С. 59). См. также раздел «Лемурийская раса» в кн.: *Штайнер Рудольф*. Из летописи мира. Калуга, 1992. С. 40—51.

[336] Книги Р. Штейнера «Die Geheimwissenschaft im Umriß» (Leipzig, 1910) и «Theosophie (Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung)» (Berlin, 1904); в русском переводе: «Очерк тайноведения» (М.: Духовное знание, 1916), «Теософия» (М.: Духовное знание, 1915).

[337] Определяемые теософией начальные ступени развития человека: первая коренная раса Земли — полярная, вторая — гиперборейская. См. раздел «Гиперборейская и полярная эпохи» в кн.: *Штайнер Рудольф*. Из летописи мира. С. 69—77.

[338] Косвенным отражением этого замысла стала статья Эллиса «„Парсифаль" Рихарда Вагнера» (Труды и дни. 1913. № 1/2. С. 24—54); замысел цикла работ о Вагнере (который Эллис изложил в письме к Э. К. Метнеру от 5 февраля 1912 г.: РГБ. Ф. 167. Карт. 7. Ед. хр. 51) остался неосуществленным (см.: *Willich Heide*. Lev L. Kobylinskij-Ellis: Vom Symbolismus zur *ars sacra*. Eine Studie über Leben und Werk. S. 141—152). Представленные Эллисом в «Мусагет» переводы либретто нескольких опер Вагнера были признаны непригодными для печати (см.: Андрей Белый — Алексей Петровский. Переписка 1902—1932. С. 206—207; *Майдель Рената, фон*. «Спешу спокойно...». С. 218). По договоренности с издательством «Мусагет» Эллис, находясь в Германии, получал от издательства ежемесячный гонорар (60 руб.) при условии, что он предоставляет «Мусагету» все им написанное и переведенное (см.: *Виллих Х*. Л. Л. Кобылинский-Эллис и антропософское учение Рудольфа Штейнера. С. 138).

[339] Имеется в виду Рувим Яковлевич Азарх, хасид, которого М. Волошин сопровождал из Парижа в Берлин (12—13 февраля н. ст. 1912 г.) и, отправляясь из Берлина в Москву (выехал 19 февраля), передал на попечение Эллису (видимо, после встречи с ним 15 февраля). См.: *Купченко В. П*. Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877—1916. СПб., 2002. С. 292.

[340] «La Jeune Belgique» («Молодая Бельгия») — бельгийское литературное объединение 1880—1890-х гг., издававшее одноименный журнал (1881—1897); в него входили 18 писателей, в том числе М. Валлер, Э. Верхарн, Ж. Экаут, Ж. Роденбах, К. Лемонье, И. Жилькен, М. Метерлинк и др. Эллис участвовал в сборнике «Молодая Бельгия» (⟨М., 1906⟩), изданном под редакцией Марии Веселовской, статьей «Лебедь „Молодой Бельгии". Жорж Роденбах. Основные мотивы его личности и творчества» (с. 48—87). См.: *Эллис*. Неизданное и несобранное. Томск, 2000. С. 27—54.

[341] От *фр*. ogival — стрельчатый.

[342] «Style flamboyant» (*фр*.) — пылающий стиль, т. е. так называемая «пламенеющая готика» (стиль, характерный для позднего этапа эволюции готического искусства XIV—XV вв.).

[343] См. выше, примеч. 97.

[344] Видимо, имеются в виду статьи «О символизме» (Труды и дни. 1912. № 2. С. 1—7) и «Линия, круг, спираль — символизм» (Там же. № 4/5. С. 13—22).

[345] 29 мая/11 июня 1912 г. Белый сообщал матери: «...мы были в Брюгге. Город очарователен; это — северная Венеция: весь в каналах. Перед отъездом из Бельгии были в *Шарлеруа* (город) в гостях у очень милых людей Дэстрэ: он депутат Парламента, писатель, адвокат и один из виднейших бельгийских социалистов» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 121).

[346] Белый приехал в Буа-ле-Руа в начале июня (н. ст.) 1912 г. 29 мая/11 июня 1912 г. он писал матери: «Вот уже неделя, как я в *Bois-le-Roi*, работаю. ⟨...⟩ Ася меня отправила работать одного в Bois-le-Roi, а сама осталась на неде-

лю в Бельгии оканчивать работу у Данса (переехала к нему). Завтра она приезжает» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 121).

[347] Отчество В. А. Олениной указано ошибочно. Ср. сообщение в том же письме: «Мы живем сейчас втроем в *Bois-le-Roi*. Варвара Алексеевна Оленина (сестра Марии Алексеевны) и одна очень милая дама, француженка, мадам Оккинс (жена художника). Д'Альгеймы же в Англии ⟨...⟩. На днях они возвращаются ⟨...⟩» (Там же).

[348] «Уход» А. М. Добролюбова из семейной и университетской среды относится к весне 1898 г. (странничество по Олонецкой и Архангельской губерниям). Секта «добролюбовцев» образовалась в Поволжье (в Самарской губернии) в 1906 г. О Добролюбове — руководителе секты опубликовал статью («Декадент-сектант») А. Пругавин в «Русских ведомостях» (7 и 13 декабря 1912 г.).

[349] Начало разрыва Л. Д. Семенова с интеллигентской средой относится к 1905—1906 гг., когда он занимался революционной агитацией среди крестьян и дважды сидел в тюрьме; в 1907 г., после посещения Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, стал работником у крестьянина-сектанта в Рязанской губернии, впоследствии работал батраком, а в 1914 г. устроил хуторское хозяйство возле родового поместья Гремячки. См.: Леонид Семенов: хронологическая канва / Сост. В. С. Баевский // Семенов Леонид. Стихотворения. Проза. М., 2007. С. 557—559.

[350] Цитата из стихотворения «Александру Блоку» («II. Пусть вновь — не друг, о мой любимый!..»), открывающего книгу Иванова «Нежная Тайна. Λέπτα». См. выше, примеч. 266.

[351] Книги Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога» (Новый Путь. 1904. № 1—3, 5, 9; окончание под заглавием «Религия Диониса: ее происхождение и влияния»: Вопросы жизни. 1905. № 6, 7), «Борозды и Межи: Опыты эстетические и критические» (М.: Мусагет, 1916), «По Звездам. Статьи и афоризмы» (СПб.: Оры, 1909).

[352] Сокращенные цитаты из статьи «Пророк безличия» (1908 // *Арабески*. С. 13).

[353] Подборка цитат (в основном сокращенных) из статей «Пророк безличия», «Театр и современная драма» (1907).

[354] Аналогичная подборка цитат из статей «Театр и современная драма», «Песнь жизни» (1908), «Священные цвета» (1903), «Окно в будущее» (1904), «Кризис сознания и Генрик Ибсен» (1910), «Искусство» (1908).

[355] Аналогичная подборка цитат из статей «Символизм как миропонимание» (1903), «На перевале. I. Символизм» (1909), «На перевале. IV. Детская свистулька» (1907), «На перевале. XXII. Город» (1907), «На перевале. XXIII. О пьянстве словесном» (1908), «„Вишневый сад"» (1904).

[356] Аналогичная подборка цитат из статей «Призраки хаоса» (1904), «Второй том» (1906), «Смерть или возрождение?» (1907).

[357] Имеются в виду главки «Пепп Пеппович Пепп» и «Страшный суд» главы 5-й романа «Петербург». См.: *Андрей Белый*. Петербург. СПб., 2004. С. 234, 239. (Серия «Литературные памятники»).

[358] Использовано издание: *Блок Александр*. Собрание сочинений. Т. 7. Статьи. Кн. 1. 1906—1921. Берлин: Эпоха, 1923.

[359] Подборка цитат (в основном сокращенных и с неточностями) из статей «Безвременье» (1906) и «Вопросы, вопросы и вопросы» (1908). См.: *Блок VII*. С. 21—24, 26—29; *Блок VIII*. С. 81, 82.

[360] Аналогичная подборка цитат из статей «Вопросы, вопросы и вопросы», «„Религиозные искания" и народ» (1907; первые два раздела статьи «Литературные итоги 1907 года»), «Народ и интеллигенция» (1908), «Стихия и культура» (1908). См.: *Блок VII*. С. 113; *Блок VIII*. С. 86, 75—76, 90—94.

[361] Сокращенные цитаты из статьи «Стихия и культура». Первая цитата — из статьи-письма Н. А. Клюева «С родного берега», вторая — из письма сектанта, адресованного Д. С. Мережковскому. См.: *Блок VIII*. С. 94—95, 370, 382 (комментарии Д. М. Магомедовой).

[362] Цитата из Предисловия к неоконченной книге «итальянских впечатлений» «Молнии искусства» (1909 // *Блок Александр*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 388).

[363] Сокращенная цитата из статьи «Пламень» (1913 // *Блок VIII*. С. 162). Слова А. С. Пушкина — из Пропущенной главы романа «Капитанская дочка» (1836).

[364] Цитата из статьи «Стихия и культура» (*Блок VIII*. С. 90).

[365] Подборка цитат (в основном сокращенных и с неточностями) из статей «Театр и современная драма», «Песнь жизни», «Окно в будущее», «Искусство», «Символизм как миропонимание», «На перевале. I. Символизм»; последняя цитата — из статьи «Песнь жизни».

[366] Аналогичная подборка цитат из статей «Символизм как миропонимание», «На перевале. I. Символизм», «На перевале. III. Об итогах развития нового русского искусства» (1907), «На перевале. IV. Детская свистулька», «Священные цвета», «Кризис сознания и Генрик Ибсен».

[367] Аналогичная подборка цитат из статей «Фридрих Ницше» (1907), «Театр и современная драма», «Песнь жизни», «Маска» (1904).

[368] Аналогичная подборка цитат из статей «Окно в будущее», «Феникс» (1906).

[369] Сокращенная цитата из статьи «Символизм как миропонимание».

[370] Подборка цитат (в основном сокращенных и с неточностями) из статей «Символизм как миропонимание», «Маска», «Театр и современная драма», «Фридрих Ницше».

[371] Цитаты из статьи «Маска» (*Арабески*. С. 133).

[372] Цитата из статьи «Театр и современная драма».

[373] Книга Андрея Белого «Возвращение на родину (Отрывки из повести)» (М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1922) представляет собой часть 2-го тома его «Записок чудака» (Ч. 1—2. М.; Берлин: Геликон, 1922). Ср.: *Андрей Белый*. Собр. соч.: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М., 1997. С. 450—451 (подборка сокращенных цитат).

[374] См.: Там же. С. 453 (неточная и сокращенная цитата).

[375] Цитата из гл. 3-й поэмы «Первое свидание» (*СП — 2*. С. 51).

[376] Неточная цитата из очерка «Владимир Соловьев. Из воспоминаний» (1907).

[377] Контаминация неточных и сокращенных цитат из статьи «Символизм как миропонимание».

[378] Цитаты из четвертой части «Симфонии (2-й, драматической)» (*Симфонии*. С. 174).

[379] Подборка цитат (в основном сокращенных и с неточностями) из статей «Священные цвета», «Символизм как миропонимание», «Фридрих Ницше».

[380] Неточная и сокращенная цитата из статьи «Символизм как миропонимание».

[381] Контаминация неточных и сокращенных цитат (по изданию 1922 г.); ср.: *Андрей Белый*. Собр. соч.: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 300—301.

[382] Контаминация цитат из третьей части «Симфонии (2-й, драматической)» (по изданию 1902 г.). Ср.: *Симфонии*. С. 155—156.

[383] Цитата из второй части «Кубка метелей» (по изданию 1908 г.). Ср.: *Симфонии*. С. 320.

[384] Сокращенная цитата из статьи «Символизм как миропонимание».

[385] Цитата из статьи «Фридрих Ницше».

[386] «Вестники» («В безысходности нив...», 1903 // *СП — 1*. С. 100).

[387] «Ожидание» («Как невозвратная мечта...», 1901 // *СП — 1*. С. 159).

[388] «Забота» («1. Весь день не стихала работа...», 1903 // *СП — 1*. С. 167).

[389] Цитата из второй части «Кубка метелей» (*Симфонии*. С. 321).

[390] Цитата из статьи «Священные цвета».

[391] Неточная цитата (*Андрей Белый*. Собр. соч.: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 302).

[392] Третий брак Вяч. Иванова с его падчерицей В. К. Шварсалон официально был заключен 16/29 апреля 1913 г.

[393] Подборка сокращенных цитат из статьи А. Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910 // *Блок VIII*. С. 123—124).

[394] Стихотворение Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи...» (1898) цитируется Блоком в той же статье (*Блок VIII*. С. 124).

[395] Подборка неточных и сокращенных цитат из той же статьи (*Блок VIII*. С. 124, 126, 127).

[396] Аналогичная подборка цитат из той же статьи (*Блок VIII*. С. 129).

[397] Цитата из той же статьи (*Блок VIII*. С. 129).

[398] Белый подразумевает свою рецензию на вторую книгу стихов Блока «Нечаянная Радость», включенную в гл. 6-ю «Воспоминаний о Блоке». См. с. 228—232 наст. изд.

[399] Имеется в виду отзыв в письме Блока к Белому от 24 апреля 1908 г.: «Я прочел „Кубок Метелей“ и нашел эту книгу не только чуждой, но глубоко враждебной мне по духу. С моей точки зрения, там очень много кощунственного, но, так как ты находил со своей стороны кощунственное в моей „Не-

чаянной Радости" и в пьесах, то я теряюсь и готов признать, что мы окончательно и бесповоротно не можем судить друг о друге» (*Белый — Блок*. С. 363—364).

[400] Сокращенная цитата из статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» (включающая цитату из стихотворения Вл. Соловьева «Восторг души расчетливым обманом...», 1885; *Блок VIII*. С. 129).

[401] Белый подразумевает свою статью «Обломки миров», включенную в гл. 9 «Воспоминаний о Блоке». См. с. 544—548 наст. изд.

[402] Подборка неточных и сокращенных цитат из статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» (*Блок VIII*. С. 129—131).

[403] Цитата из той же статьи (*Блок VIII*. С. 131).

[404] См.: *Блок VIII*. С. 131.

[405] См.: *Блок VIII*. С. 130 (сокращенная цитата).

[406] По всей вероятности, здесь Белый использует сведения из биографического очерка М. А. Бекетовой «Александр Блок» (см.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 119—120). О М. И. Терещенко и об основании им издательства «Сирин» Блок сообщал Белому в письме от 15/28 ноября 1912 г. (*Белый — Блок*. С. 474). Драма Блока «Роза и Крест» была впервые опубликована в альманахе «Сирин» (Сб. 1. СПб., 1913. С. 151—239).

[407] Эти параллели лишены реальных оснований и сделаны по недоразумению. Заграничное путешествие А. А. Блока и Л. Д. Блок (подробно описываемое в упомянутой книге Бекетовой; см.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 107—118) было предпринято годом ранее, в июле—августе 1911 г. Летом 1912 г., о котором рассказывает Белый, Блок за границу не выезжал.

[408] В действительности Блок ответил на подробное письмо Белого от 1/14 мая 1912 г. с описанием поездки в Кёльн и предшествовавших событий (19 мая/1 июня 1912 г. Белый сообщал Блоку из Брюсселя: «Только что получил твое письмо ⟨...⟩» // *Белый — Блок*. С. 463), но это письмо, по всей вероятности, не сохранилось.

[409] Негативные впечатления от Парижа излагаются Блоком в письмах к матери (конец августа—начало сентября 1911 г.), цитируемых и пересказываемых М. А. Бекетовой в биографическом очерке «Александр Блок» (см.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. С. 115—116; Письма Александра Блока к родным. Т. II. С. 171—174).

[410] Белый и А. Тургенева выехали в Мюнхен (через Страсбург) в один из первых дней июля (н. ст.) 1912 г.

[411] Ср. свидетельства А. Тургеневой: «...по прибытии мы объявились на Адальбертштрассе, где доктор Штейнер жил у фрейлейн Штинде и графини Калькрейт. Вскоре графиня Калькрейт посетила нас. Она появилась перед нами прекрасная, как каменная королева, сошедшая с портала готического собора в чуждую ей действительность. „Доктор Штейнер желает, чтобы вы занимались немецким с фрейлейн Шолль; к вам еще придет одна жительница Прибалтики, чтобы приобщить вас к драмам-мистериям. К нему самому вам надо прийти в ближайшие дни. Вы должны очень быстро прогрессировать: ведь он так о вас за-

ботится"» (*Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 32).

[412] Графиня Паулина фон Калькрейт была дочерью графа Станислауса фон Калькрейта, художника-пейзажиста, директора Художественной школы в Веймаре, и фрейлиной императрицы Фридрих, матери императора Вильгельма II.

[413] Ср. сообщение в письме Белого к Блоку от 1/14 мая 1912 г.: «...помню, в Мюнхене, в роковой для меня 1906 год, я случайно встретил там Минцлову, с которой был едва знаком; она звала меня тогда посетить лекцию Штейнера: я прозевал вечер и, конечно, на лекцию не пошел: Минцлова в то время была близкой его ученицею» (*Белый — Блок*. С. 453).

[414] М. В. Сабашникова (Волошина), описывая события 1906 года, свидетельствует: «Минцлова сообщила нам, что мы можем посещать лекции доктора Штейнера, которые он читал ежедневно для очень малого круга людей. В первые недели кроме нас в нем принимали участие еще девять человек, позднее нас стало двенадцать. Так мы попали прямо в „круг Зодиака", как позднее в шутку называли этот круг лиц, первых собравшихся вокруг Рудольфа Штейнера. К нему принадлежала также фрау фон Мольтке, супруга генерала, а впоследствии начальника генерального штаба Хельмута фон Мольтке. ‹...› Софи Штинде и ее приятельница графиня Калькрейт тоже принадлежали к „кругу Зодиака". Они руководили ветвью Общества в Мюнхене, где главная роль принадлежала Софи Штинде» (*Волошина Маргарита* (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея: История одной жизни / Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой. М., 1993. С. 133).

[415] Подробнее о них см. в книге Андрея Белого «Воспоминания о Штейнере» (подготовка текста, предисловие и примечания Фредерика Козлика: Paris, 1982. С. 161—166).

[416] Подразумеваются драмы-мистерии Р. Штейнера «Врата посвящения» («Die Pforte der Einweihung»), «Испытание Души» («Die Prüfung der Seele»), «Страж Порога» («Der Hüter der Schwelle»), «Пробуждение Душ» («Der Seelen Erwachen»). Постановки первых трех драм-мистерий состоялись в Мюнхене соответственно 20, 22 и 24 августа 1912 г.

[417] Ср. недатированное письмо Белого к Н. А. Тургеневой, относящееся к концу мая—началу июня (н. ст.) 1912 г.: «Я зову Вас серьезно, *по опыту*. Вам *очень* нужно увидеть Штейнера. ‹...› Самое позднее, мы будем в Мюнхене 8 июля, то есть русского июня 25. Если бы вы приехали числа 9, 10, то было бы дивно» (*Rizzi Daniela*. Из архива Н. А. Тургеневой. Письма Эллиса, А. Белого и А. А. Тургеневой. С. 313—314). В недатированном письме (конец августа н. ст. 1912 г.) к М. К. Морозовой Белый сообщал о Н. Тургеневой: «...ее мы выписали на наши средства к доктору, ибо ей так тяжело было и надо было, чтобы доктор лично ей помог» («Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901—1928. С. 193).

[418] Согласно составленному Белым документальному своду «Свидания с Доктором», он встречался с Р. Штейнером 20 июля («Разговор об Анне Рудольфовне. Доктор дал медитацию нам»), 24 июля («Разговор (очень подробный) о

моем raison d'être, о России, Вл. Соловьеве; очень подробное изложение всего бывшего с Анной Рудольфовной. Доктор прибавил медитацию») и 31 июля 1912 г. («Отчет Доктору о своей работе; представил схему; изложили странное происшествие 29 июля. Доктор из моих чертежей дал мне задачу; прибавил к имеющейся медитации еще») (Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. Paris, 1990. С. 471). О первом мюнхенском посещении Штейнера вспоминает А. Тургенева: «С сердечным трепетом мы шли к назначенному времени на Адальбертштрассе. В квартиру, переполненную посетителями, попадали с почти убогой лестничной клетки. После долгого ожидания мы были допущены к доктору Штейнеру, который без каких-либо предварительных слов написал каждому из нас ⟨...⟩ по изречению в качестве медитации. Фрейлейн фон Сиверс перевела мне то изречение, которое предназначалось для меня, и отпустила нас, пообещав вскоре позвать нас. Напоследок Бугаеву, к его огорчению, пришлось услышать, что ни один вид алкоголя, в частности пиво, с духовной работой не совместим. Итак, с этим надо было распрощаться» (*Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 33). 17/30 июля 1912 г. Белый писал матери из Мюнхена: «Мы попали теперь в то положение, когда мы еще не ученики, но уже не *просто* любопытные. Доктор дает нам работу, в которой мы отдаем ему отчет. И теперь уехать от него — невозможно. Вероятно, мы естественно перестанем курить и есть мясо, как естественно при методе нашей жизни пришли к убеждению, что невозможно пить вино и пиво» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 123).

419 «Телами» в теософии и антропософии называется состав человека, видимый и невидимый; каждое из «тел» находит соответствие в мировых сферах. Теософскую иерархию «тел» и миров Белый излагает в комментариях к статье «Эмблематика смысла» (*Андрей Белый*. Символизм. М., 1910. С. 497—500): «В обычной теософской литературе принята следующая классификация: 1) физическое тело, 2) астральное тело, 3) ментальное тело, 4) тело причинности, 5) тело Manas'a, 6) будхическое тело, 7) Дух» (Там же. С. 500). Душа, согласно антропософским представлениям, тройственна — состоит из души ощущающей, рассудочной, сознательной.

420 В эволюции человечества антропософия выделяет семь эпох и соответственно семь коренных рас: полярная, гиперборейская, лемурийская, атлантическая, послеатлантическая или арийская (пятая раса, вбирающая древнеиндийскую, древнеперсидскую, древнеегипетскую, древнегреческую, германскую и англосаксонскую культуры) и будущие шестая и седьмая послеатлантические культурные расы.

421 См. выше, примеч. 286, примеч. 49 к гл. 8-й. В. О. Ключевского Белый встречал в студенческие годы в квартире М. С. Соловьева (см.: *НВ*. С. 155).

422 «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» (1904) — книга Р. Штейнера «Как достигнуть познания высших миров» (М.: Духовное знание, 1918); печаталась в переводе В. Лалетина в «Вестнике теософии» (1908—1909)

и в переводе А. В. Борнио в «Теософской жизни» (1907—1909, под заглавием «Как достигается познание высших миров»).

[423] В основе выражения «Колумбово яйцо» — испанский народный анекдот о том, что множество мудрецов тщетно пытались поставить яйцо на стол в вертикальном положении, а проделал это простак Хуанело, догадавшийся ударить концом яйца о стол, — скорлупа треснула, и яйцо было установлено. Джироламо Бенцони в «Истории Нового света» (1565) относит этот анекдот к Христофору Колумбу: в ответ на замечание о том, что открытие Америки не представляло большой трудности, Колумб предложил собеседнику поставить яйцо; когда тот не сумел, Колумб повторил действия Хуанело, сказав, что труда это не представляет (см.: *Ашукин Н. С., Ашукина М. Г.* Крылатые слова. 4-е изд., доп. М., 1988. С. 172).

[424] Искаженная цитата из статьи «Театр и современная драма»; в оригинале: «Символическая драма только и может изображать одно: преображение органов восприятия мира и через то перерождение мира необходимости в мир свободы» (*Арабески*. С. 33).

[425] Неточные и сокращенные цитаты из статьи «Символизм как миропонимание».

[426] Сокращенная цитата из статьи «Театр и современная драма».

[427] В оригинале: «...остается один путь: путь перерождения» («Кризис сознания и Генрик Ибсен»).

[428] Цитаты из статей «Фридрих Ницше» и «Театр и современная драма».

[429] Речь идет о мистерии «Страж Порога» (см. выше, примеч. 416).

[430] В 1921—1923 гг. Эрнст Юли (Uehli) входил в президиум немецкой секции Антропософского общества наряду с Карлом Унгером и Эмилем Лейнхасом. Белый, как явствует из составленного им перечня «Слышанные лекции по теософии в немецкой секции», в июле 1912 г. прослушал две лекции Юли на тему «О стихиях» (Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 469).

[431] Имеется в виду немецкая антропософка Ханна Гюнтер (ум. в 1923 г.). Как свидетельствует А. Тургенева в очерке «Андрей Белый и Рудольф Штейнер», «Бугаев менее всего интересовался мистериями-драмами Штейнера, которые играла труппа, состоявшая из любителей. Но, к его удивлению, ему пришлось радикально изменить свое отношение: такой формы искусства он еще не встречал» (Мосты. 1968. № 13/14. С. 244). В 1914 г. Белый перевел на русский язык фрагмент из первой драмы-мистерии Штейнера. См.: *Штейнер Р.* У врат посвящения. Розенкрейцерская мистерия / Публ., примеч., послесл. С. В. Казачкова // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 69—73; *Штайнер Рудольф.* Из области духовного знания, или антропософии. Статьи, лекции и драматическая сцена в переводах начала века. С. 352—358, 507—511 (комментарий С. В. Казачкова и Т. Л. Стрижак).

[432] Согласно упомянутому перечню, Эллис читал лекции на тему «Евангелие от Иоанна» («по Доктору») (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 469). В письме к матери от 17/30 июля 1912 г. Белый сообщал: «...3 раза в

неделю приезжает Лев и читает нам курсы Штейнера» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 123).

433 Согласно тому же перечню, И. Поольман-Мой читала в июле 1912 г. в Мюнхене лекции на тему «О четырех архангелах» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 469).

434 На съезде в Мюнхене были Мария (Магдалина) Ивановна Сизова — драматург, прозаик, театральный педагог и режиссер, сестра М. И. Сизова и жена В. М. Викентьева (в первом браке), Е. К. Тегера (во втором браке) (см. о ней: *Никитин Андрей*. Rosa Mystica: Поэзия и проза российских тамплиеров. М., 2002. С. 181—190), а также Ольга Павловна Сизова, первая жена М. И. Сизова, врач.

435 С 25 по 31 августа 1912 г. Штейнер прочитал в Мюнхене 8 лекций на темы: «Об инициации. О вечности и мгновении. О духовном свете и жизненной тьме». О собравшейся аудитории Белый писал матери 14/27 августа 1912 г.: «Здесь до 30 человек русских. Из Москвы здесь: Петровский, Сизов с женой, М. И. Сизова, Викентьев, Киселев, madame Недович, Волошина, Григоров с женой и др. Из Петербурга приехала Сер⟨афима⟩ Павл⟨овна⟩ Ремизова, жена Алексея Михайловича» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 124).

436 Лекции Карла Унгера были прочитаны между 19 и 23 августа 1912 г. (*Lindenberg Christoph*. Rudolf Steiner. Ein Chronik. 1861—1925. S. 319). Согласно записям Белого (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 470), они были посвящены поставленным в те же дни первым двум драмам-мистериям Штейнера.

437 «Орден восходящего солнца», переименованный вскоре в «Орден звезды на востоке», был основан в январе 1911 г. в Бенаресе Дж. Эрендейлом, во главе его был поставлен подросток — индус Джидду Кришнамурти, которому руководители Теософского общества предопределили миссию нового «Учителя», «Спасителя» человечества. Неприятие этой инициативы со стороны Немецкого отделения Теософского общества, возглавляемого Штейнером, стало впоследствии главным основанием для раскола внутри Общества и выделения из его состава самостоятельного Антропософского общества (февраль 1913 г.). Подробнее см. комментарий С. В. Казачкова и Т. Л. Стрижак в кн.: *Штайнер Рудольф*. Из области духовного знания, или антропософии. С. 515—518.

438 Курс лекций «Евангелие от Марка» был прочитан Штейнером в Базеле с 15 по 24 сентября 1912 г. Свои восторженные впечатления от этого курса Белый подробно изложил в письме к Н. А. Тургеневой (Фицнау, 1 октября н. ст. 1912 г.: Europa Orientalis. XIV/1995: 2. С. 318—320. Публ. Даниелы Рицци).

439 21 августа/3 сентября 1912 г. Белый сообщал матери (в письме, отправленном по дороге из Мюнхена в Базель — в Линдау на Боденском озере): «Мы едем в Базель. Ася укладывается, а я сейчас поеду на вокзал. ⟨...⟩ Сегодня утром проводили Наташу» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 126).

440 Свой базельский адрес (Hôtel Bernerhof) Белый сообщил матери открыткой, отправленной 26 августа/8 сентября 1912 г. (см.: Там же. С. 127).

[441] Разрыва отношений тогда не произошло, но 27 августа/9 сентября 1912 г. Белый отправил Э. К. Метнеру письмо с упреками в том, что тот держит его «в положении тягостной неизвестности» относительно перспектив получения денежных субсидий от «Мусагета» (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 68). В письме к Н. А. Тургеневой из Фицнау (октябрь 1912 г.) Белый сетовал: «...я теперь на поверхности *чернее*, чем внутри; и чернота моя проступает в сношениях с Мусагетом. ⟨...⟩ Метнер утверждает то, чего нет, и потом, получив ответ, наносит мне уже прямое оскорбление ⟨...⟩ Понимаешь: все поведение „Мусагета" есть систематическое растравливание — не отпускают на свободу и вместе с тем *допекают* и *попрекают*» (Europa Orientalis. XIV/1995: 2. С. 324—325. Публ. Даниелы Рицци).

[442] См. письмо Белого к М. К. Морозовой (конец августа н. ст. 1912 г.) с описанием своего отчаянного финансового положения и ответное письмо Морозовой (полученное в Базеле 13 сентября н. ст.) с выражением готовности ежемесячно переводить определенную денежную сумму: «Отнеситесь к этому покойно, когда будут деньги — отдадите» («Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. С. 187—196).

[443] 12 сентября (н. ст.) 1912 г. датировано письмо Вяч. Иванова к Э. К. Метнеру из Базеля, отправленное вместе с письмом Белого («Пишу вам из Базеля, куда приехал для свидания с Борей ⟨...⟩» // РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 69).

[444] Ср. сообщения в письме Вяч. Иванова к А. Д. Скалдину от 10/23 октября 1912 г.: «С Борисом Николаевичем я виделся в Базеле, куда приезжал к нему на три дня. Такие определения, как „метит в под-Штейнера", принадлежат к оркестру нашего суетного злоречия. Не благодарное ли дело — цельно отдаться учителю? Я нашел Андрея Белого поглощенным изучениями уроков Штейнера и работами, им указанными. Отрывки все еще неоконченного „Петербурга" по-прежнему блистательны, стихов нет вовсе, но и роман не пишется: все сознание устремлено на другое. Утверждая, что (говоря вообще) столь цельное решение прекрасно, я нахожу вместе с тем, что оно было для Бори и неизбежностью. Он во многих отношениях подошел к краю. Но что будет плодом нескольких лет этого ученичества? Прежде всего, не погибнет ли художник? Однако, *до* Штейнера не подошел ли уже тот прежний гениальный художник к краю?.. Предсказать ничего нельзя. Все зависит от того, совлечется ли Боря своего *я* ⟨так!⟩ на этом пути. Если нет, бесплодны окажутся и его исключительные дарования в частных областях мистики. Если да, — пусть умрет прежнее, ибо родится во сто крат больше — подобное ли прежнему или вовсе неожиданное, все равно. Теперь я вижу его в безличном подчинении руководящей воле, в пассивной самоотдаче; но под ней припряталась дурная самость, подлежащая разрешению. Думаю, что мистагогическое ведение Штейнера имеет целью разрушить последнюю и вместе вернуть Боре свободу. Тут долгие, трудные, темные пути. Но мы все должны быть благодарны тому (Боре), что подвизается и о нас» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 10. Paris, 1990. С. 133. Публ. М. Вахтеля).

[445] Contemplatio (*лат.*) — рассматривание, созерцание; размышление; соображение, учитывание.

[446] Правильно: Бодминген (Bodmingen). Штейнер жил там с 16 по 24 сентября 1912 г.

[447] Ср. свидетельства А. Тургеневой о базельской встрече с Вяч. Ивановым: «Он ждал, что мы представим его доктору Штейнеру, поскольку хотел вступить в Теософское общество. Но мы были изумлены решительным отказом доктора Штейнера, который тем не менее допускал присутствие в обществе самых странных персонажей. „Пусть господин Иванов и большой поэт, — сказал он, — к оккультизму у него нет ни малейшей способности; это было бы во вред и ему, и нам. Я бы не хотел встречаться с ним; попытайтесь отговорить его"» (*Тургенева Ася*. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. С. 39).

[448] В будущем — вторая жена Белого. В Базеле во второй половине сентября 1912 г. состоялась их первая встреча.

[449] В своде «Свидания с Доктором» Белый зафиксировал: «*5-е свидание.* 24 сентября. Подробный отчет Доктору о ходе работы. Одобрение Доктора. Присоединил к 3 медитациям четвертую. И задал работу. Базель» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 471).

[450] Ср. сообщение в письме Белого к матери из Базеля от 17/30 сентября 1912 г. (отправленном, согласно почтовому штемпелю, из Фицнау 1 октября): «...едем из Базеля. ⟨...⟩ Пока же Штейнер едет отдыхать в Италию, а мы работать куда-нибудь в тишину. Мы пока выбрали себе Фирвальдштетское озеро; наметили деревушку в горах (на берегу озера) около Люцерна» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 141—142).

[451] Штейнер выехал из Берлина в Мюнхен 25 ноября и возвратился в Берлин 30 ноября 1912 г. В Мюнхене он выступил с лекциями на темы (согласно записям Белого): «Правда духовного опыта», «Ошибки духовного опыта», «Между смертью и новым рождением» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 470).

[452] Статья Белого «Круговое движение. (Сорок две арабески)» была опубликована в «Трудах и днях» (1912. № 4/5. С. 13—22).

[453] Ср. тезис, сформулированный в статье «Театр и современная драма»: «*Люди станут собственными своими художественными формами*» (*Арабески*. С. 20); также — в статье «Будущее искусство» (1907): «Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой» (*Андрей Белый*. Символизм. С. 453).

[454] Лейденская банка — первый электрический конденсатор, изобретенный Питером ван Мушенбруком и его учеником Кюнеусом в 1745 г. в Лейдене.

[455] Контаминация строк из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1830-е гг.).

[456] Цитата из оды М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743).

[457] Согласно теософии, физическое тело человека состоит из твердого тела и из эфирного двойника: «Главное назначение эфирного двойника: служить провод-

ником для жизненных токов, исходящих из солнца, чтобы последние могли быть использованы твердыми частицами физического тела»; «Физическое и эфирное тела не разлучаются при нормальных условиях во время земной жизни; нормально они функционируют вместе, подобно высоким и низким струнам одного инструмента, когда из него извлекается аккорд 〈...〉»; «Когда наступает смерть, эфирное тело извлекается из своего физического двойника удаляющимся сознанием; магнетическая связь, существовавшая между обоими телами при жизни, обрывается, и в течение нескольких часов сознание остается как бы окутанным в эту эфирную одежду» (*Безант Анни*. Древняя мудрость. 2-е испр. изд. СПб., 1913. С. 39—40, 43, 44).

458 Белый и А. Тургенева приехали в Штутгарт (и оттуда в Дегерлох) 26 октября (н. ст.) 1912 г. Из Дегерлоха Белый писал матери 20 октября/2 ноября: «Мы уже с неделю как 〈в〉 Штутгарте. Собственно мы не в Штутгарте, а в окрестностях, на вилле; недалеко от нас большой, большой сосновый лес. В двух шагах другая вилла, где живет Эллис со своими друзьями, голландцами m-er и m-me Pulmann» (Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 147).

459 Начавшееся во второй половине 1912 г. разочарование Эллиса сначала в круге учеников Штейнера, затем — в его лекционных курсах и, наконец, в личности самого Штейнера привело его к решению выйти из Антропософского общества (август 1913 г.).

460 Книга Блока «Ночные часы. Четвертый сборник стихов (1908—1910)» (М.: Мусагет, 1911).

461 Стихотворение «За гробом» («Божья Матерь *Утоли мои печали*...», 1908 // *Блок III*. С. 87).

462 В Мюнхене Белый и А. Тургенева пробыли с 25 по 30 ноября 1912 г.

463 Ср. запись Белого в «Свиданиях с Доктором»: «*6-е свидание*. 29 ноября. Передали Доктору наши тетради и получили по новой медитации. Мюнхен» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 471).

464 Граф Отто фон Лерхенфельд (см. о нем: *Андрей Белый*. Воспоминания о Штейнере. С. 167—170) финансировал издание 5-томного собрания сочинений Вл. Соловьева в немецком переводе, вышедшего в издательстве «Der kommende Tag» (*Solov'ev Vladimir*. Ausgewählte Werke. Vol. 1—5. Jena; Stuttgart, 1914).

465 Белый и А. Тургенева приехали в Берлин, видимо, 2 декабря н. ст. 1912 г. (20 ноября/3 декабря Белый написал там пространное письмо М. К. Морозовой; см.: «Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. С. 217—226), поселились по адресу: Scharlottenburg. Luther Strasse, 27. Pension Wegner.

466 Architektenhaus (*нем.*) — Дом архитекторов. Р. Штейнер выступал там с публичными лекциями в течение ноября, а также 5 и 12 декабря 1912 г.; декабрьские лекции, видимо, слушал Белый.

467 Gedächtniskirche — церковь памяти императора Вильгельма I, сооружена в Берлине в 1891—1895 гг.

468 Первый доклад, предназначенный для членов Общества, на тему «жизни между смертью и новым рождением в соотнесенности с космической реально-

стью» Штейнер прочитал в Вене 3 ноября 1912 г., завершил этот цикл лекций в Берлине 1 апреля 1913 г.

[469] С 13 по 20 декабря 1912 г. Штейнер предпринял лекционную поездку в Швейцарию (Берн — Цюрих — Невшатель — Сент-Галлен), 27 декабря выступал с публичным докладом в Ганновере.

[470] См. выше, примеч. 437. 8 декабря 1912 г. совет Немецкого отделения Теософского общества постановил, что считает несовместимым с членством в Теософском обществе принадлежность к «Ордену звезды на востоке», и потребовал отставки А. Безант с поста председателя Общества. Неформальное провозглашение самостоятельного Антропософского общества состоялось в Кёльне 28 декабря 1912 г. перед началом лекционного курса Штейнера «Бхагавадгита и послания апостола Павла», в него вступили около 300 присутствовавших на чтении слушателей.

[471] Курс лекций «Бхагавадгита и послания апостола Павла» был прочитан Штейнером в Кёльне с 28 декабря 1912 г. по 1 января 1913 г. (см.: *Штайнер Рудольф*. Бхагавадгита и послания апостола Павла. Калуга, 1993). Белый и А. Тургенева выехали из Берлина в Кёльн 27 декабря, возвратились в Берлин 5 января.

[472] 11-е общее собрание Немецкого отделения Теософского общества проходило в Берлине со 2 по 8 февраля 1913 г. В день открытия собрания было принято обращение к А. Безант (в ответ на ее письмо с обвинением Штейнера в иезуитизме), а 3 февраля состоялось Первое (организационное) общее собрание Антропософского общества, членами правления которого стали Мария фон Сиверс (Берлин), Михаэль Бауэр (Нюрнберг) и Карл Унгер (Штутгарт), а Рудольф Штейнер — почетным председателем Общества.

[473] Ср. строку из стихотворения Белого «Михаилу Бауэру» («Речь Твоя — пророческие взрывы...», 1918): «Мейстер Экхарт нашего столетья» (*СП — 1*. С. 379).

[474] Имеется в виду Адольф Аренсон (Arenson; 1855—1936) — композитор, автор музыки к драмам-мистериям Штейнера и Э. Шюре. «Доклад Аренсона о 10 заповедях» Белый упоминает в записях «Материала к биографии», относящихся к январю 1913 г. (Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 6. Paris, 1988. С. 348).

[475] Ср. запись Белого о докладе Отто Деглау (Daeglau) в списке лекций, прослушанных в феврале 1913 г.: «Не знаю фамилии: „О механике и антропософ⟨ском⟩ импульсе"» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 471).

[476] Курс из четырех лекций «Мистерии Востока и христианства» был прочитан Штейнером в Берлине с 3 по 7 февраля 1913 г. См.: *Штейнер Р*. Мистерии Востока и христианство. Воронеж, 1995.

[477] Штейнер выступил с этой речью 3 февраля 1913 г. на собрании, учредившем Антропософское общество.

[478] Подразумевается раскрытие смысла аллегории, заключающейся в канцоне второй, входящей в трактат Данте «Пир» (трактат III, раздел XV). См.: *Данте Алигьери*. Малые произведения / Изд. подгот. И. Н. Голенищев-Кутузов. М., 1968. С. 163—165, 196—200. (Серия «Литературные памятники»).

[479] «Das Ewig-Weibliche» («Черти морские меня полюбили...», 1898 // *Соловьев.* С. 121).

[480] Начальные строки стихотворения (1901 // *Блок I.* С. 60).

[481] «Странных и новых ищу на страницах...» (1902 // *Блок I.* С. 102).

[482] «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (*Блок I.* С. 60).

[483] См. примеч. 41 к гл. 4-й.

[484] См. выше, примеч. 464. О Харриет фон Вакано (Vacano), содержавшей в Мюнхене вегетарианский ресторан и пансион при нем, вспоминает М. В. Сабашникова-Волошина: «...получили широкую известность ее превосходные переводы сочинений Владимира Соловьева, вышедшие под псевдонимом Гарри Келлер. Она воспитывалась в России и была сильной индивидуальностью, способной к большим взлетам и воодушевлению» (*Волошина Маргарита* (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея. С. 198).

[485] Первая и четвертая строфы стихотворения (1902 // *Блок I.* С. 91—92).

[486] «Антропософии» («Из родников проговорившей ночи...», 1918); текст — в редакции, опубликованной в книге Андрея Белого «Стихи о России» (Берлин: Эпоха, 1922. С. 47—49). См.: *СП — 1.* С. 411—412, 498.

[487] Цитата из того же стихотворения в той же редакции текста.

[488] Первая строка стихотворения Генриха Гейне, входящего в цикл «Опять на родине» (1823—1824) его «Книги песен» («Buch der Lieder», 1827); в переводе А. Блока: «Тихая ночь, на улицах дрёма» (*Блок Александр.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 382).

[489] Раздел «Страшный мир» впервые появился в книге Блока «Ночные часы» в 1911 г. (с хронологическим подзаголовком: (1909—1910), включал 9 стихотворений), он же в составе 20 стихотворений вошел в кн. 3-ю «Собрания стихотворений» Блока (М.: Мусагет, 1912).

[490] Издательство «Сирин» было основано в Петербурге М. И. Терещенко и его сестрами Пелагеей Ивановной и Елизаветой Ивановной Терещенко в середине октября 1912 г. (см.: «Сирин» — дневниковая тетрадь А. Ремизова / Предисл., публ. и примеч. А. В. Лаврова // Алексей Ремизов. Исследования и материалы / Отв. ред. А. М. Грачева и А. д'Амелия. СПб.; Салерно, 2003. С. 234—235; *Голлербах Е. А., Мухаркин Д. М.* Издательство «Сирин» // Книжное дело в России в XIX—начале XX века: Сб. научных трудов. Вып. 12. СПб., 2004. С. 57—74).

[491] Печатание этих книг Белого в издательстве «Сирин» не состоялось.

[492] 15/28 ноября 1912 г. Блок, сообщая Белому об основании издательства «Сирин» во главе с М. И. Терещенко, писал: «М. И. Терещенко поручил мне просить тебя прислать *твой новый роман* для того, чтобы издать его отдельной книгой, или включить в альманах» (*Белый — Блок.* С. 474).

[493] Рукопись романа «Петербург» Белый выслал из Берлина 20 февраля/5 марта 1913 г. (см.: Там же. С. 493).

[494] С циклом из 10 лекций под заглавием «Какое значение имеет оккультное развитие человека для его оболочек и для его Я» Штейнер выступил в Гааге с 20 по 29 марта 1913 г.

[495] Подробнее о прохождении романа «Петербург» в издательстве «Сирин» см.: *Долгополов Л. К.* Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» // Андрей Белый. Петербург. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2004. С. 565—568. (Серия «Литературные памятники»); *Лавров А. В., Мальмстад Джон.* Андрей Белый и Иванов-Разумник: Предуведомление к переписке // Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 8—9.

[496] Об этой аудиенции Белый записал в своде «Свидания с Доктором»: «*8-е свидание.* 15 февраля. Краткое. Разговор о поездке в Россию и об Асе. Доктор присоединил нечто к медитации» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. С. 472).

[497] Белый и А. Тургенева отбыли в Боголюбы (под Луцком) 26 февраля/11 марта 1913 г.

[498] Эта телеграмма датирована 25 февраля (ст. ст.) 1913 г.: «Роман принят, скоро напишу. Блок» (*Белый — Блок.* С. 498). Первая публикация романа «Петербург» состоялась в альманахе «Сирин» (Сб. 1. СПб., 1913. С. 1—148; Сб. 2. СПб., 1913. С. 1—209; Сб. 3. СПб., 1914. С. 1—276).

[499] В Гельсингфорсе Штейнер прочитал курс из 9 лекций «Оккультные основы Бхагавадгиты» с 28 мая по 5 июня (н. ст.) 1913 г.; Белый и А. Тургенева были в числе слушателей.

[500] Белый и А. Тургенева выехали из Боголюбов в Мюнхен 31 июля/13 августа 1913 г.

[501] Намеченное здесь разделение на тома не соответствует авторским указаниям, сделанным при сдаче машинописи «Начала века» в архив, согласно которым главы 4, 5 относятся к тому II книги, а главы 8, 9, 10 — к тому III (см. с. 837—838 наст. изд.).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Арабески — *Андрей Белый*. Арабески: Книга статей. М.: Мусагет, 1911.

Белый — Блок — Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903—1919 / Публ., предисл. и коммент. А. В. Лаврова. М.: Прогресс-Плеяда, 2001.

Блок I—V, VII, VIII — *Блок А. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М.: Наука, 1997—2010. Т. 1—5, 7, 8. (Издание продолжается).

ИМЛИ — Рукописный отдел Института мировой литературы им. М. Горького РАН (Москва).

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

ЛН — «Литературное наследство».

МБ — *Андрей Белый*. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3.

МДР — *Андрей Белый*. Между двух революций / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1990.

НВ — *Андрей Белый*. Начало века / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1990.

О Блоке — *Андрей Белый*. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М.: Автограф, 1997.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

РД — *Андрей Белый*. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100.

РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Симфонии — *Андрей Белый*. Симфонии / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. А. В. Лаврова. Л.: Художественная литература, 1991.

Соловьев — *Соловьев Владимир*. Стихотворения и шуточные пьесы / Вступ. ст., сост. и примеч. З. Г. Минц. Л.: Советский писатель, 1974. («Библиотека поэта». Большая серия).

СП — 1, 2 — *Андрей Белый*. Стихотворения и поэмы. Т. 1—2 / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. А. В. Лаврова и Джона Малмстада. СПб.; М.: Академический Проект — Прогресс-Плеяда, 2006. («Новая Библиотека поэта»).

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив г. Москвы (Москва).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. А. Блок. Фотография студии Д. С. Здобнова. 1907. Дарительная надпись Андрею Белому: «Милому, нежно любимому брату Боре. СПб. Окт⟨ябрь⟩ 1907». (РНБ).

Дарительная надпись на авантитуле книги: *Александр Блок*. Собрание стихотворений. Кн. 1. Стихи о Прекрасной Даме. М.: Мусагет, 1911. «Андрею Белому залог нерасторжимой связи. Александр Блок. Май 1911. СПб.». (ГЛМ).

Дарительная надпись на авантитуле книги: *Андрей Белый*. На перевале. II. Кризис мысли. Пб.: Алконост, 1918. «Дорогому, близкому Саше с неизменной любовью и верой в него. Андрей Белый. 1-го января ст. ст. 1919 года».

Л. Д. Зиновьева-Аннибал и Вяч. Иванов. Загорье, 1907.

Вяч. И. Иванов. Рисунок Андрея Белого. Автограф Белого: «Вячеслав Иванов, рисовал Б. Бугаев».

Г. И. Чулков. Фотография студии Д. С. Здобнова. 1908.

М. А. Кузмин. Фотография студии Д. С. Здобнова. 1909.

М. О. Гершензон.

А. Р. Минцлова. Фотография М. А. Волошина. Париж, 1905.

М. А. Оленина-д'Альгейм. (Государственный музей А. С. Пушкина, Москва).

Пьер д'Альгейм. (Государственный музей А. С. Пушкина, Москва).

Сестры Тургеневы — Наталья, Татьяна и Анна (Ася). 1905. (Музей-квартира Андрея Белого, Москва).

Ася Тургенева и Андрей Белый. Брюссель, 1912. (Музей-квартира Андрея Белого, Москва).

Андрей Белый. Портрет работы Аси Тургеневой. 1909.

Андрей Белый и Ася Тургенева. 1915.

Рудольф Штейнер. 1910.

Мария и Рудольф Штейнер. Берлин, 1915.

Андрей Белый. 1915.

А. А. Блок на смертном одре. Фотография М. С. Наппельбаума. 1921.

Андрей Белый. Ковно, 1921. На обороте дарительная надпись: «Милой, хорошей Клавдии Николаевне Васильевой с глубокой и вечной благодарностью за дни Гарцбурга. Б. Бугаев». (РГБ. Ф. 25. Карт. 38. Ед. хр. 6).

Андрей Белый, Абрам Григорьевич Вишняк (владелец издательства «Геликон») и его жена Вера Лазаревна Вишняк. Свинемюнде, лето 1922 г.

Дом в городке Цоссен (Штубенраухштрассе, 37, бывший 68), в котором жил Белый в 1922 г. Фотография Джона Малмстада.

А. М. Ремизов, Андрей Белый, Б. А. Пильняк, А. Н. Толстой, И. С. Соколов-Микитов, А. С. Ященко. Берлин, 1922.

Нижний ряд: Андрей Белый, М. А. Осоргин, А. В. Бахрах, Б. К. Зайцев. Верхний ряд: А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, П. П. Муратов, Н. Н. Берберова. Берлин, 1923.

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* Аннотируются только имена, упоминаемые в основном тексте книги Андрея Белого. Страницы, на которых содержатся дополнительные сведения об упоминаемом лице, выделены курсивом. Мифологические имена, имена литературных персонажей, а также фамилии, значащиеся в названиях организаций, издательских фирм, магазинов, учреждений и т. п., не учитываются.

СОДЕРЖАНИЕ

⟨Том II⟩

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ. 1905 ГОД

⟨Воспоминания о Блоке⟩

ГЛАВА ШЕСТАЯ. «ТЫ В ПОЛЯ ОТОШЛА БЕЗ ВОЗВРАТА»

⟨Воспоминания о Блоке⟩
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ВСТРЕЧА И ОХЛАЖДЕНИЕ

⟨Том III⟩
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. У ВТОРОГО ПОРОГА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Научное издание

Андрей Белый

НАЧАЛО ВЕКА

БЕРЛИНСКАЯ РЕДАКЦИЯ
(1923)

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»

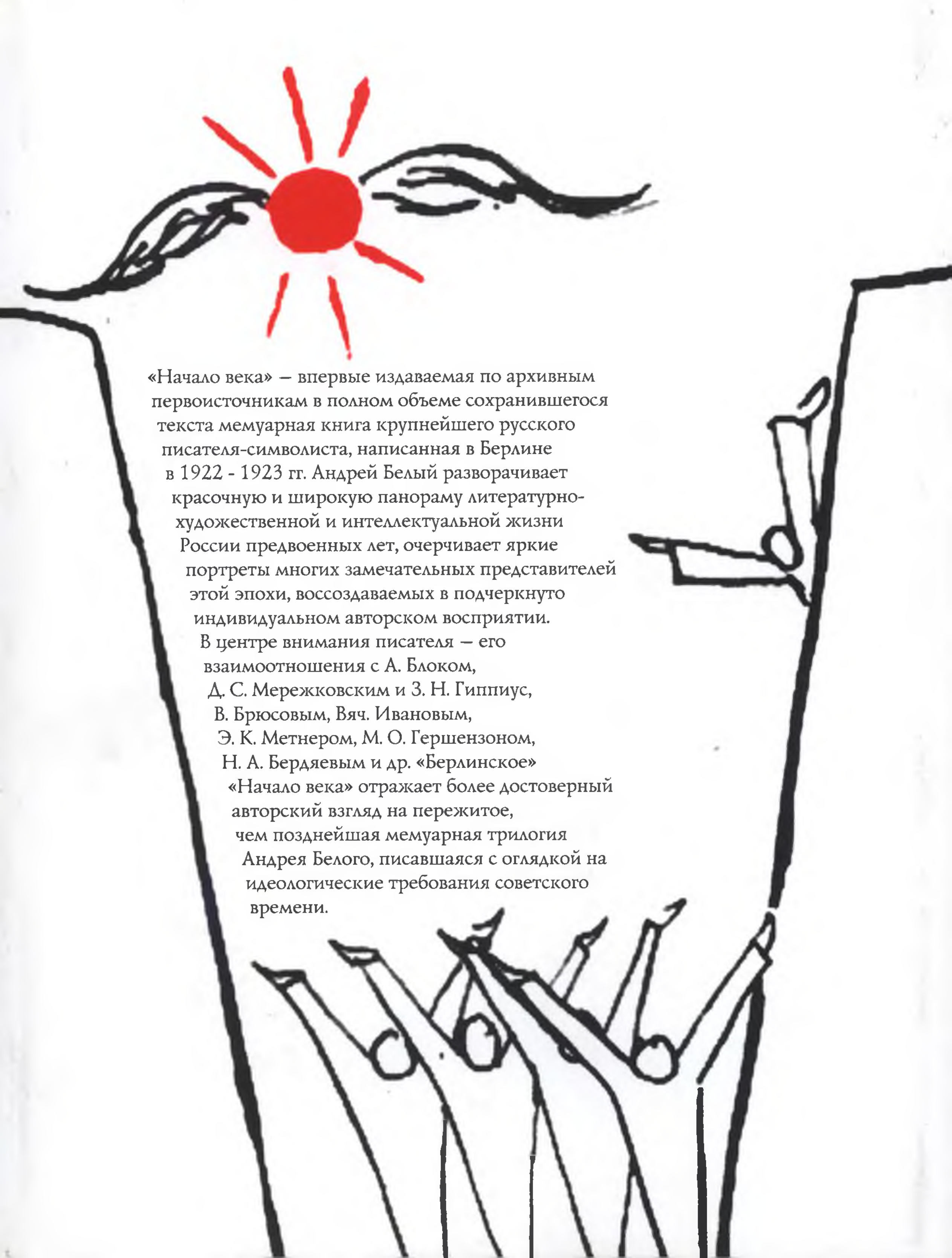
Редакторы издательства *Л. Н. Ларионова, И. Н. Рабовская*
Художник *П. Палей*
Технический редактор *О. В. Новикова*
Корректор *В. В. Вересиянова*
Компьютерная верстка *Л. Н. Напольской*

Сдано в набор 14.07.14. Подписано к печати 12.12.14.
Формат 70×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Академия.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 80.0.
Уч.-изд. л. 69.3. Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3439

Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука»
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.com

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-038347-0



«Начало века» — впервые издаваемая по архивным первоисточникам в полном объеме сохранившегося текста мемуарная книга крупнейшего русского писателя-символиста, написанная в Берлине в 1922 - 1923 гг. Андрей Белый разворачивает красочную и широкую панораму литературно-художественной и интеллектуальной жизни России предвоенных лет, очерчивает яркие портреты многих замечательных представителей этой эпохи, воссоздаваемых в подчеркнуто индивидуальном авторском восприятии. В центре внимания писателя — его взаимоотношения с А. Блоком, Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, В. Брюсовым, Вяч. Ивановым, Э. К. Метнером, М. О. Гершензоном, Н. А. Бердяевым и др. «Берлинское» «Начало века» отражает более достоверный авторский взгляд на пережитое, чем позднейшая мемуарная трилогия Андрея Белого, писавшаяся с оглядкой на идеологические требования советского времени.